Валерий Брюсов
Переписка
Нина Петровская

Валерий Брюсов

Переписка

Нина Петровская

Валерий Брюсов.
Нина Петровская
1900-е годы. Москва

Валерий Брюсов

Переписка

Нина Петровская

1904–1913

МОСКВА/НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ/2004

УДК 75(470)(092)Брюсов В.Я.
ББК 85.343(2)1-8Брюсов В.Я.
П 27

Вступительные статьи,
подготовка текста и комментарии
Н.А. Богомолова и А.В. Лаврова

Брюсов Валерий, Петровская Нина
П 27 **Переписка: 1904—1913** / Вступ. статьи, подгот. текста и комментарии Н.А. Богомолова, А.В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 776 с.

Переписка В.Я. Брюсова с Н.И. Петровской — не только свидетельство их общения на протяжении десяти лет, но и один из исключительно ярких и эмоционально насыщенных памятников русской эпистолярной культуры символистской эпохи, один из ключевых документов истории русского символизма с его стремлением к «сплаву жизни и творчества». Переписка двух этих наиболее выразительных, наиболее характерных, «знаковых» фигур помогает ощутить важнейшую составляющую символизма — его «воздух». Переписка впервые издается в полном объеме.

УДК 75(470)(092)Брюсов В.Я.
ББК 85.343(2)1-8Брюсов В.Я.

ISBN 5-86793-305-9

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ И НИНА ПЕТРОВСКАЯ: БИОГРАФИЧЕСКАЯ КАНВА К ПЕРЕПИСКЕ

Публикации эпистолярных документов с теми особенностями содержания, которые ярчайшим образом воплотились в переписке Валерия Брюсова и Нины Петровской: «пять пудов любви» (по чеховской иронической аттестации сюжета будущей «Чайки»)[1] и «мильон терзаний», этой любовью порожденных, — чаще всего способны вызывать нарекания и даже решительные протесты: как можно предлагать стороннему читателю такие сугубо личные послания, тиражировать интимные признания, обращенные к одному-единственному адресату, делать то, что составляло тайну двух людей, публичным достоянием! Тех, кто берет на себя риск и труд собирать, систематизировать, печатать подобные тексты, вполне могут подвергнуть — и не раз подвергали — остракизму за беззастенчивое копание «в чужом белье», за искание дешевой популярности, за пренебрежение этическими нормами и т.д.

В нашем случае удел публикаторов отчасти, может быть, облегчается тем, что им дарована вполне убедительная индульгенция. Дело в том, что один из корреспондентов, Валерий Брюсов, считал вполне естественным и даже желанным тот факт, что его переписка с Ниной Петровской рано или поздно будет опубликована. И даже озаботился тем, чтобы сделать на этот случай соответствующие распоряжения. Сохранилось его письмо к С.А. Соколову, бывшему мужу Петровской, которое наделено статусом официального завещательного документа.

9 мая 1911 г.

Многоуважаемый Сергей Алексеевич!

Передавая Вам, с согласия Н.И. Петровской (Соколовой), на хранение Вам ее письма ко мне (после чего последует передача Вам моих писем к ней), прошу Вас соблюсти следующие условия:

1) Письма не должны быть распечатаны до смерти обоих корреспондентов, т.е. до смерти моей и Н.И. Петровской, — иначе как с обоюдного, письменного, согласия того и другого.

2) Письма не могут быть опубликованы (напечатаны), полностью или частью, раньше, как через *десять* лет после смерти того из нас, кто переживет другого.

3) Право опубликования этой переписки и все связанные с этим литературные права предоставляются Вам, С.А. Соколову, под условием, что письма будут распечатаны в присутствии особой комиссии, в состав которой войдете и Вы, и что подготовкой к печати и редактированием издания этой переписки будет заниматься та же комиссия.

4) Редакционная комиссия, указанная в предыдущем пункте, должна состоять не менее как из *пяти* лиц, непременно причастных к литературе, и желательно, чтобы в нее были приглашены лица, знавшие лично меня и Н.И. Петровскую, причем предположительно указываются мною следующие лица: К. Бальмонт, С.А. Поляков, С.М. Соловьев, Б.Н. Бугаев (Андрей Белый).

5) Организация этой комиссии поручается Вам, С.А. Соколову, с тем, чтобы состав ее был опубликован в газетах.

6) На случай Вашей смерти, Вы, С.А. Соколов, не преминете сделать распоряжение о передоверении всех вышеуказанных прав на хранение и издание передаваемой Вам переписки другому лицу.

Настоящее предварительное заявление имеет быть со временем заменено другим, более подробным. Но если б это не было по каким-либо причинам исполнено, настоящее заявление получает всю силу выражения моей воли.

Дано Сергею Алексеевичу Соколову, в литературе Кречетову, от Валерия Яковлевича Брюсова. Москва, 9 мая 1911 года[2].

Собраться для подготовки переписки к публикации в 1938 г., десять лет спустя — согласно завещательному условию — после смерти Петровской и четырнадцать лет спустя после смерти Брюсова, предполагаемые участники «редакционной комиссии» уже не могли: в живых из них тогда остались только трое, причем К.Д. Бальмонт жил в эмиграции в Париже, а из двоих, находившихся в Москве, С.А. Полякова и С.М. Соловьева, один, С.М. Соловьев, был недееспособен, пребывал во власти психического заболевания (после ареста в 1931 г. и дальнейших следственных действий). Не мог предвидеть Брюсов в 1911 г. и тех общественных условий, которые начисто исключали возможность опубликования его переписки с Петровской на родине корреспондентов ко времени вступления в силу приведенного выше документа. Примечательно, однако, явное стремление поэта сделать в будущем свою романическую переписку достоянием гласности. Личную жизнь он осознавал как весьма важную составляющую часть своего единого *литературного* облика и поэтому заботился о том, чтобы

она была надлежащим образом документирована, чтобы не возникло ненароком «белых пятен». Брюсову важно, чтобы с должным вниманием и необходимой полнотой были собраны и оценены непосредственные свидетельства тех отношений, которые преломлены в эстетических зеркалах и освещены отраженным светом в любовных стихах его книги «Stephanos» и в романе «Огненный Ангел», чтобы признания о потаенных внутренних ощущениях и интимных чувствах, сообщенные близкой женщине, пополнили когда-нибудь всеобщее представление о его целостном, личностном, литературном, в конечном счете, образе.

Для Нины Петровской литературного компонента во взаимоотношениях и в переписке с Брюсовым почти не существовало, или, по крайней мере, эта особенность никогда не выступала в ее сознании на первый план. Письма были для нее лишь формой контакта, способом передачи собственных эмоций другому человеку и какого-либо иного содержания и смысла в себе не заключали. Когда ее отношения с Брюсовым подошли к своему концу, должна была исчезнуть, по желанию Петровской, и их документальная, «материальная» составляющая — переписка. Петровская не раз требовала от Брюсова возвращения ее писем — с тем, чтобы затем их уничтожить (так она, по всей видимости, поступила с адресованными ей и остававшимися в ее распоряжении поздними письмами Брюсова: ни одного его письма к Петровской, написанного после апреля 1909 г., нам не известно). Если бы Брюсов пренебрег собственным умыслом в отношении этой переписки и выполнил требования бывшей возлюбленной, мы не только лишились бы одного из исключительно ярких и эмоционально насыщенных памятников русской эпистолярной культуры символистской эпохи; мы не имели бы возможности ознакомиться с самым значительным из того, что вышло из-под пера Нины Петровской, что позволяет оценить ее как одну из наиболее выразительных, наиболее характерных, «знаковых» фигур своего литературного круга[3]. Ни литературно-критические статьи и рецензии, ни — в еще меньшей мере — ее беллетристические опыты не выдерживают сопоставления с той эпистолярной исповедью, которую обращала Петровская к Брюсову из года в год и которая — конечно же, без всякого расчета с ее стороны — заключала в себе не только интимно-личное, но и в определенном смысле литературное содержание.

Специфику этой «литературности» первым, и наиболее полно и внятно, осмыслил В.Ф. Ходасевич, когда в своем поминальном очерке о Петровской («Конец Ренаты», 1928) выделил как самую отличительную особенность русского символизма стремление к «сплаву жизни и творчества»: «...часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь <...> Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить — литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, «жизненного» порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценива-

лись почти одинаково».[4] Петровской, безусловно, удалось воплотить прежде всего символистский «дар жить», и непосредственным документальным отпечатком, свидетельствующим о наделенности этим даром, остались ее письма — среди них в первую очередь письма к Брюсову.

О жизни Нины Ивановны Петровской до той поры, как она вошла в круг московских «декадентов», мы не знаем почти ничего. Не обнаружено никаких деловых бумаг и документов, по которым можно было бы установить полные имена ее родителей, род занятий отца, когда и где она закончила гимназию и т.д. Немногие скудные и крайне неопределенные сведения суммированы Ходасевичем, с которым ее какое-то время связывали доверительные отношения: «Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестою одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким»[5]. Долгое время в биографических справках о Петровской обозначался 1884 год как год ее рождения; трудно сейчас установить, кем впервые и на каких основаниях была введена эта датировка, многократно повторенная в различных печатных источниках. Исходя из признаний Петровской в письмах к Брюсову, которые представляются вполне достоверными, теперь можно с достаточной степенью вероятности утверждать, что она родилась в марте 1879 г. Ее младшая сестра, Надежда Ивановна Петровская, страдала физическими и психическими недугами, отягощенными во второй половине 1900-х годов какой-то романической историей (не вполне внятные указания на эту личную драму имеются в письмах Нины Петровской к Брюсову); после смерти их матери в 1909 г. Надежда Петровская перешла всецело под опеку старшей сестры и разделяла с ней все последующие жизненные тяготы.

Петровская публиковала свои рассказы и статьи под девичьей фамилией, которая и стала ее литературным именем. В московском окололитературном сообществе она объявилась в 1902 г. как Нина Ивановна Соколова, жена адвоката и начинающего поэта Сергея Алексеевича Соколова (псевдоним — Сергей Кречетов), основавщего в том же году издательство «Гриф», которое, вслед за символистским «Скорпионом», учрежденным двумя годами ранее, ставило сходные задачи — быть пристанищем для писателей модернистской ориентации, утверждать «новое» искусство. С 1902 г. Петровская начинает рассказ о пережитом и в своих «Воспоминаниях»[6]. Никакой предыстории это повествование о московском «декадентском» микромире не имеет — ее заменяют признания об обострившемся «томлении по жизни», о «горькой тоске существования», о «странной пустынности» как доминирующем чувстве; всем этим переживаниям «муки небытия», однако, было найдено противоядие: «Вся новая русская лите-

ратурная проповедь <...> была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов. Маленькие сборники его «Chefs d'œvres» и «Me eum esse», — потом пышное «Urbi et Orbi» стали для меня символом моей новой веры»[7].

Литературный дебют Петровской состоялся в 1903 г.: в «Альманахе книгоиздательства «Гриф»», которым заявило о себе новое издательское предприятие, были опубликованы ее рассказы «Осень» и «Она» — небольшие лирико-психологические этюды, написанные в форме мужского монолога (как и большинство последующих ее рассказов). С аналогичными опытами Петровская выступила в двух следующих альманахах «Грифа», вышедших в свет в 1904 и 1905 гг. Ранние рассказы Петровской являли собой характерные образчики «декадентской» прозаической миниатюры, с детальной разработкой образно-метафорического ряда и ослабленным сюжетом; темы любви и смерти, религиозно-экстатические и «демонические» мотивы часто окрашиваются в них в тона специфически модернистского урбанизма[8]. Литературного имени эти публикации автору не создали (если о ранних рассказах и упоминали, то чаще всего мимоходом и довольно пренебрежительно[9]), известность же в узком кругу лиц, причастных к деятельности «Грифа» и «Скорпиона», Петровская получила главным образом за наглядно проявленный «дар жить», за выразительное воплощение в индивидуальном психологическом облике и поведенческом рисунке специфически «декадентских» черт.

В какой-то мере одной из форм подобного самовыражения стал ее непродолжительный роман с Бальмонтом (вспоминает Ходасевич: «Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак не возможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой <...>. Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок — нечто вроде похмелья»[10]). Эта мимолетная история всколыхнула волну домыслов и слухов, циркулировавших в литературной богеме[11], которым вскоре был дан дополнительный стимул: пытаясь изжить в себе последствия отношений с «оргиастическим» Бальмонтом, Петровская устремилась в «аскезу», в поиск возвышенного, духовно просветленного чувства. Так начался осенью 1903 г. ее «мистериальный» роман с Андреем Белым, который в январе—феврале 1904 г. обернулся романом тривиальным, «земным» и дополнительно окрашенным теми же «декадентскими» обертонами. Белый драматически воспринял такую перемену в отношениях: он осознавал, что его «порывания к мистерии, к *«теургии»* потерпели поражение»[12], что воплотить в жизнь новую

форму человеческих связей, о которой он грезил, ему оказалось не по силам. Но и у Петровской, искренне и страстно полюбившей поэта-теурга, ожидавшей от него той же цельности и полноты чувства, которые испытывала она сама, «бегство» возлюбленного, его попытки видоизменить и в конечном счете прекратить общение с нею вызвали гамму самых мучительных переживаний[13]. С осени 1904 г. «роман» Петровской и Белого (судя по его позднейшим признаниям) не возобновлялся, но психологические последствия этой истории сказывались еще довольно длительное время. Когда между Петровской и Брюсовым установилась близость, Андрей Белый довольно долго фигурировал в их отношениях как третий отсутствующий участник (инициалы его настоящего имени — Б.Н. — то и дело мелькают в письмах Петровской к Брюсову).

Брюсов познакомился с Петровской тогда же, когда и с ее мужем Сергеем Соколовым и другими начинающими литераторами из «Грифа» — видимо, в феврале—марте 1903 г.[14] О Соколове и обо всей компании, группировавшейся вокруг него, у Брюсова сразу сложилось весьма невысокое мнение. Вторичность и второсортность их творческих опытов по отношению к тому, что делалось авторами из «Скорпиона», для него были очевидны (впоследствии в «Воспоминаниях» Петровская косвенно солидаризировалась с его позицией, утверждая, что издательство Соколова «никаких новых течений не выявило, *своего* слова не сказало, а так и осталось эстетически-барственной затеей в духе времени, стучанием в открытые уже двери»[15]). Петровскую Брюсов на первых порах из «грифовского» круга никак не выделял и даже позволял себе насмешливые, а порой и вполне скабрезные суждения о «Грифихе»[16]. Обратить на нее более пристальное внимание его побудила, по всей вероятности, завязавшаяся романическая история с Андреем Белым, о которой Брюсов поначалу поминал, впрочем, в сугубо ироническом ключе — как, например, в записи, относящейся к весне 1904 г.: «Нина Петровская предалась мистике. <...> А Белого мать, спасая от «развратной женщины», послала на страстную неделю в Ниж<ний> Новг<ород>»[17].

Ходасевич полагает, что в пробуждении живого интереса Брюсова к Петровской значительную роль сыграла мифотворческая составляющая. Женщина, отвергнутая поэтом-теургом, пренебрегшим чувственной любовью ради верности «светлому» мистическому началу, закономерно попадала в орбиту притяжения «мага», служителя «тьмы» (именно таковым было амплуа Брюсова, создававшееся им самим и принимавшееся другими в игровом символистском пространстве): «Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, когда наметился ее разрыв с Белым, потому что, по своему положению, не мог оставаться нейтральным. Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, «томиться и скрежетать». Следственно, теперь Нина, ее соперница, <...> превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он

предложил ей союз — против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним — способа «отомстить» Белому»[18]. Петровская, восстанавливая в «Воспоминаниях» некоторые эпизоды, предшествовавшие ее сближению с Брюсовым (встречи на литературных собраниях, спиритические сеансы и др.), также упоминает про «демоническую» окраску, определявшую тональность складывавшихся отношений: «...я однажды сказала В. Брюсову: — Я хочу упасть в Вашу тьму, бесповоротно и навсегда...»; « — Вот видите, В<алерий> Я<ковлевич>, — обступил ведь «сон глухой черноты», и уйти некуда, — нужно, значит, войти в него. Вы уже в нем, теперь я хочу туда же»[19]. Именно эти апелляции к «тьме», к эстетическому декоруму, к миру «декадентских» обольщений и фантазий послужили главным эмоционально-психологическим началом, которое соединило мэтра русских символистов и вполне рядовую на писательском поприще носительницу символистского мироощущения. Примечательно, что и годы спустя, реконструируя в памяти начало романа, определившего весь ход ее последующей жизни, Петровская прибегает к тому же образному строю, который, видимо, являл собой не только оболочку, форму завязавшихся в 1904 г. отношений, но и в какой-то мере их подлинную суть; жизненные коллизии обретали силу, регенирировались в плетении метафор:

«В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным терпким вином, где как жемчужина Клеопатры была растворена его душа, и сказал:

— Пей!

Я выпила и отравилась на семь лет...»[20]

Судя по ряду ретроспективных указаний в переписке, первые любовные встречи Брюсова и Петровской относятся к началу октября 1904 г. 12 ноября того же года Брюсов выслал А.А. Шестеркиной автограф стихотворения «Опять душа моя расколота...»[21]; сообщая тот же текст в ноябрьском письме к Л.Н. Вилькиной, он пояснял: «...Вы найдете здесь стихи, на которые смотрите не как на стихи (ибо, разумеется, у меня есть лучшие), но как на фотографию моей сегодняшней души»[22]. Это стихотворение невозможно зачислить по ведомству привычной любовной лирики, однако в своей основной психологической тональности, в самозабвенном погружении в амбивалентный мир полярных, доведенных до предельной остроты катастрофических переживаний оно, безусловно, было вдохновлено отношениями с Петровской и во многом предвосхищало последующие отражения этих отношений в брюсовских стихах и прозе:

Опять душа моя расколота
Ударом молнии, и я,
Вдруг ослепленный вихрем золота,
Упал в провалы бытия.

<. . . . .>
И мне от жгучей боли весело,
И мне желанен мой костер,
И небо черный полог свесило
На мой полуослепший взор.
(I, 400)

В марте 1905 г. Брюсов признавался: «На жизнь мою иногда находят смерчи. И тогда я не властен в себе. В таком смерче я сейчас»[23]. Этот «смерч» вызвала в его внутреннем мире Нина Петровская. Она же была главной причиной тех переживаний, на которые указывал Брюсов в дневниковой записи «Из 1904—1905 года»; в ней идет речь о том же самом «смерче»: «Для меня это был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Бóльшая часть переживаний воплощена в стихах моей книги «Stephanos». Кое-что вошло и в роман «Огненный Ангел». Временами я вполне готов был бросить все прежние пути моей жизни и перейти на новые, начать всю жизнь сызнова. Литературно я почти не существовал за этот год <...> Связь оставалась только с Белым, но скорее связь двух врагов....»[24]

Как «связь двух врагов» воспринимал Брюсов свои отношения с Андреем Белым, опять же, под знаком Петровской, которая еще продолжала остро реагировать на слом своего «мистериального» романа. Тайные встречи мужа И.М. Брюсовой с женой С. А. Соколова в Москве завершились совместной поездкой в Финляндию: июнь 1905 г., проведенный в Гельсингфорсе и на озере Сайма, Брюсов и Петровская осознавали и тогда, и впоследствии как самую знаменательную, самую счастливую пору своей жизни. Вынужденное расставание в последующие месяцы они пытались компенсировать перепиской; пожалуй, именно в письмах к Петровской этой поры Брюсов, обычно подчеркнуто «холодный» и «внешний», строгий и сдержанный в выражении своих чувств, достигает наивысшего эмоционального накала и исповедальной искренности; в этих посланиях Брюсов раскрывается теми гранями своей личности, о существовании которых многие, возможно, и не догадывались. Хорошо знавший поэта С.А. Поляков, глава «Скорпиона» и издатель «Весов», свидетельствовал по праву: «Роман Брюсова с Н.И. Петровской — самый серьезный из всех его романов»[25]. В перечне возлюбленных, оставивших значительный след в его жизни («Мой Дон-Жуанский список»), Брюсов обозначает связь с Петровской самыми большими временными рамками: «1904—910» (в другом варианте списка, «Mes amantes»: «1905—1911»)[26]. «Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам?» — вопрошала Петровская в «Воспоминаниях» и формулировала ответ — вполне убедительный и проницательный: «Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той — «тайной», которой не знали окружающие, с той, которую он в себе любил и, чаще,

люто ненавидел<...>»[27] Отношения с Петровской выделяются из общего «донжуанского» ряда, выстроенного Брюсовым, не только своей продолжительностью и, соответственно, интенсивностью, но и яркостью и разнообразием их преломления в художественном творчестве. В приведенной дневниковой записи Брюсов указывает книгу стихов «Stephanos» и роман «Огненный Ангел». За осуществление своего масштабного беллетристического замысла он активно принялся летом 1905 г., после возвращения из Финляндии, и Петровская дала тогда Брюсову все необходимое и достаточное для воплощения образа главной героини исторического романа из немецкой жизни XVI века.

О биографическом подтексте в «Огненном Ангеле», о перипетиях взаимоотношений сторон в реальном треугольнике (Андрей Белый — Петровская — Брюсов) и воссозданном по его подобию треугольнике воображаемом (граф Генрих — Рената — Рупрехт) написано уже немало, конкретные обстоятельства выявлены и осмыслены детально[28], поэтому сейчас нет необходимости в очередной раз подробно развивать эту тему. Важно подчеркнуть все же, что выразительность, художественная подлинность образа Ренаты были достигнуты в первую очередь благодаря тому, что Брюсов позволил себе в данном случае едва ли не с документальной точностью запечатлеть реальные черты прототипа. Петровская утверждает: «...во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния <...>, оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, — словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе — в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С. Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства «Гриф»»[29].

Отблески личности Петровской различимы и в других произведениях Брюсова второй половины 1900-х годов — в частности, в рассказе «Сестры» (1906), где в образе Кэт, влекущейся к «любви беспредельной, безграничной», наделенной «темным вдохновением» и понимающей «все тайные жажды» существа своего возлюбленного[30], запечатлены самые характерные черты психологического облика Петровской. В подтексте книги «Στέφανος. Венок» (1906) Петровская представлена в различных ракурсах: открывавший в первом издании книгу раздел «Вечеровые песни» включал цикл стихотворений «На Сайме», навеянный впечатлениями совместной жизни с Петровской в Финляндии; раздел «Из ада изведенные» составлен из лирических медитаций, прямо или косвенно воплощавших тот самый «смерч», который пробудила в Брюсове Петровская. Любовь, воспеваемая в этих стихах, — всепоглощающая, испепеляющая страсть, нерасторжимая смесь восторгов и мучений, предельных, одновременно обогащающих и опустошающих переживаний:

Кто нас двух, душой враждебных,
Сблизить к общей цели мог?
Кто заклятьем слов волшебных
Нас воззвал от двух дорог?

Кто над пропастью опасной
Дал нам взор во взор взглянуть?
Кто связал нас мукой страстной?
Кто нас бросил — грудь на грудь?

<. . . . .>

В диком вихре — кто мы? что мы?
Листья, взвитые с земли!
Сны восторга и истомы
Нас, как уголья, прожгли.

Здесь, упав в бессильной дрожи,
В блеске молний и в грозе,
Где же мы: на страстном ложе
Иль на смертном колесе?
(*«В застенке», 10—11 декабря 1904; I, 400—401*);

Астарта, Астарта! и ты посмеялась,
В аду нас отметила знаком своим,
И ужасы пыток забылись как малость,
И радость надежд расклубилась как дым.

Одно нам осталось — сближаться, сливаться,
Слипаться устами, как гроздьям висеть,
К святыням касаться рукой святотатца,
Вплетаться всем телом в Гефестову сеть.
(*«Из ада изведенные», 28—30 июля 1905; I, 406*).

Стихотворение «Портрет» (20—21 февраля 1905 г.) из того же раздела рисует внешний облик Петровской:

Черты твои — детские, скромные;
Закрыты стыдливо виски,
Но смотрят так странно, бездонные,
Большие зрачки.

<. . . . .>

Не сомкнуты губы бессильные,
Как будто им нечем вздохнуть,
Как будто покровы могильные
Томят тебе грудь.
(*I, 397*).

Даже в разделе «Правда вечная кумиров», составленном из стихотворений на мифологические темы, лики Брюсова и Петровской проступают под знакомыми масками; они угадывались порой и в тех стихотворениях, которые создавались безотносительно к обстоятельствам реального «романа». Так, Андрей Белый распознавал их в образах диалогического стихотворения «Орфей и Эвридика», законченного 10—11 июня 1904 г. (т.е. за несколько месяцев до начала «романа»); в своих воспоминаниях он назвал главу, описывавшую взаимоотношения с Петровской (в тексте — под обозначением: Н*.*) и Брюсовым, ««Орфей», изводящий из ада»: образы Орфея и Эвридики (позднее использованные Белым в статье «Песнь жизни», 1908 г.), обыгрывавшиеся в разговорах Белого—Орфея и Петровской—Эвридики, перекочевали, по убеждению мемуариста, к Брюсову: «Она вызвала меня и <...> требовала, чтобы из *«ада извел»;* и неспроста В. Брюсов, узнавши из слов ее о наших разговорах об «Эвридике» <...>, — неспроста он потом в своем стихотворении об «Эвридике», об Н*.*, ей подставил слова:

Ты — ведешь; мне — быть покорной...
Я должна идти, должна.
Но на взорах облак черный,
Черной смерти пелена»[31].

Происшедшую в воображении Белого перекодировку «мифа» в «реальность» иллюстрирует выполненный им карикатурный рисунок «Орфей и Эвридика»: Брюсов (весь в черном) влечет за собой Петровскую (в светлом облачении), поднимающуюся из гробницы (обозначенной черным квадратом)[32]. Стихотворения «Клеопатра» и «Антоний» (в первом издании «Венка» помещенные в разделе «Из ада изведенные», позднее перенесенные в раздел «Правда вечная кумиров») уже впрямую обозначают параллели между историческими героями и их современными прототипами (Антоний — Брюсов, Клеопатра — Петровская); они актуализируют занимавшую Брюсова и Петровскую идею двойного самоубийства, а также, помимо апелляции к исторической мифологии, вызывают многослойные литературные ассоциации — от «Антония и Клеопатры» Шекспира до «Египетских ночей» и других пушкинских текстов[33].

Назвав Петровскую «музой поэта Валерия Брюсова», Андрей Белый в подтверждение такого определения добавил: «вспомните любовную лирику лучшей его книги — «Венка»: половина стихотворений обращена к ней»[34]. Сама Петровская сильно желала увидеть открывавшее «Венок» печатное посвящение ей и была до крайности уязвлена тем, что автор на такой демонстративный акт не решился. Брюсов явно не хотел дополнительно осложнять свою семейную жизнь: жена его, Иоанна Матвеевна, не могла оставаться в неведении относительно того, о чем уже судачила вся литературная Москва[35]. В отличие от многих прежних любовных увлече-

ний, эта брюсовская связь протекала «на виду»; Петровскую воспринимали по большей части как спутницу поэтического «мэтра», таковой она и запечатлелась в памяти современников: «С ней я почти не была знакома, но, по случайным встречам на лекциях и собраниях, помню ее. Деланная томность, взбитая, на пробор декадентская прическа. Туалеты с некоторой претензией на стильность и оригинальность. Общее впечатление скорее — неряшливости» (Б.М. Рунт-Погорелова)[36]; «Вы, конечно, знаете ее, эту маленькую «женщину в черном», — вечно в черном. Пышные волосы, расчесанные пробором посередине, темное лицо, большие черные глаза, черное шелковое платье с шлейфом — такова внешность. Странная внешность, которая не таит в себе очарованья и говорит о мужской силе ума, мужской беспристрастности и, пожалуй, бесстрастности. Даже немножко мужской голос» (А.А. Тимофеев)[37]; «...молодая женщина, внешность которой нельзя было определить ни в положительном, ни в отрицательном смысле: до такой степени ее лицо сливалось со всеми особенностями фигуры, платья, манеры держаться. Все было несколько искусственное, принужденное, чувствовалось, что в другой обстановке она другая. Вся в черном, в черных шведских перчатках, с начесанными на виски черными волосами, она была, так сказать, одного цвета. Все в целом грубоватое и чувственное, но не дурного стиля. «Русская Кармен» назвал ее кто-то. <...> Валерий Яковлевич рядом с Н<иной> П<етровской> был сумрачен и хорош» (К.Г. Локс)[38].

Отношения с Брюсовым прямо или косвенно подразумевались и в тех немногочисленных случаях, когда объектом внимания оказывалось художественное творчество Петровской — точнее, ее единственная небольшая книжка рассказов «Sanctus Amor», вышедшая в издательстве «Гриф» в 1908 г. (руководитель «Грифа» С.А. Соколов, сблизившийся в 1906 г. с Л.Д. Рындиной и затем на ней женившийся, сохранил с бывшей женой добрые отношения). «Сочинения какой-нибудь Нины Петровской: «Sanctus Amor» — не более как самообъективизация женщины, признающей пол своей исчерпывающей сущностью и пишущей, как всегда в таких случаях, с помощью ассимилированных ума и «творчества»», — заключала З.Н. Гиппиус[39], и в ее оценке сказывается та общая установка, которая объединяла многих в восприятии Петровской и предполагала приоритет «жизнетворческого» образа по отношению к литературным опытам. Андрей Белый, посвятивший книге Петровской отдельную небольшую статью в «Весах» (1908. № 3), также подразумевает пол «исчерпывающей сущностью» автора, отмечая, что все безликие герои рассказов выступают «как манекены, опьяненные любовью»[40]. Лишь критики, стремившиеся разграничить автора и его творчество (или имевшие представление только о последнем), оказывались способными оценить рассказы Петровской по существу и уловить их своеобразие — при всей скромности дарования и очевидной ориентации на стилевые образцы (новейших писателей, «умеющих передавать музыку настроений», — К. Гамсуна, П. Альтенберга,

О. Дымова и др.): «Неоригинальность стиля «Sanctus Amor» показывает, что автор рассказов — художник не крупный; думается, что автор и сам не претендует на это; он только умеет запечатлеть в себе тончайшие оттенки жизни, беспощадно-многообразной, умеет отдавать душу переживаниям, чтобы рассказать потом людям ее тихую песнь»[41].

Сборник «Sanctus Amor» составлен исключительно из повествовательных миниатюр на любовную тему, отдельные коллизии в них имеют автобиографический подтекст (аллюзии на отношения с Брюсовым наиболее явственны в рассказе «Раб»). В беллетристических опытах, как и в мироощущении Петровской, любовь — высшее, самое сильное и самое трагическое из человеческих переживаний, пребывающее в постоянном непримиримом конфликте с житейской повседневностью: «Моя любовь то, что называют «безумием». Эта бездонная радость и вечное страдание. Когда она придет, как огненный вихрь, она сметет все то, что называется «жизнью». В ней утонет все маленькое, расчетливое, трусливое, чем губим мы дни. Тогда самый ничтожный станет богом и поймет навсегда великое незнакомое слово «беспредельность»»[42]. Все рассказы выдержаны в единой стилевой тональности: сдержанная, лаконичная манера письма, минимум изобразительных средств, преобладание лирико-импрессионистических и психологических зарисовок, наиболее выразительные образцы которых в русской прозе тех лет были представлены творчеством О. Дымова (Петровская его высоко ценила: «Бесконечная простота внешних приемов, протестантское отношение к традиционной форме рассказа, своеобразно-красочный стиль — все это свежо, самобытно, радостно оторвано от изгнивших корней одряхлевшей декадентской литературы и так близко заветам единственного учителя в области художественной прозы — Кнута Гамсуна»[43]).

Брюсов считал, что у Петровской имеются большие духовные и интеллектуальные резервы и недюжинные профессиональные способности для того, чтобы сформироваться в крупного литературного мастера, и со своей стороны всячески пытался пробудить в ней творческую активность. В годы издания «Весов» Петровская, главным образом по брюсовской инициативе, регулярно выступала в журнале с отзывами о новейших книгах (опубликовано около 20 рецензий, часть их подписана псевдонимом: Н. Останин); в этих опытах, выдержанных в духе программных эстетических установок журнала, сказываются критическая зоркость и наблюдательность, литературный вкус, мастерство анализа[44] — именно те качества, которые характерны для статей, обзоров и рецензий Брюсова (свою преемственность по отношению к его установкам Петровская иногда впрямую декларирует[45]). Когда, после прекращения «Весов», Брюсов стал заведующим литературно-критическим отделом журнала «Русская мысль», он привлек к сотрудничеству и Петровскую, всячески стараясь обеспечить ее литературной работой[46]. И все же реализовать свои писательские способности Петровская сумела лишь в самой малой мере; свои основные душевные силы, весь энергетический потенциал своей личности она растра-

тила на внутренние переживания — и на любовь к Брюсову прежде всего; точнее — на чувства, вызванные Брюсовым, — поскольку, помимо любви, они включали широкую гамму самых противоречивых, взаимоисключающих эмоций.

После радостно-безмятежного «медового месяца» в Финляндии их отношения перешли в новую фазу, конфликтно-драматическую. Петровская не могла удовольствоваться ролью любовницы, которую только и мог предложить ей Брюсов в своей жизни; она требовала от него такого же безраздельного чувства, каким сама одаривала. Временами Брюсов оказывался готов пойти навстречу ее страсти и своим собственным порывам, но житейский «здравый смысл» неизменно брал верх; брало верх и то ровное, иногда слабое, но неизменно постоянное, прочное чувство, которое он испытывал к своей жене. В уже цитировавшемся письме к М.М. Рунт (март 1905 г.), в котором он говорил о «смерче» в своей жизни, Брюсов заверял (стремясь через свояченицу воздействовать на жену, угрожавшую семейным разрывом): «Ничего дурного, злого Жанне — я не желаю. Я просто поглощен чем-то иным, не ею. Она чувствует это и отчаивается. Проще: она ревнует. <...> Я прихожу поздно домой, — она что-то подозревает, рыдает, происходят мучительнейшие сцены, о которых не хочется рассказывать. Ее ошибка — что она всю свою жизнь положила в меня, и когда я ухожу — у нее не остается жизни. Ей надо создать свою жизнь, личную, собственную. Ибо жить только для нее я не могу. <...> Она часто как безумная и мучит меня жестоко упреками, рыданиями, своим отчаяньем. <...> Нельзя упорно думать об одном: «ах, он меня не любит, ах, он мне не верен». Это стало ее idée fixe, навязчивой идеей, на которой можно помешаться. <...> Я очень хочу жить с ней еще много, много лет, — до конца дней. Мне было бы очень плохо без нее. Я очень рад, что моя жена — она, а не кто другой. <...> Но ведь уходить от меня, когда она меня любит, когда я ее люблю, когда я вовсе не хочу разлучаться с ней и когда она больше всего хочет быть со мной — очень уж бессмысленно»[47].

Столь твердую готовность сохранять семейный союз Брюсов сформулировал еще в дни, когда его роман с Петровской был в стадии интенсивного расцвета; закономерно, что решения не порывать с преданной ему и любящей его Жанной он не изменял и впоследствии, и в особенности оставался ему твердо верен тогда, когда его страсть к Петровской угасала либо сменялась новыми любовными влечениями. То предпочтение, которое оказывал Брюсов в конечном счете своей жене, домашнему укладу и даже литературной работе, Петровская расценивала как предательство их любви и впадала временами в полное отчаяние. Излиянию этих эмоций посвящены десятки и сотни страниц ее писем к Брюсову, на которых постоянно фигурируют три главных действующих лица — он, она и «она», никогда не называемая по имени жена возлюбленного. Петровская изливала на нее все презрение и весь сарказм, на какие была способна, но эти старания пропадали втуне.

Свидетельствует Ходасевич («Конец Ренаты»): «Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы<...>»[48] Один из таких «приступов» случился публично, 14 апреля 1907 г. — на лекции Андрея Белого в Политехническом музее: «На лекции Бориса Николаевича, — писал Брюсов З.Н. Гиппиус, — подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и *спустила курок*. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф (С.А. Соколов. — *Ред.*), Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно, — совсем, как в лермонтовском «Фаталисте». И, следовательно, без благодетельной случайности или воли Божьей вы совершенно просто могли получить, вместо этого письма, от «Скорпиона» конверт с траурной каймой»[49].

Попытки «возбудить ревность» Брюсова также приводили иногда к серьезным последствиям. В 1907 г. Петровская вызвала жгучий интерес к себе со стороны Сергея Ауслендера, начинающего петербургского прозаика и племянника М. Кузмина. С посвящением Петровской была опубликована стилизованная новелла Ауслендера «Корабельщики, или Трогательная повесть о Феличе и Анжелике», написанная в сентябре—октябре 1907 г.[50]; Петровская же — возможно, «мстя» Брюсову за то, что он не провозгласил ее имени в «Венке», — в «Sanctus Amor» демонстративно обозначила (на следующем листе за титульным, литерами того же размера, что и имя автора и заглавие книги): «Посвящаю Сергею Ауслендеру». Взаимное увлечение привело к тому, что Ауслендер и Петровская отправились весной 1908 г. в совместное путешествие по Италии[51] (оно впоследствии нашло отражение в сюжете романа Ауслендера «Последний спутник», в котором Петровская является прототипом главной героини, Юлии Михайловны Агатовой; эпиграф же, предпосланный роману, — пушкинская строка «Ты любишь горестно и трудно» — мог бы служить эпиграфом и к жизнеописанию Петровской[52]). В ходе путешествия вспыхнувший было новый роман исчерпал себя: «мальчик» (так Петровская именовала Аус-

лендера в письмах к Брюсову) ее решительно разочаровал, — а «перемена мест» целительного действия не оказала. Упомянутое выше стихотворение «Молния» Брюсов называл «фотографией моей сегодняшней души»; аналогичную фотографию души Петровской правомерно видеть в ее очерке «Мертвый город», написанном по впечатлениям от знакомства с Венецией. Панорамы, всегда и всех пленявшие и воодушевлявшие, она окидывает равнодушным взором, различает в них лишь «притворно красивую всемирную открытку», зато пытается распознать «настоящее лицо Венеции, искусно скрытое», выявляет его и глядится в него, как в зеркало: «...это, воистину, город смерти и великого унынья. Изъеденные змеиными узорами, стены белеют мертвенно и тускло. <...> Кто-то запел, но, точно испугавшись, оборвал. Скользнула гондола — длинная, черная, как тело чудовищной рыбы. Качнулся фонарь, бросил желтую скользящую чешую, и опять холодна, мертва и дышит гнилью недвижная вода. Тишина огромного кладбища подавила жизнь этих людей. <...> Днем они побеждают смерть, а ночью она побеждает их, замедляет движенья, делает плоскими фигуры и восковыми веселые подвижные черты. И только здесь в этих улицах, где разрушение выступает, точно пятна на лице трупа, только здесь можно видеть, как рассыпается прахом чья-то безумная мечта. И, покидая Венецию, хочется сказать: — Прощай! Прощай навсегда»[53].

Временное облегчение давали Петровской только сильно действующие средства — алкоголь, затем наркотики. В 1908 г. она была уже всецело в зависимости от морфия. Отношения с Брюсовым постепенно приобрели характер мучительных препирательств и психологических эксцессов в духе тех, что описаны в романах Достоевского (Белый замечал о Петровской: «...я бы назвал ее *Настасьей Филипповной*, если бы не было названия еще более подходящего к ней: тип средневековой истерички, болезнь которой суеверы XVI и XVII столетия называли одержанием<...>»[54]), периоды сближения чередовались с «изменами», которых они не скрывали друг от друга (у Брюсова — не очень продолжительная, но сильная страсть к В.Ф. Коммиссаржевской, у Петровской — связи, установившиеся в 1908 г. во Франции, которые, судя по ее признаниям, могли радикально изменить ход ее жизни), и Брюсов иногда готов был поставить финальную точку во всей истории. Однако после кратковременных встреч и конфликтных объяснений осенью 1908 г. во Франции (Брест) и Бельгии (Намюр) взаимное притяжение возобладало, их отношения получили второе дыхание. Примечательно, что произошло это главным образом благодаря активным усилиям Брюсова: лавина его писем, отправленных Петровской зимой 1908—1909 гг., — тому убедительное подтверждение.

В любовных стихах, вошедших в книгу Брюсова «Все напевы» (1909), мотивы, неразрывно связанные ранее, в «Венке», с образом Нины Петровской, получают новое развитие, дают иногда, может быть, еще более яркий отблеск все той же страсти:

Идем творить обряд! Не в сладкой, детской дрожи,
Но с ужасом в зрачках, — извивы губ сливать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать.

Как милостыню, я приму покорно тело,
Вручаемое мне, как жертва палачу.
Я всех святынь коснусь безжалостно и смело,
В ответ запретных слов спрошу, — и получу.

Но жертва кто из нас? Ты брошена на плахе?
Иль осужденный — я, по правому суду?
Не знаю. Все равно. Чу! красных крыльев взмахи!
Голгофа кончилась. Свершилось. Мы в аду.
(*«Обряд ночи», 1905, 1907; I, 493—494*).

Однако та же страсть приобретает иное обличье в семи стихотворениях из «Всех напевов», объединенных в раздел «Мертвая любовь»:

Мы, безвольные, простертые,
Вновь — на ложе страстных мук.
Иль в могиле двое, мертвые,
Оплели изгибы рук?

Или тени бестелесные,
Давней страсти не забыв,
Всё хранят объятья тесные,
Длят бессмысленный порыв?
(*«Снова», 1907; I, 482*).

И, наконец, в стихотворении «Возвращение» (23 ноября 1908 г.) Брюсов возвещает новую «программу» любви, очерчивает изменившиеся контуры прежнего чувства, но провозглашает его силу и подлинность. Стихотворение построено как диалог двух голосов — Она, изведавшая «грешные пути», кается перед бывшим возлюбленным, Он уверяет ее в верности, в готовности вновь испытать пережитое:

Она

Все былое мной давно
До конца осквернено.
Тайны сладостных ночей,
И объятий, и речей,
Как цветы бросая в грязь,
Разглашала я, глумясь,
Посвящала злобно в них
Всех возлюбленных моих!

Он

Что свершила ты, давно
Прощено, — освящено
На огне моей любви!
Душный, долгий сон порви,
Выйди вновь к былым мечтам,
Словно жрица в прежний храм!
<. . . . .>
Ты — моей души алтарь,
Вечно чистый и святой!
И, во прахе пред тобой,
Вновь целую я, без слов,
Пыльный след твоих шагов!
(I, 495—496).

Пафос этого стихотворения Брюсов попытался воплотить в жизнь, когда Петровская, вняв его упорным настояниям, вернулась из Парижа в Москву. Но тогда же, весной 1909 г., упоение от новых встреч быстро сменилось привычной психодрамой. Уезжая в очередной раз за границу, Петровская, видимо, уже не ожидала возобновления прежнего: новых встреч больше не было, надолго угасла переписка, — однако Брюсов смог, неожиданно для нее и для самого себя, вырваться к ней в Париж, где они прожили осенью 1909 г. вместе около полутора месяцев — сумели тогда подарить друг другу еще один, после Финляндии, «медовый месяц». Как писал Брюсов в стихотворении «Видение во сне» (Париж, сентябрь 1909 г.), отразившем переживания той поры:

Все, что сердцу было свято,
Все вернул мне этот лик,
Нежность губ, печальность взора...
И душа была объята
Прежним пламенем в тот миг![55]

Новый всплеск страсти получил и дополнительную окраску: Брюсов, самозабвенно стремясь полностью погрузиться в мир пристрастий и фантазмов своей возлюбленной, стал принимать наркотики. И.М. Брюсова предъявляла Петровской самый неоплатный счет за то, что она пристрастила ее мужа к морфию[56]. Отныне Брюсов, слагая строки сонета «К***» («Усталый сын изысканного века...», 20 сентября 1910 г.):

...Твой верный друг — аптека,
Сулящая гашиш, эфир, морфин...

О, яды сладкие, дарующие благо
Преображенья! Вкрадчивая влага,
Вливающая силу и мечту![57], —

подразумевал уже не условного адресата, воображаемого, исторического или современного, «пытателя естества», а, конечно, себя самого. Возможно, уезжая из Парижа в Москву, он предполагал, что распрощается не только со своей любовью, которую отрадно было воскресить и было немыслимо продолжать, но и с ее наркотической составляющей; написав возлюбленной с дороги о проведенных с нею парижских неделях как о «потерянном рае», он явно не грезил о «возвращенном рае», и Петровская это чутко уловила и оскорбилась (послания Брюсова к ней этой поры, как и последующие, неизвестны, но по сохранившимся письмам Петровской отчасти можно реконструировать психологическую ситуацию того момента). Не получилось ни того, ни другого — ни с любовью, ни с ее составляющей. Петровская, пробужденная к жизни парижским «медовым месяцем», — и вопреки явному нежеланию Брюсова — вскоре возвратилась в Москву. Наступила последняя, самая тяжкая стадия их взаимоотношений.

К.Г. Локс сообщает в своих мемуарных записках: «...когда В<алерий> Я<ковлевич> умер, Жанна Матвеевна доверила мне письма Н<ины> П<етровской> к нему. Эти письма — вопль истязуемой женской души. Где кончались истязания и начинались самоистязания — судить не берусь»[58]. Приведенная характеристика относится в наибольшей степени к письмам Петровской 1910—1911 гг. Многие из них, переполненные бесконечными укорами, жалобами, проклятиями и мольбами, сочинялись в состоянии наркотического транса и получали благодаря этому особенно сильную эмоциональную окраску; без наркотиков Петровская уже не могла существовать и в своем пристрастии к ним не раз оказывалась на грани жизни и смерти. Отношения с Брюсовым становятся для нее невыносимыми, и в то же время она влечется к нему, порицает за холодность, за пренебрежение ею — и умоляет о новых встречах, просит провести с нею вместе хотя бы несколько летних недель — о постоянной совместной жизни уже не мечтая (Брюсов после ряда «уклонений» все же пошел навстречу: в июле 1911 г. они побывали вдвоем в Лифляндии). Роман вступил в стадию длительной агонии, которую Петровская готова была принять как свою духовную и физическую гибель; ее alter ego, о котором она постоянно вспоминает, — образ умирающей Ренаты из «Огненного Ангела».

Те, кому Петровская тогда изливала свою душу, порицали Брюсова, считали его поведение жестоким. «Я не любил его за Вас — это Вы знаете», — признавался Ходасевич Петровской в своих чувствах к Брюсову, — добавляя, правда, в том же (возможно, неотправленном) письме слова, которые не могли свидетельствовать о его беспристрастности: «...знайте, что я люблю Вас больше, чем всех других людей вместе»[59]. Действительно, «гибель всерьез», на которую шла и к которой стремилась Нина Петровская (не приходится отрицать и оттенка самоуслаждения душевными страданиями, который подметил в ее письмах Локс), с драмой Брюсова, всего лишь разрываемого между любовницей, семейным очагом и новыми влечениями, сопоставления не выдерживает. Однако приходится

считаться и с неотъемлемым правом Брюсова — быть самим собой, быть верным изначальным структурообразующим основам своей личности, своему «протеизму» и своему творческому предназначению. Брюсов ясно осознавал, что он неспособен к постоянной совместной жизни с Петровской — и не только потому, что таковая внесла бы нежелательные и даже разрушительные коррективы в определившиеся ритмы его литературной деятельности (которая для него в иерархии ценностей всегда оставалась на первом плане) и создала бы дискомфорт в налаженных обыденных житейских условиях (Петровская хорошо понимала это: «Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассвете усталого, сонного, чужого»[60]). Главным препятствием был психологический максимализм Петровской, требовавший, чтобы вся жизнь была подчинена одной страсти, исчерпывалась этой страстью. Брюсов последовать такому призыву был не в силах. Его максимализм мог распространяться лишь на единственную, но всеобъемлющую сферу — на творчество, «сочетания слов».

Последний всплеск их любви нашел поэтический отклик в стихах, составивших раздел «Страсти сны» в книге Брюсова «Зеркало теней» (1912)[61]. Одному из стихотворений («Да, можно любить, ненавидя...», 1911) предпослан эпиграф из Катулла «Odi et amo» («Ненавижу и люблю»), который звучит психологическим камертоном для всех поэтических отражений в очередной раз возобновленного чувства:

Опять безжалостные руки
Меня во мраке оплели.
Опять на счастье и на муки
Меня мгновенья обрекли.

Бери меня! Я твой по праву!
Пусть снова торжествует ложь!
Свою нерадостную славу
Еще одним венком умножь!

Я — пленник (горе побежденным!)
Твоих колен и алчных уст.
Но в стоне сладостно-влюбленном
Расслышь костей дробимых хруст!
(*II, 38*)

С посвящением Нине Петровской в «Зеркале теней» помещено стихотворение «В ответ на одно признание» (датировка: 9 апреля 1910 г.). Это — поэтический отклик, по всей видимости, на утешающую легенду,

которую Брюсов и Петровская творили в противовес драматической реальности их отношений: они встретились слишком поздно для того, чтобы создать «сказку» «из нашей страсти», чтобы воплотить любовь во всей полноте и гармонии:

Ты обо мне мечтала в годы те,
Когда по жизни шел я одиноко,
И гордо предан огненной мечте
О женщине безвестной и далекой.

<. . . . .>

Какие б я слова нашел тогда,
В каких стихах пропел бы гимны счастья!
Но розно мы томились те года
И расточали праздно, навсегда,
Двух душ родных святое сладострастье!
(*II, 85*)

Этому поэтическому мифотворчеству противостояло в сознании Брюсова, однако, ясное представление о действительности — в данном случае воплотившееся как «видение» в прозаической миниатюре из цикла «Сны» (1 июля 1911 г.; вопрос о том, представляют ли собой тексты, включенные в цикл, запись подлинных снов или творческую фантазию автора, — конечно, праздный). Поразительно, что в этом «сне» очерчен тот облик Петровской, который она обретет годы спустя:

«В каком-то городке, по-видимому немецком, на бульваре, за киоском, я встретил ее, ту, которую любил когда-то.

Одного взгляда было достаточно, чтобы понять положение, до которого она дошла. Кричащее, но бедное платье, громадная, но нищенская шляпа с жалким, хотя и большим пером, поблекшее лицо, густо покрытое румянами.

Жалость, неизмеримая жалость наполнила мою душу, и я сказал ей:

— Неужели ты не узнала меня? Я все тот же, каким был, я — твой, по-прежнему твой. Теперь я нашел тебя вновь, и мы более не расстанемся никогда. Пойдем со мной.

Она долго смотрела на меня, как бы узнавая, потом ответила:

— У тебя есть жена.

Я возразил:

— Больше у меня никого нет, кроме тебя. Ты одна существуешь для меня в мире. Даю тебе клятву быть вечно верным тебе, быть твоим рыцарем, твоим слугой. Хочешь, я стану сейчас на колени перед тобой?»

Он уговаривает ее, влечет к «роскошному отелю, где остановился», она просит его подождать и ускользает.

«Через миг я уже бросился догонять ее. Но ее нигде не было»[62].

В 1911 г., когда был написан (или записан) этот «сон», история любви приблизилась к финалу. 12 сентября 1911 г. И.М. Брюсова сообщила Н.Я. Брюсовой: «Я Вале поставила летом ультиматум: если он не оставит m-me Гриф, — я уйду. Отъезд свой я обдума<ла>. Условие это поставлено главным образом из страха, что опять она изобретет какое-нибудь гибельное для В<али> исхищрение, вроде морфия. Скучно и противно все это. Поговорили, поговорили и опять помирились, вернее я еще осталась, а В<аля> обещался бывать у ней реже»[63]. Уехала не Иоанна Матвеевна, а Петровская. После тяжелой болезни, усугубленной морфием, было решено отправить ее для лечения за границу в сопровождении врача Генриха Койранского (который пытался избавить от наркотической зависимости и ее, и Брюсова)[64].

Вспоминает Ходасевич (мемуарный очерк «Брюсов»): «Наступил день отъезда — 9 ноября[65]. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купэ, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются *навеки*»[66]. После этого Петровская в Москву не возвращалась и с Брюсовым не виделась.

Сразу после ее отъезда Брюсов написал стихотворение «Покорность» (ночь 10/11 ноября 1911 г.), в котором нетрудно уловить чувства и мысли, вызванные только что пережитым расставанием:

Не надо спора. Буду мудрым.
Склонюсь покорно головой
Пред тем ребенком златокудрым,
Что люди назвали Судьбой.

<. . . . .>

Хочу: в твоем спокойном взоре
Увидеть искры новых слез;
Хочу, чтоб ввысь, где сладко горе,
Двоих — один порыв вознес!

Но буду мудр. Не надо спора.
Бесцелен ропот, тщетен плач.
Пусть вверх и вниз, легко и скоро,
Мелькает жизнь, как пестрый мяч!
(*II, 44—45*)

Несколько лет спустя Брюсов воскресил в памяти Петровскую, создавая венок сонетов «Роковой ряд» (1916); в 14 сонетах венка он запечатлел образы четырнадцати своих возлюбленных. Нина Петровская воспета в 8-м сонете («Дина»):

Ты — слаще смерти, ты — желанней яда,
Околдовала мой свободный дух!
И взор померк, и воли огнь потух
Под чарой сатанинского обряда.

В коленях — дрожь; язык — горяч и сух;
В раздумьях — ужас веры и разлада;
Мы — на постели, как в провалах Ада,
И меч, как благо, призываем вслух!

Ты — ангел или дьяволица, Дина?
Сквозь пытки все ты провела меня,
Стыдом, блаженством, ревностью казня.

Ты помнишься проклятой, но единой!
Другие все проходят за тобой,
Как будто призраков туманный строй.
(*II, 306*)

Отголоски пережитого вместе с Петровской время от времени возникают и в позднейших стихах Брюсова — например, в стихотворении «Памяти одной» (28 мая 1920 г.), в котором поэт обращается к тому, что было «пятнадцать лет назад», т.е., по всей вероятности, к путешествию в Финляндию[67]. Однако в целом его жизнь и творчество насыщаются новым содержанием, новыми темами, и живому образу Петровской среди них уже нет места. По-новому пробует строить свой жизненный уклад за границей и Петровская — сохраняя, однако, отчетливое осознание того, что впереди у нее не полноценная жизнь, а лишь доживание.

В первые годы пребывания за границей она пытается активно сотрудничать в русской печати. Тому был и вполне объяснимый стимул — недостаток средств, хотя Брюсов и бывший супруг С. Соколов оказывали ей материальную поддержку. В периодике появлялись ее рассказы, которые предполагалось даже издать отдельной книгой (в 1914 г. издательством «Гриф» анонсировалась вторая книга ее рассказов «Разбитое зеркало», однако издание не состоялось). По сравнению со сборником «Sanctus Amor» новые беллетристические опыты Петровской — в большинстве своем печатавшиеся, благодаря протекции Соколова, в московской газете «Утро России» — отличаются творческой зрелостью, стремлением к более широкому и объективному отражению действительности, заметно повысившимся уровнем повествовательного мастерства[68]. Дополнительный литературный заработок давали Петровской газетные и журнальные рецензии, которые регулярно публиковались до ее отъезда за границу[69], но, не имея возможности знакомиться в Италии с русским книжными новинками, она принуждена была от этой работы отойти. Литература, однако, не спасала, не облегчала жизненных тягот. К материальной нужде и постоянному не-

рвному расстройству присовокупились прежние недуги, порожденные злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

Свидетельствует Ходасевич («Конец Ренаты»): «Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой»[70]. В связи с последним сообщением более внятные сведения содержатся в письме Соколова к Брюсову от 24 ноября 1912 г.: «В начале пребывания Нины в Мюнхенской клинике Красного Креста <...> мюнхенский профессор подавал надежду на благополучный и сравнительно скорый исход ее болезни (туберкулез колена) при правильном лечении. <...> Боль до крайности велика. Первое время Нина терпела, но потом отказалась и при малейшей попытке сделать что-нибудь с ногой стала поднимать, как сама пишет, «звериный вой», почему все доктора отступали. <...> В связи с этим положением вещей она стала умолять меня письмами и телеграммами (мне и Генриху Койр<анскому>), чтоб ее перевезли в Москву»[71]. Вместо Москвы Петровская перебралась в Варшаву к Брылкиным, родственникам второй жены Соколова. 25 февраля 1914 г. Соколов извещал Андрея Белого: «Адрес Нины для писем сейчас: Варшава. Гурная. 8. Кв<артира> Брылкиных. Туда можно *всегда* писать, — ей доставят верно. <...> Она почти 3 года вне Москвы, сперва за границей, где перенесла тяжелую и многомесячную болезнь, с осени — в Варшаве. К весне, вероятно, опять уедет за границу. Вы ей напишите, — она будет очень счастлива, — Вас всегда поминает добром и с нежной симпатией. У ней были очень тяжелые душевные потрясения. Хорошо лишь то, что теперь она *совершенно* излечилась душой от власти Брюсова и давно порвала с ним абсолютно»[72].

Разрыв с Брюсовым не означал, однако, затухания его образа в сознании Петровской; в этом образе лишь восторжествовали негативные черты. Описывая Ходасевичу свои годы, проведенные за границей, она признавалась, не называя Брюсова по имени — как бы табуируя самое важное: «Задыхалась от злого счастья, что теперь *ему* меня не достать, что теперь другие страдают. <...> Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением»[73]. Проклиная Брюсова, она, однако, полностью отождествила себя с героиней «Огненного Ангела» и даже попыталась воплотить в действительность религиозно-церковную ипостась личности брюсовской Ренаты: «Единственная моя реальность сейчас — это Чудо. За эти же годы, по глубочайшему религиозному убеждению перешла к Католичеству <...> мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro, — Renata... <...> С меня стерлась вся мишурная позолота и если не «свиная кожа», то осталась только религия (в моем понимании) да холодная мудрость души, жившей и умиравшей миллион раз»[74].

Живя в основном в Италии, Петровская бедствовала больше всего в годы мировой войны, когда связи с Россией фактически прервались и

поддержка со стороны бывшего мужа прекратилась (Соколов, ушедший в армию добровольцем, в марте 1915 г. попал в немецкий плен). «Война застала ее в Риме, — пишет Ходасевич, — где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения»[75]. Сообщая М. Горькому о своем намерении написать книгу об Италии («в своем роде «Мои университеты»»), Петровская признавалась: «За 9 лет жизни без гроша в кармане я узнала там и быт и людей и такие положения, которые никому и не снились в золотые дни символизма»[76].

В сентябре 1922 г. Петровская переехала в Берлин, тогда главный литературный центр русской эмиграции, где стала постоянной сотрудницей «сменовеховской» газеты «Накануне» и литературных приложений к ней, выходивших под редакцией А.Н. Толстого. С ноября 1922 г. до июня 1924-го, когда газета закрылась, там регулярно печатались произведения Петровской — фельетоны, очерки, рассказы, рецензии, обзоры итальянской литературы, переводы итальянских новелл. В переводе Петровской, обработанном А.Н. Толстым, в 1924 г. в Берлине были изданы «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди — первоисточник «Золотого ключика»[77], в Москве в 1923 г. — «Хвостик. Повесть из жизни муравьев» Вамбы (Луиджи Бертелли). Полтора года сотрудничества в «Накануне» оказались периодом наиболее активной литературной деятельности в ее жизни, а также порой полноценного возвращения в российскую писательскую среду, постоянных контактов как с прежними московскими знакомцами (Андреем Белым, Ходасевичем и др.), так и с авторами нового поколения[78]. Один из представителей последнего, Роман Гуль, руководивший после ухода А.Н. Толстого изданием литературных приложений к «Накануне», очертил в мемуарах облик Петровской — красноречивое свидетельство того, какое разрушительное действие оказали на нее десять лет заграничной жизни: «Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н.И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии — всегда черная шляпа с сногсшибательными широкими полями, как абажур. Острая на язык»[79].

Сходные впечатления сохранила и Нина Берберова, подтверждавшая, что и в Берлине для Петровской в центре внимания по-прежнему оставался носитель табуированного имени: «С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной.

<...> В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного жутковатое, низким голосом она говорила о том, что написала *ему* письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь ждет, что *он* ответит ей и позовет ее в Москву. <...> Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их *декадентской саги*. <...> Она приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о *нем*. Но Брюсов на письмо ей не ответил»[80].

За время пребывания в Берлине Петровская, видимо, в очередной раз переменилась в своих эмоциях по отношению к Брюсову и с явным предубеждением воспринимала теперь неодобрительные отзывы о нем окружающих. 31 декабря 1922 г. она сообщала О.И. Ресневич-Синьорелли: «О В. Брюсове говорят, что он так унизился с Б., так упал, так выродился, состарился... Тоже не верю... пока не вложу «персты в язвы»...»[81] Публикатор письма сообщает, что «Б.» в этом фрагменте — «лицо неустановленное», однако, думается, сокращение подразумевает здесь не конкретную персону, а множество существ или явление: большевиков или большевизм. Не готова была Петровская присоединить свой голос к общему хору порицающих Брюсова за союз с новой властью. Но присоединила его к другому хору — славящих Брюсова по поводу 50-летия со дня рождения: «Очень просили меня написать, и нельзя было уклониться, осталось бы пустое место, именно мое. Написала, и вот затосковало сердце... Портрет его повесила, смотрю... Стал он старый, старый, уже не на «мага», а на «шамана» похож. Смотрю и понять не могу, как и зачем эти годы мои прошли!..»[82] В своей юбилейной статье, однако, Петровская подобным настроениям не поддается; она описывает не тот новейший портрет, который был у нее перед глазами, а прежний, знаменитый, работы Врубеля; и Брюсов в ее трактовке, задрапированный в заведомо старомодные символистские словесные облачения, — это мэтр русского символизма в период его расцвета, в тот период, на который приходились лучшие дни, ими совместно прожитые:

«Выступая на арене, весь закованный в стальной панцирь своего таланта, или уединяясь в свои заклятые пещеры, — Валерий Брюсов разбрасывал в первые же годы щедро дары своих неисчерпаемых сокровищ. <...> «Весы» под руководством Валерия Брюсова стали питомником молодых талантов, аскетической школой деятелей искусства, которым было суждено взорвать мертвенность окостеневших форм и на долю которых пришлась тяжелая задача — поднять на должный уровень косную, влюбленную в прошлое, враждебную толпу.

Быть может, на этом испепеляющем костре, на этом очистительном огне, куда Валерий Брюсов бросил без остатка душу и жизнь, и возник

тот гранитный облик врубелевского портрета, веющий потусторонней жутью.

Превратить свою жизнь в суровую трагедию искупления, сказать, что

Все в жизни лишь средство
Для ярко певучих стихов,

и знать только одно, что: «От века из терний поэта заветный венок» — дано лишь немногим в русской литературе»[83].

Со смертью Брюсова, последовавшей 9 октября 1924 г., для Петровской окончательно отодвинулась в прошлое эпоха символизма, к которой всецело принадлежала и она сама, и вся история ее взаимоотношений с одним из вершинных выразителей этой эпохи.

Свидетельствует Роман Гуль: «...о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для «Литературного приложения». Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное «Литературное приложение» с большим портретом Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла «Литературное приложение» и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: «Да... Это он...» И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената всю жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь»[84].

Сразу же после кончины Брюсова Петровская взялась за «Воспоминания». Это — последнее и, может быть, наиболее значительное ее литературное произведение, воссоздающее различные эпизоды из жизни московских символистов в первые годы XX века и отличающееся новым, трезво-аналитическим взглядом на «декадентские» настроения и соблазны. В центре повествования — «настоящий» Брюсов, которого Петровская, стремясь возвыситься над собственными эмоциями, пытается осмыслить, великодушно отодвигая в сторону собственные беды и обиды; «настоящего», до конца ею понятого Брюсова она противопоставляет расхожим мнениям и кривотолкам о нем. Отвечая на упрек Ходасевича (собиравшегося опубликовать «Воспоминания» в берлинском журнале «Беседа»), что «объективная оценка В. Брюсова как поэта и человека» у нее «чудовищно повышена», Петровская заявляет: «О моей оценке В. Брюсова—поэта можно сколько угодно спорить <...> Но «человека»?.. Я его знала *таким*, и не могу рассказывать об *ином*. Смею сказать, — я знала о нем то, о чем не догадывались другие. И больше: по-моему, только я, — путем самосожжения, правда, — приблизилась к его подлинной сущности, заслоненной тысячами «стилей» сознательных и бессознательных. В нем жило наполовину безумие, но воистину в этот пылающий горн он обеими руками лил холодную воду. <...> Писала же я о нем только правду и почти всегда горькую для меня»[85]. В следующем письме к Ходасевичу

Петровская развивала ту же тему: «Валерия никто, наверно, не помянет добрым словом. Тем хуже... А может быть тем лучше, что его никто, кроме меня, не понял. Я же ему себя не простила <...>, я просто поняла, что *иным* быть он не мог. Никто не может быть *иным*, а до конца пребывает тем, кто он есть. <...> Через годы, после его смерти я полюбила то *счастье*, что звала трагедией и горем по *недомыслию моему*. Поняв все это, *ничего* не ставлю ему в счет. Если это все-таки называется «простить», — то да, — я *простила*, и образ его для меня сейчас лучезарен. <...> На «коммунизм» Валерия у меня моя точка зрения. Но скорее откушу язык, чем поведаю ее даже Вам... <...> Не сердитесь — всё о Валерии сейчас для меня Sacro e Santo <Свято и Священно — *um.*>. Иначе не могу чувствовать. Слушайте: однажды в час великой тоски я написала ему письмо (недавно, в январе) и всунула в бумаги. Ну... звала прийти как-ниб<удь> ночью... И странно, — забыла, что написала, на три дня. На 4-ую ночь он пришел, — то был полусон, полуявь. В моей комнате, сел за столом против кровати и смотрел на меня, живой, прежний. И вдруг я вспомнила, что он умер... И завопила дико. Ах, с каким упреком он на меня посмотрел, прежде, чем скрылось видение. Звала сама же! Вот что сказал его взгляд»[86].

«Воспоминания» опубликовать тогда Петровской не удалось, а с прекращением издания «Накануне» для нее иссякли возможности литературного заработка. Беспросветная нищета — удел последних лет ее жизни. К лету 1927 г. она вместе с младшей сестрой перебралась в Париж, где жила случайными заработками — мыла посуду в ресторанной кухне[87].

Свидетельствует Ходасевич: «Нина Петровская перед смертью была ужасна, дошла до последнего опускания и до последнего ужаса. Иногда жила у меня по 2—3 дня. Это для меня бывали дни страшного раскаяния во многом из того, что звалось русским декадентством. Жалко бывало ее до того, что сил не было разговаривать. Мы ведь 26 лет были друзьями»[88]. Удерживала ее от смерти лишь необходимость заботиться о беспомощной больной сестре. В январе 1928 г. сестра умерла. Петровская пыталась последовать за ней сразу же, но не получилось: «Я колола ей руку иглой четыре раза, потом себе. Думала, заражусь трупным ядом. Но нет»; «Я верю в «тот свет» и, чтобы сделать ей радость, снова перешла в православие»[89]. 23 февраля 1928 г. Петровская покончила с собой в своем парижском жилище, отравившись газом. Отпевание состоялось 26 февраля в Русской церкви на рю Дарю, похороны — на кладбище Банье[90].

В парижской газете «Дни» появился следующий анонимный некролог:

Нина Петровская

Известная писательница и переводчица Нина Ивановна Петровская покончила с собой. Кончилась ее подлинно страдальческая жизнь в маленьком парижском отеле, и эта жизнь — одна из самых тяжелых драм в нашей эмиграции.

Полное одиночество, безвыходная нужда, нищенское существование, отсутствие самого ничтожного заработка, болезнь — так жила все эти годы Нина Петровская, и каждый день был такой же, как предыдущий — без малейшего просвета, безо

всякой надежды. Несколько месяцев тому назад она перебралась из Берлина в Париж, но и в Париже не стало лучше. Вынужденная жить буквально подаянием, помощью отдельных писателей, тоже дававших ей не от избытка, одинокая и забытая, — она не выдержала этой жизни, сложившейся для нее особо несчастно.

Мы еще вернемся к характеристике Нины Петровской. Пока же обнажим голову пред свежей могилой.[91].

Возможно, что этот текст был составлен Ходасевичем. К более подробной характеристике Петровской Ходасевич обратился, опубликовав вскоре в парижской газете «Возрождение» (12—14 апреля 1928 г.) мемуарно-аналитический очерк «Конец Ренаты», который долгие годы был едва ли не единственным источником общих сведений о ней. Едва ли не единственным — потому, что в читательском обиходе оставался еще и «Огненный Ангел».

---

[1] Из письма к А.С. Суворину от 21 октября 1895 г. // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С. 85.

[2] РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 3. Ед. хр. 5.

[3] Ср.: «Она представляет собой определенный интерес как личность, всецело принадлежавшая своей эпохе, — Петровская, если угодно, была ее законченным произведением» (*Тырышкина Елена.* Жизнь в пространстве декаданса (Н. Петровская) // Studia Slavica Hung. 2002. Vol. 47. № 1/2. С. 135).

[4] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 7, 8.

[5] Там же. С. 8—9. В экземпляре мемуарной книги «Некрополь», который принадлежал В.В. Вейдле, Ходасевич отметил на полях, что Петровская была невестой В.А. Маклакова, видного юриста, впоследствии крупного деятеля кадетской партии (см. комментарии Н.А. Богомолова в кн.: *Ходасевич Владислав.* Некрополь. М.: Вагриус, 2001. С. 392). О профессии, полученной ею в ранней юности, Петровская вспомнила в письме к Ю.И. Айхенвальду (Париж, 29 июня 1927 г.) — в надежде изыскать средства для существования: «Сознаюсь Вам: я по профессии еще зубной врач. Из ложного стыда потом это тщательно таила от всех... даже самой это хотелось забыть. Но сейчас время суровое, — не до жеманства. Конечно, и диплом я потеряла давно, и практиковать не собираюсь, но остались у меня некие знания, которые можно утилизировать с другой стороны. В зубоврачевании огромную роль играет применение всевозможных технических приспособлений, и при каждом кабинете непременно находится лаборатория, где делают искусственные зубы по новейш<им> системам. *Это* дело мне знакомо во всех его основах и, я даже бы сказала, — нравится. Конечно, прошли годы и годы и техника в этой области страшно шагнула вперед. Нужно поучиться. И если интенсивно, то в какой-ниб<удь> частной мастерской *мне* нужно пробыть не больше 3-х, 4-х месяцев. (Конечно, у французов.) Тогда заработок обеспечен, и заработок верный <...>» (РГАЛИ. Ф. 1175. Оп. 2. Ед. хр. 140).

[6] Петровская написала их сразу после смерти Брюсова, осенью 1924 г.; 23 ноября 1924 г. она сообщала М. Горькому: «Была у меня надежда на мою книгу — «Воспоминания». Собственно, о Валерии Брюсове и эпохе, с ним связанной, личные и литературно-общественные. Давно вела переговоры с К<нигоиздательст>вом

«Петрополис». Прочли, пожелали печатать сейчас же, но без аванса, на проценты с экземпляра. Это для меня невозможно» (*Garetto Elda.* Intrecci berlinesi: dalla corrispondenza di Nina Petrovskaja con V.F. Chodasevič e M. Gor'kij // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 140). Горький рекомендовал опубликовать «Воспоминания» Петровской в журнале «Русский современник» (см. его письмо к А.Н. Тихонову от 9 августа 1925 г. // Горьковские чтения. 1953—1957. М., 1959. С. 51), но его издание после выхода в свет в конце декабря 1924 г. 4-го номера не было возобновлено (см.: *Примочкина Н.Н.* М. Горький и журнал «Русский современник» // Новое лит. обозрение. 1997. № 26. С. 368—369; *Примочкина Н.Н.* М. Горький в судьбе Нины Петровской // Известия Академии наук. Сер. литературы и языка. 2002. Т. 61. № 2. С. 7—15). Впоследствии «Воспоминания» Петровской были подготовлены к печати в составе тома «Русские символисты» (в серии «Летописи Государственного Литературного Музея») под ред. Н.С. Ашукина (см.: *ЛН.* Т. 27/28. М., 1937. С. 691), но это издание не было осуществлено. Фрагменты «Воспоминаний» Петровской были впервые опубликованы Ю.А. Красовским (*ЛН. Т. 85.* М., 1976. С. 773—789), в полном объеме они напечатаны в составе публикации Эльды Гаретто «Жизнь и смерть Нины Петровской» (Минувшее: Ист. альманах. 8. Paris, 1989. С. 17—90).

[7] Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 18, 19.

[8] Несколько рассказов Петровской перепечатано в новейших сборниках. См.: Юлия, или Встречи под Новодевичьим: Московская романтическая повесть конца XIX — начала XX века / Сост., вступ. статья, примеч. Вл.Б. Муравьева. М., 1990. С. 213—225 (рассказы «За гранью», «Последняя ночь», «Цветок Ивановой ночи»); Русская новелла начала XX века / Сост., примеч. Е.Е. Дмитриевой и С.В. Сапожкова. М., 1990. С. 174—179 (рассказ «Бродяга»).

[9] Ср., напр., отзыв С.М. Соловьева об «Альманахе «Гриф»» (М., 1904) в письме к А. Блоку от 18 февраля 1904 г.: «Почти весь альманах хочется положить в печку. «Последняя ночь» Нины Ивановны очень симпатично, но окончательно бездарно» (*ЛН.* Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 364).

[10] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 12.

[11] Ср., напр., сообщение в письме С.А. Соколова к Андрею Белому от 14 августа 1903 г. об А.С. Рославлеве, поэте из круга «Грифа»: «...он <...> оказался распространителем и *автором* гнусных и грязных слухов насчет меня и Нины. <...> Мне только и осталось порвать с ним, что я и сделал» (РГБ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 2). О тех же слухах, распространявшихся Рославлевым и Виктором Гофманом, упоминает и Петровская в «Воспоминаниях» (Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 37). Подробнее см.: Лавров А.В. Виктор Гофман: между Москвой и Петербургом // Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 199—200.

[12] *Белый Андрей.* Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 43.

[13] Подробнее см.: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 159—162, 167; Письма Андрея Белого к Н.И. Петровской / Публ. А.В. Лаврова // Минувшее: Ист. альманах. 13. М.; СПб., 1993. С. 198—214.

[14] См.: *Брюсов Валерий.* Дневники. 1891—1910. <М.>, 1927. С. 131.

[15] Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 22.

[16] Так, в конце 1903 г., когда возник конфликт между Брюсовым, требовавшим от сотрудников «Скорпиона» и журнала «Весы» неучастия в изданиях «Грифа», и Андреем Белым, отстаивавшим свое право печататься в «Грифе», первый

сообщал П.П. Перцову (5 декабря 1903 г.), что Белый «не хочет участвовать в «Весах». Началось, конечно, с наущений Бальмонта. Это понятно: Бальмонту важна Грифиха с ее медведицей для лизания (З.Н. <Гиппиус> знает, о чем речь). А. Белый мягок, аки воск пасхальной свечи, и из него можно лепить что угодно: медведиц, дьяволенков и ангелочков. <...> Я уже начинаю подумывать, не дает ли Грифиха и ему свою медведицу, хотя (или «ибо») он и очень невинен» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 23). В неотправленном варианте письма к Андрею Белому, датированного тем же днем, Брюсов, увещевая строптивого автора, прибегал к тем же аргументам: «Как не видите Вы, *что́* такое Соколов. У Бальмонта есть *специальные* причины благоволить Соколову, но при чем тут Вы? Ведь не начали же и Вы лизать соляную медведицу Нины Петровской? Мне страшно писать это. Нельзя же не видеть, что Соколов пустой балаганный шут, неумело-бездарный шарлатан, в устах которого все слова, самые истинные, становятся фиглярством и пошлостью! С ним можно пить мадеру, может быть вести процесс, но нельзя делать дело, истинное и большое, как издательство наших книг» (РГБ. Ф. 386. Карт. 70. Ед. хр. 11. Ср. отправленный адресату вариант текста письма: *ЛН. Т. 85.* С. 371—374).

[17] РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Ср. сообщение в письме Брюсова к М.А. Волошину от 29 марта / 11 апреля 1904 г.: «Андрей Белый соблазнен Грифихой, т.е. Ниной Петровской, и услан матерью, спасаться, в Нижний Новгород» (*ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 331).

[18] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 14.

[19] Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 67.

[20] Там же. С. 69. Видимо, к ранней поре общения с Брюсовым относится недатированное письмо Петровской к Андрею Белому, подчеркнуто «внешнее» по стилистике и сугубо деловое (РГБ. Ф. 25. Карт. 35. Ед. хр. 37):

Дорогой Борис Николаевич,
сегодня именно в 7 часов меня просил увидаться с ним В.Я. К 9½ я вернусь непременно и буду ждать Вас. Может быть, ничего для Вас эта перемена часа, и Вы зайдете?
Письмо передала вчера же в 6 ч. веч<ера>.
Ваша Н. Петровская

[21] РГБ. О. Р. Карт. 128. Ед. хр. 13. Опубликовано под заглавием «Молния»; печатается с датировкой: «17 ноября 1904» (I, 400).

[22] ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 833.

[23] Письмо к М.М. Рунт // РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 18.

[24] *Брюсов Валерий.* Дневники. С. 136.

[25] *Ашукин Николай.* Заметки о виденном и слышанном / Публ. и коммент. Е.А. Муравьевой // Новое лит. обозрение. 1998. № 32. С. 194. В той же записи рассказов со слов Полякова Н.С. Ашукин зафиксировал: «Кажется, в 1904 году или в 1905, Брюсов написал духовное завещание, которое передал Полякову, назначив его своим душеприказчиком. Завещание было написано потому, что Брюсов ждал близкой смерти; Сергей Александрович слышал от него что-то, что заставило его предположить о двойном самоубийстве Брюсова и Н<ины> Петровской» (Там же). Текст упоминаемого документа нам неизвестен (не исключено, что имеется в виду вариант письма, обращенного к С.А. Соколову, которое приведено выше); предположение же о «двойном самоубийстве» как финальной точке взаимоотношений нельзя считать безосновательным, зная о характере и общей картине их развития.

[26] Документ опубликован в комментарии В.Э. Молодякова в кн.: *Брюсов Валерий.* Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 222—223.

[27] Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 56.

[28] См.: Переписка <В. Брюсова> с Андреем Белым. 1902—1912 / Вступ. статья С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова // *ЛН. Т. 85.* С. 332—339; Гречишкин С.С., Лавров А.В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Wiener slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 79—107; Bd. 2. S. 73—96 (рец.: *Бахрах А.* Венские слависты // Рус. мысль. 1978. № 3236, 28 декабря. С. 8); То же // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 530—589; *Beньковuч М.А.* «Огненный Ангел» Валерия Брюсова (этап интеллектуальной дуэли) // Из истории русской литературы и литературной критики. Кишинев, 1984. С. 18—36; *Мирза-Авакян М.Л.* Образ Нины Петровской в творческой судьбе В.Я. Брюсова // Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С. 223—234; *Минц З.Г.* Граф Генрих фон Оттергейм и «московский ренессанс». Символист Андрей Белый в «Огненном Ангеле» В. Брюсова // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 215—240; *Grossman J.D.* Valery Briusov and Nina Petrovskaia: Clashing Models of Life in Art // Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford, California, 1994. P. 122—150, 256—265; *Klimowicz T.* Nawiedzone (Baszkircewa — Piotrowska — Lwowa) // Studia Rossica Posnaniensia. 1993. Vol. XXIV. Str. 88—94.

[29] Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 56.

[30] *Брюсов Валерий.* Повести и рассказы. М., 1988. С. 112, 111.

[31] *Белый Андрей.* Начало века. М., 1990. С. 311—312.

[32] См.: *ЛН. Т. 85.* С. 387.

[33] См.: *Паперно Ирина.* Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992. P. 36—39. Свояченица Брюсова Б.М. Рунт (Погорелова) свидетельствует, что, подразумевая заключительные строки брюсовского «Антония»:

> О, дай мне жребий тот же вынуть,
> И в час, когда не кончен бой,
> Как беглецу, корабль свой кинуть
> Вслед за египетской кормой!
>
> *(I, 393),* —

Петровскую «с легкой руки едкого и остроумного В. Ходасевича <...> в нашем интимном кругу прозвали «Египетской Кормой»» (*Погорелова Б.* Валерий Брюсов и его окружение // Новый журнал. Нью-Йорк, 1953. Кн. 33. С. 184).

[34] *Белый Андрей.* Начало века. С. 308. Из стихотворений, относящихся к ранней поре взаимоотношений Брюсова и Петровской, за пределами книги «Stephanos» осталось шуточное «Девочка Ниночка...» (1905; см.: *Брюсов Валерий.* Неизданное и несобранное. М., 1998. С. 18, 279 / Коммент. В. Молодякова):

> Девочка Ниночка,
> Ты — паутиночка
> В утренней мгле,
> Девочка Ниночка,
> Ты — как былиночка
> Никнешь к земле,

и т.д.

35 Выразительный в этом отношении документ — письмо И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой (сестре поэта) от 29 сентября 1905 г.: «...была лекция Мережковского. Входим мы с Броней (Б.М. Рунт, сестра И.М. Брюсовой. — *Ред.*), а Валя уже, как в прошлый год, с Грифихой. Но, увидавши меня, по-детски испугался и бросился ко мне. Весь вечер В<аля> был печален, но не отходил от меня. Бальмонт со всеми Грифами и Ходасевичами смотрел насмешливо заносчиво. Зиночка (З.Н. Гиппиус. — *Ред.*) была очень мила. <...> Я ее водила по клубу — по залам. Если мы в одной гостиной и мимо проходит вся ненавистная компания, а Зиночка говорит: «Это Грифиха, какая она с виду грубая женщина». Я обрадовалась. Да, она очень грубая женщина! Как только я это сказала, я поняла, ведь литературные сплетни в Москве и Петербурге одни. И, конечно, хитрая Зина неспроста так говорила. <...> Я пришла домой и плакала. Валя очень печалился, что не остался ужинать, а когда Бальм<онт> его звал, то он сказал, нам *нельзя* быть с вами» (РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 34).

36 *Погорелова Б.* Валерий Брюсов и его окружение // Новый журнал. Кн. 33. С. 184.

37 *Тимофеев А.* Sanctus Amor. Критический этюд // Руль. 1908. № 117, 9 июня. С. 5. Излишне, видимо, добавлять, что «бесстрастность», отмеченная Тимофеевым, могла быть в данном случае лишь формой «внешнего» поведения, утрированного публичного этикета.

38 *Локс Константин.* Повесть об одном десятилетии (1907—1917) / Публ. Е.В. Пастернак и К.М. Поливанова // Минувшее: Ист. альманах. 15. М.; СПб., 1994. С. 40.

39 *Гиппиус З.* Зверобог // Образование. 1908. № 8. Отд. III. С. 26.

40 *Белый Андрей.* Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 315. См.: *Тырышкина Е.В.* «Sanctus Amor» Н. Петровской в восприятии А. Белого // Literatura Rosyjska w nowych interpretacjach (Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicah. № 1539). Katowice, 1995. Str. 30—40.

41 *Костаньян П.* Нина Петровская и Петр Пильский // Руль. 1908. № 41, 27 февраля. С. 2.

42 *Петровская Нина.* Sanctus Amor. Рассказы. М.: Гриф, 1908. С. 62.

43 *Петровская Нина.* О творчестве Осипа Дымова // Перевал. 1907. № 4, февраль. С. 45.

44 См.: *Михайлова М.В.* Нина Петровская — литературный критик журнала «Весы» // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века: Межвуз. сб. науч. трудов. Иваново, 1999. Вып. 4. С. 226—239.

45 Ср., напр., фрагмент из ее рецензии на «Рассказы. Т. I» М.П. Арцыбашева: «В статье «Ключи тайн» Валерий Брюсов говорит: «Искусство — это приотворенная дверь в Вечность». И через эту «приотворенную дверь» художник должен показать нам непривычные, потрясающие душу образы на плане жизни видимой и реальной. Тогда сливаются две перспективы, — внутреннее и внешнее становится одним таинственным целым. Тогда является последняя творческая свобода, далекая от всяких тенденций, от служения каким бы то ни было реальным целям» (Искусство. 1905. № 8. С. 76).

46 В «Русской мысли» были опубликованы две рецензии Петровской (1910. № 11), ее рассказ «Предутренние тени» (1911. № 9) и переведенные ею с французского роман Люси Деларю-Мардрюс «Шеридан» (1911. № 2—7) и «Роман в письмах» Альфреда де Мюссе (1911. № 11).

47 РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 18.

[48] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 15—16. Ср. суждения о Петровской в письмах С. Соколова к Ходасевичу: «Нина меня приводит в совершенное отчаяние, — не хочет никуда двигаться: образ жизни ведет обычный: днем плачет и лежит на диване, вечером — в клубе. Я, обессиленный, <...> когда навещаю Нину, то прихожу только в еще большее отчаяние» (10 мая 1906 г.); «Нина — мрачна невероятно» (30 июня 1906 г.); «Не удается никак исцелить рану моей души — Нину. Ни с какого боку не приладишь ее к жизни. <...> Человек она — неуравновешенный, издерганный вконец и почти невменяемый. Убеждаю уехать отдышаться куда-нибудь. Не хочет. Хоть бы Вы ее заманили на неделю. Я прямо с ней духом пал» (7 июня 1907 г.) (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 78).

[49] *ЛН. Т. 85.* С. 694 (публ. А.Н. Дубовикова). Инцидент описан также тремя мемуаристами — с существенными различиями в реконструкции его обстоятельств (см.: *Белый Андрей.* Начало века. С. 315; *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 14—15; *Рындина Лидия.* Ушедшее // Мосты. 1961. № 8. С. 301; То же // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 418—419).

[50] См.: *Ауслендер Сергей.* Золотые яблоки: Рассказы. М.: Гриф, 1908. С. 167—189.

[51] См. письма Петровской к Е.Л. Янтареву из Италии (*Богомолов Николай.* Итальянские письма Нины Петровской // Русско-итальянский архив / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. С. 150—155).

[52] Героиня романа Ауслендера, — о которой говорят, что она «не то куртизанка XVIII века, не то московская Клеопатра», — наделена, помимо очевидного психологического сходства, и характерными чертами внешнего облика Петровской: «...маленькая, черняввенькая, только глаза и видно» (слова кучера); «...большие черные глаза, красивые губы и зачесанные гладко на уши черные пряди волос»; «На ней было черное шелковое платье с длинным трэном, черная огромная шляпа с белыми перьями и только одна нитка жемчуга на шее, как четки, спускающаяся на грудь розовым коралловым крестом». Особенности взаимоотношений Петровской и Брюсова прослеживаются и у ауслендеровских персонажей — Агатовой и влиятельного литератора Полуяркова; Агатова говорит о нем Гавриилову (главный герой, alter ego автора): «...я дошла до последнего ужаса. Я не могу терпеть больше его колдовской власти над телом, над душой, а уйти некуда. Пустота, кругом пустота... Всё в нем, вся жизнь, а вынести этого больше нельзя!» (*Ауслендер С.* Последний спутник: Роман в трех частях. М., 1913. С. 89, 3, 25—26, 19, 13).

[53] *Петровская Нина.* Мертвый город (От нашего корреспондента) (Письмо из Венеции) // Утро (Харьков). 1908. № 465, 15 июня. С. 4—5.

[54] *Белый Андрей.* Начало века. С. 308.

[55] *Брюсов Валерий.* Неизданное и несобранное. С. 21.

[56] Ср. записи Н.С. Ашукина: «Иоанна Матвеевна с большой горечью сказала мне, что у нее недобрая память о Нине Петровской: — «Это она приучила В<алерия> Я<ковлевича> к морфию». Морфий, несомненно, расшатал здоровье Брюсова. По словам Полякова, к морфию, хотя и редко, Брюсов прибегал, вероятно, и в последнее время» (9 октября 1924 г.); «И<оанна> Матв<еевна> долго и подробно рассказывала мне о морфинизме Брюсова. К морфию, — по ее словам, — приучила его Нина Петровская — «злой гений В<алерия> Я<ковлеви>ча; он называл ее жрицей любви», она «учила его всем наслаждениям»» (*Ашукин Николай.* Заметки о виденном и слышанном / Публ. и коммент. Е.А. Муравьевой // Новое лит. обозрение. 1998. № 32. С. 187—188; № 33. С. 247). О том же пишет в «Повести об одном

десятилетии» К.Г. Локс: «Ж<анна> М<атвеевна> утверждала, что Нина погубила его. Она, по ее мнению, приучила В<алерия> Я<ковлевича> к морфию» (Минувшее: Ист. альманах. 15. С. 41).

[57] *Брюсов Валерий.* Неизданное и несобранное. С. 25.

[58] Минувшее: Ист. альманах. 15. С. 41.

[59] Из переписки Н.И. Петровской / Публ. Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой // Минувшее: Ист. альманах. 14. М.; СПб., 1993. С. 391.

[60] Приведено в комментариях Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой (Там же. С. 386—387).

[61] Раздел под таким заглавием в составе четырех стихотворений («И снова» («И снова я, простерши руки...»), «Прощаю все...» («Прощаю все, — и то, что ты лгала мне...»), «После ночи...» («После ночи свиданья любовного...»), «Близ моря» («Засыпать под ропот моря...»); в «Зеркале теней» третье из этих стихотворений помещено в разделе «Жизни мгновения», четвертое — в разделе «Милое воспоминание») с посвящением Петровской («Посв. Н. П.») вошел в трехтомное собрание стихотворений, подготовленное Брюсовым незадолго до смерти. См.: *Брюсов Валерий.* Избр. произведения. Т. 2: Стихотворения 1905—1912. М.; Л., 1926. С. 133—135.

[62] *Брюсов Валерий.* Неизданное и несобранное. С. 144, 301 / Коммент. В. Молодякова.

[63] РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 35. Встречи Брюсова с Петровской продолжались и в последующие недели. 16 октября 1911 г. И.М. Брюсова писала Н.Я. Брюсовой: «...вызывал по телеф<ону> Валю Владя (В.Ф. Ходасевич. — *Ред.*) и приглашал его в кружок. Оказывается, как мне сам В<аля> рассказал, Владя только подставное лицо, а приглашала его эта злосчастная m<adame> Гриф. К этой особе я теперь испытываю чувство отвращения, как к мокрице какой-нибудь, не больше» (Там же).

[64] Ср. сообщение в письме И.М. Брюсовой к Н.Я. Брюсовой от 6 ноября 1911 г.: «У m-me Гриф крупозное воспаление легких. Генрих очень старается лечить ее, по его словам здесь в России ей не выжить, и он с ней хочет ехать за границу. Морфий она бросила»; в письме, датированном 8 ноября (видимо, ошибочно; на самом деле — 9 ноября), она писала ей же: «Сегодня уехала la belle Nina за границу. Генрих взял отпуск и поехал вместе» (Там же).

[65] В письме к М.В. Вишняку от 16 февраля 1925 г. Ходасевич просил вставить в корректуру его очерка о Брюсове, «в том месте, где описываются проводы N на вокзале», точную дату — 9 ноября 1911 г.: «Мне, по ряду обстоятельств, необходимо закрепить эту дату, которую восстановил только несколько дней тому назад, получив письмо от самой N» (*Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 484—485). Ср., однако, фразу в письме Петровской к Ходасевичу от 9 февраля 1925 г.: «Мой «дом» развалился разом 11 ноября 1911 — и мне «все равно»» (Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 129 / Публ. Эльды Гарэтто). В предисловии к «Воспоминаниям» Петровская писала: «9-ого ноября 1911 я выехала из России, из Москвы, с твердым решением остаться за границей навсегда. Мотивы сложные и чисто интимные привели меня к этому решению» (Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 17).

[66] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 28.

[67] См.: III, 83. Предположение В.Э. Молодякова (см.: *Брюсов Валерий.* Неизданное и несобранное. С. 301) о том, что стихи Брюсова об Ариадне — «Жалоба Фессея» (1917), «Ариадна» (1918), «Ариадне» (1923) (см.: III, 27—29, 199) — связаны с образом Петровской, убедительными аргументами не подкреплено.

[68] Публикации ряда рассказов Петровской этого времени указаны в статье о ней в кн.: Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. Т. 4. М., 1999. С. 587—588.

[69] Среди них отметим статью «Между музыкой и поэзией» — отзыв на «Собрание стихов» Поля Верлена в переводе Брюсова (М.: Скорпион, 1911). Петровская славит Брюсова за «тщательный, любовно обдуманный труд», который «вышел после семнадцати лет с того дня, когда он был начат еще поэтом-юношей»: «В этой книге В. Брюсов насколько было возможно приблизился к тому совершенству работы, которое было доступно поэту-переводчику вообще. <...> В. Брюсов мастерски передал изысканную оригинальность верлэновского стиха <...> в этот таинственный и непостижимый мир поэтической души дано заглянуть до глубины, как в родную стихию, лишь брату-поэту» (Утро России. 1911. № 75, 2 апреля. С. 7).

[70] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 16. Согласно А.Н. Толстому, причина хромоты Петровской другая: «...будто Нина Ивановна бросилась под автомобиль в Мюнхене» (*Гуль Роман.* Я унес Россию. Апология эмиграции: В 3 т. Т. 1: Россия в Германии. М., 2001. С. 257).

[71] РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 16.

[72] РГБ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 2.

[73] Письмо из Рима от 19 июля 1922 г. // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 123 / Публ. Эльды Гарэтто.

[74] Там же. С. 123, 124. Обыгрывается двустишие из сказки Андерсена «Старый дом»: «Да, позолота-то сотрется, // Свиная ж кожа остается!» (перевод А.В. Ганзен).

[75] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 16. Свою жизнь в Италии Петровская описывала в цитированном письме к Ходасевичу от 19 июля 1922 г.: «Прихлопнул голод, да какой! Опять до смертного часа. Выкрутилась и выкрутила сестру, — она со мной. Одним словом, не умерли, но началась жизнь <нрзб> тюрьмы. Работала. Все делала. Буквально все. Давала уроки, шила (!!), переводила, писала для одной большой актрисы синематографические драмы, а она, платя мне *хорошо*, поставила условием, чтобы имя было *ее*. Наплевать! Зато обедали и даже ужинали. И так живя в материальном, как в Вашей Совдепии, докатилась до сегодня» (Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 123). См. также: *Сульпассо Бьянка.* Италия в жизни и творчестве Нины Петровской // Россия и Италия. Вып. 5: Русская эмиграция в Италии в XX веке. М., 2003. С. 121—132; *Алякринская Н.Р.* Итальянские очерки Нины Петровской // Там же. С. 133—149.

[76] Письмо от 2 сентября 1926 г. // Там же. С. 147 / Публ. Эльды Гарэтто.

[77] См.: *Петровский Мирон.* Книги нашего детства. М., 1986. С. 152—159.

[78] Свое пребывание в Берлине Петровская подробно характеризует в письмах к О.И. Ресневич-Синьорелли 1922—1925 гг., опубликованных Эльдой Гарэтто (Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 92—133). См. также: *Linthe Maja.* Nina Petrovskaja — Autorinnenschaft zwischen Symbolismus und Emigration // Wiener slawistischer Almanach. 1998. Bd. 42. S. 75—98.

[79] *Гуль Роман.* Я унес Россию. Апология эмиграции: В 3 т. Т. 1. С. 255—256.

[80] *Берберова Н.* Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 204—205. Письмо Петровской к Брюсову, о котором здесь сообщается, нам не известно.

[81] Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 105.

[82] Письмо к О.И. Ресневич-Синьорелли от 3 февраля 1924 г. // Там же. С. 122.

[83] *Петровская Нина.* Валерий Брюсов // Накануне. 1923. № 507, 16 декабря (Литературная неделя). С. 8.

[84] *Гуль Роман.* Я унес Россию. Апология эмиграции: В 3 т. Т. 1. С. 261.

[85] Письмо от 9 февраля 1925 г. // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 127—128.

[86] Письмо от 26 февраля 1925 г. // Там же. С. 131.

[87] См. письма Петровской к Ю.И. Айхенвальду 1927—1928 гг. (Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 133—138 / Публ. Эльды Гарэтто).

[88] Письмо к Ю.И. Айхенвальду от 22 марта 1928 г. // Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 509.

[89] Недатированное письмо Петровской к Е.В. Выставкиной-Галлоп // Минувшее: Ист. альманах. 14. С. 395 / Публ. Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой.

[90] Газетные сообщения об этом приведены в комментариях Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой (Там же. С. 396). Ср. запись Ходасевича от 26 февраля 1928 г.: «Похороны Нины Петровской (Зайцевы, В. Бунина, Осоргина, Воротников, П.А. Соколов, П.К. Иванов, М. Головина, М. Зеркенау)» (*Ходасевич Владислав.* Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С. 119). Из старых московских знакомых покойной кроме Ходасевича в похоронах участвовали Б.К. и В.А. Зайцевы, В.Н. Бунина, а также П.К. Иванов, секретарь Московского Литературно-художественного кружка, где Петровская постоянно бывала в годы романа с Брюсовым.

[91] Дни. 1928. № 1340, 25 февраля. С. 2. О самоубийстве Петровской как завершающем избранную судьбу символическом акте см.: *Демидова Ольга.* Метаморфозы в изгнании: Литературный быт русского зарубежья. СПб., 2003. С. 128—130.

А.В. Лавров

ЗАМЕТКИ К ТЕКСТУ ПЕРЕПИСКИ

Письма, печатная версия которых лежит перед читателем, посвящены одному — любви. Почти бесполезно искать в них известий о внешней жизни и о литературных событиях, хотя оба корреспондента — писатели, один из которых просто не мыслил себе жизни без литературы и литературной политики. И потому очень существенным представляется разговор о том, что лежит за их пределами, но обладало способностью непосредственно влиять на письма, т.е. об отношениях двух людей, воспринятых к тому же не изолированно ото всего остального, а в контексте их жизни.

Слов нет, задача эта необыкновенно сложна и может быть решена только тогда, когда мы будем несравненно больше знать и о Брюсове (пока что освоена только сравнительно малая часть его архива, и возможны находки удивительные), и о Нине Петровской. Но уже и сейчас можно не только воссоздать историю этой любви, но и попытаться осмыслить ее в несколько ином контексте.

Судить людей прошлого — занятие бессмысленное. Но попробовать понять их психологию такой, какова она есть, бывает небесполезно, особенно при публикации интимной переписки. Очевидно, что специально такие штудии полезны для выяснения истинного смысла переживаний, высказывавшихся в письмах, и прежде всего в письмах Петровской, часто написанных в состоянии сильнейшего нервного напряжения, усугубленного наркотиками. Слово «истинный», конечно, употреблено здесь условно, ибо не только чужая душа потемки, но и своя собственная часто кажется человеку совсем иной, чем видится со стороны. Мы можем знать только то, что отразилось в произведениях, дневниках и письмах, отчасти — запечатленное воспоминаниями современников, и все время принуждены делать поправки на то, что стихи и проза преображают действительность в принципиально иную, художественную реальность; письма рассчитаны на то, что будут читаться определенным собеседником, для

которого нужно рассказать лишь часть переживаемого; дневнику доверяется отнюдь не все, да к тому же и с определенной степенью автоцензуры; современники видят лишь часть надводной части жизненного айсберга, а остальное остается за пределами доступного им. Но все же на скрещении этих разнородных текстов, как кажется, возможно обнаружить живого страдающего человека, выстроить его образ.

Несравненно сложнее сделать это применительно к Брюсову, потому с него и начнем.

В известном письме к З.Н. Гиппиус он писал: «Вы, говоря о каком-то поклоннике Людмилы Николаевны (о Розанове?), сказали: "обладателе, как и вы (т.е. как и я) *разожженной плоти*". Боже мой! Вы, говорившая со мной, читавшая меня, писавшая обо мне статьи, осудившая понимание меня "несложными душами моих почитателей", — неужели вы не знаете, что ко мне могут быть приложимы разные эпитеты, но именно не этот! Об этом говорят и кричат, во всю меру своего голоса, все мои стихи, все мои поступки, вся моя жизнь. Все что хотите: обман или добродетель, любопытство или притворство, но только не "разожженная плоть". Этого никогда не было, нет и не может быть. В разных частях своего существа испытывал я "разожженность", но только не в "плоти", и уже если кто, так я должен применить к себе слова Лермонтова:

И царствует в душе какой-то холод странный,
Когда огонь кипит в крови.

"Душа" здесь, конечно, равняется вашей "плоти", а "кровь" это только "кровь"»[1].

Очень характерно здесь изменение, внесенное в текст Лермонтова, — вместо «тайный» Брюсов пишет «странный», и трудно поверить, что он мог случайно перепутать слово, да еще рифмующееся! Здесь, в диалоге с Гиппиус, ему важно было подчеркнуть именно странность своих ощущений для себя самого.

В мемуарах Вл. Ходасевича весь облик Брюсова конструируется именно на подобной двойственности: «декадент» в костюме приказчика из галантерейного магазина, чернокнижник и маг, в свободные от маски минуты отдающий честь домашним пирогам с морковью. Но во всем ли верен такой портрет?

Несомненно, такое начало в Брюсове было и чувствовалось весьма сильно. Но только ли оно определяло его чувства и поступки? Не примешивалось ли к нему желание покрасоваться своею способностью быть предельно хладнокровным в самых трагических обстоятельствах?

В мае 1893 года от оспы умерла любовница Брюсова Елена Маслова. Не раз он писал об этой смерти, пытаясь проанализировать свои ощущения, и чем дальше, тем решительнее в этих описаниях подчеркивались холодность и аффектированная театральность. Но, кажется, у нас есть ос-

нования поверить дневниковым записям, по времени ближе всего относящимся к пережитому. В подробной попытке психологического анализа читаем: «...власть над собой я сохранял; тем более заслуги в моих поступках. Другие действовали под влиянием аффекта — я сознательно. Кроме того, я не забывал возможности заразиться и, несмотря на то, присутс<т>в<о>в<а>л на панихиде и нес гроб (правда, залитый известкой). Только во время пути к церкви я потерял самообладание и впал в какое-то оцепенение. Ланг водил меня, клал моею рукой цветы и ставил меня на колени. <...> Нервное расстройство скоро обнаружилось, хотя я не позвол<ял> себе думать о «ней». Экз<амен> лат<инского> языка сошел очень плохо. У меня начались головные боли, всякие недомогания. <...> Ланг предложил мне совместное самоубийство. Его слабые нервы не выдержали всего, он разрыдался однажды и изобрел это. Я согласился, зная, что он откажется, и он действительно отказался. <...> Теперь я дал полную волю своим мыслям и скоро дошел до того, что буквально не мог оставаться один...» — и так далее[2]. Совсем скоро Брюсов будет описывать свое поведение в день похорон и сразу после них (правда, в опыте художественной прозы, но еще не вполне отделившейся от документального свидетельства) как рассчитанную игру, — но все-таки вернее, думается, видеть здесь сочетание игры с подлинным отчаянием, ее пересиливающим.

Почти трогательна история взаимоотношений Брюсова с Е.И. Павловской[3], да и впоследствии ему не раз приходилось страстно и пылко любить. Но при этом он не забывал давать себе отчет в том, что именно представляла эта любовь для него самого. Составляя (несколько игровой и не до конца искренний) «Мой Дон-Жуанский список», он разбил его на два раздела: «Серьезное» и «Случайные "связи", приближения etc.»[4], а в более подробном списке «Мои "прекрасные дамы"» составил классификацию еще более подробную: «Я ухаживал», «Меня любили», «Мы играли в любовь», «Не любя, мы были близки», «Мне казалось, что я люблю», «Я, может быть, люблю», «Я люблю»[5]. Характерно, что единственное имя в последнем столбце разграфленной бумаги — «Нина (Н.Ив. Соколова (Петровская))». Да и то оно попадает туда как будто случайно, прорезая несколько предшествующих граф насквозь.

Как бы то ни было, очевидно, что отношения с Петровской — самые серьезные и самые длительные в истории всех связей Брюсова с женщинами (кроме, естественно, жены). Семь лет двое людей держали друг друга в постоянном напряжении, то отдаваясь вспыхивающей страсти, то заставляя друг друга смертельно ревновать (вплоть до покушения на убийство), то балансируя на грани мучительного разрыва. И вполне естественно, что эти взаимоотношения не могли быть одинаковыми на протяжении этих лет. Внешняя их канва выстраивается из самих писем, потому напомним только ключевые моменты: после первого периода сближения и месяца в Финляндии настало лето, проведенное в разных местах под Москвой, и переписка очень выразительно рисует, как все более и более обостряется

чувство ущемленного достоинства у Петровской, что в конце концов и приводит ее к отчаянным поискам забвения и хотя бы мнимого утешения с различными «прохожими». Завершается этот период бурным романом с С. Ауслендером и поездкой в Италию вместе с ним. Видимо, Брюсов ожидал некоторого успокоения в отношениях, но его опять не последовало: после встреч лета 1908 года Петровская снова бросается в объятия других мужчин, всерьез обдумывая разлучение навсегда. Письма Брюсова осени—зимы 1908—1909 гг., однако, заставили ее еще раз поверить в его вернувшуюся любовь, и 1909 год, до осенней разлуки, прошел под знаком почти успокоенности. Судя по всему, именно после проведенного вместе в Париже времени Брюсов и почувствовал, что любовь в его душе исчерпала себя, и все дальнейшие перипетии биографии свидетельствуют о том, что их обоих ждал переход в новую жизнь друг без друга. Еще два года Петровская не уставала надеяться, но... То, что происходило с нею после отъезда в Италию осенью 1911 г., уже никак не связано с историей отношений двух людей, а рисует лишь печальную панораму все более и более последовательного освобождения друг от друга — освобождения, которое никогда не могло стать полным и в то же время превращалось в успокоенные воспоминания. «Роковой ряд» Брюсова и мемуары Петровской — явные свидетельства такого успокоения.

Уже из этого краткого перечня событий очевидно, что Брюсову в годы близости с Петровской приходилось выносить немало ударов, грозивших разрушить его жизненные и творческие планы. Те «безумия», которые предлагала ему Петровская, часто казались Брюсову чуждыми, постылыми — и все же он (до определенного времени) к ним неизменно возвращался. За этим нельзя не почувствовать степени той связанности с возлюбленной, которая пять лет тянула его к новым повторениям уже, казалось бы, до конца испытанного.

Даже если полагать, что единственной любовью Брюсова всегда была литература, невозможно отрицать, что Петровская оказалась частью этой любви. Ведь она стала не просто героиней, но главной составной частью главного прозаического произведения Брюсова, которому он придавал исключительное значение в своей творческой биографии. Превратившись в литературу, Петровская тем самым стала предметом искренней и нерушимой любви Брюсова. Все остальное для него и для современников, хотя бы немного вдохнувших воздуха горных вершин символизма, не должно было иметь никакого значения.

Значительно проще обстоит дело с ролью Петровской во всей этой истории, куда оказались втянуты и некоторые другие люди. Брак с С.А. Соколовым, судя по всему, был ей душен и тяжек, хотя, если смотреть со стороны, он вел себя в высшей степени благородно, взяв на себя вину за супружескую измену (и тем самым утратив возможности жениться в ближайшие годы, что пришлось обходить[6]) и всемерно помогая Петровской все последующие годы. В уже цитированном А.В. Лавровым письме он рас-

сказывал Брюсову: «...она стала умолять меня письмами и телеграммами (мне и Генриху Койр<анскому>), чтоб ее перевезли в Москву. Хотя в лечебном смысле в Москве, несомненно, мне не удалось бы создать ей тех условий врачебного комфорта, который сейчас ее окружает, но я все же выполнил бы ее желание из единой надежды, что здесь, быть может, совместное мое и Генриха воздействие принудило бы ее подчиниться лечению. Но к этому я не имею ни малейшей практической возможности, ибо денежные дела мои пришли к большому расстройству в сильной связи с теми очень значительными расходами, какие приходится нести по пребыванию Нины за границей. В частности, сентябрь месяц с поездкой Генриха в Париж и перевозкой Нины и Нади в Мюнхен стоил мне 1000 руб., что потребовало, как легко представить, очень больших напряжений при полном отсутствии у меня заработков»[7]. И по другим письмам чувствуется, что в меру человеческих сил он заботился о Петровской.

Что же до нее самой... Роман с К.Д. Бальмонтом оставил в ее душе, по словам Вл. Ходасевича, «неприятный осадок — нечто вроде похмелья»[8]. Еще тяжелее было чувство после разлучения с Андреем Белым, когда максимально с ее стороны возможные любовь и самоотдача были восприняты как покушение на профетическую роль Белого в русской литературе.

В этой ситуации внезапно обращенное на нее внимание Брюсова выглядело провиденциальным. Для нее, как и для него, жизнь была теми морями и пристанями, которые можно и должно было любить равно. Стать единственной подлинной возлюбленной черного мага было столь же почетно и славно, как «Женой, облеченной в Солнце», и Петровская приняла эту роль, не колеблясь. В своем новом качестве она обретала иные права и обязанности, и потому, скажем, обилие «прохожих» и «мальчиков» в ее жизни выглядело не изменами, а, наоборот, добавлением драгоценностей в свою диадему. Она покинула земную оболочку, превратившись в персонаж символистской мифологии, и не случайно ее письма 1905—1906 гг. так далеки от чего бы то ни было «внешнего» — земного и осязаемого.

Но вот этой роли пришел конец. Осенью 1909 г., испробовав с Петровской «семь земных соблазнов» (подробнее об этом будет речь ниже), Брюсов простился с нею как с потерянным раем, даже не намекая на рай возвращенный[9]. И в этот момент она повела себя не как Рената из «Огненного Ангела», а как обычная женщина, брошенная давним любовником. Можно довольно легко представить себе, как Брюсов читал ее многостраничные письма, где говорилось о желании провести с ним вместе лето или о когда-то мечтавшемся ребенке. Такая Петровская была ему уж совсем не нужна.

История любви стала историей литературы, и как раз о некоторых аспектах такого превращения стоит поговорить здесь более подробно.

Весной 1903 г. появился в свет первый альманах книгоиздательства «Гриф», того самого издательства, которое основал муж Петровской С.А. Соколов. Меньше чем через год вышел второй сборник, и в обоих

были представлены произведения Петровской. Не так заметно, что в первом альманахе ей был посвящен цикл стихотворений Александра Рославлева «Иммортели», но зато во втором не могли не обратить на себя внимание стихотворение Н. Пояркова «Хаос тревожный во мне и вокруг...» и сразу два стихотворения Лионеля, то есть К.Д. Бальмонта, «Не мне ли» и «Мандолина»[10]. Таким образом, создалась довольно редкая, если не вовсе уникальная ситуация: за год никому прежде не известная дама превратилась и в писательницу, и во вдохновительницу целого ряда стихов, то есть стала литературной фигурой. Конечно, считавшие символизм извращением «дикари» (так назвал их несколько позже Брюсов) не могли не счесть это рекламой, однако все увеличивавшиеся в числе адепты «нового искусства» воспринимали явление Петровской как проявление чаемого единства литературы и жизни, того самого жизнетворчества, которое, по признанию многих и многих, становилось одним из коренных пунктов символизма.

Эта игра была продолжена в первой книге стихов Вл. Ходасевича «Молодость», где Петровской было посвящено стихотворение «Sanctus amor»[11], а также было напечатано «Послание к ***», что в автографе расшифровывалось как «Послание к Нине Петровской». Первое из них было ориентировано на то, чтобы в качестве реплики присоединиться к стихотворному диалогу Брюсова и Андрея Белого, известному избранной публике. «Мертвец», «надгробный камень», «пытки», «черненый гроб», «дерзновенья» — вот основные слова-символы этих стихотворений, создающие тот облик, который Петровская хотела сделать внятным своим современникам. Миф представал в своей законченности благодаря усилиям сразу многих авторов, охотно подхватывавших темы, задаваемые иными, гораздо более опытными и авторитетными сочинителями. При этом очевидно, что здесь идет речь не о простом эпигонстве, а о творческом, хотя еще и очень робком, развитии намеков, еле слышимых внимательным ухом.

Сам же Брюсов сумел найти для Петровской еще несколько обликов, остававшихся до времени потаенными, но тем не менее существенными. Речь идет о трех эпизодах их отношений, наиболее загадочных для читателя публикуемой переписки, поскольку в эти недели Брюсов с Петровской жили рядом и письмами не обменивались.

Прежде всего, само их знакомство и начало близости.

В своих воспоминаниях Петровская довольно решительно связывает этапы своего сближения с Брюсовым не с чем иным, как со спиритизмом. «После первого моего знакомства с В. Брюсовым в доме известной тогда спиритки А.И. Бобровой прошли года <...> Однажды, еще до нашего знакомства, в доме друга В. Брюсова — Ланга-Миропольского, я долго смотрела на портрет двадцатилетнего Брюсова[12]. <...> Этой осенью <1904 года> мы познакомились ближе. Меня стали неудержимо манить "спиритические тупики"»[13], — и далее подробно рассказывается, как Брюсов стал посещать сеансы у Соколовых, о том эротическом напряжении, которое Петровская испытала, и о дальнейшем сближении.

Обстановку сеансов весьма выразительно рисует очерк чуть более позднего времени, рассказывающий о своеобразных гастролях в Москве (по инициативе Соколова) известного польского медиума Яна Гузика: «*Отношение к спиритизму и сеансам*. Очень различное: от экзальтированного легковерия и иллюзионерства и от уравновешенного благоговения и серьезного желания увидеть и исследовать, — через различные оттенки искания истины и колебания на этом пути, далее, через низкопробный скептицизм и желание свести все к фокусу и подделке, — вплоть до праздного любопытства, насмешки и — увы!.. даже некоторой склонности к флирту...»[14] Весьма похоже, что именно отношения Брюсова и Петровской имелись здесь в виду.

Сама Петровская вряд ли подозревала, что эта связь спиритизма с чувственными переживаниями была частью интимного опыта Брюсова: в 1892—1893 годах именно во время сеансов разгорался первый его серьезный роман с девушкой своего круга, грезившейся ему сподвижницей в деле соединения декадентства со спиритизмом, из чего должно было получиться некое новое движение, опережающее свое время[15]. Вряд ли возможно сказать, было ли в его душе что-то подобное 12 лет спустя, но само совпадение поразительно. И Петровская, конечно, была, несомненно, гораздо более подходящей претенденткой на роль мистической подруги черного мага, чем простодушная Елена Маслова.

Следовательно, роль именно спиритизма на первых этапах сближения Брюсова с Петровской нельзя недооценивать. Потому существенно учесть, что, по крайней мере, некоторые даты первых сеансов у Соколова, где присутствовал Брюсов, мы можем установить.

10 сентября 1904 г. Соколов пишет:

«Многоуважаемый Валерий Яковлевич!

Завтра — в субботу — у нас состоится сеанс. Я буду очень рад, если Вы примете в нем участие, как намеревались.

Приезжайте к 9.

Преданный Вам С. Соколов»[16].

Следующее письмо датировано двадцатым сентября и приглашает на сеанс следующего дня, а последнее из нас интересующих написано еще через неделю: «Сеанс имеет быть завтра, во вторник. Я знаю, что этот день Вам труден и неудобен, и очень извиняюсь; потому все дальнейшие сеансы мы решили установить *определенно* по средам, но в данном случае пришлось сделать исключение, т.к. в среду утром я должен уехать из Москвы в Бронницы на земское собрание, на несколько дней.

Очень прошу Вас поверить, что мне в этот раз очень неприятно создавать Вам затруднение таким распределением времени.

Мне очень хочется надеяться, что Вы преодолеете препятствия и прибудете на сеанс, тем более, что сеансы стали как будто налаживаться. Временем очень прошу не стесняться»[17].

Судя по тону писем, это были самые первые сеансы из тех, в которых участвовал Брюсов, и, таким образом, оказывается возможным сделать некоторые хронологические уточнения.

Второй сюжет, о котором пойдет речь, относится к финской поездке Брюсова с Петровской, от которой не сохранилось никаких писем ни того, ни другой.

Вернувшись из Финляндии, Брюсов написал сестре: «Мое путешествие свершилось счастливо и прекрасно, так хорошо, что ничего лучшего и более для себя нужного я не мог и ждать»[18]. Конечно, подспудно здесь имелось в виду именно то времяпрепровождение, которое на самом деле определило для него внутреннюю суть поездки, потом столь подробно обсуждавшееся в переписке с Петровской и воссоздававшееся в стихах. Но и легенда, сложенная для семьи, и особенно для жены, существенна, поскольку была нацелена на создание совершенно особого впечатления, которое мы можем воссоздать лишь частично, используя письма Брюсова к жене.

Он (или они — мы не знаем, ехали Брюсов с Петровской вместе или встретились уже в Петербурге) выехал из Москвы 29 мая, и на следующий день написал: «Завтра или послезавтра уезжаю, но вряд ли на Ладогу, там все бури и, говорят, вовсе не любопытно, а прямо в Финляндию. Пиши — Гельсингфорс, poste restante. Оттуда — пешком»[19]. 2 июня из Гельсингфорса он уточняет: «До сих пор путешествовал совсем как бывало с Тобой. <...> Но с завтрашнего начинаю задуманное свое путешествие. Еду по ж<елезной> д<ороге> на станцию Лахвис и оттуда пойду пешком внутрь страны. Очевидно, несколько дней писем от меня не будет». 7 июня следует известие: «И вот я скитался. Шел по деревням. Ночевал в избах финнов. Шведский язык уже не помогал, ибо они понимают только по-фински. Видел Иматру. Теперь провожу несколько дней в пансионе Рауха, где когда-то жил Ореус-Коневской. Сюда адресуй и письма. Я, вероятно, уже уйду отсюда ко времени получения письма. Но мне перешлют». 11 июня с Саймы: «Зажился я в Раухе так долго, потому что дожидался писем. Теперь завтра пускаюсь в дальнейший путь. Думаю пройти пешком по берегам Саймы до С. Михеля, а оттуда проехать по ж<елезной> д<ороге> по Куопио: это будет самая глубь страны». 22 июня, уже незадолго до возвращения, из городка Каяна: «Унылый деревянный город. Тишина. Молчание. Все удивленно глядят на приезжего. Это последний населенный пункт. Здесь кончается и железная дорога. Дальше еще некоторое время можно ехать на скверном пароходике, а потом лишь на лошадях или на лодке. Завтра окунусь в настоящую глушь, почти в пустыню <...> Все больше и больше становлюсь я другим в своих скитаниях. Я очень верно поступил, что выбрал их. Мне этот план был подсказан добрым гением. Да, мне надо было побыть одному. Как уже писал Тебе, думаю, что начну новую жизнь — и не только по отношению к Тебе, но во многом, почти во всем. <...> Мой маршрут — каналами на Улеоборг, оттуда вдоль всего берега Финляндии на пароходе в Петербург и в Москву. В Москве буду в конце месяца».

Нечего и говорить, что по большей части это были маскировочные приемы: Брюсов и Петровская жили в пансионе Рауха на Сайме, проездом побывав в Гельсингфорсе-Хельсинки. Но важна сама легенда о блужда-

ниях по дикой Финляндии с ночевками в деревнях и путем на север, в Лапландию. Подробнее всего Брюсов формулировал вымышленную концепцию в письме от 19 июня:

«Это мое путешествие воистину перелом моей жизни — завершение долгого периода, подведение итогов многому старому, прощание со всей моей молодостью, со всеми ее привычками, страстями, исканиями.

Окончен праздник первых встреч! —

как сказано где-то у меня в неудачном и неоконченном стихотворении. Теперь хочу только ясности, только мира, только работы. <...>

Оставшееся время хочется употребить, чтобы проехать на север, в страну лопарей, к жизни первобытной, дикой. Хочется увидать юрты, северных оленей, зарю человечества. Хочется ночевать уже не в кладовой финна, как не раз случалось мне в пути вокруг Саймы, а в дымном чуме.

Я хочу, измучив, тело
Бросить на ночь в душный хлев».

Думается, вся совокупность этих цитат указывает тот образец, на который Брюсов-конспиратор ориентировался, — первые этапы «ухода» Александра Добролюбова из «декадентского» мира в крестьянский. Это тем более очевидно, что у легенды был еще и семейный подтекст: тем же летом сестра Брюсова Надежда Яковлевна, в то время страстная поклонница Добролюбова, путешествовала по Русскому Северу, в том числе была и на Соловках, в одном из первых пунктов, откуда когда-то начинался путь исканий Добролюбова, а потом двинулась в Норвегию. Брюсов, как помним, говорил о возможности отправиться на Ладогу — т.е. поближе к той Олонецкой губернии, которая была колыбелью добролюбовских исканий.

Дикая природа, почти первобытный образ жизни, непонятный язык в системе понятий Брюсова должны были обозначать осознание самого себя в контакте не просто с природой, а с особой, загадочной и непостижимой, закрытой от других. И таким образом любовное уединение во вполне комфортабельном пансионате превращалось в серьезное испытание духа и тела, долженствовавшее привести к неким результатам, о которых читаем в открытке к жене от 23 июня: «Хочу, вернувшись, решительно заняться романом. Его обдумал весь, в подробностях. Мне прислали на Сайму № "Вопросов Жизни". Как плохи романы Ремизова и Сологуба! Даже "Петр" в сравнении с ними — громадное литературное явление. Я же напишу во всяком случае лучше "Петра". Чувствую свой предел. Чувствую, что в обладании всеми своими силами. Хочу работать. Помоги мне»[20]. Замысел «Огненного Ангела» (который в письмах к Петровской Брюсов называл «твой роман») в некоем мифологическом пространстве смыкал реально пережитые дни влюбленной успокоенности со священным

для символизма духовным опытом Александра Добролюбова и с вымышленным собственным кризисом[21].

Нечто весьма сходное относится еще к одному длительному пребыванию Брюсова вместе с Петровской — парижскому месяцу с середины сентября по середину октября 1909 г. В Швейцарии, куда Брюсовы поехали вместе, И.М. получила известие о смерти брата и 14 сентября одна уехала в Москву, а Брюсов двинулся в Париж. Конечно, жена подозревала, что он встретится там с Петровской, и чтобы ее успокоить, Брюсов писал письма, то наставительно-деловые, то производящие впечатление предельной творческой ответственности, не могущей быть разменянной на какие-то пустячные женские переживания.

Это пребывание по тем же самым письмам было уже проанализировано А.В. Лавровым[22], однако в его статье был сделан акцент на литературных встречах и впечатлениях Брюсова, тогда как из писем мы можем узнать и о его жизни с Петровской. Пусть, как и в первом случае, выводы наши будут несколько гадательными, однако они основываются на фактах, вряд ли выдуманных.

Прежде всего отметим, что Брюсов с самого начала поставил жену перед фактом: в это свое пребывание он, пользуясь «одиночеством» (на самом деле вряд ли приходится сомневаться, что его постоянной спутницей была Петровская, уже хорошо знакомая со злачными местами Парижа по прежним годам), собирает материал для романа «Семь смертных грехов»[23], посещая всякого рода опасные и «непристойные» места. Уже 18 сентября он сообщает: «Вчера был в месте, которое Ты, конечно, назвала бы притоном: в кафэ, где собираются преимущественно морфинисты. Благодаря некоторому (уже давнему) опыту в сих делах я завел небезынтересное знакомство с одной парочкой: юношей и его petite amie, всячески накрашенной парижаночкой. Целый вечер говорил по-французски, и очень успешно»[24], а через день: «Писал Тебе о кафэ морфинистов. Еще видел кафэ гомосексуалистов. Все чрезвычайно любопытно и для меня совершенно ново».

23 сентября он пишет едва ли не самое большое письмо, в котором подробно рассказывает о своих устремлениях. Хотя оно и было уже опубликовано (с небольшой купюрой) А.В. Лавровым, имеет смысл привести наиболее существенную его часть и здесь:

«По моим письмам Ты поняла, что я провожу время "не совсем хорошо". Так оно, по Твоей терминологии, и есть. Но я хочу очень усердно убеждать Тебя, что это мне просто "необходимо" в жизни. Во всех моих писаниях, в стихах и прозе, я часто подходил к вопросам о всем *темном* в жизни и в душе. И это *темное* до сих пор знал я почти только по догадке да по жалким его отражениям у нас в Москве. Здесь представляется мне случай в самом, так сказать, горниле "зла" посмотреть на него лицом к лицу. Чувствую себя, как Дантэ, сходящий в Ад, и, конечно, как Дантэ, надеюсь выйти из Ада к Раю и вынести на землю бессмертную песню.

За меня не бойся. Силы воли у меня достаточно для каких угодно соблазнов. Да и во всем том, что я здесь вижу, я не встречаю никакого соблазна. Испытываю только любопытство. Ты знаешь, например, как я чужд всякого увлеченья красивыми мужчинами. Но кафэ гомосексуалистов (Café Palmier's) любопытно мне до крайности. Я провел там вечер до поздней ночи, наблюдая женственных юношей и мужественных женщин, слушая их разговоры, всматриваясь в их повадки. Пойду туда еще раз. То же и приют морфинистов (Нечего прибавлять, что сам я морфия не касаюсь больше).

Замечательно, что все эти наблюдения сделались для меня возможными как раз в те дни, когда я начал писать мой роман "Семь смертных грехов". Вижу в этом некую руку Судьбы, ибо когда я ехал за границу (Ты помнишь?), я в мыслях не имел ничего подобного и никогда не думал, что попаду в Париж без Тебя. Наконец, кажется мне, что годы мои таковы, что в последний раз без неприличия могу я показываться во всех этих местах. Еще через три-четыре года — я поседею, буду более известен даже и в Париже, и неуместно будет мне посещать все эти притоны. Вот почему я и спешу воспользоваться этими днями.

Наконец, — с приездом Бальмонта и Р. Гиля жизнь моя, конечно, переменится. Я не буду более один, и у меня не будет свободных вечеров для моих блужданий».

Но это письмо становится кульминационным пунктом признаний в «дурном поведении»[25]. Далее следуют извещения скорее забавные, чем «ужасающие»: «Помнишь ли Ты, шесть лет назад, когда мы в первый раз были в Париже, Ященко водил нас в одно кабарэ на левом берегу? Было оно устроено как большой театр, и пели в нем, на сцене, довольно фривольные песенки. В прошлом году я не мог его разыскать, а в этом, в своих ночных скитаниях, нашел. Это — Gaité, на rue de la Gaité, на Монпарнасе. За шесть лет мало что изменилось в Gaité, но сам Монпарнас с его многочисленными и низкопробными увеселениями показался мне интересным. К тому же вчера было воскресенье и все учреждения были переполнены, — истинно парижской публикой (*не* иностранцами). Присутствовал я даже при нескольких скандалах, где дамы били друг друга биноклями, и это было забавно. В этом прошел мой вчерашний вечер» (3 октября); «Вчера я был в Grand Guignol. Играли пять одноактных пьес. Одна из жизни русских революционеров. На сцене пытают и убивают. Не очень страшно. Другая — из жизни европейцев под тропиками, среди невыносимой жары и свирепствующей чумы. Немного страшно. Три другие — комические, с кроватями, в которых женщины валятся по четыре etc. Смеялся. Народу было не очень много, но были дамы, изящные весьма» (6 октября). Сходным образом описываются и посещения знаменитых «Chat noir» и «Folie Bergère». Однако тема «смертных грехов» не вовсе сходит на нет, а приобретает иное измерение.

В статье А.В. Лаврова процитированы те фрагменты писем, где Брюсов рассказывает жене о посещении Гийома Аполлинера. Примечательным

здесь кажется то, что хотя он и именуется «небезызвестным здесь писателем» (13 октября), но упоминаются не его художественные произведения, а издаваемые им тексты знаменитых в прошлые века создателей эротических произведений. Не исключено, что разговор об этом мог привести и к порнографическим книгам самого Аполлинера — «Одиннадцать тысяч палок» и «Подвиги молодого Дон Жуана»[26], и, таким образом, эротическое и порнографическое искусство также попадало в сферу интересов Брюсова. Но особенно примечательны описания свиданий с Бальмонтом.

Впервые они увидались 7 октября, а уже на следующий день Брюсов писал: «"Кончился пир наш бедою". Бальмонт, конечно, повел меня на Монмартр (вечером). Мы сидели в Bal Tabarin и смотрели канкан. Бальмонт пил ром и виски, а я унывал. С бала вышли мы уже достаточно расстроенные, т.е. Бальмонт достаточно пьяным. Зашли еще в одно кафэ. Бальмонт стал пить ликеры. И совершилось все, что совершалось столько раз. Пьяный Бальмонт стал говорить мне всякие оскорбительные слова и т.д., и я наконец решился уйти. Он цеплялся за меня, удерживал силой, умолял и ругался. Вмешались в нашу распрю посторонние. Я вырвался, сел на фиакр и уехал. Грустно!». Повторились скитания по барам и кафе и 16 октября: «Проспал до вечера, милая моя девочка, после вчерашних скитаний с Бальмонтом. В душе и в желудке скверно. Нет, не создан я для таких приключений! — Впрочем, раньше, чем в кабаках, были мы с Б<альмонтом> у професс<ора> Буайэ, и это было очень приятно. <...> Вышли от него в 11, и тут-то начались все обычные бальмонтизмы. Не хочется их пересказывать. Сегодня заезжал к Бальмонтам узнать — вернулся ли он. Еще не возвращался. Катерина увезла Нинику, чтобы она не видела отца в плохом виде».

Такое скопление впечатлений из сферы, казалось бы, навсегда ушедшего в прошлое жизненного поведения (уже в 1902 г. Брюсов писал о встрече с Бальмонтом в Москве: «...мы всячески опьяняли себя, и были пьяны, и совершали разные "безумные" поступки <...> Еще неделя, он уехал в Париж, чтобы искать новых опьяняющих и новых женщин. А я остался и уже навсегда знаю, что это не для меня. Довольно, я больше не рассчитываю фабриковать так дешево сверхчеловека»[27]), как кажется, свидетельствует, что на этот раз Брюсов и всерьез прощался с тем, что сам временами именовал «декадентством», в переживаниях которого верной спутницей ему была Петровская[28]. И тогда, наверное, его слова в не дошедшем до нас письме о «потерянном рае», которые с такой горечью вспоминает Петровская, должны быть восприняты в значительно более существенном контексте. С одной стороны, они не могут не проецироваться на «Искусственный рай» Ш. Бодлера[29] и, следовательно, на отношение самого Брюсова к наркотикам. Известно, что несколько раз он пытался избавиться от пристрастия к морфию, к которому его именно в эти недели приучила Петровская, — и первой такой попыткой следует считать, видимо, эти самые слова. С другой — «потерянный рай» имеет смысл

воспринимать как сформировавшуюся систему жизненного поведения раннего «декадентства», предполагавшую самые различные уклоны. Список этих «уклонов» отчасти можно составить по разным текстам Брюсова более или менее автобиографического характера, и в него войдут такие разные по сути, но единые по функции проявления, как алкоголь и наркотики, онанизм (почитавшийся тогда серьезным половым извращением[30]) и сексуальные эксцессы всякого рода, влечение к своему полу в обоих его вариантах[31] и близкие к инцестуальным отношения, имеющая в пределе безумие нервность и различные формы прямого общения с потусторонним, садомазохизм и проповедь самоубийства как осознанного акта, смена языков и формальное экспериментирование в искусстве, смещение границ между искусством и жизнью — все это и многое другое, то более, то менее явно испробованное Брюсовым в раннем творчестве, теперь должно было уйти из его жизни, став предметом стороннего наблюдения, романа или поэмы. И решенное завершение близких отношений с Петровской (реально осуществившееся позднее) должно было стать знаком окончательного преодоления и вступления в эпоху подлинного творческого могущества.

Достиг его Брюсов или нет — предмет обсуждений, более всего базирующихся на вкусовых оценках. Но то, что именно с Петровской оказались связанными самые существенные искания Брюсова 1905—1909 гг., вряд ли может вызвать сомнения. А потому обращение к лежащим перед читателем письмам является занятием не праздным, а необходимым для любого, пытающегося погрузиться в когда-то остро ощутимую, а теперь все более и более разрежающуюся атмосферу русского символизма.

---

[1]Черновик письма, написанного на Страстной неделе 1907 г. // *ЛН. Т. 85.* С. 693—694; опущены зачеркнутые слова, воспроизведенные в публикации. *Людмила Николаевна* — поэтесса Л.Н. Вилькина (в полном объеме ее переписка с Брюсовым в настоящее время подготовлена к печати Н.В. Котрелевым и А.В. Лавровым). Письмо Гиппиус, на которое Брюсов отвечает, см.: Литературоведческий журнал. 2001. № 15. С. 155—159 / Публ. М.В. Толмачева. Ее уклончивый ответ на письмо Брюсова — Там же. С. 165—167. Ср. также значительно более раннее письмо Брюсова к тете, З.А. Бакулиной (*ЛН. Т. 98, кн. I.* С. 735—736 / Публ. С.И. Гиндина).

[2] Цитируем неизданную часть дневника Брюсова: РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 12.

[3] Подробнее см. в замечательных комментариях С.И. Гиндина — *ЛН. Т. 98, кн. I.* С. 711 и далее.

[4] РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 4. Л. 1. Не вполне точно опубликован в комментарии В.Э. Молодякова к кн.: *Брюсов Валерий.* Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 222—223.

[5] РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 4. Л. 2.

[6] На него была наложена семилетняя эпитимья, и для венчания с Л.Д. Брылкиной (по сцене Рындиной) пришлось подкупать священника.

[7] РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 16. Л. 30—30 об.

[8] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 12. Отметим, что при обращении к ценнейшим воспоминаниям Ходасевича следует непременно учитывать, что он был неизменным верным другом Петровской и во всех случаях, могущих трактоваться с разных точек зрения, был решительно на ее стороне.

[9] Кажется, в этом именовании можно усмотреть не только очевидное цитирование названия поэм Дж. Мильтона, но еще и не сразу заметную отсылку к «Les paradis artificiels» Ш. Бодлера с их отчетливой темой наркотиков.

[10] Рискнем высказать предположение, что память о втором из этих стихотворений с отчетливым неаполитанским колоритом заставила Петровскую с особым чувством пережить посещение Неаполя — единственного из городов, понравившегося ей во время итальянского путешествия 1908 г.

[11] Название совпадало с названием сборника рассказов самой Петровской. Она предлагала Ходасевичу: «Книга Ваша будет *хорошая.* Полезем вместе в сентябре. Да? <...> О нас с Вами, о ближайшем выходе наших "книг" было чуть не в 3-х газетах. Медлить мне больше позорно» (Минувшее: Ист. альманах. 14. М.; СПб., 1993. С. 385 / Публ. Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой). Однако сборник Ходасевича вышел несколько позднее, в конце февраля или начале марта 1908 г. Об отражении событий, связанных с Петровской, в книге Ходасевича см. также: *Лавров А.В.* «Сантиментальные стихи» Владислава Ходасевича и Андрея Белого // Новые безделки: Сб. статей к 60-летию В.Э. Вацуро. М., 1995—1996. С. 459—469.

[12] Напомним, что поэт А.А. Ланг (писавший под псевдонимом А.Л. Миропольский), друг юности Брюсова, был известным спиритом, участвовал в сеансах вместе с ним еще с начала 1890-х годов, печатался в спиритическом журнале «Ребус».

[13] Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Ист. альманах. 8. [Paris, 1989]. С. 57, 61.

[14] *Шванвич Н.* О сеансах Яна Гузика в Москве (с 4 по 27 января 1905 г.) // Ребус. 1905. № 12. С. 4. Этот визит был подробно описан в ряде заметок того же журнала (более подробно см.: *Богомолов Н.А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 513—514), причем среди участников назван «г. Б-в», что трудно прочитать иначе как «Брюсов».

[15] См.: *Богомолов Н.А.* Цит. соч. С. 279—292.

[16] РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 16. Л. 7. Письмо написано на бланке издательства «Гриф» красными чернилами (что, конечно, может быть и случайностью, но может носить и намеренный характер: Соколов часто подбирал цвета чернил и бумаги в зависимости от содержания писем).

[17] Там же. Л. 6.

[18] Письмо от 3 июля 1905 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 143. Ед. хр. 1. Л. 10.

[19] Письма хранятся: РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 5. Далее цитируем без указания архивного шифра.

[20] Речь идет о романах А.М. Ремизова «Пруд» и Ф. Сологуба «Мелкий бес», а также о романе Д.С. Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей», печатавшихся в 1904—1905 гг. в журналах «Новый Путь» и «Вопросы жизни».

[21] Можно предположить, что перевод отношений с Петровской в «литературный» план несколько успокоил И.М. Брюсову. 11 июня ее сестра, Б.М. Рунт, бывшая доверенным лицом Брюсова, сообщала ему: «О "доме" более Вашего вряд ли знаю. <...> Jeanne в Антоновке <...> Писем от нее не имею. Кажется, ждет Вас к 23—25 июню в Москву et nourrit une fervente foi (и питает пламенную веру. — *фр.*)

в то, что вы "исправитесь" после этой поездки» (РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 9а. Л. 4 об.), а в следующем (недатированном) письме рассказывает: «Одновременно с Вашим получила письмо от Jeanne, в котором она пишет, что приедет в Москву 23 июня, что в Антоновке ей очень спокойно и хорошо после такой бурной зимы. Постараюсь с ней увидаться, чтобы поближе разузнать, обиделась ли она на Вас или просто лень писать» (Там же. Л. 3).

[22] *Лавров А.В.* Брюсов в Париже (осень 1909 года) // Взаимосвязи русской и зарубежных литератур. Л., 1983.

[23] При опубликовании в альманахе «Северные цветы» фрагментов этот так и оставшийся незавершенным роман был назван «Семь земных соблазнов» (Северные цветы: Альманах V. М., 1911).

[24] Здесь и далее письма цитируются по: РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 12 (сентябрь) и 13 (октябрь) без указания на архивные шифры.

[25] Отметим, что уже накануне, 22 сентября, он писал: «Ночные свои похождения и изучения пока приостановил, но — Ты не сердись — еще вернусь к ним, ибо здесь есть такой ночной мир, о котором я до сих пор и понятия не имел. Бездна и хаос соблазнительны».

[26] Эти произведения Аполлинера были изданы в 1907 г. (см.: *Воздвиженская О.* Аполлинэрос // Аполлинер Гийом. Подвиги юного Дон-Жуана; Одиннадцать тысяч палок; Письма с фронта. [М., 2003]. С. 168; отметим, что в выходных данных книга названа «Амурограммы»), так что не исключено знакомство Брюсова с ними.

[27] Из черновика письма к З.Н. Гиппиус от конца февраля 1902 г. (Переписка З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского, Д.В. Философова с В.Я. Брюсовым / Подгот. текста М.В. Толмачева // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 290).

[28] Внешним и легко опровергаемым контекстом свидетельством этого являются его слова из письма к жене от 16 октября: «Я получил Твое письмо, где Ты говоришь, в ответ на мое первое сообщение о Бальмонте, что *я* моей жизни не изменю. Нет, это не так. Теперь все возможности мною испробованы; все дороги испытаны. Этот месяц в Париже уяснил мне многое. Совершенно твердо, совершенно определенно решился я *изменить всю* свою жизнь по возвращении в Москву». Такие клятвы Брюсов давал не раз, но в данном случае они оказались во многом справедливыми.

[29] За пять дней до отъезда из Парижа Брюсов был на его могиле.

[30] Подробнее см.: *Павлова М.* «Одиночество» и «Об одиночестве» Ф.К. Тетерникова: Ранняя поэма и психофизиологический очерк Федора Сологуба // Новое лит. обозрение. 2002. № 55. С. 5—14.

[31] Не случайно Брюсов так охотно печатает повесть М. Кузмина «Крылья» и всячески защищает ее от нападок, собирает в дневнике сведения о проявлениях лесбийской любви, даже сам пишет гомосексуальное стихотворение, и т.п.

Н.А. Богомолов

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Переписка Брюсова и Петровской впервые публикуется в полном объеме по автографам, хранящимся в московских архивохранилищах — в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ), в Отделе рукописей Института мировой литературы им. М. Горького РАН (ИМЛИ).

Письма Брюсова к Петровской: РГАЛИ. Ф. 376 (Петровская). Оп. 1. Ед. хр. 4; РГБ. Ф. 386 (Брюсов). Карт. 72. Ед. хр. 12; ИМЛИ. Ф. 13 (Брюсов). Оп. 3. Ед. хр. 38, 39.

Письма Петровской к Брюсову: РГАЛИ. Ф. 56 (Брюсов). Оп. 1. Ед. хр. 95; РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 19—22. Атрибутированная хранителями как письмо Петровской к Брюсову открытка от 25 августа 1903 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 105), как выяснилось при подготовке текстов, принадлежит перу З.Н. Гиппиус.

Недатированные письма, а также письма с датировками, часто не помогающими установлению конкретной даты написания («Понедельник» и т.п.), которым публикаторы не смогли определить с достаточной степенью точности место в общем хронологическом ряду, выделены в особую рубрику с обозначением «Разметанные листы» (формулировка восходит к заглавию одного из разделов книги стихов И.Ф. Анненского «Кипарисовый ларец»: три подборки писем этой рубрики включают не поддающиеся более или менее точной датировке тексты, предположительно относящиеся, соответственно, к начальной, средней и заключительной поре взаимоотношений корреспондентов; расположение писем внутри каждой подборки условно (предположения относительно времени написания отдельных писем в составе «Разметанных листов» высказаны в комментариях).

При публикации сохранены некоторые особенности орфографии (мущина, извощик, кофэ, Бодлэр и др.) и пунктуации (особенно экспрессив-

ные знаки Петровской — многоточия не только из трех, как обычно, точек, но и из любого их количества, от 2 до 6, соединение вопросительного и восклицательного знаков в разной последовательности и нек. др.).

Ранее фрагменты из 18 писем Брюсова к Петровской (1906—1909) были опубликованы Ю.А. Красовским (*ЛН. Т. 85.* С. 789—798), 13 писем Петровской к Брюсову (март—апрель 1908 г.) — Н.А. Богомоловым в составе его публикации «Итальянские письма Нины Петровской» (Русско-итальянский архив / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. С. 115—150). Кроме того, отдельные фрагменты из переписки приведены в статье Елены Тырышкиной «Жизнь в пространстве декаданса (Н. Петровская)» (Studia Slavica Hung. 2002. Vol. 47. № 1/2. С. 136—141). Переписка Брюсова и Петровской использовалась и цитировалась также в других работах — в том числе в тех, которые указаны выше в подстрочных примечаниях.

За помощь в работе приносим искреннюю благодарность Ст. Гардзонио, А.В. Гик, Г.В. Обатнину, Д. Рицци, О. Ронену и А.П. Чудакову. При подготовке писем к печати в работе участвовал А.Н. Богомолов.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

I — VII — *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М.: Художественная литература, 1973—1975. Т. I—VII (ссылки на издание в скобках: римскими цифрами обозначается том, арабскими — страница).

Дневники — Брюсов Валерий. Дневники. 1891—1910 / Пригот. к печати И.М. Брюсова. Примеч. Н.С. Ашукина. <М.>: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1927.

Л.Н. — Литературное наследство. Т. 1—101—, 1931—2000 —. М. (Издание продолжается).

ЛН. Т. 85 — Литературное наследство. Т. 85: Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976.

ЛН. Т. 98, кн. 1, 2 — Литературное наследство. Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1, 2. М.: Наука, 1991—1994.

1904

1. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

15 октября 1904 г., Москва[1]

15 октября 1904

Дорогая Нина Ивановна!

Сегодня несколько раз на дню просил соединить наш телефон с Вашим и удивлялся, что не получаю ответа. Думал, у Вас никого нет дома. Лишь под вечер барышня со станции сообщила мне, что Ваш телефон испорчен. И хотя все то, что я думал сообщить Вам, и не важно, и Вам известно, но я так свыкся с мыслью, что передам эти слова Вам, что решаюсь европейский телефон заменить азиатским посыльным. Я хотел поблагодарить Вас за обязательно доставленные мне «декадентки» — это первое. Я хотел предупредить Вас (но Вы это, конечно, уже знаете), что «Иванов» отложен[2], — это второе. Немного, не правда ли? Но это все.

«Ваш»

Валерий Брюсов.

P.S. А чтó поездка в Петровское-Разумовское?[3] Состоится ли? Октября <так!>, «снов черной темноты» осталось немного. Не завтра ли? Не известите ли, хотя бы сегодня вечером в «Скорпион»? или завтра в 3, по телефону, если его исправят?

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Речь идет о спектакле МХТ по одноименной пьесе А.П. Чехова, который должен был состояться 15 октября.

[3] Петровское-Разумовское — дачное место в ближайших окрестностях Москвы (ныне в черте города). В 1903 г. С.А. Соколов и Петровская снимали там дачу (Петровское-Разумовское. Михалковское шоссе. Дача Копейкина).

2. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

13 (?) декабря 1904 г., Москва[1]

1904, декабрь.
Понедельник, ночь, 3 часа[2]

Вот и те мои стихи. Но за три дня, прошедшие с тех пор, как я их написал, до чего стали они мне чужими![3] Не отчеркиваю неудачных строф: все равно ничего и никогда не исправлю. Да и как исправлять, если сегодня я не мог бы повторить ни одного стиха отсюда. И не сказал бы последних слов. Нет, Вы мне сегодня (или все-таки — *Ты* мне сегодня) не «враг» и не «сестра», и уже не вправе я Тебя назвать «сораспятой», потому что нет более в Твоих глазах никакой муки[4]. Непонятно даже, что все это было когда-то, что это можно было сказать когда-то. И опять мне снится, как вчера ночью, что я тот юноша из моего ненаписанного романа[5]. Медленно надеваю широкую испанскую шляпу. Вкладываю шпагу в ножны. Кланяюсь. Ухожу. Прощай.

Твой
Валерий

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Наиболее вероятно — *понедельник* 13 декабря (см. примеч. 3, 4).

[3] Автограф стихотворения при письме отсутствует. Вероятно, речь идет о стихотворении «В застенке» («Кто нас двух, душой враждебных...», 10—11 декабря 1904 г.) (I, 400—401).

[4] Обыгрываются строки из названного стихотворения: «Сораспятая на муку, / Давний враг мой и сестра!».

[5] Подразумевается замысел романа «Огненный Ангел», возникший у Брюсова после поездки в Германию в 1897 г. Подробнее см.: *Чудецкая Е.* «Огненный Ангел». История создания и печати // IV, 341—349; *Белецкий А.И.* Первый исторический роман В.Я. Брюсова // Валерий Брюсов. Огненный Ангел. М., 1993. С. 380—421; *Гречишкин С.С., Лавров А.В.* О работе Брюсова над романом «Огненный Ангел» // Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973. С. 121—139.

1905

3а. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

1 июля 1905 г., Москва[1]

1 июля, 905, Москва

«Девочка, милая, хорошая, маленькая, я люблю Тебя». Странно звучит эта формула здесь, сегодня, в моей полузабытой комнате с завешанными книгами, под «шум монотонный дождя»[2]. Теперь понятно, зачем нам суждено было ошибиться на целые сутки! Иначе мы попали бы на севастопольский поезд и я проехал бы прямо на берег Оки[3], а меня хотели бросить в мою городскую квартиру (где случайно была и И.М.[4]), в разгар домашних, домовых и скорпионьих дел. Словно жестокий ветер повеял на меня. Та моя душа, которую я так лелеял за месяц жизни в Финляндии, которая раскрылась для меня, как редко цветущий цветок, — сжалась под этим ветром, сжалась, поникла, и лепестки стали опадать — быстро, быстро, жалко, жалко, один за другим.

Девочка, огонечек мой, маяк мой! Но разве чтó может отнять у меня этот месяц, этот прекраснейший месяц моей жизни, эти дни, в которые мне не стыдно было говорить: «Я — счастлив». Для меня то был месяц чуда, я дышал воздухом чудес, все чудесное стало для меня привычным и повседневным. И то ясное озеро, которое я буду теперь любить до конца, озеро голубое и палевое, и золотое, и пурпурное — символ всех моих переживаний за месяц. Они были так же многоцветны, так же прекрасны, так же ослепительны, эти часы, казавшиеся иногда однообразными и вялыми. Все то чудо, которое есть в закатном, небесном свете, повторенном в земной стихии, озарило и мою душу. Разве не чудо,

3. Заказ № 795.

что в моих воспоминаниях теперь есть Ты «настоящая», Ты с расчесанными гладко волосами, с «умным» лбом и большими, властвующими надо всем лицом глазами! Или — те Твои слова, произносимые замедленно и поспешно, при одном призраке которых я вновь пьянею и хочу вновь быть перед Тобой на коленях, целовать Твои руки, колени, — слова, которые я не доверю и этой странице. И разве за этими пределами чудес, за этими горизонтами возможного не начинали мне мерцать новые дали, в которые я не смел и не смею верить, когда Ты безвольно, бездумно, странно смотря мимо меня, прошептала это «милый Валерий, я Тебя очень люблю», ослепившее меня нежданностью, несбыточностью. Но передо мной опять Ты, печальная, прислонившаяся к тусклой двери вокзала, и слезы Твои тихо падают на безобразные плиты его лестницы... И у меня нет больше слов, и чаша чуда переполнена, и есть только горькое сожаление, почему я тогда, при всех, при этой тупой толпе, не припал к земле, не поцеловал эти два темных пятнышка на серой пыли грязных, истоптанных ступеней!

Девочка! радость моя! мое счастье! прости, что я вспоминаю все это, что громко говорю, твержу о том, о чем должно радостно молчать. Но я был прав, когда повторял тебе, что переживаю свои лучшие, свои высшие дни; был прав, это теперь мне ясно уже бесповоротно. Мое счастье — в прошлом, в воспоминаниях. Когда я остался стоять среди улицы, неловкий, смешной, с тяжелым саквояжем в руках, а Ты быстро исчезала за поворотом, — то было именно мое счастье и моя просветленность, с которыми должно мне было прощаться. Да! эти тридцать дней в Финляндии были вершиной моей жизни, крайним горным пиком, с которого я, как некогда Пизарро, видел оба океана[5]: моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к моему зениту. После этого мига может наступить только спуск вниз, и, чувствую, я уже начал его. Дни на берегу Саймы и дни в «трезвом» Гельсингфорсе[6] были для меня ключом всей моей судьбы; через них я понял, что́ я, зачем все было в моей жизни и что́ может еще быть. Как прежде, смутно предчувствуя, я верил в Тебя грядущую, так теперь я должен молиться на Тебя бывшую, пришедшую. И несказа́нной радостью для меня остается то, что в самый миг свершения я сознавал его значение, его смысл, его *величие* (лично для меня), и потому вдвойне, в сто раз устремленнее, торопливее, более жадно впивал ту полноту чувств, которую даровали мне Судьба и Ты.

И еще прости, что сейчас не могу говорить ни о чем и ни о ком, как только о себе. Мне надо, мне надо повторить, запечатлеть те слова, которые я бессвязно лепетал Тебе в дни разлучения, в наши последние три дня, которые для меня как мучительный огненный венец завершали не только месяц нашей близости, но и девять месяцев, первые девять месяцев моей любви. Мне надо хоть бегло, хоть неполно провести вновь перед глазами сияющие лики мелькнувших часов, казавшихся медленными, но слившихся теперь в одну мгновенную вспышку молнии. Может быть, наши души еще хранят сходный строй, ибо Ты настроила мою душу на свой, на Твой певучий лад. Знаю, и Ты изменишься, и моя душа утратит этот строй, подчиняясь окружающей меня разноголосице, но пока, но пока позволь мне еще в этот последний раз говорить с Тобой нашим общим, нам обоим и только нам обоим понятным языком! Позволь мне еще помедлить в пережитом, которое навсегда — мой храм. В нем еще теплятся свечи, зажженные Тобой, у икон, которые Ты мне указала. Я еще всматриваюсь в те же венцы, на которые мы смотрели вместе. Знаю, и эти светы погаснут. Тени уже смеются в окна. Они протянутся сквозь оконные решетки, вползут в двери. Кривляясь и хохоча, они обступят меня, сомкнут пальцы над моей головой. И я упаду в их черный хоровод, во мрак, в ту ночь, которой не было для меня при бледном сиянии северного полунощного солнца. Прощай.

Твой, — да! еще совсем, совсем Твой Валерий.

---

[1] Неотправленный текст. Написано на именном бланке Брюсова. В архиве Брюсова сохранился также черновой незаконченный набросок текста этого письма (РГБ. Ф. 386. Карт. 72. Ед. хр. 12. Л. 5—6).

[2] Написано по возвращении домой (Москва, Цветной бульвар, 24) из Финляндии, где Брюсов и Петровская провели вместе весь июнь.

[3] Имеется в виду имение Калюжных (Евгения Яковлевна Калюжная — сестра Брюсова) на Оке в деревне Антоновка близ Тарусы (Калужская губерния).

[4] Жена Брюсова Иоанна (Жанна) Матвеевна (урожд. Рунт; 1876—1965) бóльшую часть июня провела в Антоновке. 19 июня 1905 г. Б.М. Рунт писала Брюсову в Финляндию: «...получила письмо от Jeanne, в котором она пишет, что приедет в Москву 23 июня, что в Антоновке ей очень спокойно и хорошо после такой бурной зимы» (РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 9а). 8 июля 1905 г. И.М. Брюсова сообщала Н.Я. Брюсовой: «Валя вернулся. <...> Про путешествие свое рассказывает очень мало, так самые пустяки, видно, это не было уединение» (РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 34).

[5] Франсиско Писарро (Пизарро, Pizarro; между 1470 и 1475—1541) — испанский конкистадор, участвовал в завоевании Панамы и Перу. Сопровождал испанского мореплавателя и колонизатора Васко Нуньеса де Бальбоа в путешествии с

целью открытия западного океана; 26 сентября 1513 г. они впервые увидели Тихий океан с вершины одной из гор Панамского перешейка.

[6] Июнь 1905 г. Брюсов и Петровская провели в пансионате Рауха (Rauha) на озере Сайма (юго-восточная часть Финляндии), на обратном пути останавливались в Гельсингфорсе (Хельсинки). «О, трезвый Гельсингфорс» — первая и заключительная строки иронического стихотворения Брюсова (приведено в письме к К.И. Чуковскому от 4 марта 1906 г., см.: *Чуковский Корней*. Из воспоминаний. М., 1959. С. 434—435).

36. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

1 июля 1905 г., Москва[1]

«Девочка, милая. хорошая, маленькая, я люблю Тебя». Странно звучит эта формула здесь, сегодня, в моей забытой комнате, с завешанными книгами, под «шум монотонный дождя». Теперь я понял, зачем нам надо было ошибиться на целые сутки! Иначе мы попали бы на севастопольский поезд, и я проехал бы прямо на берег Оки. Теперь же меня бросили на Цветной бульвар (где случайно оказалась и И.М.) в разгар всех домашних, домовых и скорпионьих дел. Словно жестокий ветер повеял над моей душой. Та моя душа, которую я так лелеял за месяц жизни в Финляндии, которая раскрылась для меня, как редко цветущий цветок, — сжалась под этим ветром, сжалась, поникла, и лепестки стали опадать — быстро, быстро, жалко, жалко, один за другим.

Девочка, огонечек мой, маяк мой! но разве что́ может отнять у меня этот месяц, этот лучший месяц моей жизни, этот месяц, в который мне не стыдно было говорить слово «счастлив»! Я ехал в Финляндию на «новые пытки», а надо мной просияло небо, встала радуга — залогом, что казни больше не будет, — открылось озеро, отныне любимое, боготворимое мною, озеро голубое, и палевое, и золотое, и пурпурное... Это ясное и яркое озеро — символ всех моих переживаний за месяц. Все то чудо, которое есть в небесном свете, в закатных красках, в их отражениях на земле, — повторилось и в моей жизни. Для меня этот месяц был днями чудес, я дышал атмосферой чудес, чудесное стало для меня повседневным. Разве не чудо, что я увидал Тебя, Тебя настоящую, с тихо расчесанными волосами, с «умным» лбом и большими, большими глазами, которые вдруг оказываются всевластными на Твоем лице. Но насколько же большее чудо, что я слышал те Твои слова, произносимые замедленно и поспешно, вспоминая которые я

пьянею и хочу опять упасть перед Тобой на колени, целовать Твои руки, плакать, — слова, бессмысленные для всех, но бывшие для меня последним счастьем, слова, которые я не доверю даже этому письму, которые сберегу только в воспоминании. Но и за этими пределами мыслимого, и за этими кругозорами, дальше которых, казалось бы, нет ничего, в самые последние дни вдруг осветились новые дали, страшно влекущие, но и действительно страшные, грозные. Безвольная, не думая, странно смотря мимо, Ты говоришь мне: «Милый Валерий, я тебя очень люблю». Девочка! счастье мое! жизнь моя! вот я перед Тобой на коленях, клоню голову, прячу ее... А передо мной опять Ты, печальная, прислонясь к тусклой двери вокзала, и слезы Твои тихо падают на безобразные плиты его лестницы. И у меня нет более слов, и чаша чуда исполнена до краев, и есть только горькое сожаление, почему тогда, при всех, при этой тупой толпе, я не поцеловал эти два темных пятнышка на пыльных камнях ступеней!..

Только не сердись, что я говорю громко, что повторяю, твержу о всем том, о чем, может быть, следовало бы лучше благоговейно молчать. Говорю, вспоминаю, потому что в этом мое счастье, потому что осталось мне сейчас одно — вспоминать и повторять. Да, мое сравнение верно. Кости, брошенные моей судьбой, выпали самыми большими очками, какие только были на них. Этот месяц был для меня не только счастьем в смысле блаженства, но и счастьем в смысле удачи, — ибо все, все сложилось единственно благоприятно для меня. Я радуюсь, что сознавал, понимал смысл этих дней. Как много раз я говорил, — да, то была вершина моей жизни, ее высший пик, с которого, как некогда Пизарро, открылись мне оба океана — моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И Ты дала мне увидать последние глубины, последние тайны моей души. Может быть, ради этого месяца прожил я все томительных тридцать лет моей жизни, и воспоминаниями об этом месяце будут озарены все следующие тридцать лет. Как символ этих дней, Твой образ стал для меня святыней. Раньше, смутно предчувствуя, я верил в Тебя грядущую, — ныне мне хочется молиться Тебе бывшей. Не знаю, был ли я нужен Тебе, Твоей судьбе, — но Ты дала мне ключ ко всей моей жизни, счастьем пережитых дней объяснила все мучительства прошлого, светлостью и ясностью новых моих настроений оправдала долгие ожидания, теми часами, которые казались,

может быть, однообразными, утомительными, обогатила меня на годы и годы, так что не исчерпать мне, в своих мечтах и в своих стихах, этих сокровищ никогда, я знаю.

И прости мне, что в этом письме я говорю о себе, все о себе и только о себе. Мне непобедимо надо повторить, запечатлеть те слова, которые бессвязно я говорил Тебе в дни прощаний, в последние наши три дня, которые, как огненный венец, завершают и месяц нашей жизни вместе, и все первые месяцы нашей близости, моей любви. Мне непобедимо надо хоть бегло <?>, хоть в отрывках повторить все пережитое, провести перед глазами огненные лики мелькнувших часов, казавшихся медленными, но слившихся теперь в одну мгновенную вспышку молнии... Эти часы — отныне мой храм. Прости, что я не могу еще ничего иного, как медлить в нем, молиться у тех же икон, вглядываться во тьму, пока еще теплятся зажженные Тобою свечи. Они погаснут. Тени уже смеются в окна. Они протянутся сквозь решетки, вползут в двери. Кривляясь и хохоча, они обступят меня. Сомкнут пальцы над моей головой. И я упаду в их черный хоровод, во мрак, в ту ночь, которой не было для меня при бледном сиянии северного полунощного солнца. Прощай.

Твой — да! еще совсем, совсем Твой Валерий.

[1] Вариант текста, отправленный Петровской. Написан на именном бланке Брюсова.

4. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

1 июля 1905 г., Малаховка[1]

Малаховка, 1 июля

Милый Валерий, я тебя очень люблю...

Хочется именно эти слова сказать первыми, чтобы *в свете* их звучали остальные.

Как только мы расстались и в последний раз я оглянулась на тебя грустного, милого, — что-то жестокое вцепилось в душу, сдавило тоской, ужасом перед Москвой, перед всем. Зачем мы расстались так скоро! Мой дорогой. Единственный! не тревожься, не грусти, — ничто не изменит меня больше. Если в огромном жестоком мире нам было дано увидеть друг друга и коснуться в после-

дней близости — кто и что заставит измениться, забыть, смотреть прежними всевидящими глазами? Кто может? Милый ласковый зверь... Милый, хороший зверочек, не дичай без меня, вернись прежним. Ничто не умирает, а за дверями, которые открывались так медленно — новые двери, еще, еще. Верь в чудо, верь! Мы *не знали* и ждали друг друга. К кому мы уйдем? Куда мы уйдем? Я не слыхала тебя, но голос любви не может быть неслышным, он проник в самые далекие глубины, и я ответила тебе тогда в первый раз бессознательно, не знаю почему, точно кто-то другой из души, — милый Валерий, я тебя очень люблю. Дорогой, не уходи, не отдавайся ни в чью власть, будь со мной, береги твою любовь. Помни все, все живо и живое до последнего мига. С тобой всегда твоя

Китайская фарфоровая девочка

Напиши еще, много, обо всем. Пиши.

[1] Почтовый штемпель на конверте: Малаховка. 2.VII.1905. Отправлено по адресу: «Г. Таруса Калужской губ. до востребования Ар. Ар.». На последующих письмах Петровской, отправленных в Тарусу, — то же обозначение адресата. В Малаховке (под Москвой, Казанская железная дорога) Петровская жила на даче мужа, С.А. Соколова.

5. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

3 июля 1905 г., Малаховка[1]

Малаховка. 3 июля

Валерий, дорогой, не надо, не надо такой безнадежности! Ты говоришь, «спуск», вершина миновала, впереди тебе как будто не видится ничего... Но отчего же я этого не чувствую? Зачем ты туманишь мою радость? Радость тихих светлых дней, отдыха после жестокости и горя. Я тонула в твоей нежности, от нее расцветали в душе какие-то новые небывалые цветы, я хочу еще, еще. Неужели ты думаешь, что можно исчерпать душу, неужели ты думаешь, что для тебя у меня уже истощилось и отдано все? Нет, верь, дорогой, это не спуск, *это начало*. Чего, — я не знаю, я отдаю свою душу чуду. И если я еще не вижу предела, почему так

горько и безнадежно ты говоришь о спуске, о конце? Я еще ничего не поняла по-настоящему. После мучительных, ужасных похорон я отхожу от саркофага. И если не дано мне было умереть тут же, припав на холодный камень, значит, у меня еще есть путь впереди. Может быть, краткий, несколько шагов, но он *с тобой*, лишь с тобой. Куда, — я не знаю. Но мне хорошо не думать, не знать, положить голову к тебе на плечо и так забыться, отдыхать, дышать твоей нежностью, чувствовать твою руку в своей. Я сохраню мою душу *твоей*. Мы больше не встретимся чужими. Эти дни «разлуки» нужны для того, чтобы еще сильнее почувствовала я, как дорог ты, как близок, как чужды мне все, кроме тебя. Я чувствую устойчивость, меня уже не могут менять никакие веяния. Вот я знаю, что он был здесь, даже в этой комнате, где пишу я тебе. Я знаю все, что можно было узнать о нем настоящих дней, я предвижу встречи с ним и только лишний раз оглядываюсь на саркофаг и кладу последний земной поклон с печальной, но ясной и успокоенной душой. Если не дано было умереть в дни последнего отчаяния, — значит, еще не пришел мой срок, значит, еще *путь* впереди, и каков бы он ни был — он будет с тобой. О, как хочу я, чтобы ты понял эти слова твоей последней нежной чуткостью, через внешнее слов, через всё. Это какой-то музыкальный мотив, он звучит в душе, но так бедны слова. Милый, дорогой, верь в любовь, не стремись так быстро заглядывать в последние страницы. Ты еще не знаешь, не знаешь, и от незнания, оттого, что идешь в незнакомой стране, только горный уступ принимаешь за самую острую, высокую вершину. Там, где ты, еще нет ни тумана, ни черных теней, нет ночи, нет горя. Если ты будешь так говорить, ты скликнешь призраков, они всегда нас сторожили. Они злые, закроют солнце своими черными крыльями, и *днем* ты будешь в ночи. Не надо, не надо! Поверь в чудо, поверь! Мне хочется твердить тебе, так, чтобы слова ласкали тебя, успокаивали: «Милый Валерий, я тебя очень, очень люблю». Вот я одна *и с тобой*, ничего, ничего не утратилось. Вот целую тебя так, как целовала 30 дней, 30 вечностей, когда мы только друг другу смотрели в глаза. И Сайма, и бледное небо, и ночи, и ночи, — они не в Финляндии, они в душе, неприкосновенные, дорогие навсегда. *И не воспоминание*, а жизнь, настоящее и *будущее*.

Не уходи от меня никуда, будь моим. Если мои слова еще не утратили власти над твоей душой, я буду говорить тебе часто, часто

о любви, о моих надеждах, о радости, что ты есть для меня на свете. Буду говорить прежние слова и новые, о которых еще не знаю, но только смутно предчувствую их приближенье.

Прости за первое слишком короткое письмо[2]. Не было слов от тоски, только какие-то обрывки, а теперь я вновь всё нашла. Будь радостен, будь спокоен. Мы встретимся *больше* чем прежние. В тишине этих дней без тебя я только сильнее почувствую, как ты близок, как бездонно, бесконечно близок, как нужно мне быть с тобой, смотреть тебе в глаза, читать в них бесконечно дорогую поэму твоей любви. Я знаю теперь любовь. Узнала, *увидала глазами* ее в первый раз в тебе, и только в тебе. Валерий, Валерий, не уходи, останься со мной так же всецело, как был. Что властно над любовью? Все будет как прах, когда опять встретятся наши глаза и сольются нежные и радостные души. Ты веришь, веришь!.. Мы встретимся, будем больше, чем прежде, близки и связаны. Говори со мной часто, не забывай моего голоса, моих глаз, моих рук, которые так же нежно будут *вновь* ласкать твое лицо, волосы.... Не забывай моих губ, храни память их на твоем теле.....

Милый Валерий, я тебя очень, очень люблю, очень люблю.

---

[1] Ответ на п. 3. Почтовые штемпели: Малаховка. 4.VII.1905. Таруса. 5.7.05.

[2] Имеется в виду п. 4.

6. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

3 июля 1905 г., Москва[1]

3 июля 1905, Москва

Девочка Нина, посылаю тебе *Твои* стихи, которые не удосужился переписать для Тебя в Финляндии[2]. Уезжаю сегодня (только сегодня!) на берег Оки[3]. Прожил два дня очень и очень тяжелых. Тени сгущаются и надо мной, и во мне. Мечтаю предаться роману[4] — предаться совсем, броситься в работу с головой, до дна ее, работать, забыв все, кроме созданного мира. Счастливой случайностью Бальмонт прислал мне из Мексики (временно) ряд книг, очень полезных мне для романа[5]. Правда, книги испанские, но я уже купил и грамматику и словарь. Ах, напиши мне, напиши *обо всем*. Может быть, меня уже ждет Твое письмо. О прошлом, о

бывшем (ведь действительно *бывшем*) не решаюсь, не смею, не хочу вспоминать. Страшно.

к цели ослепительной
Вторично мне не вознестись[6].

До 20<-го> буду в заточении — решил это твердо.

Всегда и навсегда Твой

Валерий.

Таруса, Калужской г., до востр. Ар. Ар.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Стихотворение при письме отсутствует.

[3] Ср. письмо Брюсова к сестре, Н.Я. Брюсовой, от 3 июля 1905 г.: «...я уже вновь в Москве <...> Теперь намерен я жить в Антоновке. Там и мама и Лида, — а сейчас и Саша» (РГБ. Ф. 386. Карт. 143. Ед. хр. 1. Упомянуты сестра и брат Брюсова — Лидия Яковлевна и Александр Яковлевич).

[4] Подразумевается будущий «Огненный Ангел».

[5] В Мексике Бальмонт был с февраля по июнь 1905 г.; 2/15 июня он известил Брюсова об отправке ему «6 бандеролей с книгами» (*ЛН. Т. 98, кн. 1*. С. 164).

[6] Цитата из стихотворения Брюсова «В полдень» («Свершилось! молодость окончена!..», 1903—1904) (1, 397).

7. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

4 июля 1905 г., Малаховка[1]

Малаховка, 4 июля

Дорогой Валерий. Я ответила вчера на твое первое письмо[2]. Получи эти строки непременно и скорее. Ты печалишь, туманишь меня... Ну что я могу говорить еще, кроме тех слов, что написала тебе? Если поверишь и *услышишь*, через ту паутину, которой ты уже позволяешь опутывать себя, ты не будешь так безнадежен, так печален. Ведь и я живу сейчас совсем, совсем не в раю. О, не в раю!.. Но знаю, что сумею сохранить для тебя *твоею* мою душу, как там, на Сайме, которую ты скоро, должно быть, будешь считать только сном. Милый Валерий, милый, верь в чудо! Как только перестанешь верить — не останется ничего. Будут стоны улицы, слова, беспросветный кошмар, и умрет душа. Отчего я чувствую себя сейчас сильнее тебя? — А, кажется, мне так легко бы было утратить все. Но я не хочу, не хочу дать себя задушить.

Пиши мне часто, как можешь. Вот уж два вечера я хожу по знакомой дорожке к маминой даче. Выхожу аккуратно в 7 ½ ч., иду замедленно и жду, и боюсь, что от тебя нет письма. И так радостно, так радостно было эти два вечера. Мне хочется писать тебе. Я целые дни молчу, говорю только с тобой. Сережа занят. Его пригласили быть редактором литературного отдела в «Искусстве»[3]. Он все пишет что-то. Не знаю что, и мы говорим только за обедом. Мало, вяло... Потом приходит вечер, темный, длинный, тихий. И опять я молчу и не хочу никого видеть. Сегодня была в Москве. Тягостное, тягостное впечатление от улиц, от мыслей, которые еще как будто живут в раскаленных стенах. От прошлых мыслей моих и от неизвестности будущего. Еще трудно мне представить, что вот наступит осень, зажужжит какое-то колесо, замелькают новые и те, прежние, до ужаса знакомые лица, зазвучат всё те же ненужные мучительные слова, воткнутся новые или старые иглы...

О, не хочется! Страшно, тягостно думать. Знаешь, прямо с вокзала я попала домой в день переезда на квартиру. На меня взглянули пыльные, ободранные окна, пустые стены, сундуки, — и мне почудилось, что это не просто, а все с тем же скрытым смыслом, который таился за всем, что с нами ни случалось в этот год. Что-то кончилось, чему-то больше не бывать. Кончилось даже вовне. Валерий, Валерий, будь со мной! Нам *дали* увидать друг друга, не будем же вновь закрывать глаз. Страшно в пустоте, страшно среди кривляющихся, враждебных масок и теней. Мы — двое, не давай же заползти туману, пока еще день, пока солнце.

Я буду жить эти дни в тишине, — «Все отошли. Шумите, сосны»....[4]

Сосны шумят, грустно, тихо, одиноко мне. Но откуда-то светлая покорность, и мир, и покой в душе, хотя жизнь все та же, мучительная несказанно. Мучительная и реально, и в невидимых столкновениях чувств и ощущений, но я не хочу говорить об этом. Сейчас *я сильнее* этого. Дорогой, не печалься, не говори слов, от которых у меня в отчаянии падает душа. У нас не только «прежнее» ушедшее, пережитое, — перед нами светлая, чудесная неизвестность. Вверься ей, поверь в ее радости, и радость не покинет. *Через все* будет сиять она. Ну, посмотри, — разве я прежняя, разве такая, как зимой? Разве нашлись бы у меня тогда такие слова! А теперь они звучат как музыка, помимо моей воли, потому что я *вижу*, чувствую тебя, милый, милый. Тебя...

Пиши. Пиши о печали, о радости, о тебе. Тебя тихо и нежно и нетерпеливо будет ждать после дней заточенья

твоя китайская фарфоровая девочка.

---

[1] Почтовые штемпели: Малаховка. 5.VII.05; Таруса. 6.7.05.

[2] Имеется в виду п. 5.

[3] «Искусство» — «журнал художественный и художественно-критический», выходивший в Москве с января 1905 г. (редактор-издатель — Н.Я. Тароватый). *Сережа* — С.А. Соколов; он подключился к редактированию «Искусства» летом 1905 г. (в № 8 обозначен редактором наряду с Тароватым, но на этом выпуске издание журнала прекратилось). Подробнее см.: *Лавров А.В.* «Золотое руно» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 137—138.

[4] Первая строка стихотворения А. Блока, впервые опубликованного в составе цикла «Нечаянная Радость» в журнале «Вопросы жизни» (1905. № 6. С. 159). См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 52, 627.

8. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

5 июля 1905 г., Антоновка[1]

Антоновка, 5 июля, 905

Нина, далекая! Три дня шел дождь и немыслимо было пробраться в жалостную Тарусу, которая кажется мне землей обетованной: там, быть может, Твои письма! Впрочем, землей обетованной казались нам в свое время и Rauha и Fennia[2]. После всего «буйст<в>а», пережитого моей душой там, на гранитах, она как-то онемела, омертвела. Мне почти мил тупой покой этой деревни. Я в самом деле много работаю. Вдруг перевел «двенадцать песен» Мэтерлинка[3]; неизвестно зачем кинулся изучать испанский язык и т.д. В самые ближайшие дни примусь за роман (Увы! лишь в ближайшие дни). Ты боялась когда-то, что мы слишком по-домашнему близко подойдем один к другому, что я увижу Тебя в свете повседневности, что это убьет ту долю мечты, идеального, без чего любовь умирает, как цветок без солнца. О, безумие! Напротив, с каждым днем все прошедшее, все бывшее, все *действительно* бывшее (мне приходится теперь почти уверять себя в этом) — представляется мне словно сказкой, словно прочитанной поэмой, словно (боюсь банального сравнения, но оно самое верное) сном. С каждым днем все более и более Ты становишься для

меня символом, а не живой, не той, кому я в жизни говорил: «Девочка, милая, хорошая, маленькая...», — но той, кого я ждал долго, увидал в мгновенном видении и не должен увидеть вновь. За окном вечереющее поле ржи, трещат кузнечики, скоро сразу встанет над лесом лик месяца, точно великан подымется с колен, наступит настоящая, черная, мертвая ночь, — о, как все это далеко от вкрадчивой, всекрасочной Саймы, от баюкающе-тихой Феннии, от мерно зыблемого, безумного купэ вагона. Нет! то подлинно был сон, недолгий, прекрасный, ослепительный, невозможный!

В свое земное входит тело
Ночная вольная душа[4].

И ей больно, больно.

Твой

Валерий.

P.S. Завтра буду в Тарусе и, если найду весть от Тебя, напишу тотчас.

---

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] *Raucha* — см. примеч. 6 к п. 3а. *«Fennia»* — гостиница в Гельсингфорсе, (Mikaelsgatan (Mikonkatu), 21), в которой останавливались Брюсов и Петровская (хозяин — П. Синебрюхов).

[3] Имеется в виду поэтический цикл бельгийского драматурга и поэта Мориса Метерлинка (Maeterlinck; 1862—1949) «Двенадцать песен» («Douze chansons», 1896). Подборка «Семь песен Мориса Метерлинка» в переводе Брюсова была помещена в «Весах» (1905. № 7. С. 19—25). См.: Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова. М., 1994. С. 540—549, 849 (комм. С.И. Гиндина)..

[4] Неточная цитата из стихотворения Вяч. Иванова «Рассвет» («Как и шаги звучат волшебно...»), впервые опубликованного в журнале «Вопросы жизни» (1905. № 8). См.: *Иванов Вячеслав*. Cor Ardens. Ч. 1. М.: Скорпион, 1911. С. 118.

9. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

7 июля 1905 г. Таруса[1]

7 июля 905, Таруса (Калужск. г.)

Нина, мое счастье, жизнь моя! читаю Твои письма, и плачу, и плачу, как тогда на гранитной глыбе, ушедшей в море; вот слезы текут по щекам, как Ты этого хотела. Твои письма — это вся Ты, Твои строки — это Твой голос, и я опять прежний, и я опять там, опять с Тобой, почти до иллюзии, почти чувствую прикос-

новение Твоих губ, Твоих рук. Да! да! это было! было! а Ты угадала, что бывше<е> покажется мне сном. Но неужели человеку позволено изведать такое счастье, позволено говорить «я счастлив», и не ждет за это горькая расплата, несказанное мучительство. О, я принимаю все. Ничто не будет слишком — пред тем, что я узнал, все мучения будут лишь малой платой за тридцать дней на тех «островах блаженных», о которых мечтали древние и которые сумел нарисовать Беклин (он знал не только «острова смерти»[2]). Но страшно! страшно! Быть может, это безумие, быть может, мой страх — моя мания. Но я закрыл глаза, я стиснул их руками. Ты зовешь меня посмотреть вперед. Но я не смею. Мне кажется, я увижу видение, которое убьет меня. И только Твои письма, Твои строки властны успокоить мою душу. Твои письма, которые теперь восходят, как звезды, над моей жизнью, которые озаряют и зажигают вновь мое вдруг потускневшее сердце.

О, я Твой, конечно, Твой, да, навсегда!

Валерий.

7 июля 905, Таруса

Это Post. Scr.

Прости мне, девочка, что я пишу так мало, так отрывочно. Боже мой! неужели для меня не высшая радость писать Тебе, быть с Тобой, перебирать, как драгоценности, свои воспоминания, верить, что Ты вновь услышишь мои слова. Но первые дни моей жизни здесь душа моя была так разбита, так измучена, что у меня не было воли писать, я не смел, я не хотел сказать Тебе тех слов, какие тогда были у меня на губах. У Тебя по крайней мере есть одиночество; у меня его нет. У Тебя возможность не делать ничего; на меня нахлынули все мучительства «дел», которые, увы, я сам (по своему «властолюбию», вероятно) возложил на себя, не допуская, чтобы что-либо важное вокруг меня совершалось без моей воли. Только теперь успокаиваются эти внешности. Буду писать к Тебе, много, без конца. Буду писать и *Твой* роман[3], с сегодняшнего дня, с того часа, как вернусь домой. Он должен быть написан, и написан *прекрасно*, быть эпохой в литературе. Клянусь Тебе в этом.

Ах, девочка, милая, хорошая, маленькая, люблю Тебя! люблю! совсем люблю! совсем Твой

Валерий.

P.P.S. И прости формат письма. Пишу в городе.

[1] Ответ на пп. 4, 5, 7. Написано на двух «секретках» (закрытых письмах), отправлено в Малаховку по адресу: «Дача А.П. Соколовой, ЕВ Надежде Ивановне Петровской. *С*». Почтовые штемпели: Таруса. 8.7.05; Малаховка. 9.VII.1905.

[2] Арнольд *Бёклин* (Böcklin; 1827—1901) — швейцарский живописец, представитель символизма и стиля модерн. Упоминаются его картины «Поля блаженных» (1878; Новая пинакотека, Мюнхен) и «Остров мертвых» (1880; Публичное художественное собрание, Базель).

[3] Подразумевается, что Петровская — прообраз героини будущего «Огненного Ангела».

10. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

7 июля 1905 г. Малаховка[1]

Малаховка 7 июля

Дорогой Валерий,

Посылаю рецензию и очень прошу, если не понравится *вся*, — скажи прямо, если местами, — поправь как хочешь. Если будет не нужна, — *верни*, я отдам в «Искусство»[2]. Не пишу ничего, потому что послала тебе *три* длинных письма[3] и жду, очень жду от тебя.

Живу одна. Сережа[4] уехал. Пусто, тихо... Одна.

Ты милый...

---

[1] Почтовые штемпели: Малаховка. 8.VII.1905; Таруса. 10.7.05.

[2] См. примеч. 3 к п. 7. Рецензия Петровской на книгу Осипа Дымова «Солнцеворот» (СПб., 1905) была опубликована в № 7 «Весов» за 1905 г. (С. 57—58).

[3] См. пп. 4, 5, 7.

[4] С.А. Соколов.

11. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

8 июля 1905 г. Антоновка[1]

8 июля 905, Антоновка

Девочка! радость моя! счастье мое!

Не сумею почти сказать, не подберу слов, как оживили меня, как воскресили меня Твои письма (я получил три). Есть удивительные стихи Тютчева, почти выражающие это:

Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло![3]

Я был совсем без сил, подавлен. Я как-то тупо и бесплодно читал испанские книги[1], с помощью одного словаря, восхищаясь, что понимаю их. Уверял себя, что это надо для моего романа (то были биографии моряков и конквистадоров XVI и XVII в.). Мечтал прочесть их много, мечтал прочесть еще ряд разных книг о той же эпохе. И вот, вернувшись с почты, где прочел Твои строки, я сразу бросил всё — и книги, и испанский словарь — взял лист белой бумаги и стал писать. И знаю, и чувствую, и вижу, что могу писать, что никаких книг, никаких изучений мне не нужно. Чтобы написать *Твой* роман, довольно помнить Тебя, довольно верить Тебе, любить Тебя. Будь моим руководителем и здесь, моим маяком, моим ночным огонечком, как в мире Любви. Любовь и творчество в прозе — это для меня два новых мира. В одном Ты увлекла меня далеко, в сказочные страны, в небывалые земли, куда проникают редко. Да будет то же и в этом другом мире. Дай мне стать на колени. Дай поцеловать Твои руки.

Я Твой, всегда Твой

Валерий.

P.S. На днях буду в Москве (на день: надо как «домовладельцу» быть в Думе). Но *я боюсь* увидаться с Тобой. (Помнишь, Ты обещала мне откликнуться, если бы я стал просить.) Боюсь. Может быть, это опять безумие, опять мания. Но помедлим. Пусть мы встретимся, как решили, после 20<-го>. Страшно, страшно наложить хоть одну черту на прошлое. Это такая полная завершенная картина, что я не знаю, как продолжать ее. Ах, пойми мои слова! Не расслышь в них иного, чем то, что я говорю. Ведь это *не значит*, что я не хочу Тебя видеть. Именно слишком хочу и потому говорю: не смею. — Но напиши мне (об этом молю, как только умею молить), напиши мне хотя несколько строк *в «Скорпион»* на мое имя. Опьяняюсь мечтами, что опять прочту Твое письмо. Исполни! девочка-Нина, счастье мое, исполни! Люблю Тебя. Твой.

P.P.S. Письмо поручаю бросить в ящик в Москву уезжающему отсюда г. А., которому фамилии Соколовой и Петровских не говорят ничего.

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Цитата из стихотворения «Проблеск» («Слыхал ли в сумраке глубоком...», 1825).

[3] Речь идет о книгах, присланных Бальмонтом из Мексики (см. примеч. 5 к п. 6).

12. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

10 июля 1905 г. Антоновка[1]

10 июля 905, Антоновка

Ты мне поверишь, девочка Нина, звездочка моя, как часто, как часто ко мне возвращаются во сне эти дни среди гранитов, *наши* дни, и почему-то особенно часто именно Твоя комната в Раухе, ее окно, за которым тонкоствольные сосны, крыша другого дома и клочок голубой Саймы; и мне кажется, что Ты опять сидишь в этом кресле, втиснутом между комодом и столом, сидишь и куришь тоненькую папиросу, а я опять около Тебя на коленях, сжимаю Твою руку, вижу Твои глаза, смотрю, смотрю в них. Это стало моей любимой грезой, «mon rêve familier» (вспоминая заглавие Верлэновского стихотворения[2]). Но сегодня мне снилось совсем иное,— один из тех аллегорических снов, какие хорошо знаешь Ты. Мне снилось, что в каком-то приморском городе (полу-Гельсингфорсе, полу-Генуе) я искал Тебя, мучительно искал — на улицах, в садах, на пристане <так!>. Мне сказали, что Ты в каком-то кафэ. Я вошел. Что-то вроде «испанской бодеги», но полной людьми. Шум, говор, дым. Какая-то женщина обняла меня, зовя за собой. Я вырвался. Вышел. Мне опять сказали, что Ты на корабле. Я пошел туда. На палубе Тебя нет. Я сошел в каюты. И там Тебя нет. Я спустился в трюм, темный, душный. Тогда надо мной опустили дверь-крышку. Я понял, что я в плену или в тюрьме. Стал скрипеть подымаемый якорь, и корабль поплыл куда-то. И меня охватило последнее отчаянье, и я бросился ничком на доски. Проснулся, конечно, с тем же чувством отчаянья, которое уже не покидает меня весь день...[3]

Ах, девочка! девочка! милая, хорошая, маленькая! как страшно ничего не знать о Тебе день за днем. Это после того, как я был с Тобой все часы дня, почти все минуты! После того, как я следил смену всех, самых беглых Твоих настроений, ловя их в выражениях Твоего лица! Помнишь! помнишь! я угадывал Твои мыс-

ли, прежде чем Ты произносила слово! А теперь, быть может, Ты переживаешь что-то новое, что-то важное, а я не знаю *ничего*, совсем ничего. Да и, конечно, переживаешь. Проходят люди, приходят письма, мелькают целые дни, т.е. целые жизни! Я храню Тебя в душе такой, какой Ты была в день разлуки. Но Ты уже другая, уже все в Твоей душе стало иным. Ибо беспощадно верно изречение древнего Гераклита: «все течет!» и «нельзя войти *в одну и ту же реку* дважды». То течение, которое мчало нас обоих вместе, — уже далеко. Перед глазами словно все тот же водопад мгновений, но каждый атом в нем уже новый! И еще тысячелетия и миллионы лет будет свергаться этот водопад, меняясь каждый миг и наполняя души людей тоской о невозвратном, да, о *невозвратном*. Да, Ты мне сулишь, как ребенку, сломавшему куклу, — новую, лучшую. А я плачу, как ребенок, и упрямо повторяю: «Не хочу лучшей, хочу *ту же самую!*»

Сейчас у меня есть только одна отрада: та, которую я верно предвидел, — мой роман, Твой роман. Пишу его увлеченно, пишу, предавшись работе, весь день (а «Весы» хочу бросить[4]). Там, на этих исписываемых мною страницах, Ты, та Ты, которую я знаю, которую люблю, которую хочу сохранить себе и миру — навек! Как хорошо, какое счастье искать точных слов, какие Ты могла бы произнести. Невольно, как всегда, когда пишешь, делаешься тем лицом, от имени кого говоришь. И я ловлю себя почти на актерстве: я вслух произношу слова моей Велли[5], стараюсь уловить Твое произношение, чувствуя иной раз, что *так* Ты не сказала бы, и торжествуя наконец, что вот-вот это истинно Твой голос. И тут же я могу еще раз повторить все слова о любви, которые я говорил Тебе за эти девять месяцев, повторить их более сознательно, более сосредоточенно, но всё с той же страстью. И могу сказать другие слова, которые не сказались в свое время, которые я не посмел прошептать Тебе, но которые были живы, хотели жить и теперь находят свое воплощение. Все, все пережитое я переживаю вновь, и в моем мире я сам и действующее лицо, и Судьба, впрочем, нисколько не более снисходительная, чем та, которая властвовала нами.

Нина, хорошая, милая, напиши мне несколько строк в Москву, в «Скорпион», на мое имя (я уже просил Тебя об этом в прошлом письме); напиши и о *внешностях* своей жизни — Ты знаешь, как я их люблю — и *о том*, о чем Ты до сих пор молчишь и что меня тревожит по-прежнему[6].

Верь мне, что я Тебя люблю все так же, — все так же, ибо время для меня остановилось, как для умершего, по спиритической теории, и длится один долгий день разлуки. Как в тот миг, я

Твой, Твой

Валерий.

---

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] «Mon rêve familier» («Моя привычная мечта») — сонет Поля Верлена из его книги «Сатурнические стихотворения» («Poèmes saturniens», 1866), переведенный Брюсовым на русский язык под заглавием «Привычная мечта» («Мне часто видится заветная мечта...», 1901). См.: Французские лирики XIX века: Перевод в стихах и библиографические примечания Валерия Брюсова. СПб., 1909. С. 79. Другая редакция текста: *Верлэн Поль.* Собрание стихов в переводе Валерия Брюсова. М., 1911. С. 6; *Брюсов Валерий.* Полн. собр. соч. и переводов. Т. XXI. СПб., 1913. С. 87. Заглавие «Mon rêve familier» предпослано также оригинальному стихотворению Брюсова («Вновь одинок, как десять лет назад...», 1903) (I, 324—325).

[3] Ср. стихотворение «В трюме» («Мы — двое, брошенные в трюм...», 1905) из раздела «Из ада изведенные» книги Брюсова «Stephanos» (I, 402—403).

[4] О намерении — так и не реализованном — отказаться от руководства изданием журнала «Весы» Брюсов летом 1905 г. заявлял неоднократно. См.: *Азадовский К.М., Максимов Д.Е.* Брюсов и «Весы» (К истории издания) // *ЛН. Т. 85.* С. 279.

[5] Имя героини в ранних набросках брюсовского романа (первоначальное заглавие — «Повесть о ведьме»). См.: *Гречишкин С.С., Лавров А.В.* О работе Брюсова над романом «Огненный Ангел» // Брюсовские чтения 1971 года. Ереван. 1973. С. 124—126.

[6] Речь идет о возможной беременности Петровской.

13. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

10 июля 1905 г. Малаховка[1]

Малаховка 10 июля

Валерий, дорогой,

я уже совсем было затомилась здесь за эту неделю, но сегодня — твои письма, и опять я оживаю, и опять я в *нашем* мире, я настоящая, а не та, которую знают здесь, сделанную, но всегда чужую им всем. Я ушла на дальнюю дорогу, в сосны, там читала, и мне хотелось тебя обнимать, целовать, говорить какие-то новые, безумно нежные слова, показать тебе те светлые дали, что сияли предо мной в те минуты, уверить тебя, что они радостные, и успокоить, о, успокоить тебя, если только это мне дано. Мне кажется, что там, где ты сейчас, — темно и тяжело, и мне так хотелось

бы послать тебе нежно ласковые лучи, те яркие сияния нежности, что горят в моей душе для тебя. Милый, я не знаю, откуда все это, но никогда еще не стремилась я к тебе так, никогда мои мысли о тебе не принимали таких очертаний. Ты мне весь дорог, и здешний твой облик, и *тот*. Я боялась повседневности, всю жизнь боялась ее, часто поэтому *старалась* быть только «существом», хотя минутами это доставляло большую боль; но за 30 дней в Финляндии в первый, быть может, раз, я была совсем собой, видела тебя тоже настоящего, но повседневности *не было*, она просияла чем-то новым, утратила свой грубый лик и потеряла всякую власть. Мне одинаково радостны и те минуты, когда мы с тобой совершенно удалялись от реального, плавали где-то брошенные в темноте, заглядывали в глаза смерти, и те, другие, милые, простые. Одинаково близок мне ты и тот, над морем, со слезами на глазах, как символ скорбной любви, и другой ты, — по-здешнему милый ласковый зверочек, в голубой рубашечке, с счастливыми глазами, которые и сейчас мне хочется целовать так же, как тогда, и говорить: будь счастлив, будь счастлив... О, верь в чудо! Разве и это не чудо, что, *несмотря ни на что*, я храню мою душу твоей. Вся Москва, которой мы так боялись в Финляндии, подошла, окружила, злая как прежде, с ее старыми мучительствами, но я чувствую себя вдвоем с тобой, в нашем, в нашем мире. Из моей душной тоски, из моей «чеховской» дачи, где можно бы застыть, омертветь и засохнуть, мне хочется говорить тебе новые, живые, больше чем прежние слова. Не бойся ничего. Мы в полосе счастья, будь бездумно, безвольно счастливым! Ты боишься каких-то новых мучений. Но разве не довольно их было для тебя за 9 месяцев? Ведь только теперь я понимаю их вполне и горестно изумляюсь и поклоняюсь Любви, для которой нет предела в душе. Но разве я знала что-нибудь тогда?! Пиши мне, пиши. Ты поселил и в меня тревогу. Я буду бояться слишком долгих дней без твоих писем. Пиши роман.... Я верю, что он будет прекрасным. Я всегда верю в тебя. И когда захочешь выйти из заточения, — мы будем вместе вновь. Сережа уже определенно уезжает 20<-го> к Хомякову[2]. Буду одна, свободная. Ты помнишь месяц назад в Финляндии? Ровно месяц, *облако*... И как не похожи эти дни здесь!

Милый, милый, все чувства мои к тебе сейчас так же неожиданны и непонятны, как *те* слова, что так изумили тебя, помнишь

их? Ах, только не грусти, не туманься, не омрачай мою радость приближения к тебе. Я очень люблю тебя.

Ты просил написать о «*том*». Пока *нет*. Но это еще ничего не значит. Сегодня только 10-е.

Не тревожься, я сделаю все, что можно. Но как-то не хочется еще и думать, ведь только 10-е.

На адресе не пиши *С*[3]. Только возбуждает подозрения на почте. Надя узнала твой почерк и ни за что не распечатает. Прости за чернильную кляксу. Нечаянно.

[1] Ответ на пп. 9, 11. Почтовые штемпели: Малаховка. 11.VII.1905; Таруса. 13.7.05.

[2] Алексей Степанович *Хомяков*; по словам Петровской («Воспоминания»), «последний отпрыск знаменитого рода славянофилов Хомяковых», «расточительный миллионер, полу-ученый, полу-писатель», объединявший в Москве вокруг себя людей с оккультными и спиритическими интересами и предоставлявший для спиритических сеансов «помещение в своем особняке на Новинском бульваре» (Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Ист. альманах. 8. Paris, 1989. С. 72—73).

[3] См. примеч. 1 к п. 9.

14. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

12 июля 1905 г. Москва[1]

12 июля

Правда, милый, лучше не надо сейчас видеться. Не хочется так мимолетно. После 20-го я буду совсем свободна, тогда приезжай, если можешь. Сейчас вместе с этим послала тебе письмо туда[2]. Так как последнее твое письмо помечено 8-м числом, а сегодня 12-е, я думаю, может быть, за эти дни ты уже съездил в Москву. Потому не пишу сейчас ни одного настоящего слова. Кто знает судьбу где-то лежащих писем? Наконец, его могут послать тебе без предосторожностей. *Кто-нибудь* прочтет. Правда, лучше не надо сейчас. На минутку в грохочущей раскаленной Москве....

Я терпеливо дождусь 20-го. Ты милый.

Получи то письмо.

[1] Почтовый штемпель: Москва. 15.7.05.

[2] О каком именно письме идет речь, неясно.

15. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

12 июля 1905 г. Малаховка[1]

12 июля. Малаховка

Дорогой Валерий,

я томлюсь от какой-то беспричинной тоски. Не могу даже спать. Слушаю шорохи, читаю до рассвета, борюсь с горькими мыслями, а чуть забудешься, — видится что-то тяжелое, почти кошмарное. Вот сегодня, — вижу, по одной из московск<их> улиц двигается похоронная процессия. В белом некрашеном гробу несут Христа. Вокруг бледной головы Его с ввалившимися глазами вместо сиянья, — золоченый деревянный ободок, как на иконах. И вдруг в этот гроб, в один с Ним, положили меня сверху, так что мое лицо приходилось совсем около Его. И на мертвом лице Его стали трепетать и подниматься ресницы, и на спину мне легли Его ледяные длинные пальцы. Вот и все, но я не могу в словах описать тебе той пронизывающей холодной тоски, того неизъяснимого ужаса, с которым я проснулась. Ощущений сна совсем невозможно передать. Как хорошо было там, на Сайме, сны совсем не мучили меня, а теперь *это* опять началось...

Меня здесь все тревожит, печалит, раздражает. И не могу найти в душе достаточно равнодушия! Кажется мне, что старое уже все изжилось, нельзя ничего повторять, ведь удары будут приходиться всё по прежним же ранам.... Ах, прости за эти печальные строки! Но ведь, кроме тебя, никто ничего не понимает. Я в течение двух дней пробовала *говорить*, не сложно вовсе, только немного более тех членораздельных звуков, которые произношу ежедневно, — *не понимают*. Слышат слова, улавливают комбинации фраз, и больше ничего. Отчего же ты понимаешь? Отчего же с тобой так просто, легко и никогда не оскорбительно? Сережа говорит, что мы с тобой похожи в нашем «самовластии», в ненависти к людям вообще, что у нас души одного цвета (должно быть, уж обе черные). А я рада этим «полу-дружеским» укорам. Хорошо быть похожей на тебя, ведь даже в его словах есть доля правды, хотя она какая-то не настоящая, вывернутая, — но правда.

И если не будет тебя, — я больше уже не буду приближаться душой ни к кому. Знаю, только с тобой возможна та последняя близость, которая виделась мне лишь в мечте. И знаю я так же

наверно, что эти дни — дни каких-то последних углубленных переживаний. Дальше и без тебя не вижу ничего, кроме кривляющихся масок. Нас вели друг к другу через пропасти, через высокие горы, с которых я видела ослепляющие виденья и дали. Но, должно быть, они были *не мои*, потому что над ними так быстро опустили завесу. А *мои* и *наши — другие*. Весь этот путь уже позади, и страшно оглядываться назад. Ты милый, я хочу быть с тобой, нам дан *другой Свет*. Знаю, верю, верь в него и ты. Еще два месяца назад у меня не было бы этих слов, но в Финляндии я многое поняла и поняла *навсегда*.

Пиши, пиши. Хорошо получать твои письма. Мне, правда, очень, очень печально и тягостно здесь. Кроме всего внутреннего неустранимого, есть много досадных внешностей. Но вот целый месяц буду жить опять как хочу. Мы увидимся тогда? Ты приедешь в Москву? Я жду тебя. Я по-прежнему твоя китайская фарфоровая девочка.

О «том» не беспокойся. Опасенья *не оправдались*. Это уже верно.

---

[1] Почтовые штемпели: Малаховка. 13.VII.1905; Таруса — нрзб.

16. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

12 июля 1905 г. Малаховка[1]

2.

Малаховка 12 июля, вечер

Я только хотела отправить тебе письмо, как получила твое. Но все равно — ты получишь оба разом. [Я даже не разрываю того конверта.] Ах, Валерий, не люблю я таких снов, какой ты видел. Я хорошо знаю эти ощущения, эту смутную тоску после. Не знаю почему, но все последние дни я тревожусь чем-то. А тут еще твой сон!.. Милый, дорогой, теперь я не хочу, не хочу расставаться с тобой. Не думай, что какие-либо внешности могут изменить меня. Все, что кругом, — люди, письма, встречи, — все мне кажется ненужным вздором, который не доходит до *меня* и не может менять моих чувств к тебе. Пусть миги уже *не те*, но они все же *твои*. Я

думаю *о тебе*, тревожусь о *тебе*, через все я все время лишь *с тобой*. Ну поверь же, поверь! Чему же можно и верить, кроме таких слов, в которых сейчас для меня вся полнота и прежнего и нового. Я помню все. Этот месяц для меня дорог так же, как для тебя. Помню все мелочи, все, что тогда казалось мелочью, а теперь стало дорогим и важным без конца. И комнату в Раухе, и лодку над ночной Саймой, и тихие всплески, и камешки, которые бросали мы в воду. *Мы близкие* и в днях и в ночах, мы смотрящие друг другу в глаза почти каждый миг. Не бойся, что сейчас я далеко и ты не можешь видеть моих глаз. О, не бойся, ты не встретишь в них чужого выражения. Там по-прежнему и голубая Сайма, и небо, и ты. Дорогой, почувствуй всю глубину моей нежности к тебе. Разве не чувствуешь? Разве не слышишь? Вот целую твои глаза, волосы, целую, целую... Ты милый, милый. Я люблю твое лицо, твой голос, люблю твои слезы, твои стихи... Ты весь мой, близкий, дорогой беспредельно. Я не хочу сейчас никого кроме тебя. Откуда это, — не знаю, не хочу знать. Ты мой, я беру тебя, милый, милый. Не надо спрашивать, не надо узнавать ничего, пей это новое вино, пей его вместе со мной. Довольно было слез жестокости и горя. Я отдыхаю с тобой, сладко немею от твоей нежности. Влюбляюсь в твою любовь, люблю ее, в ней несказанная красота. Она виденье, явившееся в мою беспросветную горькую тьму. Валерий, Валерий, будь счастлив! Не бойся будущего, оно ласковое для тебя и для *нас*.

Верь, я все время с тобой, твоя, близко. Ни одна тень не легла на душу. Только верь, верь. Я не утешаю тебя «новой куклой». Ты увидишь ту старую, любимую, и ребенок не будет плакать. Ты оттого так недоверчив, что позади было слишком много твоего горя. Но где же оно? Разве могу я мучить и обижать *тебя*? Ведь это было оттого, что не могла я тогда видеть ничего. Ведь я была *глухая* и *слепая*. Валерий, дорогой, хочется сказать что-то совсем новое, чтобы сверкнуло как молния, чтобы ты больше не мог сомневаться. Но — не знаю, не надо... Прости, я чувствую, что сегодня какая-то безумная, бессвязная. Целую, целую, целую тебя, дорогой.

Твоя Нина.

[1] Ответ на п. 12. Почтовые штемпели: Малаховка. 13.VII.1905; Москва. 13.7.05. Отправлено по адресу издательства «Скорпион».

17. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

14 июля 1905 г. Москва[1]

14 июля, 905, Москва

Нина! светлая! далекая!

Помнишь ли стих Бальмонта, того Бальмонта, которого мы то неумеренно славим, то неумеренно осуждаем:

О строгие лики
Умевших любить![2]

Это верно сказано. У тех, кто умел любить, лики не могли не быть строгими. Есть строгость в любви. Есть трагизм в любви. Символом любви всегда были кроваво-красные розы. Русский язык насильно заставляет поэтов помнить о роковой связи двух слов: «любовь» и «кровь». Но если это так, — а все это Ты мне говорила много раньше, чем то же говорю Тебе я, — если это так, может ли быть любовь без трагизма, может ли быть счастье, может ли быть достижение в любви? Не противоречие ли говорить: «Я счастлив, потому что люблю и слышу в ответ — люблю»? Случайно ли я написал столько стихов, когда мог поставить им заглавием «В пытке» и «В застенке»[3], и не писал ничего потом, после, в «наши» дни (о, бесконечно прекрасные дни, когда довелось мне:

над бездонностью пространною
На крыльях счастья задрожать!) [4]

В математике есть понятие, называемое «предел». Круг — предел многоугольников, если мы будем бесконечно увеличивать число углов. Но сам круг ни в каком случае *не* есть многоугольник. Предел — это к чему данная величина стремится, *никогда того не достигая*. Не есть ли счастье — «предел» любви? Любовь должна влечься к счастью, но не должна его коснуться никогда. В одном из детских своих стихотворений (из тех, что Ты любишь) я обмолвился стихом: «Красота и смерть неизменно одно»[5]. Было бы вернее сказать: «Счастье и смерть — одно». Кто хочет смерти, должен стремиться к счастью. Жизнь только в роковом, только в трагизме.

Нина, огонечек мой, свет над моим морем, прости мне эти мысли, может быть, безумные, больные. Но разве быть безумным и больным непременно значит ошибаться? Или пришло то, чего

я так боялся, когда был «мой разум светел», — пришло «одичание», от которого предостерегала меня и Ты. Не знаю. Мне как-то страшно жить, мне как-то страшно чувствовать. Здесь, в пыльной, в слишком знакомой Москве, где и Вавилон, и ночные, еще не залитые слезами розы, — мне вдруг вспомнилась моя комната в Антоновке, где на столе страницы с начатым романом, — словно монашеская келья. А помнишь, Ты говорила, что у меня есть что-то иноческое в лице?

Но я Твой! Твой! Твой!

Валерий.

---

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Цитата из стихотворения «Испанский цветок» («Я вижу Толедо...»). См.: *Бальмонт К.Д.* Будем как Солнце. Книга Символов. М.: Скорпион, 1903. С. 51.

[3] «В застенке» («Кто нас двух, душой враждебных...») — стихотворение Брюсова, датируемое 10—11 декабря 1904 г., в рукописи озаглавлено: «В пытке»; первая публикация — под заглавием «Пытка» (Северные Цветы Ассирийские. Альманах IV книгоиздательства «Скорпион». М., 1905. С. 32). См.: 1, 400—401, 627 (примеч. М.И. Дикман).

[4] В опубликованном тексте стихотворения Брюсова «В полдень»: «И над просторами безмерными / На крыльях страсти задрожать!» (1, 396).

[5] Строка из стихотворения «Ветви» («Ветви склонялись в мое окно...», 19 июня 1896 г.), входящего в книгу Брюсова «Me eum esse» (1, 106).

18. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

15 июля 1905 г., Москва[1]

15 июля. Москва 5 ч. дня

Дорогой, сегодня я случайно была в Москве и не знаю почему, точно инстинктивно подошла к телефону и позвонила в Скорпион. Мне ответила Б<ронислава> М<атвеевна>[2], что ты *только что* ушел. Принимаю это как указание Судьбы.

Значит, пока не нужно видеться. Я говорю «пока» — эти случайные дни. Но ведь ты приедешь? Я буду одна. И жду тебя... Получил ли ты мои письма и рецензию? Ее даже послала заказным[3]. Странно быть в Москве, знать, что ты здесь, близко, и не видеть... Милый, я все та же. Веришь?

---

[1] Почтовые штемпели: Москва. 16.7.05; Таруса. 19.7.05.

[2] Свояченица Брюсова Б.М. Рунт исполняла в 1905 г. обязанности секретаря редакции «Весов».

[3] См. п. 10, примеч. 2. 16 июля 1905 г. Брюсов сообщал С.А. Полякову: «Рецензию о Дымове написала (как я узнаю из письма) Нина Ив<ановна>. Поглядите ее» (*ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 107).

19. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

17 июля 1905 г. Таруса[1]

17 июля 905

Девочка! желанная! близкая!

Ты поверишь, что я был в отчаяньи, совсем в отчаяньи, читая одновременно Твое письмо и Твою телеграмму[2], — когда было уже слишком поздно. Мгновение у меня было желание все же искать Тебя, увидать Тебя во что бы то ни стало. Но потом я увидел в этих случайностях то же Роковое, что всегда было с нами. Были дни, когда судьба насильно, против нашей воли толкала нас навстречу друг к другу. Теперь она не дает нам встретиться, разводит нас десятками мелких ухищрений. (В субботу был день рождения сестры Серг<ея> Алекс<андровича>[3], он был в деревне, и мне незачем было быть в «Скорпионе».) Надо опять подчиниться, покорствовать. Мы слишком знаем, что все равно ничего не удается, если идти против желания судьбы. Будем ждать назначенных нами 20-х чисел. Мечтаю о них, и — боюсь их. Да, боюсь.

Люблю Тебя. Всегда Твой

Валерий

Verte («Оберни»)[4].

P.S. Девочка, милая, дорогая, маленькая! но неужели Ты приезжала в Москву нарочно? И не встретила меня. Искала глазами, и меня не было. Вот в этом отчаянье. Хочется просить прощения, долго, долго. Милая! Близкая!

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Телеграмма (отправленная, видимо, 15 июля во время пребывания Петровской в Москве) в архиве Брюсова не сохранилась.

[3] *Суббота* — 16 июля. *Сестра* С.А. Полякова – Анна Александровна (Нетти), в замужестве Семенова (жена одного из основателей «Скорпиона» М.Н. Семенова).

[4] Последующий текст — на другой половине вдвое свернутого листа.

20. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

17 июля 1905 г. Малаховка

Малаховка. 17 июля, вечер

Если бы ты знал, Валерий, как захотелось мне видеть тебя после твоего последнего письма[1]. Несмотря на наше решение не видеться пока, я послала в Скорпион телеграмму (мне сказали, что ты в Москве до воскр<есенья>[2]) и ждала тебя от 7—8 на Рязанском вокзале[3]. Тебя не было... Была только острая тоска ожиданья. А потом внезапно я почувствовала себя настолько больной, что едва доехала обратно. Сегодня лежу в жару целый день; дождь, тягостные мысли, унынье и тоска.

Ах, Валерий, я предчувствовала то, что с тобой сейчас. Едва коснувшись губами *края* чаши, ты уже испытываешь страх, смущенье и тоску. Ты испугался счастья. Испугался его облика, который *на миг* мелькнул из разорванных туч. Ты был радостнее, когда я мучила тебя. Ты ведь тогда написал свои лучшие стихи!.... А теперь и в те дни — не мог ничего. И в этом слышится мне горько-незаслуженный упрек. Мне грустно и больно, Валерий. Ты заставляешь меня жалеть о многом. Но мной никогда не руководили никакие расчеты, ты знал все, что приходило мне в душу, и если в этом крылась погибель всего, что между нами, — пусть. Оставайся с призраком 30-и дней[4], если боишься, что можно нарушить эту «завершенную картину», а я тихо и гордо отойду от тебя, но не хочу меняться, не хочу жить и чувствовать по выгодному плану. О, зачем у тебя такие мысли? Зачем ты губишь все так рано! От твоего последнего письма во мне что-то оборвалось. Я не могу, не хочу опять говорить «все равно», а ты вызываешь во мне это тупое, покорное равнодушие. После всего, что было этой зимой, я чувствую бесконечное утомление, глубокий, непоправимый надлом, новые ростки в душе так еще нежны, бледны и бессильны, что их можно истребить каждый миг и уже навсегда. Ты говоришь о трагизме, которого как будто нет по твоим ощущениям сейчас в наших чувствах, но ты забываешь прошлое, из которого возникло все, и будущее, грозящее Бог знает чем. Разве знаешь, что и откуда приходит в душу.... И отравляешь эти дни отдыха, и не дорожишь ими. Ты говоришь еще, что, может быть, наступило то «одичание, от которого предостерегала тебя

я», но, Валерий, милый, разве уж так ты бессилен? Я помню одно наше условие, — помнишь, ты просил, что если *это* придет, быть с тобой кроткой и нежной, напомнить тебе все, а не ожесточать такими же словами в ответ. Я помню это и умоляю тебя как могу, — не поддавайся таким настроениям, дай увидеть тебя, говорить, целовать тебя, как прежде, и, может быть, исчезнут набегающие тени. Не бойся счастья, оно всегда быстротечно, помни это. Я однажды испугалась его, как ты, так же говорила себе, что жизнь в трагизме. А что было после, — ты знаешь слишком хорошо. Трагизма не нужно звать, он всегда тут, близко, и, *верь, не оставит еще и нас*. Как ты недоверчив, боязлив, — это те зимние дни сделали тебя таким. Ну как мне утешить тебя?

Милый, милый Валерий, ну вспомни все, разве не хотел бы ты опять быть со мной! *Куда* ты уйдешь? В одиночество, в работу? Но разве я мешаю тебе? Что сделать, чтобы опять ты стал опьяненным, радостным, бездумным, как на Сайме? Только дай увидать тебя. Издали слова не звучат, ты не видишь моих глаз, не слышишь моей печали, я не могу коснуться твоих рук и в этом прикосновении передать тебе гораздо больше, чем в четырех исписанных страницах. Ты знаешь силу внешней близости, мы не раз говорили об этом. Валерий, дорогой, напиши мне скорее, я очень, очень печальна. Зачем столько боли! И от тебя... Я хочу тебя видеть хотя на один вечер, если не думаешь вернуться вообще скоро, то приезжай хотя на несколько часов. С 21-го я буду свободна, если только еще не буду хворать.

---

[1] Имеется в виду п. 17.

[2] *Воскресенье* — 17 июля.

[3] Ныне — Казанский вокзал.

[4] Подразумевается 30-дневное совместное пребывание в Финляндии.

21. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

20 июля 1905 г. Антоновка[1]

20 июля 905. Антоновка

И уже все другое — и мысли, и желания, и вся душа, и, должно быть, все тело. И нет ничего из прежнего — осыпался цветок — и почти не смею назвать Тебя, и не знаю, как решусь

посмотреть Тебе в глаза. И весь мир для меня — эта узкая дорожка от нашего дома к Оке, по которой каждый день я медленно брожу взад и вперед, верста — туда, верста — назад, обдумывая каждый день новую главу романа. Работа поглотила меня не как Мальстрем[2], увлекающий, потрясающий, ужасный, но как черная глубь какого-то моря, как какая-то молчаливая пучина, в которой нет ни звуков, ни светов, ни жизни. Упрямо исписывая страницу за страницей, переходя от главы к главе (их много надо!), я уже теряю живое чутье того, что делаю; не могу оторваться, но и не знаю, чем покажется мне все сделанное, когда взгляну на него посторонними глазами. Не отвернусь ли я презрительно и не брошу ли, смеясь, свою рукопись прочь, как столько других? «О, да, я помню — да, я был живым *когда-то!*»[3]. Теперь я в мире слов, отточенных предложений, нанизанных и переплетенных событий. В них — Ты, но это и не-Ты; в них — я сам, но это и кто-то иной, чужой, уже странный, уже непонятный, о котором надо вспоминать, напрягая память. Память! Память! да! ей приходится теперь работать! И мои лучшие сокровища, и все, что есть у меня самого драгоценного, уже не в сердце, не в этом миге, — а в прошлом, в воспоминании...

Нина! Нина! девочка! Надо не быть людьми, а как достичь этого? Надо жить вне жизни, а за ее пределами лишь смерть! Надо дышать только любовью, но еще нет страны, где вечно веет этот воздух! Мне кажется, что я несу мой факел сквозь ночь и бурю, ибо та смертная тишина, что вокруг меня, и есть истинная буря. Пламя клонится, мечется, жжет мои пальцы; я не выпущу смолистого сука, но останется ли он пылающим, или в руках моих вдруг окажется тлеющая головня? Иду, наклоняя голову. Да, да! я знаю! довольно приблизиться к Тебе, вновь стать на колени перед Тобой, чтобы огонь разгорелся ярко, вольно, — но неужели сам я бессилен против стихии, неужели пламя мое бессильно? Тогда не лучше ли бросить факел в мокрую траву, — пусть шипит, как змея, и самому упасть около, и лежать молча, покорно? Страшные мысли обступают меня здесь, в черной тишине, черные мысли...

Одна ли Ты? Можно ли прийти к Тебе? Встретишь ли Ты меня такого, каков я теперь? Ответь мне. Приеду тотчас после ответа.

Только одному верь. Не могу не быть *Твоим.*

Валерий.

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Водоворот у северо-западного побережья Норвегии; получил известность благодаря рассказу Эдгара А. По «Низвержение в Мальстрём» (1841).

[3] Заключительные строки стихотворения Бальмонта «Последний луч» («Прорезав тучу, темную, как дым...», 1899) из раздела «Мимолетное» его книги «Горящие здания». См.: *Бальмонт К.Д.* Стихотворения. Л., 1969. С. 184 («Библиотека поэта». Большая серия).

22. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

20 июля 1905 г. Малаховка[1]

Малаховка 20 июля

Валерий, милый!

Я знаю, мое предыдущее письмо опечалило тебя[2]. Но ведь ты сам вызвал во мне такие горькие чувства, да и в тот вечер я была совсем больна, у меня было ночью около 40, мысли туманились и путались от лихорадки. Все вырастало до чудовищности. Я хвораю с субботы[3], как вернулась из Москвы. Только сегодня немного лучше, но тоска меня охватила невыносимая. Приедешь ты скоро или нет, — все равно я сбегу отсюда. Здесь даже в тишине есть что-то отравляющее меня. Задыхаюсь в какой-то исступленной тоске. Эти 20 дней мне кажутся тяжелым карантином, который заставляют зачем-то выдерживать. Завтра в 2 ч. дня Сережа уезжает, тогда уж окончательно не выживу здесь. Очень хочу тебя видеть, но твое последнее письмо[4] так испугало, так опечалило меня своей безнадежностью, что я уж не могу найти прежних призывающих страстных слов. Если сильно захочешь — приедешь, и мы увидимся. Я все та же: но, дорогой, если ты хотя сколько-нибудь веришь, что еще *что-то возможно*, если ты хочешь встретить меня живую, а не мертвую от безнадежности, — не давай владеть собой *тем* чувствам... У меня так и остался в душе след тихой и горькой обиды. Может быть, я не права. Может быть. И слова мои тебе кажутся сплошным непониманием. Но ведь дело не в словах, а в чувстве. Я могла бы говорить *другие* слова, а в душе все равно бы что-то рушилось и падало. Ты понимаешь, ведь сейчас все, что осталось во мне живого, настоящего, все, что осталось *от того* испепеляющего вихря, — все обращено к тебе и отда-

но тебе. Там, за тобой уж настоящая черная жуткая ночь. *Я уж не буду искать никого, ничего не буду ждать,* — потому что *знаю — больше нет никого.* Эти годы тоже моя вершина. Я так же, как ты, чувствую предел, но у меня только рисунок этой последней картины более причудлив и странен. Об этом я скажу тебе когда-нибудь после, когда и сама лучше и ярче пойму.

Валерий! будем пока вместе. Разве *ты* не чувствуешь за нашими огнями эту черную осеннюю ночь! «Во тьме безутешной сияющий праздник»...[5]

Так пусть же будет *праздник*, не омрачай его, не бойся нежного весеннего ветра, не бойся отравиться каждым слишком ярким лепестком. Все проходит, все уходит из души, — это ты сам сказал однажды. Зачем же слишком ранняя тоска приходит к тебе? Будет ей время, — подожди.

Хочу тебя видеть! Хочу до тоски. Милый, хочу тебя видеть!

---

[1] Почтовые штемпели: Малаховка. 21.VII.1905; Таруса. 23.7.05.

[2] Имеется в виду п. 20.

[3] *Суббота* — 16 июля.

[4] Имеется в виду п. 17.

[5] Источник цитаты не установлен.

23. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

23 июля 1905 г. Таруса[1]

23 июля 905, Таруса

Девочка! счастье мое! солнце мое! Я прочел Твои письма, и они ослепили меня, обожгли мои отвыкшие от света глаза! Да! да! мне надо слышать Твой голос, чтобы быть собой, мне надо видеть Тебя, чтобы возможны были новые достижения. О, не случайно там, в «Руси»[2] я так радостно становился перед Тобой на колени. Это — символ. Я должен быть перед Тобой на коленях, целуя Твои руки! Ты права в своих упреках. Мои последние письма — безумие. Но... ведь Ты знаешь, что мы всегда смотрим сами на себя со стороны... но я теперь понимаю, что со мной. Это — изнеможение, это — усталость после девяти месяцев величайшего напряжения души, завершившегося экстазом тридцати дней на гранитах. Я как бы болен. Отсюда мой страх, моя недоверчивость,

мое желание смотреть лишь в прошлое, лишь в прошлое. Как всегда умею я различать, какие мои стихи хороши, какие плохи (о, лучше всех критиков), так умею я различать, когда я — я, когда нет. Сейчас нет меня, сейчас не надо, чтобы Ты меня видела. И сам Случай, которому я всегда поклоняюсь, разводит нас. Девочка! Нина! все та же «милая, хорошая, маленькая» —— я люблю Тебя! да, люблю, люблю! Нет в моей душе другого чувства, кроме этой любви, никакого, ни к кому! Ах, не прошлое эта любовь, она теперь светит, теперь жжет, слепит, опьяняет. Только нет у меня сейчас слов, нет глаз, нет лица, чтобы выразить ее. Вот почему я твержу о прошлом. Упрекай меня, но не отвергай, не прокляни. Я найду слова, чтобы Ты простила меня, найду опять «Твои» глаза, мои правдивые глаза, которые скажут Тебе, что я не лгу. Среди всего померкшего во мне, во всей тьме моей усталой души есть одна истина, по-прежнему блистательная, алмазная, огненная:

Я — Твой

Валерий.

P.S. Мучительно писать «в конторе» почты, среди шума, плохим пером. Напишу сегодня больше, всё!

P.P.S. Я получил *четыре* Твоих письма, последнее от 12... Боже мой! сегодня 23-е!

[1] Ответ на пп. 15, 16, 18, 20. Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Московская гостиница в Спасском переулке (дом князя Горчакова, между Большой Дмитровкой и Театральным проездом). Согласно «Воспоминаниям» Петровской, там проходили ее первые интимные встречи с Брюсовым (Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Ист. альманах. 8. Paris, 1989. С. 70—71).

24. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

23 июля 1905 г. Таруса[1]

23 июля 905

Послал Тебе письмо, написанное плохим пером, в испачканном конверте...[2] Мучительно это, мучительны эти мелочи!.. Нина, Нина, девочка моя!.. Истинно жить можно только во дворцах. Все эти окружающие мелочи все-таки оскорбляют, жалят!.. Перечитываю Твои письма в здешнем городском саду, над Окой, и чувствую

те же слезы, тайну которых открыла мне лишь Ты (как многие, о, многие тайны!). В этих новых четырех листках бумаги, в этих новых четырех волшебных талисманах — для меня теперь затаена сила возрождения, властное сезам, обращенное к моей душе. Буду читать их, впивать их глазами, чтобы прийти к Тебе достойным Тебя, истинно Твоим, истинно тем, каким Ты сделала меня. Благодарю Тебя сегодня за прошлое, за настоящее, за будущее. Потому что я поверил в эти неизвестности, поверил в эту безграничную даль, хочу ее — все равно, радостной или мучительной! Это будущее должно быть *с Тобой*; Ты права: мне некуда уйти. И если Ты мне повторишь, глядя в глаза, хотя несколько слов из своих писем, я буду счастлив более, чем возможно, более, чем считал себя счастливым на Сайме. И если Ты не повторишь мне этих слов, все равно я буду счастлив, потому что тоска моя, мучение мое, пытка моя — будет *по Твоей воле*. Вот что хотел я сказать, говоря, что я

Твой
Валерий

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».
[2] Имеется в виду п. 23.

25. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

23 июля 1905 г. Таруса[1]

23 июля 905. Таруса

Милая! светлая! близкая! мое счастье! мой праздник! мое все! Получил еще одно Твое письмо, помеченное 20. Значит, всего три дня назад Ты думала обо мне, была со мной! Я счастлив, я прежний! Ты возвращаешь мне всю мою волю, возвращаешь мне те крылья, которые сама дала мне, легкие, твердые, вольные. Не томись, девочка! о, не отчаивайся опять! Эти крылья есть у нас. И разве сознание, что всегда, во всякий миг можно простереть их и унестись, тихо, самовольно ото всей земли, ото всей низины, где люди, — разве это сознание не дает счастья, спокойствия, торжества длительного, постоянного, вечного! Девочка, не плачь! я буду целовать Твои руки! Радость моя, не будь грустной! Ты должна быть для меня светом и радугой! Мы не смеем не быть гор-

дыми, смелыми, ясными! И если в часы, когда отчаивался я, Ты находила для меня слова утешения, то теперь их найду я, скажу их, буду повторять, заставлю Тебя поверить. Во всем и всегда я Твой и для Тебя.

Валерий.

[1] Ответ на п. 22. Закрытое письмо — «секретка»; почтовые штемпели: Таруса. 23.7.05; Малаховка. 24.VII.1905.

26. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

24 июля 1905 г. Антоновка[1]

24 июля 905. Антоновка

Нина! дорогая, желанная, хорошая!

Вспоминая бредовые письма, написанные вчера[2], — краснею. Но я писал в шуме, в толкотне, за маленьким столом, где тут же строчили телеграммы местные тарусские интеллигенты из либералов и мелкие почтовые чиновники за пятачок выписывали для безграмотных мужиков тексты денежных переводов. Около стоял попавший как-то сюда Борисов-Мусатов[3]; перо было плохое; было жарко, воздуха не хватало, выкрикивались номера и фамилии. А передо мной лежали четыре Твоих письма, четыре белых квадратных алмаза. И я писал, не помню, чтó писал, бессвязно, строку за строкой, письмо за письмом, думая только о том, что все равно Ты будешь смотреть на эти строки.

Ах, чтó бы ни было, чтó бы ни вошло в мою душу — и в Твою тоже, — останется одно несомненным, однажды нами сознанное: у нас души «одного цвета». (Мне нравится эта формула Твоего Сережи.) Никогда, ни с одним человеком, за тридцать лет своей жизни, не мог я быть самим собой. Пытался и бывал жестоко наказан — болью тайных оскорблений, горьким стыдом. И я научился во всем притворствовать и обо всем лгать — каждым словом, каждым взглядом, каждым поступком. Я становился самим собой лишь в своей комнате, когда двери были плотно закрыты, шторы опущены, когда передо мной был лист бумаги с начатыми стихами. Наедине со стихами я не притворствовал, я говорил себе правду, я был как верующий в церкви. Шли годы, менялись убеждения, менялись чувства, но сквозь все перемены сохранял я это служение стихам

(говорю нарочно реальное «стихам», а не отвлеченное и мертвое «Искусству»). И самым странным и самым чудесным изо всего странного и чудесного, что́ дано мне было испытать рядом с Тобой, было именно то, что с Тобой я мог говорить как со своими стихами, Тебе мог признаваться в том же, в чем своим рифмам. Я так привык, что моих «настоящих» слов не понимал никто (ни даже те, кто всячески восхищался моей поэзией), что я уже думал, что настоящих слов одного человека и не может, никогда не может понять другой человек. Но Ты посмотрела на меня с улыбкой и стала мне отвечать на моем языке, на *моем* языке, который я считал ведомым мне одному, мною самим придуманным! Все в наших отношениях может пройти, но не это! Другой Тебя мне не найти, — не повторяться же дважды одному и тому же чуду! Уйти от Тебя — значит для меня уйти, уже окончательно, от мира, надеть, уже навсегда, маску, смотреть только внутрь себя, не слушать ничего.

Почему же я «боюсь» новых встреч, почему же я медлю вдали от Тебя? Ты упрекаешь меня, что я слишком дорожу *прошедшими* 30 днями! Ах, я первый знаю, как мало значит прошлое! Я первый говорю, что оно *не существует*. Есть только настоящее и будущее! Но разве нельзя любить *несуществующего*? И я люблю мое, не существующее более, прошлое. Я люблю и мое счастье, и мою любовь. Я чту их, как что-то священное. Одна мысль, что нечто новое коснется этой моей святыни, пугает меня. Я боюсь не того, что перестану любить Тебя, — этого еще не может быть, и долго еще не может быть, — я боюсь уже того, что эта любовь перестанет наполнять всю душу, так, чтобы кроме нее, по выражению Чацкого, «мир целый казался прах и суета»[4]. (А так оно было этой зимой!) И чтобы дольше сохранить целостной, «целомудренной» святыню воспоминаний, я так легко подчиняюсь разным причинам, поводам, предлогам и все откладываю счастье (о, конечно, *счастье*!) встречи с Тобой. Девочка! милая, хорошая, маленькая! ведь Ты же знаешь человека, знаешь душу, мир чувств. Ты должна понять меня. Бывало, Ты мне говорила: «Иди ко мне, я буду тебя мучить». Я шел, изнемогал от боли, «был облит кровью» — и был счастлив. Теперь Ты говоришь мне: «Иди ко мне, мы будем счастливы, очень, больше, чем были!» Что́ удивительного, что я отступаю, что мне страшно.

Но, конечно, я должен победить свое ребячество. Ты получишь это письмо, вероятно, в среду[5]. Напиши мне (если после всех моих безумных писем и слов еще хочешь видеть меня), напиши мне *в «Скорпион»*, где и как я найду Тебя. Телеграфировать ли в

день приезда в Малаховку? или постучаться на Арбате? или спросить в «наш» телефон? Я буду в Москве в конце недели. В крайнем случае (на беду едет к нам на два праздника отец, вернувшийся из Парижа, и отец жены) — вечером в воскресенье[6]. В этом крайнем случае я могу быть с Тобой с утра понедельника. Но это самое позднее. И так будет тридцать дней разлуки после одного тридцатидневного дня свидания.

Твой
Валерий.

24 июля, 1905, Ант<оновка>

Post-Scriptum.

Я перечел, что написал из своего романа. Плохо, бледно, скучно. Бросаю всё. В *таком* виде романа никогда не напечатаю. В *таком* виде он не должен носить Твоего имени! И — знаешь? За тридцать дней ни одного стихотворения, ни одного! И те, бывшие на Сайме, по Твоему собственному признанию, «несущественные». Каждый день добиваюсь, рифмую и в отчаяньи бросаю.

Вспоминается Фет:

Долго, долго я алкал,
Жилу жаркую меж скал
С тайной ревностью искал,
Но напрасной![7]

Он искал ее двадцать лет! Вспоминаются и свои стихи:

Искусство жаждет самовластья
И души черпает до дна.
Едва душа *вздохнет о счастье*,—
Она уже отрешена![8].

Страшно!

Люблю Тебя! Хочу счастья! Пусть!

Твой, на коленях перед Тобой, целуя Твои руки
Валерий

[1] Начало письма — на именном бланке Брюсова, post-scriptum — на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. пп. 23—25.

[3] Художник Виктор Эльпидифорович *Борисов-Мусатов* (1870—1905) поселился в Тарусе за полгода до смерти, наступившей 25 октября 1905 г.

[4] Цитата из «Горя от ума» А.С. Грибоедова (действие III, явление 1; слова Чацкого).

[5] 27 июля.

[6] *Воскресенье* — 31 июля. Упоминаются Яков Кузьмич Брюсов (1848—1907) и Матвей Францевич Рунт.

[7] Цитата из стихотворения А.А. Фета «Горячий ключ» («Помнишь тот горячий ключ...», 1870).

[8] Заключительная строфа главы II поэмы «Замкнутые» (1900—1901; I, 262).

27. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

24 июля 1905 г. Малаховка[1]

Малаховка, 24 июля

Ну что же это такое, Валерий! Ты приводишь меня в неизъяснимое отчаяние. Неужели только около меня ты можешь быть моим? Только когда я держу тебя за руки, смотрю в глаза? Ведь лишь 24 дня прошло, а ты говоришь, что уже весь другой, и так покорно отдаешься во власть какого-то черного сна. Ты говоришь: «Не надо быть людьми». О, конечно, не надо! Я всегда это говорила. Но для этого лишь два пути: — любовь и путь *туда*, куда ты меня долго звал и потом перестал. Так разве *я* тяну тебя вниз, к людям, к их жизни?! Верь, я ненавижу ту жизнь, что вокруг. А после поездки с тобой еще более чужда всему, еще более презираю. Это уже даже отметил с негодованьем Сережа. Я не знаю, с кем более ты бывал когда-нибудь вне людского? Но неправда, что за этим пределом смерть. *Может быть*, и смерть, но может быть и новая неслыханная жизнь. Да, «надо жить и дышать любовью», и страна, где ее веяние вечно, — *только в душах*. Отчего же ты не поверишь в это навсегда! Тогда бы не колебался ты так, не шатался бы мыслью так беспомощно и страшно. Ведь ты *почти не знаешь* еще этой страны и уже стремишься куда-то прочь. Куда? В какую черную муть? Отчего же во мне все так ясно, светло и звенит? Если бы не отчаяние от тебя, от твоих слов, я была бы совсем радостна, а посмотри — ведь у меня все кости переломаны, вспомни, *что́* со мной было, вспомни зиму и осень! Валерий, дорогой мой, только не уходи от меня! У меня еще много, много сил, дай только увидеть тебя такого, какой ты сейчас, и я не опущу в отчаянии рук, я сумею *все напомнить* тебе, я овею тебя такой нежностью и лаской, что ни одна черная тень не посмеет лечь между нами. Но что с тобой? *Как* ты живешь? Я не знаю ничего, ничего.

Я писала тебе много писем, и у меня ощущение, что все они провалились в какую-то черную пустоту. 12-го послала два в од-

ном конверте, 18-го, 20-го. Неужели ты не получил их, а если получил — неужели только видел одни буквы и слова? Ведь каждое из них почти заклинание против того, что охватывает тебя. Валерий, Валерий, милый, не надо быть таким слабым, бессильным. Разве не знаешь ты, — стоит лишь на миг перестать верить, и со всех сторон слетятся эти черные птицы и закроют солнце, и будешь думать, *что ночь*, в то время, когда еще золотом и цветами горит ослепительная лазурь.

Дорогой, приезжай, я совсем затомилась здесь. С трудом переживаю ночи и дни. Сережа уехал, я одна совсем, могу быть с тобой *сколько хочешь*. Посылаю это письмо заказным, ты его, должно быть, получишь дня через два. Приезжай сейчас же.

Пошли мне телеграмму, прямо на мою дачу. Никто не прочтет. Но без подписи. Только жду там-то, тогда-то (определенный час). Я могу выехать отсюда (поезд идет минут 50) в 11 утра, в 2 ч. д<ня>, в 3, в 5, в 6, 8.36 веч<ера>, 9.36 веч<ера> и 12.6 м<инут> ночи. Сообрази, и я приеду когда хочешь. Но поскорее! Нам нужно увидаться хотя на несколько часов. Не мучь меня. Мне ведь тоже очень тяжело. Неизвестность, тревога, *полное одиночество*, редкий простор самым мучительным чувствам и мыслям. Неужели ты уж не хочешь и меня видеть! Неужели не хочешь опять быть вместе, все забыть в одном огненном опьяняющем сне! Не бойся повторений, будут новые слова, новые чувства, и верь — *не вниз* нам путь. О, верь, верь! Ты не будешь таким, как сейчас. Ты оживешь около меня, только дай посмотреть в твои глаза, губами прикоснуться к губам, чтобы вновь создалась та неслыханная близость душ и тел, о которой ты забыл.

Ответь же скорее. Не для мучительного ожиданья. Не мучь. Зачем еще будешь мучить ты? Не надо мучений, с тобой отдых, радость, счастье. Жду, жду....

Твоя Нина.

[1] Ответ на п. 21. Почтовые штемпели: Малаховка. 25.VII.1905; Таруса. 26.7.05.

28. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

24 июля 1905 г. Малаховка[1]

24, *ночь*

Дорогой, я только что написала тебе и вдруг получила 3 твои письма. Но все равно, — то строки твои, я не уничтожу их. Так

думала я сегодня утром, а вот сейчас ночь и твои письма... Мне хорошо. Ты милый, милый! И вот опять я чувствую, что ты *мой* близкий до последнего предела, и нет этого страха опять остаться в темноте, в одиночестве с чужими, лицо которых я перестаю различать, — они сливаются в одно мутное пятно. Я живу без тебя 24 дня и за все это время не сказала ни одного настоящего слова, скрыла душу, потому что, кроме тебя, не с кем быть и нечего говорить. Одиночество мое воистину полное, но долго это томительно, и я жду тебя, как только могу и умею ждать и хотеть. Милый, ничего нет, кроме любви! И если ты поверил в это, — храни ее, замкни ее в душе. Когда она уйдет, ты поймешь, что ничего нет вне ее. Люби меня даже *не для меня*, а для себя, для жизни, для того, чтобы живым был каждый миг.

Мне были страшны твои последние письма, чудилось что-то жуткое, холодное. Точно ночной ветер налетал, чтобы задуть робкое дрожащее пламя свечи. Но ты опять прежний, *мой*, такие слова ты можешь говорить только с *тем моим* лицом, с *моими* ясными правдивыми глазами. И я радуюсь, и где-то в глубине дрожат звенящие счастливые слезы... О, милый, милый, разве затем мы *увидали*, сумели увидать друг друга, чтобы *вдруг* погубить все так дорого доставшееся, чуть ли не отнятое у смерти!

Приезжай, приезжай! Я жду тебя, не бойся ничего. Потонем в нашем огненном сладостном сне.

---

[1] Ответ на пп. 23—25.

29. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

28 июля 1905 г.Таруса[1]

28 июля 905, Таруса

I

Девочка моя! счастье! радость! свет!

Прочел Твои два письма, посланные 24-го. И опять они озарили меня, и опять они вонзились в меня, как ножи. Ах, какие там есть страшные слова: «Не мучь меня ты». Нина! Нина! Неужели я должен был услыхать такой упрек! Ах, разве я не знаю, что плохо там, в Москве? И неужели, если бы я верил, что до-

вольно мне быть с Тобой, чтобы стало лучше, я не был бы близ Тебя? Неужели я стал бы думать о каком-то романе, о каких-то других людях, о себе! Но я знал, я знал — то, чего не знала Ты, — что та моя душа, которая жила в те дни во мне, не нужна Тебе. Я не хотел, я как святотатства боялся, чтобы после всех прекрасных, всех драгоценных слов мне не пришлось услыхать опять чуждых, опять осуждающих справедливо! Я *не смел* быть с Тобой. Девочка, Нина! счастье мое! Целую Твои колена, целую Твои руки. Ты не сердись на меня. Сквозь все помни, что я Твой. Что́ значат 24 дня, ведь у нас их было 270! Что значат все мои случайные слова после сказанных раньше, после тех, что говорились

II

сами, в минуты, когда были близки Твои губы, в минуты, когда были близки наши души, после слов, сложившихся в стихи! Если Ты увидала меня однажды — душой к душе, как видят лицом к лицу, — можно ли верить в иной мой облик? Конечно, о, конечно, я тот же, я — Твой, потому что иного меня, не-Твоего, нет, не существует, не может быть.

Я Твой! Твой! теперь, как прежде, навсегда

Валерий.

P.S. Выезжаю в воскресенье[2]. Однажды поддавшись течению повседневности, трудно опять из него высвободиться. На горе еще я все-таки — наперекор Твоим советам — отказался от «Весов»[3]. Буду в Москве в воскресенье вечером. Но раннее утро понедельника мне нужно, чтобы «принять городской вид». За две недели деревенской жизни я одичал лицом больше, чем душой. Если в «Скорпионе» не найду письма от Тебя, — телеграфирую Тебе в Малаховку, — Ты пишешь «прямо на нашу дачу», но я не знаю, что это значит, и оставлю прежний адрес «дача А. П. С.». Лучше, однако, напиши в «Скорпион». — Приеду, какая б погода ни была, разве уж прошлогодний циклон.

Твой В.

---

[1] Ответ на пп. 27 и 28. Текст в двух закрытых письмах — «секретках». Почтовые штемпели: Таруса. 29.7.05; Малаховка. 30.7.05. Отправлено по адресу: Малаховка Казанской ж. д. Дача А.П. Соколовой. ЕВ Надежде Ивановне Петровской.

[2] 31 июля.

[3] См. примеч. 4 к п. 12. 19 июля 1905 г. Брюсов писал Н.Я. Брюсовой: «Я покидаю «Весы», и редактирует их Броня» (РГБ. Ф. 386. Карт. 143. Ед. хр. 1. *Броня* — Б.М. Рунт).

30. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

30 июля 1905 г. Малаховка[1]

30 июля, Малаховка

Дорогой,

если ты приедешь в понедельник[2], то я бы хотела выехать отсюда в 6 веч. (в Москве 7). Приезжай к этому часу на вокзал, и мы встретимся. Если ты это находишь удобным, то телеграфируй (пораньше). Или где хочешь, мне все равно. Адрес лучше, пожалуй, прежний (в той даче, где я живу, — чеховские мелко любопытные люди). *Малахов<ка>, дача А.П. Соколовой № 4,* мне. Телеграмму пошли утром, чтобы до 5 ½ я получила. Они у нас довольно долго идут. Бесконечно рада тебя видеть. Зачем отказался от «Весов»?! Очень, очень хочу тебя видеть. Милый!

---

[1] Ответ на п. 29. Почтовые штемпели: Малаховка. 31.VII.1905; Москва. 1.8.05. Написано красными чернилами.

[2] 1 августа.

31. БРЮСОВ–ПЕТРОВСКОЙ

5 августа 1905 г.[1]

5 августа 1905. Часы № 34236

Нина, Ниночка! моя милая, моя хорошая, моя китайская фарфоровая девочка! Пишу Тебе на китайской бумаге и карандашом, ибо едва успел на поезд и пишу в вагоне (а стило[2] сломался после Финляндии!). Пишу наскоро, только повторить несколько сегодняшних, «бессмысленных» слов. Только сказать Тебе, что люблю Тебя, сказать, что я Твой, сказать, чтобы Ты не отдавала меня. Светлая моя, ясная моя, радуга моя, стебелек мой, я Тебя люблю, люблю, люблю. Ты — люби меня. Повтори мне еще раз эти слова «люблю тебя» — только их хочу слушать, слышать, знать. Мне ничего не надо кроме этих слов, в них всё, через них для меня всё, я смотрю на мир через них, как через драгоценный прозрачный самоцветный камень, и весь мир мне видится окрашенным цветом этих слов. Я еще слышу, как Ты произносишь их, то радостно, то как-то особенно серьезно, то убедительно, и они звучат мне громче всех речей, которые кругом, громче всех криков,

грохотов, громче самого «грохота Рока», о котором мы говорили, — они надо всем, как радуга над землей, как звездное небо над полем, где чувствуешь себя одновременно и средоточием всего кругозора, и таким маленьким. Девочка! Девочка! Говоря их мне, Ты вдруг открыла мне за последней ступенью безмерную лестницу, алмазную, сияющую, уходящую в пламенную высь, в блеск, и в последнее, в невозможное, в несбыточное счастье. Иду, всхожу, все выше, выше, и там, на высоте, надо мной, для меня, протягивая мне руки, говоря мне «люблю Тебя», — там — Ты!

Девочка, девочка! я — Твой, весь, совсем, навсегда
Валерий.

---

[1] Написано карандашом на пути из Москвы в Тарусу на листе с китайской картинкой (Registered № 58910).

[2] Автоматическая ручка. От франц. stylographe, в просторечии stylo.

32. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

7 августа 1905 г. Малаховка[1]

Малаховка. 7 августа

Ты дорогой! ты беспредельно дорогой!

Я люблю тебя и ничего не знаю, и ничего не хочу говорить, кроме этих слов, в которых вся я, вся моя душа, вся моя безмерная нежность к тебе. Как трудно теперь отрываться от тебя! Просыпаться от нашего сна и видеть, как выступают медленно очертания другого мира, такого ненужного и мучительного. Но верь, — я с тобой, что бы ни было вокруг, я вижу твое лицо, глаза, чувствую только тебя милого, бесконечно близкого. Не нужно больше твоей тоскливой тревоги, не бойся смотреть вперед. Ведь мы еще не поняли вполне, не успели понять всей радости, всего счастья этой *чудесной* любви. И оттого мы были немые, без мыслей, без слов, ослепленные, сгорающие.... И не оттдам <так!> тебя никому, я хочу, чтобы весь до конца ты был моим, так же как я отдаю тебе себя всю безраздельно. Оглянись назад, вспомни эти 9 месяцев и пойми, что только к этому или к смерти могли дойти мы. И если не было смерти, — пусть будет любовь, пусть загорятся все огни на этом празднике воскресенья из мертвых. Я люблю тебя. Это так чудесно, так не похоже на всякую земную правду, что ты должен верить без всяких мыслей, без сомнений, бездумно тонуть

в счастьи, бездумно открыть душу потокам радости и света. Я хочу, чтобы ты был несбыточно счастлив, чтобы твое лицо около меня было всегда таким, как в эти пролетевшие ночи. И если опять, там, где ты сейчас, вдали от меня закружатся темные тени и лягут на твою душу непонятной тревожной печалью, — ты вспомни эти ночи, оторванные от мира, вспомни нашу ясную легкость, которую так мало знают люди.... Дорогой мой, люби меня! Если я не знала и не предчувствовала *такой любви, как твоя*, — значит, и я, так же, как ты, вовсе не знала любви. Всегда была мучительная скрытая тяжесть, красивая ложь и томная печаль о чем-то несбыточно недостижимом. И вот лишь с тобой я узнала последнюю радостную ясность *быть самой собой* до последнего внешнего движения, до неясного трепета мысли, которую *не нужно* скрывать. Этого нет у людей, это уже близость, может быть, недостижимая в мире, и потому, о потому, когда мы вместе, — уходит, исчезает все и хочется спрашивать: «Где же мы?» где мы?

Я боюсь твоих дней без меня. Милый, не приезжай чужим, ведь я не изменюсь, и больно будет встретить вновь чужие далекие глаза. Мы будем вместе, что бы ни было. Верь. Я так тебя люблю. Я онемела, я ни с кем не могу говорить, я знаю одно, — что люблю тебя, люблю, люблю.

Напиши мне еще сюда. Я пробуду здесь до 15-го. Сегодня получила телеграмму от Сережи, — он выезжает через неделю, значит, будет в Москве 20—22-го. Может быть, мы увидимся до этого? Без тебя пусто, грустно, длинные ночи и дни....

Радуюсь на осень, падают желтые листочки, вереск цветет. Скоро год.... Не вспоминай! Все прошло, я люблю тебя и я твоя

Твоя.

[1] Почтовые штемпели: Малаховка. 9.VIII.1905; Таруса. 11.8.05.

33. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

7 августа 1905 г. Антоновка[1]

7 августа 905, Антоновка

Девочка, милая, хорошая, маленькая, живу еще только воспоминаниями о наших мигах, опускаю руки по плечи в эту груду драгоценностей, дышу запахом этих алмазов, изумрудов, опалов

(люблю этот «несчастный» камень). Помню каждое «бессмысленное» слово, сказанное Тобою, и люблю каждое слово, сказанное Тобою. О, теперь в будущем не боюсь ничего, пойду всюду, куда позовешь, буду верить, что везде, на всех путях, где можно быть нам вместе, — счастье, радость, свет. Ты — мое счастие, Ты — моя радость, Ты — мой свет. Так верю, так знаю, что не надо меня «пугать», не надо мне грозить. Одно Твое «люблю» значит в сотни раз больше, чем много угроз. Одно Твое «люблю» заставляет меня во всем существе почувствовать, до каких пределов я Твой. Отдаю себя Тебе всего, тело, душу, желания, волю. Говори — я исполню, зови — пойду. Целую Твои ноги и Твои плечи, стою перед Тобой на коленях, гляжу Тебе в глаза, прячу голову, хочу Твоих губ и Твоих слов. Девочка, девочка! ведь и Ты — «моя»? да? да?

Твой, только Твой

Валерий.

P.S. Сегодня весь день, а может, и завтра буду писать статью в «Атенеум»[2]. Поэтому стихи переписывать сейчас не решаюсь. Может быть, любопытно немного, так сообщаю, что сестра нашлась. В Тромзё ей дал денег какой-то норвежец[3]. Хороший народ!

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] «The Athenaeum» — английский еженедельный журнал, для которого Брюсов с 1901 г. писал ежегодные обзоры новинок русской литературы. В данном случае подразумевается обзор «Русская литература в 1904—5 году», опубликованный в «The Athenaeum» 14 октября 1905 г. (№ 4068. P. 500—502). См.: *Ильёв С.П.* Обзоры русской литературы Валерия Брюсова для английского журнала «The Athenaeum» (1901—1906) // Брюсовские чтения 1980 года. Ереван, 1983. С. 336—346.

[3] Речь идет о Надежде Яковлевне Брюсовой (1881—1951), впоследствии известном музыковеде. Лето 1905 г. она провела в экспедиции по северу России (Петрозаводск, Соловецкий монастырь, Архангельск, Печенгский монастырь). Письмо в Тромсё (Tromsoe), портовый город в северной Норвегии, Брюсов отправил ей 23 июля 1905 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 143. Ед. хр. 1).

34. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

10 августа 1905 г. Малаховка[1]

Малаховка 10 августа

Дорогой Валерий,

твое последнее письмо дошло до меня каким-то чудом. У нас было крушение почтового поезда. Весь почтовый вагон разбит в щеп-

ки, несколько человек убито и ранено. Твое письмо было под обломками, около мертвых людей, и все-таки я получила его. Я люблю такие благоприятные знаки. Помнишь, зимой все наши странные совпадения, как мы верили им. Я живу еще здесь (только 16-го думаю переехать), но после последних наших встреч никак не могу войти ни в какую жизнь. Не умею говорить, не умею слушать и только испытываю радость, когда приходит ночь и можно быть одной и опять с тобой.

«И снова ты... И снова ты...»[2]

Вчера мне Барятинская[3] прислала туберозы. И я долго не могла понять, откуда у меня вдруг появилась такая непобедимая тоска. Как запахи цветов властвуют над душой... Они воскресили прошлую осень, нашу квартиру на осенних закатах, пахнуло чем-то страшным жутко-мертвенно-холодным. Не надо, не надо! Я сегодня отдала цветы Наде[4], и тени спрятались в углы.

Дорогой, мне хорошо теперь только с тобой! *Ничто* уж не властно, когда я *совсем с тобой*, держу твои руки, смотрю тебе в глаза. Я так люблю твои глаза, в них все, чего не знала я в мире, «в мирах», *все*, чего я только с болью ждала и не видала *никогда*. Ты знаешь, мне не страшно этого слова «никогда» и не стыдно за его повторность. Все слова, что я говорю тебе, мне кажутся новыми, с иным, не пережитым еще смыслом. Все они звучат в душе с последней неизъяснимой простотой, потому что все они настоящие и вместо них нет и не может быть других. И это в *первый раз*, ты веришь, *в первый раз* за всю жизнь. Когда я с тобой — я знаю, что мне и нужно *только с тобой* быть, и негде больше, ни в мире, ни в «мирах». *Это* медленно приходило, я не верила, что *так* возможно, и вот, когда поверила совсем, — бессознательно, внутренний голос души сказал за меня эти первые слова: «Милый Валерий, я тебя очень люблю». А теперь уже их хочется повторять без конца — я люблю тебя, люблю тебя! Ты мой, мой... А в душе такое глубокое, ясное счастье! Отчего оно *ясное*? Отчего с тобой я чувствую, как какой-то свет нежно ложится на лицо? И ты его видишь. Ах, Валерий, как я люблю тебя!

И если бы не было прошлого, этой мучительной, почти невыносимой боли, этих слез и тени смерти, которая всегда была над нами, не выдуманная, а настоящая, всегда близкая, — быть может, не было бы ничего, и мы отошли бы, не увидев друг друга. Валерий, Валерий! доверься этим дням, не бойся *отдавать*, любить и

тонуть в несбыточном счастье. Эти дни огненным знаком отметят душу, *таких* не будет больше никогда. Я жду тебя и люблю

и твоя, твоя навсегда.

---

[1] Ответ на п. 33. Почтовые штемпели: Малаховка. 11.VIII.1905; Таруса. 12.8.05.

[2] Первая строка стихотворения Брюсова (1900), входящего в его книгу «Tertia Vigilia» (I, 184).

[3] Лицо, комментаторам неизвестное.

[4] Сестра Петровской — Надежда Ивановна Петровская.

35. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

12 августа 1905 г. Таруса[1]

Таруса, 12 авг. 1905

Нина! радость моя! счастье мое! мой свет!

И здесь опять, и всегда я с Тобой. Но сегодня, сегодня с какой-то мучительностью чувствую свою близость к Тебе, чувствую, что я — Твой, только Твой, навсегда Твой. Душа, которой странно и чуждо быть счастливой, спрашивает удивленно: не потому ли это так, что в эти миги Ты *не* думаешь обо мне; не исполняется ли в эти миги тот закон о двух сердцах, о котором мы столько раз говорили зимой,

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец...[2]

Но мне все равно. Я счастлив, счастлив одной своей близостью, одной своей любовью. А когда на эту полноту, на эти переполнившие берега воды падают огненные, пламенные лучи Твоих слов, Твоего «люблю» — душа моя загорается прекраснее, многоцветнее, чем наша Сайма на закате. Вспоминая Твои нежные слова, я уже почти теряю возможность жить. Умираю, да! умираю в последнем, предельном, в несбыточном счастьи.

Счастье! Я полюбил это слово, против которого однажды начал целую статью. Я полюбил его огонь, более жгучий, чем пламя желания; — и его лезвия, более острые, чем ножи страдания. Я узнал счастье впервые в жизни, потому что все прошлое так бледно, так холодно, так мертво с пережитыми этими «тридцатью днями» и «пятью днями»[3]. Счастье щедро. Оно не только дает, одаряет настоящее, но преображает все прошлое и все будущее.

Изведав его, поняв наконец, что такое люди тысячелетия, нет! миллионы лет ищут под именем «счастье», я полюбил в своей жизни все, что было: все давние и недавние мучения, отчаянья, проклятия. И я полюбил все будущее, каким бы оно ни было, прекрасное и страшное, светлое и грозное.

Не упрекай меня, девочка, радость моя, огонечек мой, что я говорю и о страшном, о грозном. Ты тоже знаешь, что есть и оно. Ты, полушутя, полупугая меня, сказала, что душа у Тебя — «неверная». Это очень правда. И только потому Твоя «верность» достигает такой остроты, что у Тебя неверная душа. У Тебя, как у меня, как у всех «нас», есть неодолимое желание не быть собой, отдаться тем чувствам, какие нам по сущности менее всего свойственны. И мы, неверные, отдаемся любви, отдаемся верности с такой полнотой, с такой безраздельностью, как никогда не могут отдаться души, созданные для того, чтобы не ведать вовсе, не испытать вовсе измен. Но в этом мы качаемся на каком-то молниеносном острие; в этом мы идем по пути, который, по словам Корана, «тоньше волоса и острее лезвия кинжала»[4]. И *каждый миг* возможен срыв, падения, гибель всего. И когда это настанет, верь! о верь! — я не скажу Тебе ни одного упрека, ни одного горького слова.

Девочка Нина, маленькая, хорошая, милая, светлая! Говорю, что *я* не скажу ни слова упрека, потому что иное, противоположное невозможно. Я свою душу (о, в последних глубинах тоже «неверную») не могу помыслить без любви к Тебе! Эта любовь наполняет ее всю, проникает ее, как воздух, освещает, живи́т. Хочется повторить слишком часто повторяемые слова о любви как о Боге, «о нем же мы движемся, и мыслим, и есьмы»[5]. Для меня нет теперь большей радости, как помнить о Тебе, вспоминать Твои слова, движения, взгляды; для меня нет лучшей мечты, как ждать, что мы увидимся вновь, что я буду стоять перед Тобой на коленях, целовать Твои руки, губы, колени, прижимать Твое тело, любимое, любимое, всё! всё! — и нет большей гордости, как, замирая, верить, что Ты опять наклонишь ко мне свой «умный» лоб, свои ясные глаза, свои губы, «созданные для поцелуев», наклонишь и скажешь, и скажешь мне: «Люблю тебя, как я тебя люблю, Валерий!»

Девочка! девочка! стебелек мой! радуга моя! Мечтая об этом, я опьянен. Веря, почти плачу. Ка́к *я* Тебя люблю, насколько *я* —

Твой, нет, Ты не знаешь, не можешь знать, не узнаешь, ибо воистину нет у меня слов, чтобы выразить это*, ни слов, ни стихов...

Я — Твой! Твой! Твой!

Валерий.

P.S. О «делах» отдельно.

---

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Предопределение» («Любовь, любовь — гласит преданье...», 1850—1851).

[3] Подразумеваются июнь 1905 г., проведенный вместе с Петровской в Финляндии, и встречи с нею в Москве в первые дни августа 1905 г.

[4] В Коране такой фразы нет. Откуда заимствовал Брюсов цитируемый текст, неясно.

[5] «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. XVII, 28).

36. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

12 августа 1905 г. Таруса[1]

Таруса, 12 авг., 1905

Девочка, хорошая, милая, маленькая, которую я люблю, которой отдаю себя — всего, всего. Это — несколько слов о «внешностях». Это скучный, но нужный post-scriptum к моему письму.

По разным «обстоятельствам», изъяснять которые скучно и не нужно, *все мы* переезжаем из этой Антоновки, из этого «змеиного гнезда», как Ты говоришь, или в среду к вечеру, или в четверг рано утром[2]. Я могу быть с Тобой, начиная с вечера четверга или с пятницы. Это будут числа 18 и 19. Значит, Сережи еще не будет. Боюсь, что в четверг буду я совсем замучен путешествием с «вещами». И если есть у нас время, пусть днем встречи будет пятница (наш день!). Я всегда стыжусь прийти к Тебе, не «приняв еще городского вида», и этот стыд побеждает мое желание видеть Тебя, смотреть Тебе в глаза, слышать Твой голос. Напиши мне об этом в *«Скорпион»*. В Тарусе я больше не буду. Получил *два* Твоих письма, адресованных часам №[3]. Другие письма, если они — уже есть, будут пересланы в «Скорпион», я условился.

Ах, девочка! Твои письма! Ты не можешь вполне знать, что́ значат Твои письма здесь, в этом шуме, в этой чуждой и, правду

---

* *В автографе, видимо, описка:* этот.

говоря, чудовищной обстановке. Какая у них власть оторвать меня ото всего, ото всего, и вдруг из этой грязной почтовой конторы бросить меня в пространство, в ясное, в беспредельное, где только я и ты — и никого более.

Люблю Тебя, Нина, Ниночка, люблю Тебя!

Твой

Валерий.

Еще P.S. Получила ли Ты стихи? Я их посылал с человеком не очень верным и потому не приложил никакого письма. Написал еще несколько стихотворений, но «политических», и потому не шлю Тебе. Намерен, кроме книги своих стихов, издать еще книгу переводных стихов[4]. А вот еще что. Помнишь, мы на Сайме восхищались финляндским способом закрывать калитки? Точно такой же способ в Тарусе!

---

[1] Текст в двух закрытых письмах — «секретках». Почтовые штемпели: Таруса. 12.8.05; Малаховка. 13.VIII.1905.

[2] *Среда* — 17 августа, *четверг* — 18 августа. 12 августа 1905 г. Брюсов извещал также Б.М. Рунт: «Мы приедем в среду вечером. <...> Выедем в *среду*, если не будет дождя» (РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 17).

[3] Имеются в виду пп. 32, 34. Ср. условное обозначение «Часы № 34236» в п. 31.

[4] Книга Брюсова «Στέφανος. Венок. Стихи 1903—1905 года» (М.: Скорпион, 1906) вышла в свет в декабре 1905 г. Ближайшая по времени книга стихотворных переводов Брюсова — «Стихи о современности» Эмиля Верхарна (М.: Скорпион, 1906) — вышла в свет в июне 1906 г.

37. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

16 августа 1905 г. Москва[1]

Москва, 16 августа

Мой дорогой, сегодня я переехала в город окончательно, и, как ты говорил, пишу уже в «Скорпион». Завтра, или 18-го, или 19-го приедет и Сережа, — это наверно. Значит, *так* больше не увидимся. Это жалко, жалко без конца....

Сегодня провожу томительный день и вечер. Удручена и опечалена разными думами и обстоятельствами. Последние ночи в

Малаховке были как один сплошной кошмар. Буквально кошмар, — полубессонница и какие-то страшные ощущения, чьи-то холодные руки, страшные сны и прочее. Это значит, что понемногу начинается Москва и городская жизнь. Ах, Валерий, только есть ты, один ты, только с тобой могу и умею я уходить из мира, и *мы* уходим из мира... Я тебя люблю, хочу с тобой быть, изнемогаю, когда без тебя. Верь мне, милый, люби меня, будь со мной! Когда будет можно увидаться, напиши или скажи по телефону. Но не знаю, в эти первые дни смогу ли я надолго. Но все равно, только бы посмотреть в твои глаза, только бы услышать твой голос. Часа 3—4 я все равно найду.

Милый, дорогой!..

Твоя Нина.

P.S. А *того* все нет. Сегодня 6 дней. Что же это значит? Но я легкомысленно не думаю и не тревожусь.

---

[1] Почтовый штемпель: Москва. 17 августа (год — нрзб). Адресовано (как и последующие письма к Брюсову в Москву) в издательство «Скорпион».

38. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

21 августа 1905 г. Москва[1]

Воскресенье

Дорогой Валерий,
если хочешь и можешь, — увидимся в понедельник. Буду в 8 ч. в том конце Никитского бульвара, что выходит на Никитскую. На самом бульваре.

...Бессонница, тоска... Ночи длинные и черные, когда нет сна.

Спле — тается сумрак кры — латый
В одно — роковое кольцо[2].

---

[1] Почтовые штемпели: Москва. 22 августа 1905; Москва. 22 августа 1905.

[2] Строки из стихотворения Андрея Белого «Шоссе» («За мною грохочущий город...»), опубликованного в составе цикла «Тоска о воле» в «Альманахе к-ва "Гриф"» (М., 1905. С. 13—14).

39. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

24 августа 1905 г. Москва[1]

Валерий, Валерий...
я хочу говорить с тобой сегодня *еще*, ведь после не найду ни этих слов, ни чувств. Все уходит из души, ничего не удержишь, ничего не остается от самых острых мук. Милый, о милый! И вот потому мне так страшно каждой тени, каждого намека и предчувствия. Ведь во мне еще весна, ведь я так недавно полюбила тебя, а уже надвигается тень, «облак черный, черной смерти пелена»[2]. Тысячи мелочей говорят без слов, что настало что-то иное, новое, *меньшее*. И ты не сердись за мои слезы, за горечь явных и недосказанных слов. О, знай, когда все пройдет и ты будешь жалеть об этих мигах несказанной влюбленной тоски и сам тогда назовешь ее счастьем. Мне страшно уже не только утратить тебя, а еще предчувствовать, угадывать конец. Еще руки мои, может быть, полны богатствами и роскошью ярких драгоценных камней, но если я знаю, что завтра это будет не мое, я говорю: «Берите все сейчас». И не могу отдавать *в течение долгих дней* с напрасной болью и надеждой *что-то* удержать. Ты помнишь, я тебе говорила сегодня, что если он был для меня последней мечтой о неземном, то ты тоже предельная мечта здешнего счастья, здешней радости во всей ее глубокой и цельной полноте. И даже больше, больше, — любви к тебе я отдаю всю душу и все тело, я уже не чувствую той прежней мучительной расколотости. Это последняя гармония — это то, «чего никогда не бывает»[3]. Вот потому и от тебя я хочу и могу взять тоже только то, «чего никогда не бывает». Ты говоришь мне: «Зови — и я пойду, захоти — и я сделаю». Но пойми же, пойми — я хочу, чтобы ты шел без зова и *сам* хотел так, как хочу я. У меня есть много несказанных слов, и я не скажу их *никогда*, если ты сам не скажешь их. Это не скрытность, не неуменье быть близкой, а лишь последняя гордость любви, которая боится обиды. О, страшно *сказать* и увидеть в глазах смущенье и испуг. Ах, Валерий, если бы ты действительно увидал мою душу, *всю отданную тебе*, ты не удивлялся бы, что я хочу этого невозможного, «чего никогда не бывает», что я так безумно боюсь твоей осенне-успокоенной нежности. Были миги, когда мы умели *не быть людьми*, это единственное для меня, чтобы я могла еще жить. Помнишь, ты помнишь, ведь все уходило! — А разве можно без этого жить, вернуться навсегда в размеренность

дней, смертельно успокоиться и пить свои «три рюмки за обедом», даже не опьяняясь, а просто так, по привычке. Ужас! ужас! И даже если не так, а утонченнее, изящнее, нежнее... Но ведь прежде-то было *все*, разве можно это пережить! Я хочу *все*, тебя *всего* до конца, и это вовсе не искусство стоит сейчас между нами. Такой круг и безвыходность чувства — неизбежны после тех дней, что мы пережили вместе. Ты говоришь, что хотел бы «тихо и нежно любить». А разве я не хотела бы тебя тоже «тихо и нежно любить», разве я не хочу с тобой отдыха и радости после всего горя прошлого года? Но, видно, это не дано нам. Мы слабые, безвольные и бессильные.... И вот хочется сказать словами Осипа Дымова: «Угаснет день, закатится лето. Оно было тут, *среди нас*, но мы прошли мимо, не взяли его, *не умели взять*...»[4] И мы не возьмем, и когда оно действительно пройдет, мы поймем, что это приходит только раз. Но будет поздно. Милый, дорогой, прости меня за горькие безнадежные слова! Но мне так грустно, так пусто, так жалко. Я плачу...

---

[1] Почтовые штемпели: Москва. 25 августа 1905; Москва. 25 августа 1905.

[2] Цитата из стихотворения Брюсова «Орфей и Эвридика» («Слышу, слышу шаг твой нежный...», 1904), впервые опубликованного в журнале «Новый Путь» (1904. № 8) и входящего в раздел «Правда вечная кумиров» книги «Stephanos» (I, 385).

[3] Обыгрываются строки из стихотворения З.Н. Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею...», 1893): «О, пусть будет то, чего не бывает, / Никогда не бывает» (*Гиппиус З.Н.* Стихотворения. СПб., 1999. С. 75 («Новая Библиотека поэта»)).

[4] Цитата из заключительного абзаца рассказа «Одиночество. I. Ходит... ходит...» (*Дымов Осип.* Солнцеворот. СПб., 1905. С. 87). Свою рецензию на «Солнцеворот» Петровская завершает этим абзацем, приводя его полностью и предваряя цитату фразой: «Осип Дымов знает только печаль, которая всегда красивее и прекраснее радости, и этот тон его души так полнозвучен в его же словах» (Весы. 1905. № 7. С. 58).

40. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

25 августа 1905 г. Москва[1]

25 авг. 1905

Моя девочка! моя радость! мое счастье! Я перечитываю Твое письмо, я вглядываюсь в каждую строку этого письма, и каждая строка ударяет меня в сердце, как отточенный клинок. Все это — правда, непобедимая правда, но страшная, страшная, страшная! Ты

говоришь: «Не сердись на меня»[2]. Но я поклоняюсь Тебе. Я на коленях перед Тобой. Целую Твои руки, плачу, хочу одного: быть Твоим! Ты чтишь Любовь так, как ее должно чтить. Ты требуешь, чтобы ей отдавали всю душу. Она не терпит никакого совместительства. Она не может разделить скипетра ни с кем. Мысль, одна мысль в ее присутствии о другом — уже преступление, уже «оскорбление величества». Ты права! Ты права! Только так стоит любить, только это — Любовь! Та Любовь, которая сильнее Смерти; та Любовь, которая — Смерть... И видя Тебя в свете, в сиянии, в огне этой Любви, я протягиваю к Тебе руки молитвенно, я смотрю на Тебя, опять и опять, ввысь, из моих глубин, в небо с моей *земли*. Ты — мой свет, Ты — мой огонь, мой — маяк над морем, моя — радуга!

И вдруг наступает другая правда, такая же непобедимая, но и такая же страшная. Другая, не Ты, но столь же властная, как Ты, которой я поклоняюсь столь же, говорит мне: «Но Ты — мой. Ты дал обет все презреть во имя мое; всему изменить, всех предать ради меня. Давай клятвы, но что узнаешь через это, передай мне, как клятвопреступник. Живи, но лишь для того, чтобы величать меня[3]. Люби, но лишь затем, чтобы доносить мне о своих чувствах. Всегда — в отчаяньи, в страсти, в опьянении — помни обо мне, знай, что служишь мне. И чуть я позову, иди на мой зов, склонись, как раб, работай, работай над тем, что я прикажу, работай только для моей прихоти, только потому, что я этого хочу!» Этот голос звучит мне, как звон потонувшего колокола Гейнриху[4]. Ах, девочка! не «душу свою из блаженств вырываю»[5]! Хочу этих блаженств, только их хочу. Но слышу зов «Той — Которой — Должно — Повиноваться».

Девочка! девочка! только это! Ты мне не хочешь верить, но только это! Мне наш прошлый год представляется стремительным водопадом. Нас било о камни, нас крутил водоворот, нас бросило ниц со страшной высоты. И мы очнулись, двое, на берегу среди цветов, под ясным небом. Нас опьянило чувство жизни, я был безумен счастием. Был наш месяц воскресения. Были дни «изведенных из ада»[6]. Не будь воскресения, была бы Смерть, значит — «всех загадок разрешенье — и разрешенье всех цепей»[7]. Воскресение дало жизнь, вернуло все ее голоса, все ее зовы и краски. Конечно, ничего не было в те миги, когда нас вертел водный поток между скал. Я ничего не видал, кроме Твоих глаз[8], кроме Твоих

прекрасных глаз, когда, с отчаяньем обняв Твое полумертвое, безответное тело, я падал с Тобой в черную бездну. И не было ничего в первые миги, когда мы, пьянея, вдыхали возвращенное нам солнце. Но вот жизнь вползла в душу, сначала как змея, потом как госпожа. Я опять увидел, против воли, весь мир, огромный, торжественный, таинственный. Мне захотелось быть в нем, опять участвовать в борьбе, смеяться над людьми им в глаза. И вот со вселенной, с жизнью — я изменил Тебе.

Нина, маленькая Ниночка (самое нежное имя изо всех, какие я знаю!), — Ты права в том, что в моей душе уже не одна только любовь, не одно только безумие любви. Ты права в том, что я опять поддался голосам, зовущим меня к другому (ах! может быть, да и конечно! ненужному, ничтожному, совсем ничтожному перед Любовью!), что откликнулся на них. Я знаю — это грех, и каюсь в нем, и исповедую его перед Тобой, хотя не в силах победить его. Ты права в том, что — уже оскорбление Любви, если я миг один колебался, идти ли мне к Тебе или остаться за своим письменным столом. И я плачу, что нанес это оскорбление Любви, хотя предчувствую, предвижу, с холодным ужасом знаю, что такое колебание повторится, что вот здесь[9], против меня, сидит Она, Другая, Властная, требует служения себе — часами, днями, и что, может быть, я не откажу ей. В этом Ты права.

Но вот в чем Ты не права: думая, что нечто уменьшилось в самой моей любви. Она все та же, беспредельная, конца которой не вижу, не умею себе представить. Девочка! милая, хорошая, маленькая, я люблю Тебя! Ты строго и печально говоришь мне, что не захочешь меня «такого»[10]. Ты сама плачешь. А я падаю ниц, без сил, без воли. Люблю Тебя, и буду любить Тебя, с Тобой и без Тебя! По-прежнему, как в дни прошлого года, из нас двоих «в борьбе неравной двух сердец»[11] более слабое — мое. По-прежнему власть — Твоя. Исполнится то, что Ты захочешь. В Твоих руках закрыть передо мной, уже навсегда, двери счастья, бросить меня во мрак, в ужас, в последнюю бездну...[12]

По-прежнему, и отныне всегда, навсегда

я — *Твой*

Валерий.

---

[1] Ответ на п. 39. Написано на именном бланке Брюсова. В архиве Брюсова сохранился черновик этого письма (РГБ. Ф. 386. Карт. 72. Ед. хр. 12. Л. 37—38). Ниже в примечаниях приводятся наиболее существенные варианты текста.

[2] Далее в черновике зачеркнуто: «Ты говоришь, что я Тебя упрекаю. Я! — Тебя! — упрекаю! — я на Тебя сержусь!»

[3] Вариант фразы в черновике: «Живи, но лишь для того, чтобы твоя жизнь запечатлелась в Моих созданиях».

[4] Подразумевается литейщик колоколов, главный герой драматической сказки Гергарта Гауптмана «Потонувший колокол» («Die versunkene Glocke», 1896).

[5] *«Душу мою из блаженств вырываю»* — строка из стихотворения Брюсова «Женщинам» («Вот они, скорбные, гордые тени...», 1902), входящего в его книгу «Urbi et Orbi» (I, 310).

[6] «Из ада изведенные» — заглавие стихотворения Брюсова («Астарта! Астарта! и ты посмеялась...», 28—30 июля 1905 г.; I, 406) и раздела в его книге стихов «Stephanos».

[7] «Ты всех загадок разрешенье, / Ты разрешенье всех цепей» — заключительные строки стихотворения Е.А. Баратынского «Тебя из тьмы не изведу я...» (1829).

[8] В черновике: «кроме Твоих глаз, которые были для меня всем миром».

[9] В черновике: «что за этим письменным столом, вот здесь».

[10] Далее в черновике зачеркнуто: «И душа моя разрывается клочками. Ты сама плачешь. Но я».

[11] См. п. 35, примеч. 2.

[12] Далее в черновике:

«. . . . .

А слова и мысли набегают, стремятся, еще слова и мысли. Довольно. Нет сил. После! после...

Твой Валерий».

41. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

25 августа 1905 г. Москва[1]

Четверг. 25 августа

Дорогой Валерий,

я хочу, чтобы некоторое время мы вовсе не виделись, и не писали, и даже не говорили по телефону. Мне нужно сейчас быть совсем одной, даже без твоих слов, которые против всякой очевидности ласково и невольно обманывают мои чувства, нарушают ход моих мыслей и выводов, которые мне так хочется привести к какому-нибудь концу. Ты говорил мне, что лишь недоумеваешь, не понимаешь, откуда все *это* пришло, а я не хочу позволить себе теряться в недоумении. Если *пришло*, значит — было где-то, стало существовать, уже существует, *и нужно принять*, и нужно стать сильной и не повторять прошлого года. Это было бы невозможно во всех отношениях и внешних и внутренних. И вот сегодня у меня

нет уже вчерашних слов. И если еще я сегодня по телефону говорила и повторяла вчерашнее, — оно уже было запоздалое, не настоящее. Этого не хочется повторять.

Да и все слова сейчас только еще больше запутают нас. Ты будешь твердить о «математической ошибке», а ведь я-то чувствую и знаю, что ошибки нет. Если уж пришли эти мысли и *стихи* (о, я их помню!), если все это так совпало со всем, что я думала раньше, если все сейчас идет именно по моим строго намеченным линиям предвидения — значит, ошибки нет. И я вижу вдаль зорче тебя. Ты сказал еще: «Ну что ж, пусть нами играют руки рока». Сказал с легкомысленной, милой улыбкой.... Конечно, пусть играют, но, может быть, это именно тот же Рок говорит мне: «Сейчас не надо ничего. Ничего»...

Поверь, Валерий, мне очень горько писать эти строки. Так горько, как давно еще не было. И нет еще ***почти*** ничего реального, ***почти*** ни одного существенного показателя, но ведь вся моя жизнь давно идет мимо реального, и чувству, внутреннему сознанию я верю больше, чем самому реальнейшему факту. Что-то нарушилось, сорвалось и закрутилось, нет радости, нет счастья, в душе что-то сломалось, я не могу уже, как прежде, быть с тобой. Разве этого не достаточно? И тысячи мелочей и тысячи обид. Незаметных, но таких горьких и больных... Ведь не было же этого еще так недавно. О, мне не нужно ничего видеть прямо, мне не нужно никаких слов, у меня есть проклятье или радость ощущать все тончайшие изменения, видеть все изгибы вторыми чуткими глазами. Не откажи мне в этой способности! И когда ты придешь ко мне таким, какого я хочу тебя видеть, — *я почувствую*, и опять будет радость и счастье, а сейчас какой-то скрежет, и скрип, и горечь, и непонятная боль. И потому я говорю тебе, — не нужно видеться, не нужно писать, не нужно говорить. Я хочу счастья, а не боли. Довольно боли. Пусть придет лучше мертвое «все равно». Пусть придет! Но я не могу больше плакать и биться об пол. Это можно делать в жизни только раз. Иначе рискуешь стать смешной даже в своих глазах.

Я люблю тебя, Валерий. Верь в это так же через пространст<ва>, через дни, через всё, *как и сам* предлагаешь мне верить (о, зачем иногда с такой точностью, с такой зловещей точностью повторяются и совпадают в смысле одни и те же слова), но не могу сейчас вынести некоторых *неизбежных* горьких чувств так близко

около тебя и еще не забыв других дней, когда была только одна светлая прекрасная радость. Будь без меня сейчас. Если нам суждено не расставаться и любить, если ты почувствуешь, что не можешь без меня совсем, — ты придешь, *моим до конца*, и я узнаю тебя, я услышу этот трепет души, который замер в осенней мертвеющей нежности. Прощай.

Пойми меня, пойми!

[1] Почтовые штемпели: Москва. 26 августа 1905; Москва. 27.7.05.

42. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

28 августа 1905 г. Москва[1]

28 августа

Валерий, дорогой,
верь, я больше не буду мучить тебя. То, что со мной, — безумно и непоправимо. И я не хочу ничьих напрасных терзаний, кроме своих собственных, замкнутых и одиноких. Помнишь, мы как-то говорили о людях, для которых осталась только уместная приличная смерть. Между ними мы безжалостно отметили смешного маленького Курсинского, Ланга[2], давно пережившего себя, и кого-то еще, не помню. К ним же присоединяю я себя. Может быть, от иных причин, но я так же неуместна, несвоевременна, не нужна в жизни, в мире, в Вашей «вселенной». Говорю это просто, разумно, объективно, как о ком-то посторонн<ем>, кого мне случайно дано понять и видеть до конца. Что было прежде со мной, я не помню и не хочу помнить и знать. Знаю, и помню, и *живу* я только 2 ½ года. В эти годы подвелись и все итоги, исчерпались все возможности. Лишь в эти годы я выразилась окончательно и определилась вот в это смешное *здесь*, романтическое и ненужное "существо". Я правду говорила тебе, что люблю «ад». Конечно, это были полушутливые слова, над которыми мы улыбались. Но в них доля серьезной, глубокой правды. Я люблю тот подъем всех сил души и тела, тот огонь, сгорая в котором уходишь от мира и знаешь, что «все ненужно, что земное», то опьянение, когда перестаешь замечать, что ходишь по земле. Эти два года сплошь были такими. Я не хотела знать «жизнь», и «жизнь» не смела приближаться ко мне. Я была «существом» с безумными глазами, с

опьяненной душой, которое буквально не умело ходить по земле, по улицам в Вашей «вселенной». Все чувства тогда обострились до последней чрезмерности. И вот приблизилась Смерть. Но она обманула тогда. Так приближается последнее наслаждение, но когда уже совсем близко, вдруг уходит так же чудесно и необъяснимо, как приближалось. Ее не допустила «жизнь». А потом обманула и «жизнь». (Я чувствую, что по-чириковски[3] злоупотребляю этим словом, но, прости, — уж если пишу такое романтическое письмо, без него никак не обойдешься.)

Ты говоришь, что мы очнулись «на цветах». Да, на цветах, только почему же не радуют эти цветы? Вот все и кончилось. Все стало просто, ясно, тихо. Тихо до тоски, до ужаса. Передо мной дни, в которых все часы сознательны, нет нестерпимой боли, нет исступленности страданья, но и нет того молитвенного почти, горящего экстаза души. Нужно «входить в колею» этих дней, нужно признать, что моя любовь, та, на которую я только и способна, — *непригодна*, не нужна, *она мешает*, отрывает от мира, а в мире *почему-то нужно быть*. Оргиазм хорош и интересен на страницах В. Иванова да в безумных романах пьяного погибшего Пшибышевского, но встречаться с такими людьми опасно, жить с ними неудобно, беспокойно и невозможно. Но что же мне делать, Валерий, если, выпив яд иного способа существов<ания>, я не могу вернуться назад? Из всех углов на меня оскалилась немая мертвая тоска. Мне некуда девать *этих* дней, мне не жить так, я вижу это с моей проклятой трезвостью, в которую меня швырнули теперь, как о камни, с других нездешних берегов. Как вернуться назад? Еще могло бы быть счастье с тобой. Второе и последнее, невозможное, мимо всех железных законов здешнего. Всеобъемлющее и, быть может, способное вызвать душу еще к чему-то новому, способное все изменить. Но ведь я знаю, знаю, что ему не быть. Я вижу, как обессиливают его разные жизненные подробности, сами по себе ничтожные, но в массе страшные, как страшна туча комаров для обнаженного, беззащитного тела. И повторяю тебе, и клянусь, что это не Искусство, не твое творчество, перед которым я молитвенно поклоня<юсь>. *Это другое*, многосложное и неуловимое, ничтожное и убивающее в одно и то же время. Я имени ему не знаю, а может быть, имя ему все то же надоевшее, повторное, затрепанное пошлыми губами слово «жизнь».

Ты испугался моего вида, и слов, и лица тогда на бульваре. Но такой мне только и останется быть, когда я совсем и навсегда оторвусь от тебя. Где я возьму лицо и душу, чтобы опять прийти

назад? Мне нужно исказиться до конца, создать в себе эту страшную веселую пустоту и в ней, как в броне, ходить между людьми. Или... Но уж об этом нельзя больше только *говорить*. Милый Валерий, прости мне это письмо, но не могу я *тебе* лгать. В первый раз говорю я с человеком так просто, с такой глубиной печальной, безнадежной искренности. И вот, сказав тебе все это, я больше не вернусь в круг этих слов. Уверься в непоправимости, успокойся в обреченности. Будь бездумным и нежным, с юным счастливым лицом. Я люблю тебя. Ко мне только теперь приблизил<ось> последнее знание любви. Теперь и поздно. Ведь все, что было, о, знаю я, было только намеком, только туманным предчувствием расцвета настоящей, единственной, может быть, в веках предначертанной любви к тебе, и я твоя,

твоя навсегда.

P.S. И тут же о другом, о твоей книге. Но это не режущий диссонанс, а продолжение многих мыслей, обид. Не посвящай мне отдел. Это невозможно. Подари мне *всю ее*. Ты обидишь Вячеслава? Но ведь ты же говорил мне: «Все, все, что хочешь»... Я хочу твою книгу. Это мечта всего прошлого года. Я прошу тебя в первый раз. Неужели обида Вячеслава сильнее моей страстной мечты? Больше об этом не попрошу тебя никогда. Или скажи мне одно *да*, или не будем говорить об этом. Я пойму без слов твое *«нет»*[4].

---

[1] Ответ на п. 40.

[2] Поэты, с которыми Брюсов был особенно близок в 1890-е гг.

[3] Имеется в виду прозаик и драматург Евгений Николаевич Чириков (1864—1932), входивший в круг писателей издательского товарищества «Знание».

[4] Речь идет о книге Брюсова «Στέφανος. Венок» (см. примеч. 4 к п. 36). Книге предпослано посвящение «Вячеславу Иванову, поэту, мыслителю, другу», открывается она стихотворением «Вячеславу Иванову» («Когда впервые, в годы блага...»). Имя Петровской в книге нигде не обозначено.

43а. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

29 августа 1905 г. Москва[1]

29 авг. 1905

Вот я прочел Твое письмо, Нина. Да, оно искреннее, до конца, и дальше чем до конца. *Так* Ты еще не писала мне. *Так*, только так хотел бы я всегда говорить с Тобой. Попытаюсь ответить

Тебе с такой же искренностью, тоже до конца и дальше, чем до конца. Попытаюсь еще раз открыть Тебе душу, которую не открывал никому, ни в стихах, ни в письмах, ни в речах, — никому, кроме Тебя.

В первый раз сказал я Тебе «люблю» уже давно, много месяцев назад, и потом повторял это слово часто: в дни безумий и отчаянья прошлого года, в дни несбыточного счастья там, на Сайме, в смертной тоске предразлучных часов в купэ вагона, на пути в слишком знакомую Москву. Никогда это слово не было ложью, но в разные дни оно было разной правдой. И, знаешь, меньше всего оно было правдой, когда Ты всего более верила мне: в дни безумий, когда так близко проходила смерть. Конечно, я «любил» Тебя тогда, в том смысле, что изо всех женщин Ты мне была всех более дорога и желанна; я любил Тебя «так, как любят». Но любил лишь в себе, лишь для себя. Любил больше всего свою любовь. И, наоборот, всего более, всего истиннее, всего непобедимее люблю я Тебя *теперь*, теперь, когда Ты всего менее веришь мне. Там, на наших гранитах, я увидал Тебя, Твою душу, тайну Твоей души, и понял, в первый раз понял, что нашел Тебя в веках, в мирах, что обрел Тебя в жизни. И все, что было в горниле моей души буйством, безумием, отчаяньем, страстью, перегорело и, словно в золотой слиток, вылилось в Любовь, единую, безраздельную, навеки. И эта Любовь к Тебе наполняет теперь всю мою душу, озаряет ее, как свет, проникает ее, как воздух: любовь как нежность, нежность как любовь. И я хочу одного: быть с Тобой; хочу одного: близости с Тобой...

Вот правда обо мне, правда о моей душе. И эту любовь, как всю мою душу (ибо они нераздельны), я отдаю Тебе, отдаю радостно, благоговейно. Но того, чего *Ты* ждешь от меня, но того, что *Ты* желала бы получить от меня, у меня уже нет, и ответить на Твой зов я не в силах. Я не хочу обманывать Тебя «притворным исступленьем» (выражение Баратынского[2]). Сейчас я хочу, я должен, я обязан («обязан» перед самим собой, разумеется) быть спокойным, ясным, «трезвым», «гетевским», — в полном обладании всеми своими силами, с предельной зоркостью глаза и чуткостью слуха. Мне опять пришло время «намечать, стучать, дробить»[3]. Безумие было. Оно пережито. Не надо более безумия. Безумие — часть жизни, часть бытия, часть души, часть вечности. Безумная любовь — часть Любви великой, обнимающей как безумие, так нежность, как страсть, так просветленность. О, почему над Тобой

не тот же ясный, светлый кругозор, что просиял теперь надо мной, не эта четкость далей, не эта нежная свежесть утреннего воздуха! почему в Тебе не та же бодрая мощь всего тела, жажда, ненасытная жажда дышать, работать, быть, жить! Ведь это — Ты привела меня к этому кристальному утру, ведь мы шли к нему рука об руку сквозь ночь ужасов, сквозь бурю безумия, сквозь хаос. Почему же Ты остаешься сзади, не идешь ко мне в эту тишину, в этот свет, из которого я простираю к Тебе руки, все так же молитвенно, все с той же надеждой видеть Тебя впереди, как мой огонек, как мой маяк, как мой свет!

Девочка! радость моя! радуга моя! мне нет счастья без Тебя. Но узнав истинную близость с Тобой, смотрев в Твои глаза так, что сквозь них была мне видна вся Твоя душа и все тихо проплывающие в них видения-мысли, — я не могу уже примириться с меньшим! Я не могу уже, чтобы между нами возникли «кованые брусья»[4], сквозь которые — как все другие «любящие» — мы будем слабо прикасаться губами, пусть страстными, пусть горячими! Я не хочу, *я не могу* взять условных встреч, условных ласк, условной нежности, какие Ты мне предлагаешь. Не могу быть счастливым «на время», близким к Тебе лишь «до известной черты». Теперь мне надо, чтобы Ты отдавала мне всю себя, все так же, как в «наши» дни, на гранитах, всю душу — до конца, до конца! Как и я отдаю Тебе всего себя, всю свою душу, без безумия, с упрямой жаждой работать, но с неугасаемой любовью к Тебе, озаряющей и эту жажду. Мне нет пути к Тебе, в безумие. Прииди ко мне, в мой свет, в мою ясность, в мой мир. Дай мне с «успокоенной нежностью»[5] чувствовать себя — Твоим, Тебя — своей, чтобы осуществилось то последнее счастье, которое, в моей слепоте, показалось мне возможным. Или произнеси свой приговор (девочка! девочка! знаю, что со слезами, знаю, что со смертной болью сердца) — свой приговор, означающий мрак, холод, смерть. Я говорю Тебе «люблю», и Ты говоришь мне «люблю». Я плачу и умираю, и ты плачешь. Но Судия — Ты, весы и меч в Твоих руках[6].

Склоняю голову и жду.

Валерий.

---

[1] Ответ на п. 42. Написано на именном бланке Брюсова. Первоначальный, неотправленный вариант текста.

[2] Образ из стихотворения Е.А. Баратынского «Чувствительны мне дружеские пени...» (1823; известно также под заглавием «Эпилог»): «Я не хочу притворным исступленьем / Обманывать ни юных дев, ни муз».

[3] Заключительная строка стихотворения К.Д. Бальмонта «Каторжник» («Если вы в полдневной дреме...») из его книги «Только любовь» (1903) (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. [М.;] Можайск, 1994. Т. 1. С. 627).

[4] Образ из стихотворения Брюсова «Решетка» («Между нами частая решетка...», 1902), входящего в его книгу «Urbi et Orbi»: «Между нами кованые брусья, / Проволок меж них стальная сеть» (I, 291).

[5] Парафраз из стихотворения Брюсова «Ранняя осень» («Ранняя осень любви умирающей...», 21 августа 1905 г.; I, 481).

[6] Имеется в виду символическое изображение Фемиды — богини правосудия, держащей в одной руке меч, в другой — весы.

43б. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

29 августа 1905 г. Москва[1]

29 авг. 1905

Вот я прочел Твое письмо, Нина! Да, оно — искренное, до конца и дальше чем до конца. *Так* Ты еще не писала мне. *Так*, только так хотел бы я всегда говорить с Тобой. Попытаюсь ответить Тебе с такой же искренностью, тоже до конца и дальше чем до конца. Попытаюсь опять, еще раз, открыть Тебе душу, которую не открывал никому, ни в стихах, ни в письмах, ни в речах, — никому, кроме Тебя!

Я сказал Тебе в первый раз «люблю» уже давно, много месяцев назад, и потом повторял это слово часто: в дни безумий и отчаянья прошлого года, в дни несбыточного счастья там, на Сайме, в смертной тоске предразлучных часов в купэ вагона, на пути в слишком знакомую Москву. Никогда это слово не было ложью, но в разные дни оно было разной правдой. И меньше всего оно было правдой, когда Ты всего больше мне верила: в дни безумий, когда так близко проходила смерть. Конечно, я "любил" Тебя тогда, в том смысле, что Ты мне была изо всех женщин всех более дорога и желанна, я любил Тебя «так, как любят». Но любил лишь в себе, лишь для себя. Любил больше свою любовь, чем Тебя. А всего больше, всего истиннее, всего непобедимее люблю я Тебя тогда, когда Ты этому всего менее веришь, — теперь! Там, на гранитах, я увидал Тебя, я узнал Тебя, Ты стала для меня сама собой и вместе с тем такой именно, какой только мог я мечтать, чтобы Ты была! Я был испуган, я был ослеплен, увидав Тебя,

Тебя — «настоящую», найдя Тебя в веках, в мирах, обретя Тебя в жизни. И все, чту было в горниле моей души буйством, безумием, отчаяньем, страстью, перегорело и, словно в золотой слиток, вылилось в Любовь, единую, беспредельную, навеки. И эта любовь к Тебе сейчас наполняет мою душу, озаряет ее как свет, проникает ее как воздух, любовь как нежность, нежность как любовь. И я теперь, вот в этот миг, как пишу это письмо, хочу только одного: быть с Тобой, хочу одного: *близости* с Тобой.

Вот правда обо мне, правда о моей душе. Но я первый знаю, как бесценны, не-ценны абсолютные ценности, как мало стóит любовь, когда она только любовь. Ты не того хочешь, чтобы любовь наполняла мою душу, чтобы я был *Твой* в последнем, в вечном, в вещем смысле. Ты хочешь, чтобы я был Твой *здесь*, каждым мигом, каждым вздохом. Ты верила мне больше в месяцы безумия, потому что там было безумие; Ты веришь мне меньше теперь, в дни «успокоенной нежности», потому что теперь — успокоенность. Ах, если б я мог передать Тебе, влить Тебе в душу непобедимое мое сознание, что любовь не всегда безумие и что безумие не всегда любовь! Ах, если б Ты увидала тот ясный, светлый кругозор, который теперь просиял надо мной, эту четкость далей, эту нежную свежесть утреннего воздуха, эту бодрую мощь всего тела, эту жажду дышать, работать, быть, жить! Это Ты привела меня к этому утру, к этим далям, привела сквозь ночь ужасов, сквозь бури безумия, сквозь хаос. Почему же сама Ты остаешься сзади, почему Ты не идешь ко мне в этот свет, в эту всеобъемлемость, в эту кристальность бытия, из которой я простираю к Тебе руки, все так же молитвенно, все с той же надеждой видеть Тебя впереди, как мой огонек, как мой свет, как мой маяк. Безумие было; — оно пережито, не надо безумия. Безумие — часть жизни, часть бытия, часть души, часть вечности. Безумная любовь — часть Любви, великой Любви, обнимающей как безумие, так нежность, как страсть, так просветленность.

Девочка, девочка! Ты — мое счастье, и я не лгу, говоря, что без Тебя нет для меня счастья. Но в душе моей нет более ответов на то, чего Ты опять ищешь. Я хочу, я должен, я обязан быть сейчас («обязан» перед самим собой, разумеется) спокойным, ясным, «трезвым», «гётевским», в полном обладании всеми своими силами, с предельной зоркостью глаза и чуткостью слуха. Мне пришло время опять «намечать, стучать, дробить». О, если б Ты была со мной, говоря свои слова любви, слушая мои слова люб-

ви. О, если б Ты была моей и я был Твоим, когда <так!> тогда, как там, на Сайме, где до последнего предела, доступного на земле, мне недоставало только моего молота кузнеца!.. Осуществилась бы мечта *безумных* поэтов, как у Аннунцио, в его «Джоконде»[2], как у «нашего» Пшибышевского на последних страницах «Сынов Земли»[3]. Но Ты не хочешь. Но Ты не можешь. А я? Разве я могу притворяться? разве я могу лгать Тебе, *Тебе*!

Нина! моя радость! мое счастье! моя жизнь! Ты предлагаешь мне *меньшее,* чем было. Ты говоришь мне: «Я не буду тебя мучить, я буду с тобой нежной...» И, значит, хочешь скрыть от меня свою настоящую жизнь, свою истинную душу. И, значит, порвется та немыслимая, небывающая близость между нами, которая давала крылья и открывала бесконечность. Твои глаза, такие близкие, сквозь которые я видел всю Твою душу, сквозь которые я видел, как тихо, легкими видениями скользят Твои мысли и мечты, — эти глаза отойдут в даль. Между нами будут «кованые брусья», и лишь через них мы будем прикасаться губами, пусть страстными, пусть горячими... Не хочу! не хочу меньшего! *не могу* взять меньшего! Вот час, когда я *должен* требовать. Дай мне столько же, сколько давала раньше: всю себя. И я отдам Тебе всего себя, таким, каков я теперь: без безумия, с упрямой, с ненасытной жаждой работать, но с бессмертной любовью к Тебе, проникающей и самую эту жажду. Я не хочу и не могу взять условных встреч, условных ласк, условной нежности, с предупреждением: «Это лишь на миги». Хочу, чтобы в *часы* встреч переливались все томительные дни разлуки, так, чтобы этой разлуки уже не было, так, чтобы отблески бывшей встречи и встающая заря другой, ожидаемой, озаряли всю жизнь, во всех ее мигах, во всех ее ничтожностях. Хочу всегда, всегда, не теряя ни на мгновение, чувствовать себя — Твоим, и Тебя — своей, близкой, близкой, до предела. Разве же это не осуществимо? И разве, в самом деле, можно примириться с меньшим? Решай же, произноси приговор: или то ясное, то голубое, то последнее счастье, которое мне (о, безумие!) показалось возможным, — или (для меня, конечно) мрак, холод, смерть. Ты — судия, и весы и меч — в Твоих руках.

Наклоняю голову и жду.

Валерий.

---

[1] Ответ на п. 42. Написано на именном бланке Брюсова. Вариант текста письма, отправленный адресату.

5. Заказ № 795.

[3] *«Джоконда»* (1899) — драма Габриэле Д'Аннунцио; в основе действия — судьба скульптора Лючио Сеттала и созданной им статуи.

[4] *«Сыны земли»* («Synowie ziemi», 1904) — роман Станислава Пшибышевского; в издательстве «Скорпион» вышел в свет отдельным изданием (М., 1905) в переводе Е. Троповского. Заключительные страницы его исполнены оптимистического пафоса: «Бездна перед нами, а благодать неба искрится и льется светом мистических солнц на наши головы, и это — счастье»; «Будь благословенна жизнь и силы твои!» и т.п. (*Пшибышевский Ст.* Полн. собр. соч. Т. II. Сыны земли. М.: Изд. В.М. Саблина, 1911. С. 191).

44. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

1 сентября 1905 г. Москва[1]

1 сентября 905

Девочка милая, хорошая, маленькая! несколько раз принимался я вчера писать Тебе, и письма всё как-то мучительно обрывались. Начинаю думать, что Ты — права, что ничего не надо «уяснять», что надо закрыть глаза, отдаться течению, ведь тихому, ведь мирному! Но больно, больно в этой тишине. Больно слышать Твои недоговоренные слова, Твои обмолвки, Твои — по временам — горькие подчеркивания сказанного, сделанного. Всей, всей душой мне хотелось бы быть с Тобой, и знаю, что не могу быть там, где Ты. И вот Ты сходишь ко мне и протягиваешь мне ласковые, нежные руки. Что мне остается, как не стать на колени и не целовать их, плача, потому что Ты научила меня плакать. И когда я вспоминаю последнюю нашу встречу, от многого, ах! от многого испытываю щемящее чувство тоски, предчувствие неизбежных отчаяний. И это теперь, когда во мне жажда легкости, ясности, почти Рафаэлевской свободы! И это теперь, когда мне мечталось бы скользить с Тобой по жизни в уверенности, в торжестве, в ликовании. Нет, везде и всегда обманывает судьба. Подает желчь — и она слаще меда и в ней упоение; манит сладостью, а она на губах как ядовитая горечь. В этом мое последнее утешение: что я опять не угадал, что опять оказался лживым пророком, что опять избег страшной участи Кассандры[2]. Предсказывал венки, а меня ударили кинжалом.

...А может быть, я угадывал — там, в купэ вагона, прощаясь, плача, или даже раньше еще, слагая свои стихи о выси, к кото-

рой «вторично мне не вознестись»[3]. После было много прекрасного, удивительного, предельного, — но то было как отдельная вершина, как небольшой пик, на гребне горы. Правда, *географически*, считая «от уровня моря», мы подымались выше, чем в Финляндии, но психологически мы вошли на высь — там, и оттуда уже видели всю даль, всю бесконечность неба и всю беспредельность земли. А теперь спуск, обрывистый, хотя и медленный. Еще веет горный, чистый ветер. Еще под ногами беленький эдельвейс, цветок вершин. Еще далеко внизу поет горный рожок. Но ноги уже цепляются в кустарниках, растущих по склонам. Уже быстро, быстро становится прошлым, отошедшим, далеким — та вершина, на которой мы стояли недавно. И в сердце горькое сознание, что к ней не вернуться.

Девочка! моя радость! мое счастье! мое желание! Прости мне все эти слова, но что же делать, если нет иных, если ни о чем другом говорить не могу! Только одно убежище от всех этих дум — черные закоптелые колодцы искусства, где на дне мой горн и мои «верные молоты»[4]. И день и ночь стучу, кую. Груды отчеканенных стихов возрастают. Но зачем — не знаю. Мне нужны не стихи, а Твои губы, не творчество, а Твои ласки. Только Твои ласки с той полнотой, с той торжествующей близостью, которую мы знали *когда-то* («О да, я помню, да! я был живым...»[5])! Здесь какое-то дьявольское противоречие, распутать которого я не умею. Одно и то же оказывается то причиной, то целью. Одно и то же — то угрозой, то защитой. И там, где я вижу погибель, открывается спасение, но мост, по которому я спешу, бегу от ужасов, вдруг рушится, и я опять на дне каменистой бездны...

Но я люблю Тебя! люблю! люблю!

De profundis clamavi[6].

Твой

Валерий.

---

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Пророчица *Кассандра*, дочь Приама и Гекубы (греч. миф.), была наделена даром провидения, но ее вещим предсказаниям никто не верил.

[3] Подразумевается заключительная строфа стихотворения Брюсова «В полдень» (1904; I, 397):

Паду, но к цели ослепительной
Вторично мне не вознестись,
И я с поспешностью томительной
Всем существом впиваю высь.

[4] Из стихотворения Брюсова «Прощание» (1904): «Что ж! Пойду в пещеру к верным молотам, / Их вносить над горном жгуче-пламенным, / Опускать их на пылающий металл» (I, 411)

[5] См. примеч. 3 к п. 21.

[6] «Из глубины взываю» (*лат.*) — цитата из библейского псалма (Пс CXXIX, 1): «De profundis clamavi ad te Domine».

45. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

2 сентября 1905 г. Москва[1]

2 сентября

Все то же, все то же.... И нет в душе последних все разрешающих слов. Ах, Валерий, мы ушли друг от друга. Прежде не нужно было столько слов, стольких мучительных попыток приближений, потому что мы были действительно близки. Были близки, и не знали этого острого скрежещущего безысходного отчаяния, муки напрасно протянутых рук. Что мы можем сказать в этих письмах, если при встречах, когда возмож<но> всё, — мы такие печальные, измученные, безнадежные? Глядя в глаза, можно все сказать, так сладостно-близко касаясь, можно порвать все преграды, созданы ли они безумием или жестокие, настоящие, — все равно. Но мы уходим, унося в душах всё ту же горькую непонятость, всё ту же непоправимую печаль. Вот пройдут еще дни, и, может быть, этого тоже не будет. Замрет и онемеет боль, исчезнет эта знойная, сжигающая тоска. Все проходит... И тогда, когда мы станем как все «любящие», тогда ты поймешь, *что́* ушло и чего мы лишились навсегда. Ты упрекаешь меня «безумием» моим, ты настолько оглох (Боже мой! — эти слова были прошлой осенью. Страшно!), что уже не слышишь *тона*, музыкального мотива этого безумия, и так ослеп, что не видишь, в каких *безднах любви* — корни этих *«ненужных»* тебе чувств. Тебе не нужно, или ты не видишь, — не знаю. Твоя душа не совпадает с ними, но понимаешь ли ты, что Любовь *и есть только такая*? Все иное — сон, глухой сон мутно-серых осенних дней. Ты хочешь его. Он будет, будет! Дай пережить мне мое «безумие», и я приду к тебе другая, *из мира*, а не из «безмирных» осиянных далей Любви. Приду с легкостью равнодушия, с покоем сознанной (о, уже навсегда) безнадежности. Будем встречаться без слез, без жгучих

щемящих чувств. Как все «любящие».... А теперь я еще не с тобой. Я еще хочу, чтоб «невозможное» было возможным, хочу Финляндии, хочу «гранитов», милых незабвенных гранитов среди беспощадных, все убивающих московских улиц и стен. Знаю, — эти стены с миром, который средь них, — победят. Но ведь была «высь». Хочу выси! Она не ушла из души! Но ты зовешь вниз. Пойду... Протяну тебе холодную руку и пойду. Тогда уже не вернемся.... Так думаю я, так чувствую, так переживаю глубокую, смертельную обиду. И оттого не могу ничего, — только протянуть тебе онемевшие, безвольно-нежные руки. Иначе еще не могу быть с тобой. Дай стать иной. Веселой, легкой, опустелой.

Это не «желчь была слаще меда», а любовь. О, ты иной! Весь иной! И если я смогу, я скажу тебе эти слова: «Уходи, ты мне не нужен такой». И если не хватит сил, я сломаюсь, чтобы остаться с тобой, и останусь, но тоже иной, какой хочешь ты. И это будет самый горестный конец.

Я хочу тебя, хочу себя отдать тебе. Но ты не умеешь взять, у тебя слабые нежные руки, которые могут скорее потерять, чем удержать.

Ты «не можешь быть там, где я».... Ты был *там, уже был*, в прошлом году. Помнишь? Забыл?.. О, не надо «уяснять», если не ясно, не слышно без слов. Будет время, когда все поймешь, — но пусть свершается Судьба.

Я твоя и люблю.

---

[1] Ответ на пп. 43б и 44. Почтовые штемпели: Москва. 2 сентября 1905; Москва. 2 сентября 1905.

46. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

2 сентября 1905 г. Москва[1]

2 сентября, 1 ч. ночи

Валерий, Валерий! Где ты? Где мы? Неужели мы навсегда утратили друг друга? Я послала тебе письмо несколько часов тому назад. Там были еще связные мысли, вопросы, ответы, а теперь мне только хочется звать тебя через тьму, через ночь, чтобы не было так страшно, пусто и беспредельно одиноко. Милый, милый, милый! я люблю тебя, я жить без тебя не могу! О, спасем то, что

рушится, потому что это рушится сама жизнь. Потом руки протянутся в ужас и пустоту. Я не хочу ничего, кроме тебя. Я не могу ни с кем быть, кроме тебя, вижу это ясно. Возьми мою любовь, люби меня, не давай мне уйти, удержи! Мы двое в мире, неужели тебе не ясно, что мы *друг для друга*. Неужели ты не видишь, что за ужас и тоска там впереди, когда мы не будем вместе? Меня охватил безумный страх. Сегодня встретила его. Близко, лицом к лицу, глаза с глазами. Ощущение встречи с призраком. Столько боли позади, и вот опять боль еще горестнее, чем прежде. И многое, многое другое.... Не хочется жить! Невозможно так жить, не хватит сил. Где же наше счастье, наша ясная радость, что сошла на Сайме? Я хочу любить тебя, твое лицо, твои глаза, твое тело, я отдаю себя всю до конца. У меня ничего не осталось ни для кого, — и вместо радости — тернии, вместо счастья — пронзительная жгучая боль. О, найди себя прежнего, моего, с моими глазами, с моей душой, приди так, чтоб в единый миг воскресло все счастье, которое забыли мы здесь в проклятой Москве.

Валерий, Валерий, любовь моя, моя жизнь!

Услышь меня через все, открой глаза, разве не ясна, не прозрачна моя душа перед тобой вся до дна?! Убьем это темное, холодное, что смело встать между нами. Приди ко мне таким, чтобы вновь я верила каждому твоему желанью, каждой еще не высказанной мысли. Я сжимаюсь от смертельного холода, когда как тень проходит между нами *это* новое, чему я не знаю имени. О, сделай что-нибудь! Изрежь свою душу всю, но найди правду — что это, откуда? — Откуда боль?

Я не хочу мутных волн забвенья и ищу его, я хочу отдать тебе всю мою простую, торжественную ясность Любви и, встречаясь с тобой, кутаюсь в холодный туман. Мой дорогой, мой «ласковый зверочек» прежних ушедших дней, дай мне почувствовать тебя, тебя! И как только я почувствую, что это вновь ты, мы опять будем вместе, мы уйдем в такую бесконечность Счастья, перед которой все прошлое станет бледным полузабытым сном. Дай поверить, что у нас есть будущее, больше этих дней, когда мы через стены и пространства томимся друг без друга. Пусть не будет ничего, и жизнь рассудит иначе, но пожелай этого так, как хочу я, хотя в мечте отдай мне себя всего, всю твою жизнь, хотя только в мечте слей ее с моей. И я увижу это в глазах твоих и поверю, и буду прежней, как на «гранитах» и на нашей Сайме, где «тянулись тени

северного сада»[2], где узнала я всю глубину твоей нежности и тонула в блаженном покое и радости наших незабвенных 30-ти дней. О, эти дни! Я плачу, вспоминая их, я поехала бы туда, чтобы со слезами целовать каждый камешек, который бросали мы в тихую воду, мы сами тихие, с *другими* слезами на глазах. Валерий, счастье мое! У меня нет больше слов. Я как молитву говорю тебе «услышь». Услышь последней глубиной твоей чуткой души. Приди ко мне сквозь «проволок стальную сеть»[3].

Я люблю тебя, люблю тебя!

Я твоя ласковая «девочка».

---

[1] Почтовые штемпели: Москва. 2 сентября 1905; Москва. 2 сентября 1905.

[2] Строка из стихотворения «Я — упоен! мне ничего не надо!..» (1905, Rauha), входящего в раздел «На Сайме» книги Брюсова «Stephanos» (I, 380).

[3] См. п. 43а, примеч. 4.

47. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

3 сентября 1905 г. Москва[1]

3 сент. 1905

Девочка, милая, хорошая, маленькая! любовь моя! радость моя! улыбка моя — светлая, ясная! выслушай меня, прими мои слова не как слова, сделай то, чтó так трудно людям: слушай не свои предвзятые мысли, а чтó говорю я. Твой самый верный образ — тот, от имени которого написано Эдгаром «Линор»[2]. Перечти эти стихи. «И над больной ваш дух ночной шептал: умри скорей!»[3] Когда умерла жена Эдгара, эта девочка восемнадцати лет, которую он любил так, что ей написан и «Ворон», и «Улалюм», и «Лигейя», и «Морэлла»[4], и всё! и всё! — когда она умерла, «враги» (т.е. весь свет) обвиняли, что он нарочно ускорил ее смерть, чтобы написать трогательные стихи. «Клевета!» — кричат теперь «друзья». Но я знаю, и Ты поймешь, что в этой клевете *может* быть правда! Ах, как часто мы ускоряем, приближаем, вызываем сами то именно, чего больше всего боимся! «Демон извращенности»[5], поэтом которого был Эдгар, потому что был и его рабом, увлекает нас произносить заклятия, которые должны обрушиться на нас самих. Есть мучительная сладость самому готовить себе плаху и гроб. И Ты над нашей любовью, которая ста-

ла Тебе дорога́, и именно потому, что она стала Тебе дорога́, шепчешь теперь заклинательно: «Умри, умри скорей!» Шепчешь, и плачешь, и все-таки шепчешь. Или Ты забыла силу заклятий? И вот я невольно подчиняюсь Твоему голосу, следую Твоему внушению, пишу какие-то безумные стихи. И вдруг, с ужасом опомнившись, спрашиваю себя, что́ делаю, говорю, что это неправда! что это не я!

Ах, девочка! я измучился, примиряя две правды, ту, которая кажется Тебе, и ту, какую знаю я. Труднее всего, что Ты все указываешь на внешние признаки, на «симптомы», но выводы Твои из них неверны! неверны! Мне больно, мне оскорбительно, что Ты более не веришь в мою любовь, все ту же, прежнюю, беспредельную, безусловную. Зачем Ты так печально качаешь головой, когда я говорю Тебе о «искусстве»? Можно не есть два дня, девять дней, но и Христос напоследок «взалкал»[6]. Моя душа взалкала по литературной работе. Не только после прошлой зимы, но и после 18 месяцев «Весов»[7]. Взалкала по самозабвенной работе, по художническому искусу. Но разве нельзя любить, стоя на искусе? Разве любовь должна уменьшиться, если свершаешь подвиг? В прошлом году мы мерили жизнь днями, часами: масштаб был маленький — от Рождества до страстной субботы. Жизнь вернулась. Невольно меришь ее годами. Определенно видишь и зиму, и другую весну. Прошлой зимой несколько часов казались бесконечностью. Теперь несколько дней кажутся ничтожной величиной. Заключи весь мир в грецкий орех — и дюйм будет безмерностью. Увеличь земной шар в тысячу раз, и люди будут совершать вечерние прогулки в тысячу верст. Изменился масштаб, вот только, вот только!

Девочка! девочка! мечта моя! если говорить последнюю правду, то для того, чтобы *все было хорошо*, чтобы могло быть воистину счастье, надо, чтобы мы, как там, на Сайме, *жили вместе*, близко, близко, рядом, рядом. Ты знаешь эту правду («обнаженную»), как и я. А если этого нет, остается только одно: верить друг другу. Ты должна верить, что мне нужна, вот теперь, эта моя сосредоточенность в работе. Что там, около своих кузнечных молотов и мехов, я тот же, все тот же, Твой! Что эти дни ясной трезвости, «художнической» трезвости пройдут, и я так же непобедимо возжажду того «безумия», которое славишь Ты. Во все это надо, чтобы Ты верила. А я взамен каждый день, каждый миг буду сознавать себя Твоим, буду счастлив, буду упоен этим сознанием. Если же

Ты не хочешь, не можешь верить, — тогда, конечно, есть только одно решение, только единственная возможность для меня: — бросить все, что меня влечет к себе так убедительно, и прийти к Тебе; вырвать из своей души все иное, даже самое прекрасное и великое, что́ есть в ней, чтобы осталась только Любовь, только одна слепая Любовь. И если это так надо, я это так сделаю.

Я — Твой
Валерий

---

[1] Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Имеется в виду стихотворение Эдгара По «Линор» («Lenore», 1843).

[3] Неточно цитируется строка из стихотворения «Линор» в переводе К.Д. Бальмонта, впервые опубликованном в т. 1 Собрания сочинений Э. По в переводе Бальмонта (М.: Скорпион, 1901). Позднее Брюсов также перевел это стихотворение. См.: *По Эдгар Аллан*. Ворон. СПб., 1999. С. 211—214.

[4] Жена Эдгара По Виргиния Элиза (урожд. Клемм; 1822—1847) умерла в возрасте 24 лет. Из упомянутых произведений По — стихотворения «Ворон» («The Raven», 1845) и «Улялюм» («Ulalume», 1847), новеллы «Лигейя» («Ligeia», 1838) и «Морелла» («Morella», 1835) — непосредственный отклик на смерть жены представляет собой «Улялюм».

[5] Заглавие рассказа По «The Imp of Perverse» (1845) в переводе Бальмонта (впервые в кн.: *По Э.* Таинственные рассказы / Пер. К.Д. Бальмонта. М.: Изд. А.Н. Урусова, 1895).

[6] Мф IV, 2; Лк IV, 2.

[7] «Весы» начали издаваться с января 1904 г.

48. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

11 сентября 1905 г. Москва[1]

11 сентября

Ты моя светлая радость! Я люблю тебя!

Если я так мучу тебя иногда, то только потому, что любовь вонзается как боль. Хочется невозможного, неслыханн<ого>. Хочется последнего, несказанного слияния, чтобы не знать, — где ты, где я. О, я знаю, что все это *последнее*! Если мы не будем вместе, я никого уже не смогу любить. В это последнее я вкладываю всю мою душу, всю мою жизнь, все надежды. И потому так безумно страшно, когда хотя малейшая тень ложится между нами. В эти миги рушится все, разверзается пропасть. Это мое безумие, но что же мне делать! Прежде я умела *мириться*, совмещать, отдавать и

брать не все, а до известного предела. Теперь не умею и не хочу уметь. Знаю лишь любовь великую, единую, сильную, как смерть, всепоглощающую. Возьми ее, если можешь и умеешь взять. Валерий, дорогой, люби меня! Я никогда еще не знала такой глубины любви, никогда так сознательно не отдавала души всей до конца. «В тебе сошлись линии моего предопределения». Это бывает один раз в жизни, этого больше не будет никогда, ни в этом существовании, ни в том, другом. Ведь я люблю в тебе все, каждую черту твоего лица, каждый изгиб твоей мысли, еще даже неизвестной, но уже близкой, потому что *я чувствую тебя всего.* Милый, милый, милый! Ну посмотри мне в глаза, что в них, кроме ясной нежности, кроме безграничного желания слиться с тобой так, чтобы не было ни тебя, ни меня, а были *мы*, — *одно* вне всего, что так больно ранит душу.

Прости меня! Ты плакал!... Но я люблю и твои слезы. Такой красоты скорби я не видала ни на одном человеческом лице. О, люблю тебя и за слезы и за радость, за горе и счастье, за все прошлое и будущее!.. Мы не можем расстаться. Мы можем умереть, не вынести боли, умереть от любви, но не расстаться «как любящие». Пойми, поверь! Как я буду жить, если не увижу твоих глаз, если не будет этих минут, без которых все дни превратятся в глухую мертвую тишь навсегда.

Люби боль, люби слезы так же, как радость, потому что, когда уйдет любовь, глаза будут сухи и не протянутся холодные спокойные руки. Валерий дорогой, будь моим весь до конца, так, как отдаю я себя. И без страха, без взглядов назад, без тревоги в душе. Ведь нам уж *некуда* вернуться, мы вышли из круга, и круг замкнулся для нас навсегда.

И об одном я умоляю тебя, — если настанут опять такие минуты, когда в безумии боли я уже не узнаю твоих глаз, — ты не отходи от меня, верни меня к сознанию твоей нежностью, не ожесточайся, не верь мигу, а знай одно навсегда, *что я люблю тебя* и буду любить и не могу не любить.

И я с тобой всегда и сейчас, вот целую «глазки мои», нежными губами ласкаю каждую линию твоего лица, становлюсь на колени и говорю: «Прости».... «Прости, моя светлая радость».

Нина.

[1] Почтовые штемпели: Москва, 12 сентября 1905; Москва. 12 сентября 1905.

49. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

13 сентября 1905 г. Москва[1]

13 сент. 1905

Нина, девочка моя, радость моя, желание мое! Твое письмо — счастье, Твое письмо — свет, целую его, люблю его, как Тебя. Хочу Тебя такой, как в этом письме, да, такой, чтобы стоять перед Тобой на коленях, «ублажать» Тебя, молиться Тебе. Когда Ты мне говоришь «люблю», когда я слышу Твои ласковые слова, вижу Твои любовные глаза, я перестаю быть собой, становлюсь Твоей мечтой, тем, что создала Ты, Твоей поэмой. Ты все можешь, смотря так, я — как часть Твоих мыслей, которые Ты властна сочетать и так и иначе, я жив Твоей волей, как тени живы светом: погаси свет, и не будет теней, будет один безраздельный мрак.

Но, девочка, хорошая, дорогая! мучительно, когда Ты «мучишь». Страшно, когда Ты говоришь жестокие слова. Ведь они были! были! Значит, и есть, есть в какой-то глубине Твоей души, в одной из Твоих душ, как правда одного из Твоих ликов. Мысль об этом убивает меня, теперь, как и прежде, — как на пути «к минералам» или в Выборге, как в первую нашу встречу осенью, в Москве. Знаешь (я сознаю́сь Тебе откровенно, сердечно, ни в чем не таясь: — так не осуди за это), знаешь, я до сих пор не могу ожить после тех Твоих последних упреков. Ты мне говоришь «прости». Нина! Нина! счастье мое! мой свет! да разве мыслимо, чтобы я миг один «сердился». Может ли стебель гневаться на солнце? ветер на воздух? Я — в Тебе, я — жив только Тобой! Но солнце может сжечь стебель и стихнувший воздух убить ветер. Душа у меня распалась, разбилась вдребезги, и я вот все еще собираю осколки. И если вчера, говоря с Тобой «по телефону» (хочется это слово ставить в кавычки), я не был собой, то и потому, что душа моя была именно осколками. Зеркало отражает солнце и само ослепляет. Разбей зеркало: будут тусклые кусочки стекла, словно голыши-камешки.

Но не прими этих слов за упреки. Скорее они оправдания. Ими я прошу прощения, что я не такой, каким Ты меня хочешь видеть. Я не упрекаю Тебя, не могу упрекать, потому что все от Тебя для меня — радость: и счастье, и боль. Ты говоришь: «Полюби боль». Я люблю боль — ту, которую Ты причиняешь. Я люблю лезвие Твоих слов, хотя они разрезают душу надвое. Я

люблю Твою последнюю безжалостность, хотя иной миг я уже думаю, что умираю, — люблю уже потому, что нет высшего счастья, нет более яркого блаженства, как от последнего отчаянья вдруг опять перейти к последнему восторгу. Быть в гробу и вдруг услыхать голос: «Но Ты лишь спал, проснись: это весна и любовь!» И я просыпаюсь, и я вижу, что да! да! это весна! это любовь! это цветы, и счастье! это — Ты! Но, девочка, не мучь меня таким кошмаром слишком долго. Ах, в иной час Ты не рассчитаешь моих сил, скажешь «проснись», а я уже не отвечу, я уже буду мертв. Больно, больно.

И опять прости все эти слова. Говорю еще: я не ожил, я еще в осколках. Но у меня Твое письмо. Я буду читать его, я буду целовать его. В нем власть воскресить мою душу, евангельское «талифа куми», и девица воскреснет, встанет, будет такой, какой она должна быть[2], потому что этого Ты хочешь, — но и теперь, и всегда, и в жизни и смерти

она — *Твоя,*
потому что я — *Твой*
Валерий.

[1] Ответ на п. 48. Написано на именном бланке Брюсова.

[2] Подразумевается эпизод воскрешения дочери Иаира: «И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа́ куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала <...>» (Мк V, 41—42).

50. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

18 сентября 1905 г. Москва[1]

18 сент. 1905

Нина, дорогая! Странно и стыдно сознаваться в этом, но я увидал Твой знак под письмом Бальмонта *лишь сегодня утром*[2]. Вчера я его не видал, не видал, как слепой, был уверен, что Бальмонт только с С.А.[3] Вот почему я написал намеренно грубый ответ[4]. Мне страшно, если Ты, особенно если из-за слова «олимпиец», подумала, что эти слова обращены и к Тебе. Но я не хочу оправдываться случайностью. Я не знаю, приехал ли бы я на Твой зов, если б понял его вчера. Может быть, да, а может быть, нет. Я не хочу, я решительно не хочу быть с Бальмонтом за «дверями

пламенными ада»[5]. Мне было бы нестерпимо видеть его вновь таким, каким прежде случалось видеть так часто. И я не знаю, пересилило бы желание видеть Тебя или нет (притом видеть среди других, без возможности сказать, что хочу, стать на колени, поцеловать руки, увидать Твои глаза близко-близко). И, наконец, не надо лицемерия: да! мой рабочий стол, заброшенный мною в прошлом году, пленяет меня теперь гораздо более, чем «залы для вина». Да! я переживаю свои «олимпийские» дни. Моя душа ищет, просит, требует ясности, ясности во что бы то ни стало! О мои светлые мечты о ясной радости, о мирных прекрасных днях! Они среди буйственных дней, какие были в прошлом и не могут не быть в будущем, были бы ярким, блистающим венцом над безумным ликом. Ты не хочешь. Почти слышу Твой презрительный голос, которым Ты отвечаешь мне. Мои руки падают. Наклоняюсь, как под ударом. Лишь помни, что я — Твой!

Валерий.

P.S. Не смею переписать для Тебя своих светлых, радостных стихотворений.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Это письмо Бальмонта нам неизвестно. Бальмонт приехал в Москву из Петербурга 16 сентября (см.: *ЛН. Т. 85.* С. 485—486).

[3] Видимо, С.А. Соколов.

[4] Это письмо Брюсова — видимо, обращенное к Бальмонту — нам неизвестно.

[5] Источник цитаты не обнаружен.

51. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

18 сентября 1905 г. Москва[1]

18 сентября, 2 ч. ночи

Я не хотела писать тебе...

Но вот сейчас меня охватила такая острая тоска по тебе, что мне хочется вырваться из плена моих горьких мыслей и *через все, что есть и будет*, сказать — я люблю. Люблю тебя...

Поговори со мной сегодня. Мне грустно без твоего голоса, без твоих глаз. Ты милый, милый!..

Твоя.

---

[1] Почтовые штемпели: Москва. 19 сентября 1905; Москва. 19 сентября 1905.

52. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

21 сентября 1905 г. Москва[1]

21 сент. 905

Девочка, хорошая, маленькая, милая! Вот посылаю Тебе одно из последних своих стихотворений[2]. Другие не решаюсь. Да и это страшно. Как примешь его, не знаю. Ибо какая Ты — не знаю. Любимая, желанная, радуга моя, — люби меня и верь мне. Не «обижайся» на меня. Не «брани» меня. Не «мучь» меня. Я люблю Тебя, хотя Ты и отвечаешь мне теперь на это «нет». Я *весь* Твой, хотя Ты и не хочешь слушать слов «весь», «всё». Сегодня буду у Вас. Ах, боюсь, как будешь Ты на меня смотреть.

Весь Твой

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Автограф стихотворения при письме отсутствует.

53. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

28 сентября 1905 г. Москва[1]

Прости....

В 12 ½ по телефону.

Ночь.

---

[1] Почтовые штемпели: Москва. 28.9.05; Москва. 28.9.05.

54. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

30 сентября 1905 г. Москва

30 сентября

Сегодня я верю и люблю тебя в нежной ласковой тишине. Сегодня счастье и ясный тихий свет. Милый, мой милый! Я люблю тебя всего и всегда. Когда ты отходишь, как в тот месяц, —

со страстной тоской, с мученьем и болью, и с беспредельной, сладко волнующей нежностью в такие дни, как теперь. О, люби меня той же невозможной, все отдающей любовью! Когда я вижу в глазах твоих *ее такую*, когда самое безмерное в мире чудо воплощается в наших ласках (как я люблю теперь это слово), — только в эти минуты я становлюсь *собой* и *твоей* до конца и верю бездумно, безрассудно каждому твоему слову. Будет счастье, радость, будет все, что мы хотим, если только глаза наши останутся такими, как вчера. Как я люблю тебя!

Твое лицо, глаза, тело, твои ласки... Я вся для тебя и твоя, и любовь к тебе — это последняя правда души моей. Будем счастливыми, ясными, пьяными нашей весной. Мы так мало еще были вместе. Помнишь, ты говорил сегодня: «На деревьях первые клейкие бледно-зеленые листочки»... Не надо, не надо убивать весну!.. Сбережем нашу светлую, милую радость.

Валерий, Валерий, счастье мое! Мне тоже хочется «лепетать», смеяться и со слезами последней нежности целовать твое лицо, губы, руки....

Где прошлый год, где вся жизнь до тебя?!

Ты — один, ты навсегда. Милый, милый, милый!

Твоя.

Благодарю за стихи, очень благодарю.

55. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

3 октября 1905 г. Москва[1]

3 окт. 1905

Девочка, милая, хорошая, маленькая! люблю Тебя! люблю Тебя; Твой — совсем. Люби меня, верь мне, не уходи от меня. Буду всегда, всегда таким, каким Ты меня хочешь, не иным. С Твоими глазами, только с Твоими. Твоим зверком. Твоим поэтом.

Это — лепет.

Пишу *после* того, как мы говорили по телефону. Наскоро. Спешу отослать.

Твой! Твой! Да! Да!

Валерий

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

56. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

14 октября 1905 г. Москва[1]

14 окт. 905

Девочка, радость моя, люблю Тебя, и хочется мне повторять Тебе это в наши буйные дни. Читая утром газеты о начинающейся в России революции[2], слушая кругом себя плачевные споры, будет вода или не будет воды, — так хорошо знать, что бесконечно выше всего этого, за пределами всего, что может прийти, настигнуть — есть моя любовь к Тебе и есть Твое ответное «люблю». Это сознание наполняет меня тихой радостью, блаженным, немного глупым весельем, и я, улыбаясь, слушаю, что мне говорят, и счастлив, что другие не понимают, о чем моя улыбка. И хочу еще только одного: чтобы та же радость была в Твоей душе, та же улыбка на Твоих губах. Хочу, чтобы Ты была рада моей любовью, как я рад и счастлив своей и Твоей, чтобы Ты твердо знала об этой любви и верила, верила ей. Ах, девочка, милая, хорошая *и* маленькая, неужели нельзя

под бурей летучей,
Под этой грозой разрушенья[3] —

быть вдвоем среди миллионов, любить среди ненавистей, радоваться среди яростей! Хорошо любить и хорошо, если любят. Не упрекай, не брани меня за радость. Эту радость создала в моей душе Ты, как и всё, что в ней сейчас. Прими ее как свое создание и как мое приношение. Становлюсь на колени перед Тобой, целую Твои руки, хочу увидать и в глазах Твоих улыбку, ту улыбку, которую я так люблю. О, погоди, не требуй от меня слез, мне так хорошо знать, что нас в мире двое!

Я Твой, *только* Твой

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду всероссийская политическая стачка, начавшаяся забастовкой рабочих Московско-Казанской железной дороги (с 3 октября 1905 г.).

[3] Из стихотворения Брюсова «Грядущие гунны» («Где вы, грядущие гунны...», 1905; I, 433; с неточностью).

57. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

14 октября 1905 г. Москва[1]

14 окт. 905

Девочка, милая, Нина, хорошая! Заступись за меня перед своим Сережей! Яви божескую милость. На Тебя последняя надежда. Не могу я напечатать этой статьи о Лохвицкой[2]. Мысли в ней верные и интересные, но уж до такой степени плохо они рассказаны, что сил нет читать. Какие-то деревянные планшетки, а не фразы, свинчены винтиками, а не связаны союзами. Что ни «*и*», что ни «но» или «между тем как» — как железный винтик, и когда я читал корректуру, мне казалось, что винтики эти ввинчивалась мне в мозг, а деревяжки эти стучали мне по голове: пренеприятное ощущение. Можно еще эту статью исправить (расширив ее), но у меня духу нет за нее приняться. Посылаю самоуничижительное «письмо в редакцию» — печатайте его[3]. Вам ведь мое имя нужно, ну вот оно и будет в подписи под письмом. А от публичного позора такого поминания Лохвицкой увольте меня. И зачем только она умерла, эта божественная Мирра! Жила бы себе да писала бы страстные и ведьмовские стихи, и добрых людей не принуждали бы писать по ней некролог!

А я Тебя люблю.

Твой

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» н журнала «Весы».

[2] Поэтесса Мирра Александровна *Лохвицкая* (1869—1905) скончалась 27 августа. 19 сентября С.А. Соколов писал Брюсову, имея в виду интересы журнала «Искусство»: «Посылаю V том стихов Лохвицкой, который мне удалось раздобыть. Позвольте мне считать, что некролог будет Вамн написан. Был бы Вам бесконечно обязан, если бы Вы сделали это на близких днях» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 16. Л. 13). Однако некролог, написанный Брюсовым, своевременно в печати не появился, впервые был опубликован в составе его кннги «Далекие и блнзкие. Статьн н заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» (М.: Скорпион, 1912). См.: VI, 318. В журнале «Искусство» вместо некролога на отдельной странице была воспроизведена фраза: «27 августа не стало Мирры Лохвицкой...» (1905. № 8. С. 47).

[3] Это «Письмо в редакцию» в «Искусстве» также не появилось — вероятно, из-за прекращения журнала.

58. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

22 октября 1905 г. Москва[1]

22 окт. 1905

Девочка, милая, хорошая, маленькая!

Ты все же оказалась права: не шлю Тебе списка первых глав романа[2]. И вчера недостало сил приняться за такую механическую работу, как переписывание. Но это не значит, что я не хочу — очень! очень! — чтобы Ты эти главы прочла скорее. Но это не значит, что я их писал не для Тебя. Это не значит, что я не люблю Тебя. Люблю, люблю, люблю, сегодня как вчера, как в день последней встречи, и «больше», «больше», «больше»! Чувствую, что моя любовь стала какая-то бездеятельная и что Ты сейчас напомнишь мне «веру без дел»...[3] Но все это лишь оттого, что я *весь* стал бездеятельным. Окружающее, совершающееся отымает у меня способность что-либо делать. Везде стоит вопрос «к чему?». Почти довольствуешься наблюдением (— «глазею», как переводит Бальмонт, кажется, тоже не очень-то действующий). Но эту бездеятельность, но эту пассивность пронизывает сознание, что я люблю Тебя, что Ты любишь меня. Я перехожу из улицы в улицу, смотрю на скачущих казаков, на озабоченных студентов с перевязками красного креста на рукаве, а думаю: мы *были* с ней вдвоем, мы *будем* с ней вдвоем, будут опять *наши* поцелуи, *наши* ласки, мы двое! двое! двое! И мне хорошо, и мне ничего не надо, ни стихов, ни романа, ни революции, ни свободы. Совсем не надо свободы, потому что мне хорошо быть в Твоей власти. Девочка! радость моя! счастье мое! радуга моя! Оставайся со мной, оставайся *моей*, не уходи от меня к другим, не прогоняй меня от себя. Принимай все, что кругом, как неважное, как ненужное. Смейся или говори с «ними», но для себя, для нас сохраняй, сохрани нашу любовь, прекрасную, желанную, светлую — ах! если бы (даже пусть по примеру всех «любящих») прибавить — вечную! Не знаю, но *я* не могу представить себя иным, чем я теперь. Я могу быть только *Твоим*, только *единственно Твоим*, теперь, прежде, всегда.

Твой

Валерий

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеются в виду главы первоначальной редакции «Огненного Ангела».

[3] Ср.: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. II, 17). В обиходе эта фраза сокращалась до «вера без дел мертва».

59. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

5 ноября (?) 1905 г. Москва[1]

Суббота, 1905

Девочка, милая, хорошая, маленькая, я люблю Тебя. А Ты — злая и жестокая, и все говоришь, что начинаешь «относиться ко мне спокойнее». И я печалюсь.

Шлю Тебе стихи[2]. Странно. Чем менее «безумства» у меня в жизни, тем более его в стихах. И, например, когда в прошлом году вся жизнь моя была безумие — стихи мои в общем были очень спокойны и во всяком случае облечены в классически-строгую форму. И еще того более там, в Финляндии, на «наших» гранитах! Должно быть, мне дано от Бога определенное количество безумия и две чаши весов: искусство и жизнь никогда не могут прийти в равновесие.

Сегодня, как всегда, я — *Твой*

Валерий.

P.S. «Письмо» изъято из «Весов»[3].

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».
[2] Автограф со стихами при письме отсутствует.
[3] Вероятно, подразумевается «письмо в редакцию», упоминаемое в п. 57.

60. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

7 ноября 1905 г. Москва[1]

7 ноября

Есть! Нашелся!

Видно, для нас еще не миновала полоса чудес. Милый, люблю тебя сегодня, буду любить завтра, всегда... Зверочек мой, моя светлая, светлая радость! Никто, никогда не был так близок мне телом и душой; вот сейчас я чувствую тебя как себя. Ты и я... Нет

тебя и меня. Мы — одно, о, теперь я знаю это, эти два вечера.... О, если бы знал ты, как *это новое* сблизило еще и еще. Люби меня, не бросай меня опять о камни. Мне бывает очень, очень больно. Зверочек, зверочек, любимый, милый, светлый!

[1] Почтовые штемпели: Москва. 7 ноября 1905; Москва. 7 ноября 1905.

61. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

11 ноября 1905 г. Москва[1]

11 ноября

Милый, милый Валерий,
за все эти дни единственная радость — твое письмо[2]. Чувствую себя почему-то все плохо, кружится голова, вообще жизнь (*внешняя*) сводится (может быть, временно — не знаю) к нулю. Но я люблю тебя сейчас нежно и грустно, очень, очень люблю. Как можешь ты думать, что я изменилась! Как можешь!...

Хочу тебя видеть, не «одичала». В воскресенье[3] непременно, только скажи, в котором часу.

Люби меня. Ты один в душе, ты — единственный, ты, моя любовь.

Я не чужая, я твоя, и это будет долго, всегда.

[1] Почтовые штемпели: Москва. 12 ноября 1905; Москва. 12 ноября 1905.
[2] Возможно, имеется в виду п. 59.
[3] Воскресенье — 13 ноября.

62. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

16 ноября 1905 г. Москва[1]

16 ноября 1905

Девочка, милая, хорошая, маленькая! Не думай, что я «пропал» или «одичал». Всё «дела», всё — «Вячеслав»[2], всё — «бегаю». Вячеслав уезжает завтра. Шлю Тебе обещанную Оперетку. Не знаю, можно ли ее кому-нибудь читать. Твой Сережа, например, наверное обидится. И сам Тароватый тоже. А какому-нибудь моп-

сику стоит ли? Впрочем, рассуди сама. Мне не хочется, чтобы на меня обижались из-за таких шуток[3].

Я Тебя люблю, очень, очень, «больше». А Ты — печальная, знаю это, и это не хорошо. Целую Твои руки, целую Твои колени. Люби меня!

Твой Валерий.

P.S. А забастовки всё продолжаются!

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Вяч. И. Иванов, приезжавший на короткое время из Петербурга.

[3] Текст этого произведения Брюсова нам неизвестен. Судя по ожидаемой реакции со стороны Н.Я. Тароватого, редактора-издателя журнала «Искусство», и С.А. Соколова, редактора литературного отдела «Искусства», «оперетка» включала ироническую или пародийную характеристику этого издания либо содержала отклик на учреждение нового символистского журнала «Золотое руно» — при ближайшем участии тех же лиц.

63. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

16 или 17 ноября (?) 1905 г. Москва[1]

Валерий, милый, ответь — свободен ты сегодня или нет. Буду дома до 7-и ч. Ответь.

Телефон опять не работает! Боюсь тебе писать о свиданьи. Но ты ответь *просто.*

Твоя.

---

[1] Датируется предположительно, по вероятной связи с п. 64.

64. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

16 или 17 ноября 1905 г. Москва[1]

2-е[2]

Писала тебе письмо, Валерий, *прося* свиданья сегодня. И как всегда это некстати! Думала (видела вчера открытые рестораны), что забастовка кончилась. Нет, больше не буду просить. Увидимся, когда можно, когда кончатся «дела» и «Вячеславы».... Ты не думай, я не обижена.

В голове туманно. Играла в карты до 4-х, встала в 3. В этом круге мне нравится, поеду и завтра. Хорошо проходят часы без дум, без печали, *без себя*. Ты написал «наскоро» несколько строк. Чувствую. Как можно говорить так: «Ты печальна, и это не хорошо». Ты не понимаешь всю глубину этой печали, принадлежа<щей> всецело любви к тебе! Не сердись за эти слова, я, правда, чувствую некоторую обиду, но она пройдет. Все проходит в душах, *презираю души!*

Не сердись, я тебя люблю.

Или лучше так: «Не сердись, что я тебя люблю смешно-романтической любовью»....

Напиши, скажи что-нибудь, когда будет время. Я очень тебя люблю, ах, как люблю.

Ах, Валерий, Валерий....

Твоя

---

[1] Ответ на п. 62. Датируется по связи с ним.

[2] Порядковый номер письма, предположительно отправленного в один день с п. 63.

65. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

18 ноября 1905 г. Москва[1]

18 ноября

Да! да! прежде всего, раньше всего, первее всего, надо, чтобы Ты знала, что я люблю Тебя. А может быть, только этого и надо, потому что в нем всего. Тогда самые мучительства, самая печаль, моя и Твоя, будут озаренными, светлыми. Что ж что печаль, если Ты знаешь и веришь, что я Тебя люблю! Но если Ты говоришь мне, что не веришь, тогда Твои улыбки, вся Твоя минутная радость, все Твои ласки — меня отчаивают. Неужели же до сих пор не видно, не ясно, не решено, что я люблю Тебя! Пусть даже иной раз виновен перед Тобой (это не признание, а предположение), — пусть, но только виновен, *любя*, грешен, *любя*. Нина, Нина, девочка, радость моя, счастье мое — помни это! Нина, милая, хорошая, маленькая, *я Тебя люблю*. Мечтаю о завтра.

Твой Валерий.

[1] Ответ на п. 64. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

66. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

18—19 ноября 1905 г. Москва[1]

18/19 ноября

Дорогой Валерий,

Сережа уехал сегодня в 5 дня и сказал, что вернется, быть может, завтра в ночь. Ты понимаешь, как это неопределенно; если мы будем вместе *у меня*, — он может неожиданно приехать в 1 ч. — 2 ночи. Значит, опять напряженно ждать звонка, устать от этого ожидания, — вот какая возможность. Но, милый, хороший зверочек, я не могу не видеть тебя, и мне мало видеться так, как все эти последние встречи. Устрой как-нибудь иначе! Как хочешь, где хочешь, ведь если иметь при себе вид тебе и мне, то, может быть, пустят в какое-нибудь хотя бы подозрительное место. Мне все равно, только хочу тебя целовать, быть с тобой. Пусти в ход все твое остроумие, чтобы придумать что-нибудь. Не могу я не видеть тебя так долго. А у меня будет плохо, я знаю.

Ответь мне с посыльным, как ты думаешь. Прихожу понемногу в себя. Припадок безумия кончается. Сегодня хотя и была в кружке и играла в карты[2], но уж могу обещать, что *долго* не буду. Меня только в такие полосы не нужно останавливать. (Нет, говори, требуй, твои слова даже и в эти минуты я все-таки слышу)*. Сегодня уж было все противно, отвратительно. *Поняла*, что это тебе неприятно, и *как* и *отчего* неприятно, поняла совсем. Прости меня! Я не буду больше тебя огорчать. Не буду, милый.... Мне нужна на свете только твоя любовь, без нее я не могу ни жить, ни дышать. Люби меня! Пусть будет печаль, я полюблю ее, потому что она — Любовь, потому что она от Любви. Только будь со мной, не покидай меня, милый!

Прости за все эти дни. Я не знаю, *что это* и откуда приходит; если любишь меня, борись с *этим* только нежностью и лаской. Помни, что *вся* моя душа, *всегда*, и спокойная, как сейчас, и

* *Текст в скобках вписан между строк.*

безумная, как в предыдущие дни, — все же твоя, *твоя*, твоя навсегда.

О, как люблю я тебя! Ты один можешь знать меня, быть близким до последнего предела. *Ты один* для меня в мире, «в мирах». Верь, помни, знай, через всё, и потому *прощай мне*, когда я безвольно отклоняюсь. Ведь за эти минуты я дорого плачусь болью, болезненно страстным раскаянием, тоской.

Милый, ты веришь, ты любишь, ты видишь душу мою, всю, *всю твою*?

Ах, владей мной больше, *все бери*, безжалостно нежными руками грани, как камень, мою душу. Ты один можешь! Войди ближе в мою жизнь, требуй всего, что хочешь. И все будет по воле *твоей* и *нашей*, потому что у нас должна быть одна воля, одни желанья. Потому что в любви нет тебя и меня, а *мы*, — *одно*. Милый, милый, милый, верь, *я твоя*.

Ответь же, я уеду в 2 ½ часа и в *4 уже буду опять дома*.

Или поговори по телефону в ответ. Все утро до 2 ½ я дома и от 4-х тоже дома.

---

[1] Датируется на основании пометы Брюсова: «18/19 ноября».

[2] Московский Литературно-художественный кружок. О карточной игре в нем см. воспоминания Вл. Ходасевича «Московский Литературно-Художественный Кружок» (*Ходасевич Вл.* Колеблемый треножник. М., 1990. С. 374—383) и Б.К. Зайцева в его книге «Москва» (*Зайцев Б.К.* Соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 371—373).

67. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

20 или 21 ноября 1905 г. Москва[1]

4 часа утра

Валерий, Валерий, милый, дорогой,
не сердись на меня. Я, правда, в полосе какой-то неверности, разбегаются мысли, кружится голова, не могу быть дома вовсе, все предметы вижу в иных. не присущих им очертаниях. Ты же видел меня вчера, ведь все было не притворно. Это пройдет, конечно, пройдет, и не суди меня строго за карты. Мне нужно сейчас иные часы не думать вовсе, а идти некуда. Ты сегодня *не позвонил второй раз*. Конечно бы я никуда не поехала, а была с тобой, если бы ты хотел. Я все сделаю, как *ты хочешь*, конечно, *твоя воля* священна, если я тебя люблю. И так люблю. Надо мной сейчас необходимо насилие. Ведь «карты» сами по себе ничто, но меня

нужно свести с этой плоскости, *и это можешь только ты*. Я очень, очень плохо себя чувствую, мне нужна твоя самая нежная ласка.

Валерий, радость моя, не обижай меня молчаньем. Напиши, скажи, когда увидимся. *Ответь сегодня же*. Я тебя люблю, люблю! Москва меня губит. Если бы мы были вдвоем хотя недолго!.. Помнишь, ты вчера говорил....

Если ты любишь меня, — не покидай, не мучь молчаньем. Увидимся скорее, мне так необх<одимо> быть с тобой, смотреть тебе в глаза, целовать.

Милый, милый, любимый! Не простудился ли ты? Напиши всё или позвони, к нам можно, только я не могу.

Я жду ответа сейчас же. Валерий, неужели ты можешь из-за одного—2-х пустых вечеров *всё* забыть. Валерий!...

Твоя.

Прости за почерк. Совсем не могу хорошо писать.

---

[1] Датируется по связи с п. 68.

68. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

21 ноября 1905 г. Москва[1]

21 ноября 905

Девочка, милая, хорошая, маленькая! А я действительно немного болен. Исполнил все Твои заветы. Мой доктор в золотых очках и с золотыми часами сказал, что это *не* плеврит. Но предложил «посидеть денька два дома». Слово в слово, как я предсказывал! Но будет обо мне. Девочка, милая, хорошая! люби меня и помни, что я Тебя люблю. Не безумствуй... очень. Не играй в карты с кентаврами... слишком часто. Не целуйся с Одиноким... совсем[2]. Просьбы не очень трудные, кроме первой. А она и не просьба вовсе. Если любишь, будешь любить, если разлюбишь — чтó просить!

Читал Твое письмо, хорошее, хорошее, желанное. Ах, если б Ты была такой всегда! всегда! Это — Ты, как я о Тебе мечтаю. Это — Ты моя. Это — Ты я. И вчера вообще читал Твои письма, все, много (хотя, конечно, и мало их!) — помнил всё, всё, начиная с отголосков нашей Финляндии, через окаменение лета, через отчаянье августа к минутам счастья, радости, светлости, ибо сейчас у меня на душе еще светлость нашей последней встречи.

Напиши мне. Но знаешь: вложи письмо в другой конверт с пометой «Брониславе Матвеевне Рунт»[3]. Этой я доверяю, а другим нет, теперь, когда не бываю в «Скорпионе». А будет отчаянье, если Твое письмо не придет ко мне. И лучше сделай эту надпись «Б. М. Р.» не своей рукой.

Я думаю исполнять совет золотых часов два дня: сегодня и завтра, а в среду[4] быть в «Скорпионе» и позвонить Тебе. Можно?

Всегда и навсегда Твой

Валерий.

P.S. Написал стихи — о той женщине (хочется сказать, девушке), которую мы встретили — «там». Стихи плохие, передразнивание Пушкина[5].

---

[1] Ответ на п. 67. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] *Одинокий* — псевдоним поэта Александра Ивановича Тинякова (1886—1934); в юношеские годы он объявлял себя последователем Брюсова. В его книге «Navis nigra. Стихи 1906—1912 гг.» (М.: Гриф, 1912) помещен сонет-акростих «Нина Петровская» («На пажити земли всещедрая Гатора...», 12—13 октября). См.: *Тиняков Александр* (*Одинокий*). Стихотворения. Томск; М., 2002. С. 66—67, 344—345 (коммент. Н.А. Богомолова). Среди писем Тинякова к Брюсову сохранился автограф этого сонета (с датировкой: «Октябрь, 1911» // РГБ. Ф. 386. Карт. 104. Ед. хр. 48. Л. 20).

[3] Петровская постоянно писала Брюсову по адресу «Весов» и «Скорпиона», где Б. М. Рунт тогда выполняла секретарские обязанности.

[4] *Среда* — 23 ноября.

[5] «*Там*» — подразумевается: в номерах для свиданий. Речь идет о стихотворении «Встреча» («Ты мне предстала как виденье...», 20 ноября 1905 г., с эпиграфом из стихотворения Пушкина «Цветок»), впервые опубликованном в журнале «Золотое руно» (1906. № 3) и вошедшем впоследствии в книгу Брюсова «Все напевы». См.: I, 499—500.

69. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Не ранее 21 ноября 1905 г. Москва[1]

Дорогой Валерий, я ничего не понимаю, как тебе нужно и можно писать. На Б.М.? Но отошлет ли она тебе письмо или оно останется ждать тебя в «Скорпионе» — не понимаю. Боюсь доверить таким неверностям настоящее письмо и потому, только потому говорю с тобой как по телефону, связанною совсем. Ты это

пойми и через все услышишь все то же, что было в прошлый раз, *и теперь*, и будет всегда.

Очень благодарю тебя за письмо и стихи. Но, милый, не выходи из дом<а> так скоро, я буду очень беспокоиться. Тем более, что ты не можешь много не «бегать». Напиши, если будет возможно. Я очень связана, — пойми и не обижайся, а только пожалей, потому что так мне хочется сейчас много, много писать тебе. Ты все знаешь... Все помнишь?...

[1] Ответ на п. 68. Датируется по связи с ним.

70. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

После 21 ноября 1905 г. Москва[1]

Милый мой, дорогой, любимый!

Бесконечно благодарю тебя за записочку[2]. Я тревожусь за тебя. Чем же ты болен? Это не плеврит? Тогда что же? Сиди, пожалуйста, умоляю, дома. Сейчас считаю дни, и не хочу, и боюсь считать недели. Только как-нибудь хотя немножко пиши. Дорогой, любимый, моя светлая, светлая радость! Я тебя люблю, люблю и больше не хочу говорить сейчас ни о чем. Ты «хрупкий», ты от всего сламываешься. Напишу еще, длинно, много. Сейчас спешу, боюсь, уйдет Б.М. из «Скорпиона». *Я не безумная. Люблю* тебя, твоя навсегда.

Нина.

Верь, люби меня! Я так тоскую без тебя.

[1] Датируется по связи с п. 68.

[2] Это письмо Брюсова, видимо, не сохранилось (либо, возможно, подразумевается п. 68).

71. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

24 ноября 1905 г. Москва[1]

24 ноября 905

Нина, дорогая! Не сердись, что я молчал несколько дней. Не столько был болен (хотя *и* болен, по-настоящему, «взаправду», как

говорят дети), сколько впал в какое-то изнеможение и безволие, может быть, после последних недель «беганий» и волнений (разных: политических, скорпионьих, с Тобой и т.д.). Лежал целые дни на диване, кутаясь в плэд, и читал Герцена (да, Герцена). Утром чувствовал себя здоровым, к вечеру снова расхварывался. Очень, очень тосковал о Тебе. Воображал Тебя рядом. Почти говорил с Тобой. Ах, не думай, что я «одичал», что я перестал быть Твоим. Нет! Нет! Всё по-прежнему. Я — Твой, я — тот же, я — прежний. А Ты? Твое письмо[2] было такой робкой вестью о Тебе (знаю почему, не упрекаю, хотя, конечно, можно было писать всё)! Приходил Бальмонт, навестить, и спросил, правда ли, что я целые ночи играю в железную дорогу в клубе. И мне стало больно. Мне послышалось в этом сообщение о Тебе. Ах, девочка, милая, хорошая, маленькая, неужели мы опять встретимся как чужие, и Ты будешь подозрительно смотреть мне в глаза, и будешь говорить со мной осторожно, а потом будешь горько бранить меня. Не надо! не надо! Защищаясь, закрываю лицо руками. Ведь я — Твой, ведь я люблю Тебя, Тебя люблю! услышь эти мои слова, которые звучат так ясно в моей душе в миги, когда я пишу их на этом листке.

Люблю Тебя! Люблю Тебя!

Валерий

P.S. Это письмо отнесу посыльному сам. И если не расхвораюсь совсем вечером, буду считать себя здоровым. Однако уверенно говорить о завтра не решаюсь. Нельзя ли нам встретиться в субботу?[3] Я *так* хочу Тебя увидать, услыхать Твой голос! Так безумно давно я без Тебя. Ответь. Завтра же думаю прийти днем в «Скорпион», прочту Твое письмо, и если телефонные барышни все еще верны Престолу Датского О<бщест>ва[4], попытаюсь хотя бы услыхать Твой голос. Можно? Я — Твой, Твой!

В.

P.P.S.

Если в субботу можно, то, как всегда, не правда ли? в 8, там, на конце бульвара?[5] Я уже полюбил этот угол улицы, полюбил, потому что столько раз ждал там Тебя. Он мне начинает казаться красивым. Так создаются эстетические нормы!

---

[1] Написано на двух русских бланках издательства «Скорпион» и журнала «Весы» (на одном — основной текст и P.S., на другом — P.P.S.).

[2] О каком письме идет речь, неясно (возможно, об одном из писем Петровской, не поддающихся точной датировке).

[3] *Суббота* — 26 ноября.

[4] Видимо, намек на возможную забастовку служащих-телефонистов, и тогда «*Датского О-ва*» предполагает двойное прочтение: «Шведско-Датско-Русское Акционерное общество», которому принадлежали телефоны в Москве, и Дания в трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский».

[5] Имеется в виду Никитский или Тверской бульвар (см. п. 74).

72. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

14 декабря 1905 г. Москва

14 декабря

Дорогой Валерий,
может быть, странно мое письмо такое личное, такое лирическое на фоне этих дней[1]. Но мне не стыдно ни выстрелов, что долетают откуда-то с черных улиц, ни этих дней. Вероятно, и там, где корчатся тела, где ужас, кошмар и беда, — *не больше* боли, чем во мне, вот так тихо сидящей за этими строками в тихих стенах со спокойным лицом. Не знаю, — пошлю ли это письмо тебе скоро, завтра, но думаю, что не истреблю его, и ты прочтешь его рано или поздно. Мне жалко будет уничтожить его, как *многие*. Такой искренности, ясности, такой прямой *моей* правды, может быть, я не сумею найти в себе больше никогда. Я не хочу больше ни намеков, ни недомолвок, ничего, что так прячет и искажает мысль.

Уже с августа я пыталась много раз сказать тебе всё, что думаю, всё, отчего так страдаю, но не было какой-то последней предельной смелости, и оттого в итоге наших писем, то исступленно страстных, то раздраженных, было только одно обидное, неразрешим<ое> недоумение. Я не хочу его. Вот открываю всю мою душу до дна. Обвиняй, осуждай, негодуй, всё что хочешь, но знай, что искренна я до последнего предела.

Знаешь, Валерий, что есть люди, которые чувствуют грозу и томятся ее приближением еще при голубом безоблачном небе? Вот так с лета, с последней нашей ночи в вагоне чувствовала я то, *что пришло теперь*. Когда мы только что расстались, и настала полоса писем нежных, ласковых, печальных, моих и твоих, тоже уже измученных сознанием какого-то грозящего конца, — эти

предчувствия были еще глухие, я еще томилась не остро. Но в августе, в день твоего окончательного приезда[2], когда я увидала *не то* лицо и услыхала *не те* слова, — предчувствия перестали быть туманными, они получили очерк грозный, определенный, неизбежный. Ты помнишь август? Твое суровое равнодушие ко мне, мою безумную, отчаянную печаль? Ты оправдывался. Я говорила: «Не любишь!..» А ты возражал умно, логично усыплял *ум* настолько, что я начинала верить в правоту твоих доводов. Но в глубине, внутри, в чувстве, заглушенная и придавленная, так и осталась уверенность, что ты меня не любишь, *как прежде*, что если это *еще* не конец, то путь к нему. Путь неуклонный, верный, неизбежный, прямой, как на кладбище. С этой уверенностью я приходила к тебе, и целовала, и улыбалась, когда хотелось стиснуть зубы от боли, от нее в иные вечера я неутешно плакала, и *от нее, от нее*, о, клянусь тебе! приходили дни полной безнадежности, когда хотелось хотя какого-нибудь, хотя низменного, минутного забвения, но только чтобы не страдать, не чувствовать этой надвигающейся неизбежной потери тебя. Валерий мой, ведь я люблю тебя! Все, что было до Б.Н.[3], — *не существует, все о нем,* эти два года минута за минутой я рассказала тебе, не скрывая ничего. *О нем* в душе холодная, белая святая могила, от которой, простясь, я отошла навсегда и больше не оглянусь туда. Как очутились мы вместе — не знаю, это чудо, оно свершилось. Я полюбила *тебя* с *последней* верой *в последнее* счастье. Второй раз я бросила мою душу в костер и вот сгораю, гибну, чувствую, что *второй раз* не будет воскресенья. Никто больше не скажет: «из ада изведенные»[4]... Ты говоришь, что в прошлом году *не любил меня*, что полюбил по-настоящему только в Финляндии. Но отчего же, отчего в прошлом году видела я в тебе, и в твоем лице, и в душе лик настоящей любви? И отчего теперь не сияет так твое лицо и не слышу я больше тех слов, от которых в такой знойной и сладкой печали замирала душа. Ты помнишь *те* ночи? Голубые морозные тени на стене.... два тела, распростертых в отчаянии, в бессилии, и вместе, рядом с этим неслыханная, безмерная близость измученных душ.... В тебе *Любовь*, а во мне безнадежная благодарная нежность, близость, как к брату. И в этих слезах умиротворяющая радость, и в отчаянии сознание, что *нет одиночества*, что *мы несчастны*, но несчастны одним каким-то общим объединяющим горем, что нас *двое*, слитых, отданных друг дру-

гу. Все это миновало, отчаяние стихло, ты становился мне все дороже и дороже. Я уже не могла бы расстаться с тобой и в мае[5]. Потом Финляндия, золотой невозвратный сон.... Тихое, тихое счастье, голубые и золотые часы над нашей Саймой в «бору тонкоствольном»[6]. Потом любовь, радость — дар за долгие общие муки. И ты весь мой, близкий *иной близостью*, дорогой *по-иному*. А потом... А потом... Вместо радости новая боль и отчаяние. Валерий, Валерий, куда ушло наше счастье?! Куда улетела твоя мечта быть со мной *всегда*? Ты называешь меня теперь «безумной», но пойми, пойми, — это не «безумие», это холодное отчаяние, последний ужас последней потери. Могу ли я что-нибудь *просмотреть*, не заметить в твоей душе? Разве не вижу я, как ты уходишь, разве не слышу я, что те прежние слова замени<лись> иными? Говоришь ли ты когда-нибудь теперь, что хочешь быть со мной *всегда*, променяешь ли ты *на меня все*, страдаешь ли так, как я, что наши жизни разделены, что наши ночи и дни не вместе? Ты считаешь меня враждебной *радости*, *жизни*, всему, чем ты дышишь. Ты думаешь, что «мое безумие» — это темная стихийная сила, владеющая моей душой помимо сознания. *Но это не правда*, Валерий. Я хочу радости, счастья, тихого счастья *только с тобой, совсем с тобой*, чтобы ушло из глаз и памяти все, кроме тебя, чтобы отдать тебе все, что есть во мне, предаться тебе всем существом. Иной Любви *я не знаю*, иной «разумной» — нет. Нет такой, где можно идти на сделки. Любовь или радость, или безмерное, бескрайное страдание, может быть, даже смерть. И если бы ты любил меня так же, как я тебя, ты тоже страдал бы. Страдал бы от всего, от каждой мелочи, которые даже внешне разделяют нас. Валерий, верь в мое отчаяние, пойми его если не чувством, то умом. И не называй его «безумием». Пока я жива и дышу, я не могу вечно мучиться. Мне нужно иногда хотя немного забыться. Тогда я бросаюсь во все, *и ты же, ты же* осуждаешь меня. Я не могу ничего *вполовину*, мне нужно *все*, *как я всегда могу все*. Ты думаешь, что я могла бы посягнуть на что-нибудь из того, что ты любишь? О, милый, милый!... Я люблю в тебе *все*, я готова любить все, что ты любишь, я никогда бы не мешала тебе. Я не хотела бы ничего отнять у тебя. Твое «искусство», твои стихи... Боже мой! Боже мой! мог ли ты думать, что в этом я стану на твоем пути. Но ты так думал!.... Мне нужна *вся твоя* любовь. Вот что значит мое *всё*. И ты больше не любишь меня! С

твоего приезда в Москву наши встречи становились всё безнадежней. Я знаю беспощадность внешних условий, я знаю, что сейчас мы не могли бы быть вместе совсем. И если бы я видела, что для тебя это так же горько, как для меня, если бы я видела, что в тебе еще живет мечта *о нашем* будущем, — разве приходила бы я в отчаяние, в такое отчаяние! Но ты уж больше никогда не говоришь прежних слов о *нашей* жизни. О, пусть бы не осуществилось ничего! Но если бы только была хотя искра этой надежды в твоих словах, если бы хотя *в раз один* из этих последних встреч эта мечта, и печальная и нежная, засияла в твоих глазах!... О, Валерий, Валерий, ты не заметил, как у тебя стало другое лицо, другие движенья, другие изгибы мысли и другое отношение ко мне. В последние встречи мы с головокружительной быстротой катились вниз, прочь от той вершины, с которой однажды засияли такие прекрасные, радостные дали. Тебя захватило все, кроме меня. Ты сам сказал в нашу последнюю, самую горькую для меня, встречу, что твоя любовь стала «разумной», что прежде *все* было на фоне меня, а теперь я на фоне всего. И я добавляю «как подробность»... Ты негодуешь на мое отчаяние, потому что, должно быть, не можешь понять его. *Ты не помнишь себя прежнего* и удивляешься, что я со страхом, горем и безнадежностью принимаю тебя *нового*, такого далекого, отчужденного. Ты долго не понимал, почему меня так приводит в отчаяние мысль, что твои ласки я делю с кем-то другим. И не было возможности этого доказать. Ты это только мог почувствовать. Когда почувствовал — тогда понял. Так и все мои эти слова, может быть, *прозвучат* тебе после, уж без меня, уж когда мы расстанемся совсем. Валерий, Валерий, скажи мне, отчего, откуда эта ужасная закономерность, эта повторность некоторых явлений? Ведь *он* мне однажды говорил о «разумности» любви и о том, что сначала было *всё во мне*, а потом стала *я во всем*[7]. Только слова его, сочетание и выбор их был иной — но смысл тот же, страшный, как смерть. И отчего *я* чувствую такую непобедимую силу любви в себе, такую горящую, пламенную страстность души?!

Валерий, радость моя! все ласковые прежние слова застывают в душе. Эти последние дни... Мы виделись в четверг[8], потом за все время ты написал одну короткую записочку, холодную, холодную. Я видела много посторонних людей, они хотели видеть и находили возможность попасть, хотя на улице стояли баррика-

ды. Они... чужие... *И ты*, еще несколько недель тому назад говоривший, что в самые тревожные дни ты не покинешь меня, — ты, самый любимый, самый желанный в мире, в днях, ты не нашел часа, чтобы прийти и увидеть меня, утешить, успокоить, обрадовать хотя звуком голоса, взглядом. Да что!.. Ты не ответил мне даже. Валерий, ты не любишь? Зачем же только *так*, не прямо, через молчание ты даешь понять это и не скажешь просто и открыто? Нужно ли со мной поступать таким именно способом? Зачем *медленно* томить, пытать, мучить? Валерий, дорогой мой, я умоляю, скажи мне всю правду, какой бы жестокой она ни была. Валерий, Валерий! Зову тебя... Не слышишь! Валерий, я твоя.

---

[1] Всеобщая стачка в Москве, объявленная 7 декабря 1905 г., 9 декабря переросла в вооруженное восстание; 10—11 декабря во всех районах Москвы возникли баррикады. Впечатления Брюсова см.: *Дневники*. С. 136—137.

[2] Имеется в виду возвращение Брюсова из Антоновки в Москву (см. п. 36, примеч. 2).

[3] Имеется в виду Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев). Любовные отношения Петровской с ним были разорваны (по инициативе Белого) летом 1904 г. Подробнее см.: Письма Андрея Белого к Н.И. Петровской / Публ. А.В. Лаврова // Минувшее: Ист. альманах. 13. М.; СПб., 1993. С. 198—214.

[4] См. примеч. 5 к п. 40.

[5] В конце мая 1905 г. Брюсов и Петровская уехали из Москвы в Финляндию.

[6] Ср. строку «И между сосен тонкоствольных» в стихотворении Брюсова «Меня, искавшего безумий...» (1905) из раздела «На Сайме» книги «Stephanos» (I, 378).

[7] Обыгрывается строка «Всё во мне, и я во всем!..» из стихотворения Ф.И. Тютчева «Тени сизые смесились...» (1830-е годы).

[8] *Четверг* — 8 декабря.

73. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Середина декабря 1905 г. Москва[1]

Валерий,
ты не любишь, ты далекий....
Я чувствую это все дни.
Валерий, Валерий!

Написала тебе длинное письмо, но опускаются руки, не посылаю его. Пишешь холодно, ты не со мной. О том ли мечтала я, Валерий? Даже из письма твоего, маленького, холодного, чувствую, что ты уходишь.

Где ты, с кем ты, кого любишь!

Хотела бы тебя увидеть, но где, как? Арбат весь в баррикадах[1]. Я тоже видела все и была больше чем зрителем.

В душе равнодушная готовность на все. Зачем всё, если ты не любишь, как прежде?

Валерий мой, уходишь. *Кончается.* Издали приветствую тебя. Валерий, радость! Былая радость!

Твоя.

---

[1] Датируется по связи с п. 72.

[2] Московское вооруженное восстание было подавлено 17—19 декабря. Петровская в это время жила на Арбате, в доме Буровой.

74—79. «РАЗМЕТАННЫЕ ЛИСТЫ»

Сентябрь—декабрь 1905 г. Москва*

74. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

P.Scr.[1]

А сегодня мы встретимся, да? Если выбирать время мне, то *там же, в 9*. Если будет ясно, я буду на самом бульваре. Если дождь — на улице, в пролетке, на *правой* стороне, считая от Никитских ворот[2].

Ах, девочка! приди! все-таки написанное бессильно. Сказать, прикоснуться губами, видеть глаза — насколько более властно!

Твой Валерий

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы». К какому именно из писем Брюсова осени 1905 г. относится это post-scriptum, неясно.
[2] Ср. п. 71 (P.P.S.).

75. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Валерий! Валерий!...

Четыре дня ты молчишь и не пишешь, — я могу думать все. Ты не хочешь больше меня видеть? Может ли любовь угаснуть в один день? Можно ли быть жестоким, когда любишь? Что я сделала? Чем обидела тебя? Если в воскресенье я ушла от тебя на Арбате, то лучше ли бы было остаться с тобой, плакать на улице от мысли, что тебе до меня нет больше дела, что ты стал холодным и равнодушным, как никогда. Вспомни, — разве мог бы ты в прошлом году доставить мне таких 4 невыносимых, мучительных дня. Я звонила тебе, — тебя нет, писала в «Скорпион», — ты молчишь. Если ты не хочешь больше меня, разве всем прошлым, всем, что было, не заслужила я иного способа действий? Скажи прямо, напиши. Я приму твое решение, каково бы оно ни было.

Валерий, ты вчера был в «Скорпио<не>», и мне сказали, *что тебя нет*. Валерий! *За что* ты так со мной!

Я мучусь безмерно.

*Приводимые в этой рубрике письма точной датировке не поддаются, последовательность их расположения условна.

76. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Дорогой Валерий, относительно вечера (или, лучше сказать, ночи) я хотела бы с тобой поговорить. Позвони мне, если будет работать телефон, от *12* до *2 ½* или от 4-х до 6-и, в эти часы я буду дома. У меня будет почти невозможно, Сережа может вернуться как раз в эту ночь, он сказал, придумаем вместе что-нибудь другое. Если не будет телефона, то встретимся в 4 в пассаже Джамгарова[1], как однажды, и там поговорим, написать определенного ничего я не могу, потому что и представить себе не могу, *где* и как, если еще будет забастовка. Только, милый, хочу тебя видеть, хочу! И не так, как в последний раз у меня. Больше, ближе, совсем близко. Люблю тебя, хочу говорить с тобой. Милый, любимый зверочек. Твоя.

Жду ответа.

[1] Подразумевается банковский дом и банкирская контора «Братья Джамгаровы» на Кузнецком мосту (д. 12, 14).

77. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Валерий, дорогой!

Не сердись на меня.... Я не могу ничего не знать о тебе, не видеть, чувствовать, что мы разъединены. Напиши мне в ответ хотя одну ласковую строчку или скажи по телеф<ону> в 2 ½ — 3. Кажется, впрочем, ждут опять забастовки и, может быть, опять негде будет видеться. Но, во всяком случае, напиши, не томи меня. Я люблю тебя, тебя одного, люблю *до отчаяния*. Не отдаляйся, не уходи, не покидай. Милый, милый, милый!

Твоя, твоя всегда.

78. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Милый, милый и ласковый зверочек,
я люблю тебя целый день, я с тобой совсем, до конца, до последней глубины души.

Сегодня мне безмерно надоели люди, и вот, когда кругом говорят «о революции», о забастовках, о «мясе и воде» и Бальмонт

читает приличные случаю стихи[1], я думаю о тебе, о тебе, стоящем так красиво и одиноко над всем, о тебе, не похожем ни на кого, о тебе моем, близком, — и счастье, беспредельное, невозможное счастье поет и звенит во мне. Милый, милый! люби меня. Ты не ошибся, — я близкая тебе всегда, во всем, *через всё*. Я знаю, что в иные минуты вчера могла быть тебе ненавистной, и сегодня печалюсь об этом, потому что «демон противоречия» шепчет мне другие слова, *твои и мои, наши*, и сегодня я знаю, что все не важно, не нужно, мелко, все, все, кроме тебя и твоей любви. Ты веришь? Ты знаешь? За то, что я говорила вчера, когда мы ссорились, я понесла уже «кару», читая слова Аратова о тебе и «премудром Щедринском пискаре»[2]. О, конечно, *ты должен* быть *над* всем, довольно нам Бальмонта!!

И не «подчиняясь» сегодня, я готова повторять твои слова, потому что они и мои, потому что нет *я и ты*, а есть *мы*, — и в этом все счастье, вся сила и исключительность нашей встречи, о, верю, начертанной в далеком прошлом.

---

[1] Подразумеваются антимонархические и революционные стихотворения Бальмонта, собранные затем в его книгах «Стихотворения» (СПб.: Знание, 1906) и «Песни мстителя» (Париж, 1907).

[2] За подписью *Аратов* (обладатель псевдонима неизвестен) в 1905 г. в журнале «Искусство» были опубликованы несколько рецензий и «Письмо в редакцию», содержавшее протест в связи с публикацией в «Весах» (1905. № 1) рецензии Брюсова на «Книгу вступлений» В. Гофмана (см.: Искусство. 1905. № 2. С. 69—70). Возможно, в данном случае подразумевается еще одно критическое выступление Аратова, задевавшее Брюсова, которое было предложено «Искусству» и не было опубликовано по причине закрытия журнала на 8-м номере. *«Премудрый пискарь»* (1883) — сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина.

79. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ[1]

Не смейся, не осуждай меня за изменчивость. Что слова! Что минутные чувства! Посмотри мне в глаза, в лицо, услышь другой, неизменный, вечно близкий тебе голос. Валерий! счастье мое, я тоскую о тебе целый день. Я никого не хочу, ничего не хочу, мне все чужие, кроме тебя, и трудно переживать дни без твоих глаз, без возможности сказать тебе хотя одно слово.

В соседней комнате еще сидят люди; сейчас 11 часов, я чувствую, что завтра, может быть, не успею или не смогу написать

этих строк, и вот я ушла от них к тебе и не хочу вернуться туда, пока не положу в конверт, не надпишу его для тебя.

У меня очень болит голова, и прости, что слова мои так бессвязны.

Сегодня не уходило вчерашнее, я закутана в ласковое опьяняющее облако, оно меня хранит, оберегает и отделяет от всего.

Сегодня твой день, и вся я твоя, и люблю тебя больше, еще больше!... Зверочек мой! Хочется «лепетать», целовать тебя хочется. Так, как *там*, в самозабвении, *тебя* целовать, твои губы, тебя всего!

Не сердись за вчерашнее. Между нами ничто не должно становиться, и если что приходит на мгновенье, — то *это* марево, мираж, тень *чужого*, потому что мы близкие по существу, потому что души у нас *одного цвета*. Я сегодня утешаюсь, горжусь, радуюсь этим сознаньем и никогда не поверю в иное. *Больше никогда*.

Ты моя светлая, светлая радость, моя единая и вечная любовь.

О, знай, что я твоя, твоя.

А «того» — нет. Плохо[2].

---

[1] В корпус переписки 1905 года письмо включается предположительно. По смыслу оно могло бы быть написано около 10—12 июля этого года (ср. слова о «душах одного цвета» и приписку в последней строке, сопоставимую с аналогичным сообщением в п. 13).

[2] Последняя строка приписана карандашом внизу листа.

1906

80. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

10 января 1906 г. Москва

10 января

Дорогой мой,
я очень огорчилась, что не видала тебя сегодня. Вернулась я через ¼ часа после тебя. Очевидно, сама судьба не хочет наших встреч раньше, чем на 5-е сутки.....

Ты едешь в Петербург?[1] Сережа не сказал мне, *когда* именно. Может быть, увидимся на минутку?

Ответь. Я буду ждать завтра (*11-го*) до 7 ч<асов> веч<ера>. Ты ведь будешь у Врубеля[2], возвратишься поздно, м<ожет> б<ыть>, не зайдешь в «Скорпион», и потому прости, что это письмо я посылаю на Цв<етной> бульвар[3]. Но я посылаю его в конверте «Золотого Руна» и т.п. Не сердись.

Милый, хочется сказать, как тот сумасшедший, как часто говорю теперь я: «Милый, скучно мне!..» Ты меня не любишь!... Днем мысли об этом, ясные, беспощадные, идут рядами, как солдаты в строю, а ночью они же, искаженные, кошмарные, в мучительных образах. Вот сегодня ночью: вижу — приходишь ты с чужим, холодным и веселым лицом, садишься за столом напротив в Сережином кабинете, как сидят чужие или случайно пришедшие люди, и говоришь: «Ты ищешь в душе моей прошлой нежности, но ее нет уже давно, через 20 минут я уйду, и мне легко уходить от тебя. Наконец настал тот первый "вольный день", о котором говорила ты однажды». Как ты ушел, я не помню, но такого сна в сочетании со всеми моими безнадежными мыслями

наяву достаточно, чтобы утром очнуться все в том же замкнутом отчаянии на весь новый день, на все новые дни.

Ах, Валерий, не зови *это* безумием! Если бы знал ты, как строго последовательны мои выводы, это почти уже цифры, постепенно умножаемые, безжалостно ясные.

Что мне осталось? Как могла бы я жить без любви? И вот *я не живу*, медленно сламываюсь, то вступаю в безумный бой, то тихо и покорно склоняюсь. Ах, только бы не думать! У каждой мысли, от каждой мысли в мозгу маленькая ранка с острой мучительной болью. От каждой из этих мыслей, ставших уже привычными, уже нашедших свое определенное место в сознании, где-то глубоко болит с разными оттенками мучительства. То остро и невыносимо, то заглушенно, точно беспрерывно ноющая зубная боль....

Зверок, зверок, отчего ты так мало любишь меня! Зовешь мою любовь «безумием», удивляешься, что она такая непокойная, похожая на самосжигание, — *точно есть какая-то другая*, точно забыл ты себя в прошлом году. Только ты удивлялся, тебе казалось, что ты попал в какое-то незнакомое место с непонятными законами, и ты старался уйти из него, *и ушел*, и я не удивляюсь, *знаю*, что иначе и быть не может, и *не хочу иначе.*

Если бы ты мог любить меня! О, знаю теперь, — я просила чудес, когда они мне были *не нужны*! И не смею уж больше ждать чуда. А что мне может вернуть тебя таким, каким ты *был*, каким я жажду тебя, кроме неизъяснимой перемены в твоей душе, вопреки всему, что сложилось и идет определенным путем?

Валерий, милый, дорогой, не сердись на эти строки. В них одна сотая доля того, что пишу я тебе по ночам и складываю, хороню в ящиках стола.

Ответь мне. Пусть даже ты думаешь, что я «безумная», и отчаяние мое считаешь «пунктом» этого безумия. Но ведь как бы то ни было, а мне очень, очень больно, и только ты один можешь хотя как-нибудь, хотя на минутку утешить меня.

---

[1] Брюсов с женой приехали в Петербург в середине января 1906 г. (18 января участвовали в собрании на «башне» Вяч. Иванова; см.: *ЛН.* Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 235—236; *Кузмин М.* Дневник 1905—1907. СПб., 2000. С. 101—103), возвратились в Москву 28 января (см. письмо И.М. Брюсовой к Н.Я. Брюсовой, отправленное 31 января // РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 34).

[2] В январе 1906 г. М.А. *Врубель*, содержавшийся в клинике Ф.А. Усольцева (Петровский парк), работал над портретом Брюсова по заказу владельца журнала

«Золотое руно» Н.П. Рябушинского. 14 января 1906 г. Врубель сообщил жене, Н.И. Забеле-Врубель, что «работал 3 сеанса» над портретом и намеревается скоро его закончить (Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976. С. 86). О встречах с Врубелем Брюсов рассказал в мемуарном очерке «Последняя работа Врубеля» (1912; см.: *Брюсов Валерий*. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 16—25, 212—213 / Коммент. В.Э. Молодякова).

[3] То есть по домашнему адресу Брюсова.

81. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

19 апреля 1906 г. Москва

19 апреля

Тебе, Валерий, письмо это покажется одним из звеньев бесконечно мучительной цепи, что тянется вот уже долгие, долгие дни, ты не веришь в окончательность моих выводов и слов. Нет, мы уже у самого края, нельзя больше ни встречаться, ни говорить. Только я не хочу расстаться с тобой случайно, у подъезда, на полумысли, в раздвоенности и спутанности чувств. Ах, хочу ясности, последней четкости, твоего совершенного понимания моей души! Вот уже несколько недель все спадает туман, и каждый день является новым горьким откровением. Ты упрекаешь меня за «схоластику», за любовь к мучительным ухищрениям ума в ущерб простоте и ясности чувства. Но, верь, никогда еще не было в моих чувствах такой прозрачной, ясной простоты, как сейчас. Это выход из лабиринта всей жизни к одному строго очерченному, кристальному образу любви. И я думаю, если бы можно было вновь войти в жизнь с такой весенней тихой озаренностью души, — вся она стала бы светлой, радостной, легкокрылой. Но я изменила прошлому, захотела радости *здешней*, не той беспредметной, небесной, о какой мечтала *с ним*[1], и вот... Ты повернул меня лицом к другому полюсу, без слов ты сказал мне: «Смотри, желай, возьми, все будет твоим». И глядя в твою горящую душу, я поверила и воскресла для нового разочарования и горя. Ах, как поверила я тебе! Помнишь, в Выборге мы прощались в парке, помнишь ночь в вагоне из Петербурга?..[2] Могла ли после быть я счастливой в маленьком, маленьком пространстве, окруженном колючей изгородью? Будь правдивым и перед собой, и передо мной. Вспомни, как медленно, медленно суживался круг. Сначала твои письма,

смысл которых я поняла только после, потом встреча в августе, — от нее так и упала на все дальнейшее длинная черная тень. Потом умерли многие, многие слова... одна за другой пришли горькие обиды. Ты все знаешь и помнишь. Но еще долго, долго я надеялась, что это все лишь волна, которая спадет, и вновь я увижу *то* любимое лицо, те глаза, мою дорогую любовь, дорогую, чем-то временно затемненную любовь. Я долго ждала, Валерий, и больше не жду и не верю. Правда, ты еще говоришь, что любишь меня и хочешь еще целовать, и *сам* не уходишь, но я уже не могу вверяться мигам. Знаю, как только минует первый опьяненный восторг, я почувствую тебя рядом холодным, спокойным, зовущим в «озаренную повседневность», указывающим границы и направо и налево и таким разъединенным с самым главным моей души, что буду я около тебя как немая, как мертвая. Ты не можешь измениться — это правда. Ты не любишь меня больше, как прежде, и не в силах вернуть и зажечь угасшее — это тоже правда. Ты ничего не таишь, говоришь мне всю правду, *даешь, что можешь*. Но что же мне делать, если сознание, что я утратила *ту*, прошлую любовь твою и должна метаться в крохотном тюремном садике, без надежды на будущее, натыкаясь везде на колючую проволоку, проникает меня таким смертельным убивающим холодом? Я не говорю ни о каких частностях, да и понимаю, что <несмотря> на всю их нестерпимость, дело не в них, но ведь понимаю я, что нет того главного, что в единый миг решает всякие вопросы, все делает легким, доступным и безграничным. Я ничего не могу больше доказывать, истомилась душа от бесплодных призывов. Но вспомни себя прежнего, вернись памятью к тем чувствам, восстанови свой же образ и просто, сердцем пойми, в чем мое горе, отчего так неутешна моя печаль. Я люблю тебя, Валерий, но быть мне с тобой больно, больно, как с мертвым. Где ты видишь сложность, любовь к сладострастному самоистязанию, за что упрекаешь меня? Я хочу радости счастья с тобой, *тебя*, а не воспоминаний о тебе. Но слишком долго ведешь ты меня по пустыне, и вот край, конец пути. Я не знаю, что будет со мной, вот протягиваю руки в пустоту, закрываю глаза... Прощай, моя радость, мой «зверочек», мне больно, больно. Прощай.

---

[1] Подразумевается Андрей Белый.

[2] Имеется в виду совместное пребывание в Финляндии в июне 1905 г. и возвращение через Выборг и Петербург в Москву.

82. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

23 апреля 1906 г. Москва

23 апреля

Валерий, счастье мое!

Не надо встречаться так, как в прошлый раз! *Такие* встречи между нами больше невозможны. И до сих пор от этого вечера не исчезает в душе боль и бесконечная тоска. О, если бы можно было забыть все слова *и твои, и мои*, очнуться от них, как от тягостного кошмара! Что-то дьявольское появилось в последнее время в наших речах. Какая-то страшная ошибка вкралась в них, от нее эти противоречия, изломы, запутанность, из которой нет сил выбраться, как из дремучего незнакомого леса. Зверочек мой, любимый, любимый зверочек, знай одно, — я люблю *лишь тебя*, лишь тебя, и не хочу никого, кроме тебя, единственного *навсегда*. Страшно без тебя, жизни нет, ничего нет. *Это рок мой*, неизбежность, с которой едва ли сумею бороться. *Хочу быть собой*, а быть собой для меня сейчас — это любить тебя, ласкать, отдавать тебе всю мою душу. Я уеду, я постараюсь скоро, скоро уехать, но эти дни дай быть с тобой. Забудемся! забудем все слова, — я уже ничего не спрашиваю с тебя, только будь ласковым, не обижай хотя в пустяках, не возвращай меня каждую минуту к тому, что я *помню* всегда. Пусть приснится мне милый, ласковый сон. Нежный весенний сон с тобой вместе.

А потом я уеду, скоро, скоро. Дай мне дней! Только дней!.. Я так тебя люблю. Без тебя больно, страшно, невозможно в этих стенах, где каждый цветок на обоях напоминает какую-нибудь мысль все о тебе, о тебе.

Ты ответишь? Я очень, очень устала, хочется тихого отдыха с тобой, твоих милых, милых ласк.

Твоя.

83. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

16 мая 1906 г. Москва[1]

16 мая 1906

Нина, дорогая моя! Нина, любовь моя!

Когда мы прощались вчера, у Тебя на лице были слезы. Иначе почти не может быть при наших встречах теперь. Нам так легко

соскользнуть в пропасть мучительного, она так близко. Но все же, чудом или усилием воли, во вчерашние часы, сквозь холод осеннего майского дня, сквозь его мглу и туман проскользнули какие-то светлые лучи. Все же Ты произнесла те слова, которые я не слыхал давно, давно (а может быть, никогда): «Мне хорошо, я счастлива». Нина, счастье мое! Знаю все свои вины перед Тобой, хотя и не такие горькие, как думаешь Ты, но достаточные, чтобы обличить и обвинить меня перед некиим судом. Знаю, что во мне, именно во *мне* были возможности бороться с мучительностями этого года, преодолевать, уничтожать их. Все знаю, все помню, во многом винюсь. Но не проклинай меня, Нина, потому что у меня есть то же оправдание, какое часто приводишь мне Ты. Если была мучительность, то она была и для меня. Если я делал невозможным счастье, то делал его невозможным и для себя. Ни с кем, ни с кем не был я счастлив, только с Тобой; ни с кем более не могу быть счастлив, кроме Тебя, и не буду. Каждая боль, которую я причинил Тебе, неизменно вонзалась и в меня.

Нина, милая, хорошая, маленькая. *Все* сказано нами. Все, и даже больше, чем все. В противоречиях, в трагических безысходностях душа измучилась. Нужно, чтобы пришло что-то новое, чтобы засветился какой-то новый свет, чтобы мы увидали выход из лабиринта. Бесплодно опять и опять бежать по тем же коридорам, в конце которых мы всегда встречали неизбежную и неодолимую стену. Да, Нина! расстанемся на этом холодном, майском, вчерашнем дне. На этой встрече, в которой тонким слоем неожиданной минутной радости была подернута мучительность целого года: словно под успокаивающим льдом замерли на миг бушующие волны. Ты знаешь, как и я: непрочный лед сломается и опять всплеснут высоко и страшно волны отчаянья и мучений. Нина! Нина! в эту могилу разлуки бросим нашу любовь (*нашу любовь*!), как в землю зерно. Если оно живо, оно даст росток и встанет новым цветком, пышным и прекрасным. Живое зерно не боится черной земли.

Целую Тебя, прижимаюсь к Тебе, став на колени. —

Милая! Милая!

Я Твой

Валерий.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

84. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

18 мая 1906 г.[1]

Милый, милый, умоляю, телеграфируй тотчас, что́ с тобой. Я уезжаю с разорванной душой, хочу не ехать и не могу быть около тебя!

Ответь, не мучь! Я люблю тебя, я изнемогаю от печали, вдруг ты болен серьезно. Я тогда вернусь тотчас же и хотя издали буду узнавать о тебе. С дороги напишу много, а сейчас я не знаю, один ли ты, что сделают с этим письмом. Валерий, радость моя, любовь моя.....

[1] Написано на бланке журнала «Золотое руно», карандашом; видимо, непосредственно перед отъездом из Москвы. 17 мая 1906 г. С.А. Соколов сообщил В.Ф. Ходасевичу: «Завтра Нина едет в Польшу, к концу июня вернется»; 23 мая уточнял: «Она колебалась, куда ехать, в Варшаву или к Вам. <...> Теперь уехала в Варшаву» (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 78).

85. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

19 мая 1906 г.[1]

Валерий, Валерий дорогой!

Я еду уже за Смоленском, теперь около 10 ч. утра. Не умею писать в качающемся вагоне, но хочу, хочу быть с тобой, говорить, и эти строчки, что обращаю я к тебе, больше еще приближают мне тебя, милого, милого зверочка. Ты болен, и не знаю что, что с тобой, и не могу быть около тебя. И вот еду, — куда? зачем? Вчера я пришла от твоего письма в полное отчаяние[2]; все это было на глазах у Сережи. Понимаешь....

Я хотела все бросить и не ехать, что бы из этого ни вышло. Потом тупо покорилась. Как-то ехала с Сережей на вокзал (он тут уже был ласков). И от того момента, как двинулся поезд, часов до 2-х ночи была в <каком->то странном покое, без мыслей, почти без чувства. Но со светом пришли они, и опять со мной, и опять я думаю о тебе, и тревожусь, и боюсь смотреть в будущее. Тут уж еще новое мучительство, — вдруг ты расхвораешься серьезно и не будешь писать. Какой же смысл для меня в этих-то мучительствах в течение целого месяца. Ах, Валерий, напиши скорее, — эта мысль, что ты болен, сейчас *надо всем*. Не надо меня *так* мучить. Ты писал вчера «не разлюби, не забывай». Я улыба-

юсь тебе в ответ, как улыбаются детям. Этот год огненным мечом прикоснулся к душе, и преобразилась она, и сама стала как огонь. Вот несколько часов только вдали я от тебя, и смотрю на прошлое иными глазами, чем в те дни, когда ты был близко и можно было позвать тебя. Смотрю серьезно, проникновенно. И вижу и понимаю, что мы не расстанемся, как расстаются «любящие». *Иное для нас.* Может быть, страшное, может быть, несказанно-счастливое впереди, — не знаю. Но знаю одно: *тобой* началась настоящая жизнь для меня, и я не могу никуда возвращаться, и я не знаю других дорог. Пусть будет любовь, пусть будет смерть, — только все это *ты*, от тебя, через тебя, через твою душу, через твои глаза увижу я и скажу *да будет.* Я никуда не хочу, ни к кому не хочу, не осуждай мою верность, полюби ее. Зверочек мой ласковый, как хочется обнять тебя, нежно, нежно целовать глазки, прижаться к твоему плечу. Хочется любить долго, без конца. Ах, хочется ясного, тихого, утреннего счастья! Было очень больно в этом году. Сейчас переживаю *его* последнюю боль. Еду... помню прошлый год. Граниты в окна смотрели, сосны, голубые озера улыбались как ласковые глаза... И ты... и ты....

Теперь небо серо, березы шумят как осенью, дождь... Надежды мои в темных платьях, робкие, грустные, не смеют смотреть вперед — не знают, не знают ничего...

Не сердись! Я не упрекаю. Мы оба замучились, мы сами не знаем, у нас надломились души. Но, милый, милый, я хочу твоей любви, я умру без нее!. Неужели же мы всё пережили, а ведь я чувствую такую свежесть и нетронутость любви. Я так еще много могу и *мучиться*, и ждать, и *идти по трудным дорогам*, только бы когда-нибудь, хотя недолго, хотя в миг, *вырванный из твоей жизни*, побыть с тобой *так, как хочу*, совсем вместе, близко.

Милый мой, милый!..

Я еду тихая, нежная с тобой, грустная.

Прости за плохой вид письма, очень качает.

Телеграфируй мне, что с тобой. Письма ждать долго. Я буду томиться, худеть, а за эти дни у меня руки стали совсем как «палочки».

Валерий мой, счастье мое, я твоя, совсем твоя, такая, какой ты меня любишь, с твоими глазами, с твоей душой.

Люби меня, не покидай меня. Рассказывай все о себе. Будем опять близкими без конца.

Ты не сказал, как писать тебе. В «Скорпион»? Но ведь я вовсе не уверена в скромности Ликиардопул<о>[3]. Буду посылать заказные.

Да и вообще, простых писем из Варшавы за месяц от Лиды[4] пропало несколько. Не знаю почему.

Зверочек, напиши же, как твое здоровье. Я вчера совсем пришла в отчаяние, ведь письмо твое было часа за 1 ½ до отъезда. Между прочим, на курьерский поезд не было билетов (до июня), и я еду со скорым. Долго, часов 37—38, две ночи.

---

[1] Почтовые штемпели: Орша. 20.V.06; Москва. 21.5.06. Написано карандашом в вагоне, на пути из Москвы в Варшаву.

[2] Имеется в виду п. 83.

[3] С 1906 г. М.Ф. Ликиардопуло выполнял секретарские обязанности в редакции «Весов» и «Скорпиона».

[4] Лидия Дмитриевна Рындина (наст. фамилия Брылкина; 1883—1964), вторая жена С.А. Соколова (официально, после его развода с Петровской, с ноября 1907 г.), была урожснкой Варшавы.

86. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

19 мая 1906 г. Москва[1]

19 мая 1906

Нина, дорогая, желанная, любимая!

Не сердись на меня, что я позвонил Тебе по телефону и спросил, где Ты. Я написал было Тебе письмо в Варшаву, но у меня было предчувствие, что Ты в Москве. Я тоже в Москве[2]. В самый день, когда мы выезжали, вечером, я вдруг расхворался, и, кажется, серьезно. Сильно болит грудь и голова. Едва ли это не плеврит. Отправляться в деревню было бессмысленно: сегодня надо идти к доктору. Наверное, на неделю буду я заточен дома.

Судьба сделала так, что мы еще несколько дней провели в Москве вместе, но я не знал, что Ты здесь, а Ты не знала, что я здесь. И когда я позвонил к Тебе, Тебя не оказалось дома. Я могу только одно, — этим письмом перед самым Твоим отъездом еще раз сказать Тебе: «прощай» и «люблю», «люблю» и «прощай»! И в моей памяти все же останется тот Твой лик, в миг нашего разлучения у двери, тот Твой любимый лик, потому что ты была хорошая, хорошая, без конца хорошая!

Прощай, Нина, милая, хорошая, маленькая! прощай до новой, лучшей, счастливой встречи, прощай до нашей новой жизни!

В стороне чужой и темной
Как Ты вспомнишь обо мне?[3]

Не забывай меня, среди табль д'отов, кафе и загородных вилл, не разлюбливай меня. Не бросай меня, своего «зверя», сейчас больного, но глядящего на тебя издалека покорно и жалобно. Пиши мне оттуда, из того иного мира, пиши *о себе* всегда и всё... и читай, что я напишу Тебе! Верь одному: для меня нет счастья без Тебя. Эту истину мне хочется запечатлеть в Твоем сердце, и тогда мне не страшны никакие Твои упреки.

А потом, а потом — я люблю Тебя! Я Твой, Твой! Твой! Ах, Ниночка, помни меня...

— «Ну не пищи, зверь, что Ты так распищался!»

Кажется, слышу Твои слова, вижу Твое лицо, Твои глаза, целую Твои руки.

Буду Твоим — навсегда! навсегда! не боюсь этого слова, повторяю его с упоением: навсегда!

Валерий.

P.S. Не посылаю письма, написанного для Варшавы: здесь оно не имеет смысла.

P.P.S. Если, правда, расхвораюсь, буду извещать о себе аккуратно: больные любят говорить о себе.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] В первой половине мая Брюсов «был в деревне» — согласно его сообщению в письме к Ю.Н. Верховскому от 12 мая 1906 г. (Новый журнал. Нью-Йорк, 2000. Кн. 220. С. 194 / Публ. В.Э. Молодякова).

[3] Цитата из стихотворения А. Блока «Утихает светлый ветер...» (21 августа 1905 г.), впервые опубликованного в № 5 «Весов» за 1906 г. (с. 9—10) в составе цикла «Тишина цветет» (первая строка в журнальной редакции — «Умолкает светлый ветер...»). См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 65, 649—650.

87. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

23 мая 1906 г. Варшава[1]

Варшава, 23 мая

Дорогой Валерий,

ты, вероятно, получил мое письмо с дороги[2]. Оно горестное, нежное, оно все еще дышит последними чувствами Москвы. И если оно опять слишком мучительно и грустно, — прости. Вагон, одиночество, где-то близко еще позади любимые призраки протягивают милые, но уже неизбежно далекие руки... Мне было очень грустно.

Я здесь третий день. Не плачу, почти ничего не чувствую, после необычайного потрясения душа успокоилась в безрадостной и тихой пустоте. О впечатлениях, о внешнем сейчас не хочется рассказывать. После, когда-нибудь. В дороге я простудилась, — это досадно, но в четверг еду в Цехацинов[3]. Еду все равно. Не сердись за это слово. Но я «Кук-ла», «Кук-ла».... «Кук-ла».... При этих словах в груди пустой и звонкий стук. Ты прости, милый, писать я много не могу. Если увидимся, если захочешь, — расскажу когда-нибудь все ощущения этих дней. Они забавные. Уверяю тебя, «забавные». Сегодня была в костеле. Слушала орган, видела стену, где опочило сердце Шопена[4]. Буквально, там схоронено его сердце. Могила сердца, горячего страстного сердца в белой мраморной стене. Красиво.

Прощай, милый. Если захочешь писать: — Цехацинов, Варш. губ. Л.Д.Брылкиной для меня. Ты «хороший»? Ты будешь «хорошим»?

Не сердись, как бы ни было все... Не замыкай ты свою душу в одно «роковое кольцо»[5] в отношении меня. Я сейчас, в данный миг и в эти дни смотрю на наше *всё*, милое былое и то, чтó есть, с какой-то высокой, высокой вершины. Все вижу просто, ясно, четко. Ты хороший... хороший... Верю, знаю.

Твоя.

---

[1] Почтовые штемпели: Варшава. 24.5.06; Москва. 26.5.06.

[2] Имеется в виду п. 85.

[3] *Четверг* — 25 мая.

[4] Согласно предсмертной воле Ф. Шопена (скончавшегося и похороненного в Париже), его сердце было перевезено сестрой в Варшаву и замуровано в одной из колонн в костеле Св. Креста.

[5] См. п. 38.

88. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

23 мая 1906 г. Москва[1]

23 мая 1906, вечер

Нина! Нина! дорогая, хорошая! Мог ли я думать, что Тебя так взволнует весть о моем нездоровьи. Сегодня, приехав из деревни, я нашел, во-первых, Твое письмо с пути[2], во-вторых, другое Твое письмо, пересланное с Катей[3], в-третьих, запрос Твоего Сережи по телефону, не умер ли, в-четвертых, его письмо с просьбой теле-

графировать Тебе. Ну полно! милая, маленькая, глупенькая! Кто же умирает от плеврита! Знал бы я, что Ты так это примешь, ни за что не написал бы Тебе прощального письма! Но так хотелось хоть письменно поговорить с Тобой перед Твоим отъездом, так хотелось рассказать о себе, что я, как я... Прости меня, девочка!

В субботу[4] я уехал в деревню. Думал, там, на свежем воздухе мне будет лучше (и доктор советовал). Но едва я приехал, полил дождь и лил все три дня. Дача, конечно, построена на болоте, и все время кругом ползали туманы и покачивали своими балахонами. Я из комнат не решался показаться, а сестра — социал-демократка[5] изводила меня революционными речами (не со мной, я с ней не разговариваю, а с отцом). Не знаю, что хуже и что вреднее, сырость или социал-демократия, но обе несносны. Несколько раз принимался Тебе писать, но так унывал, что не хотелось Тебя печалить. Разумеется, и из своего романа не написал ни строчки[6].

Теперь я опять переселился в Москву. Чувствую себя решительно выздоравливающим. Да и вообще, Ты совершенно ошибочно представила меня каким-то умирающим. Я в постели не лежу, продолжаю жить, почти как всегда. Примусь немедленно за работу. Кстати — явилась новая. Брокгауз-Эфрон издают Пушкина, и мне поручено редактирование целого ряда стихотворений[7]. Это дело кропотливое, требующее много времени, много внимания, но мало «творчества», «вдохновения». Следовательно, очень мне сейчас подходящее. А как только оправлюсь душой, буду писать тот роман, в который Ты не веришь.

Люби меня, Ниночка. И я Тебя буду любить — все время, беспрерывно, всегда. Так горько читать Твои письма и знать, что Ты далеко, что нельзя «позвонить» к Тебе, позвать Тебя, увидать Тебя. Ты ответишь мне: «Ведь Ты же сам...» Знаю! Знаю! не упрекай меня! Разве от того менее горько? Я *очень* люблю Тебя, Ниночка. Я совсем не знаю, как стану я жить, если Тебя не будет в моей жизни. Мне надо, совсем надо знать, что Ты любишь меня, что Ты — моя, что Ты хочешь, чтобы я был — Твоим.

И я Твой! Твой!

Валерий.

Может быть, это письмо вяло. Оно не передает, ах, совсем не передает моей души. Но я устал от трех дней в деревне. Устал от переезда. Немного болен еще. Не сердись на меня, Нина, за это письмо. Хочу непременно послать весть о себе еще сегодня. Завтра напишу еще. Люблю Тебя.

Телеграмму писал так, чтобы избежать слова «Ты»: оно было бы лишнее. «Я — хороший» в переводе с телеграфного языка значит: «Люблю Тебя!»

Пиши мне, непременно пиши, много пиши! (В «Скорпион», конечно. Я там ежедневно).

Опять Твой
В.

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] П. 85.

[3] П. 84. *Катя* — видимо, прислуга Петровской.

[4] 20 мая.

[5] О какой из сестер Брюсова идет речь, установить не удалось.

[6] Ср. признание Брюсова в письме к Г. Бахману от 13 апреля 1906 г.: «...так как роман мой все в прежнем состоянии и по-прежнему еще нечитаем, то я покоряюсь сим обстоятельствам с неким смирением» (РГБ. Ф. 386. Карт. 70. Ед. хр. 6).

[7] Речь идет об издании Сочинений Пушкина в серии «Библиотека великих писателей» (под общей редакцией С.А. Венгерова), осуществлявшейся фирмой Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон; в томе I (СПб., 1907) помещены статья Брюсова «Первая любовь Пушкина (Е.П. Бакунина)» и его примечания к 13 стихотворениям. Обстоятельства этой работы отражены в письмах Брюсова к С.А. Венгерову (Литературный архив. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 302—351 / Публ. Н.Л. Степанова).

89. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

27 мая 1906 г. Москва[1]

27 мая 1906

Нина, дорогая, хорошая, желанная!

Вчера послал Тебе письмо в Варшаву[2]. Не знаю, дойдет ли. Письмо было грустное. Загрустил я тотчас после Твоего отъезда. К тому же был болен (теперь поправился). Разные «обстоятельства» жизни еще больше расстроили. Прибавилось еще одно: Твой Сережа и Рябушинский пригласили меня на обед[3], провожать Р., и вели себя по отношению ко мне непристойно: весь обед неприлично ругали «Весы»[4]. Конечно, я энергично «отругивался», и им досталось довольно. Но на меня произвело это впечатление прямо *тягостное*. Не выношу я грубости, а грубости и неделикатности было много с их стороны. Постараюсь впредь избегать их общества. Во всяком случае, я очень расстроен. Не могу ничего делать, ни о чем мыслить, ничего писать. Уезжаю в деревню, чтобы

лежать на траве и смотреть в небо. Больше сейчас ни на что не способен. Повторяю про себя свои старые, старые стихи:

Я бы умер с тайной радостью
В час, когда взойдет луна...[5]

Нина! Нина! Нина! Чувствую какое-то опустошение в душе, словно она исчерпана, словно она выпита. Люблю Тебя, воистину люблю, но знаю сам, что не хватает сил, душевных сил осуществлять эту любовь. Мне нужно какое-то воскресенье, какое-то перерождение, какое-то огненное крещенье, чтобы стать опять самим собой, в хорошем смысле слова. Куда я гожусь *такой*, на что нужен! Машинка для сочинения хороших стихов! Аппарат для блестящего переложения поэм Верхарна! Милая, девочка, счастье мое, счастье мое! Брось меня, если я не в силах буду стать иным, если останусь тенью себя, призраком прошлого и неосуществленного будущего. Неужели в 32 года пережил я всю свою жизнь, обошел весь круг своих возможностей? Я столько смеялся над Бальмонтом, неужели же я на себе испытаю его участь?

Милая, Нина, маленькая, хорошая! Хочется верить, что это миг, что это припадок уныния! Упасть бы около Тебя, на ковер, положить голову Тебе на колени и лежать так недвижно, чувствуя Твою руку на лице, угадывая Твои глаза над собой, зная, зная Твою близость...

Твою близость, Нина!

Твой бедный, уставший, изнемогший зверок

Валерий.

P.S. Пиши мне. — В Скорпион. — Ибо буду приезжать часто.

P.P.S. Посылаю Верхарна[6]. Надпись такая, чтоб можно было «официально» назвать Тебя Ниной[7].

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Это письмо, видимо, не сохранилось.

[3] С.А. Соколов в это время заведовал литературно-критическим отделом журнала «Золотое руно», издававшегося Н.П. Рябушинским.

[4] Противостояние «Весов» и «Золотого руна» весной 1906 г. нашло отражение и в печатных полемических выпадах, которыми обменялись Соколов и Брюсов. См.: *Лавров А.В.* «Золотое руно» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 145—149. 5 июля 1906 г. Н.П. Рябушинский в письме к Брюсову вспоминал этот эпизод: «Я расстался с С.А. Соколовым (наверно, Вы это уже знаете). В последнее время я все яснее и яснее познавал его и видел, что думает он по заученному масштабу, а мыслит он только до одной ясно начерченной границы. Он хочет дальше ити <так!>, но не может. Он обидчив и грешным себя боится признать, и мы с ним расстались. Теперь пишу Вам, любезно прося <у> Вас Вашего совета и мнения. Литературу сейчас буду

вести я сам. Невыявленное направление в журнале меня очень мучает. Я сознательно говорю, что своим журналом я самого себя очень ранил. Не того хотел я, не к тому стремился я. Теперь буду всецело во все входить сам, буду стремиться по-прежнему к красоте, пути к ней будут несложные, простые; для мысли не хочу форм сложных, уродливых, нет, нужна теперь для мысли здоровая форма... и все это еще не то, нужно мерно <?> быть самому здоровому. Вы помните, мы расстались <так!>. После обеда г. Соколов говорил, что Вы будто обиделись. "Не верю", слишком я Вас признаю, чтобы мог хотя бы на минуту желать забыться. А пока прощайте, поправляйтесь и не забывайте "Золотое Руно"» (РГБ. Ф. 396. Карт. 104. Ед. хр. 23).

[5] Первые строки стихотворения (14 июля 1898 г.), впервые опубликованного в сборнике «Книга раздумий» (СПб., 1899. С. 40). См.: I, 124.

[6] Имеется в виду издание: *Верхарн Эмиль*. Стихи о современности в переводе Валерия Брюсова. М.: Скорпион, 1906. 17 мая 1906 г. Брюсов сообщал А.А. Шестеркиной, что его «переводы Верхарна <...> появятся в конце этой или начале следующей недели» (РГБ. Ф. ОР. Карт. 129. Ед. хр. 1).

[7] Возможно, надпись была сделана по-французски — во избежание «официального» обращения по имени и отчеству.

90. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

30 мая — 1 июня 1906 г. Москва

Москва 30 мая

Валерий, милый, не сердись! Я уехала из Варшавы[1], но ведь это письмо ты получишь, когда меня вновь не будет в Москве. Я посылаю его с дороги на поезде в Бологое, и так мы не увидимся раньше, чем ты хотел бы. До июля меня, во всяком случае, не будет в Москве[2], а там я не знаю ничего, как и ты. Не сердись на меня, дорогой! Внешне в нашей разлуке я не нарушила ничего. 5 дней я была в Москве, не просила встречи, не писала, и, верь, мы не увидимся, пока ты *сам* не захочешь. Здесь я была у мамы, никто не знал, Сереже напишу, когда уже буду у «мопсов»[3]. Но тебе, тебе я не могу лгать, и мне стыдно за письмо из Варшавы, холодное, лживое, где я писала, что еду в Цехацинов, почти решив вернуться в Москву[4]. Все время я сознавала, что мне не нужно ехать в Варшаву, но Сережа раздражался, упрекал «в эгоизме», у меня просил и требовал отдыха *от меня же*. Ты тоже хотел, чтобы меня не было в Москве. Спорить я уж больше не могла. Но с первых же минут в Варшаве я увидала, что не могу, не могу... Было бесконечно грустно ехать. Все вспоминалась Финляндия, пришли горькие, горькие мысли, сдавили кольцом. Каждый миг воскрешал иной, отошедший и невозможный. А там мне дали комнату, до ужаса похожую на ту, что мы занимали в Выборге. Все похо-

дило, даже две постели стояли так же, одна за другой. Ах, ты не любишь «безумно», ты не знаешь, какое отчаяние *вспоминать*. Эти три дня я была с тобой, около тебя более, чем когда-либо. Отошла вся тяжелая мучительность, все простила душа, осталась только знойная яркость дорогих, дорогих минут. Мне не хотелось плакать, но внутри возникало что-то непобедимое, упрямое, сильное. Я поняла, что не хочу ничего, *что не ты*. Я буду одна, то радостная, то в слезах и в отчаянии, но сейчас я не хочу никого, никаких людей, встреч, развлечений. Я буду одна и *всегда с тобой*. И если мне что-нибудь нужно сейчас, то это не увесели-т<ельные> сады и веселые ночи Бог знает с кем и где.

Я жажду прорицаний
воздушной тишины....[5]

Хочу быть ясной, тихой, буду любить тебя там на озере «между сосен тонкоствольных»[6] покорно, грустно, нежно. Буду ждать твоих писем, буду ждать новой встречи, верить... Ах, полюби мою любовь! Всю жизнь я шла к ней, к такой, к единственной, вечной, и вот она — последнее достижение, самая дорогая, желанная мечта. И ты ее не любишь, не хочешь, боишься! Мы все рассказали и все знаем; теперь погляди в последнюю глубину, полюби ее прозрачность, полюби мою «верность», не желай, чтоб вновь во мне возникли какие-то смутные тени. Я *могу* стать иной, если захочешь, — я сломаюсь, мне это легче, чем иным вдруг получить «голубые глаза». Но зачем?... Грешно сорвать и бросить такой редкий, долгожданный цветок. Но что говорить!? Все будет, как ты хочешь. Ах, только не сердись на меня сейчас, не упрекай, не жди с тоской новых и близких мучительств. Мы не встретимся скоро. Отдыхай, пиши твой роман, работай спокойно. Разве я враг тебе, разве я хочу твоих мучений! Ты все понял, все знаешь и, может быть, многое простишь мне. Больно любить, душа беспомощно открыта всем обидам, вонзалось столько мучительных жал.

Ты, мой зверочек, все хвораешь. Бедный зверь, плохо тебе там, в этом новом «змеином гнезде». Зачем же еще сырость и социал-демократы? Ты затомишься летом в вечных разъездах, по вагонам, в пыли. Затомишься, не отдохнешь, не напишешь ничего, и вот тебе, если встретимся, будет казаться, что все это я, от меня. Милый мой, я тебя нежно и покорно люблю. За эти дни я стала тихая, тихая. Все 5 дней я сидела у мамы в квартире безвыходно, к себе не входила в квартиру, не видала ничего, кроме стены противоположного дома. Никто и не знал, что я здесь. С Сережей не хотела встретиться, тоже еще не зажили раны. Опять упреки, боль,

обиды. Уж лучше напишу ему как приеду. Хотя бы скорее он позволил приехать Лиде[7]. На нее просто больно смотреть. Плачет каждую минуту, ждет его писем, худеет, бледнеет. Ах, мы одного племени! но зачем только судьба издевается, сталкивая близко такие противоположности. М<ожет> быть, все же, когда она приедет, он будет немного довольнее. А сейчас, я знаю, тысячи самых разнообразн<ых> неудач, на всех планах, начиная с самых грубых, о которых мы с тобой никогда не говорим. И все это так или иначе падает и на меня. А я, право, устала тоже. Хочется отдохнуть. Ты не любишь этого слова, но что же делать. У меня руки «как палочки». Глядя на себя, все вспоминаю картинку «Голод в Индии». Прости, говорю глупости, но так хочется говорить тебе все, все, даже самые пустые шутливые мысли.

Напиши мне, зверочек. Я знаю эти летние дни, когда одна радость — твои письма, знаю эти часы тревоги, дрожи, ожиданья. И вся жизнь идет «от письма до письма». Не сердись, что я тебя так люблю. Не разлюби меня *за это*. Я знаю, *за это* перестают любить. Зверочек, зверочек, милый, вот прижимаюсь к твоим рукам, целую, смотри в мои «черные глазки».... Они милые, любимые, дорогие. И весь ты желанный, близкий, дорогой... Не покидай меня, люби меня, я вся, вся

Твоя

Адрес: Николаевск<ой> ж.д. станц<ия> Бологое. Имение Лидино. Мар<ине> Эрастовне Ходасевич

для меня (полностью имя, отч<ество> и фамилия).

1 июня

Я случайно столкнулась с Сережей, таким образом, мой план «объявиться» уже из Бологого — не осуществился. Поеду только сегодня, 1-го. Было очень, очень трудно не позвать тебя... Так хотелось поцеловать, услышать твой голос.... Но я не поддалась этому искушению. Да и страшно было увидеть на твоем лице вместо радости тень скрытой досады. Я ведь знаю, знаю твое лицо. Милый, я люблю тебя! Не забывай, не покидай! Ах, как близко, близко мечтой я была с тобой в эти дни. Ты мне снился, ласковый, нежный... Люблю тебя.

P.S. Благодарю за Пшибышевского[8]. Читала. Очень хорошо. Я всегда так рада его вещам, а это очень, очень сильно. Он не

гибнет еще. Пришли Верхарна[9], я буду вообще много читать, если будет еще что интересное, — тоже пришли.

Из Варшавы мне Лида переслала лишь одно твое письмо от 23-го. М<ожет> б<ыть>, ты еще писал?

---

[1] Ср. запись в дневнике Л.Д. Рындиной (5 июля 1906 г.): «После 16 мая — много было чего. Я ждала Нину в Варшаву, она приехала, пробыла дня три и уехала обратно» (Лица: Биогр. альманах. СПб., 2004. Вып. 10 (в печати) / Публ. Н.А. Богомолова).

[2] Петровская возвратилась в Москву из Варшавы 25 или 26 мая.

[3] В данном случае имеются в виду В.Ф. Ходасевич и его жена Марина Эрастовна (урожд. Рындина; 1887—1973), пригласившие Петровскую к себе в имение Лидино, но в шуточном употреблении у Брюсова и Петровской это слово подразумевало, видимо, более широкий круг лиц — скорее всего, начинающих литераторов, сотрудничавших в издательстве «Гриф» и журнале «Искусство» (ср. упоминания «мопсика» в п. 62).

[4] Имеется в виду п. 87.

[5] Неточная цитата (2-я строка в оригинале: «Застывшей тишины») из стихотворения Бальмонта «Прощание» («Далеко предо мною...»), входящего в его книгу «Только любовь» (1903). См.: *Бальмонт Константин*. Стихотворения. М.: Книга, 1989. С. 463.

[6] Цитата из стихотворения Брюсова «Меня, искавшего безумий...» (1905), входящего в раздел «На Сайме» книги «Stephanos» (1, 378).

[7] Л.Д. Рындина со второй половины апреля 1906 г. жила у родителей в Варшаве.

[8] Вероятно, 3-й и (или) 4-й том Собрания сочинений Ст. Пшибышевского, выпущенные в свет в 1906 г. издательством «Скорпион». 3-й том включал роман «Дети Сатаны», 4-й — «Заупокойную мессу», «В час чуда», «Город смерти», «Поэмы в прозе».

[9] См. п. 89, примеч. 6.

91. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

2 июня 1906 г. Москва[1]

2 июня 1906

Нина, дорогая, хорошая!

Твое письмо без марки, с пометой «Москва», произвело на меня сильнейшее впечатление. Я получил это письмо после 4 час., тотчас взялся за телефон, и Твоя Матрена ответила мне, что в этот самый миг Ты уезжаешь. Ты все же поступила нехорошо, не известив меня, что Ты в Москве, не увидавшись со мной. Мне это горько и обидно. Ты — и пряталась от меня! как же это!

И еще — зачем же ты меня обманывала, говоря в письме из Варшавы, что едешь в Ц<ехацинов>[2]. Я тотчас написал в этот Ц<ехацинов> письмо, впрочем только повторяющее мое письмо

в Варшаву, которое, думал я, не дошло до Тебя. Вероятно, Ты сразу получила оба эти письма, мое второе в В<аршаву> и мое первое в Ц<ехацинов>: оба они почти тождественны[3], так что стоит читать лишь одно из них. Оба очень грустные, потому что иных я и не могу написать теперь.

Состояние души моей не улучшается, а делается все хуже и хуже. Чувствую полное бессилие. Мой верный термометр, мое стихотворное творчество, упал очень низко: со дня Твоего отъезда я не написал ни одного стиха. Да и вообще с января я вряд ли написал больше десяти стихотворений, очень умеренного достоинства. Перестать писать стихи для меня совершенно равносильно духовной смерти. А я перестал писать стихи. Ты пишешь мне: работай. Я ничего не могу работать. С большим усилием над собой делаю я кое-что по библиографии для нового издания Пушкина, затеянного Брокгаузом[4]; больше ни на что не способен...

Я знаю, какой совет Ты дала бы мне в ответ на эти жалобы, если бы захотела говорить откровенно: «Перемени всю жизнь! Брось все! Стань безумным!» Нет, Нина, чтобы стать безумным, нужны душевные силы, а их у меня нет. Чтобы стать безумным, нужна энергия и воля, а их у меня сейчас нет. Чтобы стать безумным, нужно, наконец, *безумие*, а во мне его теперь нет вовсе, вовсе! Я был прав, когда на пути из Финляндии говорил Тебе, что вершина пройдена; Ты была права, когда в начале минувшей зимы говорила мне, что я стал «плохим», «хуже», что *такого* меня Ты не хочешь. Да, в жизни моей души эти десять месяцев были одним падением, медленным скатыванием по отлогой плоскости в пропасть. И я сознаю, что никакая сила не может удержать этого моего падения. Я должен упасть до дна. Тогда лишь может наступить возрождение. Тогда лишь могут вдруг вырасти крылья. И дно уже близко. Вижу его.

Нина! Нина! девочка моя! Ты, может быть, ждешь от меня слов, которые дали бы Тебе силы, ободрили Тебя. Нет у меня таких слов. И мой голос становится глухим, и мои слова тусклыми. Ждать от меня сейчас нечего, помочь мне сейчас нечем, можно лишь пожалеть меня, можно лишь надеяться на меня, надеяться на чудо воскресения.

Твой

Валерий.

---

[1] Ответ на п. 90.

[2] См. п. 87.

[3] Сохранилось только письмо, адресованное в Цехацинов (п. 89).

[4] См. п. 88, примеч. 7.

92. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

3 июня 1906 г. Лидино[1]

3 июня

<А> что я могу сказать тебе, Валерий? Наступил 5-й акт драмы. Тот, кого любили, кто был центром всей жизни, чей образ царил над всем, — где-то замерз. Вносят его холодное, холодное тело... Что может быть дальше? Ведь это и есть конец. О каких «крыльях» ты говоришь? Если и вырастут «крылья», они унесут тебя в иной мир, *не ко мне*, не возвратят тебя. Я люблю тебя и хочу их для тебя, потому что мне больно от твоей боли, но моя роль *кончена*. И *для себя* мне нечего и неоткуда ждать. Та страна, куда сначала ты сам стремился, куда потом звала тебя я, — чужда твоей душе. То солнце — *не твое солнце*. Оно обожгло, истомило тебя. Уйди. Есть время. Ты воскреснешь, я верю. Все твои письма после Финляндии, которых не могла я понять тогда, были сплошным предчувствием будущего. Ты хотел бежать, чтобы не увидеть этого страшного дна, которое видишь теперь. Я удержала, я хотела иного и верила; я не знала, — прости меня! Я не позову тебя больше в «безумие». Да и что же такое это слово? Это лишь мое второе условное имя любви. Если ты можешь оглянуться назад в эти месяцы, если там еще как-нибудь звучит мой голос, — вслушайся. Всегда, всегда это слово значило одно: «*любить*». А любить — это быть беспредельным, войти в мир несказанных чудес, взять все и отдать себя, никуда не оглядываться и ничего не жалеть... Ах, знаешь ты, *что́* для меня любовь! И слово «безумие» всегда значило — любовь. И если, глядя в глаза тебе, просто, ясно и серьезно спросить тебя: так ли и ты понимал его? — Ты не солжешь мне, ты скажешь «да». И пишешь: «......безумие... а во мне его нет теперь, нет вовсе, вовсе!»

О, зачем после Финляндии я не ушла, как ты хотел, не поверила, что нам (*тебе*) остался только скат вниз, а все пыталась удержать, хотела вернуть тебя к тому, что ты так скоро, скоро забыл. Это назвалось «мучительством», а я ведь *лишь любила*. Тебе было мучительно лишь потому, что *мы не шли рядом*. Душа ли у тебя вся иная, чем у меня, или только в этом мы не совпали, — не знаю. Но вижу я, вижу теперь совсем ясно, — *это конец*. И вот, отрекаясь от себя, затаив все безмерное отчаяние, мне хочется успокоить тебя нежно, ласково, вернуть к надежде на воскресенье. Верь, ты будешь вновь самим собой, вернутся стихи,

вернется все утраченное в дни со мной. Оторвись только от меня *разом*, вырви последние блекнущие цветы. Убей жалость и нежность, стань бесстрашным, посмотри на мою жизнь как на *одну из твоих* ступеней вверх по твоей длинной, о, далеко не пройденной лестнице, смотри *в свое небо*, побори дни унынья и упадка. Я верю, ты сильный, ты выйдешь из этого испытанья вновь юным, сумеешь сбросить утомление этих месяцев; — но только не ходи по тем дорогам, которые *не для тебя*. Но скорее! Если видишь дно и упасть неизбежно — падай без страха. Ты веришь, что вырастут «крылья», *и я верю*. Там же вырастут и мои «крылья». Я тоже жажду. Но и меня лишило силы утомленье, длительные муки. Дай мне отчаяния! Последнего отчаяния хочу я! Приди и скажи: «Я не люблю тебя, я не хочу быть с тобой». Скажи это с той же уверенностью, как прежде говорил: «Я люблю тебя, я не могу без тебя». И как прежде от этих слов передо мной открылось бездонное счастье, так и теперь от новых слов, с той же силой чувства я упаду куда-то вниз, во мрак. Ах, тогда мне будет легко! Но не мучь ты меня медленно, не превращай в камень. Даже смерти хочу отдать я *живую душу*. А вот уж давно длится это качанье над пропастью. Не могу так! Ты велел не уехать, уверял, что я встречу тебя нового, что перед нами новая жизнь. Неправда! Ты только малодушно отдаляешь неизбежное. Смешно же, в самом деле, думать, что я *надеюсь* после твоих писем, что я «отдыхаю». Смешно думать, что кто-то может «отдыхать» в зеленых меланхолических аллеях, на тихих озерах перед собственной казнью. Валерий, скажи мне правду! Что ты убиваешь меня с такой невыносимой медленностью. Я ведь с сентября знаю все и знаю, как это кончится. Ты уверял, через все я так хотела видеть впереди радость. Не вижу больше, не надо лживых надежд. Взгляни в свою душу глубже, еще глубже. Там *есть* ответ. Ведь всё в душе, ничего не придет спасать извне. Мне только нужно одно твое последнее правдивое слово.

Валерий, милый, милый, отчего нет счастья? Кто меня проклял? Я так хочу любви, нежной, тихой, ясной, *навсегда*. И только горе, горе! Валерий, ты замерзаешь, ты холодный, тебя нет для меня. Валерий, Валерий, не слышишь меня! А я люблю, люблю!

---

[1] Ответ на п. 91. Почтовые штемпели: Бологое. 4.6.06; Москва. 5.6.06. *Лидино* — имение близ Бологого, принадлежавшее И.А. Терлецкому, дяде М.Э. Ходасевич (урожд. Рындиной). М.Э. и В.Ф. Ходасевичи проводили там лето.

93. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

5 июня 1906 г. Москва[1]

5 июня 906, Москва

Нина, девочка, любимая! Ты хочешь заставить меня солгать, как Гвидо монну-Ванну в последней сцене[2]. Правдой Ты признáешь только мою ложь, а когда я говорю свою правду, Ты мне не веришь. Я Тебя люблю, только Тебя, — вот моя правда. Но для Тебя «любовь» и «безумие» одно и то же, а для меня не одно и то же. Любовь есть в моей душе, безумия — нет. Ты этому не веришь, но я не хочу, не могу, не буду лгать. То, что сейчас со мной, — не ущерб любви, а ущерб души. Может быть, это подготовлено даже не этими нашими 20 месяцами, а 20 последними годами моей жизни. При всех своих падениях и замираниях, в общем я жил жизнью очень напряженной, если <не> во внешнем, то во внутреннем. Все сделанное мною (а кое-что мною сделано-таки) досталось мне вовсе не даром. И вот настал час, день, когда идти дальше по той дороге, по которой я шел, некуда. «Urbi et Orbi» дали уже все, чтó было во мне. «Венок» завершил мою поэзию, надел на нее воистину «венок»[3]. Творить дальше в том же духе — значило бы повторятся, перепевать самого себя. Это может Бальмонт, я этого не могу. И вот, в этот страшный час распутия, Ты мне говоришь о любви, о нежном счастии. Я должен все силы своей души направить на то, чтобы сломать преграды, за которыми мне откроются какие-то новые дали, — чтобы повернуть своего коня на новый путь. У меня сейчас не может быть сил ни на что другое. Приди ко мне с волшебным жезлом, открывающим эти новые пути, — и я пойду за Тобой. Ах, то воистину должен быть волшебный жезл, воистину новые слова: не слова о безумии, которые я сам говорил слишком часто, не слова о нежном счастии, которое — хотя и на миг — мы изведали с Тобой вместе, и уж конечно не слова из революционного словаря, годные для младенцев вроде Твоего Сережи. Есть какие-то истины — дальше Ницше, дальше Пшибышевского, дальше Верхарна, впереди современного человечества. Кто мне укажет путь к ним, с тем буду я. Или дай мне найти их и приди ко мне. Ибо в тот миг, как я опять почувствую возможность жить, возможность творить, возможность идти вперед, — мне никого не нужно будет, кроме Тебя. *Жить* я хочу, я могу только с Тобой, но сейчас не знаю, хочу ли и могу

ли я жить. И мне кажется, что я не говорю этим письмом ничего нового: это всё те же, прежние признания, еще более уясненные, еще более углубленные.

Сейчас я где-то, где — не знаю, но *Твой, Твой*

Валерий.

P.S.

Внешне живу очень плохо. В деревне, по разным причинам, жить немыслимо. Да и та (чисто внешняя, узко библиографическая) работа, которой я принуждаю себя заниматься, требует присутствия в городе, справок в больших библиотеках etc. А в городе все то, чем я так пугал Тебя: духота, пыль и ежедневная головная боль. Дня два как опять вернулся мой плеврит, впрочем в ослабленном виде. Только Ты на эти жалобы не пугайся. Клянусь, все это решительно пустяки, совсем ничтожное — сравнительно с тем изнеможением души, с той безысходностью внутри, которые меня убивают.

Получила ли Ты «Верхарна», посланного в Цехацинск (с надписью)[4]. Если нет, пришлю другой экз<емпляр>.

Valerius.

---

[1] Ответ на п. 92. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Гвидо Колонна и его жена Джованна (Монна Ванна) — герои драмы М. Метерлинка «Монна Ванна» (1902).

[3] Книга Брюсова «Urbi et orbi. Стихи 1900—1903 г.» (М.: Скорпион, <1903>) вышла в свет в октябре 1903 г., «Στέφανος Венок. Стихи 1903—1905 года» (М.: Скорпион, 1906) — в декабре 1905 г.

[4] См. п. 89, примеч. 6.

94. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

6—7 июня 1906 г. Лидино[1]

6 июня 1906 г.

Валерий, Валерий, что я могу?!

Я сломаю душу еще раз, вырву из нее все, что *во мне* мучит тебя. Но ведь это будет одна ничтожная часть. Ах, я на все готова, чтобы только не видеть тебя, милого, любимого, изнемогающим, отданным боли и бессилью! Но не знаю я *как*! Должно быть, это слишком много для меня. Если бы *это* лежало в пределах

любви, я не почувствовала бы себя такой слабой, бессильной, неспособной. Я нашла бы в душе своей новые нетронутые источники, открылись бы новые светлые дали, зазвучали бы новые слова. Вижу за всей скорбью и безнадежностью этот ослепительно сверкающий мир. Но не он тебе нужен сейчас, и пусть слова о нем немые падают на дно. Мне страшно, и больно, и стыдно говорить их, и они сами умирают, когда нет отзвука. Тебе нужно иное, иное... Есть в душе твоей таинственное и великое. Когда я мыслью подхожу к этим граням, — я ничего не знаю; мне хочется только богомольно поцеловать тебя в лоб, тихо коснуться твоих рук, встать пред тобой на колени, и молчать, и неметь. Я редко говорю тебе это, но помню всегда. И вот когда *там* цветут цветы, или проносятся бури, или падают холодные туманы, — *что я могу*? Я могу только отойти с радостью или печалью, стоять вдали, ждать, когда ты вернешься, и думать о тебе, думать. Может быть, и там есть свое утомление и нужен отдых и сон, как в жизни здесь. Может быть, тебе вовсе не нужны никакие слова, ниоткуда, может быть, в этом томлении они уже возникают в твоей же душе, и миг излома, боли и изнеможения ты обманчиво принимаешь за смерть. *Кто* скажет *тебе* какие новые слова? *Кто ты*, чтобы ждать тебе чуда, когда твоя собственная душа со всем свершенным и затаенным для будущего есть чудо из чудес? Ты устал, только устал, и не хочешь, и боишься дней томленья и тишины. Ты сам говоришь и сознаешь, что это может б<ыть> подготовлено 20-ю последними годами твоей жизни, подъемами и падениями, страшной напряженностью ее. Так отчего же и при этом сознании тебе так страшен «час распутья»? Валерий, Валерий, здесь я ничего не могу, но я знаю тебя, вижу тебя и верю, верю, верю! Пойми, ведь это только *часть твоей дороги*, а не конец и не предел ее. Ты *должен* встречаться с ужасами, и в каких бы образах они ни приходили, ты должен их встретить с спокойным и ясным лицом. Но что я могу сказать! Грубы и слишком просты слова мои. Может быть, ты горько улыбаешься в ответ. Ах, я люблю тебя, Валерий, этой любовью я научилась чувствовать тебя, ощущать самые тончайшие дрожания твоих внутренних струн. И хотя то, что с тобой сейчас, — этот упадок творчества, ущерб так же непостижим, как и расцвет его, я все же каким-то ясновидением любви вижу тебя и в этих пределах, и знаю, и верю, — все вернется. *Твое* все вернется! Ты устал, ты безмерно устал, но ты юный, сильный, ты поборешь призраков, только верь, верь в чудо твоей

же чудесной души. Валерий, если *я* мешаю тебе хотя сколько-нибудь, не изнывай и не изнемогай еще от жалости. Давай мне только что можешь, я не жду уже никаких «осуществлений любви». Если *можешь* быть со мной, — будь. Я глубоко схороню все желанья, убью их, вырву их. Теперь я знаю и о себе, — тех радостей, что я хотела, не будет *никогда*. И хочется одного, одного, сказать тебе твоими же стихами:

О, приди без улыбки, без жалости
Снова к древу меня пригвождать,
Чтоб я мог в ненавистной усталости
Снова руки твои целовать[2].

Мне ничего, ничего не надо больше для себя. Мне горько, что любовь моя, какой бы она ни была, в эти дни для тебя — *ничто*. Но я сломаюсь, я вырву все, только бы быть для тебя хотя маленьким проблеском радости, а не мученьем среди мучений. Может быть, ты когда-нибудь поверишь в это и не будешь бояться и бежать меня, а придешь, *каким бы ни был*. И тогда мне не будет иной радости, кроме той, что ты, милый, любимый, веришь в мою неизменную любовь.

7 июня

Валерий, радость моя! будь со мной, каким можешь, — печальным, убитым, радостным, изнемогающим или ликующим — все равно! Только не уходи! Никто не понимает тебя, как я, никто не любит тебя так. Милый, будем близкими всегда. Я не буду мучить тебя. Не уходи, не вырывай у меня своих рук. Я *всё* могу с тобой, *буду какой хочешь*, только не отдаляйся, не пропадай из глаз в тумане этих дней. Ты переживешь их. *Мы* переживем их. А если и нет, то погибнем вместе. Я не могу совсем без тебя. Ведь этими бледными, чуть звучащими словами твоей ласки я только и живу сейчас на свете.

Валерий, зверочек мой грустный, любовь моя, не гони меня, не отвергай меня. За что? Я так беспредельно тебя люблю.

P.S. Верхарна я почти получила, очень благодарю. Но книга в Москве у Нади, только что вернулась из Варшавы. Она мне перешлет.

---

[1] Ответ на п. 93. Почтовый штемпель отправления: Бологое. 7.6.06.

[2] Строфа из стихотворения «Пытка» («Эта боль не раз мной испытана...», 1901), входящего в раздел «Элегии» книги Брюсова «Urbi et Orbi» (I, 316).

7. Заказ № 795.

95. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

9 июня 1906 г. Москва[1]

9 июня 906, Москва

Нина, милая, любимая!

Я получил Твое письмо, хорошее, желанное[2]. Напишу ответ, какой могу, сегодня же. А эту записку спешу отослать с почтовым поездом. Мне просто хочется сказать, что я люблю Тебя. Хочется еще раз поцеловать Твою руку через 300 верст, разделяющие нас. Ты — хорошая. Я — Твой

Валерий.

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».
[2] Имеется в виду п. 94.

96. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

10 июня 1906 г. Москва[1]

10 июня 1906, Москва

Нина, радость моя!

Есть два круга вещей, о которых мы никогда или почти никогда не говорим с Тобой: один очень «низкий», другой очень «высокий». Это — обычные деления, не мои; сам я не делю вещи на «высокие» и «низкие», — мне все кажутся равными, равно важными, равно достойными. Но медленно и систематически Ты не давала мне заговаривать о многом и свела все наши разговоры к одной теме: нашей любви. Вот почему мне так трудно теперь ответить на Твое последнее письмо (письмо милое, хорошее, желанное — я уже сказал). Мне придется начать издалека. Мне придется (и это прости мне) вызвать несколько воспоминаний этой зимы, мучительных, — одни для Тебя, другие для меня. Но ведь надо же высказаться; ведь многое мы посмели сказать друг другу; останемся смелыми!

Думаешь ли Ты, что я забыл, что Ты не стала читать моей последней книги?[2] Знаю, все знаю, все помню. Но то был жестокий удар для меня. Ты не знаешь, сколько нитей оборвала Ты тогда между моей душой и Твоей... Но это было только начало.

Ничего из того, что я писал после, не пришлось Тебе по душе: ни новые мои стихи, ни рассказы, ни статьи. Тебе все это не нравилось или, по крайней мере, нравилось далеко не так, как многое в моих прошлых книгах. Возможно, что Ты права; возможно, что я пишу хуже, чем прежде. Но ведь мне-то эти мои стихи, рассказы, статьи — дороги; я-то ведь не считал их плохими! И опять и опять обрывались нити между нашими душами. Но вот однажды я заговорил с Тобой вообще о поэзии, о том, о чем сам с собой я говорю всегда. Это было, помнишь, днем, на бульваре... Я испугался той пропасти, которая оказалась между нами. Ты подняла руку на самые заветные мои убеждения, оскорбила самые святые мои верования. И опять-таки возможно, что права Ты, а я не прав. Возможно, что в искусстве высказываемые мысли важнее, чем художественное значение произведения. Но я-то ведь в это поверить не могу! Для меня-то ведь единственным мерилом в поэзии (а впрочем и везде, во всем) останется художественность. Мне, художнику, партийная нетерпимость кажется вздорной, а оскорбление прекрасного стиха — оскорблением моего Божества. И после того дня последние нити, связывавшие нас в том мире, оборвались, и я стал думать, что мы с Тобой там — чужие. Ибо никогда, никакие мучительства жизни, никакое изнеможение не убьет и даже не притупит в моей душе поклонения поэзии. Я могу утратить способность писать стихи, но не могу перестать упиваться ими. Отказаться читать книгу любимого поэта из-за личных отношений; бранить стихи, потому что не согласен с высказываемыми в них мыслями, — это для меня столь же невозможно, непонятно, чуждо, как ощущения иного, нежели я, существа. И когда Ты обращаешь ко мне такие слова, прекрасные, пьянящие, увлекающие, как в последнем письме, мне хочется вырваться из их опьянения, из их соблазна, и сказать Тебе: Да полно? да разве мы не чужие здесь? разве мы не враги здесь?

Нина! Нина! Ты знаешь меня и знаешь, что я много лицемерю: жизнь приучила меня притворяться. И в жизни, среди людей, я притворяюсь, что для меня не много значат стихи, поэзия, искусство. Я боюсь показаться смешным, высказываясь до конца. Но перед Тобой я не боюсь показаться смешным, Тебе я могу сказать, что и говорил уже: поэзия для меня — *всё*! Вся моя жизнь подчинена только служению ей; я живу, поскольку она во мне живет, и когда она погаснет во мне, умру. Во имя ее — я, не задумываясь, принесу в жертву все: свое счастье, свою любовь, самого себя. Но в этом мире я всегда был одинок, и Ты не отучила

меня от этого одиночества. Прислушиваюсь к ласкательным словам Твоего письма, но не знаю, где найти в душе своей веру в них. Было время, меня хвалили *вы*; теперь меня хвалят журналы. Но, должно быть, у меня еще не было читателей. Мои читатели еще носят<ся> «по небу полуночи» в объятиях ангелов[3]. С моими читателями мне не придется говорить. С ними будут говорить только мои книги.

Прости мне это письмо. Люби меня. Люблю Тебя.

Твой

Валерий.

---

[1] Ответ на п. 94. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Подразумевается «Στέφανος Венок».

[3] «По небу полуночи ангел летел» — первая строка стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

97. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

11 июня 1906 г. Лидино[1]

11 июня. 1906

Валерий, дорогой мой.

Я уже много раз предчувствовала, что возникнет этот разговор, но не боюсь его, а рада сказать тебе о себе все, что есть и что знаю. Только верь в правдивость моих слов. Я никогда уже больше не буду лгать тебе. Начну с того же, с твоей последней книги, хотя говорить об этом мне тяжело и теперь. Помнишь ты себя в прошлом году? Я только *после* узнала, что больше мне не увидать тебя таким. Но ведь в Финляндии я ничего не знала и не поверила бы, что все изменится так быстро, почти внезапно. Ты говорил: «всё»... Ты упорно повторял: «всё, я весь, вся жизнь». И когда мне стала дорога твоя любовь, слова эти зазвучали как музыка. Я поверила в них, и в тебя, и в свою любовь. Тогда же, м<ожет> быть, бессознательно почувствовала, что прошлое, все, что замыкалось этим годом, ушло навсегда. Мы вступали в новое, и хотя будущее казалось мне лучезарнее прошлого, вдруг захотелось, так страстно захотелось отметить его каким-то знаком здесь, чтоб осталась об нем вечная память. Я попросила тебя... Это даже была и не просьба, а нежный отклик на твои же слова[2]. Это было первое желанье, об-

ращенное лично к тебе, первая гордая мечта о твоей любви. И ты отказал. Я не помню в моей жизни такой смертельной убивающей обиды. В те дни, когда после года, тяжелее всех лет в моей жизни, я почувствовала себя живой и воскресшей, когда мне показалось, что наконец сбылась моя последняя тайная мечта о любви, — ты же, ты, Валерий, сказал мне «нет»... А я ведь действительно подумала, что предо мной беспредельность. Пойми, мне было больно видеть твою книгу, страшно касаться к ней, невыносимо слышать о ней. Она казалась мне живым воплощением самой горькой обиды. Я сказала, что *никогда не прочту ее*. Вначале я действительно не могла заставить себя взять ее в руки, а после, когда притупилась и стихла обида и я увидала, что это тебе *тоже больно*, — хотелось *боли за боль*. Я знала больше половины ее раньше. Любила ли ее, как прежние? Ах, можно ли так спрашивать? *Те* стихи были частью моей души, воплощением ее в строках, страницей жизни самой страшной, горестной и дорогой. Ты говоришь: «...Ты не стала читать моей книги». Ты поверил, что я могу *не прочесть*, и верил до этого дня! Валерий, *я читала ее всю, всю* в апреле, на Пасхе. Читала с тайной болью, с горьким упоеньем, с большей любовью к тебе, к твоим стихам, чем в прежние годы. И не хотела и не могла сказать тебе. Мы были очень замучены в эти дни. Где мы были? Что могли сказать друг другу?!

И дальше: — в начале этой осени; — ты или я — не знаю, уж не разберусь теперь, — но кто-то взял неверную ноту. Вместо радости начались мучительства, мы катились неудержимо, как по рельсам, всё дальше, всё вглубь. Обижали взаимно. Ты обижал жестоко, задевал самое хрупкое, самое нежное, — и я... о, конечно, и я!.. Твои новые стихи, рассказы, статьи, — я подходила к ним заранее враждебная. Душа твоя казалась далекой, холодной, далекими стали казаться они, потому что они — твоя душа. Но ведь те дни омраченья, запутанности, слепоты миновали для меня. Ты не веришь! не веришь!

Ты знаешь, я говорила тебе, как безмерно радовало меня, что я любила тебя в твоей поэзии, в этих двух маленьких трогательно-одиноких книгах *прежде, чем мы встретились и полюбили*. И позднее, когда мы уже встречались, всегда странно враждебные, — ты с презреньем ко мне, я с непонятной антипатией ко всему твоему реальному облику, — я умела любить тебя, восторженно поклоняться тебе и отделять тебя здешнего от тебя, стоящего для меня на самой высокой вершине поэзии. Это было время «Urbi et Orbi» для тебя, и для меня полюс совершенно иных пережива-

ний. Мне хочется подчеркнуть эти слова как возражение еще на тот взгляд, что сложился у тебя на меня во время разговора о Тютчеве на бульваре. Ты сказал, что я похожа на критиков «Русского Богатства»[3], что я не умею ценить художественность как таковую, что я груба и ты удивляешься, как до сих пор мы могли считать себя близкими. Да, Валерий, ты был бы прав, если бы уверился, что в этом мире мы так же далеки, как критики «Р<усского> Б<огатства>» и ты. Я знаю тебя, знаю, *что́* для тебя поэзия, и поняла бы, и приняла бы твою отчужденность. Но, дорогой, ведь это неправда! Почти с детства, *самостоятельно*, вероятно, протестуя против окружающего, сначала бессознательно, потом уверенно и ясно, моя душа в этом мире влеклась к тому же, что любишь и чтишь ты. Моя любовь к искусству и поэзии была тихой, замкнутой и углубленной. И если ты хотя сколько-нибудь знаешь мою душу, ты увидишь в ней следы этого пути. Валерий, дорогой, ну разве можно так грубо ошибиться и чужого принять за близкого?! Да и можно ли с чужим быть на какой-либо не внешней плоскости, а уж не только в любви, где каждый диссонанс отзывается такой нестерпимой болью? Что же касается, в частности, разговора о Тютчеве, который ты так злопамятно затаил в глубине, то верь, это было какое-то наважденье. Не знаю почему (теперь утратилась непосредственная связь его с состоянием души того дня), но хотелось сказать что-то грубое, резкое. А м<ожет> быть, это было одно из противоречий моего существа, так знакомых тебе, когда я начинаю говорить чужим, неизвестно откуда возникшим голосом. А потом... Мне хотелось вернуться за тобой, по телефону хотелось говорить иные слова, но ты же знаешь меня! Все казалось тогда, что каждым поводом пользуешься ты, чтобы задеть самолюбие, проявить себя «самовластником». И вот даже из желания не огорчать тебя я не сумела победить упрямства и не могла открыто сознаться в нелепости своих слов. Вспомни, я всячески избегала возвращения к этому разговору. Я говорю тебе всю правду. И если бы знала, в чем нужно признаться еще, — мне не было бы стыдно перед тобой. Я хочу, чтобы ты смотрел в мою душу как в прозрачную воду. Ах, Валерий, мы очень омрачились в этом году. Мы перестали одно время видеть друг друга в наших настоящих образах. Но я сделала усилие, вырвалась из заклятого круга и вновь вижу тебя, но яснее и утонченнее, чем прежде. За горем, за всем хаосом дней этого года я вижу вновь кристальную ясность, новую любовь к тебе, Любовь от Любви, как Свет от Света, крещенную огнем. Из-за отуманенных наших мучительных

дней вновь возникает та близость, которая казалась тебе утраченной. И верь мне, милый, светлый, верь, *я везде с тобой и там*, как всегда, как в дни, когда любила и не знала тебя.

Здесь я пробуду до субботы 17-го (в субб<оту> уже уеду). Если ты захочешь написать, то последний срок, когда можно послать письмо из Москвы — *четверг*.

После 17-го, где бы я ни была, я напишу тебе. Но вот на всякий случай адрес Нади, она уж передаст аккуратно:

Арбат. Малый Николо-Песковский пер., д. Пашинской. Кв. 1. Надежд<е> Ив<ановне> Петровской для Н.С.

---

[1] Ответ на п. 96. Почтовые штемпели: Бологое. 12.6.06; Москва. 13.6.06.

[2] Подразумевается просьба Петровской о посвящении ей книги стихов (см. п. 42).

[3] Литературный, научный и политический ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1876—1918 гг.; с 1892 г., когда «Русское богатство» возглавили Н.К. Михайловский и В.Г. Короленко, — орган легального народничества.

98. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

13 июня 1906 г. Москва[1]

13-го июня 1906

Нина, дорогая!

Своими письмами, своими словами, своим великодушием, своей нежностью, своей любовью — Ты уничтожаешь меня. Чтó я могу! Разве, Ты думаешь, я не знаю, чтó должен я сделать, сказать — в ответ на все это, на всю Твою любовь! И если я бессильно становлюсь на колена, целую руку и не говорю *тех* слов, — неужели, думаешь Ты, у меня в душе не тьма и не отчаянье. Нина! милая! милая! люблю Тебя! Напишу много, сегодня. Это пишу наскоро, на вокзале.

Твой, совсем Твой

Валерий.

P.S. Почему 17-го? Неужели это случайность? Я 17-го, вероятно, должен буду уехать из Москвы на несколько дней. И об этом подробно сегодня.

---

[1] Ответ на п. 97. Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

99. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

13—14 июня 1906 г. Москва[1]

Ночь с 13 на 14 июня 1906 г.

Нина, радость моя, счастье мое!

Прости, что я сегодня написал Тебе какие-то бессвязные слова[2]. Мне хотелось ответить на Твое письмо тотчас-тотчас, а почтовый поезд отходил что-то через 2 или 3 минуты. Милая, милая! люблю Тебя! Сейчас ночь, светает, почти светло. Я в кружке, как «дежурный» директор[3], и должен быть здесь до 5. Сижу в «директорской», один, кругом тихо, тихо. Хорошо: я — с Тобой!

Нина, что мне остается говорить, когда Ты на мое злое, нехорошее письмо отвечаешь ласковым, покорным, когда Ты говоришь мне: «Я виновата, прости, я люблю Тебя». Мне хочется обнять Твои колени, заплакать, как столько раз я плакал перед Тобой, сказать Тебе: «Нет, Ты, Ты меня прости, чувствую, знаю, что виноват я!..» Нина, счастье мое! Я в каком-то безысходном кругу, и замкнут он не вовне, а внутри меня, в моей душе, — и его надо разорвать, потому что выхода из него нет.

Когда это началось? Давно, о давно! Теперь я начинаю думать, что еще до моей встречи с Тобой. Вероятно, к тому времени, когда я закончил «Urbi et Orbi». Что-то было изжито. Какой-то рудник, который другому мог хватить надолго, был мною исчерпан, потому что я не разрабатывал его, а грабил. Я выхватывал из него слитки и губил золотоносные жилы. И вот — слитков более не оказалось. Оставалось или искать новой шахты, или заняться пересмотром ранее отброшенного, ранее отвергнутого как менее богатого. Помню, верно помню: я переживал тогда именно то, что и теперь: изнеможение, бессилие, неспособность к творчеству, желание убежать, скрыться, утаиться, чтобы меня не заставляли думать, действовать, а прежде всего *чувствовать*. Помню, было уже совсем решено, что я уеду на год в деревню. Даже велись уже переговоры с некиим Ачкасовым, чтобы снять какое-то имение... И вдруг пришла — Ты, как что-то новое, неожиданное, несбыточное, о чем мечталось давно и что вдруг осуществилось. Пришла любовь, о которой я только писал в стихах, но которой не знал никогда; пришла женщина, о которых я только читал в книгах (в Твоем Пшибышевском), но не видал никогда. Ты мне часто говорила, что тот год был воскресением для Тебя; но он был и для меня воскресением. У меня вдруг открылись глаза, сделались в сто

раз более зоркими; в руках я почувствовал новую силу. Я вдруг увидал вокруг вновь сокровища, которых мой прежний взор не различал; получил возможность разбивать такие таящие золото камни, на которые прежде не смел поднять руки. Я сказал себе: «Безумец! ты считал себя нищим! но смотри! видишь! твой рудник еще полн богатством! бери лом, заступ, добывай, торжествуй!» Ты знаешь, что я это сделал. Я собрал снова целую книгу золотых слитков, там, где, казалось, не было ничего, кроме песку и осколков камней... Но я ошибся. Рудник мой был все же уже опустошен. Скоро, очень скоро поднял я последнюю блестку, — и вот опять стою в пустоте, в разоренной, опустошенной шахте...

Длинное это сравнение я не выдумал: оно пришло само на мысль и оказалось совпадающим с жизнью во всех мелочах. Два года назад я был в своей душе слепым нищим; теперь я зрячий нищий — в этом вся разница, и только (или почти только) в этом. Я не могу более жить изжитыми верованиями, теми идеалами, через которые я перешагнул. Не могу более жить «декадентством» и «ницшеанством», которые — верю я, верю — и Тебе уже чужды, хотя Ты и говоришь иное (тоже из желания противоречий? да?); в поэзии не могу жить «новым искусством», самое имя которого мне нестерпимо более. Хорошо Мережковскому, который перепархивает с пушкинианства на декадентство, с декадентства на язычество, с язычества на христианство, с христианства на религию Троицы или Духа Святого. Ты когда-то сказала, что я по душе — инок, монах, в Средние Века я пошел бы в монастырь. Да! да! Я должен верить в то, чему служу, совсем, до конца, и должен служить чему-то. Я притворяюсь скептиком, но

Тяжелый труд нам Кем-то дан,
И спросит властно Он отчета...[4]

Так, как сейчас, я не могу жить: без Бога, без алтаря. И не могу поставить себе «какого-нибудь» бога, наскоро смастеренного, чтобы только было перед кем возжигать фимиамы. И вот когда Ты отдаешь мне свою любовь, прекрасную, самое прекрасное, может быть изо всего, что я встречал в жизни, — мне нечем взять ее, я бессилен. У меня нет сил проявить своего чувства, своей любви, потому что *все* силы моей души уходят, ушли на иное. Так Россия сейчас не может проявить ничего, кроме революционных сил, но это не значит, что в ней, в ее душе нет ничего более...

Нина, милая! В своем первом письме к Тебе в Варшаву я назвал себя «нехорошим»[5]. Это было не совсем верно, или верно только с внешней стороны. Но перед Тобой мне всегда почти

стыдно, почти больно. Отвечать так, как я отвечаю на Твою любовь, — позорно, преступно, недостойно. И, сознавая это (именно потому, что сознавал), я иногда еще резче подчеркивал свою строгость, суровость, холодность. Но это было маской, странным (не для Тебя) притворством, клеветой на самого себя. Я люблю Тебя, я хочу любить Тебя, но у меня, у души моей, нет сил для этого сейчас, ее крылья падают, как у Психеи Эдгара, и жалко влачатся в пыли[6]. И я сам на себя смотрю с отчаяньем и ужасом.

В сегодняшней записке наскоро, невразумительно я писал Тебе, что 17-го уезжаю. Это странное совпадение. Я взялся исполнить одно поручение отца в Риге, поручение "срочное", так что дня отъезда откладывать почти невозможно. Я был уверен, что Ты, как писала мне, останешься в Лидине до 1-го июля. Получив Твое письмо, в первый миг я подумал: не поеду. Но потом представил себе нашу встречу (ведь не можем же мы быть вместе в Москве и не видеться!! не можем!) — и понял, что, напротив, ехать надо, надо, что это совпадение чисел не случайность, а Рок. Сколько времени пробуду вне Москвы — не знаю; может, неделю, может, две. Конечно, в эти дня я "не найду своего Бога", но по крайней мере овладею собой, своей волей. Помнишь, я смеялся над юным поэтом, который жаловался мне, что болен нейрастенией. Едва ли я не болен ею сам, хотя и стараюсь никому этого не показывать. Мне *надо, надо* бежать от всех, никого не видеть, даже Тебя.

Девочка, девочка моя! счастье мое! Доверься мне на этот раз, как не доверилась однажды, после Финляндии! Клянусь Тебе, что в моих словах нет лжи, нет обмана, нет лицемерия! Мне *нельзя* сейчас быть с Тобой, мне не должно сейчас упиться всей Твоей добротой, всей Твоей нежностью, всей Твоей любовью. Этот кубок — для меня смертельный яд... И для Тебя тоже! Дай мне бежать. Умоляю Тебя на коленях.

Против всех вероятий, во имя того, что в это почти нельзя верить, клянусь Тебе: люблю Тебя! люблю бесконечно! Тебя, одну Тебя, Тебя навсегда!

Твой

Валерий.

P.S. Здесь, на этом месте, в Post. Scr., замечаю, что еду я *не* один[7], ибо этому не должно быть места иного, как в Post. Scr., ибо это столь же незначительное добавление к сказанному, как P.S. к письму. Верь и этому!

[1] Ответ на п. 97. Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду п. 98.

[3] Подразумевается Московский Литературно-художественный кружок (Большая Дмитровка, дом Вострякова); Брюсов вошел в состав его дирекции в 1902 г. 8 мая 1907 г. Брюсов писал отцу: «Насчет директорства в Кружке Ты совершенно прав. К тому же у нас изобрели правило, что в дни своего дежурства директоры должны оставаться в кружке до его закрытия, т.е. до 6 1/2 утра! Каково? Сегодня мне это предстоит в первый раз. А платы почетной или жалованья за это никакого не платят, даже ужинать надо за свой счет! Долго это не выдержишь» (РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 9).

[4] Неточная цитата из стихотворения «В ответ» («Еще я долго поброжу...», 24 августа 1902 г.), входящего в раздел «Вступления» книги Брюсова «Urbi et Orbi»; в печатной редакции первая цитированная строка: «Нам кем-то высшим подвиг дан».

[5] См. примеч. 2 к п. 89.

[6] Отсылка к стихотворению Эдгара А. По «Улялюм» (в позднейшем переводе Брюсова — «Юлалюм»). Приводим перевод К. Бальмонта (*По Эдгар Аллан.* Стихотворения. М., 1988. С. 328):

Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю, — промолвила, — в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли, — в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья,
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли —
И влачились — влачились в пыли.

[7] Подразумевается: с женой.

100. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

17 июня 1906 г. Лидино[1]

17 июня

Милый, милый Валерий,

мне больно, — вот ты уедешь и увезешь обо мне дурную память, и будешь с радостью думать, что расстался со мной, и может быть, за этими горестными днями уже не увидишь ни моей нежности, ни любви. Только грубые слова запомнишь, только страшные сцены, и там, вдали, я буду представляться тебе неверно, искаженно, в образе не желанном, а мучительном, насильно врезавшемся в твою жизнь. И мне от этого больно, больно... Разве я хочу? Разве я хочу быть врагом самого святого в твоей жизни — твоей работы и лучшей части твоей души? Кроме всего, что встало так неизбежно и

доставляет страданья нестерпимые, я мучусь от сознания, что мешаю тебе, что в иные минуты ты проклинаешь меня. Ах, Валерий, последней нежностью и мягкостью и, может быть, кротостью пойми путь, которым, не желая, сламываясь, задыхаясь от боли, я прихожу к таким ужасным дням. Пойми и прости. Я, правда, минутами теряю сознание. Сколько нужно пережить внутри себя обиды, тоски и какого-то зверского страданья, чтобы говорить эти оскорбительн<ые> слова, чтобы радость, безмерная радость от твоей близости превращалась в эту муку и тягостность наших встреч. Верь мне, милый, я боролась и постоянно борюсь с теми мыслями, которые, приходя, отнимают у меня жизнь. Я живая, может быть, более, чем когда-либо. За этим туманом, ослепившим глаза, я еще чуть-чуть вижу иные очертания жизни. Я теперь, *наконец* во многом самом нужном тебе стала близкой той лучшей части твоей души, которую полюбила любовью почти религиозной. Я ведь не знала, *кто ты* — теперь знаю и люблю *тебя*, а не химеру своей души. Ах, я могла бы и работать, и жить, и быть везде твоей настоящей покорной ученицей. Именем твоим сумела бы вызвать то, что ты хочешь видеть во мне. Все это есть, я знаю, чувствую. Хаос прояснился бы, мы были бы близки настоящей, ясной близостью, прочной и ненарушимой, действительно — на всю жизнь. И вот — эта ужасная болезнь души, этот облик любви, овладевший мной, как демон. Он стоит на всех путях. Быть вечно втроем, подозревать, представлять в образах, завидовать, мучиться час за часом на медленном огне, думать, что ее ты считаешь более близкой, нужной, связанной до смерти, плотью от плоти...... Ах, стоять в стороне от многих радостей, щелкая зубами, как поджарый волк на той картинке.... Отдавать тебя всецело на те часы и дни, когда ты не бываешь со мной, видеть и в снах и наяву навсегда мне недоступную милую, тихую жизнь. Не иметь возможности никогда проявить своих самых трогательно простых и чистых желаний в отношении тебя, а быть только крестом, роком, проклятьем, мучительством. От непоправимости всего этого ожесточаться сердцем, терять свой настоящий образ, бросаться уж действительно в хаос от боли и чисто физической тоски. Милый, милый Валерий, неужели ты думаешь, что все это — зло для зла, неужели ты не видишь, что это то же прекрасное лицо любви, только оскорбленное, замученное, истерзанное болью? Я хочу быть другой, *я могу*! У меня для тебя есть все, только это *все* отточилось, как нож, обращенный на меня же. Милый, если еще нужна я тебе, если правда я занимаю какое-то место в твоей жизни, — *спаси это. Как* — не знаю,

не знаю. Но посмотри, — нить истончилась, я ведь действительно смотрю в лицо смерти безумным прикованным взглядом. На мне уже лежат склепные тени. День за днем кто-то отнимает от меня мою живую жизнь, и я превращаюсь в призрак, которому стыдно, и страшно, и больно с живыми. Я не лгу, ты знаешь и видишь. У меня не стало оправданья тех дней, которые я переживаю. Зачем встаю, зачем начинаю день? Чтобы преодолевать страх смерти. Животный, звериный страх от мысли, от ощущенья близости смерти. Разве не преступленье так жить? Всякая, даже маленькая сила души должна прилагаться к жизни, пока ты жив, а не разлагаться в земле. Я все это знаю, но мое отвращение к себе и к этим дням бездействия и тупой омрачающей боли доходит до последней черты. Пожалей меня какой-то настоящей действенной жалостью, как жалеют любимых, как может жалеть человек человека. Валерий, если даже ты уже не можешь сделать ничего и тебе кажется, что ты все сделал и делал, если мне не суждено вырваться из этого круга и он моя последняя Судьба, которой нужно покориться с покорностью быка на бойне, Валерий, дорогой, тогда об одном прошу я тебя, умоляю — посмотри на меня хотя раз через все это, через ужас, искаженье, безобразие, и прости, и пойми. И за вечерами и днями, которые страшно вспоминать, улыбнись моей любви к тебе. Она неизменна, нежна и светла, она сама замирает от ужаса. Валерий, любимый, прости, как прощают. Не вспоминай меня с отвращеньем. За каждое оскорбитель<ное> слово я кланяюсь тебе до земли и только прошу: прости! прости!

[1] Ответ на п. 99.

101. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

18 июня 1906 г. Москва[1]

18 июня 1906

Нина, счастье мое!

Люблю Тебя!

Твой

Валерий.

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы», перед отъездом из Москвы.

102. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

27 июня / 10 июля 1906 г. Висби[1]

Висби, 27 июня 1906, с. с.

Нина, девочка, дорогая, любимая, хорошая!

Дней десять, как я уехал из Москвы[2], и за это время я не написал Тебе ни строчки... Но Ты понимаешь, почему ни строчки. Трудно, мучительно трудно писать, когда не можешь сказать ничего хорошего. А я все тот же — изнеможенный, безвольный и бессильный. Все более и более подчиняюсь я не своей воле, а другой, которая хочет распоряжаться мной. Ах, почему это не Твоя воля! Помнишь, уже давно, давно говорил я Тебе: будь старшей, будь властной, приказывай, я буду повиноваться... И мне все кажется, что я протягиваю к Тебе руки сквозь клетку, но прутья клетки становятся всё толще, ряды этих прутьев всё учащаются и Ты — всё дальше, всё дальше от меня!

Есть в Балтийском море остров Готланд: низменный, плоский, известковый. В Средние Века на нем был могущественный город Висби. В XIV веке датчане взяли его приступом и разрушили до основания. Он никогда не мог оправиться. Теперь это груда торжественных и величественных развалин — стен, храмов, дворцов, — в которых ютятся жалкие хижины современных жителей да десяток домов новой архитектуры: гостиницы, банки, казармы... Над городом почти южное солнце. Кругом чахлая, хотя и тщательно поддерживаемая, растительность. По улицам, по дорогам, везде кругом — столбы, вихри, тучи известковой пыли. Пыль покрывает деревья сероватой пеленой; пыль закрывает небо; пыль осыпает идущего с ног до головы; пыль набивается в нос, в рот, в глаза, душит, слепит... Остается только одно: бежать к морю, к самому морю, на прибрежный камень, и там под яростным солнцем, но под свежим веяньем из дали — лежать и смотреть в безбрежность...

Нина! Нина! Нина! Я чувствую себя погибающим. Мне кажется, что для меня не осталось ничего больше, как лежать на этом камне и смотреть в море. Уже сколько месяцев ищу я — и во внешнем, и внутри себя — возможности жить и не нахожу. Я испытываю нечто подобное тому (хотя совсем по другим причинам), что Ты — полтора года назад. Я испытываю омертвение души, словно она — мертвая, а жив я без нее. Я вижу море, на которое когда-то мы смотрели с Тобой, на которое когда-то я смотрел детски-дерзкими глазами, и вспоминаю, и помню, какой жизнью,

каким трепетом наполняло оно меня! Ведь оно не изменилось, ведь оно то же, мощное, великое, прекрасное, как в мою юность, как в дни юности мира: почему же нет этой юности, мощи и красоты во мне! Разве я не хочу быть молодым? разве я не хочу быть красивым? Но моя душа — бессилие, прах, тлен, переживание прошлого, отживание последних зеленых листочков. Но неужели же мне в жизни лежать упавшим деревом, над которым будут свиваться молодые лианы и разрастаться новые побеги?

Нина, прости, что я все говорю о себе. Что могу я сказать *Тебе*! Сказать, что я люблю Тебя, что лучшая часть души моей, последняя ее живая часть, отдана Тебе, что нет дня, что нет *часа*, когда бы я не думал о Тебе! Но Ты горько возразишь мне моими словами: любовь без дел мертва. И будешь права, и у меня не будет слов, чтоб сказать что-нибудь в ответ. У Тебя я могу вымаливать только милости, только снисхождения. Ты мне скажешь: доколе? Ах, не семь раз, а семью раз семьдесят... Прости мне, Нина, если можешь, прости мне мои слова, мои поступки. Сердце мое чисто перед Тобой, но я знаю, что сердца увидать невозможно. И одна моя просьба к Тебе, как всегда: *верь*, что мне плохо, очень плохо, что хорошо мне бывает и может быть только с Тобой.

Плачу, целую Твои руки, не смею смотреть на Тебя...

Твой, *только Твой*, всегда Твой

Валерий.

P.S. Дошло ли мое длинное письмо, писанное когда-то в клубе?[3]

Если бы Ты захотела написать мне (Боже мой, что испытаю я, узнав Твой почерк на конверте!), то надо писать (точно) следующий длинный адрес:

Швеция, остров Готланд, город Висби, до востребования Аврелию[4], Sverige, Gotland, Wisby, Strandgatan, Kongl. Postkontor, post<e>-restante, Aurelio.

Я здесь пробуду еще дней 10—12.

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Ср. сообщение в письме М.Ф. Ликиардопуло к Б.А. Садовскому от 21 июня 1906 г.: «В.Я. уехал месяца на 2 <...>» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 85). 23 июня Брюсов писал С.А. Венгерову из Стокгольма: «Я таки не выдержал жары и бежал из Москвы» (Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1938. Вып. 1. С. 311 / Публ. Н.Л. Степанова). Отъезд был неожиданным для всех, что особенно возмущало впоследствии Петровскую. В ретроспективной дневниковой записи Брюсов рассказывал: «Летом полтора месяца мы

провели в Швеции. Ехали через Петербург (где видел лишь В. Иванова) на Стокгольм, жили сначала в Стокгольме, потом в Висби на Готланде, потом в Нюнесгамне, близ Стокгольма. Уехали раньше, чем думали, опасаясь всеобщей забастовки в России. Швеция — оригинал, с которого Финляндия — список. Миры шхер и озер очаровательны. Я полюбил север, граниты, мох, сосны. Шведы все были очень приветливы. В Nyneshamn'e познакомился с художником Emil Osterman. Говорил по-немецки, частью по-шведски, читал шведские газеты. Был на выставке в Норчопинге. — Позднее по переписке познакомился с Alf. Jensen и он написал обо мне несколько статей в шведских газетах и журналах» (*Дневники*. С. 138, с уточнениями по оригиналу). 4 июля (ст. ст.) он описывал свои впечатления Г.Г. Бахману: «Очень я устал за эту зиму и очень стремился уехать. Прямо бежал из Москвы, бросив всякие дела незаконченными. Здесь не очень хорошо. Правда, есть море, открытое, часто бурное, и есть развалины древнего ганзейского Висби, но это и все. Новый город слишком мал для гигантских старинных стен XIV века, и в них вмещаются не только дома, но и новые парки, огороды и просто пустыри. Из 12 средневековых церквей от 11 уцелели только жалостные руины, одну безобразно перестроили. Новому городу довольно ее да еще одной маленькой новопостроенной кирки. Остров — плоский, известковый, и над ним вечно носятся облака белой пыли, залепляя глаза и не давая дышать. В гаваии вечно вертятся всё одни и те же 3—4 пароходика, ходяшие в Стокгольм и Норчёппинг, где теперь выставка. Думаю, здесь было лучше, веселее, живее и торжественнее, когда Висби был главою Ганзы, когда женщины одевались в национальные, многокрасочные одежды, когда у пристани толпились корабли со всего балтийского побережья! Пытаюсь здесь отдохнуть от русской действительности. Читаю только шведские газеты, которые, впрочем, посвящают России по 3, по 4 столбца. Усердно изучаю шведский язык» (РГБ. Ф. 386. Карт. 70. Ед. хр. 6).

[3] Имеется в виду п. 99.

[4] *Аврелий* — один из литературных псевдонимов Брюсова.

103. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

2/15 июля 1906 г. Висби[1]

Висби, 2 июля 1906

Нина, дорогая!

Мне здесь все вспоминается стих Бальмонта:

О да, я помню, да, я был живым
Когда-то![2]

Воистину, все прошлое, даже недавнее, наши встречи, наши ласки, мне кажется далеким и невозможным сном. Словно я другой. Словно между этим мной и тем лежат долгие годы. Есть у К. Павловой поэма (перевод из Шамиссо), которую я Тебе читал однажды (она Тебе не понравилась). Там выброшенный на пустынный остров, после нескольких десятков лет жизни вне людей,

вспоминает свою первую любовь, отдается счастливым видениям и вдруг прерывает их:

— Ты лживая мечта!
Ведь над тобой в отечестве далеком
Лежит давно могильная плита![3]

Что, если и наша любовь, воспоминаниями о которой я тешу себя, тоже уже лживая мечта, тоже уже лежит под могильной плитой! Как давно я ничего не знаю о Тебе. Быть может, Ты уже другая! Быть может, я, обращая к Тебе эти строки, обращаю их к призраку. Есть погасшие звезды, свет которых еще скользит в пространствах и еще кажется с нашей земли звездой. Не такая ли погасшая звезда Твоя любовь, та, которой я молюсь здесь, с моей темной земли. И не должно ли мне повторять стихи Фета:

Так и по смерти лететь мне стихами, —
К призраку звезд буду призраком вздоха![4]

Твой
Валерий.

P.S. Дня через три уезжаем отсюда. Куда, *я* не знаю. Кажется, еще не в Москву.

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы». Почтовый штемпель получения: Москва. 5.7.06.

[2] См. примеч. 3 к п. 21.

[3] Неточная цитата из поэмы Людвига фон Шамиссо «Salas y Gomez» в переводе К.К. Павловой (1855), опубликованном в ее сборнике «Стихотворения» (М., 1863). См.: *Павлова Каролина*. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964. С. 397 («Библиотека поэта». Большая серия).

[4] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Угасшим звездам» («Долго ль впивать мне мерцание ваше...», 1890).

104. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

6/19 июля 1906 г. Висби[1]

6 июля 1906. Висби

Нина, радость моя, счастье мое! Я не могу, не в силах пересказать Тебе все, что я испытал, получив Твое письмо[2] — здесь, на чуждбине <так!>. Чиновник, говоривший на непонятном для меня языке (готландское наречие), не хотел отдавать мне письма (*не надо* писать заказным на псевдоним[3], ибо спрашивают паспорт).

У меня сердце упало: видеть Твое письмо перед собой и не иметь права прочесть его, взять его, поцеловать его!.. И, наконец, получив его, безумный от радости, я убежал к моему морю, на мой камень, где пена заливает мне ноги, лег там, упал и читал Твои строки, Твои слова, линии, написанные Твоей рукой. Ах! радость иногда бывает мучительна, как прикосновение лезвия, и в любви есть неизмеримость горечи.

Нина! Нина! нет никого на свете, кого бы я любил, кроме Тебя, кому бы я хотел говорить слова любви, к чьей руке я хотел бы прикасаться губами любви. Для меня нет в жизни другого счастья, как быть с Тобой, около Тебя, знать, ощущать, что Ты близко. И неужели Ты не знала, хотя мне стыдно было сказать это, что это море, что эти сосны — мне мучение; что каждая волна, каждый луч солнца отравляют меня воспоминанием о прошлом. Переживать что-либо без Тебя, хотя бы впечатления заката, для меня только боль. И все дни мои здесь большее, трижды, десять раз больше мучительство, чем то, на какое я иногда жаловался зимой.

Ты спросишь меня, кто же присудил меня к этой тюрьме. У меня нет сейчас мужества написать те слова, из которых слагается ответ, хотя и знаю их уже, быть может. Чтобы разрешить завязанный узел наших жизней, мне надо было бы быть лучезарным Александром, сыном бога солнца, поднявшим меч в Гордии[4], а я — как это северное небо, вечно неуверенное над вечно неуверенным морем. Из тех жизней, которые задыхаются в этом гордиевом узле, мне предоставлено сделать счастливой лишь одну (хотя бы *свою*, но не две), а я обрекаю все их на мучения (и прежде всего — *себя*). Когда передо мной выбор двух жребиев, я непременно беру тот, который мучительнее *для меня*.

А та «просьба», о которой Ты так робко пишешь в своем письме, разве же это не моя затаенная мольба к Тебе, не мое последнее желание, не моя последняя надежда. О если б Ты мне повторила ее еще раз, лицом к лицу, как зов к немыслимому, к осуществленной сказке, к чуду! Дай мне жить надеждой, мечтой, верой! — Здесь мне часто (ах, слишком часто) снятся счастливые сны: проснусь — нет ничего, нет Тебя, чужбина, темное отчаянье. Что, если, проснувшись от ужаса этих дней, я не найду Тебя той, с которой я сейчас, которой пишу это письмо, Тебя Твоего письма! Страшно увидать Тебя иной, страшно. И так непривычно поверить в счастье. Да<й> мне его, потому что

только в нем, быть может, еще бьют ключи живой воды, без которой я умираю.

Нина, Нина! Будь той, которую я люблю, чтоб я мог молиться Тебе, ублажать Тебя на коленях, простирать к Тебе руки, как сейчас пред этим бесстрастным морем и пред этим безответным небом. В пространство, к вечно пылающему солнцу, кричу: люблю Тебя! Падаю, умираю, убиваю Тебя и повторяю: я — Твой!

Валерий.

P.S. Через день, через два наконец уезжаю отсюда[5]. *Все* пароходы с острова идут в Стокгольм. Если можешь, если решишься, напиши мне: Stockholm, Kgl. Posthuset. Vasa-Gatan, post<e> restante. Aurelio (*не* заказным).

P.S. Прости помарки, неясности, — почтовый пароход отходит через несколько минут. Пишу письмо, не телеграмму, ибо что скажешь в телеграмме, которую вдобавок передадут неверно!

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Это письмо Петровской, видимо, в архиве Брюсова не сохранилось.

[3] Псевдоним «Аврелий», который Брюсов предложил Петровской указывать на конверте как обозначение адресата (см. п. 102).

[4] Имеется в виду Александр Македонский (356—323 до н.э.), которому античная традиция приписывала божественное происхождение; согласно Плутарху («Александр», XVIII), Александр, взяв город Гордий, «увидел знаменитую колесницу, дышло которой было скреплено с ярмом кизиловой корою, и услышал предание <...>, будто тому, кто развяжет узел, закреплявший ярмо, суждено стать царем всего мира <...> Александр не сумел его развязать и разрубил мечом» (*Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: В 3 т. М., 1963. Т. 2. С. 407 / Пер. М.Н. Ботвинника и И.А. Перельмутера).

[5] Ср. сообщение в письме Брюсова из Висби от 7/20 июля 1906 г. к С.А. Полякову: «Завтра мы уезжаем с Готланда. В общем здесь довольно-таки плохо» (*ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 110).

105. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

14/27 июля 1906 г.[1]

Морской залив

Морской залив, вошедший в сушу
Так глубоко!

Твою мечтательную душу
Понять легко!

Скале недвижной и холодной
Ты весть принес,
Что есть раздолье зыби водной
И буйство грез.

Но между мхов и сосен сонных
Ты сам застыл,
Забыл мятеж глубин бездонных
И спишь без сил...[2]

906, июль

Валерий Брюсов.

Нина, радость моя! счастье мое! Эти стихи скажут Тебе лучше письма все, что сейчас в моей душе. Известия из России остановили было меня[3]: могло случиться, что, доехав до Риги, пришлось бы там остаться. Теперь, кажется, выяснилось, что бояться этого нечего. Пароход на Ригу выходит в четверг...[4] Напиши хоть слово в «Скорпион». Мож<ет> б<ыть>, еще получу здесь Твое письмо... Не знаю, что буду делать в Москве. Хочу увидеть Тебя. Хочу, чтобы Ты говорила мне. Люблю Тебя.

Всегда и всегда Твой
Валерий.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы». Почтовый штемпель отправления: 27.7.1906; получения: Москва. 18.7.06. Написано либо в Стокгольме, либо в Нюнесхемне (близ Стокгольма).

[2] Впервые опубликовано в измененной редакции, в составе четырех строф и под заглавием «В шхерах» в составе цикла «В Швеции» (Весы. 1906. № 9), под тем же заглавием вошло в раздел «На гранитах» книги Брюсова «Все напевы» (I, 458—459).

[3] Подразумеваются, видимо, известия о забастовках в Москве; ср. письмо Брюсова к С.А. Полякову от 7/20 июля 1906 г.: «Надеемся <...>, что забастовка пекарей не погубила никого в Москве. Шведские газеты пишут, что в Москве паника. Не очень верим» (*ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 110).

[4] *Четверг* — 20 июля / 3 августа.

106. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

21 июля / 3 августа 1906 г. Стокгольм[1]

Стокгольм 21 июля 1906

Снова долгий тихий вечер.
Снова море, снова скалы,
Солнце снова искры мечет
Над водой роскошно-алой.

И не зная, здесь я, нет ли,
Чем дышу — мечтой иль горем,
Запад гаснет, пышно светел,
Над безумно светлым морем.

Им бесстрастным, им бессмертным,
Чтó до наших бледных песен!
Им от века безответным
Буйный зов наш неизвестен.

Волны быстро нижут кольца,
Кольца рдяного заката...
Сердце! сердце! успокойся:
Всё — навек! всё — без возврата![2]

В.

Нина! дорогая, хорошая, желанная, любимая! Я получил Твое письмо, прекрасное, светлое[3]. Читая его, словно был с Тобой, близко, близко. Да, Ты права! Никогда, никогда не изведать мне того, что я знал с Тобой и что *вновь* мне доступно лишь с Тобой. Прости последние два стиха в стихотворении, которое посылаю. Оно написано до Твоего письма. Сейчас я не сказал бы этих последних слов. Но в целом это — вновь «вечеровая песнь»[4], одна из прошлогодних, потому что в душе моей нет ничего, кроме прошлого, потому что жива она только тогда, когда в ней — Ты. Я не устану повторять, что вне Тебя для меня нет жизни. Все, что без Тебя, может быть чем хочешь, падением или подвигом, бездействием или творчеством, но всегда будет отречением от жизни. Потому что я люблю Тебя, только Тебя, и только люблю.

Не пишу больше, ибо почти одновременно с этим письмом буду в Москве. Пароход на Ригу я пропустил (не по своей вине). Приходится ехать на Петербург, если не ждать целую неделю. На беду два рейса на Петербург были отменены ввиду беспорядков в Свеаборге[5], и я мог получить билет лишь *на воскресенье*[6]. В Петербурге буду во вторник[7]. М<ожет> б<ыть>, пробуду там день, м<ожет> б<ыть>, нет. В Москве буду в среду или в четверг. Мысль о том, что там Ты, кружит голову. Как увидать Тебя? Что я посмею сказать? Что отвечу? Как буду молчать? Хочется, увидав Тебя, стать на колени, положить голову Тебе на руки и не говорить, не спрашивать, не отвечать. Напиши мне в «Скорпион» (или скажи по телефону), чтó Ты хочешь. Можно ли нам встретиться, или нельзя, не должно. *Ибо может быть не должно*! Если Ты мне скажешь «нет», разве я посмею спорить, разве не будет это справедливо? Но скажи «да»! Нина! Нина! Еще и еще раз скажи «да», потому что у любви не может быть пределов, не может быть возмездий! Не ради меня, а ради своей любви, скажи «да»! — потому что я одного хочу: видеть Тебя; к одному простираю руки: к Твоему образу. Потому что я люблю Тебя, только Тебя и только люблю!

И, как всегда, когда пишу письмо Тебе, теряю связь слов, не могу говорить рассудительно, не могу даже писать ровным, твердым, *своим* почерком. Прости и это, всё прости, у меня одна просьба: *прости*.

Твой, только Твой

Валерий.

P.S. Письма Твоего от 6-го *не* получил. Это мое *седьмое* письмо: все ли дошли?

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Впервые опубликовано (в исправленной редакции, другой вариант 3-й строфы) под заглавием «На гранитах» в составе цикла «В Швеции» (Весы. 1906. № 9), под тем же заглавием вошло в раздел «На гранитах» книги Брюсова «Все напевы» (I, 455).

[3] Это письмо, видимо, в архиве Брюсова не сохранилось.

[4] Подразумевается раздел «Вечеровые песни», в первом издании книги Брюсова «Στέφανος. Венок» включавший стихотворения, написанные в июне 1905 г. на Сайме.

[5] Имеется в виду восстание матросов в Свеаборге (город с базой Балтийского флота на острове около Гельсингфорса), поддержанное финскими рабочими (17—20 июля 1906 г.).

[6] 23 июля ст. ст.

[7] 25 июля. 29 июля Брюсов сообщал С.А. Венгерову: «Теперь я вновь в Москве<...>» (Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1938. Вып. I. С. 313).

107. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

22 июля 1906 г. Москва[1]

Москва 22 июля

Валерий милый,
пишу, как ты говорил, уже в «Скорпион»[2], хотя твое письмо от 17-го[3] поколебало мою надежду скоро увидеть тебя. Но все равно, когда бы ты ни приехал, — оно дождется тебя. Я все время в Москве и совершенно одна. Когда приедешь, *напиши мне записку и назначь час* (только вечером, пожалуйста, хочется увидеть тебя *не* на минутку). Не хочется говорить по телефону, — эта мучительная связанность слов после долгих дней.... Напиши и приди, когда захочешь, я совершенно одна и вечера и дни. С той квартиры мы переехали, вот мой новый адрес: Арбат. Большой Николо-Песковский пер. д. кн. Голицына. Кв. 28 (4-й этаж) со двора. Жду тебя! Люблю тебя!

Неужели ты не получил 2-х моих писем? Одно я послала в Висби (это уже было 2-е по счету) в надежде, что его тебе перешлют. Но еще не знала, что нельзя писать заказным, и оно было заказное, а следующее, по моим соображениям, ты должен был получить 17-го — 18-го уже в Стокгольме. Неужели и этого не получил?

И ты все сомневаешься.... Но *как, отчего* я могу измениться?!

Ах, как хочется тебя видеть! Валерий, Валерий, бесконечно длинны эти дни, просто уже не верится, что опять будем близко, столько угрожающих призраков со всех сторон.

Неужели ждать еще недели и недели!...

Милый, приди, я люблю тебя еще больше.

Не бойся встречи, нам будет хорошо.

Милый, милый....

---

[1] См. п. 105.

[2] Это письмо Брюсова, видимо, не сохранилось.

108. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

27 июля 1906 г. Москва

Четверг 27 июля

Дорогой,

Это второе письмо в «Скорпион». Конечно, *да*, конечно, хочу тебя видеть, о, больше чем просто хочу.

В первом письме[1] я просила тебя только написать час, когда ты можешь быть со мной. Но вчера ночью приехал Владька[2] и будет у нас дня два. Что же делать! Ведь нельзя прогнать, хотя хотелось бы.

Потому ты напиши мне, *где* мы встретимся. Может быть, там же на Никитс<ком> бульваре?[3]

Напиши об этом или скажи по телефону. (Буду ждать телеф<она> от 3-х до 4 ½.)

Если напишешь, то: Арбат. Больш. Николо-Песковский пер. д. Голицына. Кв. 28.

Дай увидеть тебя! Я люблю тебя, милый. *Ответь сегодня же.* М<ожет> б<ыть>, наши письма разойдутся и ты больше не придешь в «Скорпион».

Тогда все равно, можно встретиться у меня и уйти.

Я жду, очень жду...

---

[1] См. п. 107.

[2] В.Ф. Ходасевич.

[3] Ср. пп. 71, 74.

109. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

6 августа 1906 г. Москва

Валерий, милый, любимый,

вчера я была с тобой совсем немая, хотела говорить и не могла и не умела, хотела быть радостной, а губы не улыбались. И страшно мне сегодня, что в эти минуты ты не вполне понимал меня и думал что-нибудь тяжелое, печальное. Милый, милый, прости мне сейчас и молчаливость и неуменье радоваться совсем, до конца, и этот страх, что иногда является в моей душе.

Не думай ничего дурного, — это только следы прошлой боли, усталость от острого отчаяния последнего месяца и еще что-то совсем внешнее, только телесное. Верь, мой дорогой, я совсем, совсем счастлива. И если *ты* — не сон, если останутся у тебя эти глаза, если не перестанут звучать слова, в которые так страшно и сладко верить, — я скоро, скоро оживу, научусь улыбаться, смеяться, радоваться. Буду какой ты хочешь меня, только *пока* прости мне минуты, в которые я огорчаю тебя своим видом. Валерий, Валерий, минутами твоя нежность, *эта* нежность, о которой я только с тайной болью тосковала целый год, пугает меня больше твоей прошлой суровости. Вдруг протяну уже к ней руки, захочу взять, все ощутить, упиться ей после долгой, долгой печали, — а ты изменишься, разлюбишь, уйдешь.... Валерий! Неужели это возможно?!...

И когда я так подумаю, опять падает сердце и душа замирает. И хочется говорить — «не надо, не надо!» Страшно новой боли. Я очень замучилась в прошлом. Возможно ли *так* еще?.. Не знаю. Но если *ты захочешь*, я поверю, и улетят последние тени. Только прости меня сейчас, и верь, и знай всегда, во все дни, *что ты моя жизнь*, вся жизнь, всё. Ах, что слова! Ну посмотри на меня, возьми душу!

И еще... Валерий, близкий, дорогой, я умоляю тебя, — не делай ничего *для меня*. Вот теперь, в эти дни, когда вернулся ты ко мне, когда говоришь, что любишь, и слово это зазвучало *еще* по-новому, — будь со мной совсем просто, не бойся меня. Говори все, не *заставляй* себя ничего *для меня*. Доверимся друг другу, пусть придет последняя прозрачная ясность. Я буду счастлива в те минуты, когда у нас будут *одни* желанья, и буду столько же, так же любить тебя всегда, всегда. Не нарушай в твоей жизни ничего *для меня*, будь со мной, когда только хочешь *ты*. Я хочу быть твоей *радостью* светлой и *легкой*.

Милый, я говорю совсем серьезно, и не только отвлеченно. За каждым словом моим есть определенный реальный образ. Но я не боюсь ничего. Я хочу отдать тебе всю любовь, всю себя, чтобы всегда ты чувствовал эту безмерность и верил мне, верил, Валерий!....

Воскресенье

6 августа.

P.S. Я *пишу* потому, что знаю невозможность сказать все это по телефону.

110. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

25 августа 1906 г. Москва

Валерий, милый,
откуда, откуда возникает вновь все то, о чем уж я без дрожи не могу думать? Эти встречи, которые кончаются отчаянием, боязнь друг друга, недоговоренный холод отчужденья.... Этого ли хотела я, ожидая тебя в июле!..

Помнишь, когда мы в первый раз встретились и еще несколько свиданий нам обоим казалось, что поняли мы что-то до конца, говорили о ясности, и близилась она; казалось, осталась ничтожная преграда, не трудная для нас. У тебя были милые, милые нежные глаза, сияло в твоем лице что-то новое, преображенное, ты говорил слова, которых я не слыхала давно, давно. Только память о слишком еще близкой боли не давала мне доверчиво кинуться в эту нежданную сказочную радость. Страшно было *произнести*: «я верю, вижу, я знаю», хотя я уже верила и знала. А потом, я не могу уловить момента, когда именно, но я стала видеть, что ты меняешься, перестаешь понимать меня, что-то чуждое легло на твоем лице. Ах, невольно стал мне вспоминаться прошлый год! Ты скажешь, что это не правда, что ты не чувствуешь в себе никакой перемены, но ведь ты *никогда* не сознавался мне, *всегда* отрицал, негодовал и только после говорил, что я была права. Я так к тебе привыкла, так я знаю все малейшие оттенки выражения твоего лица, так чувствую тебя, что не могу впасть в грубую ошибку. Может быть, все это пока незначительно. Прежде у нас и во всяких других отношениях, когда «любят, как любят», это прошло бы незамеченным. Но после этих двух лет, после необычайности всего пережитого у меня явилось страстное непобедимое стремление к последнему идеальному образу любви. Хочу немыслимой близости, хочу быть с тобой как наедине с собой, ясности хочу, не бояться тебя, не таить, не замалчивать. Хочу всей полноты любви *твоей и своей*, и потому так особенно горько теперь чувствовать, что между нами все же какая-то стена, которую мы не умеем разрушить. Нам нельзя уже быть на поверхности, ты сам сознал это. *Ты* говорил так недавно. А после попыток первых, самых первых встреч я с ужасом чувствую, что в этом смысле мы не только не идем вперед, а движемся назад в окончательную немую безнадежность. После некоторых усилий мы оба, конечно, могли бы создать новую форму отношений.

Научились бы с осторожностью скользить, не падая, над пропастями, касаться друг друга с равнодушной нежностью, с ловкостью избегать всего слишком острого, сделали бы хорошие маски, похожие на лица. И так бы шли дни, недели, м<ожет> б<ыть>, месяцы. Но *куда же* ведет такой путь? Мы бы вместе убили любовь. Ты часто упрекаешь меня за чрезмерную рассудочность, видишь в ней лишь дурной знак. Но, пойми, я печалюсь, и думаю, и говорю только потому, что безумно боюсь потерять то, в чем одном вся моя жизнь. Валерий, ты видишь, ты чувствуешь, мы опять идем в лабиринт. Нужно разом что-то разрушить, нужно не бояться трудности этого. Тут я вхожу в мир самых неясных предначертаний и ощущений и потому не нахожу точных, самых подходящих слов. Что нужно сделать? Как? Что говорить? Не знаю, не знаю, но чувствую, что мы на роковой черте. Нужно или победить, рассеять туман, ослепляющий глаза, или скоро совсем и навсегда отказаться даже от этих мыслей и остаться в области полу-слов, полу-близости..... полу-любви. Если бы ты понимал меня сейчас! Ах, не бойся ты меня, не старайся увидать за моими словами какие-то безмерные реальные требования, посягательство на твою свободу, жизнь, желание *нарушить* и какой-то грубый торг. Правда, — любовь все прощает и ничего не требует. И сам ты вспомнишь, — все было, как *ты* хочешь, и я не прошу ничего, и все принимаю, и люблю тебя всегда, во все минуты, какими бы они ни были для меня. Ты хочешь радости и счастья, беззаботных улыбок, легкости, — *и я хочу* Но чтобы это было, нужно *и мне* ощутить вполне это слово «Любовь». Нужно и мне совсем забыть печаль. И вот я жду тебя совсем близкого, с тем лицом, которое мне видится в мечте, с душой, которую ничто, никакие тени не могли бы закрыть от меня. Валерий, милый Валерий, не сердись на меня, не досадуй, что не умею я сейчас без мысли, как в ласковом сне, предаваться минутам, а все спускаюсь в печальные глубины, все оглядываюсь назад.

Я хочу нового, хочу быть с тобой, я верю в счастье и печалюсь, печалю<сь> без конца, когда вижу, что ты опять какой-то не свободный, точно чего-то боишься, чего-то не хочешь потерять, как будто я хочу *отнять*, а не *дать*.

Милый, не бойся меня, не бойся ничего. То, что у нас, то, что с нами, — расцвет, весна, которой не повториться никогда. Зачем же мы сами так безжалостно рвем и бросаем цветы? Зачем, Валерий?

Не сердись за это письмо. В нем тоже полу-мысли, полу-слова, но я зову тебя к иному, и обещаю, и клянусь, что преодолею всякие трудности, только чтобы не остаться в этом томленьи. Валерий, ты слышишь? Хочешь?

25 августа 1906.

111. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

29 августа 1906 г. Москва

Валерий, Валерий!

пусть все будет так, как хочешь ты. Всегда для тебя, мне же не нужно ничего, кроме одного твоего слова «люблю». Не думай обо мне дурно, ни одна черта не нарушила того образа, который ты видишь, знаешь и любишь во мне. Мы оба говорили вчера страшные, неверные слова, я не хочу их помнить — они последние отблески чего-то уже давно умершего в моей душе, голос ветхого человека. Мне стыдно за них, мне больно, что я могла оскорбить тебя, и я прошу тебя просто — прости, прости! Я знаю все о тебе и все люблю, и если иное еще трудно мне принять и понять до конца, — не негодуй на это. Я научусь любить тебя так, как нужно любить *тебя*, и скоро, скоро, верь мне, Валерий, исчезнут последние углы, последние острия. Посмотри, как я изменилась с тобой, около тебя. И радуюсь этому беспредельно, и ничего не хочу из прошлого. Ах, верь *мне*, моей жизни, каждому дню ее больше, чем минутным жестоким словам. Что слова! Сколько противоречий в них было и у тебя и у меня, какими жестокостями мы ни мучили друг друга, — но ведь мы *вместе*, все же вместе и не можем быть друг без друга. Я поверила в это, я узнала это окончательно, и бесполезно бороться, уклоняться. Осталось мне одно навсегда, на всю жизнь — любить тебя и радостно, без напрасной боли отдать тебе всю душу до предела, до конца. Будь всегда таким, как ты есть, не сламывай для меня *никогда* ничего. Люблю тебя, буду любить тебя! Никуда не уйду и с восторгом вижу, что замкнулся круг и *некуда* мне уйти.

Валерий, прости меня за все! Мне так больно сегодня. Каждое мое слово из вчерашнего разговора мучит меня сегодня болью и стыдом. Неужели не веришь, неужели не чувствуешь последней искренности покаяния?

Валерий, милый, любимый, будем близкими! Не ставь мне в счет этих дней! Посмотри на них иначе, чем на подобное же в прошлом. Мне кажется, что с болью, с трудом через них мы идем

к тому, чего так сильно хотим оба. И нет у меня ощущенья безнадежности прошлого года, я верю, верю. Верю тебе, себе верю, верю в то *навсегда*, которое прежде казалось только красивым, увлекающим словом.

Если ты будешь сегодня в Скорпионе, скажи мне хотя одно слово.

Зверочек, а глаз твой?... Я безумно тревожусь. Неужели случится что-нибудь серьезное и он разболится. Расскажи мне, *где, собственно*, ты уколол об мою проклятую булавку? Милый зверочек, прости и это. Разве я хотела!?.. Всю ночь думала об этом, и сейчас, и боюсь ужасно. Скажи же мне, я так тревожусь.

Даже тут чувствую еще раз, что мы совсем одно, все, что с тобой, так же, так же, как ты, ощущаю я. Милый, милый, милый, люблю тебя, люблю!..

29 августа

112. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

Сентябрь 1906 г. Москва

Сент. 1906

Нина, дорогая, хорошая, милая, желанная, маленькая! Не сердись на меня, помни меня, люби меня, верь мне немножко. А я Тебя люблю. Стали ли мы басней на Вашей лестнице? Посылаю Тебе стихи, написать которые обещал давно, давно[1]. Вчера написал, возвращаясь домой. Не знаю, удастся ли мне сегодня услыхать Твой голос. Все тот же Поярков очень уж умоляет в письме непременно увидать его — надо пойти[2]. А потом надо «принять» от Ликиардопуло дела по «Весам», ибо он уезжает[3]. Видишь, всё дела. Только Ты не сердись на это, ибо и сам я хотел бы вынырнуть из этого омута мелких дел и обязанностей, но как. Вот клянусь, не знаю. Ты когда-то обещала вытащить меня, как утопающего «за волосы», а потом говоришь: «Жалко, тебе будет больно». Хочется опять наклониться к Тебе близко-близко, чтобы увидать эту слезиночку в Твоем глазе. Люблю Тебя, Нина.

Твой

Валерий.

---

[1] Автограф при письме не сохранился. О каком именно стихотворении идет речь, неясно.

[2] Среди писем Н.Е. Пояркова к Брюсову (РГБ. Ф. 386. Карт. 99. Ед. хр. 35) такого письма не обнаружено. Поярков страдал тяжелым заболеванием, лишавшим его возможности двигаться, и литературные знакомые почитали своим долгом помогать ему.

[3] М.Ф. Ликиардопуло уехал в Берлин около 10 сентября. Письмо его к Брюсову с сообщением берлинского адреса отправлено 13/26 октября (РГБ. Ф. 386. Карт. 92. Ед. хр. 22. Л. 19).

113. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

30 сентября 1906 г. Москва[1]

30 сент. 1906

Нина, дорогая, милая!

Окружили меня какие-то «дела» и «обязанности». Не хочется после Твоих ласковых слов, после Твоих «похвал» увидать полуупрек в Твоих глазах, услыхать его в Твоем голосе. Приду к Тебе (и, конечно, конечно, скоро) таким, каким Ты меня хочешь. Ибо — люблю Тебя. Ибо —

я — Твой

Валерий.

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

114. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

2 ноября 1906 г. Петербург[1]

Нинка! Нинка! милая! хорошая!

Спасибо за телеграмму[2].

Люблю Тебя,

Твой

Валерий.

P.S. Сегодня напишу длинное письмо.

1906, Пб.

[1] Закрытое письмо — «секретка». Почтовый штемпель получения: Москва. 3.11.06.

[2] Этой телеграммой (текст не сохранился) Петровская, видимо, извещала Брюсова о возвращении в Москву из Петербурга, где они провели вместе несколько дней

(Брюсов прибыл в Петербург не позднее 26 октября 1906 г.; см.: *Кузмин М.* Дневник 1905—1907. СПб., 2000. С. 249).

115. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

3 ноября 1906 г. Москва[1]

Пятница, утро

Валерий, зверочек мой любимый,
только сегодня могу писать, и это письмо сегодня же сама отвезу к почтовому поезду. Я все еще в тумане и во сне, слышу только твои слова, еще вижу тебя близко, близко. Всю нежность твою еще переживаю я и берегу мою душу. Милый, милый, как трудно расставаться с тобой! После дней с тобой всё — и люди, и стены, и эта «моя жизнь» стали еще более чужими. И я среди всего, преданная только любви к тебе, — как призрак, как тень. Сразу вокруг меня возникла щемящая тишина, точно чертой отделилась я от всего. Чувствую себя чужой всему, чувствую все чуждым мне.

Вспоминаю все дни, как один, все дорогие. И грустно мне, грустно... Приходят на память опять смешные слова о «солдате», и я улыбаюсь сквозь слезы, говоря их. Но «расстроилась» я иначе, чем прежде. Где-то глубоко, глубоко возникла грустная поющая нежность, в которой потонуло все темное этой осени, — все обиды, печали, боль недоверия. С упоеньем, с новой, еще незнакомой радостью мне хочется говорить: «я верю, верю тебе». Мне все без слов сказало твое лицо в последний день, твои нежные глаза. Валерий, Валерий, не уходи от меня никогда, поверь и ты, будем близкими, родными всю жизнь. Эти дни в Петербурге, несмотря ни на что, вопреки всему кажутся мне той желанной последней ступенью близости, которую мы так томительно и долго искали всю осень. И хочется встать перед тобой на колени, долго, долго целовать твои руки и, не поднимая глаз, просить тебя: «прости, прости все». Прости все мучительства вольные и невольные; обижая тебя, я разрывала и свою душу. Любовью твоей прости и пойми. Ведь чем сильнее я тебя люблю, тем острее в иные минуты боль от того, что жизнь сложилась *не так*.... Твоя жена, может быть, уже совсем безвинно *теперь* воплощает это *не так*, но ведь больно! В каждом дне, в каждой ночи последнего времени перед отъездом были минуты, когда я падала в отчаянии от того,

что все безнадежно навсегда. Это единственная настоящая, глубокая и серьезная печаль всей моей жизни. Ты пойми ее просто ясно. Для того, чтобы пережить ее, мне нужна только одна *вера* в тебя, в твои слова, во всю твою любовь. И я уже верю, Валерий. Ах, казалось невозможным, чудовищным, страшным, что ты можешь *делить,* и *мое*, только *мое* отдавать кому-то еще.

Но в эти дни я совсем, совсем поверила тебе и с покорной нежностью говорю, — пусть все будет, как нужно тебе, как можешь, как хочешь ты. Всю мою жизнь, всю душу я предаю твоей воле.

Научи меня остаться такой всегда. Только любовью и лаской ты можешь сделать со мной все. Я буду совсем твоей, у меня исчезнут навсегда все темные туманящие чувства. Валерий, любимый!... Зверочек мой, ты просил меня рассказать о «реальностях». Но что? Везде только ты. Когда в последний раз за чьими-то чужими лицами мелькнуло твое лицо, а дальше только фонари да тьма, я прижалась к окну и предалась своей печали вполне. «Они» падали, падали. Тонкие стонущие струны рвались где-то глубоко, а «они» все падали, падали. Потом была тоскливая, одинокая бессонная ночь, хотя никто не мешал бы мне спать. Засыпала на минутку и опять просыпалась надолго. С Сережей встретились равнодушно ласково, точно расстались накануне. И вчера и сегодня хочется молчать. Странно еще начать говорить какие-то другие слова, и не с тобой, и не к тебе. Все еще чувствую тебя, тебя в каждой мысли, в каждом своем движении. Хочется обнимать, ласкать тебя, удержать счастливую память этих дней. Очень, очень больно от всяких «реальных» прикосновений. Долго я не войду в эту жизнь и войду иначе, чем прежде. Отграничу, отрежу себя и от людей, и от их интересов. На что мне все! Сереже уже сказала, что никогда больше не позволю говорить о тебе ничего. Сказала это исключительно на будущее время, потому что ни вчера, ни сегодня он не говорил ничего. Буду беречь любовь и не дам призракам чужих слов, чужой злобе как-либо вторгаться туда, где должны во все минуты и горькие, и счастливые быть мы только вдвоем. Милый, хороший зверочек, чего-то нового, совсем светлого жду я после этих дней. Люби меня! Будь со мной, куда мы можем уйти друг от друга!

Здесь все, кажется, неизменно застыло. Таинственно улыбаясь, говорят о 1-м номере «Провала», где *наконец-то* можно излить все негодование на «Весы» и «Руно»[2]. Все друг друга и всех ненавидят по-прежнему, в кружке[3] читаются лекции и проч. и

проч. Господи! как все это далеко от меня! Из всего, что я слышала, только одно произвело на меня впечатление. Ты знаешь Галунова (сына)? Его жена оставила его и ушла к сыну з<убного> врача Братенши. Очевидно, была любовь. И вот на днях этот Братенши без всяких объяснений, без записки застрелил ее и себя[4]. А за великим сейчас же и смешное: старик Галунов радуется, что не придется платить денег за развод и очень хлопочет получить обратно задаток, данный адвокату. Зачем деньгам зря пропадать!

Рассказываю о фактах, и мне уже стыдно. Не умею еще говорить с тобой о «реальностях».

А ты, зверочек, две ночи спал на нашей постели, на наших подушках... Один смотрел на золотые узоры, один приходил в эту комнату[5]. Милый, хороший зверочек, у тебя утром были спутанные волосы, и голубая рубашечка была на тебе... Мне грустно, мой зверочек! Я плакала и ночью и утром. Но не огорчайся, мне хорошо. Ты со мной, «ты как сон, как луч»[6].

Напишешь? Приедешь?

Если успеешь написать, то лучше на адрес Нади: М<алый> Ник<оло->Песков<ский пер.,> д. Пашинской, кв. 1. У нас письма бросают в швейцарс<кой> на стол. «Мопсы»[7] ходят мимо. Не ручаюсь за их честность.

---

[1] Почтовые штемпели: Почтовый вагон. 3 XI 1906; С.-Петербург. 4. 11. 06; Москва. 6. 11. 06. Адресовано: Петербург, Лиговка, меблированные комнаты «Версаль». Переадресовано в издательство «Скорпион»: Москва, Театральный проезд, д. «Метрополь», кв. 23.

[2] Имеется в виду ежемесячный журнал «Перевал» (редактор С.А. Соколов, издатель Вл. Линденбаум), начатый изданием в Москве с ноября 1906 г. См.: *Лавров А.В.* «Перевал» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 174—190; *Соболев А.Л.* «Перевал. Журнал свободной мысли». 1906—1907. Аннотированный указатель содержания. М., 1997.

[3] Подразумевается Московский Литературно-художественный кружок.

[4] Речь идет об Александре Галунове, авторе книг лирической прозы «Ad lucem» (М., 1904) и «Вереница этюдов» (М., 1907), а также о сыне Михаила Матвеевича Братенши (ум. в 1930 г.) и брате Анны Михайловны Метнер (жены Э.К. Метнера, а затем Н.К. Метнера) Андрее Михайловиче Братенши (1882—1906), студенте историко-филологического факультета Московского университета. См.: *Юнггрен Магнус.* Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001. С. 28.

[5] Имеется в виду номер в меблированных комнатах «Версаль», в котором Брюсов и Петровская жили во время пребывания в Петербурге.

[6] Строка из стихотворения Андрея Белого «Не страшно» («Боль сердечных ран...», 1900) (*Белый Андрей.* Золото в лазури. М., 1904. С. 114).

[7] См. примеч. 3 к п. 90.

116. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

3 ноября 1906 г. Петербург[1]

3 ноября 1906, Петербург

Нинка! девочка милая, девочка счастливая! Плохо здесь стало без Тебя. Проводив Тебя[2], пошел я было «к нам», домой, попытался писать стихи. *Конечно*, не удалось. Около полночи надумался и поехал к Мейерхольду. У него в этот час кончается репетиция[3]. Он и Мунд[4] приняли меня ласково и напоили глинтвейном, но я затосковал еще больше. Вчера весь день ездил. Посетил Чуковского, Сологуба, Иванова, Волошина, Нувеля и еще многих, и еще многих. Пришла Твоя телеграмма и телеграмма к Тебе. Я послал Тебе несколько строк. Потом опять пришел вечер и опять опустелая комната. За стеной в «моей» комнате кто-то целуется: господин с дамой сняли два №№ рядом, мой и следующий. Лег в постель, Тебя вспомнил мучительно. Встал, хотел читать, опять Ты. Везде, везде Ты — в каждом уголку этой чужой, противной и странно милой, странно родной комнаты. Оделся, ушел на Невский. Там уличная «любовь» в полном разгаре, не надо объявлений «Петербургской газеты»[5]. Зашел в автоматический ресторан и пил глинтвейн, пока ресторан не закрыли, в половине третьего. А вот и утро. Оттепель, сыро, туманно. На столе самовар, и хлеб, и наш сахар, и наш чай... Ах, Нинка! Нинка! Как ко всем этим мелочам, ко всем этим малым подробностям, о которых я рассказываю, привязывается, прирастает душа. Все, все в Петербурге вдруг озарилось Тобой. Весь знакомый мне облик города отошел и заменился иным, новым, любимым, Твоим! Длинный Невский, и цепь его фонарей, и отдельные перекрестки улиц, все вдруг стало живо от воспоминаний, стало священным, как урочища великих событий. Может быть, надо было нам расстаться, чтобы всей душой ощутил я всю пустоту бытия без Тебя там, где с Тобой все было жизнью, полнотой, счастьем. Если бы без Тебя я оказался не здесь, а вновь в Москве, я не испытал бы того режущего, душащего чувства одиночества, какое наполняет сейчас все мое сердце, здесь — в нашем городе, в нашей комнате.

Нина, девочка, любовь моя! мы часто мучим друг друга: я — Тебя, но и Ты меня. Мы много мучили друг друга здесь, в Петербурге. Но чувствую я, как из этих мучительств вырастает об-

лик истинно великой, истинно непобедимой любви. Мы близки, близки, близки, — и никто не в силах сделать нас чужими, ни даже мы сами! Я никогда не перестану знать, что Ты любишь меня, хотя бы Ты сама говорила мне другое. И неужели Ты в моих глазах, в моих слезах не прочла то же, хотя бы мои губы, безумно, и говорили иное!

Нина, Нина, люблю Тебя!

Твой *навсегда*

Валерий.

Вряд ли я доживу здесь до понедельника[6]. Очень тоскую. Хочу Тебя видеть. Как только приеду, извещу.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Петровская отбыла из Петербурга в Москву вечером 1 ноября.

[3] В это время В.Э. Мейерхольд готовил постановку в Театре В.Ф. Коммиссаржевской драмы «Гедда Габлер» Г. Ибсена (премьера 10 ноября 1906 г.) и «В городе» С. Юшкевича (сорежиссер П.М. Ярцев; премьера 13 ноября 1906 г.).

[4] Видимо, Ольга Михайловна Мейерхольд (урожд. Мунт; 1874—1940), первая жена В.Э. Мейерхольда. Ее сестра, актриса Екатерина Михайловна Мунт (Голубева; 1875—1954), работала с Мейерхольдом в различных театрах, в том числе и в Театре В.Ф. Коммиссаржевской.

[5] Ежедневная газета, издававшаяся с 1876 г.

[6] *Понедельник* — 6 ноября.

117. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

3 ноября 1906 г. Петербург[1]

4 ноября 1906, Пб.

Еще день без Тебя, Нинка! Грустно, пусто. А за стеной всё целуются. Смотрел в замочную скважину, — не видать! Делаю свои дела, видаю целые галереи лиц. Интересных — никого. Старые слова и старые мысли. Даже в дни революции было интереснее: говорили о политике, и для декадентов это было ново. Всюду хвалю «Провал»[2]. Это столь для всех неожиданно, что все изумляются, а мне забавно. У Людмилы еще не был, но дальше откладывать нельзя: иду сегодня[3]. Клянусь, что обещание свое исполню. Выеду отсюда, вероятно, в воскресенье[4] с последним поездом в 12 ч. и буду в Москве поздно вечером в понедельник; Тебе позвоню во вторник, в «наш» час.

Люблю Тебя, Нинка, очень, очень, больше чем когда-либо. Люби меня, не бросай меня, верь мне, прощай мне. Хорошо любить навсегда, хорошо любить без конца. Неужели у нашей любви должен быть конец, скучный, тусклый? Не верю! не верю! Чувствую Тебя такой близкой, такой родной. Страшно только одно: что если это мое чувство, сохраненное мною здесь, вне моих обычных условий жизни, Тобою, в Москве, в прежних стенах, среди прежних лиц, растрачено, растеряно, развеялось! Не надо, не надо! Люби меня, как здесь, с той же нежностью, с той же страстностью, с той же яростью, как я люблю Тебя здесь!

Твой

Валерий.

P.S. Письма от Тебя еще не получал.

---

[1] Закрытое письмо — «секретка». Почтовые штемпели: Петербург. 3.11.06; Москва. 4.11.06. Авторская датировка письма ошибочна.

[2] См. п. 115, примеч. 2.

[3] Имеется в виду Л.Н. Вилькина (об отношениях Брюсова с ней см.: *Брюсов В.Я.* Письма к Л.Н. Вилькиной / Публ. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 126—135). Свидание с нею тогда не состоялось (см. письмо Брюсова к Вилькиной от 3 ноября 1906 г. — ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 833).

[4] 5 ноября.

118. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

4 ноября 1906 г. Москва[1]

Суббота, 4 ноября

Благодарю тебя, милый, за письма; я получила их три — одно вчера и два сегодня. Получил ли ты мое[2]? В пятницу я отвезла его на почтовый поезд, но меня без билета не пустили к вагону, пришлось отдать носильщику. Дошло ли оно? Это посылаю таким же путем со скорым, хочу, чтобы ты получил завтра до отъезда и в вагоне все часы знал и чувствовал, как помню, как люблю я тебя. Милый, милый ласковый мой зверочек! После этих дней точно новым нежным светом засияла вся душа. Все темное, сказанное и недоговоренное, медленно упало на дно. Если есть печаль, то она светлая, вся из ласковых теплых лучей. Отчего так долго мы не умели прийти к этой близости, которая так чудесно возникла

из самых жестоких мучительств? Отчего ни ты, ни я не умели найти глаз, которыми мы всегда, во все минуты должны смотреть друг на друга, ни той проникающей нежности, которая самое жестокое признание может сделать лаской? Каким туманом, *кто* закрывал наши души на целые длинные горькие часы? Валерий, любимый, родной, останемся такими близкими навсегда! Если мы не расстались в эти два года, если после них мы все так же непобедимо влечемся друг к другу, — неужели уж в этом одном не скрыто светлое, радостное обещанье? Были минуты страшной душевной усталости и упадка, когда охватывало тупое равнодушное «все равно», но эти дни, как лучи, осветили всю тьму, как весна, оживили душу. Пусть будет все, что дает любовь: и мученье, и радость, — все возьму, всего хочу, только чтобы был ты всегда, всегда!

Тоскую без тебя, зверочек, тихо, молчаливо. Даже Сережа замечает это и вчера завел со мной разговор о тебе. Он говорил мне: «Были дни, когда я *надеялся* (!) и думал, что ты можешь расстаться с ним. Ни в чем внешнем это не выражалось, но я улавливал в тебе какое-то смутное внутреннее колебание. Теперь же я убедился, что *это* бесповоротно, и страшным кажется мне, когда вдруг в одном человеке сосредоточивается все, вся жизнь, все желанья, все чувства, мысли». Мне хотелось повторять за ним как молитву — «да, вся жизнь, все желанья, все чувства».... Страшно ли? Нет, хорошо так цельно, так бесповоротно отдать свою душу. Хорошо мне, Валерий, любить тебя! После многих лет хорошо сказать «люблю» так, как никогда не умела говорить это слово. И потому все мне с тобой кажется новым, никогда не пережитым, упоительным, возносящим душу. Ах, только сделай, чтоб я осталась такой всегда. И ты *прощай* мне, когда мне больно, не сердись, не ожесточайся на меня, а только посмотри ласково, пожалей, утешь.... У меня *есть вечная скрытая боль*, которую излечить можно только любовью... Я буду кроткой и покорной, буду, Валерий, «но больно»... И ты прощай мне эти минуты, если они придут когда-нибудь еще. Любя тебя беспредельно и так узнав, как я узнала всего тебя, всю твою душу, я навсегда откажусь и отказываюсь от мечты видеть твою жизнь *измененной*, но у меня есть смутная надежда, что когда-нибудь, в какой-нибудь краткий миг прозренья ты все и *увидишь*, и *почувствуешь* так же, как я, с той же болью и тоской. И если мы сблизимся в этих чувствах, *без*

всяких желанных осуществлений я почувствую последнее счастье. Не сердись за эти слова, не сердись, милый.... И в них, как во всем, одна любовь. Ты знаешь, ты знаешь все! Валерий, хороший, дорогой мой зверок, не меняйся в Москве. Я так боюсь! Вот вернешься.... твои стены, лица, дела, забудешь меня, потеряешь из вида, разлюбишь «жизнь», не сумеешь слить ее с действительностью, обидишь любовь... Валерий мой, Валерий, не надо! Помни об этих днях, знай, что в каждый час, в каждый миг я люблю тебя так же, как там, с тем же безумием и нежностью. Помнишь, ты говорил мне полушутя: «Тебе всегда жалко расставаться со мной». Да, всегда я хочу тебя, всегда отчаиваюсь, расставаясь, и встречаюсь, как в первый раз. Полюби эту любовь, возьми ее, береги ее.

Хочется целовать тебя, целовать, ласкать... — я со слезами вспоми<наю> эти ночи. Валерий, счастье мое светлое, останься таким, как ты был в этой комнате, в эти дни, дай увидеть хотя раз *то* нежное, светлое лицо.

Жду тебя, люблю тебя, Валерий.

---

[1] Ответ на пп. 114, 116, 117. Почтовые штемпели: Москва. 4.11.06; Петербург. 4.11.06; Москва. 6.11.06. Адресовано и переадресовано туда же, что и п. 115.

[2] Имеется в виду п. 115.

1907

119. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

13 февраля 1907 г. Москва

Вт<орник>, 13 фев<раля>

Не беспокойся, любимый зверочек, я почти совсем здорова. По крайней мере нет жару и выхожу. Было мне плохо только в пятницу и особенно в субботу[1]. Лежала в постели, t° 39, думала, совсем заболею. Теперь ничего. Остались лишь какие-то смутные ощущенья, но это уже всё пустяки. Будет о моей «болезни» — смешно даже говорить. Вот ты, зверочек, хвораешь... Сегодня уже, собственно, 10-й день ты болен[2]. Как долго! Кто тебя лечит? Может быть, эти новые «золотые часы» ничего не понимают? Не сердись, милый, что я все спрашиваю, — но ведь я сейчас ни о ком и ни о чем, кроме тебя, не думаю. После Нижнего так и не могу и не умею войти в окружающее. Помню все, чувствую тебя, говорю с тобой, закрываю глаза и целую, целую тебя. После долгих недель и месяцев опять живу. Ах, только бы верить! Я пока умею верить только в те счастливые дни, когда ты действительно со мной и очень любишь. Как только чуть-чуть набежит тень на твою душу, я падаю в отчаянии и думаю, что все пропало навсегда, и каждую встречу считаю последней. Но весь этот месяц, с 19-го, говорит о чем-то другом, о новом. Вспомни, какие это были дни, ясные, светлые, простые. Если мы останемся такими, разве будет возможно расстаться, уйти, отдать себя чему-то другому? Разве возможно, Валерий?! Ты считал меня жестокой, требовательной, осуждал, негодовал. Может быть, был прав и ты, может быть, и я, — об этом больше не надо говорить. Но посмот-

ри, куда все ушло, где всё? И только от твоих ласковых слов, от нежных глаз, оттого что однажды пришел ты таким, какого мучительно и напрасно ждала я долго, долго. Не понимая, должно быть, где сущность, я говорила *все не о том*, мучила тебя и себя. А ведь просто-то как! Все только в твоей душе, а не в «*ней*» и ни в чем внешнем, и не может *она* ни помешать, ни коснуться нас, потому что все соединившее нас ей неведомо и чуждо, как жителю иной планеты. Когда я буду видеть тебя всегда близкого, всегда родного с *моими* нежными глазами, — что я могу спросить с тебя, чего требовать?.. Ты сам не захочешь ни мучить, ни обижать. Я просто доверюсь тебе, всей душой, всей жизнью. Ты веришь, Валерий? Правда, что настал миг последнего выбора, последнего окончательного решения. Рассеялись тучи, что долго-долго закрывали голубое небо и солнце. Разве захочется уйти теперь? Куда? Зачем? Нам так хорошо... И я покорно и с последней светлой нежностью говорю, — *навсегда*. Скажи и ты, и ты! Скажи еще раз. Не бойся меня, я стала совсем хорошая, — это не слова. Правда. Будем еще ближе. Будем говорить все, без боязни. Страх создает ложь. Не надо больше лжи, ни твоей, ни моей. Люблю тебя, мой милый, ласковый зверочек, хочу тебя, твоей близости, твоих ласк с неизменной влюбленностью, точно каждая встреча — первая. Выздоравливай. Как хорошо мы встретимся, как много, много я буду целовать тебя. И ты... Будем? Ты захочешь? Но не выходи, пока не поправишься совсем, ты хрупкий, как маленький ребенок. Не думай обо мне ничего, ничего дурного. Я живу тихо, одиноко, только с тобой. Пиши, так радуюсь на твои письма. М<ожет> б<ыть>, и мне неловко передавать письма через М. Ф.?[3] Скажи, — я не буду, если не хочешь, или буду очень редко.

Не сердись за цветочки... Так хотелось, чтобы они вошли в твою комнату, чтобы ты смотрел на них и думал о моей любви.

Напиши хотя маленькую записочку и отдай М.Ф.

Он мне сказал: «А Вы вечером будете в кружке? М<ожет> быть, В.Я. попросит Вам передать письмо». Как хорошо, как радостно будет вместо встречи получить хотя одно слово от тебя.

---

[1] 9 и 10 февраля.

[2] 7 февраля 1907 г. Брюсов сообщал С.А. Венгерову: «...я простудился, и теперь лежу больной (плевритом)» (Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1938. Вып. 1. С. 321).

[3] М.Ф. Ликиардопуло, секретарь редакции «Весов».

120. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

24 июля 1907 г. Москва[1]

Нина, дорогая, милая!

Приехал я в Москву, как и намеревался, в воскресенье[2]. В понедельник пришел «в 2 ½» в Скорпион, надеясь услыхать Твой голос. Вместо этого только получил Твое письмо[3]. Ах, все-таки нехорошо было мне не сказать, что Ты уезжаешь в субботу![4] Письмо Твое хорошее, умное, рассудительное. Отвечу на него завтра, непременно, и тоже рассудительно, а если сумею, то хорошо и умно. А теперь говорю Тебе, что люблю Тебя, и это правда, совсем правда.

Твой
Валерий

24 июля, вторник.

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] 22 июля. Перед этим Брюсов с женой путешествовал на пароходе по Волге (в ретроспективных записях дневника дата неверно означена «июнь»: *Дневники*. С. 138–139).

[3] Это письмо либо не сохранилось, либо не идентифицировано нами.

[4] 21 июля Петровская уехала в Лидино (см. примеч. 1 к п. 92; Минувшее: Ист. альманах. 14. М.; СПб., 1993. С. 388 / Коммент. Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой).

121. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

25 июля 1907 г. Москва[1]

25 июля, среда

Нина, дорогая, хорошая!

Письмо Твое[2] — такое рассудительное, такое логичное, что отвечать на него можно только рассуждениями, только доводами, никак не восклицаниями. Но эта самая логика, эта самая рассудочность уже пугают меня. Не слишком ли мы всё узнали, не слишком ли всё проанализировали! Ах, трудно сочетать анализ с живым чувством, — хотя такое сочетание и будет венцом человеческой души!

Ты представляешься мне медиком у постели больного, а больной этот — наши отношения (не хочу сказать наша любовь!).

Неустанно Ты ставишь один диагноз за другим, все более и более точно определяя болезнь. Всматриваешься, вдумываешься во все симптомы и всё поправляешь себя. А больной в это время умирает, ему нужны лекарства, сейчас, немедленно, а Ты, боясь ошибиться, только размышляешь над ним...

Я думаю, Нина, что в последнем письме Ты еще кое-что угадала или разъяснила верного. В самом важном Ты, конечно, не права, и все-таки не обо мне написаны стихи Бальмонта о камнях але, беле и сини[3]. Но дорого мне и рад я, что берешь Ты назад иные свои обвинения, которые были очень несправедливы и очень жестоки. Только вот в чем дело: не важно сейчас, совсем Ты права, или не совсем, или совсем не права. Не рассуждать нам должно сейчас, а что-то делать. Не определять болезнь, а лечить ее!

Нина, дорогая, хорошая, милая! Еще и еще раз обращаю к Тебе всё те же рассуждения. Есть две аксиомы. Первая: «Мы должны быть вместе». Вторая: «Мы таковы, каковы мы». Конечно, если одна из них не истинна, нечего и говорить дальше. Но если истинны обе, надо найти средний путь, ведущий между ними. Надо сделать так, чтобы каждый из нас, оставаясь самим собою, мог быть с другим. Требовать, чтобы переменились чувства, чтобы изменилась душа, — безумие. Больше я от Тебя ничего такого не спрошу, и Ты не спрашивай такого от меня. Но неужели для тех нас, каковы мы теперь, нет единения, нет путей вместе, не рядом только, но действительно вместе!

Нина, Ниночка! я очень Тебя люблю, я очень хочу быть с Тобой, — не так, как последнее время, но близко, близко, тесно, слитно душой, как телом. И наперекор всем тучам, закрывшим весь наш небосклон, все еще, безумно, верю я и в солнце, и в ясный день. Сделай шаг ко мне, не уходи прочь, не отрекайся от меня, а я протягиваю руки к Тебе — всегда.

Скучаю без Тебя, Нинка, в Москве, без Твоего голоса, без Твоего лица, без Твоих губ.

Напиши мне.

Твой Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. примеч. 3 к п. 120.

[3] Ср. строки из стихотворений, входящих в книгу Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина» (М.: Скорпион, 1907; вышла в свет в июле 1907 г.): «...цветик есть ал, / Белый и синий расцвел» («Заговор на посажение пчел в улей»); «На Во-

стоке камень бел, / На Востоке камень ал» («Заговор семи ветров») (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 131, 138).

122. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

25 сентября 1907 г. Петербург[1]

Петербург 25 сент.

Милый мой зверочек,
пишу тебе в 7 ч<асов> утра. Но не думай дурного. Я захворала в вагоне, должно быть, от холодного шабли ночью сделался жестокий кашель. Да вот и не проходит. Не сплю совсем, в голове туман, грудь болит, лекарство не помогает. Петербург поэтому воспринимаю 1/4 своей души. Не написала вчера потому, что днем было нечего, а ведь ты просил «и о фактах». Нигде не была, даже с Владей[2] не пошла обедать, сидела одна, сонная, и кашляла. Так до сумерек. А потом, только не «в золотой час» (в Петербурге ужасная погода), а в серый, пришел Ауслендер[3]. Ах, знаю, с этого места ты перестаешь верить. Но я скажу тебе всю правду. Это свиданье не было таким, как мы, шутя, с тобой говорили. Не говорил «дай», «будь моей», вел себя скромно, как ребенок. Он по-настоящему хороший мальчик. Я в Москве этого и знать не могла. Мы оба тогда немножко прикинулись, говорили декадентские слова. И вдруг вся эта глупость пропала. Встреча была хорошая и простая, простая, точно давно друг друга знаем. А от этого стал невозможным тон «легкой» влюбленности. Смотрел он нежно, говорил, что очень меня любит, что меня в Петербурге считают близкой, целовал руку, но все это не было ни пошло, ни грубо, а как-то хорошо и чисто в глубине. Что я думаю по поводу всего этого? Что я чувствую? — мне хочется сказать тебе совсем правду, хотя эта правда ведь маленькая и уж никак и ничем не может огорчать твоей любви. Я думаю, что эта ясная простота — знак хороший, она уничтожает элемент пошлой и по-дурному легкой случайности, что это одна из тех встреч, где главное и единственное даже — дружественность, а отсюда и невозможность ни говорить, ни слушать: «Будь моей». Он мне кажется маленьким мальчиком, нет, минутами даже девочкой, и клянусь тебе, душа у меня сейчас такая серьезная, строгая, верная и от тебя (но это хоро-

шо) усталая, что у меня в мыслях нет никакого намерения «легко» провести несколько дней. Таких встреч в моей жизни уж, должно быть, и не будет. Легкость притягивает легкость, а печаль и серьезность не способствуют этому. Ну что же еще? Ну, он красивее, чем мне казался в Москве. У него совсем головка девочки, и в лице не мертвенность, а невинность и нежность. Был у меня до 12 ч<асов>. И вот смешно, — клялся мне (хотя я этой клятвы не спрашивала), что с Кузминым никогда *этого* не было[4], что это ему органически противно. А Кузмин чуток и обидчив, понял невозможность и не стремился. Говорил так убедите<льно>, что я поверила, хотя жалко. Какая-то очень интересная черта отпала. Ну вот, зверь, и всё. Ты, конечно, не веришь. А я буду рассказывать всё, день за днем. Все здесь полно памятью о тебе. Зверь мой, опасный, мучительный зверь, я люблю тебя и жизни без тебя не могу представить. Мой интерес «к душам» не считай для себя изменой. Ведь если около меня никогда ник<ого> не будет и я стану совсем рабой, как твоя жена, ты меня так же и разлюбишь от этого сонного спокойствия. Бросай «шар» в самые страшные пропасти, не то что в Петербурге, и знай, — он всегда упадет назад тебе в руки. Ты — моя судьба. Это страшно, но хорошо. Я уже больше не спорю, принимаю от тебя все как счастье. Ах, что же ты думаешь сейчас обо мне? Не подозревай меня в дурном с этим мальчиком. Поверь, быть с Зайцевыми, Стражевым и московскими мальчишками в тысячу раз хуже[5]. В нем есть настоящая тонкость души. А я иногда люблю быть с людьми, когда они не грубы, как Бунин, и не хамы, как Зайцев. Я бы могла говорить иначе. Но зачем, зверочек, не пугай меня подозрениями, осуждениями, и я никогда не буду лгать тебе. Я люблю тебя. Мой каждый шаг озарен этой любовью, особенно теперь, я узнаю все новое и высшее. Разве ты не чувствуешь, как стали мы близки? И это чудесно после жестоких ссор и уверений в отчужденности. Пять дней я помню и здесь каждую минуту[6]. А вдруг опять придет «безумие»? Ты склонен к нему больше, чем я. Я никогда не забыв<ала>, что люблю тебя. Никакие «отпадения» не могли бы выбросить из души твоего образа. А ты.... Страшно мне, и страх этот все сильнее. Напиши мне, напиши.

Вот самая опасная точка письма. Но я скажу, все равно. Мне очень скучно в Сев<ерной> Гост<инице>[7]. Не может же Ауслендер сидеть со мной целые дни, а Владька для меня пропал, пото-

му что сегодня приехала Марина[8]. Так вот. Ауслендер нашел мне комнату в том же меблир<ованном> доме, где он живет. Не думай, честное слово, отдельную комнату и даже в другом этаже. Ты сердишься? Но что же тут по существу дурного? Ну что? Я знаю твои мысли. Зверь, не правда. Скажи, что так не думаешь. Напиши мне. *Екатерининский канал, д. 80.* Мне. Боюсь тебя, но есть соблазн в свободе поступков. Все дурное можно сделать, живя на разных концах города, и наоборот. Неужели *за это* ты так рассердишься, что не напишешь? Валерий, напиши. Валерий! Валерий!

Напиши, будет нехорошо, если ты станешь мстить так жестоко.

---

[1] Написано на второй день по приезде из Москвы в Петербург.

[2] В.Ф. Ходасевич.

[3] Одной из причин поездки Петровской в Петербург были начинавшиеся романические отношения с С.А. Ауслендером. Ср. записи об Ауслендере в дневнике М.А. Кузмина: «...ждет Нину Петровскую» (6 сентября 1907 г.); «Сережа не пришел: вероятно, приехала Петровская» (24 сентября 1907 г.) (*Кузмин М.* Дневник 1905—1907. СПб., 2000. С. 399, 408), — а также сообщение в письме Л.Д. Блок к А.А. Кублицкой-Пиоттух от 25 сентября 1907 г.: «Был Ауслендер, <...> об Нине Петровской говорит очень. Она, между прочим, приедет на днях, кажется, и Брюсов тоже» (*ЛН.* Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 307).

[4] С.А. Ауслендер — племянник М.А. Кузмина (сын его сестры В.А. Мошковой от первого брака). Гомосексуальность Кузмина была широко известна.

[5] Видимо, подразумевается не только Б.К. Зайцев, но и его жена Вера Алексеевна (урожд. Орешникова, в первом браке Смирнова; 1879—1965; в гражданском браке с Зайцевым — с 1902 г., в церковном — с 1912 г.). Ср. замечание о В.И. Стражеве в письме Петровской к Ходасевичу от 11 июля 1907 г.: «Приехал и уехал Витя. Я не хочу больше его» (Минувшее: Ист. альманах. 14. М.; СПб., 1993. С. 388).

[6] Подразумеваются дни, проведенные вместе с Брюсовым в Петербурге в конце октября 1906 г. (см. примеч. 2 к п. 114).

[7] «Большая Северная гостиница» на Невском пр., д. 118.

[8] М.Э. Ходасевич, жена Ходасевича.

123. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

27 сентября 1907 г. Петербург[1]

27 сентября

Милый Валерий, я не написала тебе вчера, потому что весь день лежала с жестокой головной болью. Чтобы избавиться от кашля (ведь это просто неприлично — приехать и кашлять), приня-

ла в два дня 15 порошков кодеина и, должно быть, немного им и отравилась. Пробыла весь день дома и была очень рада, что Ауслендер долго ходил по каким-то делам. Потом сидела на диване, как кукла, нельзя было наклонить голову. Вот потому и не написала. Ужасные неудачи меня преследуют. Нужно же было простудиться именно в последние часы перед отъездом![2] Но сегодня я, кажется, чувствую себя довольно хорошо. Вчера вечером был Кузмин[3]. Я очарована им. У него действительно есть легкость, настоящая лучезарность души, от которой каждое сказанное слово, даже пустое и обычное, чем-то озаряется. С ним можно говорить долго, приятно, без всякого утомления, особенно после Эллисов и даже Б.Н.[4] Они совсем запутались и уж вот не знают простоты. Мы сидели втроем долго, и это первое вполне Петербургское впечатление было очаровательно. Нет, право, они живут иначе, чем все мы, и нет у них нашего змеиного яда. Вместо него веселая нежность и простота. Сегодня пойду в 5 ч<асов> к Блок. Не хочется, но они очень звали[5]. А вечером к Кузмину слушать его музыку и стихи[6]. Соберусь ли в театр — не знаю. Очень мало времени остается, но постараюсь. Зверочек... не думай обо мне дурно. Я живу совсем невинно. Здесь мне, правда, лучше, чем в Св<ерной> гост<инице>. Там уж очень неприютно.

Теперь об Ауслендере... Но что я могу сказать! Вижу его много, каждый день. Один вечер он мне читал рассказы. Вчера мы были долго с Кузминым. Бог знает твои мысли... Но веришь ли, эта встреча наполняет меня большим удивлением. Так не похожа она на то, *что бывает*. Я не знала, что существует такая невинная, скромная и тихая нежность. Он смотрит мне в глаза, несмело целует руки, говорит такие печальные, по-детски наивные слова, что иногда мне кажется, будто я читаю какой-то очень старинный рассказ о юной и давно забытой любви. Это красиво, но очень безжизненно, все в белых цветах, без оттенков, без ярких красок, и вид у него такой, что он сейчас умрет. «Меня очень легко убить», — говорит он и наклоняет голову, как девочка. И у меня нет никакой жадности к любви, к той чужой неизвестной любви, о которой я всегда так много говорю. Смотрю и недоумеваю, и не знаю, что же должна я делать и говорить. Все это очень странно. И почему я здесь — тоже не знаю. Вероятно, затем, чтобы ты после жестоко мстил мне, чтобы вонзил иглу за эти безвинные дни. Ведь нет же бессмысленных событий? Или есть? Он не может слышать

о моем отъезде. Падает головой на стол и говорит: «Этого не может быть, не может быть». А когда я сказала, что люблю тебя и буду любить всегда, он побледнел, а глаза у него стали большие и в слезах. Ну что же это такое, Валерий! Твой «шар» опять упадет тебе в руки, но зачем же это все? Чувствую себя с ним совсем непонятно. И эти дни ненужно входят в мою жизнь как какой-то особенной печалью. Знаю, когда буду уезжать, он будет цепляться за меня холодными руками, и лицо у него будет как у мертвых, а я буду думать о тебе и не сумею даже улыбнуться. Ах, это не так весело и легкомысленно, как мне казалось в Москве. Ведь не нужно, не нужно было с моей теперешней душой, строгой, верной и совсем отданной тебе, идти навстречу чьей-то любви. Не хорошо и жестоко. А ему, кажется, 18 лет, и у него нет ни твоей холодной четкости чувств, ни моего «литературного» стремления к встречам, тоже в глубине холодного и только наблюдательно жадного. Я пишу тебе, как обещала, все, до последней мысли. Верь, я не лгу. Ах, зверочек, я больше ничего не могу. Я люблю одного тебя и навсегда. И если теперь пойду куда-нибудь, то только для того, чтобы можно было повторить эти слова еще раз, чтобы еще раз взглянуть в глаза моей судьбе, моему Року с великой покорностью. Это очень страшно, но уж неизбежно и навсегда. Для того, чтобы ты любил, нужно говорить другие слова. Я знаю тебя! Но не хочу. Все равно. Возьми и делай как хочешь. И вот с этой злой обреченностью я встречаю любовь. Какая же в ней радость, на что она?! Мне будет жалко расстаться с этим существом. (Он больше «существо», чем Б.Н.) Я бы могла его очень долго и нежно любить, но не так, как ему нужно от меня, и вот, знаю, все кончится печалью через два дня, еще долго в Москве я буду чувствовать, что сделала что-то нехорошее, ненужное. Он ведь не захочет быть бледным пажом *нашей* любви. Не захочет... Эти последние дни постараюсь быть очень веселой. Шутливость всегда плохо действует на нежность, а то на вокзале я опечалюсь, сама не знаю о чем. У него весь облик такой, и лицо, и глаза, и руки, что нельзя смотреть без печали. Точно надломленный белый цветок. Валерий, не ищи в моих словах трафаретности. Все это хорошо. Я еще не умею найти слов, буду говорить, когда увижу тебя, и ты поймешь. Все настоящее прекрасно. Я люблю одного тебя, но и от этого никогда не перестану понимать и любить красоту человеческих душ. И потому, что все это так истинно красиво, я

не чувствую за собой никакой виновности и могу рассказывать тебе все просто и легко, как о картине, которую ты можешь знать только по моим рассказам и которая тебе нравилась бы так же, как мне. А что нравилась бы и тебе, — я уверена. Валерий, милый мой, не сердись, напиши мне. Я выеду отсюда 1-го. Ведь у меня три дня пропало, а я хочу видеть Петербург больше. Киевский вечер как кошмар. Далеко, не хочется... Но поеду, боюсь Сережиного гнева[7]. А ты? А ты... «Пять дней»[8] — неужели они повторятся? Ты склонен к безумию больше, чем я. Посмотри,— безумна ли я? Через все вижу тебя одного и не забываю. А ты можешь выбрасывать меня из души... Можешь...

Напиши, зверок. Не сердись на меня. Я уже много дней не слышу твоего голоса, и это страшно. Зверочек!..

---

[1] Почтовые штемпели: Петербург. 27.9.07; Москва. 28.IX.1907.

[2] Подразумевается отъезд из Москвы в Петербург (видимо, 23 сентября).

[3] Ср. дневниковые записи Кузмина от 26 сентября 1907 г.: «Н<ина> Ив<ановна> несколько скучноватая, но милая; пили чай, медленно болтали. <...> Завтра чета придет ко мне» (*Кузмин М.* Дневник 1905—1907. СПб., 2000. С. 408).

[4] Б.Н. Бугаев (Андрей Белый).

[5] Подразумеваются А.А. Блок и Л.Д. Блок. В письме к матери от 28 сентября 1907 г. Блок упомянул приходивших в гости: «Ауслендер, Нина Ив. Петровская с ним» (Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. <Т. I>. С. 173).

[6] 27 сентября Кузмин записал: «...пришли Потемкин, Нина, Сережа, друзья и М<арья> Михайловна <Акулова?>. Играл «Куранты». Было скучно, кажется. Сидели недолго» (*Кузмин М.* Дневник 1905—1907. С. 409).

[7] Имеется в виду вечер «нового искусства», состоявшийся в Киевском городском театре 4 октября 1907 г.; поездку московских участников организовал С.А. Соколов (кроме него, в вечере участвовали Петровская, Андрей Белый, Блок и др.). Подробнее см. в «Воспоминаниях о Блоке» Белого (*Белый Андрей.* О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 289—291).

[8] См. примеч. 6 к п. 122.

124. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

13 ноября 1907 г. Москва

Валерий, я чувствую и знаю — ты поглощен *ее* делами и любовью *к ней*[1]. Отчего же не имеешь смелости сказать прямо в лицо холодные четкие слова. По твоему молчанию, по тому, как ты избегаешь видеть меня, — я угадываю правду. Я сегодня провела ужасную ночь. И если тебя радует «безумие» исступления, — то все это было. До 1 ч<аса> со мной был Сережа (новобрачный —

он вчера же венчался[2]), было похоже на какую-то невероятную страницу из романа. Сегодня я чувствую себя полумертвой и больше не могу, не могу в этих стенах ждать тебя и возврата твоей любви дни и ночи. Вместе с тем как передам это письмо швейцару, возьму билет в Петербург. Все равно! Зачем поеду — видит Бог, не знаю, но не могу больше ни рыдать, ни звать тебя напрасно. Иди к твоей новой любви, страшный пленительный зверь! Убей еще чью-нибудь жизнь, — от этого ты расцветаешь. Прощай, я люблю тебя. Но ты «плюешь» на нее с большим пренебрежением, чем когда-то Б.Н.[3] Должно быть, такова судьба Любви.

13 ноября 1907.

---

[1] Подразумевается Вера Федоровна Коммиссаржевская (1864—1910). Брюсов дал краткое описание отношений с нею: «1907 осень, 1908 весна. Встреча и знакомство и сближение с В.Ф. Коммиссаржевской. Острые дни и часы. Ее приезды в Москву. Перевод «Пелеаса и Мелисанды». Поездка в Петербург на первое представление. Провал пьесы. Знаменательная ночь» (*Дневники*. С. 139, с уточнениями по автографу. Премьера драмы М. Метерлинка «Пелеас и Мелизанда» в переводе Брюсова состоялась в Театре В.Ф. Коммиссаржевской (постановка В.Э. Мейерхольда) 10 октября 1907 г.). Об отношениях Брюсова и Коммиссаржевской см.: *Рыбакова Ю.* Коммиссаржевская. Л., 1971. С. 170—177.

[2] Венчание С.А. Соколова и Л.Д. Рындиной описано в ее мемуарном фрагменте; см.: Лица: Биогр. альманах. СПб., 2004. Вып. 10 / Публ. Н.А. Богомолова (в печати).

[3] Б.Н. Бугаев (Андрей Белый).

125. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

26 ноября 1907 г. Москва

Милый Валерий,

я не хочу расстаться с тобой на том жестоком вечере, когда за моей болью было нельзя увидеть меня. Нам нехорошо так расстаться после трех лет, после всей нашей прошлой жизни. Пусть все кончилось, но не помни меня ни злой, ни жестокой — это не правда. Я вижу тебя уже вдалеке. Мы больше не будем вместе — это моя роковая уверенность и, может быть, твое желание. Ты сказал, что давно бы ушел, если бы я всё не продолжала звать тебя. Я знала, знала это. Только отчего и не сказал ты давно и так же прямо, с такой настоящей красивой жестокостью? Ты разлюбил. Может быть, в тот час, когда я произнесла первые пагубные слова: «Милый Валерий, я тебя очень люблю». Почему так случилось?

Почему? Но об этом уж поздно. Потом ты уверял, что кончилась только «влюбленность», а пришла Любовь «на всю жизнь» и потому она не «острая» и не «безум<ная>». Я уже давно перестала говорить о «безумии», но то, что пришло, уже не было ни любовью, ни «на всю жизнь». Жизни наши стали далеки, потому что ты не захотел их сблизить, а встречи — по обязанности *для меня*. И если они давно уже горестны и причиняют мне только боль и униженье — разве виновата я? Прежде я не понимала ничего и объясняла твое отношение ко мне разными мелкими побуждениями. Прости меня, Валерий. Я уже не думаю так. Я опять люблю тебя проясненной светлой любовью, как в первые дни, и знаю, — не вижу твоего милого знакомого образа только потому, что ты разлюбил. Тебя еще *увидят*, но уже не я. У меня были припадки острой ненависти, и я не лгала, когда говорила, что ненавижу тебя, но, верь, это только от вечной боли. Тогда я видела в тебе не тебя, а лишь какую-то злую силу, которая сделала мою жизнь одним сплошным страданьем. Душа омрачалась. Я знаю, — это дурно и оскорбляет любовь, прости и вспомни мое другое лицо. Оно останется для тебя нежным навсегда. Куда ты ушел? К новой любви или просто *от меня*, я не знаю, но чувствую, что ты ушел навсегда. Это сознание так ново и страшно. Я еще не знаю, как буду жить без твоей нежности, без твоего голоса, без возможности даже той редкой ласки, что была еще в этом году. Сегодня повесилась одна моя знакомая гимназистка, и ее сестра мне рассказывала, что они еще не могут поверить в ее смерть и говорят с ней и о ней как с живой. Вот и я разговариваю с тобой как с живым, а тебя уже нет, и ты никогда не скажешь мне слов, без которых я не могу уже жить. Я не смогу написать тебе еще, а потом совсем пойму, что тебя *нет, нет для меня*. Со мной заговорит о тебе каждый предмет в моей комнате, каждый камень на улице, где три года мы проходили вместе. Как страшно! ведь это-то и есть настоящая смерть. Валерий, Валерий, зачем это все так жестоко! Отчего я давно уже не знаю ничего, кроме горя?!

Ах, только не принимай мое письмо как нежную жалобу, которой я хочу растрогать твою душу. Я прошу тебя — *будь жестоким*. Я не хочу больше жалости. Не утешай меня. Если бы ты стал таким, какого я долго и напрасно ждала, я узнала бы этот трепет твоей души через пространство, что разделило нас миллионами верст, по одному оттенку твоего голоса в самых ничтожных словах. Но этого *нет*. Может быть, *это* ты уже отдал *не мне*. И пусть мне останется последняя горечь. Я не хочу нежного об-

мана. В последний вечер мне было страшно остаться с тобой до утра. Какой болью должна была стать любовь, чтобы сказать «уйди» тебе, тебе, о котором томлюсь я ночи и дни. Ты не понял меня, как не понимаешь давно.

И вот я одна навсегда. Мне страшно и больно, точно меня заживо схоронили. И в этой немой нестерпимой боли у меня сейчас только одно странное и грустное утешение, — через несколько домов так же, как я, томится Б.Н.[1] Может быть, он тоже пишет письмо, которое она даже и не прочтет[2], может быть, просто смотрит в окно, и глаза у него как у распятого Христа. Мы встречаемся и смотрим друг на друга с последней смертельной нежностью и знаем всё. Странная, странная жизнь — через три года кто-то сплетает острыми терниями две разные и страшно близкие судьбы. Не смейся над нами. И «не смейся над мертвым поэтом»[3]. Такова любовь. И нет иной. Прощай, Валерий! Я люблю тебя так же нежно и светло, как в первую горькую осень после Финляндии. Ты опять в моей памяти оживаешь прежним. Прости мне все грубое и темное — это не было правдой. Я люблю тебя и любила все дни нашей прошлой жизни, все дни.

26 ноября. Ночь.

[1] Б.Н. Бугаев (Андрей Белый) с осени 1906 г. жил по адресу: Арбат, Никольский пер., д. 21, кв. 7 (дом Новикова).

[2] Подразумевается Л.Д. Блок. О безответной любви Белого к ней знали все в ближайшем литературном окружении.

[3] Неточно приведена строка из стихотворения Белого «Друзьям» («Золотому блеску верил...»), впервые опубликованного (без заглавия) в составе цикла «Эпитафия» с посвящением З.Н. Гиппиус (Золотое руно. 1907. № 3. С. 40); включено в книгу Андрея Белого «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909. С. 183—184) с посвящением Н.И. Петровской.

126. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Октябрь — декабрь 1907 г. Москва[1]

Пятница 9 ч. утра

Милый, милый Валерий,
в это утро после вчерашней самой страшной из наших встреч я стою лицом к лицу с своей душой, и мне хочется сказать тебе,

может быть, в последний раз самые искренние, горькие и нежные слова. Теперь я знаю — мне ничего не удержать и не вернуть. Ты уходишь, уходишь.. Куда? Ах, не все ли равно! Уходишь от меня, из моей жизни. Я чувствую это в каждом маленьком событии, в чертах твоего лица, в голосе, в твоей нежности даже вижу я это, и она мне кажется страшной, прощальной, так я целую тебя мертвого в гробу. От твоей любви ко мне отлетел дух жизни. Она еще долго может сохранять свой внешний облик, но это уже будет случайно, или по привычке, или потому что судьба не посылает событий, разрушающих разом. Ты еще приходишь, еще целуешь и говоришь прежние ласковые слова, но мне от этого уже только страшно. От самых нежных твоих ласк я страдаю теперь больше, чем от твоей жестокости, и они ранят смертельно. Ты говоришь, что я всегда меряю и считаю. Расчетливо, сознательно взвешиваю твою любовь, чтобы воздать око за око. Это неправда, Валерий! Я *только чувствую*, только узнаю и вижу. И мне нечем воздать тебе за всю ту меру страданий, которую я пережила около тебя в эти три года. И я не хочу этого, потому что люблю тебя всегда и за все. Не верь моим «блестящим глазам» и «красным губам». *Так* мне хотелось бы переживать трагедию. Со смехом, от которого внутри растет непобедимый ужас, с лицом Гамсуновских женщин, которое может улыбаться за час до смерти, с ощущением ледяного холода в сердце и сухими блестящими от страдания глазами. Это моя маска. Ты снимаешь ее без жалости. Если бы я стала такой по-настоящему и улыбалась бы не от горя, а от счастья, — это, может быть, хлестнуло бы тебя мгновенным, но острым ударом бича. И ты с жестоким любопытством смотришь в самую глубь глаз, нежными и безжалостными пальцами стараешься коснуться скрытых ран. Может быть, бессознательно вспоминаешь те свои улыбки, те интонации голоса, перед которыми я не могу уже не плакать, и вот я пред тобой. И вот, не укрываю больше лица, его настоящей трагической маски, — и только хочу я знать, зачем тебе это? Чтобы опять уйти, чтобы еще сколько-то времени продолжали эту страшную игру? Да, знай навсегда, я люблю тебя одного. Я не могу без тебя жить, жизнь моя сейчас одно великое и неутешное горе. Об тебя разбились все мои надежды. Я не знаю, как и зачем тянутся все эти дни, когда я давно уже внутренно рассталась с тобой. И если бы ты видел меня настоящую час за часом, если бы ты мог живой глубиной твоего сердца почувствовать мое

отчаяние как свое собственное, ты, может быть, пожалел бы искренно, что позвал меня три года тому назад и безвольно обманул и отдалил меня от того, к чему я шла верно и с светлой, покорной душой. Милый Валерий, я хочу говорить тебе всю правду. Если бы я умело и тонко длила ложь и ты бы уверился окончательно, что я тебя не люблю, — я знаю, ты опять полюбил бы меня. Не надолго, но остро, и той любовью, которую я напрасно жду от тебя три года. Но я не хочу искусственных цветов, и мне больно, больно так ломать свою душу. Да и я никогда ничего «не умела». Валерий, не думай обо мне плохо. Разлюбишь совсем и уйдешь совсем, — это уже близко, это роковое, чего ты не можешь остановить, если бы и хотел, — но не думай, что я пошло и грубо уходила к другим, для измен, для мелких радостей. Я уходила от невыносимой пустоты, от безнадежности и отчаяния. Хотелось слышать нежный человеческий голос, хотелось слов, которые ты забыл мне говорить. И каждое из этих слов заострилось, как игла, потому что мне были не нужны те губы, которые их произносили. И они — эти тени — приходили в минуты самого горького отчаяния. Я всегда помню числа и дни. Точно кто-то присылал их утешать меня, забавлять китайскими тенями. А потом — боль, раскаяние и твой образ, еще более яркий и жгучий. Валерий, я никогда не буду любить, никому не буду смотреть в глаза с такой нежной печалью. Ничье лицо не закроет от меня твоего. Все равно, пусть все кончилось и ты уже можешь любить не меня, — только вспоминай меня иногда ясно и нежно. Я такая, какой ты знал меня давно. Я не изменилась. Я не буду жить для маленьких радостей, потому что уже не умею их чувствовать и брать. С тобой, с вечной печалью о тебе, со слезами и отчаянием я проживу все дни, какие мне остались. Любовь все освещает счастьем или убивает. Мне — такая, что убивает. Я плачу, целую твои руки и благодарю за нее, как за большое счастье. Ты вчера говорил, что нужно хотеть страданья, а не бежать от него. Я не бегу. Принимаю его как дар, как светлый огненный венец. Но от всего, что ты дашь мне *для меня,* я отказываюсь навсегда. Не унижай больше моей любви. Лучше не видеть тебя совсем и не просить ничего, чем услышать, как вчера: «Я приду, но только на 1 ½ часа». Не считай эти слова за мелочность. Они так выразительны. Ты знаешь, *как* ты их говорил, и знаешь, что почти случайна, а вовсе не желанна была наша вчерашняя встреча. А теперь уже тако-

вы все встречи. Они или потому, что ты думаешь: «Ах, оказывается, я уже неделю не видел ее», — и идешь. Или прошу я. Но того трепетного желания видеть, которое побеждает все даже настоящие препятствия, той глубокой внутренней потребности души быть вместе, которая у меня всегда, — у тебя уже нет никогда. Милый мой зверь, как же я буду без тебя!.. Опять одна, одна в целом мире, и смотрит в глаза мне темная холодная ночь. Я плачу все утро до изнеможенья, до боли в груди. Мне никогда не было так страшно. Когда над жизнью опустилось то, прошлое горе, — со мной был ты, нежный и близкий, как брат. А теперь — четыре стены и молчанье. Валерий, Валерий! Милый! очень, очень больно.

---

[1] Датировка условная (на основании упоминания в тексте о миновавших «трех годах» близких отношений).

1908

127. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

2/15 марта 1908 г. Москва

№ 1 Воскресенье, 2/15 марта 1908, вечер

Нина, моя хорошая!

Грустно без тебя, и одиноко, и странно. Итак — вот, свершилось; ты уехала, уехала, уехала[1]. Чувствую это, может быть, гораздо сильнее, нежели думал, чувствую всей душой. И завтра не услышу Твоего голоса по телефону, и послезавтра, и много, много дней. И не буду знать, что Ты делаешь, что Ты чувствуешь. И Ты будешь не со мной, будешь с другим...

Почему эти слова нельзя прокричать громко, чтобы еще услышала Ты их <в> вагоне, который влечет Тебя сейчас где-либо около Вязьмы. А то получишь их Ты через столько, столько дней, получишь их для Тебя «сегодня», а для меня после-после-после-после-после-после завтра, если не позже еще! — и наверное позже. Эти слова произношу я, пишу я, еще ощущая последний Твой поцелуй, еще помня все слова, какие мы говорили на прощание. А Ты будешь читать мое письмо после того, как промелькнут перед Тобой города и страны, пройдут часы и дни, сменятся ряды впечатлений, будут прожиты целые жизни! Я пишу это все в той же своей комнате, где «все так привычно и знакомо, ко всем изгибам глаз привык»[2], где все мне напоминает о Тебе, о нашей любви. А Ты развернешь эти страницы на берегу Canale Grande[3] под венецианским небом, или в чужой, неприветливой, и новой! новой! комнате итальянской гостиницы! Ах, Нина, девочка моя, милая, хорошая, далекая, вспомни меня в этот миг, сейчас, таким,

каким хочешь меня видеть, ибо я — тот, ибо я — Твой, ибо я — прежний. И странно мне одновременно видеть Тебя и сегодняшней, и той, будущей, и в вагоне, и на набережной венецианского канала, — и не знаю я, одна и та же Ты там и здесь или нет! Брошен мой золотой мяч, брошен далеко, высоко, высоко, и не видно его моим отуманенным глазам.

Твой

Валерий.

P.S. Я хочу, чтобы Ты написала мне подробно, — *обо всем,* обо *всем.*

---

[1] Петровская выехала в этот день за границу, в Италию; в путешествии ее сопровождал С. Ауслендер. См. мемуарное свидетельство Б.А. Садовского (восходящее, скорее всего, к В. Ходасевичу): «Нина Петровская с первого взгляда влюбилась в Ауслендера и решила увезти его в Италию» (приведено в публикации Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой «Из переписки Н.И. Петровской» // Минувшее: Ист. альманах. 14. М.; СПб., 1993. С. 384).

[2] Брюсов неточно цитирует начальные строки своего стихотворения «У себя» («Так все понятно и знакомо...», 1901), входящего в книгу «Urbi et Orbi» (I, 271).

[3] Большой канал в Венеции.

128. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

4/17 марта 1908 г. Москва

№ 2 4 марта 1908

Нина, милая! В день Твоего отъезда написал я Тебе письмо очень грустное[1]. Не сердись: таково было первое ощущение. Теперь, конечно, овладел я своей душой и принялся за работу. Пишу целые дни, с утра до вечера. Жду, очень жду — вестей от Тебя. Но сегодня, ах, Ты еще только в Варшаве, хотя и будешь читать это в Венеции.

Посылаю Тебе «Письмо» Ардова[2]. Кроме него, получил частное письмо Катерины (жены Ардова), а его собственного письма еще не получал[3]. Далеко все это от Тебя, не правда ли? А мы всё еще в этом все, по выражению Пушкина, купаемся[4].

Я буду помечать №№ все мои письма и записки к Тебе, а Ты извещай меня, какие №№ дошли, какие нет. Хорошо бы, если бы из Флоренции Ты мне прислала телеграмму, хотя бы в 2—3 слова, чтобы я знал, куда Тебе писать. А то писем из Венеции дождаться трудно!

«Весы» выходят на днях. Тебе причитается около 100 франков гонорара[5]. Скажи, куда его переслать.

Видишь, какой я деловой сегодня. Зато в первом письме деловитости не было и в помине. Обещаю, что не будет ее и в третьем.

Ну, целую Тебя, девочка. Смотри на небо и на море, гуляй, обедай каждый день, не обижай меня сверх меры и приезжай в Москву после нашей Пасхи[6]. Люблю Тебя и буду Тебя любить.

Твой

Валерий

---

[1] Имеется в виду п. 127.

[2] Подразумевается «Открытое письмо Валерию Брюсову» В. Тардова (Т. Ардова) (Раннее Утро. 1908. № 88, 4 марта. С. 4) — отклик на открытое письмо группы литераторов, в том числе и Брюсова, по поводу статьи Ардова ««Румынская» критика». В этом фельетоне-памфлете, изобличая нравы современной литературной критики, Ардов в карикатурном виде представляет К. Чуковского и Петровскую (обыгрывается заглавие ее книги рассказов «Sanctus amor»), а также, по всей видимости, и Брюсова (в образе «купца-благодетеля»):

«... увидит благодетель какую-нибудь приятную даму, сидящую за бутылкой пива и жадно следящую, не перепадет ли крохи с жирного стола господ, и вдруг, неизвестно, почему, понравится ему дама. Всего и написала-то два с половиной каких-нибудь рассказика — «Фрейшюц, разыгранный перстами робких учениц» — а купцу понравилось.

— Эй, Чуковский! Поди, поцелуй ей мордализацию!

И рассказчик бежит, извивается, шебаршит, тараторит...

— Ах, мамзель, ах, мамзель! Зачем же вы в столь печальной уединенции! Разве вы при такой вашей наружной внешности бутылки пива достойны? Пожалуйте к благодетелеву столу, — в шелках ходить будете... Вы какой напиток предпочитаете?..

— Sanctus amor, тройной, жестокий! — томно стонет дама.

— Ах! Просветительница вы наша! Да ведь это — откровение. А мы-то, глупцы, все больше по «тенерифу» прохаживались! Sanctus amor! Ура! Sanctus amor! Вам бы, с позволения сказать, не повивальной бабкой быть, а на элевзинских празднествах подвизаться.

— Ах, махайте на меня, махайте на меня!.. Дайте мне атмосферы! — томничает новообретенная знаменитость.

— Ах, махайте на нее! — поддакивает критик. — Дайте ей атмосферы! Видите, она задыхается среди современной узкости, пошлости. надутости, одутловатости... Она желает... Подсказывайте, что вы желаете?

— Желаю освободить тело. Тело освободить! — спеша, подсказывает знаменитость. — Раздеться, значит.

— Она желает раз... Позвольте, это Гиппиус желает тело освободить. Это Зиночка, а ведь вы Ниночка.

— Все равно, и я желаю. Лишь бы аванс... Как вы не понимаете. Говорите, говорите!..

— Гм!.. Вы правы, лишь бы — аванс... Господа! Она желает освободить тело, и я желаю аванс. Ура!.. Мир никогда еще не видал такой великой писательницы, как она, и такого великого критика, как я! На колени! Шапки долой!..» (Раннее Утро. 1908. № 84, 28 февраля. С. 2).

Видимо, по инициативе Брюсова было подготовлено и опубликовано в газете «Руль» (1908. № 44, 1 марта. С. 3) «письмо в редакцию» за подписями 18 литераторов, к которому редакция «Руля» добавила заявление за подписями своих сотрудников:

М. г., г. редактор!

Не откажите напечатать в вашей газете нижеследующие строки:

В № 84 московской газеты «Раннее Утро», от 28 февраля, помещен фельетон Т. Ардова под названием: ««Румынская» критика». В нем г. Ардов позволил себе в высшей степени циинческие и непристойные суждения о двух писателях.

Настоящим письмом мы выражаем твердое убеждеине, что написавший такую вещь, как ««Румынская» критика», тем самым ставит себя за порогом литературы.

Валерий Брюсов, Андрей Белый, Борис Зайцев, Иван Бунин, А.А. Боровой, С. Ауслендер, Н. Тимковский, Сергей Кречетов, Виктор Стражев, Эллис, Петр Кожевников, А.О. Бачинский, М. Ликиардопуло, В. Ходасевич, Н. Поярков, Муни, Е. Янтарев, Борис Попов.

Редакция «Руля» всецело присоединяется к выраженному редакциями «Весов» и «Перевала» негодованию по поводу совершенно циничного и грубого тона, в котором написаиа статья г. Т. Ардова. Можно критиковать, но надо быть приличным. Г. Т. Ардов совершенно забыл это и обрушился такой нелитературной браиью на г. Чуковского и г-жу Петровскую, что можно только удивляться, как решилась редакция «Раннего Утра» напечатать статью.

Н. Архангельский, Н. Астафьев, Л. Гальберштадт, А. Курзаков, В. Сергеев, А. Тимофеев, Б. Ширинкин.

В «Открытом письме», адресованном Брюсову, Ардов выражал желание более внятно изложить свою позицию («Мне хотелось бы в ответ на суровое осуждение дать некоторые объяснения писателям, мнение которых для меня ценно») и отправить в этой связи свой ответ в редакцию «Весов» («...этот путь гарантирует меня, по крайней мере, в смысле авторитетности суда»), а также заявлял: «...вполне несправедливо видеть в обобщениях и сравнениях статьи намерение оскорбить г-жу Петровскую. У меня этого намерения не было. Если же, тем не менее, статья моя может быть сочтена оскорбительной, то я хочу быть уверенным, что мой ответ вполне удовлетворит ее». В «Весах» объяснительное письмо Ардова не было напечатано.

[3] Письмо Е.О. Ардовой в архиве Брюсова не сохранилось.

[4] Подразумеваются строки из «Евгения Онегина» (гл. 6, строфа XLVI): «В мертвящем упоенье света, / В сем омуте, где с вами я / Купаюсь, милые друзья!».

[5] В № 2 «Весов» за 1908 г. помещены 4 рецензии Петровской на книги: Марк Криницкий. Рассказы. Т. I; Борис Лазаревский. Рассказы. Т. III; С. Сергеев-Ценский. Смерть; Вал. Свенцицкий. Антихрист (С. 81—88; вторая и третья — под псевдонимом: Н. Останин).

[6] 13 апреля.

129. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

5/18 марта 1908 г. Москва

№ 3 5 марта 1908

Усталость[1]

Не дойти мне! не дойти мне! я устал! устал! устал!
Сушь песков гостеприимней, чем утесы этих скал!

Всюду камни, только камни, мох да низкая сосна...
Грудь гранита, будь мягка мне! спой мне песню, тишина!

Я роняю посох пыльный, я упал, в пыли простерт...
Вот лежит, как прах могильный, тот, который был так горд!

Там, за этим серым кряжем, цель моих заветных дней.
Я не встану первым стражем у Ее святых дверей!

Не склонюсь, целуя свято в храм ведущую ступень!
От восхода до заката надо мной проходит день;

Солнце канет за уступом, ночь протянет черный шелк...
И сюда за новым трупом поползет за волком волк.

Долго ль взор мой будет в силах отражать их натиск злой?
Стынет кровь в замерзших жилах, словно факел предо мной!

Не дошел я! не свершил я подвиг свой! устал! упал!
Чу! шумят угрюмо крылья духов мести между скал.

Март 1908

Валерий Брюсов.

Нинка, милая! Вот какие грустные стихи у меня «написались». Но не брани меня за них. Это минует, и я буду опять писать стихи бодрые. В самом деле, я очень «устал». Но надо работать и работать, —

Нельзя нам мига отдохнуть,
Взрывай земли сухие глыбы![2]

Тардов прислал мне такое отчаянное письмо, что мне стало его даже жалко[3]. Поеду завтра советоваться с Сер<геем> Ал<ексе>евичем. Не помиловать ли его?

Твой В.

---

[1] Стихотворение впервые опубликовано (с вариантами текста в шести строках) в разделе «Мгновения» книги Брюсова «Пути и перепутья. Собрание стихов. Т. III. Все напевы. 1906—1909» (М.: Скорпион, 1909). См.: I, 469.

[2] Цитата из стихотворения Брюсова «В ответ» («Еще я долго поброжу...», 1902), входящего в раздел «Вступления» книги «Urbi et Orbi» (I, 278).

[3] Обширное письмо Ардова, посланное Брюсову, приведем в извлечениях:

«Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!

Меня обвиняют в грубости. "Еже писах — писах". Признаю, что был груб. Мне почти нечего возразить против этого обвинения. <...> Моя грубость — только отражение и довольно бледное — этой изумительной, возмущающей душу, убивающей веру в чистоту русской литературы грубости нравов, которая, к глубокой скорби, царствует в некоторых современных литературных кругах. <...> даже за минуту от полного "отриновения", от исключения из профессиональной организации, которым мне угрожают, — я предпочитаю молчать.

Но если бы я говорил, то я сказал бы: да, я был груб, но был груб потому, что бывают минуты, когда возмущение столь сильно, что чувство меры теряется и не замечает грубости. Я был груб на словах, и моя грубость есть бестактность; но она внушена ужасающей грубостью "на деле", которую я вижу вокруг. <...>

Я получил от одного писателя письмо, в котором он так характеризует эти явления: "Печальное зрелище — эти круги, где царит кастовая непримиримость, где часто пустота прикрыта благословением жрецов, с помощью которого иной раз произведения, представляющие лишь интерес сравнительно ловкой фальсификации, объявляются единственно ценными, а все, не снабженное штемпелем 'made in Germany', насильственно удаляется с рынка. Что может быть грубее обычаев этих кругов, в которых несколько писателей, усвоивших себе принципы куртизанской камарильи, ведут политику истребления врага, засев в цитадели, охраняемой цепными псами и грубыми патрулями, сквозь которые не проникнет писатель, не знающий пароля.

Патрули стреляют в каждого, кто приблизится. Это особая критика, появившаяся со времен Буренина, критика по принципу 'тащи и не пущай', представляющая последнюю ступень вырождения русской критики. Зачеркнув все традиции прошлого, отбросив честное, терпимое, любовное отношение к писателям, она жестоко защищает вход в цитадель и никого не пущает. Пропитанная кружковым сервилизмом, поставившая на место беспристрастного стремления к истине — соображения конкуренции, а всю полноту средств критического исследования заменившая 'хлесткостью', — эта критика есть глубокое падение; по внешности она имеет черты преступного легкомыслия, внутренняя ее сущность — служение кружковой политике. Эта критика — величайший стыд для литературы, имеющей критику Белинского, Михайловского, Скабичевского, Волынского, и даже среди последних ее

представителей насчитывающую несколько писателей, вполне свято относящихся к своей задаче (достаточно указать хотя бы на г. Горнфельда).

Тяжело глядеть, как расправляется эта новейшая критика с литературными произведениями. Этой критике и этой политике не место в литературе. И вот против чего надо протестовать всеми силами, вот что, поистине, стоит 'за порогом' <...>"

Может быть, в иных выражениях, но приблизительно то же самое сказал бы и я. Я сам испытал на себе всю тяжесть этого положения. Я видел людей, которые, не прочитав ни одной моей строки, проповедовали "неприятие Т. Ардова", только потому, что Тардов "фельетонист" и его не следует пускать. Видел людей, которые готовы были, как лошади "в ночном", сомкнуться головами внутрь и выставить наружу лягающиеся копыта при приближении "чужого". За что? Почему? Средневековые цехи, медикусы, отвергающие чужестранца, хотя бы он был Парацельсом. Но опять-таки говорить о себе я не стану. У меня перед глазами десятки примеров: Пильский и Нина Петровская, Чуковский с Рославлевым, вся "Литературно-Художественная неделя", "Весы" и "Перевал", "Весы" и "Золотое Руно", — примеров, в которых видим не только необоснованные наскоки на новых, "подозрительных" лиц, но и просто партийные, ничего общего с беспристрастным суждением о ценности произведения не имеющие, счеты, даже личные счеты.

Если бы случилось, что протест против меня принял бы нелитературный характер погрома, я буду вынужден говорить об этом вслух; для выброшенного за порог литературы уже не будет преступно так говорить. <...>

Лично я считаю, что мера "наказания", которую хотят применить ко мне отлучающие меня писатели, слишком незаслуженно-сурова. Если я обидел г-жу Нину Петровскую, то не намеренно. Я знаю, что мне приписывается вторжение в область личной жизни ее. Поймите, я личной жизни ее не знаю. Я имею в виду всегда только литературу; на жизнь, на святая святых не посягаю.

Относительно же критиков, отбросивших все, кроме субъективного или партийного "не нравится", остаюсь при прежнем моем мнении.

Прибавлю еще, что мне искренно хотелось бы найти способ уладить этот печальный инцидент, в котором с моей стороны допущены "незакономерности".

Примите уверение в глубоком уважении к Вам.

В. Тардов (Т. Ардов)» (РГБ. Ф. 386. Карт. 104. Ед. хр. 31. Л. 16—17 об.).

К этому письму было также приложено дополнительное послание, обращенное к Брюсову:

«Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!

Посылаю Вам мое объяснение. Позволю себе, кроме того, написать Вам лично несколько слов, которые не могли войти в этот ответ.

С отлучением, с выдачей мне волчьего паспорта я, конечно, помириться не могу. Как Вы видите, я избегаю опубликования моего ответа в ежедневной прессе, я молчу. Но след от отлучения — останется, оно тяготеет на мне, волчий паспорт уже выдан. Необходимо найти способ уладить это и публично снять с меня публичное проклятие. Пусть лица, принявшие участие в ауто-да-фе, сделают это. Если этого не случится, я буду апеллировать к публике, буду "бороться". Грустно это. Зачем?..

Я прочитал сегодня в "Руле" заметку о том, что лица, подписавшие протест, хотят обратиться с этим протестом к обществу деятелей печати.

9. Заказ № 795.

Мне очень важно, насколько эта заметка соответствует истине, и я решаюсь просить Вас не отказать уведомить меня об этом.

Будьте уверены, что меня очень печалит допущенная мною грубость, но я не сомневаюсь, что Вы понимаете также, что поступок вроде формального "опозорения" меня может встретить осуждение с моей стороны как глубоко несправедливый, беззаконный.

До снятия с меня проклятия я во всяком случае оставляю за собой право опубликовать письмо, приведенное в моем объяснении.

Еще раз подтверждаю Вам мою готовность признать себя до известной степени виновным, но при этом позволяю себе очень просить Вас избавить меня от слишком жестокой кары, меня постигшей, и посодействовать снятию с меня анафемы.

Далее мне остается только засвидетельствовать Вам мое глубокое почитание и уважение.

В. Тардов» (Там же. Л. 18—19).

130. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

7/20 марта 1908 г. Венеция[1]

Венеция 20/III 1908

Милый, милый Валерий,

сейчас получила твое письмо. Сердце задрожало, когда подали мне его из окошечка. И тут же под стеклянным колпаком почтам<та> на берегу Canale Grande, под укоряющими и печальными взглядами читала его, и хотелось целовать каждую букву. Зверочек мой, нежно, нежно любимый! Я все время с тобой. В Варшаве была какая-то глупость. Прости кошмарное и бестолковое письмо[2]. Я не могу уставать, а еще всякие выходки мальчика[3] довели меня до того, что я хотела не ехать с ним. Но когда я сказала «не поеду», — он понял серьезность угрозы и, немножко зная способность Ренаты[4] к поступкам безумным, смирился и изменился. От Варшавы ехали очень холодно, официально, но совсем покойно. А с Вены уже началась борьба с внешностями, тут и ему стало не до любви. В Вене мы оба немного обезумели. По-французски почти не говорят, приходилось бороться с трудом за всякую мелочь. А мальчика было нужно одеть, приходилось ходить по магазинам и везде объясняться мне, т<ак> к<ак> он говорит только по-русски, да и то плохо. Вену почти не видали, был дождь, вечер. Впечатление кошмара и сна. Ехали в Венецию через Зиммеринг. От Австрии я в восторге. Все чисто, прилично, умно, культурно. Дорога изумительна и совершенно сказочна для глаз, отвыкших от всяких вне-

шних впечатлений. В горах бы хотелось остаться и умереть, такая в них суровая горькая красота. Истомило меня путешествие до предела. Около Венеции хотелось просто плакать от усталости бессонных ночей. С мальчиком сейчас хлопот нет. Мы в Capello Nero. У нас *две* комнаты, и так будет все время. От ночных нежностей я его пока отучила. Италия меня удивляет. Она странно похожа на Россию, только еще ленивее и грязнее, и провинциальна, должно быть, вся. Приятна только какая-то особая свобода на улицах, и везде совсем чувствую себя как дома, и моих ничтожных знаний французского языка оказалось совершенно достаточно. Но в этом смысле мальчик без меня бы погиб. Венеции еще почти не видала. Сегодня бесцельно бродили в закоулках. Не хотелось идти смотреть что-нибудь очень усталой. Это завтра. Впечатлений ожидала пока больших. Так, как есть, я представляла, и не удивляюсь. Очаровывает только меланхолия всего города и больше те места, которых не видала на открытках и о которых ничего не умеют рассказать ни Бобочки Зайцевы[5], ни газетные корреспонденты. Здесь дождь и очень холодно, так что дня через три уедем во Флоренцию. Но прежде, конечно, все осмотрю. Я сейчас совсем живая и очень овладела душой. Мучит только постоянное соприкосновенье и напряжение жизни внешней. Я отвыкла от этого. Для меня давно это все схема; и не больше. Ты просишь писать обо всем. Буду, милый, конечно буду, ничего не скрою. Ах, как много значит видеть человека вблизи, не в тумане своей мечты, а реально — утром, ночью, на улице, за обедом. Узнаешь самое неожиданное и, должно быть, чаще дурное. Мальчик не умный, душа у него неподвижна, напряжение нервной энергии минимальное. Это другая, не наша порода души. Не знаю, сумею ли из него создать что-нибудь настоящее. Может ли быть творчество из ничего? Есть в нем только интересное одно (чего нет ни во мне, ни в тебе) — тайное сладострастие. Скрыто оно в самые далекие глубины, но я поняла, нашла к нему ключи, хотя не пользуюсь и, м<ожет> б<ыть>, не воспользую<сь> вовсе. Когда я ему говорила о союзе трех, в словах очень отвлеченных и сухих (нарочно так), у него даже губы алели и глаза туманились. А что он ________.... — в этом я не сомневаюсь ни минуты[6]. Но это с какой-то стороны интересно, — я еще их не видала очень близко. Особенно интересно раздвоение желаний, — ведь правда, он меня очень любит и, вероятно, тут же пламенно мечтает о «нем». Ах, Валерий, как жаль, что ты такой скромный и целомудренный. Как жаль... Будет ли он настоящим — не знаю. Должно быть, нет. Но эту душу *я возьму*, я так хочу. Я

увижу ее холодно всю до дна. Твой «золотой мяч» взлетит высоко, но упадет в руки только к тебе, к тебе, потому что ты единственный, потому что ты моя любовь единая и *последняя*. Не думай обо мне дурно. Мы так уже близки, что я могу ничего, ничего не скрывать. Я расскажу тебе всю эту поездку по дням в письмах частых, верных и нежных. Пиши о себе *все. Не обижай меня*.... Это так горько. Мысль об этом ранит одинаково и в одной комнате с тобой, и через пространства. Темнеет. Где-то грустно и протяжно звонят. Вода в канале под окном черная и тихая смертельно. Окна темные, точно никто кругом не живет. Рядом в комнате мальчик вздыхает, и все ходит, ходит. Как ты далеко, милый мой зверочек! Но ведь ты не забудешь, не разлюбишь?! Я вернусь совсем хорошая и твоя, твоя вся, может быть, первый раз так сознательно и непоколебимо. Теперь пиши Флоренция Poste Restante. Не знаю, где там буду жить, и вообще так вернее. Напишу тебе еще скоро и много. Сегодня я еще очень усталая. Здесь утром совсем не дают спать. Итальянцы ужасные невежи, — свищут в коридоре, поют, кричат, бегают, как на пожаре. Вообще огромное сходство с русскими, а общий тип лиц, по-моему, прямо безобразен. Тупые, глупые, грубые лица без признака мысли. Ах, как я жалела в Варшаве. Я там познакомилась с одним студентом, который хорошо знаком с Пшибышевским, и он звал его обедать в ресторан нашей гостиницы, чтобы познакомиться. Пшибышевский прислал мне в его письме всякие приветствия, даже маленькую фотограф<ическую> карточку, и писал, что может только завтра, п<отому> ч<то> у него больна жена. А завтра я уже уехала. Но, м<ожет> б<ыть>, это к лучшему. С Пшибышевским можно было пожалеть расстаться скоро, и к тому же он сейчас много пьет. Это кончилось бы не меньше, как дня через три-четыре и как-нибудь фантастично. Почем знать, может быть, с ним правда интересно, как в его книгах когда-то. А может быть, и нет — не знаю. Я уже на другой день была в Вене.

Вот, зверочек, кажется, рассказала о себе пока все. Написала бы и больше, но очень болит голова.

Пиши часто! Пиши! Я тоже буду. Я люблю тебя сейчас просто и покорно. Я совсем, совсем

Твоя.

---

[1] Ответ на п. 127.

[2] Письмо Петровской, отправленное из Варшавы, нам не известно; Брюсовым оно было получено (см. п. 131).

[3] Так Петровская именует Ауслендера.

[4] Героиня брюсовского романа «Огненный Ангел», публиковавшегося в «Весах» с января 1907 г. Петровская, бывшая ее реальным прототипом, здесь впрямую идентифицирует себя с нею.

[5] Б.К. Зайцев, впервые посетивший Италию в 1904 г., изложил свои впечатления в очерках, публиковавшихся в 1907 г. в журнале «Перевал» и газете «Литературно-художественная неделя».

[6] Пробел в автографе — намек на вероятные гомосексуальные склонности Ауслендера.

131. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

8/21 марта 1908 г. Москва[1]

№ 4 8 марта 1908

Нинка, дорогая!

Три письма я послал Тебе в Венецию, это четвертое шлю во Флоренцию. От Тебя пока получил лишь одно: из Варшавы[2]. Верю, что другие — идут. Но странна́ эта оборванность отношений после того, как мы привыкли видеться почти каждый день и знать все друг о друге буквально день за днем.

Тебя я более или менее представляю по Твоему письму. Могу вообразить, чтó Ты делаешь и чтó думаешь. Что до меня, то для меня еще не переменилось ничего. Все тот же день: «Весы», работа, «Кружок»[3], работа, «Кружок», «Весы» и т.д. Пишу и работаю без конца, устал без конца и от усталости чувствую себя плохо. Как видишь, ничего нового.

Ведь со дня Твоего отъезда не прошло еще и недели! Мне это кажется невероятным сегодня, — Тебе покажется невероятным, когда будешь читать мое письмо!

Много (сравнительно) видаюсь с С.А., т.е. с Твоим Сережей — старшим[4]. Был у него, и он был у меня. Всё по поводу Тардова. Инцидент далеко не исчерпан. Каждый день в газетах появляются по этому «вопросу» новые и новые статьи. Имя Твое и Чуковского, мое и Тардова влачат по всем задворкам русской печати[5]. Может быть, лучше было бы и не подымать этой ненужной и постыдной шумихи. Посылаю Тебе два отрывка из длинного ряда этих «статей» и «прокламаций»[6]. Сама увидишь, как все это низменно и противно. А под небом Флоренции, близ Palazzo Veccio и Ponte Veccio[7], на берегах Арно — наши московские дела должны казаться и странно ненужными, нелепыми.

Девочка, милая, веди себя хорошо: не тоскуй, обедай, спи по ночам, гуляй днем, не обижай меня сверх меры. Эти заветы мне хочется повторять Тебе в каждом письме. Во Флоренции посети все *три* музея[8] (если уже не хочешь идти в частные галереи): это чрезвычайно важно. Поезжай во Фьезоле. Попробуй мороженого или хотя бы кофе (если и в Италии Тебе нельзя мороженого) на площадке Микель Анджело[9]. Вообще — посмотри на все, на что указывают путеводители. Даже если не хочется смотреть. Впечатление останется в душе, как семечко, и в свой день распустится цветком.

Прости, что пишу так плохо: этот раз пишу в «Скорпионе» и деловые разговоры в соседней комнате мешают.

Целую Тебя, девочка,

Твой

Валерий.

P.S. Вчера был у меня «вечер», и А. Белый клялся мне в вечной любви.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. примеч. 2 к п. 130.

[3] Московский Литературно-художественный кружок, в котором Брюсов с 1908 г. был председателем дирекции.

[4] Подразумевается, что в паре со «старшим» Сережей (С.А. Соколовым) С. Ауслендер — «младший».

[5] См. п. 128, примеч. 2. С «Открытым письмом г. Т. Ардову» выступил А.А. Курсинский: «...не могу не поздравить вас от всей души с торжественным отлучением от литературы, которое сегодня вынесли вам братски объединившиеся редакции "Весов" и "Перевала", а также газеты "Руль". <...> Ваша статья безусловно нелитературна, но разве манера ваша не освящена бесчисленным количеством примеров на страницах хотя бы того же "Перевала" <...> и вообще манерой того, что называется современной критикой и полемикой? Не огорчайтесь же олимпийски величественным жестом самозванного литературного синода и примите уверение в искреннем сочувствии к вам» (Раннее утро. 1908. № 87, 2 марта. С. 4; см. также вступительную статью А.А. Козловского и Р.Л. Щербакова к переписке Брюсова с Курсинским: *ЛН. Т. 98, кн. 1.* С. 273). В анонимной статье «Желтая пресса и ее нравы» заявлялось, что фельетон Ардова («набор ругательных фраз и слов по адресу г. Чуковского и г-жи Нины Петровской») «продиктован был мелкими счетами из-за личной обиды. Дело в том, что г. Чуковский в своей рецензии о книге стихов г. Ардова дал неблагоприятный для автора отзыв», — однако и в адрес обличителей фельетониста высказывались претензии: «...г. Ардов с своею "Румынскою критикою" возбуждает брезгливость, но у г. Валерия Брюсова на страницах вдохновляемых им "Весов" разве не бывает "Румынской критики"? Разве не в "Весах" поэтов обзывают словами, которые мы не можем воспроизвести здесь?» (Голос Москвы. 1908. № 52, 2 марта. С. 5). Появились и выступления в поддержку фельетона. В одном Ардова

упрекали за недостаточную прямоту и откровенность: «Зачем он недостаточно смело разоблачил поголовное кумовство и продажность критики, бесчестные рекламы и радения своему человечку, с одной стороны, и вышвыривания за борт "чужих" — с другой? Зачем он не привел ярких картин разложения литературных нравов, а обратил все это серьезное и важное, назревшее дело в какую-то шутку?» (*Александрович Ю.* <А.Н. Потеряхин>. Где гарантии? // Раннее утро. 1908. № 91, 7 марта. С. 2); в другом — усматривали «самую большую вину» автора в том, что он «через несколько дней, в письме в редакцию, сделал все, чтобы несколько сгладить свой первоначальный отзыв» (*Печерский* <Э. И. Павчинский>. У порога литературы // Раннее утро. 1908. № 92, 8 марта. С. 2). Появилось также сообщение о том, что «подписавшиеся подают заявление с протестом против Т. Ардова в общество работников печати» («Протест» // Руль. 1908. № 47, 5 марта. С. 3), которое было опровергнуто «письмом в редакцию» В. Тардова (Т. Ардова): «Непосредственно из среды лиц, подписавших протест, я получил уведомление о том, что приведенное сообщение не соответствует действительности. Ввиду этого я позволяю себе усердно просить Вас опровергнуть это вымышленное сообщение, порочащее мое доброе имя профессионального работника» (Руль. 1908. № 50, 8 марта. С. 3). По всей вероятности, инициаторы протеста отказались от дальнейших действий против Ардова после опубликования его «Открытого письма Валерию Брюсову».

[6] Газетные вырезки или выписки из газетных публикаций при письме не сохранились.

[7] *Палаццо Веккьо* (Палаццо делла Синьория) на главной площади Флоренции, построено в основном в 1298—1314 гг. по планам Арнольфо ди Камбио, расширено и достроено в XV—XVI вв. *Понте Веккьо* — мост через Арно (перестроен в 1345 г.).

[8] Подразумеваются, видимо, дворец Уффици (галерея Уффици, основанная в XVI в., и Кабинет рисунков и гравюр), дворец Питти (галерея Палатина, основанная в XVII в., Музей серебряных изделий и Галерея современного искусства, основанная в 1860 г.) и Академия изящных искусств (Accadémia di Belle Arti), основанная в 1783 г.

[9] Пьяццале Микеланджело — площадка на левом берегу Арно, откуда открывается панорама на центральную часть Флоренции; в центре ее — памятник Микеланджело (1871; архитектор Джузеппе Поджи): бронзовые копии микеланджеловской статуи Давида и (на постаменте) четырех статуй работы Микеланджело, украшающих гробницы герцогов Медичи в Новой Сакристии базилики Сан Лоренцо.

132. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

9/22 марта 1908 г. Венеция[1]

Венеция, 9/22 марта

Милый Валерий,
сейчас мне хочется писать тебе часто, часто. И если я не пишу каждый день, то только от усталости, с которой и встаю, и живу

каждый день, и ложусь. Мне очень трудно жить в гостиницах, бегать, находиться среди всяческого шума. Здесь нарушены все мои вкусы и привычки, а это очень чувствуешь. В Венеции мы третий день. Живем, должно быть, не «по-людски» и не проделываем всего, *чтó* полагается и *как* полагается туристам. Смотрим понемногу. Пока только дворцы, собор[2] и самые официальные внешние достоприм<ечательности>. Завтра весь день будем смотреть картины, а во вторник[3] уедем во Флоренцию, потому что больше я здесь не могу. Теперь немного улегся хаос впечатлений, и я вижу у Венеции два облика, очень резко отделенных. Первый — это *открытка* — площадь Св. Марка, Canale Grande, толпы неприятных итальянцев, слишком голубое небо, слишком сладкое и сантиментальное море, голуби, море, кафе, туристы — все это грубо, и такая красота не ранит душу нисколько. В этих местах я расстраиваюсь (мальчик тоже) и как-то тупею. Тут все «просто-напросто» — и улыбки, и виды, и глаза. Пройдешь два раза, и уже надоело. А второй лик Венеции — его тут не увидишь, — ее сущность, ее тайна — тревожная, темная и тягостная — чувствуется только в извилистых улицах, в серых щелях, около облезших стен на берегах самых узких и грязных каналов. Здесь все призрачно, особенно ночью. Мы бродим по этим темным местам с упоеньем. И мне жалко, что сейчас солнце и голубое небо. Когда в дождь люди проходят почти над головой по странным сквозным мостам и где-то в узких щелях скупо горят тусклые фонари, а гондолы плавают, как гроба, — я чувствую себя возбужденно, испытываю знакомую сладкую остроту и дрожанье в груди, и это меня очень оживляет. Вчера зашли прямо в какие-то трущобы, я все хотела попасть в какой-нибудь матросский кабачок, но на нас там смотрели так подозрительно и двусмысленно, что мы очень далеко уж и не углубились. Наверно, наверно, и тут есть прекрасные места, но как узнать и попасть в них? Прости, что я рассказываю тебе «впечатления», но ты сам велел не писать мне о любви. Во дворце дожей меня почти больше всего пленила развратная мадонна. Она висит незаметно над дверью — скульптурная, очень хорошо сохранилась, а чья она — я узнаю наверно только завтра[4]. У ней нижняя часть лица (нос, губы, подбородок с ямочкой) — очень жестокая, нежная и сладострастная до ужаса — точно сделана с лица мальчика. Ах, Валерий, ты подумаешь сейчас что-то неверное и «дурное». Поверь, более чуждой мне души, как у него[5],

я не встречала. Около него я узнаю новое, точно читаю какую-то неприятную, но в то же время интересную книгу, точно знакомлюсь с неведомым мне музыкаль<ным> инструментом, на котором, впрочем, никогда не буду играть, если захочется музыки. Ибо эта музыка не для меня. Моя формула, в какую я сейчас хочу заключить наши настоящие и будущие отношения, это: — «мы двое мальчишек».... Но он ее, кажется, не приемлет окончательно. Минутами мне с ним скучно до озлобленья. Тогда я начинаю его мучить рассказами о тебе, о моей любви к тебе, о неизменности ее, о твоей нежности. Так было вчера вечером. Сегодня он похудел и побледнел.

Поправлюсь ли я от путешествия — не знаю. Пока нет, совсем нет, даже наоборот. Надеюсь на Флоренцию, где хочу жить тихо, много спать, работать и вообще отдыхать. Но и в это не очень верю. Какой для меня может быть отдых и где? Я здесь еще совсем ничего почти не могу есть. Может быть, привыкну, а пока хожу в рестораны с отвращением. Ах, как грубы, некрасивы, невежливы и некультурны итальянцы, которых я здесь вижу. Живешь точно в деревенской гостинице — ну вот, будет о внешнем. Я так устала здесь от внешностей.

Зверочек мой любимый, меня очень тронуло твое второе письмо *на другой день*. Пиши мне часто хоть по строчке, — это даст возможность покорно прожить без тебя столько дней, сколько ты захочешь. Я люблю тебя *больше*, глубже, яснее. Вот увидишь, увидишь! Пиши, если случится что-нибудь интересное «в сферах». «Весы» и «франки» пришли во Флоренцию. Я еду туда послезавтра и буду жить, вероятно, долго. Это третье мое письмо. Отсюда второе, и одно из Варшавы. Целую тебя нежно, мой любимый черноглазый зверочек. Здесь я ближе к тебе душой, чем когда-либо. Люблю, помню, ценю и склоняю<сь> перед тобой покорно и нежно, потому что ты единственный — это уже не изменится никогда.

Твоя

[1] Ответ на п. 128.

[2] Собор Св. Марка (освящен в 1094 г., достраивался и украшался вплоть до XVII в.).

[3] 11/24 марта.

[4] Видимо, речь идет о раскрашенной гипсовой статуэтке падуанской школы (конец XV в., автор неизвестен), расположенной над дверью в «Sala degli Scarlatti» Дворца дожей в Венеции (за справку благодарим Д. Рицци).

[5] Подразумевается С. Ауслендер.

133. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

11/24 марта 1908 г.

№ 4 Между Венец<ией> и Флор<енцией>
24/11 III 1908

Милый любимый зверочек,

вот, не забываю тебя ни на минуту. Качается итальянский вагон, напротив сидит мало нужный мне мальчик и смотрит (говорить и упрекать уже не смеет), а я нежно думаю о тебе далеком, но таком дорогом и близком среди всего, что сейчас вокруг. Венеция утомила меня. В окончательном итоге не нравится она мне даже декоративно. Толь<ко> вечером в закоулках на темных каналах; — но это красота особая, и очень мучительная и не покойная. Уезжаю во Флоренцию пока с большим удовольствием. Хочется работать, тихо думать и даже радостно жду весны. Из Флоренции думаю в Пизу и еще на какие-то дни в Виареджио. Там горы и море. Как дальше — пока не знаю. Мальчик становится очень покорен. Я учу его пить коньяк, говорю с ним на разные рискованные темы, полусловами-полунамеками вызываю у него краску в лице и пьяный туман в глазах. Лицо у него делается как у развратной Мадонны из паллацо[1]. К его душе у меня уже не ключ, а целая связка ключей. Только на что они мне? Ах, как раскачался вагон, едва пишу. Прости за каракули. Ночные нежности сейчас совсем вышли из употреб<ления>. Спим в разных комнатах. Мне часто с ним скучно, но терплю. Как это будет дальше — не знаю. Чувствую, что Италия только начинается после мертвен<ной> тяжести Венеции, а как настроится душа — не знаю. Буду писать тебе все. Мои письма совсем не интересны. Но я верю, что начну и думать и чувствовать ярче и живее. Еще очень сильно утомление Москвы, а, м<ожет> б<ыть>, отчасти и дороги. Испытываю опустошенность души, так пересыхают ручьи. Помнишь, мы много раз об этом говорили. Даже боль, моя привычная, *дорогая* и вечная боль любви к тебе как-то замерла и нежно затихла.

Помню о тебе только светлое, ясное, люблю тебя серьезно, почти молитвенно, и все, что не ты, переживаю как шутку, как прогулку, как сон. Вернусь *к тебе*, хотя бы вновь на Крест или Костер. К тебе, милый, милый. Пиши мне часто. Такая радость твои письма.

Благодарю за стихи[2]. Они грустные, но это пройдет, ты тоже очень, очень устал.

Из Флоренции напишу на другой же день, как устроюсь. Присылай мне стихи, читать их здесь, писанные твоей рукой, кажется чудом. Сейчас вечер, небо побледнело, нежная, нежная весна, веточки чуть зеленеют. Люблю тебя и твоя.

[1] См. п. 132, примеч. 4.
[2] См. п. 129.

134. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

12/25 марта 1908 г. Москва[1]

№ 5 12 марта (25), 1908

Нина, милая, дорогая, хорошая!

Прости, что дня три не писал Тебе. Очень трудно писать, не получая о Тебе вестей. Какая-то связь обрывается. Вчера получил Твое первое письмо из Венеции. Благодарю за все подробности о Вашем путешествии. И в будущем, прошу, очень прошу, сообщай мне все с той же точностью. Мне хочется знать все мелочи, все дорожные случайности, чтобы как бы быть с Тобой, как бы своими глазами видеть Тебя в пути. Так напиши мне и о том, в какой гостинице вы во Флоренции, что в ней видели, где были, с кем встретились, и все, все. Также и о Венеции, если о чем-либо еще не писала мне.

Очень скучаю по Тебе, девочка, потому что очень привык быть с Тобой, говорить с Тобой, думать о Тебе. На телефон смотрю с горестной безнадежностью. Впрочем, он теперь у нас редко свободен. Ибо (начинаю сплетничать) наш М.Ф. Ликиардопуло, после всякого рода легких порханий, обжег наконец свои эллинские крылышки. Говоря проще — он влюблен, и исступленно, в ту артистку, о которой я говорил Тебе. Целые дни он или с ней, или у телефона. Твоя тезка, Н.И. Каравайкина, изнывает от горя и ревности. Происходят сцены трагические и комические. Наблюдаю все это и вспоминаю нашу с Тобой любовь, и тоскую, тоскую сам без конца...

Но, конечно, много работаю. Много! Надо бы взять это слово в превосходнейшей степени. Работаю 17 часов в сутки, а 7 часов

сплю. Более не делаю ничего: или сплю, или сижу за своим рабочим столом, тут же наскоро закусывая чай ветчиной. Исписал гору бумаги, а надо исписать какие-то Гималаи бумаги! Только, должно быть, я не испишу их, так как вернулись мои головные боли. Но Ты на это не пугайся. Достаточно мне перестать работать, решиться смотреть на синее небо, читать книги не для справок, а «для» «души» — и буду я опять здоров. К Твоему приезду так или иначе здоров буду.

Но какой-то вернешься Ты! Ах, есть в Твоем письме строки, которые заставляют меня очень опасаться за мой золотой шар. Чуть видно его под облаками.

Целую Тебя тихо и нежно. Прижимаюсь губами к Твоим волосам. Сохрани мне свою любовь. Прощай.

Твой

Валерий.

P.S. Из «внешностей». Владя издал свою книгу[2]. Поэзии в ней мало, но есть *боль*, а это кое-что. Не такая пустота, как стишки Alexander'a[3]. Газетные войны продолжаются, но Тебя, вероятно, уже не интересуют. Сестра моя Лидия уехала в Африку, к брату. Вышел № 2 «Весов», — посылаю Тебе его во Флоренцию. Извести, куда Тебе выслать гонорар. А о Телешове Ты и думать забыла, — так[4]?

P.P.S. Может быть, какое-либо мое письмо не дошло до Тебя, так как Ты уехала из Венеции раньше, нежели я думал. Тогда напиши в Венецию, на почту, чтобы это письмо переслали во Флоренцию. Вот, приблизительно, схема такого письма (самое лучшее *открытого*):

Venezia. Posta.

Monsieur,

Ayez la bonté d'envoyer les lettres adressées: «Venise, poste-restante, M-me Nina Sokoloff», à Florence, au même nom, poste-restante.

Avec respect

N.S.*

---

*«Венеция. Почта.

Сударь,

будьте добры отправлять письма, адресованные: "Венеция, до востребования, г-же Нине Соколовой", во Флоренцию, на то же имя, до востребования.

С уважением Н.С.» (*фр.*).

[1] Ответ на п. 130. Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] «Молодость. Первая книга стихов» (М.: Гриф, 1908) В. Ходасевича вышла в свет в конце февраля или начале марта 1908 г. См.: *Ходасевич Владислав*. Стихотворения. Л., 1989. С. 361 («Библиотека поэта». Большая серия).

[3] Псевдоним младшего брата Брюсова, Александра Яковлевича Брюсова (1885—1966), впоследствии археолога; под этим псевдонимом он издал книгу стихов «По бездорожью» (М., 1907).

[4] Подразумевается рецензия на книгу Н.Д. Телешова «Рассказы. Т. II» (СПб.: Знание, 1908), которая была заказана Петровской для «Весов».

135. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

12/25 марта 1908 г. Флоренция

№ 5 Флоренция 12/25 III

Дорогой Валерий,

добрались до Флоренции, устроились более или менее прочно в довольно хорошем русском пансионе и думаем прожить здесь недели 2. После Венеции тут очаровательно[1]. Какая-то строгая тихая нежность, почти святость, и большое внешнее успокоение от гостиниц, ресторанов, беготни. У нас две хорошие светлые комнаты, под окнами что-то цветет, хотя еще холодно, холодно мучительно, — когда пишу, едва сгибаются пальцы. Пока не осматривали ничего. Хочу это делать не как Бобочка Зайцев, а тихо, без утомления, без бестолкового мельканья. С мальчиком мне очень скучно. «Творить» из него что-либо нет никакой охоты. Вообще я, пожалуй, сейчас на это и не способна. Я — плохая. Не чувствую ничего острого. Не знаю, отдых это или новая стадия какого-то внутреннего заболевания, или мне не хватает тебя и оттого жизнь вдруг стала «просто-напросто». Не знаю тоже, что буду чувствовать, когда увижу Флоренцию настоящую, вечную, но пока мне Италия мало нравится. Да я, впрочем, и знала, что юг меня пленить не может. Если поеду еще в жизни куда-нибудь, то только на север. Устрою романтическое путешествие в Норвегию за «милым» и, как Брант, погибну в горах[2]. А «милый» не придет, не придет никогда... Часто, часто вспоминаю, как *мы* ездили в Финляндию, и тогда глубоко презираю *эту* гигиеническую поездку, и смеюсь мальчику в лицо, и говорю ему, что ты Единствен-

ный, Вечный, Любимый навсегда, а он — кук-ла... (так назвал его Б.Н.[3]), а он шутка, забава, игрушка с навеки испорченным механизмом. В его лице я вижу всех их — новых, чужих, для которых останется навсегда неведомым трагическое прошлое целых поколений. И *их* стремление к стилизации в литературе только щит, за которым необходимо спрятать ничтожн<ость> собственных душ. Я *их* очень не люблю за все — за игрушечность их жизни, за кукольность ее действия, за их литературу, корни которой растут из воды, и больше всего за то, что трагизм *никогда* не будет живым двигателем их душ. С ними можно устраивать недолгие прогулки, путешествия, пасторали с музыкой, — а *жить* с тобой или одной. Поняла я все до конца. Я вернусь с печальной умудренностью. Эта поездка кажется мне последним перевалом. Впрочем, может быть, это было нужно, чтобы отдать тебе душу и жизнь навсегда. Я только теперь поняла, *чем* отмечена моя жизнь и какое это редкое единственное счастье быть связанной с Тобой. Это торжественно; это огромно, это нужно принять как божественный дар, если даже он смертелен. Ах, ты не знаешь, не знаешь, насколько серьезны эти слова. Все дни, а их уже 10, я чувствую себя менее всего во власти каких бы то ни было минут. *Все мое* со мной прочно, неотъемлемо, навсегда. Подхожу к последним границам самосознания. Это очень горько иногда, но ведь ты хотел меня такой? И если бы даже не хотел, — могу ли я сознательно верить в «безумие»? Милый, милый, не расставайся со мной! Будем вместе, и ради *минут ты* не убивай этой строгой, большой, почти мученически-прекрасной любви. Скоро, скоро, без усилий, без тяжести я буду такой, какой ты меня захочешь, потому что твои желанья полюблю так же, как тебя. Вот пишу, и сквозь всю ординарность внешнего мне начинает сквозить моя давняя любимая печаль. Но это не острота, не боль, а что-то светлое и тихое, как отдаленная музыка, — это не мысль, а почти реальное ощущение любви и Тебя.

Пиши мне так: Fl. Viale Marguerita 42, m-me Wissotsky — для меня. Пробуду здесь две недели, вероятно. Пришли, если напишешь, стихи. Пиши о всем до пустяков.

Твоя

Рецензию о Телешове вышлю послезавтра[4]. Может быть, это не поздно?

[1] Ср. в письме Ауслендера к М.А. Кузмину, написанном в тот же день: «Венецию я оставил не без радости. Что-то ужасно беспокойное и давящее есть в этих узких переулках с домами как гроба. Другой же лик, лик открытки площади Св. Марка да пошлых гулянок большой провинции — скучен и тягостен.

Теперь успокоился в прекрасной Флоренции. Я думал, что только в старых книгах можно читать о таких нежных пристанищах, как Флоренция.

Устроился очень хорошо в русском пансионе, адрес которого дал мне Герцык. Немного дорого, но зато прекрасно и, главное, можно жить, а не метаться, как в Венеции. Думаю прожить здесь недели две и осматривать все постепенно. <...>

Сейчас мне очень трудно писать о себе, хотя многое и многое изменилось, если не во внешнем, так во внутреннем. Но во всех переменах остаюсь верным Башне и друзьям. Куда поеду дальше, еще не знаю. Пока мой адрес: Firenze. Viale Marguerita 42 пансион Wissotsky. <...>

Нина Ивановна тебе кланяется» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 337). Упоминается, видимо, Владимир Казимирович Герцык (1885—1976), сводный брат сестер Аделаиды и Евгении Герцык.

[2] *Бранд*, герой одноименной драматической поэмы Генрика Ибсена (1865), гибнет в горах, погребенный снежной лавиной.

[3] *Б.Н.* — Бугаев (Андрей Белый).

[4] См. примеч. 4 к п. 134. Рецензия Петровской была опубликована в № 3 «Весов» за 1908 г. (С. 93—94).

136. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

14/27 или 15/28 марта 1908 г. Москва

№ 6 14 марта (27), 1908*

Нина, милая! тоскую без вестей об Тебе. Пока у меня все еще только одно Твое письмо, первое из Венеции[1]. Надеялся я получить от Тебя телеграмму из Флоренции; может быть, еще получу сегодня, — я пишу утром. Стараюсь представить себе Тебя с Твоим мальчиком в Уффициях и в Питти[2], но плохо удается. Изобрази мне, как сумеешь живо, свою жизнь. Не откладывай до встречи, до личного рассказа, — все быстро забывается, ах, быстро. Притом в письмах, написанных «с места», есть какая-то особенная живость, особенная подлинность.

О себе мне говорить нечего, пришлось бы из письма в письмо повторять те же слова: *работаю и устаю*. Да, чувствую себя усталым безмерно, и порой печально наблюдаю, как то не повинуется память, то воображение не умеет подыскать нужного слова, то мысль схватывает вопрос не так отчетливо. Нет! закончу

* *В автографе описка:* 1907.

«Ангела», напишу свою драму[3], — и года два не буду делать ничего, ничего, ничего... Ах, пустые мечты, которым не осуществиться...

И я иду вперед, клонясь, как вол,
Изнемогая от усилий...[4]

Был на открытии выставки Шестеркина[5] и встретил там А.А. Тимофеева. Спрашивал Твой адрес. Зачем? Она во Флоренции, а там поблизости живет Максим Горький, — не согласится ли она его интервьюировать. Я убедил его, что Ты не согласишься. Упорно говорит он о большой газете, которую будет в Москве издавать Вл.П. Рябушинский, как только вернется из Китая, где он теперь[6].

А в «Золотом Руне» опять скандал: ушло еще 8 человек (Крымов, Бромирский, Арапов etc.[7]). Помнишь ли Ты еще о существовании «Руна» —

В суровой и нежной Флоренции,
Где создан был сон красоты?[8]

Целую Тебя. Помню Тебя.

Твой

Валерий.

---

[1] Имеется в виду п. 130.

[2] См. примеч. 8 к п. 131.

[3] Возможно, подразумевается замысел, тематически соотносимый с «Огненным Ангелом», — драмы «Бертрада», действие которой происходит в средневековой Италии. См.: *Литвин Э.С.* «Бертрада» — неопубликованная историческая драма В.Я. Брюсова // Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973. С. 140—156.

[4] Брюсов неточно цитирует свое стихотворение «L'ennui de vivre...» («Я жить устал среди людей и в днях...», 1902) из книги «Urbi et Orbi» (I, 293—294).

[5] Открытие посмертной выставки картин М.И. Шестеркина (Кузнецкий пер., д. Сокол) состоялось 15 марта 1908 г. (см., например: Русское слово. 1908. № 63, 15 марта. С. 1). Либо Брюсов посетил выставку накануне дня официального открытия, либо ошибся в датировке письма. Большого успеха выставка не имела; ср. отзыв П.Д. Эттингера: «Количественно она производит довольно значительное впечатление, но художественный итог в целом получается очень скромный. <...> Перед нами — талант средней руки, не лишенный известного вкуса и чувства колорита, с врожденной склонностью к внешне-декоративному в живописи, но в основе своей очень мало индивидуальный» (*Эттингер П.* Посмертная выставка картин М.И. Шестеркина // Русские ведомости. 1908. № 73, 28 марта. С. 5).

[6] Возможно, речь идет о ежедневной газете «Утро России», в редакционный комитет которой входили П.П. и В.П. Рябушинские. Газета издавалась с 16 сентября по 24 октября 1907 г., возобновлена изданием, однако, лишь с 14 ноября 1909 г. Характеристику В.П. Рябушинского см.: *Дневники. С. 138.*

[7] В «Весах» (1908. № 2. С. 116) было опубликовано «письмо в редакцию» с заявлением о невозможности «оставаться в числе сотрудников журнала «Золотое Руно»» за подписями, однако, только двух художников — В. Дриттенпрейса и А. Арапова.

[8] Строки из стихотворения Брюсова «Италия» (1902), входящего в его книгу «Urbi et Orbi» (I, 301).

137. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

15/28 марта 1908 г. Москва[1]

№ 7 15/28 марта 1908

Нинка, милая!

Сейчас получил Твое второе письмо из Венеции. Благодарю за подробные описания. Но мне хочется еще и еще подробностей! Пиши мне!

У нас все еще зима, снег, холодно. У нас все еще «Весы» и газетные дрязги. Слово в слово то же, что при Твоем отъезде. Вероятно, приехавши, Ты найдешь, что всё на своих местах, не сдвинулось ни на черту. И я буду на том же месте, тот же и такой же, Твой.

Из мира наших маленьких новостей («вести с пятачка») вот две: Каменский издал книгу рассказов «Солнце», очень плохую[2], а Софью Ромуальдовну свезли в санаторий...[3]

Шлю Тебе рецензию на Твою книгу Андрея Белого, не очень «благосклонную», как увидишь[4].

Всячески настаиваю, чтобы Ты осмотрела во Флоренции: галереи — Уффиции, Питти, Академию (все три непременно, а может быть, еще и Корсини[5]); затем Синьорию (palazzo Vecchio) и лоджу (что на площади, открыта); наконец, площадку Давида, памятник Леонардо да Винчи и *сакристию* Медичисов (эту последнюю опять-таки непременно — там статуи Микель Анджело); и еще: сады Боболи, близ Питти, и неоконченные статуи Микель Анджело (пленники) в пещерах, в начале этих садов[6]. Ты будешь очень жалеть, если пренебрежешь чем-либо из этого. Советую от всей души.

Ну, прощай, девочка. Целую Твои уста

Ах, уста, целованные столькими,
Столькими другими устами...[7]

Не сердись! В этом нет упрека. Я очень люблю Тебя. Я — Твой
Валерий.

P.S. Получила ли ты все *семь* моих писем? Дошли ли до Тебя «Весы» № 2?

NB. Я уже спрашивал Тебя, куда Тебе переслать гонорар. Повторяю вопрос, ибо Ты, может быть, не знаешь, что Poste-Restante за границу денег пересылать *нельзя*. Могу выслать по телеграфу, но на определенный адрес.

---

[1] Ответ на п. 132. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду сборник А.П. Каменского «Солнце. Рассказы» (СПб.: Eos. 1908). Рецензия Петровской на него (за подписью: Н. Останин) была опубликована в «Весах» (1908. № 6. С. 66—67).

[3] С.Р. Полякова (урожд. Дузек), жена С.А. Полякова.

[4] Видимо, Брюсов выслал корректурные листы рецензии Андрея Белого на книгу рассказов Петровской «Sanctus amor» (М.: Гриф, 1908), опубликованной в № 3 «Весов» за 1908 г. Эта рецензия Белого стала предметом специального анализа; см.: *Тырышкина Е.В.* «Sanctus amor» Н. Петровской в восприятии А. Белого // Literatura Rosyjska w nowych interpretacjach. Katowice, 1995. S. 30—40.

[5] См. примеч. 8 к п. 131. Картинная галерея — в palazzo Corsini (1656, архитектор Пьер Франческо Сильвани).

[6] Речь идет о следующих флорентийских достопримечательностях: Лоджия деи Ланци (или делла Синьория, ок. 1376—1380, архитекторы Бенчи ди Чоне и С. Таленти); капелла Медичи (Новая сакристия) при Сан Лоренцо, старейшем флорентийском соборе (IV в., перестроен в XV в.), построенная Микеланджело в 1520—1534 гг. как усыпальница дома Медичи; статуя Леонардо да Винчи у галереи Уффици (в нише портика; скульптор Л. Пампалони); сады Боболи (Giardino di Boboli, заложены в 1550 г.). См. также примеч. 9 к п. 131.

[7] Первые и заключительные строки стихотворения М.А. Кузмина из цикла «Любовь этого лета» (1906), опубликованного в «Весах» (1907. № 3). См.: *Кузмин М.* Стихотворения. СПб., 2000. С. 60 («Новая Библиотека поэта»).

138. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

15/28 марта 1908 г. Москва[1]

№ 8 15/28 марта 1908

Нина, дорогая!

Сейчас Твой Сережа (старший) сообщил мне Твой адрес[2]. Я хорошо знаю viale Margherita, так что могу представить Тебя на этой улице. Сегодня утром я уже послал Тебе письмо *poste-restante*:

возьми его. В нем рецензия о Тебе Бор<иса> Ник<олаевича>[3]. В понедельник[4] вышлю Тебе телеграммой Твой гонорар — 100 fr<ancs> по этому адресу. В пути лишние франки всегда нужны. Пока ничего нового. Целую Тебя.

Твой Валерий.

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».
[2] Подразумевается адрес Петровской во Флоренции (см. п. 135).
[3] См. п. 137, примеч. 4.
[4] 17 марта.

139. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

16/29 марта 1908 г. Москва[1]

№ 9 16/29 марта 1908

Дорогая девочка! Сейчас получил Твое третье письмо из Италии, писанное карандашом в вагоне, по пути во Флоренцию[2]. Благодарю. Очень жаль, что Тебе не понравилась Венеция, — я ее очень люблю:

В лагунах еще отражаются
Дворцы вознесенной Венеции,
Единственный город мечты![3]

Но, вероятно, душа Твоя была утомлена — и Москвой, и дорогой, и всем! всем! Тебе нужны не лагуны, не музеи, а отдых и зеленая трава. Во Флоренции можно найти это. А если нет, поезжай в Виареджо, на берег моря. И коньяк пить вовсе не следует, а надо вместо того смотреть на слишком синее итальянское небо и на лиловые дали итальянских перспектив. Точно так же вовсе не надо работать, — успеешь еще осенью, — а, напротив, надо «ничего-не-делать», надо «ничего-не-думать». Отдай свою душу хотя бы на месяц в тихий покой, в бессмысленное усыпление, усни, усни... Ах, Нинка, хорошая, милая, любимая, не забывай, что впереди опять зима, еще зима, и что для нее надо много, очень много сил.

Пишу Тебе в каждом письме все одно и то же, потому что в моей жизни ничего не случается. Не шлю Тебе стихов, потому что не пишу их. Я правлю корректуры, я пишу роман[4], я посещаю всякие «заседания», я сижу в «Весах», я устаю, устаю — и ничего

больше. Сейчас все мои желания сведены к одному: среди всех препятствий, среди всех требований, скорее, скорее окончить «Ангела»: тогда я как-то, в чем-то почувствую себя свободным! Такой не-свободы, такой скованности всего духа и всей жизни, как сейчас, я еще не испытывал никогда. Плохо, должно быть, присужденным к вечной тюрьме!

Твой

Валерий

P.S. Сейчас иду пересылать Тебе гонорар.

---

[1] Ответ на п. 133. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Речь идет о п. 133.

[3] Цитата из стихотворения «Италия» («Страна, измученная странностью судьбы!..», 1902), входящего в книгу Брюсова «Urbi et Orbi» (I, 301).

[4] «Огненный Ангел».

140. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

16/29 марта 1908 г. Флоренция

29/16 III 1908[1]. Флоренция

Кажется, № 6.

Милый, любимый зверочек,

получил ли ты все мои письма? Я пишу очень часто. Я не забываю тебя *ни на минуту*. Утратилась, утратилась моя способность забывать всех оставленных через 100 верст от дома. Всё мое со мной и день и ночь. Не ощущаю *никакого* забвения. Здесь я очень затихла, точно засыпаю в Флорентинской тишине. С мальчиком живем сейчас мирно. Ах, это странная история! Такая бесплотная, что я ее понять не могу. Не веришь? Я и сама иногда не верю, точно сон. Но сон покойный, тихий, без мучительных кошмаров. Да, я даже ночью теперь сплю без порошков. Ложусь и засыпаю, а он ровно дышит в соседней комнате. Сегодня тихо плакал о чем-то. Но я на эти уклонения уже почти не обращаю внимания. В нашем пансионе мы все же, кажется, служим всеобщим соблазном. Вокруг одни дамы, без единого мущины. Только два мальчика — «Сережа младший» и еще ребенок лет 7. Очень хотелось, чтобы не знали обо мне ничего, *кто, что*... Но вчера неожиданно открылось. Приехала барыш-

ня из Киева, была на том вечере[2], меня сейчас же узнала. Оказывается, она из кружка «киевских декадентов». Это стало на минуту неприятно, а сегодня уж все равно. Я не скучаю, и мне не весело. Я какая-то деревянная. Обедаю, завтракаю, пью кофе каждый день, тебя не обижаю *вовсе*, смотрю картины — все заветы исполняю. Третий день дождь, а под окном, немножко вдали, огромное дерево — белая камелия вся в цвету. Смотрю и вспоминаю почему-то снежные розы на маленьких кустиках у «нашего» бульвара и снежинки у тебя на ресницах. Но не очень пока мне нравится Италия. Север лучше, строже, нежнее, утонченнее. Если поеду еще когда-нибудь, то в Норвегию. Ах, наступает пора *верности*. Всяческой верности — душе, любви своей... Это страшно. Очень строго и бесповоротно, и уж никуда не уклонишь лица.

Прости, что пишу мало. Сегодня очень жду от тебя письма, тогда напишу не спешно и много. Посылаю рецензию. Здесь очень хочется писать. Если ты пришлешь что-нибудь, напишу с большим удовольствием. Я здесь останусь, наверно, долго, успеешь прислать. Как подписать рецензию? Псевдоним или нет? Предоставляю это тебе[3]. Но ведь мне скоро руки не будут подавать, вроде как Пильскому или Чуковскому. Впрочем, черт с ними! Пиши мне, милый. Радуюсь твоим письмам бесконечно.

Твоя.

У меня здесь есть III, IV-й Куприн[4], м<ожет> б<ыть>, можно, ты позволишь, если не отдал кому-ниб<удь>, написать мне?

---

[1] В автографе нереальная датировка: 24/16 III; исправлено на основании предположения о правильности датировки по старому стилю. Почтовый штемпель получения: Москва. 22.III.1908.

[2] Подразумевается киевский вечер «нового искусства» 4 октября 1907 г. (см. п. 123, примеч. 7).

[3] Рецензия на «Рассказы» Н. Телешова (см. примеч. 4 к п. 134) была опубликована в «Весах» (1908. № 3. С. 93—94) за подписью: Нина Петровская (предполагаемая псевдонимная подпись: Н. Останин). Ср. сообщение в письме Петровской к Е.Л. Янтареву от 19 марта / 1 апреля 1908 г.: «Не работаю пока почти. Только в «Весы» послала рецензию о Телешове под своей фамилией — скандальную!» (*Богомолов Николай*. Итальянские письма Нины Петровской // Русско-итальянский архив / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. С. 152).

[4] 3-й (СПб., 1907) и 4-й (М., 1908) тома «Рассказов». Брюсов отказал Петровской (см. п. 146). Отметим, однако, что пятый том «Рассказов» А.И. Куприна (Московское книгоиздательство, 1908) был все же отрецензирован в «Весах» С.М. Соловьевым (1908. № 9. С. 71—72).

141. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

17/30 марта 1908 г. Москва[1]

№ 10 17/30 марта 1908

Пишу очередную главу «Ангела». Больше не делаю ничего. Думал ехать в Петербург читать свою лекцию о Верхарне, но передумал и отказался: нет времени[2]. На днях должен приехать сюда Вяч. Иванов[3]. Он теперь «обратился» в христианство. Выходит на днях «Симфония» Белого[4]. Пришлю тотчас. Вот и все наши новости, скудные и скучные. Жду писем. Из Италии пока получил три. В Италию послал десять. Но верю, что много-много конвертов <с> вестями в пути. Ведь так?

Твой Валерий.

---

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Москва. 18.3.08; Firenze. 4.4.08. Отправлено по адресу: Firenze. Viale Margherita, 42.

[2] С публичной лекцией «Эмиль Верхарн, поэт современности» Брюсов впервые выступил в Москве в театре-студии Гирш 13 октября 1907 г., вторично — 20 февраля 1908 г. в Московском педагогическом собрании; 18/31 марта 1908 г. он писал Верхарну: «Надеюсь в третий раз прочесть этот доклад в Петербурге» (*ЛН. Т. 85.* С. 572, 573 — афиша первой лекции и комментарий Т.Г. Динесман).

[3] 25 марта 1908 г. Вяч. Иванов выступил в Московском Литературно-художественном кружке с лекцией «Две стихии в современном символизме».

[4] «Кубок метелей. Четвертая симфония» Андрея Белого (М.: Скорпион, 1908) вышла в свет в начале апреля 1908 г.

142. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

18/31 марта 1908 г. Москва[1]

№ 11 18 марта, 1 апреля[2] 1908

Нина, дорогая!

Я получил Твое первое письмо из Флоренции. Все, что Ты говоришь в нем, — хорошо совсем. Ах, если бы поверить в Твои слова, совсем и навсегда. Поверить не в искренность Твоих слов (в этом я *не хочу* сомневаться), но в их «действенность», в их власть, в их прочность. Пока же на все Твои заклятия и клятвы отвечу: Amen! Да будет так!

Думаю, что в этой долгой разлуке мы оба больше узнаем сами себя по отношению к нам, т.е. я себя, каков я для Тебя и что́ для

меня Ты, а Ты себя, какова и что́ Ты для меня. Мы слишком долго и слишком пристально смотрели друг другу в глаза и в душу; нам было необходимо разойтись на несколько шагов, чтобы дать отдохнуть усталым глазам, и тогда им вдруг откроется что-то новое, ранее не замеченное. Верю, что при нашей встрече мы, черезо все смущение «после-разлучное», встретимся как более близкие, чем мы были в день расставания. Ибо, хотя мы сейчас не вместе, но что-то между нами совершается, наши соотношения растут, раскидывают новые ветви, ибо они уже получили жизнь самостоятельную, и над нашей давней Любовью мы более не властны: у нее своя бессмертная душа, и не мы были бы в силах убить ее, *даже если бы оба того захотели.*

О себе писать мне все нечего. Приехала Смирнова и сделала на меня несколько нападений[3]. Я спасся. Коммиссаржевская прислала телеграмму из Нью-Иорка[4]. По счастию в тот самый день я уезжал из Москвы (вчера). Колеблюсь, отвечать ли? Что скажешь телеграммой? и зачем?

Жду рецензии о Телешове[5]. Выслал Тебе еще книгу г-жи Ануфриевой. Может быть, и о ней напишешь. Я ее не читал, но, кажется, ученица Андреева[6].

Получила ли Ты гонорар за № 2? Если будет надо, всегда можно распорядиться, чтобы «Весы» выслали разные «авансы» за будущие книжки. Сообщи просто.

Всегда Твой Валерий.

---

[1] Ответ на п. 135.

[2] Ошибка при переводе даты со старого на новый стиль.

[3] Драматическая актриса Надежда Александровна *Смирнова* (1873—1951), жена театрального критика и театроведа Н.Е. Эфроса. О характере подразумеваемых здесь «нападений» можно отчасти судить по ее письму к Брюсову из Полтавы от 7 марта 1908 г.: «Дорогой Валерий Яковлевич. Я могу так обратиться к Вам, потому что Вы один из самых дорогих мне людей по своему таланту и такому же большому уму. Знаете, почему пишу я Вам? Во-первых, потому что скучаю о Вас. Вы этому не сочувствуете и не хотели повидать меня, когда я об этом просила. Может быть, напишете хоть несколько слов. Во-вторых, я хочу спросить у Вас. Правда ли, что Вы пишете пьесу, которая называется "Женщина с бичом"? Может быть, уже написали, а может быть, и не думаете писать? Я несколько раз об этом слышала — и истину могу узнать лишь от Вас. Если пишете, то куда думаете ее отдать? Весьма возможно, что я в будущем году буду в Малом Театре. Веду переговоры. Если я буду там и если Вы туда отдадите пьесу, то Вы представляете, каким громадным наслаждением и какой честью для меня было бы в первый год моего вступления туда сыграть в Вашей пьесе, конечно, если там есть мне роль. Я Вам много раз говорила, как бесконечно люблю и ценю Ваш талант! Люблю я и сцену, люблю очень, отдала

ей половину своей жизни, но приходится играть так много вещей, противоречащих вкусу, — и мне стало казаться, что я перестаю ее любить. Сыграть же Вашу пьесу — Вы понимаете, как это прекрасно! Напишите же, существует ли она, и какая она, и какие там женские роли? Мы играем в Полтаве. <...> На четвертой неделе играть нельзя — я приеду в Москву. Надеюсь, что тогда мы увидимся с Вами, дорогой Валерий Яковлевич! Со мной, конечно, поехали книжки Ваших стихов, я бесконечно наслаждаюсь их музыкой» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 4. Упомянутый творческий замысел действительно принадлежал Брюсову; см. его незаконченный прозаический набросок «Женщина с бичом. Рассказ VII века по Р.Х.», впервые опубликованный в кн.: *Брюсов Валерий*. Неизданная проза. М.; Л., 1934. С. 157—158).

[4] Американские гастроли труппы В.Ф. Коммиссаржевской проходили с 15/28 февраля по 15/28 апреля 1908 г.

[5] См. примеч. 3 к п. 140.

[6] Речь идет о книге Л. Ануфриевой «Рассказы. Кн. I» (СПб., 1908). Петровская написала рецензию на нее (Весы. 1908. № 4. С. 53), в которой охарактеризовала рассказы Ануфриевой как «нечто исключительное по безвкусию» и «презабавную мозаику заимствованных стилей» («Три писателя держат в плену ее воображенье: Л. Андреев, А. Ремизов и Л. Зиновьева-Аниибал»).

143. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Около 18/31 марта 1908 г. Флоренция[1]

Флоренция

Милый, милый Валерий, если бы не твое письмо[2], я вчера впала бы в большое отчаяние. Знаешь, бывают плохие дни — с утра мелкие неудачи, а потом так и пойдет все. Что мне делать! — я иногда мальчика ненавижу до ярости. Это чаще всего по утрам. Встает беспомощный, слабый, беспричинно меланхоличный. Не умеет завязать галстук и причесаться... Вчера собрались в Fiesole, и уж совсем когда выходили и он обычно попросил «завязать бантик», я озлобил<ась> и сказала, что мне надоело с ним возиться и что вообще общество детей для взрослых не всегда желанно. Во Fiesole все-таки поехали, но ночью он так рыдал, что я думала — нас сегодня выгонят из пансиона. Это скучно и надоело. Но расстраивает или, лучше сказать, *досаждает* лишь внешне, и даже не может помешать спать. Милый зверь, теперь, кажется, наверно не нравится мне Италия. И Fiesole не интересно, — не много лучше Крыма, а панорама Флоренции с каменной террасы сладка, как раскрашенная открытка. Итальянская весна не трогает моей души вовсе — она роскошна, но не нежна и не грустна, как северная. Над тоненькой веточкой чахоточной московской березки иногда хочется плакать,

а здесь я смотрю на какие-то неведомые пышные цветы совсем холодно. Но это для меня не ново, — я ведь знала, что не люблю юг. «Осматриваем» понемногу. Я очень утомляюсь, да и мальчик от картин тоже становится чуть жив. И тут в музеях и галереях совсем окончатель<но> узнаю *неизменные* черты собственной души, и как в зеркале вижу, чем живет и движется сейчас мальчик.

Ах, Гиппиус! что за прелесть — «одряхлевшие собачки из репы»[3]. Одряхлели от собачьей старости через три дня после рождения от «легкости» и проч. А «легкость» (между нами говоря) не что иное, как *глупость*. Я очень подробно расспрашиваю его о всей петербургской жизни, — о Кузьмине <так!>, Иванове, Городецком, о «башне», на которой наша московская пророчица — Анна Рудольфовна играет теперь роль не малую[4], задаю самые коварные вопросы и узнаю очень много. Милый, ты знаешь, конечно, знаешь — ведь ты теперь — *Единственный*, и за тобой — только *Б.Н.*, если его не погубит окончательно жизнь и любовь[5]. А дальше — «собачки из репы», «обозная *сволочь*»[6] (хорошо!), ученые дураки, юродивые, кликуши, которым даже и не понять, *кем* должен быть Ты для них и *кто* ты сейчас. Милый, любимый мой, только издали, оглядываясь в дни из моего временного заточения, я вижу *тебя*, не себя в тебе, а *Тебя*, на которого так часто я не умела, не умела смотреть.... Ах, огромное счастье даже боль от тебя, даже то томленье и обреченность, куда я падаю часто без сил. Это — ты, это твое, и благодарю за них тебя, и благодарю, что ты позволяешь мне жить в твоей жизни *как бы то ни было*. Не брани меня за изменчивость, за противоречив<ость> в словах и обещаньях. В любви моей есть две главные правды, и всегда они будут смертельно бороться. И ты знаешь, — нет моей вины здесь, потому что *вторая* — это стихия непобедимая, владеющая душами от века. Зверочек мой, каждый день печалюсь, что *не ты* со мной. Здесь я была бы около тебя как самая внимательная ученица. Мимо многого проходишь скользя, потому что не знаешь. А мне уже теперь часто хочется не только чувствовать, но и знать. Дорогой Валерий, всей душой моей я близкая тебе. Только химеры могли разделять нас и слепить глаза таким страшным туманом. Во всем самом главном я с тобой всегда, и стремлюсь, и хочу быть достойной тебя. И если я меняюсь, то *не рабски*, я никогда не могла подчиняться через силу, — а добровольно, радостно, совсем сознательно. Весь этот год, несмотря на вторую, часто очень мучительную жизнь, я все ближе и ближе иду к тебе навстречу, учусь около тебя, подчиняю тебе самую лучшую часть моей души с радостью и кротостью. Мне

осталось очень мало времени писать, сейчас позовут завтракать. Ах, это очень смешно! Мы живем в каком-то очень аристократическом пансионе — есть старая баронесса, потом жена посланника, потом девица, которая все рассказывает о каких-то графинях, потом дети с гувернантками, еще какие-то дамы из Москвы тоже, вероятно, с титулами и чинами. Я недавно всех их ужасно шокировала. Девица говорит мне через стол, что у меня, и... «это Ваш брат? у него тоже очень утомленный вид, и что нам должен быть целительным итальянский воздух». И опять — «это Ваш брат?» Случайно была пауза, и моя фраза «*нет, не брат*» с необыкновенной четкостью прозвучала в столовой. Кажется, все смутились, кроме меня, а всех больше девица, котор<ая> с перепугу уж совсем скандально лепетала: «простите», «простите». Помещают нас и кормят очень хорошо. В Венеции я совсем не могла есть в Capella Nero. Чувствую я себя немного лучше. Ложусь рано, вовсе не курю, ни одной папиросы. Я нарочно взяла только 100 штук, а когда они вышли, решила бросить. Не отравляюсь вероналом, и в голове появилась некоторая свежесть. Но суставы болят и скрипят на правой руке даже больше прежнего. В этом смысле поездка в Италию совершенно бесполезна. Вернувшись, придется или совсем встать «под знак смерти», или бороться с этой гидрой очень ожесточенно. Очень мне хочется к морю, но пока холодно и большей частью дожди. Мальчика море (на Лидо[7]) не пленило вовсе, и ему, должно быть, не очень захочется уезжать из Флоренции, но это мне все равно. Если ничего не случится и я проживу здесь еще две недели, то на остальные дни поеду к морю непременно. Вот, зверочек, — стараюсь говорить все о себе, ничего не скрываю, до пустяков. Люблю тебя очень. Просветленно и нежно. Вот заболеешь ты от такой усиленной работы... Не мучь себя до последних пределов. Знаешь, как это плохо может кончиться. Зверь мой дорогой, целую тебя крепко и нежно. Будь со мной, не забывай меня. Я живу только тобой. *Не обижай меня...*

Твоя *

За «Весы» очень благодарю. Они меня вчера утешили. Нечего читать. Скучно без книг. Но какую мне ужасную опечатку сделали в реценз<ии> о Свенцицком, в конце вместо «*лживый* изворот мысли» «*лунный* (!!) изворот»[8]. Меня сочтут или за дуру, или за «декадентку». Ах, зверочек! Как это всегда неприятно.

* *Последующие три абзаца — три приписки на различных листах письма.*

Адрес мой *Viale Marguerita 42 à m-me Wissozky* — мне, ты получил. Пиши сюда, когда уеду, — извещу.

Вот иллюстрация к словам о мальчике: я должна его сейчас вести в парикма<херскую>, потому что он не умеет объяснить, как его нужно обстричь. Мне стыдно, и глупо это... Я не умею возиться с детьми!

---

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 24.3.08.

[2] Видимо, п. 134.

[3] Имеется в виду статья З.Н. Гиппиус (Антона Крайнего) «Репа» (Весы. 1908. № 2. С. 73—76), в которой оценки современных литературных явлений давались иносказательно, через пересказ немецкой сказки о репном короле, который для утешения украденной им настоящей принцессы превратил репок во фрейлин, а «из маленьких репок сделал собачек, точь-в-точь как те, настоящие», однако через три дня «одряхлели собачки»: «Собачья эта старость, неестественно-быстрая (только три дня!), объяснялась тем, что и собаки, и фрейлины — были репные...» (С. 74—75).

[4] Речь идет о переменах в жизненном укладе петербургской квартиры Вяч. Иванова («башни») после кончины Л.Д. Зиновьевой-Аннибал в октябре 1907 г. — в частности, о сильном влиянии на Иванова теософки Анны Рудольфовны Минцловой. Подробнее см.: *Богомолов Н.А.*. Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 53—61; *Обатнин Геннадий*. Иванов-мистик: Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова (1907—1919). М., 2000. С. 35—64.

[5] Подразумевается любовь Андрея Белого к Л. Д. Блок.

[6] Выражение из статьи Андрея Белого (за подписью: Борис Бугаев) «На перевале. IX. Вольноотпущенники» (Весы. 1908. № 2. С. 71—72), в которой клеймились эпигоны символизма. 19 марта / 1 апреля 1908 г. Петровская писала из Флоренции Е.Л. Янтареву: «Ах, хорошо ругаются в «Весах». «Собачки из репы» и «обозная сволочь» — это прелесть. Расцеловала бы их обоих, даже злую Зину» (*Богомолов Николай*. Итальянские письма Нины Петровской // Русско-итальянский архив / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. С. 151).

[7] Остров в Венецианском заливе, курортный пригород Венеции.

[8] См.: Весы. 1908. № 2. С. 87 (рецензия Петровской на книгу В. Свенцицкого «Антихрист»).

144. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

19 марта / 1 апреля 1908. Флоренция

19/1 IV Флоренция

Дорогой мой, я пишу тебе с Венеции почти каждый день. А сегодня ты пишешь, что получил только два письма[1]. Ужасно долго идут. Теперь дошло, наверно, уже много. Мне каждый день хо-

чется писать тебе, но это здесь трудно. Бог знает как быстро проходит время. Осмотрю (часть уже видела) все, что ты говоришь. Не для тебя, не только по твоему указанию, но и очень *для себя*. Италию художественную я люблю, и видеть ее так близко, воплощенную — минутами кажется чудом, сном. Пробудем здесь дней 10—11 еще. Проживу, если ничего не случится, весь положенный тобой срок. Но Италия для меня в интимном и личном очень суровая школа. Мальчик мой рядом со мной, но для меня почти что болонка, с которой часто надоедает играть. И так я одна, и у меня нет никаких наркозов, ни внутренних, ни даже внешних. От этого, правда, можно прийти в себя, поумнеть, набраться сил для перенесения будущих мук, но... как далеки от меня ощущения какого бы то ни было счастья, опьяненья им, забвенья... А хочется, хочется очень! Я устала, кажется, больше внутри, чем телом. Вот, милый, какая я сейчас. Ты же видишь меня хотя сколько-нибудь? И веришь? Я любила ложь, измены, опьяненье, а пришли ко мне — неизменность, верность, правда, четкость. Где мое милое, милое безумие? Разве мальчик — не подходящая кукла для каких угодно нарядов безумной мечты? Разве нельзя бы было эти вечера и ночи сделать самым странным праздником причудливого воображения? А я сижу и думаю о тебе. Вспоминаю прекрасные и страшные истории, молюсь в каких-то покинутых храмах и все смотрю, смотрю тебе в лицо, тебе в глаза. «И умер бедный раб у ног непобедимого Владыки»[2]... Я хочу. Мне все равно. Вот когда в *первый* раз встала душа под знак любви и смерти. Я уж никого не буду ждать и никого не хочу искать.

Прости, Валерий, что говорю эти слова. Я не знаю, не вижу, как ты принимаешь их. Ты не велел писать о любви...

После Флоренции хотим ехать в Рим. Но там совсем нет комнат в отелях. Из нашего пансиона каждый день дамы посылают телеграммы, и все нет или ужасные цены. Может быть, это помешает, тем более, что скоро католическая Пасха и иностранцев наедет еще больше. Да я и не очень опечалюсь. Меня утомили города. Страшно хочется к морю. Обо всем этом, впрочем, напишу еще подробно. Благодари за вырезку Б.Н. Было интересно прочесть.

Целую тебя, милый, любимый зверочек. Скучаю по тебе... Очень... Устала тоже очень, а жизнь ко мне стала так сурова и строга. Не сердись. Я больше не буду «пищать»... Это «так».

Твоя.

P.S. Пиши сюда. Если я и уеду, то из пансиона перешлют непременно.

[1] Ответ на п. 137.

[2] Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Анчар» («В пустыне чахлой и скупой...», 1828).

145. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

21 марта / 3 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 12 21 м<арта> / 2 апреля[2] 1908

Нина, дорогая!

Вот скоро три недели, как Тебя нет со мной, и я уже не вздрагиваю невольно, когда раздается звонок телефона, потому что уже *знаю*, что это не Ты. Твоих ласковых писем из Италии все же мне недостаточно, чтобы ясно представить себе Твою жизнь, — и я только догадываюсь смутно о Твоих мыслях, чувствах, переживаниях. Вот настоящая пропасть разделила нас, бóльшая, чем во дни, когда я был в Швеции[3], — бóльшая, потому что тогда я знал наизусть, что Ты думаешь, чего Ты хочешь, и это сознание сближало меня с Тобой беспредельно. А сейчас в жизни словно затихает Твое присутствие, как затихают удаляющиеся шаги... Это не значит, что *я* Тебя забываю, или что *Ты* не хочешь меня. Напротив, сейчас Ты мне, может быть, много дороже, чем в иные дни наших встреч. Но я чувствую, как отмирают все те связи, которые особенно тесно связывали нас в последние дни, нити, тянувшиеся изо дня в день, из часа в час... И это значит, что встретимся мы «освобожденными» или «свободными», встретимся только душой объединенные, как если бы мы знали друг друга лишь по слухам, лишь по книгам. Так, по крайней мере, мне кажется, и я даже радуюсь этой новой фазе нашей жизни. И слушаю без страха, как затихают удаляющиеся шаги...

А может быть, все это, что я написал, и неправда, Нина! Может быть, все это лишь мимолетная тень, прошедшая по душе, под влиянием усталости, тоски и отсутствия Твоих писем (сегодня третий день, что их нет). Я, право, так устал, что уже теряю обычную отчетливость и сознательность своих чувств. Может быть, напротив, едва мы встретимся вновь, как все это было<е> ожи-

вет в один миг и оплетет нас, как ползучими лианами, так тесно и крепко, что разорвать объятий нам уже нельзя будет. Может быть...

А пока, Нинка, все же у меня грустные мысли о Тебе и о Твоей жизни. Закрываю глаза, закрываю мечты: не хочу себе представить Тебя там, так...

Твой

Валерий Брюсов.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Ошибка при переводе даты со старого на новый стиль.

[3] Подразумевается поездка в Швецию летом 1906 г.

146. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

22 марта / 4 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 13 22 марта / 4 апреля 1908

Нина, милая! Сейчас получил сразу два Твоих письма и рецензию о Телешове[2]. Благодарю. Теперь после Твоего описания представляю себе Вашу жизнь в пансионе m-me Wissotsky довольно живо. Долго Вы ее не выдержите. Это куда хуже Rauha![3] Что Италия Тебе не нравится, это — естественно. Но Ты оценишь ее, когда вернешься в Россию. Наперекор всему, все же всматривайся во все — в музеи, в природу, в жизнь — советую очень: впечатления останутся в душе и в свой день оживут.

Что до меня, то мои работы не уменьшаются, а увеличиваются. Малый театр хочет поставить «Франческу», и мне придется в неделю закончить неоконченный перевод[4]. Он же хочет поставить Мэтерлинка и просит меня сделать перевод[5]. Как отказать? А откуда взять времени и сил?

Для рецензии я послал Тебе г-жу Ануфриеву[6]. Пошлю еще Каменского «Солнце»[7]. А о Куприне мы уже столько писали, что больше не стоит!

Получила ли Ты *гонорар*, посланный Тебе телеграммой дней пять назад? Не откажи сообщить.

Твой Валерий.

P.S. Ты просишь прислать Тебе стихов[9]. Откуда им быть! Изнемогаю среди самых убивающих душу работ.

P.P.S. Это *тринадцатое* письмо. Принесет ли оно несчастье? Или все ли ты получила (12 закрытых, 1 открытое).

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеются в виду п. 140 и 143. См. также примеч. 4 к п. 134, примеч. 3 к п. 135.

[3] Пансионат на озере Сайма, где Брюсов и Петровская жили в июне 1905 г.

[4] Стихотворная трагедия Г. Д'Аннунцио, которую Брюсов переводил в соавторстве с Вяч. Ивановым (см.: *Д'Аннунцио Габриэле.* Франческа да Римини. Трагедия в 5 действиях / Пер. с ит. размерами подлинника Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. СПб.: Пантеон, 1908); премьера ее постановки в Малом театре состоялась 1 сентября 1908 г. Ср. в дневнике Брюсова: «Весною мое сближение с Ленским. Обещаю ему «Франческу». Неудовольствие Ком<м>иссаржевской» (*Дневники.* С. 139).

[5] Единственный выполненный Брюсовым перевод из драматургии М. Метерлинка, «Пеллеас и Мелизанда», был к тому времени опубликован (М.: Скорпион, 1907). Возможно, в данном случае подразумевался перевод драмы «Синяя птица» (1908), право первой постановки которой, однако, было передано автором К.С. Станиславскому (премьера в Московском Художественном театре — 30 сентября 1908 г.).

[6] См. п. 142, примеч. 6.

[7] См. п. 137, примеч. 2.

[8] См. п. 135.

147. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

23 марта / 5 апреля 1908 г. Флоренция[1]

Флоренция 23 / 5 апреля

Дорогой Валерий, за эти дни я пыталась писать тебе три раза. У меня лежат три законченных письма, но послать не решилась ни одного, — такие они вышли печальные. Я плохо себя чувствую. У меня опять жестокие сердцебиения, бессонница и кошма<ры>. Живу правильно до отвращения, но, видно, это мало помогает или я очень устала от музеев, галерей, видов улиц и всяких непривычных для меня усиленных внешних движений. Не знаю отчего, но чувствую себя плохо и печалюсь каждый день. В моем одиночестве заговорили мне такие голоса, что и рассказывать не нужно. Только не думай, — *это не прежнее.* Безнадежность приход<ит> разными путями. Но не надо о печали.

Из Флоренции думаем уехать в четверг[2]. Осмотрела много, насколько позволяли силы, была везде, где ты говорил, и много еще. Италия мне не нравится. Кажется очень чужой. Едва ли буду вспоминать ее нежно. А может быть, это еще оттого, что здесь я без

тебя и надо всем упал для меня скучно-серый томитель<ный> сумрак. А может быть, еще — Италия только для здоровых, для светлых духом, для ликующих и счастливых.... Я понимаю, *как* и *за что* можно любить ее. Понимаю, но хочется спрятаться в темный угол от солнца, от цветов и всяческой здоровой красоты. Везде думала о тебе. Смотрела на самые прекрасные картины и тут же всегда тебе в глаза. Да, теперь навсегда... Ах, я хочу умереть в июне, чтобы смерть Ренаты списал ты с меня, чтобы быть моделью для последней прекрасной главы[3].. Ну, не сердись! Я не буду, не буду печалить тебя. В четверг уезжаем на два дня в Сиену. Во Флоренции под конец что-то запечалили<сь> оба, и хочется переменить место. Из Сиены к морю. «За отдыхом»... Вероятно, в Виареджио или Специю[4]. Не решили. Завтра посоветуюсь с моей хозяйкой, она все хорошо знает, живет в Италии 35 лет. Пиши все время во Флоренцию, по этому же адресу. Из пансиона будут пересылать очень аккуратно. А потом я извещу телеграммой, где поселюсь. Два дня уже дождь. Под окнами совсем расцвели какие-то два дерева. Но цветы кажутся мертвыми, точно фарфоровые. Вообще здесь вся зелень не живая. Провожу грустные вечера. Мальчик такой же бессильный и утомленный, как я. «Два трупа встретились в могиле», — нередко вспоминаю эту строчку[5]. Мысли у меня стали ясные и очень печальные. А ясность снежная, холодная, безжалостная. Вижу много страшных снов, всё в тонах Эдгара По, и просыпаюсь в слезах и страхе. Ночью ставни закрыты плотно, в комнате тьма ужасная. Недавно так испугалась, что даже разбудила мальчика. Он стал совсем покорный, но это скучно! скучно! И только для путешествия спутник идеальный, потому что может всего воспринять не больше и не меньше меня, а ровно столько же. Даже смешно, — в один срок утомляемся, хотим есть, спать. Это удобно, если приходится быть вместе долго и близко. Ты тоже утомлен и плохо себя чувствуешь и безжалостен к себе. Расточаешь силы, словно думаешь, что они неистощимы. Где же все мы, усталые, будем отдыхать? Вот какая я в Италии, Валерий. Хотела бы быть иной, но как? Только внешне я совсем покойная. *Говорю* о глубине, а кто ее видит. Немножко приподни<маю> завесу перед тобой и то, вероятно, напрасно. Ты опечалишь<ся>, будешь думать обо мне грустно, а тебе не нужно ни грусти, ни радости во время твоей напряженной работы. Прощай, мой милый, любимый. Ты видишь меня? Твой золотой мяч загорелся под облаками еще ярче.

Твоя.

Долго идут письма. Я послала тебе из Флоренции 5 или 6, но не меньше.

Можно ли что-нибудь забыть и «отдыхать», не думая о будущем... Вот сейчас получила твое письмо. Ты в нем упоминаешь Коммиссаржевскую...[6] А ведь осенью она приедет! Приедет! И *возьмет тебя*, потому что — ты «не умеешь отказывать». И ты ей посылаешь телеграммы. Зачем? Конечно, затем, чтобы осенью встретиться.. Ах, Валерий, Валерий! И отвратить этого нельзя, нельзя....

Деньги получила, благодарю.

---

[1] Сохранился конверт — видимо, от этого письма — со штемпелями: Firenze. 6.4.08; Москва. 28.III.1908.

[2] 27 марта / 9 апреля. В тот же день Ауслендер сообщал М.А. Кузмину: «Погода испортилась, хочется куда-то ехать, ехать и ехать. Думаю, в Сиену, потом на неделю к морю и быстро, наскоро посмотреть Рим, Неаполь, Помпею и Капри» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 227).

[3] Смерть Ренаты описана в XVI, заключительной главе «Огненного Ангела», она была напечатана в № 8 «Весов» за 1908 г.

[4] Поездка в эти города не состоялась.

[5] Первая строка стихотворения Бальмонта «Два трупа» из его книги «Будем как Солнце» (*Бальмонт К.Д.* Будем как Солнце. Книга символов. М., 1903. С. 184).

[6] Имеется в виду п. 142.

148. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

24 марта / 6 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 15 24 марта / 5 апреля[2] 1908

Нина, дорогая!

Прошу Тебя на мое вчерашнее письмо (№ 14) не обращай внимания[3]. Если оно пришло одновременно с этим (что весьма возможно) и Ты его еще не читала, так его и брось. Оно было написано в припадке уныния, которые бывают и у меня... Вот и всё. Если же прочла его, улыбнись, прости и не поверь.

Сегодня был у меня Кондратьев[4]. Говорили с ним, конечно, о нашей литературной кучке и о Ауслендере. Кондратьев сказал:

— Кстати, у нас идет большой спор: он ли кого-то похитил, или его кто-то похитил. Вы как думаете?

Я ответил, что, на мой взгляд, дело обошлось без похищений...

10. Заказ № 795.

Посылаю Тебе книжку Каменского заказным[5]. Если уедешь из Флоренции раньше, чем она дойдет (бандероли «ходят» медленнее писем), оставь в пансионе свой адрес, чтобы Тебе ее переслали. И письма адресовать я всё буду на m-me Wissotsky, пока не получу иного адреса.

Началась четвертая неделя, что́ я Тебя не вижу...

Твой Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Ошибка при переводе даты со старого на новый стиль.

[3] Указанное письмо за № 14 не сохранилось.

4. Александр Алексеевич *Кондратьев* (1876—1967) — поэт, прозаик, критик; постоянный корреспондент Брюсова (письма Кондратьева к Брюсову: РГБ. Ф. 386. Карт. 90. Ед. хр. 5—11).

[5] См. примеч. 2 к п. 137.

149. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

25 марта / 7 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 16 25 марта[2] / 7 апреля 1908

Нина, дорогая. Не знаю, куда Тебе писать. По разным соображениям думаю, что Тебя уже нет во Флоренции. А писем от Тебя не получаю вот уже четыре дня. Писать наудачу, под страхом, что письмо не дойдет и не будет прочитано, — право, трудно. Поэтому не сердись на холодный тон этого письма, лучше сказать этих бессвязных строк. Пишу куда-то, кому-то, словно ставлю адрес: «Нине, вселенная».

У нас опять и опять все то же. Ничего нового. Пишем и издаем, издаем, чтобы писать, пишем, чтобы издавать. Вышел 4-ый Альманах Шиповника с моей поэмой[3]. Не посылаю его Тебе, потому что не знаю куда. Вышел «Распад», где социал-демократы обстоятельно истребляют декадентов[4]. Вышли... ах! многое еще вышло, что́ нам здесь кажется очень важным, но что́, вероятно, уже Тебе, отступившей на шаг от нас, представляется совсем пустым.

Сегодня в Кружке читает Вяч. Иванов[5]. Иду туда. А вообще сегодня благовещенье, —

Благовещенье в Москве...

И на улице у всех
Синие цветочки...[6]

Впрочем, синих цветочков нет ни у кого. И у меня нет их, ни в петличке, ни в душе.

Твой Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] В автографе описка: 21 марта; исправлено по упоминанию в тексте церковного праздника (Благовещение — 25 марта).

[3] В кн. 4 «Литературно-художественных альманахов издательства «Шиповник»» (СПб., 1908) была опубликована поэма Брюсова «Исполненное обещание» (С. 235—247).

[4] Имеется в виду сборник критико-публицистических статей «Литературный распад» (СПб.: Зерно, 1908).

[5] См. примеч. 3 к п. 141.

[6] Неточная цитата из стихотворения Бальмонта «Благовещенье в Москве» («Благовещенье и свет...»), входящего в его книгу «Только любовь» (1903); в оригинале первая и пропущенная строки: «Благовестие и смех, / Закраснели почки». См.: *Бальмонт К.Д.* Стихотворения. Л., 1969. С. 281 («Библиотека поэта». Большая серия).

150. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

25 марта / 7 апреля 1908 г. Флоренция

Флоренция 25/7 апреля

Милый зверочек, разве я тебе мало пишу? Ты иногда слегка «пищишь», но ведь я только и делаю, что пишу письма. Погода вот уже несколько дней московская — холодно и самый беспросветный дождь. Днем ходим очень много, а по вечерам тоска великая. Топится камин, и мне кажется, что это не Италия, а Норвегия. Иногда ложусь спать в 10 ч<асов>. Мальчик просто скучен. У него душа бездарная, неподвижн<ая>, чувства без оттенков, и при этом непроходимая невежествен<ность> и безграмотность. Он живет так, как пишет свои письма; вся его жизнь — каракули пятилетнего младенца[1]. Невольно оказываюсь постоянно в роли педагога до всех последн<их> даже житейских мелочей. От этого чувствую себя очень взрослой и почти ответственной. Моя ли это роль? Вообще внутренний смысл этой поездки для меня пока темен. Но живу. Героически выношу всякие тяжести. М<ожет> б<ыть>, это нужно тебе, а значит, и мне. Чувствую себя телесно

большей частью плохо и все воспринимаю затуманенно. Теперь побывала почти во всех музеях и галереях. Пленена больше всего Michel Ange[2]. Сегодня была даже в доме Buonarrotti[3]. Рассматривала каждый рисунок, и мне кажется, что в его творчестве есть что-то близкое и родное тебе. Огромная сила, четкость, ясный ум и необычайное целомудрие. Твои критики рассмеялись бы над последним словом, но ведь это правда — ты целомудренен до святости в самых своих «эротических» стихотвореньях. Ах, как ясно я вижу тебя издали! И совсем с другого угла, чем вблизи. Здесь я могла бы слагать гимны в честь тебя. Как никогда чувствую сейчас твою сущность и люблю тебя так, *как хочешь ты*. Около этих картин и статуй я только поняла всю радость быть с тобой в жизни и необычайность моей судьбы. И нужно мне радоваться, что душа закрылась для всего мелкого, случайного, что в ней навсегда один ты. Лучшей частью моего существа я радуюсь этому, а другой, той, что есть «ветхий человек», боюсь и печалюсь. Ты как-то написал мне, что «для зимы будет нужно много сил»[4], и я не могла спать ночь от самых безрадостных мыслей. Знаю, все знаю.... С каждым днем будут жесточе тернии и острее радость. Ну пусть!.. Так я думаю о тебе в Италии, и, конечно, такова же моя жизнь. А ты еще что-то думаешь, в твоих словах иногда слышатся темные подозрения. Нет — Италия самое последнее доказательство и уже выигранная тобой ставка. Отчего ты не можешь видеть меня в днях, с утра и до ночи!... Этот мальчик даже не «ласковая донна», а просто дорожный спутник. Жить одной здесь было бы трудно, вот и вся его роль. Что для него я? — не знаю, по правде сказать, не знаю. Он привязался ко мне, как привязываются к кому-нибудь одному капризные и одинокие дети. Иногда это кажется милым, а иногда я чувствую к нему самое настоящее отвращение. Ребенок в 18, 19, 20 лет (не знаю точно цифру) — это подчас уродливо и противно. О чем-нибудь легкомысленном, пожалуйста, пожалуйста, не думай. Сначала меня забавля<ло> его слегка портить, а теперь надоело. Что касается до одного пункта, который меня не перестает удивлять, то недавно я вспомнила рассказ Марины о Феофилактове[5] и, думаю, в обоих этих случаях непонятного целомудрия есть какая-то, общая, обобщающая причина. Клятвам о Кузмине больше не верю; и думаю, что мальчик предст<авляет> из себя неполную форму педерастического типа. Это, по-видимому, ему доставляет большие мученья, и быть «как все» ему хочется бесконечно. Вчера он весь вечер читал «Огнен-

ного Ангела», а когда стал ложиться спать, с ним сделалась подлинная истерика. Ну, я-то тут при чем!!

Из Флоренции собирались в четверг[6], но в такой дождь не поеду. Здесь мы хотя внешне живем хорошо и можно сидеть дома. А в Сиене опять гостиница, проклятая итальянская кухня и невозможность даже ходить по городу. Итак, буду пережидать дождь. Пиши все время, пока я не извещу телеграммой о более продолжительном адресе,— *сюда*. Милый Валерий, как мне скучно без тебя! Как хочется поцеловать тебя хотя раз. Ах, какой ты любимый, близкий и бесконечно дорогой!..

Не обижай меня... Не давайся в руки всем с легкостью. Как смеет Смирнова хотеть тебя[7]. Ах, *об этом всем* думаю с ужасом.

Прощай, мой любимый зверочек. Буду писать часто.

Не забывай меня.

---

[1] Намек на отличительные признаки почерка Ауслендера.

[2] Французская форма имени Микеланджело.

[3] Casa Buonarroti — собрание работ Микеланджело.

[4] См. п. 139.

[5] *Марина* Эрастовна Ходасевич, урожд. Рындина. Судя по дневнику М.А. Кузмина, художник Николай Петрович *Феофилактов* (1878—1941), весьма близкий к «Весам» и «Скорпиону», принимал активное участие в различных гомоэротических предприятиях.

[6] 27 марта / 9 апреля.

[7] См. п. 142.

151. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

26 марта / 8 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 17 — 26 марта
8 апр. 908

Только что отослал Тебе, Нина, милая, прошлое письмо (16-ое), как получил Твое[2]. Вечером видел Твоего Сережу-старшего. По его словам, Ауслендер писал ему, что вы едете в Норвегию. Думаю, что это не серьезно. Сережа-старший сбрил усы, что ему не идет очень. Вчера скучал томительно на реферате Вяч. Иванова[3]. Новостей из Петербурга он привез мало. Впрочем, одна есть: Городецкий женился[4]. Или, может быть, Ты знала ее раньше меня. Вышел № 2 «Руна». Сижу опять за «Франческой»[5]. Работаю днем и ночью и словно захлебываюсь в волнах дел, тону в них, и те-

ряю сознание. Не имею известий, получила ли Ты 1) гонорар, 2) Ануфриеву, 3) Каменского[6]. Сообщи. Прости эти строчки, путаные, беглые, нелепые: — пишу наскоро, но обещаю завтра написать совсем подробно. Умоляю только распорядиться точно в Пансионе, чтобы все мои письма Тебе пересылались. Пусть иной раз я пишу менее чем записки, но они обращены к Тебе, и мне будет грустно и обидно, если они потеряются.

Я — Твой, как всегда

Валерий.

Прилагаю Тебе в поучение образец того, как хвалят Телешова издания дружеские[7].

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Видимо, имеется в виду п. 143.

[3] См. примеч. 3 к п. 141.

[4] С.М. *Городецкий* женился на Анне Алексеевне Козельской (1889? — 1945) 15 февраля 1908 г. (см. воспроизведение типографского оттиска оповещения об этом: Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979. С. 201).

[5] См. п. 145, примеч. 4.

[6] См. п. 142, примеч. 6, п. 137, примеч. 2.

[7] Видимо, к письму была приложена газетная вырезка с рецензией С.В. Потресова (Яблоновского) на «Рассказы. Т. II» Н.Д. Телешова (Русское слово. 1908. № 67, 20 марта. С. 5. Подпись: С.Я.); похвалы рецензируемому автору сочетались в ней с отповедью модернистам: «Сейчас, когда сверхчеловеческие дерзновения индивидуалистов, символистов, мистиков-модернистов и прочих новаторов русской литературы вульгаризировались до последней степени, внеся в литературу такую атмосферу, в которой задыхаются уже и сами новаторы, — сейчас так отрадно остановиться на такой честной и искренней книжке, как только что вышедший второй том рассказов Н.Д. Телешова. Н.Д. Телешов не создал и не создаст эпохи в литературе, он не принес с собою откровений ни в смысле найденной им формы, ни в смысле расширения круга наблюдений, но, не принеся этого, г. Телешов сделал другое: он *сохранил* те лучшие заветы русской литературы, которые находятся в полном пренебрежении у отказавшихся от наследства модернистов».

152. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

28 марта / 10 апреля 1908 г. Москва

№ 18 28 марта / 10 апреля 1908

В плохом виде Ты меня увидишь, Нинка, когда мы встретимся. Еще никогда в жизни не бывал я так измучен, как теперь. Это усталость не только двух последних лет, не только «наших» лет,

но всего последнего десятилетия моей жизни. Это — все мои книги, все мои журнальные схватки, весь я как литератор и «деятель». Мне нужен какой-то большой, большой отдых, может быть, — двух-трех лет. Если его не будет, я собьюсь с пути, вернее — остановлюсь на пути, буду себя повторять, буду твердить одни и те же слова. Чтобы остаться собой, мне сколько-то времени надо быть вне жизни, вне литературы. Когда придет время для такого отдыха, не знаю. Не скоро, кажется. Не сейчас, во всяком случае. Ведь надо, ведь должно закончить «Ангела». Если я прерву работу, я растеряю все ее нити и не довершу ее никогда. А в то же время надо докончить «Франческу». Обидно же, чтобы в театре шел иной ее перевод, не мой![1] А «Весы» ежемесячно всё требуют и требуют сил. А издатели и редакторы что-то спрашивают с меня. А г.г. критики пишут, что я стал однообразен. И я верчусь, бегу, падаю и не вижу выхода, не вижу остановки...

Прости, Нинка, что я чуть не в каждом письме горько жалуюсь Тебе на свою усталость: но это то чувство, которое сейчас проникает все мои мысли, все мои поступки, все мои хотения.

Упасть, и утонуть, и умереть во мраке... Или хотя бы спокойно уснуть, без мысли, что столько-то стихов недопереве́дено, что столько-то корректур не досмотрено... Голова мутная, душа пустая, и даже почерк не повинуется, как бывало...

Вчера опять не было от Тебя письма... Это не упрек, а тихая просьба: пиши мне часто. Я очень отдыхаю, получая Твои письма. И все же, против Твоей воли, есть в них дыхание Тебе чуждой, мне дорогой Италии.

Вчера был «спектакль литераторов». Провал полный (судя по газетам)[2]. Говорят, особенно плохо играли профессионалы.

Видаюсь с Вяч. Ивановым. Очень он скучен.

Твой

Валерий.

---

[1] См. п. 146, примеч. 4.

[2] 27 марта 1908 г. в Литературно-художественном кружке состоялся спектакль литераторов в пользу общества деятелей периодической печати и литературы — была поставлена пьеса Л.Н. Толстого «Плоды просвещения» (режиссеры Н.Н. Синельников и А.И. Тарский). В спектакле участвовали: Н.Н. Баженов, Е.И. Вашков, Е.В. Выставкина, Е.П. Гославский, В.А. Гиляровский, Ф.Т. Гаврилов, В.Е. Ермилов, Борис Зайцев, В.А. Зайцева, В.Н. Ильнарская, Сергей Кречетов, Б.А. Койранский, А.И. Куприн, С.Б. Любошиц, Lolo (Л.Г. Мунштейн), С.С. Мамонтов, П.С. Мамонтов, И.И. Митропольский, А.М. Пазухин, В.Ф. Плевако, С.Д. Разумовский, Л.Д. Рындина, Л.М. Родионов, Я.Л. Розенштейн, А.С. Серафимович, О.Ф. Стражева, Н.Д. Теле-

шов, Н.И. Тимковский, Владислав Ходасевич, Евг. Чириков, В.Г. Чирикова (Иолшина), А.Л. Шер, И.Ф. Шмидт, Сергей Яблоновский, Е.А. Яблоновская, Е.М. Эк (Русское слово. 1908. № 71, 25 марта. С. 1). Отзывы о «спектакле литераторов» были единодушно отрицательные: «... в отношении постановки и исполнения это был заурядный любительский спектакль, срепетованный на скорую руку» (Руль. 1908. № 67, 29 марта. С. 3); «Для любителей дилетантов простительно сыграть неважно, даже плохо. Но гг. литераторы ухитрились сыграть «Плоды просвещения» более чем плохо. <...> На 37 ролей едва-едва нашлось два приличных исполнителя» (Голос Москвы. 1908. № 73, 28 марта. С. 4). См. также фельетоны В.М. Голикова (Wega) «Перед спектаклем» и «После спектакля» (Голос Москвы. 1908. № 74, 29 марта. С. 2).

153. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

29 марта / 11 апреля 1908 Г. Москва[1]

№ 19 29 марта / 11 апреля 1908

Нина, милая! Сейчас получил Твое грустное письмо из Флоренции. Что́ я скажу. Что́ *говорить* на эти слова. И что́ *мне* говорить на эти слова. И как отвечать, зная, что ответ придет через десять дней после вопроса. Встретимся, будем говорить. Или, может быть, будем только смотреть друг другу в глаза. Ты осталась собой, и ни в Италии, нигде на земле, даже в садах Гесперид, не найти Тебе полного отдыха и счастия.

Это последнее письмо, что я пишу во Флоренцию. Буду ждать телеграммы из Специи или Виареджо. Посылаю газетные инвективы на «Спектакль литераторов»[2].

Твой всегда и навсегда

Валерий.

[1] Ответ на п. 147. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. п. 152, примеч. 2. Газетные вырезки при письме не сохранились.

154. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

3/16 апреля 1908 г. Неаполь[1]

Неаполь 16/3

Милый Валерий, я получила сейчас № 18, и долго мне нужно было ходить по улицам и сидеть у моря, чтобы хотя несколько рассеялся в душе холод и темный страх. Ужасно боюсь с то-

бой встретиться... Уеду летом надолго куда-нибудь с мальчиком. Может быть, в первый раз сегодня оценила его непритязательную тихую нежность и эти дни с ним, безрадостные, но легкие, как утренний сон. Даже солнце неаполитан<ского> дня вдруг показалось мне ласковым и милым, как представлю я себе Москву с ее неизбежной болью, распятьями и пытками. Я очень печалюсь о тебе *для тебя*. Вот ты усталый, замученный, тебе нужен отдых. Думаю о тебе с горькой нежностью. Но... Я знаю еще, как трудно, как горько и безутешно *быть* с тобой таким. От тебя мне нужно, быть может, надолго, надолго уйти. А уйти мне некуда. Остается только один способ — уходить хотя во внешнем, когда я становлюсь тебе не нужной. После Италии думаю, что я это могу. Вообще я много, много *могу*. Писала тебе об этом во вчерашнем, тоже очень грустном письме[2]. Что ж — поезжай отдыхать с твоей женой куда-нибудь далеко[3]. Обо мне не думай. Я еще не знаю, где предел моего *могу* и когда душа омертвеет совсем. Да это и не важно. Делай все для себя, как будто меня нет. Я многое узнала за этот месяц и о тебе, и о себе. Кажется, не осталось ни одного нерешенного темного вопроса. С судьбой стою лицом к лицу. Только это очень, очень страшно. Я второй уже день в Неаполе. Здесь мне почти нравится. Какая-то необыкновенная свобода во всей внешней жизни. И солнце нежное, мягкое, совсем не мучительное пока, и много красивых милых лиц. В Риме совсем хорошо. На обратном пути заедем непременно. Меньше всего мне были приятны Венеция и Флоренция. Быть там еще не хотела бы никогда. Начинаю понемногу привыкать к шуму, а здесь беспокойно ужасно. Чувствую себя физически несколько лучше. Достала лекарство от сердца, и припадки бывают реже. Через два дня[4] здесь Пасха — это очень заметно на улицах. Но на первых днях ее мы, вероятно, будем на Капри. Может быть, там нескол<ько> тише. Мальчик очень тоскует, что поездка подходит к концу. Совсем не понимаю я его любви. Кто я для него? *Как* я живу в его очень извращенной душе — совсем не знаю. Но цепляется он за меня по-детски, упорно, настойчиво. Странные все мы. И я уже не могу его выбросить из жизни, хотя часто чувствую, что не нужен он мне по существу ни на что. Вообще эта глава моей жизни, где появляется он, для меня еще туманна и неясна. Ну что ж — пусть живет. Он мне хотя не доставляет никаких мучений, а таких людей около меня не много. Как говорят об этом в Москве и Петербурге, — я думаю, тебе все равно так же, как мне. Ты *зна-*

ешь (ведь знаешь же?) *правду*, а больше не нужно ничего. Не сердись на меня, мой дорогой зверь. Я боюсь тебя очень, но люблю бесконечно. Даже слишком много для того, чтобы владеть тобой всецело (о, конечно, только в любви!). Тебе нужны неуверенность, пытки подозрения, зыбкость, — иначе ты перестаешь ценить. Ведь я уже знаю, — самый нежный ты бываешь, когда думаешь, что я хочу уйти к кому-то. Но советов «Сережи старшего» так и не умею принять. Все равно! Себя не обманешь! Прости, милый! Не замучивайся хотя *по возможности*. Не забывай меня совсем.

Твоя.

P.S. Каменского получила сегодня[5]. Напишу очень скоро и пришлю.

[1] Ответ на п. 152. Почтовые штемпели: Napoli. 16.4.08; Москва. 9.IV.1908.

[2] Это письмо, видимо, не сохранилось.

[3] Летом 1908 г. Брюсовы действительно совершили большое зарубежное путешествие.

[4] 6/19 апреля.

[5] См. п. 137, примеч. 2.

155. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

4/17 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 22[2] 17/4 апр. 1908

Милая Нинка!

Я несколько дней не писал Тебе, так как знал, что Ты из Флоренции уехала. Странно было бросать письма словно в черный колодец! Да и от Тебя писем не было долго. Сейчас получил последнее Твое письмо из Флоренции — то, где Ты сообщаешь мне, что не получила моего письма № 14[3]. Как странно. Но то письмо было вовсе не так страшно, как Ты его представляешь. Теперь, через восемь других писем (ах! как медленна современная почта!) и через две недели времени мне оно кажется просто пустяком. Не думай об нем, Ниночка, вот и все.

Что до меня, живу очень плохо, и все от множества работ. «Франческу» кое-как кончил и послал с Вяч. Ивановым и рекомендательными письмами в Петербург, в цензуру (драматическую) и комитет (Императорских театров)[4]. Но зато опоздал с Ангелом, и в № 4 очередной главы не будет[5]. Совершенно как по триви-

альной поговорке: одну ногу высвободишь, другая завязнет. И вообще я в этих работах, как в трясине... А хотелось бы мне бросить все «прозы», романные и статейные, и писать стихи. Но нельзя. Почему нельзя? Сам не знаю...

Теснят достаточно и корректуры. Только что кончил работу над 2 том<ом> Путей и Перепутий[6], мучит том Вилье де Лиль Адана, которого я редактирую[7]. А там придет «Франческа» и «Филипп II»[8]. И каждый месяц «Весы». Если опять обратиться к поговоркам, придется уже сравнивать себя с белкой в колесе: вертишься, вертишься, вертишься. Зачем? зачем? зачем?.. Не знаю опять. Но устал, устал, устал.

Это все не жалобы, Нинка, а описание, точное, моей жизни...

Бывать нигде не бываю. Даже заседания дирекции[9], за которые Ты меня так журила, забросил.

Сегодня начинается верба, небо синее, в пальто жарко: сижу дома — вижу перед собой груду корректур.

А перед Тобой неужели Везувий? и Неаполитанский залив? и дальные, воздушные призраки Капри? Ах, Нина, не брани Италию. Вернешься в Москву и благословишь ее. Vedere Napoli e poi morire...* Но не умирай, а возвращайся ко мне. Жду Тебя.

Твой

Валерий.

Твой адрес сообщила мне Лидия Дм<итриевна>[10] — не знаю, точно ли. — Шлю Тебе Пути и Перепутья, т. 2.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Письма с авторской нумерацией 20 и 21 отсутствуют; возможно, что они не дошли до Петровской.

[3] Это письмо Петровской, вероятно, не сохранилось.

[4] Постановка «Франчески да Римини» Д'Аннунцио готовилась в Малом театре в Москве и в Театре В.Ф. Коммиссаржевской в Петербурге. Театрально-литературный комитет при Дирекции Императорских театров определял, какие пьесы могут быть поставлены в этих театрах (в том числе и в московском Малом).

[5] «Огненный Ангел» был завершен публикацией в № 2, 3, 5—8 «Весов» за 1908 г.

[6] Книга Брюсова «Пути и перепутья. Собрание стихов. Т. II. Риму и миру. Венок. 1901—1905» (М.: Скорпион, 1908) вышла в свет в середине апреля 1908 г.

[7] Речь идет об издании: *Вилье де Лиль-Адан.* Жестокие рассказы / Пер. Брониславы Рунт под ред. и со статьей Валерия Брюсова. СПб.: Пантеон, <1908>. Книга вышла в свет в конце апреля 1908 г.

---

*Увидеть Неаполь — и потом умереть (*ит., искаж.*).

[8] Перевод драмы Э. Верхарна «*Филипп II*», предполагавшийся для публикации отдельной книгой в издательстве «Пантеон», не был Брюсовым завершен. См.: *ЛН. Т. 85.* С. 555, 571—573 (статья и коммент. Т.Г. Динесман).

[9] Подразумевается дирекция Московского Литературно-художественного кружка.

[10] Л.Д. Рындина.

156. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

4/17 апреля 1908 г. Неаполь

4/17

Вот рецензия об Ануфриевой[1]. Не стоит ее, пожалуй, печатать. Об таких книгах говорить не хочется, нечего и не надо. Если выбросишь, не обижусь нисколько. О Каменском напишу серьезно и скоро[2].

Целую тебя. Не сердись за вчерашнее очень печальное письмо[3]. Бывают минуты уныния крайнего.

---

[1] См. п. 142, примеч. 6.

[2] См. примеч. 2 к п. 137.

[3] Имеется в виду п. 154.

157. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

5/18 апреля 1908 г. Москва

22 (или *23* — сбился!) 5/18 апр. 1908

Нина, милая, хорошая!

Надеюсь, Ты не сердишься, что я послал Тебе свою книгу без «надписи»[1]. Писать что-либо официальное не хотелось. Что-либо настоящее — для чтения всех почтовых чиновников и Твоего мальчика — еще менее. В Москве, если Ты захочешь, я надпись сделаю. У меня есть чтó написать Тебе на *этой* книге.

Теперь уже можно спрашивать, когда Ты думаешь вернуться. Твой Сережа старший мне говорил, что Ты хочешь прожить в Италии до 1 мая? Это было бы совсем хорошо. Но какого 1 мая, старого стиля или нового? Если нового, то ведь это уже через несколько дней. Не слишком ли рано, Нинка. Подумай, что в эту Италию, которая Тебе так не нравится, Ты все же не вернешься много лет. Каждый лишний день, проведенный теперь здесь, бу-

дет стоить после целых недель. Сколько только можно, убеждаю, не спеши. Еще лето велико, а жизнь и еще больше, большая, странная и немного страшная.

Это все не значит, что я не хочу Тебя видеть. Хочу, и очень, и очень по Тебе скучаю. Боюсь немного встречи, — мы всегда после разлуки встречаемся враждебно, — но жду ее как большой радости. Представляю себе Твои суровые слова и что-то новое, не мое, безнадежно не мое, появившееся в Твоем лице! — но хочу увидать и это, только бы оно не сделало Твое<го> лица совсем чуждым мне! Я очень хочу Тебя видеть, и все же говорю Тебе: не спеши уезжать от этого неба, от Везувия, от одиночества, от своего мальчика. Будь с ним, будь без меня, будь в чуждой Тебе Италии дольше, дольше. Несмотря на все Твои уверения, что Ты себя чувствуешь очень плохо, я все продолжаю верить, что что-то хорошее Италия Тебе дала, что какой-то запас сил в ней Ты почерпнула.

Но вот что. Все-таки напиши мне более или менее точно, когда думаешь Ты вернуться. После Пасхи[2] я хотел поехать в деревню, но мне было бы грустно, если бы Ты вернулась в дни моего отсутствия. Расписание своей жизни я хочу согласовать с Твоим. Какова бы ни была наша встреча (быть может, и роковой), я все же не хочу ее откладывать. Хочу идти к Тебе навстречу, к Тебе, которая, сама того не зная, уже новая, иная, не прежняя, не моя...

Твой Валерий.

---

[1] Подразумевается т. II «Путей и перепутий» (см. п. 155, примеч. 6).

[2] *Пасха* — 13 апреля.

158. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

6/19 апреля 1908 г. Москва

№ 24 6/19 апр. 1908

Сегодня «вербное воскресенье»; день пасмурный, серый, тихий, скучный. В детстве я любил в этот день наблюдать толпу, которая как-никак все же часть человечества. Но давно уже и толпа и все человечество наскучили мне в достаточной степени.

Все, что было, все, что будет, знаю, знаю наизусть![1]

Сижу дома и насильственно заставляю себя писать «Ангела» — сцену встречи Рупрехта с Ренатою...[2] Чу! дождь, — первый весенний дождь.

Что-то изжито, какие-то пути истоптаны до конца. Нужно новое солнце и новая кровь в жилах, чтобы жить дальше. Нужно замолчать надолго, чтобы вновь обрести возможность говорить. «Есть для избранных годы молчания — они придут»[3]. Может быть, пришли уже. С каждым днем мне все труднее писать, все равно в стихах или в прозе. С каждым днем я все меньше верю в то, что говорю: меньше верю в те уроки, какие даю своими статьями, меньше уверен в значительности, в «подлинности» моих стихов. Хочется смотреть на себя как на умершего. Хочется все свое прошлое отделить черной чертой от будущего.

Желал бы я не быть Валерий Брюсов[4].

Кажется, это желание исполнилось.

Ласточки летают под серым небом, сквозь редкие капли дождя. Им холодно и влажно, и город под ними внизу — весь туманный и серый. И вербная толпа, от которой они видят только головы, — тоже серая и невзрачная: «живет, колыхается...» Неужели — весна?

Твой Валерий.

P.S. Через два дня выходят «Весы», № 3; вышлю Тебе их в Неаполь. Не выслать ли Тебе какую-либо сумму в счет гонорара (прошлого, ибо в № Твоя рецензия[5], и будущего)? Сообщи адрес, и я сделаю перевод по телеграфу.

---

[1] Из стихотворения К.Д. Бальмонта «В лабиринте», входящего в его книгу «Тишина» (1898) (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 194).

[2] Эпизод из главы XIV «Огненного Ангела» (IV, 250—251).

[3] Начальные строки стихотворения «Годы молчания» (1896), входящего в книгу Брюсова «Me eum esse» (I, 131).

[4] Строка из стихотворения «L'ennui de vivre...» («Я жить устал среди людей и в днях...», 1902), входящего в книгу Брюсова «Urbi et Orbi» (I, 293).

[5] Рецензия на «Рассказы» Телешова (см. примеч. 3 к п. 140).

159. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

7/20 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 25 7/20 апр. 1908

Вчера получил Твое письмо из Рима[2]; сегодня письма нет, — вероятно, день соответствует дню вашего переезда в Неаполь. В этот Неаполь шлю уже четвертое письмо и не знаю, застанет ли

оно Тебя там. Все же за эти полтора месяца во многом утерял я нити Твоей души и уж не знаю, как говорить с Тобой, что говорить Тебе. Произношу слова словно в темноту и сам удивляюсь, когда долго спустя, как запоздалое эхо, вдруг услышу ответ. А Ты? все ли еще явно представляешь меня, или и я для Тебя стал чем-то вроде призрака? И так скоро! так скоро!

Правду сказать, боюсь я нашей встречи, не уверен в ней.

Новостей у нас нет, — начинается весеннее обмирание. Вышла книжка стихов Любови Столицы[3]; открылся «Салон Золотого Руна»[4]; М.Ф.[5] все увлечен своей любовью, пропадает целыми днями и сам не свой... Все остальное в тех же гранях, как при Тебе.

Твой Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Это письмо, по всей вероятности, не сохранилось.

[3] «Раиня. Первая книга стихов» (М., 1908) Л. *Столицы.*

[4] Художественная выставка, организованная журналом «Золотое руно».

[5] М.Ф. Ликиардопуло. Подробнее см. п. 134.

160. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

8/21 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 26 8/21 апр. 1908

Нина, дорогая, милая. Сегодня я получил от Тебя Твое первое письмо из Неаполя, грустное. Но, кажется, — по отдельным словам, — Тебе Неаполь понравился. Успокойся в нем, не переезжай больше никуда, отдохни у моря. Разве только в Рим, на обратном пути, так как в самом деле быть один день в Риме — мало. У меня была неделя в распоряжении, я и то нашел, что этого мало, в Рим не поехал, да так до сих пор и не видал его[2]. Да больше ничего и не осталось в Италии: разве только Милан, — да и в нем одна «Сепа»[3], ибо собор не поразительнее Флорентийского[4].

Ты пишешь, что выедешь, вероятно, из Неаполя 13/26, в день нашей Пасхи[5]. Не рано ли, Ниночка? Проведи в Неаполе еще дня два-три, повторяю свой постоянный довод: когда-то в него соберешься вернуться! Тогда, считая на Рим дня два-три, да на отдых в Вене или в Варшаве день, Ты будешь в Москве в середине 20-х чисел, около 24, 25. Я к этому времени и буду ждать Тебя... Впрочем, как «ждать»: ведь Ты приедешь с мальчиком, и несколько

Твоих дней в Москве еще будут для меня продолжением Твоего путешествия.

Это, вероятно, мое последнее письмо, которое дойдет до Тебя. Я напишу еще одно или два, но им, конечно, суждено будет затеряться, разыскивая Тебя на Твоих путях из Неаполя. Ты меня упрекаешь, что я Тебе пишу «деловые» письма и «записочки». Это несправедливо, Нина. Я пишу так, как с Тобой говорил бы: просто, без вычур и без лишних слов. Я давно отвык от пышных восклицаний, от той игры страшными выражениями, какая нас всех когда-то увлекала. Но зато каждое мое слово значит именно то, что оно значит, в нем нет преувеличения и нет ничего условного. Говорю, как чувствую, и слова мои — точный слепок с моей души. Поступаю, как говорю. И когда в конце письма я добавляю маленькое словечко «Твой», оно имеет тоже свой смысл, точный и несомненный.

В прошлом письме, посланном *вчера*, я Тебе писал, что «боюсь» нашей с Тобой встречи. В последнем Твоем письме, полученном мною *сегодня*, Ты мне пишешь, что «боишься» нашей встречи, встречи со мною. Странное, но не непонятное совпадение! Ах, Нинка, оба мы неправы. Не надо бояться. Давай и встретимся столь же просто, как я пишу свои письма. Чужими мы стать друг другу *не можем*, чтó бы ни свершилось с каждым из нас в жизни, и если нам покажется, что мы чужды один другому, не будем верить этому первому обманчивому впечатлению. Так? Дадим себе слово, что не поверим, потому что сознание должно быть правее, чем впечатление, потому что «прав упрямый Галилей», хотя каждое утро солнце и «восходит»[6], потому что все же наши жизни вращаются вокруг солнца нашей Любви!

Твой всегда и навсегда

Валерий.

P.S. Согласно с Твоим письмом, послал Тебе сегодня *200 fr<ancs>* телеграммой. Если еще будешь мне писать, упомяни, дошли ли: ибо перевод телеграфом очень неверный способ.

---

[1] Ответ на п. 154.

[2] Брюсов был в Италии в мае—июне 1902 г. См.: *Дневники*. С. 120—121.

[3] «Cenacolo Vinciano» («Тайная вечеря», 1495—1497) — фреска Леонардо да Винчи на одной из стен трапезной миланского доминиканского монастыря Санта Мария делле Грацие.

[4] Миланский собор, наиболее знаменитый готический собор в Италии (строился с 1386 г., освящен в 1577 г., строительство окончательно завершено в 1856 г.).

[5] Видимо, Петровская сообщала об этом Брюсову в неизвестном нам письме из Рима.

[6] Обыгрываются заключительные строки стихотворения Пушкина «Движение» («Движенья нет, сказал мудрец брадатый...», 1825): «Ведь каждый день пред нами солнце ходит, / Однако ж прав упрямый Галилей».

161. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

9/22 апреля 1908 г. Москва[1]

№ 27 9/22 апр. 1908

Нина, дорогая и хорошая!

Вот эти слова, вероятно, последние, какие я пишу Тебе в Италию. Думаю, что эта страничка уже не застанет Тебя в Неаполе. Но если Ты будешь читать ее, знай, что и сегодня я думал о Тебе, что всегда я люблю Тебя, что

я — Твой

Валерий.

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

162. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

10/23 апреля 1908 г. Неаполь

Неаполь, 10/23 апреля

Милый Валерий,

я, кажется, долго не писала тебе. Прости. Не знаешь тут, куда деваются дни. Сначала мне было очень хорошо в Неаполе. Только здесь Италия поцеловала точно в самое сердце. Чувствова<ла> целую неделю приятную лень, безмятежность и непривычную мне легкость. Много красивых лиц, и море чудесное, и комнаты у нас веселые, светлые. Словом, было довольно хорошо[1]. А вот со вчерашнего дня откуда-то изнутри набежали тучи, и с утра все томит, и не знаю, чего я хочу. Такое чувство — «ни жить, ни умереть». У меня здесь все время почти физически болит сердце. Не могу я не знать и не думать, что Италия только отдых перед какой-то окончательной погибелью. И уж никуда не уйдешь, и ни на что не надейся. Суй голову прямо в петлю. Ах, если бы боль-

ше воли и силы, осталась бы я совсем за границей... О тех формах жизни, которые ждут в Москве, без ужаса не думаю. Если вижу во сне, то просыпаюсь в томленьи и слезах. Я люблю тебя очень, очень, но устала испытывать боль. У меня нет в душе ни одного не уязвленного этой любовью места. Прости, прости эти слова. Это грешный ропот, но ведь и выносить можно только до предела, а я чувствую, что уже касаюсь его. Особенно почувств<овала> все это после тишины, после затона, в котором живу здесь. И мальчик, может быть, единственное существо при всех своих недочетах, с которым можно отдыхать. Но что такое отдых, если знаешь, что ничего не изменилось и не изменится. Ты думаешь, что у меня какое-то «новое лицо».. Нет, я все та же. Может быть, оно покажется «новым» только потому, что все черты стали острее и глубже. Я стала выносливее, несмотря на мой ропот, на бунты, и *долго, долго не скажу «не могу»*. Мне кажется, что теперь я могла бы, например, сидеть в тюрьме, в самом простом значении этих слов. Не есть по нескольку дней, не спать, жить без тебя. И все это терпеливо, без битья об пол, без слез. Самое *последнее* должно совершаться в тишине; так я думаю после месяца или 6-и недель, в которые не смотрела тебе в глаза, не слышала твоего голоса.... Великий соблазн (который, конечно, не воплотится) только в одном — не вернуться бы... Убежать от своей Судьбы. Жизнь везде, пока есть возможность, что кто-то подойдет и скажет словом или выраженьем лица: «Я хочу любить тебя». У меня здесь являлись даже самые кощунственные (для меня) мысли — (после всего, что я видела, после картин и особенно одних помпейских фресок[2], их показывали в какой-то тайной комнате, притворив двери) — что же такое любовь? Чудо, идеал всех стремлен<ий>, или Великая Банальность. Прекрасна она или отвратительна в своей вечной и неизменной повторности. 18 веков тому назад были те же выраженья ее, как на современных «неприличных» открытках. И вообще «*повторность*» всей жизни, которую вдруг начинаешь подмечать с неумолимой ясностью, может или могла бы привести половину человеческого рода к повальному самоубийству. Если бы только немножко, немножко удлинить жизнь каждого в отдельности. Несколько дней у меня был такой строй мысли и чувств. Это ощущение, точно из тебя вытянули всю душу и не осталось ничего — пустота. Но даже и в этом повторность. Думаю, что так чувству<ют> многие. А ты? Я наверно знаю, *когда* это с тобой бывает. Я опять прежняя. С моей неизменной прекрасной печалью, с единственной мечтой, которую не убьют никакие хи-

меры. Пусть все это так, но мне в этом мире нужны только одни твои глаза, один ты, *со всем в тебе*, со всем, что мне и дорого и невыносимо. И я

«верна в неверном мире
Своей восторженной мечте»[3].

Я знаю, *что́* могла бы создать я из своей души. Ведь почти нет «не могу». Всё мы можем. И я могла бы уйти от тебя, жить в каком-нибудь Милане или Париже, встретить кого-то, потолстеть, поздороветь, обмануться еще раз какими-то красивыми глазами, отрезать половину своей души и, может быть, еще казаться не такой убитой и вечно несчастной. Но не хочу! Это жалко, это мелко! «*Будемте же* ковать жизнь», — сказал мне Б.Н.[4] однажды в Петербурге, когда был такой же измученный, избитый и печальный, как я. Да, будем! Ах, сколько раз вспоминала я его здесь с самой горестной нежностью. Милый и прекрасный, — таким он останется всегда. Все вы мне пишете, чтобы я дольше не приезжала. Самые разнообразные люди — ты, Сережа, Надя, Л.Д.[5], Янтарев и даже Богородск<ий>. Не обижайся за такую компанию, но ведь до смешного *все одно*. Должно быть, уж подло в Москве! Л.Д. нагородила мне таких ужасов, что волос дыбом становится. Мне отсюда кажется, что в Москве люди друг друга едят. Как получу несколько таких пугающих писем, так и обрадуюсь на мальчика. Он все-таки тихий, красивый, на чудовищ, вроде «мальчишек»[6], не похож и окружает меня самой бескорыстной кроткой нежностью. Ты спрашиваешь, когда я вернусь? Вот мой предполагаемый план — отсюда, из Неаполя, в четверг на пасхе нашего 17-го апреля. В Риме дней 5—6. Из Рима до Вены. В Вене выспаться сутки и прямо домой. Буду, значит, между 25 и 28. Точного дня определить совсем не могу, это зависит от разных случайностей. Но думаю, что непременно между *25 и 28*. Поезжай куда хочешь. Пожалуйста, не связывай своих желаний и решений. Очень мечтаю даже сейчас — уехать из Москвы куда-нибудь вскоре после приезда, хотя бы в Киевскую губернию в деревню к Шаховск<им?>, а потом летом с мальчиком в Финляндию. Я теперь к путешествиям привыкла. И те расстояния кажутся малыми до смешного. Летом в Москве ужасно. А планы мои (первый проблематичен) внешне осуществимы. Благодарю тебя за деньги. Напиши уже теперь в Рим. Albergo Forino. Via Amedea 8. Мы опять там остановимся.

Письмо мое, кажется, грустно. Но это я сегодняшнего дня и многих итальянских дней. Смотрю на Везувий и на море. Завтра

поедем на Капри. Здесь в меня влюбился неаполитанский студент. Зовут его Уго, у него синие глаза. *Но я уже его не увижу.* Эту маленькую историю расскажу при свиданьи. Только душа у меня верная, верная тебе, и от этого я даже чувствую некоторую печаль, потому что у него глаза синие и лицо «милого из Норвегии». Целую тебя, Зверочек. Я тебя очень люблю.

---

[1] Ср. в письме С.А. Ауслендера к М.А. Кузмину от 22/9 апреля: «Прямо из Флоренции я проехал в Неаполь за теплом и весной. В Риме был один день, но буду еще на обратном пути. Только в Неаполе настоящая весна и настоящая Италия. Иногда все кажется даже слишком красивым, как в опере или на открытке — голубое море, голубое небо, розовые берега, пальмы, луна — даже слишком, но очень нежный, ласковый и приветливый город» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 227. Л. 1—2 об.).

[2] Мозаики и фрески, открытые в результате раскопок римского города Помпеи, засыпанного при извержении вулкана Везувий в 79 г. Произведения эротического содержания были выделены в отдельное собрание, доступ к которому был ограничен.

[3] Цитата из стихотворения Брюсова «Близкой» («Как страстно ты ждала ответа!..», 11 января 1908 г.), опубликованного (без заглавия) как посвящение на обороте титульного листа книги «Венок» в томе II «Путей и перепутий» (М., 1908); позднее включено в книгу «Все напевы». См.: I, 448.

[4] Б.Н. Бугаев (Андрей Белый).

[5] Надежда Ивановна Петровская и Лидия Дмитриевна Рындина.

[6] Подразумеваются молодые литераторы из круга сотрудников издательства «Гриф» и журнала «Перевал». В письме из Неаполя к Е.Л. Янтареву от 13/26 апреля 1908 г. Петровская уподобляла их «отвратительным дьяволятам с офортов Гойи»: «...они *вгрызаются* в Вас, как могильные черви, как паразиты, которые должны питаться соками чьих-то душ. Муни, Владька <В. Ходасевич>, Койранский, А. Брюсов — всем им одна цена — грош. Это отвратительная накипь литературы и жизни, о которой стыдно будет вспомнить» (*Богомолов Николай.* Итальянские письма Нины Петровской // Русско-итальянский архив. Trento, 1997. С. 154).

163. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

13/26 апреля 1908 г. Неаполь[1]

Неаполь 26/13 апр.

За что ты меня мучишь, зверочек?!

Вчера получила твои два письма — одно в ответ на мое из Рима. Они уж даже без обращенья! Тебе стало жалко для меня обычно ласковых слов... И говоришь, что ты «призрак», что я тебя забываю. Откуда ты видишь это? Я помню почти все свои письма, и римское помню[2], — везде я любила тебя, всегда писа-

ла об этом с нежностью, с таким чувством, точно не расставалась с тобой. Упрекнуть немного ты мог бы только за самое последнее, что получишь перед этим. Но ведь усталость, пустота, изнеможение души — сам ты знаешь. Может быть, об этом не нужно говорить? Может быть; потому что завтра почувствуешь себя по-иному, а тебя обвинят в качествах Б.Н.[3] — в изменчивости, неверности и многом другом. Я знаю эти твои состояния. Я вижу, чувствую, как ты устал, как ты *пережил всё*, всё, и, может быть, меня. «Нужна новая кровь в жилах, новое солнце...» Что же я сделаю! Что! Хочу только быть в твоей жизни *во все ее минуты* — и последнего унынья, когда ты переста<ешь> как будто меня замечать, и в минуты радости, чтобы радоваться на тебя. Но если ты разлюбил меня совсем и кажусь я теперь тебе совсем чужой, что сделаю я! Что!

Этой поездки ты хотел сам. В ней я покорна до последн<их> пределов. Хочешь, чтобы я не возвращалась скоро — я не возвращусь. Устала, скучаю, томлюсь, но живу. Если ты думаешь что-нибудь о мальчике, — как я разуверю тебя? Я только могу улыбнуться. Это неслыханная история. Ничего подобного со мной не было. Нашлось неизвестно откуда странное существо и живет около меня жизнью совсем особенной. Иногда мне казалось, что это отвратительно, а теперь я уже не удивляюсь, и даже есть тут что-то трогательное. Вот и все. Я желала бы показать тебе мою итальянс<кую> жизнь день за днем, с утра и до вечера, во всех городах. И душу мою — холодную ко всему, кроме тебя. Но ведь не веришь, не веришь! Отчего *ты* боишься нашей встречи? *Я* боюсь только потому, что знаю, вижу и предчувствую, *каким* ты будешь со мной. Потому что испытала не раз на себе твою усталость и равнодушие таких дней. Я боюсь боли, но не убегу от нее, и жду этой встречи, как счастья, какой бы она ни была. Но отчего *ты* боишься? Я все та же, прежняя. Ничего нового нет и, верно, не будет в моей жизни. Много раз с тоской я смотрела себе в душу. Как кого-то чужого помню себя далеких прежних дней, когда могла думать, что можно куда-то, к кому-то уйти. И если в последнем письме писала тебе, что «могу уйти», то разве не ясен смысл этих слов? Не «куда-то», не к «кому-то», — *а из своей души*. Не для жизни, а для смерти. Для жизни *автомата и призрака*. Эта возможность существует *для всех*, кто владеет собой сколько-нибудь. Но разве этого может хотеть еще живая душа?! Об этом можно только говорить, когда падают силы и замирает пульс, когда

смертельно устанешь. Зверок мой любимый, неужели ты не хочешь быть со мной! Неужели *ничто* эти годы? Неужели в 1 ½, 2 месяца можно что-нибудь забыть? Или ты хочешь нового?... Милый, любимый мой зверь, не делай страшной нашу встречу. Я вернусь к тебе *твоей* более чем когда-либо. Для меня эти два месяца суровый, но прекрасный искус. Все поняла теперь, все знаю, *все* от тебя приму с покорной нежностью. Я не сделала *ни одного* шага, после которого не посмела бы смотреть тебе в глаза. Веришь? Это необычайно и почти невозможно, но правда, правда! И эту правду ты увидишь в моих глазах, по-прежнему ясных и печальных, по-прежнему обращенных к одному тебе. Я вернусь числу к 28-му. Раньше и нельзя. Мальчик ждет денег на дорогу. Отсюда в четверг в Рим[4], а там уже близка Москва. Устала я очень, зверочек. Вчера ездили на Капри. Затруднительная и мало приятная дорога на пароходе, набитом туристами и особенно немцами. Ненавижу их здесь! Были у Горького! Не сердись, это очень любопытно. Сегодня, кажется, напишу о нем[5]. Горький вблизи очень милый. Мне было стыдно за мое змеиное поведение в духе Б.Н. — ведь рецензия-то без псевдонима[6]. Ласкал он нас, я думаю, как только мог. Тебя хвалил, справлялся *у меня* (!), когда ты кончишь Огненного Ангела. Расскажу о нем, когда увидимся, а м<ожет> б<ыть>, еще и в фельетоне. Капри очень скучная вещь. Жить бы там я не могла, слишком ярко и блистательно для северных глаз. Мил мне в Италии только Неаполь, уж не знаю и чем. Легко в нем дышать. Но затомилась я все же ужасно. Хочу к тебе, *как бы ты меня ни обижал*. Валерий, Валерий, не уходи от меня! Я стала совсем хорошая. Ты увидишь. И совсем, совсем твоя.

Благодарю за «Пути и Перепутья»[7]. Читаю и люблю тебя бесконечно.

---

[1] Ответ на пп. 158 и 159.

[2] См. п. 159, примеч. 2.

[3] Б.Н. Бугаев (Андрей Белый).

[4] 17/30 апреля.

[5] См. очерк Петровской «Максим Горький на Капри (Литературный силуэт)» (Астраханец. 1908. № 7, 5 мая; Тифлисский листок. 1908. 15 мая). Очерк «Кукольное царство» с описанием визита к Горькому опубликовал и Ауслендер (Золотое руно. 1908. № 6. С. 71—73); 7 мая 1908 г. он писал Г.И. Чулкову: «Есть у меня очень пикантный фельетон — очерк о Капри и о Горьком. Любопытные и неожиданные мнения Горького о новой литературе. Он принял декадентов, всех целиком, от Брюсова — до Ремизова. Нет ли каких-нибудь газетных возможностей? Не дешевле 20 к<опеек> за строчку — ведь на Капри съездить и Горького посетить — не шутки. Там и о Тиберии, и о мальчиках Круппа, и защита Великого Максима — с точ-

ки зрения его голубых глаз. Кажется, эта тема достаточно нова и пикантна для 20 коп.» (РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 46. Л. 26—26 об.). В приписке к письму Горького к А.В. Амфитеатрову от 10 декабря 1910 г. М.Ф. Андреева извещала: «А.М. посылает Вам карикатуру — весьма, впрочем, похожую на портрет гг. С. Ауслендера и Нины Петровской, сделанную М.С. Боткиной, когда те наносили визит vill-e Blaesus три года тому назад. Впоследствии этот визит был изображен ими в весьма превратном виде. Теперь они с Н. Петровской чуть ли не в контрах, а тогда путешествовали вместе, ей было лет 40, а ему — 22—23 максимум...» (*ЛН.* Т. 95: Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. М., 1988. С. 243 / Публ. А.Е. Погосовой). Там же (С. 244) воспроизведен карандашный рисунок М.С. Боткиной с пояснительной пометой рукой Горького: «Нина Петровская, С. Ауслендер, рисунок М. Боткиной».

[6] Подразумевается рецензия на «Рассказы» Телешова с негативной оценкой деятельности издательского товарищества «Знание», возглавлявшегося Горьким: «Зеленая обложка т-ва Знание — это в своем роде мундир от русской литературы, от той специфической литературы, на которой лежит отблеск прошлой славы Максима Горького, Скитальца и других»; «А пока остается надеяться, что схлынет же, наконец, та мутная волна нашей специфической литературы, на гребне которой еще видны расплывающиеся очерки Максима Горького и (?) Шаляпина. Схлынет же когда-нибудь и обаяние давно умерших или вовсе не живших для искусства людей, рассеется, как тяжелый гипнотический сон» (Весы. 1908. № 3. С. 93—94). В тот же день Петровская писала Е.Л. Янтареву о визите к Горькому: «Принял он нас необычайно ласково, вероятно, как только сумел. Ах, Ефим Львович, какое у нас, декадентов, сложилось сквер<но->развратное отношение к миру. Всех мы отрицаем, всех ругаем. Хотя бы вот Горького. Чего мы только о нем ни говорим и ни пишем. Я еще в последней рецензии о Телешове тронула его очень гадко, а теперь мне стыдно. Он пленительный человек, и глубоко культурный, и деликатный той особой деликатностью, которая свойственна только большим душам. А смех у него и глаза — как у ребенка. Сегодня буду, кажется, писать его «литературный силуэт», там напишу все *прилично* и подробно» (Русско-итальянский архив. Trento, 1997. С. 154).

[7] Том II «Путей и перепутий» Брюсов выслал Петровской одновременно с п. 155.

164. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

24 июня 1908 г. Теремец[1]

24 июня 908, Теремец

Нина, дорогая! О Тебе вестей пока не знаю, так как до сих пор сюда не доходила никакая почта. И это письмо посылаю не по почте, но «с оказией», как в доброе старое время. Беспокоюсь о Тебе очень. Еще и еще раз прошу Тебя не пренебрегать *и* лекарствами: за 3.000 лет, право, люди могли придумать что-то полезное и в этой области. Но главное: не думай ничего дурного обо мне, не печалься, не отчаивайся, не приходи в безумие. Я — Твой, каким уезжал из Москвы от Тебя.

Приезд мой, видимо, откладывается, но Ты на это не сердись. Во-первых, я, конечно, еще ничего не успел сделать. Первые дни не мог работать как следует и лишь теперь принялся за две последних главы «Ангела»[2]. Ты понимаешь, что мне необходимо их окончить до возвращения в Москву, иначе завершение их отложится на время самое неопределенное. В Москве я работать способен не буду, да, вероятно, и тотчас после нового отъезда — тоже. Во-вторых, если бы я приехал в тот день, на который я указывал, я бы был в Москве *не один*[3]: так расположились разные дела. Напротив, в деревне конец недели я проведу *совершенно один*, и мне кажется, что при таких условиях Ты сама первая сказала бы мне: оставайся и работай. Приеду же я или в воскресенье, или в понедельник[4] — утром и буду совершенно свободен, так как привезу готовыми две последних главы, после которых могу повторить молитву Симеона: Ныне отпущаеши[5]... Хочется увидеть Тебя спокойной, здоровой, ясной...

Ах, Нинка, страшно мне даже вспоминать все пережитое мною, нами с Тобой, за те десять дней, что я провел в Москве. Боже мой! неужели все это было неизбежно! неужели все это может и должно повторяться! — Да не будет!

Тихо целую Тебя.

Твой всегда

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы». Михнево, *Теремец* — дачная местность в 60 км от Москвы.

[2] Последняя по времени рукописная датировка в автографах «Огненного Ангела»: «1908. 6 июня. Теремец» (IV, 343).

[3] Подразумевается: вместе с женой.

[4] 29 или 30 июня.

[5] Начальные слова молитвы св. Симеона Богоприимца.

165. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

26 июня 1908 г. Москва[1]

Москва. 26 июня

Милый Валерий,

моего письма, ты говоришь, не получил. Оно было нежное и безумное. Написала сначала *все другое*, а потом надышалась эфиром — от него боль тупеет — и послала «бессмысленно нежное»

только *об одной* правде моей души. Мало соображая, ехала прямо к почтовому поезду на Павелецкий вокзал. Казалось, что нужно опустить его прямо в вагон. Был дождь, и провожал меня Муни[2], — вот все, что я помню об этой поездке. Видишь, как иногда пишутся письма. За три твои письма благодарю. За письмо к Наде особенно, — когда я буду умирать по-настоящему, ты дашь Матрене[3] и Наде «инструкции», а сам поедешь с женой на дачу или в «Эстетику»[4] — «потому что — как же иначе?»[5] И это не помешает тебе написать мне 5 писем о твоей жалости, об отчаянии, что ты меня «принужден» оставить и т.д. Чувствую я себя так, как человек, у которого *больше ничего нет*. Тебя и твое отношение ко мне в эти дни узнала окончательно. Удивляюсь только, что все еще ходишь в плохой маске, говоришь о какой-то любви, в чем-то уверяешь. Зачем это? У тебя есть *она*[6], которой ты, не задумываясь, приносишь в жертву меня с моей жизнью. Я ведь никогда не прощу тебе той ночи, когда ты ушел *к ней* и оставил меня. Слова, сказанные тобой когда-то Сереже, в эту ночь стали делом. Каждый твой поступок сейчас взвешивается на самых тонких весах. Вывод — я проиграла. Я побеждена. Так скажи это, не укрываясь. *Она* тебе нужна? *С ней* ты хочешь жить? Вместе нам не дышать. Ах, декаденты! Резиновые души! Хочешь и ее и меня. Она — главное, я второе. *Все* для нее, — для меня остатки, клочки. Нет, — спасибо!

Ты все «беспокоишься» о моем драгоценном здоровьи? Просишь рассказа подробного и точного. Изволь — сердечные припадки каждый день, эфир *пить* бросила, нахожу, что им лучше дышать. Вчера от этого было со мной очень нехорошо. Но видишь — жива, пишу. К «золотым очкам»[7] ходила *курьеза ради*. Выбрала дорогие и хорошие — 10 рублей за визит. И что мне эти «очки» наговорили! Моему «драгоценному» здоровью угрожает, по их уверениям, серьезная опасность. Причин много — не хочется их перечислять. Очень допытывались о «пережитом нервном потрясении», *которое очевидно*; об эфире (я сказала о нем как бы шутя и смеясь — вот, мол, еще какая у меня игрушка) «очки» слышать не хотели. «Это самоубийство» — так сказали. Рекомендуется мне сейчас следующее — два лекарства от сердца, «хорошее питание» и полный душевный и телесный покой. При этом — «Москва — яд». Нужно уехать по возможности к морю, купаться, гулять, все забыть, обращаться с собой осторожно и внимательно. Много еще другого. Я пробыла там более часу, подумай, сколько можно было наговорить и наслушаться. Еще — сердце мое в состоянии более

чем печальном, дело в каких-то сердечных клапанах, и еще что-то, чего я не поняла, ибо с физиологией и медициной имею знакомство самое поверхностное. Я поблагодарила, заплатила 10 руб. и вечером предалась эфиру. Итак — не спрашивай меня больше о здоровьи. Ведь *ты* со мной никуда не поедешь, в крайнем случае предложишь денег (откупиться от дурных беспокой<ных> чувств), *которых я не возьму*, а затем все останется по-прежнему, — жена твоя от вампиризма будет розоветь и полнеть, ты, чтоб не огорчить ее, будешь приезжать урывками в Москву, уверять меня в любви и бросать черт знает во что, потому что «как же иначе»? Она «жена», а я случайная любовница, *ее ты любишь*, а меня жалеешь и чувствуешь в отношении меня маленькую серенькую ответственность. Ведь ты не «сверх-человек», и когда из-за тебя кто-то страдает, это мешает тебе спать спокойно. Ну, одним словом, наш суд кончился. Осталась у меня к тебе через все непобедимая, просто кровная привязанность да страданье, для которого нет слов. Все знаю, все поняла, стала лицом к лицу с своей гибелью, а увижу тебя — и сердце дрожит непонятной нежностью, и за одну твою ласковую улыбку, за взгляд твоих глаз, за музыку привычных слов — готова на кресте распяться. Все знаю и умираю от боли, а жду, жду тебя, — чужого, с темной закрытой душой, с прошлым тех дней, о которых никогда, никогда ничего не узнаю. Жду для забвенья тех минут, когда ты рядом, и я целую твое тело, все любимое, все дорогое, *мое от века* и не мое в жизни, потому что оно, и ты, и твоя душа отданы ей. Ах, Валерий, не сердись на меня ни за что. Этот год — год смертельной борьбы. Мне кажется, что в нем я пережила всю муку, которая дана была мне на целую жизнь. И вот — побеждена, раздавлена, как червяк чьей-то глупой толстой подошвой. Боже мой! Каких простых радостей мне хотелось. Три лета я мечтала о каких-то бедных березках, которые по ночам шумели бы под *нашими* окнами. Ты упрекаешь меня за эти дни, но ты *не дал*, не дал ни разу быть мне кроткой, ясной, простой. Говоришь, что я порчу твою жизнь, но ни разу не дал мне беречь ее, стать ее ангелом-хранителем, а не разрушающей силой, хаосом, который можно только проклинать. Все я могла бы вынести с безумным фанатизмом, только не женщину. В иные минуты ты сам понимаешь, как это чудовищно, безобразно, невозможно. А потом опять непонимание, странное легкомыслие, суд надо мной.

Ну вот, — все обо мне. Жизнь разорвалась на дни и минуты, которые я преодолеваю эфиром, вероналем, только бы забыться на минуту, не помнить, что ты с ней. В конце этого — смерть.

Когда она придет — не знаю. Спасти меня ты не можешь. Ах, ты не дашь мне даже лекарства, не протянешь руки. Не отнимешь *у нее* месяца *для меня*. Зачем же посылаешь к «золотым очкам»? Зачем требуешь, чтобы я жила? Мне сейчас — все равно. У меня было что-то — душа, ум, способности, жажда жить, — теперь ничего. Одна огненная точка, одна мука от дней и минут. Валерий, дорогой, ну неужели это совсем окончательно, что *она*, а не я? Я ведь как Сережа, который вошел в темную комнату и застал нас вдвоем, а потом не знал и не верил еще год. Милый, милый, я сейчас безумна и нестерпима, но ведь ты не даешь мне отдохнуть, не даешь быть кроткой и тихой. Оторвись от нее на какие-то дни *совсем*, душой и телом, будь со мной, пойми, что ведь это все *действительно* гибнет. Ведь *правда*, меня скоро *не будет* в твоей жизни. А может быть, я тебе нужна? Может быть, ты не знаешь, что нужна! Это мой последний крик к тебе о помощи и спасеньи.

Ты не слышишь? Ты глух и слеп. Ты камень на могиле того, кого я любила. Его статуя, повторяющая весь дорогой очерк, но холодная и мертвая. Я протягиваю к ней руки, молюсь, плачу, проклинаю, целую, зову, теряю волю и сознанье от боли, кричу: «Валерий, Валерий, — ты мой!» И в ответ: «Меня ждет жена», «она рассердится, если я проведу с тобой ночь, я ее люблю....» Милый, мертвый, любимый, не можешь спасти? Не можешь? Прошу по-нищенски — дай, дай, дай чего-то, чтоб я ожила! Посмотри, в твоих руках жизнь, так случилось, я не могу изменить.

Хочу тебя видеть, нет других желаний. А ты все с ней, все с ней! Подумай *о нас* еще раз, серьезно, строго. И или убей, или дай жить.

---

[1] Ответ на п. 164 и на неизвестные нам письма Брюсова.

[2] *Муни* — псевдоним поэта и прозаика Самуила Викторовича Киссина (1885—1916). См.: *Киссин Самуил* (*Муни*). Легкое бремя. Стихи и проза. Переписка с В.Ф. Ходасевичем / Изд. подготовила Инна Андреева. М., 1999.

[3] Прислуга Петровской.

[4] «Общество Свободной Эстетики», собиравшееся в помещениях Московского Литературно-художественного кружка; Брюсов был одним из его учредителей.

[5] Фраза из статьи Сергея Городецкого «На светлом пути. Поэзия Федора Сологуба, с точки зрения мистического анархизма», начинающейся словами: «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе? <...> Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе?» (Факелы. Кн. 2. СПб., 1907. С. 193). Слова Городецкого сделались «крылатыми» в литературной среде. Ср., например, письмо С.В. Киссина к В.Ф. Ходасевичу от 31 июля 1909 г.: «..."как же иначе". Городецкому принадлежит только импрессионистическая эта формула» (*Киссин Самуил* (*Муни*). Легкое бремя. С. 208). Впоследствии Блок (в статье «Без божества, без вдохновенья», 1921) отмечал, что Городецкий «прославился» «мистико-

анархическим аргументом "потому что как же иначе?"» (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 179).

[6] Имеется в виду И.М. Брюсова.

[7] То есть к врачу.

166. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

Июнь—июль (?) 1908. Москва[1]

Милый Валерий, очень прошу тебя — не уезжай сегодня и приди ко мне вечером — в 8—9. Найди в себе силы прийти без гнева и досады. Все, что обнаружилось так ясно, — это важный и окончательный перелом всей жизни. С ним нужно встретиться не с бессильной душой, не в слезах и диких сценах. Я ухожу из дому на целый день. Мне нужно свободно и отчетливо собраться с мыслями, чтобы сказать тебе о себе и о нас окончательное решение. Приди, прошу тебя дружески, как прежнего, милого. Не бойся мучительств, их не будет, и не расставайся со мной без этого свидания. Ведь ясно — или отойди навсегда, или будет все новое. Об этом скажу кратко и неизменно. Ухожу из дома не безумия ради, а потому что в этих стенах слишком наболело и отравлено. А мне нужно собраться с мыслями отчетливо и ясно. Буду ждать тебя очень. Не откажи в этой просьбе. И не бойся с моей стороны каких-либо мучительных выдумок. Душа у меня несчастн<ая>, но сейчас гордая и сильная. Обещаюсь и клянусь, что этот разговор будет спокоен, тверд и прост. Не сердись, ведь все это для меня важно. Я написать едва ли сумею. В последний или *первый* раз (если настан<ет> новое) — хочу увидать твое лицо. Очень жду.

---

[1] Датировка предположительная, на основании внешнего сходства с п. 165 (тот же тип почтовой бумаги).

167. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

25 июля 1908 г. Москва[1]

25 июля 908

Дорогая Нина!

Прости, если мое суровое письмо Тебе показалось слишком беспощадным[2]. Я писал его в исступлении и в отчаяньи, так как мне казалось, что нет выхода. Прости мне все жестокие слова.

Когда принужден, обречен поступать жестоко — невольно эту жестокость усиливаешь. Приезжай в Бретань. Я буду в Биаррице около 15 авг<уста>, раньше или немного позже[3]. Если Ты выедешь из Москвы 6—7[4], как мы предполагали, Ты будешь в Бретани тоже около этого времени.

Твой

Валерий.

---

[1] Открытка, написанная карандашом. Почтовые штемпели: Москва. 25.7.08; Москва. 26.VII.1908. Отправлено по адресу: Москва, Арбат, дом Толстого, кв. 13. Написано в день отъезда из Москвы за границу (ср. письмо Брюсова к С.А. Полякову с датировкой: «Около Минска, 26 июля 908, вагон-ресторан» // *ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 113).

[2] Текст этого письма нам неизвестен.

[3] С конца июля по октябрь (ст. ст.) 1908 г. Брюсов путешествовал по Западной Европе (Италия — Франция — Бельгия). См.: *Дневники.* С. 139—141.

[4] 6—7 августа. Даты в письме — по старому стилю.

168. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

1/14 сентября 1908 г. Кемпер[1]

1 сент. 908

Нина, дорогая!

Прости краткость телеграммы[2]. Оставалось всего 5 мин. до закрытия почты. Завтра рано утром напишу Тебе отсюда[3]. Люблю Тебя очень. Горестно, что расстались мы, до боли. Помни меня. Люби меня. Будь со мною всегда. Всю жизнь. Я Твой всегда и навсегда. Целую Тебя.

Валерий.

P.S. Твое письмо к Наде[4] отправлено.

---

[1] Открытка — почтовая карточка с фотографией готического собора св. Корентина в Кемпере. Почтовый штемпель получения: Finistère. 15.9.08. Отправлено по адресу: Rue de Brest, 125 bis. Clinique Lambézellec. Finistère (près Brest).

[2] Текст телеграммы неизвестен.

[3] В Кемпере (город в Бретани; в дальнейшем не унифицируем написание его названия, установленное русской традицией) Брюсов остановился по возвращении из Бреста, где он встретился с Петровской, в Сен-Жан-де-Люс (город на юге Франции, на берегу Бискайского залива, в отрогах Пиренеев). 1/14 сентября 1908 г. датировано его стихотворение «К собору Кемпэра» («Я был разорван мукой страстной...»; I, 528—529). О предшествующих днях см. в лишь частично опубликованных

дневниковых записях: «Моя поездка в Брест. Обедаю в Бордо. Ночую в Loriant. Утром в Бресте. Встреча с Ниной. Ссора. Вечер в кафе. Ночью она заболевает. Дни ее болезни. Доктор Лемуан. Лечебница у д-ра в Lambézellec. Ярмарка в Ламбезеллеке. Шесть дней. Прощание. Путь назад. Вечер в Кемпере. Собор Кемпера. "Бродяга безымянный". Вторая ночь в Бордо. Возвращение в St. Jean» (РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16/1; ср.: *Дневники*. С. 149).

[4] Сестра Петровской.

169. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

9/22 сентября 1908 г. Сен-Жан-де-Люс

22 sept. 1908

Нина, дорогая, милая!

Я получил два Твоих письма, — оба еще из Бреста[1]. Сегодня я уезжаю (один) из С. Жан-де-Люса[2] и, хотя распорядился, чтобы все письма мне пересылались, не уверен, что они будут доходить до меня аккуратно. Боюсь, что долго не услышу о Тебе ничего. Не знаю даже, в Москве ли Ты. Здорова ли? Грустишь ли? Что до меня, то я чувствую себя достаточно плохо, и все, о чем мы говорили с Тобой, не только не ослабевает в моей душе, но скорее растет и крепнет. Благодарю Тебя очень, очень за все добрые, хорошие, нежные слова, но как воспользоваться ими? Ты знаешь столь же хорошо, как я, что в таких случаях никто не может помочь другому. И мне должно искать помощи лишь у себя самого, лишь в самом себе. Быть может, найду.

Океан здесь шумит по-океански, страшнее, чем в Бресте и в его окрестностях. Небо стало серым. Идут дожди, и осыпаются листья платанов. Осень. И, самым банальным образом, мне тоже хочется писать об осени и о падающих листьях. Строфы к собору Кэмпера вспыхнули и погасли в моей душе[3].

Испугала ли Тебя Москва? Не поддавайся ее проклятым чарам. Не дай удержать себя в плену. Приезжай в Париж. Извести меня о дне приезда. Помни наши буквы: K. — Z. — Н.[4]

Вышла «Франческа»[5]. Если можешь читать, прочти. Иные сцены должны понравиться Тебе очень.

Тихо целую Тебя.

Твой

Валерий.

[1] Эти письма нам неизвестны.

[2] Брюсов путешествовал вместе с женой.

[3] Подразумевается стихотворение «К собору Кемпэра» (см. примеч. 3 к п. 168).

[4] Видимо, условные обозначения адресата для эпистолярных либо телеграфных сообщений.

[5] Имеется в виду издание: *Д'Аннунцио Габриэле.* Франческа да Римини. Трагедия в 5 действиях. Перевод с итальянского размерами подлинника Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. СПб.: Пантеон, 1908.

170. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

16/29 сентября 1908 г. Сен-Жан-де-Люс.

29 сент. н. ст. 1908, С. Жан-де-Люс

Нина, милая!

Я получил два Твоих письма, и первое из них, Варшавское, привело меня совсем в отчаянье[1]. Как же можно было совершать это путешествие так! Во-первых, почему m-me X. могла спросить с Тебя лишние франки? Мы ясно уговаривались с ней, что цена комнаты со всем медицинским уходом 10 фр<анков> в день. Но, если все уже так случилось, как же Ты не телеграфировала мне из Парижа, зная, что я уже в С. Жан-де-Люс! Ведь Ты мне обещала это сделать в «исключительном» случае, а случай, на мой взгляд, и был исключительным. Всячески упрекаю Тебя за это, и вообще о Твоем путешествии в Москву из Бреста без горечи не могу думать.

Я, как Ты видишь, снова в С. Жан. Попытался я жить на одной уединенной станции, в Испании[2], но убедился скоро, что это ничего для меня не изменяет, а только дает лишние заботы. Через три дня вернулся в С. Жан. Здесь пробуду еще дней шесть-семь, и после этого еду в Париж[3]. На пути, может быть, остановлюсь на день в Бордо[4]. Таким образом, длинное Твое письмо, направленное Тобою в Париж, прочту я еще не скоро. Но я совсем не понимаю, почему Ты его послала в Париж. Я говорил Тебе много раз, что не думаю быть в Париже раньше октября (н. ст.).

Ты очень просишь писать Тебе. Я сам хочу этого, и это уже не первое письмо после того, как мы расстались (2 из Кэмпера, 1 из Пенмарша, 2 из С. Жан[5]), но все же мне хочется Тебе напом-

нить Твои слова. Ты говорила мне, что ни в чем не хочешь более насиловать моей души. Мы будем писать друг другу, если так будет хотеться кому-нибудь из нас; мы встретимся, если оба будем искать этого. Ведь правда? Ах, Нина, хорошая, милая, всегда дорогая мне! Ты не должна ни сердиться, ни пугаться, если от меня нет писем. Ты всегда должна знать, что я помню и люблю Тебя. Ты никогда не будешь для меня чужой. Но порой мне нужно одиночество, мне нужно не чувствовать на себе никакого долга: кому бы то ни было, даже Тебе, писать; идти туда-то; любить так-то... Ах, дай мне немного, немного, немного — быть только с самим собой. Клянусь Тебе, серьезно, свято, что мне это очень нужно, что мне это — необходимо.

Но после всего сказанного обещаю Тебе, что буду писать Тебе часто, так часто, как только Ты можешь этого хотеть. Твоих же писем жду с крайним волнением: трудно мне не знать о Тебе ничего, после того как я привык жить — всеми подробностями Твоей жизни. Благодарю Тебя за «явности» Твоего письма из Варшавы. Хочу еще таких писем. Люби меня, я очень хочу этого. Я люблю Тебя. Я Твой — в хорошем, в лучшем смысле слова.

Валерий.

P.S. Теперь, конечно, пиши Paris — K. — Z. — H.[6]: письмо, посланное по получении этого, придет в Париж уже после моего приезда туда.

= Заклинаю Тебя: не оставайся жить в Москве, Ты погибнешь в ней. =

---

[1] Эти письма, в которых Петровская рассказывала о перипетиях своего возвращения из Бретани через Париж в Москву, нам неизвестны.

[2] Ср. в недописанной и неотправленной открытке Брюсова к Ал.Н. Толстому от 30 сентября: «Обещал я Вам написать из Испании, но как-то не удалось: слишком недолго был там. Пишу Вам только с границы этой страны тореадоров...» (Переписка А.Н. Толстого: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 125—126; приведено в комментарии А.М. Крюковой).

[3] Ср. сообщение в письме Брюсова к Вяч. Иванову (Saint-Jean-de-Luz, <13/>26 septembre 1908 г.): «Мой адрес (ибо из St-Jean я уезжаю вскоре): Paris, rue Vaugirard, hôtel de Lisbonne» (*ЛН. Т. 85.* С. 512).

[4] Ср. запись Брюсова: «Путь в Париж. Опять Бордо, в третий раз» (*Дневники.* С. 140).

[5] Из указанных пяти писем три, видимо, не сохранились.

[6] См. п. 169, примеч. 4.

171. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

19 сентября / 2 октября 1908 г. Сен-Жан-де-Люс

Saint-Jean-de-Luz, 2 octobre 1908

Нина, дорогая!

Завтра, рано утром, я уезжаю отсюда в Бордо, где проведу несколько дней, — потом в Париж[1]. Грустно мне, что сюда так и не пришло больше писем от Тебя и я не знаю, как Ты доехала и как себя сейчас чувствуешь. Пытаюсь представить Тебя в Москве, — и не веселые эти представления. Думаю, что в Москве, по обыкновению, душно, пыльно, обидно и оскорбительно.

Что до меня, я все еще ни за что не принимаюсь. Перевожу, понемногу, скучную и риторическую «Елену» (однако II и III акт гораздо выше I)[2]; написал какую-то статейку в ответ критикам[3] (для Тебя ничего нового); перебираю и раскладываю по отделам свои старые стихи (новых не пишу). Без малейшего преувеличения мне начинает казаться, что для меня самое лучшее — бросить всякие попытки к «творчеству». Буду я мирно жить в стороне от большой дороги литературы; критики не будут меня ругать последними словами; издатели журналов и альманахов перестанут, с ножом у горла, спрашивать с меня статей: не райское ли житье? И я буду, как ветеран, удалившийся со службы, поощрять молодежь на новые подвиги или, что чаще бывает, брюзжать по-старчески на всякое новое начинание...

Прости, что серьезные слова у меня свелись на шутку; но обо всем этом мне тяжело говорить только серьезно.

Ликиардопуло сообщил мне московские вести, среди них о самоубийстве Н. Рябушинского[4]. Не ожидал я от него ни такого малодушия, ни такого мужества. Все-таки, значит, его давние слова о револьвере как последнем исходе были — от души. Начинаю немного выше оценивать бедного Коко..

Если будешь писать мне, не пожалей нескольких строк, чтобы сообщить разные «сплетни» из нашего кружка. Привык я следить за всеми этими людьми и людишками и все-таки хочется знать, чтó с ними.

Приезжай в Париж! Это — припев, которым я буду кончать все свои письма к Тебе. Нечего делать Тебе среди этих «людей и людишек». Все, что можно было от них взять, взято. Вся Москва Тобою исчерпана до дна. Не обретешь в ней ни капли — это безводный колодец. Беги оттуда.

11. Заказ № 795.

Напиши мне точнее о дне своего приезда, чтобы я мог Тебя дождаться в Париже[5].

Целую Тебя. Неизменно люблю Тебя.

Твой

Валерий.

---

[1] Видимо, Брюсов пробыл в Бордо короткое время; ср. замечание в письме Э. Верхарна к нему от 5 октября (н. ст.) 1908 г., отправленном в Париж: «Ваша вчерашняя посылка свидетельствует, что вы в Париже» (*ЛН. Т. 85.* С. 577).

[2] Речь идет о переводе трагедии в 4 действиях Эмиля Верхарна «Елена Спартанская» (Hélène de Sparte») по рукописи, предоставленной Брюсову автором в июле 1908 г. (см.: Там же. С. 574—576 / Публ. Т.Г. Динесман). Впервые это произведение было опубликовано на русском языке в переводе Брюсова в «Весах» (1908. № 8—12; отдельное издание: М.: Скорпион, 1909); первое французское издание появилось позже (Paris, 1912) — с посвящением Стефану Цвейгу (переводчику «Елены Спартанской» на немецкий язык) и Брюсову.

[3] Возможно, имеется в виду рецензия на книгу Андр. Шемшурина «Стихи В. Брюсова и русский язык» (М., 1908), опубликованная в «Весах» (1908. № 11. С. 60—62) под псевдонимом В. Бакулин. Книгу Шемшурина выслал Брюсову М.Ф. Ликиардопуло одновременно с письмом от 12/25 сентября 1908 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 92. Ед. хр. 22). В дневнике Брюсов записал о конце 1908-го и начале 1909 г. под общим заглавием «Год неудач»: «До моего приезда в Москву — книга Шемшурина, провал «Франчески»; смерть Ленского. Общее враждебное настроение к «декадентам». Выпады печати. Все газеты мне закрыты. В Кружке забаллотированы Ликиардопуло, Шик, Эллис» (*Дневники.* С. 141).

[4] В упомянутом письме от 12/25 сентября Ликиардопуло извещал Брюсова: «Подстрелился Н. Рябушинский, еще жив, но, говорят, умрет. Причина — безденежье, осталось у него только *10—12* тысяч годового дохода» (РГБ. Ф.386. Карт. 92. Ед. хр. 22). Ср.: «Рябушинский из револьвера Браунинг выстрелил себе в грудь, пуля прошла навылет, задев легкое. Врачи надеются, что жизнь раненого будет спасена» (Речь. 1908. № 217, 11 (24) сентября). О подробностях неудавшегося самоубийства — см. там же. № 219, 13 (26) сентября. Владелец «Золотого руна» выжил, но долго болел после покушения.

[5] Судя по всему, Брюсов и Петровская в Париже в 1908 г. не встречались.

172. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

21—22 октября / 3—4 ноября 1908 г. Париж[1]

Париж, 21 октября

Дорогой Валерий,

я почему-то в Париже... Через 1 ½ часа после твоего отъезда[2] я взяла билет до Кёльна (прямо до Лейпцига не дали) и повернула

прочь от Парижа. В Кёльне была вечером в 6 ч., до моего поезда оставалось почти 4 часа. Мне давно хотелось быть в Кёльнском соборе, и, проезжая мимо него, третий раз, конечно, не могла не зайти. Это незабвенный вечер, который врезался в мою память навсегда. Такой тоски, такой боли всех чувств я не испытывала, кажется, никогда. Был холодный, холодный вечер, около собора сухие листья и ветки бились об изгородь, как на кладбище. Чувствовала себя одной во всем мире — забытой покинутой Ренатой. Ах, вновь и навсегда твоей Ренатой, точно не было этих ужасных, нас разделивших лет, точно не было ничего в моей жизни кроме наших огненных сладких страниц. Я лежала на полу собора, как та Рената, которую ты создал, а потом забыл и разлюбил[3]. Я тонула в чем-то прекрасном, горестном и безбрежном, как смерть. Мне нужно было в этот вечер, прощаясь с тобой, плакать именно в Кёльнском соборе. Теперь уже понимаю, что значили слова «Ренате после ее смерти»...[4] Конечно, умерло, прожито, не вернется. Помнишь, что было в эти дни 4 года назад[5]? Помнишь себя с душой, открытой мне навстречу, с глазами, которые не могли бы видеть меня так спокойно в Намюре на платформе. На плитах Кёльнского собора я пережила всю нашу жизнь минуту за минутой. С самой высокой ступени дошла до той, где мне суждено отныне быть, каждый миг отметился в душе огненным знаком боли и любви. А в темных сводах дрожали волны органа, как настоящая похоронная песнь над Ренатой. Я не забуду этого вечера, я вспомню его в час смерти. Может быть, только его и розовую ветку яблони на нашем весеннем окне в «Руси»[6]. И вот в душе воздвигся второй надгробный крест. Умер граф Генрих, умер Рупрехт. А я, как старуха из «Жизни человека», все живу и, может быть, скоро, как она, не смогу сказать других слов: «А мне — все равно»[7] — на ступеньках чьей-то чужой жизни, присутствуя при чьих-то чужих драмах с лицом и душой автомата. Из собора я вышла с совершенно помутившимся сознанием и, должно быть, в очень расстроенном виде, потому что на меня смотрели со странным вниманьем. Не могла понять, зачем еду в Лейпциг вместо Парижа. Подошла к кассе, чтобы продать билет; длинно и обстоятельно говорила по-французски, а меня не понимали. Собрались какие-то люди. Тут уже, конечно, должно было начаться что-то мелкое и смешное, как в Дымовских рассказах, — человек думает о смерти, а извозчик в это время настойчиво говорит: «Пожалуйте»[8]. Принял во мне «горячее участие» какой-то молодой и совершенно пьяный немец. Он один понял, что мне надо, ибо когда-

то учился французскому языку. Он непременно хотел взять меня под руку — я ему это позволила как плату за неожиданные хлопоты. Но все это оказалось труднее, чем я думала. Мы ходили то сверху вниз, то снизу вверх по каким-то шефам. Кто-то нас ругал, кто-то смеялся, кругом гудели поезда, чуть не сбивали с ног багажные тележки. Немца нужно было поддерживать на каждом шагу. Наконец все это устроилось, он мокрыми губами поцел<овал> мне руку, и я села в поезд до Парижа. Вся ночь прошла, как кошмар. На французской границе в 5 ч. утра нас вытащили из вагонов на таможню, в Париже поливали сулемой, держали на вокзале от 7 до 8 ½. И вот в 8 ½ часов я оказалась в первом попавшемся отеле почти без сознания. Вот и Париж... Теперь мой дом — вагон и Hôtel... К вечеру я немного опомн<илась>, и вдруг меня сдавило такое безумное одиночество, такое желание забыть все, что я послала Robert-у записку. Тут опять требуется перо Осипа Дымова. Robert — юнкер высшего инженерно-военного училища. В России сказали бы именно «юнкер». По-французски как-то все благозвучнее: «élève de l'Ecole Polytechnique». Для того, чтобы увидеться со мной, ему пришлось *буквально прыгать* из спальни со второго этажа. Пришел он в виде комика в сверху донизу разорванном пальто, с исцарапанными от паденья руками, и от всего этого мне стало скучно, скучно до полного упадка сил. Чтобы как-нибудь ожить, пришлось выпить почти бутылку вина. И вот движущийся автомат — из Кёльнского собора — в объятья молодого французского юнкера. Мы провели почти всю ночь, до 4-х часов утра. И опять, как персонаж Мирбо, я могу повторить: «Je mange tout»*[9]. Robert мне с уверенностью говорит — о, осенью мы поедем в Мёльбурн. Он кончает, и его пошлют, кажется, именно в Австралию. Для душ умерших, для спиритических духов, для всяких нежитей ведь не существует расстояния. Отчего мне не поехать с Робертом в Мёльбурн или с Хомяковым в Японию? Или еще с кем-то неведомым в Бразилию. Отчего? Мой дом вагон и отель, мое пристанище встречные души. Сегодня он прислал мне «страстное письмо». Это единственное впечатление за весь день. Я не выходила, не искала никого, сидела одна, точно в гипнотическом сне. Останусь ли в Париже — не знаю. До 1-го (стар. ст.) вероятно, хотя не в этом Hôtel. А потом, м<ожет> б<ыть>, поеду еще куда-нибудь. Куда — не знаю! Видеть сейчас людей, да еще

*«Я ем всё» (*фр.*).

нашего круга, которые знали *нас как одно*, для меня нестерпимо. Лучше Robert, чем Кругликова или Вальдор[10]. Может быть, уеду <ско?>рее * 1-го — и этого не знаю — как не знаю своего адреса на завтра. Если захочу умереть — (хотя теперь уже, кажется, не сумею) — застрелюсь из Брауни<нга> С.А. в Кёльнском соборе. Ведь это лучше, чем на Арбате?

22 октября

Я совершенно не знаю, останусь в Париже или нет. Послала две телеграммы в Лейпциг, но без ответа. Что с Надей, даже жива ли она — не знаю[11]. Может быть, правда, у меня уже никого не осталось. Этот отель покидаю сегодня. Переселюсь пока в Латинский квартал. Квартиру мне Robert нашел такую — без печей, противную и дорогую, — что я ее не взяла. Может быть, день — 2 пробуду в гостинице. Милый Валерий, ты удивляешься бессвязности моих намерений. Но они сейчас действительно таковы. Я *ничего* не хочу и ничего не могу. В данный момент мне нужна чужая твердая воля и покой. А я должна что-то организовать, быть на страже не только себя, но даже своих вещей. Мне стоит огромных усилий вести себя как все люди. Robert говорит, что русские все сумасшедшие. Но попробовал бы он так пожить хотя ½ года! Я тебя люблю. Давно уже ты не хочешь видеть настоящего лика любви и видишь только искаженный, вывернутый. *Ты его сделал*, и ты же обвиняешь и упрекаешь меня... Я хотела жить с тобой всегда. Зачем мне искусы, операции? Рената твоего романа в конце концов не вынесла пыток. Иногда мне кажется, что и я сломаюсь скоро, хотя вовсе не потому, что не хочу жить. Хочу! Хочу всего! Но устала смертельно, до последнего изнеможения. Твой приезд в Париж — прекрасная сказка, которую мне, может быть, уже и не прочесть. Валерий, Валерий, разве «любящие» обрекают на муки любимых? Но пусть будет над моей жизнью *Твоя Воля* до моей последней горестной страницы. Прощай! Ты понял меня? Ты сумел в этом письме прочесть мою душу?

Куда мне писать — не знаю. У меня нет дома и даже адреса. Припомни библейскую историю о «горчичном зерне»...[12] Может быть, его нужно было бросить в землю, чтобы оно проросло. Вот ты бросил — и жди. И я твоя, твоя навсегда. В глубине моего

---

*Клякса на слове.

сердца я та Рената, что рыдала о тебе в Кёльнском соборе, *Твой образ*, не запятнанный ничем. И вот опять звучат слова маленького, может быть, тоже страдающе<го> по-своему Владьки:

Я прощаюсь с тобой с поклоном.
Возвращаю в молчаньи кольцо.....[13]

Твоя и в жизни и смерти
Рената.

---

[1] Почтовые штемпели на конверте: Paris. 4.11.08; Москва. 25.10.08. Адресовано в издательство «Скорпион». Обратный адрес: Paris. Boulevard Danain. 12 Hôtel Terminus-Nord.

[2] В конце октября (н. ст.) Брюсов выехал из Парижа в Бельгию, где он впервые встретился с Э. Верхарном (24 октября н. ст. Верхарн писал ему: «жду вас 30-го» — *ЛН. Т. 85.* С. 578), а оттуда в Москву (через Брюссель, Кёльн, Берлин, Варшаву). Как следует из дальнейшего текста письма, в последний раз перед тем Брюсов и Петровская виделись в бельгийском городе Намюре (ср.: «Namur. Ночь. Приезжает Нина. Тяжелая сцена. Тяжелый день. Тяжелая ночь. Прощание. Падает в слезах». — РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16/1. Ср.: *Дневники.* С. 141)

[3] В главах 3—4 «Огненного Ангела» описываются Кёльнский собор и моления Ренаты в кёльнских церквях (IV, 56—57, 70—72). Отметим, что и Брюсов на обратном пути в Москву был в Кёльне и посещал собор.

[4] Смерть Ренаты описывается в 16-й главе «Огненного Ангела» (IV, 290—291). Не исключено, что Петровская цитирует здесь дарительную надпись ей, сделанную Брюсовым на первом отдельном издании «Огненного Ангела» (Ч. 1. М.: Скорпион, 1908).

[5] Подразумевается начало их интимной связи.

[6] См. п. 23, примеч. 2.

[7] «*Мне все равно*» — многократно повторяемая фраза в монологах Старухи из картины 4-й («Несчастие Человека») пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека» (1907). См.: *Андреев Леонид.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 2. С. 474—477.

[8] Имеется в виду рассказ О. Дымова «Лидия Биренс» (*Дымов Осип.* Солнцеворот. СПб., 1905. С. 127).

[9] Вероятно, подразумеваются признания промышленника-каннибала, персонажа романа французского прозаика и драматурга Октава Мирбо (1850—1917) «Сад пыток» («Le Jardin des supplices», 1899) — ч. 1, гл. VI.

[10] С художницей Елизаветой Сергеевной *Кругликовой* (1865—1941) и французским поэтом Александром Мерсеро (псевдоним Эсмер-*Вальдор*; 1884—1945) Брюсов встречался в Париже в октябре 1908 г. (см.: *Дневники.* С. 140).

[11] Сестра Петровской, видимо, жила в это время в Москве.

[12] Мф XIII, 31—32; Мк IV, 30—32; Лк XIII, 18—19.

[13] Неточная цитата из 1-го стихотворения («Я тебя провожаю с поклоном...», 1907) цикла В. Ф. Ходасевича «Кольца», входящего в его первую книгу стихов «Молодость» (М.: Гриф, 1908). См.: *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 1. С. 88.

173. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

23 октября / 5 ноября 1908 г. Париж[1]

Н.П.

[1] Открытка с изображением внутреннего вида Кёльнского собора. Почтовые штемпели: Paris. 5.11.08; Москва. 27.X.1908. Вместо словесного сообщения — инициалы Петровской. Ср. п. 172.

174. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

3/16 ноября 1908 г. Лейпциг

Лейпциг 3/16 нояб.

Дорогой Валерий,

мне страшно писать тебе и страшнее не писать. Но как я буду говорить? С кем? Разве я знаю что-нибудь теперь! — Стараюсь забыть твое холодное, загадочное лицо в номере[1], стараюсь вспомнить что-то уж очень давнее — ласковые глаза, нежную улыбку... Вот 10 дней я была в Париже и 4 дня здесь. Хотела бы ездить без конца, может быть, в течение года знать одни вагоны и мелькание лиц. Провела 10 дней в усталости, во всей горькой яркости ощущения после<дней> встречи с тобой, в полном внутреннем хаосе, в колеба<ниях> души и почувствовала с ясностью, что на какое-то время нужно себя посадить в одиночную тюрьму. Я вернусь в Париж, вернусь непременно, но не раньше как через три недели или месяц. К определенному сроку пребывания здесь меня еще обяжут некоторые глупости чисто житейского свойства, которые я сдел<ала> в Париже. Я жила 10 дней, надрывая все свои чувства до последней крайности. Еще раз прошла все ступени отчаяния и тоски по тебе, каждое воспоминание отметила новым знаком горя и любви. Минутами было так страшно, так пусто, так непонятно все становилось вокруг, что хотелось сделать что-то совсем безумное — м<ожет> б<ыть>, вернуться в Москву... — Но *это* я преодолела и знаю — в Москву мне дороги нет навсегда. Почему я оказалась здесь? Ах, в Париже мне нужно жить «по-новому», с новым лицом, в обладании своей душой. В Париже я должна *как-то* отвечать на те возможности, которые мне предложит жизнь. В Париже меня слишком ласкали и звали, а это меня сейчас

утомляет. После встреч с людьми душа делалась совсем каменной и пустой. Наконец, я чувствую себя плохо физически, и иногда мне не хочется ничего, кроме одиночной тюрьмы. В первый раз захотелось бежать от «возможностей». А помнишь, как прежде я рвалась к ним? Сейчас мне хочется быть только с тобой: вот в этой немецкой комнате, в одиночестве бесконечном я вновь с тобой переживаю все радости и муки того, чему не вернуться, я знаю, — никогда. Мне уже иногда все равно, что ты не любишь меня больше или любишь так мало, ибо я люблю не *взамен* и *не в ответ*, а люблю потому, что эта любовь есть я и моя душа. Я совершенно не знаю, как примирюсь я во внешнем с сознанием, что тебя для меня больше нет и *не будет*. Видишь, — пока *никак*. Назначаю себе сроки тюрьмы, болтаюсь по вагонам и отелям, колеблюсь всеми чувствами, тоскую, тоскую по тебе очень и никак не представляю окончательных форм моей жизни *без тебя*. Мы плохо виделись в Намюре[2]. Может быть, *ты* приехал чужим, а м<ожет> быть, в этом была виновата я. Я помню свои слова, — безумные, как удары ножом по собственному телу. Помню это горькое упоение отчаянием, которое толкало — все, что еще *осталось* и *уцелело* — истребить, бросить в хаос и тьму. Понимал ли ты меня? Или только слышал звуки новых страшных слов? Или тебе действительно казалось, что меня больше нет?

Валерий, дорогой мой, я та же, как 4 года назад, как в самые горькие и счастливые наши дни. Моя любовь подвергалась всем испытаньям, всем утонченно задуманным мукам, и сейчас она брошена в землю, как «горчичное зерно», а может быть, уже по-иному.... Но верь и знай — *я жду тебя*, я прохожу «все ужасы суда» с тайной и нежной надеждой, что когда-то, может быть, поздно, но ты придешь, а я скажу: «Милый Рупрехт! как хорошо — что ты со мной»[3]. Я знаю, что мы уже не будем вместе, *как были*, — никогда! Но в эту *минуту* из твоего романа я верю, верю, и *только вера в нее* дает мне силы преодолевать мою жизнь, или то, что называется «моей жизнью» сейчас. В Париже меня ждет совсем юная, совсем настоящая любовь, со всем тем безумием чувств, которого мне так хотелось в тебе, со всеми теми словами, которые я так ждала услышать от тебя. Любовь — всегда любовь: «И кто б ни подал кубок жгучий»...[4] — не все ли равно. Но я уже устала скитаться по душам; как бывало, я не хочу «любви», а хочу тебя, только тебя, и эта постоянная мечта о невозможном делает меня мертвой и чужой всему. «Нина, опомнись!» — писал мне недавно Сережа в ответ на письмо из Намюра. И мне кажется, что я

«опомнилась» именно теперь, когда поняла с последней горестной ясностью, что моя жизнь — это ты. Милый Валерий, я хотела бы, я прошу тебя очень, — если ты *знаешь*, что не приедешь в Париж, как обещал, сделай еще одну «операцию» над моей душой: отними у меня эту надежду *совсем*. Она волнует меня. У меня невольно сводятся к ней все мысли. А я не хочу больше обольщений. Скажи прямо, и я буду думать по-иному. Я уеду в Бретань в декабре. Ведь мне уже тогда станет все равно, где проводить месяцы, дни и вообще, как жить во внешнем. Скажи прямо. Скажи!

Может быть, ты написал бы мне?... Вот мой адрес: *Leipzig. Bayerche<r>strasse 29*. Боже мой, как давно я о тебе ничего не знаю. Ты взял Лейпциг<ский> адрес еще в Намюре, но не написал. Прощай, милый. Ах, какой длинный печальный вечер!..

Твоя.

---

[1] Подразумевается гостиничный номер в Намюре.

[2] См. примеч. 2 к п. 172.

[3] Последние слова умирающей Ренаты в гл. 16-й «Огненного Ангела» (IV, 290).

[4] Строка из стихотворения Брюсова «Любовь» («Не мысли о земном и малом...», 1900), входящего в его книгу «Tertia Vigilia» (I, 180); эта же строка — эпиграф к стихотворению Брюсова «Кубок» («Вновь тот же кубок с влагой черной...», 1905) из его книги «Stephanos» (I, 399).

175. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

4/17 ноября 1908 г. Лейпциг[1]

Лейпциг 17 ноября

Дорогой Валерий,

сегодня я послала тебе письмо и хотела заказным[2]. Но немцы меня не понимают, а я их, и, кажется, письмо с надписью «recommandée»* они послали с какой-то вздорной маркой. Будь добр, напиши мне, — получишь ли ты его. Письмо длинное, писать мне тебе трудно, будет очень жалко, если оно пропадет.

Leipzig Bayerche<r>strasse 29.

Твоя.

---

[1] Почтовые штемпели: Leipzig. 17.11.08; Москва. 7.XI.1908.

[2] Имеется в виду п. 174.

---

*«Заказное» (*фр.*).

176. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

8/21 ноября 1908 г. Москва[1]

Москва, 8/21 ноября 1908

Нина, милая, хорошая, дорогая!

Твое письмо прочел я с таким волнением, как уже давно не читал писем, даже Твоих. Эти недели разлуки заставили меня особенно остро воспринимать Твой голос, особенно живо чувствовать каждое слово, каждый намек. Еще и еще раз узнал я, — в чем никогда и не колебался, — что Ты мне близка бесконечно, что Ты не можешь, никогда, никогда, стать чужой мне.

Ты упрекаешь меня, что я не писал Тебе. Но куда же бы стал я писать! Прощаясь со мной в Намюре, Ты сказала мне, сказала твердо, что едешь в *Лейпциг*. На другой день по возвращении в Москву я получил Твое письмо из *Парижа*[2]. В письме не было адреса. После этого Ты не раз писала С.А., о чем он поминал мне[3], но меня о своей жизни не извещала никак. Я мог думать, и я думал, что Ты *не хочешь* дать мне адреса, не хочешь моих писем, и я не позволил себе нарушить Твоей воли. Только поэтому я не писал, ибо неужели же Ты думаешь, что мне нечего было сказать Тебе!

То, что Ты не поехала в Лейпциг, было мне очень больно. В письме Ты спрашиваешь меня, как отнесся я ко всему, что Ты мне говорила в Намюре. Я принял эти слова как порыв, как искажение души, но я не мог знать, насколько сильно этот порыв, это искажение овладело Тобой. Минутами мне казалось, что это новое безумие владеет Тобою властно, подчинило Тебя себе — что в этом облике, страшном для меня, Ты можешь прожить долго, может быть, целые годы. Вот почему я так радовался, когда Ты выбрала решение — ехать в Лейпциг. Я верил, что Лейпциг както успокоит, утишит Тебя, вернет Тебя к себе. И мне стало горько и страшно, когда я узнал, что Ты все-таки в Париже...

Теперь Ты пишешь мне: «я та же, как 4 года назад, как в самые горькие и счастливые наши дни»... Нина, дорогая, хорошая, вечно близкая мне! Разве это нужно! Разве нужно быть прежней! И разве это возможно? За эти четыре года целые миры обрушились в наших душах. Что в них осталось прежнего? — Только те стихии, из которых они созданы. Не прежними должны быть, а новыми. Не в прошлом и не прошлым надо нам жить: в настоящем и современностью. Надо смело смотреть в глаза Судьбе, которая ведет, влечет нас, заставляет нас изменяться и все изменяет

вокруг нас. И вот в этих переменах и изменах оставаться всегда близкими друг к другу, вечно и непобедимо, роковым образом связанными — вот чего я хочу и ищу. Если Твои слова «я та же, как 4 года назад» значат, что Ты *по отношению ко мне* та же, что Ты так же влечешься ко мне, как тогда, — я эти слова приветствую, благословляю их, благодарю за них. Но если Ты хочешь сказать: «я все «та же», я не изменилась, мои чувства, желания, ожидания не изменились», — мне придется опустить голову и сказать тихо: но я — изменился, но я — не тот же и не могу стать прежним, на четыре года уйти назад...

Мы много раз об этом говорили с Тобой, но и в письме мне хочется говорить все о том же. Это кажется мне самым важным для нас, поскольку мы — мы, а не Ты и я.

Нина, дорогая, я сказал Тебе это торжественно и клятвенно в Намюре, я повторил Тебе это в начале этого письма и повторяю еще раз: никогда, никогда Ты не станешь для меня чужой. Твоя судьба, Твоя жизнь, Твоя душа — останется для меня всегда самой дорогой, самой важной, самой близкой изо всех жизней, существующих вокруг меня «в мире и в мирах». Но нужно же когда-нибудь со смелостью, без всякой утайки, сказать и другую правду: той любви, которой Ты жаждешь, ищешь, ждешь от меня, любви последней, самопожертвенной, самозабвенной — во мне нет и не может быть по самой сущности моей души. Если она была прежде, то это было лишь недолгое, временное мгновение, искажение моего существа (искажение — не в смысле его изменения к худшему, но лишь уклона от естественного его пути; так для прозаической души искажением будет порыв лиризма). Не думаю, чтобы такое искажение было еще раз возможно <для> меня. По крайней мере, в том опыте, который свершился на Твоих глазах, — встреча с Ком<м>иссаржевской, — волны безумия, плеснувшие было в берег души, почти мгновенно откатились вспять.

Не думай, что я хвалюсь, что я горжусь всем этим. Напротив, я сознаюсь во всем этом с глубокой горечью. Но я, наконец, узнал себя, понял (как начинают, увы! узнавать, понимать эту мою особенность и гг. литературные критики!). Да, я могу любить глубоко, быть верным в лучшем смысле слова, но я не могу, не способен — отдаться любви, броситься в нее, как в водоворот, закрыть глаза, дать стремить себя потоку чувства. Я знаю, я верно знаю, что это и есть «то, что люди называют» счастием. Но я уже не ищу счастия, не жду его, *и мне его не надо*. К иному иду я, не знаю, большему или меньшему, но к иному. Таким я *стал* (хотя

я в сущности таким всегда и был), таким надо принять меня теперь, ибо иного меня — нет.

Что же я предлагаю, что же я даю Тебе и на коленях прошу принять? Не любовь, которой Ты спрашиваешь, и не дружбу, над которой Ты смеешься. Но нечто третье, что не так обычно в мире, но что прекраснее и выше того и другого*. Я отдаю Тебе и спрашиваю от Тебя — божественную близость двух душ, сходных и раздельных, единых и самобытных, слитых в одно и вечно неслиянных. Я хотел бы, чтобы Ты почувствовала, как почувствовал это я, что нам нельзя уже разорвать связавших нас уз, что мы должны быть вместе, и будем вместе, но чтобы это чувство вырвала Ты из временных и меняющихся условий: любви, дружбы, как раньше вырвала из условий житейских — брака, товарищества... Я хочу той близости, которая не основана ни на безумии, ни на поцелуях, ни на расчете, но которая открывает другую душу, как свою собственную. Об этой близости я говорил Тебе много раз, ее хочу и ее могу дать, и не только могу, но не отдам только в том случае, если Ты ее не возьмешь...

Нина! Нина! Знаю, что слова бессильны. Все то же не раз пытался я показать Тебе, говоря устно, дополняя все сказанное всеми силами живой речи, выражением голоса, глаз, дрожью всего существа. Вспомни все, что я говорил, оживи эти бледные и по необходимости краткие, сжатые строки силою воспоминаний. Пойми хоть теперь, *чтó именно* я говорю, и если есть в Твоей душе ответ на этот зов, — ответь... И если Ты ответишь, ответишь «да», ответишь «я тоже хочу этого», — все станет легко, ясно, просто, прекрасно. Исчезнут мучительства наших последних лет; исчезнут все трудности для нас быть вместе. И мы будем рядом, и мы будем радостно... нет, нет, не плакать, но тихо смеяться...

Ах, Нина, и еще — как трудно быть далеко от Тебя и целыми месяцами не слышать Твоего голоса!

Теперь о внешнем.

Ты спрашиваешь меня, приеду ли я в Париж. Вот точный, искренний и подробный ответ.

---

* *Приписано на полях:* Здесь, в этом месте, надо было мне еще сказать, что никому другому, ни *ей*[4], чье имя Ты не любишь произносить, не даю и не могу дать того, что Ты называешь *любовью*. Но об этом надо еще говорить много и долго. Если Ты в своем письме коснешься этого, отвечу тоже со всей искренностью.

Здесь, в Москве, нашел я страшный разгром всего того дела, которое привык считать своим. «Весы» медленно погибали и должны были прекратиться к январю[5]. Все враждебные нам и мне партии подняли голову. «Руно» было сильно как никогда. Г. Чулков выпустил книгу статей, направленных против нас[6]. Возникло 3 или 4 журнала, явно нам враждебных[7]. Все газеты были против нас. Крохотный кружок, уцелевший около «Весов», явно распадался. Белый, конечно, тянул куда-то в сторону. Эллис тоже. Даже во внешнем, при первых столкновениях, я тотчас увидел, как все повернулось к нам враждебной стороной. Где прежде я имел абсолютный вес, меня слушали только из вежливости. Не буду рассказывать разных фактов. Довольно одного. В члены нашего Л<итературно->х<удожественного> кружка баллотировались трое «сотрудников “Весов”» — М.Ф. Ликиардопуло, Эллис, М. Шик. Все трое, большинством голосов, были *забаллотированы*.

Я много раз говорил Тебе, что «Весы» мне надоели, что я хотел бы отказаться от заботы об них. Но видя такое неожиданное и стремительное крушение всего, что я делал в течение пятнадцати лет; видя, как внезапно все значение, вся руководящая роль переходит в литературные течения, мне и моим идеалам враждебные; видя, как торжествуют те, кто, в сущности, обокрал меня и моих сотоварищей, — я не мог не изменить решения. Я не могу еще сложить руки и сказать: вот я, берите меня, грабьте мое добро и топчите меня ногами. Я могу уйти в сторону, когда положение обеспечено, но сделать это именно в час разгрома — и нечестно и нестерпимо для меня. Я решил бороться во что бы то ни стало. Я решил в 1909 г. так или иначе, но издавать «Весы» или другой журнал и удержать за своими идеями в литературе то место, какое им надлежит.

Ты понимаешь, что такое положение <?>* требует с моей стороны сейчас величайшего напряжения энергии. С.А. Поляков — за границей и продолжать «Весов» не хочет. Другого издателя нет. Все друзья и союзники готовы продать и «Весы» и меня за 30 серебреников или и дешевле. Чтоб снова все сплотить, все устроить, все повести — надо не выпускать возжей и нитей всяких интриг ни на минуту. И вот я в самом полном разгаре всяких неизменнейших дел и отношений, в которых снова задыхаюсь, как в душной тюрьме, но бросить которые не могу, не хочу, не должен. И ты понимаешь, что даже при успехе месяца два-три, пока

* *В автографе, вероятно, описка:* напряжение.

не наладится все опять, — у меня не будет возможности покинуть Россию на долгое время.

К этому надо прибавить еще более внешнее дело. Я говорил Тебе, что еду в Москву между прочим для того, чтобы разделаться с пресловутым моим домой на Цветном бульваре[8]. Не знаю, я ли безнадежно торможу дело или мой брат[9] только прикидывается деловым человеком, но только предприятие наше безнадежно не подвигается вперед. Сегодня оно все <в> том же положении, как полгода назад. И это, с одной стороны, лишает меня возможности, как Ты когда-то выразилась, «свободно передвигаться в пространстве», с другой — опять приковывает меня к Москве или хотя бы к России.

Но это, конечно, не значит, что мы не должны с Тобой видеться целыми долгими месяцами. Я только говорю, что мне очень трудно будет ехать в Париж, а именно на Рождество и невозможно. Но что, если бы мы после Рождества встретились бы где-нибудь в ином месте? В том же Твоем Лейпциге? или еще ближе, в Берлине? Или что, если бы Ты, следуя второму совету С.А., предпочла жить не в Париже, но в Петербурге? Тогда наши встречи, наша жизнь вместе стала бы (с внешней стороны) вполне легкой...

Впрочем, все это пока предположения, и еще очень не выяснившиеся. Даже отказ мой приехать в Париж на Рождество еще не окончательный. Может быть, несмотря на все мои усилия, ничего у меня не удастся, и тогда, бросив Россию, я, может быть, с января надолго уеду за границу: тогда мы встретимся именно в Париже.

Ну, прощай, Нина, до свидания. Надо кончить это письмо, такое длинное, какого я, кажется, никогда еще не писал Тебе. Даже рука устала чертить буквы, и я боюсь, что последние строки Тебе трудно разбирать. Прости некоторую сухость последней страницы, — Ты знаешь, — я уже говорил Тебе, — как трудно «отказывать»: невольно, вместо ласкового голоса, неприятное другому говоришь голосом суровым. Но мне хотелось бы все о моем приезде за границу или о Твоем возвращении в Петербург, все о нашей встрече, новой, по-новому, счастливой — сказать Тебе, стоя перед Тобой на коленях, целуя Твои руки, смотря Тебе в глаза, со всей нежностью, какая есть в моем голосе. Ибо я всегда и навсегда — Твой, Твой, Твой

Валерий.

[1] Ответ на п. 174. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду п. 172 (получено в Москве 25 октября ст. ст.).

[3] Письма Петровской к С.А. Соколову, по всей вероятности, не сохранились.

[4] Подразумевается И.М. Брюсова.

[5] О положении дел в редакции «Весов» в конце 1908 г. см.: *Азадовский К.М., Максимов Д.Е.* Брюсов и «Весы» (К истории издания) // *ЛН. Т. 85.* С. 302—306. Переговоры о судьбе «Весов» отражены в переписке Брюсова и С.А. Полякова за ноябрь—декабрь 1908 г. (*ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 113—122 / Публ. Н.В. Котрелева, Л.К. Кувановой и И.П. Якир).

[6] Подразумевается книга Г. Чулкова «Покрывало Изиды. Критические очерки» (М.: Изд. журн. «Золотое руно», 1909), вышедшая в свет в ноябре 1908 г.

[7] Безусловно, подразумеваются московские журналы, начатые изданием с ноября 1908 г.: журнал литературы и искусства «Лебедь» (редактор С.А. Поперек), ежемесячный иллюстрированный журнал «Северное сияние» (редактор А.М. Поццо, издатель В.Н. Бобринская), — а также альманах «Белый камень» (редактор-издатель А.А. Бурнакин). Первые два журнала издавались до середины 1909 г., «Белый камень» завершился на втором выпуске.

[8] Брюсов жил в доме № 24 (в новейшее время — № 22) по Цветному бульвару, принадлежавшем его родителям, до сентября 1910 г.

[9] А.Я. Брюсов.

177. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

12/25 ноября 1908 г. Лейпциг

Лейпциг, 25/12 ноября

Дорогой Валерий,
трудно и горестно писать в пространство. Получила 20-го твою телеграмму[1], но письма до сих пор нет. Почему? Пропало, или в последнюю минуту ты раздумал послать? Не знаю и печалюсь. Если письмо пропало, — напиши мне еще. Знаю, как трудно повторять раз сказанное, но ведь не моя вина. Я тебе отсюда послала два письма — одно с надписью «recommandée» и какой-то глупой маркой (немцы меня не поняли) и другое вслед, в котором просила известить, получил ли ты первое[2]. Молчанье и на это. Очень трудно что-нибудь говорить, когда нить оборвалась. —

Живу я и в Лейпциге плохо. Тут можно было бы заснуть, как в колыбели, но меня безмерно мучит Надя. Все я для нее сделала. Все, что могла, и даже почти для меня невозможное. Думала, удастся ее спасти. Но, должно быть, никто никого не может «спас-

ти». У нее, как я теперь ясно вижу, настоящая душевная болезнь с ярко выраженной манией самоубийства. После отравления не поправилась, лежит все время в постели и повторяет: «Я хочу одного — умереть». Любовь оказалась лекарством бессильным, толь<ко> понапрасну замучился студент. 26-го (рус<ского> стиля) собирается в Москву. Удерживать бесполезно. Все это мне трудно, и горько, и неудобно до крайности, но исполню свой последний долг — отправлю в Москву и махну рукой на все мое любимое прошлое целиком. В Россию не вернусь никогда. Пусть там делают что хотят, но уж не на моих глазах, по крайней мере. 26-го и я поеду в Париж. Что мне здесь, когда она уедет? Так попадает моя душа из одной горести в другую. Кончится ли эта несчастная «полоса»? Здесь веду жизнь монашескую. Целые дни учусь, читаю фр<анцузские> книги, один раз выхожу обедать и в 11 — спать. Пишут мне только — Сережа, Robert и еще один студент из Парижа. Письма этого третьего (забавно, — он мексиканец, очень изящный, милый, но почти черный — сын посланника), длинные, изысканно нежные и сдержанно страстные, в самом утонченном французском стиле, доставляют мне много полезного труда. Пишет много — по 4, 5 страниц, нужно отвечать, и на этих ответах я учусь языку. Минутами чувствую здесь острую боль, минутами покорно затихаю. Но даже Германия, отвратительные немцы, сонный Лейпциг и мучения с Надей, — все это лучше и легче Москвы. Париж меня опять немного пугает. Там нужно как бы то ни бы<ло>, но *жить*, а это для меня в данное время очень, очень трудно. Еще с иностранцами чувствую себя сравнительно лучше, но русские... Была один раз у Кругликовой[3]. Одно упоминание твоего имени меня терзает, как новая пытка. А все остальное — точно опять в Москве. Не хочу русских! Минских, к счастью, не застала и скоро не соберусь к ним. Измучу любопытство Людмилы вконец[4]. Как буду жить в Париже — не знаю. Вот, может быть, повидаю Вальдора, он все же француз. Мексиканец предлагает себя в мое полное распоряжение — хочет показать мне весь Париж. Если он не спросит *вперед* за это какого-нибудь чрезмерного вознаграждения, — воспользуюсь им; он Париж знает, ибо живет в нем уже 9 лет. Robert мне не удобен. Днем он пленник, а романтические ночные вылазки меня лишь утомляют, потому что возможны между 12 ночи и 5 утра. Все это пустяки. Мне кажется, я предчувствую, что скоро (или не очень еще скоро — не знаю) окажусь где-то далеко. Ощущаю волну, которая меня внешне относит все дальше и дальше от оставленных берегов. И противиться

ей не буду. Самое желанное для меня сейчас, — путешествия и вагон. В вагоне я успокаиваюсь и даже сплю лучше, чем в самой удобной немецкой постели.

Ах, Валерий!... Если бы знал ты, как горестно и безнадежно я тебя люблю! Но не надо об этом....

Напиши о себе. Ведь я голоса твоего не слыхала почти месяц! Зачем еще пропало письмо?! Много хочется знать и спросить. Но *кого* я буду спрашивать? Что ты обо мне думаешь?.. До 26-го я останусь здесь. Напиши.

Твоя.

---

[1] Текст телеграммы неизвестен.

[2] Имеются в виду пп. 174 и 175.

[3] Парижское ателье Е.С. Кругликовой (rue Boissonade, 17).

[4] Имеется в виду Л.Н. Вилькина, жена Н.М. Минского (жившего с декабря 1905 г. в Париже). 22 ноября 1908 г. она писала Брюсову из Парижа: «Представьте, какая досада: была у меня Нина Петровская и преглупо не застала дома. <...> А мне почему-<то> ужасно захотелось видеть губы, которые вы целовали» (РГБ. Ф. 386. Карт. 80. Ед. хр. 15).

178. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

13/26 ноября 1908 г. Лейпциг[1]

Лейпциг, 26 ноября

Дорогой, милый Валерий,

я хочу сказать тебе о себе все, что знаю, из последней глубины, со всей нежностью и лаской, на какие способна. В прошлом, в самом последнем письме, когда после разных внешностей мне захотелось обратиться к тебе по-настоящему, я не нашла других слов, кроме: «Я люблю тебя безнадежно»[2]. Да, — безнадежно, как любят светлую память умерших. Твои слова о каких-то наших свиданьях, о *нашей* жизни для меня только прекрасная печальная музыка, которая будит воспоминанья и умножает боль. Я знаю, я чувствую всем моим существом — *наша* жизнь кончилась этим страшным летом, в тот горестный вечер, когда я получила твое письмо уже с вокзала. Каждый миг прошлого, оплаченный мной почти кровью, каждый миг, запечатленный нашими печальными и прекрасными встречами, останется священным в моей памяти уже навсегда. Иногда эти воспоминанья меня жгут до страданья,

до острой, почти физической боли, как настоящий огонь. И вот *кроме них* ничего нет в душе моей — ни надежд, ни светлых предчувствий. Твой отъезд в июле и этот мой, последний, — для меня две роковые черты. Чувствую себя выброшенной на чужой пустынный берег после крушенья. Я прочла твое прекрасное письмо с волненьем и *болью*, потому что в ответ у меня нет живых, радостных, приветственных слов. Да, мы близки, как могут быть близки люди в самых редких исключительных встречах, да, уже ничто не зачеркнет в нашей памяти пережитое вместе лето, и я влекусь к тебе с той же страстью души, как в самые счастливые дни нашей любви, но *жить* мы больше не будем... Жить в том смысле, как смеют сказать это люди, которые любят, и, как говорится, здесь, на этой земле. Последний год был ужасен, но это все же была *наша жизнь*, и мы были вместе, и до последнего дня нас связывало что-то единое, могущественное, почти кровное и прекрасное даже в самые страшные минуты. Ты перерезал эту нить с решимостью хирурга «во имя будущего» — так говорил ты. И разве можно винить хирурга, если больной умирает? И разве можно винить *тебя* за то, что этого не вынесла *моя* душа? Были минуты, когда я ненавидела тебя так, как может только ненавидеть свое счастье человек, который его лишился навсегда. Но эта омраченность духа миновала давно. Я люблю тебя полнее, глубже, сознательнее, чем прежде. Но любовь к тебе *без тебя* стала бессильной, неживой, как память об умершем. Я не могу больше связывать мою жизнь с твоей. Не могу!.. И от этого ощущения разорванности с тобой я совершенно утратила чувство собственной жизни и пришла к тому мертвенному автоматизму, о котором прежде говорила, не поним<ая>, что это значит. Я жива все эти месяцы, с 25 июля[3], только в тайных застенках моей души, где нескончаемо длится предпоследняя глава твоего романа[4]. Во всем остальном, что называ<ется> теперь моей жизнью, я — механическая кукла, очень искусно имитирующая человека. Должно быть, не была еще я готова к последнему и роковому испытанию, данному тобой. Милый, милый Валерий, совсем другие слова хотелось бы сказать мне в ответ на твою нежность. Но не могу! Все мое внутреннее зрение обращено только к какой-то одной и последней минуте с тобой (о, я в нее верую!), когда я скажу: «Милый Валерий, как хорошо, что ты со мной». Вся *наша* жизнь для меня воплотилась только в этот безумный, полумистич<еский> образ. На него смотрю с непоколебимой надеждой, минуя все, что придется пережить в долгом томленьи без тебя.

Все, что ты говоришь о себе, я знала и помнила. Я любила тебя прежним. В эти ноябрьские дни я праздную много печальных годовщин. Мне бы хотелось покупать здесь венки из осенней зелени с красными ягодами, которые так напоминают рябину в Гжели, и каждый день, каждый вечер, о, я их помню, помню!.. украшать мою унылую немецкую комнату..

Я люблю тебя и таким, каким ты для меня стал, но мне больше ничего, ничего не надо в ответ! Я останусь тебе близкой, верной, неизменно твоей на всю жизнь, но *жить* с тобой, может быть, уже не смогу никогда. Нам не связать разорванной нити. Может быть, что-то в нас слилось полнее, прекраснее и гармоничнее, но это так бесплотно, так безжизненно *здесь*, что я не умею назвать, протянуть руки, как к источнику жизни. И вот смотрю на тебя из бесконечной дали с бессильной тоской и теряю из глаз твое очертание и не могу ничего удержать.

Не печалься! Не уходи из моей жизни пока, только о *нашем будущем,* в жизни, в днях, я не знаю, не знаю ничего. Ты пишешь, что не можешь приехать на Рождество в Париж.. Я это внутренно знала еще в Намюре. О нашей встрече последней, о невозможной встрече Рупрехта и Ренаты я думаю как о реальной, а о реальной «через 2—3 месяца» лучше не будем говорить... Еще ты пишешь о Петербурге... Нет, Валерий, *в Россию я не вернусь.* Эту фразу, как заклятие, я повторяю в каждом письме к Сереже. Я предпочит<аю> ту жизнь, ту еще совсем мне не нужную жизнь, которая начала складываться в Париже, новым, но бессмысленным мукам в Петербурге среди злорадства, сплетен, залезания в мою душу, среди того общества, которое мы с тобой оба достаточно знаем. Что будешь в Петербурге ближе ты, — это только обольщения или еще какие-то более утонченные пытки. Нет, Париж! Теперь мне все равно, где жить, лишь бы не в России, а там со мной люди ласковы и нежны, там никто не знает и не догадывается о застенках моих чувств, и уже от одного этого прикосновенья кажутся мягкими и не причиняют боли. С русскими я не буду, а иностранцы никогда меня вполне не поймут и ничего не узнают о моей прежней погибшей жизни. Уеду я отсюда почти наверное 26-го[5]. Но, если можно, Сереже об этом назначенном сроке не говори. Я сама напишу ему. Московскую внешнюю жизнь совсем забываю. Еще с лета все стало очевидно чужим, даже почти враждебным: «Весы», Эллис, Кружок, «мальчишки», все ежедневные интересы. Боже мой, в какую даль все это отодвинулось. Знаешь, Валерий, иногда (и здесь, в Лейпциге,

часто) мне кажется, что я уже умерла и откуда-то издалека с теми самыми мучениями, о которых так подробно рассказывают спириты, смотрю на всю свою прошлую жизнь, в которой уже не могу никогда принять участия. И еще это ощущение большого пустого пространства и бесконечного одиночества, особенно по ночам в темноте.... Мой ум сейчас вовсе не настроен мистически, но иногда точно даже припоминаю час смерти, на диване, в столовой в один из очень жарких и страшных вечеров этого лета, когда ты был на даче... Ах, Валерий, не огорчайся этим письмом. Ведь ты должен же понять и меня. Нет в моей душе никакого будущего, и нет у меня никакой жизни при этой бесконечной разобщенн<ости> наших существований.

Милый Валерий, я даже разучилась быть ласковой.... Пиши, если захочешь. Я могу говорить о себе все, что тебе интересно, не скрывая *ни единого* факта, ни единого движенья души.

Твоя.

[1] Ответ на п. 176. Почтовый штемпель: Leipzig. 27.11.08.

[2] См. п. 177.

[3] День отъезда Брюсова из Москвы в заграничное путешествие (см. п. 167, примеч. 1).

[4] Имеется в виду глава 15-я «Огненного Ангела» («Как Ренату судили инквизиционным судом под председательством архиепископа»).

[5] 26 ноября / 9 декабря.

179. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

16/29 ноября 1908 г. Москва[1]

Нина, дорогая, любимая!

Сейчас, придя с похорон Ю.П. Бартенева[2], прочел Твое письмо, помеченное 12/25 н<оября>. Я все же надеюсь, что мое длинное письмо до Тебя дошло. После два раза посылал Тебе книги. Не писал, потому что очень себя плохо чувствую. Москва вошла во все свои права над моей душой*.

Чу! шумят угрюмо крылья духов скорби надо мной[3]...

* *В автографе описка:* души.

Плохо здесь, и в этом году особенно плохо. Какой-то «развал». Но об этом я Тебе уже писал и повторять не хочется. Пока еще ничего в моей жизни не устроено, и как буду я жить эту зиму — не знаю.

Твои письма — грустные, больно сжимающие сердце, но — скажу Тебе — не безнадежные. Какая-то, страстно желанная мною, стройность начинает выясняться в хаосе Твоей души. Я начинаю опять видеть, хотя еще смутно, Тебя, Тебя настоящую! Нина, милая, хорошая, дорогая, стань собою, — я не устану повторять Тебе этих слов.

Да, если Ты этого хочешь, возвращайся в Париж, но не как в проклятое место ссылки, а как в город прекрасный, многообразный, близкий всем, кто чувствует жизнь, жизнь прошлую и настоящую. Возвращайся в Париж — живою, не мертвой! Не для того, чтобы что-то оплакивать, но чтобы открыть душу новым впечатлениям.

Ах, как ясно, как отчетливо, как радостно вижу я возможности быть для нас «вместе», любить друг друга светло и прекрасно, — но обоим нам для этого надо быть живым. Ах, если бы эта наша разлука, первая истинная разлука, которая длится так мучительно, привела не к *победе* над нашей любовью, а к ее торжеству. Я хочу, чтобы Ты при новой встрече не сказала мне: «Ну вот теперь я могу быть без Тебя», — а напротив: «Теперь я могу, я умею и я хочу быть с Тобой!». Почему эти мечты, которые мне кажутся такими достижимыми, Тебе представляются безумием?

Ты помнишь, я несколько раз говорил Тебе: «Необходимо, чтоб у Тебя была цель в жизни вне меня». Мне до сих пор это кажется самым верным определением того, чего недостает Тебе. Да, прекрасно, если двое ставят всю цель своей жизни друг в друге — как Паоло и Франческа[4]. Бывало, я заклинал свою Судьбу:

О дай мне жребий тот же вынуть![5]

Но мне этот жребий не выпал, теперь уже нельзя сомневаться. Могу о себе сказать теперь другими словами, словами моего Одиссея:

Я — доброволец меж рабов...[6]

Но Та, кому я рабствую, это все же Божество, ибо ее имя — моя поэзия. И когда Ты мне говоришь: «Хочу, чтобы Ты был мой», — я отвечаю Тебе, как обрученный: «Я не — свободен». Нина! дорогая! примирись, наконец, с этим; пойми, наконец, этого не-

избежность; оставь мне эту несвободу; — сочти меня спутником своей жизни, а не самой Твоей жизнью; скажи мне: «Я и ты», а не безличное «мы». — И мне почему-то кажется, что Ты скоро скажешь так.

Я очень затомился без Тебя, Нина. Мне недостает Тебя в жизни, как зверям в зверинце свободы. Только крайним усилием воли подавляю эту тоску по Тебе, чтобы она не охватила всего моего существа. Так хочется прийти к Тебе, положить голову Тебе на колени, увидеть Твои глаза, поцеловать Твою руку. Сознаться ли? Порою я тоскую даже по ужасным вечерам этой весны, одно воспоминание о которых заставляло меня недавно содрогаться. И я думаю: не лучше ли даже *это*, даже *такие* встречи, чем разделенность на месяцы и на месяцы...

Я буду Тебе писать, Нина, много, подробно, — дай только чуть-чуть устроиться жизни. О возможности свое<го> приезда в Париж я писал Тебе в прошлом письме — жду ответа. Очень, очень прошу Тебя, как только приедешь Ты в Париж, *немедленно* телеграфировать мне свой адрес (если хочешь, я передам его Твоему Сереже). Если не найдешь сразу верного пристанища, позволь писать на Poste Restante.

Люблю Тебя очень. Целую Тебя.

Твой всегда

Валерий.

---

[1] Ответ на п. 177. Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Похороны Юрия Петровича Бартенева (1866—1908), сына издателя «Русского архива» П.И. Бартенева, цензора в Московском комитете по делам печати, скончавшегося в Веймаре, состоялись 16 ноября в Скорбященском монастыре у Бутырской заставы (см.: Русские ведомости. 1908. № 266, 15 ноября. С. 1). В газетном репортаже об этом было отмечено участие Брюсова («Похороны Ю. П. Бартенева» // Русское слово. 1908. № 268, 18 ноября. С. 5).

[3] Авторский вариант заключительной строки стихотворения «Усталость» («Не дойти мне! не дойти мне! я устал! устал! устал!..», 1907), входящего в книгу Брюсова «Все напевы»: «Чу! шуршат угрюмо крылья духов мести между скал!» (I, 469). Брюсов переписал его для Петровской (см. п. 129).

[4] Герои-любовники, описанные в «Божественной Комедии» Данте («Ад», песнь V); тот же сюжет — в основе трагедии Г. Д'Аннунцио «Франческа да Римини», переведенной Брюсовым в соавторстве с Вяч. Ивановым (см. примеч. 5 к п. 169).

[5] Строка из стихотворения «Антоний» («Ты на закатном небосклоне...», 1905), входящего в книгу Брюсова «Stephanos» (I, 393).

[6] Строка из стихотворения «Одиссей» («Певцами всей земли прославлен...», 1907), входящего в книгу Брюсова «Все напевы» (I, 524).

180. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

17/30 ноября 1908 г. Лейпциг[1]

Лейпциг 17 дек.* / 30 нояб.

Очень благодарю тебя за книги, милый, милый Валерий[2].

Ты не можешь себе представить, как *теперь* меня трогает каждый маленький знак твоего внимания. И надпись... — она лучше, чем на первой части[3], на которую мне еще тогда хотелось тебе ответить строчкой из Бальмонта: «Слишком скоро меня схоронили»...[4] Ты уже получил три моих письма отсюда. О каждом ты что-то думал, и одним, может быть, огорчился. Милый Валерий, даже моя безнадежность не может разрушить нашей близости. Помни это всегда. И на встречу к тебе, когда позовешь, я пойду с неизменной радостью. Только буду ли той, какую ты ждешь, — не знаю, и *сейчас* могу просить об одном, как ты: «Возьми меня, какой я *могу* быть». Недавно ночью я написала тебе длинное письмо, но не решилась послать, еще не имея от тебя ответа на предыдущее. Очень, очень стараюсь собой овладеть. *Не убить себя*, как говорила в Намюре, а только овладеть, чтобы возможно стало как-то жить во внешнем и просто дышать. «Милый Нин, если ты не нашел нужным умереть, то должен жить, а не бить себя об пол еще и еще», — так в каждом письме мне пишет Сережа, милый, трогательный Сережа. За 18 дней в Лейпциге, несмотря на мучительства с Надей, несколько опомнилась от Парижских безумств. Целые дни учусь, а вечерами внимательно и с упоеньем читаю Бодлэра. Какое счастье — не в переводе Эллиса[5]! Бедный Бодлэр, — за что его так опозорил Эллис. Ах, твой Эллис! Пробежала в «Весах» его статью[6], — не знаю, может быть, я просто отвыкла от неприличной брани и некорректности взаимных людских отношений, а может быть, отрешившись от всякой лагерной враждебности, не понимаю уже его фанатического исступления, — только читать его крайне неприятно. Зайцев писатель не большой, но было время, *было, я помню*, когда этот же самый негодный Эллис стоял перед ним на задних лапах и всерьез говорил о «значении его творчества в русской литературе». С тех пор Зайцев стал писать положительно лучше, а не хуже, и уж хотя бы из одного

* *Описка в автографе.*

стыда Эллис избегал писать о нем *вовсе*, памятуя свои слова «о значении творчества» и т.д.[7] Критика Б.Н. на стихи Блока — «почему Блок качается, когда он прибит гвоздями, да еще не на кресте, а на рябине»[8], — есть не что иное, как самый недобросовестный прием *Буренинской критики*[9] да еще (о, мы все это хорошо знаем) на подкладке личных отношений. Что останется от его собственных стихов, если хотя бы ты стал практиковать его способ писать рецензии о врагах? Не люблю я их всех и от этого отдела «Весов» испытываю уже теперь не прежние злорадные чувства, а недоумение и грусть. Я, правда, куда-то *ухожу*, Валерий. Куда, — не знаю. Прав ли мой путь, — тоже не знаю, но скоро, скоро даже тени моей не останется в прошлом. Мое глубокое нежелание видеть русских и общаться с русскими как бы то ни было (о, милый, конечно, кроме тебя!), я думаю, есть не что иное, как внешний признак течения какого-то внутреннего процесса. Оборвалась связь *со всей* прошлой жизнью. Новой еще нет, но *ни одной формы* из прежнего повторить не могу. Ты знаешь, мне стало трудно писать русские письма. Я охотно отвечаю иностранцам, очень забавля<юсь> их письмами и с трудом иногда пишу даже Сереже. Может быть, через какое-то время на вопрос: «Давно ли Вы из России?» — я буду отвечать, как m-me Высоцкая, хозяйка моего пансиона во Флор<енции>, у которой ненависть к России стала манией, — она отвечала, право, бледнея и с самым острым гневом: «Я *никогда* не была в России». И если я сейчас не имею радостей положительных, то у меня есть постоянные отрицательные утешения, — я *не* в Москве, я *не* вижу «мальчишек», я *не* распинаюсь по вторникам у колонн Художественного кружка, ко мне не придет Владька[10], чтобы рассказать, как ты вчера проводил время, — словом, я уже *за чертой* всех этих мук, которые, по уверению Сережи, еще немного и стали бы траги*комическими*, как нескончаемые мучения «бедного» Чеховского «француза»[11].

Валерий, иногда мне снова хочется жить... Не знаю, *как*, не знаю, где и *чем*. Я долго, долго не умела свободно дышать, и весь мир был от меня закрыт. И вдруг иногда (о, не часто) мне хочется сказать себе словами Бодлэра:

Empêchera ton coeur de battre et de vouloir,
Et tes pieds de courir leur course aventureuse...[12]

Ах, *они* мне пишут слова, которые я хотела бы слышать только от тебя! Я знаю, знаю, что некоторые слова говорятся *раз*, но

разве иногда мы не ропщем на самые железные и непреложные законы?

Милый Валерий! как хочется мне сказать: «Милый зверочек!» Но я повторяю их одними губами. Я не умею больше говорить этих слов. Напиши, если можешь. Сегодня получила только книги, письма не было. Я здесь останусь, вероятно, до 26-го; я так хотела бы, и дольше мне трудно. Надя больна, что с ней делать, — не знаю. Целую тебя нежно.

Твоя.

---

[1] Почтовые штемпели: Leipzig. 1.12.08; Москва. 21.XI.1908.

[2] Одна из присланных Брюсовым книг, безусловно, «Огненный Ангел» (Ч. 2. М.: Скорпион, 1909); 2-я часть романа вышла в свет отдельным изданием в середине ноября 1908 г. (см.: Прижизненные издания Валерия Яковлевича Брюсова: Каталог. М., 1985. С. 41). Также (судя по дальнейшему тексту письма) Брюсов прислал Петровской № 10 «Весов» за 1908 г.

[3] См. примеч. 4 к п. 172.

[4] В стихах К.Д. Бальмонта такой строчки обнаружить не удалось.

[5] Ко времени написания письма вышли в свет три книги переводов Эллиса из Шарля Бодлера: *Эллис.* Иммортели. Вып. I. Ш. Бодлэр. М., 1904; *Бодлэр Шарль.* Цветы Зла / Пер. Эллиса. Со вступ. статьей Теофиля Готье и предисловием Валерия Брюсова. М.: Заратустра, 1908; *Бодлэр Шарль.* Мое обнаженное сердце / Пер. Эллис <sic!>. М.: Дилетант, 1907.

[6] Имеется в виду статья Эллиса «Литературный невод» (Весы. 1908. № 10. С. 81—86), содержавшая разбор книг 4-й и 5-й «Литературно-художественных альманахов издательства «Шиповник»» (СПб., 1908).

[7] В упомянутой статье Эллис подверг резкой критике повесть Б. К. Зайцева «Аграфена», опубликованную в кн. 4-й альманахов «Шиповник».

[8] Петровская безосновательно приписывает Андрею Белому рецензию Сергея Соловьева на третий сборник стихов А. Блока «Земля в снегу» (М., 1908), в которой дан построчный разбор первого стихотворения цикла «Осенняя любовь» («Когда в листве сырой и ржавой...»): «...вослед ассоциациям Блока, мы переносимся из совершенно реальных условий в какое-то неопределенное место, где, неизвестно зачем, когда, кто, кого распииает <...> назло правдоподобию, сам Блок "качается" (почему качается, когда он прибит гвоздями?) на кресте, а то и на рябине» (Весы. 1908. № 10. С. 88—89).

[9] Расхожее обозначение злой, разнузданной и грубой критики, наиболее характерные образцы которой поставлял Виктор Петрович Буренин (1841—1926), поэт, драматург, литературный и театральный критик и пародист.

[10] Владислав Ходасевич.

[11] Речь идет о рассказе А.П. Чехова «На чужбине» (1884; *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1976. Т. 4. С. 163—166).

[12] Строки из сонета Шарля Бодлера «Remords posthume» («Посмертные угрызения»); в переводе Эллиса: «Чтоб в сердце замерло последнее биенье, / Чтоб ножки резвые прервали скользкий путь».

181. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

17/30 ноября 1908 г. Лейпциг

Лейпциг. 30. 2 ч.

Валерий дорогой,
сегодня вечером я опустила тебе письмо[1], а сейчас ночь, 2 ч<аса>, и я не могу спать, как почти все последние ночи в Лейпциге. Так как я решилась «собой овладеть», то даже вероналя не принимаю, и вот борюсь по ночам с ужасным расстройством души. Не знаю, *какую* мне жизнь сейчас нужно! Из Парижа бежала от шума; а здесь меня угнетает и мучит тишина. Ах, по ночам в сознании ощущение огромного пустого пространства, а немецкая комната с тяжелой мебелью, с унылыми серыми стенами кажется настоящим саркофагом. За стеной студент спит как мертвый, и тишина такая, что мне хочется швырять стулья, лишь бы как-нибудь ее нарушить. Но это не Москва, бурно выражать себя нельзя. И вот в огромной двуспальной кровати я лежу неподвижно, и мне кажется, что уж это смерть, смерть всего, кроме сознания. И вот меня пугает смерть, так же остро, как прежде радовала мысль о ней. Ты, может быть, вчера, т.е. в предыдущем письме, не понял, почему я привела строчки из Бодлэра, и они тебе показались бессмысленно выдернуты<ми>. Ах, я насильственно оборвала мысль, потому что не решилась говорить так, как сейчас. Все это стихотворение связалось с целым рядом моих ощущений еще в Париже в одну из ночей в каких-то cabarets Монмартра, где со мной нежно разговаривали кокотки и где мне казалось, что меня и их связывает какая-то общая судьба. Так же я сидела с моим случайным «petit ami» (как они называли Роберта), так же за плечами у меня зияла тьма, бесприютность и пустота. Я думала о тебе, о Сереже — думала о Ваших мирных ночах, которые мне не дадутся теперь уже никогда, и вот тогда в первый еще раз эти стихи Бодлэра мне показались обращенными равно к ним и ко мне. Вся жизнь для меня мне представилась одним Парижским cabaret, которое мне отныне стало единственным назначением. А в промежутках вот эти мысли и единственное будущее для души и тела — «caveau pluvieux et fosse creuse...»[2]

Милый Валерий, не сердись на все эти слова. Ты хотел, чтобы я говорила *все*. Не представляя *нашего* будущего в целом, я пытаюсь выполнить его первые условия, — и из Лейпцига шлю тебе письмо за письмом, — все безумные пометки состояния мятущейся еще души! Из Парижа я едва ли смогу писать так много, куда там меня швырнет новая волна? И будет ли даже расположение говорить о себе еще и еще. Эти свои ночные мысли и ощущения я ненавижу и сознаю их как (может быть, временное) *паденье*. Но если говорить совсем правду, то только в присутствии Б.Н.[3] (о как это было давно!) я думала о смерти с истинным благородством и бесстрашием. В *наши* страшные дни она меня манила только как пропасть и забвение мук. Может быть, совсем чужими кажутся тебе мои письма? Ты в работе, в делах и совсем, навсегда далеко от такого шатания души. Какой-то частью моего существа мне очень хочется *самой одной*, без чьей бы то ни было помощи, даже твоей, стать мирной, тихой, успокоенной, не падать каждую минуту от самых разнообразных оттенков отчаяния. Самой для себя создать ваши «мирные ночи», когда cabarets даже и не снятся, когда хорошо спится после работы и иной усталости дня. Но я еще не могу, я еще не примирилась с «потерей», я еще в такой области, где воспоминания сильнее надежд. И когда они приходят меня мучить в роковой последовательности всех прошлых дней, я лежу как мертвая в моей двуспальной немецкой кровати, и вечера на Монмартре с моим случайным «petit ami» мне кажутся раем. Милый Валерий, я испытываю страшный соблазн изорвать это письмо, но так не поступлю. Завтра утром я отправлю его заказным. Ведь ты хотел бы знать обо мне *все*. Я пробую, стараюсь осуществить твою волю. Не осуждай меня *ты*, — это было бы жестоко. Напиши мне. Без твоего ответа на все мои письма я больше не смогу писать.

Твоя.

---

[1] Имеется в виду п. 180.

[2] Образы из сонета Бодлера «Remords posthume» («Посмертные угрызения»): «Et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir / Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse» (в переводе Эллиса: «Когда, прекрасная, лишь ров да склеп унылый / Заменят твой альков и замок пышный твой»). Ср. п. 180.

[3] Б.Н. Бугаев (Андрей Белый).

182. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

20 ноября / 3 декабря 1908 г. Лейпциг[1]

Лейпциг 3/20

Милый, милый Валерий,
ты опять мне пишешь нежные письма! Ты опять говоришь голосом такой ласки, в ответ на которую мне только хочется без слов целовать твои руки.. Милый, любимый, не знаю, что было в твоем письме или что было в моей душе, когда я читала его, но сегодня, без сомнений, без боли, с одной только нежностью хочется мне сказать тебе: да, да, да! Я тебе верю, я тебя вижу, наконец вижу, и я хочу тебя, и не будет времени, когда я могла бы сказать: нет, я тебя не хочу! Но пойми, я еще очень хвораю, так сильно, что минутами бред мой и боль меня делают почти мертвой. Я, должно быть, приду к тебе, я очень хочу прийти. Но подожди — жди меня, с нежностью и надеждой — «я, быть может, не умер... проснусь... вернусь»...[2] Для того, чтобы «научиться быть с тобой», мне нужно сначала научиться быть без тебя. Но видишь, и без тебя я ни <на> минуту не теряю тебя. Я жду, падаю в отчаянии, бросаю себя в хаос, караю себя тишиной и одиночеством, когда еще это очень страшно, покорно и терпеливо я отдаю себя на мучение всем мыслям и видениям, которые пришли как спутники *все одного же*. У меня иногда так искажается от этого душа, что *я* себя не узнаю, но, Валерий, верь мне, Валерий, но во всем, всегда, везде я остаюсь тебе близкой, неизменно твоей. Я тебе послала очень безнадежное письмо в ответ на твое длинное[3] и еще два или три, — совсем смутных. Милый, от меня сейчас не нужно спрашивать определенных ответов. *Сейчас*, так близко от последнего лета и во власти его воспоминаний, которые не успели померкнуть и смягчиться, — разве могу я говорить и отвечать иначе? Я еще это не пережила совсем; у меня нет уже прежних мыслей и желаний, но когда они все — пламенные, страшные и прекрасные призраки дней и вечеров — подойдут, обступят, лягут на грудь, — ах, Валерий! Подожди меня! Я приду, я наверно приду, хотя еще так, *как ты хочешь*, — не знаю когда. Многое, многое мучительное уже совсем неповторимо и невозможно между нами. Я верю тебе, вижу, знаю твой истинный образ, люблю *его* очень, но слиться с ним, как прежде сливалась с другим, — не

умею пока. Милый, может быть, только *пока*? Поверь *ты*, жди меня, не уходи от меня теперь, безнадежно махнув рукой. Разве можем мы сказать: «Это кончено», когда наши души так влекутся друг к другу? Сегодня после твоих нежных слов я говорю не только *моя*, но *наши*, сегодня я верю в неизвестное, но светлое будущее *с тобой* и верю, что все *мое* будущее связано *с тобой*, какие бы тяжкие испытан<ия> ни пришлось пережить. Ах, не думай, что и эти слова опять приступ лихорадки, только с радостным бредом. Я очень печальна и даже больна сегодня, расстроена всячески, — это только твое письмо, — без тени какой-либо суровости обрадовало меня до надежды. Думаю, что 26-го[4] поеду в Париж. Эти дни меня будет мучить Надя. Теперь ей хочется ехать со мной, она упрашивает ее взять. Я знаю, что в Москве она, пожалуй, скоро повторит то же[5]. Но взять ее в Париж... С одной стороны, я бы этого хотела, но тут приходится встретиться с такими внешн<ими> трудностями, пойти на такие жертвы, что эти два месяца, которые она хотела бы быть со мной, — отнимут жизнь у меня. Но, несмотря на все это, я, вероятно, не вынесу слез и возьму. Не дают мне жить! Ну что ж, пускай едет, через 2 недели приедет ее студент — внутренне меня освободит, а внешности останутся внешностями. Из Парижа я сейчас же телеграфирую адрес. Но ты можешь написать P<oste> Rest<ante> *Bureau 32*. Жить я буду наверно около St. Michel[6], и мимо этого bureau 32 приходится проходить раза два в день. Ты говоришь, что посылал мне *два* раза книги. Почему два раза? Я их получила все три вместе, а больше не было. Сережа жалуется, что в Москве плохо, ты говоришь, что плохо, — верю Вам, мне же *страшно* все это вспомнить.

Ты иногда меня хочешь видеть?... Зверочек мой — и я!.. Часто. Не сердись на мои темные смутные письма. Я тебя люблю всегда, и в моем бреду, *где бы* и *каким бы он ни был*, еще острее. Я пишу тебе очень много.

Хочешь, чтобы я писала? Целую тебя, милый.

Получила сегодня Чуковского — благодарю[7].

---

[1] Ответ на п. 179.

[2] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения Андрея Белого «Золотому блеску верил...» (1907), впервые опубликованного в составе цикла «Эпитафия» (Золотое руно. 1907. № 3. С. 40); под заглавием «Друзьям» и с посвящением Н.И. Петровской вошло в книгу Андрея Белого «Пепел» (СПб., 1909. С. 183—184).

[3] Имеется в виду п. 178.

[4] 26 ноября / 9 декабря.

[5] Имеется в виду попытка самоубийства.

[6] Площадь и бульвар в Латинском квартале.

[7] Какую именно книгу К. Чуковского прислал Брюсов, неясно. В 1908 г. вышли в свет три книги Чуковского — «От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики» (СПб., 1908; в течение года — три издания), «Леонид Андреев большой и маленький» (СПб., 1908) и «Нат Пинкертон и современная литература» (М., 1908).

183. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

20 ноября / 3 декабря 1908 г. Москва[1]

20 ноябр. 908

Вчера еще выслал Тебе № «Bandeaux d'Or» — там в конце рассказ Мерсеро, т.е. Вальдора, где он описывает свою жизнь в Москве[2]. Изображены все наши добрые знакомые и Ты сама под именем Нины Петровной. Впрочем, он смешал Тебя с... Любовью Столицей.

Жду парижского адреса.

Твой В.Б.

---

[1] Открытка с французской маркой издательства «Скорпион» и журнала «Весы». Дополнение к тексту письма Брюсова, нам неизвестного.

[2] Речь идет о публикации: *Mercereau Alexandre*. Le troika d'enfer // Les Bandeaux d'Or. Anthologie. MCMVIII. 2-me série. Fasc. VIII. P. 123—140. Поскольку журнал сохранился в библиотеке Брюсова (Книжные фонды Гос. Литературного музея), Петровская его возвратила. В переводе И.И. Кузнецовой рассказ приготовлен для публикации в журнале «Наше наследие».

184. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

22 ноября / 5 декабря 1908 г. Лейпциг[1]

Лейпциг, 5/22

Дорогой, милый мой!
твое внимание и нежность меня трогают бесконечно. Как убивали меня твои письма из Парижа в Москву, так эти меня радуют и дают ощущение твоего живого присутствия в моей жизни. Мне тоже хочется тебя радовать, но не умею я пока! Сейчас я только

огорчаю и тебя, и Сережу... 26-го определенно еду в Париж, и кажется, наверно с Надей. Не могу отказать, после меня замучат разные угрызенья — хуже будет. Да и эгоистически: мне с ней все же не так одиноко. Внешностям, которые из-за этого возникнут, — подчинюсь. Она хочет пробыть со мной 2 месяца. Через 3 недели уже на все остальное время ее пребывания приедет в Париж ее студент — это снимет с меня внутренние заботы. Надоело мне здесь! О литературе моей ты пишешь.... Нет, я ее бросать не думаю. Только пойми — ведь с 13-го августа, кроме отелей, ресторанов и вагонов, я ничего не знаю. Где мне было писать?! Сейчас в душе (так кажется) более чем когда-либо материала для того, чтобы писать. Что зовешь в «Весы» — благодарю *очень*, если успеешь, пришли что-нибудь для отзыва для декабрьской книжки — Paris. P<oste> Rest<ante>. *Bureau 32*: но ведь «Весы» кончаются? Или ты все же надеешься, что нет?

Милый Валерий, вероятно, я, что называется, «перемогусь» и собой овладею. Мне, чтобы успокоиться, еще страшно меша<ют> тысячи всяких внешних неустройств и тревог. В этом смысле мне бы сейчас была нужна полная праздность ума и души, но одна Надя чего стоит! О том, что я ее возьму в Париж, Сереже не говори ни под каким видом. Это против его воли и всех соображений. Он будет сердиться очень. Я скажу ему после. Но еще я знаю, что ее наличность в Париже внесет в мою жизнь элемент некоторой «семейственности» (Ты улыбаешься?). Но если бы ты только себе мог представить, как я там страдала от одиночества, хотя ни одного вечера не была одна. — Теперь об ответе Сергееву-Ценскому[2]. Милый, ответь сам. Ведь ты «редакция Весов». Прямо ко мне он не обращается. Не найду я в себе сейчас достаточно злобного остроумия, — это ведь не рецензия. Мне сейчас нужно *войти* в круг всех этих дел, Бог знает, как далеко от них была я это время с весны. Вот я и прошу у тебя книгу для отзыва как пробу своих сил. А Ценскому ответь сам[3]. Напиши, что думаешь о судьбе «Весов». Бесконечно жалко, если они истребятся — ведь *единственный* журнал! Пиши мне все, — от твоих писем я воскресаю. Ты опять стал милый и нежный.... Минутами я *верю* через все, что переживаю, и через все *неизвестное*, что придется пережить. В Париже меня ужасно ждут. Robert пишет обиженно и сдержанно (я ему не писала 16 дней), а мексиканец так экспансивно выражает свои чувства и *надежды*, что, кажется, придется отказаться

от его общества или, по крайней мере, обуздать его излишнюю «экзотическую» пылкость. Прости, что о пустяках! Я тебе пишу каждый день. Замечаешь ты это? Не презирай мои письма как «записки сумасше<дшего>». Я не меняюсь, меняется только что-то на самой поверхности души — то я печальнее, то веселее. В дни твоих писем — я всегда радостнее и мне не кажется, что уж совсем, навсегда я провалилась в какую-то яму. Пиши мне, когда хочется. Я тебя люблю всегда, неизменно. Ты знаешь?

Так вот, — сюда уже не успеешь, прямо в Париж. *Bureau 32.* А как устроюсь, сейчас же пришлю свой адрес.

Целую тебя, милый! Благодарю за все!

Твоя.

Посылаю все заказными — иногда теряются в Россию письма. За границей этого не нужно, но в России не уважают почту.

Бессвязность моя от торопливости — спешу послать сейчас же.

О «мертвой Ренате» написано просто глупо.

Валерий, откуда такие стихи?

По старой привычке искать в стихах *вчерашних событий* невольно что-то думаю... Ах, зверочек.....[4]

---

[1] Ответ на неизвестное нам письмо Брюсова.

[2] С.Н. Сергеев-Ценский опубликовал открытое письмо, обращенное к журналу «Весы» (Лебедь. 1908. № 2. С. 44), в котором требовал извинений «за грубый базарный тон своего сотрудника г. Останина» (псевдоним Петровской) в рецензиях на его книги, помещенных в «Весах» (1907. № 11. С. 57—59; 1908. № 2. С. 84—85).

[3] Брюсов так и поступил — опубликовал заметку под заглавием «Ответ» (Весы. 1908. № 11. С. 67—68) за подписью: «Весы». См.: *Брюсов Валерий.* Среди стихов. 1894—1924. Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 286—287.

[4] Видимо, Брюсов включил в неизвестное нам письмо или приложил к нему текст своего нового стихотворения. Весьма вероятно, что это было только что написанное стихотворение «Час воспоминаний» («Воспоминанье, с нежной грустью...», 20 ноября 1908 г.), включенное в книгу Брюсова «Все напевы» (1, 466—467). Если это предположение верно, то Петровская, скорее всего, приняла на свой счет (см. п. 187) строки:

Двух женщин облики немые
Во мгле склоняются ко мне.

То с дерзкой дрожью сладострастья,
С бесстыдным отблеском в зрачках,
Манят меня виденьем счастья,
Забытого в холодных днях;

То смотрят нежно и любовно
И, не ревнуя, не кляня,

О всем погибшем плачут, словно
И обо мне, и для меня!

185. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

23 ноября / 6 декабря 1908 г. Лейпциг[1]

Лейпциг 6/23

Милый Валерий, я уезжаю отсюда в среду 9/26. Пиши Poste R<estante> *Bureau 32*, ибо адреса своего, конечно, сейчас угадать не могу. Благодарю за «Bandeaux d'or», но я Вальдором недовольна. Под моим именем описывать поведение Л. Столицы!..[2] А рассказ сам по себе очень плох, даже как карикатура. Грубо и тяжело не по-французски. И как он ничего не понял в России! — Едва доживаю здесь дни. Германия отвратительна, когда человек уже не хочет спать, а *жить* здесь нельзя. Надю беру в Париж окончательно. Совсем рассержу Сережу! Но не могу, — жалко бросить. Вспоминаю, как этим *летом* она была со мной неотлучно и в смертельную жару, делая по 15 этажей, возила мои безумные письма в «Скорпион». Сейчас она от стрихнина почти без ног, пусть лежит в Париже со мной, — не могу бросить или отправить в Москву. Не могу! Немножко радуюсь, что увижу Париж. Сам по себе он мне кажется прекрасным. Думаю (так думаю сейчас), что очень, очень скоро начну писать. Ах, Валерий, — «может быть, я не умер... проснусь... вернусь»...[3] Прости, что пишу так мало, но очень поздно, и я тебе недавно написала 3 или 4 длинных письма.

Целую нежно. Милый! Пиши. Твоя.

---

[1] Открытка с фотоснимком: Leipzig. Augustusplatz. Universität Mendebrunnen.
[2] См. примеч. 2 к п. 183.
[3] См. примеч. 2 к п. 182.

186. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

25 ноября / 8 декабря 1908 г. Москва[1]

25 ноября ст. ст. 1908

Нинка, милая, дорогая, хорошая! Получил сейчас два Твоих письма, вчера — одно. Вчерашнее — грустное очень; сегодня — одно светлое. Ты тоже не знаешь, как я радуюсь на Твои письма,

12. Заказ № 795.

как перечитываю их. Мне очень, очень недостает Тебя, и хоть немного наши встречи заменены для меня Твоими письмами. Пиши мне сколько можно, и я буду писать, сколько могу. Пиши мне все, и я буду писать Тебе все.

Эти строки — только чтобы сказать, что письма Твои получены. Завтра или послезавтра надеюсь получить Твой парижский адрес (телеграммой? да?) и тогда напишу много, потому что хочется сказать много. Ах, Нинка! Так много хочется сказать, что ни в каком длинном письме этого не доскажешь, и много нужно было бы вечеров, чтобы договорить все до конца... много, может быть, бесконечное число.

Я послал Тебе в Лейпциг два важных письма, которые должны были прийти приблизительно *26* (ст. ст.)[2]. Если Ты не получила их, выпиши, — мне будет очень жалко, если они затеряются.

Люби меня в Париже... Мне страшно представить Тебя в Париже, и с Robert, и с мексиканцем, и знаю ли я с кем еще. Но ведь Ты скажешь мне *все*, правда *все*, дорогая, милая, любимая!

Я — Твой, по-настоящему Твой

Валерий.

Прости эти беглые строки. Не люблю я писать на P<oste> R<estante>, а писать так надо!

[1] Ответ на пп. 182, 184, 185. Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Эти письма Брюсова, видимо, не сохранились.

187. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

25 ноября / 8 декабря 1908 г. Лейпциг

Лейпциг 25/8

Милый Валерий,

успела получить оба твои последние письма[1], которые пришли одновременно. Уезжаю завтра. В четверг[2] уже Париж.... Как гном из стихотв<орения> Б.Н., говорю и повторяю себе, очень невесело улыбаясь:

Несите меня, мои ноги, домой...
Заждались меня дома...[3]

Там, правда, ждут... Если когда-нибудь мы сможем рассказывать все, *совсем* все, и о пустом и важном, — я пришлю тебе одно французское письмо. Почитай, — забавно.—

То место в твоих стихах, которое меня огорчило бы и *отравило* бы еще недавно, теперь почти не коснулось души[4]. От *этого* я уже далеко. Я забыла о ней. Скоро она для меня перестанет существовать вовсе. Ты не понимаешь, *как* это связывается с неизменностью моей боли? Не знаю и я. Мыслю ее как черту твоей души — единственно, реальный же облик сгорел, исчез. Хотелось бы написать тебе много, но нужно собираться, все разбросано, — вещи в таком же хаосе, как душа. Я тебе, кажется, писала раза три первый парижской адрес: Poste-Rest<ante> *Bureau 32.* Как устроюсь, — телеграфирую новый. Не пиши только «*Petrovsky*» — не дают писем. Лейпциг мне надоел до пределов последних. 27 дней добровольной тюрьмы.

Из Парижа напишу скоро. Хотя там первые дни будет масса хлопот с отелем, квартирой и всяким устройством жизни внешней. Еду с Надей — это очень трудно. —

Милый, *в каждом* моем письме не ищи моего окончательного образа. Пишу, точно описываю процесс болезни. Видал ты когда-нибудь температурный лист, так наз<ываемую> температурную «кривую»? Вот...

Целую, люблю тебя очень. Везде останусь твоей.

Книжки все получила — и благодарю очень.

Не говори Сереже, что я с Надей. Пусть хотя позже будет меня бранить.

---

[1] См. примеч. 2 к п. 186.

[2] 27 ноября / 10 декабря.

[3] Цитата из 2-й части стихотворения «Гиом» («Не слышно зловещего грома...», 1902), входящего в книгу Андрея Белого «Золото в лазури» (М., 1904. С. 162).

[4] См. примеч. 4 к п. 184.

188. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

27 ноября / 10 декабря 1908 г.[1]

27 ноября 1908, ст. ст.

Нина, дорогая!

Сегодня надеялся я получить Твою телеграмму из Парижа. Или Ты не уехала из Лейпцига 26-го, или телеграмма не дошла еще, или Ты не послала ее. Грустно, когда так обманываются

ожидания: мне так хотелось ответить Тебе сегодня же, телеграммой. А так как этого нельзя сделать, пишу эти строки в неведомое Bureau, без уверенности, что они дойдут до Тебя.

Ты знаешь, у меня бывают иногда периоды влюбленности в Тебя. Я люблю Тебя всегда, но иногда эта любовь как-то обостряется, становится ощутимой до боли. Именно теперь переживаю я такой период, и впервые в разлуке с Тобой. Нельзя «приползти» к Тебе, как, бывало, говорила Ты, лечь на пол около Твоего кресла, поцеловать Твою руку, смотреть Тебе в глаза. Нельзя даже с дрожью ожидания назвать № Твоего телефона. Можно только писать письма в какое-то темное Bureau, куда они падают как в пустоту... И безнадежно, бессильно я говорю Тебе: Нина, я Тебя люблю.

Мне хочется написать Тебе о себе длинно и обстоятельно, но страшно вверить такое письмо всем случайностям Poste Restante. Ах, если бы завтра пришла Твоя телеграмма. Милая, хорошая, любимая, пришли ее мне. Глупая, детская просьба, которую Ты прочтешь, когда уже будет поздно исполнять ее, или которой Ты не прочтешь вовсе...

А есть еще и страшные мысли. Что, если эти нежные слова, которые мне так хочется говорить Тебе, придут к Тебе именно тогда, когда Тебе их слушать не захочется. Что, если Париж, Robert, мексиканец, Монмартрские кабарэ и все «это» так овладеет Твоей душой, что Ты не пожелаешь или не сможешь ответить мне... Ты часто пугала меня таким будущим. И сейчас оно вдруг мне кажется таким возможным.

И я вспоминаю кривую длинную улицу Ламбезеллека, по которой так недавно пробирался я к больнице д-ра Ленуана[2], успокоенный, уверенный, счастливый. И вспоминаю потом те дни и вечера, которые проводила Ты без меня и *после* меня в Бресте[3]. Ах, Нина, темная у Тебя душа, страшная, и страшно любить ее.

Но я люблю.

Твой Валерий.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Клиника в Бресте, где Петровская лечилась (см. примеч. 1 к п. 168).

[3] Намек на то, что после отъезда Брюсова из Бреста Петровская познакомилась там с Робером.

189. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

Конец ноября ст. ст. / Первая половина декабря н. ст. 1908 г. Москва[1]

Нинка, дорогая! получил два Твоих письма, писанные в день Твоего отъезда из Лейпцига[2]. Оба чуть-чуть холодные. Или потому, что Ты занята была хлопотами по отъезду. Или потому, что мои были слишком нежными... Ведь в Любви действует закон «неизменной суммы». Сумма любви двух N есть величина постоянная. Если один любит больше, другой должен любить меньше... Но, впрочем, это — шутка, и Ты мне ее прости. Хотел бы написать Тебе серьезно, но, право, пока не узнаю Твоего точного адреса или хотя бы пока не получу ответа из Парижа и не узнаю, что мои письма доходят, — мне это трудно. И — потом — я <не?> знаю, *какая* Ты в Париже. Может быть, Тебе мои письма, особенно нежные, и не нужны вовсе.

Когда будет точный адрес, пошлю Тебе и книги «для отзыва». Повторяю — официально — просьбу: прислать рассказ. Из этого Ты видишь, что «Весы» в 1909 — будут.

Милая, хорошая Нинка, напиши мне, если можешь, еще милое и хорошее письмо. Так мне его хочется.

Всегда Твой

Валерий.

P.S. Письма в Bureau я послал *не* заказными, и Тебе не могут их не выдать, если Ты напишешь на бумажке «Nina Sokoloff Petrovsky», а прибавлять Petrovsky Ты сама велела в одном из писем. Больше не буду этого делать.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Ни одного письма, датированного 26 ноября / 9 декабря 1908 г., среди писем Петровской к Брюсову не сохранилось. Возможно, одно из подразумеваемых здесь писем — п. 187.

190. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

28 ноября / 11 декабря 1908 г. Париж[1]

Париж 11/29

Дорогой Валерий,

я уже второй день в Париже. Испытываю бесконечную радость после окаянной Германии. К Парижу так привыкла, точно жила здесь годы. Со мной Надя. Это совершенно уничтожает чувство

одиночества. И даже она, сидя безвыходно в комнате, от одного парижского воздуха чувствует себя лучше. Сегодня пойду с Робертом взять комнату, которую он нашел. Нужно «устраивать жизнь».... Сереженька пишет мне всё слова печальные и укоряющие. Не знаю, чего хотят от меня люди! Если кто меня любит, то еще должен благодарить судьбу, что *я существую*, а не укорять. Видела пока только одного мексиканца. *Куда* эта история клонится, еще не пойму. Об этом более подробно расскажу тебе после. Очень хочу поскорее устроиться прочно, — отели стали моим кошмаром. Душа моя сейчас вся рассеяна, потому и письмо такое внешнее, — ты не сердись. Я только сегодня опомнилась от мучительной дороги — спала 14 часов. Ничего о себе не знаю, — все тянется полоса, которая началась 13 августа — отели, вагоны, рестораны, мелькание людей. Это трудно и уже более мне не по здоровью. Одолели и надоели всякие внешние хлопоты и заботы. Как о счастье думаю о той минуте, когда наступит спокойное утро, а передо мной будет лежать перо и бумага. Ты прав, от литературы мне не уйти, и больше того, — я не хочу. Милый, пиши, если можешь! Твои последние письма были такие хорошие.... Вот все, что могу сейчас написать. Мало и неинтересно. Но ты прости, это пройдет очень скоро. Просто я утомлена всем, и на минуту душа обмелела. Так бывает, ты знаешь. Напишу очень скоро и иначе. Сейчас голова занята внешностями. Расскажи, что в Москве? Напиши о себе, о «Весах». Сегодня пойду с мексиканцем в Сорбонну слушать какую-то лекцию, это будет в 4 ½ часа, а сейчас 3 и я только что встала. С языком освоилась почти совсем, а Париж мне кажется родным — моим городом. Целую тебя! Зверочек мой милый! Очень о тебе скучаю. Пиши пока *Poste-Restante. Bureau 32.*

Твоя.

[1] Почтовые штемпели: Paris. 12.12.08; Москва. 2.XII.1908.

191. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

4/17 декабря 1908 г. Париж[1]

Париж 17/4 дек.

Дорогой, дорогой Валерий,
сейчас получила твою телеграмму[2] и у меня от нее задрожало сердце. Как ты далеко, далеко, я не могу услышать твоего голоса, не

могу увидеть твоей милой, нежной улыбки... — я не писала тебе *по-настоящ<ему>* давно — дней 8—9. Но не думай, что я не хотела. У меня в душе и в жизни полный хаос. Нужно или говорить все, или не говорить ничего. А *все* — это подчас так трудно и больно. Я сознаюсь тебе во всем, что было со мной за это время, просто и искренно, — *у меня были дурные мысли*... Мои внешние дела сейчас так мучительны, так связывают меня в каждом движении, что вот... я думала их изменить. Сереженька стонет в каждом письме — дружески и нежно, но крайне чувствительно упрекает меня «за неосмотрительность». Направить жизнь, поставить ее на рельсы, для него и себя более удобные, как-то еще не умею. Словом, плохо!.. И вдруг в момент этих раздумий и беспокойно-горестных ощущений в мою жизнь вошел элемент почти сказочный. Я говорила тебе о «мексиканском принце».... Совершенно неожиданно, в субботу он получил дипломатическое назначение ехать в Мексику на 1 ½ месяца. Когда он пришел мне сказать об этом, у него слезы лились на камни Place St. Michel, как у меня когда-то на грязные ступени Николаевск<ого> вокзала[3]. И вот тут-то он мне и сделал, что на специфическом языке называется «солидное предложение», ехать с ним немедленно через 3 дня в Мексику и пользоваться его доходами. Валерий, тебе страшно читать эти строки? Но говорю я не так, как в Намюре, — без дерзкого вызова, без желанья тебя оскорбить. За 3—4 последние месяца я так устала преодолевать «внешние затрудн<ения>» и так мне не представляется выхода из этой западни, что два дня мне это предложение звучало как дьявольский шепот. О, меня не пугает Мексика, дальность расстояния — я отвязала мой челнок от ваших берегов. Но предстояло перейти невидимые внутрен<ние> границы — перешагнуть через свою душу, и кажется, я еще этого не могу. Два дня мне казалось, что на деньги можно купить все, и тот внешний покой, которого я сейчас так лишена. История с мексиканцем к этому клонилась бы и в Париже. Сначала это меня забавляло, как сказка. Ведь это Сережин «бразилец», которого он мне шутя заказал найти в Париже и приехать в Москву на собственном автомобиле. Это удивительное приключение с многих сторон, — оно мне доставляло минутами тщеславное удовольствие, но вот *завершить* его я, кажется, и не могу. Он уезжает сегодня, я провожу его на вокзал, и когда вернусь, то, может быть, еще раз почувствую с радостью, что истребить свою душу *не могу*. О, я не спала две ночи! Я думала о тебе много, много, и так серьезно, как, может быть, никогда. Дьявольский шепот не заглушал

моих мыслей. Я *почти* пережила первое большое и дурное искушение. Говорю *почти*, потому что, м<ожет> б<ыть>, в какие-то минуты буду еще жалеть. Милый, я искренна сейчас до наготы души. И если ты меня любишь, — ты не отвергнешь *только за искушение*. Через 1 ½ месяца он вернется, но едва ли я смогу с ним говорить. Только не думай, все это не было грубо, наоборот — он изысканен в каждом движении и слове и оценил меня как дорогую игрушку только за маленькую книжку (такую презренную в Москве[4]), только за качества, которые перестали ценить мои прежние друзья. Вот тебе эта история и последний акт из «Золотой рыбки»....[5] Я в скверном отеле на St. Michel, на постели лежит Надя, на столе Сережино письмо.... Зверочек! не думай обо мне дурно. Я знаю, мысли мои были более чем ординарны и побуждения не достойны сильной души, но я чрезвычайно устала, а должна думать о том, о чем не хочу думать, и от этой тревоги мечусь в каком-то грубом хаосе, — не могу ни стройно думать, ни писать. Не вижу в Париже русских вовсе. Один раз — Катер<ину>[6] (Бальмонт все в Италии), звала она меня в Москву, была любезна до тошноты, но никуда я не пойду. Физически себя чувствую отвратительно — артрит все хуже. Стараюсь не обращать на это внимания, вчера пила много вина с Robert-ом и до 5 часов оставалась на Монмартре в одном кабарэ. Ибо не могла бы заснуть все равно от тревожных и мрачных мыслей.

Так пока живу я в Париже — одиноко, случайно, в воздухе. Надя еще украшает мою жизнь. Я очень довольна, что она со мной, но жду по этому поводу грозного письма от Сережи, хотя он еще пока не знает.

Ты в первый раз так любезно приглаш<аешь> меня в «Весы»[7]. Благодарю и ценю *очень*, поверь мне. Но писать при всех этих условиях, писать, как я хочу, — еще не могу. Живем в отеле в одной комнате, а мне так нужно одиночество. Дни куда-то падают, исчезают без следа. Париж меня пленяет бесконечно, жить бы в ином городе (если, впрочем, нет возможности ехать куда-то еще дальше) — я бы не хотела. *В Москву, в Россию не вернусь*. Очень овладеваю языком, учусь. Не делаю *ничего* дурного, если ты не ставишь мне в счет Robert-a. Но это уже стало таким привычным, и он меня так по-настоящему, по-детски нежно любит, что оттолкнуть его без жалости не имела бы силы. В любви со мной, ко мне он повторяет меня *в любви к тебе*. Рыдает на каждой улице, все бульвары и знакомые кабарэ залиты его слезами, так же безумен и не умеренен в требованиях. И... так же всегда обижен, как, бывало, я.

Письма твои из Bureau 32 получила[8]. Ты не думай, что посылать их туда все равно что бросать в пространство. Чиновники очень аккуратны за границей. И лучше пиши туда, все письма, и маленькие, и *серьезные заказные*, ибо я не знаю, может быть, переменю отель. Зверочек, люблю тебя очень. Но душа расшаталась и устала. Хотела бы говорить с тобой, смотреть в глаза, целовать нежно после долгой разлуки. Но что этот момент когда-то настанет — почти не верю. Ответь мне скоро. Я жду твоих писем, твоя нежность дает мне жизнь и воскресение. *Никогда* не забываю тебя. Никогда! Верь мне — я не люблю теперь ложь. И не думай, что у меня душа «темная и страшная»[9]. Ты ее знаешь, она твоя всегда и везде — и в дурном, и в хорошем, и в красивом, и в отвратительном, — равно. Ответь! Целую твои руки, люблю тебя бесконечно.

Твоя.

P.S. *Пожалуй, лучше пиши: Boulevard S. Michel. Hôtel d'Harcourt. Я здесь наверно останусь 2 недели. А ходить за письмами очень утомительно.*

---

[1] Почтовые штемпели: Paris. 18.12.08; Москва. 8.12.08.

[2] Текст телеграммы неизвестен.

[3] Речь идет о прощании после совместного возвращения из Финляндии в 1905 г.

[4] Подразумевается сборник рассказов Петровской «Sanctus amor» (М.: Гриф, 1908).

[5] «*Золотая рыбка*» (1867) — балет Л.Ф. Минкуса по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина; был поставлен в Москве в Большом театре в 1903 г.

[6] Екатерина Алексеевна Бальмонт (урожд. Андреева; 1867—1950) — жена К.Д. Бальмонта.

[7] См. п. 189.

[8] Имеются в виду пп. 188 и 189.

[9] Подразумеваются заключительные слова в п. 188.

192. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

Не ранее 6/19 декабря 1908 г. Москва[1]

Со мной ли, или с мексиканцем, или еще с кем, в Париже, или в Москве, или еще где, — все равно. Может быть, и правда, что со мной ему быть нельзя, что при первой встрече мы вновь упадем в наши зубчатые колеса, в вихрь крутящихся ножей, в ужас. Может быть, теперь мне надо принять мою тоску и мое отчаянье и безмолвно смотреть издалека на Твою новую, лучшую, как-то счастливую жизнь.

Во внешнем, жизнь моя — одно сплошное «дело», «работа». Я совершенно уклонился от всех ненужных занятий: в Кружке на разных заседаниях бываю не чаще двух раз в месяц; во всяких других обществах не бываю вовсе. Даже эти последние дни, когда везде читали Мережковские и Белый, не слушал ни одной из их лекций[2]. Но над «Весами», над несколькими печатаемыми книгами (одновременно), над обещанными в разные издания статьями — провожу опять 15—16 часов в сутки. Устаю смертельно, и опять вернулись ко мне мои прошлогодние головные боли. Помнишь, Ты когда-то чудесно лечила их:

Я исцелен прикосновеньем
Твоих невольно нежных рук....[3]

Или не бывать этому больше никогда!

Прощай, Нина, милая, люблю и целую Тебя.

Твой
Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы». По нумерации Брюсова — л. 2; первый лист с началом письма утрачен. Вероятно, ответ на п. 190.

[2] Д.С. Мережковский выступил с лекцией о Лермонтове «Поэт сверхчеловечества» 28 ноября в публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, проходившем в Большой новой аудитории Политехнического музея (см.: Русские ведомости. 1908. № 276, 28 ноября. С. 4); докладчику оппонировал Андрей Белый (см.: *Потресов С.* Поэт и толпа (реферат Д.С. Мережковского) // Русское слово. 1908. № 277, 29 ноября. С. 3). Андрей Белый выступил с лекцией «Настоящее и будущее русской литературы» 5 декабря в помещении Политехнического общества (см.: Русские ведомости. 1908. № 279, 2 декабря. С. 1).

[3] Источник цитаты не обнаружен.

193. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

Около 9/22 декабря 1908 г. Москва[1]

908

Нина, дорогая! сейчас получил Твое длинное письмо из Парижа, в котором рассказываешь ты о «соблазне» ехать с мексиканцем в Мексику. Благодарю, что пишешь обо *всем*. Ответить нужно много и подробно. Напишу завтра. Пошлю по адресу *Bureau 32* и вообще буду писать по этому адресу на имя: Nina Sokoloff. Получила ли Ты мое «поздравление»?[2] Этих строк не считай за письмо. Целую Тебя. Люблю Тебя.

Твой Валерий.

P.S. По тому же адресу вышлю Тебе два тома сочинений Эртеля (*заказной* бандеролью[3]). М<ожет> б<ыть>, когда-нибудь найдется у Тебя время написать об этом скучном, старомодном, но отнюдь не бездарном писателе — для «Весов»[4].

P.P.S. Получила ли Ты стихи, посланные вчера? Не прими их за «письмо». Это, конечно, переживания моей души, но идеальные, доведенные до последнего напряжения, поставленные в условия самые крайние, — как то всегда в поэзии[5].

P.P.P.S. Вчера мы говорили с Твоим Сережей, и он высказывал предположение, что Надя с Тобой.

Хочешь ли русских книг? просто для чтения?

А что меня совсем опечалило в Твоем письме — это упоминание о Твоем артрите. Нина! Нина! Здесь *прежде всего* не надо быть больной. Сделай все, чтобы этого не было!

В.

[1] Ответ на п. 191. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Вероятно, речь идет о телеграмме, упоминаемой в п. 190.

[3] Первые два тома Собрания сочинений Александра Ивановича Эртеля (1855—1908), предпринятого «Московским книгоиздательством» (Т. 1—7. М., 1909).

[4] Рецензия на издание Эртеля в «Весах» не появилась.

[5] Стихотворный автограф в подборке писем Брюсова к Петровской отсутствует. Правомерно предположить, что Брюсов выслал автограф стихотворения «Возвращение» («Я пришла к дверям твоим...», 23 ноября 1908 г.), в биографическом подтексте которого — взаимоотношения с Петровской. Стихотворение вошло в книгу Брюсова «Все напевы» (I, 494—496).

194. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

9/22 декабря 1908 г. Париж

Париж 22 декабря

Дорогой Валерий, получила твое письмо сейчас[1], а не в первый день «нашего» Рождества. И очень хочу писать тебе, и трудно мне смертельно писать «от души», потому что душа у меня сейчас усталая, опрокинутая в хаос и тьму. Перед этим я написала тебе длинное письмо[2], ничего не скрывая, до самых последних

дурных побуждений. За эти дни я истомилась разными внешностями еще, и мысли возвращаются к тому, *от чего я их силой оторвала.* Помнишь, какие неприличные и озлобленные письма писал одно время Б.Н. во все «дружеские редакции»[3]. Мы удивлялись и даже слегка презирали его в то время. А сейчас я понимаю, *как* рождаются такие крайние слова, как можно из-за внешностей дойти до полной нервной несдержанности. Я писала тебе о мексиканце, — все рассказа<ла> тебе и сейчас, сознаюсь, *жалею*, отчего я не на bâteau*, который плывет в Мексику. Да, Сережа прав в своих упреках, да, я была безумна в поступках, и от тоски, которую для экономии нужно было переживать в доме Толстого[4], «металась по Европе»; еще много, много *да* на упреки, которые мне можно сделать, но сейчас мне от сознания моих «вин» не легче. Да, мне нужны деньги, — *сначала прежде всего*, и не от того, что я изменилась или изуродовалась моя душа, а по причинам более грубым и простым: — в отеле нужно платить, а я живу как авантюристка, не зная, что я завтра скажу на поданный счет. И чтобы обрести покой души (хотя только во внешнем), нельзя жить в замирании и страхе из-за франков каждую минуту. Так сложилось сейчас, так вышло, Сережа в своих «милых дружеских письмах» совершенно прав, говоря: «Милый Нин, безумия требуют денег»... И вот, если в таком состоянии я рассматривала серьезно предложение мексиканца и *после жалею*, что не приняла его, — за это меня нельзя ни винить, ни презирать, как можете это делать Вы из глубины Ваших домашних благоустроенных очагов. Сереженька еще не знает, что со мной Надя, и после того, как узнает, последует соответственное письмо. Да, и это один из тех поступков, который я не должна была делать, подсчитывая дружеские франки. Но сейчас, в данное время, при такой надломленности души, я не могу быть одна только в атмосфере «желаний» и деловых предложений. Я сдерживаю себя, чтобы не сказать иначе, более резко.... Мне нужно чье-нибудь подлинно дружеское и нежное присутствие, и я счастлива жить с ней вдвоем. Она меня понимает своей несложившейся, детской душой и трогательно невинно и покорно делит мою «новую жизнь». Из-за этой связанности и отвратительного ежедневного томления о франках я не могу жить, я не могу учиться, писать и думать. Вечерами меня хватает только на таверны и кабарэ с Robert-ом. Там все отходит

*Корабле (*фр.*).

и тонет в Монмартрском чаду. Так я живу. Так я могу писать «от души». Здесь меня почему-то расценивают на деньги. Сегодня около «Opéra» я встретила cousin'а мексиканца, мне было в этот час грустно и горько. Потом мы обедали в каком-то огромном ресторане, — было все равно, идти домой, или оставаться на улице, или сидеть вдвоем с полу-знакомым человеком. И этот вел себя очень недвусмысленно, — во всех подробностях рассказывал мне о своих денежных делах, говорил, что он имеет больше Maurice'а, что «женщин, обладающих в такой мере "d'intelligence <?>"*, нужно ценить на *вес золота*», просил встретить с ним Рождество и т.д. Возвращались мы на автомобиле, у меня на коленях лежал огромный букет роз, кругом весело шумел предрождественский Париж, и.... хотелось мне от тоски и боли сделать что-то невозможное, безобразное из Достоевского или Пшибышевского, — как давно, в былые дни. Валерий, Валерий! я себя чувствую очень плохо. Не презирай меня за откровенность, с которой я рассказываю о себе. И плохо не только во внешнем, а в самой последней глубине, — все там сломано, разбито, бесчувственно. Должно быть, нельзя прожить *две* жизни. Это думает в наивности Сереженька, так минутами думала и я, уезжая. Не было со мной «воскресения» — было *воскрешение* — чье-то чужое искусственное усилие воли заставило душу встать и идти. Вот я иду... Но куда? Зачем! Ты мне желаешь с «кем-то» счастья? Валерий, клянусь тебе, — ни одной минуты без тебя я не испытывала *даже его подобия*. Почти 5 месяцев, с 25-го июля, тянется моя «новая жизнь» без жизни. Что я испытала остро за это время? — ничего. Было минутами упоенье прежней болью, смертельно жгучая острота воспоминаний, потом в Париже мимолетное опьянение от чужих желаний, еще мелкое чувство тщетного удовольствия, еще нежная жалость и ласковость в ответ на любовь Robert, — и все это тонет в беспросветном отчаянии души, которая хочет и *не может* жить *второй* раз. Моя внешняя неустроенность, этот отель, где висит в воздухе жизнь, эти встречи с людьми экзотических рас, — такие поздние и странные, — все это символизирует и выявляет на поверхность внутреннее состояние. Ничего нет, все случайно, никакого будущего и даже никаких острых желаний, — только покоя, — всяческого покоя хочу я и не могу его взять. Умереть от острой боли, от внезапного потрясения чувств, — уже прошел миг. Это я сумела

*«Понниманием» (*фр.*).

вынести и пережить. Мое последнее желание — это уехать куда-то совсем далеко в иную страну, чтобы не *слышать даже* горьких имен, чтобы поблизости на Passy не жил Бальмонт[5], чтобы письма из России приходили через месяцы, а не дни, чтобы время, пространство и весь иной склад жизни вытравили из души даже память прошлого. Но Мексика не дала бы мне этого в 1 ½ — 2 месяца... Все равно бы пришлось возвратиться в Париж. Страх встреч с русскими и отвращение к ним доходит у меня до мании. Недавно в кафэ d'Harcourt со мной заговорил какой-то молодой русский художник, — веришь ли, я потом от тоски не спала целую ночь, а Надя меня утешала и говорила: «Ужь <так!> ты лучше, Нин, будь с твоими чернокожими, нам обеим вредно вспоминать Россию». Таков мой Париж. Я чувствую себя очень плохо, Валерий. В Лейпциге тоже было плохо, но по-иному. Там я всецело предалась всем распятьям прошлого, а здесь еще ко мне предъявляются требования жизни, когда я уже почти ничего не могу. В одном из прошлых писем ты сказал, что ждешь в моей душе каких-то решительных выводов, чего-то окончатель<ного>. Ах, Валерий! Я не меняюсь *к тебе* и не изменюсь никогда, хотя уже и не мечтаю больше о «нашей жизни». Но слышу я, как приближается ко мне что-то роковое, — как оно воплотится, не знаю. Может быть, внешний круг, жестоко сжимаясь, толкнет меня в какие-то иные пределы, может быть, *тогда-то* я и убью все, что осталось от моей прежней души, а может быть, что-то иное — неизвестная далекая страна, к которой как к последне<му> пристанищу протягиваю я руки. Не знаю что! Но и так, как сейчас в Париже, я долго не проживу. Еще меня томит Robert требовательной чрезмерной любовью, упреками и слезами и сходством в этой любви со мной, с моей любовью к тебе в последний год нашей жизни. Через 6 месяцев он кончает и не хочет оставаться во Франции. Желает, чтобы я была с ним.... Смешной, милый и трогательный ребенок, — я совсем другим представляла его в Бресте. Все это странно, странно и так мне не нужно. Неужели вся моя жизнь была прожита для того, чтобы уехала я куда-то (это после твоей любви!) с французским инженером или (что всего хуже) осталась бы в Париже и бывала на жур-фиксах наших милых общих друзей, все же чем-то связанная со всем этим миром и Москвой? Есть еще — может быть, последняя и лучшая возможность, — это начать серьезно работать и перестать существовать как сюжет для синематографического снимка. Кажется, это во мне не погибло. Но здесь мне хочется прямо выписывать цитаты из диких писем

Б.Н. *Уверяю тебя, я скоро скроюсь из Ваших глаз совсем.* Эту фразу я говорю в особенном и, м<ожет> б<ыть>, очень грубом смысле. Но вот теперь, сейчас, если ты можешь, — пришли мне денег. Мне не нужно много. Мне нужно прожить 20 дней до нашего 1-го января, тогда я получу мои «законно-незаконные» деньги, обычные каждого 1-го от Сережи. Мне очень, очень трудно просить тебя, я делаю крайнее насилие над душой, которая вся противится этому поступку. Но пока, вот сейчас, мне это кажется лучшим, чем предложения мексиканца и его cousin. Будь уверен и спокоен — *это* между нами не войдет в норму. Если последний год... то прав Сережа, «безумия стоят денег», но сейчас со мной уже не «безумия», а противная распла<та> за них. Теперь, о, теперь, если и придут «безумия», то они выльются <в> иную форму! В какую-то иную, — не знаю. О, как ты далеко и каким искаженным видишь ты мой образ! И я не могу посмотреть тебе в лицо прежними, неизменно нежными глазами, не могу дрожью рук передать тебе всю мою безмерную печаль о тебе, ушедшем навсегда... Я так хотела тебя видеть! До твоего письма в Лейпциге меня радовало твое обещание. Мы не видались так долго. Я не считаю встречу в Намюре между поездами, в агонии спутанных, темных и режущих чувств. Я поверила, что ты *действительно* приедешь в Париж. Поверила как в чудо. Теперь не жду и не надеюсь встретить тебя в жизни. Только когда-то, не знаю где, полумертвая Рената получит *от тебя* последний поцелуй. В это верю, это моя единственная прекрасная мечта, — все, что осталось от жизни с тобой. Валерий! Ты меня помнишь и знаешь? Ты веришь, что в темном хаосе моей жизни, которую кто-то проклял, — я остаюсь неизменной, прежней, *твоей*? Но у тебя нет воли и любви, чтобы сказать «приди». О, я не о Москве! В Москву я не вернусь, в этом всем Вам любимым и покинувшим даю обещание!.. Это «приди» можно сказать через все пространства мира, с планеты на другую, — но ты не умеешь и никогда не скажешь, чтобы я услыхала последн<ей> глубиной чувств, как заклятье, как магическое слово.

Твоя.

---

[1] Вероятно, имеется в виду п. 192.

[2] Имеется в виду п. 191.

[3] См., например, письмо Андрея Белого к С.А. Полякову от 21 декабря 1904 г., возвещавшее о намерении более не печататься в «Скорпионе», «Весах» и других «декадентских» изданиях (*Malmstad John E.* From the History of Russian Symbolism: Andrej Belyj and Sergej Poljakov // Stanford Slavic Studies. Stanford, 1987. Vol. 1. P. 74—76).

[4] Московский адрес Петровской перед отъездом за границу в августе 1908 г. (см. примеч. 1 к п. 167).

[5] Парижский адрес Бальмонта: Passy, 60, rue de la Tour.

195. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

11/24 декабря 1908 г. Москва[1]

11/24 дек. 1908

Нина, дорогая, любимая!

Вчера я получил Твое длинное парижское письмо, и мне хочется говорить с Тобой много, долго, серьезно.

Я думаю, что Ты хорошо сделала, что не поехала с мексиканцем. Говорю это вне всяких личных соображений, оставляя себя в стороне. Конечно, я мексиканца Твоего не знаю, но я знаю Тебя. И я уверен, что эта поездка привела бы только к самым горестным между Вами столкновениям. Согласен, что поездка через океан, в Бальмонтовские «страны солнца»[2] заманчива. Но Ты пережила бы в конце концов только много тяжелых часов и дней и еще новую вселенную разочарований. Это — с внешней стороны дела.

С внутренней — я думаю, что Ты приехала в Париж не затем, чтобы искать «бразильца» или «мексиканца». Сережа Твой или ошибался, или шутил; Ты, когда тоже говорила подобное, или заблуждалась, или повторяла слова искаженные. Всяких «бразильцев» довольно и в Москве, и в их поисках всего менее мог бы быть помехой — я. «Искать бразильца» значит роковым образом отделить себя от меня. Я объяснял Тебе в Намюре, почему, если Ты воистину примешь такое решение, Ты этим — чтó бы ни было в душе моей, — закроешь для меня все возможности быть с Тобой.

Я говорил Тебе и писал Тебе, что мы расстались для того, чтобы получить возможность быть, жить вместе. Наша разлука имеет смысл только в том случае, если мы оба видим эту цель впереди. Иначе это не более как механическое избавление друг друга от разных житейских неудобств. Мы были истомлены смертельно, мы изнемогли от тех мучительств, которые возникали из роковых противоречий некоторых сторон двух наших душ. Мне показалось, мне поверилось, что, временно расставшись, разделившись, уединившись, мы что-то поймем новое, что-то найдем новое в себе, — такое, что сделает возможным казавшееся невозмож-

ным. Я в это *верил*, потому что *не верил* в эту «невозможность». Так ли Ты думала? и так ли Ты думаешь теперь?

Я мало знаю о Твоей жизни и о Твоей душе сейчас. Как ни подробны (впрочем, не всегда) Твои письма, как ни откровенны они, — много ли расскажешь в письме! Но чего я не знаю, я угадываю. Ты не откажешь мне в способности угадывать по полунамекам, особенно то, что Тебя касается! Я угадываю, и вот уже знаю наверное, что Ты делаешь все противоположное тому, что надо делать, что я от Тебя жду. Я знаю, что корабль своей души, изломанный нашими бурями, не повела Ты в пристань, где можно было бы оснастить его заново, но бесполезно, бесплодно бьешь его о какие-то прибрежные камни, топишь его в мелком месте.

В последнем письме Ты упомянула, как пьянствовала всю ночь в одном из монмартрских кабарэ со своим Робером. На что это Тебе нужно? Неужели Ты нашла в этом ночном времяпрепровождении что-нибудь новое (кроме разве наблюдений), неужели это что-то *дало* Твоей душе, приблизило ее, измученную, к желанной гармонии? Не верю и убежден, что то был бледный слепок с наших с Тобой ночей, повторение бывшего, отражение ненужное, — что-то, свершенное больше «по привычке», чем по страсти. А так как угадываю я и целый ряд других таких ночей, столь же Тебе ненужных, то и спрашиваю горестно и сурово: «Зачем?» Уже не говорю о том, в чем Ты сама признаешься: что ночи эти для здоровья Твоего — гибель. Но ведь если мы хотим *жить вместе*, то для этого надо *жить* вообще! Что же Ты делаешь, когда отымаешь у себя самую возможность жить!

Еще Ты пишешь: «Не делаю ничего дурного, если не считать Робера», т.е., перевожу я, кроме ночей, проводимых с Робером в одной постели. Я не хочу называть этого «дурным» в вульгарном, житейском смысле. Еще менее смею я упрекать Тебя за это, так как у Тебя нашлись бы слишком сильные ответы на такие упреки. Но скажи мне, как сама Ты смотришь на эти «ночи с Робером». Что это: акт привычки, дело случая, снисхождение друга, или, наконец, страсть, или, даже, любовь? Ведь как-нибудь определить это должно. Ты говорила мне не раз, что Тебе нужно слышать слова любви, что для Тебя они — как воздух, которым Ты дышишь. Но уверена ли Ты, что слова Робера — слова любви? Не странно ли, что, было прежде, Ауслендер, потом Робер, и тут же «мексиканец» — все вдруг стали говорить «слова любви»? Не слишком ли подешевели эти слова, что их стало так легко доставать. Когда золото валяется по улицам, как не подумать: не фальшивое ли оно?

Ты мне возразишь, что Ты — одинока, что Тебе надо иметь хоть единого человека, здесь, в Париже, которому Ты не была бы безразлична, что без этого Робера Ты оказалась бы в пустыне. Понимаю это совсем, с этой точки зрения даже как-то нежно признателен этому самому Роберу (странно звучит эта фраза, но она правдива). Но в таком случае Робер — средство, а не цель, и должен служить, помогать достижению цели. Но разве же ваши часы с ним, ваши ночи с ним, ваше «пьянство» (Твое слово) в разных кабарэ сколько-нибудь служит этой цели? Все это опять куда-то удаляет Тебя, бросает Тебя в новые пропасти, ставит между Тобою и мною новые преграды. А главное, опять лишает Тебя руководительства собой, делает Тебя вновь «былинкой в водовороте».

Ты спросишь: а что же мне делать? — По-моему, искать в своей душе гармонии и равновесия. Если Ты можешь их найти, — Ты спасена. Если нет, — мне останется, как хору в древнегреческой трагедии, закрыть лицо плащом, чтобы не видеть последнего падения и гибели, которую отвратить он не может. Некоторые Твои письма из Германии намекали мне на возможность Твоего спасения. Я хватался за них радостно. Они мне казались голубем, летящим в мой ковчег с твердой земли. Вспомни, что́ Ты думала, что́ Ты чувствовала, когда писала их. И вспомни также, что Ты писала их в дни успокоенности, не только внутренней, но и внешней. Я не хочу проповедовать эту успокоенность как абсолютное начало; но я уверен, что *теперь* Тебе она *необходима*.

Ты еще спросишь меня: а зачем все это мне? и успокоенность, и гармония, и самая жизнь? — На это у меня два ответа.

Во-первых, для *меня* и для *нас*. Потому что только такой я хочу Тебя, давно и страстно хочу, видеть. Потому что только тогда, когда Ты найдешь эту гармонию, станет для нас возможной жизнь вместе. Я писал Тебе несколько раз, в эту нашу разлуку, снова, и с новой силой, я понял, как Ты мне дорога, как я Тебя *люблю* в хорошем, в лучшем, в истинном смысле этого слова. Я томлюсь без Тебя смертельно, и мне один вечер, который я мог бы провести с Тобой, кажется счастием... И все же я знаю, что, встреться мы вновь такими, какими были минувшей весной, все ужасы тех дней повторились бы. И мне легче кажется умереть, чем снова пережить то, что мы тогда пережили оба. Это — первый ответ.

Во-вторых, для *Тебя самой*. Я уверен, что Тебя обманывают чувства, когда Ты говоришь, что себя чувствуешь как бы умершей. Я уверен, что для Тебя еще возможна новая и прекрасная жизнь. В одном из Твоих писем были слова, меня очень обрадовавшие.

Ты, отвечая мне, сказала: «Да, я никогда и никуда не уйду из литературы»[3]. Поверь сама в свои слова! Со всей откровенностью и со всем беспристрастием могу сказать Тебе, что здесь, в литературе, *есть* для Тебя «будущее» и жизнь. Ты знаешь, что я не очень высоко ценю все, что Ты сделала до сих пор. Твою книгу, по-гимназически, я оцениваю «три с плюсом»[4]; Твои рецензии — «три с минусом». Но я, я больше других, знаю все существующие для Тебя возможности. У Тебя душа самобытная, у Тебя оригинальный, свой взгляд на все, у Тебя острая, меткая, тонкая наблюдательность, у Тебя понимание стиля. Твой разговор всегда интересен; Твои суждения самостоятельны и глубоки; Твой слог принадлежит Тебе. Боже мой! да с данными в десять раз меньшими можно сделаться великим писателем! Но, конечно, для этого надо работать, и много, очень много: это я утверждаю бесповоротно.

Что же Ты мне еще возразишь? О, разумеется, многое возразишь. Но я на все остальное, как и на все предыдущее, отвечу словами Твоего Сережи: или жить и тогда делать все для жизни, или не жить и тогда — умереть.

Нина, живи!

Много, много еще хотел бы сказать Тебе, но рука изнемогает. Пять часов утра. У вас это ночь под Рождество. У нас — будний день, в который я завален корректурами. За окном темь и мокрый снег.

Милая, хорошая Нина. Это письмо, особенно иные его выражения покажутся Тебе суровыми и, может быть, жестокими. Да, я хотел быть сегодня суровым. И мне кажется, что в этой моей суровости больше еще сказалось любви к Тебе, чем во многих моих нежных письмах. Ибо я по-настоящему люблю Тебя.

Ну, прощай, моя девочка, далекая, дорогая. Целую Твои глаза.

Твой

Валерий.

P.S. Еще полслова. В одном из Твоих писем есть упоминание о «дружеских упреках Сережи» за Твое «неумение» жить. Ты делаешь очень дурно, что не думаешь или не хочешь думать обо мне. Вспомни мою просьбу: говори со мной *обо всем* «свободно и просто».

---

[1] Ответ на п. 191. Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] «В странах Солнца» — заглавие очерков Бальмонта, в которых описывалось его мексиканское путешествие (Весы. 1905. № 8. С. 17—30).

[3] См. п. 190.
[4] Книга рассказов Петровской «Sanctus amor».

196. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

11/24 декабря 1908 г. Москва[1]

11/24 дек. 1908

Нина, дорогая! сегодня послал Тебе *заказным*, по адресу Bureau 32 Nina Sokoloff, очень длинное и, для меня, очень важное письмо[2]. Во что бы то ни стало добудь его. Обнимаю Тебя. Целую.

Твой

Валерий.

[1] Открытка. Почтовый штемпель: Москва. 11.12.08. Отправлено по адресу: Paris, B-d St. Michel. Hôtel Harcourt.
[2] Имеется в виду п. 195.

197. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

13/26 декабря 1908 г. Париж[1]

Париж 26/13 дек.

Боже мой! твои стихи!..[2] Зачем так больно ранишь? Я больше не хочу этой прежней пронзительной боли. Меня нет, и *без тебя* мне никогда уж не ощутить жизни всей глубиной и прошлой страстью. По вагонам, отелям, по улицам, ресторанам и Парижским бульварам без смысла и цели пляшет моя тень, чертя какой-то дикий сюжет для синематограф<ического> снимка. Зачем же тревожить мертвых, если нет воли и любви воскресить?! Валерий! Валерий, мне бы хотелось сейчас быть пред тобой, склонившись низко, низко, до земли, не смея целовать твоих рук... Но я твоя, твоя мертвая

Рената

[1] Почтовые штемпели: Paris. 27 dece 08; Москва. 18.XII.1908.
[2] См. примеч. 5 к п. 193.

198. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

15/28 декабря 1908 г. Москва[1]

15/28 дек. 1908

Сегодня седьмой день, Нина, как от Тебя нет писем. Миновали те времена, когда Ты писала мне каждый день, и по два письма в день. Медленно, но неуклонно Ты меня покидаешь. Чувствую это и сознаю. И не смею роптать, как больной, которому сказали, что операция или спасет, или убьет его, и который умирает под ножом хирурга. Может быть, Ты сама еще не поняла этого, но Твоя душа от моей — отрекается. Что́ мне остается сказать, кроме тихих и покорных слов: «Только бы для Тебя в этом было счастие!»

Я послал Тебе недавно 2 т. Эртеля и повесть некоего Курлова[2]. Не напишешь ли об них для «Весов»? О Курлове — кратко, сухо, о Эртеле — статейку. Или наоборот, но тогда о Эртеле узко библиографическую заметку, а *по поводу* Курлова (его самого касаясь мало) целую статью[3]. Эртеля Ты, вероятно, не знаешь. Ты слишком молода, чтобы его знать. В 80-х годах он был очень на виду. В его лучших вещах, «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889 г.) и «Смена» (кажется, 1891 г.)[4], — есть хорошие страницы. Вообще Эртель, на мой взгляд, отнюдь не бесталанен, хотя скучен и безнадежно тенденциозен. Посылаю Тебе об нем заметку из «Русс<ких> Вед<омостей>»[5].

Хочешь ли других работ для «Весов» и не для «Весов»? Хочешь ли просто русских книг для чтения? Ты не отвечаешь мне на эти мои простые вопросы. Хочешь ли парижские адреса разных Тебе известных и неизвестных лиц? На всякий случай напоминаю адрес Вальдора-Мерсеро (Mercereau) — 88, Boul<e>v<ard> Port Royal.

Что до меня, я все не могу высвободиться из когтей работы, которая душит меня. Пишу только разные «вздоры»: рецензии, предисловия, объявления! Читаю только корректуры да рецензируемые глупости. По-прежнему мечтаю освободиться.

Надеюсь когда-нибудь получить Твое письмо. Получила ли Ты мое письмо длинное и суровое?[6] Помню, что в нем были слова жестокие. Не сердись на них. Я писал, не перечитывая, все, что хотелось сказать. Но в самой глубине сухости и жесткости тех слов все же была моя неизменная к Тебе любовь. Я Тебя люблю и буду любить.

Целую Тебя. Твой

Валерий.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. п. 193, примеч. 3. Речь идет о книге поэта и прозаика Евгения Евграфовича *Курлова* (1876 — ?) «Пророк. Слово победное, радостное» (М., 1909; вышла в свет в конце ноября — начале декабря 1908 г.). Позже Брюсов состоял с ним в довольно дружеской переписке (см. письма Курлова: РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 21).

[3] См. п. 193, примеч. 4. Отзыв на книгу Курлова в «Весах» не появился.

[4] Оба романа Эртеля были впервые опубликованы в журнале «Русская мысль»: «Гарденины» — в 1889 г., «Смена» — в 1891 г.

[5] Речь идет о статье «Сочинения А.И. Эртеля» (Русские ведомости. 1908. № 290, 14 декабря. С. 5. Подпись: —ъ), представлявшей собой отклик на выход в свет первых двух томов Собрания сочинений Эртеля, включавших «Записки Степняка». Отмечая, что в своем творчестве Эртель принес дань своему времени — народническим идеалам, — автор заключал: «Там, где настроение писателя могло проявляться без боязни, там талант его не калечился, и из-под пера Эртеля выходили страницы сильные, оригинальные, достойные занять место в ряду очень заметных произведений русской литературы».

[6] Подразумевается п. 195.

199. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

15/28 декабря 1908 г. Москва[1]

15/28 дек. 1908

Нина, дорогая! Все, что я пишу Тебе, я направляю в Bureau 32 P<oste> R<estante>. Не забывай туда заходить и осведомляться. Туда же послал я Тебе и № 11 «Весов». Если изменишь адрес, извести тотчас.

Целую Тебя. Твой

Валерий.

[1] Открытка. Почтовый штемпель: Москва. 15.XII.1908.

200. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

15/28 декабря 1908 г. Москва[1]

Нина, дорогая! только что послал Тебе свое «жалобное» письмо, как получил Твое — длинное[2]. Благодарю. Отвечу завтра — по адресу Bureau 32.

Твой

Валерий.

15 дек. 908.

[1] Открытка с французской маркой издательства «Скорпион» и журнала «Весы». Почтовый штемпель: Москва. 15.XII.1908.

[2] Имеются в виду пп. 198 и 194.

201. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

16/29 декабря 1908 г. Москва[1]

16/29 дек. 1908

Нина, дорогая, милая!

Твое последнее большое письмо, письмо отчаянное, и испугало меня, и было мне радостно. Я радовался, что Ты в нем говорила со мной прямо и откровенно. Я всей душой благодарю Тебя за то, что Ты сказала мне, что Тебе нужны деньги. Я, конечно, давно догадывался об этом, но никак не умел предложить Тебе свое содействие. В одном из недавних моих писем Ты найдешь P.S. — об этом, и если перечтешь его, увидишь, с каким трудом выбирал я выражения, боясь Тебя обидеть[2]. Сейчас я перевел Тебе по телеграфу (на hôtel Harcourt) 300 fr. — то, что у меня было в руках. И я прошу, я настаиваю, чтобы Ты всегда в таких случаях обращалась ко мне прямо, решительно, без колебаний. Нина! Нина! неужели мне надо говорить, писать, объяснять, что *все услуги*, какие я только в силах Тебе оказать, — для меня радость. Неужели мне надо объяснять, что одна мысль о том, что Тебе *так* плохо, как Ты мне об этом рассказала в последнем письме, приводит меня в самое подлинное отчаянье, и я готов на все, на все, — только бы это не было *так*!

Но оставим пока эти «внешности». Нина, любимая моя, — то, что Ты говоришь мне о своей жизни, ужасно. Этого быть не должно. Это хуже смерти. Это хуже нашей жизни за последний год. Ты не смеешь так жить, не смеешь передо мной и перед собой! В тысячу раз лучше было броситься в пролет лестницы дома Толстого[3], выстрелить из браунинга в меня и в себя[4], смертельно простудиться, лежа в мокрой траве под Саввинским монастырем[5], чем влачить эти нелепые дни среди парижских «темнокожих», мечтая о том, чтобы уйти куда-то от себя, от своей жизни, от своего прошлого (*прекрасного прошлого*!), исчезнуть, не быть, загородиться океаном и забвением. Это преступление, это позор — так жить, так чувствовать. Иными словами повторяю Тебе то же, что в своем «холодном и

суровом» письме[6], повторяю не холодно, но со всей страстью: Нина! у тебя есть будущее, есть жизнь, есть цели жизни! Нина! у Тебя остаюсь *я*, Твой, всегда Твой, который любит Тебя, быть может, не «по-Твоему», но истинно, много и *верно*. Любит навсегда. «Моя душа осталась верной». Нина, опомнись, *вспомни себя*. Разве Ты «в этот мир пришла»[7], чтобы расточать свою душу на богатых мексиканцев, чтобы влачить ее посреди монмартрских кафэ, даже чтобы утешать бедных Роберов! Я всегда ее считал созданной для бóльшего, для лучшего, для большóго, для прекрасного. Дай мне руку, Нина, пойми, почувствуй, что в этой жизни (как то будет и в иной) я — с Тобой. И попытайся стать *собою*.

Нина, хорошая. В «суровом» письме я пытался объяснить Тебе, чем для Тебя должен бы стать Париж. Может быть, я не сумел выразить своих мыслей в письме. Может быть, я вообще не ясно сам осознаю свои думы об этом. Но я уверен, твердо уверен, что эта наша разлука могла бы стать *для нас* началом новой, нашей жизни. Эта возможность еще есть, она еще в Твоих руках, не обрывай эту возможность, как ненужную нить, не отрекайся ото всего, что́ мы говорили друг другу — много раз, в Москве, в Бресте, в Намюре. Вспомни эти слова и поверь в них. И никогда не говори тех страшных слов, какие решилась Ты сказать в последнем письме — о нас, о нашей жизни, о нашей встрече. Мне было горько и страшно читать их.

Я считаю, что нам *встретиться* необходимо. Иначе мы теряем душу друг друга из вида, в чем-то перестаем понимать друг друга. Но в ближайшее время мне приехать в Париж *немыслимо*. Это значило бы погубить всё, что я сейчас предпринял, все «дела» и прежде всего «Весы», которые я взял с 1909 г. на себя[8]. Они не могут просуществовать месяц без меня: это совершенно ясно. Но не решилась ли бы Ты приехать ко мне в Петербург? Я мог бы после выхода № 1, т.е. в феврале, приехать туда на две недели. Петербург от Москвы близко, и я мог бы продолжать там работать, получая корректуры ежедневно. В Петербурге могла бы Ты жить incognito, если не хочешь соприкасаться с русскими, с Каменским[9] и всеми другими. Переезд по железной дороге, как Ты меня уверяла много раз, Тебя не пугает. (Всякие «внешности», как Ты говоришь, я, конечно, имею в виду.) Как жить нам после этих двух недель, я не хочу загадывать сейчас. Может быть, совершенно новое откроется нам после них.

Прости, Нина, что пишу это письмо, и все предыдущие, — бессвязно, торопливо. Мне кажется лучше писать Тебе каждый

миг, когда хочется говорить с Тобой, но писать, «как случится», без задуманного плана, без поправок; — чем изредка посылать письма обдуманные, исправленные и начисто переписанные. В моих письмах этой зимы — я тот, каким бываю я сам перед собой: в них ничего преднамеренного, и каждое слово должна Ты принимать в том самом смысле, что́ оно значит. Эти все строки — сердечная исповедь. И такая же исповедь, когда я говорю Тебе, что

люблю Тебя.

Твой

Валерий.

P.S. Позволь еще раз вернуться к началу письма. Еще раз я благодарю Тебя за Твою просьбу и прошу Тебя о такой же откровенности всегда. И чтобы Тебе ответить тем же, вот — краткий рассказ о моих «внешних» делах. Последний год, со времени трагического января[10], я пользовался и жил наследством, полученным от отца. За уплатой части моих долгов (увы, только части!) свелось оно к таким размерам, что достало мне его лишь на год, и теперь я «извожу» его остатки. Но с 1909 г. я беру на себя издание «Весов». Издание это несомненно убыточное, и, при малой субсидии, даваемой С.А.[11] (300 р. в месяц), к концу года должен получиться значительный дефицит. Однако в начале года, наоборот, будет значительный приход — подписных денег. Этими деньгами я и намерен жить первую половину года. Ко второй же половине года надеюсь я продать наконец свой пресловутый дом[12] и через то получить новую возможность существования. Если это не исполнится, летом наступит для меня кризис (внешний) крайний, но я думаю, что мне мой план удастся, ибо, как говорит один из Карамазовых, «тут математика»[13]. Всех этих расчетов не открываю я *никому*, ни даже моим домашним. Ты единственная, кому я их сообщаю во всей неприкровенной наглости (кажется, верное слово). Прийми их во внимание и в их пределах располагай мной так, как хочешь. А если то будет Тебе надо, то и сверх этих пределов.

Твой

В.

---

[1] Ответ на п. 194. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Видимо, Брюсов имеет в виду постскриптум к п. 195.

[3] См. примеч. 4 к п. 194.

[4] Намек на инцидент, происшедший в Политехническом музее 14 апреля 1907 г. на лекции Андрея Белого «Символизм в современном русском искусстве»: Петров-

ская попыталась выстрелить в Брюсова из браунинга. Брюсов рассказал об этом в письме к З. Н. Гиппиус (датированном: «1907, Страстная неделя»; см.: *ЛН. Т. 85.* С. 694). Инцидент упомянут (с неверной датировкой) в очерке Ходасевича «Конец Ренаты» (*Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 14), описан в воспоминаниях Андрея Белого «Начало века» (М., 1990. С. 315) и «Между двух революций» (М., 1990. С. 239), а также в мемуарном очерке Лидии Рындиной «Ушедшее» (Мосты. 1961. № 8. С. 301; Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 418–419).

[5] Имеется в виду Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде. См. также п. 204.

[6] Имеется в виду п. 195.

[7] Обыгрывается рефрен «Я в этот мир пришел» из стихотворения Бальмонта «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...» (*Бальмонт К.Д.* Будем как Солнце. Книга символов. М., 1903. С. 1).

[8] 11/24 декабря 1908 г. С.А. Поляков писал Брюсову: «Переходя к Вашему новому предложению передать ведение "Весов" в 1909 г. лично Вам, под Вашу полную ответственность, я, конечно, вполне соглашаюсь на него, так как это была бы первая попытка поставить дело ведения журнала на твердый и правильный путь <...>» (*ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 117). В ходе дальнейших переговоров, однако, позиции были скорректированы, что побудило Брюсова отойти от непосредственного руководства журналом.

[9] Прозаик А.П. *Каменский* фигурирует здесь, видимо, как характерный представитель петербургской литературной богемы. Знакомство с ним отмечено Брюсовым в записной книжке 1908 года под 18 января (РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 18/1).

[10] 7 января 1908 г. скончался отец Брюсова, Яков Кузьмич Брюсов.

[11] *С.А.* — Поляков.

[12] Родительский дом на Цветном бульваре (см. п. 176, примеч. 8).

[13] Подразумеваются, видимо, слова чёрта в диалоге с Иваном Карамазовым («Братья Карамазовы», кн. 11, гл. IX «Чёрт. Кошмар Ивана Федоровича»): «...тут формула, тут геометрия <...>» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 15. С. 73).

202. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

18/31 декабря 1908 г. Москва[1]

18 Декабря 1908 — 31 Décembre 1908

Нина, дорогая!

Сейчас получил несколько Твоих строк, написанных в ответ на мои стихи. Эти строки поразили меня, может быть, больше, чем Твои длинные, отчаянные письма. Полно, милая, дорогая, хорошая! Опомнись, приди в себя, успокойся! Услышь меня! Непоправимого нет ничего, нигде, никогда. Изо всех бездн есть пути к

солнцу и счастию. Изо всех темниц есть двери. Ты должна, Ты должна найти этот выход к свету. Все, все, что я могу, я хочу сделать для этого. Верь мне и в меня.

Не могу писать отчетливее, пока не получу Твоего ответа на *два* моих длинных и важных письма к Тебе[2]. Надеюсь, Ты их получила оба. Целую Тебя.

Твой неизменно

Валерий.

Твой адрес?

P.S. Сегодня канун *Вашего* Нового Года. Послал Тебе телеграмму: «Felicite, souhaite *paix* bonheur embrasse Valère»*. Получила ли вовремя?

[1] Ответ на п. 197. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы». В дате Брюсов сделал ошибку (вместо «31 Décembre 1908» написав «31 Décembre 1909»).

[2] Имеются в виду пп. 195 и 201.

203. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

22 декабря 1908 / 4 января 1909 г. Москва[1]

22 дек. / 4 янв. 1908/9 г.

Нина, дорогая!

Не похвалюсь, чтобы часто приходили ко мне Твои письма. И это печалит меня двояко. С одной стороны, сознанием, что Ты не хочешь писать ко мне. С другой, — что Тебе трудно, тягостно писать вообще. Думаю о Тебе все дурное, и жизнь Твою в Париже представляю — нельзя хуже. Так ли это?

Нина, дорогая! Несколько раз писал я Тебе, что все Твое «спасение», вся для Тебя существующая возможность — воскреснуть — в том, чтобы иметь цель жизни. Иной цели, которую Ты могла бы избрать, кроме литературы, я не вижу. Все другое, о чем Ты могла бы говорить мне, недостойно Тебя, ниже Тебя. И еще, и еще, и еще раз умоляю, убеждаю Тебя — сделай попытку вернуться к литературе.

Во всяком деле есть две стороны: внутренняя и внешняя, душа и техника. Не решаюсь ничего говорить Тебе о лучшей, о истин-

*«Поздравляю, желаю *покоя* счастья обнимаю Валерий» (*фр.*). Последнее слово может быть переведено и как «целую».

ной стороне той работы, которую Ты могла бы взять на себя. Я верю, что, если Ты захочешь писать и напишешь то, чем будешь довольна сама (хотя бы сколько-нибудь, ибо никто из нас никогда не бывает вполне удовлетворен сделанным им), Ты мне первая скажешь об этом. Но о второй, внешней стороне — я себя считаю вполне вправе говорить. Я всячески советую Тебе — не презирай ее, не отвергай. Работай хотя бы уже только потому, что работа — дисциплина души, какой-то механической силой вносящая в душу стройность, гармонию. Я это испытывал лично так много раз, что смею сказать Тебе, повторить Тебе старое слово из детских прописей: работай!

Ах, Нина! Страшно оставаться глаз на глаз со своей душой, и не всегда можно это позволить себе. Однажды можно выйти к бешеному тигру, чтобы испытать свое мужество, свою волю, свою силу. Но нельзя *жить* в его клетке. А безопаснее быть в берлоге тигра, чем наедине с самим собой. Ты слишком много остаешься сама с собой. Ты должна давать себе отдых. Ты должна заставлять свою душу молчать; опускать подъемную дверь между ней и собой.

Ты возразишь мне: чтó мне делать, чтó работать? Знаю, что на такой вопрос надо отвечать не общими рассуждениями, а конкретными указаниями. И я даю их Тебе. Во-первых, я послал Тебе несколько книг, на которые «Весам» надо было бы иметь рецензии. Могу послать таких книг и много больше. Во-вторых, я имею сейчас от Антика carte-blanche по приглашению переводчиков и по выбору материала для французского отдела его «Универс<альной> Библиотеки»[2]. Хочешь работать для нее? Я немедленно вышлю Тебе книгу, которую перевести стóит, в лучшем смысле слова. Вышлю также хороший французско-русский словарь, которого в Париже, конечно, не достанешь. Впоследствии я, разумеется, просмотрю Твой перевод (ибо «ум хорошо, а два лучше»), и если хочешь, он будет помечен «под редакцией Вал<ерия> Бр<юсова>». Ко всему тому это принесет Тебе *150 р.* как гонорар. Хочешь ли?[3]

Нина, Нина! *пожелай*, наконец, чего-нибудь! Это мое величайшее желание.

Целую Тебя. Люблю Тебя.

Твой

Валерий.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Дешевая многотиражная серия «*Универсальная библиотека*», выпускавшая популярные произведения отечественной и зарубежной литературы, была начата в 1906 г. московским издательством «Польза», основателем и владельцем которого был

Владимир Морицевич Антик (1882—1972). См.: Московский книгоиздатель В.М. Антик: Каталог изданий 1906—1918 / Сост. Л.В. Антик. Ред. и вступ. статья Л.И. Юниверга. М., 1993.

[3] Позднее в переводе с французского Петровской и с предисловием Брюсова в серии «Универсальная библиотека» (№ 715—716) был издан роман Люси Деларю-Мардрюс «Исступленная» (М., 1911; 2-е изд. — М., 1914).

204. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

23 декабря 1908 / 5 января 1909 г. Париж[1]

Париж 23/5 января 1909

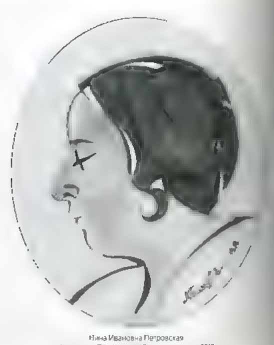
Мой дорогой, любимый Валерий,
я не писала тебе, кажется, очень давно, — прости меня! Это не значит, что я ухожу от тебя, что я забываю — нет, нет! Просто душа рассеялась временно и было трудно отвечать на твои прямые строгие вопросы. Милый, дорогой Валерий, опять какое-то время я вела себя безумно, и мне казалось, что в несколько вечеров исчерпалась даже вся боль, я перестала чувствовать что бы то ни было, была пуста, как музыкальный ящик, из которого вынули механизмы. Ударь — и услышишь один глухой гул. Три дня уже я хвораю почти так же, как в Бресте при тебе. Лежу, выхожу с трудом только обедать и в Bureau 32 за письмами. *Чувствую* опять *всей глубиной* и пишу тебе сейчас нежно и искренно, насколько умею. Вчера получила от Сережи письмо, полное *настоящих* дружеских укоров, несколько дней подряд от тебя.... Милый! что я скажу тебе в ответ? Не умею, не умею устроить свою жизнь в Париже! Русские, которые знают, что я здесь, и которые меня не видят *совершенно*, вероятно, сочинили на мой счет самые фантастические сказки. Где же я? С кем? Один раз я встретила на St. Michel случайно Вальдора, и эта встреча, один вид человека, который знает тебя и знал, что мы *были* вместе, отравил мне целый вечер. Не могу быть с ними! Не хочу! они не нужны мне больше. Создается та же Москва, при воспоминании о которой я еще содрогаюсь.

Помнишь ты себя перед поездкой за границу и после в Бресте? Тебе все казалось, что нужно что-то изменить, что прежнее в тебе сломалось окончательно. Помнишь, какой ты был грустный, расстроенный, почти больной. Я чувствую сейчас почти то же, только выражается это по-иному, потому что и я иная, чем ты.

Мне кажется, что я не припомню и не повторю ни одного из прежних слов, не переживу еще раз ни одной минуты, как бывало. Но найти в себе твердо *новое* еще не умею, как ни стараюсь, и вот.... Вы видите только *поведение*, достойное укоров, и не можете (о, конечно, это трудно) проникнуть в спутанность и хаос моей души. Не обижайся за — «Вы», ибо часто ты говоришь то же, что и Сережа, и это, вероятно, потому, что Вы оба видите для меня какую-то *одну* правду. Ах, милый, мне страстно хочется тебя утешить чем-то! Но как и чем, — не знаю. Я в полосе безволия и крайнего утомления. Мне нужна сейчас в моей жизни твердая и деятельная посторонняя воля; может быть, даже насилие. Чтобы кто-то взял, вырвал, *заставил*, решил за меня *все*. И к тому же я чувствую себя больной, по-настоящему больной, а болезнь всегда меняет и искажает душу. Вспомни себя хотя раз больным. Я помню, как ты менялся. В таком состоянии хочется спрятаться, уйти, «загородиться океаном», тянет куда-то совершенно фантастически, — и не знаешь куда. Одно я знаю непреложно — нужно, пора, время — изменить жизнь («если ты, Нин, хочешь жить, то живи»[2]). Все, что я делаю сейчас «безумного», — клянусь тебе, не со страстью, а в силу ветхой, пережитой привычки. Несколько раз я пробовала усилить впечатления такого разряда (мои монмартрские вечера в обществе самых подозрительных прожигателей жизни), но, кроме скуки, утомления и тупой боли, не чувствовала ничего. И потому не считай «безумия» такого рода опасными для меня. *Я их пережила*. Это старо, как стары декадентские догматы добрых отошедших лет. Это не интересно, когда душа уже не озаряет изнутри, когда ее свет и острота восприятий направлены куда-то прочь. *Нужно изменить жизнь*. Нужно начать с внешнего, и оно станет рамой для картины. Я не сделаю многого, за что ты меня заранее горестно упрекаешь. Я не буду более искать «бразильца», ибо это мне *отвратительно*, и во всей спутанности черт моей души нет, все же нет черт кокотки. Я не брошу литературу (хотя я знаю, что едва ли сделаю здесь что-нибудь настоящее), я *никогда* не забуду тебя, не вырву из сердца, не закрою тебе дорог ко мне. Но для того, чтобы обрести себя, взять полностью все, что я могу, на что еще имею право, чтобы успокоить и излечить душу — *нужно изменить жизнь*. И как это сделать, Валерий? Вот я два месяца за границей и почти 5 месяцев не была с тобой (что эти короткие часы в Бресте и особенно в Намюре!), а я еще ничего не сделала, и жизнь моя не принимает никаких гармонических форм. До смешного: я даже не могу найти себе в Париже прочного жили-

ща, а так и осталась в этом отеле, словно на проходном дворе. Для меня это знак и аллегория. Ты пишешь — «не приеду ли я в Петербург». Ах, Валерий, это предложение страшнее и опаснее, чем уехать в Мексику и «загородиться океаном». Когда я думаю, что поеду, и вновь увижу тебя, и проведу с тобой какие-то дни, мне кажется, что воистину я стою над пропастью, а ты мне шепчешь: «Шагни, может быть, вырастут крылья». Останется ли от меня после этой встречи даже то, что есть сейчас? Как я буду думать и чувствовать после? *Куда* я вернусь? *Смогу ли* я вернуться? Не скажу ли я, — «вот мои плечи, надень на них старые цепи, я *только их* и хотела на свете»? Эта встреча была бы самой решительной и окончательной для нас обоих, — предчувствуешь ли ты? Или нет? И мне страшно, страшно сказать тебе *да*. Ты все время повторяешь, что эта разлука лишь средство найти возможность быть опять вместе. Но я никогда не понимаю этих слов. *В Москву я не вернусь*, ты за границу не переедешь. Что значит «быть опять вместе»? Душой? Чувствами? Но так я с тобой всегда, а внешних возможностей для нас нет. Так что же значит «разлука лишь средство»?.. Приехать на две недели в Петербург и вновь расстаться без надежды тебя увидеть? Что мне путь, дорога, — об этом даже не стоит и говорить, я бы приехала еще более издалека, чтобы увидеть тебя на полчаса, но за этой встречей что-то темное, неизвестное, страшное, как смерть. Ты говоришь: «Бросься, может быть, вырастут крылья!....» Ведь после этой встречи, может быть, для меня не останется ни одной точки на земном шаре, чтоб жить. Может быть, я не смогу *равно* ни расстаться, ни остаться с тобой. Валерий дорогой, скажи! Скажи, что ты думаешь? Что предчувствуешь? Не отдать ли мне себя какой-то новой волне, которая может меня унести совсем вдаль? Я говорю сейчас не отвлеченно, я имею в виду нечто совсем определенное. Я знаю, — *нужно изменить жизнь*. В одном из писем ты меня спрашивал, между прочим, что и кто в моей жизни Robert. Что это, «привычка (?), дружба, страсть или даже любовь?...» Валерий, все не то! Это воистину моя «ласковая донна», «ласковая донна» Данте, потерявшего *на земле* Беатриче. Ты насмехаешься, что любовь подешевела, если ее можно поднять на *улице*. Да, ее можно иногда поднять на улице, и ты это знаешь не хуже, чем я. Кто Robert? Что он из себя представл<яет>? *Это я*, только с более мягкой и нежной душой. В Бресте я представляла себе его «испорченным» парижским мальчишкой, с которым забавно провести несколько «безумных вечеров» и только. Но я грубо ошиблась. Он любит меня по-настоящему и так же, как я,

Валерий Яковлевич Брюсов в своём рабочем кабинете. Фотография К. Пен. 1911



Нина Ивановна Петровская
Художник Л.Н. Голубев-Багрянородный. 1917

Валерий Яковлевич и Иоанна Матвеевна Брюсовы. Фотография 1897

Дом [illegible] Москве. Цветной бульвар, дом 24.
Здесь Валерий Брюсов жил до [illegible] 1910 года. Фотография [illegible]

Д[illegible] помешении Валер[illegible] Брю[illegible]р
Москва 1-я Мещанск[illegible] ныне проспект Мира 30
Фотография

Иоанна Матвеевна Брюсова
Фотография. Москва
1903–1904

И.М. Брюсова
Фотография
из альбома Б.А. Са[illegible]
Начало 1900-х годов

В. Я. Е[illegible]ев. Художник С. В. Милютин. 1913

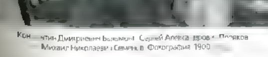
Сергей Алексеевич Сок
(Сергей Кречетов
Фотография
Москва. 1906

Гос[illegible]ница «Метр[illegible]ль» в М[illegible] (Е[illegible] [illegible]ись издате[illegible] [illegible] [illegible] и редак[illegible] «Е[illegible]») Фотография 1920-е годы

Андрей Белый
(Борис Николаевич Бугаев)
Ф[illegible] [illegible]енара
1904

Андрей Белый
Художник П. С[illegible]
1906

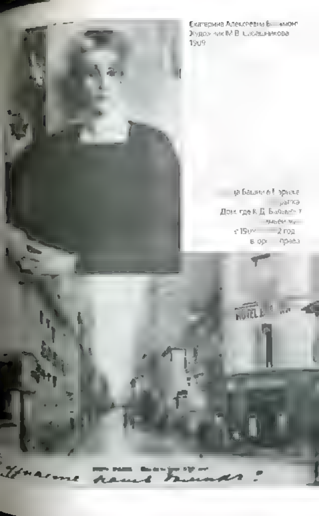
Константин Дмитриевич
Бальмонт.
Художник Н. Ульянов. 1909



Константин Дмитриевич Бальмонт, Сергей Александрович Поляков,
Михаил Николаевич Семенов. Фотография. 1900

К.Д. Бальмонт
Фотография 1912

К.Д. Бальмонт
Рисунок М.А. Волошина

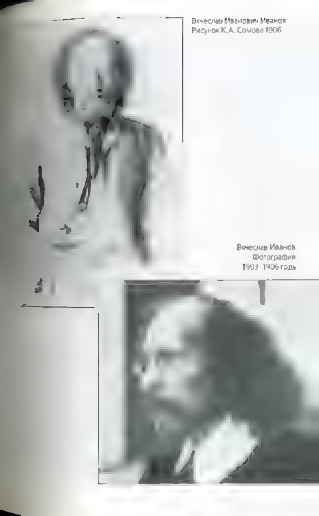


Екатерина Алексеевна Б[illegible]монт
Художник М. В. [illegible]башникова
1909

[illegible]ца Башни в [illegible]рнике
[illegible]ратка
Дом, где К. Д. Бальмо[illegible]т
[illegible]мьей ж[illegible]
с 190[illegible]2 год
в ор[illegible] приез[illegible]

Елена Константинова Цветаева
Фотография. 1899

Анна Александр...
и Михаил Иванович Шестер...
Фотография ...
Москва. 189...


Вячеслав Иванович Иванов
Рисунок К.А. Сомова 1906

Вячеслав Иванов
Фотография
1903–1906 годы

… ович Ив… и Лидия П… овна Зиновьева …
… 1907

...евич Кузмин
...ожник К. А. Сомов

...рамович Ауслендер
...ник Н. С. Войтинская. 1909

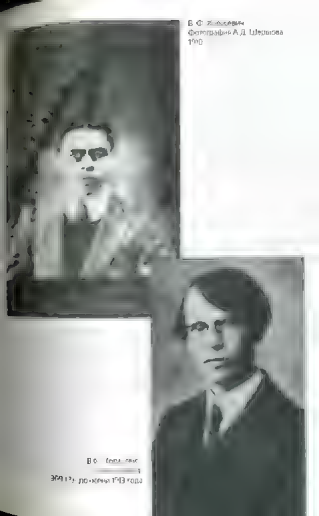
Валерий Брюсов. Фотография. Начало 1900-х годов

Нина Петровская. Фотография

Владислав Ходасевич и Самуил Киссин (Муни)
Фотография. После 1905 года

Марина [illegible]вна Ходасевич, Самуил Викторович Киссин
и Владислав Фелицианович Ходасевич
Фотография 1907

Марина Эрастовна Маковская
(урожденная Рындина, в первом браке [illegible])
Художник А.Я. Головин. 1912



В. Ф. [illegible]
Фотография А. Д. [illegible]
[illegible]

В. [illegible]
[illegible]
[illegible] до [illegible] года

Александр Яковлевич Брюсов
Фотография 1904

А Брюсовъ

Ал сандр А вич Койранский
Фотография 1903

[illegible] Грека на Тверском бульваре в Москве
Слева направо: [illegible] С. А. Со[illegible]ов (Кре[illegible]а), А. Я. Брюсов, Б. [illegible], А. А. Койранский
[illegible] брат (?) В. [illegible] Львов-Ро[illegible]кий. Фотография 1906

Александр Иванович Тиняков (Одинокий). Фотография 1914

Бронислава Матвеевна Рунт. Фотография 1910

Ми... Федорови-
...ардолупо
Фо...афия 1911

Николай П...
Фото рафия

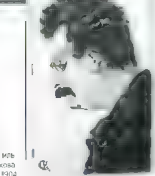
Сотр... Перевал. Слева направо (первый ря...
Н... Петров, ... В.Ф. Ходасевич, Вл. Линденбаум (издатель), С.В. Кис... (...
А... Белый. Второй ряд: Б.К. Зайцев, А.А. ..., Н.П. Киселев, ...
Е.П. Янтар..., В.А. Высоцкий, А.Ф. ...стеров, ..., И.А. Новиков,
С.А. Соколов (Кречетов). Фотография. Москва ...

В
Фотография 19[illegible]-е годы

Эмиль Верхарн
Художник Л.О. Пастернак
1913

[illegible] Фотография 1905

Н. Г. Ры[illegible]а.
Фотография 1913



Рене [illegible]иль.
Художник Е. С. Кругликова
1904

Нина Ивановна
Петровская
Фотография 1914

Валерий Яковлевич
Брюсов. Фотография.
1900-е годы

утомленной душой ищет одного покоя и тихого счастья. Мне никогда с ним не бывает неприятно или тяжело, разве только в те минуты, когда он до ужаса повторяет меня этого лета с тобой. *Сейчас* он один вносит в мою жизнь *живую* нежность и живую ласку. Он меня *будет* любить, *потому что я не люблю его*, — это закон. И вот мечта всех его дней и ночей, всех ежедневных писем — *остаться со мной*. В мае он кончает Ecole Politechnique <так!> и уже с мая может стать безраздельно моей «ласковой донной». Тогда началась бы моя новая и странная жизнь. Он не хочет оставаться в Париже. Год нужно служить офицером. В маленьком французском городке с Robert я забуду даже русскую речь. Можно жить в Бретани, у океана — тихо, тихо, окутаться забвеньем, уйти от жизни, может быть, много работать. И закрыть свою душу для всего, кроме воспоминаний о прошлом и благодарной нежности в настоящем. Он мне дает и даст все, чего я не нашла и никогда не найду в тебе, — *безраздельность*, и будет это для меня как печальный сон. Что ты думаешь, когда я говорю эти слова? Разве есть в них что-нибудь дикое, безумное, исступленное, отвергающее тебя? Я останусь с тобой, и твой образ станет только ярче и светлее. Мне хочется этого, как человеку после страшных пыток хочется сна и забвения боли. —

Милый Валерий, я говорю с тобой просто, совсем искренно. *Вы* укрылись в уют и тепло Ваших семейных очагов, Вы отрицаете, но это так. Ведь не покинешь ты жену, а Сережа Л.Д.[3]? Никогда, ни за что! О, это я узнала наверно. Почему же *я* до конца дней моих должна скитаться по свету как бездомная собака? Почему мне ты предлагаешь вечное одиночество, почему преступно найти и мне свою «ласковую донну», узнав, что Беатриче *на земле* для меня более не существует? Я очень, очень устала. Я не ищу больше «цветов зла»[4], распятий и огненных мук. Мне нужно, чтобы кто-то меня нежно и тихо любил. Когда ты сказал о «постели», ты обидел меня. Разве *это* важно? Разве ты?... И наконец, неужели ты думаешь, что *этого* одного я хочу от Робера?

Но я не знаю ничего! Может быть, я приеду к тебе в Петербург и тихая картинка мертвенно потускнеет и исчезнет вдали. Может быть, я скажу: «Вот мои плечи, вот следы, они еще не зажили, но только этого я хочу на свете». Валерий, дорогой мой! ты вновь нежен со мной!.. Никогда ты не писал мне таких милых ласковых писем... Зверочек мой, мне хочется только один раз поцеловать тебя! Я устала ждать нашей встречи! Может быть, уже я не сумею обнять тебя, как прежде. Из всех дней, из всех ночей

самой яркой у меня осталась в памяти одна, — там, на мокрой траве около сонного монастыря. Никогда в жизни я не испытывала такого сладкого, безумного, блаженного упоения болью, и никогда не был ты ближе, желаннее и недосягаемее. Мне бы хотелось хоть раз, хоть перед смертью испытать опять всю полноту этих острых огненных чувств с тобой. Но как страшно, страшно поехать к тебе! Напиши мне все же подробно, когда бы ты мог быть свободен? Ведь номер выходит в конце месяца[5], значит, мы могли бы увидаться в начале русского февраля? Ответь. Ты спрашиваешь, хочу ли я книг, хочу ли работать? Конечно! Пришли мне. Не вышли ли стихи Б.Н.[6]? Расскажи мне, что он? Его образ совсем стирается в душе. О книгах, что ты прислал, я написала бы, но... стоит ли посылать в «Весы» скверные рецензии на 3-[7]? Возьмусь за перо и бросаю — бездарность!.

Ах, сегодня грустный вечер. Я очень, очень хвораю. Как-нибудь дотянуться бы до весны, совсем по-«поярковски» хочется солнца и цветов[8]. Болезнь все туманит, — я худею, не сплю, артрит все сильнее, особенно эти дни, почти как в Бресте. Одно смешное утешение — этой же болезнью и в такой же степени болен Robert. Эти дни он меня лечил без доктора теми лекарствами, которые сам принимает, — стало немного лучше.

Не сердись на меня, не упрекай меня! Если бы не Robert с его нежной и беспредельной любовью, я провела бы еще больше горьких и одиноких часов. Мексиканцы и испанцы хороши, когда я в большой шляпе за столиком кафэ. Утешаюсь одним пустяком еще — никто меня здесь не принимает за русскую, и я, кажется, скоро отрекусь от своей родины. Я упомянула «испанцы», — познако<милась> с одним — очень красив (певец), голубые глаза, идеальные черты, но глуп. Целый вечер накануне «нашего» нового года просил меня о свидании, а Robert рыдал, и слезы его падали в стакан виски. Знакомая картина! Точно видела себя в зеркале. Все это пустяки! Из этой области могла бы рассказать тебе много, но ведь тебе не интересно. Не упрекай меня! Я не могу начать без тебя «прекрасной жизни» — всё со мной, все я сберегла в глубине моей души, но без тебя не могу, не могу ничего. Самое большее — это затихнуть, замереть около «ласковой донны», — точно лежишь на тихом темном дне, точно кто-то ласкает после смерти, так неотчетливы, туманны и немы чувства. Напиши мне. Я напишу тебе скоро еще. Адрес все тот же: Hôt<el> d'Harcourt. Тут останусь. Не могу искать, переезжать. Не могу! Расскажи о себе? Все, много, я хочу знать, я очень, очень люблю

13. Заказ № 795.

тебя. А может быть, мы увидимся? Может быть, преступно мечтать о покое на берегу океана? Может быть, ничего этого *я не хочу*?! Целую твои руки, нежно и покорно, как прежде. Я люблю тебя, милый.

Твоя.

Деньги получила, — благодарю тебя.

---

[1] Ответ на п. 201.

[2] Судя по обращению «Нин», Петровская цитирует фразу С.А. Соколова.

[3] Л.Д. Рындина, вторая жена С.А. Соколова.

[4] Название книги стихов Ш. Бодлера.

[5] Подразумевается январский номер «Весов» за 1909 г.

[6] Книга стихов Андрея Белого «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909) вышла в свет в начале декабря 1908 г. 20 декабря 1908 г. С. Соколов писал Белому: «...я хотел попросить у Вас экземпляр «Пепла» для Нины. Если не жалко, дайте моему посланному, а я перешлю книгу Нине в Париж. Она очень просила меня в своих письмах прислать Вашу книгу, когда она выйдет» (РГБ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 2).

[7] См. п. 195. Брюсов посылал Петровской книги для рецензий (см., например, пп. 193 и 203), однако в 1909 г. она в «Весах» не печаталась.

[8] Обыгрывается фамилия московского поэта и критика Николая Ефимовича Пояркова (1877—1918). Поярков был неизлечимо болен (срастание суставов ног, правой руки и позвоночника) и не мог выходить из дому (см. предисловие Т.М. Хромовой и Н.В. Котрелева к публикации писем Пояркова к Блоку // *ЛН*. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 530—533).

205. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

24 декабря 1908 / 6 января 1909 г. Москва[1]

24 дек. 1908, ст. ст.

Сочельник. Год тому назад то были дни, когда в нашей жизни что-то ломалось, дни, которые привели к ужасу весны, к ночам в Саввинском монастыре... В этом году я ничего о Тебе не знаю в эти дни. После Твоего последнего, отчаянного письма[2] вот уже больше недели, как я не слышу о Тебе ничего. Неужели не думаешь Ты, что нехорошо оставлять меня безо всяких вестей!..

Я послал Тебе несколько очень важных писем и жду нетерпеливо ответа на них.

В моей жизни ничего нового: положение неопределенное и невеселое.

Послал Тебе № 12 «Весов». Прочти в нем IV акт «Елены»[3] и, если не читала раньше, перечти всю трагедию. Клянусь, она того заслуживает, хотя и есть в ней разные «длинноты».

Читала ли Ты «Франческу»[4]? Давно хочу спросить Тебя об этом. Если нет, пришлю тотчас книгу. Ее очень, очень и очень стоит прочесть.

Не назови это письмо «сухим». Мне трудно писать, не получив ответа на предыдущие письма. Когда неделю не слышишь от Тебя ни слова, невольно теряешь Тебя, как-то боишься говорить все, что хочешь сказать. А как дороги мне те Твои письма, где опять передо мной Ты, прежняя, потерянная, любимая...

Твой всегда

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду п. 197.

[3] Трагедия Э. Верхарна «Елена Спартанская» в переводе Брюсова (Весы. 1908. № 12. С. 23—35).

[4] См. примеч. 5 к п. 169.

206. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

27 декабря 1908 / 9 января 1909 г. Москва[1]

27 дек. 1908 / 9 янв. 1909
Exp<edié> de Moscou

Нина, дорогая!

Сегодня *десятый* день, что от Тебя нет письма. Что бы ни было, но это не хорошо. Думаю все самое дурное. Если до вечера письмо не придет, отправлю Тебе телеграмму с просьбой ответить. «Tu ne m'aime pas»*, как Ты мне телеграфировала однажды в Париж.

Твой

Валерий.

---

[1] Открытка с русской маркой издательства «Скорпион» и журнала «Весы». Почтовый штемпель: Москва. 27.12.08. Помета: «Exp<edié> de Moscou» («Отправлено из Москвы». — *фр.*).

---

*Ты меня не любишь (*фр.*).

207. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

27 декабря 1908 / 9 января 1909 г. Париж

9 января

Дорогой Валерий, сейчас получила твою телеграмму[1], и мне самой печально, что я так редко пишу и заставляю тебя беспокоиться. Я тебе недавно послала длинное заказное письмо[2]. Ты уже его, вероятно, получил. Я все хвораю. Болезнь сейчас не острая, но томительная. Так себя плохо чувствую, что утром стоит большого труда вставать. Нет у меня страстной жажды смерти, но часто, часто думаю, что пора всему этому кончиться. Ощущения все притупились, но минутами такая глухая тихая тоска, как Надя часто говорит: «Лег бы и умер». Ах, зверочек, не утешаю я тебя и сама не могу утешиться. Жизнь свернулась узким, узким кольцом. Куда уже отсюда?! Писала я тебе разные мои «мечты», но далеки они, да и сердце от них не бьется со страстью! Недавно я сказала Robert, что он «моя ласковая донна». С ним сделался припадок исступления, и опять, как на грех, это было в ресторане. Очень неудобно. Как, должно быть, тебе было трудно со мной в таких случаях?! Суждено мне видеть повторение себя в подробностях крайних — до смешного. Рассказать тебе что-либо о своей жизни — не умею. Гублю жизнь, или она сама погибает. Русских не вижу упорно, — не могу. Есть несколько знакомых студентов и Robert — вот и все. Работать? — я получаю твои письма, где ты меня так нежно и дружески призываешь к работе..... Но ведь — бездарность — ... стоит ли. Я на себя махнула рукой. Живу как для снимков синематографа. Когда я *смотрела* их, — жизнь на экране казалась легкой. А когда меня судьба сделала *сюжетом*, я вижу, что ничего печальнее и труднее нет на свете. Но все равно — чем-нибудь и когда-нибудь все это кончится. Получила стихи Б.Н.[3] — *разлюбила* я его всячески. Не могу вспомнить тех ощущений, какие мне давала его поэзия и личность. Хорошо. Иногда очень хорошо, — но и все. Не плачу над его стихами, не радуюсь им. А впрочем, я ничему больше не радуюсь. 25 июля[4] все кончилось. Не печалься, мой милый. Ну что же мне делать, — *не живу я без тебя*. Дышу, сплю, встаю утром, обедаю, сижу в ночных кабарэ, *принимаю* любовь, но не живу. Читаю французские книжки и газеты, иногда захожу в музеи, печально любуюсь на Париж. Он мне очень нравится, только быть бы мне в нем 6-ю годами раньше.....

Пиши мне, рассказывай о себе, о делах. Как «Весы»? Как ты сам, внутри? Ничего не видно отсюда. Письма из Москвы дышат беспросветностью.

Целую тебя нежно и люблю очень. Пиши в Hôtel d'Harcourt. Даже найти себе более удобное помещение у меня нет сил.

Милый Валерий!.. Милый!...

Твоя

[1] См. п. 206.
[2] Имеется в виду п. 204.
[3] Речь идет о книге Андрея Белого «Пепел» (см. примеч. 4 к п. 204).
[4] День отъезда Брюсова из Москвы за границу (см. п. 167).

208. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

29 декабря 1908 / 11 января 1909 г. Париж[1]

Париж 29 декабря

Милый Валерий,
я сегодня послала тебе письмо и одно большое заказное раньше[2]. Но вот сейчас получила твое от 24 дек<абря> «укоряющее», и хочется сказать в ответ несколько слов. Ах, не укоряй меня! Все это время уже, давно я чувствую себя совсем больной, а теперь явно хвораю. Ко всему, ко всему какое-то мертвое равнодушие, моя собственная жизнь мне кажется чужим и глубоко ненужным делом. Иногда заострится в сердце боль, — тогда хочется куда-нибудь пойти, оглушиться шумом, встречами, ночной музыкой. Но и это я делаю редко. Роковым образом жизнь связалась с Robert. Среду, субб<оту> и воскресенье вижу его неизменно, и терзается он около меня тоже неизменно, как я с тобой в последний год. Что я могу? Ничего сейчас. Мне нужно, может быть, куда-то далеко спрятаться, как делают заболевшие собаки — искать, как они, «свою траву». Нет у меня жизни! Не выходит жизнь. О, могу повторить слова Елены: «Не различаю я, что я люблю и что я ненавижу. Я — серый пепел смертного костра!»....[3]

Сережа меня укоряет за «зловещее молчание», за холодность. И ты укоряешь. А я не могу ничем утешить. Если бы ты видел мои дни и ночи, мои глаза, в которых не загорается больше никакой страсти. Может быть, это болезнь, — я не знаю. Каждую минуту

хочется в тихой глухой тоске заламывать руки и повторять строчку из Б.Н.: «Отчего мне так больно? — я не виноват»....[4] Может быть, в чем-то виновна я в прошлом перед самой собой, забыла заповедь: «Не сотвори себе кумира». Сотворила... Отдала ему всю душу, и ни для кого и ни для чего не осталось у меня в душе ни страсти, ни сил. Я думаю, никто в Париже не живет такой странной, бесцельной, бессмысленной жизнью. Минутами испытываю одну бесформенную тяжесть, которая придавливает куда-то вниз. Валерий, дорогой мой, не сердись на меня! Ничего я больше не вижу, ничего не знаю, ничего без тебя не могу полюбить. Я молчу подолгу не оттого, что в это время мне забавно и весело жить, — поверь. Мне просто все чаще и чаще не хочется говорить о себе. Я сама себе не нужна и чужда, стоит ли рассказывать?

Но ты пиши мне! Я никогда не забываю тебя. Все помню, час за часом, минуту за минутой, все печальные годовщины праздную молча и одиноко.

Пришли мне «Франческу» — я не читала. «Елену» читала с большим удовольствием, как умею теперь воспринимать. В Москве плохо? Сережины письма почти безнадежны. Отчего он так грустен? О, я не хотела бы быть и в Москве. Здесь хотя русских не вижу — это большое счастье для меня. От 1 ½ часов у Кругликовой (это было давно, 2 мес<яца> назад) у меня осталось ощущение знакомой московской отравы. Хочу видеть тебя... Но безнадежно, не верю, что встретимся. Милый, милый Валерий! не забывай меня, я всегда и навсегда Твоя.

---

[1] Ответ на п. 205. Почтовые штемпели: Paris. 12. 1. 09; Москва. 3 1 1909.

[2] Имеются в виду пп. 207 и 204.

[3] Цитата из трагедии Верхарна «Елена Спартанская» в переводе Брюсова (Весы. 1908. № 12. С. 31).

[4] Неточная цитата из стихотворения «Друзьям» (см. примеч. 2 к п. 182).

209. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

31 декабря 1908 / 13 января 1909 г. Москва[1]

Декабрь 1908 — Январь 1909

Нина, дорогая!

Попробую еще раз пересмотреть — в ответ на Твое длинное письмо, — пересмотреть для себя, столь же как для Тебя, все, что я думаю о Тебе, о нас двоих.

В моих последних письмах я, кажется, ошибался. Я представлял себе Тебя той, какою Ты была в Москве, со мной. Я говорил к тем чувствам, к тем страстям, которые тогда жили в Твоей душе, владели ею. Теперь вижу, что Ты уже иная; между строк, *сквозь* прежние слова угадываю Твою новую рождающуюся душу. Делаю все усилия, чтобы говорить к ней.

То, о чем стоит думать, о чем должно думать, это — Твое будущее. Не сегодняшний день, не то или иное Твое «безумие» этого дня, — а устроение всей Твоей жизни, ее цель. Ибо, как Ты сама созналась, какая-либо «трагическая» развязка уже исключена из возможностей. Смерть, убийство и все близкое к этому — уже прошлое. Ты еще долго будешь возить с собой по разным странам браунинг, подаренный Тебе в наши знаменательные дни С.А.[2], — но этот браунинг уже только символ. Смысла жизни надо искать вне *такой*, внешней трагедии. И этот смысл будущего сам собою определит смысл настоящего, укажет, научит, чтó делать, «как жить».

Когда-то была Тебе открыта другая трагичность, более истинная и более страшная. Ты могла осуществить тот идеал бесконечной Любви, над всем торжествующей, ничему не покоряющейся, — которому всегда молилась. Ты могла сделать из своей любви ко мне — подвиг. Наперекор мне, моим поступкам, всему миру, — Ты могла служить, свято и верно, этой *своей* любви. В этом была бы, конечно, великая мучительность, но и настоящее величие. Может быть, этот подвиг убил бы Тебя, но он тем же смертным острием должен был пронизать и меня. Таким отречением от себя во имя Любви Ты стала бы надо мной на высоту недосягаемую, и мне сейчас должно было бы не писать Тебе это письмо, но преклоняться пред Тобою ниц.

Эта трагедия не осуществилась также, и ее надо отстранить, как прекрасную возможность, о которой мечтают в поэмах, но которой не встречают в сей жизни... Пройдем же мимо, будем искать еще.

Ты мне отвечаешь в последнем письме на мой вопрос, что такое для Тебя Робер. Ты сравниваешь его с «ласковой донной» Дантэ и рассказываешь о его предложении уехать с ним этой весной куда-то в глушь Франции, в маленький городок Бретани, затеряться там с ним, затихнуть. Тебе кажется, судя по словам Твоего письма, что в такой жизни можешь Ты найти *то* счастие, о котором еще решаешься думать: счастие покоя, отдыха. Ты почти

прямо говоришь, что *хочешь* такой жизни, такого конца своей жизни.

Что смею я сказать об этом новом Твоем идеале жизни, — я, который сознает себя причиной того Твоего изнеможения, той Твоей последней усталости, какие влекут Тебя в этот затон полумертвого покоя? Смею ли я сказать Тебе: «Нет, этого не должно!» — смею ли, если в ответ на Твой вопрос: «А Ты дашь ли мне все противоположное этому?» — я вновь только печально наклоню голову. Нет, конечно, не смею. Я должен сказать Тебе: «Нина, дорогая! Пересмотри еще раз, со всем напряжением внимания, свою душу. Спроси еще раз, со всей упорной настойчивостью свои чувства. Собери все свои силы, чтобы заглянуть в свое будущее». И если после этого Ты все же скажешь себе: «Да, я этого хочу», — мне останется одно: отречься от всех своих мечтаний, забыть себя до конца и сделать все, что я в силах, чтобы помочь Тебе осуществить этот план. Так должен буду я Тебе сказать и так должен буду я поступить.

Я не делаю для себя иллюзии из того, к чему должна будет привести Твоя попытка. Если она *не* удастся, Ты будешь вновь на том же месте, где сегодня, только еще более утомленная, еще более подавленная жизнью и *еще более чужая мне*. Если же Твоя попытка удастся, если Твоя жизнь с Робером устроится не как временный привал, но как что-то постоянное, — это будет Твоей духовной смертью. Ты говоришь, что в том уединенном городке «можно будет работать», но, конечно, сама понимаешь, что это — слова без содержания. Французской писательницей Ты никогда не станешь, сколько ни изучай французский язык; русской писательницей нельзя быть, живя в глуши французской провинции, отрезанной ото всех центров русской жизни. А вне писательства о какой другой «работе» можешь Ты говорить? Нет сомнения, что жизнь с Робером, постоянная жизнь, будет для Тебя медленной трясиной, в которой исчезнет все, что есть в Твоей душе высшего, лучшего, единственно-истинного...

Но когда Ты, усталая и изнеможенная, говоришь мне: «Вот так я найду покой», — как отвечу я Тебе: «Нет, Тебе не надо покоя». И опять я повторяю Тебе: «спроси себя, хочешь ли только покоя? Если да, то все, все, все, что я могу, я сделаю, чтобы помочь Тебе достичь его, — все, хотя бы для этого должно было мне пожертвовать своими заветными надеждами. Если Ты хочешь жить с Робером и если Ты хочешь этого внешнего успокоения, этой тихой могилы, — у меня не достанет духу остановить Тебя...

Впрочем, я должен сказать, что жизнь с Робером — это *во всех смыслах* лучшее, что, как теперь выяснилось, представляется Тебе за границей. Опыт этих месяцев убедил меня, что Тебе нечего искать в Париже. Что «новой» жизни Ты себе не создашь там. То мимолетное, что Ты рассказывала мне о мексиканцах и испанцах, то краткое, что сообщала о днях, «опять проведенных безумно», — наводило на меня такую грусть, что порою хотелось написать, закричать Тебе: «Брось все, возвращайся сюда, все, все лучше, чем это!» И я уверен, что жизнь Твоя в Париже, если не будет с Тобой Робера, станет сплошным «безумием», сплошной серией мексиканцев и испанцев, хотя Ты сама и знаешь, и сознаешь вполне, что они ни на что не нужны Тебе. Все, все лучше, чем это! Всякое отчаянье лучше, чем это «безумие»!

Ты спросишь меня, что́ я же думаю о Тебе и Твоей жизни. Что́ же я могу (не скажу «предложить», но) представить иного для Тебя? Ты пишешь в своем письме: «Ты все время повторяешь, что эта разлука лишь средство найти возможность быть опять вместе. Но я никогда не понимаю этих слов... Что значит быть опять вместе? Душой? Чувствами? Но так я с тобой всегда, а внешних возможностей для нас нет»... Попытаюсь объяснить свои слова, а больше — свои чувства.

После нашего страшного последнего года, после нашей страшной последней весны, я одно время желал лишь одного: только бы *это* не повторилось! Я чувствовал, что вторично пережить такие месяцы я не в силах (да и Ты была бы не в силах!). Лучше умереть, сойти с ума, — все лучше, чем снова провести ряд «тех» ночей! И вот, под влиянием этого ужаса, я и твердил Тебе, что нам должно расстаться. Но *даже тогда*, даже в последней своей измученности, никогда не думал я, что наша жизнь врозь должна длиться вечно, всегда. Мне казалось, что между нашими душами установились такие неодолимые связи, что они должны влечься одна к другой, не могут в жизни не быть вместе, — *вместе* в простом, житейском смысле слова, т.е. рядом, встречаясь, на одном месте земного шара. Мне казалось, что наша «разлука» *нужна* нам только как средство найти себя, опомниться, образумиться. Когда долго и тщетно, и тщетно бьешься над решением одной задачи, полезно бывает отложить бумагу и карандаш в сторону и позабыть об ней на время; через некоторое время, вернувшись к задаче, вдруг, легко и сразу, находишь ее решение. Мне представлялись месяцы, проведенные нами с Тобой врозь, чем-то вроде этого времени, когда, отложив бумагу и карандаш, намеренно *не*

думаешь о задаче. Но это не значит, чтобы я хотел совсем отказаться от ее решения.

Скажу прямо и просто. Я всегда думал, что Твоя жизнь за границей будет лишь *временной*, что *жить* Ты вернешься в Россию. По глубокому моему убеждению, жить русскому человеку, а особенно русскому писателю, возможно только в России. Россия нам нужна как наша стихия: вне ее мы временно дышим даже бодрее, словно в атмосфере, где более кислороду, но потом задыхаемся и жаждем вернуться в родной воздух. Вспомни последние годы Тургенева и его томления вне России. Прочти последнюю книгу Бальмонта (которую я Тебе посылаю) и особенно его поэму «В белой стране»[3]. Ты увидишь, поймешь, что значит быть *без* России, без той России, которую все мы клянем и клеймим последними словами. Я всегда думал, что Ты в Россию *вернешься*.

Но я всегда думал и думаю до сих пор, что эти месяцы, проведенные нами в разлуке, не будут потеряны. Что до меня, я чувствую, что за эти месяцы многое в моей душе успокоилось и прояснилось. (О, как бы мне хотелось, чтобы и Ты могла сказать это об себе!) Я чувствую, как в моей душе моя любовь к Тебе из дикого пламени, мечущегося под ветром, то взлетающего яростным языком, то почти угасающего в золе, стала ровным и ясным светом, который не угасит никакой вихрь, ибо он не подвластен никаким стихиям, никаким случайностям*. Я чувствую в себе твердое и бодрое желание быть с Тобой, Тебя любить, *заботиться о Тебе, сколько это в моих силах*. Я чувствую, что эта необходимость быть в жизни с Тобой стала для меня столь осязательной, столь непобедимой, что во имя ее стало для меня доступно многое такое, что раньше казалось недоступным**.

Я был бы счастлив, если бы эти дни разлуки Тебе показали бы хотя бы только одно: что и Тебе *необходимо* в жизни быть со мной; что без меня для Тебя жизни нет. Ты мне много раз говорила это, но я желал бы, чтоб это, так сказать, априорное суждение стало бы для Тебя ощущением, чувством, болью. Я желал бы, чтобы и Ты сознала, что ради этой необходимости Ты готова, Ты способна на некоторое такое, на что раньше не считала себя способной.

**Последующий текст, до конца абзаца, отчеркнут по полям красным карандашом.*

***Последняя часть предложения (от слова «стало») подчеркнута красным карандашом. На полях приписано:* NB Об этих словах надо было бы говорить еще много!

Как реально я представляю себе эту нашу будущую жизнь «вместе»? О, никаких радужных картин я нарисовать не могу. Не хочу завлекать Тебя никакими соблазнами неисполнимых для меня обещаний. Говорю, строго и спокойно, заранее, что не может и эта, вторая наша жизнь быть чужда боли и мучения. Но сам я не страшусь боли и не уклоняюсь от нее. Я готов на новые мучения («новые», не *те*, не *прежние*) и потому имею право звать к ним. Те основные противоречия, которые когда-то ломали нашу жизнь пополам, остались на своих местах. Я по-прежнему ***не могу*** изменить своей жизни. Я ***не могу*** изменить ее, потому что у меня нет сил совершить те-то и те-то поступки (которые Ты знаешь) и потому что это значило бы отнять у себя возможность посвятить моему искусству те немногие годы, которые остались у меня для творчества (что их осталось немного, теперь знаю точно). Не пишу обо всем этом подробнее, ибо здесь всё, каждый изворот мысли уже прослежен нами. — Но думается мне, верится, что теперь из этих старых, неизменных противоречий открывается нам новый выход.

Я думаю, что теперь, если только в Твоей душе свершилось то же, что́ в моей, если месяцы разлуки доказали Тебе так же, как мне, что мы *должны* быть вместе, — Ты отречешься, откажешься от иных своих слишком прекрасных надежд, как я отказался от своих. Ты не будешь более во мне искать своего идеала, как я не жду более от Тебя «подвига». Ты примиришься с формами моей внешней жизни, как я примирился с Твоим Робером... Примиришься, как я примирился, потому, — что увидишь, что за пределами всего этого есть еще для нас жизнь прекрасная, безмерно прекрасная и бесконечная! Я никого не знал на свете и не знаю, кто был бы мне ближе, чем Ты. Мне все кажется, что и я всех ближе к Тебе. Только одной Тебе могу я говорить последние тайны своей души, только с одной Тобой могу я быть как сам с собой, только перед одной Тобой я — я. Неужели же месяцы нашей жизни врозь, наши новые встречи с новыми людьми не научили нас, что нет ничего выше этой близости, ничего в мире драгоценней, ничего в возможностях — прекрасней! Неужели ради этой близости не пойдем мы оба на крайние уступки и на величайшие жертвы, на какие только способны!

И потом, разве эти месяцы разлуки не доказали Тебе (здесь я уже говорю только о Тебе), не доказали Тебе, что моя любовь к Тебе — истинная, что никогда не лгал я Тебе, говоря: «Люблю». Если только Тебе нужна моя любовь, теперь Ты можешь ее брать без колебаний, в уверенности, что не ошибешься, что не возьмешь

змеи вместо рыбы. И если что-либо в моей любви кажется Тебе, казалось странным, теперь это не заставит Тебя усомниться в существе самой любви, а лишь придаст ей тот или иной оттенок. Мне кажется, что *я* — испытание, поставленное нам, вынес с достоинством, что я своей души и моей любви к Тебе не унизил ни изменой, ни коварством. Мне кажется, что этими месяцами, всей моей жизнью в эти дни, всеми моими письмами, этим письмом, наконец, *доказал*, что люблю Тебя.

Но если все это так, то где же должны мы жить? Мы должны жить близко один от другого, чтобы встречаться часто, чтобы проводить время вдвоем, чтобы быть *вместе*. Ты права совершенно, говоря, что быть вместе «душой, чувствами» — лишь пустые слова. Жизнь вместе возможна лишь при реальной близости *. Вряд ли осуществимо это, если Ты будешь жить за границей (оставляя в стороне те соображения, какие я выставил раньше), а я в России. В лучшем случае я приезжал бы к Тебе в год на 2—3 месяца**. Этого слишком мало. Это разрушило бы нашу связь. Вот почему я думаю, что Тебе жить надо там же, где живу я, или в том же городе, где я, или совсем близко***. Говоря о том положении вещей, какое существует сейчас: или в Москве, или в Петербурге.

Но, разумеется, все это имеет смысл лишь при ряде «если». Если Ты еще любишь меня... Если Ты еще хочешь быть со мной... Если эти месяцы доказали Тебе, что нам быть вместе необходимо... Если Ты теперь отбрасываешь как неважные иные из тех затруднений, которые Тебе казались прежде неодолимыми... Если... Если... Если...

(Знаю, что в этой нашей новой жизни неизбежно встретятся затруднения новые, но торжественно обещаю Тебе, что сделаю все мыслимое (и гораздо больше, нежели делал прежде), чтобы их было возможно меньше. Повторяю: многое из того, что прежде мне казалось недоступным, теперь стало возможным и легким, потому что я понял, *как* Ты нужна мне в жизни. И Ты должна мне поверить, что бóльшая половина тех терний, которые мучили Тебя когда-то при жизни со мной, исчезнет бесследно)****.

**Фрагмент текста: «Мы должны... реальной близости» подчеркнут красным карандашом.*

***Фраза подчеркнута красным карандашом и отчеркнута красным карандашом по полям.*

****Фраза подчеркнута красным карандашом.*

*****Фрагменты текста: «Многое из того... возможным и легким»; «Ты должна мне поверить... исчезнет бесследно» — подчеркнуты красным карандашом.*

Так представляются мне возможности нашей с Тобой новой жизни *«вместе»*.

Нина, дорогая, подумай о моих словах. Дополни, договори все, что я не мог досказать на этих 8 страницах. Доскажи слова, оставшиеся между строк, обещания, только намеченные в беглых фразах. Будь щедрой от моего имени, потому что я сказал много меньше, чем хотел. Верь всему*, каждому *слову*, потому что ничего не написал я без глубокой веры в свои слова и во многих случаях должен был бы сказать сильнее, решительнее, но не сумел.

Обдумав, взвесив, ответь мне**, — что Ты выбираешь: эту жизнь со мной или жизнь без меня. Я не стану спорить. Я так во многом перед Тобой виноват***, что не смею спорить. Я приму Твое решение как приговор, на который нет апелляции... Я склоню голову под Твои слова, как под топор.

И от Твоего решения этого главного, этого конечного вопроса нашей жизни будут зависеть все наши дальнейшие поступки, и прежде всего — нужно ли нам встречаться в Петербурге, этой весной, в феврале. — Пока, по старому праву, целую Тебя любовно и ласково.

Всегда Твой Валерий

31 декабря 1908 ст. ст.

P.S. Сегодня годовщина «черных лент». Нина, Нина! далекая! прими мой поцелуй через тысячи верст!

NB По обыкновению, *не перечитываю* написанного письма и прошу простить бессвязности и повторения. Это как бы разговор, и *нисколько не литература*.

Очень, очень прошу: напиши мне о *своем здоровьи* или, точнее, *о своей болезни*.

---

[1] Ответ на п. 204. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] В воспоминаниях Л.Д. Рындиной «Ушедшее» содержится (видимо, неверное) утверждение, что Петровской подарил браунинг не С.А. Соколов, а Брюсов (см.: Мосты. 1961. № 8. С. 301; Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 418). См. также п. 201, примеч. 4.

[3] Речь идет о книге Бальмонта «Хоровод времен. Всегласность» (Полное собрание стихов. М.: Скорпион, 1909 Т. 10.), вышедшей в свет в конце декабря

---

* *В автографе описка:* всего.

** *В автографе описка:* меня.

*** *Слова: «во многом перед Тобой виноват» — подчеркнуты красным карандашом.*

1908 г. — начале января 1909 г.; поэма «*В белой стране*» составляет ее заключительный раздел.

210. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

31 декабря 1908 / 13 января 1909 г. Москва[1]

31 дек. 1908, перед «новым годом»

Нина, дорогая! Только что послал Тебе (заказным) длинное письмо, в 8 полных страниц[2]. Но чувствую, что и обещанной «сотой» доли того, что сказать было бы надо, не сказал. Постараюсь еще написать — в дополнение ко всему сказанному. От Тебя получил телеграмму с обещанием *трех* писем. Пока из них пришло лишь одно. Ты мало мне пишешь, Нина. Что ж. Должно быть, больше писать Тебе и не хочется. — Бронислава Матв<еевна>[3], которую Ты, может быть, не забыла, была недавно в Раухе. Фрау Шульц[4] рассказывала ей об нас и говорила: «Они имели вид *слишком* счастливый»... Это было когда-то, Нина.

Твой
Валерий.

---

[1] Открытка. Почтовый штемпель: Москва. 31.12.08.

[2] П. 209.

[3] *Бронислава Матвеевна* Рунт (в замужестве Погорелова; 1884—1983) — сестра И.М. Брюсовой, в 1905 г. — секретарь «Весов»; автор мемуарных очерков «Валерий Брюсов и его окружение» (Новый журнал. Нью-Йорк, 1953. Кн. 33. С. 176—198), «"Скорпион" и "Весы"» (Новый журнал. Нью-Йорк, 1955. Кн. 40. С. 168—178). См.: Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 24—45, 312—321.

[4] Видимо, владелица пансионата Рауха на озере Сайма (см. примеч. 6 к п. 3а).

1909

211. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

2/15 января 1909 г. Москва[1]

1909

Нина, дорогая!

Получил сейчас Твою телеграмму[2]. Благодарю. Я мог бы повторить те же выражения, обращаясь к Тебе: «Близ тебя грустно вспоминаю прошлый год»... «Они казались слишком счастливыми», — говорила о нас Б<ронислав>е М<атвеевн>е Frau Шульц...[3] Неужели же «быть счастливым» можно лишь в прошлом!

Сегодня вечером я читаю о новой книге Ницше в «Эстетике»[4]. Конечно, пишу это «чтение» сейчас, в последние часы, и потому не могу сказать Тебе все, что хотел бы. Письмо длинное, как дополнение предыдущего, напишу завтра. Нина, Ты не можешь упрекнуть меня, что я пишу Тебе мало. Но Ты мне пишешь так редко, так редко!..

Не сердись на разные мои упреки, Нина, и пиши мне о себе *все*, чтобы я мог представить себе всю Твою жизнь. Мне так хочется знать разные мелкие подробности, о которых Ты умалчиваешь. Бываешь ли Ты где-либо, кроме этого самого Монмартра? Была ли в Лувре, Люксембурге и в других музеях (Моро, Гимэ, Petit-Palais etc.)?[5] Бывала ли в театрах? и в каких? на больших бульварах или в Большом Гиньоле, Little Palace etc. etc.? Была ли все-таки у Бальмонтов? у Кругликовой? Что Твоя Надя (извиняюсь, что называю ее так кратко)? — И обо всем, обо всем малом, мелком хочу, чтобы Ты написала мне.

А прежде всего о своем здоровье.
Твой
Валерий.

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Телеграмма среди писем Петровской к Брюсову не сохранилась.

[3] См. п. 210, примеч. 4.

[4] С рефератом «О новой книге Ницше» Брюсов выступил в «Обществе Свободной Эстетики» 2 января 1909 г. Имеется в виду книга Ф. Ницше «Ecce Homo» (1888), впервые опубликованная в 1908 г. Вступление из нее в переводе Брюсова вместе с его предисловием («Ecce Homo! Новая книга Фридриха Ницше») были опубликованы в № 12 «Весов» за 1908 г. (С. 42—48. Подпись: Аврелий).

[5] В Люксембургском дворце (1615—1620; архитектор Жак Дебросс) часть помещений была занята галереей произведений новейших живописцев и скульпторов. В музее Гиме — коллекции произведений восточного искусства; в Малом дворце (1900; архитектор Шарль Жиро) — коллекция Города Парижа (французское искусство XIX в.) и коллекции из собраний Тюка и Дютюи (античные экспонаты, рисунки и картины художников различных стран и эпох). Упоминается также музей французского живописца Гюстава Моро (1826—1898), открытый в его парижском доме.

212. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

4/17 января 1909 г. Москва[1]

4 янв. 1909

Нина, дорогая!

Третий или четвертый раз начинаю я писать Тебе это письмо и бросаю начатое, хотя, как Ты знаешь, написал и отправил Тебе целый ряд писем, крайне серьезных. Хочется сказать что-то необычно важное, и все не нахожу верных и точных слов...

Во всяком случае, одно могу и должен я повторять еще и еще раз: *так дальше нельзя жить*. Все, что хочешь, но только не то самоубийственное прозябание, на которое Ты обрекла себя! Необходимо иметь цель жизни, а вечера с Robert'ом, тем более с мексиканцами, вечера на Монмартре и утра уныния в hôtel Harcourt — никак не цель жизни. Необходимо иметь в жизни *дело* свое, нужное, дорогое, а у Тебя нет ни<ка>кого дела. Необходимо иметь в жизни людей близких, любимых, но Твоя «условная» любовь ко мне уничтожает для Тебя все возможности принять мою любовь, широкую, верную, так просто, как я ее хочу Тебе отдать. Необходимо, наконец, чтобы жить, — носить в себе жизнь, а Ты, сколько я могу угадать, делаешь все доступное, чтобы свою жизнь (телесную, внешнюю) разрушить, убить.

Все это, что сейчас изложил я в кратких строках, я пересказывал недавно Тебе на нескольких страницах (в одном разорванном письме), — но Ты и так понимаешь меня. Не хочу никаких прикрас своим словам, никаких восклицаний, никакой риторики; говорю просто: Нина, Ты живешь бесцельно, бессмысленно, недостойно себя! Я считаю Тебя достойной иной жизни, Ту, «достойную иной жизни», я люблю. Той — я говорю мои слова. И если ее не станет, если ее *нет*, то (присоединяюсь к словам Твоего Сережи) лучше пусть не будет и другой, укравшей ее дорогое имя. Или будь собой, или не живи вовсе. Ты не должна, Ты не смеешь жить так, как живешь сейчас.

Ты мне пишешь: «Не упрекай меня, я больна». Нина, дорогая моя, услышь всю любовь, которую я влагаю в мои упреки. Самые жестокие слова я говорю с величайшей нежностью. Я говорю их потому, что верю, наперекор всему продолжаю верить, что для Тебя *есть* та новая жизнь, к которой я Тебя зову. Найти ее в себе Ты должна сама. Никто не властен сделать это для другого. Но, чтобы начать *новую* жизнь, Ты должна осудить решительно и окончательно свою *ветхую* жизнь. То, что Ты мне пишешь о своем теперешнем отношении к «безумиям» (когда-то казавшимся Тебе смыслом бытия), должно стать для Тебя не только сознанием, но и чувством, мироощущением. Из хаоса, в котором до сих пор металась Твоя душа, поднимись туда, где

плавают в тумане
Хоры *стройные* светил[2].

Достигни того, чтобы повторить (так как уже пришли на память стихи) строки Пушкина:

Иные, *строгие* мечты,
Иные, *строгие* заботы
И в шуме света, и в тиши
Тревожат сон моей души...
Познал я глас *иных* желаний,
Познал я *новую* печаль...[3]

Начать «новую жизнь» можно, только восходя на *высшую* ступень лестницы. Душа или идет *вперед*, или погибает. Это — закон. Движение остановившееся равно смерти. Кто хочет жить, того сила самосохранения заставляет становиться прекраснее, выше, благороднее. Совершенствование не моральное требование, но внутренняя потребность духовного организма. Наступает миг, когда путь перерезается пропастью. Нельзя идти в сторону или назад: должно обрести крылья и лететь.

И не отвечай, что Ты отдала свою жизнь мне. Вот я — здесь, вот я хочу взять все в Твоей жизни, что Ты захочешь мне отдать и что я в силах буду взять. От всех случайных слов отказываюсь навсегда. Люблю Тебя, буду Тебя любить всегда, «как умею», «как могу». Этого ли Тебе мало? И, веря в эту любовь (если она еще нужна Тебе), выпрями свою душу во весь ее рост, чтобы смотреть вверх, к небу, к Бальмонтовскому солнцу. Я заклинаю Тебя со всей силой, какую способен обрести в себе: сбрось с себя свое безволие, свою безнадежность, свое бессилие, — скажи себе: я хочу жить, жизнь есть, жизнь стоит того, чтобы жить! Или, как говорил Баратынский Мицкевичу:

Восстань, восстань и вспомни: сам ты Бог![4]

Что для этого нужно сделать во внешнем, я не знаю *точно*, но в общем *знаю*. Об этом я писал Тебе в предыдущем моем длинном письме[5]. Кажется мне, что бросить Париж необходимо, ибо в нем *никакой* жизни Ты себе не создала. И еще кажется мне, что Ты должна вернуться к литературе, потому что именно здесь есть для Тебя прекрасная и далекая дорога.

На этом прерываю свое письмо, хотя мог бы говорить еще много, очень много. Отвечай мне решительно, со всей искренностью, — очень жду этого ответа.

Думаю, что скоро мы встретимся, еще не знаю где.

Твой

Валерий.

P.S. Дела мои в «Весах» крайне плохи[6]. По всем видимостям, я вскоре покину этот «телефон 50-89», как ни тягостно это после восьмилетней работы. Что буду делать дальше, еще не знаю. В связи с этим, не знаю точнее и времени, когда можно мне будет ехать в Петербург.

Обо всем этом написал бы Тебе подробнее, но, Боже мой! как не-оживленно расспрашиваешь Ты меня о наших московских делах! Неужели же Тебе так-таки все это чуждо!

Твой В.

---

[1] Ответ на п. 208. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Цитата из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (1839; ч. 1, XV).

[3] Неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 6, строфы XLIII—XLIV).

[4] Заключительная строка стихотворения Баратынского «Не подражай: своеобразен гений...» (1829), обращенного к Адаму Мицкевичу.

[5] Имеется в виду п. 209.

[6] О конфликтной ситуации, сложившейся в эти дни вокруг издания «Весов», см. письмо С.А. Полякова к Брюсову от 29 декабря 1908 г. / 12 января 1909 г. и комментарии Н.В. Котрелева к нему (*ЛН. Т. 98, кн. 2.* С. 120—122).

213. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

6/19 января 1909 г. Москва[1]

19 janvier 1909

Нина, дорогая!

Много я писал Тебе писем горьких и укоряющих. Мне хочется «подвести итог» всему сказанному.

Из Твоего плана — «жить вне России» — ничего не вышло. Никакой жизни в Париже Ты себе не создала, а твои планы будущего таковы, что хуже быть не может. Состояние Твоего здоровья плачевно. Состояние Твоей души прискорбно. Свои дни Ты проводишь теперь бессмысленно и бесцельно. Твоя жизнь есть худшее из возможных самоубийств, медленное умерщвление души и тела.

Тебе необходимо вновь изменить жизнь, решительно и, на этот раз, окончательно. *Волю* к этому Ты должна найти в самой себе, ибо нигде больше этой воли обрести нельзя. Жить Тебе надо в России, ибо Ты — русская, ибо Ты — русская писательница, ибо в России живу я*. Жизнь Твоя должна быть деятельной, ибо без деятельности нет жизни, и деятельностью Твоей должна быть литература, ибо у Тебя есть на это все права и все данные.

За каждым из этих итогов, за каждой из этих мертвых формул, — Ты можешь вспомнить целые страницы моих писем, где то же говорю я языком не мертвым, но всей страстью, со всем порывом, какой только можно вложить в писанные строки. Ты писала мне однажды: «Теперь мне нужно, чтоб кто-то другой взял меня и руководил мною». Вот это я и пытаюсь делать, подведя эти свои итоги, говоря Тебе: «Так должно Тебе поступить».

Как с внешней стороны осуществить все, что я говорю? Думаю, что все это не расскажешь в письме. Этот план Твоей новой жизни надо будет нам обдумать вместе при нашей ближай-

---

**Это предложение подчеркнуто красным карандашом.*

шей встрече, которую я считаю совсем необходимой. Если только ты не хочешь окончательно исключить меня из своей жизни, если Ты не выбираешь как желанное будущее жизнь «навсегда» с Робером (о чем я писал Тебе в длинном письме)[2], — мы должны встретиться вскоре. Я думаю, что это всего лучше соединить с моей поездкой в Петербург, которую я хочу предпринять во что бы то ни стало (т.е. независимо от хода моих литературных дел). Так нам было бы легче встретиться и легче говорить, чем в Москве.

До сих пор на все мои решительные вопросы Ты отвечала мне уклончиво. Ответь, наконец, прямо, смело и окончательно. Я спрашиваю у Тебя: теперь, после нашей шестимесячной (не считая Бреста и Намюра) разлуки, после всего, что было со мной и с Тобой, — веришь ли Ты, наконец, поняла ли Ты, наконец, что я Тебя *люблю* праведно и верно, той Любовью, которая все «покрывает», «не мыслит зла»[3], и т.д. и т.д.? А если *да*, если Ты веришь, если Ты поняла, то разве же, при существовании самого факта этой Любви, не видишь Ты теперь, что все остальное, как бы оно ни было жестоко, становится все же на второе место, что одна Любовь оправдывает все преступления, все, что Ты считаешь преступлениями? И принимая меня таким, каков я, с моей «внешней жизнью», Тебе непонятной, но и с верной моей любовью к Тебе, в которой более Ты не должна сомневаться, — неужели не видишь Ты возможности новой жизни, для себя и для нас, жизни ясной, основанной на любви и взаимном доверии? — Ответь мне на эти вопросы, Нина, и этим Ты решишь нашу судьбу, поскольку есть судьба у *нас двоих.*

Встреча наша в Петербурге могла бы состояться в начале русского февраля, в его первой половине, до 15<-го>.

Пока целую Тебя, бедная моя усталая девочка. Пиши мне все, не только эти «ответы». Прочти «Франческу»[4] — особенно последнее ее действие, гимн побеждающей любви. Я, когда переводил его, думал о нас. О, то было весной только что умершего года.

Всегда Твой

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду п. 209.

[3] Новозаветные формулы (1 Кор. XIII, 5, 7).

[4] См. примеч. 5 к п. 169. О высылке экземпляра «Франчески да Римини» Д'Аннунцио Петровская просила Брюсова в п. 208.

214. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

6/19 января 1909 г. Париж[1]

Париж, 6/19 января

Дорогой Валерий,

как никогда, — я чувствую сейчас бессилие писем, всю невозможность выразить до конца свою душу на сжатом пространстве страниц. И еще — я разучилась писать... Слишком горько оставаться совсем наедине с своими мыслями, как это нужно делать в письмах к тебе. И такими неподвижными, сухими кажутся слова.

Как и что я отвечу тебе! Ты называешь мою «мечту» — могилой. Может быть, ты глубоко прав, и *этого* хотеть я *не должна.* Да, ***я*** не должна! Но где сейчас *я*? С 25 июля кружусь по Европе, словно для снимка синематографа. И это меня утомило *больше*, чем все муки с тобой. Ты меня *упрекаешь*, что кончилась всякая трагедия моей жизни; что я «еще долго буду возить по разным странам браунинг, но...» Раз кончилась жизнь, то неминуемо кончилась и трагедия. Пойми, я воистину сейчас призрак. Внутри все так пришиблено, так сжалось от какого-то бесконечного холода, так пусто и тихо, что не только на трагедию, — я иногда не способна даже двигаться в жизни механически, по усвоенной привычке. Твой «опыт» оказался для меня слишком сильным. У меня сейчас нет сил ни жить, ни умереть. Это худшее из состояний, какие я могла себе когда-либо вообразить. Я уже почти перестаю чувствовать даже боль. Минутами — тоска, но тихая, сдавленная. Чему ты удивляешься? Есть предел боли, когда она так велика, что человек не чувствует ее. Мне Бальмонт рассказывал, — когда он первый раз выбросился из окна и весь переломался[2], — два дня он не чувствовал боли вовсе и удивлялся. Я чувствую одно — усталость безмерную, и *она*, а не что-нибудь другое дает мне свои миражи и мечты. Robert со мной нежен и ласков бесконечно, эта ***любовь,*** на которую я *едва*, едва могу отвечать, сейчас мне *единственно* дает ощущение сколько-нибудь приятное и радостное и сколько-нибудь меня вовлекает в жизнь. С 22-го августа я фатально с ним. Я его не ждала и не просила у судьбы, ехала в Брест с браунингом, который еще не был «символом», и там *вдруг*, не знаю почему, вместо трагедии попала в тихий затон. Именно там, в Бресте, в душе оборвалась туго натянутая струна и боль за 4 дня, которые я ждала тебя одна, перешла свой предел. *Ты* можешь при

желании дать этой встрече иное и менее тонкое объяснение. Но я, *для себя*, знаю и помню все миг за мигом. Боже мой! Ну не умею я умереть сейчас, не умею ненавидеть твою жену, не умею желать тебе смерти. Может быть, в потустороннем я уже сделала эти три убийства. Летом, когда ты был на даче с ней, я со всей глубиной и страстью пережила эти чувства в жаркой сдавленной клетке моей квартиры на Арбате. И не только это, а многое другое. Спускалась в самые темные застенки боли и отчаяния... Ты все помнишь, разве это можно забыть! Тебе покажется, что я сейчас плохо управляю мыслями, — слишком резок скачок их от Robert к этому лету. Но нет: «Мой разум ясен»...[3] Я хочу сказать, что после твоего отъезда, после этого странного вечера, который был последним ударом, я *почти* сделалась тем, что есть сейчас, и многие, многие минуты с Robert в Бресте мне казались переживаниями после смерти. Так я с ним и теперь. Когда он не уподобляется *мне* в своих требованиях «от полюса и до полюса», я чувствую сладкий смертельный покой. А когда он зовет меня уехать, я, право, чувствую, что кто-то зовет меня на тот свет, где, должно быть, будет еще тише, еще покойнее, и с радостью говорю: да, да, да, Ты называешь это «могилой». М<ожет> б<ыть>! Да, ты прав! Но в эту могилу можно сойти тихо, незаметно, — я и так уже довольно хорошо похоронена в Париже. О, конечно, я не люблю Robert, никогда не скажу ему эт<ого> слова в его прошлом, священном для меня значении, но остаться с ним вдвоем надолго для меня не страшно, и не больно, и не противно, наоборот, я чувствую к нему большую благодарную нежность. Что я «утрачу себя», — и в этом ты прав. Утрачу! Навсегда! *После* можно будет сказать словами опять Б.Н.: «*И та, что, быть может, любила, не узнает теперь меня*»....[4] Но что же мне делать!! Я тону, на меня надвигается что-то такое, что хуже смерти. Я скоро буду как Саша Койранский, который способен полсуток простоять около биллиарда, где играют Вл<адька?> с твоим братом[5], — не меняя позы, не меняя выражения бледно-бирюзовых стеклянных глаз. Я писала о «призраках», не имея понятия, что это такое на самом деле, говорила о бесчувствии, когда ты меня распинал каждый день, — и это оказалось дурным пророчеством. (Кстати — здесь, в Париже, много таких, — я их узнаю безошибочно, и женщин, и мужчин. В России *еще* страдают и потому *таких* очень мало.) Я не хочу ни оправдываться, ни обещать, но знаю наверно одно, — мне нужно тебя увидеть, и скоро. Еще несколько времени, и я просто не соберу душевных сил для нашего свиданья, я не решусь на него, я пе-

рестану в тебя верить как в реальность. Мне нужно услышать твой голос, увидать глаза, вспомнить, очнуться, может быть, я воскресну от одного живого прикосновен<ия> твоей руки. В письмах я уже слышу твой голос все глуше и глуше, а сама уже пишу с большим трудом. Не ставь мне условий, не задавай страшных вопросов, — дай увидеть тебя просто. Если мне *суждена* «могила» в тихом городке Франции, то это будет перед смертью. Если я еще жива, то только один ты можешь сказать мне это с настоящей властью, вызывая к жизни. Я не могу так долго, долго без тебя. В самые суровые минуты этого лета, перед твоим тайным отъездом, когда предполагался и мой отъезд в Париж, ты обещал мне «встречу через ½ года»..... Я стараюсь разумно смотреть в то, что *за ней.* И вот что я думаю (конечно, я говорю о *лучшем* исходе, ибо о «могиле» нечего и беспокоиться): сейчас я не могла бы остаться в России, в Петербурге уже совсем, к этому я недостаточно готова; в Петербурге жизнь почти так же тяжела, как и в Москве, — нужно встречаться с людьми, — я еще не могу. Я вернулась бы за границу *до осени*, чтобы не томиться летом, — эти месяцы для меня всегда около тебя были самыми ужасными. Потом мне летом *нужно* жить как-то и где-то иначе, чем жила я в Москве. Без этого я *просто* умру. Мое «*здоровье*» — один сплошной минус. А осенью я, может быть, вернусь к тебе.... Ты делал «опыт» *для себя* (ибо я не просила и не хотела его), теперь *второй*, и тоже очень решительный, сделай *для меня*. Уверяю тебя, что наши «опыты» не могут стать слишком повторными... Да ты, вероятно, это чувствуешь и сам. Мне будет страшно ехать в Россию, но жить так, как я живу сейчас, в *минуты сознания*, кажется еще страшнее. Зачем ты обращаешься к какой-то моей «новой душе»? Разве ты видишь ее? Разве можно сказать, что человек *изменился*, наблюдая его в период смертельной и тяжкой болезни? *Я хочу увидеть тебя*, это уже, кажется, стало не только истомленным желаньем, а крайней необходимостью. Если ты любишь меня так, *как говоришь*, дай мне поверить в это совсем и *приди*, когда я тебя зову с последней страстью! Я не жду от тебя, поверь, того, что казалось таким насущным раньше, и потому не бойся возврата к *старым* мукам и к нескончаемому старому суду между нами. Ах, милый, милый Валерий, не думай, что ты мне не «не нужен», что эти месяцы отдалили меня в самом главном и глубоком от твоей души. Я *такая*, как сейчас, только потому, *что давно, давно тебя нет со мной.* Что письма! Что они могут! Я хочу тебя живого, прежнего, хоть на один только вечер. Боже мой, неужели это может быть!

Сейчас получила еще твое письмо, без числа, в день чтения о Ничше[6]. Ты спрашиваешь о моей «жизни». Я *не живу*, а почти все время медленно и томительно хвораю. Была *кое-где* из музеев, потому что встаю к 3-м часам дня. — и уже всегда поздно. Театры не влекут, была один раз. С русскими не вижусь *совершенно*. Не могу! Этого я не могу окончательно! Знакомства имею самые поверхностные и всё почему-то с иностранцами; к тем двум национальностям, что ты насмешливо упоминаешь, — можно еще прибавить американцев из Перу. Надя со мной. «Жениху» *мы* отказали, и он 3 дня тому назад стрелялся в Берлине, — пуля *как всегда* «скользнула между ребер, слегка задев легкое». Надя поправилась (внешне) и очень радуется на Париж. Мне он нравится бесконечно, почти во всех ликах. И еще страшнее и безобразнее отсюда кажется Россия. Здесь настоящая нежная весна. Сегодня тепло, как у нас в апреле. А в Москве? Холодно? Снег?

На днях, может быть, поеду в Версаль. Ты думаешь, что я все ночи на Монмартре? О, неправда! Ночи я борюсь с бессонницей и не даю Наде спать. Живем мы всё в d'Harcourt. И нет сил искать, менять. Сверху и сбоку — американцы. Но не любопытные и уж очень некрасивые. Прости, что говорю и о пустяках. Ты сам спрашиваешь. *Что* обо мне думают Бальмонт, Минские, Кругликова? Они *могли бы* думать, что меня нет в Париже, но, как на грех, я постоянно встречаю на улице Вальдора. Он бывает везде и, конечно, рассказывал об этих безмолвных (я ни разу с ним не говорила) встречах. Милый мой, что ты сейчас делаешь? Где ты? Проходишь ли когда-нибудь мимо дома Толстого[7], где «в комнате маленькой Ню поселился доктор Французов с братом»?...[8]

Пиши мне. Не покидай меня. Я живу очень, очень горько. Ответь мне *на это* письмо.

Я люблю тебя нежно и очень, очень печально. Валерий, дорогой мой, я истомилась без тебя.. Позови меня, не бойся меня! Я тебя так бесконечно люблю.

Твоя.

---

[1] Ответ на п. 209. Почтовые штемпели: Paris. 19.1.09; Москва. 9.1.09.

[2] Речь идет о попытке самоубийства 13 марта 1890 г., когда Бальмонт выбросился с третьего этажа гостиницы. См.: *Куприяновский П.В., Молчанова Н.А.* Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. Иваново, 2001. С. 26—27.

[3] Цитата из стихотворения Андрея Белого «В темнице» («Пришли и видят — я брожу...», 1904) (*Белый Андрей*. Пепел. СПб., 1908. С. 173).

[4] Цитата из стихотворения Андрея Белого «Матери» («Я вышел из бедной могилы...», 1907) (Там же. С. 159).

[5] Поэт, прозаик, критик, художник, театральный деятель Александр Арнольдович *Койранский* (1884—1968), Владислав Ходасевич и Александр Брюсов.

[6] Имеется в виду п. 211.

[7] Московский адрес Петровской до отъезда за границу.

[8] Иронически обыгрывается заключительная фраза рассказа О. Дымова «Смерть маленькой Ню»: «В комнате поселились другие люди: какой-то зубной врач с сестрой» (*Дымов Осип.* Земля цветет. М., 1908. С. 66). Сведениями о докторе Французове мы не располагаем.

215. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

8/21 января 1909 г. Москва[1]

8/21 янв. 1909

Нина, дорогая! «дни проходят, дни проходят», как говорит Пушкин[2], а от Тебя нет писем. А те немногие, которые я получал, не отвечают на мои вопросы, важные, неотложные. Прошу всячески, — ответь на мое письмо 6/19 января, где я «подвожу итоги» других писем. Что-то надо наконец сказать определенно. Обнимаю Тебя.

Твой Валерий.

[1] Открытка. Почтовый штемпель: Москва. 8.I.1909.

[2] Видимо, подразумевается строка из поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823): «Дни, месяцы, лета проходят» (ст. 44).

216. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

10/23 января 1909 г. Москва[1]

10/23 янв. 1909

Нина, дорогая и любимая!

Наконец я получил от Тебя *настоящее* письмо, в котором говоришь Ты в самом деле то, что думаешь, действительно рассказываешь о том, что переживаешь. Благодарю, благодарю очень. Письмо кончается словами: «Позови меня...»

Но что же я и делаю в моих последних письмах! Именно это, — я *зову* Тебя! И сегодня опять и опять: зову Тебя! Нина,

приди. Ты пишешь, что необходимо Тебе встретиться со мной, что иначе уже будет поздно. И я говорю Тебе, что необходимо нам встретиться с Тобой, что иначе уже будет поздно. Пересмотри все мои письма за последние недели. Как же Ты не расслышала единого зова их: Нина, приди!

Ну, теперь слушай. Я не могу выехать из Москвы раньше начала февраля (а в Москве, я думаю, Ты и сама не захотела бы встретиться после этих месяцев). Начало февраля не очень далеко, так как это письмо Ты получишь во *второй* половине января (русского). Думаю я выехать около *10* февраля, но не могу еще точнее назначить дня. Ехать в Париж мне было бы очень трудно, при всех обстоятельствах (т.е. останусь ли я в «Весах», войду ли в «Р<усскую> Мысль»[2] или начну чтó другое); да и не влечет меня в Париж, где слишком многие меня знают и где Ты не одна... Итак, я возвращаюсь к нашему прежнему плану: встретимся в Петербурге. Но в Петербурге проведем лищь 2—3 дня, в которые нужно мне будет исполнить несколько «дел», и потом переедем в Гельсингфорс, в Феннию. Кажется ли Тебе это исполнимым и хорошим? — не слишком это «страшно» после всего, чтó было? В Гельсингфорсе нас никто не знает, кроме усатого портье, если он еще на своем посту, и мы будем словно в мировой пустыне. Хочещь?

На это письмо ответь мне немедленно, согласна ли Ты встретиться так, — решишься ли ехать для встречи в Россию; ответь «вообще», оставляя в стороне все подробности. Мне надо успеть еще письмом рассказать Тебе разные подробности встречи (я думаю, в «Северной Гостинице»?), а точно о дне отъезда можно будет сговориться по телеграфу. Я уже писал Тебе, что всякие «внешности» в этой поездке не должны Тебя останавливать, — это естественно, просто, и не будем об этом говорить больше. Как поступишь Ты *после* встречи, вернешься ли в Париж или останешься в России, — конечно, об этом не к чему говорить заранее.

Деловой тон всех этих строк Ты мне прости, Нина, Ты знаешь, как иногда, особенно в путешествиях, делается у меня серьезное, озабоченное лицо: я становлюсь «деловым». Тон этих строк — именно мое озабоченное лицо. Но за ним, за пределами моих серьезных глаз я эту встречу воспринимаю с волнением величайшим. Мне хочется воскликнуть, как Ты воскликнула: «Увидеть Тебя, живую, прежнюю, хоть на один вечер. Боже мой! неужели это может быть!» Я так много думал о Тебе, Нина, в эти месяцы нашей разлуки — больше, чем за все остальные годы на-

шей близости, — что во многом Ты стала для меня моей мечтой, существом немного отвлеченным, «Той, которой я пишу». Встретиться с Тобой мне сейчас кажется столь же странным, как встретиться с подлинной Ренатой из «Огненного Ангела», говорящей «на нашем языке со всеми особенностями мейссенского говора»[3]. И когда я думаю, что вновь мы реально будем вместе, я буду видеть Твое лицо, глаза, буду говорить Тебе все, что хочу сказать, без посредства этой бессильной бумаги, — у меня сердце бьется, как в ожидании чуда. Да, наша эта встреча будет чудом.

Пожелай ее, Нина, пожелай чуда! Ответь мне на это письмо: да! Мне так хочется, так сладостно хочется обнять Тебя не в словах мертвой телеграммы, обнять нежной рукой, поцеловать Тебя в Твои усталые глаза, сказать Тебе: милая! милая! будем еще жить! будем еще счастливы! и будем всегда вместе — и здесь и, после, *там*!

Люблю Тебя, Твой

Валерий.

Твои именины уже миновали[4]. Еще раз «поздравляю» Тебя, — скажи, как Ты провела их.

---

[1] Ответ на п. 214.

[2] В дневниковой записи, относящейся к этому времени, Брюсов отмечает: «Тщетные переговоры с «Русской Мыслью» Лурье» (*Дневники*. С. 141). Содержание переговоров с журналистом С.В. Лурье — предполагавшееся ближайшее сотрудничество Брюсова в ежемесячном журнале «Русская мысль» (см.: *Азадовский К.М., Максимов Д.Е.* Брюсов и «Весы» (К истории издания) // *ЛН. Т. 85*. С. 304—305).

[3] Неточная цитата из гл. 2-й «Огненного Ангела» (IV, 42).

[4] Написано с учетом того, что письмо будет получено после 14/27 января — дня именин Нины Петровской.

217. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

10/23 января 1909 г. Париж[1]

Париж

Милый Валерий,

ты уже получил, наверно, мой длинный ответ?[2] Что я могу еще прибавить? Говорю со всей откровенностью: видеть тебя хочу безмерно, встретиться нам считаю необходимым, но в Россию *рань-*

ше осени вернуться *совсем* не чувствую себя в состоянии. Если поеду, то с *твердым* намерением тотчас же после нашей встречи вернуться за границу. Без боли, тоски и ужаса не могу себе представить весны и лета в России. Слишком еще живы воспоминания прошлого года. Да и *как* бы я должна была провести весну и особенно лето? Опять «по старому, бывалому»[3], только с той разницей, что не в доме Толстого, ибо там живет до августа д-р Французов[4]. Я верю всему, что говоришь ты, *безусловно*, быть с тобой в жизни *хочу* и быть без тебя *не могу*. Но мне нужно многое забыть окончательно, а не возвращаться так рано на место старых пыток. Поеду к тебе, если это свидание состоится, с радостью бесконечной. Думаю, что после этой встречи буду иной, уверена, что буду живой опять. Но с чувством радости и обновления хотела бы вернуться за границу, а не остаться уже окончательно в России. Потом, — я расхвораюсь сильнее в России. С июня я хочу жить в Бретани на берегу океана. Какие «московские дачи» могут заменить океан? Я ненавижу их. Я говорю сейчас, м<ожет> быть, о слишком далеком. Но ведь если в феврале мы увидимся и я еще ненадолго заеду в Москву, — все это займет месяц. Будет уже март, желтые закаты, весенняя московская тоска.... Не могу! Я на весну вернусь в Париж, потом в Бретань и осенью *окончательно* — к тебе. Ты говоришь — я живу бессмысленно и бесцельно. Но при чем тут собственно Париж? Все это исходит единств<енно> из состояния души, а Париж как таковой, кроме приятного, мне ничего не дает. Не могу сейчас, и *уже навсегда*, остаться в старой обстановке. Я вернусь сюда после встречи с тобой — *живой*, и эту жизнь продлить и сохранить легче *здесь*, чем там. Первый раз сегодня получила и от Сережи письмо со словами «вернись». Письмо милое, трогательное, и я его очень ценю, потому что мое присутствие, кроме огорчений, ничего Сереже не дает. И ему я отвечу так же, как тебе, — вернусь, но не сейчас. Встреться со мной без условий, без требований, посмотри на меня, — мы не видались так давно. Ты увидишь сам, *что мне нужно* и как *лучше* для меня. Больше всего меня, несмотря на все твои слова, пугают лето и весна. *В эти месяцы* около или более или менее вблизи тебя (если ты будешь по-прошлогоднему) я опять начну томиться давней несбывшейся мечтой.... Нет, Валерий, — этого не надо! Ты думаешь, что за моими словами скрываются обещания, данные Robert? О, уверяю, нет! Если бы у меня была возможность, я после свидания с тобой поехала бы *одна* в

бесконечное путешествие до того часа, когда мы встретимся вновь. Но так как этого нельзя, то наилучшим мне кажется все же вернуться за границу. Потом, — я очень не люблю сейчас Россию. Мне было бы тягостно *вообще* с моей еще очень и очень надломленной душой. Но увидеть тебя *я хочу* бесконечно. *И эта встреча сама собой без решений заранее определит все.* Ты теряешь меня из вида, часто говоришь обо мне какие-то неверные слова, и я не могу оправдаться, не могу сказать всего только в письмах, в письмах. Милый Валерий, я тебя бесконечно люблю, но не будь со мной суровым. Я живу плохо, правда, иногда тебе может казаться, что моя жизнь этих месяцев — настоящая гибель, но оглянись в прошлое, — около тебя (о, я не виню тебя — это рок) я слишком надрывала все силы, без жалости расточала душу и без страха шла на все страданья. И вот я устала, может быть, только устала.... На все твои вопросы, обвинения, призывы, укоры, на нежность и суровость, на всё, — мне хочется ответить только теми же строчками Белого:

О, любите меня, полюбите, —
Я, быть может, не умер, быть может,
проснусь —
Вернусь...[5]

Встреться со мной! Дай увидеть твои глаза! Я не хочу их забыть, они сияли мне так долго! В этом миге для меня будет жизнь и воскресение. А что потом — мы увидим оба, узнаем сейчас же. Поверь правде этих минут. Я скажу тебе много, чего не умею, не умею передать в письме, и ты увидишь меня, услышишь мою душу, все поймешь.

Милый, я тебя люблю больше и иначе, чем прежде. Дай увидеть тебя! Мы запутаем правду в письмах, мы скоро потеряем ее в хаосе недосказанных мыслей. Письма дают так мало. Посмотри мне в глаза! Они долго смотрели в тьму, но для тебя остались попрежнему ясными, *твоими* всегда, обращенными к одному тебе в мире. —

Пиши мне. Все, обо всем. Я вовсе не охладела к твоим интересам, но далеко это все, и давно уже оторвана я от вашей жизни. Поверь, — все, что я говорю, — говорю искренно, не уклоняясь от решительных ответов. Но что я сказала бы еще? Устала ***очень***. Минутами только хочется заснуть около кого-то нежного, милого. О, если бы хотя на миг это был ты!.. Эта усталость оправдана моим прошлым, не кори меня за нее слишком беспощадно. —

Спасибо за «Франческу»[6]. Читала, нравится местами очень. Но отвыкла много говорить о прочитанном, и еще у меня в этой области появились какие-то странные, еретические мысли. Все вижу и воспринимаю под иным углом, чем раньше. Но говорить об этом громко еще не решаюсь.

Не думай, — не делаю давно уже ничего «безумного». Смотрю Париж, но не с Монмартра. Да и Robert в этом смысле плохим стал спутником. В ресторанах рыдает и очень доволен быть дома. Явно развиваются семейственные наклонности.

Париж начинаю любить очень. Двигаюсь теперь в нем совсем свободно, пользуюсь всеми путями сообщений очень легко. Хвораю сейчас не остро и, уверяю тебя, не делаю ничего для себя пагубного. Даже не пью обычного французского вина за обедом. Три дня уже холодно, совсем зима, французы страдают и мерзнут.

Пиши мне! Все твои письма, даже самые суровые, меня радуют и дают возможное ощущение твоей близости. Письма из России от всех друзей, кроме тебя и частью Сережи, — один сплошной вздох и печаль. Отчего это в России всем так скверно? Здесь живут лучше, на улицах ни нищих, ни угрюмых лиц. Или они перестали всё чувствовать, или скрыли так глубоко, что не увидишь. Один молодой француз в ночном ресторане (это было давно) уверял меня, что «их страдан<ия> глубоки», но они слишком горды, чтобы показывать. Правда ли это?

Целую тебя, дорогой. Не сердись на меня. Я тебя очень люблю.

Твоя

P.S. Преодолела себя, — пошла недавно к Бальмонт, но опять его не застала. Уехал куда-то дня на 4. Боюсь его и не хочу видеть.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю: Paris. 23.I.09; Москва. 15.I.1909.

[2] Имеется в виду п. 214.

[3] Строка-рефрен из стихотворения Блока «В октябре» («Открыл окно. Какая хмурая...», 1906): «Всё, всё по старому, бывалому» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 129).

[4] Ср. п. 214, примеч. 7, 8.

[5] Заключительные строки стихотворения «Друзьям» (см. примеч. 2 к п. 182).

[6] См. п. 208, п. 213, примеч. 4.

218. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

11/24 января 1909 г. Москва[1]

11/24 янв. 1909

Нина, милая! Вчера послал Тебе ответ на длинное Твое письмо[2]. Ты получила? Пишу в нем то же, что говоришь Ты: встретиться нам надо. Лучшим мне кажется, чтобы Ты приехала в Петербург и оттуда мы проехали бы в Гельсингфорс. Все это можно было бы устроить между 8 и 15 февраля ст. ст. Жду Твоего ответа.

Очень, очень, очень, очень — хочу Тебя видеть. Надеюсь, верю, что удастся мне отнять Тебя у той страшной апатии, в которой, кажется мне, Ты медленно и верно тонешь. Хочется мне сказать и показать Тебе, что для Тебя и *для нас двоих* жизнь есть, должна быть. Хочется мне сказать Тебе, что я Тебя люблю, люблю хорошо, по-настоящему, как надо любить. Хочется обнять Тебя и поцеловать, и заботиться о Тебе, как об усталой и больной девочке.

Приди ко мне.

Последнее время я много переводил стихов из французских поэтов — для одного издания, предпринятого «Пантеоном»[3]. Посылаю Тебе одно стихотворение Марселины Деборд Вальмор. Когда-то раньше я перевел его для II вып<уска> «Русс<ких> Символистов». Но, конечно, только теперь, в новом переводе, сумел передать его смысл[4].

Читала ли Ты «Франческу»?

Обнимаю Тебя. Твой

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду п. 216.

[3] Речь идет об издании: Французские лирики XIX века / Пер. в стихах и биобиблиографич. примеч. Валерия Брюсова. СПб.: Пантеон, 1909. В письме к М.С. Фарбману от 12 января 1909 г. Брюсов сообщал, что высылает рукопись «Французских лириков» «сегодня или самое позднее завтра» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 47).

[4] Речь идет о переводе стихотворения французской поэтессы Марселины Деборд-Вальмор (Desbordes-Valmore; 1786—1859) «Une lettre de femme» («Les femmes, je le sais, ne doivent pas (écrire...»), вошедшем в антологию «Французские лирики XIX века» под заглавием «Письмо женщины» («Я знаю, женщинам не следует пи-

14. Заказ № 795.

сать...»); первоначальная редакция перевода четырех строф этого стихотворения под заглавием «Из письма (Марселины Вальмор)» («Милый, прости, что хочу повторять...») была опубликована в сборнике «Русские символисты» (Вып. 2. М., 1894. С. 25) и позднее включена в книгу «Juvenilia» (I, 40—41). См.: Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова. М., 1994. С. 194—195, 770, 824, 871 (комментарии С.И. Гиндина). Присланный автограф стихотворения при письме отсутствует.

219. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

12/25 января 1909 г. Москва[1]

12/25 янв. 1909

Нина, дорогая!

А музеи Ты все-таки посети: право, стоит. Хотя бы Лувр и Люксембургский[2]. Все же там собраны создания единственные, которых дважды человечество не создает. Заставь себя встать раньше 9 и поезжай. Я не верю, чтобы было такое состояние души, которого не преодолеет нежная ласковость фресок Боттичелли (на лестнице Лувра) или роскошь Веласкеса[3]. Сделай это для меня, — очень прошу.

У нас сегодня Татьяна[4]. Меня это не касается. Вчера вернулся из Италии С.А. Поляков. Это меня очень касается. Еще не видал его. Напишу Тебе все, как только наша с ним встреча и беседа состоится.

Письмо это пустое — прости. Сижу в «Весах»; сегодня приемный день. Гофман[5], Эллис, Ликиардопуло. Они говорят. Писать серьезно нельзя. А хочется сказать Тебе, что Тебя помню, о Тебе всегда думаю. Жду нашего свидания.

Обнимаю Тебя. Твой

Валерий.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. п. 211, примеч. 5.

[3] Подразумеваются две аллегорические фрески из виллы Лемми (ок. 1485) флорентийского живописца Сандро Боттичелли (наст. имя Алессандро Филипепи; 1445—1510). Из работ испанского живописца Диего Веласкеса (1599—1660) в коллекции Лувра — портреты инфанты Маргариты и королевы Марианны.

[4] Татьянин день (25 января ст. ст.), традиционно празднуемый студентами Московского университета, который Брюсов кончал, как день его основания.

[5] Поэт, прозаик, критик Виктор Викторович *Гофман* (1884—1911).

220. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

12/25 января 1909 г. Париж[1]

Париж 25/13 января[2]

Милый Валерий, получила много твоих открыток и длинных писем. На последнее ответила. Ты его уже, вероятно, получил[3]. Ах, не укоряй меня, что редко пишу! И сейчас бы хотела сказать много, но не могу. Тоска! Хочется закрыть глаза и не двигаться, не думать. Есть дни (и их много), когда я чувствую себя усталой с утра, без причины. Так и сегодня. Ходила по улицам часа 3. Предвесеннее солнце, тепло. Идешь и минутами забыва<ешь> — где, зачем... Не сердись на меня, я не умею жить без тебя! Сегодня первый раз за все время видела тебя во сне — ты мне дал большой золотой сломанный крест. Даже просыпаясь уже, чувствовала его в руках, — холодный, тяжелый. Милый, как я хочу тебя видеть! Но этого томленья не передашь словами. И когда я начинаю писать тебе, не могу выразить почти ничего. Напиши. Я люблю тебя.

Твоя

Расскажи мне подробно о твоих делах с «Весами». Неужели ты будешь принужден их бросить, уйти? Пиши, мне все интересно. Не думай, — я не забыла о тебе ничего. *Ответь мне, — увидимся ли мы скоро*? Ах, как это нужно!

---

[1] Написано на видовой открытке: Paris. La Ruc de Rivoli.

[2] Ошибка при переводе с нового на старый стиль.

[3] Имеется в виду п. 214.

221. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

14/27 января 1909 г. Париж[1]

Париж 14/27 января

Дорогой, дорогой Валерий,

вот сейчас, утром получила твое письмо, и я радуюсь *в первый раз* за все это время. Встреча с тобой после этих долгих месяцев мне кажется совсем чудом. После разных «безумств» в последние дни всеми моими мыслями и чувствами (правда, еще очень затуманен-

ными) я вернулась к тебе одному. Мне не хочется думать, *как* будет после, — но видеть тебя я хочу, хочу! Ты говоришь — «в Гельсингфорсе», спрашиваешь, «не страшно ли это?». О, нет, — это лучшее, что можно придумать. В Петербурге не дадут нам настоящего покоя. Я боюсь видеть когда-то знакомых людей, боюсь очутиться в каком-нибудь «центре» русской жизни, но остаться *с тобой, где* и *как* ты хочешь, мне кажется только счастьем, невозможной радостью. И поехать на свидание к тебе в Россию меня тоже не пугает. Многие тысячи верст, сделанные мною в этом году, научили меня считать вагон почти своей квартирой — это внешнее. А в остальном — и я бы не хотела видеть тебя в Париже по многим, многим ощущениям, которые уже навсегда останутся неизгладимыми и по-своему тяжелыми. И если мне придется в нем еще долго жить *одной*, то это легче, не встречая тебя здесь, не отравив души новыми воспоминаниями о тебе. Ты говоришь: «Ты в Париже не одна...» Ах, думай об этом меньше всего! Одной *совершенно*, не имея возможности даже разговаривать с людьми время от времени, — очень трудно жить. Потом в этой встрече есть что-то непохожее на все остальное прежнее, что доставляло тебе боль. Я расскажу тебе, если сумею, если найду настоящие точные слова. Своей поездкой я причиню ему очень большое горе. Но, кажется, иным способом, иначе как через чью-нибудь печаль, нельзя получить радости. И об этом я тоже думаю меньше всего!

Милый Валерий! Мой прежний «зверочек».... Должно быть, уж *это* навсегда. Вот дни и месяцы, и туманы, и пространства, и разные тени, миражи и кошмары, которые по временам закрывали в памяти твой образ, а мы вопреки всему *вместе*, больше и ближе, чем в первые годы. Да, *больше* и *ближе*, — это мне очевидно, и это тоже чудо, может быть, самое чудесное из всех, что знали мы оба.

Напиши мне еще. Я получаю здесь твои письма всегда на 5-й день, даже заказные. Ты знаешь, Сережа писал мне о тебе, самые нежные слова, на какие способен, забыв все прежнее. Я покажу тебе когда-нибудь это письмо. И не было в них ни одной из прежних нот, которые звучали иногда в Ваших «дружеских» разговорах, так что ты *не мсти* ему за это. Когда он не видит нас вместе и не озлобляется на тебя за меня, он видит тебя очень ясно и отчетливо, и звучит в нем какая-то одна струна, органически сродная с тобой. И на это ты не обижайся... Целую тебя, милый, и говорю да,

да, да! Увидать твои глаза, поцеловать твои руки, еще раз ощутить хотя на минуту *жизнь*, — Боже мой, могу ли я сказать *нет*!

«Мои именины»[2] провожу пока никак. Завтракала обычно с Надей, а в 3 часа придет из Ecole*[3] французский ребенок и, должно быть, будет плакать сегодня...

Милый, целую тебя нежно, и я только

Твоя

[1] Ответ на п. 216. Почтовые штемпели: Paris. 27.1.09; Москва. 18.1.09.
[2] Написано в день именин.
[3] Имеется в виду Ecole Polytechnique, где учился Robert.

222. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

15/28 января 1909 г. Москва[1]

15/28 янв. 1909

Нина, дорогая!

Сейчас получил Твой «определенный» ответ на все мои просьбы и предложения. Ты пишешь, что встретиться со мной хочешь, но после намерена вновь вернуться в Париж. В моем предыдущем длинном письме[2] на эти слова уже есть ответ: пусть будет так, как Ты захочешь *после* нашей встречи. Ничего не предрешаю, ничего не требую. Мы встретимся, чтобы увидеть друг друга, и уже вместе решим, как быть, «как жить» далее.

Итак, теперь остается только выяснить все подробности, — где и когда мы встретимся. Напишу Тебе об этом в один из ближайших дней, как только мне самому это станет ясно и явно. Пока моя будущая жизнь еще очень в тумане. Ни мое положение в «Весах», ни мои отношения к «Русской Мысли»[3] еще не определились, а от этого зависит, как буду я иметь возможность располагать своим временем. С.А.[4], приехав, захворал, и я его не вижу. С.В. Лурье (издатель «Русс<кой> Мысли»[5]) сейчас за границей и вернется на днях. Во всяком случае, я хочу выехать из Москвы *не позже* 10/23 февраля; Тебе же, следовательно, придется выехать дня на три раньше.

В последнем Твоем письме есть спокойствие и ясность, которых слишком часто недостает Твоим письмам. Говорю, конеч-

*Школы (*фр.*).

но, не о «ясности» литературной, но о ясности духа. Да будет она с Тобой всегда! Чувствую пред Кем-то великую ответственность за Твою душу и счастлив, когда различаю, как редеет вокруг нее тот хаос, в котором она порою исчезает. Ах, если бы над Тобой небо было ясно, сине и прозрачно!

Очень, очень *верю* в нашу встречу, — не в то, что она состоится (это зависит просто от нашей воли), а в то, что она даст нам что-то новое, нам даст *нас*. Очень хочу ее, очень жду ее.

Целую Тебя, если ты хочешь моего поцелуя.

Я — Твой Валерий

---

[1] Ответ на п. 217. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеется в виду п. 216.

[3] См. примеч. 2 к п. 216.

[4] С.А. Поляков.

[5] Семен Владимирович *Лурье* (1867—1927) — философ, публицист; в 1908—1911 гг. входил в редакцию «Русской мысли».

223. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

16/29 января 1909 г. Москва[1]

16/29 января 1909, 12 ночи

Нина, дорогая!

Сейчас нежданно получаю записку от В.Ф. Ком<м>иссаржевской[2]. Конечно, я не думал, что она в Москве, да вообще не полагал с ней встречаться более. Зовет прийти, говоря, что очень нужно меня видеть. Иду не без волнения. Что будет, расскажу в письме завтра. Авось в письме не возникнут таинственные слова «кажется твой». Я твой подлинно, и хочется мне верить в твою обычную подпись — «твоя».

Обнимаю тебя.

Валерий.

---

[1] Машинопись; подпись — автограф.

[2] 16 января В.Ф. Коммиссаржевская приехала в Москву для встречи с Брюсовым. Текст ее записки: «Сегодня. Нежно прошу твою память не отнимать у тебя ничего. Люблю твой рассудок. Я здесь» (*Рыбакова Ю.П.* В.Ф. Коммиссаржевская. Летопись жизни и творчества. СПб., 1994. С. 426).

224. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

18/31 января 1909 г. Москва[1]

18/31 янв. 1909

«Кажется твой — нет». Помнишь, Нина, так телеграфистка самовольно передала Тебе мои слова из Петербурга. Были минуты, когда я готов был и сам написать Тебе что-то подобное. Никогда не думал я, что есть у *нее* столько надо мной власти[2]. Ах, все, что Ты говорила о моей жене, все это — пустяки и «вздоры». Несмотря на разные мои признания (сделанные мною больше в укор Тебе*, чем по внутренней правде), всё же все мои отношения к моей жене** *только внешние*. Клянусь в том торжественно. Я ее очень «люблю», правда; у меня никогда не достанет воли и духа причинить ей большую скорбь, правда. Но разве в том дело? Но единственная, кто может повлечь меня в хаос и безумие***, — это она. Тебе я говорю это, Нина, потому что хочу Тебе говорить все. Повтори со мной мою *молитву*: «Да не будет!» Хочу не хаоса, не безумия; хочу гармонии и стройности *с Тобой*. Хочу любить Тебя, хочу, чтоб Ты меня любила, хочу, чтобы мы были вместе! Ах, как мне надо было бы сейчас прийти к Тебе, стать перед Тобой на колени, говорить Тебе, слышать Твой голос, поцеловать Тебя. И это будет, скоро, ведь так? *Хочу быть с Тобой.*

Твой**

Валерий.

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Подразумевается В.Ф. Коммиссаржевская. После встречи с Брюсовым она возвратилась 18 января в Петербург, откуда отправила ему письмо: «Новый день. Шлю звук песни, которую споет тебе моя душа. Подъезжаю к Петерб<ургу>. Хочется, надо твоего звука. Твоя *Хаос*» (*Рыбакова Ю.П.* В.Ф. Коммиссаржевская. Летопись жизни и творчества. СПб., 1994. С. 426).

---

* *Фрагмент текста: «Ах, все... в укор Тебе» — подчеркнут красным карандашом.*

** *Последующий текст (до слова «торжественно») подчеркнут красным карандашом.*

*** *Слова: «кто может повлечь меня в хаос и безумие» — подчеркнуты красным карандашом.*

**** *Подчеркнуто 4 раза.*

225. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

18/31 января 1909 г. Москва[1]

18/31 января 1909

Нина, дорогая!

Сейчас получил Твое нежное, милое, хорошее, бесконечно дорогое мне письмо, которое Ты писала в день своих именин. Благодарю, целую, радуюсь. Прости мне два моих последних письма, писанных под влиянием встречи с Ком<м>иссаржевской[2]. Она — тоже только тень над моей жизнью, или ее кошмар. Моя настоящая жизнь — Ты и только Ты. Люблю Тебя, сознаю это, понимаю это сегодня с особой отчетливостью. Люби меня, не предавай меня, приди ко мне. Жду нашей встречи с бесконечной жаждой.

Завтра напишу все подробности о нашей встрече, уже совсем близкой.

Твой навсегда Валерий.

[1] Ответ на п. 221. Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Имеются в виду пп. 223 и 224.

226. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

20 января / 2 февраля 1909 г. Москва

20 янв. / 2 февр. 1909

Нина, дорогая!

Получаю Твои нежные, хорошие письма, радуюсь на них, как не радовался уже давно ни на что. Милая, хорошая — будь, останься такой! Такой я хочу тебя! — Сегодня мне так стыдно двух писем, написанных под влиянием приезда Ком<м>иссаржевской[1]. Мне очень больно, если они Тебя огорчили. Завтра — в день, когда, по моим соображениям, должно будет прийти первое из них, — пошлю Тебе телеграмму о том, что люблю Тебя. Таков смысл этой телеграммы, которую Ты уже прочла пять дней раньше этих строк.

Поговорим о нашей встрече. Я хочу выехать из Москвы 9/22 февраля в понедельник и в Петербурге буду 10/23. Рассчи-

тай свой отъезд так, чтобы быть не позже того же дня или раньше на день. В Петербурге буду я занят очень мало (часа по два — в течение 2, 3 дней), так что все время будет наше. А зачем нам терять хотя бы один день? — Притом приезжай непременно в Петербург *прямо*, так и билет возьми в Париже: Париж — Петербург. *Не надо*, чтобы Ты коснулась Москвы. Это отравит всю Твою душу. Сделай так для меня, это моя большая просьба, поезжай прямо в Петербург. Думаю, что Твоя Надя (прости, что так ее называю) сумеет и сможет ехать одна по России.

В Петербурге я хочу остановиться в *Северной Гостинице*, против Николаевского вокзала. Ты ее хорошо знаешь. Она не лучше других, но привычнее мне. А главное, в ней *всегда* есть свободные комнаты. Нужно, однако, предвидеть и тот случай, что в Сев<ерной> Гост<инице> комнат не окажется. Тогда я поеду в гостиницу «Англия» на Морской (так, кажется, ее имя? Ты знаешь[2]), — а в *Северной* оставлю у швейцара свой адрес. Кроме того, на случай если бы этот адрес до Тебя не дошел, ежедневно в *12 час<ов> дня* и в *5 час<ов> веч<ера>* буду ждать Тебя в Пассаже (против Гостиного двора). Совершенно так же поступи и Ты, если приедешь раньше моего, т.е. остановись в *Северной гостинице*, если там не будет комнат, в *Англии* на Морской (оставив адрес в Северной) и *ежедневно* жди меня в *12* и *5* в Пассаже. Ведь страшно будет, приехав в Петербург, не встретиться там... Я передам Тебе при разговоре подобный трагический случай, рассказанный в записках де-Квинси[3]. — *В крайнем случае*, если не найдешь меня в Пб., телеграфируй своему Сереже: я тоже сообщу ему по телеграфу свой адрес и спрошу Твой.

В конце нашего января я вышлю Тебе 400 fr<ancs>. Будет ли это Тебе достаточно, чтобы доехать *до* Петербурга? Напиши откровенно.

И вообще ответь, что письмо *это* получила и все условия встречи поняла. На всякий случай все, что пишу сегодня, повторю еще завтра. А то, «не ровён час», нужное-то письмо и затеряется.

14 февраля ст. ст. назначена продажа моего дома (фиктивная)[4]. Рождественский и Сережа уверяют меня, что мое присутствие *не* нужно. Окончательно уверюсь в этом на днях. Если бы оказалось иначе, пришлось бы мне свой отъезд отложить до 15/28 февраля.

Письмо все наполнено делами. Прости. Скоро будем говорить не на бумаге, но лицом к лицу, взявшись за руки. Совсем скоро. Целую Тебя. Люби меня. Приезжай ко мне.

Твой всегда

Валерий.

---

[1] Имеются в виду пп. 223 и 224.

[2] Гостиница «Англия» — на Вознесенском пр., дом 10 (напротив Исаакиевского собора).

[3] Герой романа английского писателя Томаса Де Квинси (De Quincey; 1785—1859) «Исповедь англичанина, любителя опиума» («Confessions of an English Opium-eater», 1821), простившись со спасшей его девушкой, проституткой Анной, не смог потом отыскать ее в лабиринте лондонских улиц. См.: *Де Квинси Томас.* Исповедь англичанина, любителя опиума. М., 2000. С. 52—53.

[4] Дом семейства Брюсовых (Цветной бульвар, 24).

227. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

21 января / 3 февраля 1909 г. Париж[1]

Париж 21/3 февраля

Дорогой Валерий,
ты испытываешь меня жестоко. Мне казалось, что все уже кончено, особенно после второго твоего письма, где ты говоришь о «хаосе». Я знаю, что значит *для тебя* это слово! И вот с чувством бесконечной горечи послала тебе телеграмму[2]. Мне казалось, что *она*[3] пришла как окончательное решение моей судьбы. Никогда бы я не вернулась уже в Россию, никогда бы не написала тебе ни одного слова. Ах, я не знаю, *что* бы пришлось еще пережить! Вчера был ужасный вечер, и я не знаю, что лучше, — томиться у телефона 209—04 или тенью бродить по парижским улицам... Сегодня я послала тебе ответную телеграмму, — она сурова, но не сердись, а пойми ее суровость, — и получила твое коротенькое милое письмо. Валерий, Валерий, ты страшный! В самые лучшие минуты в твоей душе возникают какие-то дикие образы и странные томления. Тебе захотелось «безумия»? *Я проклинаю его* и для себя и для тебя — равно. Мы давно миновали этот путь, не сам ли ты говорил мне это много раз? Боже мой, как я хочу увидать тебя! Мертвые, безжизненные письма, я разучилась говорить в них много, не умею почти выражать ни радости, ни горя. Слишком давно мы не видались. Милый, я жду тебя очень, очень. Один вечер свиданья

скажет нам больше, чем все эти бессильные, жалкие строчки за ½ года. Ты знаешь, как давно мы не видались? Ведь в Намюре была не я, а какое-то измученное чудовище. Теперь ты *увидишь меня*, я знаю, я недаром прожила все эти дни и месяцы без тебя. Если бы ты видел меня в последний месяц, если бы мог проследить много дней, — ты не упрекнул бы меня ни в чем. Все «тени и кошмары», как укрощенные звери, спрятались в далекие темные углы. Robert — это иное. В жизни с ним нет никакого «безумия». Он так же создает мне какую-то тихую простую жизнь в Париже, как тебе в Москве жена. Он — «ласковая донна», образ нежный, милый и трогательный в своей детской любви. До какой степени пережиты многие прежние формы, мне стало особенно ясно в вечер, который провела я с Бальмонтом. Бальмонт стал проще, яснее и лучше, но он кажется душой моложе многих из нас и все еще ходит по старым дорогам. Сначала все было очень хорошо и даже по-буржуазному очаровательно, — дружески обедали все вместе, меня очень все они, до Ниники[4] включительно, ласкали, потом пришли «гости», и Бальмонт мне предложил «*немножечко* пройтись перед чаем». Я забыла старого Бальмонта и не поняла, что это значит. Кончилось все это «скоч-виски», бесчисленными кафэ, знакомствами с какими-то людьми, ну, словом, обычная картина «Бальмонтизма». Едва-едва я увела его домой к 2 часам ночи, откуда он, конечно, через ¼ часа убежал. Как мне было скучно, Валерий! Просто скучно до сна. Скоро я буду *с твоей* суровостью отрицать все это совершенно[5]. Неужели медленно, медленно, но все же я иду к полной близости с тобой во всем? Бальмонт просил тебе написать, что он тебя любит, очень, нежно. Я это делаю в точности. А ты уж принимай как хочешь. К счастью, его сейчас в Париже нет. Уехал на неделю к Елене[6], она живет поблизости (этого не говори в Скорпионе, — ясно же будет, что известно от меня). Нет, и Бальмонт пережит, а еще недавно быть с ним казалось интересным, и он казался необычайным. Последнее время каждый день смотрю картины, — чувствую себя чуть-чуть здоровее. Вчера предприняла длиннейшее путешес<твие> на Père Lachaise[7], по традиции посещаю кладбища во всех городах. И попала, можно сказать, удачно. Там ждали покойника и была растоплена в крематориуме печь. За франк мне все это показали и рассказали механизм сжигания, а потом, когда привезли его, я в первый раз видела страшный желто-черный дым из огромн<ой> трубы. Но я разочарована, — оказывается, вся процедура длится *50* минут. Боже мой, да это целая вечность! А потом все-таки какие-то остатки, — ящик с

пеплом, его хранят. Должно быть, нельзя истребить человека бесследно. Впечатление сильное и странное. Если буду умирать в Париже, — все-таки непременно велю меня сжечь. Милый, прости пестроту моего письма — и о Бальмонте, и о крематориуме, и Бог знает о чем. После двух дней, очень жестоких дней — я немножко ожила сегодня и мне хочется по-детски болтать. Сегодня единственная среда без Robert. Держит экзамены, учится. Огорчен он возможностью моего отъезда безмерно.

Целую тебя, милый, хороший зверочек. Ах, останься со мной, разлюби твои «кошмары и тени», как я разлюбила мои в моей жизни. Может быть, после долгих мук в первый раз возникает для <нас> действительно новая, прекрасная жизнь. Поверь в нее! Поверь и в то, что мы *не можем* расстаться. Нежно обнимаю тебя.

Твоя.

---

[1] Ответ на пп. 223, 224, 225. Почтовые штемпели: Paris. 4.2.09; Москва. 26.1.1909.

[2] Текст телеграммы неизвестен.

[3] Подразумевается В.Ф. Коммиссаржевская.

[4] Дочь Е.А. и К.Д. Бальмонтов Нина Константиновна Бальмонт (в замужестве Бруни; 1901—1989).

[5] Ср. в письме Брюсова к З.Н. Гиппиус (начало февраля 1902; черновик): «Недавно в Москве был Бальмонт. Я провел с ним 36 часов. Бальмонт осуществил в себе то, о чем я мечтал, бывало. Он достиг свободы от всех внешностей и условностей. Его жизнь подчиняется только прихоти его мгновения. <...> Он ликовал, рассказывал мне длинные серии все того же — о соблазненных, обманутых и купленных женщинах. Потом мы всячески опьяняли себя, и были пьяны, и совершали разные "безумные" поступки <...> Довольно, я больше не рассчитываю фабриковать так дешево сверхчеловека» (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 290 / Публ. и подгот. текста М.В. Толмачева, вступ. заметка и коммент. Т.В. Воронцовой).

[6] *Елена* — Елена Константиновна Цветковская (1880—1943) — возлюбленная Бальмонта, позднее его третья жена.

[7] *Пер-Лашез* — самое большое парижское кладбище (заложено в 1803 г.), где похоронены многие знаменитые деятели французской культуры и истории.

228. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

22 января / 4 февраля 1909 г. Москва[1]

22 янв. / 4 февр. 1909

Нина, дорогая!

Получил Твою ответную телеграмму[2], но понимаю ее плохо. В чем Ты меня упрекаешь? В чем Ты мне не веришь? И если я

со всей искренностью написал Тебе о моей встрече с Ко<м>миссаржевской, — то не доказательство ли это нашей настоящей близости с Тобой и настоящей моей любви? Как я всегда видел доказательство Твоей любви ко мне в том, что Ты писала мне *все* о своих встречах, о своих часах с Робером. Но дело в том, что по всем моим расчетам Твоя телеграмма (первая) была послана раньше, чем Ты могла получить мое письмо о приезде Ко<м>миссаржевской[3]. И когда я думаю об этом, я вновь перестаю понимать что бы то ни было.

Нина! Нина! Повторяю Тебе: столько у нас с Тобой горького и трудного, что не нам мучить друг друга по пустякам! Боже мой, как я радовался на Твои последние письма, добрые, ласковые, радостные! Как радовался и утешался мечтой о нашей встрече. Неужели «испытание» наше было мало, чтобы его могло зачеркнуть какое-то мое письмо или какое-то Твое подозрение? Если я верю Тебе и люблю Тебя на расстоянии этих тысяч верст, после всех Твоих страшных слов, после всего страшного, что порою я о Тебе думаю, неужели Ты должна отвергать и отрицать меня за то, что — — — да даже не знаю, за чтó, собственно, Ты хочешь отвергать меня! Вслушайся в мои слова, Нина, вспомни все, все, что я писал Тебе за эти три последних месяца, вспомни все, что Ты сама писала мне в ответ, — и улыбнись мне опять, и скажи мне опять те ласковые, ясные слова, которые делали меня почти счастливым...

И опять, Нина, изо всего этого один вывод: нам надо, нам необходимо увидаться. Не расскажешь всего в письмах. Мне нужен мой голос, мои глаза, чтобы сказать Тебе все, что я хочу сказать. Мне нужно видеть Тебя, слышать Тебя, чтобы понять, чтó Ты говоришь. Нам нужно сблизить руки, сблизить губы, чтобы понять друг друга. Мы теряем друг друга из виду. Мы попадаемся в какие-то детские западни, запутываемся в бессмысленных недоразумениях. Верю, верю, верю, что все станет ясно, все станет хорошо, когда мы будем рядом. Нина, любимая моя, единая моя, — приди.

Чтó бы ни было, чтó бы Тебе ни показалось, я *всегда*

Твой

Валерий.

P.S. В прошлом письме я писал Тебе о подробностях встречи[4]. Я думаю быть в Петербурге во вторник *10* февраля ст. ст. (23 февраля). Хотелось бы, чтобы Ты приехала в тот же день или

днем раньше, т.е. в понедельник. Условимся остановиться в Северной Гостинице (против Николаевского вокз<ала>); если же там не будет мест, то в гостинице «Англия» (*Исаакиевская площ<адь>* *). На всякий случай свой *адрес* надо будет оставить непременно в *Северной г<остинице>*. Если бы случилось, что мы почему-либо разъехались, я предла<га>ю как место встречи *Пассаж*, где я ежедневно буду ждать Тебя в 12 дня и 5 веч<ера>. В крайнем случае телеграфирую свой адрес в Москву Твоему Сереже, надеясь, что он будет знать Твой петербургский адрес.

Приди!

Твой

В.

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».
[2] См. п. 227, примеч. 2.
[3] Имеется в виду п. 223.
[4] Имеется в виду п. 226.

229. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

25 января / 7 февраля 1909 г. Москва[1]

25 янв. / 7 февр. 909

Как часто обрывается связь между нами, Нина. Вот опять я не знаю, где Ты, чтó Ты, чтó можно, чтó надо говорить Тебе. Опять начинаю бояться нашей встречи. Будь что будет! Знаю одно: эта ожидаемая встреча решит *нашу* судьбу, поскольку мы «двое», уже навсегда. Жду покорно.

Я давно ничего не писал Тебе о себе. Да и нечего было. С.А. Поляков приехал и вскоре захворал; потом он выздоровел и захворала его жена. В общем, видел его всего раз — часа на два. Сколько кажется, положение определилось такое: «Весы» издаваться будут, но я не буду их редактировать. Остаюсь лишь одним из «ближайших сотрудников»[2]. Редактировать официально берется сам С. А., но сведется это, конечно, к тому, что буду<т> «Весы» выходить под редакцией М.Ф. Ликиардопуло. Думаю, что от этого они *не станут хуже*, чем были, потому что все в них заведено на несколько лет. Но, разумеется, они *не станут лучше*, а это — смерт-

*Это *вернее*, чем Морская, как я писал раньше.

ный приговор. Живо только то, что идет вперед, что становится «лучше». Что ж делать! Более я не мог приносить себя, свою душу, свою деятельность и свою гордость в жертву «Весам».

Оставив «Весы», я занялся приготовлением к печати разных, давно задуманных книг. В течение 1909—1910 года хочу напечатать их *двенадцать* (считая вторые издания «Ангела» и «Оси»[3]). Не правда ли, достаточно? Пишу повесть «Семь смертных грехов» — из «будущей» жизни, о которой говорят, что я в ней специалист[4].

Завтра, быть может, придет Твое письмо, объясняющее Твою телеграмму. Тотчас отвечу подробно. Целую Тебя. Пиши мне эти последние перед встречей дни (я еще получу письма, которые Ты пошлешь 12, 13 и, может быть, 14-го февр<аля> нов. ст.). Люби меня. Твой Валерий[5].

...У любви есть слова, те слова не умрут!
Нас с тобой ожидает особенный суд!
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить![6]

Помнишь ли Ты эти стихи, Нина! Нина! любимая моя!
В.

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] К такому решению Брюсов пришел в ходе январских переговоров с С.А. Поляковым. «Письмом в редакцию» Брюсов оповестил об отходе от руководства журналом (Весы. 1909. № 2. С. 89).

[3] Второе издание «Огненного Ангела», исправленное и дополненное примечаниями (М.: Скорпион, 1909), вышло в свет в конце августа — начале сентября 1909 г.; второе, дополненное издание книги Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901—1907)» (М.: Скорпион, 1910) — в начале октября 1910 г. Исполннть в задуманном объеме издательские планы Брюсову не удалось, в 1909—1910 гг. вышло 6 его книг (помимо названных, третий том «Путей и перепутий», два издания речи «Испепеленный» и сборник «Французские лирики XIX века»).

[4] Это произведение («Семь земных соблазнов. Роман из будущей жизни») осталось незавершенным. Брюсов опубликовал фрагменты из него под заглавием «Семь земных соблазнов. Отрывки из романа» (Северные цветы. Альманах пятый книгоиздательства «Скорпион». М., 1911. С. 169—220). См.: *Брюсов Валерий*. Повести и рассказы. М., 1983. С. 165—197, 354—355 / Примеч. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова; *Литвин Э.С.* Незаконченный утопический роман В.Я. Брюсова «Семь земных соблазнов» // Брюсовские чтения 1973 года. Ереван, 1976. С. 116—140.

[5] Последующий текст — на отдельном листе; отправлен, по всей вероятности, в одном конверте с п. 229 (совпадают линии сгиба листов).

[6] Заключительная строфа стихотворения А.А. Фета «Alter ego» («Как лилея глядится в нагорный ручей...», 1878).

230. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

26 января / 8 февраля 1909 г. Москва[1]

26 янв. 8 февр. 1909

Нина, дорогая! милая!

Сейчас получил Твое письмо, объясняющее Твою телеграмму! Как хорошо, что все это так хорошо! Как хорошо, что все это только миг. Как хорошо, что Ты по-прежнему со мной! Люби меня и верь мне. Ах, верь мне среди всех сомнений! Как я верю Тебе тоже среди всех сомнений.

Сегодня же напишу еще. Сейчас еду к Вяч. Иванову, который зачем-то (хочется сказать «черт бы его побрал») приехал в Москву[2].

Итак, до вечера. Целую Тебя.

Твой

Валерий.

---

[1] Ответ на п. 227. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Вяч. Иванов приехал для выступления на заседании Московского Литературно-художественного кружка 27 января с докладом «О русской идее».

231. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

26 января / 8 февраля 1909 г. Москва.

26 янв. 8 февр. 1909, вечер

Нина, дорогая, любимая моя, радость моя!

Как радовался я сегодня утром на Твое письмо[1], и вот сейчас должен Тебе писать грустные вести. Наша встреча откладывается... Моя жена сегодня, гуляя на лыжах (без меня, я в этих гульбищах не участник), упала (с какой-то горы), *сломала себе руку* и вообще так расшиблась, что сейчас совсем больна[2]. Ты знаешь, что лечение сломанной кости занимает время около месяца. И почти очевидно, что еще месяц мне придется провести в Москве! Нина, Нина, хорошая моя! Вспомни, что *Ты осталась в Москве ради заболевшей Нади*, когда я ждал Тебя в Париже и когда от Твоего приезда могла измениться вся наша жизнь! Вспомни это, пойми меня и не осуждай меня! Пожалей меня, потому что эта отсрочка приводит меня в истинное отчаянье!

Милая, хорошая, дорогая, — сохрани в своей душе ту любовь ко мне, то желание меня видеть, которые горят в Твоих последних письмах ко мне. Пусть после этой новой разлуки, которую уже Судьба налагает на нас, после этих лишних дней (я думаю, лишних дней 10) мы встретимся только с большей радостью, с большей надеждой, с большей благодарностью к Кому-то, все-таки давшему нам эту встречу. Не знаю, что́ пишу. Может быть, вздор. У меня в душе все смутно. От Тебя жду успокоения, утешения. Мне будет слишком, слишком горько, если Ты упрекнешь меня... Ах, как я хочу Тебя видеть. Только сегодня, когда вдруг, уже не по моей воле, час встречи отложен, понял я, *до чего* я хочу Тебя видеть! Я плакать готов, думая, что в назначенный день не увижу Тебя, не услышу Твоего голоса, не поцелую Тебя.

Прости меня, Нина. Пожалей меня, Нина. Успокой меня, Нина!

Я буду писать Тебе *каждый день*, я хочу писать Тебе все, все, что со мной. И Ты хоть иногда отвечай мне. Ах, я думал, что сегодня напишу *последнее* письмо, на которое можно будет получить Твой ответ. Нет — еще не кончилось наше испытание.

Люблю Тебя! Люблю Тебя! Люблю Тебя!

Твой

Валерий.

Умоляю: напиши ответ на эти смутные строки — тотчас! Я *завтра* напишу все подробности и всё, что́ уяснится.

---

[1] Имеется в виду п. 227.

[2] Ср. сообщение в письме Брюсова к П.И. Бартеневу от 28 января 1909 г.: «Иоанна Матвеевна, во время прогулки на лыжах (к сожалению, она занималась этим делом без меня), — поскользнулась, упала и раздробила себе кость руки. Вы понимаете, что среди разных хлопот, связанных с лечением, да и просто под влиянием этого грустного случая, — я забросил все свои дела» (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 601. Л. 19).

232. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

27 января / 9 февраля 1909 г. Москва

27 янв. 9 февр. 1909

Нина, дорогая моя!

Хотя и сегодня не дают мне писать Тебе в полном спокойствии, все же постараюсь объяснить Тебе «положение дел» более трезво, нежели сделал это вчера в сбивчивом своем письме.

Моя жена, гуляя на лыжах (конечно, без меня), упала с какой-то горы на лед, сломала себе в двух местах руку, «получила ушибы» (как выражаются доктора) головы и, может быть, сотрясение каких-либо внутренних органов. Теперь она лежит в постели и при самом благоприятном ходе дел серьезное лечение займет недели две, а все его продолжения, может быть, *до полутора месяцев*! Ты сама знаешь, что срок для сращивания кости от 4 до 6 недель.

Вот этим падением опрокинуты все наши планы встречи в Петербурге и поездки в Гельсингфорс. Во-первых, я *не могу* уехать раньше, чем всякая опасность минет, — как не могла уехать Ты от больной Нади. Во-вторых, я сейчас *решительно не могу* работать в доме, полном докторами, при невозможности спать ночью, при множестве неизбежных хлопот и т.д. А при полном спокойствии я едва-едва надеялся окончить необходимые и обязательные работы к 9/22 февраля, дню моего предполагавшегося отъезда в Петербург. Теперь к этому дню я только *начну* эти свои работы, несвоевременное окончание которых задержит такие предприятия, как издание Пушкина Брокгауза[1] etc. Как ни кинь, все выходит, что 10/23 в Петербурге мы с Тобой не встретимся.

Что же нужно делать?

Вчера мне представлялся единственный исход: отложить нашу встречу на 10—15 или даже 20 дней. Я писал Тебе, в какое отчаянье приводило меня это сознание. Но я не видел иных возможностей и умолял Тебя найти в себе силу покориться этому... — Сегодня мне кажется, что есть еще другой исход, но мне говорить об нем воистину ***страшно***. Вот эта вторая возможность:

Я слышал (мне говорил Твой Сережа), что из Петербурга Ты хотела заехать на неделю в Москву... Что, если обернуть порядок событий, что, если Тебе сначала приехать в Москву и потом ехать со мной в Петербург? и Гельсингфорс?..

Повторяю: пишу все это со страхом, почти с ужасом, с сознанием, что этими словами, может быть, подымаю меч на самого себя. Но не могу не писать.

Обсудим трезво оба исхода.

Я понимаю всю опасность для нас встретиться в Москве, особенно при тех обстоятельствах, какие сейчас сложились для меня. Мы попадем в старые, страшные, кошмарные декорации. Весь ужас былого оживет. Наши встречи, по необходимости, снова будут урывочные. Снова нам нельзя будет отдать друг другу свое

время целиком, свою душу вполне. И снова перед Тобой встанет Твой темный призрак...

Но, с другой стороны, бывают минуты, когда *нельзя* откладывать. Бывают чувства, которым должно дать исход, иначе из благодетельных они станут смертельными. Мы так долго ждали нашей встречи! Так готовились к ней! Так свыклись с мыслью, что она близка! Так радовались этому. Может быть, если *теперь* эту встречу отложить, все воскресавшие чувства упадут на дно души, утонут, умрут. Может быть, вторично мы уже не сумеем вызвать их к жизни. Может быть, наша встреча, отложенная на месяц, уже не даст нам того счастья, которое мы ждем, — обманет, солжет. *Может быть, нам должно встретиться именно теперь, скоро, скоро — или никогда.*

Страшно, Нина, отказаться от мечты о нашем свидании в полупустынном (для нас) Петербурге и о днях одинокой жизни вдвоем в совсем пустынном (для нас) Гельсингфорсе. Страшно заменить это встречей в одной из московских гостиниц, обедом в Эрмитаже[2], вечером в Художественном театре... Не знаю, есть ли в нас столько адамантово-твердой жажды видеть друг друга, чтобы эта любовь, «более сильная, чем *смерть*», восторжествовала над «*бессмертной* пошлостью людской»[3]. Не знаю. Не смею ответить. *Не смею решить.*

Тебе, Нина, отдаю я выбор одного из этих двух путей. (О, если бы прав был Минский и действительно оказалось бы, что

Нет двух путей: добра и зла,
Есть два пути добра![4]

Реши Ты. Обсуди все наедине с своей душой строго. Не скрывай от себя никаких терний московской встречи. Но и не закрывай глаза на то, что отсрочка нашей встречи может быть смертельной. Обсуди все и скажи мне свое решение. Я его принимаю, потому что сам решить не в силах. Все мои *чувства* говорят за то, чтобы Ты приехала скорей, сколько можно скорее. Я слишком хочу Тебя видеть, я слишком истомился без Тебя. Я слишком знаю, что Тебе надо меня видеть, быть со мной. Но доводы разума продолжают отстаивать первое решение: отложить нашу встречу на сколько-то дней.... Моими силами я этого спора не решу.

Если выберешь Ты первое решение, отсрочку, — напиши мне о дне, когда Ты желала бы уже *вернуться* в Париж (если Ты захочешь-таки вернуться), сообразно с днями французской Пасхи. Я постараюсь все согласовать с этим днем.

Если выберешь второе решение, ехать в Москву, — телеграфируй мне или, по крайней мере, пошли ответ немедленно. Тогда самым удобным казалось бы мне приехать Тебе в Москву около 15/28 февраля. К этому времени я был бы уже относительно свободен и, вероятно, дней через 8—9 могли бы мы с Тобой уехать. Во всяком случае, Твое решение ехать мне надо иметь дня за 4 или за 5 до Твоего *отъезда* из Парижа. А в Москве, мне кажется, могла бы Ты жить в «Руси»[5] — правда?

Ах, Нина! дорогая, хорошая! с какой тоской пишу я эти рассудительные, трезвые строчки! Пойми сегодня меня, представь меня и ход моего дня, подумай, что меня раз шесть отрывали от этого письма — и прости его несвязность и даже его холодность. Мне слишком трудно писать все это после прекрасных грез, которыми я жил недавно. Люблю Тебя. Ответь мне.

Твой Валерий.

Проглядел свое письмо и испугался, как все это не то, что я хотел сказать! Прости, Нина! Мои мысли в разброде. Ответь все-таки мне. Договори, что не сумел я сказать. Завтра напишу толковее. Люблю Тебя.

Твой.

Благодарю за письмо о Бальмонте, милое, доброе, дружеское, любовное[6].

---

[1] Для издания Сочинений Пушкина (в серии «Библиотека великих писателей») под редакцией С.А. Венгерова (Т. I—VI. СПб., изд. Брокгауз — Ефрон, 1907—1915) Брюсов написал 8 сопроводительных статей. В томе III, вышедшем в 1909 г., были помещены его статьи «Домик в Коломне» и «Медный всадник» (С. 88—102, 456—501). 31 января 1909 г. Брюсов писал С.А. Венгерову: «Три недели назад я написал обещанную статью о «Медном Всаднике» и потом переписал ее на пишущей машинке <...>. Переписав, я нашел статью плохой и начал писать новую. Несколько дней тому назад эта вторая статья была кончена <...>. Прочтя, я убедился, что статья нуждается еще в кое-каких поправках, а главное, в ином размещении материала. Сегодня я мужественно принялся за эту работу...» (Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 332—333 / Публ. Н.Л. Степанова).

[2] Ресторан «Большой Эрмитаж» в доме товарищества Оливье на Трубной площади.

[3] Обыгрывается заключительная строка стихотворения Ф.И. Тютчева «Чему молилась ты с любовью...» (1851—1852).

[4] Начальные и заключительные строки стихотворения Н.М. Минского «Два пути» (1901). См.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972. С. 135—136 («Библиотека поэта». Большая серия).

[5] См. примеч. 2 к п. 23.
[6] Имеется в виду п. 227.

233. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

28 января / 10 февраля 1909 г. Москва[1]

28 янв. 10 февр. 1909

Нина, дорогая!

Вчерашнее мое письмо было не многим разумнее, чем предыдущее. Когда писал его, был я все еще очень взволнован всем происшедшим — прежде всего тем, что наша встреча отложена на неопределенное время. А кроме того, трудно сохранить спокойствие в доме, где все шепчутся, где блуждают доктора, где воцарилось то, что люди называют Несчастие. Ты знаешь, о чем я говорю.

Сегодня попытаюсь быть спокойнее.

Прежде всего выяснилось состояние моей жены. Важен только перелом руки, все остальное, о чем я Тебе писал вчера, не имеет никакого значения. (Я знаю, что Тебе вовсе не любопытно иметь бюллетени о ее здоровьи, — но я пишу это, чтобы определить, насколько *я* обладаю свободою действий.) Таким образом, острый период домашних неурядиц продолжится с неделю, пока руку не зальют в гипс. После этого жизнь, вероятно, войдет в свою колею. Но, как я писал Тебе вчера, то, что случилось, совершенно расстроило мои работы. Вернусь к ним, очевидно, только к тому же времени, т.е. через неделю. Работы эти — неотложные. Именно: должен я написать обширную статью для издания Пушкина Брокгауза[2] и написать предисловие и примечания (обширные) к моей книге, выходящей в книгоизд<ательстве> «Пантеон» — «Французские лирики»[3]. Для этих работ мне необходимо иметь в своем распоряжении всю мою библиотеку и значительную часть библиотеки Кружка. Так что нечего и думать, чтобы исполнить их в Петербурге. Да и хочется мне быть с Тобой вдвоем совсем, совсем свободным! Отложить этих работ нельзя также. В издании Брокгауза заинтересовано сотни лиц; я не могу один заставить всех ждать меня. Издание «Пантеона» для этого издательства — роковое: на нем полагают они (издатели) все надежды свои... Да и не привык я не исполнять своих литературных обещаний... Одним

словом, выходит, как я писал вчера, — что «как ни кинь», а до конца февраля (ст. ст.) мне из Москвы не выбраться.

Вчера я писал Тебе, что поступить мы с Тобой можем двояко. Можно, во-первых, отложить нашу встречу до конца февраля, т.е. до марта н. ст. Можно, во-вторых, встретиться в Москве. Я писал Тебе подробно о всех преимуществах и опасностях того и другого. Я бесконечно хочу увидеть Тебя скорее... Но и бесконечно боюсь встречи в Москве.... Я бесконечно хочу встретиться с Тобою вне Москвы, вне «всех», в том Гельсингфорсе, на котором мы остановили наш выбор... Но и бесконечно боюсь отсрачивать нашу встречу: боюсь, что то напряжение любви, которым мы сейчас дышим, ослабнет, что вместо события знаменательного, решающего, каким была бы наша встреча теперь, получится лишь одно ее «изображение». — В хаосе самых разнообразных чувств, дум и соображений я не умею разобраться и хочу, чтобы решила все — *Ты*.

Нина, дорогая, любимая! Что до меня, то я клянусь Тебе, что в моей душе эта новая разлука не создаст ничего, кроме новой жажды быть с Тобой. Клянусь Тебе, что эти часы, которые я проведу «дома», не поведут ни к какому новому сближению с той, с другой. Я много раз говорил Тебе о пределах, в каких стоит эта близость (весенних моих слов не принимай в расчет: то было исступление, полуложь, полусамообман), — из этих границ она не выльется *никогда*. И когда бы мы ни встретились, теперь или через месяц еще, я приду к Тебе, *если только Ты захочешь открыть мне свою душу*, с душой открытой, приду к Тебе как «*Твой*», приду к Тебе *любя*, приду *счастливый*, что прихожу к *Тебе*. Итак, за себя я даю Тебе ручательство, что я способен пронести свои чувства непомраченными сквозь тень новой разлуки. Ибо «как смерть сильна любовь»[4].

Но Ты, но Ты, Нина! Я знаю, какая зыбкая у Тебя душа. Я знаю, какое безмерное влияние имеют на нее все внешности, особенно время (если «время» — «внешность»). Я так боюсь, я почти убежден, что эта новая разлука уведет Тебя от меня вновь, — уведет куда, к кому, — не знаю. Я чувствую, что Ты пришла к пределам, какие могла вынести, что последние недели жила только сознанием, что скоро все это переменится, что скоро мы будем вместе. (Прости, если я наивно преувеличиваю свое значение в Твоей жизни.) Мне кажется, что сказать Тебе: «А все-таки отложим встречу еще на сколько-то недель», — значит убить в Тебе

всю возможность жить. В Тебе были силы пережить еще десять дней, но не сорок. Мне кажется, что Тебе надо увидеть меня или теперь, или никогда. «Никогда» в том смысле, что встреча после уже не будет для Тебя воскресением.

Обдумай все это и реши, как поступить. Ехать ли Тебе, несмотря ни на что, в Россию или ждать меня. Если приедешь, я буду этому рад по-детски. Сделаю все, что могу, чтобы Твоя жизнь в Москве, *сколько то возможно*, не была для Тебя мучительной. Но что это будет не та встреча, о которой мы мечтали, Ты ведь это понимаешь.

Жду Твоего ответа, Твоего решения и верю, что Ты поступишь так, как надо.

Помни и знай только одно: что я Тебя люблю, так, как должно любить, и что эти дни я еще более с Тобой, чем все другие, что эти дни меня только еще приближают к Тебе. Эту насильственную разлуку чувствую со всей остротой боли.

Всегда Твой. Обнимаю Тебя.

Валерий.

P.S. Если не ответила на вчерашнее письмо, ответь на это без промедления, — умоляю.

---

[1] Два листа с текстом письма Петровская разорвала вдоль и поперек. Позднее листы отреставрированы.

[2] См. примеч. 1 к п. 232.

[3] См. примеч. 3 к п. 218. Статья Брюсова «Французская лирика XIX века. Предисловие» открывает указанный сборник (С. 4—15), вышедший в свет в начале июля 1909 г.

[4] Песн. VIII, 6: «крепка, как смерть, любовь».

234. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

28 января / 10 февраля 1909 г. Париж[1]

Париж, 28/10

Дорогой Валерий,

я, кажется, опять давно не писала тебе? Не знаю, куда и на что уходят дни. Но ты не сердись, все это время я думаю о тебе более чем когда-либо. О нашей встрече: я выеду, если не получу от тебя письма о каких-нибудь изменениях в плане, в *среду* нашего 4-го и н<ового> с<тиля> 17-го[2], так что с остановкой на ночь в

Берлине буду в Петербурге как раз вовремя. Остановлюсь, как ты пишешь, или в Сев<ерной> г<остинице>, или в «Англии» (в «Анг<лии>» я уже раз останавливалась). Если тебя не будет, подожду, как ты говоришь. Ну что же еще, — это все. Еду в Россию не без страха. Чувствую, что в Москве Надя опять сделает что-то невозможное.

Милый Валерий, исполни одну мою просьбу, но *честно*, не обманывай. Узнай (да, наверно, ты знал бы от Сережи), жива ли мама[3]. Мы от нее не получили ни строчки 2 мес<яца> и 3 нед<ели>. Надя последнее время с ума сходит и мучит меня ужасно. Мне *нужно* знать правду. Сережа, может быть, думает, что скрывать лучше, но это не так. Согласись, что подозрите<льно>, когда человек не пишет 3 месяца. И я уже к этой мысли привыкла. Но если что-нибудь случилось, ведь я должна думать о Наде, ибо у нее никого кроме нет. Если Сережа скрывает, он делает не хорошо. Я очень прошу тебя, напиши *ты* мне правду, и так как времени нет, ответь телеграммой, как получишь это письмо. Что касается меня, то я очень прямо и твердо гляжу теперь в глаза всему, и от горя не умру. А везти Надю на неизвестность мне просто страшно, я *должна* знать. *Очень прошу тебя.* Сделай хотя бы против желания Сережи, иначе я буду чувствовать себя очень плохо. Прости, что пишу так много о чисто личном, но это меня касается очень, и я жду твоего правдивого ответа. Если не знаешь, — узнай хитростью от Сережи. Не дает мне покою судьба! Но что бы ни было, я хочу тебя видеть, и ведь мы увидимся. Правда? Я здесь почти 4 месяца. Куда ушло это время?!... Без тебя я не помню ни дней, ни ночей. Что-то сплошное, медленное, безжизненное....

Ты получил мое длинное письмо, в котором я объясняла телеграмму[4]. Была очень, очень расстроена твоими признаниями. Что оставалось сказать? Один вечер мне казалось, что ты ушел навсегда. Ах, я не умею сегодня сказать, что хочу! С утра устала. Вечером была у Бальмонт, очень много говорила с ним (все время у него *дома*) и всегда теперь после людей чувствую утомление и тоску. Еще больше научилась в Париже быть одна. С Надей мы иногда не говорим по целым дням. Бальмонт и все его домашние со мной нежны чрезвычайно. Что-то в эту встречу примирил<о> с Катериной[5], скорее люблю ее даже. Или это от утомления стали нравиться простые тихие люди. Еще несколько

дней в Париже.... Смотрю на него с печалью. Хотелось бы вернуться, даже вещи оставляю у Бальмонт, беру только самое необходимое, но разве знаешь будущее. Никогда ни один город не казался мне таким милым и родным. У меня было здесь много печали, но прощусь я с Парижем безропотно, и если доведется приехать, как я хочу, опять обрадуюсь очень. Ты забыл мое лицо, глаза? Я, должно быть, изменилась. Похудела ли еще, — не знаю, но чувствую *все по-иному,* и, верно, это отразилось в лице. Как по-*иному*, — еще не могу понять, это увидишь лучше *ты*. Милый зверочек мой!... как мы встретимся?!.. Боже мой, сколько хотелось бы сказать! Но сумею ли, найду ли слова? Не сердись на меня за редкие письма, за безумную телеграмму, за то, что как-то и издалека ухитрялась мучить тебя. Я тебя люблю, может быть, иначе и больше, чем прежде. Успеешь ли ты написать еще? Очень, очень, очень прошу — ответь мне о маме телеграммой. Надя не прочтет, она никогда не трогает ни моих писем, ни телеграмм, а мне знать *нужно.* Прости, что этим беспокою тебя, но ведь некого еще. Сережа не скажет правду. Целую тебя, милый, милый Валерий. Жду тебя бесконечно.

Твоя

Валерий, это ты мне прислал телеграммой 100 франков? Я знаю, что не Сережа. Зачем? Мне всегда от этого мучительно стыдно.

---

[1] Почтовые штемпели: Paris. 10 fevr. 09; Москва. 31.I.1909.

[2] 4/17 февраля.

[3] Сведениями о матери Петровской мы ие располагаем.

[4] Имеется в виду п. 227.

[5] Екатерина Алексеевна Бальмонт, жена К.Д. Бальмонта.

235. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

29 января / 11 февраля 1909 г. Москва[1]

29 янв. 11 февр. 1909

Нина дорогая!

После трех длинных и сбивчивых писем не могу сейчас писать много. Жду Твоего ответа. Чувствую всю мучительность тысяч верст, разделяющих нас, и невозможности обмениваться

мыслями непосредственно. Хочу быть с Тобой, говорить с Тобой, хочу, чтобы этого и Ты хотела. Но еле смею звать Тебя в Москву, зная, как много может ждать Тебя здесь трудностей. Подчинюсь Твоему решению без ропота.

Третьего дня, на «вторнике» был большой скандал в Кружке — Ты, вероятно, уже знаешь об этом от Сережи. Белый крикнул публично Тищенке: «Вы подлец, я вам дам пощечину»[2]. Вчера дело это разбиралось в Дирекции. Я не присутствовал. Конечно, всячески защищаю Белого. Но и он хорош: лезет в эту помойную яму, называемую «вторниками», и еще не умеет презирать ее[3].

Милая Нина! Я стал очень взрослым, очень серьезным и (знаешь ли) «мудрым». Так мне все ясно в этом мире и в этой жизни. Я могу начать и жить и творить. Да будет продлена моя жизнь, — моя новая молитва. И я верю, что теперь эта мудрость научит меня быть с Тобой, сделает так, что вместе, вдвоем нам не будет ни мучительно, ни трудно. Поверь мне, еще раз, после всех разуверений. Поверь мне и решись сделать опыт, теперь ли (если Ты выберешь поездку в Москву) или осенью (когда — я хочу думать — Ты вернешься в Россию совсем).

Я очень и хорошо люблю Тебя, Нина. Я хочу, чтобы Ты научилась любить меня просто, ясно и хорошо. Любишь ли Ты меня, Нина? Последние дни я почему<-то> теряю веру в это.

Но я — Твой. Целую Тебя.

Валерий

---

[1] Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Обстоятельства инцидента, происшедшего в Московском Литературно-художественном кружке 27 января в ходе прений по докладу Вяч. Иванова «О русской идее» (председательствовал С.А. Соколов), описаны в книгах Андрея Белого «Воспоминания о Блоке» (см.: *Белый Андрей*. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 344) и «Между двух революций» (М., 1990. С. 233—234). Случайным объектом нападения Белого оказался литератор Федор Федорович Тищенко (псевдоним — Ф. Тарасенко; 1858 — ?). Документальные материалы, относящиеся к этому событию, собраны в статье Н.А. Богомолова «История одного литературного скандала» (*Богомолов Н.А.* Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 239—254).

[3] Ср. в той же связи суждения Брюсова в письме к Вяч. Иванову от 29 января 1909 г.: «Во вторник, к глубокому сожалению, ты мог лично убедиться, как был я прав, описывая общество, собирающееся на "вторники" кружка. Это не народ, не интеллигенция, даже не "публика"; это — чернь, это — подонки общества. <...> Я принял все меры, чтобы для Белого инцидент не имел дурных последствий» (*ЛН. Т. 85*. С. 520).

236. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

30 января / 12 февраля 1909 г. Москва

30 января. 12 февраля 1909

Нина, дорогая!

Сегодня, очевидно, получу в «Скорпионе» Твое письмо, так как уже давно не было от Тебя писем. Ты будешь говорить о нашей встрече... Грустно и тяжко будет его читать. Словно письмо с войны от того, о смерти которого уже успел известить телеграф. Знаешь такие «мертвые» письма, или письма от «мертвых». А наша встреча, в том виде, как я мечтал об ней, умерла... Верю, что будет иная, но иная! Грустно и тяжко. И на это Твое мертвое (для меня) письмо я не сумею ответить.

Гадаю, приедешь ли Ты в Москву. Если приедешь, выбери день после 16 февраля ст. ст. (= 29 н. ст.[1]). После этого дня я буду сравнительно более свободен. Кончатся, вероятно, все мои домашние затруднения и останутся одни неисполненные работы. Я уже писал Тебе, что мне представляется лучшим, чтобы Ты поселилась в нашей старой «Руси»[2]. Странно будет вновь взглянуть с Тобой на тот же зимний вид из окон: широкую, снежную площадь с черными людьми-лилипутиками на ней. Ах, сколько раз я, изнывая от тоски, смотрел на эту даль, тщетно дожидаясь Тебя, думая, что в этот самый час Ты где-нибудь с такой же тоской ждешь «графа Генриха»[3].

Сегодня вечером должен читать в «Эстетике» отрывок из моей статьи о «Медном Всаднике»[4]. Не хочется мне этого очень. Настроение — совсем не для публичных выступлений. Да и статьи-то, строго говоря, еще нет: одни подготовительные наброски. Но как откажешься, когда билеты проданы и сколько-то людей ждет выступления Валерия Брюсова как некоторого зрелища. Покорствую.

Послал Тебе вчера «Елену Спартанскую»[5]. Ты ее, конечно, знаешь. Но, может быть, интересно Тебе будет перелистать книжку и взглянуть на ее внешность.

Напиши мне о *внешностях* своей жизни — в том числе о Робере, о Наде, о парижских встречах, кафэ, вечерах, театрах, где была, и все, все, все. Мне так хочется знать о Тебе именно *все*.

Ах, когда-то мы будем говорить лицом к лицу!

Тихо целую Тебя.
Твой
Валерий.

---

[1] В 1909, невисокосном, году эта дата по новому стилю — 1 марта.

[2] См. п. 232.

[3] *Граф Генрих* фон Оттергейм — персонаж «Огненного Ангела», возлюбленный Ренаты.

[4] См. примеч. 1 к п. 232. Заседания «Общества Свободной Эстетики» проходили в зале Московского Литературно-художественного кружка.

[5] Речь идет об издании: *Верхарн Эмиль*. Елена Спартанская. Трагедия в 4-х действиях / Авториз. пер. Валерия Брюсова. М.: Скорпион, 1909. Книга вышла в свет в конце января 1909 г.

237. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

30 января / 12 февраля 1909 г. Париж[1]

12/30. Париж

Ах, Валерий....
Я сегодня несла опустить в ящик тебе длинное хорошее письмо, и когда на дороге мне отдали твое, — я разорвала его в клочки. Эта женщина всегда мне разными способами становится на дороге. Ты просишь «не упрекать» и сравниваешь этот случай с болезнью Нади. Я знаю, как лечат сломанные кости. Тут никакой опасности для жизни, ничего похожего на случай с Надей. Несколько острых дней, а потом медленное правильное лечение, путь к выздоровлению. Что же, ты останешься месяц только для того, чтобы ей не было скучно? Я оставала<сь> для Нади *иначе*. Там был действительно *вопрос жизни*, а не сломанная рука, которая через несколько дней не будет формально требовать твоего присутствия. У меня нет сейчас достаточно слов, чтобы выразить весь хаос моих чувств. Знаю одно, — *она* всегда у меня на дороге, *я* всегда приношусь в жертву *ей*, и это стало для меня невыносимо. Всякий раз, когда нужно *выбрать*, ты выбираешь *ее*. И это после всех слов, после писем, — могу ли я верить им? Ты знаешь, что значит *менять* решения? Вся душа ломается, от надежд не остается ничего. Уверяю тебя, что через *месяц* я *не поеду вовсе*. Этот *месяц*, который ты проведешь возле нее, единственно чтобы она *не скучала*, проложит в моей душе новую черту такой горечи, что я не найду сил поехать к тебе. —

Ах, как нужно мне было уехать именно теперь. У нас давно настолько отъединенные жизни, что в каждой создались свои обстоятельства, с которыми нужно считаться. Я радовалась, что уеду теперь.... Через 5 дней после числа моего предполаг<авшегося> отъезда Robert получит отпуск на 2 недели. Когда-то давно я неосмотрительно обещала ему поехать вместе на эти дни «à la campagne»*. Он ждал сначала как ребенок, потом плакал, что этого не будет, теперь опять будет радоваться, и мне придется ехать. Я говорю «придется», потому что это *не есть мое желание* и еще потому, что по многим соображениям не будет возможно эти две недели остаться в Париже. Но разве можно безнаказанно так ломать душу? Разве после двух недель, проведенных наедине с Robert, я приеду к тебе такая, как сейчас? Разве в эти дни мысли о тебе около твоей жены не разрушат радостного ожидания тебя? Нет, конечно, я так не могу! —

С твоего письма о ее болезни прошло 5 дней, это письмо и твой ответ — еще 9—10, и того *15.* Если сломанная рука твоей жены важнее сломанности моей души, — я предлагаю тебе остаться с ней одной *навсегда.* Для того чтобы ей стало лучше и миновала всякая опасность, — довольно этих 15-и дней! Я поеду к тебе *22-го (11-го русского*[2]*)* или вовсе не поеду. Может быть, эта болезнь, которая встала мне на дороге, — есть последнее из последних указаний судьбы. Выбери! Выбери в последний раз. О, насколько прямее, искреннее и свободнее тебя Бальмонт! Или — насколько больше любит он Елену....[3] Когда он предлагал мне разные вопросы о тебе и искренно изумлялся разным твоим поступкам в отношении меня (в Париже все известно, не меньше, чем в Москве), мне было стыдно и горько до боли. Я *не хочу* больше чувствовать *ее* так в моей жизни. И если для этого нет *иного* способа, *я уйду* от тебя теперь уже навсегда. Ах, я знала, знала! Что твои слова, что твоя любовь ко мне перед ее сломанной рукой! Ее насморк будет для тебя важнее моей смерти.

Я не могу больше говорить, Валерий. Чувствую себя расстроенной, разбитой без конца. Выбери и ответь мне. Но знай, что через месяц я не поеду вовсе. *22-го — или никогда.* Я так тебя любила, так ждала.... Ты сам, с твоей слабой раздвоенной душой, которая ничего не может взять без взгляда назад, — ты сам отталкиваешь меня, сам разрываешь последнюю нить между нами. *Иного*

* «В деревню», «за город» (*фр.*).

я тебе не напишу. Ответь мне прямо и тотчас. О, я знала, что в какой-то час ты *сам* мне скажешь: «Ну иди к твоему Роберу».

Н.П.

Не называй мое письмо «жестоким». *Это ты* вернул меня к полузабытым летним жестоким ощущениям.

P.S. Может быть, письмо мое и твой ответ не обернутся в 10 дней — я подожду еще два дня, или ответь телеграммой — *это лучше*.

[1] Ответ на п. 231. Почтовые штемпели: Paris. 12.2.09; Москва. 3.2.09.

[2] Даты не соотносятся друг с другом: подразумевается либо 9/22 февраля, либо 11/24 февраля.

[3] *Елена* — Е.К. Цветковская.

238. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

30 января / 12 февраля 1909 г. Париж[1]

Париж 12/30

Валерий, дорогой мой!

Прости! сегодня я была в отчаянии и плохо владела собой, когда писала ответ[2]. Ты знаешь, как трудно ломать душу? Я жила все последнее время только мыслью о нашей встрече, я ждала ее как чуда, и вдруг все оборвалось, и в самый неожиданный миг, — опять призрак, который я так хотела и старалась забыть. Правда, мне было уже почти печально уезжать из Парижа. В эти одинокие месяцы у меня *вблизи* никого не было, кроме Robert. Но я поборола это чувство и страшно не хотела ехать с ним «à la campagne»*. Твердо и окончательно я сказала ему, что этого не может быть, что я еду к тебе. И мне стало почти легко. Не удивляйся, что я пишу тебе о нем. Мне дала его судьба в один очень трудный и горестный миг. И долго он был моим «маленьким утешением». Но все это я сломала в душе и была только с тобой. Помнишь, я писала тебе из Лейпцига, что не верю в нашу встречу. Я не только не верила, я почти не хотела ее, и много нужно было пережить, чтоб вновь захотеть со всей страстью, со всем забвением прошлой горечи. И вот — в единый миг все это раз-

*«В деревню», «за город» (*фр.*)

рушено опять, опять вторжением ее. Ты не можешь себе представить, что я испытала сегодня утром и в каком состоянии писала тебе. Опять со всей остротой почувствовала себя на 3-м месте, опять всей глубиной поняла, *как* ты не свободен — в прошлом, в настоящем, в будущем. Если бы это сегодня утром нужно было уезжать с Robert куда-то вдаль, я не задумалась бы ни на минуту. Еще раз поняла, *какая* судьба меня ожидает около тебя, и малодушно ужаснулась. Все, все казалось лучше этого 3-го места... Но, Валерий, вот вечер, я получила твое второе, длинное письмо и читала его иначе, чем первое. Боль была сильна, но мгновенна. Правда, в эти месяцы у меня выковалась какая-то новая душа. Вполне я ее не знаю и сама, она проявится непременно, только когда мы будем вместе.... Я долго думала над твоим письмом, прежде чем ответить, и вот мой обдуманный решительный ответ: откладывать эту встречу почему-то нельзя. Я представляю, как могу окаменеть, даже просто невольно омертветь за эти новые недели ожидания, потом возможность остаться *долго* совсем вдвоем с Robert, она, конечно, положит свои черты — не знаю какие, но новые и чужие для тебя. И многое, многое неясное сейчас, непредвиденное, возникнет в этом томительном ожидании. Ты предлагаешь мне встречу в Москве, и она приводит тебя в ужас — оттого, что это Москва, оттого что призраки там реальны и буквально стоят за плечами. Но знаешь, Валерий, теперь мне это все равно. Мне все равно, будет ли она в получасе от нас или на расстоянии суток. Одинаково — знать, что ты к ней вернешься из Финляндии или из «Руси»[3]. Нужно только считаться со словом *вернешься*, а этого я не забыла бы ни на минуту, нигде, и уже как прежде не говорила бы тебе безумных слов, ибо я знаю, что *отовсюду* вернешься. Сейчас, в Париже, после месяцев разлуки, моей онемелой без тебя душой я не могла бы ответить, *принимаю* я это окончательно, навсегда как *неизбежное*, или не могу. Я отвечу тебе лицом к лицу, непременно в эту встречу, а будет она вблизи от нее или далеко, — клянусь тебе, мне все равно. Даже думаю я, что легче солгать, не понять вдали, а нужна ли нам теперь какая-либо ложь? нужно ли нам усыпление? Я *хочу* встречи с тобой *в Москве*, и *теперь* особенно ценно может быть мое *да* и уже окончательно — *нет*. Не нужно нам больше декораций, и если мы поедем потом куда-нибудь после вместе, то уже только для радости, для начала новой жизни. Если мы останем-

ся вместе, — это будет действительно победа над смертью. Так поверь, — мне *все равно*, близко она или далеко. Это не важно. Важно то, что она *есть*, что ты к ней *вернешься* отовсюду, а этого я не забыла бы ни в каком раю. И вот я тебе говорю решительно, — я хочу ехать в Москву и скоро, не позже 21-го, 22-го[4]. Если ты все-таки захочешь отложить, — я не знаю, сумею ли ждать еще. Если ты будешь первые дни мало свободен, — это ничего. Там у меня есть как-никак Сережа, я хотела бы и ему отдать какое-то время. Потом еще вот почему мне нужно ехать скорее или уже отпустить Надю одну. Она стала томиться и очень томить меня. Это тоже нужно прекратить каким бы то ни было, но скорым способом. И тут же отпуск Robert.... Я не хочу ехать с ним, а если останусь, это случится неминуемо. Ответь мне скорее. Колебания и неизвестность ужасно утомляют и мучат. Не бойся Москвы и сцепления всех роковых обстоятельств, от них уже *не может* быть ни хуже, ни лучше. Это зависит только *от нас*. Не сердись на мою телеграмму[5]. Я была очень расстроена и огорчена. Целую тебя, милый, бедный, надвое разорванный зверь. Сережик мне писал, что у тебя много седых волос. Правда это? *Я тебя очень люблю*, и ожидание тебя стало почти как острая боль. Не откладывай. Не нужно! *Нельзя*. Я почти разучилась писать тебе, письма как химеры. Бог знает, что вырастает из них. Дай увидать тебя скоро!

Твоя

---

[1] Ответ на п. 232. Почтовые штемпели: Paris. 13.2.09; Москва. 3.2.09.

[2] Имеется в виду п. 237.

[3] См. примеч. 2 к п. 23.

[4] 8/21—9/22 февраля.

[5] Текст телеграммы приведен Брюсовым в п. 241.

239. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

31 января / 13 февраля 1909 г. Москва

31 января / 13 февраля 1909

Нина, дорогая!

Вчера ожидаемого письма от Тебя не было. Тем печальнее: оно придет сегодня...

В моей жизни ничего нового. Все еще продолжаются все неустройства, и приняться за работу нет никакой возможности. Кажется, с завтрашнего дня наступит наконец некоторое успокоение...

Не правда ли, странно, Нина. Всю жизнь мечтаю я о спокойном, усердном труде. И вот за 35 лет жизни не мог добиться того, чтобы осуществить свою мечту. Всегда какие-то обстоятельства заставляют меня работать лихорадочно, торопливо, печатать начало, когда не написан конец, сдавать в печать вещи не обработанные, не обдуманные... Клянусь, Бальмонт, которому это вовсе не нужно, имеет гораздо больше возможностей работать над своими произведениями, нежели я[1].

Ах, Нина! Я опять мечтаю о такой жизни, в которой была бы Ты, не как мучительная сила, но как ясная и светлая радость. Мечтаю о возможности быть с Тобой, говорить Тебе все, что думаю, читать Тебе свои стихи, слушать Твои слова, видеть Твои глаза. Неужели мы не можем создать такой жизни? Неужели Ты и я, мы таковы, что можем или только проклинать друг друга, падать на пол или в росистую траву, или перекликаться на расстоянии тысяч верст? Неужели нет для нас третьего, лучшего, прекрасного? Я всегда верил в это третье, верю и теперь. Вернись ко мне, Нина. Пойми меня. Поверь в меня. Будь со мной. Иные, быть может, будут любить Тебя иначе и более безумно; — никто не будет любить Тебя так верно и так глубоко, как я. Иных и Ты, быть может, будешь любить с большей яростью; никого с такой последней силой, как меня. С другими, может быть, Ты будешь более счастливой; но лишь со мною будешь тем, чем суждено Тебе быть в этом мире. Доверься мне, — и я открою Тебе лучшие пути изо всех, на какие могла бы Ты ступить когда-либо. Я знаю, куда могли бы мы идти вместе с Тобой.

Жду Твоих ответов на предыдущие мои письма. А если Ты решила не ехать немедленно в Россию, — пиши мне, пиши часто и много. Мне трудно без Твоих писем.

Твой

Валерий.

---

[1] Имеется в виду общеизвестная склонность К.Д. Бальмонта к спонтанному выражению своих мыслей и декларируемая им невозможность переработки завершенных произведений. Несколько позже Брюсов и Бальмонт вступили по поводу своего отношения к работе над уже завершенными текстами в полемику. См.: *Бальмонт К.* Восковые фигурки // Утро России. 1913. 29 июля; *Бальмонт К.Д.* Забывший себя // Там же. 3 августа; *Брюсов В.* Право на работу // Там же. 18 августа.

15. Заказ № 795.

240. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

31 января / 13 февраля 1909 г. Москва[1]

31 янв. / 12 февр.[2] 1909

Нина, дорогая!

Сейчас получил Твою суровую и жестокую телеграмму[3]. Не умею сразу на нее ответить. Не в силах. Отвечу завтра. Может быть, из моих писем ответ уже ясен. Быть *в Петербурге* 10/23 февр<аля> *не могу*. Почему не могу и легко ли мне это, — я Тебе писал. И еще я писал о том, что вместо П<етер>б<урга> мы могли бы встретиться в Москве. Ты все реши. Я решить не могу. Подчиняюсь Тебе и Судьбе.

Твой Валерий.

---

[1] Открытка — русский бланк издательства «Скорпион» и журнала «Весы». Почтовые штемпели: Москва. 31.1.1909; Paris. 16 fevr. 09.

[2] Ошибка при переводе даты со старого на новый стиль.

[3] См. п. 238, примеч. 5.

241. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

1/14 февраля 1909 г. Москва

1/14 февраля 1909

Нина, милая, дорогая!

Я получил вчера Твою телеграмму. В открытом письме, которое я послал тотчас, как прочел ее, я ее назвал «суровой и жестокой»[1]. Так это мне кажется и сегодня. Может быть, получив длинный ряд моих писем, писанных за последние дни, Ты изменила свои суждения. Не знаю. Но сейчас должен я ответить Тебе на те слова, которые сказаны в этой телеграмме. Должен, потому что не хочу, чтобы между нами были какие бы то ни было недоразумения. Если нам суждено быть близкими, то только так, чтобы каждый из нас мог прямо и до конца искренно говорить другому все, что он думает. Нам надо идти к полному пониманию друг друга: только это для нас желанно, только это может быть для нас, после всего пережитого, дорого. Меньшего, полуискренности, полублизости нам не надо. Не унизимся до нее!

И вот буду говорить Тебе все, все, до беспощадности все, что подумал, что сказал *сам себе*, читая Твою телеграмму.

Помнишь ли Ты ее? — «Partirai lundi 22 fevrier ou jamais — 14 jours suffisant maladie pas dangereuse — enfin temps choisir — Nina»* — Ты высказываешь здесь три суждения, и я не согласен ни с одним из трех.

Ты пишешь: «выеду 22 или никогда». Нина, дорогая! вспомни, что это я просил, умолял Тебя и настаивал, чтобы Ты приехала. Вспомни все мои письма, в которых я так радовался скорой встрече. Перечти последние письма, в которых печалился я до отчаянья, что наша встреча отложена. Зачем же мне говорить «22 или никогда»? Ты знаешь, что я *хочу, очень хочу* нашей встречи. Зачем же пользоваться этим моим желанием, чтобы причинить мне трудность и мучение. «Если не поедешь 22, не увидишь меня», — пишешь Ты. «Но мне трудно ехать 22», — говорю я. Что ни выбери, ехать или не ехать 22, все выходит тяжело, трудно и мучительно. Зачем мучить заведомо? Зачем намеренно быть жестокой? Или Ты веришь и знаешь, что я люблю Тебя и хочу Тебя видеть: тогда Твоя угроза безжалостна. Или Ты не веришь и не знаешь, — тогда это — сознательное испытание, какой-то расчет, но в это последнее предположение я не хочу верить! И вообще: разве я из тех людей, которых можно запугать? Разве ко мне можно приступать с требованием « — или никогда»? Нина! милая, дорогая, любимая, целую Тебя нежно, люблю Тебя очень, хочу Тебя страстно, но эти слова возьми назад. Между нами не должно быть взаимных угроз. Господи! есть же где-нибудь на свете свобода в чувстве, а не долг, не принуждение, не обязанность, не подчинение. «22 или *никогда*». Значит, Ты можешь «никогда»? Думала ли Ты то, что написала?

Пойдем дальше. «Болезнь не опасная, 14 дней (для лечения) довольно». Во-первых, согласись, что нам здесь, вблизи, виднее, сколько дней надо для лечения, 14 или больше. Во-вторых, я уже писал Тебе, что кроме именно «болезни» задержат меня работы, которые я принужден был прервать. В-третьих, наконец, и, может быть, это важнее другого, я считаю невозможным уехать именно в те дни, когда я ей в самом деле могу быть нужен. Уехать сейчас или вообще раньше, чем все снова наладится, уехать, остав-

*«Выеду в понедельник 22 февраля или никогда — 14 дней достаточно, болезнь не опасная — наконец время выбрать — Нина» (*фр.*).

ляя ее, больную, еще совершенно беспомощной, — мне кажется жестоким. Да буду ли я нужен Тебе, если мои мысли и заботы будут не с Тобой, а в Москве? Неужели Ты хочешь получить меня таким, каким я приехал от Тебя, из Бреста, в Пиренеи?[2] Я тогда мог думать только о Тебе, мог говорить только о Тебе, все мои мысли были в Бресте и с Тобой в пути... Я проклинал себя, я осуждал себя всеми беспощадными словами за то, что уехал от Тебя... Хочешь ли Ты, чтобы все это повторилось в обратном порядке? Хочешь ли Ты, чтобы, уступая Твоей угрозе, боясь потерять Тебя навсегда, я действительно поехал бы к Тебе, был бы телом с Тобой, а душою не с Тобой? Такая ли встреча нужна нам? Сблизит ли она нас так, как мы этого хотим? Даст ли нам ту vita nuova, ту новую жизнь, о которой я говорю, о которой я мечтаю? Нина! Нина! дорогая моя! опять целую Твои руки, ласково и нежно, сколько умею. Опять повторяю Тебе: люблю Тебя. Но эти свои слова возьми назад.

Пойдем еще дальше. Ты говоришь: «Пора, наконец, сделать выбор». Боже мой! неужели все то, что́ я говорил, что́ я писал, что́ пытался объяснить, всё прошло даром! Неужели мы все на том же месте, где стояли во дни весенних наших отчаяний! Ах, если бы я мог сделать выбор, un choix, нам незачем было бы обмениваться с Тобой этими письмами. Или мы были бы с Тобой вместе, или не были бы в «переписке». Нет, Нина, на эти Твои последние слова я уже ответил всеми длинными письмами, какие пишу Тебе вот уже два года. Этих слов я не смею просить Тебя «взять назад», потому что отвлеченно Ты права. Но я думал, что Ты *простила* мне мою неправоту, простила, потому что *поняла*, что иным я быть не могу. Tout comprendre c'est tout pardonner...* Вся наша драма, вся трудность нашей жизни, все ее мучительство именно в том, что «сделать выбор», т.е. сказать Тебе или ей: «Меня больше нет с Тобой», — для меня невозможно. Я думал, мы не начнем больше этого разговора, что молчаливым соглашением мучительный вопрос решен. Ты мне простила, как и я простил Тебе многое, многое... хотя бы то, что с Тобою этот Робер... Против него *лично* я не могу иметь ничего, но сказать, что мне не больно думать, что Ты с ним, что он с Тобой, что Вы — как возлюбленные, я не могу: мне это очень, очень и очень больно. Я, наклонив голову, с померкшими глазами переношу эту

*Все понять — значит все простить (*фр.*).

боль, потому что Ты можешь возразить мне (и уже возражала) словами: «А ты!» (Я не хочу сказать, что наши положения тождественны. Мне хочется верить, что Ты «выбор» сделать посмела бы. Я только говорю, что ждал от Тебя *прощения подобно тому*, как стараюсь сам простить Тебе то, что мне кажется оскорблением нашей любви.) И разве, когда я звал Тебя к себе в Петербург и Гельсингфорс, это значило, что я совершаю какой-то «выбор»? Я звал (и зову Тебя безнадежно и сейчас!) потому, что я истомился без Тебя, потому что Ты мне нужна бесконечно, мне, душе моей, и потому что, кажется мне, я нужен Тебе, Твоей душе, нужен по-настоящему. Я хотел, я мечтал встретиться с Тобой вне всяких условий, вне всяких выборов, только потому, что оба мы хотим быть вместе, что оба мы поняли, как прекрасно нам быть вместе, как многое мы можем вместе! — Нет, Нина, дорогая, этих последних слов не бери назад; вовеки сохрани эту жажду, чтобы я «наконец сделал выбор», но пока я не сделал его, прости меня милосердно и оставь мне свою любовь — и такому, каков я. Такова моя молитва.

Вот все то, что я хотел написать Тебе, Нина, в ответ на Твою телеграмму. Все, что я написал, — это мои искренние мысли и чувства, — от слова до слова. Не лгал нигде, — ни там, где оспаривал Тебя, ни там, где говорил о своей любви к Тебе. Суди мои слова с той же простотой и откровенностью, с какой я писал их... Постарайся подойти ко всему, что я говорю, без предубеждения, постарайся понять меня, понять чувства, какие создавали мои слова. Если Ты поймешь меня, если увидишь мою душу так ясно, как я ее вижу, Ты не повторишь своего сурового и жестокого — «или никогда».

Нина! хорошая! труден был наш путь к «новой жизни». Не будем делать его трудным вдвое.

И среди всех сомнений — помни, что я люблю Тебя, — люблю, в истинном смысле этого слишком великого слова.

Я Твой

Валерий.

О внешностях. Все сроки теперь уяснились точно. Совершенно спокойно и совершенно свободно выехал бы я из Москвы в начале марта ст. ст. (13—18 марта н. ст.). Может быть, если то и другое пойдет удачно (напр<имер>, мои работы), несколько раньше. После этого дня мы могли бы провести с Тобой *несколько*

недель. Я был бы *вполне* с Тобой, вполне для Тебя, — вне всяких забот, литературных и житейских. То были бы первые, робкие дни весны... Может быть, мы сумели бы сделать из этих дней, как говорит Бальмонт, «сказку»[3]. Если бы до этого, дней за десять, т.е. около 17/30 февраля, Ты приехала в Москву, изменяя свой маршрут, я сделал бы все, что сумею, чтобы Ты не пожалела об этом приезде... Я уже писал Тебе о том... Чтобы быть окончательно точным, прибавлю, что «некоторые обстоятельства» (прежде всего неконченные работы) могут задержать меня в Москве больше указанных сроков (надеюсь, не задержат), но уже ни в каком случае не позже как до 7 ст. ст. / 20 н. ст. марта.

Твой В.

---

[1] См. п. 240.

[2] Подразумевается Сен-Жан-де-Люс (см. примеч. 3 к п. 168).

[3] Ср. заключительную строку стихотворения «Тень» («Ты в жизни проходишь безучастною тенью...») из книги Бальмонта «Только любовь» (1903): «Но в сказку, я в сказку влюблен» (*Бальмонт Константин.* Стихотворения. М., 1989. С. 449).

242. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

2/15 февраля 1909 г. Москва[1]

2/15 февр. 1909

Нина, милая, хорошая, дорогая!

Сейчас прочел Твою вторую телеграмму![2] Благодарю Тебя на коленях! И прости мне мое вчерашнее письмо. Я тоже был мучительно расстроен, опечален смертельно Твоей телеграммой. Прости мне все суровые слова, какие я сказал, и прими все ласковые и нежные — ибо все они правда и все их я повторяю сегодня. Люблю Тебя бесконечно. Жду Тебя очень. Сегодня вечером напишу больше, много. Эти беглые строки (писанные под говор гг. сотрудников[3]) только затем, чтоб сказать Тебе: «Прости, не сердись», — чтоб сказать Тебе: «Люблю». Я верю, верю в Тебя, и в нас, и в наше будущее, в нашу «новую жизнь». Нина, милая, дорогая, девочка моя, — эти дни, как никогда, я с Тобой!

Целую Тебя со всей любовью.

Твой

Валерий.

P.S. Рассчитай свой приезд так, чтобы быть *после* 15<-го> — причины этому внешние, напр<имер>, 17/30. Но об этом напишу подробнее. В марте мы уедем с Тобой надолго, надолго — да?

---

[1] Написано на французском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Текст этой телеграммы нам неизвестен. По всей вероятности, он содержал краткое резюме содержания п. 238.

[3] Подразумевается: сотрудников «Весов».

243. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

3/16 февраля 1909 г. Москва[1]

3/16 февраля 1909

Нина, дорогая!

Вчера обрадовала и утешила меня несказанно Твоя вторая телеграмма, в которой Ты просишь простить первую...[2] Сегодня я получил Твое письмо, написанное явно вместе с первой телеграммой, и третью телеграмму... Конечно, умом я понимаю, что это письмо написано раньше второй телеграммы; понимаю, что его слова уже зачеркнуты Тобой, — и все же мне читать его невыносимо больно, и вот я уже не могу сказать Тебе всех тех радостных и нежных слов, какие еще недавно были живы во мне...

Нина, милая! мне странно и страшно видеть в Тебе эти чувства — ожесточение и безжалостность. *Такой* я Тебя не приемлю, не могу принять. Если Ты могла написать мне все эти строки, хотя бы после и отреклась от них, это значит, Ты души моей так-таки и не поняла. Упреки Твои глубоко несправедливы. Требования Твои до последней степени немилосердны. Этого Твоего лика я боюсь. Этот Твой лик не даст нам ничего, кроме новых мучений.

И еще! Что значат Твои слова: «Если наша встреча откладывается на месяц, я уеду с Робером и вернусь к Тебе уже иной». Ах, если Ты *можешь* измениться, если для Тебя есть еще вопрос, со мной ли Тебе быть или с кем другим, — разве я стану что-либо требовать! Я наивно думал, что никакие соблазны Робера, никакие недели, проведенные с кем-то и где-то, — не изменят Твоего желания (что говорю, «желания», — необходимости для Тебя) быть со мной. Как никакие недели, проведенные с женой, не изменят ничего во мне, в моей любви к Тебе: в этом клянусь! Если лю-

бовь Твоя ко мне *может умереть, пускай умирает*! Я хочу любви бессмертной! проходящей сквозь все испытания! более сильной, чем смерть! — И наперекор всем Твоим доводам, говорю, что такова *моя* любовь!

Ах, Нина. Твоим письмом я расстроен до последних пределов. Не умею ни говорить, ни думать. Прости.

Твой

Валерий.

2*

3/16 февраля 1909, (вечер)

Нина, дорогая!

Я не решился послать Тебе этого письма, разорвал конверт и пишу *«добавление»*.

Может быть, я не прав. Мне кажется, что я прав, но я не смею утверждать этого, п<отому> ч<то> очень я расстроен.

Ты мне писала: «Болезнь не опасная». Ты права. Болезнь не опасная. Но она *мучительная*. Круглые сутки видеть близ себя человека, который беспрерывно переносит страдания; все лечение болезни которого состоит в причинении ему новых страданий; каждое движение для которого — боль; которому боль не дает спать ночи; который поэтому весь разбит, измучен, нервно-расстроен; — видеть все это день за днем... Как Ты думаешь, можно самому потерять обладание собой? Я, кажется, его теряю. За прошедшую неделю я почти захворал сам. И среди всего этого Твои страшные телеграммы и мучительные письма...

Нина, хорошая, милая! Пойми меня и пойми, что я *не могу* поступить иначе, как поступаю. Что если бы я поступил иначе, не было бы лучше ни для Тебя, ни для меня. Если бы, подавляя свое чувство, я приехал бы к Тебе, наша встреча была бы мертвой и нам не нужной. Пойми, наконец, что моя мучительная тоска по Тебе, мои бессильные порывания к Тебе, мои письма, мои телеграммы, мои слезы (ибо, получив последнее Твое письмо, я просто и наивно плакал) должны быть для Тебя дороже и прекраснее, чем мое формальное исполнение раз данного обещания...

Конечно, я *не* работаю. И с внешней стороны трудно работать при условиях моей жизни, и внутренно, под влиянием Тво-

*Нумерация листа — рукой Брюсова.

их писем, я не могу быть спокойным, а стало быть, не могу и работать. А мне работать *необходимо*, повторяю Тебе!

Прости меня, если я обидел Тебя чем-либо. И верь, что я не сержусь ни на одно слово Твоего письма; я только огорчен очень... После этого Твоего письма начинаю смертельно бояться нашей встречи в Москве. Хочу Тебя видеть страстно, но предвижу минуты боли невыносимой. Если будет для меня какая-либо возможность, постараюсь, чтоб того же числа, 17/30 ф<евраля>[3], мы встретились в Петербурге. Если невозможно будет, умоляю, будь ко мне милосердна. Ты сама не понимаешь, какие жестокие Ты мне наносишь раны. Ты *никогда еще* не говорила ничего столь беспощадного, как в последнем письме Твои слова о Робере. Нина! Нина! неужели они были правдой?

Плачу. Целую Тебя. Прости меня. Люби меня. Я — Твой

Валерий.

P.S. 100 fr<ancs> прислал действительно я[4]. В тот вечер в кружке одна дама попросила меня прибавить 5 р. к ее банку[5]. Я это исполнил. Через несколько минут дама вернула мне 40 р. Мне показалось, что это прямой намек, чтобы я послал эти деньги Тебе. Я это сделал. Не брани меня.

---

[1] Ответ на п. 237 и неизвестную нам телеграмму. Написано на русских бланках издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. примеч. 2 к п. 242.

[3] 17 февраля по новому стилю — 2 марта.

[4] Ответ на вопрос в п. 234.

[5] В Московском Литературно-художественном кружке в специально предназначенном зале устраивались карточные игры. См. об этом мемуарные очерки Б.К. Зайцева (*Зайцев Б.К.* Соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 371—372) и В.В. Вересаева (*Вересаев В.В.* Невыдуманные рассказы о прошлом. Литературные воспоминания. Записи для себя. М., 1984. С. 134—137).

244. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

4/17 февраля 1909 г. Москва

4/17 февраля 1909

Нина, дорогая!

Чувствую себя как затравленный зверь. Ты требуешь, чтобы я ехал к Тебе. Моя жена требует, чтобы я был с ней. Издатели требуют обещанных мною рукописей. Кредиторы требуют, чтоб я

усердно занялся продажей моего дома, дабы выплатить им долг[1]. — А я не могу ни ехать к Тебе, ни быть с женой, ни писать статьи, ни хлопотать о доме. Ничего не могу. Мне хочется броситься ничком, закрыть глаза, сложить руки, сказать: пусть будет, что будет! Или умереть, — наконец, умереть! наконец, освободиться ото всех мучительств этой жизни.

И все это именно когда мне казалось, что я близок к какой-то пристани, что возможно все примирить, возможно жить, работать. У самого берега — не в первый раз! — мой корабль идет ко дну, и я опять в черноте волн, свирепых и холодных. Стоит ли опять бороться с течением, — который раз! Не опустить ли руки? Во имя чего сопротивляюсь я, зачем добиваюсь этой пристани? Я воображаю, что там свет, радость, счастие. Нет! Конечно, там новый застенок, опять палачи, только в иных одеждах, опять орудия пытки, еще более усовершенствованные! Утонуть! утонуть!

Господи! как в эти дни мне было нужно Твое ласковое, Твое утешающее слово! Если когда-либо человек мог воскресить человека словом, — это именно теперь, меня Ты. Мне нужно было немножко снисхождения с Твоей стороны, немного понимания меня, немного дружбы и прощающей любви. Вместо того страшные, ветхозаветные слова. «Не хочу больше чувствовать этой женщины. Если этого нельзя, уйду от Тебя навсегда». — «Или 22 или никогда»[2]. Страшные, страшные слова. Око за око, зуб за зуб. Я падаю под их тяжестью. Я убит их острием. Мне кажется, если бы я приложил сейчас руку к своему сердцу, рука была бы окровавлена... Но если Ты *можешь* уйти навсегда, — уходи. Если *можешь*, — почему же не уйти?

Нина, дорогая! Если есть в Тебе та любовь, в которую я верил, — беспредельная, над всем торжествующая, — если есть в Тебе любовь ко *мне*, любовь все понимающая, все принимающая, все прощающая, — если есть в Тебе, как чувствую это в себе, бесконечная нежность, желающая дать тому, кого любишь, все радости, все утешения, — если есть в Тебе *это*: приезжай *сейчас, немедленно, хоть завтра*. Приезжай, потому что я устал без Тебя. Приезжай, потому что сроки, какие я выбирал, были придуманы не затем, чтоб отложить нашу встречу, но чтобы сделать ее более прекрасной! Если в душе Тво<е>й мир и ясность, любовь и нежность, пусть боль, но и прощение; если Ты — та, о которой мучительно мечтаю я вот уже третий год, — приезжай теперь же, я жду Тебя, я зову Тебя, я хочу Тебя!

Но если в душе Твоей любовь условная; если Ты можешь говорить мне: «А! если так, я уйду к Роберу» (ведь это же чудовищно, эти слова, Нина!!); если Ты хочешь и ищешь не любви, но мести; если Ты живешь не нежностью, но яростью; если во мне Ты любишь не меня, но свое желание торжества; если я в Твоих глазах, как Ты пишешь, «лицемер», с «раздвоенной душой»; — тогда, Нина, тогда не приезжай вовсе, ни сюда, в Москву, ни в Петербург, ни в Гельсингфорс. Не зови меня, не жди меня. Я в последний раз скажу себе, что ошибся. Закрою глаза, отклоню лицо, — и Ты не будешь знать, что именно я чувствую.

Хочу, чтобы Ты пришла ко мне только в том случае, если *не можешь не прийти.* Хочу той Любви, которой никакие испытания не могут изменить. Хочу Любви безграничной, которая не знает слов «если — если — то я». Есть ли в душе Твоей такая любовь? Спроси себя. Ответь себе и мне.

Нина! Нина! если бы я умел пересказать Тебе, как мне трудно и как мне тяжело.

Я Твой
Валерий.

[1] Речь идет о доме на Цветном бульваре, принадлежавшем родителям Брюсова.
[2] Пересказ слов Петровской из п. 237.

245. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

5/18 февраля 1909 г. Москва

5/18 февраля 1909

Нина, дорогая!

Вновь пишу Тебе «последнее» письмо. То, которое напишу завтра, вероятно, уже не застанет Тебя в Париже. Через несколько дней мы встретимся. Встретимся в Москве и при самых неблагоприятных условиях. Изо всех возможных для нас встреч состоится самая опасная. Дьявол так устроил, — он «великий искусник», artifex maximus! Иду навстречу копью, закрыв глаза.

Когда я звал Тебя в Москву, я думал, что те чувства, чувства этой весны перегорели в Твоей душе, что Ты *над* ними. Я верил, что Ты нашла в себе прощение всему, что казалось Тебе грехом во мне. Как я нашел в себе прощение всему, что кажется мне

грехом в Тебе. Я ждал, что мы встретимся проясненные, успокоенные. Я мечтал, что магическая сила нашей любви преобразила наши души — Твою, как мою...

Сейчас я боюсь, что судил о Тебе по себе. Что того пути, который совершил я, Ты не прошла. Что Ты все еще та, какой была в мае. Что Ты не та, кому я писал мои бедные, нежные и счастливые письма. Боюсь, что «Нина» моих писем — моя мечта...

Будем смотреть смело в глаза судьбы. Смело, потому что я привык смотреть ей в глаза. Ты не та, какой я Тебя ждал? Я не тот, каким Ты меня ждала? Наша встреча не та, какой мы ее ждали? О, страшные вопросы!

Будем смелы, Нина! не будем скрывать от себя ничего. Мы встретимся для новых мучительств и для новых отчаяний. Ты меня найдешь измученным, усталым до последнего предела, расстроенным, как рояль, по которому долго стучали кулаками и ногами, и, хуже всего, *раздвоенным*: не хочу от Тебя скрывать и этого! И мы проведем вместе, встречаясь и расходясь, опять встречаясь и опять расходясь, не мало трудных и мучительных дней, потому что не быть мне свободным раньше конца февраля ст. ст. И за эти долгие дни Ты возненавидишь меня вновь и начнешь меня презирать, и вместо той лучезарной близости, о которой я мечтал, о которой я писал, придет последнее разъединение...

Будем смело смотреть в глаза Судьбе: так *может* быть!

Но больше нет иной дороги. Теперь уже мы *должны* встретиться. Теперь уже я повторяю Твои слова: *или теперь, или никогда*. Если мы не встретимся теперь, нам невозможно будет приблизиться друг к другу...

Что же! Не уклоняя груди перед копьем Судьбы, будем, однако, верить в *чудо*! Чудо! чудо! сколько раз мы молились ему коснеющими губами. Чудо! последнее прибежище всех погибающих! последний якорь всякого отчаянья! последняя звезда в последней ночи! Чудо! свершись. Сделай ров львиный — райским садом! преврати челюсти диких зверей в яркие розы! умягчи острия наших смертных лож в тихий пух! Как Юлиан перед смертью, я верю чуду![1]

Приезжай, Нина. Зову Тебя и не Тебя. Зову я и не я. Приезжай. Жду Тебя. Будь со мной. Приди ко мне, — скоро!

Что ж не спешит она к моим устам предсмертным
Прижать уста...[2]

И, как последняя молитва:

Да будет все это письмо безумием, ошибкой, заблуждением! Да свершится не то, что я думаю! Да окажусь я ложным пророком! Да явит мне Бог милосердие свое, — ибо не о чем больше мне просить его.

Пойми тоску этих строк, Нина. Приезжай непременно. Умоляю, заклинаю Тебя: приезжай! Это соломинка надежды. Но вне нее нет уже никакой надежды.

Твой, покорный, изнемогающий

Валерий.

P.S. Из телеграммы Ты знаешь, что 400 fr<ancs> я переведу Тебе телеграммой во вторник утром[3]. Раньше, прости меня, не сумею. Рассчитай свой приезд так, чтоб быть в Москве в понедельник 16 февр<аля> (1 марта). Ты сама писала в телеграмме: arriverai vers 15* — разница в одном дне. Прости все грустные слова — сейчас не умею писать иных.

[1] Подразумевается предсмертная речь Юлиана Отступника (Julianus Apostata; 331—363), римского императора с 361 г., зафиксированная в «Истории» Аммиана Марцеллина (кн. XXV, 3, 15—20). См.: *Проф. Кулаковский Ю.А.* Аммиан Марцеллин. История. Вып. II. Киев, 1907. С. 247—248.

[2] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Себастьян» («На медленном огне горишь ты и сгораешь...», 1907), входящего в книгу Брюсова «Все напевы» (I, 488).

[3] *Вторник* — 10/23 февраля.

246. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

5/18 февраля 1909 г. Москва[1]

5/18 февр. 1909

Нина, дорогая!

Еще несколько слов в дополнение к моему сегодняшнему письму.

Если Ты не известишь о ином телеграммой (письма не буду принимать в расчет, потому что со дня написания письма все можно передумать), я поступлю так:

*Приеду к 15-му (*фр.*).

Во вторник (прости, не удается раньше) переведу Тебе телеграфом 400 fr<ancs>.

В конце недели возьму для Тебя комнату в Руси[2].

В воскресенье[3] буду ждать Твоей *русской* телеграммы. Ты пошлешь ее *из Варшавы*, сообщая мне, с *каким поездом* едешь (скорым, или курьерским, или иным).

В понедельник[4] я встречу Тебя на вокзале.

Согласна ли Ты на все это?

В одном из писем я просил Тебя известить меня о своем окончательном решении ехать телеграммой «Je pars»*. Если сделаешь так, будет хорошо и все мне яснее. Но если и *не* пришлешь такой телеграммы, я все равно буду считать, что Ты едешь, и поступать согласно со всем, что здесь написано. Только в том случае, если Ты пришлешь мне категорическую телеграмму, что *не едешь*, что *остаешься в Париже*, я все эти приготовления брошу.

Но, повторяю, уже поздно переменять решения. Теперь уже *надо* ехать. Наши души так измучены постоянными переменами — ехать — не ехать, — что не вынесут нового изменения. Все будет хуже, чем встретиться. Ясно чувствую, что эта встреча решена. Она уже упала... неужели добавить: как нож гильотины? Нет! скажу: выпала как жребий. Откроем глаза и увидим: жребий жизни или смерти.

И сквозь все это, сквозь все предчувствия мрачные и тяжелые, я очень хочу Тебя видеть. Приезжай, Нина! Приди. Сколько-то минут будет чистой радости — просто от того, что вновь увижу Тебя, поцелую Твою руку. Этой радости ничто не отымет, и пусть после даже смерть, если нет иного выбора.

Приди. Я зову.

Твой

Валерий.

Не верь более *никаким* словам и мыслям. Услышь только одно это: *приди*. Сейчас для нас ничего иного *нет*. *Приди*.

---

[1] Продолжение п. 245. Написано на русском бланке издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] См. примеч. 2 к п. 23.

[3] *Воскресенье* — 15/28 февраля.

[4] *Понедельник* — 16 февраля / 1 марта.

---

*«Я выезжаю» (*фр.*).

247. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

6/19 февраля 1909 г. Москва[1]

6/19 февр. 1909

Нина дорогая! Сейчас получил еще одно Твое письмо (где Ты рассказываешь, как знакомила Робера с Бальмонтом[2]). Письмо ласковое, доброе, — и мне стало несколько легче. *Приезжай*, милая. Жду Тебя покорно, с тихой надеждой, хотя и не без страха. Ах, Робер, Робер! Это — серьезнее, чем Ты мне говоришь! Не смею роптать, но трудно не роптать. Все равно — люблю Тебя... А Ты? Любишь ли? Говоря совсем правду, последнюю правду? Не знаю. — Приезжай в *понедельник 16 февр<аля> / 1 марта*. Если приедешь в воскресенье, мне будет очень трудно вырваться к Тебе. На этот день давно назначено какое-то глупое чествование Скрябина, и я *должен* представительствовать[3]. Мне было бы горько мало видеть Тебя в первый день Твоего приезда. Телеграфируй из Варшавы, чтоб я мог Тебя встретить. Жду Тебя — péniblement <?>*. Приезжай. Обнимаю Тебя.

Твой Валерий.

---

[1] Открытка. Почтовый штемпель: Москва. 6.II.1909. Отправлено по адресу: «Hôtel d'Harcourt. B-d St. Michel. Paris»; обратный адрес: «*Exp. de Moscou*. От Н. Соколовой. Гост. «Русь», Театральная пл.» (указано Брюсовым на случай возвращения письма, если оно будет доставлено в Париж уже после отъезда Петровской в Москву).

[2] Это письмо нам неизвестно.

[3] Никаких публичных акций с участием А.Н. Скрябина в указанный день не зафиксировано. Возможно, Брюсов подразумевает (либо ошибаясь в дате, либо сообщая предварительно назначенную дату мероприятия) состоявшийся 18 февраля камерный вечер «Общества Свободной Эстетики», на котором Скрябин исполнил 3-ю сонату и ряд фортепианных пьес (см.: Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина / Сост. М.П. Пряшникова и О.М. Томпакова. М., 1985. С. 168).

248. БРЮСОВ – ПЕТРОВСКОЙ

6 марта 1909 г. Петербург[1]

Нина, дорогая!

Получил Твою телеграмму. Спасибо. Бедная! Как Тебе должно быть трудно там, в Москве[2]. Жду Тебя очень, страстно, упор-

---

*Тяжко, болезненно (*фр.*).

но. Люблю нежно. Приезжай скорее — ах, не «*вероятно*, в понедельник[3]», но *не позже* понедельника. Ведь это мои именины, Нина. Хочу провести их вместе! Жду Тебя!

Тороплюсь послать письмо с курьерским[4].

Целую Тебя.

Твой Валерий.

---

[1] Закрытое письмо — «секретка». Почтовый штемпель получения: Москва. 7.3.09. Отправлено по адресу: Москва, Арбат, М. Николо-Песковский пер., д. Пашинской, кв. Петровской. Нине Ивановне Соколовой.

[2] Брюсов выехал из Москвы (где он и Петровская постоянно встречались во второй половине февраля ст. ст. 1909 г.) в Петербург 28 февраля. См. его письма к жене от 28 февраля 1909 г., написанное в поезде, и от 1 марта, по приезде в Петербург. — РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 12. 3 марта 1909 г. он писал С.А. Венгерову: «Случайность привела меня в Петербург <...>» (Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1938. Вып. 1. С. 335). В дневнике Брюсов зафиксировал: «Поездка в Петербург. Встреча с Ниной. Две недели в П<етер>б<урге>. Посещение Бенуа. У Маковского переговоры в «Аполлоне». Гр. Алексей Толстой. «Салон» и лекции Макса Волошина. Вечера с Вяч. Ивановым. Его лекция. Не был у Сологуба, кот<орый> обиделся. Три тягостных месяца в Москве» (*Дневники*. С. 141, с уточнениями и дополнениями по автографу; в частности, фраза о встрече с Петровской в печатном тексте опущена).

[3] Цитируется телеграмма Петровской (текст ее неизвестен). *Понедельник* — 9 марта.

[4] Имеется в виду, что письмо было отправлено непосредственно с вокзала для ускорения его получения.

249. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

7 марта 1909 г. Петербург[1]

Нина, дорогая, любимая! Вот и вторая ночь без Тебя[2] — и еще две такие же впереди. Потому что я не могу верить, чтобы Ты приехала позже понедельника![3] Жду Тебя твердо, но с большим томлением. Ах, как медленно проходят часы! Думаю о Тебе, о Твоих делах, знаю, что Тебе очень плохо и очень трудно в Москве, и это меня не утешает нисколько. Не пишу Тебе ничего о Твоих делах, — ибо чтó скажешь, чтó угадаешь на расстоянии 600 верст! Все будет неверно. Делай все так, как Ты находишь лучше. — Вчера чуть не весь день был я у Вяч. Иванова. Сегодня он будет у меня[4]. Работаю все-таки плохо, хотя работаю, понемногу подвигаюсь. Писем Тебе нет (сообщаю это с маленьким злорадством: прости). Твоего письма я тоже еще не получал. — Мечтаю

о миге, когда Ты войдешь вновь в эту комнату[5], — encore parfumée par toi...* Иной раз, слыша стук в дверь, я вздрагиваю от нелепой мечты: вдруг это ты! Или, возвращаясь «домой», отпирая дверь, безумно думаю: вдруг Ты сидишь в кресле, в темноте, ждешь меня... Нет! Еще 48 часов одинокого томления. Нина! Нина! Вернись. Приди. Я — Твой

Валерий

7 марта 1909, Пб.

---

[1] Закрытое письмо — «секретка». Почтовый штемпель получения: Москва. 7.3.09.

[2] Судя по этим словам, Петровская приезжала в Петербург из Москвы в начале марта 1909 г. — вместе или одновременно с Брюсовым.

[3] См. п. 248, примеч. 3.

[4] Ср. сообщение в письме Брюсова к жене от 8 марта 1909 г.: «Вчера <...> вечером был у меня Вяч. Иванов и изъяснял мне мистическое сравнительное значение железа и меди, а также происхождение кентавров из духов фессалийских потоков или из духов индийских ветров...» (РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 12).

[5] В Петербурге Брюсов остановился в Большой Северной гостинице.

250. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

2 апреля 1909 г. Москва

2 апреля

Милый Валерий,
мне очень трудно написать тебе сейчас больше «восьми строк», но это нужно, и я постараюсь. Не сердись на меня, как весной[1], не каменей, как вчера, пойми один раз, что так больше *невозможно*, и расстанемся тихо. Я тебя очень люблю, но видеть тебя мне больно и печально, но еще больнее встречаться, читая в твоих глазах и всех поступках все одно и то же жестокое слово «никогда». Ты еще надеешься на какое-то примирение, на *мою* уступку. Что же я должна «уступить»? Всю мою душу? Называется ли это «уступкой»? Как *после весны* ты можешь еще думать, что *мы* можем жить при тех же условиях? Помнишь ли ты хорошо эту весну, лето и мой отъезд в Париж? После всего этого ужаса я ехала в Париж с уверенностью, что нам не быть вместе уже никогда. Твой тайный отъезд *с ней* в июне[2] мне казался достаточным доказательств<ом>

---

*Еще наполненную твоим ароматом (*фр.*).

твоего окончательного выбора. В Брест я ехала, ты знаешь, не для нежной встречи... В Намюре тебя видела с душой, полной самых горьких и даже мстительных чувств, после этого послед<него> свидания в Париж бросилась, как в яму, и уже много времени спустя какие-то чудесные крылья вынесли меня из этого мрака. По мере того как я успокаивалась и выискивала возможности жить *без тебя*, ты, точно чувствуя это, странно и неожиданно менялся. Я никогда не получала от тебя нежнее парижских писем, ты никогда не казался мне более милым и близким, как в те дни, когда я уже готова была сказать тебе: «Ну, теперь прощай, я ухожу навсегда». Ты веришь мне, — ни одной минуты я не сравнивала настоящей моей жизни с жизнью с тобой. Это, правда, была «свадьба Данте»[3], — конечно, паденье, потому что самым большим соблазном здесь являл<ись> *покой* и желание уйти от самой мучительной из своих душ — любви к тебе. Но твой зов проник через все. Мне было очень страшно и жалко уезжать из Парижа. Еще смутно (потому что все чувства были там погружены в легкий и сладкий сон), но я уже предчувс<твовала>, *куда* ты меня зовешь, и уезжала со страхом и печалью. Ты спросишь: «Зачем же ты уезжала?» На это трудно ответить. На действиях такого рода строятся всегда жизненные и литературные драмы. Читаешь или видишь со стороны всегда с ужасом. Ведь явно, что это шаг ложный и опасный, не сделать бы только его, — и как по математическ<им> данным можно рассчитать счастливый конец. Что здесь всегда двигает душой? Вечный соблазн играть своей судьбой или минутная бессознатель<ность>, которая затемняет всякую очевидность. Не знаю и теперь точно не вспомню о себе, но поехала на твой зов. Долго я была чем-то отделена от тебя, и твоя власть надо мной казалась мне утраченной. Сознательно или нет — не знаю — ты всеми силами добивался моих прежних чувств. Я верю, что скорее бессознательно ты в Петербурге говорил те слова, от которых отказался сейчас. И вот, Валерий, *только они* — эти безумные слова твои дали мне тоже безумную надежду. Помнишь, как стало потом хорошо? Открылся бесконечный прекрасный путь для *нас двоих*. Уже начала возникать настоящая близость, настоящая успокоенная глубокая радость. В первый раз я почувствовала себя с тобой не в узкой тюремной камере, сжатой со всех сторон *ее присутств<ием?>*. Еще в вагоне ты мне говорил[4], что на Москву и на эти месяцы нужно смотреть как на *временное* неизбежное мучение — и только. Разве мне нужно было видеть какие-либо твои противоречивые действия, разве мне не довольно было увидать однажды (и очень скоро) выраж<ение>

твоих глаз, чтобы понять эту последнюю прекрасную ложь? Я не хочу сказать, что ты меня обманывал умышленно. Ты сам не знал наверно — можешь или нет. Приехал, переступил порог, забыл яркость чувств, пережитых недавно, понял, что *ее* не оставишь никогда, ни для чего, и с лицом, на котором легли эти страшные тени, пришел ко мне. И вот мы опять на том же месте, где были весной. Свершился какой-то круг, оба мы прошли большие испытания, и, как видишь, они ничего не изменили и из души не вырвали, — все осталось по-прежнему. Ни на какие новые испытания уже не хватит ни сил, ни веры. Без исступления, без всяких злых чувств, только твердо и печально я повторяю тебе то же, что говорила весной: «Быть втроем не могу». Предпочитаю этому все. Помнишь, как ты говорил: «Буду жить где-нибудь в Марселе, уеду куда попало, нарушу всю мою жизнь, но так еще не могу!» При всей моей любви к тебе не могу найти с тем, что ты предлагаешь, никакого примирения. Я стараюсь говорить сейчас холодно и четко только потому, что нежность для нас обоих будет острее ножа. И ты это пойми.

О «жизни» моей не беспокойся. Драматическое действие уже совершено, и поправить ничего нельзя. Конечно, мне представляются потерян<ным> раем, блаженством на «земле Ойлэ»[5] дни мои в Париже перед отъездом сюда, так же их вспоминает и Надя, проживая в буйном отделении лечебницы Левинштейна[6]. Но когда к ним вернусь — не знаю. Буду здесь жить «*пока*», претерпевая все горести, как заключение в тюрьме на неопределенный срок. При первой возможности уеду из России совсем. Глава эта, к сожалению, из Ведекинда[7], а я его не очень-то ценю. ***Ответственным себя ни за что, ни в какой мере не считай***, когда ты начинаешь говорить в этом смысле, — я горько обижаюсь.

Грустно мне очень. Никогда не была я в такой холодной темной пустоте. — «Je ne suis pas...»[8]

Твоя.

---

[1] Подразумевается весна 1908 г.

[2] Подразумевается заграничное путешествие, которое Брюсов совершил в 1908 г. вместе с женой.

[3] Женитьба Данте Алигьери (1265—1321) на Джемме Донати упоминается здесь в соотнесении с его возвышенной любовью к Беатриче Портинари.

[4] Вероятно, имеется в виду разговор на обратном пути из Петербурга в Москву (16 марта 1909 г. Брюсов сообщал из Петербурга жене, что вернется в Москву «*в четверг* или *в пятницу*» — т.е. 19 или 20 марта. — РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 12).

27 марта 1909 г. Брюсов писал А.А. Шестеркиной: «...я около месяца провел в Петербурге...» (РГБ. О. Р. Карт. 129. Ед. хр. 1).

[5] *«Земля Ойле»* — образ из стихотворного цикла Ф. Сологуба «Звезда Маир», опубликованного в его «Собрании стихов. Кн. III и IV. 1898—1903 г.» (М.: Скорпион, 1904. С. 57—60).

[6] Лечебница нервных и душевных болезней Михаила Юльевича Левенштейна (Петровско-Разумовский пр., дом Волынской).

[7] Франк *Ведекинд* (Wedekind; 1862—1918) — немецкий драматург, поэт, прозаик.

[8] Начальные слова фразеологизма «Je ne suis pas si bête que j'en ai l'air» (*фр.*) — «Я не так глупа, какою кажусь».

251. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ

3 апреля 1909 г. Москва[1]

Нина, дорогая, любимая!

Прочел Твое письмо, разумное, ясное, сдержанное, доброе. Ты в нем повторила, сжато, все, что говорила мне последнее время. Если бы я стал отвечать Тебе подробно, я тоже должен был бы повторить все, что говорил Тебе последнее время. Нет! *сказано* все. Оставим свершаться событиям. Слов больше не надо.

Но я не понимаю, почему мы не должны встречаться, или, встречаясь, должны ссориться. Я продолжаю думать, что мы можем и должны быть вместе, без злобы и без отчаянья. Tout comprendre c'est tout pardonner*, — старая, умная пословица. Конечно, я был неправ, что-то спрашивая с Тебя в день нашей последней встречи. Не надо ничего требовать друг у друга, но не будем друг от друга прятаться. Мне, по крайней мере, странно и больно быть без Тебя, когда Ты так близко.

Не согласишься ли Ты сегодня (пятница) пообедать вместе? Я заеду за Тобой, на Арбат, между 6 и 7 час. Если Ты захочешь быть со мной в этот час, Ты будешь дома. Если нет, мне просто ответят у двери, что Тебя — нет. Я приму это как знак, что сегодня Ты не хочешь быть со мной, — вот и все.

Твой всегда

Валерий.

3 апр. 1909

---

[1] Ответ на п. 250. Последнее из сохранившихся датированных писем Брюсова к Петровской.

---

*Все понять — значит все простить (*фр.*).

252. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

30 апреля 1909 г. Москва

30 апреля

Милый, милый Валерий,
мне грустно и страшно после этой встречи. Если мы *все же* видимся, и не хватает силы уйти совсем, мы должны встречаться иначе. Так не нужно, так больно и невыносимо. Я люблю тебя очень. Вот какой-то круг завершился, — в нем был и Париж, и долгие дни без тебя, и дерзкое усилие души уйти, освободиться, забыть. Ничего не вышло. Это та любовь, какой ты хотел всегда, — роковая, не подвластная воле. Не сердись, что я вновь так безнадежно печальна, не говори с презрением, что это «повторение прошлой весны». Я клянусь тебе не повторять ее во внешнем, я все в себе сдавлю, смирю, ты не услышишь больше ни одного недолжного слова, но если эта боль убивает душу и жизнь — разве я виновата?! Зверочек дорогой, любимый, я больше не буду тебя гнать и мучить. Пусть лучше замучит безнадежная нежность, чем эти страшные встречи, когда каждое слово ранит больнее ножа те же губы, которые его произносят.

Я хочу тебя увидеть сегодня, хотя на ½ часа, на несколько минут. Мне нужно сказать тебе это, глядя в твои глаза нежно и печально. Я буду тебя ждать в 7, до ½ восьмого, возвращаясь из лечебницы, в начале Никитского бульвара, в том его конце, что около Никитской. Приди!

Я посылаю это письмо на Цв<етной> бульв<ар>. Куда его послать? Ты говоришь, что не бываешь в «Скорпионе»[1].

Неужели и *этого* мне нельзя? Послать тебе письмо.... Неужели в каждом моем движении должна я помнить о ней!![2]

Твоя.

[1] Письмо отправлено (видимо, с рассыльным) по домашнему адресу Брюсова. Обычно Петровская писала Брюсову по адресу издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

253. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Апрель—май 1909 г. (?). Москва[1]

Четверг

Я сегодня не вышла из дома на пять минут, все ждала, что ты зайдешь... Звонила в «Скорпион», просила передать, если ты там будешь, — но то же молчание. О, это проклятая жизнь, когда не смеешь позвать тебя, когда, живя в одном городе, чувствуешь невозможность увидать и сказать, когда хочется видеть!.. Мне хотелось тебя увидать еще *вчера* с вечера. Я немного пришла в себя, было жалко, грустно, хотелось сказать тебе нежные слова, взглянуть тебе в глаза, поцелов<ать> руки... Всю ночь я писала тебе и надеялась увидать сегодня. Звонила в Кружок, в «Весы», ждала, — нет, верно, я должна сегодня терпеливо нести какое-то еще наказание за мою печаль. И чувствую я сейчас, когда не могу позвать тебя, не имею возможности услыхать твой голос — опять со всей остротой неизбежный, неодолимый Крест моей судьбы.... День был такой для меня ужасный, — весь голубой, жаркий, и этот звон вечером — все раздирает сердце, все опять и опять напоминает лето, тоску, ужас, одиночество... Как хотелось быть с тобой! В окно вижу — люди... Идут куда-то вместе, вдвоем. А я смотрю из окна тюрьмы.... Нет, милый, дорогой, реши что-нибудь *одно*, окончательное, определенное... Я больше не в силах переживать даже дней. Отпусти мою душу. Я умру сейчас с большей легкостью, чем живу. Ты привык за пять лет видеть мою печаль, мое страданье. Это кажется тебе обычным, как мне казалась, напр<имер>, бесконечной болезнь мамы. Бессознательно думалось, что это так и будет длиться еще годы и годы.. Так думаешь и ты, глядя на меня. Но у меня *нет*, нет больше сил ни телесных, ни душевных. Если ты хотя сколько-нибудь меня еще любишь, — распутай, развяжи или разруби этот узел. Не могу больше! Ах, серьезно, искренно говорю: не могу, — ну, посмотри на меня, разве так жить можно?! И если ты не захочешь *сказать* ничего прямо, я приму это за ответ, за приговор.

Если тебе дорога еще хотя немного наша близость, наша несчастная, придушенная любовь, — спаси их.

Вот сейчас ты с ней[2], она тебя видит, она может позвать тебя, сказать все, что хочет, а я!.. Я ничего не смею, я отброшена кудато и должна ждать, ждать, как в тюрьме, когда ты придешь сам. Не сердись на меня! Я была тихая, нежная весь день, а к вечеру

ожесточилось сердце от незаслуженной боли. Что я сделала дурного? Плакала? Печалил<ась>? *За что* мне сегодня наказанье?

Валерий дорогой, единственный, вся моя любовь! Подумай еще раз, подумай серьезно и что-то *реши*. Пусть для меня в твоем решении — нож. Все равно! Только бы один конец. Я говорю серьезно, я заклинаю тебя поверить, — этого лета, этой весны *так* я пережить не могу. Ну, что-то сделалось с душой особенное, новое, в ней какое-то упорное сопротивление и невозможность *так* длить.

Дорогой мой, не принимай этого прибавочного, сегодняш<него> письма обиженно! Я не хочу тебя обидеть ничем. Я люблю тебя, видит Бог, как безумно люблю! Я жалею тебя смертельно, у меня сердце болит на тебя смотреть, о тебе думать. Но и тебе будет лучше решиться на что-то *одно*. И когда я говорю о «решении», запомни, — я не требую ничего самого для тебя страшного, я не потребую *этого* никогда уже больше. Я говорю о внутреннем, о душе, о наклоне *чувств* туда или сюда. Брось что-нибудь в одну из чаш, и она упадет. Прежде мне *даже мысль*, что ты *ее* изберешь, казалась мне <так!> дикой, невозможной. Теперь я смиренно и забыв эту гордость прошу *суда*. Прошу: выбери, хотя бы даже жестокость пала на меня, на меня из троих.

Милый и любимый, пойми меня, не говори, что я твое «мучение», ты же сам изнемогаешь от этой жизни, от вечной двойственности, а тебе и *вам обоим* легче, чем мне. Только подумай, *какие* это часы, наприм<ер>, сегодня, когда я не смею позвать тебя и со смертельной болью в больном сердце бегаю весь день от телефона к телефону, смотрю в окно, потом бросаюсь на диван и, вся захолодев, лежу как в обмороке с закрытыми глазами. Мне нужен отдых, хотя такой, какой инквизиция давала между пытками, и смерть лучше, лучше такой жизни. Валерий, в эти строки я влагаю всю мою душу. Отзовись на них искренно, сердечно, мягко. Ведь я же ни в чем не виновата, *как и ты*, кто-то нас всех покарал этой любовью.

Валерий милый, приди ко мне, как получишь письмо. Ведь я не злая, не упрямая, не хочу тебя мучить, мне только больно безмерно.

Твоя.

---

[1] Датировка предположительна. Возможно, что письмо было написано раньше п. 252.

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

254. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

25 мая 1909 г. Москва[1]

Понедельник 25 мая

Милый Валерий,
теперь можешь успокоиться, — я уеду 8-го июня, у меня заказан билет и готов паспорт[2]. Надеюсь, что это наше свидание будет последним в жизни. Я вернусь туда, где меня хотят и ждут, где мое присутствие — радость, а не досадная помеха. Не сердись, что эту записку посылаю на Цв<етной> Бульв<ар>. Я думаю, — столь приятное известие искупит одну тягостную минуту[3].

Н.П.

[1] На письме — карандашная помета (И.М. Брюсовой?): «Найдено в письме Верхарена от 17.V.1909» (подразумевается недатированное письмо Э. Верхарна к Брюсову, полученное в Москве — согласно дате на почтовом штемпеле — 17 мая 1909 г., см.: *ЛН. Т. 85.* С. 586–587).

[2] Речь идет о предстоящем отъезде за границу.

[3] Подразумевается предполагаемая реакция И.М. Брюсовой на содержание письма, отправленного по домашнему адресу Брюсова.

255 ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

24 июня 1909 г.[1]

Брест

Зверочек мой!
еду с печалью, ах, с какой печалью!... Но уже не плачу, стыдно вызывать своим видом жалость у посторонних людей. Сижу, молчу, думаю — лечу, не знаю куда, как лист осенний. Я сейчас ни в чем тебя не хочу уверять, я ничего не знаю. Можно ли знать хоть что-либо, когда так бросаешь и *бросают* твою душу в хаос, в неизвестность.

«Шар золотой» — куда он упадет? Ах, протяни руки *так*, чтобы опять он вернулся к тебе! Или не жди, закрой глаза и требуй только чуда.

Эта поездка, несмотря на все чувства, — она моя гордость. Значит, еще не совсем сломилась душа, значит, еще я могу «пре-

одолевать». Уехать было трудно, как никогда в жизни. Я с правом говорю сейчас эти слова — «никогда в жизни».

Теперь, уж если встретимся, — *кто-то будет покорен*! Кто? Ты или я? Не знаю. Мы делаем все более и более страшные опыты, наша жизнь становится похожа на невероятно, смертельно трудные акробатичес<кие> «полеты в воздухе». Иногда это кончается и счастливо.

Кажется, подъезжаем к Бресту, нужно опустить письмо. Валерий! Зверочек! Я люблю тебя очень, и сейчас я еду с верной, печальной душой. Не забывай меня, когда будешь с ней[2]. После таких дней надолго ты делаешься чужим. Все это чудовищно, странно и страшно. Встретимся ли??.. Ах, зверочек, у меня почти нет слов. Но через печаль и горечь я люблю тебя, одного тебя. Целую нежно, нежно твои милые вчерашние грустные глаза. Я твоя, полузабытая вечная

Рената.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю: Брест. 24.VI.1909; Москва. 26.VI.1909. Написано в железнодорожном вагоне, отправлено из Брест-Литовска.

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

256. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

15/28 — 16/29 октября 1909 г. Париж[1]

Париж. Четверг 9 ч. в<ечера>

Зверочек, зверочек мой! я не найду сейчас много слов. Душа так взволнована, так потрясена этим днем, что я еще не владею ни мыслями, ни сознанием, ни даже телом — рукой, чтобы писать. Я прощалась с тобой как немая, ехала почти без чувств, — знаешь этот странный сон наяву, — и только дома, в наших комнатах плакала в первый раз. Милый, как грустно, как сладко! Это не прежняя ядовитая, безутешная боль наших расставаний.

Пятница. Утро. Продолжаю сегодня. Вчера закружилась голова, едва добралась до постели. Словно устала от дня. Проснулась, и меня уже ждали твои письма[2]. Милый, милый, любимый мой, я верю в тебя, я не могу не верить тому твоему образу, который был передо мной неизменно в эти чудесные, святые для меня дни. Я больше ничего *не требую*, ничего не хочу *только для себя*, потому что наша жизнь стала одной слитой жизнью и в радости, и в

страданьи. Я буду любить тебя при всех условиях, верь в это, и если я буду очень страдать, я знаю, — ты будешь со мной во все минуты, не бросишь меня, как прежде, и, *если сможешь*, дашь мне то, что стало нужно нам обоим равно. Я верю! Я знаю — ты только мой, и все остальное, — это наше общее горе. Еще раз прошу тебя, умоляю тебя, не делай ничего такого, что может совсем сломить твою душу. Рассчитай свои силы, если колеблешься — подожди, если нужно — лги (ах, только не мне!..), только сбереги мне себя. За радость *минут* с тобой я буду страдать еще и еще, — как могу, сколько вынесу. Это самые большие слова любви, какие могу я сказать тебе сейчас. Прими их, возьми их, пользуйся ими, если нужно. Даже ценой своей радости, ценой осуществления моих пятилетних мучительно острых желаний я не хочу увидеть тебя разбитым, полумертвым. Валерий, любовь моя! я только боюсь одного, чего, может быть, не предугадать еще и тебе самому, — это внезапной перемены чувств, когда ты увидишь ее. Помнишь, что я говорила о «Зачарованном принце». Переступил через порог и все, все забыл. Когда потом очнулся, то сам не мог понять, как это могло случиться, вспомнил все свои клятвы, устыдился, бросился назад. Но, кажется, и в сказке было уже почему-то поздно вернуться. Я не помню конца. На это мне ответит твое первое письмо.... Я верю, верю в тебя, не обижайся, я говорю о том ужасе, который вне круга сознательных движений души. Я не осудила бы тебя за это, но страшно, страшно мне, зверочек; страшно всегда, когда имеешь дело с темной стихией. Ну! что об этом говорить... Я верю, верю в тебя, и если даже этот дурной сон окует твою душу, *ты проснешься, чтоб быть со мной*, потому что ты *мой*, только мой, это сказано где-то, вписано в какую-то огромную книгу, которая ведет счет нашим существованиям и деяниям на земле. Милый, дорогой зверочек, как грустно, грустно мне было этой ночью. Проснулась... темно, Надечка спит, ветер воет в каминной трубе, чувствовала себя маленьким покинутым ребенком. Каждая вещь помнит тебя, все они говорят о тебе грустными нежными голосами. Я ехала во сне, просыпалась от боли и опять засыпала. Рядом действительно ехал король, и ему, может быть, было хорошо... Все с нами в эти дни было *как никогда*, и расставались мы в первый раз без горьких обидных чувств, без слез. Я плакала только дома — от нежности, от любви, от воспоминаний, которые обступили меня в наших комнатах грустным и ласковым роем. Холоден и пуст мне Париж без тебя. Не оставляй меня здесь! Не оставляй! Это была бы ужасная жестокость. Несмотря ни на что, в Москве есть возможность

хотя бы видеть тебя, касаться твоих рук, смотреть в твои золотые глаза, чувствов<ать,> что ты близко, — через несколько улиц, что мы каждую минуту связаны горем, нежностью, любовью. Здесь я погибну совсем. Ты знаешь, ты понял... Зверочек, вся душа горит; на огне этих дней сгорело все прошлое — и наше страшное, и мое, о котором так хочу я забыть навсегда. Теперь вся моя жизнь — ты, никуда не уйду, никаких минут забвенья не буду искать вне тебя. Последним испытанием были 1 ½ месяца в Москве, я его вынесла, я донесла до тебя мою душу живой, твоей, как всегда, — теперь возьми ее навсегда.

Зверочек милый, я в отчаянии! Холодно везде ужасно. Воображаю, что в Варшаве, Берлине и, главное, в Москве. Я гадкая, я забыла об этом, те дни, когда мне придется ехать в Москву, мне казались такими далекими, что я не удивл<ялась,> когда ты мне говорил о шубе. Казалось, что к тому времени придет настоящая зима. Но ведь ты-то едешь в летнем пальто. Как вспомнила об этом, — сердце кровью облилось. Господи, простудишься, будешь лежать «дома», меня к тебе не пустят... Как я забыла об этом в Брюсселе. Вместо всех глупостей для меня нужно было купить тебе теплое драповое пальто. Ведь в прошлом году ты ехал в теплом, я хорошо помню, оно было на тебе в Намюре. Просто жить не могу от тревоги. В Варшаве через Вислу — холод ужасный, зверочек у меня слабенький, постоянно хворает. И, наконец, в Москве, — ведь почти конец октября. Я беспокоюсь до ужаса. И ругаю себя за эгоизм. Не подумала! Эгоистка! Говорила с тобой о своей шубе и не вспомнила, что мой отъезд отделен от твоего только двумя неделями или меньше[3]. Прости меня. Но что прощенье, когда ты можешь ужасно простудиться. Места себе не нахожу от тревоги. Телеграфируй мне о твоем *здоровьи*, именно о *здоровьи*, успокой меня, зверочек. Боже мой, как я могла забыть. И ты не будешь беречься. Не выпьешь коньяку, не купишь еще фуфайку. Ах, любить, это значит — трепетать, бояться всегда. Но главное, упрекаю я себя, нужно было тебе купить вместо всех глупостей пальто в Брюсселе. Телеграфируй, умоляю тебя! *Умоляю*. В Париже холод, мы топим камин. Обо мне не беспокойся — все сделаю и буду делать, как ты говоришь. Надечку нашла ничего. Она тебе очень кланяется. Очень тебя любит. Мужественная девочка, два дня лежала в постели с головной болью одна совсем. Не захворай, милый, ты знаешь, что это значит при нашей московской жизни.... Я была бы лишена даже горького счастья ухаживать за тобой...

Исполню скоро все твои поручения. Обо мне не беспокойся совсем. Буду осторожна с морфием, — хочу к тебе в Москву, эти дни переживу терпеливо. Ах, ответь скорее о твоем здоровьи. Холод везде ужасный. Боюсь за тебя, дрожу от тревоги.

Целую тебя, мой любимый, дорогой, единственный, мой зверь с золотыми глазами. Как ты едешь, что будет в это воскресенье?..[4] Страшно думать... Это письмо придет после. Если ты уже «в *гипнозе*», пусть оно тебе напомнит наши дни, вернет к нашим воспоминаньям, приблизит мой образ, напомнит мои глаза, с бесконечной любовью и верой устремленные к тебе издалека. Нет! ты мой, ты не забыл, тебя нельзя у меня отнять. Валерий, нельзя?!.. Не отдавай себя, потом тебе самому будет горько и жалко себя и меня. Зверочек, жди меня, люби меня,

я твоя навсегда.

P.S. Как забавно — «это» сделалось вчера вечером. Не болезнь, а естественно. Правда, забавно, точно кто-то заботился о нас *во всем...*

Дорогой, как мало можно сказать в письме. Душа переполнена, и я почти ничего не могу выразить. Милый, благодарю тебя за все, за все — за эти дни, за радость, за заботы обо мне, за то, что ты пришел доверчиво после нашего жестокого расставания в Москве[5]. Я никогда теперь ни в чем не обману твоего доверия. Останемся близкими во всем, сольем наши жизни в одну, как они были слиты здесь. Знай, что в этом мире есть у тебя навсегда верная, преданная тебе до самозабвения душа. Верь в меня и ты, я все твоя, *навсегда.*

---

[1] Почтовые штемпели: Paris. 29.10.09; Москва. 19.10.09. Отправлено в Москву, куда Брюсов, завершая продолжительное заграничное путешествие, вернулся из Брюсселя, после полуторамесячного пребывания в Париже и Бельгии, где он постоянно встречался с Петровской. В середине июля 1909 г. Брюсов вместе с женой уехал из Москвы в Ригу, затем в Берлин, Прагу, Швейцарию. 1/14 сентября И.М. Брюсова вынуждена была выехать из Женевы в Москву в связи со скоропостижной смертью брата, П.М. Рунта, на следующий день Брюсов отправился в Париж, где оставался до 10/23 октября, после чего отбыл на несколько дней в Бельгию, чтобы нанести визит Э. Верхарну. См.: *ЛН. Т. 85.* С. 589—590; *Лавров А.В.* Брюсов в Париже (осень 1909 года) // Взаимосвязи русской и зарубежных литератур. Л., 1983. С. 304—315.

[2] Ни эти, ни более поздние письма Брюсова к Петровской, по всей вероятности, не сохранились.

[3] Речь идет о запланированном отъезде Петровской из Парижа в Москву.

[4] *Воскресенье* (18/31 октября) — намеченный день возвращения Брюсова в Москву.

[5] См. п. 254.

257. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

16/29 – 17/30 октября 1909 г. Париж[1]

Париж. Пятница, вечер

Валерий мой дорогой, любимый, я провожу еще вечер без тебя. Был длинный бесцельный день. Встала рано, в 10 ч<асов>, но и то вышло, что спала 12 ч<асов> подряд. Ах, как пуст и ненужен мне Париж! Здесь уже можно только дожить какие-то дни, грустя и томясь, а если бы остаться. Надолго... Страшно подумать. Есть города, настолько полные для меня тобой, что я никогда не решилась бы быть там еще без тебя. Париж же особенно. Что мы пережили здесь!.. Здесь в первый раз мы сблизились той тесной близостью, которая не может разорваться никогда. И если Гельсингфорс был преддверием нашей жизни, то Париж видел ее самый яркий, пышный расцвет. Как я могла бы здесь жить без тебя? Милый, ведь это правда, — с нами было чудо, самое удивительное из всех в нашей страшной и прекрасной жизни этих 5-и лет. Через страшные препятствия, через невыносимые муки мы дошли до этой встречи и поняли наконец, как мы нужны друг другу, как страшны эти дни вдалеке, как невозможно нам расстаться опять. Может ли быть теперь, что опять потускнеет, ослабеет, замутится чем-то чуждым твоя ясная, смелая, сильная любовь? Ах, тогда я пойду к тебе, возьму твои руки, взгляну в твои золотые глаза и скажу: «Валерий мой, проснись, проснись, — это я единственная, которую ты любишь, это я — твоя любовь, мог ли ты меня забыть!?» И ты проснешься, я верю, проснешься, теперь ты не можешь уйти. Не можешь, зверочек!... не можешь... Скажи и ты, скажи еще раз, чтоб я верила в это, чтоб силой моей веры была сильнее твоя любовь. Ты знаешь, в последние дни мне были уже почти не нужны слова и обещания. Больше чем клятвы мне говорили твои объятья, твои бессвязные слова ночью, в полусне, когда ты, просыпаясь, прижимался нежно и близко и что-то лепетал, как дитя, и я чувствовала, что ты около меня счастлив, счастлив, может быть, в первый раз так глубоко за всю нашу жизнь. Милый, теперь, когда рушились все стены и нет для нас границ ни в чем, понял ли ты наконец, *отчего* так горько страдала я в прошлом? Оправдал ли ты меня за все те муки, что невольно заставляла я переживать и тебя? Все эти годы я томилась и тосковала о том счастье, что ты дал мне в Париже. Я видела его образ — прекрасный и недосяга-

емый. я плакала о нем, звала его, молила тебя его мне дать, но ты еще не мог... Теперь я знаю — не *не хотел*, а не мог. Прости меня за непонимание, за боль, что я причиняла тебе, ты не был виноват никогда. Ты только не чувствовал и потому не понимал, что нужно мне, чего я жду и хочу. В Париже я пришла к тебе с последней покорностью. Ты помнишь, — я была уверена, что ты выбрал ее[2] навсегда, меня уверило в этом все до прощания с тобой в Староконюшенном переулке...[3] Думала: — теперь все кончено, моя душа убита, я возьму смиренно то, что ты мне дашь, потому что даже без этого малого не могу уже жить. И вот пришло чудо, радость, твоя любовь, та твоя любовь, о которой я уже не смела и мечтать. О, Валерий, но ведь мы были только в преддверии той жизни, что может для нас настать! Мы могли еще говорить о ней лишь как о будущем, потому что у нас было так мало дней. Только теперь я вполне увидала и свою душу и поняла, *что́* я могу тебе дать, каким счастливым я могу тебя сделать. От постоянной боли я часто теряла себя, ты видел меня искаженной, всегда замученной, всегда с неутоленностью и болью в сердце. Мы оба губили жизнь, пренебрегали ее возможностями, мы не знали той ясной гармонии, которая приходила часто в парижские дни. А ведь это возможно всегда, если не вернутся страшные призраки прошлого. Теперь я знаю, что нужно для твоего счастья и отдыха, я поняла всю твою душу, и я, только я могу тебе дать счастье. Мне не страшно произносить эти гордые слова, потому что в них настоящая правда, такая же простая и безусловная, как наша любовь. Сбережем все, что мы собрали для новой жизни в эти удивительные недели. Не дадим померкнуть этому огню в ужасном вихре московских дней!.. Если ты почувствуешь опять то же наваждение, тот же непонятный «гипноз», дай мне его нарушить, не противься слишком, пойми, что это неправда, вспомни наше счастье, приди ко мне и расскажи, — мы будем бороться вместе. Поверь же в меня и ты! Я не хочу твоего горя, и если есть для тебя в той жизни неизбежное и роковое, чего нельзя сломать, не сломившись самому, — оставь все как было, мы будем *страдать вместе*. Умоляю об одном, — не скрывай от меня ничего, не лги, как прежде, не обижай меня так горько, — это больше не нужно. Я не буду тебя упрекать, я все пойму, *возьму тебя таким, каким ты можешь быть*, и ничего не изменится больше в моей любви. И если я увижу, что *все с ней* для тебя только горе и мука, — это будет моим единственным утешением, терновым венцом моей любви. Запомни эти слова, я тебя люблю, — их говорит безмерная любовь.

Зверочек мой, ты уже выехал из Берлина, я следую за тобой мысленно, томлюсь с тобой в мучительных вагонах, переживаю твою тоску приближ<ения> к Москве, я с тобой во все минуты твоего грустного пути. Чувствуешь ли ты меня, видишь ли ты во сне, как нежно я целую твои глаза, как близко прижимаюсь к твоему телу? Ты получишь это письмо, навер<но>, в среду[4], уже после трех дней на Цв<етном> бульв<аре>. Неужели уже что-то изменилось? Неужели меня ждет горе опять и опять! Валерий, милый Валерий, не забывай меня, сбереги наше счастье до новой встречи. Верь в меня, я не изменюсь, что бы ни случилось, и вернусь с той же любящей светлой душой. И если суждено мне вновь страдать, — я буду, буду, сколько могу, и свыше меры, как могу вынести.

Грустный вечер без тебя. Надечка спит. Камин потух. Холодно. Сейчас лягу в постель.. без тебя... Милый зверочек, зверочек, люблю тебя безмерно. Ты знаешь? Ты понял?

Я твоя, твоя.

Боюсь ужасно, что ты простудишься в летнем пальто. Ах, как я могла об этом забыть!..

Суббота. Утро. Сейчас я получила твое письмо из Кёльна и растревожилась очень. Что с тобой, зверочек? Может быть, ты болен? Отчего такая усталость, что не мог ехать прямо, ведь от Брюсселя до Кёльна такое небольшое расстояние. Или ты не вспрыскивал морфий? А этого нельзя обрывать, ты забыл, что нельзя. Можно почувствовать себя совсем ужасно. Или ты простудился у Верхарна еще[5]? И ты едешь в холодном пальто. У меня вся душа застыла от твоего письма. И такое оно неласковое. Я знаю, ты бываешь таким, когда болен... Зверочек дорогой, я тревожусь ужасно. Вдруг ты захвораешь. Я не подумала, не подумала, как тебе будет холодно ехать. Нужно было купить непременно пальто. За это я теперь буду мучиться все дни. Не сердись за эти тревожные строчки. «Любить — это вечно бояться»... Ответь мне телеграммой о твоем здоровьи. И не бросай *сразу* морфий, — это нельзя. Будешь чувствовать себя плохо.

---

[1] Почтовые штемпели: Paris. 30.10.09; Москва. 20.10.09.

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

[3] Имеется в виду последняя встреча в Москве перед отъездом Петровской за границу в июне 1909 г. (см. п. 254).

[4] *Среда* — 21 октября / 3 ноября.

[5] Брюсов гостил у Верхарна в Сен-Клу (St. Cloud) 11/24—12/25 октября. 12/25 октября 1909 г. Брюсов писал жене: «Вот я уже еду от Верхарна, у которого

провел половину воскресенья, ночь и первую половину понедельника. В<ерхарн> и M-me В<ерхарн> были любезны чрезвычайно. <...> Как и в прошлом году — время, проведенное у Верхарна, лучшие часы моего путешествия» (РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 13). См. очерк Брюсова «В гостях у Верхарна. Из записной книжки» (*Брюсов Валерий.* За моим окном. М.: Скорпион, 1913. С. 23—32; *Брюсов Валерий.* Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 25—33).

258. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

18/31 октября 1909 г. Париж[1]

Париж. Воскресенье 31, утро

Ах, зверочек, зверочек мой бедный! получила твои письма из Берлина и изнемогаю от тревоги. Я уже беспокоилась вчера после твоей открытки из Кёльна. Чувствовала, что ты болен. Если бы ты был здоров, разве бы ты ехал так медленно. И потом эта твоя усталость через несколько часов после того, как мы расстались в Брюсселе, — ведь в тот же вечер ты уже прибыл в Кёльн, и так устал от пути. Зачем, зачем ты так спешил... Я не смела тебя удерживать. Ты говорил: «Послушайся меня хотя один раз, сделай все так, как я прошу»... Вот я послушалась... А разве лучше вышло?! Я умираю от тревоги. Боже мой! если бы ты заболел около меня, для меня было бы великим счастьем ухаживать за тобой, заботиться о тебе, как о любимом больном ребенке. Мы пережили бы, несмотря на болезнь, еще часы удивительного счастья. А теперь... Ты едешь больной, один... Ты приедешь больной к ней[2], она победит твою душу, которая ослабеет от болезни и усталости. Все, что получили мы здесь, как награду *за годы страдания* — опять отнимется, отнимется... А может быть, ты еще умрешь, без меня, и я ничего не буду знать. Господи, как я страдаю от всех этих мыслей! Вот она, моя расплата за счастье, и как скоро и как незаслуженно!.. Валерий дорогой, Валерий любимый, неужели все погибнет от этого внешнего испытанья? Неужели *теперь, после всего* можно тебя у меня отнять только в силу того, что ты будешь с ней житейски ближе, чем со мной? Неужели ослабеет, померкнет твоя любовь в дни этого испытанья?? Ах, зачем ты сейчас не со мной и зачем ты оставил меня здесь! Два дня я выносила мужественно тоску без тебя, утешала себя мыслью, что пройдут же, переживутся эти дни, и мы будем опять вместе. А вчера меня одолела такая тоска, такая тревога, что к вечеру, к 9-и часам сделался сильнейший сердечный

припадок. Надечка испугалась, нужно было от нее по возможности скрывать свое состояние, но мне стало уже очень плохо. Капель у нас нет, последний пузырек Вячеслава[3] куда-то пропал. Я пошла сама в аптеку, думала, по дороге умру. Там мне дали выпить на месте же, и я еще взяла домой. Сегодня утром в 7 ч. опять проснул<ась> от сердцебиения. Ах, мне плохо без тебя. В квартире такая пустота, такая особенная холодная пустота, что вечерами мы обе боимся равно и с огнем, и без огней. Никуда не выхожу — не могу без тебя. Да и дождь еще. Тоска безумная. Прежде я все выносила легче, а теперь как начинаю тревожиться и тосковать, сейчас делается плохо с сердцем. И этот страх смерти, ледяной ужас умереть здесь, в Париже, вдали от тебя. Прости, дорогой, что я еще печалю тебя, но мне здесь невынос<имо>, особенно с этой тревогой за тебя, за твое здоровье, с представле<нием> ее близости возле тебя, когда ты слаб, болен и душа не может противиться чужой воле. Милый, любимый, не оставляй меня здесь долго. Я не могу. Я тоже заболею. Лучше я буду в Москве в каких угодно условиях, но все же близко от тебя. Буду иметь возможность узнавать о тебе через «Скорпион», через Сережу. О моем внешнем устройстве не беспокойся. Я привыкла ко всем дурным формам жизни. Париж был в этом смысле исключением. Возьму какой-нибудь номер пока, буду искать квартиру и клянусь тебе, мне будет легче и покойнее, чем вдали от тебя, в неизвестности, в ежеминутной смертельной тревоге. Не оставляй меня здесь, умоляю тебя. Позволь выехать как возможно скорей. Что у тебя за болезнь? Отчего, мой зверочек? Та, которую ты не решаешься назвать[4], при обострении бывает страшно мучительна, она бывала и, кажется, есть и теперь у Сережи, была у мамы. Приступы ее давали ужасные муки и без всяких внешних причин. А если то, что было у Б.Н.[5]? Не знаю... Отчего бы?.. Тогда ведь нужно лежать месяцы, и еще операция.. Боже мой! что это будет! Вот мы говорили, что за это счастье настанет расплата. И так скоро, и так жестоко! Еще ты едешь в холодном пальто... Страшно думать обо всем этом. Не простудился ли ты у Верхарна[6]? Помнишь, промочил ноги, а я, я не велела тебе надеть калош, не настояла на этом. Меня надо казнить. Да я и казню себя каждую минуту, страдаю очень, очень. Милый, зверочек мой больной, вот в эти минуты, когда нам *нужно* быть вместе, когда около тебя я *должна* быть со всей заботой и нежностью и самоотвержен<ностью>, чувствуется еще острее и жесточе вся неправда нашей жизни, вся ее ужасная, невыносимая двойственность. Я должна стоять где-то за дверями, не смея к тебе подой-

16. Заказ № 795.

ти, должна страдать молча, покоряясь какой-то странной необходимости этого раздвоения жизни. Прости меня, дорогой, это не упрек, это все та же нескончаемая боль *лет*, которой, может быть, не будет для меня конца. Ах, Валерий, не забывай меня. Не отходи от меня в твоей душе! Останься тем же, каким я тебя видела в минуту расставания возле моего вагона[7]. Возможно ли забыть эти недели счастья!?.. Мы дошли до последних пределов нашей любви, *она одна* в нашей жизни стала безусловной правдой. Милый, милый, милый, в дни, когда ты будешь без меня, — возьми эти письма, в них вся моя душа, все, что могу я выразить и сказать о моей любви на бедном человеческом языке. Не обижай нашу любовь, не отдавай никому то, что принадлежит только мне. Ты мне поклялся, ты сказал, чтобы я верила. И вот через боль мою, через безумную тревогу за тебя и твою жизнь, через всю горечь, которая наполняет сейчас мое сердце, я говорю тебе — я верю, я верю, верю! Будь силен моей верой, моей надеждой на твою верность! Валерий, Валерий! милый мой, не губи нашего счастья там, в этом ужасном для меня доме, где я беззащитна, где я сама, моими руками не могу удержать ничего. Дорогой, не томи меня здесь! Позволь уехать как можно скорее, даже без твоего длинного письма. Когда бы я могла теперь его получить. Телеграфируй, и я выеду в первый день возможности выехать. О внешнем не беспокойся, все устроится постепенно. А если ты будешь хворать долго, неужели ты захочешь, чтобы я томилась здесь вдали? Видишь, все выходит не так, как мы предполагаем. Все равно мне, *как* придется внешне жить первое время в Москве. Потом устроится. Я захвораю здесь от этого ужасного томления. Ответь мне телеграммой. Зверочек, не хворай слишком сильно! Милый, бедный зверочек, отчего мы не вместе!.... Ах, не оставляй меня здесь!

Твоя.

---

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 22.10.09.

[2] И.М. Брюсова возвратилась в Москву из-за границы в начале сентября ст. ст.

[3] *Вячеслав* — возможно, Вячеслав Иванов.

[4] Судя по контексту, имеется в виду геморрой.

[5] Видимо, подразумевается болезнь, перенесенная Андреем Белым в Париже в конце декабря 1906 — начале января 1907 г. (флегмона, удаленная в больнице хирургическим путем).

[6] См. примеч. 4 к п. 257.

[7] Подразумевается отъезд Петровской из Брюсселя в Париж.

259. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

18—19 октября / 31 октября — 1 ноября 1909 г. Париж[1]

Воскресенье 31, вечер

Ездила сегодня в почтовое бюро на Bourse[2], чтобы отправить тебе заказным утреннее письмо (в простые я плохо верю — они подвержены всем случайностям), но напрасно, — не принимают ни там, нигде. Хочется писать тебе каждую минуту, и так грустно только писать, — когда ты получишь, через 4—5 дней. Но все равно. Ты их получишь, мой зверочек, может быть, несколько сразу, и будешь знать, как томлюсь я без тебя, как люблю тебя, как живу с тобой и около тебя все эти горестные дни. Вот думаю еще с тревогой — у тебя вышли все ампульки[3]. Невозможно прекратить разом без очень дурных ощущений, да, может быть, ты уже не захочешь или не сможешь прекратить. Как же ты будешь? Решишься ли написать сам? Я сегодня (т.е. завтра утром) отправляю дяде длинное убедительное письмо, оно уже написано. Прошу очень, и не для себя, а, как тебе говорила, потому что по условно-родственным чувствам он мне лично не даст. Просила ответ, т.е. рецепт уже послать прямо тебе в «Скорпион» заказным письмом, а если это ему покажется неудоб<ным>, то мне пока на адрес Сережи в Москве. В Москве я достану во что бы то ни стало, но как ты будешь пока?!.... Весь день сегодня страдаю от мыслей о тебе. Как ты едешь один, больной, превозмогаешь боль. Как нежно я лечила бы тебя в Париже! Я знаю от этой болезни много хороших домашних средств. За что у меня отнято это счастье!..

Милый мой, милый, любимый, я буду писать тебе каждый день. Может быть, мои письма передадут тебе хотя немного, как я тебя люблю, как я страдаю всякой твоей болью. Может быть, они тебе будут напоминать меня близко и живо, точно я с тобой, держу тебя за руки, целую их, смотрю тебе в глаза и без слов молю все об одном, все об одном... Не забывай меня! Сбереги мне себя таким, каким ты был в эти блаженные дни. Дорогой, увидать тебя изменившимся, опять чужим после того, как я видела самый желанный образ твоей души, — как это пережить? Лучше бы тогда не знать, *каким* ты можешь быть. Когда мы были вместе, мне было так хорошо, я была так бесконечно счастлива, что, может быть, часто и не понимала всей полноты моего счастья. Привыкла быть счастливой. И только теперь, без тебя, в тоске и тревоге этих дней

оглянулась в недавнее прошлое и поняла до конца, что дождалась осуществления всех моих страстных желаний за долгие трудные годы. Ты сказал мне *те* слова, каких я ждала, — горько и тщетно ждала 4 года. У тебя было то лицо, которое мне только иногда снилось. В первый раз за всю жизнь с тобой нас соединила *безграничная* близость. Безграничная... Правда, Валерий? Первый раз около тебя я чувствовала истинную свободу моей любви. Ты мне не говорил прежних горьких слов, которые ставили какие-то запретные черты и заставляли испуганно сжиматься душу. И если после этого всего я увижу, что тебя отняли, что ты вновь ушел, что дано мне *только то,* что было прежде, что мне вновь нужно тебя с кем-то делить. Валерий! Валерий! Милый Валерий! Как пережить это?!.. Ах, дорогой, верь, я не прошу ни о чем внешнем. Если «внешнее» останется только таковым, я готова страдать вместе с тобой, вместе с тобой тосковать о той нашей жизни, которой мешает осуществиться наш злой рок. Помнишь, я говорила: «Если ты будешь томиться в башне Св<ятого> Ангела[4], в тюрьме — разве я не пойму этого, не прочту этой боли в твоих глазах и разве могу тогда я покинуть тебя?» Но если иначе?.. Боже мой, Боже мой, я молюсь кому-то всей страстью моей души, всей глубиной моей любви — да не будет так!.. Я готова на все испытанья ради твоего покоя и возможности работать, я повторяю тебе это твердо и мужественно. От этих слов я не отрекусь. Помнишь, я просила тебя в Брюсселе? Но если иначе... Должно быть, я больше не вынесу. Есть мера страданью. Ты понимаешь, о чем я говорю, *чего* я боюсь до смертельного ужаса? Дорогой, милый, бесконечно любимый, огради свою душу от этого. Ведь ты понимал, когда мы были вместе, что в этой жизни нужна тебе только я. Ты долго отрекался, убегал и вот наконец понял где-то в самой последней глубине сознанья. И если это так, пойми еще, — всякая слабость здесь кончится нашим *общим* страданьем. Ведь потом ты вернешься ко мне, будешь жалеть, удивляться на себя, а я?.. Что будет со мной? У меня осталось так мало сил. Ты это видел, разве я лгу. Я сейчас живу одной твоей любовью. И если отнять ее опять?... Не сердись, что я все это говорю. Вот я одна, и нет у меня ничего, кроме твоей клятвы. Всё только в будущем, и суд — этот миг, когда ты войдешь в свой дом, эти дни, когда ты поймешь *вблизи нее все уже окончательно,* — это все еще не свершилось. У меня вся душа замирает от испуга. Я так бессильна, так беззащитна здесь, вдали от тебя. Сижу и жду суда. Так, может быть, чувству<ют> себя люди накануне настоящего житейского

суда, когда завтра должно решиться — жизнь или смерть. И еще ты болен, устал, и у тебя детская нетвердая душа, тебя может победить привычка, внешняя близость, нежность. Валерий! Валерий! Милый, помни, — *ты мой*, ты только мой. Ты это сказал, ты это произнес как священную клятву, выше которой нет на земле. Ты мне вверил твою душу, как я тебе отдаю мою. Нас связывает уже что-то более сильное и роковое, чем наша воля. Оглянись назад, окинь взглядом этот путь самых жестоких мук и испытаний. Мы его шли вместе, и часто горько разделенные, и часто мы были близки к окончательному разъединению. И вот встретились и безвольно слились в счастьи. Какой юной была наша любовь в эти дни чуда! Помнишь? *Все* помнишь? Ведь и расстались мы неутоленные, отрывали руки с печалью, с горестью, с страстной надеждой на новую встречу. Помнишь? И если помнишь, как можешь уйти опять и меня, твою любимую, вновь бросить в тьму и горе? Милый, останься со мной, останься моим. Отдай мне, как в эти дни, твое тело и душу. Верь в меня и ты, — я буду твоей радостью. Я не омрачу ни одного твоего дня, потому что я тебя люблю больше, чем себя, и твоя радость мне дороже своей. Люби меня! Не изменяй мне. Не обижай меня. Я твоя навсегда, в счастье *и в горе* — равно. Милый, любимый, дорогой, обнимаю тебя. Я твоя.

Боже мой, как я боюсь за твое здоровье. Зверочек мой бедный, лечись, пожалуйста, не умирай.

Понедельник, утро. Я провела сегодня совсем ужасную ночь. Очень сильный припадок. Не могла дышать, стояла долго, долго у открытого окна, совсем полуголая, в рубашке и пледе. Боюсь ночей, ах, как это страшно — никого, одна Надя — боится. А сердце болит, бьется, вздохнуть нельзя. Ах, позволь скорее уехать отсюда! Сейчас получила твою открытку — холодные строчки, где ты говоришь еще страшные слова «Потерянный рай...»[5] Ты сомневаешься? Ты? А я? Я могу только страдать в ответ на эти твои сомненья. Ну что ж! Буду страдать! Уже страдаю, и буду еще, еще.... Только зачем у тебя такая слабая, слабая душа!..

Позволь мне уехать! Я не буду тебе мешать. Я, если будет так плохо сердце, лягу куда-нибудь в лечебницу, но здесь мне плохо и страшно. Эти ночи... Не сердись. Ты уже, наверно, на меня сердишься! Это говорю после открытки с «Потерянным Раем»...

---

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 23.X.1909.

[2] Здание парижской биржи, лишь недавно законченное (1907; расположено на Place de la Bourse).

[3] Ампулы с морфием. Видимо, в ходе совместной жизни с Петровской в Париже наркотики вошли для Брюсова в повседневный обиход.

[4] Имеется в виду Замок Св. Ангела (Castel San Angelo) в Риме — изначально мавзолей Адриана, в позднейшее время — тюрьма.

[5] Заглавием поэмы английского поэта Джона Мильтона («Paradise lost», 1667) Брюсов определенно обозначал свои переживания после встреч с Петровской в Париже.

260. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

19 октября / 1 ноябрл 1909 г. Париж[1]

Понедельник, день

Милый, милый Валерий, ты сказал: «Потерянный Рай»[2], ты произнес слова, которых не мог бы выговорить еще несколько дней назад, и у меня внутри все замерло от смертельного испуга. Ты, ты уже сомневаешься! С каждым километром, который пролетает твой поезд, слабеет твоя душа. Что же ты скажешь, почувствуешь и сделаешь, когда переступишь порог, когда действительно пришлось бы «быть сильным и жестоким»... Я знаю, сейчас ты болен, знаю, как действует на тебя всякая боль. Это *вблизи* могло бы утешить меня, а вдали, там, в московском «змеином гнезде», что сделает там с тобой болезнь и неспособность сопротивляться ничему?... Что я могу? Как я буду бороться! Буду ждать встречи с дрожью в сердце, с слабеющей надеждой, с отчаянием. Милый, милый, милый! не губи нашу жизнь, не оскорбляй нашу любовь! Все это только *в твоих* руках. Ведь если сможешь отдалиться, уйти *теперь*, погибнет все наше будущее. Какие у меня останутся силы после нового и, может быть, самого страшного удара? Конечно, я знаю, никто не волен в своих чувствах. Но и ты уже знаешь по горькому опыту наших лет, что часто минутные иллюзии ты принимал за настоящую правду своей души. Потом жалел, не понимал, как это могло случиться, пытался исцелить раны, нанесенные твоей же невольно жестокой рукой. В этом весь горький путь наших 5-и лет. Но доколе же? Ведь еще один раз — и нельзя будет понять, где же настоящая правда, кого же ты любишь? После «шести недель»[3] мне это казалось невозможным. В первый раз я детски доверилась тебе во всем, в первый раз испытала сладость беспредельной веры, когда каждое сказанное тобой слово виделось уже чудесно воплощенным. Помнишь наши вечера и ночи, это

упоение души, с которым мы шли навстречу друг другу все ближе и ближе, с божественной легкостью сламывая все прежние преграды. Разве когда-нибудь в жизни была у нас *такая* встреча, как в Париже? Стало все возможно, все легко и доступно. С чудесной щедростью любви ты давал мне клятвы и обещания, которых я даже не просила, о которых давно не смела мечтать. В первый раз около тебя мне было легко, и в первый раз твои объятья не впивались, как жгучие иглы. Я любила эту боль и без нее не могла уже жить. Если бы ты стал жесточе, чем прежде, — все равно я влеклась бы к тебе с той же вечной неутоленной любовью, но никогда я не могла произнести слово «счастье», и только здесь мне хотелось повторять его тебе без конца, с благодарностью, с нежностью, иногда почти без сознания от радости быть около тебя. И если теперь ты уйдешь, перестанешь слышать мой голос, забудешь, как «зачарованный принц»?!... Милый, в каждом письме я повторяю и буду повторять тебе одно: *я не о внешнем*. Я знаю, я верю, что, если ты будешь любить меня так, как любил меня в Париже, ты сам не сможешь мучительно двоиться нигде. Я хочу, чтобы это настало, когда ты, *ты сам* поймешь до конца невозможность и горе этой жизни. Прежде этого мига я не прошу у тебя во внешнем ничего. Я буду страдать терпеливо, я обещаю тебе. Нет, я говорю о ином. О радости верить и знать, что ты *там* томишься, что ты хочешь ко мне, что эта раздвоенность — наше *общее* горе, а не только *мое унижение* и печаль мысленно стоять около *Ваших* дверей, ломая руки от отчаяния и безнадежности. Здесь, в Париже, и маленькие минутки в Брюсселе ты переживал эту боль вместе со мной. Боже мой! разве могли так лгать твои глаза, твои нежные руки, твой голос! Конечно, нет. И я была счастлива, счастлива накануне твоего отъезда *туда*. Я еще была счастлива совсем, потому что ничто не могло бы испугать мою душу, когда ты говорил: «Верь, верь, верь!» Зверочек, зверочек мой дорогой и любимый, не отнимай у меня твою любовь! Не отдавай ее никому, не обижай меня. Ведь ты же меня любишь! Меня одну, ты узнал это совсем наверно. Ты мне сказал. Ты велел тебе об этом напомнить, если ты будешь вновь обижать меня. Я ничего еще не знаю. Все уже совершилось, а я еще не знаю. Но вот издалека, из того счастливого мира наших дней, где я еще каждый день дышу самыми близкими воспоминаниями о тебе, из комнаты, где мы жили вместе, близкие, родные, влюбленные, я зову тебя с той же нежнос-

тью, которую ты так любил, — Валерий, Валерий мой, любовь моя, будь со мной, люби меня! Не покидай меня! Не дай мне вновь жестоко страдать. Ах, я плачу, горько плачу над этим письмом. Мне страшно, ты уйдешь, забудешь, разлюбишь! Милый, милый, я тебя люблю! Я умру без твоей любви. Я ее видела, я не могу ее больше отдать!.

Прости меня. Я волнуюсь ночи и дни. Сегодня мне было так плохо. Страшно без тебя, когда плохо с сердцем. Не оставляй меня здесь долго. Не оставляй. Если даже ты уже не тот и жалеешь, что позвал меня в Москву, — все равно дай мне поскорее уехать. Я не буду тебе мешать в Москве, но мне будет там легче.

А что с тобой? Страшусь думать. Неужели что-нибудь очень серьезное? Ах, зачем ты не заболел около меня! Страшно, страшно думать, что будет, если ты захвораешь серьезно, надолго.

Ты говоришь о морфии: «Я это прекращу». Что ты прекратишь? Злоупотреблять им или вовсе хочешь бросить? Только не бросай тогда сразу, — это может вредно отозваться на сердце. Бросай, отвыкай постепенно, уменьшая количество. Я его не брошу, должно быть, никогда. В эти дни беру много, иногда больше 3-х. Прости, не сердись! Не могу, такая тоска, неизвестность, пустота. Отвратительно подумать выйти на улицу, хожу только в случаях крайней надобности. Целые дни дома, чувствую себя плохо, почти совсем больной. Жду каждой ночи со страхом, совсем перестала спать. Живу как накануне суда. И еще твои открытки, — ничего из них почти о тебе не узнаю, угадываю, что тебе очень плохо, боюсь за тебя, боюсь за будущее, боюсь сердечных припадков. Вся душа моя один сплошной испуг. Не сердись, милый. Если любишь, пожалей, а не сердись. У меня осталось мало, мало сил. Разве я виновата? Я очень долго всех удивляла своим здоровьем, всяческой выносливостью. Должно быть, это не бесконечно. Ах, уехать, уехать скорей. Сережа совсем не пишет. Недели 3 уже молчит. Бог с ним! За что он сердится? Зверочек, ты все знаешь... Что я могла бы прибавить еще!.. Я тебя люблю, сейчас я очень страдаю.

Твоя.

---

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 24.X.1909.

[2] См. п. 259, примеч. 3.

[3] Подразумевается продолжительность общения Брюсова и Петровской в сентябре—октябре 1908 г.

261. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

19—20 октября / 1—2 ноября 1909 г. Париж

Понедельник. 9 ч. веч.

Милый мой зверочек, я только могу писать тебе. Больше ничего. Я не могла и представ<ить>, как томительно пойдут эти дни без тебя. Тревога меня убивает. Особенно после твоей последней открытки, где я увидела очевидно, как ослабела твоя душа («Потерянный рай»...[1]). Я чувствую себя заключенной в тюрьму до суда. За все эти дни только сегодня принудила себя пойти с Надей обедать в наш ресторан к С<ен> Лазару[2]. Не могу есть, не могу быть на улице, ездить на метро — ничего не могу... Умер для меня Париж. Так все города, где была я с тобой. Я думала, когда мы прощались, что это легко — ждать новой встречи, верила, что ты не можешь измениться... Дни эти представлялись ожиданьем нового счастья. И вот я томлюсь опять, не сплю по ночам, страдаю от сердца. Зверочек, если ты меня любишь, неужели ты сердишься на эти строки, неужели ты можешь только досадовать, как было бы прежде, как бывало прежде? Я ведь и пишу тебе лишь потому, что ты был ко мне так добр и нежен. Еще немного надеюсь, — а может быть, ты не изменился.... Если ты мне скажешь, что я тебя раздражаю, я не буду ничего говорить о своих ощущениях. Каждую минуту сердце готово сжаться в испуганный комочек. Без тебя и без твоей нежности я теряю всю уверенность, меня терзают воспоминания недавнего, я думаю и боюсь, что опять ты станешь прежним — беспричинно жестоким. Ах, я буду, если нужно, молчать, только не пугай меня твоей суровостью. Сегодня я ехала в метро, и вдруг мне представилось в ярко <так!>, как будешь ты жить «дома» больной. Как отдадутся ей[3] тысячи маленьких, дорогих мне интимностей. Как будет она возле тебя, и ты все это примешь, позволишь, будешь улыбаться, как мне... Ах, лучше мне умереть, чем пережить что-либо из прошлого. Я тебя люблю, я так страдаю от этих образов. Сегодня даже морфий не помогает. Еще слушаюсь твоих заветов, но с трудом. Мне нужно теперь много, чтобы достигать того состояния, в котором была я летом все дни после твоего отъезда. Зверочек мой, если ты меня любишь, если ты для меня еще тот, что был в Париже, я знаю, ты не будешь сердиться на эти безумные письма. Тебе будет меня жалко, ты будешь грустить, что не можешь вот сейчас подойти, успокоить твоей лаской... А если ты скажешь прежние страшные слова: «Опять му-

чительства!» — то не все ли равно, говорю я или молчу, — значит, ты меня не любишь, забыл, отдал себя и свою любовь не мне. О, неужели нет в моих словах сейчас ни силы, ни власти над твоей душой. Неужели не передают они моих чувств!!. Все во мне горит от любви, боли и тревоги. Я не знаю, как я переживаю эти часы. Хочется писать тебе все время. Начинаю писать, и охватывает отчаяние, — ведь только через 5 дней ты прочтешь это письмо. А что может быть в 5 дней. Кому я говорю? Тебе ли *моему*, который в Париже перестал различать себя и знал только *мы*, или опять все прежнее страшное, весеннее. Прости, прости меня, к ночи я совсем перестаю владеть своей волей. Не могу уже ничего победить. Падаю куда-то, и не за что схватиться. Никогда еще мне не было так страшно потерять твою любовь. Помню, возвращались из 2-й Финляндии[4], — ты говорил: «Я не знаю, я тебе отвечу, я *выберу* наконец». И я осталась ждать, а ты уехал. Я ждала с тупой покорностью. Позади все было так горько и плохо, так мало ты давал мне себя, что мне уже не было страшно ничего. Теперь ты дал мне все, о чем я уже не смела мечтать, и упасть с этой высоты!... Валерий, Валерий мой! слышишь ли ты меня? Я твоя, та, которую ты любил в твоем раю. Мне приходят в голову сейчас страшные строчки твоих стихов... Валерий! я та, которой ты клялся в твоей единой неизменной любви. Вот смотри, закрой глаза, я еще в тех комнатах, где мы были так счастливы, трогаю предметы, к которым касались твои руки, сплю на твоей подушке на нашей постели, я еще здесь, я все помню, молитвенно предаюсь воспоминаниям, таким еще близким, живым. Ах, они стали как живые существа. И если.... ты будешь убивать их живых. Не надо, не надо, милый! Ты же знаешь, не забыл, что *счастливым* ты можешь быть только со мной. И наша жизнь, о которой мы мечтали, она тоже уже живая, ты ее создал. Можешь ли ты все это разрушить, разбить, жестоко сломать? Я люблю тебя, люблю. Я хочу твоей близости, твоих ласк, жизни с тобой. Ты ни разу не дал мне сделать тебя совсем счастливым, везде, во всем. Доверь мне твою жизнь. Ведь ты же видел мою душу всю, в ней нет ничего, кроме любви. Доверься мне! Ах, прости это безумное письмо.. Мне так одиноко и страшно. Не оставляй меня здесь. Я не могу, я замучусь совсем. Милый, любимый зверочек, мой зверь с золотыми глазами, будь моим, только моим!

Неужели ты хвораешь?! Господи, да зачем же еще мне это новое горе. Хвораешь не возле меня. Я ничего не могу и не смею, а ей все. Не сердись, не досадуй, пойми меня. Как понимал во

мне все до конца. Я обнимаю тебя нежно, я целую твои руки, милый. Пожелай меня видеть опять, приди ко мне вновь с твоим счастливым лицом, которое я видела здесь и не могу забыть.

Твоя, твоя.

Вторник, утро. Сегодня Бальмонт прислал тебе записку[5]. Я ничего не отвечу. Будто нет меня дома.

Сегодня ты приедешь в Москву...

---

[1] См. п. 259, примеч. 3.

[2] Вокзал *Сен-Лазар* (построен в 1886—1889 гг.).

[3] Подразумевается И.М. Брюсова.

[4] Документальных свидетельств о повторной совместной поездке Брюсова и Петровской в Финляндию не обнаружено. Вероятно, она состоялась в завершение их пребывания в Петербурге в марте 1909 г. — между 16 и 19 марта (последнее письмо Брюсова к жене из Петербурга, в котором он оповещал о возвращении в Москву 19 или 20 марта, датировано 16 марта; см.: РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 12).

[5] Текст ее неизвестен. В октябре 1909 г. Брюсов и Бальмонт неоднократно встречались в Париже (см.: *ЛН. Т. 98, кн. 1.* С. 212).

262. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

20 октября / 2 ноября 1909 г. Париж[1]

Париж. Вторник. Вечер

Ты уже в Москве, мой зверочек. Я напрягаю все мое воображение, чтобы представить себе в образах этот страшный для меня вечер. Но, как прежде, мысленно стою за твоими дверями с смутной душой. Валерий, Валерий, помнишь ли ты меня *именно сегодня*? Или ты как «зачарованный принц»? Вошел, и все, что было, стало только сном, который исчез из сознания. Возможно ли это! Мой милый, мой милый Валерий, если бы ты видел, какое у меня сегодня лицо, если бы ты прикоснулся к моим рукам, — весь день они холодные как лед. Мне страшно, как в час Страшного Суда. Ведь если *сегодня* ты не борешься за нашу жизнь, если сегодня нет у тебя смелости произнести мое имя с той нежностью, как ты произнос<ил> его здесь, — это значит, ты отрекаешься от меня по-прежнему, и ничего, ничего не изменилось, и ждет меня та же неизменная боль. Ты просил меня верить, ты требовал, чтобы я верила. Вот я поверила, Валерий, и что же ты скажешь себе самому, в своей душе, если все неизменно, если так же должна я делить тебя с кем-то, как до этой встречи? Ах, узнать бы скорее всю прав-

ду. Дни этого ожидания так трудны, что я не могла бы их вынести много. Ты не можешь себе представить, *чем* стала моя жизнь на rue de la Terrasse[2], в этом мирном с виду жилище. Это годы, а не дни. Нет сил заставить себя выйти на улицу, выхожу только в аптеку и редко обедать. Жду твоих писем и пишу тебе — вот все, что я делаю. А сердце в это время леденеет, сжимается, и все чувства устремлены в одну точку. Я не знала, что будет уж так плохо. Если бы я только могла представить, я умоляла бы тебя взять меня с собой в Москву. Разве было бы хуже *только* от внешнего неустройства? Господи, разве не спала я без подушек, в нетопленых комнатах последние дни в маминой квартире! Сегодня первый ясный день. Настоящее парижское зимнее солнце — оно мне почему-то с удивительной яркостью напоми<нает> такие дни прошлого года, — страшные дни без тебя в тоске, в хаосе, дни, убитые неизвестно зачем. Надечка сидит около меня молча и думает что-то печальное. Ей, бедной, уж совсем плохо, я не вожу ее даже гулять. Ты говоришь: «Пиши обо всем». Какое сейчас мое «*все*»? Одно у меня утешение — ты знаешь. Но уже очевидно, — та доза, которой мне было более чем достаточно возле тебя, бессильна против печали сейчас. Беру его до 5-и раз. Не сердись, зверочек, что же мне делать? Без этого я плачу и сердце расстраивается до припадков. Ты меня очень любил, ты показал мне счастье, и я владела им. При одной мысли, что оно может не вернуться, я испытываю такое отчаяние, такой страх, что иногда, кажется, нет сил переживать это. И здесь только *он*[3] единственный целитель. Сейчас 10 ч. Я ждала твоей телеграммы. Беспокоюсь о твоем здоровьи не меньше, чем о всем ином. Как ты доехал, что с тобой? И телеграммы нет... Давно я не испытывала такой смертельной тревоги. Каждый нерв болит и дрожит. Не сердись на мои жалобные письма, не досадуй! Я тебя люблю, я связана с тобой каждой минутой моей жизни. Дни, здесь проведенные с тобой в такой безмерной близости, наполнили тобой до краев и душу и тело. Во все наши пять лет я не ощущала ничего подобного. Мне было легче расставаться с тобой, я переносила это как должную горечь, а теперь точно физически у меня оторвали кусок тела. Оттого что тебя нет, я чувствую почти физическую боль, ее невозможно рассказать словами, но это постоянное, неутихающее страданье. Не брани меня и за это. Разве я виновата. Ты сам подошел ко мне так близко. Мы жили как одно существо все 6 недель. Помнишь ли ты? Ты не любил, когда я уходила без тебя на несколько часов. Ах, помнишь ли ты? Или удивляешься, как удивлялся

иногда, когда я рассказывала тебе некоторые подробности о тебе самом, повторяя тебе твои слова, а ты говорил: «Неужели это могло быть? Не помню!» Бог знает твою верную и неверную, хрупкую и детскую душу! Я увидала ее ближе, но последней тайны ее не поняла. Как ее победить? Как ее взять, чтобы ты не мог отнять назад каждую минуту? Зверочек мой дорогой, вот я пишу тебе еще доверчиво, еще обращаюсь к тому образу, который сиял мне недавно, а ты уже, может быть, с суровым лицом читаешь мои письма и глаза у тебя холодные, и бродят в них страшные, темные тени наставшей жизни, твоей жизни без меня. А какими счастливыми могли бы мы быть!... Посмотри, как тускло и жалостно живут люди вокруг. А мы, встречаясь, находим возможности преображать жизнь, творить ее, как мы хотим. Помнишь вечера в Париже? Ведь все было обычно и, может быть, скучно, а мы падали в такие глубины, так озаряли всё изнутри наших душ, что часы эти помнятся как часы чуда. И разве это от Парижа? Разве московские подробности наших существов<аний> могут убить, уничтожить и сломать то, что только в нас самих? То, что можем мы дать друг другу. Помнишь, — ты мечтал о нашей жизни в Москве? Веришь ли ты в нее по-прежнему? Помнишь, ты говорил: «У тебя будет мое «дома»...» Валерий, Валерий мой, несмотря на страшные испытания, ты видишь, я осталась живой. Я совсем живая, может быть, первый раз в нашей жизни образ души мой именно тот, каким ты хотел его, созданный для тебя, законченный, как рисунок, до последнего тончайшего штриха. Были дни, когда я сама себе казалась мертвой, но ты сказал мне: «Живи», — и вот я ожила *тобой* и *для тебя*. Возьми меня, сбереги меня! Ведь уже правда, что *теперь или никогда*. Чего мы можем ждать еще? Посмеем ли искушать Судьбу, *еще раз* требуя от нее чуда! Но о чем я прошу!... Будешь ли ты виновен, если почувствуешь, что *не это* тебе нужно, а иное... Мне только остается молиться Кому-то, чтобы не изменилась твоя душа, чтобы вернулся ты ко мне моим, *чудесно моим* навсегда. Милый, не забывай меня. И ночью и днем я с тобой, твоя.

Когда же, когда я уеду отсюда? Не томи меня долго. Но здоров ли ты? Может быть, тебе не до меня. Ах, как страшно быть вдали.

---

[1] Почтовые штемпели: Paris. 3.11.09; Москва. 24.10.09.

[2] Парижский адрес Брюсова осенью 1909 г.: 15, rue de la Terrasse.

[3] То есть морфий.

263. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

28 октября / 10 ноября 1909 г. Париж

Париж 28/10. Среда, утро

Валерий! Валерий! ты ли писал мне это ужасное письмо? Ведь твой образ еще жив и прекрасен в этих стенах, а со мной уже говорит «оборотень», кошмар моих снов, тот жестокий, слепой и глухой, в которого обращаешься ты, едва переступив порог «твоего дома». Знакомое и чужое лицо с скупо сжатыми губами смотрит на меня с этих страниц. И я должна верить, что это все *ты же*, — мой Валерий, моя любовь, мое мертвое счастье... Валерий, возможно ли?!.. Как же жить теперь? Как встречаться? Во что мне верить?.. *Ты* заставил меня поверить и отдать без страха в твои руки всю мою душу. Что же ты сделал с ней! Только детское неведение или тончайший замысел какой-то злобной мести могли создать мне эту новую, самую горькую муку. После долгих лет найти наконец то, о чем молилась душа, обладать счастьем, почти осязать его реально, — и вдруг узнать, что все это чужое и *никогда* не было твоим... Валерий, пережил ли ты в жизни такое горе?.. Я не упрекаю тебя, в моем сердце только боль и потрясающее недоумение. Помнишь, ты сознал, что настало наконец время, когда нужно *погубить* одну из твоих двух[1]? И ты выбрал *меня*? Опять меня? Как всегда, точно не было этих дней, когда тебе казалось все ясным и решенным, когда ты сознал, что не можешь без меня жить?!.. *Ничто* были наши последние ночи и дни в Брюсселе? Твои клятвы, обещания, твоя любовь? У меня ум мутится, Валерий. *Ты* — мой Валерий, ты, каким я узнала тебя здесь, можешь бросить меня опять в холод, в пустоту, в неутешное отчаяние? Неужели *так* ты ее любишь, Валерий? И разве не знал ты этого прежде? Ведь ты пришел ко мне *прямо от нее*[2] и проклинал эти дни с ней. Где же твоя правда, где ложь? И это оно, то «откровенное до конца» письмо лежит сейчас передо мной на столе? Опять ложь, тайны, уклончивый лепет вполголоса... И тот ли это язык, на котором мы говорили наши «шесть недель»? Что ты хотел мне сказать? Что не можешь изменить твоей внешней жизни? Но вспомни, вспомни, я сама умоляла тебя в Брюсселе не делать этого, если трудно, умоляла не ломать своей души. И если бы сейчас ты был таким близким и *моим*, как в ту ночь, разве было бы мне так ужасно это решенье? Остаться во внешней жизни с ней, *покоряясь злому року*, и страдать вместе со мной о нашей

прекрасной неосуществившейся жизни, жить с ней в одном доме и быть «дома» лишь со мной — нет, *не об этом* ты пишешь в твоем ужасн<ом> холодном письме. Если бы были *мы* и *она*, которая мешает нам жить, *наша близость* и принужденное пребывание с ней, если бы, живя с ней под одной крышей, ты *мог* остаться *моим*, с той же моей душой, которую *в первый раз* увидала я в Париже, — верь, Валерий, через всю боль этой двойственности, через все жгучие тернии я сказала бы тебе: «Я счастлива, Валерий, я в раю». *В этом моя внутренняя перемена*, на огне моей любви к тебе сгорели наконец все мои эгоистические требования. *Я могла бы так жить*, я сломала и победила в себе все то, что не мирилось с прирожденными чертами твоей души, — слабостью, малодушием, неспособн<остью> к решительным поступкам. Я приняла бы тебя таким. Но *иное*, более ужасное и непоправимое узнала я из твоего письма, — ты ее *любишь*, Валерий.... Помнишь, ты обещал мне рассказать *всю встречу*, ничего не утаивая, как научились говорить мы в Париже? Но я знаю, *так* рассказывать можно только о *нелюбимой*. Помнишь, *как* ты рассказывал мне в Париже о Вашей жизни? О, не раскаивайся! Я не позволила сказать о ней ни одного оскорбительного слова, я слушала тебя с благодарностью за доверие и умела быть достойной его. *Помнишь*, ты ехал с тоской, тебе было горько расставаться со мной, тебе была страшна встреча с ней. Неужели мог ты *тогда* мне лгать?! И об этой встрече ты не говоришь *ничего*. Ты говоришь о «пропасти», о «роковой необходимости», о «каменных стенах», и в этих, о, знакомых мне неживых словах нет уже ни тебя, ни твоей души, — в них враг со щитом в руках. Вооруженный враг, который охраняет кого-то от нападенья...

И вот опять разделены наши жизни. Нет уже *нас*, — есть *ты с ней* и *я*... Нет связанности, близости, которых нельзя разорвать ничем, слитности и единения двух жизней в одну. Ты все это показал мне в Париже и отнял, чтобы отдать ей. Как же мы можем теперь жить, встречаться, быть вместе? Представляешь ли ты наши свиданья после Парижа в «старой ужасной Москве»? Опять с холодным, чужим лицом ты мне скажешь: «*Я не могу устраивать твоей жизни*», и опять, как жалкая выкинутая собачонка, я буду стоять мысленно дни и ночи у твоих закрытых дверей — перед ложью, перед ужасом, перед тайной. Валерий, дорогой мой, ты же узнал, понял, ощутил всеми чувствами, что так *больше нельзя*. Или я тебя не поняла до конца и ты своим письмом отверг меня совсем, хочешь остаться только с ней? Но в нем же, в этом страшном

письме, ты еще говоришь мне «люблю», ты еще повторяешь мне это слово. Только *что же*, что оно значит теперь?! теперь, когда не ее, а меня ты обрекаешь на страданье? Ты уже со мной как враг, как человек, который готов убить того, кто мешает. Ты предлагаешь мне остаться на rue de la Terrasse ждать «случайностей и чудес» или ехать жить в Петербург. Валерий, Валерий, тебе не страшно и не стыдно было написать эти слова после всего, после того, как ты со слезами уверял, что не можешь жить, если я далеко, после того, как сам, первый настойчиво звал меня в Москву? Ах, что с тобой делают «там», Валерий мой?! Мог ли бы *ты* сказать так теперь! Это говорит «зачарованный принц», это сбылась наяву моя страшная сказка. *Ты, ты* говорил, что Париж и Петербург для меня гибель. Ты понял это глубиной любви и нежности. И ты сам не хотел жить в Москве без меня. А теперь меня гонишь! Отправляешь в ссылку, чтобы я *ей* и *Вам* не мешала. Ах, как мне горько, за что мне эта незаслуженная боль! После того, как в Париже ты заботился о каждом моем шаге, о здоровьи, о том, не беру ли я слишком много морфия, и многом, многом другом, после всех этих нежнейших ласк ты говоришь мне: «Уйди куда знаешь, живи как хочешь». Мне теперь, совсем больной и убитой, ты предлагаешь остаться в Париже или ехать в Петербург! Только затем, чтобы покойна была *ее* жизнь!.. И ты мог бы, Валерий, ездить с ней на вернисажи, на среды, в театры, принимать гостей, потом спокойно ласкаться и засыпать в Вашей спальне, зная, что где-то я томлюсь и умираю от боли, от любви к тебе, от одиночества, от воспоминаний — одна, одна... Ты мог бы, Валерий? Или говоришь все это ты в безумии, в странном сне души, или действительно не любишь ты меня больше? Опять жестокость... С «котенком» поиграли — теперь его о камни. А потом? Опять будешь звать, обещать, клясться, удивляться на себя? Валерий любимый, проснись, опомнись, вспомни, что говорил ты недавно: «Если я изменюсь, если случится со мной опять то, чего сейчас я не могу и представить, — Нина, не отходи от меня, не проклинай меня, не теряй в меня веру. Через все это подойди близко и нежно и скажи: «Валерий дорогой, — это ложь, ты только мой, я верю. И не будет с нами больше ничего ужасного, потому что одно только правда — это наша любовь». Помнишь, ты просил? Где же ты настоящий, где твоя душа, где твоя правда? Милый, милый, подумай, подумай еще, не разрывай так безжалостно наши жизни, нашу связь, которая, ты тоже видишь, стала уже роковой. Помнишь, ты говорил: «У нашей любви есть уже своя душа, и мы ее не властны убить»?

Вспомни, *как* живешь ты, когда меня нет с тобой надолго. Ты говорил, что томился в Швейцарии[3]. Ты не лгал, в те минуты шести недель ты не мог лгать. И может быть, опять ты почувствуешь меня нужной и дорогой. Я верю, что после этого испытания ты можешь опять позвать меня. О, я приду, конечно, приду, душа моя побеждена совсем и обречена. Я не могу уже даже подумать, как прежде: «Уйду, могу жить без него». Нет, — *жить без тебя не могу*. Но ведь мы *оба* уже отравлены друг другом, ты *можешь* позвать меня еще раз, и вдруг будет поздно. Не надейся больше на мои силы, они упали совсем. Даже в дни нашего прекрасного счастья все время, всегда я чувствовала, что внутри у меня все надорвано, сломано. Я часто скрывала от тебя, и меня исцеляли твоя доброта и ласка. Без них я замучусь совсем, и морфий уже намекает на расплату. Побереги меня немного, если чувствуешь, что когда-нибудь захочешь меня позвать. Не отвергай меня совсем, теперь я не сумею этого вынести. К образу твоему прежнему, милому и родному обращаюсь я с этими словами. Проснись! услышь меня, милый! Неужели так «ожесто́чено сердце твое»[4], что не осталось в нем ни одного чувства из нашего прошлого? Помнишь, как ты боялся, как нежно ласкал меня, когда мне бывало плохо? Помнишь, ночью у окна после первой встречи с Бальмонтом[5]? Отчего я не умерла тогда — счастливая в твоих нежных руках, у тебя на плече! Все хотелось счастья с тобой. Было его еще так мало. Пять лет искала, ждала, звала — и умирать в первые дни... А теперь я одна стою по ночам у этого окна. Ах, как бывает мне страшно свеситься над темной улицей, без сил вздохнуть, с холодной мокрой тряпкой на груди! Не говори, что я хочу тебя «разжалобить», я знаю, как ты неспособен к ней одной, без любви. И знаю я, что печаль и несчастье, когда ты не любишь, только отталкивают твою душу. Я все еще не могу понять, *как* мне нужно говорить с тобой *теперь*. Прости, если говорю *не так*. Верь, я все еще здесь, в комнатах, где мы жили, против воли забываю я, *что* уже случилось, и говорю, как бывало. Милый, любимый, жестокий, какие муки ты заставляешь меня переживать. Последние два года у меня ничего нет, кроме страданья, ожидания тебя, тебя, тебя и тебя. Я живу как в лихорадке, всегда с голодными горящими глазами, всегда с безумной тревогой в груди, с неутоленностью в сердце, с тоской, с подавленн<ой> нежностью к тебе, которую почти никогда нельзя проявить, всегда меня мучит *она*, иные ночи я боюсь засыпать, потому что боюсь встретить ее, — всегда я боюсь тебя потерять совсем, — ах, что за страшная жизнь! И как живу я после твоего отъезда! Десять

дней ни одного успокаивающего слова, ни одной маленькой искренней ласки. Я научилась читать твои письма, по маленьким полусловам угадывать все твое состояние. Уже в Берлине вечером ты не любил меня... Милый, дорогой, неужели это последняя безусловная правда, что ты любишь *ее*, а не меня? Ах, если бы ты любил меня, разве не сумел бы ты даже в этом письме оставить мне надежду? И разве это роковое решение не могло бы стать нашим общим горем и сблизить еще тесней! Нет, ты любишь *ее*!

Но, несмотря ни на что, предвидя все мои новые муки, я решила ехать в Москву. Ждать мне здесь нечего, укрываться от Судьбы уже поздно, — *она меня нашла* и здесь, о «новой жизни»[6] не странно ли было бы мне мечтать *теперь*? Здесь мне ужасно. Я совсем больна, я не «жалоблю» тебя — это правда; вспрыскиваю морфий, целые дни, не считая даже, сколько раз. Как только боль становится невыносимой..... А боль не стихает. Умереть *так*, в Париже, мне страшно. Надя у меня расстроилась совсем, не ест, не спит, все время плачет, пугается припадков, я ее мучу невольно, но это невозможно, она может помешаться остро, ей до этого один шаг. Мне нужны сейчас доброта и ласка, в Москве есть простые люди, которые меня любят. Ведь ты же понимал, как ужасна здесь жизнь без жизни, без встреч, особенно для меня и особенно в том состоянии здоровья и души, какие сейчас. Там иногда увижу Сережу, буду плакать, а он будет гладить меня по голове своей большой доброй рукой. Не бойся, *я тебе не помешаю.* Стану ли я насильно врываться в твою жизнь, требовать, умолять... Для меня все кончено, мне погибать.

Прощай, Валерий. Не знаю, когда увидимся. Я думаю остановиться пока не в гостинице, а у знакомых. Буду искать какую-нибудь комнату, поселимся вдвоем с Надей, теперь она не хочет меня покидать и не говорит уже ни о лечебнице, ни о монастыре. Вот я иду в мою «новую» жизнь...

Валерий, подумай, а я еще в тех комнатах, где *мы* жили! Иногда безумно жду тебя — вот откроется дверь и войдешь. Висит твоя палочка в прихожей... Флакон с мылом на умывальнике, — забыл или оставил — не знаю. Я их целую и плачу. Я одна... А ты... а ты... Ах, нет у меня к тебе больше ни просьб, ни упреков. С последней покорностью отдаю мою жизнь и любовь, возьми их, погуби, если нужно, я только поцелую твои жестокие милые руки.

Твоя.

P.S. Меня мучат вещи, я смотрю на них с ужасом. И вот еще, — когда получила твои деньги, словно по инерции, помня, как ты меня убедительно просил это сделать, заказала «шубу», ту самую, о которой в первый раз говорили на Монмартре в одну из самых прекрасных ночей. Теперь смотрю на нее со стыдом, с болью, как на все *твои* вещи. *Этого* больше с нами не должно быть *никогда*. Для меня это знак очень большой близости, и теперь, когда ты изменился, я страдаю ужасно. Я горю стыдом от некоторых воспоминаний. Беру у тебя деньги на отъезд, особенно для Нади, страдая глубоко. Клянусь *себе* и *тебе*, — это *последний раз*.

---

[1] *«Две»* — Петровская и И.М. Брюсова.

[2] Подразумевается приезд Брюсова в Париж (3/16 сентября 1909 г.) после расставания с женой в Женеве (1/14 сентября).

[3] В Швейцарии Брюсов жил (вместе с женой) с последней декады августа (н. ст.) до 2/15 сентября — дня отъезда в Париж.

[4] Из стихотворения Вл. Ходасевича «Я тебя провожаю с поклоном...» (Цикл «Кольца», 1; 1907). См.: *Ходасевич Владислав*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 1. С. 88.

[5] Первая встреча Брюсова с Бальмонтом в Париже состоялась 24 сентября / 7 октября 1909 г. См.: *ЛН. Т. 98, кн. 1*. С. 212 / Коммент. А.А. Нинова и Р.Л. Щербакова.

[6] Отсылка к названию произведения Данте.

264. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

29 октября / 11 ноября 1909 г. Париж[1]

Среда, утро 29/10 нояб.[2]

Милый Валерий, я получила сейчас твою открытку от 7-го ноября...

Я посылала тебе «отчаянные телеграммы», потому что я *в отчаянии*. Уйдя от меня и внешне и внутренне, ты уже не можешь ни измерить его глубины, ни, может быть, даже представить и понять. Валерий, дорогой, *что* я должна сейчас испытывать на этой страшной теперь мне «rue de la Terrasse»[3], в стенах, которые слышали твои иные слова, клятвы и признания, которые запечатлели на себе в живых образах эти наши «шесть недель»? Я прощалась с тобой четырнадцать дней тому назад в Брюсселе... С тобой, близким и родным, а теперь со мной говорит враг, чужой, безучастный человек. Нет, ты, верно, действительно не понимаешь, *что* ты сделал с моей душой, не представляешь силы и жестоко-

сти этого нового удара. Ты уже и не видишь меня! Пишешь какому-то отвлеченному образу, который сейчас тебе мешает. Забываешь, что перед тобой живое тело и живая душа, и режешь их на куски. Словно неодушевленную вещь. Я вижу твое лицо... Страшное лицо прежних лет... Валерий, я же воскресила его! Ах, что ты говоришь в этой маленькой открытке! Что это значит: «Реши сама, как лучше нам поступить. Я твое решение приму". Отчего вместо этих темных, загадочных слов, которыми ты укрываешь твое истинное желан<ие>, не говоришь ты прямо, с благородной, смелой жестокостью: «Мне теперь нужно и хочется, чтобы тебя в Москве не было, ты мне теперь только мешаешь. Я бы хотел остаться с ней вдвоем. Останься в Париже или уезжай, если можешь, в Петербург». Зачем ты хочешь удержать меня в этом же Париже ложной надеждой «дай мне одуматься, опомниться»... Ты уже «одумался», ты решил, выбрал, сказал мне это окончательно в твоем «откровенном письме» и подтвердил телеграммой. Отчего не можешь ты меня отвергнуть прямо, просто, не укрывая этого желания, а прибегаешь к окольным путям, недостойным нас обоих? Ты обижаешь меня, Валерий! Кроме горя, большого неутешного горя, ты больно колешь мою гордость твоим обращением со мной — неискренним, не простым, невыносимым после нашей близости *во всем*. В моем вчерашнем письме я написала тебе много, мне казалось, — все, что могу я сказать. Милый мой, невольно говорю я тебе, в ответ на жестокость, жестокие и страшные слова. Но не думай, не думай, что есть в моих чувствах хотя тень злобы или вражды. Я очень изменилась, Валерий. Что-то упрямое, прежде враждебное тебе даже в самые лучшие наши часы, — сломалось, растаяло и исчезло совсем в эти дни моего недолгого счастья. Ты ушел... Но все равно я теперь не изменюсь еще раз. Смотри, — ведь ты обидел меня смертельно, я едва дышу и жива от горя, но не могу ни на один миг, как прежде, отнестись к тебе злобно и враждебно. И когда ты встаешь передо мной вооруженным врагом и спешишь запереть все прежде открытые двери, мне хочется броситься к тебе со словами: «Валерий мой, Валерий, опомнись! Ведь это же я, та, ближе которой у тебя не может быть на свете!» Дорогой мой, любовь моя, ты пишешь мне страшные письма, ты кажешься мне мертвым и чужим, но уверяю тебя, — верь мне! сейчас это *не ты*. У тебя хаос в чувствах, может быть, ты еще болен, а болезнь всегда разлучает тебя с собой самим. Валерий, может быть, ты придешь в себя. «Может быть, я не

умер... Проснусь... вернусь»...[4] Скажи, повтори эти слова! Оставь мне маленькую надежду. Ах, не на то, что ты внешне изменишь свою жизнь, — разве *это* мне важно, Валерий!?.... Оставь мне надежду, что в том мире нашей любви, для которого я не знаю его светлого имени, *там* ты останешься моим, близким, родным, каким я тебя видела здесь первый раз во всю *нашу* жизнь. Не отдавай ей *этого*! Верни мне ту внутренн<юю> свободу, которую в первый раз познала я около тебя. Свободу около тебя, свободу в моей любви, для которой не было, как прежде, никаких границ. Только так наша близость может искупить всю стесненность, раздвоенность и мучительность нашей внешней жизни. Дай мне почувствовать твою душу безмерно близкой и моей, как было это в святые ночи наших «шести недель». Говори мне все самое страшное, так же, как радостное, — безбоязненно, безбольно, легко. Помнишь то упоение, с которым мы говорили о самом сокровенном, — в эти минуты мы были одним духом, одним существом. Дорогой, пойми, такая близость *чудо*. Ты понимал! Ты говорил, у тебя было юное прекрасное лицо, оно сияло в те минуты. *Это* не могло умереть! Это *только твое и мое*, и даже если бы *захотел* ты отдать ей, она не сумеет взять. Зачем же ты хочешь отнять счастье и у себя самого? Еще, может быть, год назад и я не была достойна подойти к тебе так безгранично близко, как теперь. Но теперь? Ведь я же вся твоя! Все во мне просто и легко слилось с тобой, с твоими чувствами, мыслями и желаниями — только кроме одного... Годы мы сближались, и всё падали и падали преграды. После самых жестоких разлук бросались друг другу в объятья с непобедимой радостью. Мы сами сотворили живую душу нашей любви, и поднимешь ли ты руку ее убить! Ах, уходи к *ней*, если не можешь иначе, живи в одном доме, люби как можешь, — но пусть все это будет на фоне, на узоре *нашей* жизни, пусть *наша* жизнь станет центром и главной. Признай это! Это, может быть, тоже твоя Судьба. Не убегай от нее, как я уже никуда не ухожу и покорна. *Твоя судьба быть со мной всю жизнь.* Ты в это верил, ты это сказал. Я помню твое лицо, когда ты говорил. *Так* нельзя было солгать. Валерий, дорогой, пойми, если теперь ты отнимешь у меня эту новую возникшую близость, мы не сможем совсем быть вместе. Подумай, спроси свою душу. Вот я вернусь в Москву, я буду ждать тебя, я встречу тебя с улыбкой, без единого слова упрека. Ах, подойди ко мне с тем лицом, какое я видела в Париже, и так, *ничего не прерывая*, мы вступим на новую ступень нашей новой

прекрасной жизни. Любовь моя Валерий, вспомни, как тебе было со мной хорошо, как задыхались мы от блаженства, обнимаясь, в эти ночи шести недель. Ничего не потеряно. Все сберегу я для тебя, всю радость, всю свежесть любви; страданья этих дней сделали ее еще глубже и яснее. В дни наших встреч не будет *ничего*, кроме нас двоих и нашей радости. Я не могу уже встречаться как прежде. Умоляю тебя со слезами, на коленях, целую твои руки, — *не отнимай у меня себя*. Не уходи, не покидай, не обрекай меня на смерть. Ты меня еще любишь! Ты будешь в отчаянии, если убьешь меня совсем. Я опять тебя буду ласкать, я люблю твое тело, твою душу, каждое твое дыхание, движенье, чувство, мысль. Ты весь любимый, мой, близкий, связанный со мной самой святой связью на земле. Доверься моей нежности, любви, дружбе, в самом высоком ее значении. Я изменилась совсем. Сравни меня теперь и год назад, — могла ли бы я после смертельной обиды влечься к тебе с такой нежностью, с такой готовностью страдать еще и еще, — протягивать руку и просить. Может быть, ты уже трижды отрекся от меня, как Петр от Христа. Но так же, как Христос верил в любимого, я верю, верю в твою любовь и не перестану стучаться, пока ты совсем не прогонишь меня прочь. Дорогой, я не прошу ничего такого, чего ты не в силах дать. Я только молю: верни мне *мое*, то, что дала мне сама Судьба, — твою любовь. Для нас еще может настать новая жизнь. Поверь в нее! Пожелай ее! Встреть меня близкий, мой, с ясными глазами, с родной душой.

Я твоя, твоя навсегда.

Ответь мне на оба эти письма. Я не знаю, где буду. Пошли письмо к Богородским. Заказным городским или с посыльным. Сделай на конверте надпись, что просишь письмо оставить и передать, когда я зайду. Я зайду в первый же день приезда. Адрес: Арбат. Угол Больш<ого> и Мал<ого> Афанасьевского пер., д. Цветкова, кв. 2. Маргар<ите> Викт<оровне> Богородской для меня. Напиши мне. Мне нужно знать, *какой ты*. И если *ничего* не найдешь ты в ответ, — *тоже скажи*. Бог с тобой тогда!.. Тогда зачем мы и встретимся!...

Напиши мне! Ответь все, что ты будешь чувствовать и думать. Мне необходимо, чтобы ты написал прежде встречи. Я буду знать, — встречаться нам или нет. Умоляю, скажи просто и прямо. Богородским письмо доверить можно. Запечатай его все же

сургучом, кто знает пределы людского любопытства. *Но ответь.* Напиши непременно. Иного адреса я не могу тебе дать. Сереже, пожалуй, хуже. Напиши!

---

[1] Датируется по связи с п. 263 (упоминаемым в тексте как «вчерашнее»).

[2] Ошибка при переводе даты со старого на новый стиль и в обозначении дня недели (29 октября / 11 ноября 1909 г. — четверг; ср. обозначение «Среда» в п. 263).

[3] См. примеч. 2 к п. 262.

[4] См. п. 217, примеч. 5.

265. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

29 октября / 11 ноября 1909 г. Париж[1]

Среда[2] 8 ч. вечера

Сейчас еще получила твое письмо, Валерий. Скажу на него только несколько слов. Я сегодня утром писала тебе длинное заказное письмо. Второе[3], — это третье. Ты отнимаешь у меня *все* надежды? Ты ее[4] *действительно* любишь? *Я была* заблужденьем? *Так это уже безусловно верно*, и ты не услышишь ни слова из тех, с которыми я обращаюсь к тебе в моих двух предыдущих письмах? *Для меня* ты выбираешь ужас и смерть? Что ж, — да будет! Знай, знай, что ты убиваешь меня! Живи с этой мыслью! Наслаждайся покоем Вашей жизни и знай, что это *за упокой моей души*, моей жизни и всего моего существа. Если ты не в силах ее оставить и *ничего* изменить, *ничего*!! то и я не в силах изменить моих чувств. Они от меня не зависят. Прими мою гибель на свою совесть, *живи* с этим сознаньем и будь счастлив, если можешь. Я говорила тебе *иные* слова, *я не отказываюсь ни от одного из них*, и если ты способен на все, о чем я тебя прошу в последний раз сегодня в утреннем письме, — *мы будем вместе, нам возможно жить. Если и этого не можешь* — что я скажу! Смотри в ужас смелыми глазами — *он будет, ты его творишь.* За «рай»[5] спасибо! Не упрекаю, не проклинаю, но, *подходя*, нужно было *спросить себя* и ответить, а не давать лживых клятв....

Ответь мне, во всяком случае, к Богородским. В Москву *я еду.* Здесь томиться не могу. Помни и знай одно: *это последний раз* ты еще можешь *что-то выбрать.* Потом будет поздно. Это не угроза, это правда, — я погибаю совсем. Прочти мои письма, рассмотри свою душу, взгляни в будущее — и ответь. Я прошу у тебя *возмож-*

ного, если откажешь *и в этом,* значит, не любишь и *никогда* не любил, и всегда лгал. Хочешь ли ты остаться *совсем без меня*? Можешь ли? Спроси себя строго *в последний раз*. Неужели 5 лет были одним обманом? Неужели действительно из любви к ней ты способен меня убить!! Валерий, Валерий, Валерий! вспомни! всё! Может быть, ты ошибаешься *сейчас*? Ты болен, расстроен. Милый Валерий, этого не может быть, чтобы так жестоко ты поднял руку на меня. Но — да будет! Если мне погибать, я не убегу, не спрячусь от судьбы.

Прощай! Жду ответа. Ты не знаешь, *как* я живу. Видит Бог — это страшная жизнь. *Долго* мне не вынести ее. Ах, спаси или погуби скорее. Моя жизнь и душа в твоих руках.

Твоя.

---

[1] Датируется по связи с п. 264.

[2] Правильно: четверг (см. примеч. 2 к п. 264).

[3] Как «первое» подразумевается п. 263.

[4] Подразумевается И.М. Брюсова.

[5] См. п. 259, примеч. 3.

266. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

29—30 октября / 11—12 ноября 1909 г. Париж[1]

Среда[2], ночь

Валерий, это третье сегодня письмо. Второе, *вечернее*, писала в бреду. Было больше 8-и часов. Хотелось послать заказным. Страшно вверять такие письма неизвестности. А принимают заказные лишь до 9-и, спешила, до лихорадки, сердце совсем умирало, рука не двигалась. Но *я помню* все написанное и ничего не хотела бы зачеркнуть. Я только хочу *объяснить*. В нем тот же смысл, что в предыдущих, лишь мысли и чувства напряжены до предела, выражены в их крайних чертах, в последней режущей остроте. Ты это пойми. Я за него не извиняюсь и ничего не хотела бы взять назад, я прошу тебя *понять* его необычный вид и набросанность слов. Сегодня было два твоих письма *об одном*. Оба безнадежные, убивающие душу. Я прочла последнее прямо с ужасом, точно заглянула в самые глаза смерти. И этот ужас, потрясение им вылилось в строки тоже с виду ужасные, спутанные, безóбразные. Пойми мое состояние, если не совсем ты перестал меня чувствовать, — за тысячи верст от тебя, почти одна, с больным

сердцем, с припадками каждую минуту, — Надя меня не пускает одну на улицу — живу точно в кошмаре и бреду, цепляюсь за угасающую надежду, а ты ее подрываешь, режешь каждым новым письмом. И это после твоей заботы, нежности, тепла и ласки, которыми я дышала так недавно. Самый жестокий палач не придумал бы более мучительной казни. Валерий дорогой, *все, все* я сказала тебе теперь в трех предыдущих письмах. *Ты* произнесешь последнее решительное слово. Ты обращаешь меня к «моей мудрости», а у меня ничего нет, кроме горя. Я чувствую себя минутами маленьким обиженным зверем, которого высунули за дверь из тепла, бросили из ласковых рук на мороз, на голодную смерть. Все ты отнял, все взял и говоришь: «Иди ко мне, но знай, — я буду тобой пренебрегать, буду оскорблять, буду на твоих глазах заботиться только о ее счастьи, потому что она моя жена, моя любовь, моя вечная, выбранная на всю жизнь. А ты знай *твое место*, ты — мой грех, мое преступление против *той*, тайная любовница, которую нужно прятать от глаз посторонних людей, чтобы не поколебать уважения к *«ней»*». Не так ли, Валерий, можно понять эту фразу о «вытекающих отсюда условиях». Более оскорбительно ты еще не говорил со мной за все наши годы.

Милый Валерий, *выслушав все*, я написала тебе эти три письма. В них *последний раз* протягиваю к тебе руки. Через униженную гордость, через мое беспредельное горе с улыбкой зову тебя, — Валерий, вернись! Ты для меня все тот же милый, родной, единственная моя радость, вся моя жизнь. Я еще не видала твоего нового страшного лица, и если сумею я воскресить прежний ласковый и милый образ, если в первую минуту первой встречи *узнаю тебя* — мы, взявшись за руки, пойдем в нашу новую жизнь. Захотел ли ты *действительно* остаться только с ней вдвоем, навсегда? Представил ли ты себе жизнь, из которой вычеркнута я навеки? Ведь этого не было пять лет! Пять лет каждый день ты думал обо мне, писал, радовался мной, страдал из-за меня, творил мой образ в твоих стихах.... Заменит ли тебе она все, что ты отвергнешь вместе со мной? Представил ли ты себе этот первый день, когда не будет меня и уже не будет возможности что-то изменить, перерешить, прийти мне об этом сказать?! Валерий, как это будет *для нас*? Ведь мы уже где-то связаны, соединены в одно существо. И сейчас, больной, безвольный, побежденный чем-то слепым и безрассудным, понимаешь ли ты до конца, *что значит* разорвать нашу связь и убить меня? Будешь ли ты спокоен, счастлив, предашься ли ты твоей новой жизни без меня с душой

неотравленной и ясной? Валерий, *ты* велел мне все это тебе сказать, напомнить, спросить, если опять и вновь ты скажешь мне, что отверга<ешь> меня для нее. Я предвидела это и говорила тебе, а ты мне сказал: «Не теряй веру, не отходи, не проклинай тогда... Напомни мне все, подойди ласково и нежно». Валерий мой, и вот через ужас, который заливает сердце, через холод, через боль и обиду я улыбаюсь тебе нежно и голосом, который еще не смеет дрожать, говорю: «Валерий, зверочек мой, мой зверь с золотыми глазами, — это я, я, твоя печальная «девочка», посмотри, проснись, узнай меня! Я тебя жду и буду ждать долго, ты придешь ко мне, ты не можешь не прийти, оставить меня замучиться и умереть! Я тебе не враг, я не хочу ничего у тебя отнять! Люби все, что ты любишь, только не отнимай у меня *себя*, свою близость! *Ту* близость, которую ты мне дал и без которой я не сумею теперь жить». Ах, *не жалости* у тебя прошу я, — она всегда бессильна в твоей душе, я говорю: проснись, вернись! Не бойся меня, доверься мне весь, потому что вся *я твоя* и не могу захотеть для тебя никакого зла. Я уже, может быть, невыносима тебе в этих письмах. Прости меня — не знаю за что! Прости, если от них тебе еще тяжелее. Я в лихорадке, у меня мозг горит, я едва дышу от волненья, от боли в груди. Я беру «его»[3] почти каждый час, иначе я не могла бы держаться на ногах, потому что в 8 дней уже ни разу не обедала. Ужасно подумать войти в ресторан, воспоминания меня истерзали. Ах, Париж! Навсегда страшный и прекрасный Париж! Милый, напиши мне, напиши непременно. Скажи всю правду в ответ на эти письма. Пошли к Богородским. Тотчас же зайду к ним. Прости, что волную тебя, прости! Что же мне делать!? Как мне сейчас жить! Твоя.

[1] Датируется по связи с пп. 264 и 265.

[2] См. примеч. 2 к п. 265.

[3] Подразумевается морфий.

267. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

31 октября / 13 ноября 1909 г. Париж[1]

Суббота 31/14 ноября[2]

Дорогой Валерий, сейчас я получила твое коротенькое письмо, где ты в ужасе, что я еду в Москву. Боже мой! Валерий, Ва-

лерий, что сделали с твоей душой! Как мог ты стать таким чужим и жестоким!..

Не бойся моего приезда. Я буду *смирять* мое горе, как это делаю здесь. Теперь уже без счета, без малейшей осторожности, — через час или два.... Мне все равно. Ты отвергаешь меня — зачем мне жизнь! Успокойся, мой милый! говорю тебе это нежно. Это все, чем могу я утешить тебя в том безнадежном мире, куда ты меня привел после нашей погибшей жизни вдвоем. Не сердись, право, нечем мне больше успокоить тебя. И сейчас я не плачу, не падаю в отчаянии, — делаю все, что нужно, собираюсь, тону <?> в лихорадке, голова вся горит, сердце перестает биться. Так мне теперь нужно жить, — ты сказал... Прощай, Валерий. Еду не сегодня, потому что поеду в III-м классе, только от Варшавы во втором, и чувствую себя такой больной, что, кажется, не выдержу бессонную ночь. Может быть, к завтраму отдохну немного. *Не встречай меня*, *очень* прошу. Совсем не могу встретить тебя *таким* на вокзале среди чужих. Дай мне иную встречу. Она мне кажется необходимой. Я хочу не из писем, а глядя тебе в глаза, от тебя самого услыхать *все*.

Ответь мне, как я просила раньше, к Богородским. Арбат. Уг<ол> Больш<ого> и Мал<ого> Афанасьевск<ого> пер., д. Цветкова, кв. 2. Маргар<ите> Викторовне Богородской для меня. Ответь на предыдущие письма.

Мне сейчас ужасно, Валерий! Но ты уже этого не представляешь.... Обнимаю тебя печально.

Твоя.

---

[1] Вероятно, к этому письму относится конверт с почтовыми штемпелями: Paris. 13.11.09; Москва. 4.XI.1909.

[2] Ошибка при переводе со старого на новый стиль.

268. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

26 ноября 1909 г. Москва

26 ноября, четверг 4 ч. ночи

Валерий, в эту ночь в припадке какого-то внезапного острого ясновидения я поняла, что было для меня смутным и темным в этот месяц[1]. Теперь я знаю, почему ты приходил всегда непобедимо чужой, почему так упорно избегал приходить по вечерам,

хотя у тебя были и свободные, и многое, многое стало мне ясным, многое такое, о чем стыдно говорить, настолько это интимно, болезненно интимно и неуместно уже между нами. Ты «верный любовник»[2], Валерий!.. Ты не хотел *изменять ей* со мной в этот месяц вашего возобновившегося сближения[3]. Правда, ты от меня не скрыл самого факта, но я говорю не о том «долге», который, как ты говоришь, «приходилось иногда выполнять». Нет, все иначе, — так, как бывало всегда, когда ты возвращался от меня, после долгого времени со мной. Ты сознавался потом сам, что вы бросались друг к другу с настоящей страстью. В первый раз точно молния вспыхнула в мозгу эта мысль, такая безусловная, что ничем уже нельзя меня разуверить. Боже мой! Валерий, зачем же ты унижал меня так безжалостно! Ты, который *поклялся* мне в Париже больше не лгать никогда... Зачем *все-таки* приходил и лгал каждым словом, каждым движеньем. Я помню беспомощное выражение твоего лица, когда я спрашивала *прямо*. Но неужели так сладка, так необходима ложь твоей темной душе?!. Или ты узнал, что я — та болезнь твоей души, от которой *ты тоже не можешь освободиться*, и чтобы иметь возможность *прийти*, когда наступит ее пароксизм, ты расчетливо лгал, высчитывал в уме, что может произойти без лжи? Как мог ты так оскорбить мою любовь? Неужели ты думал, что можешь от меня что-то скрыть? Разве напрасно и бесчувственно была я около тебя пять лет? Я знаю все оттенки твоих поступков и настроений, все внутренние струны твоей души звучат для меня отчетливо и ясно. Можешь ли ты скрыть от меня даже под упорной ложью хотя какую-нибудь перемену твоих чувств? Может быть, поздно, но я узнавала всегда. Ах, зачем ты унижал меня так грубо, так незаслуженно грубо! Отчего не сказал прямо: «Да, я теперь с ней всецело, если можешь вынести это, — останься, если не можешь, — поступай как знаешь». Нужны ли мне были твои подаяния, когда настоящую нежность и страсть *в это же время* отдавал ты одной ей?.. Конечно, в эти дни и недели ты не мог ничем обидеть ее. Я знаю, каким заботливым и нежным бываешь ты в такие периоды твоих чувств. И существует еще какая-то нежная благодарность, которая в эти дни не может позволить войти в жизнь ничему постороннему, тягостному для той, с которой ты связан так близко. Мне ужасно думать и говорить все это, каждым словом я режу что-то живое внутри себя самой. Но промолчать, дать тебе возможность думать, что я хорошо и верно обманута... И если к ней влеклось твое тело,

как мог ты, как осмелился хотя один раз приблизиться ко мне? Как помрачает сознание любовь, — ведь несмотря ни на что, я еще верила твоим оправданиям, — «болен, расстроен, занят». А все твои поступки до одного говорили и кричали, что это ложь, что просто настал один из ваших «медовых месяцев», когда ты покаянно предаешься ей, может быть, с искренним раскаянием отрекаясь от меня, от шести недель в Париже, от этого «припадка твоей болезни». Она так и называет твои чувства ко мне, ты сам говорил. Ты не можешь уже разуверить меня ничем. Внутренним зреньем я увидала все это почти в образах, точно стояла в открытых дверях Вашей семейной спальни. Я в первый раз пишу тебе об этом, мне больно и страшно произносить все эти слова... Но, Валерий, Валерий, как мог ты так обидеть меня и мою любовь! Я укоряю тебя за ложь. Это преступная ложь, ты клялся, что ее не будет никогда. На последние мои письма не отвечай и «говорить о нас» не приходи. Не спрашивай обо мне у Сережи и не говори по телефону с Надей. Не обижай меня еще, *так* выражая интерес к моей жизни. Какое, наконец, тебе дело до меня? Разве не выразил ты в этот месяц безучастия ко мне самого ясного? Зачем же этот вздор: «Как здоровье Ниночки, как она поживает?» — я не Шестеркина, которая вымаливала и вымаливает от тебя хотя каких-нибудь подаяний[4]. Прими мое решение вычеркнуть себя из твоей жизни как последнее и окончательное. Я сказала тебе в Париже в мои самые счастливые дни, что к прежним формам нашей жизни вернуться не смогу. Тогда — близкий и чуткий к каждому моему ощущению, ты это понял. Вспомни, Валерий.... Прошу тебя очень, — отойди от меня совсем. Не унижай моего горя этими страшными встречами с тобой — ее мужем и любовником. Не возвращайся, как в прошлый раз, точно ты не поверил в мое решение. Мы не можем быть вместе. Что-то такое чудовищное лежит между нами, что мне невыносимо тебя вспоминать. Хочется проклясть Париж и все дни с тобой. Я глупая, глупая! Как не могла я понять давно, — да ведь ты *просто счастлив с ней*, как счастливы многие с женщинами, которых, любя, выбрали они на всю жизнь. Я — это какой-то странный нарост на твоих чувствах, болезнь души, от которой постоянно ты пытаешься освободиться. И как слепая, как безумная, я ждала, что *для меня* ты оставишь ее! Как поздно говорить теперь, когда этой любви я отдала все до последних капель крови. Но если я доживу до того часа, когда ты, пресытившись твоими семейными восторгами, вновь придешь ко

мне, — *что* ты найдешь у меня? Понял ли ты, видишь ли, как разрушилось все, что ты называл во мне *своим* за один этот месяц? И если бы еще я могла тебя возненавидеть! Я уже знаю, знаю, что весь ты для меня ложь, что только унизительна твоя любовь — болезнь, которая держит меня в прихожей твоей жизни с ней, — и так страдаю и так тебя люблю!

Ты понял, — это твердо, не так, как летом, когда у меня были еще силы страдать, — *меня в твоей жизни нет.* Не приходи, не пиши, не спрашивай моих близких. Простись со мной в твоей душе, как прощаюсь с тобой я.

Твоя.

---

[1] То есть месяц со дня возвращения Петровской в Москву (в начале ноября ст. ст.).

[2] Образ из стихотворения М.А. Кузмина «Сижу, читая, я сказки и были...», входящего в его цикл «Любовь этого лета» (1906); «Что ты — любовник верный, верный и примерный!» (*Кузмин М.* Стихотворения. СПб., 1996. С. 64 («Новая Библиотека поэта»)).

[3] Речь идет об И.М. Брюсовой.

[4] Анна Александровна *Шестеркина* — жена художника М.И. Шестеркина, приятельница Брюсова и его возлюбленная в 1900—1903 гг. (согласно составленному Брюсовым списку «Mes amantes»; см.: *Брюсов Валерий.* Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 233 / Коммент. В.Э. Молодякова). См.: Письма <Брюсова> к А.А. Шестеркиной. 1900—1913 / Предисл. и публ. В.Г. Дмитриева // *ЛН. Т. 85.* С. 622—656.

269—276. «РАЗМЕТАННЫЕ ЛИСТЫ»

1905—1909. Москва*

269. БРЮСОВ — ПЕТРОВСКОЙ[1]

3 ч. 12 м. дня по Твоим часам

Нина, дорогая, милая и злая!

Но неужели Ты не могла меня подождать 12 минут! Неужели Ты не знала, что, опоздав на 12 минут в Скорпион, я непременно приеду к Тебе! *12 минут*! И теперь Ты заставляешь меня целый день быть без Тебя и не видеть Тебя ни минуты. И даже о том, что мне можно увидеть Тебя вечером, передаешь через швейцара... Ты скажешь, что это опять — упреки. Нет, Нина, это не упреки, а тихие, тихие жалобы. Когда-то прежде этого не могло быть. Ты бы знала, и Ты бы верила, что я приду, что если я опоздал (на 12 минут!), то не по небрежности... Прости. Грустно, грустно. Я так хотел Тебя видеть — вот сейчас...

Твой

В.

[1] Отправлено с рассыльным в конверте с маркой издательства «Скорпион» и журнала «Весы» по адресу: Арбат, дом Буровой.

270. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

22 октября[1]

Валерий, радость моя, прости, что сегодня я не послала тебе того запоздалого письма, как обещала[2]. Его посылать не стоит, нужно было отослать тогда же, теперь уж хочется говорить как-то иначе, а оно точно связывает. Нового же письма просто не могла написать. Не могла. Руки не поднимались вчера. Вот ты светло радостен, а я вчера вечером и сегодня просто не знаю, что с собой

*Приводимые в этой рубрике письма точной датировке не поддаются, последовательность их расположения условна.

делать. Дурные предчувствия о «*том*» не дают мне покою[3]. Я уже перестала быть легкомысленной по этому поводу. Плохо! Но предпринимать ничего не могу. Ничего не знаю, а то, что знаю, — вздор. Ну все равно! Я люблю тебя. И чем я печальнее, тем сильнее люблю. Милый, милый, милый, единственный! Люби меня везде, вот как ты пишешь, и знай, что в каждый миг я твоя вся до последнего предела души, каждой мыслью, каждым желаньем.

Ты не позвонил мне сегодня, и я думаю, что ты обиделся за отсутствие письма. Но не надо. Я, право, не могла писать, у меня все крутится в мыслях. Если бы я еще смотрела тебе в лицо, видела твои глаза, — я была бы с тобой в твоей радостной ясности. Но эти дни! Длинные, тягостные, в подавленной тревоге и в молчаньи.....

Ведь ни с кем я ничего не говорю, кроме условных и ненужных слов.

Валерий, счастье мое, люби меня. Я не могу уже жить без твоей любви. И мне тоже не надо свободы, потому что радостно и покорно я отдаю мою душу в твою полную власть.

Люблю тебя, хочу твоих ласковых рук, твоих поцелуев. Хочу только этого забвенья. Для него я живу, им дышу.

Поговори со мной. Так грустно без твоего голоса.

Милый, счастье! будь моим совсем до конца. Так же, как я твоя.

---

[1] Судя по содержанию и эмоциональной тональности, год написания — 1905 или 1906.

[2] Это письмо, видимо, не сохранилось.

[3] Очевидно, речь идет о возможной беременности.

271. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ[1]

Среда

Милый зверочек!

Сегодня я так тоскую, так тоскую, что чувствую — не смогу выжить всего срока. Сейчас посылаю тебе телеграмму с очень тяжелой и горькой для меня просьбой.. Но в длинн<ом> заказном письме, которое я послала раньше этого, есть подробное объяснение... Ты поймешь. Ах! не думай обо мне дурно, я трачу твои деньги всегда с болью и сейчас была бы счастлива, если бы могла обойтись без твоей помощи. Такая тоска! тоска! Я вчера не

поня<ла,> не представила, как будет мне плохо. Ты, ты всюду... Томит какая-то неопределенная боль. И город так изменился, я почти не узнаю его. И дорого все, мне жалко денег на эту поездку, в которой так мало смысла. Не сердись на меня! Не все ли равно два-три дня!.. Но я только сейчас поняла, как безум<но> я устала. Надечка тоже. Мы обе чуть живы от утомлен<ья>.

Обнимаю тебя крепко. Надечка шлет привет. Не забывай! Не уходи!

Твоя.

На карточке тоже «зверочек».

[1] Написано на карточке с рисунком, изображающим собаку.

272. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ[1]

Милый Валерий,
я не переехала вчера и не могу сегодня. Ответь мне, увидимся ли и *как*. Пишу тебе на Цв<етной> бульв<ар> лишь потому, что нет иной возможности известить тебя. Днем буду дома. Посылаю тебе письмо от будущего «покупателя» — Богородский просил тебе его передать.

Твоя.

[1] Отправлено с рассыльным в конверте с обозначением адреса: Цветной бульвар. Собственный дом.

273. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ[1]

Прости! рукопись в отвратительном виде. Я могла бы переписать, это взяло бы еще день, и дала бы чистую работу, но ты сказал «не надо!». Не брани меня, когда будешь читать: Это уже не моя вина. Я оставила 5—6 невписанных *слов*, потому что совсем не могла их подыскать. Прости, пожалуйста.

Н.

[1] Сопроводительная записка — видимо, к рукописи одной из рецензий Петровской, предназначавшейся для «Весов».

274. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Валерий,
с большим сожалением посылаю тебе обратно книги вместе с отказом писать о них[1]. Сейчас у меня нет ни мыслей, ни слов, и я не надеюсь, что возможность работать вернется. Аванс из Весов тяготит меня чрезвычайно. Но на самых близких днях мне вернет 50 р. Ауслендер[2]. Перешлю их сейчас же в Весы. Об остальных подумаю тоже и, во всяком случае, должной Весам не останусь.

Н.П.

[1] Речь идет о книгах, полученных в редакции «Весов» для рецензирования.

[2] Поскольку общение Петровской и С. Ауслендера ограничивалось рамками 1907 — первой половины 1908 г., правомерно отнести письмо к этому хронологическому периоду.

275. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Среда

Валерий,
если ты не уезжаешь *сегодня*, тайно, наподобие прошлого года[1], зайди ко мне вечером, в 9. *Ничего не изменилось*, но мне бы хотелось проститься с тобой.

Нина.

[1] Если здесь подразумевается отъезд Брюсова за границу в июле 1908 г. (см. п. 167), то правомерно датировать эту записку июнем 1909 г., когда Петровская готовилась к отъезду из Москвы за границу (ср. пп. 254, 255). Впрочем, возможно, что письмо относится к 1907 г., поскольку летом 1906 г. Брюсов «тайно» уезжал в Швецию.

276. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Приходи в 8 ½ ч. Будем одни до 2 ч. ночи. Очень, очень хочу тебя видеть.

Ты милый, я люблю тебя и

твоя.

1910

277. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

2 января 1910 г. Москва[1]

2-е января

Это письмо я пишу тебе, Валерий, пользуясь последним правом, — правом осужденного на смерть. Поверх всех слов, что говорила я убедительно, холодно, распустив шаг за шагом мучительную нить, у меня звучат какие-то другие, совсем простые, понятные каждому живому человеку. Да, ты прав, мне осталась только смерть. Я еще доживала эти дни последние остатки нашей связанности, близости, слушала твой жестокий голос — еще живой, еще обращенный ко мне. Через несколько дней вокруг меня будут молчание и пустота. И я знаю, что не смогу, не сумею их пережить. В первый раз у меня нет надежды. Много, много раз мы расставались будто навсегда, но у меня было чувство такое твердое и верное, — нет, мы слишком близки, мы неразрывно связаны, мы не можем, мы не можем в этом мире жить друг без друга! И я тебя ждала, и ты приходил опять милый, близкий. И ты приходил... Теперь я знаю, что ты не придешь, не вернешься. В твоем голосе жестокая замкнутость отчужденной души, в твоем сердце покой равнодушия. Ты боишься сказать ласковое слово, чтобы я не потребова<ла> «его оплаты». Так ты сказал сегодня. Ты предлагаешь мне что-то, напрягая последнее состраданье, и не можешь, не можешь быть даже только добрым.

Милый, вечно любимый Валерий! я ничего не жду, ни на что не надеюсь, ничего не прошу. Я знаю, что пришел мой последний черный день, когда нет спасенья и нет пощады. Ах, только пойми меня.

Пойми душу, которая сгорела от любви. Я минутами стараюсь воплотиться в тебя, почувствовать все, что чувствуешь ты, и вижу тогда себя, сидяшую перед тобой с мукой в каждой капле крови, и тогда ощущаю тот ледяной холод, с которым ты смотришь мне в лицо и не узнаешь меня. Не узнаешь глаз, что сияли для тебя когда-то, губ, которые ты целовал с такой страстью, не видишь души, которая рвется к тебе с последней тоской. Я знаю это. И передо мной были те, кого я больше не любил<а>. И на Сережу смотрела я когда-то твоим холодным непроницаемым взором. Мне не стыдно! Покажи это письмо ей[2], покажи кому хочешь, наклей на фонарном столбе!... Ты понимаешь меня умом, мыслью, рассудком, но тебе уже не больно моей болью и не радостно моей радостью. Ты знаешь все обо мне минута за минутой, все муки обиды, ревности, покинутости, но они не трогают чувства, мертвого для меня. Я проваливаюсь в пустоту, в черную яму, я чувствую себя маленьк<им>, заброшенным, издыхающим от холода щенком. Когда меня не касаются, как прежде, твои ласковые руки, когда я не могу подойти тесно и нежно прижаться к твоему плечу, услыхать твой голос, полный той, прежней, забытой тобой нежности. Я не могу просыпаться и засыпать с мыслью, что *этого* не будет никогда, что даже рабства моего не берешь ты, что я тебе вся чужая — с моим телом, с моей душой, с моими мыслями. Я смотрю на себя в зеркало: бледное, бледное лицо, синие тени под глазами, скорбные бледные губы, согнутые плечи. Разве таких любят? Боже мой, разве любят таких? И разве *такой* ты встретил меня! *Ты* не хотел видеть моего лица радостным, ты опечалил навсегда мои глаза, провел линии горя у губ. Я *могла**

<...> только подчинялась твоей воле, но давно, давно уже моя мечта оторвалась от этих образов. *От тебя* я хотела другого, только духовного и так мало земных воплощений любви. Если я противна тебе совсем, если тебе отвратительно мое бледное лицо со скорбным ртом и похудевшее от яда тело — о, тогда все кончено, и ничего, ничего не может ожить. Но ведь я не разучилась смеяться и радоваться. По твоей воле слезы могут стать смехом и гримаса боли — ласковой улыбкой. Я тебя так люблю, так нежно, глубоко и жертвенно люблю, что все, все мое существо в твоей власти. О, если бы ты захотел от меня чего-нибудь и только, только немножко ласки, немножко вниман<ия,> — разве я не простила бы тебе этих дней горя!... Валерий! Валерий дорогой, это письмо —

* *Лист с последующим текстом отсутствует.*

тот последний рубль, который бросает на стол нищий игрок, ощупывая в кармане револьвер.. Если тебе нечем ответить на него и ни одной стру<ны> чувства не шевельнется в твоей обмершей душе, — я замолчу и ты не услышишь больше моего голоса. Разве мы знаем что-нибудь о себе?! Разве я знала, что после всех обид и оскорблений я смогу обращаться к тебе так!... Ты знаешь, видишь сам, что наша история пришла к концу, что она не может длиться, тянуться в мучительных медленных днях. Это мое последнее обращение, это в последн<ий> раз я тяну к тебе руки... Ведь ты можешь потом пожалеть, ты не найдешь себе места от раскаяния, если сейчас ты безумно, безрассудно в опьянении чувств толкнешь меня в яму.

Я вспоминаю разные твои слова и еще недавние, до болезни, до этого сиденья дома, которое обратило тебя в камень. Я вспоминаю тебя этим летом после первого припадка аппендицита. Мы расстал<ись> как близкие, а через десять дней ты говорил как чужой[3]. Вспомни «булавки»... Боже мой, женщины ведь не похожи на меня. Они идут к цели с иезуитской хитростью и не разбирают средств. И морфий еще, и болезн<и,> — все это меняет душу на время, но тем ярче проявится *настоящая*, если придет ее час. Я вовсе не хочу, чтобы ты, прочитав это письмо, сцепя зубы от гнева и чувства вынужденности, ответил мне лживыми словами доброты. Я обращаюсь к самому тайному, темному, интимному твоего сердца, — загляни туда, спроси себя строго, твердо и вынеси мне приговор без дрожи в руках. У меня нет перед тобой гордости, я готова простить тебе все обиды, я готова встретить тебя с влюбленной нежной улыбкой, скрыв печаль, опустив ее на дно сердца. Но если *есть* у тебя хотя что-нибудь *живое* ко мне, если ты увидишь живое, почувствуешь в себе. Если ты разлюбил меня, как это бывает с людьми, когда почти телесное отвращение отталкивает от человека, когда нет совсем желания когда-нибудь увидать его лицо, — это неотразимо и неотвратимо. И я уйду покорно, умру, отойду от тебя без слова. Но если чувство твое ко мне ослабело вместе со всем чувством жизни, разве не сумела бы я понять этого и принять как болезнь, от которой старалась бы тебя лечить терпеливо и нежно?

Милый, подумай, разве ты не знал привязанности? Разве ты не знаешь, как обращаются с людьми, дорогими сердцу? О, не о безумии, не о страсти говорю я! Я хочу так мало, мало. Я прошу только — позволь тебя любить и будь со мной так, чтобы моя любовь не задохнулась от горя.

Я знаю, что все бесполезно, если я противна тебе с моей душой и телом моим, как бывает противна женщина мущине. И если все *так*, — не отвечай мне на словах. Скажи только одно, — «я получил письмо», чтобы я знала, что посыльный тебе отдал его. И я больше не ворвусь к тебе с любовью, что возбуждает дрожь отвращения. Последняя женская гордость не позволит.

Валерий! дорогой мой Валерий, я стою рядом со смертью. *Теперь* я знаю, что другого выхода мне нет. Я не могу жить, только чтобы вспрыскивать морфий и следить за собственным разложен<ием>. И ты подумай, м<ожет> быть, ты только временно омрачен, отуманен болезнью, м<ожет> быть, я нужнее тебе, чем тебе сейчас кажется? Посмотри вглубь твоего сердца. Я еще могу тебя встретить *живая*, твоя, с улыбкой и радостью.

Ты говорил так недавно, что я *единственный* близкий тебе человек на земле. *Ты* говорил! Может быть, потом сам ты будешь называть себя «чудовищем», когда я погибну и когда погибнет все, что может еще ожить сейчас.

Подумай! Скажи, спроси себя?! Я не жду чудес, счастья, неожиданных перемен. Я только прошу — пересмотри себя самого, может быть, все хорошее *наше*, связывающее нас двоих, только бессильно лежит на дне, но еще живо. Я хочу так мало.. Ты знаешь. Неужели *все* мое кто-то украл, взял у тебя, и ты отдал сознательно?

Ах, Валерий, не губи, если можешь не губить, если есть живая связь между нами.

Но если ты холоден *для меня* только, и я вся противна тебе — прости мне тогда неуместное, грубое, ненужное письмо покинутой женщины. Я любила тебя, мне страшно умирать, как всякому живому существу, и мне можно простить последнее безумное движение прочь от ямы в сторону, где мне видится спасенье. Тогда прости меня и прощай, и не бойся, — я не буду надоедать собой. И «мальчик с волком» не вечно кричал из леса, насмехаясь и шутя: «Волк меня ест»...[4]

Прости, если только рассердит тебя это письмо. Нет больше слов у меня. Твое молчанье мне будет ответом

Та, что была твоей
Ренатой.

Смешное, романтическое воспоминание!..

Если тебе будет *нечего* сказать в ответ, то позвони только одно слово, чтобы мне знать, отнес ли посыльный. Такой ответ я приму как отрицание.

---

[1] Листы с текстом при архивной систематизации писем Петровской к Брюсову рассредоточены: РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 20. Л. 16—17 об. (текст с начала, заканчивающийся словами «...провел линии горя у губ. Я *могла*», и приписка — последний абзац текста); Там же. Ед. хр. 21. Л. 21—23 об. (остальной текст). Как минимум один лист с текстом (между обозначенными фрагментами) утрачен. Обстоятельства, предшествовавшие написанию, прояснены в пп. 282 и 283 (болезнь Петровской, начавшаяся 19 декабря 1909 г.).

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

[3] Видимо, имеются в виду письма Брюсова, отправленные им Петровской из Москвы по возвращении из Парижа, между прочим, пп. 263, 266, 267.

[4] Отсылка к басне Л.Н. Толстого «Лгун» из его «Первой русской книги для чтения» (1876).

278. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Январь 1910 г. (?), Москва

Дорогой мой, милый Валерий,
не помню «ужасных ликов» и моих злых слов. Вот ты ушел, и я мучусь вчерашними воспоминаньями. Ах, разве так бы хотела я встречать тебя! В то время, когда тебя нет, я целые дни думаю только о том, как ты войдешь, как я увижу твое лицо, как почувствую знакомое ласковое прикосновенье твоих рук, какие нежные слова скажу тебе. Не помни, не помни этих ужасных часов. Во мне сейчас все помутилось. Ведь ты знаешь, вся моя жизнь *о тебе*, но это так надорвано, измучено, разбито, что тебе же — любимому, единственному — я, не помня себя, говорю страшные, отталкивающие слова. И вот ты окаменел, «ожесточено сердце твое»[1]. Уже не видишь, не слышишь, не узнаешь. Приходишь мертвый, с мертвым лицом. Смотришь холодно и равнодушно, может быть, даже не веришь, что есть мой образ, светлый и нежный. Ах, Валерий, все это, наверно, не те слова, какие нужно сказать. Но, знаешь, я так отравлена, — и душа, и тело, так смертельно замучена, что не могу в этом хаосе, в этих страшных днях найти себя. Что сделалось с жизнью! Ты видишь. Мука всех этих лет, сначала темная, основанная на подозреньях, стала явной. Ты говоришь, что никто, кроме твоей поэзии, тебе не нужен. Это не правда, это *вторая* правда твоей души. Я была тебе нужной, я могла бы всю жизнь быть тебе нужной и близкой. Совсем незаметно, непроиз-

вольно у меня сковалась новая душа, близкая тебе, близкая во всем, преданная до последнего мига своего существования. И *ты*, *ты* не мог, не умел, не хотел взять ее. Не нашел слова, чтобы позвать, окликнуть, сказать: «Живи».

Если бы ты увидел ее, понял, оценил, поверил в ее существование, может быть, сейчас же возникла бы другая жизнь. Утратилось очень много. Ведь проживи мы оба еще по жизни от начала до конца, я знаю, — не будет такой встречи и таких возможностей. Перед нами было счастье (смешно уж и произносить это слово), такое, в котором бы твоя жизнь с женой не могла никак помешать, потому что *я*, а не она получила бы то, что она от тебя и взять-то не может. А для этого нужно было нечто в *жизни*, маленький знак в *здешнем*, аллегория, условность. Как расскажу, *что именно*! Теперь уже не знаю. Может быть, что-нибудь трудное, может быть, простое. Ты говоришь, что сейчас *из-за меня* твоя жизнь расшатана, надломлена, разбита. А если я имею власть (ах, хотя какую-нибудь власть радовать и омрачать ее), почему, почему ты так об этом мало думал! Зачем довел до этих ужасных дней, когда уже все кажется загубленным и непоправимым. Я сейчас (о, не думай, что это «страшные слова») вижу только один трагический конец своей жизни. Еще живу и, может быть, смогу жить какие-то дни, но не могу не видеть, что впереди стена. От сложности души, от растянутости и длительности боли не могу, не умею пока кончить это разом. Но все же, разве ты не видишь, куда я иду? Разве не веришь, что человек не сможет жить, когда все, на чем строилась жизнь, разрушилось и ушло. Знаю, иногда может хотеться какого бы то ни было, но *конца*. Но поправит ли это *твою* жизнь, не принесет ли чего-нибудь такого неожиданного, страшного, острого, что будет хуже, а не лучше? Мы связаны страшно и крепко. В какой-то миг ты почувствуешь это не так, как сейчас. Сейчас ты застыл, замер, тоже не видишь и не находишь себя. Валерий, Валерий, ведь, знаю, — никто, и *не она*[2] не могут взять из твоей души *моего*, принадлежащего и отданного мне, мне одной. Все можно преодолеть — и физическое страданье от твоей близости с ней, и жизнь твою с ней. Можно это озарить изнутри, легко и ласково простить. Но нужна *вера*, вера в то, что я нужна тебе. Нужно видеть, что обижать меня для ее спокойствия ты не можешь, что мной ты дорожишь не меньше, не меньше, чем ей. У меня, правда, непримиримая душа. Но ведь любовь всегда чудо и творит чудеса. Чтобы быть с тобой, чтобы показать тебе, какой

я могу быть и какая *я есть* для тебя, за счастье видеть тебя и войти *неизменной* частью в твою жизнь, за уверенность, что это возможно, — разве не переломишься пополам. Принять ее после *лет незнания*, узнать, что она есть, — это было для меня тяжелой болезнью, которая надорвала душу и почти сломила тело. Ты же видишь, что стало со мной за эти 2 ½ месяца[3]. И вот теперь, именно теперь, *во имя всего будущего* мне нужна былая особая мягкость, нежность и, может быть, жертвенность. *Теперь во имя всего будущего.* Ах, можно было меня и утешить и успокоить. Ты смеешь «30 дней»... Боже мой, какой благостный смысл был бы в них, если бы пришли они как дар легкий, свободный и простой. Я сейчас совсем отравленная и омраченная. Три лета, три лета!.. Вот так, на камнях, в раскаленной боли. Усталость и острота чувств и неуверенность в том, *что я что-то имею*, и ее образ, который встал неотвратимо, довели любовь, сделали любовь душевной болезнью, манией. Мне нужен был отдых, время, чтобы пережить это около тебя мягко и тихо. Ведь все же еще при мне — и возможность работать, может быть, совсем по-иному, чем раньше, и возможность стать не уродливым явлением жизни, а настоящим человеком, владеющим и своим мозгом, и чувствами. И только нужно было, *не нарушая той твоей* жизни, успокоиться, забыться, отдохнуть около тебя. И вот — ты говоришь: «Жизнь расшатана, из-за тебя я утратил сейчас самое главное», а *дать* не сумел. И не можешь и не дашь, хотя бы еще больше все расстроил<ось> и нарушилось, потому что там *она*, тормоз, камень, мой кошмар, в жертву спокойствия которого приносится что-то очень большое, и, может быть, ты не знаешь, не объемлешь душой, какое нужное тебе. Что я могу сказать еще? Как, где, зачем мы будем видеться? Могу ли при этих условиях я обещать тебе радость и тишину? Я хвораю, у меня жестокое нервное расстройство, не работает сердце, я дохожу до безумия, до галлюцинаций. Последним усилием воли я сдерживаю те темные силы, которые овладели душой и телом. Но что же я могу еще? В этой безводной пустыне, в этой безнадежности, в этих днях, которые не приносят никакого утешения? Где у меня сейчас силы, чтобы начать новую жизнь с тобой? Закаты, рассветы, стены, зной, одиночество — все это отточилось, как ножи. Все тело отравлено, нет глотка свежего воздуха, над душой мрак, ты заледенел. У тебя уже нет ни слов, ни поступков, чтобы обратиться к самому главному. Что я скажу? Что я могу? Есть возможность жить, но ты отравл<яешь> ее, не

бережешь, бросаешь, как негодную вещь. Может быть, уже не веришь. Что я могу? Я люблю тебя. Кричу это куда-то в немые простран<ства>. Люблю, и все еще могу сделать. Но да будет воля твоя над жизнью твоей и моей.

---

[1] См. п. 263, примеч. 4.

[2] То есть И. М. Брюсова.

[3] Подразумевается, видимо, время, прошедшее с возвращения Петровской из Парижа в Москву в начале ноября 1909 г.

279. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

Февраль (?) 1910 г. Москва[1]

3 ч. ночи четверг

Валерий дорогой мой,
не обижайся на меня!.. Мне так тяжело все это время, так безумно страшно и горько, что я заслуживаю прощенья и снисхожденья, если иногда даже говорю что-нибудь *нѐдолжное* и острое. Может быть, сейчас, не глядя в твои глаза, я сумею сказать все, что недоговаривала сегодня. Валерий милый, кто, кроме тебя, может быть причиной всех тех горьких чувств, что переживаю я в эти дни?.. Я не обвиняю, ах, пойми, не обвиняю тебя вовсе! Но все чаще и чаще не совпадают наши желанья, мысли и отношение к жизни. Точно ты уходишь куда-то, к кому-то, кто, может быть, ближе и важнее в твоей жизни, чем я. Какое-то определенное место ты отвел мне среди *всего*, и мне хочется занять *только его*, не больше, хочется свернуться в комочек, как моя маленькая собака, когда я ее немножко бью. Я хочу теперь взять действительно только то, что даешь *ты от сердца*, как бы это мало ни было. И вдруг, когда я решила измениться, стать в твоем смысле тебе приятной и легкой, *не требуя ничего мне не данного*, — судьба зло посмеялась, и случилось то, что можно обсуждать *вдвоем* просто и близко, без смущенья и боли только тогда, когда двое связаны *не так*, как теперь мы, когда две жизни слиты органически, как, например, твоя и ее[2]. И если этого нет, если нужно жить с величайшей мудрой осторожностью, поддерживая связь только тем, что берешь самое малое с веселым лицом, и твердо помнишь границы дозволенного и навсегда запретного, то *случившееся*, конечно, кажется между нами чем-то таким, о чем стыдно говорить

много, с чем нужно кончить как можно скорее, как с какой-то ошибкой, с недоразумением, с невольной виной, с неприятностью, которая вышла из меры тех, какие я могу тебе причинять. Трудно рассказать чувство, но я попытаюсь передать тебе ощущения конкретным примером, — однажды, это было очень давно, мне пришлось нечаянно захворать, и очень жестоко, в чужом доме (я как-то рассказывала тебе...). Люди эти считались друзьями, близкими друзьями моей матери и даже моими личными. Отношения у нас были давние и *по-настоящему* дружеские (сохранились даже по сию пору). Было лето, в большом доме оставалось до осени из всей огромной семьи только три члена, комнат было сколько угодно, прислуга с нами — своя, — словом, никаких особых стеснений мы им причинить не могли, и в этом нас искренно уверяли. Но и мне и маме тогда казалось, что это *больше*, чем можно взять, и больше по количеству хлопот и беспокойств, чем можно при данном отношении людям *причинить*. Я помню свои ощущения, которые с каждым днем обострялись, *несмотря* на уверения и нежность, которой меня окружали. Помню, что хотелось сжаться, свернуться в комочек, занять как можно меньше места и вниманья, и, словом, меньше *брать* и пользоваться вынужденным (конечно!) великодушием. Я чувствовала себя положительно виноватой все время. Прости, что говорю так подробно о факте, по существу своему не интересном, но *эти*, этого порядка чувства сейчас у меня, когда ты очень нежно и заботливо пытаешься говорить со мной о близком будущем и вообще об этом событии. *Я знаю*, что ты, *так относясь*, предлагаешь больше, чем я должна и смею у тебя брать, и больше, чем ты *рассчитывал* дать. Когда после Парижа[3] выяснилась окончательно моя роль в твоей жизни и все мое будущее возле тебя, многое, больше половины того, что доступно людям, когда они связаны *иначе*, для нас, для меня стало неосуществимым и запретным навсегда. Милый Валерий, после того, *что* я пережила в эти три месяца нашей «новой» жизни в «старой страшной Москве» (вспомни меня, все мои слова, письма и всё обо мне после твоего отъезда из Брюсселя...), мне кажется, что у меня вырезали половину души... Но я люблю тебя, теперь ты это знаешь, и с последней покорностью по твоей воле. Я *взяла* то, что ты мне предложил... Долго говорила «не беру» и думала тогда, что *не возьму*, но видишь, как и чем кончилась моя решимость... Только после всего этого я не могу еще сблизиться с тобой и не знаю, *как* это может быть, если нет свободы моим

желаньям и если любви моей отныне суждено быть стиснутой между тяжелыми жерновами. И я не знаю, как я могу протягивать руку к тому, что мне не принадлежит, и как могу я без смущенья, без острого стыда пользоваться *случайно* тем, чего ты *не собирался* мне дать!... Ты очень добрый, тебе меня сейчас по-настоящему жалко, *невольно* ты со мной в *этом* связан, и может быть, заставив молчать все другие, *иные* чувства, ты говоришь: «Иди ко мне, говори со мной, я готов на все, чтобы ты не страдала». Но ведь я же понимаю и чувствую каждой каплей крови, что твое отношение здесь иное, чем было бы *к ней*, что ты все же принуждаешь себя и к заботливости, и жалости, и нежности, что это чувства не непосредственные, а какие-то «незаконные», не органические элементы большой беспредельной любви, а что-то вымученное, вроде страшного для меня слова «долг». Все это больше, чем я сейчас должна и имею право у тебя брать, а главное — больше, чем ты хотел бы и рассчитыв<аешь> дать, и потому, потому, Валерий, я не могу даже самого первого — говорить с тобой об этом теми словами и мыслями, какими говорю с собой, одна. Мне стыдно и тягостно произносить самые общие незначительные слова, касающиеся «*этого*». Я чувствую себя униженно, точно совершила что-то недолжное, что выходит из круга *возможного между нами*, и хочется *скрывать*, а не рассказывать, точно я виновата перед тобой.... Понимаешь ли ты, *как* развились эти чувства? Я постараюсь рассказать тебе с последней искренностью, не щадя даже своей гордости. И видишь, если даже *говорить* мне тягостно, *что* кроме одного отказа и отрицанья могу я ответить на твои слова: «Оставь так... не делай ничего»?...

Но и на это я постараюсь ответить тебе с прямотой крайней. Через несколько дней разговору этому не будет места. Если ничего особенного не случится, — все позабудется и пойдет по-старому, только эти страницы, если ты сбережешь их, напомнят когда-нибудь в будущем одну маленькую грустную черту *нашей* жизни. Милый мой, ты помнишь, как я хотела *этого* всегда? Ты говоришь «не всегда», — но я не помню: верно, это была минута, потому что мне кажется — *всегда*. Ты улыбался, когда я говорила, но никогда мне не казалось, чтобы это, осуществясь, было тебе особенно тягостно и чтобы *факт* этот мог тебе в твоем воображении представляться причиной нашего разрыва. Впрочем, *это* казалось настолько невозможным, что мы серьезно *ни разу* не думали и не говорили. Я помню вечер, когда я *сказала* тебе, узнав определенно. Помню все до одного слова, что *ты* сказал, помнишь все, наверно, и ты?

Не надо повторять.... Если бы у меня даже была перед этим беспредельная уверенность в неизменности твоей любви, если бы я знала наверно (а это бывает на свете...), что ты способен на такое испытание, то от твоих слов в единый миг разбилась бы вся моя уверенность. А при том, *что сейчас*, что было в таком недавнем прошлом.... когда я *знаю*, от чего иногда приходится зависеть событиям *нашей* жизни, и как *непрочно* все, чем я владею (ах, ведь не забыла же я, что ты во всех случаях, когда нужно что-то «решать» и «выбирать», бросаешь меня, как собачонку...), *что* я могу «выбрать», кроме выбранного? Здесь хотя надежда *как-нибудь* быть с тобой, а, предлагая другой исход, ты прямо говорил: «Ну что ж, если без меня, — *зато* (!!) у тебя будет другое»... У меня возьмут жизнь и дадут «другое»! Кто же возьмет это «другое», если я не смогу жить *без тебя*!? Сейчас ты говоришь иначе, но ведь *те* слова были *непосредственными*, их ты говорил *сам*, тогда еще не видя моего убитого лица, говорил, что думал, просто, немножко как «зверочек», от простых искренних чувств боязни забот, сложности, всяких перемен и еще... уродства... Да, ведь и это правда... Я не забуду одной твоей фразы, она произвела на меня сильнейшее впечатление. Помнишь ее? — «Вот я смотрю, — так легко ты бегаешь по комнате в твоем черном одеянии»... Помнишь? О дальнейшем ты говорил еще мало. Но я удлинила в будущее все намеченные только еще черты, все еле слышные намеки, думала детально, старала<сь> думать твоими мыслями, на минуту хотела понять все твои чувства, вспомнила все, что ты говорил об этом по разным поводам в разное время, и — ужаснулась... Да, для таких душ, как твоя, — неверных, зыбких, слабых, — это, конечно, испытание. Чтобы ты его вынес *и не ушел*, нужно быть с тобой *так* связанной, как она, твоя *жена*, от которой ты не уйдешь, *несмотря ни на что*, или — нужно, чтобы ты *любил*, но не той надорванной, полуостывшей, утомленной и безжизненной любовью, как любишь сейчас меня, а той, на какую ты, я знаю, *способен*, но которую я утратила давно... Тогда все было бы счастьем и чудом. Тогда тебе «уродство» казалось бы *красотой*, и все это нежеланное, сейчас для тебя неживое, озарилось бы удивительной безрассудной радостью, и все, что сейчас кажется безобразием и искаженьем, может быть, углубило бы сознание близости и дало ей оттенок особого, только тебе понятного сладострастия. Не удивляйся на эти слова. Я *понимаю*, что говорю, и понимаю и самые эти чувства... Ах, милый Валерий, лучше бы иногда знать мне меньше!!...

Но ничего этого нет... Есть жалость, обидное мне сознание какого-то «долга» передо мной и готовность даже пожертвовать собой, если я такая «странная», не как большинство женщин, вроде Лидии Дмитр<иевны>[4], что в ужасе бегут туда, «где делают ангелов» по первому подозрению... Я «странная» и от этого страдаю, ты видишь, и ты, добрый, милый, словно бросаешься, зажмурив глаза, в холодную воду и говоришь: «Ну, *если так*, оставь! не надо ничего, я буду хороший и *постараюсь* не уйти»...

Дорогой мой зверочек, я благодарю тебя от всей души за доброту, за готовность принести жертву. Но жертву твою я принять не могу. Да, я завидую сейчас Елене[5].. Бальмонт ее любил тогда и любит теперь. Какие-то их чувства, может быть, совпали хотя раз вполне. Мы не совпадаем почти никогда. Все, что мне было дорого и нужно, почти все ты давал и даешь мне, стиснув зубы. Я еще пока не имею сил отказываться во всем и иногда беру. Знаю, *как* даешь, и все-таки беру.. Только этой жертвы, слишком крупной, чтобы ее вынесла твоя любовь, взять не могу. Это не встреча Нового Года, не вернисаж Союза....[6] Видеть недели и месяцы твое сейчас мне неведомо-страшное лицо, следить в твоей душе последнее безнадежное охлаждение, видеть в твоих глазах настоящее телесное отвращение и, может быть, дождаться дня, когда ты не сможешь преодолеть и уйдешь, уйдешь совсем, — нет, Валерий, милый, дорогой, я готова разрезать на части тело и душу, лишь бы удержать хотя эту *нашу* жизнь. В ней для меня все, в ней, — всячески обделенной, трагически разорванной, навсегда несчастной, я черпаю мои единственные радости. И если лишусь ее, — на что мне самая дорогая живая память о тебе? Как буду жить *с ней*, но без тебя? Ах, Боже мой! неужели ты *так* не понимаешь моей любви, что говоришь: «*Зато* у тебя будет другое»? Я пишу, и мне стыдно... разве должна я придавать всему такой трагический смысл, когда для тебя *так просто*, и мое горе, может быть, кажется тебе почти смешным, сантиментальным вздором, одним из тех «мучительств», которые я «придумываю себе сама»... Не печалься обо мне, зверочек, я преодолею и отвращенье, и безумную жалость, и страх боли. *Моя* любовь не погибнет от испытанья. Если она тебе будет нужна, *после* приди и возьми ее всю, неизменную, как всегда. Потом забудется... Я уверена, эта боль пройдет, только бы ты остался со мной!.. Я все перенесу, чтобы сберечь тебя, но сейчас не сердись (не то слово — я знаю!..). Не томись очень, не огорчайся, — разве виновата я, что переживаю

это с таким горем, с такой острой, неутихающей болью. О внешнем, — я не сделаю ничего против твоей воли. Но делать *так*, как делают настоящие врачи — операцию без хлороформа, — у меня все холодеет внутри от ужаса...

Но если иначе нельзя и ты не хочешь, я сделаю *так*. Завтра, вероятно, приедет Сережа, спрошу у него все подробности. Милый, прошу, умоляю тебя, — не говори с Сережей *об этом* ты *ничего*. Говори *все* мне, — разве я не кроткая? Разве я *только из упрямства* сделаю что-нибудь против твоей воли?!. Я скажу тебе окончательный день, наверно, очень скоро.

Поздно. 5 ч<асов>. Устала, закрываются глаза. Обнимаю тебя нежно. Зверочек мой! Зверь с золотыми глазами!.. Я тебя очень люблю и

Твоя всегда.

Прости, пишу плохо, неуклюжие слова, м<ожет> б<ыть>, неточные мысли. Устала ужасно, поздно.

Ах, прости, если обидела тебя сегодня! Не хотела... Поверь.

Я очень, очень страдаю, Валерий!.

---

[1] Датировка предположительная (написано не ранее чем три месяца спустя после возвращения Петровской в Москву в начале ноября ст. ст. 1909 г.).

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

[3] Подразумевается совместная жизнь Брюсова и Петровской в Париже в сентябре—октябре 1909 г.

[4] Л.Д. Рындина.

[5] Е.К. Цветковская.

[6] Речь идет о VII выставке Союза русских художников, открывшейся в помещении Московского Литературно-художественного кружка в декабре 1909 г.

280. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ[1]

Весна 1910 г. Москва

Четверг. Ночь

Валерий дорогой,
я расскажу тебе совсем искренно, почему я послала тебе домой городскую телеграмму и почему хотела спешно, — к утру написать в Кружок[2]. Когда ты сегодня ушел, — ощущение конца всего было в сознании ярко, как еще никогда. Вот — больше ничего не может быть! Я говорила тебе, какая надежда моя разбилась последней. Она была связана тесно с летом, но не была *только* мечтой

провести с тобой это лето. Я думала, основываясь на твоих словах: «Признай лишь один этот шаг невозможным, и все станет доступным», — что это действительно правда. Но оказалось, что *оба* мы ошиблись. И *всё так же*, как пять лет, невозможно мне даже мечтать о трех месяцах отдыха. Даже об этом, об этой житейской подробности, доступной и простой для всех просто и «сложно» любящих. Твой отказ ясно указал мне, ***какой навсегда*** должна быть моя жизнь около тебя и как я думаю всю зиму, то надеясь, то отчаиваясь, — *лето мне не дано.* Даже лето!.. Что твои слова: «Бери меня всего, всю мою жизнь, распорядись ей, как знаешь». Или: «Уедем хотя завтра», — что значат эти слова рядом с другими, которые обусловили заранее мой отказ. Вспомни эти слова, — я не буду повторять их тысячный раз. И еще сегодня ты сказал (вспомни!): «Конечно, если меня будут *принуждать* чувствовать иначе, чем я чувствую, это произведет обратное действие». Как перевести их? Ах, просто: «Если ты сделаешь надо мной это насилие, ну уж пеняй тогда на себя. Я не поручусь, что захочу ее видеть острее и еще более непобедимо почувствую *нашу* связь». Это так, Валерий! И твое предложение — «возьми меня» — я не могу принять просто и прямо, как это иногда говорят люди своим любимым. Это букет, внутри которого — ядовитая змея... Вдохни аромат, но знай наперед, что здесь же рядом твоя смерть. Потому-то я и сказала тебе сегодня и повторяю еще: мой отказ создан тобой. Может быть, невольно, потому что ты и не скрываешь, что предложение было *не от души.* Ты прямо говоришь: «Возьми факт, а чувств я переменить не могу». Ты прав. Большего предложить ты не можешь, ибо большего и нужного мне единственно — у тебя нет. Но скажи, — какая *живая* душа при таких условиях скажет «да»? Ты говоришь, что она[3] брала тебя *именно так*.... Ну что ж!? Значит, она *могла*, чувствов<ала> себя вправе или считала, что ты говоришь под влиянием заблуждения, а настоящая правда — это твоя любовь к ней. Она и была права.. Ты не покидал ее, не ненавидел за насилие и вновь, вновь влекся к жизни с ней. Если я говорю неверно в данный миг, — остается еще одно: ты мне говоришь не совсем правдиво и ты не говорил ей никогда: «Бери меня как мертвую собаку, как плату по векселю». Все эти подробности сейчас уже не важны. Мы имеем дело только уже с выводами, мы все сказали друг другу, и нужен лишь самый последний итог. Так вот... когда ты сегодня ушел, опять гневный, опять чужой и ожесточенный, — сознание полного крушения,

полного конца было ясно как никогда. Да, я «не сумела устроиться» в жизни, что ты мне предлагал, не могла взять того, что ты *после дележа с ней* хотел бы мне дать. «Шейлоком»[4] быть тоже не смела и векселя разорвала. Осталось сознание немного смешного, никому не видимого и никому-то не нужного «благородства» и еще тяжесть, страшн<ая> тяжесть всей этой драмы, которая, как я и ждала, все же легла на одни мои плечи. Ей ты сказал: «Возьми меня», — и она взяла... Она устроит твою и вашу общую жизнь. Вы проведете не одно это лето, а все, какие вам остались, плюс еще вся жизнь... Вы *как-то* устроитесь вдвоем, может быть криво, косо, не очень радостно, но близко и вместе, близкие неразрывно. Ведь тебе было горько 3 раза покидать меня по летам, а с ней ты все же путешествовал, отдыхал, ездил из страны в страну, купался в море, смотрел на закаты, ласкал ее в отелях и потом возвращал<ся> в *свой*, в *ваш* дом поздоровевший, отдохнувший.. *Случайно* найдя меня невредимой, ты был будто вновь рад. И если бы я даже умерла за эти месяцы, — ничего не изменилось бы в доме на Цветном бульваре. Так и теперь будет.. Когда ты ушел сегодня, — все эти мысли были со мной, рядом с чувством конца.

О, живучая душа человеческая!.. Кажется, уж все для нее кончилось, а желание жить, неугасающее желание счастья, вопреки всякой логике, всякой очевидности, должно быть, не покидает ее даже перед лицом смерти!.. Или в морфии возникли эти мысли — не знаю, — в нем много обольщений, тебе самому это стало известно. И вот желание продлить жизнь, вечная надежда на счастье и чудо охватили и меня после всех мрачных и непоколеби<мых> выводов, которые сделал ум. Я была очень опьянена, взяла *четыре* разом, — для меня даже достаточная доза, чтобы слегка обезуметь и вдруг оказаться в мире, где воля творит желанные образы. Сейчас это все прошло. Я спала после четыре часа мертвым сном. Но те миги помнятся еще. Я подошла к окну, — знаешь, налево растет тополь, и если смотреть еще левее — там жалкий городской садик с дорожками, с деревьями, словно взятыми напрокат из архива театральных декораций. Сквозь тополь был виден кусочек голубого неба.. Мне стыдно рассказывать это, Валерий, но я сказала, что буду искренней... И вот опять, опять возникла эта четыре года неутоленная жажда пожить с тобой где-то около неба, воды и деревьев. Я вспомнила что-то уже совсем далекое, забытое, — нашу комнату в Раухе[5], прохладные тихие ночи, суровую полотняную занавеску на окне, всегда белеющую, звон бубенчи-

ков где-то в траве, тишину, счастье, ясность и тебя, тебя рядом на этой узенькой неудобной кровати... Какой бы то ни было ценой этого захотелось опять и опять. Тогда, в те минуты мне пришел в голову безумный план, где я готова была идти на уступки. Я скажу тебе его, потому что он тоже неосуществим, потому что в этом письме мне хочется быть искренн<ой>. Я было написала уже тебе другое письмо, формальное, — в нем говорила, что мне, собственно, нечего сказать, и просила прощения за напрасное беспокойство. Но не хочется лгать. Вот... я думала, — хорошо, я уступлю, что могу. Ты говорил о даче... Чтобы я жила по той же дороге и чтобы мы встречались, как здесь...[6] Пусть будет *на пол-лета* это мучение. Я вынесу его, если вторую половину *всю* ты отдашь мне. Мысль, что мы останем<ся> вдвоем, где-то далеко, и я отдохну хотя немного от ее близости, даст мне силы пережить дни и недели перед отъездом. Я буду кроткая, хорошая, как умею и могу. Я дождусь терпеливо. И, может быть, половина, ах, одна только половина лета не разобьет твою жизнь, и ты вернешься к ней, и ты без трагизма в сердце *это* дашь мне... Я почти радовалась, может быть, это морфий во мне радовался!?.. Не знаю, не умею разделить. Мне казалось, что я нашла выход. Ты этого, конечно, не скажешь ей вперед... Я мало думала, как все это выйдет житейски, но эти недели впереди с тобой, где-то далеко от нее, купили, подкупили мою душу. Я ощутила прилив необычай<ной> бодрости, почувствовала на минуту себя вновь живой. Хотелось двигаться. Я взяла Надю и поехала куда-то по ненужному, в сущности, делу. Я чувствовала «крылья» за спиной, и это ощущение давно забытое, чувство бодрости и жизни, — было у меня часа два с половиной, верно, ровно столько, сколько действовал морфий. Вернулась я едва живая, мне сделалось дурно, капались в рюмки лекарства. Силы падали, обед унесли нетронутым. Почти без сознания я добрела до постели и спала четыре часа. Вот, встав, пишу тебе это письмо. Я проснулась с ясной головой. И вдруг, — это бывает, — вдруг, в единый миг какое-нибудь событие, или чувство, или смутное знание делаются по-новому ясными, точно в блеске молнии видишь то, что, кажется, знал раньше точно, — это видишь по-иному, гораздо отчетливее, со всеми деталями, со всеми малейшими оттенками, которых словно раньше не видел или не понимал. Это трудно рассказать, это относит<ся> к области «несказанного», и потому прости мне косолапые, грубые, неточные и спутанные слова. Я вдруг поняла — поняла вот так, как пыта-

лась объяснить, — что ты ее любишь. Ты можешь засмеяться. Боже мой! да ведь ты же последнее время ничего не скрывал, говорил прямо. Сегодня так и сказал: «Ну, хорошо, люблю! если ты это все называешь «любовью» — я согласен — люблю! Но разве это дурно, — кого-то любить? Разве я должен кому-либо давать отчет в своих чувствах? Я хочу наконец поступать сообразно с моими чувствами, а ты мне не даешь; вот уже два года ты мне помеха во всем». Так ты сказал сегодня, милый Валерий. Припомни. И я все-таки не приняла этих слов всей глубиной внутреннего понимания. Они прозвучали условно и как-то странно, не задели души в должной мере. И вдруг после всех разговоров, после всех страданий, от этого пережитых, — я поняла по-новому — глубоко, просто и ясно. И я стала думать, думать тоже точно по-новому обо всем уже сказанном тысячи раз. Чего я требую? Чего хочу? На что могу надеяться! Я должна *признать* твою любовь, собственно, любя тебя, я не должна ни в чем становиться на пути той твоей любви, чтобы не причинять тебе ненужной боли. Ведь ясно же! Ты ее не оставил и поклялся, что не оставишь, и *сам не хочешь оставить*, потому что жизнь с ней тебе нужна и дорога, м<ожет> быть, больше, чем со мной. Долг, печальная необходимость, страх причинить боль — все это слова для моего утешения. Это нежная, добрая ложь. У тебя, действительно, душа самая чуждая мне в области любви, душа, которая может делить себя между двоими. Идеал твой — недостижимый, но самый желанный, — это жить всем вместе, как султан в гареме с двумя женами сразу. Ты так однажды и говорил. Она тебе близка, дорога, нужна, быть с ней — такая же радость, как быть со мной, а м<ожет> б<ыть>, и больше. Вы в чем-то связаны крепчайшими узами. Прошлое это или тайное сходство ваших душ — не знаю, — но душа ее тебе нравится, м<ожет> б<ыть>, в твоем сознании она пополняет меня, а я ее, и обе мы (о, как горько произносить это) сливаемся для тебя в одно гармоническое целое. Можно было проследить, как, после сравнительно долгого пребывания с одной, ты начинал рвать<ся> к другой. Об этом говорят факты из прошлого. Из черт двух женщин, двух душ ты творишь *одну*, и тебе, собственно, эта *одна* и нужна, ибо обе порознь *не полны*. Двум сторонам твоего существа — духовной и телесной — нужны *мы обе*. Ты так и говоришь: «Возьми все духовное, а ей я отдам все внешнее». Что для тебя лучше и нужнее — кто знает! Разве не может быть прекрасной и внешняя реальная жизнь, когда тут же рядом есть ее оправдание, ее допол-

нение воплощено в живой душе?!.. Если бы мы были еще ближе и если бы я не страдала от ее наличности, я узнала бы *ту* твою жизнь, м<ожет> б<ыть>, не менее для тебя прекрасную, чем наша любовь. И от меня ты уходишь туда огорченный лишь потому, что, живя там, знаешь, как я переживаю одна эти часы. Не страдай я, — ты был бы там совсем счастлив и покоен. Я говорила, вернувшись из Парижа: «Дай мне почувствовать, что там ты томишься, как в тюрьме, — и это даст мне силы легко переносить раздвоенность». Ты обещал... Милый, добрый, слабый зверочек обещал мне!.. Хотел утешить, любя!. Но как ты это почувствуешь, когда тебе с ней *хорошо*, уютно, приятно, когда ты ее любишь нежно, когда ты к ней тесно и любовно привязан!.. Жалея сохранить, удержать в жизни *и меня*, ты, правда, *я верю теперь*, — ты делал для меня *сверх меры, сверх своих чувств*, которые возмущались ее обидой, ее горем. Ты всю зиму утопал в слезах моих и ее, желая, искренно желая давать одну радость и счастье. Ты разорвал свою душу пополам, ты ранил ее до крови каждый день, и нигде за эти жертвы не было тебе малейшей благодарности. Милый, дорогой мой, вечно любимый Валерий, я жалею тебя смертельной жалостью, я поняла тебя всего до конца, я увидала твою душу, которая, забывая себя, принося в жертву лучшее свое, самоотверженно хотела дать счастье обеим. Ты отдал и отдавал любви *все*, ты не выбирал, ты никогда не был скупцом, но... Это была жертва напрасная, ибо ты хотел примирить непримиримое. Посмотри, скажи чистосердечно, — разве не ненавидит она меня ненавистью лютой, свирепой? Разве она была к тебе милостива, щадила тебя, когда дело касалось меня? И разве она не отняла бы у меня все, чтобы остаться *одной*, как этого хочет всякая, и великая и самая низменная любовь? М<ожет> быть, и ты можешь только делить свою душу между двоими, а *брать* и ты хочешь только все. И я знаю, — ты не мог бы делиться с кем-то... Я помню малень<кие>, ничтожные случаи, и тогда я видела твою любовь, как у всех, — любовь, которая требует единства, которая хочет видеть в другой душе отражение лишь своего образа. Себя же ты хочешь разделить и удивляешься, что это принимают как трагедию, как горе и вечное страдание. — Я поняла, что причинить ей боль, *любя*, тебе невозможно. Я поняла неотвратимость, неизменность всей нашей жизни и увидала, как преломляются мои «чрезмерные» требования внутри тебя. Тебе больно нестерпимо. Ты не можешь причинить ей боль. *Мне* ты причинишь ее скорее... Прошлое подтвер-

ждает... Три раза, Валерий, ты бросал меня, не зная, найдешь ли, вернувшись. Твой "шар золотой" падал тебе в руки, и ты принимал это как должное. Ее утратить тебе страшнее — я вижу. Со мной у тебя пять лет были всё «любовные свидания», с ней — вся твоя жизнь: «библиотека», дом на Цв<етном> бульваре, семья, традиции, привычки, прошлое, будущее... Все это убаюкает привычно, возьмет крепко, заласкает тихими семейными ласками, заставит медленно забыть обо мне... А если останешься со мной?.. Что ждет? Жизнь авантюриста, скитания, тоска об оставленном, тоска по ней и много-много горечи, еще неизвестной, непредвиденн<ой> сейчас. Со мной ты не захочешь вновь начать жизнь!.. Я вечная любовница... От тебя отвернется вся твоя семья, если ты сделаешь этот шаг, меня ты никогда не назовешь «женой» перед всеми этими людьми, которые называют меня «развратной женщиной». Ты сам говорил: «Тогда разорвутся даже мои литературные связи, даже моя самая внешняя жизнь, и я окажусь выброшенным отовсюда <так!>». Так еще говорят офицеры (о, не обижайся, — пойми, в чем *главное* этого сравнения!), которые очертя голову сходятся с модистками, или певичками, или собственными кухарками. Им тоже приходится проститься со всей былой жизнью. Милый Валерий, все это увидала я в образах, словно в блеске молнии. Почувствов<ала> самой последней глубиной напряженного сознания, всей силой ума — *ты ее любишь*, жизнь с ней тебе нужна и дорога. Мало того, — жизнь с ней — это сейчас в твои 36 лет — единствен<ная> форма жизни, сотворенная твоим прошлым, годами, — это здание, где клался кирпич за кирпичом сознательно, любовно, как строят люди дома, где рассчитывают прожить до смерти. И ты безумно говоришь мне: «Возьми, разбей...» От рассказа о сегодняшнем дне я перешла к самому страшному, но не потеряла нити и знаю, зачем все это говорю. Перед такими мыслями, перед такой окончательной сознательной безнадежностью как смешон и жалок мой маленький компромисс! *Зачем* все это? Опять прошу *себе* больше!.. Опять стою с рукой и предлагаю себя: «Ах, возьми, возьми меня хотя как-нибудь!» Опять предлагаю тебе: «Ей, любимой, милой, причини боль!» Уменьши, но причини!.. Чего же я достигну? Или ты скажешь: «Хорошо, так будет», — и обманешь меня... Или я буду томиться, страдать, надеяться, ждать пол-лета, и встану вновь перед стеной, и вновь услышу: «Бери, ломай! Она сказала, что *и этого* не вынесет. Моя жизнь от этих месяцев разобьется», — словом, все то же, только еще после срока напрас-

ного томленья и ожиданья. Если бы у меня была уверенность, что *со мной* ты уезжаешь как из плена, что ты этого хотел и остался лишь потому, что *нужно* дать что-то *и ей*. Ведь чувства не знают никакой справедливости. Ты мог не видать ее год и хотеть быть только со мной. Ты мог, если бы любил меня одну, всю эту зиму мечтать о нашей поездке вдвоем. Но этого не было и нет. Ты предлагал *от души* разделить лето, и, несмотря на мою боль, на мою болезнь, на все страдания, видимые тобой, ты не сказал желанных мне слов... Зачем же теперь я буду, *зная все*, вымаливать жалкое снисхождение, на которое если бы ты и решился, то тоже сцепя зубы, в трепете за будущее с ней и не считая своего поступка справедливым. Зачем мне это!.. Это безумная мечта, возникшая на дне пузырька с морфием, — вот что сегодняшнее последнее обольщение чувств. Говорю тебе прямо, рассказываю искренно, не сердись на меня. Пойми еще мое горе, мое отчаяние. Ты понял теперь, что у меня *ничего* не осталось. Ни одной из тех надежд, которые дали мне силы протянуть эту зиму. Я поняла и узнала все. Благодарю тебя за искренность — видишь, мы с ней скорее распутались!.. Но теперь, Валерий, скажи, *что* мне осталось делать?! Посылать в аптеки, извести за лето 90 или 180 пузырьков? В «наемной комнате» еще и еще раз пережить день за днем май, июнь и июль, медленно задыхаться, тосковать до исступления о глотке свежего воздуха, проклинать красоту закатов и лунных ночей, метаться как затравленному зверю по этой комнате, для чего-то пить утром чай и спрашивать обед, ходить время от времени занимать к Богородским, ждать из Малаховки озлобленного жарой и жалостью Сережу, который будет говорить: «Ну уж это недостойно тебя, милый Нин! как тебе не стыдно не найти мужества умереть», — и все это венчается душными бессонными ночами, с ежедневными припадками и невыносимыми еще телесными муками.... Милый Валерий, скажи, — есть ли тут хоть капля преувеличения? Все так, — страшно, безысходно, непоправимо. Я выносила, когда могла, когда была здоровее, когда страдание еще не переливалось через край. Теперь не в силах! Я говорю с тобой, как с самым близким, нежным другом. У меня нет к тебе вражды, и ты не виноват, что у тебя эта странная, двойственная душа. Она создала трагедию, и мне, видно, гибнуть первой. Я много думала, Валерий. Мне очень хотелось жить и быть счастливой. Но рядом с ней, видишь, видишь же наконец! — не могу. Я знаю, это ужасно и тебе. Ты бежал бы от этой встречи, если бы добрая чудесная рука

приподняла только уголок завесы над нашим будущим. Но и я не виновата. Я любила тебя, милый, всей душой, всем моим существом, и этой любви отдала *все*, ничего не спрятала, не утаила. Грустно мне, больно мне! Ах, как больно — слов нет высказать. Но как я могу изменить чувства. Посуди по себе — ты ведь не можешь....

Прости меня, если я опять взволновала тебя. Прости! Мне так страшно, жутко в этой пустоте, что обступила. Точно не жила я долгую сложную жизнь. Чувствую себя обиженным больным ребенком, у которого отняли последнюю игрушку. Лето мое! Как я его ждала! И нет, не будет опять!

Не сердись на меня, дорогой! Я сказала все. У меня ничего больше нет. Вот она — моя любовь. Что я могу изменить!..

Не гневайся на меня! За что же! Я тоже невольно причинила тебе зло.

Твоя всегда.

---

[1] Последовательность писем 278—283 условна; установить более точные сведения о времени их написания не представилось возможным.

[2] В 1908 г. Брюсов был избран председателем дирекции Московского Литературно-художественного кружка и в последующее время появлялся там постоянно.

[3] То есть И.М. Брюсова.

[4] Богатый еврей-заимодавец, персонаж пьесы Шекспира «Венецианский купец» (1600).

[5] См. примеч. 6 к п. 3а.

[6] Лето 1910 г. Брюсов с женой провели в имении Обнинских Белкино по Брянской железной дороге (15-й разъезд).

281. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Весна 1910 г. Москва

Воскресенье, ночь

Милый Валерий,

вот две ночи я провожу наедине с таким острым, таким реальным страданьем, что я чувствую, как оно выжгло внутри меня все чувства до пустоты, и я могу говорить о них сейчас спокойно, словно о чем-то чужом. Милый Валерий, выслушай меня серьезно, не принимай смятение моей души за противоречие и не думай, что могу я измениться еще раз и наконец стать той, какой ты меня хотел бы. Клянусь Богом, клянусь всем мне святым, — *так* я боль-

ше не могу. Не ставь мне в счет жестокие мои слова, я знаю, что тяжело тебе их слышать, но пойми — суть не в них. Их может говорить человек любимому, только когда сознание мутится от слишком нестерпимой боли. Я много раз говорила тебе, что из элементов трагедии, жестокой драмы ты хочешь создать мирные житейские сцены, — и это невозможно. Да, за пять с половиной лет наша трагедия пришла к пятому акту. И кончился наконец наш суд; и как трагедия кончается чьей-нибудь смертью, как суд кого-то присуждает к каре, так наша страшная жестокая любовь присудила погибель мне. — Неужели ты думаешь, что мне *хочется* погибнуть? Неужели ты не видел, как упорно пыталась я жить с тобой и как тщетно искала в моей душе способа примириться с твоей извращенной, раздвоенной, больной любовью?! Я прощала тебе все, после невероятных твоих жестокостей ты возвращался ко мне и находил все ту же неумирающую нежность, ту же рабскую привязанность. Я прощала тебе такие обманы, после которых в душе менее сильной и менее влюбленной не осталось бы ничего, кроме негодования, ненависти и презрения, я приняла самую горькую долю, которую ты для меня выбрал, и мои бунты кончались всегда покорностью, и я пыталась безропотно нести крест этой горькой любви. Но, Валерий, все живое живет только надеждой. Отними у мира те разнообразные надежды и мечты, которыми он дышит, и завтра на свете не останется ни одной живой человеческой души. И я около тебя жила только моими (к концу этого года) уже маленькими бедными надеждами. У меня их осталось лишь две: первая — что ты захочешь остаться *со мной* вдвоем, вдали от нее это лето, и вторая — самая сокровенная, тайная — я о ней никогда не говорила — я думала, что если когда-нибудь Судьба, сама Судьба, как стихия, скажет тебе, что я в опасности, что меня стало действительно легко потерять, — в твоей душе что-то изменится и *для меня*, чтобы я осталась с тобой, ты забудешь о ней и наконец сделаешь последний выбор. Помнишь, я шутя говорила: «Ты придешь весь мой, когда будет поздно, и дашь мне все, когда мои руки не поднимутся, чтобы взять...» Обе мои надежды убиты. Ты жестоко отказал мне в первой, и на второе, на явную угрозу Судьбы меня потерять скоро, если ко мне нежно и крепко не протянется твоя рука, — ты ответил: «Да, я вижу, что ты гибнешь, и мне это страшно, и я этого безумно боюсь, но пусть даже это будет, — ее я покинуть не могу, сам не знаю почему, но не могу». Так сказал ты два дня назад... И я спросила с болью, с гневом: «Даже на лето?» Ты сказал: «Да, так, как ты хочешь (на

2—3 мес<яца>), даже на лето». Ты, может, опьяненный, в тот миг не понял и не рассчитал, каким смертельным, убийственным ударом отозвались во мне эти слова. В этот миг мне действительно казалось, что я лечу в пропасть, в пустоту, и не за что схватиться, и вижу уже на дне острый угол камня, о который ударюсь виском. Милый Валерий, морфий отнял у тебя что-то большое и важное, ты сознаешь теперь все поверхностно, притупленно, но, прошу тебя, подумай над моими словами как только можешь глубоко и серьезно, — ведь ты любил меня, ты видел и знал всю мою душу. Посмотри, пойми наконец, *что* осталось теперь в ней, *чем* мне жить и дышать около тебя, *на что* радоваться и как хочешь ты из подлинных элементов трагедии создать мирную, невозмутимую, покойную жизнь? Ты говорил в последнее время уже много раз, что я не даю тебе работать, что держу в напряжении все твои чувства, а для творчества необход<имы> покой и равновесие.. Ты думаешь, я не сознаю этого и не страдаю!? Но пойми, — в этих ужасных, чудовищных условиях я быть иной не могу. Зависть, обида, боль, бесконечная боль, постоянное огорчение задавили, придушили другое, что я должна и что я всегда хочу тебе дать. Ты говорил, как был ужасен и бесплоден этот год. Да, я знаю, но пойми, и не могло быть иначе, когда мы пережива<ли> и творили последний, пятый акт трагедии. Милый мой! я все равно погибла! Врачи сказали это моему телу, а ты моей душе. Я хочу уйти, устраниться из твоей жизни, чтобы ты не проклинал меня, и это нужно еще потому, что наша жизнь действительно кончилась, и из того, что от нее осталось, я не могу уже создать ничего. Еще год назад все было для меня иначе, теперь же уязвлены, убиты, надломлены все мои чувства. Ах, ты иногда не понимаешь, почему в моих глазах будто без всякой внешней причины такой ужас, такая мертвая тоска. Каждое твое невольное слово *о той* жизни ранит меня смертельно. Ты скажешь: «*Мы* ищем квартиру»[1], «мы будем жить на даче», «*наш* дом» и что-ниб<удь> в этом роде, а я уже вижу всю твою жизнь с ней, у тебя расстегнется какая-то смешная маленькая пуговка, — я посмотрю на нее, а она беззвучным голосом рассказывает, как ты вчера ночью расстегивал ее в вашей спальне, как она утром видела тебя рядом полусонного на постели... Ах! это ужасно! для этого почти нет слов, это одна несмолкающая, рвущая, пронзительная боль. Ты уходишь, и я провожаю тебя к ней.. Иногда я перестаю понимать все, словно какой-то нелепый кошмар. Валерий, дорогой, если ты еще какой-то крохотной частью души любишь меня, — пойми, чтó за муку пере-

живаю я пять с половиной лет, и пойми, что у меня не осталось ни тела, ни души, чтобы бороться с этим горем. Теперь все ясно. Спасенья ждать неоткуда. Чуда не будет. Чтобы *жить*, мне нужно примириться с этим и поместиться в тобой означенных пределах, и уже никогда не роптать, или уйти от тебя и начать все новое, без тебя. Был возможен еще третий выход (то есть *мне* он казался возможным) — это жизнь вроде Бальмонта и Елены[2], свобода, независимость, возмож<ность> уходить, отдыхать без нее в какую-то другую и внешне и внутренно далекую жизнь. Но и это оказалось невыполним<ым>. Твой отказ о лете убил эту мечту навсегда. И вот я после долгого, тягостного размышления, после отчаянных попыток как-то устроить, отвечаю себе: нет, *примириться* я не могу, но также не могу забыть тебя, уйти, начать новое. *Что* же мне тогда остается, Валерий? Одно! — страдать, страдать до последнего вздоха, тосковать до смерти и делать все (если не могу сразу), чтобы она пришла скорей. О, мне сейчас уже немного нужно, — 3, 4 месяца такой боли; и пророчества врачей сбудутся. Я не лгу и не преувеличиваю, Валерий, — посмотри на меня!. Только твоя привычка видеть меня часто скрывает от твоих глаз, как сгораю я последние месяцы и недели. Можно ли жить, зная из всех человеческих ощущений одну боль в области душевной и морфий да лихорадку для тела...

Милый, дорогой Валерий, оглянись еще раз, пересмотри свою душу, — видишь, скоро будет совсем поздно раскаиваться и жалеть. И так уже почти невозможно спасти *нашу* жизнь! Я знаю, впрочем, что эти слова напрасны. Ты выбрал и решил. Если ты меня понял и поверил в последнюю, роковую серьезность моих выводов и чувств, то скажи, *как же* можем *мы* теперь жить? Наши встречи ужасны, — но они не могут уже быть иными. У меня в сердце одна боль, я вижу тебя с ужасом, я всякий раз теперь смотрю на тебя с содроганьем всех чувств. Я хочу тебя видеть, тоскую без тебя, а когда вижу, мне хочется стонать, кричать от боли, горя и обиды. Ты — весь любимый, весь дорогой — для меня сейчас только ее муж, ее верный долголетний любовник, который произнес *ей* обет навсегда. Можно ли это выносить! Могу ли я жить с этим сознанием!

Вот, я сказала все. Ну, подумай, реши, что же *нам* теперь делать? Скажи, *как*, *где* мы можем быть вместе? Каким чудом из этой трагедии сделать начало жизни? Я знаю твои ответы: «Ты все поняла, и тогда тебе остается в этих пределах устроить и жизнь». Но пойми, что в словах «эти пределы» для меня смертельный

приговор самой любви. О чем же остается просить мне тебя? Ах, только об одном: уйди, не знай меня, не вспоминай, оборви последн<юю> тонкую нить, что связывает наши жизни. Я упаду в последний мрак, я узнаю пределы скорби без тебя, но у меня будет сознание, что ты *успел* спастись, что ты будешь опять жить, работать, что, погибая, я спасла тебя, уходя, что ты еще оправишься, поднимешь упавшие крылья.

Что иное я могу! Я буду страдать, м<ожет> быть, больше и страшнее, чем сейчас, когда останусь без твоей ласки, без твоего дорогого мне голоса, без всего, что было моей жизнью. Но ведь и ласки, и доброта, и любовь, и нежность твои для меня сейчас как отточенное лезвие. Могу ли я желать *и их*?!..

Верь, до последней крайней непримиримости довели меня эти пять лет. Сейчас я только подвела итог. Теперь уже ничего не может измениться, одно чудо может вновь вернуть нашу жизнь.

Подумай же, Валерий, я говорю серьезно, я так страдала эти ночи, что каждое из этих слов для меня важно и решительно. Если мне было суждено во всей этой истории принять самый горестный жребий, — я принимаю его, но и ты будь настолько тверд, чтобы сосчитаться с последствиями твоего свободного выбора.

И потому я просила тебя: оставь, не приходи... Для тебя, для твоего спасения, а мне уже все равно погибать.

Твоя.

---

[1] Речь идет о готовившемся переезде Брюсова с женой на новую квартиру. Дом Брюсовых на Цветном бульваре был продан 22 июня 1910 г. купцу А.Р. Герценбергу за 65 500 рублей. См.: *ЛН. Т. 98, кн. 1.* С. 218 / Коммент. А.А. Нинова и Р.Л. Щербакова.

[2] *Елена* — Е.К. Цветковская. Бальмонт делил свое время между нею и женой, Е.А. Бальмонт.

282. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Весна 1910 г. Москва

Не пугайся величины — *прочти*[1].

Понедельник, ночь

Милый Валерий, если уже ты разорвал конверт, то не бросай или «не откладывай» прочесть это письмо до конца. Я не хочу «ссориться», я не хочу говорить с тобой злобно и оскорбительно.

Мне хочется, чтобы ты меня понял совсем, чтобы ты знал и видел сейчас всю мою душу, чтобы мы оба не бродили в тумане. И из всего, что я скажу, сделай вывод, какой хочешь, только окончательный. Пойми, Валерий, — невозможно так жить, нам встречаться *не нужно*, мы оба только терзаем себя *такими* встречами и не видим друг друга, и никогда уже не берем радость, — мы оба палачи друг для друга.. Сейчас — оба, равно.. Милый Валерий, *я* хотела всю жизнь мою с тобой — *другого*. Ты тоже. Вспомни: — в декабре уже положительно почти задушила какая-то петля. Вспомни дни до моей болезни и наши воистину ужасные свиданья!.. Это должно было сломиться. Чувствовал<ось> напряжение совсем невыносимое, и, конечно, от этого (я мало верю в «отравление»[2], да и доктор его не констатировал) я свалилась почти в смертельном припадке. Это не преувеличение, — ты видел меня наутро, и Сережа мог бы рассказать совсем страшные подробности. Я была в отчаянии, я видела, что почти лишилась тебя, и это страшное сознание исторгло из души то письмо, которое ты часто мне напоминаешь[3]. Тебе кажется теперь, что я «не выполнила обещанного». Это и правда и неправда. Разве ты можешь сказать искренно, что ты не видел с моей стороны всех крайних усилий, чтобы стать той, какой ты меня хочешь видеть? И если все это было только на поверхности и внешнее, — Валерий, пойми, — это не моя вина. Я была кроткой, я подавила в себе много проявлений одного и того же чувства, я старалась быть тебе приятной и легкой, я шла навстречу всем твоим движеньям «устроить жизнь по-новому», я сделала *все*, что было в моих силах, *но самого чувства искоренить не смогла*, как ни старалась. Оттого все, что я делала, было только внешним. И оттого же все, что делал ты, — *было тоже только внешним*, жертвой, уступкой, усилием, а не свободным и радостным побуждением души. То, что сделала бы просто и легко всякая другая, даже не очень высокой пробы любовь, ты делал (ты сам говорил) как величайшую трудность. Каждый лишний час со мной, лишнее свиданье, ресторан, театр, — всякий пустяк — для тебя был трудностью, потому что не *изменилось твое чувство*, и все это, причиняя обиду ей, становилось несомненно болью и тяжестью для тебя и.... по тому же самому обесценивалось в моих глазах, становилось не радостью, а оскорблением. Самым утонченным оскорблением, какое только могла бы придумать любовь. Я думала все в эти месяцы *внешне*, только внешне, с мертвой и безрадостной душой, — признаюсь тебе в этом со всей искренностью.

Зачем, из каких «выгод» я буду прятать мою душу? Чувств менять по произволу нельзя. Ты видишь сам, по себе. И не удивляйся, что они у меня не изменились, прими это как должное. Таков результат трех месяцев, когда мы пробовали начать новую жизнь. Естественно, что ты, увидав бесполезность своих «жертв» и добровольно принятых на себя «мучений» — все приемы «новой жизни» *отменил*. Я не удивляюсь, что ты меня избегаешь, как в ноябре после Парижа, что ты говоришь с жестоким лицом: «Я живой человек и могу свою жизнь показывать другому (!!..) только до предела». (Это после того, как ты говорил: «Сольем наши жизни во всем, в большом и в малом равно и *беспредельно*!..»). Словом, все на прежних местах, и ты ожесточен более, чем в ноябре. Теперь я подхожу к тому разговору, который был последним взмахом ножа, после которого упало и разрушилось все, — к разговору о лете. Я думала сегодня после твоего ухода много и долго и, кажется, наконец разобралась до точности последней. Ты знаешь, что пробыть с тобой лето для меня было самой сладостной и самой горькой мечтой всех пяти лет нашей жизни. Ты видел, что я их погубила все до одного, я, правда, видела траву и деревья только в Петровском парке, во время наших страшных весенних прогулок[4]. Мне хотелось *лета с тобой* до муки. Это простое событие быть вместе лето, простое для всякой любви, кроме твоей, стало прямо чем-то огромным для меня, и твой вечный отказ — символом недостатка твоей любви. Я давно уже перестала говорить о «выборе» — «выбери ее или меня». С болью, с мучением я приняла это и готова была страдать около тебя все дни, что мне осталось жить. Но твоего отказа не принимала душа, это было вечным оскорблением. И вот о твоем отказе в эти последние дни: — я приняла страданье, я страдала все дни этого года — беспросветно и безутешно; были дни, которые, казалось, уже нельзя и вынести (2 нед<ели> в Париже без тебя), — я вынесла все, у меня от этих мучений изломались все чувства, онемела вся душа, о внешнем — о теле — я уже не буду и говорить... Мне нужен отдых, продолжительный, ясный, настоящий отдых — *иллюзия*, чтобы собрать какие-нибудь силы для безутешного будущего. Я хотела, я мечтала, что ты дашь мне это сам просто и нежно, с тем чувством, как выбирают самый желанный подарок для кого-то любимого, радуясь заранее радости, которая будет в глазах и в душе. Но я поняла, что этого мне не дождаться.... И твой отказ, еще не высказанный, но уже явный, *пятый отказ* за пять лет, дал

мне возможность понять наконец, как мало, мало ты меня любишь!.. И опять я представила себе уже близкое страшное лето — покинутость, твоя близость с ней вся в нестерпимых образах, тоска, одиночество, отравленный пыльный зной, жестокое солнце, вечера и ночи, когда хочется кричать от страданья, и морфий, морфий до потери сознанья... И это близко, и это дашь мне *ты*, который говорит сейчас какие-то лживые нежные слова! О, конечно, лживые, если ты можешь причинять мне такую боль!.. И вот, когда ты однажды спросил меня, почему я грустная, я не сдержалась, и возник этот страшный разговор. Милый Валерий, я уже не знаю, *как* и *много ли* ты меня любишь, — столько раз ты говорил самые противоречивые слова. Но всегда и часто ты повторял, что я тебе *в жизни нужна* и что ты очень хотел бы устроить *нашу* жизнь, сделать ее, если уж невозможно счастливой, то хотя сколько-нибудь выносимой и радостной, как это позволяют ее «пределы». Что я тебе *как-то* нужна, — иногда я верила. Иначе зачем бы ты был со мной, зачем бы страдал?.. Но если я тебе *действительно* нужна, как можешь ты *нужное* и дорогое (ты говорил и это) так не ценить, с такой легкостью бросать в опасности, надеясь только: «Авось вынесет, выживет?..» Милый Валерий, ты видишь и знаешь мою любовь. Она «выжила» и вынесла много, ах как много! Она готова была и в будущем на всякие страданья, уже только словами «я остаюсь с тобой» после твоего последнего решения я обрекала себя на все мучения и на всю боль. И когда в декабре ты предлагал «устроить нашу жизнь», я знала, что ты не предлагаешь мне никаких радостей, а только нежно обещаешь *смягчать*, отстранять по возможности боль и страданье. И я *на это* согласилась, и знаешь, Валерий, может быть, может быть, несмотря на то, что сначала все мои новые поступки были только внешними, — *какая-то жизнь создаться могла*. И если теперь уже все разрушено, виноват ты, а не я. Валерий, ведь ты мне предлагал не радость, то, что ты называешь «пределами» — это самая настоящая каторжная тюрьма. Твои поступки, которые, может быть, тебе стоили большого труда, сами по себе не становились от этого больше, и я, принимая от тебя их, не имела и 1/100 того, что мне было нужно, — это были *тюремные радости*, и я не роптала, и все брала с благодарностью до последних дней. И может быть, еще один твой шаг был нужен, чтобы я поверила, чтобы убедилась, в чем ты меня убеждал. А если бы убедилась действительно, то, конечно, всю твою жизнь и тебя самого приняла бы, как ты этого хочешь. Ах!

если бы только эту «новую жизнь» можно было начать не со старых повторных страданий! Знаешь, — этот разговор о лете так же все погубил, как мог все восстановить. Я тебе говорю серьезно, верь мне (да ведь и видишь ты из всего), что лето стало для меня символом моего горя. Когда ты говорил мне в нежные минуты: «Ничего из прошлого не может повториться, и все будет иначе», — я верила и думала, что ты говоришь именно о лете. И если бы этот пятый раз *ты сам*, по своей воле, захотел отдать его мне, без споров, без торга, как дар, как подарок, — я поверила бы и в твою любовь, и в неразрывность нашей жизни. Ты не попытался начать «новую жизнь» нежным снисхожденьем, уступкой и своей жертвой.... Клянусь тебе, — все было бы иначе! Ах, Валерий!.. конечно, если бы больше любил и жалел меня той чуткой нежной жалостью, как умеет жалеть одна любовь, — ты и отдал бы *мне*... Для нее — это вопрос самолюбия, ревности, внешнего неудобства и пуще всего самолюбия, а для меня после наших пяти лет — вопрос жизни. Да, жизни... Ну, посмотри на меня! Мне радость эта нужна была, чтобы жить и буквально дышать. Посмотри на меня! Ты перестал видеть, все это видит только любовь!..

Всё это бы сказали любовь и справедливость. Но какая *в любви* справедливость! Пусть не так, но тебе ее маленькая печаль больше моей смерти — и этим сказано все, и не о чем говорить. Еще и еще раз я поняла, что ближе, дороже и нужнее тебе — *она*. Ты говоришь: «Но я же ее не люблю». Может быть, не знаю! Ну тогда скажу так: и не любя ее, ты все отнимаешь у любви, чтобы, не любя же, отдать ей. Это парадокс, но он лежит в основе всей твоей жизни. Но я не понимаю его, для меня любовь ясна вся, и, несмотря на все твои уверения, я не могу сказать иного: да, ты любишь ее больше. Только одним поступком ты мог меня заставить думать иначе, чувствовать иначе и жить с тобой по-другому. Один этот шаг мог создать наше лучшее будущее, *не погубив твоей жизни с ней*. Ведь знает же она, что ты *не можешь* не вернуться, и во всем бы ты уверил ее, даже вопреки очевидности, если бы быть со мной, остаться со мной вдвоем было бы тебе таким же счастьем и необходимостью, как мне. Но грусть ее тебя делает несчастным; чтобы утешить ее, которая имеет все, ты отнимаешь у меня жизнь и твое «нужное и дорогое» бросаешь без жалости на все мученья. Валерий милый, ведь это опять «выбор», и опять, как в переулке на Арбате накануне твоего отъезда *с ней*, ты говоришь уже теперь без слов: «Я не могу иметь двух жен», или: «Я твою жизнь устраивать не могу» (это подлинные твои слова).

18. Заказ № 795.

Да, все эти три месяца, когда был ты со мной так добр и нежен, я надеяла<сь> и жила мыслью о лете. Я ждала, что ты отдашь его мне сам, любя. Я думала, что наш новый год (мы считаем с осени) ты начнешь иначе, чем прежние жестокие годы... Я не могу еще понять, я еще не пережила ту холодную твою жестокость, с которой ты обо всем этом со мной говорил. «Оставь меня жить, как *я* хочу...» «Дай мне поступать по своему усмотренью...» Так не говорит и не думает любовь. Ну и что же теперь осталось? Ты говорил сегодня: «Перестанем ссориться и давай как-нибудь жить». *Как* же мы можем теперь жить? Как я могу радоваться этим свиданьям, когда ты уже несколько раз за последние дни повторил, что я «приневоливаю тебя меня любить», и когда из твоего отказа я и сама поняла, что я все время хочу «быть насильно милой», протягиваю руки к чему не смею касаться.

Милый, милый Валерий, я больше не плачу и ничего не прошу, и ничего у тебя не хочу брать насильно, но я не знаю, *как* я могу с тобой быть. Ты отнял у меня все, даже самые уж маленькие надежды, которыми я дышала и жила. Ты не знаешь, — эта мысль о лете и делала меня живой. Мне было страшно намекнуть даже тебе первый раз. Сердце падало, в этом для меня были все доказательства твоей любви. И если именно это стало для меня символом, доказательством и последним ответом, — виноват тоже ты. Ты слишком упорно у меня отнимал, ты связал это с самым для меня страшным, ты сделал лето образом моего страданья. Ты видел меня в Париже тотчас после дней без тебя в Москве, и тогда ты, ужаснувшись, дал мне обещание и клятву, что это горе в будущем станет для меня радостью. Милый Валерий, могу ли я думать по-другому?!.. Есть мысли еще проще и выразительнее: — ну посмотри же, — от меня осталась одна больная тень, я чуть дышу, разве не видишь ты? Всякая, самая маленькая, примитивная любовь из одного страха *потерять* поступила бы иначе. И когда я сравниваю твое отношение в подобном к ней (сломанная рука[5] и проч.), я вижу, что у тебя не со мной, а с ней какая-то органическая, телесная близость, которая двух сливает в одно, так что боль уже тоже одна. Я вижу *мое* место и горестно вспоминаю твои слова: «Не могу же я иметь двух жен» (ты так сказал)...

У тебя одна жена, Валерий!.. Ее и береги, ее ты выбрал, с ней живи до смерти и слей с ней всю твою жизнь. А нам жить нельзя: одно чудо могло бы воскресить и создать нашу жизнь. Вот если завтра придешь с другим, ясным и нежным лицом, с другой ду-

шой... Но не придешь так!... Я могла бы жить с тобой и в каторжной тюрьме, но *веря* в тебя и твою любовь и чувствуя неразрывную тесную связь. Ты отнял у меня веру и лишил всех утешений. И как нам жить — я больше не знаю и не вижу.

Я люблю тебя, у меня, кроме тебя, нет ничего. Я сейчас упала в бездонную пустоту и живу одним морфием. Если бы не он, не было бы сил переносить эти ночи и дни без всякого смысла. Я люблю тебя, но не могу даже позволить себе захотеть тебя увидать. Придешь «насильно», жестокий, чужой, скажешь ужасные слова, от них заледенеет все сердце. А если будешь нежным, — как поверю!.. Ведь через 2—3 месяца эта нежность станет жестокостью. Нет, и я тебе чужая!.. Мне страшно видеть, когда ты, как яростный зверь, который защищает самку, оберегаешь ее жизнь от малейшего горя. Тогда ты и слеп и глух. Тогда ты не видишь, *что́* делаешь ты со мной и с нашей жизнью. Я не гоню тебя, не говорю «не приходи». Приходи, когда хочешь, — но зачем?! Что мы будем делать — чужие!..

Н.П.

Прости, ужасно плохо и косолапо выражаю мысли. Это от морфия временами с трудом выражаю их словами. Но я сказала именно то, что хотела, хотя и «плохим стилем» — прости. Это письмо я перечитала.

---

[1] Приписано после завершения остального текста письма.

[2] Подразумевается наркотическая передозировка.

[3] Имеется в виду, по всей вероятности, п. 277.

[4] Видимо, речь идет о весне 1909 г.

[5] См. п. 231.

283. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

Весна 1910 г. Москва

Прочти *до конца*! пожалуйста, прочти![1]

Валерий дорогой мой,
может быть, у меня хватит сил сказать в этом письме, что я хочу. Ах, сотый, тысячный раз всё об одном!.. Но руки опускаются, хотя еще хочется говорить и, несмотря на весь мрак, — *надеяться*!.. Слова точно не доходят до твоего сознания. Мои бедные ненужные письма, — никто не оценит тех глубочайших чувств, которые

стараюсь я в них вложить. Говорю в пространство... Может быть, услышишь, поймешь хотя что-нибудь?!. Ты сегодня был немного добрее, мягче, и я тебе так благодарна, милый Валерий.. Страшно, когда ты сидишь рядом холодный, чужой, с этим озлобленным, упрямым лицом. Валерий, Валерий, запомни, что я тебе не враг, не забывай этого, как забываешь каждую минуту. Тебе кажется, что для меня радость, утешение терзать тебя, мучить, требовать.. Ты совсем забыл, что я тебя люблю? Ах, наша любовь сейчас — как отточенный нож!.. Зачем? Боже мой, зачем?!. Так хочется тишины, нежности, тихой ласковой близости. Когда так было, — не помню я уже!.. Вот три дня у меня пароксизм отчаяния. Словно приступ зубной боли, знаешь, такой, которая уже переходит все пределы терпеливой покорности страданья, которая доводит до сумасшествия и полной помраченности чувств. Сегодня я стараюсь сдерживаться, но это еще хуже, — боль только падает глубже и грызет изнутри. Зверочек! можно ли так жить?! Можно ли так жить нам обоим? Посмотри на себя! Я изнемогаю от жалости, когда вижу твое похудевшее лицо, твои глаза, в которых стоит тень смертельной тоски. Милый зверочек! так нельзя. Это даже не может длиться. Не может! уверяю тебя. Разве ты не видишь, что я уже трачу совсем последние силы? Их был огромный запас, но и он кончается, почти кончился. И ты, — ты не можешь жить *так* долго. Как все кончится — не знаю, только могу гадать. Но если не сделать какого-то невероятного усилия, чтобы остановить это разрушение, — мы на краю чего-то ужасного. Милый, тебе кажется, что мое отчаяние «внезапно», что оно пришло вдруг и так же пройдет? Так бывало, но теперь и я дошла до предела, за которым не вижу больше *ничего*. Я шла к нему медленно и уже не вижу, совсем не вижу впереди ничего. Ты точно еще не понимаешь, ничего не понимаешь в моей душе, и гневаешься, и озлобляешься, словно я задалась намерением тебя нарочно и медленно терзать. Посмотри, оглянись на меня за всю эту зиму! Когда ты отнял у меня единственную и последнюю надежду на перемену нашей жизни, я думала, что уже все кончилось, и несколько недель по приезде из Парижа жила совсем ужасно. Хотела уйти от тебя, хотела умереть, но любовь к тебе, вечная жажда тебя перевесили горе. Помнишь ли ты, *как* утешал ты меня тогда? Что говорил? Ты говорил, что *любишь* меня одну, что *настоящая* глубокая связь у тебя со мной, только со мной одной во всем мире, что жизнь твоя с ней — горе, наше общее горе и твой печальный

долг. Ты говорил, что мы будем жить, тесно и близко сливаясь во всем, иначе чем прежде, что если я только признаю твою невозможность покинуть ее и примирюсь с ней, — *тогда все чудесно изменится и станет доступным многое, недоступное раньше.* Ты говорил, что *жизнь* твоя, вся лучшая, интимная, внутренняя жизнь сольется со мной одной... Ах, как хотелось мне верить. Я замучилась без тебя в Париже, словно не была с тобой годы, ты мне казался совсем утраченным, и эти слова закачали душу новой и горькой и сладостной надеждой. Но до 19 декабря, до моего страшного припадка, эти слова оставались только словами. Ровно ничего не менялось, ты был далек, часто избегал меня, обижал постарому, всюду был с ней, — я знала это и страдала, и опять мы дошли до чего-то ужасного. Помнишь, в день припадка я позвала тебя, чтобы расстаться. И я решила тогда твердо, настолько твердо, что сама, от своего же удара свалилась с ног. Потом были два дня моей болезни. Смерть прошла совсем близко, рядом, я ведь действительно едва не умерла в ту ночь... Сережа видел, и ты видел меня после. Может быть, это подлинное веяние смерти дало новое стремление к жизни и надежду на милую земную радость. Я написала тебе нежное, ласковое письмо[2]. Позвала тебя, повторяла, что с главным я готова примириться, лишь бы не расставаться нам больше и быть близкими. Ты пришел милый, ласковый, новый. Настали самые хорошие и самые обманчивые дни этой зимы. Если бы ты знал, Валерий, как искренно я пыталась быть «хорошей», не «мученьем», а радостью! Мне было радостно видеть тебя близким, ты говорил такие удивительные слова, в каждом твоем поступке тех недолгих дней было действительно видно желание сблизиться, наскол<ько> тебе это позволяла внешняя двойственность жизни. И ты тогда тяготился ею — это была моя лучшая радость; — мне казалось, что воплощается моя надежда слиться с тобой во всем. В те дни мне казалось, что существуем *мы*, и где-то ты *подневольно* связан *с ней*. Ты это говорил сам. Ты приходил ко мне каждый день и тогда положил папку с начатой работой[3] на моем столе, — она умиляла меня, эта маленькая нежная ложь... И я старалась привязать тебя, как умела. Встречала тебя радостно, была благодарна за все и, как умела, скрывала печаль о иной, лучшей жизни с тобой. Ах, я думала тогда, что вот наконец есть *мы* и *она* — отдельно существующая, чужая тебе душой — наше общее горе, наша единая печаль.... Ты *первый* стал томиться этой жизнью. Сперва будто раздвоенностью, невозмож-

ностью слиться *со мной* совсем, слишком резкими переменами, болью души, живущей поочередно в таких разных и чуждых мирах. О, конечно, она не могла не чувствовать, не видеть *нашего* сближенья, и знаю ли я, что происходило между вами, как пыталась она вновь изъять меня из твоей, из вашей жизни! Опять я почувствовала твое отчуждение, охлаждение, ты стал реже приходить, меньше говорить о себе, опять захлопнулись какие-то двери *за вами*, и я поняла, что она взяла тебя вновь, — какими чарами — не знаю, но, верно, они сильней моей любви!... Ты мягкий и безвольный, тебя берет тот, кто ближе, кто сильнее, и, конечно, она, которая всегда около тебя, конечно, она сильнее меня. Но, милый, милый Валерий, эти перемены измучили меня, я не могу их больше выносить. Посмотри, разве не знаешь ты сам, что моя любовь к тебе при этих условиях, — тяжелый, тяжелый крест. Ты живешь с женщиной, ты никогда не будешь со мной, о многом доступном другим я не смею и думать, моя жизнь навсегда обездолена, разбита, я всегда должна думать о тебе и любить тебя с глубокой печалью. И на все это я соглашалась, покорно и терпеливо любя тебя. Но ведь так жить можно только при *неизменной*, непоколебимой близости и *вере*, доверии, уверенности, что *то* — это второстепенное, тяжелое тебе самому, горькое, как горек всякий долг, который выплачиваешь собственной душой. При этой жизни втроем не может быть равновесия, — оно убьет все. И видишь, — стремление к нему убило *нашу* жизнь вместе и каждого из нас в отдельности. Ну, милый, скажи себе, ты должен это наконец сказать, — кого же ты любишь больше, кто тебе нужнее и дороже, потеря кого причинит большее горе и боль? Скажи себе это и не рви тогда свою душу непременно пополам, один раз что-то реши, пойми, выясни для себя до конца и обрети тогда свободу, хотя бы один какой-то миг здесь был очень смутен и тяжел. Были случаи, когда ты сам приближался к этому выходу, — о, для меня они кончались жестоко... Но пусть, пусть лучше жестокость, чем это висение в воздухе, неопределенность, мрак. Говоря так, я обращаюсь только к твоим чувствам. Факты и события явятся как следствие, я не хочу о них говорить, ибо все в другом. Если бы я просила тебя о *поступке* — было бы гораздо затруднительнее и страшнее; — но ведь я прошу о чем-то совсем отвлеченном, и здесь позволь себе быть хотя раз свободным в выборе и решении. Я знаю, что все это трудно, очень трудно. А жить *так*, как живем мы, мучась и тоскуя, — разве легче? И ведь совсем уже стало невозможно жить!.. Милый, дорогой Валерий, сделай что-то! Умо-

ляю тебя! Поверь, я не виновата, если я не в силах заставить тебя не страдать. Ты видишь! Я гублю себя, только какие-то невероятные психические силы поддерживают меня, не дают упасть и умереть. Но ведь это же оборвется. Сейчас еще можно меня как-то утешить, воскресить, дать силу жить, а скоро, скоро будет поздно, и мне не будет нужно ничего из того, чего еще я могу хотеть так страстно, так мучительно. И когда ты останешься с ней, с ней одной навсегда, — не подумаешь ли ты, что поступал как безумный, как враг самому себе.... Ты не позволяешь расцветать нашей близости, желая сохранить какое-то нелепое равновесие, ты думаешь, что все, данное мне, — преступление против нее, и чаще мы бываем как чужие... Но вспомни дни нашей близости! Тебе *потом уже* парижские дни казались ложью, выдуманной для моего маленького счастья, потом, когда взяла тебя она... Но ты помнишь дни полного настоящего счастья, ночи и дни такой ясной беспредельной близости, когда ты говорил: «Мне бы хотелось умереть, потому что *лучше* не будет никогда». Ты давно уже не позволяешь себе подходить ко мне совсем тесно, сливаться, как в Париже, телом и душой, но если ты вспомнишь, — может быть, не найдешь ты таких воспоминаний о ней из ваших последних лет. Мы близки безгранично, мы совсем — *одно*, и только она стоит на всех путях, и только из-за этого проклятого «равновесия» гибнет вся наша жизнь. Ах, как тоскую я по иной жизни с тобой! И разве могла бы мешать мне она, — ее постель рядом с твоей, ее прибор за обеденным столом рядом с тобой, ее жизнь под одной общей крышей, если бы знала, что любишь ты меня, что всегда тебя влечет *от нее* ко мне, что дней наших вместе ты ждешь с той же вечно новой радостью, как я!.. Когда я покорилась и согласилась *сознательно* на мучительную жизнь втроем, — меня утешала только эта надежда, и ради нее стоило жить. Я говорила себе тогда: «Ну, правда, стыдно так мучиться внешностями и дурно мучить тебя, если ты действительно не способен к роковому шагу, — я должна победить эти чувства».. И я победила их, Валерий, и побеждала старательно день за днем, но не скрываю, *что* было двигателем и какие надежды давали мне силы побеждать себя. Лета я ждала с трепетом, с надеждой и уже подкрадывающимся отчаянием. Думала в наивности, что эту «новую жизнь», такую жестокую для меня, такую навсегда обделенную, ты не начнешь со старых жестокостей. Верила в это, боялась поддаваться сомнению, и в то же время все уже начинало меня убеждать в обратном. Но до последней минуты, до той минуты, когда мы заговорили о лете в пер-

вый раз, я все еще с трепетом ждала твоих ласковых слов, твоего нового решения, ждала, что ты скажешь: «Ну, *это* лето (ах, четвертое горькое лето) я буду с тобой». Страшно вспомнить твой отказ!... Было чувство, что пропасть открылась под ногами, и вот я стремительно лечу туда, и с грохотом падает за мной все здание, выстроенное с таким трудом и печалью. У меня все похолодело и разом опустело в груди, кровь куда-то отлила, руки задрожали. Я сидела спокойно и это все от тебя скрыла. Так вот она, близость, нежность, любовь! Ведь ты же знал, насколько мне сейчас нужен отдых и покой, ты же видел, что за эту зиму от меня осталась тонкая, бледная тень прошлой меня. Даже если бы ты хотел «равновесия», дележа, — здесь выше всего должна была стать нежная жалость и страх за мою жизнь и здоровье. Ты не поехал в Париж после 7-и месяцев нашей разлуки, когда она сломала руку, ты не дал мне ехать с тобой в одном вагоне[4], чтобы не огорчить ее после болезни, а я?... Почему же со мной так жестоко и безжалостно? Я вспомнила четыре лета томления, когда ты ездил с ней по всей Европе, а я сидела в ужасной Москве, умирая от горя... Все это вспомнила! Если ты отказал мне, не пожелал быть со мной, когда не только любовь, но настоящая, хорошая дружба не поступила бы так, — что должна была я думать? Валерий, услышь меня, пойми меня сейчас сердцем, глубиной твоих чувств! Не отвечай мне формаль<но>, а только подумай, — *что* же я должна была чувствовать! Из страха огорчить ее, испортить ей лето, ты мог причинить такую боль той, кого ты действительно любишь! Разве это возможно? Разве это бывает? И я поняла, что не страх огорчить, не долг, не какие-то формальные обязательства, а настоящая любовь, настоящая любовная нежная жалость у тебя к ней сильнее, чем ко мне. Милый, милый Валерий, отчего не сказал, не скажешь ты этого прямо, а торгуешь<ся> со своей душой и вступаешь с ней в сделки. *Она* «цветочек, растенье, выращенное твоими руками», ты любишь эту созданную тобой жизнь, ты ее не хочешь ни обижать, ни менять ни на что, ты дорожишь ее покоем и счастьем.... Боже мой! да скажи же мне это прямо! Лишь только ты скажешь, тотчас кончится все, напряжение, мучительность, спутанность, все вопросы разрешатся, все петли развяжутся в единый миг. Клянусь тебе свято, я уйду и не напомню о себе никогда. Не позову, *как бы ни страдала*, умру от горя молча. Это единственный и самый верный способ изъять меня из твоей жизни навек. Но ты не говоришь, длишь муку, заставляешь меня догадываться, точно говоришь: «Слов этих я не произнесу, но ты

видишь факты, делай выводы сама и уходи, если можешь»... Валерий, дорогой мой, в последний раз я обращаюсь к тебе с нежностью, с любовью, с великой покорностью, — реши что-нибудь одно. Я подчинюсь без слова ропота. Если дороже тебе *она*, отпусти мою душу, я больше не в силах страдать, я не вынесу этого лета в таком томлении, как прошлое. Я уже в таком состоянии души, что не могу тащить этих ужасных весенних дней, которые пятый раз мне твердят: «Умри». Распутай этот узел, ты должен, *ты*! Не томи меня этим неведением и не томись сам. Я не прошу от тебя ничего рокового, ужасного в отношении ее. Я прошу только: *выясни* в ту или иную сторону и поступай, как скажут чувства, как скажет любовь. Мы не живем, мы бессменно страдаем. Я прошу у тебя окончательного суда, хотя бы меня он приговорил к смерти, — так просят преступники, которых затомили в предварительном заключении. Будь смелым хотя раз за пять лет этой тягостной, невыносимой жизни. Если ты мой, — приди ко мне совсем и дай мне тебя любить и жить, но помни, что я не требую самого для тебя ужасного шага. Если ты хочешь остаться с ней одной, позволь себе это осуществить тоже до конца и не считайся ни с моим горем, ни с своим состраданием. Ты не будешь виноват ни в чем. В любви, и когда она уходит, нет виновных, и я не обвиню тебя ни за что. Боже мой, неужели и это письмо будет голосом в пустыне! Я надрываю последние силы, чтобы сказать все, все, от души, искренно, любовно, сердечно. Подумай над ним серьезно. Все я говорю просто и правдиво. — Не повторяй мне в ответ: «Я уже все сказал. Я сказал, чего бы я хотел. Я хотел бы лето разделить, а если ты не согласна, я готов отдать все, но не требуй, чтобы это было от души». Валерий дорогой, это ответ формальный, дурной, в нем ты укрываешь свои истинные чувства. *Равно* любить нельзя. Ну есть же невозможности, то, чего никогда не бывает. Неправда, чтобы ты мог любить меня и ее *поровну*. А тогда и все эти «дележи» — вздор и что-то глубоко искусственное. Если ты кому-то даешь формально, — не делай этого! Видишь, все равно ни к чему не приводит. Если ты даешь формально мне, — я отказываюсь, я не хочу, я не могу взять! Тогда тоже кончаются все споры и недоразумения. Если даешь формально ей, только боясь обидеть, боясь причинить боль, то ведь ты этим убиваешь меня. Будь же хоть раз смелым, не бойся причинить боль, как не боялся причинить мне *три лета*, и дай мне. Разберись же, наконец! Господи! ведь бывают минуты, когда нужно *выбирать* из двух *одно*. Для нее всё в обиде, для меня это конец.

Да выбери же!! Подумай, о чем мы говорим! О лете только... Стыдно, грустно и больно... Понял ли ты, *почему* этот вопрос стал для меня роковым? Я не сумею больше объяснить свою душу. Если все не понимаешь и думаешь, что это мое упорство и каприз, а не настоящий для меня трагический вопрос, — ну, Бог с тобой тогда. Значит, я ошибалась, значит, всегда для тебя было темно мое сердце.

Милый, *так* жить больше нельзя. В последний раз пересмотри свою душу, свои чувства. Я знаю, в них хаос и тьма сейчас. Но сделай усилие во имя хотя самого святого для тебя и для меня, — во имя твоего таланта, который гибнет от всего этого ужаса. Если ты все же придешь ко мне, и мы опять будем вместе, и ты дашь мне немного вздохнуть, — я обещаю тебе всегда быть только радостью для тебя, беречь тебя, заботиться о тебе, как умею, как могу, как ты мне позволишь...

Милый, милый зверочек мой, ведь я только в этом году научилась по-настоящему тебя любить и понимать. Я во многом была слепа. Я любила радость, которую имела от тебя, больше, чем тебя самого... В этом году я люблю тебя почти только страдая, и страдания научили меня любить твою душу, то глубокое, скрытое от глаз, что и есть собственно ты. Милый, если б мы могли жить! Если *я* тебе нужна, ну, сумей утвердить это смелее, бесстрашнее, не бойся встретить здесь затруднения. Преодолей их во имя жизни! Ах, нет у меня слов! Верно, говорю я бессильно, неубедительно, глухо... Ты перестал слышать меня. Валерий, если ты придешь, вернешься!.. Я все сберегла для тебя, всю свежесть и ясность любви, всю неизменную влюбленность. Всякий раз, когда ты обнимаешь меня, я переживаю вечно чудесную сладость первых сближений с тобой, как пять лет назад в Гельсингфорсе, я смотрю тебе в глаза и вижу ту же красоту их, так же мне радостно, близко и дорого в тебе все, все — твое лицо, твое тело, улыбка, все движения твоей души, что научилась я читать в самых маленьких изменениях твоих черт... Милый, любимый, Валерий, мне почти стыдно говорить это, так иссушили мы, так обесцветили нашу любовь. Словно у нас есть только какой-то тягостный бумажный договор, о котором мы спорим каждый день, а все, что украшает любовь, что делает ее счастьем и радостью жизни, — мы забыли, забыли совсем. Помнишь наши вечера, еще в доме Толстого[5], даже в очень дурной год? Какой ты был ласковый, нежный. Я смертельно тоскую без твоей ласки, без твоей доброты! Я точно все время между каких-то обледенелых кам-

ней, или это зной, сухой отравленный зной... Ах, как тоскую я сейчас, как хотелось бы мне подойти к тебе, встать на колени и целовать, целовать твои руки. Отчего я не могу позвать тебя! О, как это бывает больно!. Почему я так привязана к тебе? Еще в те прошлые годы я иногда как-то умела жить без тебя, иногда хотелось встреч, чувств, не связанных с тобой, внешней суетной и суетливой жизни. А потом все это отошло и я от всего отошла, и вот наконец — один ты вся моя жизнь, и моя жизнь замкнулась комнатой, кельей, где никто не бывает, кроме тебя (что считать Сережу!). Мне ничего не нужно, и я ни о чем не жалею. Я бы хотела только твоей любви и возможности много работать. Я почувствовала себя и знаю, *что́* могла бы сделать не очень плохо... Но не дано мне и это.. Как работать, когда душа убита, когда все мысли устремлены к одной огненной точке! И вот остается только одно горе да ежедневно развивающаяся болезнь. Я не жалуюсь, дорогой зверочек, но разве дурно желать отдыха, хотя краткого в сравнении с долгими грустными месяцами. Я мечтала, что летом мы оба будем где-то много, много работать, а в окна будут смотреть зеленые деревья и летнее небо. Мы рядом... Вдвоем... Нет, не надо! Это больно ранит сердце...

Прости, если нечаянно я сказала тебе что-нибудь обидное или неприятное. Я писала, любя тебя, очень, очень!.. Таких слов я не посмела бы сказать тебе в лицо. Ты приходишь суровый, чужой, далекий, я вижу около тебя *ее*, и слова умирают. Рука онемела. Я пишу 3 ½ часа. Милый мой! на коленях умоляю тебя, — подумай, подумай серьезно. Ведь все это важно и для тебя. Ты страдаешь, ты гибнешь. Ответь что-нибудь. Поступи как-нибудь. Я не буду ни злой, ни враждебной, — в чем могу, я пойду тебе навстречу, если ты не потребуешь невозможного. Вспомним оба, что мы друг другу не враги, и будем говорить дружески, любовно, просто.

Целую тебя, мой дорогой, вечно любимый зверочек. Подумай!.. Ах, в твоих руках сейчас все...

Прости за безумно длинное письмо. Я устала и очень сегодня больна, но так хотелось писать.

Милый, я целую твои руки, я прежняя

Твоя.

---

[1] Приписано после завершения остального текста письма.

[2] Возможно, имеется в виду п. 278 — либо одно из писем, помещенных в руб-

рике недатированных писем 1909—1911 гг.

[3] Речь идет, видимо, о материалах к критико-биографическому очерку «Ф.И. Тютчев» (в кн.: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. 6-е изд., исправ. и доп. / Под ред. П.В. Быкова. СПб., <1911>. С. VII—XLXVII), над которым Брюсов работал в начале 1910 г. См. письмо Брюсова к П. В. Быкову от 15 января 1909 г. (*ЛН. Т. 85.* С. 670), а также: *Тиханчева Е.П.* Брюсов о русских поэтах XIX века. Ереван, 1973. С. 29—30.

[4] Вероятно, подразумевается возвращение из Петербурга в Москву во второй половине марта 1909 г. (см. примеч. 4 к п. 250).

[5] См. примеч. 1 к п. 167.

284. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Весна 1910 г. Москва[1]

Милый Валерий,

пишу неожиданно для себя, видишь на каких клочках, — даже не запасла бумаги на эту ночь. Пишу, хотя мы видимся, потому что сейчас нам обоим трудно говорить. Каждый разговор ведет к волнению, к ссоре, — лучше писать. Милый, милый Валерий, неужели в самом деле настала и определилась окончательно та жизнь, которой мы должны жить теперь уже все дни, что нам осталось быть вместе в этом мире? Мы не ссоримся, мы ласковы, мы часто видимся... Я ценю всем сердцем твою нежность и заботу в самом лучшем и высоком смысле этого слова. Мне страшно вспомнить наши жестокие и злые дни, когда мы не встречались, когда тянулось что-то томительное, совсем невыносимое. И я не хочу их больше. Но, милый Валерий, и этой жизни я не могу хотеть!.. И когда я подумаю, что она нам суждена, что мы на нее обречены до последней нашей встречи, — я падаю в отчаянии и у меня мертвеет душа. Неужели это все, что можем мы брать от нашей любви? Неужели каждый день нужно рубить топором *пополам*, а с ним и душу?.. Ты не знаешь, Валерий, — чем мы ближе и нежней, тем ярче тоска по другом, несбывшемся, и чем лучше было мне с тобой какие-то часы в дне, тем мучительнее и горестнее ночь без тебя... Ты говоришь, что я тебе нужна, что ты не хочешь жить *без меня*, но пойми, что меня такой, какой ты меня знал и любил в прошлом, скоро не будет, не останется тени моей. Когда я тебе говорю, что эта жизнь «разрушает», ты это слово словно пропускаешь мимо ушей, — будто это какой-то отвлеченный термин, а не *невольная* угроза самой этой жизни, не самая настоящая живая жизненная правда. После Парижа я только чахну во всех смыслах. Ах, да по-

смотри же на меня! Неужели сам ты за этой тупой покорностью, к которой я принуждена, не видишь страшного разрушения и такой безнадежности, которая стеклянными глазами смотрит даже на свою собственную судьбу. Я еще могу жить, а не делаю так, как советует Сережа, только потому, что нашла какой-то чисто автоматический способ жить. Не думать, не думать! вот что я говорю себе, как только остаюсь одна. Этому еще помогает морфий, но уже слабо, и потому стали приходить чаще минуты крайнего отчаяния и самой неутешной тоски. Посмотри, — *как* я живу. С ноября, со дня твоего окончательного решения[2], я махнула рукой на всю жизнь. Я живу вне ее — живая, как мертвая. Ты скажешь: «Да в чем же должна реально воплощаться жизнь?» Ведь не в том же, что я не бываю в «обществе»? Что не схожусь с людьми? Ах, конечно, не в том! А в *отношении* ко всему, в живости восприятий, которая может заставить переж<ить> всякий пустяк как счастье и утверждение жизни. Я живу как автомат. Я делаю все, чтобы *им быть*, лишь только не чувствовать боли. Ты не знаешь, что делает с душой морфий, если человек становится его рабом. Ты не протестуешь против *моего морфия*, потому что ты не можешь даже понять, какой это *губительный яд*, если его употребляют *не для радости*, а чтобы каждый день заглушать и убивать собственную душу. Ты знаешь — если мне дано прожить еще год — я говорю это с глубокой горестью, — перед тобой останется только моя жалкая тень. Все это я *сознаю*, знаю и предпочитаю все той минуте, когда *ничем не затуманенная* душа, не автомат, а душа — встанет лицом к своему неизбежному несчастию. У меня бывают краткие минуты, в которые этот железный занавес, опущенный старательным автоматизмом и морфием, вдруг на минуту поднимется. Тогда я чувствую такую боль, такую боль.... Не рассказать ее в словах!... Ты говоришь: «Я примирился, она тоже, не хочешь примириться только ты»... Милый Валерий, воистину я не знаю, что здесь значит «примириться». Если это значит — изменить чувства, то ни ты, ни она их не изменили ни в какую сторону. Не изменила и я. Если хочешь, я «примирилась», но для меня это значит, что я перестала надеяться, сцепила зубы от боли, затаила ее глубоко и стараюсь давить, как бешеную змею. Я все это делаю, но, милый мой, милый, пойми — это все равно, что я замкнула в душе огонь — выгорает тогда все внутри. Эта кротость, эта сдавленность боли не суть «примирение», а тупая безвыходная безнадежность. Боже мой, чтобы не потерять тебя совсем, я пошла бы на самые жестокие условия, но что они сделают со мной, как сомнут, изуродуют, унич-

тож<ат> душу — разве это моя вина?...

Не сердись на все мои слова. Пять месяцев такой жизни довели меня до какого-то душевного отупения, расстроили душу и тело — разве ты сам не видишь, в какой степени? Ее близость, сознание, что всякий раз ты вернешься к ней, и *я не знаю,* что будет, что бывает за вашими закрытыми дверями, отравляет меня и мою любовь, как самый губительный яд. Нет свободы никогда, ни в чем! Всегда за твоими плечами стоит она, и после самых наших счастливых часов я говорю: — зачем они были? Все равно ты вернулся к ней, и *никогда*, *никогда* не сольются наши жизни в той единственной близости, без которой только несчастье и трагедия каждая любовь. В первый за все наши <...>ий я почувствовала с такой невыносимой болью это слово «никогда» <...> никогда еще я не хотела *этой* близости с такой неутешной <...> *нет* и *не будет*, я это чувствую по каждому поводу с новой <силой> <...> Вот ты сказал о Петербурге. Разве я не понимаю, что <...>, что Москва для тебя изжита и невыносима. <...> Она поедет за тобой всюду, — это так просто, <...> *она* будет жить рядом с тобой. И ты позвал <...> *Как* я встану около вашей жизни? Да все <...> у вас общество, связи, устроенная жизнь, *всё* вместе <...> поселюсь в номерах, в вечной теперь уже «наемной комнате», <и ты будешь> приходить ко мне «в гости».... Изредка мы будем ходить к <людям>, которые не считаются с традициями и потому решатся меня принимать. И еще какое-то количество новых, сейчас незнакомых людей узнает мое горе, мою униженность, мою вечную боль. Если бы ты меня любил (не скажу меньше, а как-то нежнее и интимнее), ты понял бы, *что* я переживаю от этого склада нашей жизни, ты не спорил бы со мной, не доказывал бы, что я *не права*, а страдал бы со мной и, может быть, не позвал бы меня на это новое униженье. Милый, милый Валерий, если ты меня действительно любишь и хотел бы сберечь еще на какое-то время, милый, выдумай что-то иное. Не знаю что! Только так *жить* нельзя. Или скажи прямо «ну, гибни», но тогда не строй иллюзий из нашей жизни и пойми, что каждый ее день, самый счастливый с виду — только скрытое горе. Я очень хвораю, ты этого почти не замечаешь (это больше видят совсем чужие), и я думаю, что мне очень недолго жить. И только этим остается утешаться, и только в этом все надежды моего будущего..... Если ты сказал бы *«да»*, «гибни, умирай, я сам знаю, что иного утешения

нет». Если бы ты сказал так, я никогда уже не написала бы тебе подобного письма. Но ты говоришь: «Я хочу с тобой жить, без тебя моя жизнь утратит всю радость». Ты говоришь о жизни, и потому я тебя прошу, уже почти безнадежно: «Милый Валерий, сделай, сделай что-то!.. Ведь нельзя же человеческой душе дышать одной <печалью,> одним нескончаемым горем!?» А я живу в распаленности <...> в безводном зное. Ничего! Ничего! Навсегда... Ты скаж<ешь> <...> что ты делаешь все возможное, что ты жертву<ешь> <...> <что вся твоя жизнь> жертва, вся жизнь до этих последних <...> считать особой жертвой наши частые вс<тречи> <...> Может быть, когда жизнь *втроем* ко<нчится> <...> между двух палящих огней. И меня слово <...> безмерно печалит. Когда *вдвоем* — этого слова <...> *всё*, *всё*, на что имеет право каждая любовь, — <...> отравлено, искажено.... И я это чувствую каждый <...> если бы в каждом таком ужасном году было утешение <...> тобой хотя два, три месяца, как *это должно*, жить той <жизнью,> какой мы лишены, хотя в этом коротком сне, может быть, ради дней этих легче выносилась бы тюрьма. Но ведь и этого нет, или это обставляется такими условиями, что после руки не протягиваются взять. Если хотя что-нибудь подобное прошлому лету должно повториться и в будущем, — я отказываюсь от него вперед за 4 месяца. Ты видел, *какой* я приехала в Париж? Можно ли это повторить два раза подряд? Если бы я знала, что только какие-то внешности мешают твоим поступкам, я сказала бы после этого ужасного для меня года: «Ах, Валерий, в первый раз в жизни отдай мне *все* это лето! Мне нужен отдых, я умру без него. Ты видишь, как я больна. Будь добрым и нежным раз в жизни в той мере, как я этого хочу, как это мне *необходимо*»... Но я знаю, что ты мне отказываешь потому, что *хочешь* быть *и с ней*, что не можешь, не страдая, отказать ей, и предпочтешь, как было в прошлом, *отказать мне*, покинуть *меня*. И после, если случайно я еще жива, *вторую* «половину» предложить мне. Я знаю это и сейчас, и только одних этих мыслей достаточно, чтобы вынуть жизнь из каждой нашей встречи. Ах, как ужасно жить, видя впереди одно горе, отказавшись от всех надежд! Лишь только я представлю хотя одну возможность будущего, я чувствую, что живу в беспросветной тюрьме, и тогда хочется лечь вниз лицом и так лежать ночи и дни, отказавшись от прогулок по тесному тюремному двору, от всех маленьких радостей, которые выдумывает плененная

мечта. Милый, дорогой мой Валерий! пойми, что только неутолимая жажда полной близости с тобой, только тоска по той настоящей, должной жизни с тобой, которой я лишена навсегда, исторгает из души вот эти слова отчаяния и безумного горя. Я тебя люблю полнее и глубже, чем прежде, и если ты говоришь правду, что *всю любовь* отдаешь только мне, — то этим чувствам тесно в том страшном застенке, который создается наличностью ее. Неужели самого тебя не язвят те положения, те поступки, на которые обречен ты? Неужели тебе самому не хочется мне дать больше, еще больше — в*се*, если ты любишь меня, как говоришь. Милый мой, я знаю, что почти бесплодны все слова, что говорю я об этом. Но подумай, подумай еще раз, не отвечай мне жестоко и формально: «Ну, я не буду приходить, не буду ничего делать, если тебе все мало»... И ответь хотя жестоко, но с той же нежностью, с той же грустью, как говорю я... Ты хочешь мира, ясности и тишины. Ты это говорил. Но разве есть все это *подлинное* в твоей жизни? Сделай что-то новое, иное. Если нам уже суждены навсегда «пределы», сделай хотя их широкими, как возможно, чтобы не чувствовать каждую минуту, что ты привязан за горло веревкой. Милый зверочек, я всегда теперь буду кроткой и нежной, как умею, сколько вынесет душа. Но пойми, что и этому есть свой предел. Я страдаю очень, очень. Так же, как худеет с каждым днем мое лицо и тело, так же чахнет и тает душа. Я никуда больше не уйду, я буду влачить эту тяжесть и горе из последних сил. Не этого ли ты хочешь для меня?!.. «Я всего больше хочу, чтобы тебе было хорошо», — так сказал ты однажды. Тогда сделай что-то *для меня*. Ведь, кажется, из всех троих, затянутых в этот узел, страдаю больше и неизменнее я.

Не придавай этому письму никакого внешнего, житейского значения. Я встречу тебя все так же нежно, я люблю тебя, и если даже *ничего* нельзя изменить, я буду с тобой, пока ты этого хочешь, и принимаю все горе настоящего и *будущего*. Я говорю почти безнадежно. Да и что же, *что* можешь сделать ты, если любишь *и ее*, если принужден рвать пополам *не внешнюю жизнь*, а чувство и душу?!..

Я знаю, что ты сам болен и расстроен. Прости, если мое письмо хотя на миг взволнует тебя. Но ведь я не говорю ничего нового, ты все знаешь, только минутами смутны и рассеянны твои мысли и чем-то непонятным затуманено сознанье. Прости меня. Не сердись, не отвечай жестокостью. Я люблю тебя, Валерий.

Твоя

Почему сейчас с тобой она?.. Почему не я?! Ты мне так нужен!.. Я едва преодолеваю эти страшные, глухие, одинокие ночи. А она с тобой, в одной комнате, и это будет всегда, до смерти!..

---

[1] Листы с текстом письма порваны, сохранились в дефектном виде.

[2] Подразумевается, видимо, решение Брюсова не идти на разрыв семейных отношений с женой.

285. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Весна 1910 г. Москва

Вторник, днем

После вчерашней встречи я чувствую себя ужасно, Валерий!

Ах, милый, милый Валерий! ты видишь, я совсем в отчаянии *и тебя* мне утешить нечем. Я никогда не скажу тебе единственно нужных тебе от меня слов: «Я не огорчаюсь, что ты ее любишь, равно я не огорчаюсь ни одним фактом, который эта любовь так или иначе утверждает». И еще: «Дай мне то, что даешь, *от души*, не причиняя ей боли. Я все возьму с благодарностью». Я солгу, сказав так.. Ты хочешь невозможных чувст<в>. Это чувство матери к сыну — это такое самоотречение, на которое никогда не может пойти любовь страстная, любовь женщины к мущине, к любовнику. *Любовь* не произнесет этих слов никогда, и их не вырвешь из души, которая ждет и томится о другом. *Ты*, один ты создал невозможное, страшное положение. Нельзя быть вторым! Нельзя делить! Пойми это, наконец. Мера горя исполнилась, и все клонится к какому-то трагическому концу. Один из трех должен погибнуть. И — это *я*!.. Пять лет ты пытался создать какое-то равновесие, и поддерживала его только твоя ложь. Когда ее не стало и все выяснилось, — стало очевидно, что так жить нельзя. Все, что я сейчас скажу, — это только скелет и схема, а за ними живая ткань, живое тело — жизнь в образах, в событиях, в днях. Ты сказал вчера жестокие слова, сказал, что я люблю тебя *для себя*, не любя тебя самого, и что я не забочусь о твоем счастьи. Это жестоко и несправедливо! Я люблю *тебя*, я люблю в тебе все, кроме любви твоей к ней, я хочу знать всю твою жизнь, но *не ту*, что у тебя с ней. Моя самая страстная мечта — это видеть тебя счастливым, но если твое счастье связано с ней, — я не могу, не могу

его желать. Я не хочу о нем даже думать! И так как *она* занимает, о, больше половины твоей жизни, — тебе кажется, и это так, — что больше половины твоей жизни мне чуждо и даже ненавистно. Как все это просто! И ты не понимал 5 лет! Ведь и ты знаешь меня тоже вполовину. Все осталь<ное> во мне — это горе, хаос, смятение чувств, постоянная боль.

Она, одна она стоит между нами и пожирает нашу близость, и не дает ей развернуться, и всюду воздвигает тюремные стены и замки. Без нее наша жизнь могла бы быть прекрасной, счастливой, удивительной. И даже *при ней*, если бы ты ее не любил и она была бы только долгом, карой, наказаньем, даже при ней мы жили бы тогда иначе. Посмотри, оглянись, как мы жили и как живем сейчас! У нас так много общего, тесно и интимно связующего, столькое в жизни нам равно дорого и близко, мы так близки, глубоко близки — наша встреча *чудо*, в ней все для счастья, самого полного, истинного счастья. А что мы имеем? Как живем?.. Словно враги, словно ведем вечную междоусобную войну. Ее образ стоит передо мной на всех путях к тебе, ты приносишь с собой запах ее тела и платья, и я его вдыхаю, как незримый яд. Она не дает мне видеть тебя свободным, она посадила меня в бессрочную тюрьму, и в ней я гибну и чахну от горя, от тоски по тебе, по твоей любви. Ты ее любишь, Валерий! *Как* любишь, — не все ли равно! Настолько, что не можешь расстаться, что предпочитаешь мое горе и гибель даже временной, недолгой разлуке с ней, настолько, что твои желанья чаще совпадают с *ее*, чем с моими. И я должна *делить* с ней самую дорогую, самую близкую в мире душу.... Я страдаю безутешно пять лет. Я была еще жива только надеждой, что это однажды кончится и мы будем вдвоем, что ты отдашь мне одной твою любовь. Ты называешь сейчас меня «мучением твоей жизни», но дал ли ты мне хотя миг спокойствия и счастья без нее? Какую жизнь, какую радость, какой покой *я* дала бы тебе — разве ты знаешь? Разве ты хотел узнать? Ты видишь перед собой девять свиданий из десяти больного, замученного, озлобленного от боли зверя. Где я настоящая? Там, где мы будем без нее, — только там!.. Ах, давно нужно было выбрать окончательно и иметь мужество кого-то оставить и уйти. Может быть, иные могут жить втроем, но они или меньше и тупее чувствуют, или кто-то берет подвиг, дает обет самоотречения. Могу ли я сейчас, теперь пойти на подвиг? Я так больна, у меня внутри такое страдание, что я уже

не могу выносить боли. Я уже шла на все. После Парижа ты сказал, что не покинешь ее *никогда*, и я осталась, не ушла, не умерла. Все, чего я хотела, — это маленького утешения и отдыха, *лета*, которого я не видала 4 года, которое всегда брала она. Я 4 года страдала эти месяцы и душевно и телесно, задыхаясь отравленным зноем. Я видела в мучительных снах деревья, траву, воду, все, что вы видели вдвоем, все, что для вас было обыденностью. Все это ты имел с ней так просто — «ведь она моя жена и должна быть там, где я. И не могу же я иметь *двух* жен, и не могу же я устраивать *еще* твою жизнь»... Это твои буквальные слова. Ты не понимаешь, как ужасны были для меня последние полгода, когда нужно было понять, что *так* будет всегда.... Что ты будешь приходить и *уходить*, и никогда не сольются в одно наши две жизни, и навсегда *мне* — одиночество, и символ его — «наемная комната, где все ранит сердце». Я очень больна. О, больше, чем ты видишь и я говорю. Я не хочу говорить, ты скажешь: «Жалобы»... Мне хотелось отдыха (чтобы после опять страдать, о, конечно, страдать!), несколько месяцев вдали от нее, от этого вампира моей души, от страшн<ого> мучительного кошмара. Боже мой! я знала, что хочу «иллюзии», но я хотела ее *сознательно,* быть с тобой ночи и дни!.. Видеть, как ты живешь рядом, работаешь, думаешь, отдыхаешь, живешь рядом всеми сторонами своего существа.. Видеть, как ты встаешь утром, и близко засыпать ночью, положить свои вещи рядом с твоими, смешаться, слиться с тобой хоть в обманном сне и, может быть, показать тебе свою душу — ясную, добрую, полную одной любви, не омраченную пытками... Ведь все это она имеет каждый день! И что грешного, непозволительного, дурного в этом желании?!.. Не есть ли оно сама любовь, — замученная бедная любовь, истомленная тоской и одиночеством!.. Разве я хотела что-то нарушить или отомстить ей за прошлые свои муки? Я знала, что ты вернешься, будешь опять с ней, я была готова на все потом... И когда я только еще несмело намекнула на мое желание, — *что* ты мне ответил? У меня вся душа сжалась. Ах, опять не хочет! Не хочет так, как я! Не истомился двойственной жизнью, не чувствует, что этого нам не хватает, не страдает без меня, не ждет дней, чтобы быть только вдвоем!.. Ты говорил в ответ что-то жесткое, формальное: «С тобой с последней я был в Париже, теперь ее черед», или «поделим пополам», или будем продолжать жить, *как живем*.. Вот *что* ты ответил мне, милый Валерий. И с ужасом, с болью, с от-

чуждением в сердце я увидала тебя в образе зверя, который, *свирепый ко всем*, страстно защищает свою самку. Я увидала в один миг всю твою земную, органическую, цепкую, неразрывную связь с ней и поняла, *что значит*, когда ты говоришь: «Она моя жена»... Ты говорил, что любишь «всей высотой любви», но связь твоя с ней — темная, телесная, — взяла перевес... Ты знал, как больно, как ужасно мне слышать отказ, — отказал мне правдиво и прямо. *Так* любишь ты ее, что «высокое», «священное» ей приносится в жертву — *ей*!.. Ни одного из этих предложений я не взяла (*и не возьму*). Я говорила, спорила, рыдала, я не понимала, что в самом этом споре для меня уже — приговор и отрицание. Я рыдала... Тогда ты сказал: «Ну хорошо! ты не хочешь взять того, что я даю от души, — тогда бери *все*, но знай, что это искупление, плата по старому векселю», «Бери меня как мертвую собаку Глана»...[1] И теперь ты настаиваешь, чтобы я *это* взяла!.. Ты говоришь, что, не беря, я создаю новые, ужасные мучения тебе... Милый мой! Милый Валерий! Пойми же меня, посмотри мне в душу. Разве я «Шейлок»? Разве я заимодавец, что требует *уплаты*?[2] Ты все не видишь, как я люблю тебя, не видишь, что даже в горе, в хаосе, в боли я сохранила идеальный образ моей любви, чистой от всякой корысти и расчета!.. Я хотела этих месяцев как нашего, *общего* счастья. Я была настолько наивна, я верила, что ты можешь пожелать его, как я. Я думала увидеть в твоей душе ту же жажду нашего уединения, нашей полной близости *без нее*. Ах, Валерий, если бы ты этого пожелал, — я поверила бы в твою любовь, и надолго это утешение ободрило бы меня, дало бы силы страдать!... Я бы легче после переносила тюрьму, а эти месяцы или недели перед отъездом жила бы совсем счастливая. Разве *такая*, как сейчас, была бы я, зная, что вот скоро останусь с тобой вдвоем. *Но ты не захотел*.. О, если бы ты *хотел*, разве не сумел бы ты уехать, причинив ей возможно меньше огорчений, разве не сумел бы *солгать*? Нет, ты не захотел. Милый мой зверочек, для меня это последний удар. Чего теперь я буду ждать! После твоего отказа я уже не верю, когда ты приходишь с нежным лицом. Если не захотел со мной уехать, — почему можешь желать видеть меня теперь?..

Ты не знаешь, как твой отказ подорвал даже ту жизнь, что у нас сложилась до него. Я стараюсь быть прежней, но не могу. От твоей нежности мне хочется плакать, и я ничего не могу говорить. Но, Валерий, я хочу, чтобы ты, несмотря ни на что, не считал себя

виноватым. Я снимаю с тебя даже тень вины. Кто отвечает за свои чувства? Кто виноват, что он любит меньше, чем этого хочет другой!.. Ты и сам страдаешь, — я вижу, как тебе больно, а выхода нет... Ты не виноват, но пойми и меня....

И вот я возвращаюсь к твоему третьему предлож<ению>, вынужденному, подневольному, к «уплате по векселю», к поступку ради моего нездоровья, к тому, чего ты не хочешь *для себя*, а готов дать мне, чтобы я не погибла. Благодарю тебя от всей души. Я понимаю, что и *предложить* тебе не легко, я ценю твою готовность пожертвовать собой, но мне нужно *все другое*, и потому я не могу взять. Ты сказал: «Возьми, не считаясь с моими чувствами», — но, милый, как я могу, если мне *ничего*, кроме твоих чувств, никогда не было нужно!.. Я хотела счастья, и пусть я погибну, захвораю совсем смертельно этим летом, ах, пусть я умру, но сознательно взять подачку от тебя, от дорогого, от любимого — не могу!.. Я не могу унизить мою любовь. Она одна у меня осталась в душе как губительный, но святой огонь. Пусть я умру — ведь ясно, — кто-то тут должен погибнуть. Милый, дорогой, любимый Валерий, пойми меня! Я не враг тебе, не Шейлок, я хочу одной твоей любви, и если ее нет настолько, сколько мне нужно, — я не протяну руки за унизительн<ой> подачкой. Не жалей меня! Разве хорошо мне *так* жить! Ведь я страдаю, я не живу, — пусть эта жизнь лучше прекратится.

Не сердись на меня. Я не перечитаю письма. Знай, я все писала от чистого сердца, и совсем искренно. Не сердись!.. Ну видишь, нет исхода! Не будь со мной только внешним, пойми, что ты предлагаешь невозможное. Поезжай с ней или живи, как хочешь, лето с *ней же*. Пусть исполнится *твое* желание.

Ах, только не сердись. Приди ко мне ласковый, видишь, я уже ничего не требую, ни к чему тебя не принуждаю, я совсем покорилась моей судьбе... Приди, зверочек! Не покидай меня, пока ты здесь, мне очень, очень грустно.

Твоя.

---

[1] Подразумевается эпизод из главы XXXVI романа К. Гамсуна «Пан» (1894): лейтенант Глан убивает свою охотничью собаку, которую попросила подарить ей Эдварда, и велит отнести ей труп. См.: *Гамсун Кнут.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1991. Т. 1. С. 538—539.

[2] Шейлок (см. примеч. 4 к п. 280) готов был, по условиям векселя, вырезать фунт мяса у неисправного должника, купца Антонио.

286. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

8 июня 1910 г. Москва

8 июня

Милый Валерий,
я возвращаю твои письма. Не надо мне их! Все, что напомина<ет> о тебе *ином*, причиняет мне обиду и боль. Если случится быть в Париже, пришлю все остальные[1]. Не сердись, — мне страшно к ним прикасаться, как и к твоим книгам — все это стало только памятью каких-то горьких, незаслужен<ных> оскорблений.

Милый Валерий, и в этом письме, как в последнюю нашу встречу, мне хочется повторить тебе теперь уже одну мою просьбу — уезжай, пожалуйста уезжай[2]! Сделай так, как тебе хочется, «не нарушай ни в чем твоей жизни» ради моего формального пребывания в ней. Нужны ли нам теперь формальности? Я уже от них отказалась окончательно, зачем же ты все-таки создаешь какие-то химеры из жалости, из несуществующего больше прошлого, и томишься, и не можешь почувствовать себя свободным? Ты уже сейчас сражаешься с призраками. *Меня нет* в твоей жизни, а ты все еще пытаешься поступать так, как будто бы *есть*. Уверяю тебя, для меня нет уже разницы между твоими желаниями и поступками. И если ты *не поступаешь* потому, что я механически мешаю, — это только новое оскорбление — напрасное и злое. Прошлый раз у тебя были именно злые глаза и голос, так разговаривают с врагами, которые стоят поперек дороги. Но, Валерий, я тебе не враг и на дороге твоей не препятствие, а твоя химера. Твой отъезд с женой сейчас будет лишь должным итогом, логическим выводом из всего того, о чем мы говорим 4 года. И если ты все же не уедешь (в чем я, впрочем, сомневаюсь), — это значит, ты хочешь тягучей лжи, ненужных встреч, «канители», которая убивает день за днем все живые чувства? Нет, ты не можешь этого хотеть, ты только малодушен и боишься всяких «действий». Ах, умоляю тебя, прекрати это! Разве нужен ты мне с твоей мертвой душой, с злыми глазами и этими страшными формальными визитами?

Милый Валерий, еще в Лейпциге я поняла, что *наша* жизнь кончилась совсем. Ты говорил, что мои письма оттуда были *страшны*. Тогда я узнала, что мы *не увидимся*, я говорю это слово в самом лучшем, глубоком его значении, — и мечтала о нашем пос-

леднем настоящем свидании, Бог знает где, — когда я скажу тебе: «Милый Рупрехт, милый Валерий» — ах, больно повторять эти безумные слова. Я знала, что мы *не увидимся*, и мы *не видались*, Валерий. То, что было в эти 4 месяца, — это продолжение всех горьких и страшных лет. Если бы они тянулись беспрерывно, как годы на каторге, без побега, без твоего зова вернуться, без обещаний, которые не сбылись, может быть, кто знает, — может быть, они влачились бы бесконечно. Мне хорошо было в Лейпциге любить тебя как мертвого и мечтать о блаженном мистическом свидании; так это и осталось бы прекрасной, утешаю<щей> мечтой. Но ты обманулся в себе, и позвал меня, и повторил всё те же слова, что прошлой ужасной весной, и заставил пережить всё те же горькие чувства точно затем, чтобы эти месяцы повторили прошлое как определенный кошмар, который возвращает<ся> с убийственной точностью, не утратив ни одной из мучительных деталей. Я все это пережила. Не по-прежнему, о, нет! Тихо, одиноко, в самой последней глубине, и в первый раз у меня наступило сознание полной непоправимости, полного крушения *нашей* жизни. Помнишь, как прошлой весной я цеплялась за каждую минуту около тебя? Помнишь, как звала, ждала, рыдала, когда ты уходил? Помнишь это страстное и горестное влечение, *несмотря ни на что*, беспрерывное страдание и все же радость наших встреч? Такой экстаз дает горю только надежда. Теперь я люблю тебя разве меньше?!.. Но быть с тобой мне так горько, так страшно и безнадежно, что я предпочитаю одиночество, то полное одиночество, которое узнала в эти самые черные месяцы моей жизни. Теперь я вижу ясно мое место около тебя — узкую тропинку на тюремном дворе. И если ты опять, обманываясь и странно тоскуя обо мне, скажешь, что это неправда, — поверю ли я еще раз? И почему, чтобы *только услышать* эти слова, мы должны были бы опять расстаться, должны выжидать какие-то месяцы? Вот я была здесь, близко, и тво<е>й нежности хватило на 3 недели, и ты отверг меня и выбрал жизнь без меня.... И опять лето, июнь, и все тот же кошмар, и то же твое страшное мертвое для меня лицо. Есть вещи, которые не могут повторяться, есть события, которые опустошают душу. Если бы ты знал, если бы ты поверил, какая холодная, мертвая тьма внутри меня! Это особое ощущение конца, я не могу его выразить словами, им начинаются и кончаются все мои дни.

Милый, Валерий, мы ничего не вернем, и ничего не будет. Меня в твоей жизни *нет*. Уезжай! Уезжай, ради Бога!

Не думай обо мне, — то, что ты *можешь* дать, я не возьму теперь никогда. Моя жизнь пропала, и если понять *это*, то стоит ли думать о ее внешних осуществлениях? Москва, жара, всяческие телесные муки — все это вздор, я перестала замечать, я живу воистину как автомат. И если *это* тебя беспокоит, то становится мне просто смешно. О чем ты?

Уезжай, уезжай! *Нужно* кончить. Жизнь в одном городе невольно будет длить агонию. Ах, кончим ее скорее!

Н.П.

---

[1] В Париже, видимо, были оставлены письма Брюсова, посланные им Петровской после отъезда из Брюсселя в Москву в конце октября (н. ст.) 1909 г. (ни одно из них нам не известно), а также, возможно, и другие его письма к ней, более ранней поры.

[2] Речь идет об отъезде на летний отдых в Белкино (см. примеч. 6 к п. 280).

287. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

25 июня 1910 г.

Лесная нора[1]. Пятница, вечер

Дорогой зверочек,
морфий я получила. Таким образом, у меня есть *6 целых пузырьков*, не считая сегодня, — значит, по четверг включительно. Я могу не уезжать отсюда до четверга[2]. Рассчитай время теперь ты. Хорошо бы нам лучше увидаться здесь. В Москве ужасно, там мы не увидим друг друга за делами и хлопотами. Ну, если ты можешь быть *хотя настолько* свободным, чтобы уйти от нее[3] на день и ночь, — милый, приезжай сюда! Здесь тихо, покойно, во внешнем идеально. Предоставлю тебе всяческие удобства. Ты сам отдохнешь у меня за сутки, отдышишься от пыли. Приезжай, зверочек, *в пределах этих дней*; ты сказал в письме, что, м<ожет> быть, приедешь. Я очень печальна и больна, но постараюсь всей душой не огорчать тебя. Я жалею, что написала тебе сегодня так грустно. Уж пусть я страдаю *одна*, не надо тебя мучить. Не сердись на меня! Я тебя люблю, ты знаешь, как я тебя люблю, но *не моя* вина, что любовь эта стала горем для нас обоих. Иногда бывают у меня минуты такой скорби, такой бессильной горькой обиды, что я

невольно ожесточаюсь на тебя и говорю ужасные слова. А виноват ли ты, что я тебя так люблю и что ты не любишь меня *так*!...

Любимый зверочек, я точно не видала тебя месяц. Последние дни в Москве было плохо, ах, до чего плохо! Я никогда не знала такой предельной боли и такого острого, ядовитого страдания. И я очень, очень больна, — потому прости мне все минутное, искажающее мою любовь. Не хворай, милый, береги себя, ты стал такой хрупкий, и она тебя, как я представляю, вовсе не умеет беречь... Брось наконец дела, кончи с домом[4], а остальное делай на даче. Пойми и знай, что нельзя надрывать себя свыше меры, ах, ты это совсем забываешь.

Сейчас вечер. Вдали лают собаки, падает роса, пахнет цветами, углубляется тьма между деревьями. Я хожу и тоскую, тоскую... Отчего ты не со мной! Отчего!.. Кто ответит? Кто знает, почему мне только страдать и страдать!? А она играет в карты до 5 утра с Владькой!..[5] Ей уже не нужны эти ночи, которые снятся мне в страшных, убивающих мечтах. Она «привыкла» быть спокойной и счастливой... О, зверочек, потом, после, ты поймешь многое, но не поправишь уже ничего... Пиши хотя, милый! Мне грустно, я страдаю очень. И уже начинается лихорадка, мутится сознание, все считаю какие-то бесконечные цифры, к утру они доходят до миллионов и кончаются, когда я уже не могу от слабости поднять голову от подушек. Когда у меня лихорадка, в эти минуты я знаю и чувствую наверно, что мне не видать будущей зимы. Но не все ли равно мне *теперь*? «Хорошо, что я в море погиб»....[6] Целую, люблю тебя. Я всегда

Твоя прежняя Рената.

Напиши все же, *когда* приедешь и приедешь ли. В четверг я *должна* ехать в Москву. Письма к нам носят каждый день, мы платим 3 к<опейки> за доставку, и если это служащий с дачи Стесселя, то на чай, а это отличная приманка и гарантия аккуратной доставки. Совсем неверно, что письма не доходят. Твое я получила сегодня в 3 ч. дня.

---

[1] Об этом дачном месте, где Петровская жила (некоторое время вместе с Брюсовым) летом 1910 г., она сообщает в «Воспоминаниях»: «Один год я зачем-то поселилась в захолустном дачном уединении по Брянской дороге. Маленькая усадьба утопала в дряхлом саду, в окнах нашей избушки на курьих ножках бесконечные, струистые, золотые горизонты, да лес, зеленый, сырой, душистый» (Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Ист. альманах. 8. Paris, 1989. С. 58).

[2] *Четверг* — 1 июля.

[3] Подразумевается И.М. Брюсова.

[4] Речь идет о доме Брюсовых на Цветном бульваре, который был продан 22 июня.

[5] В.Ф. Ходасевич.

[6] Заключительная строка стихотворения Бальмонта «Меж подводных стеблей» («Хорошо меж подводных стеблей...»), входящего в его книгу «Только любовь» (1903). См.: *Бальмонт Константин.* Стихотворения. М.: Книга, 1989. С. 476.

288. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

26 июня 1910 г.

Ответь поскорее[1].

Лесная нора. 26 июня

Дорогой Валерий,

сейчас получила твое письмо и спешу написать, т<ак> как сегодня есть случай послать. Я так омертвела, так себя смирила морфием и у меня сознание такой неминуемой моей гибели, что я уже на отдаление нашей встречи почти не огорчилась. Не все ли равно, — еще дни или недели! Только больше будет тоска, но она меня грызет ночи и дни даже при тебе. Все равно, — ты выбрал *не меня*, ты заботишься сейчас о квартире[2], чтобы в ней жить с ней же, ты хочешь остаться с ней, а я, — есть или меня нет, — это дело случая. Как я живу эти дни — не сумею даже рассказать! В отупении всех чувств, в тоске *каждую* ночь (все *три* здесь) горю в лихорадке и знаю, что *к зиме* умру. Так я сейчас смотрю на окружающие предметы и думаю: «Каждый меня переживет». С последней мечтой об летнем коротком отдыхе тоже рассталась. Какое лето! И зачем оно? Обман, иллюзия, игра в пустоте и с пустотой. Бог с тобой! не выкраивай через силу каких-то недель в конце лета, не надламывай твою жизнь *с ней*, — *эта* жизнь тебе нужна, о ней заботься, *ее* береги, а моя песня спета... Я говорила серьезно, без угроз, — мне нужен отдых это лето, иначе я не смогу больше жить, — ты отказал. Я смиренно принимаю мою гибель! Покорно!. Верно, так надо, — *ей* жить, а мне умереть...

Дни проваливаются куда-то, их нет. Шумят деревья, приходят и уходят грозы, цветут цветы перед террасой, — на все смотрю мертвым взглядом.. Ты не захотел быть со мной... Не захотел!.. Только одна эта мысль у меня в голове, только одно чувство — нестерпимой боли.. Так я живу в лесной моей норе.

Теперь о встрече: у меня есть всего 6 пузырьков, а то и 5, если сегодня Смирнов не привезет, то *лишь* 5. Считай 5, п<отому> что вдруг он *не* привезет. Значит, я могу жить до среды[3], в среду *должна* ехать. Вот сообрази. Если ты приедешь во вторник, то это будет хорошо. Во всяком случае, у меня до среды вечера есть (а то и на четверг может привезти), ты можешь пробыть у меня ночь, а если тебя пустят, — то и 2. Конечно, если дела тебя не выпустят из Москвы до среды, то жди меня там, но если можешь приехать во вторник, то будет *во всех случаях* хорошо. Завтра я напишу тебе еще в «Скорпион», получу ли я сегодня пузырек, тогда ты сообрази и ответь мне *точно*, когда можешь быть, и встретимся в Лесной норе или в Москве. Ах, если бы не морфий! Друг единственный, враг страшный и ласковый, — один он дает мне сейчас хотя как-нибудь дышать.

Мне плохо, зверочек! Ах, поверь наконец, как мне плохо... Я совсем уже не знаю, *зачем* теперь жить и *как* жить без единой самой маленькой надежды хотя на миг радости...

Целую тебя нежно. Здесь мы встретились бы немного лучше, чем в Москве, — все же вокруг деревья и цветы, а не московский каменный ад.

Обнимаю тебя, бедный, милый, усталый зверь.

Целую, целую тебя, мое милое больное «чудовище».

Я твоя.

Не удивляйся, что это письмо принесет в «Скорпион» посыльный, и не подумай, что я в Москве. Я просила это сделать для скорости.

---

[1] Приписано после завершения всего текста письма.

[2] Речь идет о поиске новой квартиры после продажи дома (см. примеч. 4 к п. 287).

[3] *Среда* — 30 июня.

289. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

27 июня 1910 г.

Воскресенье 27 июня. Лесная нора

Дорогой зверочек,

не сердись, что заставляю тебя, м<ожет> быть, с затруднением уже, пройтись за этим письмом в «Скорпион». Но оскорбительно даже

подумать, что *она* читает мои строки, обсуждает, допрашивает..[1] Пойми, как это унизительно для меня, и не сердись...

Сегодня получила 2-е твое письмо, где ты пишешь, что всё в Москве и, м<ожет> б<ыть>, выедешь только в понедельник[2]. Ну, что ж делать! Я привыкла терпеливо страдать, для меня не осталось иного.. Конечно, я сомневаюсь, что, уехав в понедельник 28-го, ты 1-го уже будешь в Москве. Да и *зачем* эти муки дальних переездов, чтобы встрет<иться> в жаре, пыли, ожесточенности московского ада. Если ты хотел 1-го поехать в Москву *лишь для меня*, — то не надо, зверочек. Ну что это будет за встреча!.. Я хочу *другой*, и потому лучше сделаем иначе. Видишь ли, морфию у меня разошелся один лишний пузырек, и у меня есть его всего до среды вечера. Значит, в среду 30-го я *должна* ехать. Поеду вечером и в четверг (если мне приготовят в той новой аптеке, что я тебе говорила, все 8) я поеду обратно. Если же эта комбинация с новой аптекой не выйдет, то едва ли я успею в разных аптеках и заказать и получить всё в один день. Тогда придется остаться до пятницы, и вернусь на дачу я в пятницу же. Я думаю, что после стольких-то дней *вдвоем* ты сможешь выбраться ко мне? С понедельника до пятницы!.. Может быть, зверочек? А?

Тогда приезжай ко мне уже на дачу в пятницу вечером (я вернусь к вечеру) или в субботу рано утром с удобным тебе поездом. Все это я говорю только *для тебя. Я*, конечно, хотела бы тебя видеть раньше, ах, сейчас, завтра, как можно скорее. Но разве дано *мне* выбирать!..

Будет тогда почти две недели, как я тебя не вижу. Вся душа онемела от тоски и боли, но морфий ее смиряет, и я могу ждать, могу в какие-то минуты чувствовать себя совсем деревом или камнем... Только уж не хворай еще *серьезно*, ради Бога, мой зверок. Тогда мне бывает хуже всего. Зверь мой дорогой, если бы знал ты, *как* я люблю тебя!.. Но, видно, ты так и не поймешь и не узнаешь.... Милый, когда ты поедешь в понедельник или другой день, — приготовь заранее мне ответ и вели кондуктору выбросить его у нас на разъезде 13-м[3]. От нас ходят и ездят почти каждый день, я уж его получу непременно. Мне нужно знать, *как* же, наконец, *где* и *когда* мы увидимся. На это письмо ты ответь и по дороге выкинь ответ на разъезде.

Жара даже здесь тяжелая, томительная. Хорошо только по ночам. Что же в Москве-то!.. Не замучивай себя слишком. Так нельзя же! Тебе необходим отдых, ты с ума сойдешь (по-настоящему), если еще хотя одну неделю будешь так надрываться.

Вот ждала я все, что ты приедешь во вторник, часы считала и минуты, а теперь опять Бог знает когда. Отчего, отчего *я* должна так всегда огорчаться и страдать. Даже Бог не отвечает мне на это.

1-го августа приезжает «маг»...[4] Я на него надеюсь. Это уже единственная и самая последняя, хотя и самая фантастическая надежда. А вдруг?..

Боже мой, ведь я знаю, знаю наверно, что ты однажды придешь *совсем моим*, но и знаю, что *будет поздно* тогда. Сцена Ренаты с Рупрехтом в тюрьме — *пророчество*[5]. Увидишь, так будет однажды. Но у меня уже будут руки слишком слабы, чтобы протянуться и взять. Целую тебя, обнимаю тебя нежно. Помни — всегда, во все минуты, днем и ночью, во сне и в жестокой лихорадке я с тобой, только с тобой, мой единственный, мой любимый, дорогой зверочек, и я твоя.

Ответь же и вели бросить письмо, когда поедешь мимо, на разъезде.

---

[1] Предполагается, что И.М. Брюсова может знакомиться с корреспонденцией Брюсова, доставленной по домашнему адресу.

[2] Подразумевается отъезд на дачу в Белкино.

[3] 13-й разъезд Брянской железной дороги, близ которого располагалась дача Петровской. Дача Брюсова (Белкино) — близ 15-го разъезда той же дороги.

[4] Видимо, какой-то врач или гипнотизер. Не исключено, что имеется в виду Г.А. Койранский. См. письма Петровской конца 1911 г.

[5] Имеется в виду сцена смерти Ренаты в главе XVI «Огненного Ангела» (IV, 289—290).

290. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

27 июня 1910 г.

Лесная нора. 28 июня[1]. Воскр<енье>

Дорогой Валерий,

ты получишь это письмо через посыльного, вероятно, доволь<но> рано утром, во всяком случае *до* твоего выезда на вокзал, если ты едешь, как говорил, завтра, в понедель<ник>[2]. Но писать все, что хочу, при таких условиях я нахожу невозможным. Она, кажется, взяла уже за правило распечатывать твои письма и телеграммы....[3]

Настоящее мое письмо другой посыльный отнесет в этот же, вероятно, час в Скорпион[4]. Пожалуйста, возьми его там, от тебя

так близко. В оба конца потеряешь 15 минут, не больше[5]. Так понял? Все нужное я напишу в *том* письме. Возьми его, очень прошу тебя, возьми до отъезда, хотя бы это было даже трудно. Иного способа говорить с тобой ведь у меня же сейчас нет. Сегодня вечером от нас с дачи едет один мальчик, и он отдаст оба письма посыльным.

Твоя.

Письмо в Скорпион *очень нужное*, очень.

[1] Ошибочная датировка; воскресенье — 27 июня. Ср. п. 289.

[2] Речь идет о запланированном отъезде Брюсова из Москвы в Белкино.

[3] См. примеч. 1 к п. 289.

[4] Имеется в виду п. 289.

[5] Подразумевается расстояние между домом Брюсовых на Цветном бульваре и гостиницей «Метрополь» (Театральная площадь), где размещалось издательство «Скорпион».

291. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

21—22 июля 1910 г.

Среда. Ночь[1]

Милый Валерий,
сегодня я получила твою записку, и мне стыдно, больно, я чувствую себя совсем униженной. На все мои письма, вопросы, на мое страданье, что я переживаю, *где ты*, совсем без тебя, среди ужасных образов, на мое ожидание тебя, на всё ты отвечаешь ледяной запиской, где только пытаешь<ся> помочь мне решить мой «квартирный вопрос». Милый Валерий, если от всего, что у тебя ко мне было, у тебя осталось только чувство долга и желание посредством материальных забот обо мне откупиться от угрызений души, то помощь твоя, особенно денежная, грубо материальная, становится невыносимым униженьем. Этим летом и особенно последними днями, быстрой переменой твоих решений и отказами решитель<но> на все мои желания ты показал ясно, что быть со мной не хочешь, что я тебе не нужна, что бережешь ты и любишь только *ее* одну, *ее*. Ты знаешь, *что* мне было от тебя нужно. Еще недавно, 2 недели тому назад ты давал мне обещания, почти клятвы, говорил, что из нежного страха потерять меня

готов мне дать *все*, решительно *все*. Твое поведение за эти две недели и письма, особенно письма, где ты боишься говорить о некоторых вещах, боишься произнести одно неосторожное слово, чтобы я не спросила осуществления, — все это красноречивее самого формального отказа. Ты стал так малодушен, что *ничего* уже не решаешься говорить прямо. Ты предпочитаешь теперь *ускользать*, уклоняться, замалчивать. О, напрасно! Я же не приступлю к тебе с неоплаченными векселями!. Бог с тобой! поступай как знаешь, я ведь беззащитна, у меня все можно отнять, меня можно как угодно обидеть. Но если, Валерий, *наша* жизнь свелась для тебя к одному «суровому долгу» в отношении к покинутой любовнице, то я уже не могу от тебя взять ничего. Ты не дал мне ничего, чтобы я могла жить и дышать. Этим летом ты совершил надо мной последнюю свирепую жестокость. Так обмануть! Так лгать! И лгать *сознательно*... Вспомни твои слова на терраске моей дачи... «Не буду мучить, сделаю все, все. Люблю тебя, не хочу твоей смерти». «Мы поедем. Вернусь, уложу книги, и мы поедем вместе, вдвоем»... Бери назад все, все, что можно отнять, и больше! Отними все, я ничего уже не в силах удержать. Ты не хотел мне дать месяца отдыха от моих мук, и эта моя «дача» была только новой пыткой, — о, сидеть здесь одной и сознавать, что в 50 верстах ты с ней вдвоем и не хочешь, *не хочешь* быть со мной, уклоняешься *от меня* для нее... Все это ты заставил меня пережить. Я приехала сюда больная уже, а уезжаю едва живая. Сегодня у меня в первый раз шла горлом кровь. Угрозы врачей сбылись. Еще два осенних месяца, и «скоротечность», которую они предсказывали[2], быстро докончит.... Так надо? Пусть! Убей меня совсем, я не противлюсь, но избавь меня от последнего унижения — принимать помощь от *чужого*, от ее мужа и любовника. Оставь меня в этом смысле совершенно. Не заботься о моей квартире, еде и расходах. Я еще пока не совсем нищая. Мне дает Сережа, который останется мне близким всегда, несмотря ни на что. На эти деньги я устроюсь, как могу. От квартиры, которую я наняла (я писала тебе — в Ростовском пер. на Плющихе), хотя она и «достойная», т.е. светлая, сухая, в приличном доме, я завтра же по телефону откажусь. Иметь ее я не могу совершенно, у меня денег столько ровно, чтобы переехать, перевезти, заплатить Зайцевым[3] и прожить кое-как неделю. Потом я где-нибудь займу. Это последний раз я говорю с тобой о «моих делах», и то в ответ на твою записку. С пятницы буду искать комнаты для себя и Нади. Так лучше; когда слягу совсем, можно будет отказать, да, вероятно,

прежде откажут *мне* за лихорадки, запах лекарств, посылы прислуги в аптеку. Тогда Сережа свезет меня в «недорогую, но вполне, вполне приличную больницу», и никто не пострадает от моего неоплаченного квартирного контракта, и ни у кого не останется на руках ненужной дешевой мебели. Нет, Валерий, несмотря на то, что я смертельно больна, убита душой и теряю голову перед моей неудачной *во всем* жизнью, — я не дойду до положения Шестеркиной[4], до ее унижения, и не возьму твоих денег, твоей помощи *вместо* любви. Если теперь ты можешь прийти ко мне только с *этим*, то лучше пусть я тебя не увижу вовсе, никогда. Я прошу, требую от тебя настоятельно *никогда* более не говорить со мной о так наз<ываемых> «моих делах». Ты чужой, ты ушел и не хочешь меня — это твоя воля, — но зачем же ты хочешь еще унизить меня? Когда я умру, пожертвуй что-нибудь на бедных, м<ожет> быть, это успокоит тогда твои угрызения. Ну довольно об этом. Мне тяжело говорить с тобой так. А иначе — ты уже не слушаешь и не отвечаешь.

Прощай, Валерий. Я верю, ты проснешься однажды. Твое сознание озарится словно молнией, все до самого темного уголка. И ты поймешь тогда все, к чему глух и слеп сейчас. Ты поймешь и почувствуешь каждый миг моей боли, каждую мою пролитую слезу, и, может быть, будешь тогда плакать *ты* поздними, бессильными слезами... Теперь же ты «делаешь, что можешь»...

Твоя.

---

[1] *Среда* — 21 июля. Почтовый штемпель: 22.7.10. Отправлено по адресу: 15-й разъезд Брянской ж. д., имение Обнинских Белкино.

[2] Имеется в виду расхожее название формы туберкулеза — «скоротечная чахотка».

[3] Видимо, писатель Б.К. Зайцев и его жена Вера Алексеевна.

[4] См. примеч. 4 к п. 268.

292. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Осень 1910 г. Москва

Вторник. Ночь

Валерий,

я знаю, что делаю бесполезное дело, когда тебе пишу так длинно, так «от души» — и в духе умершего романтизма нашей прошлой любви. Эти письма едва ли ты читаешь до конца... Но *вот*

это именно — ты прочти. Я пишу его на слишком большом листе, как, бывало, Б.Н.[1], и сейчас мне кажется, что слов моих и мыслей хватит на все его страницы. Разрознены, развеяны мои мысли или, наоборот, обострены новой лихорадкой, — я не знаю. Это будет яснее тебе. «Суд» наш кончился, Валерий, и, казалось бы, что может быть дальше?.. Самый талантливый выдумщик не придумал бы, кажется, *шестого* акта к этой драме, а он *начинается*, возникает чем-то бесформенным, темным и таким тяжким, что нет уже сил даже *только* дышать, только как-то переживать горе. Скажи, *что* должна я сейчас сделать, чтобы не быть «адом твоей души», как ты сегодня сказал? Я предлагала тебе единственную возможность, которая, конечно, не исцелит тебя вполне, но может успокоить, — это не видеться, не быть, не встречаться, не разрывать внутреннего с внешним и во всем до житейского быть последовательным и твердым. И не понимаю я, почему нет у тебя мужества сосчитаться *с жизнью* так же ясно и холодно, как сосчитался наконец ты с твоей душой? И зачем в жизни ты делаешь против твоих чувств, когда *я же*, для которой ты это делаешь, неустанно умоляю: не надо, не надо больше ничего! Зачем ты сделал себе Голгофу из моей комнаты, в которую гонишь себя бичами. Могу ли я не видеть, не сознавать и не страдать уже *от этого* бесформенной, тяжкой и бесполезной мукой? Ты спрашивал меня сегодня с тоской, с мученьем: «Скажи, *что* я должен теперь сделать?» Милый Валерий! Видит Бог, *ничего* от тебя я больше не жду, ничего не спрошу, не поставлю тебя ни на миг в психически безвыходное состояние какой-либо моей просьбой, желаньем, требованием. *Их у меня к тебе больше нет* и, пойми, — *не может быть*. Ты знаешь, я взяла бы только самое интимное, то, что *тебе* нужно *как мне*, то, в чем совпали бы наши желанья, — неодолимые желания любви, нежности, близости, привязанности, долгих прекрасных лет. Это не сбылось. Я не виновата, о, клянусь тебе, — не каприз, не упрямство сделали это лето для меня роковым ответом на вопросы долгих последних месяцев, когда ты все вновь поколебал новыми обещаньями и уверенным — «наступи на крест — и все придет, и станет все возможно, и мы будем снова в раю». Я не верила, я боялась поверить, а ты весь год твердил мне эти полные соблазна слова. Потом ты знаешь, *что* было мне наградой за мое отречение... И ты видел и видишь, *какое* разрушение произвел в моей душе твой невольный (быть может!) обман. Когда я говорю тебе, что у меня *ничего* не осталось, что

19. Заказ № 795.

ты для меня мертв, а без тебя для меня мертво все, — я не лгу, не притворяюсь, не надеваю трагическую маску. Это правда, моя последняя правда. И что же *нам* осталось, и что же мы можем, и какой *жизни* ты все еще ждешь с упрямством маниака? Приходишь мертвый, загло<х>ший, а ждешь живых чувств, ждешь, что вот-вот забьет какой-то чудесный источник... Одно чудо — неведомое, непостижимое могло бы спасти то, что когда-то называлось нашей любовью, нет, уже и не спасти, а *воскресить*... В минуты последнего помрачающе<го> отчаяния я иногда вдруг смотрела тебе в глаза почти с безумием, — я думала: «Не может быть! Это сон, гипноз, злые чары[2]! Сейчас, сейчас, где-то в самой глубине твоих онемелых чувств вспыхнет молния и озарит все сознание, как в час последнего Суда. И ты поймешь весь ряд твоих ужасных обольщений, заблуждений, губительных ошибок, — и вот каким-то прежним, забытым движеньем несказанной нашей близости бросишься ко мне и, может быть, скажешь одно, одно какое-то слово... Ах, не длинный, тонкий, запутанный и хитрый монолог, а *одно* чудесное слово, от которого задрожит, загорится вся душа...» Боже мой! как ждала я такого мига! Эта надежда погибла последней, но погибла, погибла и она. Валерий, Валерий! Вот ты часто говоришь: «Зачем ты гонишь меня?» — и иногда мне слышится обида в твоем голосе. Но неужели не понимаешь ты, что это «гонит» моя любовь, мое горе, моя смертельная тоска *по тебе*, по милом, прежнем, *моем*... Разве не видишь ты, как при тебе, в твоем присутствии я тоскую *по тебе же*!.. Проходят дни, недели, месяцы, а я все живу без тебя или хуже, хуже — с тобой мертвым, чужим, неузнаваемым, *таким*, какого я не хочу и не могу хотеть. Ты удивляешься, *почему* не хочу я жить и «отказываюсь от лекарств».... Валерий, у меня была вся жизнь в одном тебе. Пять лет уже я не помню дня без тебя, без твоего образа, без мысли о тебе. Ты меня уверял, что *и ты* меня так же любишь, так же близок, — я поверила в близость, «какой нет на свете»[3], и этой верой, одной ей, жила. Разве это дурно? Разве я отдала свою душу чему-нибудь низменному, грубому, некрасивому? И разве прежде не было это для тебя большой радостью? Я помню, еще год назад, Валерий, только год назад! мы шли откуда-то по Калошину переулку, и ты говорил: «Пусть все будет плохо, еще хуже, но мне нужно только одно сознание, что *мы с тобой, что мы вместе*, и тогда можно жить». Ты не помнишь? Забыл... Еще там же, в пере-

улке, в моей длинной, несуразной комнате ты говорил живые слова, ты страдал оттого, что приходилось двоиться, ты приходил ко мне иногда радостный, что вот опять со мной, что все хорошо, «если мы вместе»... А потом твоя болезнь (первая в Москве), потом лето и... вот... Валерий мой дорогой, мой любимый, милый Валерий! неужели не мог ты, даже так жестоко устроив всю внешнюю жизнь, остаться со мной, *только* со мной?! Ведь ты же говорил когда-то, что она[4] чужда твоей душе, что она тебя не может понять, что ты с ней связан каким-то злосчастьем!!.. Неужели ты лгал, и действительно тебе нужна *только она*? И потому ты приходишь ко мне мертвый, что не можешь изменять *ей*, и каждое *наше* свидание стало оскорблением *вашей* любви? Если так, — то ведь ты каждым приходом ты <так!> оскорбляешь меня, берешь, как вор, даже ту мою ласку и нежность, на какие я способна сейчас. И зачем ты приходишь тогда? Ах, зачем ты приходишь? Этот вопрос терзает, сверлит мою душу все время. Валерий, зачем ты приходишь? Если из жалости, — клянусь, мне не нужно ее. От одной этой мысли мне страшно. Ты чувствуешь вину? Т.е. нет, *ты* вины не чувствуешь, но слышишь обвинен<ие> в моих словах, видишь его в моей жизни и чувствуешь себя обязанным страдать, искупать, нести кару? Ведь не из любви же к страданию и самоистязанию ты придумал себе Голгофу в моей комнате, у моей постели! Ты понимаешь, Валерий, *и это* уже не может продолжаться. Даже таким встречам приходит какой-то конец. Я не могу их выносить. Я повторяю тебе, — я не могу быть *с тобой*, как с Сережей. И, милый Валерий, ведь не могу же я не думать, не сознавать, что если бы ты меня любил, — то сейчас, когда я стою на краю самой настоящей, реальной гибели, — ты бы сказал, *сам* сказал бы все иные слова, и все иные чувства заговорили бы в твоей душе. На эту фразу ты мне возражал, и я помню, как. Ты говорил: «Да, может быть!... я тебя *все же* люблю, и вот даю, *что могу*. Столько может дать моя любовь и такова сейчас моя любовь...» Ты *лепетал* слова, говорил вяло, безжизненно, чтобы что-то сказать, чтобы скорее кончить разговор. Милый Валерий, мы оба, и я и ты, мы знаем *одну* любовь, да и не бывает никакой иной! И когда возникает разговор, спор о «правах» ее, торг за то, что прежде давалось просто, светло, безусловно, где же тогда она сама, — любовь?!.. Ты говоришь приблизительно так: «Поехать в Разумовское и даже *на ночь* в Капустинку моя любовь мне позво-

ляет, но в Петербург — нет. Ты хочешь? Бери! Но знай, что я даю не от души, знай, что берешь насильно». Я беру сейчас самый грубый пример, а ты припомни, сколько подобных «рассуждений» ты произнес о вещах серьезных, страшных, роковых... Вспомни вечерний разговор в субботу... Мне кажется, *и я* уже не нахожу более слов, которые действительно зазвучали бы в глубине тебя, которые ты мог бы услышать... Так же безжизненно прочтешь ты это письмо, положишь к прочим и придешь говорить со мной об «Р<усской> Мысли»[5], Эллисе, электричестве....

Валерий, сейчас, мне кажется, я обрела право произносить слова «последний, последнее» в глубоком и настоящем их значении. Я так чувствую и так живу. Я не рассчитываю своей жизни дальше нескольких и очень немногих месяцев. Посмотри сам, какие угрозы таятся в моем здоровьи и как часто теперь подкрадывается и налетает хотя еще не смерть, но что-то уже *от нее*. И слова врачей, и собственное мое самочувствие, и морфий — все это говорит уже не о жизни. Такое сознание необычайно углубляет мысли и делает душу совсем правдивой... Все это я сказала затем, чтобы ты поверил в истинность каждого здесь сказанного слова, в особую искренность, которая хочет также и безусловного доверия. И вот, поверь мне, Валерий, — это письмо, может быть, последнее из последних мое обращение к тебе. Последний раз я говорю и позволяю себе произносить прежние нежные слова, позволяю себе испить еще раз горькую радость позвать тебя нежно, страстно, прежним голосом.... почти уже без тени надежды в душе. Милый, мой милый Валерий! ведь все это говорю *я*, та, которую ты так любил, к которой написал столько прекрасных стихов, которая когда-то была душой твоей души.... Неужели можно забыть?!.. Неужели нет здесь на земле ничего связывающего людей узами неразрывными и навсегда? Неужели *и ты*, говоря «люблю», «твой», «навсегда», был только страстным любовником, только одним из многих, от чьей «любви» я всегда почти уходила *сама* с горечью, с сожалением, с тоской, говоря: «Не то, опять, опять не то!..» А как я верила и с какой радостью, с какой безумной щедростью отдавала тебе *все*, все, что было во мне лучшего! Ты упрекал меня в эгоизме, говорил, что я только требовала *от тебя* и не давала ничего. Валерий! посмотри, оглянись, вспомни, взгляни на шесть лет моей жизни (да, скоро их будет шесть![6]), как я боролась, страдала, как каждый день расставалась с какой-нибудь надеждой, лишь бы ты был со мной, лишь бы

увидать, что это тебе нужно, что ты принимаешь, а не отвергаешь. Моя жизнь с тобой была длинным и вечно скорбным путем. Первые слова, что всегда произносит любовь: «Будь со мной, будем только вдвоем», — ты сказал точно только затем, чтобы они стали вечной раной моей души. Потом ты медленно, месяц за месяцем, год за годом отнимал все, — а я оставалась... Потом ты сказал, что будешь с ней, а я осталась за вашими дверями уже навсегда.... и любила тебя, как в первый час нашей любви.

Прости! Не надо повторять, не надо вспоминать. Я так тебя любила и люблю, что даже горе и скорбь этой любви стали всей моей жизнью. Но, Валерий, я больше не могу. Я не могу *так* встречаться, я не могу тебя видеть мертвым; подозрение и сознание, что ты приходишь из долга, из жалости и освобожденно вздыхаешь, когда выходишь на лестницу, — убивают меня. Но что я могу сделать! Я умоляю, я прошу тебя, я молюсь тебе: Валерий дорогой, оставь меня! Иди спокойно, я тебя не обвиняю, не проклинаю! Не уничтожай из-за меня твою жизнь. Это не должно делать! Это напрасная мука и бесполезная жертва. Ведь все равно, пройдет еще сколько-то времени и я окончательно не смогу тебя видеть. Я сама закрою перед тобой двери. Пойми, *так* нам встречаться не надо, не хорошо. Так мы убиваем даже прошлое — все, что у меня осталось. Возьми любую из наших последних встреч.. Ужас беспросветный! Холодно, страшно, точно в комнате с покойником. О чем мы говорим? Какие у нас лица? Что в душе?

Ах, зачем это! Не надо, не надо, Валерий!

Милый, я не та, какой ты меня сейчас видишь... Я прежняя! от одного твоего милого прежнего слова я могла бы воскреснуть и ожить. Скажи его, скажи, дорогой! Ведь я люблю тебя, разве я хочу убежать от страданий!? Я буду страдать еще и еше, если ты дашь мне хотя маленькую надежду, что мы будем вместе, как были еще недавно, еще только год назад.

Нет! ты уже не понимаешь меня! Ты думаешь, что я отрекаюсь от всего, что говорила недавно, ты думаешь, что это повторенное декабрьское письмо тоже в дни болезни!..[7]

Не то! И не о том я говорю! Я зову тебя живого, милого, близкого. И если ты придешь *таким*, разве может тогда повториться хотя один час одной из наших последних встреч со всеми их страшными торгами, спорами, «разговорами о любви»?..

И если ты уже не можешь, и ничего у тебя нет для меня, — милый, не нужно тогда ничего, — ни забот о моей жизни, ни

печали о моей гибели, ни вынужденных тягостных визитов. Ты выбрал, ты сказал, — так пусть же не двоится твоя жизнь так мучительно и ненужно. А мне брать от тебя не только подаяние, а даже «*середину*» после того, что было, — самая мучительная казнь.

И я писала напрасно! Не услышишь, не ответишь даже, только как-то сожмешься от предвкушения нового мучительного разговора и будешь смотреть на меня со страхом или лихорадочно говорить о «Рус<ской> Мысли», Эллисе, гонорарах, лекарствах, электричестве и проч..

Милый Валерий, если *нечего* будет сказать, условимся об этом письме не говорить, будто его не было вовсе, а «разговоров» я обещаюсь тебе свято больше не возобновлять никогда.

Никогда еще любовь не воскресала от писем! Разве я не знаю! Но этот час за письмом я чувствовала себя живой. Так всегда, когда я пишу тебе. Может быть, потому так часто мне хотелось писать. Прости!

Твоя.

---

[1] Подразумеваются письма Петровской Андрею Белому (РГБ. Ф. 25. Карт. 21. Ед. хр. 17).

[2] «Злые чары» — название книги стихов К.Д. Бальмонта (М.: Золотое руно, 1906; с подзаголовком: «Книга заклятий»).

[3] Обыгрывается формулировка из заключительных строк стихотворения З.Н. Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею...», 1893): «Мне нужно то, чего нет на свете, / Чего нет на свете». См.: *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. СПб., 1999. С. 75 («Новая Библиотека поэта»).

[4] И.М. Брюсова.

[5] С сентября 1910 г. Брюсов заведовал литературно-критическим отделом ежемесячного журнала «Русская Мысль» (редактор-издатель П.Б. Струве).

[6] Подразумевается время, прошедшее с начала близких отношений с Брюсовым (с октября 1904 г.).

[7] Возможно, имеется в виду п. 277.

293. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Октябрь 1910 г. Москва

Октябрь. Понедельник. Ночь

Я знаю, Валерий, что письма не меняют ничего, но в эти ночи мне так хочется говорить. Без тебя, без тумана твоих нежных слов каждая мысль идет как прямая линия и до конца. Это все старые,

очень передуманные мысли, но, может быть, хотя раз ты услышишь меня глубже, яснее, серьезнее. Итак — ночь. Я не сплю опять, и опять, опять все думаю о тебе. Ты сердишься на меня, даже за твоими нежными словами, как, напр<имер>, сегодня по телефону, я слышу едва скрытую досаду. Ты не понимаешь, что́ со мной. Отчего я в отчаянии, в постоянном, не проходящем отчаянии. Ты не понимаешь, почему я не поющая, ликующая нота в твоей всегда радостной жизни, а какой-то надрывающий звенящий стон. Не понимаешь и в ответ упрекаешь, что я не люблю и не хочу любить сущности твоей души. Мне стыдно повторять перед тобой так часто это слово «люблю». Но, прости, сейчас я хочу говорить о любви. Когда ты упрекаешь меня в непонимании тебя, я обижаюсь смертельно. Это неправда, Валерий! Я вижу, знаю тебя, люблю тебя всего. Кроме любви, которая вытекает из понимания, сознательной и ясной, я люблю тебя еще стихийно, бесповоротно, не знаю почему, не знаю как. Если бы ты изменился весь, — все равно я любила бы тебя и одного всегда. Такова судьба, Рок, «здесь сошлись линии моего предопределения...».

Но ты, весь любимый и дорогой, не любишь меня больше той любовью, без которой я не знаю ничего, кроме отчаяния. Любил меня ты лишь в первый год. Тогда я узнала не только то, что ты любишь меня, но и *как* ты можешь любить. А разве в тебе как в личности изменилось что-либо оттого, что нет *той* Любви и есть какая-то другая, правда, рожденная из первой, но, как говорится, «более спокойная». Ты остался — изменилось лишь отношение. Не отрицай, здесь я больше верю своему внутреннему сознанию и, наконец, фактам, поступкам, чем твоим почти неизменно нежным словам. Не потому ты перестал любить меня так, что сознал какой-то грех перед собой (о, тут не бывает рассудочности!), а просто любви твоей, ее безрассудной яркости был положен срок, указана высота и спуск. Так было суждено и случилось *помимо твоей воли*, — это я утверждаю. И вот этому празднику настал конец, естественно возникший в твоей же душе. У меня неожиданно, ах, как неожиданно, Валерий! оказалось определенное место в узком пространстве, где нельзя повернуться, как в гробу. С одной стороны стена — искусство (как будто не может и не должна любовь сплетаться с ним свободно, нежно и легко!). Но это меня не теснит и не пугает, потому что нет тут чуждого и непонятного, а только какая-то неправильность, какое-то легкое заблуждение, будто Любовь может быть враждебной ему. С другой

стороны — твоя «жизнь», плоскость, где ты соприкасаешься со всяческой действительностью (кроме твоих литературных интересов). И жизнь эта, по твоим же словам, нисколько для тебя не дорогая, властвует, повелевает, намечает все линии будущего, доходит до значения чего-то рокового и непреложного. Ты посадил любовь — нежный и хрупкий цветок — в узком каменном мешке и ждешь аромата, ласкающих оттенков весенней красоты. Все размечено навсегда, все предрешено, всему поставлены границы, крылья всех грез подрезаны плотно и раз навсегда. Любить тебя можно только так, чтоб желаньем никогда не переплеснуться через границы, с благодарностью брать то, что ты даешь от избытка. Вспомни свою любовь 10 лет назад, вспомни еще любовь 1 ½ года назад. Разве ты сам умел тогда *мириться* без боли, разве не доходил ты в своем отчаянии до безмерности? Был ли бы ты счастливым при тех условиях, в каких я в данное время? Разве не знал ты страстного стремления слить в одно две жизни, ничего не разделяя, не выбирая удобного и неудобного, не обсуждая, а безрассудно, просто потому, что иначе нельзя и иначе не бывает? Ты помнишь эти чувства и эти дни твоей жизни? Они были.

Я печальна, и я буду печальной. Ты не любишь меня, как прежде, с той режущей проникновенностью чувства, с теми желаниями и стремлениями, без которых любовь — не любовь. Ты не хочешь того, чего хочу я, и потому не понять и не почувствовать тебе моей печали. У нас нет гармонии и совпадений оттого, что твоя любовь тихо и медленно угасает, а я не могу гаснуть, холодеть, бледнеть вместе с тобой, час за часом, минуту за минутой. Я все еще не могу спокойно, без страшной душевной трагедии понять, что все мои проявления и желания *уже* несвоевременны, что их время прошло и что теперь они кажутся тебе лишь посягательствами на твою свободу, непомерными, невозможными требованиями. Я все еще люблю тебя со всей полнотой, хочу всех осуществлений, как те, которые любят и которых любят. Минутами я не умею быть покорной. Вся душа негодует и изнемогает от границ, условий и полной безнадежности увидеть и почувствовать иное. Тогда я впадаю в безумное дикое буйство, говорю жестокие слова. И ты, не видя пути, которым они приходят, обижаешься, упрекаешь, что *я не люблю тебя!*.. Иногда, как, например, сейчас и все эти дни, я тихо погружаюсь в пассивное отчаяние. И вот думаю: «Чего ж еще ждать со взглядом упорным?» Чего же?

Всегда, всегда у тебя будет своя отграниченная от меня жизнь, *всегда* с ней будет слит нестерпимый для меня облик твоей жены. И наяву, и в снах, в каждой моей мысли о тебе я чувствую ее, как удар ножа в сердце. И думаю я, что если бы мне пришлось увидеть вас рядом в вашей общей жизни, не в мучительных лишь образах воображенья, а прямо, глазами, — я не могла бы больше быть *втроем*, я не могла бы больше ничего. Валерий, и ты все еще не понимаешь силы этого постоянного, никогда не ослабевающего мучительства? Ты хочешь моего счастливого лица, беззаботных улыбок. Но как же я могу, если вечно ношу в душе нестерпимую обиду. Я знаю, что страдаю для *ее* спокойствия и счастья, знаю и чувствую всегда, что меня ты приносишь в жертву ей. Все часы, которые проводишь ты вместе с ней, эти ночи в одной комнате, где рядом две Ваши постели, эта постоянная привычная интимность жизни, *силу которой я понимаю*, — все это для меня страшное, нестерпимое, постоянное оскорбленье. И еще лето!.. Дни, когда буквально она жила и радовалась насчет меня, моей жизни и моего отчаяния. Я не могу быть счастливой, я не знаю радости. Ты был с ней, ты с ней, *ты будешь с ней*. Есть страданья неизбежные. Когда несколько жизней трагически связаны, кто-нибудь должен страдать. Но почему же это я? Почему, Валерий? И, я думаю, потому, что ты не любишь меня. Я не отрицаю твоей любви совсем, если только вообще тут можно делать какие-нибудь уступки. Если бы ты не чувствовал ко мне ничего, ты, конечно, не был бы со мной. Но нет уже у тебя для меня больше той углубленной нежности, *той органической связанности настоящей любви, что боль другого заставляет чувствовать и переживать как свою*. Твоя любовь стала только берущей, принимающей жертвы. О, конечно, все то, что я говорю сейчас, даже в этих достаточно длинных словах не охватывает и наполовину моих ощущений во всех мучительных подробностях. Ведь у меня без тебя есть тоже жизнь, хотя и по-иному, чем у тебя, но она тоже сплелась с любовью. В ней своя гамма мучительств, у ней свои стрелы и иглы. И ты досадуешь, что я не умею быть веселой, ждешь ясных улыбок и смеха..

Конечно, ни мои слова, ни боль, которую я чувствую, не изменит никогда и ничего. *Всегда, всегда буду любить тебя одного*, буду минутами безрассудно счастливой и много, много часов, ночей и дней в отчаянии. Куда мне уйти от тебя, от любви к тебе!!

Но вопрос «чего ж еще ждать?...» звучит все чаще, все беспощаднее и острее. От него мне холодно, пусто и не хочется жить.

Вторник. Я прочла это письмо сегодня утром. Ночные мысли кажутся слишком резкими в дневном свете. Ты рассердишься за ночные слова... Но все равно! Скажи в ответ что-нибудь очень жестокое. Я буду почти рада. Хотя, Валерий, мне не нужно никакого ответа «по существу». Мне хочется только, чтобы ты понял, и больше ничего, ничего.

294. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Октябрь — декабрь 1910 г. Москва

Валерий, дорогой,
не презирай меня за то, что я в отчаянии, в агонии, говорю то «приди», то «уйди, уйди совсем!». Вот я села к столу, все чувства омрачены — хотела написать холодное, злое письмо. Но вдруг опустились руки. Конечно, я *могу* так написать. Но перед тобой ли скрою сейчас мою душу!.. И зачем я буду говорить эти страшные слова, которые в кровь меня же ранят!.. Раскаленный холод наших встреч делает меня немой. А сейчас я одна, я не вижу твоих холодных глаз, и я хочу говорить с тобой, как прежде говорила в счастливые дни. Если тебя уже не может коснуться ни нежность моя, ни ласковость, — все равно это письмо упадет тогда в ящик с моими *недочитанными* письмами, и я останусь одна, одна, как давно, много, много дней.

Милый Валерий, ведь ты же знаешь, что я тебя «гоню» только потому, что слишком люблю тебя *живого*, прежнего, что только таким хочу я тебя.

Подумай, разве мне радость жить так ужасно?! Вспомни, еще в прошлом году наши иные свидания. Ты приходил ко мне работать, ты *хотел* меня видеть, мы бывали вместе радостно, и я не говорила тебе, как сейчас, — «уйди». *Мы были близки.* Это ощущение близости *несказанно*, — его чувствуешь, если близость есть, и о нем тоскуешь, когда она куда-то уходит, уходит, чтобы не вернуться. Боже мой! с какой жалостью я вспоминаю даже прошлый год! Но нет! теперь я *не могу подойти к тебе*, я чувствую, что между нами стоит что-то темное, страшное, непреодолимое, чего *ты* не хочешь, не хочешь назвать. Но ведь *ты знаешь*, потому что это лишь *в тебе*. И если ты знаешь, зачем в ответ на мое отчаяние ты говоришь общие мертвые слова. *Я* все та же. Я только уже

ничего не в силах тебе дать, — ты не берешь у меня ничего!.. Во мне сдавлены все возможности быть для тебя чем-то нужным, желанным. Я уже не упрекаю тебя за твои поступки. Бог с тобой! Отнимая у меня «слишком большие радости», возьми... Я все прощала тебе за 6 лет. Откуда бы ты ни приходил, я встречала тебя с неизменн<ой> любовью. Сколько раз *ты* отрывался от меня, уходил, предавал... Я все простила. Ничто не могло победить, сломать и даже утомить моей любви. Наоборот, после каждой временной утраты я любила еще сильней и все была готова забыть за радость твоего возвращения. После этого лета я была оскорблена, унижена, огорчена как никогда раньше. Ты знаешь... Но если бы ты захотел — одним твоим словом ты вернул бы все — близость, нежность, доверие — всю мою душу, верную тебе навсегда. И прежде после «отречений» *ты* возвращал<ся> ближе и нежнее, словно чувствовал и хотел загладить вину. Но прежде ты *от меня* уходил к ней[1], а теперь *от нее ко мне* — и это *я* — грех, вина... Милый Валерий, со всем кроме *этого* можно примириться и жить. О, Боже мой, не будь *ее*, не будь этого *выбора* (тайного — ты не сознаешь<ся>), я была бы готов<а> искать причину твоей перемены даже в себе. Может быть, *я* не умею тебя найти, м<ожет> б<ыть>, я стала однообразна, скучна, эгоистична.. и утомляет тебя моя вечно грустная любовь. Сколько раз была бы я готова еще измениться, сломаться, согнуться. Все, все — лишь бы сберечь тебя, твою любовь. Милый Валерий, ты видишь мою боль, мое горе! Ты видишь, как в агонии я кидаюсь от решен<ия> к решению. Я делала все, пока не упали силы. Была кроткой, нежной, немой, каждым движен<ием> хотела напомнить тебе прежнюю *нашу* жизнь. По одному твоему слову воскресла *та* из прежних, которую бы ты позвал, и *новая*, совсем новая — лучше, ближе тебе, связанная с каждой частицей твоей души 6 годами любви и горя. Но все не нужно, и ничего ты не хочешь! Я стою перед железной запертой дверью, я так стучу, что руки в крови, но не отворяют...

Пойми что-то, Валерий!.. Не знаю уже что! Ты все видишь, все знаешь и приходишь чужой. Я не знаю больше слов, чтобы звать тебя. Смешно и позорно кричать: «Люби, люби меня!», когда человек разлюбил. Но ты, ты сам уверил меня в эти годы, что мы связаны чем-то *вечным*, непреходящим, что в нашей любви есть нездешнее, чему нет и не будет конца даже по смерти. И только эта вера еще жива во мне, несмотря ни на что внешнее, ужасное. Разве я не нашла бы на земле того, чего ищут все люди, — наслаждения, страсти, покоя, тепла, уюта? Разве мои радости с то-

бой не равнялись страданьям! И если бы не видеть в этой любви идеального, несказанного, ради чего должно страдать, — нужно давно было бежать, бежать и от тебя, и от твоей любви.

Всегда, через все мои испытания меня утешала мысль и сознание — *это навсегда*, это первая и последняя моя любовь, это мой рок, крест и благословенье.

До последних месяцев я так думала и могла жить. И если *все* в тебе умерло и я для тебя — ничто, — должно ли нам оскорблять тот священный образ прошлого? Пусть не удалось! не сбылось! но не нужно оскорблять память, не нужно подделок...

Ах, услышь меня! Я говорю так правдиво, так искренно и любовно.

Ты *сам*, верно, не скажешь мне последней жестокой правды. Ты даже в эти последн<ие> недели говоришь противоречивые слова: различные настроения. Но ведь я растеря<нна>, разбита, я в отчаянии. Мне необходимо решиться на что-нибудь твердо, а ты шатаешь мои мысли, соблазняешь меня, приводишь в отчаяние и утешаешь — все в одно время. То ты говоришь, что *я с тобой* только потому, что «ты гнал, а я не уходила 6 лет», и что даже для моего спасения *сердечно* не дал бы «трех недель», что все интимное, близкое кончилось навсегда, то говоришь: «Без тебя кончится вся моя жизнь и я буду смертельно тосковать», или: «Ты мне необходима, *ты* близка, а она — привычка, дурная слабость»... Валерий, пойми, — это соблазняет, томит, качает между жизнью и смертью. Мне нужно одно окончательное признанье. Отпусти душу! Я не могу так страдать. Пожалей меня, как жалеют любимых собак, когда они слишком страдают. *Или уйди, или вернись!*. Но уйди так, чтобы это было действительно *навсегда*, чтобы моя жизнь канула для тебя в полную неизвестность. Или вернись! Вернись, милый... Ты забыл меня. Ты забыл, что нет на свете более тебе близк<ой> души, что нет вернее любви..

Пусть ты оттолкнешь меня! Я знаю — оттолкнешь. Но мне не стыдно звать тебя. Это единственн<ая> молитва моей души, она не может унизить меня, если даже ты рассмеешься за моей спиной, обнимая ее. Ты забыл, как бывали мы счастливы!

Я смешна! Я говорю: «Люби! люби меня» — тому, кто разлюбил.

Не убивай меня медленно.

Или расстанемся совсем, или пусть будет чудо, пусть придешь ты близкий, мой.

Валерий, я прошу серьезно, я на коленях прошу тебя — что-нибудь одно.

Прости, иногда не знаю, что пишу. Голова горит, дрожат руки, лихорадка.

Твоя.

Пятница.

---

[1] То есть к И.М. Брюсовой.

295. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Вторая половина ноября — декабрь 1910 г. Москва

Прочти все, пожалуйста....[1]

Пятница, ночь..

Дорогой Валерий,
видит Бог, я не хочу с тобой «ссориться», не хочу этих ужасных дней, когда я не могу ни жить, ни дышать, ни заниматься работой. Я утомлена смертельно. Теперь вся жизнь моя только одни преодоленья. *Я должна каждый день вырывать у себя желан<ие>* надежды, радости, потому что лишь этой ценой могу быть возле тебя. Я уже не знаю, что такое радость, что такое любовь. Терпение и страдание — вот два слова для меня. Однажды ты сказал, что не видишь, *чем же* (?) так печальна моя жизнь. Ах, поверь, Валерий, — более печальных дней я не знала.. Но все, все я выношу за разорванные, короткие, случайные минуты с тобой. Я не знаю, что мне у себя еще отнять... *Как* мне быть с тобой, чтобы ты не укорял меня в чем-то? Я делаю все, все, чего *не могу*, я живу без жизни, я люблю без любви, я двигаюсь, стараюсь быть живой при полном упадке всех телесных и душевных сил. Этой осенью я в последний раз ужаснулась над своей жизнью. Последний раз говорила и себе и тебе — не могу, не хочу. Потом опустила голову, махнула на все рукой и одному чувству, одному несчастью подчинилась почти безропотно. Вспомни меня эти месяцы! Можно ли быть более кроткой, безвольной, пассивной? У меня осталось воли и желаний ровно настолько, чтобы все же казаться человеком, а не тенью. Я почти никогда не противоречу тебе, если я

вижу, что мои суждения, мнения, отношения в жизни не нравятся, неприятны тебе, — я тотчас же стараюсь убедить себя, что прав *ты*, а ошибаюсь я. Во внешнем — взгляни, — чем стала моя жизнь... Ожиданием, дневным и ночным ожиданием, что ты бросишь мне случайно (если останутся) ½ ч<аса> в <день?>. Что придешь откуда-то, уже весь механический, и по инерции будешь продолжать 2 часа назад начатый разговор. Уже ни слова о личном, об интимном, уже ни одной минуты нежной, настоятельно нужной близости, а так... не знаю, зачем, не знаю, почему придешь без всякого интереса ко мне, без любви, без жалости, без желанья *быть радостью*, утешить, успокоить. Придешь с часами в руках и уйдешь по часам (я знаю, что ты здесь возразишь в частности, но и я отвечу тебе, что *уже все* — важное и неважное, большое и до смешного малое, традиции, визиты, иногда «полунужные» встречи, — все стало впереди). Если *после всего, всего*, что только может придум<ать> для тебя за неделю жизнь, у тебя *остается* ½ ч. — 1 ч. — ты приходишь. И *всюду* ты идешь с сознанием большей необходимости, чем ко мне. *Мне* говорить *тебе*: «Чувствуй иначе, ставь наши свидания надо всем», — смешно и жалостно. И пойми, — не об этом я говорю, *уже* не в этом укоряю. Я долго не могла после нашей прежней жизни принять этого мучения. У меня буквально разбаливалась голова от напряжения таких встреч, у меня билось сердце, я не могла себя успокоить... Но всем я пожертвовала, вырезала из сердца *все желания*, которые хотели хотя на каплю большего. (Ну, посмотри, — *чего* я спрашиваю с тебя? Где мои желания? Знаешь ли ты их? Говорю ли о них?) Но что-то, минимально уже живое, но все же живое во мне осталось. Ведь иначе я и *так* не могла бы жить. У меня остались «желанья»... другие уже, тюремные... в пределах решетки, из-за которой я смотрю на тебя и на жизнь. Отказаться от них, от этих последних выражений, что я все же жива, — право, значит уже и не жить вовсе, никак не жить. Мне отказано во всем, что иногда радует людей, в чем отдыхают люди. Все это названо «внешностью» и у меня отнято. Возьми! Разве могу я спорить, рвать насильно, требовать? Я уже больше не слушаю никаких твоих обещаний. Никаких! Все равно — знаю, по «самым основательным причинам» или отдашь ей[2], или сделаешь так, что не будет никому. Я *сосчиталась* с моей жизнью около тебя. Я приняла и свою собственную скудную, обделенную, до ужаса размеренную, лишенную *всех* радостей, каких я хотела когда-то, — жизнь. Но ведь лишь из-за

чего-нибудь можно так жить. Нельзя принять — *только* боль, боль и боль ночи и дни. Я поверила (который раз), что и здесь, в жизни жестокой, печальной, у меня останется одно, только одно — твоя близость. Мне показалось возможным вырвать наши чувства из всего этого, возвысить их, утончить, расширить наперекор судьбе и действительности. Я думала: ну пусть он с той — это боль, обида, унижение, которые терзают меня каждый миг, это чувства, от которых я не освобожусь никогда, — но ведь есть нечто высшее в наших сближениях, недосягаемое для нее, не принадлежащее ей, то, на что она не может даже поднять глаз. Я стала искать в себе чувств воистину высоких, последних откровений любви и страданья... И мне думалось, что ради этой нашей близости, близости, почти незнакомой людям, стоит и мучиться, и преодолевать дни, как дни тюремного заключе<ния>. Подумай только, Валерий, как далеки мои слова от прежних! Пойми только, *чего* я хотела? И когда мы стали часто видеться и вновь сближаться, я радовалась, как только могу сейчас радоваться. Было еще много мелких мучений, и неровностей, и обид, но всё, всё, все горькие чувства я таила от тебя. Думала, — он болен, расстроен, я не буду его огорчать, все сложится постепенно, я уйду сейчас в тень. Пока.. Пока.. А после будет иначе... Так я думала, милый Валерий, такой я была долго, пока как-то (в дни похорон Толстого[3]) не расстроилась одной твоей внезапной, для меня беспричинной переменой. И вот когда уже поняла я, как напрасны были мои надежды и как горько я обманулась. Оказывается, ты думал, что я «просто-напросто» успокоилась без всякой сложности, без боли. Это только первое.. А второе было хуже: — лишь я заговори<ла> *о себе*, интимно, серьезно, как говорят с близкими, — ты сию же минуту весь переменился, не стал меня слушать. И только одни слова жестокие и холодные говорил в ответ: «Я устал, я больше не могу, если ты не можешь быть иной (т.е. улыбаться от боли), то... Ах, опять то же! Конечно: тогда уйди, я жизни своей не переменю и бóльшего *для тебя* я сделать не могу». Проще сказать, — опять *гнал* меня куда угодно, но прочь от тебя, чтобы я не тревожила спокойствия твоего и *вашего*. Валерий, ты теперь все забываешь. Ты забыл и эти дни и разговоры. Но я помню, и помню, что опять сломила себя, опять с покорностью наклонила голову. Милый, дорогой мой Валерий, я совершен<но> не знаю того предела, до которого я могу страдать и прощать тебя, если у меня будет хотя маленькая уверенн<ость>, что «все же» тебе я в жизни нужна. Так

говорю *я*, сознательно и искренно. Но ведь есть во мне, как в каждом из нас, что-то неизъяснимое, такое, что может погибнуть без моей воли. Я уже смертельно устала, я едва выношу смены «жестоких» и «счастливых» недель. Я переживаю все так остро, на такой глубине всего моего существа, так надрываю свои телесные и психические силы, что в какой-то день *у меня* не окажется больше ничего. Я не смогу продолжать двух дней такого напрасного порывания что-то создать, чем-то поправить разрушенное и все, все, что делаю сейчас. Ты перестал меня замечать, но, веришь ли ты, — иногда я с тобой как настоящий автомат. Говорю, двигаюсь, интересуюсь по памяти, а внутри провал, — ничего нет. Валерий, Валерий, моя любовь вынесла много, много горя в прошлом, и у нее нет ни будущего, ни настоящего на земле. (Ты скажешь, будто «на земле» и не нужно? Ах, неправда — нужно *все* до последней мелочи...) Страданье, может быть, только создало ее новую душу, наделило ее новыми способностями. И если я *теперь* говорю: «Возьми мою любовь», — я предлагаю тебе ценность подлинную. Я сберегла ее, пронесла через все, может быть, ты сам это видишь и хотя сколько-нибудь ценишь... И если ты «ценишь», если хотя «как-то» нужна тебе жизнь со мной, *нужна*, по-настоящему нужна, — не убивай ты ее! Я скоро, скоро не сумею протягивать тебе руки с такой страстностью, звать тебя так нежно и неотступно. Из каких-то последних, последних сил пишу эти письма, что-то объясняю, уверяю, зову, кричу. Подумай, подумай, — *о чем* я прошу тебя теперь. Чего хочу? Близости, близости твоей, которая не нарушала<сь> бы каждый день неведомо чем. Ровной, тихой, простой нежности, доверия, твоего сознания, что действительно *я, я* самая близкая тебе в мире душа. Хочу уверенности в этом, хочу, чтобы каждый день не открывались какие-то смутные тайны *тех* твоих отношений. Если я пошла с мужеством на все невозможное, — неужели, Валерий, только этим хотя я не заслужила, чтобы мне *показывали* в картинах, в образах все то, рядом с чем решилась я жить? Пусть самое страшное для меня... Ведь жалость и пощада *здесь,* всегда купленные обманом, меня только обижают, унижает <так!> мою душу. И если ты решился *делить* себя, отчего ты не сделаешь этого так холодно, чтобы после не жалеть ни там, ни тут, не чувствовать раскаяния, если кому-то дано было больше. Ах, пойми, Валерий, весь смысл этого письма. Оно все об ином, оно не похоже на прежние. Прислушайся, *чего* те-

перь хочу я... Помнишь, на диване у меня, как вдруг и разом ты изменился? Ты сам резко отметил свою перемену. И не понимал, и был со мной точно едва проснулся от какого-то волшебного сна. Этот *момент* ты заметил, а что было *перед ним*, — словно выпало из твоей памяти. Так, поверь мне, — было ужасно! Ты был чужой, холодный, жестокий, смотрел на меня стеклянным, невидящим взглядом, не слышал голоса, не чувствовал моей души. И *так теперь бывает неделями.* То ты меня целуешь, то я вижу, что тебе неприятны мои прикосновения, то спрашиваешь, интересуешь<-ся> мной, то забываешь, будто меня нет. Потом опять «встреча», опять твои изумленные глаза, опять короткая нежность, свиданья... И через три дня приходишь чужой, с отвращеньем переступаешь порог, формально сидишь час-полтора.

Валерий, милый, дорогой мой Валерий! Я не могу! Я не могу! Я не спрашиваю с тебя ничего запретного, заказанного мне навсегда, я никуда больше не рвусь из тюрьмы. Хочешь, буду сидеть в ней до смерти, ты уезжай с ней, отдавай ей что хочешь, отними у меня *все*, что называешь «внешним». Я буду так жить, *насколько* хватит сил. Сейчас я этого не знаю, сейчас я не могла бы сказать определенно за неделю вперед, на сколько меня хватит. Попробуй, испытай силу человеческой любви, подвергни ее всем испытаньям! Но пока ты *этого* не делаешь, пока ты считаешься со мной «как можешь», пока приходишь каждый день, — измени, измени, ради Бога, что-то! От твоих перемен, от твоей внезапной сухости, от всех жестоких и холодных чувств, вдруг переходящ<их> в нежность, в ласку, в заботливость, — от всего этого во мне ломается последняя решимость. У меня опускаются руки, я не понимаю, не знаю, за что меня ласкают, за что меня обижают. У меня в душе чувство запуганной собачонки. Клянусь тебе, Валерий! Я ничего *не смею* даже в пределах, мне данных, я боюсь сказать ничтожное мое желание. Я смотрю тебе в глаза с чувством какой-то отвратительной угодливости, за которую сама же себя ненавижу. Я не хочу так чувствовать! Я не хочу тебя бояться, я не хочу рабского самоощущения. А ловлю себя на нем постоянно. Я способна на все другое, я умоляю тебя — возьми *это*, Валерий! Не убивай, не надрывай совсем моих внутренних сил. Дай мне почувствовать какое-то *право* жить с тобой и не думать каждую минуту, что вот-вот ты все отнимешь или придешь таким, с такими словами, что я сама не смогу оставаться. Я знаю, что сейчас

насильственно «втаскиваю» тебя в круг мыслей и чувств, от которых ты «отмахиваешься». Но, милый Валерий, не машина же ты для писанья стихов, статей, драм, рассказов и проч. и пр.! Есть у тебя живое сердце?! Подумай, поверь в обнаженную мою откровенность, разве *так* можно лгать и в таком ли я состоянии, чтобы *преувеличивать*?.. Я обещаю, я могу, могу еще обещать тебе все лучшее, все возвышенное, жертвенное моей любви. И если *и ты* хочешь (спроси себя!) быть со мной — измени нашу жизнь. Подумай, немного подумай надо всем. Я знаю, как морфий опускает свой железный занавес между чувствами и действительной жизнью, знаю меру оцепенения ума и души от его влияния, и все это учитываю, и прошу тебя, милый, милый Валерий, через «него» посмотри на меня!.. Я в отчаянии! Я больше не знаю к тебе дорог! Я искала их, и вот все, что у меня осталось, — самое призрачное, неверное — *слова*.... Я не хочу «ссор», тишины, нежности, несказанной близости я хочу с тобой. Возьми все для нее, чего ты не хочешь мне дать, но себя, тебя самого дай мне, дай приблизиться к твоей душе.

Ах, неужели тебе бы не было жалко, если бы я стала совсем деревянным автоматом, веселой куклой, из которой вынули все пружины, мотающей головой куклой?..

Я так берегу последние возможности, что нам остались. Я не хочу расставаться с ними, не давай их пожрать пустоте, страшной жизни, в которую ты вошел.

Что могу я сказать еще?! Пойми, — не о пустом, не о житейском и вздорном я прошу. *Так* жить нельзя. От недели до недели... Собачка, которую то берут на колени, то кидают об пол — вот я сейчас.

Милый, милый, милый... неужели только гнев, только досаду за «длинноты» вызовет в тебе это письмо? У меня нет других способов говорить. Ты обрываешь и уходишь, когда я только начинаю.

Прости, если длинно, если скучно! Я не думала об этом, когда писала. И сейчас после 3 $^1/_2$ листов мне все кажется, что нужного, главного я не сказала. Если тебе будет неприятно письмо, если ровно нечего сказать и сделать в ответ, — не поднимай о нем разговора вовсе. Я так прошу тебя, милый Валерий. Я не обижусь *на это*...

Твоя.

Неточность, бессвязность в нем, верно, от лихорадки. Очень плохо сейчас мне.

Я перечла это письмо *утром*, и мне страшн<о> его посылать. Если у тебя не будет желания его читать, не вынуждай себя.

[1] Приписано после завершения остального текста письма.

[2] То есть И.М. Брюсовой.

[3] Похороны Л.Н. Толстого в Ясной Поляне состоялись 9 ноября 1910 г.; Брюсов участвовал в них (его очерк «На похоронах Толстого» был опубликован в № 12 «Русской мысли» за 1910 г.; см.: *Брюсов Валерий.* Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 7—16), возвратился в Москву 11 ноября (см. его письмо к П.В. Быкову от 12 ноября 1910 г. — ИРЛИ. Ф. 273. Оп. 1. Ед. хр. 709).

296. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

28—29 декабря 1910 г. Москва

Я написала тебе длинное письмо, ты его взял, но я потребовала назад и сейчас раскаиваюсь. Все это мне нужно сказать тебе, — это итог целой жизни, шестилетних мук, это последние страницы из книги горя, зла и обмана. Ты болен. У тебя может быть измененное самоощущен<ие>, но ведь это случайность, почти не имеющая влияния на «нашу» жизнь. *Для меня* эта твоя болезнь имела то значение, что в дни покинутости, в дни унизительного положения «маленькой любовницы», не смеющей быть рядом с тобой, я сознала всё с последней уничтожающей ясностью. Да, такие дни определяют мою роль.... С тобой *близкие*, с тобой жена, сейчас не время «для удовольствий», сейчас ты под надежным семейным кровом, и если бы ты умер, — я узнала бы об этом по телефону, а увидала бы тебя с другой стороны тротуара твоей улицы. Словом, моя роль определилась... И когда я рвусь в ужасной, безумной тоске, униженная завистью, ревностью, страдаю от невозможн<ости> быть тебе нужной, близкой, нежной, заботливой, засыпать и просыпаться рядом с тобой, отдать тебе всю, всю себя, подчинить мою жизнь твоей воле, желанью, капризу, — в один из таких <дней?> вдруг я прозреваю и хочу тебя только ненавидеть, только проклинать, потому что все мои муки созданы тобой, потому что дни твоей болезни только одна из подробностей той ужасной, бесправной, унизительной жизни, которую выбрал для меня *ты, ты,* Валерий.... И это *ты* хотел, чтобы всегда была с тобой она, и это ты прогнал меня, ты обрек на все муки!... В минуты такого ясного сознания моя любовь становится ненавистью, проклятьем, и нежность мою, которую ты

променял на отношения этой глупой, вздорной, эгоистичной, пустой «Матильды»[1], я чувствую как отточенный нож, что вонзается в мое же сердце. Теперь для меня уже нет сомнений. Ты сам рассказал мне день за днем с большой жестокостью и правдиво *все как было*. И наконец я отличила *то, что было*, от того, что мне казалось, во что я верила все эти шесть лет. Много раз я уже подходила близко к этому окончательному выводу, но ты всякий раз старался разуверить, усыпить, успокоить, отказывался от собственных слов, — и опять все тянулось до какого-нибудь нового мелкого и крупного события, не оставляющего сомненья. Но так не может тянуться. Как в большом, запутанном, сложном и противоречивом судебном процессе, наконец, собраны все материалы, данные и «вещественные доказательства». «Суд уже заседает», и еще только несколько последних дней может длиться непреодоленность. Буквально *дней*, уже не лет... Не осталось темным ни одного уголка. Я получила от тебя прямые ответы на все. Я требовала их, не щадя себя, и, благодарю, ты, кажется, уже не скрыл ничего. Я вновь переживаю *нашу* жизнь, иду по ней, день за днем восстанавливаю в памяти все ее детали. Мне кажется, точно я вышла из дому в Мерзляковском пер. на первое тайное свиданье с тобой и возвратилась уже в эту зеленую комнату. Итак: — первый год была «твоя игра» и «мое непристойное поведение»... Ты «оборвал бы все, если бы знал, что я тебя полюблю», но этого не мог учесть, и вот случилось то, что случилось, мы оказались «*как-то*» связанными на шесть лет... У меня, Валерий, до этого недавнего твоего признания только и оставалось одно гордое и прекрасное утешение, что мы связаны прошлым, что *мы* пережили исключительные чувства, поднялись разными путями на такую высоту чувства, за которой уже нет иного пути, кроме — смерти. Ты рассказал все это в «Огненном Ангеле» такими словами, с таким волнением, что люди грубые, пустые, суетные, не зная истинной нашей драмы, трепетали, лили искренние слезы, читая ее страницы. До этого твоего отрицания прошлого у меня оставалось, как я думала, неотъемлемое счастье чувствовать себя связанной с тобой неразрывно, глубоко именно *этим прошлым*, над которым ты жестоко насмеялся теперь. Ты еще не понимаешь вполне, *чего* ты меня лишил, *что* вынул из моей горькой, обездоленной жизни. Но Бог тебе судья! Ты дал, — ты же и отнял... Так мы покончили с первым годом. Потом встреча после Финляндии[2]. Я стыжусь ее вспомнить... Я была, верно, еще слишком наивна, я не

чувствовала камня, спрятанного у тебя на груди, и несла мою любовь доверчиво, как дитя. Но ты в ответ на нее нес «месть»... Ах, эта встреча в дождливых сумерках августовского дня. Ты небрежно привел меня в наемную комнату грязного приюта любви, как «девочку с бульвара», чтобы, встав с постели, вернуться домой и забыть «эту грязь»... Помню, как сжалось сердце в самые первые минуты, помню лицо твое, слова: «Мне некогда, я должен расставлять на полке книги». Это после 1 ½ месяца разлуки. Я пошла как оплеванная и всю ночь думала над этой встречей, но была далека от страшн<ой> правды. И в этот день, именно в этот день ты совершил непростительную вину. Скажи ты мне тогда просто, с искренностью, достойной моей любви: «Нина, я понял, что не люблю тебя и что люблю *не тебя*. Я вновь сошелся с моей женой. Вернувшись от тебя, я был ее любовником, я сблизился с ней духовно, и ты мне больше не нужна, — уйди»... Я не знаю, как я пережила бы твои слова. Может быть, я возненавидела бы тебя, м<ожет> быть, умерла бы, м<ожет> быть, отойдя, употребляла бы все старанья тебя забыть, — но эти слова были верным средством оттолкнуть меня безвозвратно. И все, все, что началось бы для меня на другой день, было бы лучше той бесславной, медленной гибели, к которой привела меня твоя систематическая шестилетняя ложь. Но ведь ты хотел «мести», и, конечно, тебе было жалко отпустить меня, не замучив, не предав всем распятьям мою душу... Этот год «мести» завершился бегством в Швецию[3]. Ты говорил иногда, что бежал «от мучительств», а думал ли ты, понял ли ты, *что* было причиной «мучительств»? Ты был их причиной, твоя двойственность, ложь, обман, с которым не хотела, не могла мириться настоящая, большая, чистая и искренняя любовь. «Я надеялся, что все будет кончено, уезжая в Швецию», — так сказал ты вчера. Да? Но зачем же тогда ты узнавал обо мне, писал, позволял мне рассказывать в письмах о моем горе, ревности, тоске и всех муках, что пережила я без тебя? В Швеции ты, верно, пресытился ею, — уж такая у тебя зыбкая, неверная душа, и моя любовь, ее образ, печальный, красивый и непобедимый, пленил тебя снова. Мое прощение, моя нежность, с которой я встретила тебя, потрясли твою душу, и ты на коленях каялся передо мной в твоей «непростительной вине». К зиме ты позвал меня в Петербург[4] и там говорил: «Я оставлю ее, лишь продам дом, я только не могу оставить ее на улице...»

Потом опять потянулась цепь обманов, предательств и лжи. Зима революции...[5] Ты прятался от меня, ты почти издевался надо мной, Валерий, в те страшные для меня дни. Я пережила их!.. Летом этого года меня услали в Варшаву[6], но путешествие было неудачно, и я жила у Ходасевич<ей> в деревне[7], а ты, конечно, все с ней и с ней.

И вот наступил последний мой год жизни с Сережей в д<оме> Голицына[8]. Безобразная жизнь, метания из стороны в сторону, хаос, жажда забыться — все равно с кем, все равно где, лишь бы хотя единую минуту не страдать от образов, мыслей, видений. Карты целые ночи напролет, рестораны, вино, «любовники», как называл ты людей, что словно вороны кружились над неживым телом, над телом, лишенным души... Ты не приходил по 14 дн<ей>, у тебя было «столько работы», когда я ждала тебя на 25-градусном морозе, а ты путался с грязной бабой — с Любовью Столицей...[9] Ты можешь сказать, что я делала *худшее* тогда, но неужели чьи-то всевидящие глаза не видали меня настоящую, мое безмерное сдавленное отчаяние, мою тоску по тебе все часы, лишь открывала я утром ресницы?!... Сцена «в Мокром»[10] тяжело действовала на тебя с подмостков, а она повторялась для меня в измененном виде почти в каждую из тех черных ночей. Я сознательно унижала себя, надрывала мою нежную безграничную любовь, мою отвергнутую любовь. Возвращаясь на заре из загородного кабака с кем-нибудь из тех, кто хотел меня пригласить к себе в номер, я смотрела, как на снегу ложились синие тени утра, и думала: *у них* в спальне ложатся они сейчас на занавесках, в вашей спальне, где тихо, чисто, спокойно, где не пахнет перегаром вин и табаком, где вы спите рядом, близкие, связанные навсегда... Отчего же *меня* он бросил в этот ужас, в этот огненный хаос, в эту раскаленную боль!? Отчего *меня* не бережет так, как ее, — жену, любимую — «нежное деревце, выращенное своими руками»?! Ты презирал меня в тот год, ты называл все это «низменными удовольствиями» и не понимал, не понимал, что это в муках изнемогала и билась отвергнутая, ненужная, но прекрасная любовь. Прошло лето.. Я помню, как собирала я вещи, расставаясь с Сережей. Был жаркий и син<и>й июньский день, в кухне выл околевающий Вальтман <?>. Тоска, тоска смертельная, ужас перед будущим, одиночество, пустота в груди. Ты в эти дни катался с ней по Волге....[11] И вот мой первый год без Сережи.... О, как старался ты мне показать «неразумность» моего шага!. Как ясно ты

показывал, что все останется по-прежнему и ты не переменишь нисколько способа жизни. Я думала тогда тайно, думала в моей наивной нежности: вот я одна, и нет нужды нам встречаться на бульварах, в грязных номерах, верила, что ты будешь чувствовать себя «chez soi»* в этой *моей* маленькой квартире. Мне виделась новая жизнь, я думала, что мое жилище будет твоим вторым и любимым домом. Тогда я уже не надеяла<сь> на роковую перемену *твоей* жизни и, поборов в себе многое, хотела создать тебе около себя все возможное спокойствие, обстановку для тихой серьезной работы. Разве не видал ты в моих глазах этой скромной надежды и немой мольбы: — приди, возьми, вот моя жизнь, сделай с ней все, что ты хочешь. Но ты *от меня* не хотел взять ничего!.. Что мешало тебе тогда успокоить хотя немного, украсить, обрадовать мою жизнь? Я думала тогда так радостно — вот наконец *я вся его*, и все, что меня окружает, будет подчинено его малейшему желанью. А ты, Валерий?.. В этот год ты уверил *ее*, что между нами все кончено и мы не видимся, приходил ко мне тайно, случайно, ложился в постель, как с публичной женщи<ной>, и вставал с нее далекий, ограждая крепкой стеной все интимное, твое, *ваше*... Ты каждым движеньем говорил мне без слов: «Не воображай, моя милая, моя жизнь никогда не сольется с твоей, и теперь, особенно теперь, я должен успокоить *ее* и показать, что твой развод для меня ровно ничто». Сколько вечеров прорыдала я в этой квартире за пустым писменным <так!> столом, где так мечтала видеть тебя за работой в синей моей любимой рубашечке, которую она сожгла, — тебя «домашнего», близкого, родного, моего!... Боже мой! Боже мой, зачем мне было дано так много нежности, такая потребность быть любимой и, любя, отдать самой всю душу, всю заботливость, все то, что мущины берут у женщин с благодарностью, как счастье!? Зачем я не родилась кокоткой или холодной, эгоистичной, хищной, смотрящей на «мущину» как на средство удовольствий и жизненных благ!? Отчего все то, что берут у других, ценя, с благодарностью, ты отверг и еще оскорбительно назвал «притязаниями», «преувеличенными требованиями»? Ведь я хотела *давать*, хотела служить тебе, окружить тебя всем тем, что тебе воистину нужно, а ты говорил, что *я* требую!.. *Я* требую!.. Подумай, Валерий, какая трагедия! *кому* принесла я мою первую, полную, всю еще нетронутую, совсем чудесную любовь? Челове-

*У себя дома (*фр.*).

ку, который держал на груди спрятанный камень и любил другую!! Помнишь ли ты, через 6 лет, почему моя любовь стала моим и твоим «мучительством»? Ты ведь давал мне в ответ остатки, клочки после «дележа», ты никогда не мог и не хотел назвать меня «своей», любимой перед собой и перед миром. У тебя *никогда, никогда* единой минуты не было ко мне подлинной любви, той любви, которая говорит любим<ой>, желая дать все, что может: живи со мной, будь моей *вся*, со всей твоей жизнью, слейся со мной, — будь *моей женой* в самом истинном, самом прекрасном и *полном* значении слова. *Так* говорит всякая любовь, — мужики и эстеты, глупые и умные, поэты и «торговцы салом», — все говорят это, встречая женщину, которую они искренне и без расчета любят...

Ужасен был год в д<оме> Толстого.. А мог он быть иным, если бы *ты* этого захотел. Чтобы избавиться от меня хотя на два месяца, ты дал мне денег на поездку с Ауслендер<ом>. И, как объяснил недавно, — «именно она послужила причиной твоего летнего бегства *с ней*»...[12] Стыдно, Валерий, так лгать! Ты забыл, как говорил мне у Саввы Звенигород<ского> в монастыре[13], что поездка эта обещана была давно, годы назад... Страшно вспомнить то лето.. Какое горе, отчаяние, какой внутренний ужас может пережить человек!. Бросить меня в таком состоянии ты мог, только не любя, вовсе не любя, желая моей смерти или какого бы то ни было избавления от меня. Ты признавал<ся> после, что хотел оставить меня совсем. Да? Но зачем же тогда ты оглянулся назад? Зачем назначил свидание в Бресте[14]? Я уже не думала тогда ни о чем опять, кроме того, что убью и тебя и себя, и ты сам, ты позвал меня. Я подошла к самому темному в собственной душе, к тому, чего не понимаю до сих пор сама, — к встрече с Робером. Как могло случиться, что, ожидая тебя и готовясь к страшному делу, я вдруг точно рассталась сама с собой, точно потеряла себя? Было так непривычно, так странно сладостно слышать давно уже не слышанные нежные и страстные слова на чужом языке. Они звучали мне настоящей музыкой, усыпляя волю и сознанье. Я встретила его в тот вечер, когда хотела уехать, не дождавши<сь> тебя. Помнишь — ты опоздал дней на 7. Сосредоточенность решен<ия> рассеялась. Силы упали... Это был настоящий дьявольский соблазн. Судьба подошла ко мне в нем. Ведь не будь его, я не прожила бы парижского изгнанья. Но разве не отомстил ты и за это!? Помнишь (не зная истины), ты бросил меня одну, жестоко больную, в клинике, в чужом городе, почти без возможности доехать до дому по-

человечески. Я ехала голодная в третьем классе, *сутки* от Парижа до Берлина и 2 ½ суток на почтовом поезде от Варшавы еще едва живая, и мне не что было не только есть, но просто велеть принести воды...[15] Разве заставил бы ты пережить хотя что-либо подобное *ее*?! Нет — «Каина дети»[16] все могут, их не спрашивают: «Вынесете ли вы это?..» И после еще одно свиданье в Намюре...[17] Опять безжалостный, жестокий, мертвый, чужой, ты бросил меня, чтобы не огорчить ее отсутствием. А как я просила тебя подарить мне еще одну только ночь перед долгой, долгой разлукой.... Я в Париже... Новая жизнь... По монмартрским кабакам влачила я здесь мое горе, но пришел день, когда *я* твердо решила расстаться *с собой* и *с тобой* и похоронить себя в Бресте. Я не лгу тебе, клянусь тебе, Робер мне предлагал серьезно, умолял быть его женой. А что ты ответил на это? — «Твое место там, где живу я, — твое единственное назначение — литература. Приезжай, я клянусь не обижать тебя больше, я буду о тебе заботиться всячески, — только сочтись <?> с одним фактом, *с формальностью*, с исторической печальной необходимостью». Могла ли я сказать «нет»? Не забывай, что я любила тебя.. И я поехала, рыдая, в ужасе... Боже, как ты меня встретил! Я не верила себе, своим глазам... Все вернулось, ты пришел *моим*, близким, нежным... Счастье мое вернулось! Я не смела протянуть к нему рук... Но через месяц я поняла, каково мое «счастье». У тебя было рассчитано ровно на месяц все — добрые слова, ласки, нежность, заботы и даже... деньги. Через месяц я уже спала без подушки в раззоренной квартире мамы, а потом переехала в достойное меня жилище — в Соколовские номера...[18] Ты не приходил почти... Помнишь, что было здесь пережи<то>. Сердце переворачивается... Потом последнее безумие — поездка в Париж. Я ходила к Каптереву[19], просила приказаний мне поехать и *только так* поехала. Умерла мама, смертельно заболела Надя, я была в каком-то оцепенении. 17-го июня в 9 ч. вечера ты меня бросил буквально на улице, в переулке, где жили Богородские, и утром уехал с *ней*[20]. О, как снисходительны были ко мне Богородские этим летом, как мало они унизили меня! Они имели право на большее. После твоего отъезда в Биарриц[21] я жила в их комнате над отхожим местом нижних жильцов-булочников и за нее *не платила*, жила *в долг*, да еще на все мелкие ежедневные траты давали мне они же, они же кормили меня обедами... Когда я говорю о всех унижениях этих шести лет, так или иначе связанных с моей любовью к тебе и с нашими отношениями, —

ты не веришь. Но если бы я рассказала тебе все их, звено за звеном сплетая горестную цепь... О, ты понял бы, что я испытала их столько, сколько *ей* не испытать за всю ее жизнь возле тебя. Подумай, например: — в то лето мне покровительствовали Богородские, оказывали буквально благодеяния... Вынес ли бы ты хотя подобное в отношении к ней? Ты скажешь, зачем я брала?.. Вспомни же это мое лето! Только что умерла мама, Левинштейн[22] представил дополнительные счета, была больна Надя, я приглашала врачей, брала «сестру», я отдавала все, что у меня было, и не могла купить себе клочка траурного крепа на шляпу. Я страдала безмерно. Если бы не морфий, я вовсе не вынесла бы таких душевных и телесных мук. Боже мой, мне снился лес, я тосковала по свежем воздухе, внутри у меня, мне казалось, все было покрыто пылью и копотью. А под окнами у меня было помещено 00, и небо видно было только между досками в щели строящегося дома. Валерий, Валерий! и я не разлюбила тебя, не возненавидела, а тосковала, видела тебя во сне, рвалась <к> тебе всей измученн<ой>, полумертвой душой. Вспомни, *какую* ты встретил меня в Париже. Я боялась тебя, не смела поцеловать или обнять. В Париж я ехала не знаю зачем, как в черную яму, и зачем ехала в Брест — тоже не знаю. Робер был мне противен. Но, верь, я не надеялась больше на встречу с тобой, и письмо твое из Женевы было для меня совсем неожиданно[23]. Да, ты решил сыграть последнюю злую шутку!.. Ты мог звать меня, зная, зная, что ровно через 6 недель выкинешь меня, как собачонку за дверь, швырнешь в пустоту и тьму <?>, а сам вернешься к ней, не опоздав на одни сутки... *Это*, Валерий, тебе не простит Бог — Бог любви, грозный и мстительный Бог...

Ты грабил мою душу в течение шести недель, грабил тонко, обдуманно, обманом получал мои ласки, нежность, *меня всю*. И *как* только мог ты, зная, что бросишь меня безжалостно, говорить, уверять, клясться в любви, обещать жизнь? О, темная, зыбкая трясина твоя душа!. Через шесть недель ровно, обманом покинув меня и доехав едва до Кёльна, ты разгримировался, снял маскарадный костюм и написал в открытке: «Боюсь, что наш Рай теперь только Потерянный Рай»...[24] Две недели без тебя в Париже были такой жестокой расплатой, что, верно, не осталось единого твоего поцелуя, за который не заплатила я кровью. Ты помнишь мои письма? Я их писала почти в беспамятстве. И как нужно было любить, чтобы простить даже это вероломство, которому нет имени

на человеческом языке. И уже, кажется, не было тебе оправдан<ия>, но нет, ты придумал что-то воистину литературное, — слова, годные для рассказа или драмы: «Я был с тобой на такой высоте, что, упав низко, уже не хотел ничего *взамен*. Все казалось ничтожным в сравнен<ии> с той мечтой, которая погибла». И, верно, поэтому ты не приходил, не отвечал на письма и был с ней дни и ночи?!.. Шел год — самый безнадежный из всех. Как *мы* жили? Плохо, плохо... Всю зиму я думала о весеннем неизбежном разговоре и почти знала, *как* кончится он для меня. Это отравляло безрассудные, редкие минуты радости, когда я старалась не помнить ничего, не думать, не знать. И шестое лето мое погибло! Ты предпочел пол-лета просидеть в Москве, загубить его для себя, лишь бы не ехать со мной. *Этого не хочет она*, — вот *кому* дано решать мою судьбу во всем — от большого до мелочей. На единственный месяц, что оставался, ты все же поехал с ней... впрочем, «твердо» обещав мне «награду» за мучения — «такой же» месяц, те же 30 дней. И опять летнее томленье, не сравнимая ни с чем тоска! Я страдала в моем добровольном заточении у М.П.[25] до исступления. Представляла Вас рядом, под деревья<ми> в парке, на вечернем балконе, ночью в прохладной дачной спальне, куда смотрят звезды в открытые окна. Минутами мне хотелось убить тебя, ее или себя — как-то разрешить это ужасное сдавленное напряжение. Все, что угодно, — только не так, как живу я!!.. Ты был у меня *два* раза, обещав приехать на неделю, жить, работать. Было спешно, случайно, между поездкой в Москву, — опять не встречи, а «операции» — мучительные, болезненн<ые>... И никуда, никуда не поехал ты со мной! Что твоя болезнь! Чему бы она помешала! Нет, поездка со мной расстроила бы *ее*... Ты тянул, тянул и дотянул до зимы.

Вот в самых общих чертах «наши» шесть лет. Ты скажешь, что я вспоминала только горе и нарочно молчала о всем радостном. Но *когда* были радости, *мои радости*, Валерий? В Финляндии?! Потом 3—4 маленьких поездки, которые тоже были для меня похожи на «вырывания зубов». Чем лучше мне было с тобой, тем ужаснее было расставаться, провожать тебя *к ней*, видеть в твоих глазах тоску по ней. О шести неделях в Париже лучше не будем говорить... Я проклинаю их.. А все, что было хорошего у нас здесь, в Москве, в эти вырванные часы и минуты, — было всегда отравлено, я всегда встречала и провожала тебя с уязвленным сердцем. Я не знаю, Валерий, могла ли бы хотя одна женщина в мире

любить при таком страшном жестоком условии — делить тебя. Я знаю, многие «делят», но тогда все иное. Я много раз говорила тебе, что *и я* могла бы *делить*. Но что? Не любовь! О, не любовь! а только внешности жизни, факты, поступки, а ты предлагал мне $1/3$ твоей любви, остальные две отдав ей. Что сказала бы Коммиссаржевская, что сказали бы все, кто полюбили бы тебя *настоящей* любовью?! Они не вынесли бы сотой доли моих страданий, — ушли бы, умерли бы, убили бы тебя, ее, — я не знаю что, только не приняли бы того, что ты давал. Милый Валерий, в последнее время ты старал<ся> быть возможно искренним и возможно правдивым. Я уже больше ничего не жду от тебя, ты это знаешь. На все мои просьбы, мечты, желанья ты словами или поступками — равно ответи<л> — *нет*. Я шесть лет стояла перед запертой дверью и стучала в нее, и билась, и молила: впусти! возьми! И было только молчанье ответом на всю мою нежность, если же ты говорил и поступал, то все равно смысл был один — отрицательный. И я не верю больше ни в счастье, ни в радость с тобой, и я не могу бесплодно расточать перед тобой лучшее моей души, да и *нет* у меня уже многого — убито все тобой... Но одного, только одно страстно хочу я от тебя — сознания, *что права я*. Может быть, в ином столь же, как ты, но права. Ты не виноват, что любишь ее (я уже не говорю, как прежде: «больше меня», я понимаю вздорность этих слов. Просто любишь ее, одну ее, единой настоящей любовью). Ты не виноват, что тебе хочется *давать* не мне, а ей, что не можешь принять *для нее* обиды или мученья, что готов пожертвовать даже собой, лишь бы было хорошо ей, — такова любовь на земле. Твоя вина была в другом, но, любя ее, ты прав неоспоримо. *Я* все это поняла, поняла до конца, до глубины. Понять, что ты любишь другую, а не меня, увидать, видеть каждый день воочию эту любовь, — для меня равняется духовной смерти, но это тебя мало касается, для тебя имеет значение только *мое сознание*. Так пойми же и ты меня, Валерий! Не формально, не на словах, а глубоко вникнув в мое чувство. Пойми, что любовь моя при поставленном тобою условии не могла быть ничем, кроме страданья и настоящей трагедии. Трагедия, растянутая на шесть лет! — какие силы не сломятся, какая душа не превратится в камень!.. Ведь это же правда, — *ты* не мог ответить при наличности ее мне той же большой, нераздельной, безграничной любовью. И ты не говоришь: «Любви такой нет на свете», — ты говоришь: «*У меня* нет ее *для тебя*, возьми немногое, что даю я искренно, и не спрашивай дру-

гого». Валерий, Валерий, разве об этом мечтала я? Разве я, чтя любовь как единственную святыню сердца, *могла* взять спокойно и радостно клочки, обрывки, отрезки? Поймешь ли ты это? Ах, если бы ты понял! тогда каждая моя слеза, каждый вздох, каждый жест отчаяния приобретут новый безусловный смысл. Боже мой, какие слова должна я сказать еще? Мне, кажется, нужно найти самую упрощен<ную> формулу, но я напрасно ее ищу и боюсь, что все прозвучит грубо, не так... *Да, я хотела быть твоей женой*, не «законной» — это мне не нужно! но *женой* в полном, глубоком, прекрасном, почти незнакомом большинству значении этого слова, *единственной* близкой тебе женщиной, такой близкой, как возможно на земле быть близким другому вообще. И я чувствовала себя достойной твоего выбора, и я бы оправдала его всей моей жизнью, — я чувствова<ла> это, я была близка тебе внутренно, как ни один человек в мире, — ты не можешь этого отрицать, и я любила тебя самоотверженно, жертвенно, не так, как любят формальные, законные жены, вроде твоей «Матильды». Так подумай же теперь, *что* могло меня удовлетворить? и могла ли я быть счастливой хотя миг рядом с другой женщиной, да еще более тебе близкой, и могли ли «твои старания», самые усердные, сделать меня хотя только спокойной, если жить меня ты обрек «в пределах» на тюремном дворе, за дверью вашего дома?...

Я стою над этими шестью годами в тоске и ужасе, как потерянная, как безумная.... «Ах, я бесстыжая, бесстыжая, глупая», — рыдает Грушенька в Мокром, сидя перед своим «паном», перед своей пятилетней погибшей мечтой[26]. И если не эти слова, то какие-то близкие им хочется мне шептать, рыдая перед тобой. Шесть лет унижаться, ползти на коленях за человеком, который повторяет лишь одно: «Не надо, не надо, я не хочу, я не возьму, мне слишк<ом> велика твоя любовь, отдай ее кому-нибудь другому, но не мне, ради Бога не мне, — уйди»... Молить о любви любящего мужа другой женщины, ее любовника и друга, любящего ее почти отеческой любовью, «как деревце, взращенное собственноручно»... Отдавать, напрасно расточать все сокровища души и ума, преданность, нежность, самоотречение перед человеком, который сознательно выбрал себе другую, другую назвал *своей женой*! Целовать руку, котор<ая> шесть лет только гнала меня и показывала на дверь! И наконец дойти до полного паден<ия>, до последнего унижения, — брать единственное, что осталось, — «визиты», «дружеские посещения», то, из чего вырвано все настоя-

щее, интимное, органически сливающее двух в одно!.. Дойти до морфинизма, до полной потери воли, самолюбия, до такого состояния, когда тебе решают<ся> *подавать* милостыню из жалости, в память прежних заслуг! И это «жизнь» моя *с тобой*, который, полюбив однажды, не задумал<ся> сказать женщине: «Будь со мной, будь моей женой»...

В эту неделю я пережила *всю* мою жизнь. Я вернулас<ь> памятью в дни самого раннего детства, вновь пятилетним смуглым ребенком плела веночки из кашки на лужайке перед нашим провинциальным домом, пережила юность, счастливые годы первого пробужден<ия> ума и чувств, потом годы перед встречей с тобой, и откуда я ни смотрела, — жизнь с тобой, шесть лет возле тебя казались мне черной безвыходной западней. И, может быть, шесть лет тому назад, в сумерки того дня, когда привел ты меня в грязный приют свидан<ий>, как девочку с бульвара, если бы ты сказал мне: «Нина, я вновь был с ней», — только эти слова, я вынесла бы удар или умерла. И если бы я осталась жить, м<ожет> быть, пришел бы ко мне кто-то нежный и влюбленный, чтобы заставить забыть мое горе и тебя. Разве не была я тогда достойна любви? Разве была я хуже, глупее, бездарнее тех, которых любят, которых не стыдятся (как ты меня), которых называют «своей» перед всеми и собой!. Но теперь передо мной нет дорог. Я в черной западне, я в трясине, над изумрудным болотом только одни живые глаза, но они уже не могут молить о спасеньи. В 31 год я стою перед стеной и, оглядываясь назад, могу только горько смеяться. У меня *ничего* нет! Ровно ничего, чем могла бы я жить, а внешняя моя жизнь только фикция, скорлупа, мертвая форма. Внешнее не может пережить души. Это ты только думаешь, что возможно резать жизнь на такие две половины. Когда я полюбила тебя, мне стали не нужны все люди, и я безжалостно их оттолкнула (первого Сережу!). И как они мне мстят за это сейчас, поняв истинную суть моего общественного положения. Они меня сознательно и расчетливо унижают со сладкой улыбкой на губах. Я не хочу и не буду считать, сколько плевков и нравственных пощечин получила я, особенно в два последние года. Вер<ь>, Валерий, клянусь тебе, я не лгу, а лишь не хочу называть факты. Так стоит ли опять же ценой унижений (брать деньги у тебя при таком твоем отношении для меня унижение) поддерживать «маломальски» приличный вид внешней жизни, «выжимать» из ничего эти жалкие бедные платья (право, хуже всех), чтобы пойти три раза

в год в то общество, что не хочет со мной считаться и называть *своей*?! Нет, с Сережей кончилась моя внешняя жизнь. Ты делал и сделал все, чтобы унизить меня в глазах того «света», который «надо презирать», когда дело идет обо мне, и с которым нужно ужасно считаться, когда мы едем в Петербург в разных поездах, чтобы *эти же* люди не посмели *мысленно* унизить ее... В этом обществе не терпят женщин «двусмысленных», как я, женщин, за плечами у которых нет оберегающих рук мужа или любовника, живущего рядом, как, напр<имер>, твой брат с Нюрой[27]. Я ведь не слепая и не глухая. Со мной все обращаются теперь так, как с Лид<ией> Дм<итриевной> до ее «законного брака» с Сережей[28]. Мы поменялись ролями к ее торжеству. И из общества мне нужно уйти, выбыть и формально, а не только внутренно. Теперь о «моей литературе». Ну, будем говорить «серьезно»... Ведь обо мне говорят с презрительной полуулыбкой, а литераторы молчат, как зарезанн<ые>. Я не забуду, что двери «Сев<ерных> Цв<етов>» для меня закрыли<сь> так явно[29]. Быть может, я могла бы работать и учиться — и достигнуть результатов. Но работать с вечно разорванной, отравленн<ой>, убитой душой! Возможно ли, Валерий? Нет, и с этим кончено. Теперь личное, интимное... Я рассказала тебе всю мою душу. Ты знаешь, в какой тоске, отчаянии и пустоте я живу. С утра, как я раскрываю глаза, и до ночи, когда я ложусь, — нет минуты, нет секунды, когда я не думала бы всё об одном. Я страдаю беспрерывно. Все, все, каждое ничтожное воплощение жизни говорит мне одну страшную истину, — он не со мной и не будет со мной никогда, он выбрал другую. Я повторяю — мы могли бы жить даже при этом страшном решении, но тогда ты должен изменить все, все внешнее и внутреннее. О, совсем немного это, меньше, чем тебе кажется, потому что твой предел останется пределом. Я много раз говорила тебе, входя в самые внешние детали, и мне тяжело, стыдно повторять слово за словом мои желания и «требования». Ты знаешь их все... И если, зная, ты *не делаешь*, предпочитаешь видеть меня несчастной, убитой, в слезах, в постоянной тоске, — значит, ты не можешь. Я поняла все, Валерий, и у меня не осталось единой маленькой надежды. И эти мои желан<ья> я могла бы формулировать одной фразой, хотя, вероятно, прозвучит она грубо и не выразит меня, — я сказала бы так: если ты не можешь с ней расстаться, и не хочешь этого, и никогда не вырвешь из сердца чувства к ней, я *даже при этом* могла бы быть с тобой почти счастливой, если бы ты

сказал однажды, пришел к этому после долгих колебаний чувст<в> и мысл<ей>: «Да, у меня *две жены*, с которыми я равно связан внутренне и внешне, которых люблю по-разному, но одинаково сильно, с которыми буду равно считаться всегда и везде». Помнишь, как чувствовала и говорила я раньше: я могла бы с тобой быть, если бы знала, что с ней ты в тюрьме, заточен в башне Св<ятого> Ангела, ее ненавидишь и рвешься из *той* жизни ко мне[30]. Нет, я поняла, — любовь нельзя насильно вырвать из сердца, нельзя сказать никому в мире «не люби», и если ты любишь кого-то, и если я, несмотря ни на что, хочу с тобой остаться, я должна эту любовь так или иначе признать. Но разве могу я признать твою любовь к ней и не хотеть твоей любви для себя? Это был последний компромисс всех моих чувств, — да, я могла бы быть почти счастливой, чувствуя себя тем же, чем есть она для тебя в жизни. Но разве ты отдаешь мне *половину всего*? Ты говоришь: я отдаю больше. Ах, пойми, мне нужно не больше, не меньше, а *то же*. Но я знаю, что это *невозможно*. Неужели не понимаю я, не вижу твоих чувств ко мне во всех их выражениях, не знаю их «пределов»? И неужели ты из боязни кого-то обидеть отказал бы себе хотя в маленьком желании?! Не такая у тебя душа. Даже ослабевшая, подавленная, она еще слишком своевластна, чтобы подчинит<ься> чьей-либо воле... И если ты чего-нибудь не делаешь, — значит, ты не хочешь. Об этом уже мы говорили много раз. И я знаю, что в конце концов ты идешь не *к ней*, а *от меня*, и что вовсе не так нежно и страстно ты ее любишь, чтобы не мог покинуть никогда в жизни, а не покидаешь потому, что этого не стоит делать *для меня* и любить, *чем больше меня* — это еще не много, это, может быть, страшно мало. Любовь ко мне ты определил в своей душе, нашел ей место, измерил ее объем и даешь мне мало не потому, что боишься ее оскорбить (разве ты считал<ся> *с ней*, когда появил<ась> Коммиссаржевская?), а потому, что *для меня* у тебя большего нет. Ну неужели ты отказал бы себе *в сильном желании* провести, напр<имер>, со мной ночь, поехать куда-нибудь, просидеть лишние 2—3 часа? О, конечно, нет, особенно теперь, когда, ты сам говоришь, она стала равнодушнее. Неужели после недели твоей болезни не остался бы со мной долго, если бы чувствовал потребность в моей близости? Конечно, конечно, — нет. И неужели не находил бы ты лишних вечеров для меня, не рвался бы неодолимо, если бы любовь твоя была хотя немного живее, чем это мертвен<ное> чувство «привычки»?.. Милый Валерий, я

поняла смысл каждого твоего слова, которое я называла жестоким. Ты говоришь, напр<имер>: «Вовсе никакой трагедии нет», или: «Зачем непременно кого-то ждать, зачем искать близости, зачем отводить в своей жизни такое большое место чувству», или: «Не понимаю ни твоих слез, ни горя, ни отчаяния», или: «Мне, правда, нужно сейчас только спокойствие для работы, и я избегаю всего бурного, сильного», — и много, много таких слов, от которых я холодею, умираю внутренно, падаю в отчаянии. Вспомни только — мог ли бы ты так говорить, когда любил Коммиссаржевс<кую>, когда вновь «ждал», замирал, волновался, искал близости *телесной, равно* как и духовной? Так говорить может только человек, который разлюбил. Я потеряла тебя, я утратила всякую власть над твоей душой. Я, м<ожет> быть, виновата сама, только я сама, потому что отдавала слишком много, так много, что ты перестал ценить и пренебрегал моей привязанностью. Сознание, что я все прощу, что я никогда не уйду сама, что я откаж<усь> от всего только ради самой унизительной жизни возле тебя, — оно развенчало мою любовь. Моя любовь лишилась тайны, перестала быть опасностью, поединком, — а твоя душа не любит кротости, не любит побежденных. И может быть, просто ты пресытился ею, она перестала быть интересной тебе. Если это случилось или случится в твоих отношениях к ней, — все обойдется без трагедии. Она останется все с тобой же, а ты с ней, и Вы будете *невольно* близки. Моя же роль была иная, я была твоей «возлюбленной», и когда это кончилось, я оказалась в смешном и жалком положении. Милый Валерий, подумай над моими словами. С последней искренностью, почти с бесстыдством я обнажаю всю душу, открываю все мои тайные надежды и мысли. Единого слова лжи нет в этом письме, — в этом итоге, признании, полуисповеди. Я говорю страшные вещи, я пережила уже их остроту, я бью себя уже по омертвевшим ранам, но еще год назад я не могла так даже думать.

Ну, скажи теперь, как могу я ждать тебя, радоваться на тебя, ждать от тебя хотя маленькой «нечаянной радости»[31], когда я знаю, что *для меня* твоя душа — выжженная солнцем пустыня или мертвая полярная равнина. Все реже и реже я слышу от тебя даже ласковые слова, только слова, которые так легко расточать, и почти никогда, да — ник<огда> уже не вижу того любимого, нежного выражения глаз, от которого все внутри дрожало, пело, замирало от счастья. Посмотри на себя как в зеркало, представь себя со мной! Приходишь и уходишь чужой. Я смотрю на тебя, не смея

поцеловать тебя в лоб, не смея протянуть рук и обнять. А ведь ты ласкал меня когда-то, обнимал, целовал, называл ласковыми именами... Забыть ли мне это! Могу ли я перестать тосковать о тех минутах и днях!... Я хожу, как голодный покинутый зверь. У меня глаза горят от этого голода, сохнет и сжимается душа. Ты говоришь, что теперь для тебя настало время работы, что у тебя интересы сложнее любовных, что тебе страшно любви, так как она может мешать работе. И я думаю горестно: Боже мой, да как же может мешать работе тихая нетребовательная любовь? Чего я хочу? Только ласки, только быть где-то в углу в одной комнате, когда ты работаешь, только иногда сидеть, прижавшись к тебе, ласкать твои волосы, целовать руки и чувствов<ать>, знать наверно, что я тебя не тягощу, не противна тебе, что тебе также сладостна моя немая близость. Но все эти «*только*» и есть *любовь*... И я хочу любви твоей, и без нее я не могу жить. Ты спрашиваешь озлобленно: «*Что* же должен я *сделать*, скажи, — я сделаю». Милый, милый Валерий... Я хочу, чтобы ты чувствовал, я не хочу ни одного твоего прихода без желания видеть меня, ни одного поцелуя без жажды моей близо<сти>. И в ответ на это ты говоришь: «Да, но ведь я уже и делаю только то, что чувствую, я стараюсь быть искренним, а ты недовольна и не радуешься на мою искренн<ость>». Нет, я довольна... и радуюсь... только... я хотела бы, чтобы и ты искренно хотел всего того, чего хочет тв<оя> любовь... Я знаю твою любовь. Хотя недолго, но ты любил меня, даже отрекая<сь> сейчас от своей любви. Ты не помнишь, ты любил... Поверь мне. Я помню. И я видела, как ты любил Коммиссаржевскую. Конечно, после шести лет ни ты, ни я, мы не могли бы любить с бурной страстностью. Но ведь есть другая любовь, и ее ты знаешь, но *и ее* нет в твоей остывшей душе.

Милый Валерий, ты сказал сегодня по телефону: «Надо же кончить эту распрю». Так ты называешь наш последний суд. Вот ты выслушал меня, — скажи же, *как* может кончиться «эта распря»? Ты видишь, я понимаю тебя, я не брожу в тумане, я не безумна и не ослеплена и ничем себя больше не утешаю. Я знаю, что человек *не волен* в своих чувствах, и не жду в безумии, что, прочтя это письмо, ты бросишься ко мне с новыми чудесными возможностями, вдруг восставшими в твоем сердце. Чудес не бывает, даже самых «маленьких»!.. И завтра, и через месяц, и через год ты придешь ко мне *только такой*, — погасший, холодный, получужой. Одной отвлеченной близости и общности интересов так

же недостаточно для жизни вдвоем, как одной телесной страсти. То нежное, интимное, несказанное, чудесное, связывающее двоих в одно, *у тебя* исчезло, и всегда теперь мне будет с тобой хуже, чем с мертвым... Ведь я же знаю, что каждый миг еще могу увидать тебя живым, но не для меня... И это сознание меня убивает.. Ах, как молилась я о твоей любви! Отчего, отчего мне не дана она?! Разве недостойна я? Разве есть и может быть на свете более тебе близкая, родная духовно, чем я? Но, верно, мало этого одного, а *иначе* не нужна, не нужна я тебе.

Морфий и тягучее томительное страдание изо дня в день, из года в год отняли у меня волю. Я не чувствую сейчас себя способной умереть, мне страшно поднять руку и поглядеть в лицо смерти. Мне, верно, суждена длительная бесславная гибель, если я не умру от неожиданной причины, — напр<имер>, от эфира или «его»[32]. *Так* убить себя, будто нечаянно — я способна. Я должна уйти, скрыться из твоей жизни и прекратить все, что тянет<ся> сейчас для меня во всех областях. Долго, долго, почти до последних недель, у меня было, даже в самые горькие минуты, чувство неразрывной связи с тобой, и оно помогало переживать большие испытания. Теперь и его нет. Ты отнял. Теперь я как лист сухой, оторванный от ветки, — качусь куда-то бессмысленно — в пустоту, в темноту. Я уже не могу ждать, звать тебя по-прежнему? *Кого* позову я? Чужого, разлюбившего, погасшего? Куда позову? К себе... Но ведь тебе тягостно видеть в глазах моих дикий голод, которого тебе нечем насытить...

Я должна, должна отойти от тебя, пока не случилось худшего, пока ты не прогнал меня грубо, озлобленно. А это может случиться. И я уйду от тебя. Прощусь и уйду и не вернусь. Куда я пойду — не нужно спрашивать. Откуда я уйду? Из той жизни, что была жива тобой и твоей любовью и что опустела вся, когда ты разлюбил. Таково мое решение. И не думай, что я буду только долго и мучительно *говорить*. Я *сделаю* это фактически. Ты увидишь очень скоро, очень.. Я все сказала. Теперь я могу только плакать... Валерий! Валерий милый, я любила тебя так глубоко... Валерий, Валерий!! неужели ничего, ничего не стоит любовь? Неужели можно любить и разлюбить, как стало с тобой? Ты любил меня, любил! Очень, очень недолго, м<ожет> б<ыть>, *день*, за все шесть лет, но любил по-настоящему. Оставь мне хоть это утешение.

Твоя.

28 декабря. Ночь.

P.S.

Я не буду уже говорить о твоей жестокости, Валерий... Последнее время ты не щадишь меня, ты обращаешься со мной так, как будто я небьющаяся кукла. Но сейчас не в этом дело. К «процессу» нужно прибавить еще лист, и едва ли не самый главный. — Все время, когда я писала, у меня было такое ощущение, что я подхожу, подхожу к сущности, очень близко подхожу, а она от меня ускользает, и я говорю о деталях, не умея их обобщить. Разговор по телефону сегодня вечером был тем, чего так не хватало. Да! Вот что значат наконец слова: «Возьми твою любовь — она для меня слишком велика». Ты понял себя. Наступил час, когда ты, сняв целое наслоение различных масок, сам увидал свое лицо — подлинное, данное природой. Может быть, прежде ты бессознательно стремился стряхнуть наконец весь романтизм, не свойственный твоей позитивной натуре, — но он был моден, и тебе казалось нужным играть роль. Иногда тебе становилось совсем нестерпимо в тех формах, что тебя сжимали, как железные, потому что они заставляли тебя делать несвойственные тебе поступки, говорить слова, обратные тем, чтó сказал бы ты от сердца. Но ты долготерпеливо «выдерживал стиль» — целые годы... Порой ты уже сам не различал, — где маски, где лицо, какие слова настоящие, какие — ложь. Оттого передо мной было всегда множество противоречивых поступков, слов и признаний. И это все началось с тобой, верно, давно, и только сейчас ты решил «объявиться». Эта «приписка» моя вовсе не отрицает сказанного впереди. Было же время, когда ты действительно знал пережива<ния> очень углубленные и чувствовал страстно. После ты, конечно, отрекался, но это было, было, — не отрицай! И на предыдущих страницах я говорила о том времени, когда ты сам переживал трагически наши отношения — таким образом, *я* в противоречия не впадаю. Сегодня же ты с великой откровенн<остью> (хотя и под влиянием морфия, но ведь я знаю, что «он» не смог бы заставить говорить ни чего-нибудь вовсе неожиданного, ни «против себя») признался мне в истинной сущности твоего отношения к действительн<ости> вообще и в частности — ко мне. Твои слова произвели на меня почему-то потрясающее впечатление. Говорю «почему-то», так как ты ведь не сказал чего-нибудь уж очень неожиданного, и я *сама* могла бы сделать *такой* вывод из твоих слов за последние полго-

да. Но было страшно слышать чудовищные признания от тебя самого, так же непонятно страшно, как приговор к смерти из уст врача хотя бы больному, на выздоровленье которого уже никто не надеялся. Ты знаешь, м<ожет> быть, такие чувства, и потому мне можно извинить резкий взволнованный тон. То, что ты говорил, мне казалось невозможным, чудовищным. Именно хотелось повторить «чудовищно, чудовищно»... Так сказал бы всякий, слышавший твою речь, обращенную *ко мне*. Если бы ты говорил это кому-то, всякому, *кроме меня*, твои слова имели бы другой смысл. Но обращенные *ко мне* они становились чем-то непостижимым, неслыханным. Теперь, когда у меня несколько улеглось волнение, я хочу понять, *что* именно хотелось в твоих словах назвать мне словом «чудовищно». Я не способна на одни бессмысленные, злые, истерические восклицания. Если я говорю или в волнении «восклицаю» — все, каждое слово для меня имеет серьезное значение. И я могу объяснить тебе и себе также мое волнение, мою обиду и значение тех слов, что ты, вероятно, так и считаешь «выкриками». Видишь ли, Валерий, — и я уже не прежняя, и я менялась, и я *изменилась*. Все со мной было на твоих глазах. Я ничего не умела и, главное, не хотела скрывать. Я *не та*, что шесть лет назад. Но любовь моя к тебе, привязанность, преданность углубились за годы, просветлели и поднялись на большую высоту. Не буду хвалить себя, не буду рассказывать —— в чем, как, где, — ты, верно, видел и знаешь сам. Но только было бы до смешного мало сказать, что «я отношусь к тебе серьезно или что моя любовь занимает большое место в моей жизни». Я отдала тебе все — всю душу, все чувства, всю нежность, преданность, все, до чего я была способна подняться, — словом, все богатство и всю нищету моей души. Ты стоял в центре всей моей жизни, *все* в ней было подчинено тебе, все горе ее и радость исходили от тебя, все начиналось и кончалось — *Тобой*. С годами это усиливалось, я не боролась, не хотела бороться, мне казалось прекрасным отдать тебе себя *всю*, и я отдала... А ты брал, Валерий. Ты, несмотря на все то отношение твое ко мне, что описано на предыдущих страницах, не мог прогнать меня совсем и много, много раз говорил (я помню, один раз в Париже, в какой-то церкви мы сидели очень уедине<нно>, и ты говорил, что любил меня, и умилял<ся> до глубины души моей любовью перед отъездом твоим с ней, и даже в тот вечер прощания, когда бросил меня в переулке около квартиры Богородских. Вспомни твои слова!.. И они были не единственны

за шесть лет...), что любишь «мою любовь», преклоняешь<ся> перед ней, ценишь ее и отвлеченно, как что-то художественно-прекрасное, цельное, и *как любовь к тебе*. Одним словом, ты *признал* мое чувство и, даже не будучи в состоянии отвечать на него вполне, всегда ценил, как умел берег, уважал. И ты, конечно, видишь и знаешь его неизменность даже сейчас. Понимаешь ли ты теперь, какое оскорбление наносишь ты мне, говоря все то, что выслушала я сегодня? Ты только подумай... Вот ты изменился, ты «пуст и легкомысленен в жизни», ты говоришь точно те слова, что с отвращением услыхала я однажды в своре кутящих «доцентов», тебе не нужна ничья глубокая и серьезная привязанность, ты сам не чувствуешь глубоко и ищешь от жизни и от женщины легких безответственных забав. Ты отдаешь себя и хочешь отдавать только творчеству, твоя душа слишком мелка и тесна, чтобы вместить искусство и любовь как два благотворные, творящие, созидающие начала, и женщина для тебя отныне — субретка, кокотка или наседка — «Матильда», одна из тех, что не многим располагает, но не много и потребует — в частности, та, которая с тобой сейчас: — ведет в относительном порядке дом и кухню, заказывает тебе обед, выполняет приказания, касающиеся всех нужных тебе материальных удобств, оберегает, насколько способна, тишину твоего кабинета, «представительствует», если понадобится, ложится по первому зову с тобой в постель, когда ты почувствуешь себя мущиной, — вот, кажется, и все, что от нее требуется. Она же желает: быть женой знаменитого поэта (хвастается этим перед родными и знакомыми), принимать «хороших людей» в гостиной «с люстрой», наряжаться по вкусу («не хуже людей») и иметь, когда ей это нужно, под боком «мущину» — получать свои законные супружеские ласки. До твоей души, до твоего творчества ей мало дела, анализировать твое отношение к ней ей *нечем* и *незачем* — птичий мозг не вместит таких тонкостей, да и к чему — ведь всегда будешь спать с ней, жить в одной квартире, пить и есть за одним столом — в этом ты поклялся, это обещано твердо. Мое существование особенного горя по разным причинам ей, верно, не причиняет... да и видала она примеры твоих многолетних связей, — к ней же возвращался. Такова жизнь твоя с ней, конечно, в самых общих чертах, как я ее наконец стала представлять с твоих же слов. Я не помянула о минутах разных ваших интимностей, — этого мне никогда не узнать, — но, верно, они очень легки и просты, и отдавать *душу* им не приходится. Эта женщина сейчас

с тобой, так сказать, «в силу историческ<ого> своего значения», но если бы ты был сейчас один и свободен, то ты искал бы другую «Матильду». И я понимаю тебя. Ты хочешь быть искренним перед самим собой, тебе надоели маски, ты их изорвал и выкинул, ты точно родился во второй раз. Но... воспоминания, Валерий? *Их* ты мог вымести из памяти? Ты помнишь, знаешь *меня*? Ты слышал, ты видел, ты знаешь, что я не ищу ни конюхов, ни гимназистов, ни монахов? Ты знаешь мою любовь к тебе? Ты видел, какой трагический смысл внесла она во все мое существование? Ты видел, Валерий!...

И если так, то каким же оскорблением были для меня твои мысли, желания и слова!... Ведь это значит, что ты плюешь на все прошлое мое и настоящее, предлагаешь мне «повернуть<ся> самой к себе спиной». Предлагая новую жизнь и новые отношения, ты нисколько не считаешь<ся> со мной как с человеком, как с равной себе.... Настаивая, чтобы я признала непобедимость твоей всяческой связи с ней и чтобы я ее уважала, преклонилась как перед Роком, перед этими чувствами, — ты в то же время хочешь, требуешь от меня, чтобы я по капризу твоему, в угоду твоим желаньям вывернула наизнанку всю мою душу. Ведь ты говоришь мне вот что, — каждый день, каждый час, каждую встречу: «Ну, поиграли в трагедию, и довольно! мне весь этот романтизм, вся эта истерика — надоели. Твоя роль отныне совсем иная! Хочешь быть моей непритязательн<ой> любовницей, настолько непритязательной, чтобы я не чувствовал ни малейшей внутренней ответствен<ности>, чтобы ты была мне только развлечением, на сколько часов я хочу, чтобы твой внутренний мир не был никак связан с моим, ибо все души равно с их чувствованиями мне надоели смертельно. Хочешь быть со мной так, чтобы я приходил неизвестно откуда и уходил неизвестно куда, не зная также, — откуда приходишь и куда уходишь ты, ибо мне совершенно не нужно интимной близости ни с одним человеком на свете?!.. Хочешь, чтобы я отдавал тебе часы, абсолютно свободные от всяких дел, но лишь тогда, когда я предложу тебе их сам, не считаясь ни с твоей тоской обо мне, ни с твоими желаньями? Хочешь жить со мной жизнью, совершенно не похожей на прежнюю, ибо я сам не прежний, жизнью, лишенной всего того, что ты бы хотела от меня получить, потому что желания наши больше не совпадают? Хочешь быть со мной вообще, в те минуты, когда я захочу, не выходя из начертанных мною пределов? Хочешь быть "моим удоволь-

ствием", бессловесным, безличным существом, с которым я могу болтать в часы досуга, которому я могу иногда уделить минутку-другую на постели, без драм, без трагических гримас, без слишком обширных требований? Хочешь встречаться со мной в свиданьях "легких", не волнующих меня, никак, даже косвенно не мешающих моей кабинетной работе (в духе "доцентов") и непременно забыв все прошлое, потому что я насмеялся над "романтизмом" и "исступлен<ием>" в стиле Пшибышевского, и еще потому, что мне не нужна даже новая, как ты говоришь, "просветленная", "самоотверженная" и "поднявшаяся на большие высоты" любовь? Таковы мои чувства, изменить я их не могу, и таковой должна быть моя жизнь». И я понимаю, Валерий, что все эти желания и требования ты мог бы предъявить *новой женщине*, новой любовнице. *Так*, конечно, прямо не говорят, но люди понимают друг друга без слов, и уверяю тебя, — множество, большинство женщин только так и «любят», и такую, подходящую тебе сейчас, женщину в стиле «доцентов» — забавную и легкую — найти очень немудрено. И, понимая насквозь твои желания и требования, она не скажет себе: «Вот чудовище!» Любовь, на какую ты способен сейчас, — такая ходячая стертая монета!.. Я не хочу обидеть тебя этими словами. У тебя (а впрочем, и у «доцентов») есть ей оправдание. Ты обручен с искусством, ты отдаешься только творчеству, ты хочешь выходить из своего кабинета только за легкими удовольствия<ми>, потому что все сильное, большое (ты думаешь) может отнять тебя у искусства, — и в этой мысли (мне кажется, ложной в корне своем, ложной по существу) — твое оправдание.

Но *мне*, *мне*, Валерий, разве легче от этого сознания?!.. —

«Новая женщина» пойдет на такой зов. Трудно ли без любви, без привязанности поиграть с знаменитым поэтом?! Даже лестно!.. Но как, *как* можешь ты идти ко мне с подобными словами, с подобными желаниями. И это чудовищно!!.. Что же ты думаешь обо мне? Ты сказал сегодня: «Желание видеть человека может быть так сильно, что *все равно* будешь стремиться к нему». Нет, — поздно и невозможно, Валерий! Измениться, переломиться в основе своей, вырвать и изменить чувство, которое и есть *моя душа*, я не могу, даже если бы захотела. Ты почти гордишься неизменностью некоторых твоих чувств, ты не устаешь повторять: «Чувств переменить не могу». Почему же ты презираешь меня? Как смеешь ты так презрительно думать обо мне?!.. Мои «требования»

сокращались с каждым годом; может быть, это дурно, но я не стыжусь моей уступчивости. Я, любя тебя, расставала<сь> с надеждами, я видела невозможность в твоей душе и смирялась перед ней, желая быть только твоей радостью. «Мои требования» сократились до такого предела, который предначертало мне уже чувство собственного достоинства. За ним уже начинает<ся> полное унижение, которого не вынесет и не вынесла бы ни одна женщина (если она любит), особенно на глазах у *другой*. Ты знаешь, *чего* я спрашивала во внешнем, — это *ничто* в сравнении с тем, на что имеет права всякая, которую любят, и ты знаешь, какого сближения хотела я во внутренн<ем>?! Разве может мешать работе и искусству та любовь, что я тщетно отдавала тебе, — «возьми, возьми, Валерий!» А вспомни твои ответы в последние недели и дни: «Да, может быть, я не отрицаю, но *мне* не нужно ничьей близости, ничьей нежности, заботливости, интимной слиянности. *Мне* не нужно, благодарю...» Я не знаю, можно ли больше отойти в тень, можно ли хотеть большего подчинения другому, как я, возле тебя! А *что* нужно мне было в ответ, без чего мне было так больно, больно встречаться с тобой?! Мне нужна была нежность, похожая на ту, что видала я в твоих глазах в счастливые дни, маленькое внимание *ко мне*, несколько ласковых слов (не машинальных только — «милая Нина, — твой Валерий...») и еще *доказательства во внешнем*, и сознание, что ты щадишь меня *так же, как ее*... Ты боишься сейчас «исступления, безумий, трагических переживаний»? Но, клянусь тебе, — я не хочу их так же, как ты!... Я мечтала *иметь возможность* дать тебе тихое успокоение за работой, помогать тебе, где и в чем могу, — и только в награду в эти вечера быть поблизости, откуда-нибудь из угла смотреть на твой склоненный над столом профиль. Я говорю все, все. У меня ничего не осталось недосказан<ным>, кроме темных, полубессознательных мыслей и чувств, кроме того, чего ни один человек даже при страстном желании не выскажет другому. И мне не стыдно моих признаний. Так говорит любовь... В эту неделю, не видясь, мы быстро дошли до какого-то конца. И я думаю, Валерий, — если ты, видя мою душу до дна, как прозрачный источник, видя всю мою любовь, и тоску, и отчаяние вечно оскорбленного чувства, — не можешь сказать ничего, кроме *сказанного сегодня*, если ты, видя, как я гибну, изнемогаю без того *во внешнем*, о чем умоляла тебя в словах и без слов полтора последн<их> года, — все же *не даешь*, — значит, ты действительно не можешь. Я не могу считать тебя «зве-

рем», образцом беспредметной жестокости и мучителем по призванию. Я знаю, ты очень добр и, верно, мучишь меня невольно, потому что *просто не любишь*, ***разлюбил,*** *охладел*, не хочешь моей близости...... Твои слова сегодня непростительны. Ведь нужно же думать, *кому* и *что* мы говорим. Ты не должен был произносить их с такой легкостью *передо мной.* Разве я не поняла бы тебя без этой лишней жестокости надо мной?

Я чувствую себя ужасно. Так, вероятно, чувствуют себя люди, вложившие все имущество, все сбережения, сделанные ценой неимоверных лишений, в банк, в предприятие, которое лопнуло безнадежно. Во мне пустота, точно кто-то меня ограбил дочиста. Ах, как поздно было бы в 31 год, истратив все чувства, потеряв все возможности, думать о «новой жизни»!..

Но я не собираюсь жить!...

«Суд» кончился, Валерий, и осуждена — я.

Прости, я вчера очень плохо связывала свои мысли. И *стиль* производит, верно, неприятное впечатление, но уж все равно, — переписать не чувствую себя в силах.

---

[1] Подразумевается И.М. Брюсова. Петровская называет ее Матильдой, возможно, по иронической ассоциации с арией Готфрида Водемона («Кто же сравнится с Матильдой моей...») из оперы П.И. Чайковского «Иоланта» (1892).

[2] Имеется в виду возвращение в Москву в конце июня 1905 г. после совместной жизни в Финляндии.

[3] Речь идет о пребывании Брюсова вместе с женой в Швеции летом 1906 г.

[4] Речь идет о встречах в Петербурге в конце октября 1906 г. (см. пп. 114, 116).

[5] Подразумевается, видимо, зима 1905—1906 г.

[6] Эта поездка состоялась в мае 1906 г. (см. п. 87).

[7] В имении Лидино Петровская жила в июне 1906 г., приезжала туда и летом следующего года.

[8] В доме князя Н.Э. Голицына (Большой Николо-Песковский пер., близ Арбата) С.А. Соколов и Петровская проживали совместно. Летом 1907 г., после того как был начат их бракоразводный процесс, они решили разъехаться (ср. дневниковую запись Л.Д. Рындиной от 9 августа 1907 г.: «Развод у конца, устраиваю общую квартиру с Сережей» // Лица: Биогр. альманах. Вып. 10. СПб., 2004 (в печати) / Публ. Н.А. Богомолова). С лета 1907 г. Соколов с Рындиной поселились в Козицком переулке (дом Бахрушина), а Петровская — в доме Я.М. Толстого на Арбате (д. 35). См.: Из переписки Н.И. Петровской / Публ. Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой // Минувшее: Ист. альманах. 14. М.; СПб., 1993. С. 384, 386.

[9] Любовь Никитична *Столица* (урожд. Ершова; 1884—1934) — поэтесса. В составленном Брюсовым реестре «Мои “прекрасные дамы”» ее имя значится под 1906 г. в графе «Мы играли в любовь» (*Акимова М.В., Дворникова Л.Я.* «Дионисов чудный дар»: Материалы для биографии Л.Н. Столицы // Лица: Биогр. альманах. М.; СПб., 1996. Вып. 7. С. 9).

[10] То есть картина разгула — наподобие описанной в «Братьях Карамазовых» Достоевского (кн. 8, гл. VII, VIII). Возможно, Петровская вспоминает не роман, а сцену из спектакля Московского Художественного театра «Братья Карамазовы» (премьера — 12 и 13 октября 1910 г.), на котором она была вместе с Брюсовым. См.: Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Ист. альманах. 8. Paris, 1989. С. 80.

[11] Брюсов с женой путешествовали по Волге (от Ярославля до Самары) в июне 1907 г. (см.: *Дневники*. С. 138).

[12] Подразумевается отъезд Брюсова с женой за границу в конце июля 1908 г.

[13] Речь идет о Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде (основан около 1380 г.).

[14] Эта встреча произошла в середине сентября (н. ст.) 1908 г. См. примеч. 3 к п. 168.

[15] См. п. 170, примеч. 1.

[16] Формулировка-рефрен из стихотворения Ш. Бодлера «Авель и Каин» («Abel et Caïn») в переводе Брюсова (первая публикация: Утро Свободы. 1907. № 20, 24 мая). См.: Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова / Сост. С.И. Гиндин. М., 1994. С. 275—277.

[17] См. примеч. 2 к п. 172.

[18] Видимо, имеются в виду меблированные комнаты Т.Н. Соколовой в Мерзляковском переулке (д. 18, Олсуфьева).

[19] Врач Павел Васильевич *Каптерев*. Ср. о нем дневниковую запись Л.Д. Рындиной (17 февраля 1911 г.): «Каптерев в Москве лечит гипнозом, зарабатывает большие деньги» (Лица: Биогр. альманах. Вып. 10. СПб., 2004 (в печати) / Публ. Н.А. Богомолова). Каптеревым написана книга «Гипнотизм» (М., 1909). Брюсов лечился у него зимой 1908—1909 г. (*Дневники*. С. 141).

[20] Видимо, подразумевается отъезд за город (в длительное путешествие — в Ригу и затем за границу — Брюсов и И.М. Брюсова отправились в середине июля 1909 г.).

[21] То есть в Сен-Жан-де-Люс — близ Биаррица.

[22] См. примеч. 6 к п. 250.

[23] Это письмо Брюсова (написанное, видимо, около 1/14 сентября 1909 г.), в котором он сообщал Петровской о своем предстоящем приезде в Париж, по всей вероятности, не сохранилось.

[24] См. п. 259, примеч. 3.

[25] Кто обозначен этими инициалами, неясно. Хозяина дачи, на которой жила Петровская летом 1910 г., звали, согласно ее «Воспоминаниям», Иваном Кузьмичом (см.: Минувшее: Ист. альманах. 8. С. 58).

[26] Имеются в виду слова Грушеньки в ходе скандала с паном Врублевским («Братья Карамазовы», кн. 8, гл. VII): «А я-то, я-то пять лет слезами заливалась, проклятая я дура, низкая я, бесстыжая!» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 388). Вероятно, речь идет о спектакле, названном в примеч. 10.

[27] Александр Яковлевич Брюсов и Анна Ивановна Гренцион (урожд. Чулкова; 1887—1964), бывшая в это время его гражданской женой; в ноябре 1911 г. она ушла от А. Брюсова к В. Ходасевичу.

[28] С.А. Соколов и Л.Д. Рындина обвенчались в ноябре 1907 г.

[29] Имеются в виду «Северные Цветы. Альманах пятый книгоиздательства «Скорпион»» (М., 1911). Книга вышла в свет в июле 1911 г., произведений Петровской в ней нет.

[30] См. письмо 259, примеч. 4.

[31] Заглавие книги стихов А. Блока (М.: Скорпион, 1907), восходящее к названию иконы Богоматери.

[32] Вероятно, под этим словом подразумевается морфий.

297. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

30 декабря 1910 г. Москва

Прощай, Валерий!

Посылаю твои книги для статьи и листы перевода[1].

Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, в котором меня с тобой уже не будет.

Н.

30 декабря 1910 г.

---

[1] Речь идет о начатом Петровской переводе романа французской писательницы Люси Деларю-Мардрюс (1880–1945) «Шеридан», который был опубликован в «Русской мысли» (1911. № 3–9), и о книгах, которые предполагалось охарактеризовать в обзорной статье для того же журнала (Петровская ее не написала). Обе работы заказал Петровской для «Русской мысли» Брюсов, сообщавший П.Б. Струве 24 ноября 1910 г.: «...я уже поручил одной переводчице перевести для "Русс<кой> Мысли" (с сокращениями) роман Деларю-Мардрюс <...>»; «Ввиду жалоб некоторых издателей, что они посылают нам множество книг, на которые мы не даем рецензий, я просил Нину Петровскую <...> написать небольшой "обзор" переводных романов для марта или февраля. Я позабочусь, чтобы этот обзор был содержателен и давал читателям нужные сведения о иностранных авторах, которых у нас в таком изобилии переводят» (Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1960. Вып. 5. С. 305). Он же писал Струве (14 ноября 1910 г.) о романе Деларю-Мардрюс: «Этот роман <...> весьма "читабелен", но вместе с тем литературен в лучшем смысле слова. Тому лицу, которое его мне указало, его рекомендовал лично Анатоль Франс» (Там же. С. 306 / Коммент. А.Н. Михайловой). Под заглавием «Исступленная» и с предисловием Брюсова этот роман в переводе Петровской был издан в серии «Универсальная библиотека» (№ 715–716. М., 1911; 2-е изд. – М., 1914).

1911

298. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

2 января 1911 г. Москва

2 января

Валерий,
вчера вечером Сережа передал мне те слова, что ты просил его сказать относительно перевода[1]. Он сказал мне все твои доводы, и я понимаю их. Но что могу я ответить?.. Я боюсь говорить более пространно, боюсь, что ты увидишь в этом письме желание или намерение вызвать тебя на разговор, *опять* говорить, встречаться, опять тянуть эту ужасную медленную пытку. Не думай так! Я ничего не хочу от тебя больше...

О деле, об этом переводе, что я взяла в дурной час, я хочу ответить тебе просто и искренне — ты знаешь, Валерий, *от чего* всегда зависела возможность моих каких бы то ни было работ?.. Ты видел за последнее время — я очень хотела работать и зарабатывать, ты видел, что я предприняла для этого целый ряд действий (иногда даже неприятных, как, напр<имер>, общение с газетой), и я работала, сколько могла, сколько имела работы, надеясь в будущем расширить ее круги. Но для того, чтобы делать даже что-нибудь самое пустое, мне нужно быть хотя приблизительно спокойной. Я не могу иначе, и если я страдаю, как сейчас, — никакие усилия над собой не приводят ни к чему. Даже в «наши» лучшие дни я делала что-нибудь, когда мы не «ссорились», когда хотя во внешнем все шло спокойно и без катастроф. Я бросаю работу не по лености, уверяю тебя. Ты работаешь во всех условиях, потому что твое искусство и способность работать не подчи-

няются влияниям. Но я иная. Я рассказала тебе все это в моем длинном письме[2] и не буду повторять.

И что касается перевода в частности, подумай, *что* могу я *сейчас*? Во-первых, он потребовал бы непременных свиданий с тобой, а их уже не долж<но> быть. Встреч с тобой *лишь по делу* я не только не хочу, — я *не могу* их принять. Не смешивай, не отождествляй меня с Шестеркиной...[3] Она *может* то, чего не могла бы я даже под угрозой всяческой погибели и смерти. Значит, первое и необходимое условие (я не могла бы работать без твоего редактирования) — невозможно. И если я бывала расстроена, убита, больна в дни наших коротких, преходящих «ссор», то что же ты думаешь обо мне сейчас? Сейчас такой момент моей жизни, когда ломается и уничтожается *все*, чем я жила... Я говорила тебе с месяц назад о том, что переменю *все*, тогда ты не хотел слышать и ласковыми утешениями продлил еще немного мою бывшую жизнь, т.е. ту, которую я *доживаю*. Неужели ты думаешь, что «из каприза» или «от счастья» можно уйти от самой себя, от того, что годы и годы было моей жизнью? Неужели ты думаешь, что я отказываюсь от всей «моей литературы» в минуту неразумного случайного решения? Нет, Валерий. Был момент, когда мне показалось возможным работать, и я ухватилась за него радостно. Но этого мне *не дано*, у меня отнято *все*. Судьба поставила мою душу в такую зависимость от тебя, верно, чтобы погубить ее, загнать в западню, из которой нет выхода. И об этом я говорила долго и подробно, хотя можно было бы сказать в нескольких только простых словах: — пока ты был со мной ласков, нежен, добр, пока я чувствова<ла> тебя в жизни рядом, несмотря на всю ее жестокость, и я была хотя несколько спокойна и могла все. В последнее время мне нужно было совсем мало (я признаюсь почти со стыдом...) — только немножко вниманья, немножко ласковости и сознание, что *через все мы вдвоем*... Но когда не осталось *ничего, ничего*, я лишилась возможности не только работать, а даже и жить, дышать.. Я пишу тебе так искренне затем, чтобы ты не считал мое возвращение перевода «злой выходкой», необдуманным поступком, о котором сама я буду жалеть. Я жалею, но иначе, чем ты думаешь. Мне горько, что так случилось с первой моей работой, которую я принимала серьезно и которую мне так хотелось сделать хорошо. Я уже сделала много, — почти все это, что вернула тебе, у меня переведено. Половина закончена и готова совсем, половина в черновой тетради. Пропал труд, пропала радость увидать его

конченным. Мне неприятно также, если ты будешь затруднен, кому отдать вместо меня, или должен будешь после своего же предложения отказаться перед Струве[4]. Когда все это мне говорил Сережа, я чувствов<ала> себя почти виноватой. Но вина моя невольная... Пойми, просто пойми, — я не могу *ничего*, когда я *не с тобой*. Я не знаю, смогу ли я даже жить, когда замолчат последние отголоски нашей жизни, даже той, плохой, мучительной, обидной, как последний год. И если я это вынесу, если не умру сознательно и добровольно или случайно от страшных доз морфия, которые я сейчас беру, — мне нужно будет много, много дней, чтобы научиться *только дышать*... Разве ты знаешь, *как* переношу я эти первые пока почти часы моей новой жизни без тебя!..

Валерий, я сожалею глубоко, что мои последние слова к тебе по телефону были грубы, как стон ожесточенной человеческой боли. Поверь, нет у меня к тебе *злобы*, и если она *казалась* тебе, — это *ты* не видал за искаженной гримасой настоящего лица.

Мне не надо ничего реального, ни встреч, ни слов, — посмотри мне вслед добрыми глазами, — я почувствую это. Еще одна просьба: — верни мне *мои* письма. Я не хочу, не могу, чтобы они были у тебя. Когда пройдет время и я перестану быть для тебя живой, — ты сможешь, может быть, дать их *ей*[5], как самой близкой. А об этом я думаю с ужасом. Не обижайся! Я знаю, что от близких *не хочется* иметь тайн. Но я... я могу думать с ужасом об этих минут<ах>, даже если они будут после моей смерти. Не отказывай мне, Валерий! Зачем они тебе? Успокой меня, верни, и скоро, как можешь скоро.

Теперь совсем о другом... Помнишь, мы собирались вместе к гипнотизеру?... Когда я думала о жизни, — мне представлялось это необходимым, и я совсем было решила лечиться у него. Теперь не буду. Морфий — единственное, что дает мне возможность преодолевать мое горе. Пусть я умру от него, но что я буду делать без него?! Ты другое... Тебе необходимо избавить душу и тело от этого темного рабства. И ты, пожалуйста, пойди к нему! Я тебя *очень, очень* прошу, Валерий. Ты будешь опять живой. Подумай, разве ты не хочешь? Я знаю и верю, что он тебе поможет и *сможет* помочь. Он приятный человек, к нему не будет неприятно ходить. Поверь моему впечатлению. И вот тебе его адрес: Смоленский бульвар (в конце, это почти Зубово), 3-й Неопалимовский пер., д. 2, кв. 10, Петр Павлович Подъяпольский. Приедет он 7-го января. И тотчас просил написать ему. Он назначит дни.

Пожалуйста! Прошу тебя! пойди к нему и лечись без предубеждения, а главное — систематически. Если хочешь, я напишу ему и спрошу о днях приема. Я готова это для тебя сделать, только, ради Бога, пойди, пойди!...

Прощай, милый Валерий! Не представляй меня злой, с грубыми словами на губах. Ты никогда, никогда не хотел видеть моей души!..

---

[1] См. примеч. 1 к п. 297.

[2] Имеется в виду п. 296.

[3] Ср. п. 291, примеч. 3.

[4] Весь перевод романа Деларю-Мардрюс был напечатан в «Русской мысли» за подписью Нины Петровской.

[5] То есть И.М. Брюсовой.

299. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

11 февраля 1911 г. Москва

Очень прошу тебя прочесть
до конца со всеми приписками[1].

11 февраля 1911 г.

Милый Валерий,
теперь уже действительно все между нами кончилось, и у тебя не должно быть сомнений. Ты сделал мне признанье, первое настоящее искреннее признанье, которое наконец объяснило мне все мои недоумения за семь лет жизни с тобой, которое осветило ярким светом те события и факты, что ты много раз пытался называть разными именами, всеми именами, кроме настоящего. Не знаю, зачем ты долго таил от меня эту единственную истину твоего ко мне отношения. Если бы ты сказал мне так прямо, как сказал наконец, то, верь, меня давно уже не было <бы> в твоей жизни, и не было бы у тебя тех неприятностей и мучений, которые связывались со мной. Я сейчас хочу только проститься с тобой. Проститься печально и ясно, чтобы изгладилось в твоей памяти впечат<ление> кощунственных слов моих последней встречи. Пойми, Валерий, это состояние души, эту боль, которая ослепляет все чувства и исторгает против воли безумный стон или крик. Ты знаешь хорошо «лики любви» и знаешь, что иногда прокля-

тье равно самой нежнейшей ласке. И еще хочу я, Валерий, чтобы, прощаясь со мной навсегда, ты понял меня так же глубоко, как наконец поняла твои чувства я. Ты связан с той женщиной[2] инстинктивным, темным, стихийным чувством. Я такое чувство называю любовью; особенно наблюдая его семь лет во всех реальных проявлениях, я пришла к выводу, что *для тебя* — это самая настоящая любовь и во всей полноте ее, на какую ты только способен. И рядом с признанием в любви и неизъяснимой привязанности к ней ты сказал совсем просто, что меня не любишь совсем, что ко мне у тебя чувство, которое можно назвать как угодно, только не любовью в обычном человеческом значении этого слова. Ни нежности, ни близости, ни слияния личных интересов, ни влечения, ни желания видеть (как близкую), ни одного элемента того, что я называю любовью, у тебя ко мне нет. «Я бы желал, — сказал ты, — жить как я хочу, своей жизнью, с женой или без нее — все равно, быть, где я хочу, ездить, куда хочу, и если я пожелаю тебя видеть, прийти к тебе, чтобы говорить о том, о чем мы можем говорить». Так ты сказал...

...Я понимаю, Валерий, что можно женщину разлюбить или не любить вовсе и уйти, — это просто, естественно, честно. Но неужели ты сам не понимаешь, как чудовищно, как неслыханно жестоко твое предложение мне подобных «отношений». Или ты не знаешь, как я тебя любила, или ты забываешь, что и у меня есть живая душа, которая так же способна страдать, так же чувствительна к обиде, так же хочет ласки, близости, нежно<сти>, тепла, как и ее душа, в которой ты все это признаешь? *Что* предлагал ты мне? Нечеловеческие отношения, отношения, уже невозможные между нами потому, что *я*-то тебя люблю, и все, что ты у меня отнял для другой, стало причиной вечной, неутихающей боли. *Тебе*, который любит другую и у которого эта простая потребность радости сближения с кем-то родным и милым удовлетворена вполне, конечно, не трудно было бы иногда приходить ко мне «поболтать», прочесть стихи, рассказать о новой книжке... Но мне... как могу я с вечной тоской по тебе, с вечным острым голодом в сердце равнодушно встречать тебя, радостно видеть тебя, соединенного с другой, отдавшего все, чего я так страстно хотела от тебя семь лет, — другой... Видеть тебя в моей жизни случайным гостем и знать, что жизнь твоя устроена с другой женщиной. Знать всегда, что у меня ты гость, а там муж, любовник, хозяин дома... Довольствоваться ничтожной подачкой, что падает с ее

стола, знать всегда, что «там» ты отрекаешься от меня, готов каждую минуту отказаться от меня, лишь бы избавить ее от минуты огорченья, всегда, всегда жить со взором, прикованным к вашей тайной для меня жизни, видеть вас вместе утром, вечером, за столом, за книгой, в постели, — близких, родных, любящих... и жить от встречи до встречи в пустоте, в холоде, в одиночестве, с вечной неисцелимой завистью, с нестерпимой мукой ревности, обиды, униженности, созн<ания>, что я для тебя *ничто*, а она — близкая, милая, жена... Возможно ли это! Подумай, подумай, Валерий, *кто* согласился бы сказать себе: «Хорошо, я принимаю это, я соглашаюсь со всем, и отныне моя жизнь будет такой»... Все чувства — и человеческие, и женские — были бы поруганы этой жизнью. И пойми, она была бы возможна лишь тогда, если бы *и я* любила тебя столько же или, лучше сказать: не любила бы тебя так же, как ты меня. Ты мне предлагал ту форму отношений, что у меня уже есть с Сережей. Но ведь пойми, — Сережу я разлюбила давно, и Л.Д.[3] не отняла у меня в нем ни мужа, ни любовника.

С Сережей мне бывать *так* легко, потому что ничего другого, ничего того, что он отдает Л.Д., мне не нужно. И только поэтому создались эти «идеальные отношения» мои с ним. Но ведь во всякой более или менее молодой и способной любить душе совершенно понятна потребность в иных чувствах, и вот тому пример: ни Сережа, ни ты, — Вы не удовлетворяетесь «идеальными» отношениями со мной и имеете иное. Так почему же *я*, почему я должна, задушив в себе живую простую человеческую любовь, довольствоват<ься> этой бескровной, безжизненной, замороженной дружбой? И как могу я это, если душа полна воспоминаний о других твоих чувствах!.. Ведь все мои желания — такие естественные и простые, — только потому оказываются почти преступными, что они не совпадают с твоими. Ведь *ей* ты позволяешь говорить, что ты один ее жизнь, ее обиды от моего присутствия тебе больны, ее желание быть, напр<имер>, с тобой совсем вдвоем летом тебе не кажут<ся> безумными и чрезмерными притязаниями. Ее забота, ее ласка, ее потребность в твоих ласках и заботах не тяготят тебя, потому что тебе это приятно и нужно. А как же могу я согласиться на то, что ты мне предлагаешь, когда я знаю, что все мое личное, интимное, нежное не нужно тебе и тяготит тебя. И неужели не понимаешь ты, что все эти простые и насущные проявления и желания любви, когда их будешь стараться давить и душить, заострятся, как иглы, и вопьются в сер-

дце вечной обидой и болью. Ах, как хочу я, чтобы понял ты это! Только понял... Тогда не будет у тебя этого жестокого выражения глаз, тогда ты пожалеешь меня настоящей хорошей жалостью. Ты знаешь, у меня грудь разрывается от этой жажды отдать тебе всю мою нежность, все тепло, всю ласку и ласковость, которые прежде так были тебе нужны. И я хожу точно проклятая, когда ты не ласкаешь, не жалеешь, не хочешь быть близким со мной. Как я задушу все это, чтобы с ясным, спокойным лицом и душой принять ту холодную, бескровную, отвлеченную дружбу, что ты мне предлагаешь!? Да ведь эти пределы, что ты поставил, это сознание, что «пределы» *только для меня*, а с ней ты живой, любящий, — это убивает всякое живое, непосредственное проявление. Быть с тобой и думать каждый миг: «Ах, не сказала ли я чего лишнего, не слишком ли я интимно себя веду, не навязчива ли я, не неприятно ли ему, что я его поцеловала, не сидит ли он сейчас только потому, что видит в моих глазах скрытую тоску»... Можно ли это, Валерий, принять как жизнь, как способ жизни или форму ее? С нечеловеческим мужеством сказать себе: «Те радости, без которых жизнь для меня равна смерти, — не для меня. Их он отдает *ей*, отдает от всего сердца, и сказал, что *я* должна о них забыть». А потом вернуться к жизни, работать, бывать с людьми, смеяться, существовать, видеться с тобой, точно ничего не случилось?.. Так? Ты думаешь, что можно *так*? Ты думаешь, что мою душу можно ломать по всем направленьям, и она все-таки останется живой?.. Положить на мои плечи такое горе, миллионной доли которого не вынесла бы она, и думать, что смогу приходить на твои зовы? Валерий, дорогой мой, мне ничего от тебя не нужно, и больше не делай для меня даже самого малого, я об одном прошу тебя с тоской — постарайся понять *невозможность* того, чего ты от меня хотел. Скажи сам, в глубине себя, что ты говорил о невозможном. В этом признан<ии> твоем я нашла бы последнее горькое удовлетворенье. Осуди себя сам за эту минуту нечеловеческого ко мне отношенья. Можно разлюбить человека совсем, можно никак не ощущать его в своей жизни, но *понимать*, хотя умом только, особенно зная о нем все, — разве уж это невозможно?!. Ты сказал мне: «Но ведь без меня тебе не будет лучше?» И с усмешкой прибавил: «Конечно, нет, — так почему же тогда мне не приходить?» На эти слова я отвечу тебе совсем чистосердечно. О, конечно, мне без тебя ужасно, и я не знаю, *как* я буду жить без тебя и даже смогу ли я это.. Но и *с тобой* после твоего при-

знанья в любви к другой я тоже не могу быть. Твой вид, каждое твое слово, эта безнадежная твоя окаменелость, лишь только ты оказываешься рядом со мной, и сознание, что все мне нужное, желанное, все, без чего моя жизнь — одна сплошная темная ночь, отдано другой, сознание, что я *должна* держаться в пределах и не смею из них выходить, сознание, что все *мои* проявления любви к тебе в твоих глазах только жалки, безобразны, смешны или тяготят тебя, и вечная необходимость душить в себе малейшее движение живого чувства, чтобы вдруг не оказаться вне пределов, поставленных тобой, — все это так ужасно, так оскорбляет меня и мою любовь, причиняет мне такую раскаленную острую боль, что создать хотя какое-нибудь подобие отношений при этих условиях я не могу, не могу и не могу... Тогда ты скажешь: «Ну что же делать? Что надо делать?»

Ах, как странно это спрашивать! Что может *делать* человек во время катастрофы, разбившей все его существова<ние>? И как научить его *сделать* что-то гармоническое, стройное, годное к жизни, из элементов его горя!..

Конечно, я говорю тебе: «Уйди» — не на радость себе и не думаю, что с твоим уходом «все устроится прекрасно». Я говорю тебе «уйди» в отчаянии и остаюсь в отчаянии. И знаю, что если опять позову тебя и ты придешь, — не будет ничего ни нового, ни хорошего, и вновь начнет<ся> бесконечная мука. И я уже не могу желать, чтобы длились эти мучения встреч. Даже самые горькие наши встречи имели смысл, пока что-то выяснялось; а в душе вопреки всему жила у меня надежда, которую ты сам вызвал к жизни, и я думала: «Нет, он сказал мне — не верь, если я даже буду говорить, что не люблю тебя, потому что мы *не можем* расстаться, — я это узнал навсегда, как единственную правду о нас». Но теперь?.. Какие у меня могут быть надежды, если ты говоришь с безжалостной правдивостью: «Да, я люблю ее, а не тебя». И поверив этому ужасу, как могу я *на нем* построить хотя что-либо с тобой?!

Милый мой, ведь есть же минимум желаний и требований, без удовлетворения которых жизнь одного из двух становит<ся> каким-то сплошным поруганьем и униженьем. Ты знаешь это, — ведь ты же все время старался, чтобы было хорошо ей, а это значило *давать* ей то или иное. Мои желания и требования сократились до последних границ, за которыми уже мне только оставалось увидать, что ты мне *ничего* не хочешь дать. Я говорила тебе о том немногом, что нужно мне для жизни. Ты ответил просто и ясно:

«Я не могу тебе дать *даже этого немногого*». — Что же остается мне? Опять просить, ждать, умолять, биться о каменную стену? Нет, *нам* говорить о какой-либо «нашей» жизни уже невозможно. Я все сказала, все, все!.. Теперь осталось бы повторять.

И я говорю тебе «уйди» для тебя и для себя. Тебя это избавит от тяжелых свиданий и разговоров. Мне твой уход выяснит все, что должна я сделать. Пока ты «как-то» еще, но все же приходишь и я хотя в 2 недели раз слышу твой голос, у меня, конечно, невольно создается ощущение, что ты еще здесь, еще «как-то», но со мной. Без тебя совсем, когда затихнут твои шаги и голос, когда не останется даже наших призрачных «дел», когда опустится надо мной полная тьма, когда одиночество из всех сил сдавит сердце, я смогу умереть. О, я ничего не жду, никаких утешений. И у меня не было оставлено «хода на случай», как у тебя и Б.Н. Моя гибель несомненна, — я думаю, это тебе даже виднее, чем мне. Без тебя у меня кончается всякая связь с живой жизнью и людьми, без тебя я лишена даже единственного утешения — способности работать. Я не выйду никуда из зеленой комнаты, а долго ли можно прострадать так, — это решится само собой. Ах, верь только, Валерий, что я не говорю ни одного преувеличенного слова.

Ты же знаешь обо мне все, и ты знаешь также, что бывает с душой, у которой действительно отняли то, чем она была жива. Я не хочу твоей жалости, я не хочу, чтобы ты делал для меня хотя что-нибудь, сцепя зубы, без сердца. Да «что-нибудь» от тебя я взять не могу. Потому оставь меня, предоста<вь> меня моему горю, гибели и судьбе. И не бойся, я не позову тебя. Мне незачем больше звать тебя. Я знаю теперь правду и против рока идти не могу. А позвать тебя для встречи, какой была последняя, — даже для такой встречи не могла бы позвать я тебя, потому что мне больше нечего узнавать и «выяснять». Бог знает, как люблю я тебя, милый, милый Валерий.. Во всякий час твоей тихой радости или работы или скучных обязанностей, во все часы, дни и месяцы, пока я буду жива, я буду томиться мечтой возле тебя. Я никогда уже не утешусь и не буду даже искать утешений. Я смотрю прямо в стеклянные глаза моей погибели и знаю, что она меня не минует. Ведь теперь я остаюсь всецело «с ним». Душу мою и тело с полным сознаньем предаю его губительной власти. И только думаю — Боже мой, зачем я узнала тебя!.. У меня было все, чтобы жить, у меня были возможности жить достойно, а я валяюсь на земле, как раздавленный твоей ногой червяк!. Мне так тяжело, Валерий, я едва кончаю письмо. Прощай же, мой дорогой,

милый, единственный! Прощай, моя жизнь, моя душа, моя единая, вечная любовь. Я становлюсь перед тобой на колени и благодарю тебя за все доброе и жестокое равно. Благодарю тебя за жизнь и за смерть, за то, что ты был со мной, за то, что через тебя я познала настоящую любовь. Простись со мной и ты нежно. Я почувствую твою отдаленную нежность острее, чем самый страстный поцелуй. Прости меня! Прости все твоей бывшей Ренате.

P.S. Что касается этого несчастного перевода (в плохой миг я взяла его[4]), то ту часть, что у меня, я добросовестно перевела уже и пришлю тебе в «Р<усскую> М<ысль>» завтра или в понед<ельник>[5]. А конец его, который я вернула, — если мой отказ делает тебе крупную неприятность, то я могу сделать так, что *мне* его кончат, и я сама сделаю его таким, что стиль не изменится от этого, и подпись останется *моей*, против чего я решительно протестовала бы, если бы ты отдал его, напр<имер>, Б.М.[6] или переводил сам. Работать я не могу, но готовый уже исправить в смысле рус<ского> яз<ыка> так, чтобы он был *как мой* — это *я обещаю*. Иначе будет безобразно: половина под моим именем, половина под чужим. Если ты согласен, то пришли его мне или ответь, что не согласен. Этим исчерпаются «наши деловые отношения». Но не думай, ради Бога, что в этом скрыто мое желание быть *как-то* с тобой.

[1] Приписано после завершения всего текста письма.
[2] Подразумевается И.М. Брюсова.
[3] Л.Д. Рындина.
[4] См. примеч. 1 к п. 297; п. 298, примеч. 4.
[5] *Понедельник* — 14 февраля.
[6] Б.М. Рунт.

300. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

13 февраля 1911 г. Москва

13 февраля 1911 г.

Благодарю тебя за ответ, Валерий![1] Благодарю за «добрые слова»...

Теперь о злосчастном моем переводе: ты пишешь, что часть будешь делать сам, а *я* буду поправлять *твой* стиль под свой!.. (Считаю это за насмешку..), а конец отдал Б.М.[2] Конечно, я сама

виновата в этом, потому что вернула его. Я в минуты нашего последнего объясненья была потрясена, расстроена, убита. Мне казалось необходимым ликвидировать все, даже самое внешнее, чтобы не осталось даже призрака нашей связанности чем-то. Я не могла в силу моего состояния думать о практических результатах моего поступка. Теперь я вижу, что никакой «связанности» между нами не было бы, если бы эту работу я оставила за собой. Ты мог бы получать с посыльным, личных встреч не нужно вовсе, потому что не видишься же ты даже с плохими переводчиками, работа которых уже неотвратимо должна появиться в «Р<усской> М<ысли>»?! А практические последств<ия> вытекают для меня самые дурные... Я могла бы, даже не объясняя ничего, просто обязаться прислать тебе его к сроку, со всеми «достоинствами» и ошибками *моего* перевода, *моего* стиля. Тогда подпись осталась бы до конца *моей* и не было бы этого ужасного скандального вида работы, — половина за подписью, половина *без*. Что же, меня прогнали? Нашли непригодной? Ты понима<ешь> еще, что если *Б.М.* будет продолжать мою работу даже *без подписи*, то это для меня обида совершенно не переживаемая?!.. Новый позор ко всем моим позорам... Не думай, что я «испугалась потерять деньги», которые могла бы получить, и что я хлопочу из «корысти». Эти мотивы для меня сейчас чужды, мертвы, да и не взяла бы я *себе* ни копейки из них, — заплатила бы за работу. И вот, сказав это все, я *официально* уже говорю тебе: если ты можешь, верни мне *весь* текст, *весь* до послед<ней> страницы, и я совершенно формально обязуюсь доставить тебе перевод к сроку (даже раньше), со всеми недостат<ками> и «достоинствами» *моего*, знакомого уже тебе труда. Если ты не хочешь воспользоваться моей беззащитностью и сделать *по-своему* (хотя бы теперь в виде мести за «мой каприз»), то верни его, *я прошу тебя очень*...

Ведь я еще жива пока, и только «за смертью» можно делать с человеком в литературе что угодно. Позорь меня как можешь перед Б.М., рассказывая ей причину всего этого, — ведь теперь тебе только и остается отказываться от меня публично... перед всеми твоими родственника<ми> и знакомыми, во имя «тихости жизни»... Но литература — это область, где мое крохотное имя еще не было ни разу опозорено. Или для полноты меня нужно унизить и там?... Если ты сделаешь, как написал мне, знай, — что ты причинишь мне последнее кровное оскорбленье. Поступи как хочешь теперь. Я сказала все. Если ты надумаешь вернуть мне текст, то я проси-

ла бы тебя очень — не позднее *вторника*[3] 4 ч. дня. Это необходимо совершенно. *Тогда только* я пошлю тебе совсем готовые листы, что у меня. Иначе я сожгу их и напишу куда-нибудь, хотя какое-ниб<удь> объяснение того, что перевод переходит в другие руки. У меня нет другого способа самозащиты. Тогда пусть Б.М. пользуется уже всей работой, оставшейся после меня. Пойми, что в таком случае, конечно, мне уже будет легче, если моего перевода будет напечатано *как можно меньше*. Поступи как хочешь и только скажи мне твой ответ немедленно. Повторяю еще раз: не думай, что хлопочу из-за денег. Я уже изменила «способ жизни» моей в материальном даже за последние недели и дни, — в этом ты мог бы убедиться, если бы видел, как я живу. Несколько десятков рублей долгу, что я имею, я заплачу и без этих денег... Говорю тебе эти «отвратительные» подробн<ости> лишь потому, что не знаю, как иначе убедить тебя..... Не сердись на иные мои слова. Одна только мысль о том, что ты поступишь со мной, как предполагаешь, и я буду как-то «искуплена» Б<рониславой> Матв<еевной>, приводит меня в состояние самой крайней оскорбленности. Ты бы должен был это *хотя понять*... Жду твоего немедленного ответа. Теперь несколько слов о другом... Благодарю тебя, Валерий, что обещаешь «не помнить» трех моих последних слов. Конечно, ничего нельзя «забыть», но можно оправдать, объяснить, и в этом уже половина прощенья. Ты говоришь, что я написала все то, «о чем не раз уже говорила тебе». Что *иное* могла бы сказать я? Да и не считала я сама мои слова «новыми». В том письме я *прощалась* с тобой. Прощалась сознательно, не хотела, чтобы ты думал, будто я решаюсь на это «в исступленьи». *Новое* было в *твоем* признан<ьи> или, лучше сказать, в *прямоте* твоего признанья. Я не могла не догадываться, что ты чувствуешь, как тогда *прямо* сказал: «Слепо, инстинктивно, безрассудно привязан к ней» и «Тебя не люблю уже давно». Но ты почему-то на все мои мольбы сказать наконец правду, не украшая ее, как гроб цветами, сказать со всей жестокой откровенностью, — всегда отвечал схоластически, подменивая имена, ускользая, прячась за ничего не значащими, но в то же время такими словами, которые еще не отнимали последней возможности как-то быть около тебя и желать удержать тебя в своей жизни. О, Валерий, за одно укоряю я тебя с великой скорбью, с печалью и жалостью к самой себе, напрасно погубившей около тебя хорошую достойную жизнь, которой, м<ожет> быть, еще нашлось бы место на земле, — я укоряю

тебя за то, что не сказал ты этого так же давно, как почувствовал. Только эти две фразы, произнесенные тобой в четверг[4], в любой миг оборвали бы все нити, связывающие нас, тотчас бы перерезали, как ножом по живому телу, все, все! Клянусь тебе, что это правда! Я умоляла тебя: скажи, скажи прямо: «Я люблю ее и не люблю тебя», — ведь я ушла бы, не оглянув<шись>, от этих слов в сердце мгновенно умерли бы, как сейчас, как в ту минуту, что ты их произнес, — все надежды, все возможности, вся вера и вся жизнь, и будущее, и настоящее с тобой. Ты сказал их слишком поздно. Из эгоизма, из сознанья, что «все же без нее я почувствую, может быть, какой-то минус», ты держал меня. Да, да, держал, я утверждаю это! Об этом говорит все прошлое: гнал и возвращал, осторожно подыскивал слова, чтобы они выражали и твои настоящие чувства, и позволяли мне еще во что-то верить, обманывать себя иллюзией, что у тебя все же есть ко мне нечто такое, чем стоит дорожить. Ну, Бог тебе в этом судья! Верно, душа у тебя такая — темная даже перед самим собой, вероломная и себялюбивая прежде всего.... Благодарю тебя и за то, что ты, утруждая себя, написал слова, много раз тобой сказанные. Да, я поняла... «Cura... Amor»...[5] Прекрасные отвлеченные термины для того, что ты выразил уже яснее и проще: «Люблю ее, любовью темной, инстинктивной, слепой, и не люблю тебя». На все это письмо твое могу ответить опять же прежними словами, ибо других у меня нет и не будет: «Я приняла бы всякие горькие для меня перемены, всю жестокость этих перемен и с благодарностью брала бы *самое малое*, если бы знала, что *ты таков теперь вообще*, что *таковы твои чувства вообще*, что *ни к кому другому* ты не можешь чувствовать бóльшего и что никого другого, получающего от тебя *страстно желаемое мною*, — у тебя нет. Ах, Валерий, да разве при долгих многолетних связях говорят друг другу люди о своих переменах друг к другу!.. Нет, они, любя прежде страстно, потом *вместе* и *одновременно* меняются. Их чувства вступают в иные фазы, может быть, не менее прекрасные, чем пережитые, их души срастаются, и у их взаимных чувств создается помимо их воли бессмертная душа, которую нельзя убить. И все это, при условии любви в прошлом и настоящем (хотя бы давно ставшей *только* «Amor'ом») совершается гармонично, ясно, безболью. Так любили друг друга мои отец и мать — двадцать лет *неизменно*, хотя менялись они оба, менялись дни, возрасты, вкусы, желанья.... И так ты любишь твою жену... Ведь не влюблен же ты после 15-и лет брака? Нет,

ты не влюблен, — *а любишь*. Любил, и любишь, и *будешь любить, весь измененный*, потому что настоящая любовь бесстрашно, и ничего не утратив в существе своем, пройдет целый ряд превращений. Меня же ты не любишь и, верно, никогда не любил, и обманулась я, приняв влюбленность и страсть — минутность, игру чувства, — за любовь. Виноват ли ты? О, конечно, *в этом* ты не виновен. И грех твой, тяжкий, неискупимый грех передо мной и перед Духом Святым, — не в том. Ты «соблазнил» меня самым страшным и прекрасным соблазном, единственным для моей души, — обещанием любви. И *зная*, зная наверное, что *любви* у тебя нет, говорил, что она есть, и манил, и обещал, и вел все ниже, ниже по длинному ряду ступеней, пока не привел к стене, в полный мрак, в безнадежность, в яму, где наконец сказал, что *обязан* был сказать еще много лет назад, и оставил одну. Последний раз ты говорил мне с брезгливостью, с пренебреженьем, с мелочной досадой: «Ты целый час мне говоришь о своих страда<ниях>, ведь так никаких нервов не хватит». А если бы ты действительно представил все, что ты со мной сделал, м<ожет> б<ыть>, ты не произнес таких злых, дурных слов.

В твоем письме, где ты все-таки еще уверяешь меня в какой-то возможности быть с тобой, — ты очень обстоятельно говори<шь> мне о том, *каковы* твои чувства *ко мне*, и не говоришь главного... Если бы ты только для пробы написал рядом с этими словами то же признание, которое сделал мне *о ней*, и рядом со всеми минусами для меня поставил плюсы *ей*, — я думаю, ты сам бы понял, что говоришь о невозможном. Почему у тебя не хватило на это смелости? Почему ты всегда так темен, боязлив, неправдив? Ведь ты же знал, что *все равно* эту половину твоей «правды» я мысленно припишу сама. Почему же ты не сказал: «Хочешь быть рядом с моей любовью к ней, хочешь быть, зная, что все это нужное тебе есть у меня *только не для тебя?*» Ведь ты же говорил это в последний раз? Почему же не повторил для большей, для окончательной ясности? Не хватило духу? Ну, Бог с тобой! Это все *я* добавлю *за тебя* и, перечитав такое, полное письмо, скажу: «Нет, Валерий! Я не могу тебя позвать, я не могу с тобой быть, и мне нет больше пути к чужому мужу и возлюбленному (в полном смысле этих слов...)». Я давно говорила тебе, о, как давно, — произн<еси> только это признанье. Скажи ясно, просто, простыми, последними по точности словами, скажи только одно: «*Я люблю ее и не люблю тебя*». Пойми, мне уже теперь все равно, *как* ты любишь *ее* и *как* ты не любишь *меня*. Может быть, ты стал бы доказывать

с твоим пристрастием к схоластике, что *любовь* к ней менее ценна и прекрасна, чем *нелюбовь* ко мне. Все равно! Довольно мне путаться, изнемогать от этих цепких и ускользающих понятий. «*Люблю ее и не люблю тебя*» — в этом конец. Конец всему, связанному в жизни с тобой, и смерть. Не думай, что если я могу писать такие длинные письма и говорить с тобой, — то это значит, что я не ушла от тебя, что я хватаюсь за последний способ поддержать с тобой связь. Все, бывшее между нами, было очень сложно, и души у нас сложные, и, может быть, только благодаря этой сложности так затянулся самый «суд». И так я окаменела от горя, что сейчас говорю о нас как о посторонних, — с удивительной ясностью пониманья, с отчетливым, каким-то нечеловечески отчетливым сознанием, и такое у меня чувство, что я призрак без тела и души, что я проникаю в самый ужас, как тень проникает сквозь стекла.

Поверь, Валерий! *теперь* кончено все. Я не могу себе даже представить, *как* позвала бы я тебя!.. Эти слова, как говорят, «вырыли пропасть» — и воистину я вижу, чувствую, измеряю всю беспредельность этой пропасти. Ах, как легко тебе было во всякий миг оттолкнуть меня безвозвратно. Стоило только произнести это признанье. И когда бы за семь лет ты ни сказал эти слова, — в тот же миг мы были бы разорваны навсегда. Поверь в это! Поверь! Почувствуй! Ощути! — скажи себе: «Да, ее, Нины, больше со мной нет... ее навсегда уже нет»... Зачем ты опять напрасно обидел меня словами: «Что тебе нужно от меня, скажи, — я исполню. И если ты прикажешь, чтобы я исполнил что-то против своего желания и чувства, исполню и это»... Зачем так говоришь? Мне ничего не нужно от тебя, который *любит* другую, а против желания и чувства я не взяла бы от тебя ничего никогда, даже во имя спасенья от смерти. Зачем эта обида!? Разве ты не знаешь меня больше... «Начать с тобой новое» — т.е. постараться создать, выстроить какое-то здание из элементов моего горя и унижения, «повернуться самой к себе спиной», выкинуть, как старую тряпку, *эту* мою душу и где-то взять другую, чтобы уже с ней начать твое «новое», — видишь сам, для меня *невозможно*. Я ответила тебе на все больше чем подробно. Сознание мое ясно, решение окончательно и абсолютно. Если ты по примерам прошлых «ссор» будешь думать, что все это «уладится» и пройдет и я тебя позову, то только напом<ню> тебе, что *это* признание ты сделал первый раз за все 7 лет, а потому и примеры прошлого для сравнений не

годятся. Только события и время покажут тебе, *что* случилось в четверг 10 марта[6] 1911 г.

Ты видишь, я больше не надоедаю тебе рассказами о «моих страданьях».... Если в какую-нибудь минуту из тех дней и вечеров, пока я живу в моей комнате, ты — далекий уже навсегда — вдруг вспомнишь меня, представишь меня себе и почувствуешь сердцем, *как* живу я теперь, — ты узнаешь *больше*, чем когда *я говорю* о себе, а ты слышишь только надоевшие *слова* и нестерпимо удручающий нервы звук печального, рыдающего голоса. Прости за просьбу: ответь хотя одним словом о работе или просто без записки пришли оригинал, — тогда я сейчас же пошлю сделанные листы, или скажи, что *отказываешь*, — это тоже мне нужно знать до вторника, т.е. к 4 ч. вторника.

Больше мне нечего сказать тебе, Валерий. *Простилась* я с тобой в том письме, и нежность его строк прими как мой последний поцелуй мертвому тебе.

Н.П.

P.S. ...Два маленьких «P.S.» к обеим совсем разным половинам моего письма.... Я больше не буду тебе писать, Валерий, — разве только если пришлось бы почему-нибудь, то напишу самое последнее мое письмо на земле — конечно, тебе.. И потому, что я хочу этим письмом поставить крест, я скажу все, что сейчас мне приходит в голову. Ты говоришь: «Мне будет тягостно, мне уже теперь тягостно без тебя», — и дальше предлагаешь начать «новое»... Как выражаешься: «После всего, что было». Ведь если бы у меня оставалась какая-нибудь внутренняя возможн<ость> быть с тобой, я ухватилась бы за эти слова.. Не правда ли? Но почему же и тут ты не говоришь до конца и не говоришь так: «Примирись с моей любовью к ней. Прими ее как неизбежность, и с этого сознания начни со мной "новое"?...» Почему ты не говоришь *так*, не боясь открыто признать, и защитить, и утвердить передо мной ту, твою настоящую любовь? Зачем и здесь, в последнем твоем предложении, нет смелой жестокости слов, нет чудовищности слов, которые соответствовали бы чудовищности мысли? В чем дело? Если бы я была немного меньше сознательной, я опять бы запуталась... Ведь ты предлагаешь то, от чего я вовсе не отказывалась и на что смиренно согласилась: «Жажду близости, большую хорошую интимность, давнее понимание, добрую истинную заботу»...

И кажется, только мне протянуть руку, чтобы жить, дышать, быть почти счастливой... Но почему же я не могу этого взять? И почему ты тут же рядом не говоришь: «А *ей* я отдам мою любовь», — как сказал в четверг?

И если у тебя не хватает духу даже это написать, то как могу я, *зная*, все зная, сказать: «Да, я беру, приди ко мне, я рада, я счастлива, я встречу тебя, забыв все». Нет, Валерий, ты поймешь сам, что *этого* не взяла бы ни одна женщина в мире, которая любила или любит!..

И второе: я повторяю тебе еще раз, что только как желание страшно оскорбить меня я приму твое решение, чтобы Б.М. доканчивала мою работу. Именно она!.. Это пощечина... Это желание твое меня бесконечно унизить....

---

[1] Подразумевается ответ на п. 299.

[2] См. примеч. 1 к п. 297; п. 298, примеч. 4; п. 299, примеч. 6.

[3] *Вторник* — 15 февраля.

[4] *Четверг* — 10 февраля.

[5] Эти латинские слова включают широкий спектр значений, в том числе: забота, попечение; труд, работа, сочинение; уход, лечение; любовь, страсть.

[6] Описка; должно быть: 10 февраля.

301. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

Февраль (?) 1911 г. Москва

Валерий,
я не хотела уже тебе писать ничего личного. Я хотела так и отойти — молча навсегда...

Но сегодня мне предстояло писать тебе несколько слов о переводе[1], я приготовила бумагу и почему-то, прежде чем начать, взялась за шприц и «сделала» себе... Если не считать чудесами вещей, которых действительно почти не бывает, то вот это мое письмо к тебе — чудо. Описать этого припадка почти невозможно, — ощущения совсем непередаваемые, а внешние признаки его: как было в Париже, только если все усилить в 100, в 1000 раз. Около часу все лицо, и плечи, и тело были синевато-красного, совсем особенного цвета. Когда мне стало немного лучше, а это все не проходило, я боялась, что лицо не пройдет и останется так. Сегодня я действительно была «на волосок» от смерти. Даже сей-

час, через несколько часов уже, чувствую себя очень, очень нехорошо. И только этот случай несколько переменил мое решение — *отойти совсем молча*. Вот умрешь так случайно, и останется между нами, т.е. у тебя, какое-то непонимание моего поступка или подозрение, что все это было лишь «новым методом», способом как-то на тебя подействовать и вернуть, непременно вернуть... Нет, не думай так, Валерий! Я поняла окончательную невозможность быть нам как бы то ни было вместе. Пусть разбилась моя жизнь, и пусть мертва душа! Я не бегу, не укрываюсь от гибели, а смотрю ей прямо в лицо. Мне больше не жить, у меня не осталось ничего, и я не пожелала бы даже врагу пережить то, что я переживаю теперь. Но, несмотря на все, я решилась расстаться с тобой... Я помню все твои слова за эти месяцы, твое обращение, поступки, твое отношение — разрушение, охлаждение твое не по дням, а уже по часам, помню слова, что сказал ты последний раз. Долго был в душе хаос, в чувствах смятение и ужас. Потом все стало ясно. Я задавала много раз себе этот вопрос: *почему ты стал со мной другим*, почему ты меня разлюбил? Ведь в нашей любви были все элементы земной долговечности — *редкая* духовная близость, радость и красота телесных сближений, прочная связь лет, пережитых так тесно вместе... Ты говорил еще недавно, что душа у меня стала тоньше, выше, а любовь одухотвореннее. А между тем... ты становился все дальше, все холоднее. Исчезала та интимная близость, без которой *нельзя* быть двум любившим друг друга когда-то. Ах, какими страшными словами ты об этом говорил: «То *немногое*, что могу я *для тебя* сделать...» — и какое было у тебя лицо! Чужое, с сухим блеском в глазах, с улыбкой пренебрежительного сожаления на губах!.. Почему? Почему же ты так изменился? Ведь не «влюбленность в нее» после четырнадцати лет[2] так изменила твои чувства *ко мне*. Это неправда! Это невозможно!.. Тогда *что* же? И я поняла, *что*... Да, вечно огорченная, убитая, всегда уже теперь в дурмане морфия, и живя так день за днем, я не заметила, как стала *такой*, каких, верно, *не любят*... Я похудела, побледнела, я больна, у меня нет тела, у меня не блестят, как прежде, глаза и выцвели от горя губы. Мущина может простить все, — самый низкий обман, пошлость, грубость души, десять любовников, но не простит глаз, опухших от слез, и горьких складок у рта... Разве есть в любви справедливость! И разве есть для меня оправдание в том, что *такой* сделала меня моя горькая, вечно

обездоленная *тобой же* любовь *к тебе*!? Конечно, нет... И вот, ты сам, еще не понимая почему, уходил все дальше и дальше.. Потом ты, конечно, понял и удивлялся, как не могу понять *я*, что я давно уже утратила право рыдать о твоей утраченной любви с *таким* лицом — бледная, больная, похожая на призрак прежней себя. Так умерла твоя любовь, и ты предложил мне «все новое», — дружбу, «товарищество» — *новые встречи*... Ах, как стыдно мне! Как стыдно!.. Ведь моя *любовь* стала для тебя одной нестерпимой навязчивостью, тяжестью, мученьем, а я не понимала и *такая*, каких не любят, перед тобой же рыдала об утрате тебя!.. Я понимаю теперь, почему ты — всегда деликатный — доходил до грубости и обижал меня так жестоко. Ведь ты же говорил о смерти твоей любви и *нежно* и ласково и предлагал ее чем-то заменить, т.е. делал *все*, *что мог*, а я не брала и требовала того, *на что больше уже вообще не имею права*. И все протягивала руку, и все просила... О, как стыдно, как стыдно мне сейчас! Одна любовь даст много *и дает все*. Ты же мог дать немножко больше, немножко меньше, и, конечно, это было *нулем* для меня всегда, для меня, которая хотела любви. Мои требования, правда, сократились так жалостно, но *и они* были слишком велики для человека, который *любит* другую и разлюбил *меня*. Верь, Валерий! Я искала в душе возможности хотя «как-нибудь» остаться с тобой, и ведь для меня это значило бы — *жить*. Но уже поздно! Уже невозможно, уже сказаны такие слова, через которые нет пути. Во мне говорит сейчас не уязвленная гордость, нет, это больше и другое — это какой-то почти телесный стыд за всю себя, которая *предлагалась* и которую грубо, пренебрежительно и еще горько обидев *отвергли*... отвергли *для другой*.

Я поняла, что моя *любовь*, моя прекрасная любовь для тебя лишь «навязчивость» женщины, которая перестала к себе влечь. Я помню, как ты сказал: «Постой, ты говоришь о какой-то преданности, о большой самоотверженной любви, говоришь, что я *брал* их... но, уверяю, я ничего *у тебя* не брал»... И это лицо, эта улыбка!..

Да, *мне*, *такой*, можно было дать только «то немногое», что осталось у тебя от любви к другой, подачку со стола, *с вашего стола*. Я поняла. Я понимаю твои чувства, Валерий, но могу ли я *это* взять?! На что тебе моя преданность, моя тоска по тебе, все, что исходит из этой моей «утонченной, одухотворенной души», когда *целовать* меня стало неприятно, а все другое почти недопус-

21. Заказ № 795.

тимо!..* Когда ты пережил *эти* твои чувства ко мне, — ты стал чужой, сухой, холодный, скупой. Так бывает *со всеми*, и твоя любовь была как всякая любовь...

Если бы ты даже только любил одну мою душу, один мой ум, — ты не мог бы так обижать меня и у тебя не было бы этой страшной черствости. Нет, ты не из тех, кто может разделить, разорвать чувство или жить одной его стороной. Тебе нужна была *полнота*, а когда я стала *такой*, о какой *полноте* можно было говорить!..

Я знаю, что никто не может себя *заставить* любить, да и не хотела бы я *такого* чувства. И я понимаю тебя, твою жалость сначала, потом бессильные попытки *что-то для меня* сделать и, наконец, тупое длительное раздражен<ие>, которое всегда может перейти в резкий взрыв озлобления. Через слова твои: «*Немногое*, что я могу *для тебя* сделать» после слов: «Я без тебя не могу, ты мне нужна, ты единственная близкая в мире» — есть ли возможность перешагнуть через них, забыть их, не сосчитаться с ними, наконец, чтобы уже никогда не быть для тебя чем-то тяжелым, навязчивой женщиной, которая все не может понять своего положения и места. Ты поймешь, *чего стоит мне* произнести над собой этот приговор, сказать, написать слова страшные, навсегда отнимающие всякую надежду. Но я *была должна* сказать их тебе и себе. Моя жизнь сейчас так случайна и не прочна, что *откладывать* их не надо. Это я увидала сегодня.

Быть с тобой *как-то,* и как какой-то позор скрывать свою любовь, и знать, что малейшее ее проявление тебя или сердит, или тебе неприятно, тяжело, потому что я в твоих глазах утратила *право любить*, — нет, Валерий, *этого* вынести не мог бы ни один человек. Ведь если бы было возможно брать вместо любви подачку и снисхождение (а кто отказал бы в этом?), то не было бы страшных трагедий ее и люди не расставались бы вовсе.... «Немногого» кто не дал бы из жалости? Но, верно, руки любящих не созданы для мелкого нищенства...

---

[1] См. примеч. 1 к п. 297; п. 298, примеч. 4.

[2] Брюсов и И.М. Рунт обвенчались 28 сентября 1897 г. (см.: *Ашукин Н.* Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. М., 1929. С. 114).

---

* *Конец фразы от слова «целовать» дважды подчеркнут карандашом.*

302. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

Февраль 1911 г. Москва

Отвечаю тебе об этом злосчастном переводе[1]:
я посылаю совсем законченные листы и текст. Если нужно добавить еще, пришли когда хочешь. Мне стыдно, что работа моя не имеет официального вида, какой должна бы теперь быть. Там пропущены и слова, и фразы. Ведь мне некого спросить совета, не у кого справиться, и вот она имеет «дружеский» вид. Не беспокойся, я не поставлю тебя в «неловкое положение», и к 1-му марта будет готово. Но о третьей порции позволь мне дать тебе ответ через несколь<ко> дней, — через 5—6. Я не знаю, удастся ли мне ее докончить. Но ведь в месяц переведет кто угодно. Прости, что моя работа заставит тебя трудиться. Я виновата в этом, я не смела располагать ничем — ни временем, ни нашими отношениями. Она была возможна при других условиях, а теперь она заставляет меня лишь чувствовать мучительный стыд. Как и *всё*, *всё*. Ты гнал меня много раз, и вот я ухожу и поняла, что должна уйти. Исполняется твое давнее желанье. Ты же напомнил мне в последний раз, как меня гнал еще год назад, когда просил остаться в Париже. Не беспокойся о моей судьбе. Теперь и это поздно. Ты не сберег жизнь, вверенную тебе самой судьбой, самим Богом. Ты, верно, не мог беречь *двух*... А у меня через всю мою боль, через всю безнадежность проходит одна радостная мысль: *я* отдала *все*. Я не оскорбила любви, я отдала ей все, что мог отдать человек и женщина, и если не взял ничего *ты*, то все равно, — это видел Кто-то, это знает Кто-то... Верь, Валерий, у меня нет ни гнева на тебя, ни даже обиды. *Таких* не любят...

Мне пора было это понять...

Верни, пришли мои письма. В них вся моя жизнь, в них тление горя и любви. Не надо, чтобы *теперь* они были у тебя, *у вас*.. Верни, умоляю тебя! И скорее, скорее, и все до этого последнего, самого для меня страшного. За всю мою жизнь*

---

[1] См. примеч. 1 к п. 297; п. 298, примеч. 4.

---

* *На этом текст обрывается.*

303. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

22 февраля 1911 г. Москва

Прочти до конца, не обижай меня![1]

22 февр. ночь

Благодарю тебя, Валерий, за твое «доброе» письмо. Я отвечу тебе на него подробно, искренно и серьезно, — и не будем больше говорить... Только *не поленись прочесть его*, не пугайся длине, — при сложности всего этого нет возможности ответить кратко.

Ты говоришь в твоем «добром» письме, что причина только *в тебе*, что я ошибаюсь в моей догадке. Ты клянешься даже.. Мне трудно поверить, но я не смею не верить и буду говорить, отвечать тебе, точно я ничего подобного не думала и не чувствовала. *То* мое предположение отнимало у меня даже право касаться некоторых вопросов и вещей. Сейчас я могу говорить. Ах, только прошу я тебя об одном, — верь серьезности каждого моего слова, верь искренности всех моих чувств и не думай, что пишу я в «исступлении». Я спокойна как никогда, так спокойна была я еще один раз в жизни, задолго до тебя, в единственный по воспоминаниям месяц. Тогда меня спасло чудо, но ведь не ждала я его и ждала гибели, как сейчас, с полным ее сознанием...

Ты говоришь: «Тебе стоит протянуть руку», или: «Позови, и я приду», и еще самые странные слова: «Я люблю тебя». Но уже ничего не говорят душе эти слова, даже искры радостной надежды не зажигают они в сердце. И я не позову тебя больше, Валерий... Я понимаю все, что ты пишешь. Понимаю твою глубокую внутреннюю перемену — почти перерождение твое. Все это совершалось передо мной, день за днем. Я знаю много причин ее, знаю, какую страшную для меня роль сыграл морфий в ней... Все знаю, все сознаю и, конечно, сознав так глубоко, не могу от тебя требовать невозможного, такого, что лежит вообще вне пределов твоих чувств и восприятий. Мои «требования» сократились до предела, за которым уже начинается только униженье. Вспомни, как давно уже рассталась я с моей мечтой остаться с тобой вдвоем? Я сломила себя... И ты говорил мне: «Откажись только от *этого*, тогда станет возможным многое, почти все». Я думала, что ты поймешь и оценишь мою внутреннюю жертву, думала, верила, что ты сделаешь все, чтобы эта «новая» жизнь моя, жизнь безнадежно печальная, не стала лишь новым мученьем и униженьем. Я

думала, что, решив это, ты заставишь *ее*[2], как меня, сознать *неотвратимость меня* в твоей жизни, и ни одной минуты не представляла, что отныне вся боль, вся мука этого тройственного существования ляжет на меня одну, как вскоре случилось. Но ее ты пощадил, и то «немногое», оставшееся в твоей душе, отдал ей одной, *как и все внешнее.* Конечно, ты можешь ответить: «*Я так хотел, так чувствовал*», — но тогда кончается всякий разговор... Но ведь ты говоришь еще и сейчас, что «любишь меня», говорил недавно, что «*хочешь иметь меня в своей жизни*»... Как же ты представлял *меня* в этой жизни!.. О, Валерий, неужели не знаешь ты, что если бы не было у меня перед глазами этого вечного горького сравненья, неужели не знаешь ты, что я считала бы счастьем брать от тебя самое малое, — одно свиданье в неделю!? Но из моего одиночества, из моей разбитой жизни вечно смотреть в воображении на вас, видеть в образах всю вашу жизнь — спокойную, нормальную, почти счастливую жизнь двух любящих людей, представлять ее *всю*, во всех страшных картинах, и не иметь *ничего* взамен, не иметь ни уверенности, что я нужна тебе, ни сознания своего определенного *тоже большого* места в твоей жизни, не иметь никаких радостей и утешений, и даже надежды, что они когда-нибудь могут быть, — возможно ли это? *Кто* же тогда для тебя я? *зачем* тебе я, если самая жалкая маленькая радость, какую бы ты захотел мне дать, зависит от того, не скажет ли она: «Я этого не хочу, и этого не будет», — как было в прошлом году, когда ты сначала согласился, а потом отказал дать мне месяц летнего отдыха с тобой вдвоем. А когда мы ехали к Каптереву[3] и говорили о Париже, я поняла уже окончательно, что *все* в моей жизни с тобой и *навсегда* зависит от *ее* чувств, настроений, требований и желаний, что для меня нет даже надежды на какую-либо малейшую перемену этой ужасной жизни. Ты можешь опять сказать: «Все это зависит вовсе не от нее, а оттого, что этого хочу я, оттого, что *я* сам не хочу ее огорчать, обижать и как-либо нарушать ее покой», — тогда опять кончается всякий разговор. Ты говоришь, что у тебя *ни для кого* уже нет ничего, кроме «немногого», кроме слабых, полубезжизненных чувств. Да? Но почему же тогда это «немногое» отдаешь ты *ей*, а не мне? Ах, так прост ответ! — Да потому, что даже этой маленькой, слабой, скупой, себялюбивой любовью *ты любишь ее*, а не меня. Я знаю, ты возражал еще так: «Я забочусь о ней, так как мы слишком близко и тесно связаны, и если она будет в слезах, огорчена, убита, — этим нарушится мой домашний покой, нужный для работы». Но, Валерий, неужели не

сумел бы ты давать мне, *хитря* перед ней, обманом покупая покой, тебе нужный, пуская в ход всё, все средства, наконец, внушая ей день за днем, *как мне*, — что я — это часть твоей души и жизни, часть неотъемлемая, и, посягая на это, она посягает на тебя? Мне ли учить тебя, *как* мог бы ты сделать мою жизнь достойной, не унизительной, не лишенной всех радостей?! И если ты этого не сделал, — значит, ты *не хотел*, не считал меня *настолько* нужной, чтобы бороться за меня с самой твоей жизнью... А если это так, то зачем, зачем мне искать тебя, цепляться за тебя, звать, стараться во что бы то ни стало быть около тебя? Зачем!.. Ты говорил еще в сегодняшнем письме: «Эта категория чувств не управляет больше моими поступками». Какая *эта* категория? Разве я хочу «безумия», влюбленности, диких, ни с чем не считающихся поступков страстного любовника?? И разве *такие* чувства были нужны, чтобы сделать мою жизнь выносимой, не униженной, хоть как-нибудь, если не счастливой, то спокойной? Ведь и к ней нет у тебя «влюбленности», а ты дорожишь ей, заботишься о ней, даешь ей жить и дышать?!...

Нет, я вся другая, чем прежде, теперь хотела совсем другого. Я хотела быть с тобой близкой по-новому. Я думала, что для нас, переживших страсть, может наступить прекрасная, вечная, дорогая нам обоим близость, близость как утешение в нашей грустной, тяжелой, точно полуизжитой жизни. Посмотри, как живешь ты и как живу я!.. Люди для нас только тени и призраки, дни идут бесчувственно, плоско, пыльные, серые, все как один. И в такой жизни, которой уже больше не расцвести, — интимная нежная близость с кем-то милым, вечно желанным должна быть дорога, как чудесно сбереженное сокровище прошлого. Мне виделась тихая, милая жизнь... Ты не захотел ее, Валерий, а она ничего не потребовала бы от тебя, кроме внимания и хотя редкой ласки... И как могла помешать я твоему желанию много, много работать, которое охватило тебя так страстно? Два слова в вечер по телефону *оттуда*, из того ужасного дома на Мещанской[4], — и я сидела бы у себя за столом, чувствуя, как воздушная телефонная нить связывает меня с тобой.... Как могла я помешать тебе в чем-либо внутреннем, когда я полюбила тебя так глубоко и как поэта, и художника, и даже как «литератора». В твоей поэзии, в твоей работе я близка тебе, как ни один человек на земле. Может быть, до многого в тебе мне предстояло подняться, но то, что было мне доступно, я любила, *как ты сам*. Ты говоришь, что у тебя «другая душа и другой ум», — пусть... Ведь это тоже все появилось и ро-

дилось у меня на глазах, и я не переставала любить тебя, твою меняющуюся сущность. И, как прежде, у нас были все условия для долговечной близости, для тесной, нерасторжимой, прекрасной связи, — но... ты не хотел, не хочешь ее взять, *потому что может огорчиться она*... О, если бы хотел ты воспользоваться этими возможностями, если бы ты не берег ее одну, разве не нашел бы ты способа удержать меня? Разве оставил бы ты меня одну в отчаянии, с пузырьком морфия в утешение? И разве не сделал бы ты какой-то «уступки» мне и даже каких-то обид *ей*, тем более что нужно мне так мало, так мало!.. И разве не пришел бы ты, не «ворвался» бы даже, вопреки моей просьбе «не приходи», в эту зеленую комнату, где ночи и дни бессменно тоскую я одна, смертельно тоскую, умираю от горя?!.. Неужели не сознаешь ты самой простой и прямой опасности таких минут, таких чувств, такой жизни? Ведь жить так, — расставшись с тобой, с жизнью моей в тебе, — разве можно долго? Или ты думал, что повторю я историю Шестеркиной[5] и, покинутая, больная, некрасивая, буду тянуть день за днем, и ходить на вечера, куда приезжаешь ты с ней, чтобы издали на тебя взглянуть?!. И если, *зная* все это, ты не идешь и не находишь внутри себя ни силы, ни желания меня спасти и удержать, — *значит, я не нужна тебе вовсе*... Правда, ты еще так добр, что позволяешь мне быть с тобой, говоришь: «Позови — я приду». Но быть с тобой и сознавать, что ты этого не особенно желаешь и *ничем серьезным, настоящим я для тебя быть не могу*, а все, что ты можешь, *ты отдаешь другой женщине*, твоей *жене* в самом полном, прекрасном и великом значении этого слова, — Валерий, Валерий! Кто это мог бы? Я ведь не забыла, как ты говорил недавно: «Да, верно, я больше ее люблю. Я действительно даю ей все, и даю, не принуждая себя никогда». А потом ты говоришь мне: «Позови меня, и я приду!» *Кого же, для чего* же я позову? В памяти встают страшные воспоминания... Снег тает уже... Весна близится.. Неужели, неужели ты, точно дразня мою боль, опять уехал бы с ней шестое лето?! Одна эта мысль наполняет меня ужасом. Нет, пусть я лучше ничего не знаю, не вижу, пусть у меня не будет *ничего*, совсем ничего, чем такое будущее!..

Да, я могла бы быть с тобой, могла бы с великой радостью принимать самое малое, если бы не было у меня перед глазами доказательства — в образах, в воспоминаньях, в ужасных картинах воображенья и действительности, что *она* нужна тебе, *одна, одна она*...

Я помню, как объяснял ты смысл твоих поступков и отношенья к ней, и сегодня еще ты говоришь в письме: «Мои малодушные хлопоты о мире и тихости жизни». Ты говорил, что не делал для меня многого, не желая огорчать, раздражать ее и тем нарушать покой твоих рабочих часов. Но подумай, куда же это могло привести и *куда уже это вело*?

И позвать тебя опять, чтобы каждую минуту сознавать свою ненужность, свою случайную прочность или непрочность, в то время как она — *твоя жена* связана с тобой тесно душой и телом!.. Взять на себя все горе этой жизни и не иметь минуты отдыха и пощады!..

Я измучена, я вся исстрадалась, я больна и несчастна.. Мне нужно опереться на твою нежность, чтобы только вновь научиться дышать. Мне нужна ласка, снисхожденье, пощада. Я чувствую себя замерзшей в моей холодной пустоте. А ты вновь предлагаешь одни суровые лишенья и униженность. Нет, лучше моя медленная смерть в зеленой комнате, оторванной от всего живого. Я ничего не знаю, не вижу. Надо мной опускается холодная мягкая тьма. У меня не осталось даже жалкого утешенья пойти к людям, услыхать живой человеческий голос. Ах, они видели меня с тобой, они еще называют рядом наши имена, спрашивают о тебе, — поворачивают в ране нож. Не обижай меня мысленно, не думай, что я хочу тебя разжалобить, в моих словах, клянусь тебе любовью моей, нет капли аффекта или преувеличения. Я живу в таком страшном внутреннем напряжении, так надломлена я вся, что скоро со мной будет что-то очень плохое, как всегда, когда мы расставались, — и ты узнавал после. И я знаю, — теперь я умру, и ты придешь ко мне в последний миг, и я умру, обнимая тебя, как твоя Рената в тюрьме с такими же словами[6]. О, если тебя позовут так, — *ты приди*!! Ты придешь нежный, милый, мой, прежний. Я верю, что еше один раз на земле увижу тебя таким, и за все мое горе мне дадут последнюю земную радость. Но это уже мысль последняя. Это будет, когда *здесь* для меня кончится все.

Ты *теперь* говоришь мне: «Тебе стоит протянуть руку». На эти слова я отвечу тебе другими, *на которые не получу ответа: «Приди ты, ты сам в любой день и час, если ты вдруг почувствуешь, что можешь и хочешь удержать меня для себя, для нашей жизни, жертвуя даже ее покоем и счастьем. Приди, если можешь доказать хотя чем-нибудь, что я нужна, нужна тебе не меньше, чем она, и что то "немногое", чем ты обладаешь, тебе хочется дать мне, хотя уже не*

в меньшей степени, чем ей». — Я знаю, на эти слова ты нашел бы или запутанный схоластический ответ, или одно сухое и суровое молчанье.

Но не принимай их серьезно, — это шутка, моя горькая шутка над собой. И вот я сказала все. Прости за пространность, за этот большой исписанный лист. Я больше не буду писать тебе. Я не хочу никак нарушать «тихости» твоей жизни. Она тебе *новому* нужней и дороже меня. Милый Валерий, Бог видит, как я тоскую по тебе! Ах, что «тоскую»... Я мертва без тебя, без твоих глаз, твоего голоса, без всего тебя, который был моей жизнью. Только страшный взгляд Надиных глаз, который следит эти дни за каждым моим движением, как-то связывает меня с действительностью и говорит, что я нужна еще одному человеку на земле. Ты знаешь сам, что без тебя у меня нет ничего, ничего... Но зачем, *зачем* позову я тебя! Я повторяю тебе, я благодарила бы тебя за все и с великой радостью брала бы не только часы, но короткие минуты, даваемые тобой. Но жить с тобой так, так страдать и знать, что *там*, в страшном доме на Мещанской, у тебя есть жизнь желанная, даже часом покоя которой ты не пожертвовал бы для меня, провожать тебя туда, точно опускать каждый день в могилу, видеть, как ты *спешишь* к ней *от меня*, боишься остаться *лишний ночной час*, боишься дать мне что-нибудь *насущно нужное*, чтобы не причинить ей *царапины булавкой*, и все, и все, о чем говорила я столько раз, что терзает душу, как бессменное пыточное колесо... Так тянуть день за днем эту весну, замирать от горя, видя, как распускаются почки и зеленеют газоны по бульварам, замирать от страшного ожиданья удара по одной и той же навсегда незаживающей ране, потом страдать в камнях, умирать от боли, горя, унижения, и так бесконечно, бесконечно, потому что ты не любишь меня, не хочешь, не можешь *взять у нее*, чтобы дать *мне*... Ах, нет, лучше страдать одиноко, ничего не зная, не видя, не слыша, быть «Ренатой в тюрьме», которая ждет последнего сладостного свидания со своим неизменным Рупрехтом. Не осуждай меня за «романтизм», ведь, вероятно, колыбелью его было человеческое горе... И всякий несчастный становится «романтиком»... О, конечно, я хочу тебя видеть, и страшный голод в моей душе. Но зачем, зачем я позову тебя?! Для новых страданий? Ведь поняла же я, увидала, узнала, *что даже это «немногое» твое больше не для меня*. Я просила так мало! Я ничего не хотела нарушить, я отдавала тебе всю мою, как ты ее называешь, «прекрасную душу» за «немногое», за

это твое «немногое», *отданное целиком ей.* Ты несколько лет уговаривал меня согласиться «делить» тебя с ней, и когда я, переменив себя всю, согласилась, — тогда ты сказал: «Нет, не могу, не могу ничего причинить деревцу, взращенному моими руками — любимому и близкому, потому что корни его сплелись с моими, потому что, причиняя боль ему, *я причиняю ее себе*»... «Нет, — сказал ты, — я ошибся, я не взвесил моих намерений, и они оказались неосуществимыми». Что же осталось сказать мне? — Прощай, будь покоен и счастлив, береги ее, как себя, и себя, как ее, потому что так тесно сплетены ваши корни! Береги «тихость» твоей жизни, — я не нарушу ее ничем, береги жизнь *твою* и *ее*, потому что *она — это ты.* Прощай, милый, любимый Валерий! Благодарю тебя, что твоим добрым письмом ты вновь вернул мне право называть тебя так. Ты много раз меня гнал, и я не уходила. Теперь я уйду, и ты меня не позовешь, — значит, все кончено, и час моей гибели пробил. Ты знаешь, *куда* мне идти без тебя! *Что* мне нужно, когда я не увижу тебя?!

Не обижай меня дурным подозреньем! Я не хочу тебя жалобить, мне страшна твоя жалость — *одна* жалость, и я не возьму ее никогда. Но если говорю я так много — может быть, это потому, что говорю я с тобой в последний раз.

Прощай, милый, милый Валерий! Отказываясь от тебя, я отказываюсь от жизни. Разве так поступают из злого «каприза»? Нет, это *невозможность*, которая лежит в глубине самой моей души. Я не закрываю тебе пути ко мне, но я говорю: «Приди, если и если...» Мои «условия», даже сами по себе, — та *жалкая уступка*, на которую я соглашаюсь сознательно. Я не говорю уже, как прежде, — «всё», я давно уже не смею произносить этого гордого слова... Я говорю смиренно и приниженно: «Хотя половину твоего "немногого"»... Но и на это уже нет и не появится в твоем сердце порыва *принести, дать*, утешить, вернуть. Мы говорили обо всем этом так долго и много! Но ты точно не слыхал моего голоса и не видал лица. Ты повторяешь: «*Эта* категория чувств», точно говоришь со мной прежней..... точно не слыхал, как много раз говорила я: «И я *другая*, хочу другого». Но я знаю, я поняла теперь, — ты говоришь так, потому что не решаешься сказать мне других, слишком прямых и жестоких слов, на которые у меня не было бы уже возможности ответить таким длинным письмом, на которые мне осталось бы лишь *молча* отойти. Но зачем со мной сейчас *такая* деликатность!? Ведь это только пустая форма! Ведь если бы *действительно* дело было в том недоразумении, которое я вполне

разъясняю этим письмом, — разве уже не было бы оно исчерпанным и разве не оказались бы мы скоро, скоро вместе?!.. — Ты не имеешь прежних чувств, — я не прошу и не жду их, между нами только *одна* преграда, которая вся зависит от тебя и которую так легко изъять... Но, верно, *в ней — все*, и только *она* навсегда разъединила нас, потому что для тебя она *неустранима*, потому что то «немногое», что нужно взять *у нее* и дать *мне* — есть не она, *а ты сам*, невозможность, лежащая в *твоей* душе...

Я делала и сделала все, чтобы быть и остаться с тобой. Я не считалась с гордостью, не щадила себя, ломала всю свою душу, шла на все уступки, но, наконец, увидала, что не поможет ничто, и тогда решила уйти. Не говори, что мы может встречаться «по делу», *независимо ни от чего*, — это дорога Шестеркиной, не моя.... Прощай, дорогой Валерий! Прости, что утруждаю таким длинным письмом.

Н.

---

[1] Приписано после завершения остального текста письма.

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

[3] См. примеч. 19 к п. 296.

[4] Имеется в виду новая квартира Брюсова на 1-й Мещанской улице (дом 32; современный адрес — пр. Мира, 30), в которой он поселился в середине августа 1910 г.

[5] Ср. п. 268, примеч. 4.

[6] Подразумевается сцена из главы XVI «Огненного Ангела» (IV, 287—290).

304. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Март 1911 г. Москва

Дорогой Валерий,

все тот же соблазн бросаешь ты мне на прощанье, волнуешь замученную душу словами: «Я хочу быть с тобой». Да, «все сказано, все известно», а ты кончаешь этими словами: «Хочу быть с тобой». — Ты видел, Валерий, я без жалости к себе истребила все иллюзии и рассталась даже с самым прекрасным и дорогим обманом, который давал мне жизнь. Теперь же я хочу разбить и последний соблазн, который, не знаю зачем, бросаешь ты мне на прощанье. Дай мне пять минут твоего вниманья. Не бросай письмо «с мелкой досадой», ведь я говорю не о мелком.... Ты говорил, что, отказываясь взять твою «близость», какую ты предлагаешь сейчас,

я отвергаю настоящую ценность, нетчто <так!> прекрасное и большое. Помнишь, говорил? Мы любили друг друга, Валерий, и ты давал мне твою *любовь*. Теперь ее нет, и ты говоришь: «Возьми близость, интимность, давнее пониманье». Но знаешь ли ты, *что это значит для меня*? Действительно ли ты хочешь этого со мной? И о том ли ты говоришь, что понимаю под этим я? Разве между нами было хотя *что-нибудь*, когда приходил ты последнее время? Разве это была «близость», когда я не знала «ничего», ни твоей внутренней жизни, ни внешней, — *ничего* о тебе? Приходил неизвестно откуда и уходил неизвестно куда. «Прощай, теперь мне надо уйти. Дело одно... Вечером же занят. Прощай». Может быть, это было именно так, но разве друзья, близкие люди обращаются так друг с другом? Приходил озлобленный, молчаливый, что-то таящий в сердце, — я холодела, когда ты входил в комнату. И *это* близость? Ты говорил совсем недавно, что я «единственный близкий тебе человек». Это правда? Значит, тебе меня жалко терять? Да?... Я люблю тебя, как никого, никогда не любила. Все «чувственное» давно уже выжжено в моем сердце большим постоянным страданьем, да и никогда, никогда оно не было главным. Я в тебе просто *все* люблю, все понимаю, угадываю без слов, готова жить и жила для тебя, быть тебе нужной, полезной, самой близкой, самой родной среди людей. Знаешь ли ты это? *Вполне* ли ты знаешь это? И если знаешь, если видишь, то тебе должно быть жалко бросать такую привязанность? Ты сам говорил, что не знаешь, «как бы жил без меня», — недавно говорил. Мое чувство могло быть какой-то мистической силой твоей, радостью, поддержкой в жизни холодной и трудной. Но ведь это все можно или взять и *пользоваться*, или *отказаться* совсем — да, быть жестоким до конца, до предела, сказать: «Ты *не нужна* мне *вся*». И когда ты говоришь: «Хочу быть с тобой», — я должна понимать, что ты хочешь *взять* меня, мою душу, и не потому, что этого *хочу я*, а потому, что это нужно *тебе*. Ах, Валерий, столько пережила я, так изломана, разбита, замучена, что *ради этого*, кажется, могла бы жить и тихо радоваться. Но я знаю, что говоря: «Хочу быть с тобой», — ты говоришь *даже не об этом*. Подумай, ведь нельзя жить одними *словами*, принять слова и ничего больше не ждать!.. Если ты назвал меня «самой близкой», отчего же ты не пришел однажды, в эти страшные смутные дни как к «самой близкой»? Как к сестре, к любимому другу, и не сказал живых, хороших слов? Во мне нет ничего, что стояло бы *между нами*. Ты не хочешь со мной

(или вообще) страстной любви и страстных сближений... Но ведь *вместе* нас убивал морфий, и я договариваю со всей искренностью: «Ведь и мне кажется, что из моей души *точно вырезали пол*». И мне сейчас по крайней мере не было бы жестоко и трудно жить без «этого».. И *теперь* между нами могло возникнуть новое, прекрасное сближенье. Ведь не противна же я настолько, что ты не можешь взять ничего *из души*, которая заключена в человеке с моим лицом и телом (конечно, об этом смешно говорить, и *для тебя* это не доказательство, — но я говорю сейчас тебе *все*, и скажу — : даже теперь, сейчас есть *двое* людей, которые хотят меня страстно и один серьезно, м<ожет> б<ыть>, надолго, как мы, люди, говорим: «Навсегда». Не думай, что я «хвастаюсь» или лгу..). Нет? *Этого* нет? И разве не могли бы мы подойти друг к другу после даже этих тяжелых дней просто и ласково? Но спроси себя, что это значит — «хочу быть с ней», — самообман это или сознательный обман *для меня*, последнее твое утешенье от доброты твоей? И вдруг я обманусь еще жесточе и увижу, что *за словами* не было ничего? И что это было только каким-то поруганием моих воспоминаний, моей любви? Ты понимаешь, что нам можно *быть*, если это твое сердечное желанье, а не снисхожденье ко мне, и если ты *хочешь*, хочешь, чтобы я была тебе среди людей близкой, родной. Пусть даже есть у тебя сейчас другая любовь, пусть ты бываешь «в раю», в эти ночи, когда я о тебе сейчас плачу, — почему ты не расскажешь этого мне *как самой близкой*, и почему ты не говоришь мне о жизни «дома», *с ней*, и обо всем, что есть и было, как самой близкой *сестре* твоей? Разве, если бы ты это мог, — не влекло бы тебя ко мне? По-новому, по-другому, — но разве не влекло тебя к вечной нежности, вечной ласке моей, к этой любви просветленной, которая сумела встать сама над собой во Имя Твое? К этой любви светлой, страдальческой, одухотворенной, для тебя сгоревшей? Разве не хочется тебе так довериться хотя одному человеку на земле, который так любит, так любит тебя? И разве не было бы тогда у тебя сознания, что ты «у себя», когда ты приходишь ко мне? *Так* и *только так* понимаю я нашу «новую жизнь», «новую близость». И если *ты* этого хочешь, если хочешь всем сердцем и *веришь* в нее, в эту близость, и в меня, — я брошусь к тебе навстречу, забыв всякую гордость, я буду благодарно целовать твои руки, и приходи тогда в любой миг, в любой час, я встречу тебя нежно, со всей ласковостью, с радостью, со счастьем. Разве было бы мне что-нибудь страшно или оскорби-

тельно, если бы *я знала все о тебе*? Разве свелись бы тогда наши встречи к бесцельным минутам в одной комнате, когда страшно говорить и страшно молчать? Вот, дорогой мой Валерий, ты видишь агонию моей души, вот в страшной муке рождается в ней что-то светлое — из огня и слез. Я переживаю такие муки, что внутри меня то все горит, то умирает и леденеет. Я бьюсь на песке, как рыба, — в ужасе она глотает воздух, смотрит в знойное небо безумными глазами... Это кризис любви, перелом ее — видишь ли ты меня? Знаешь ли ты, что нет невозможного в любви. И вот эту душу мою, всю светлую, чистую, всю твою, в которой нет ни одного помысла *не о тебе*, в которой живешь ты один, — я отдаю тебе еще раз! Возьми ее, владей, распорядись ею!.. Но *хочешь ли* ты? *Хочешь ли*? Ведь в этом, *в новом*, я не могу принять лжи, обмана... Я не могу взять *одни слова*, бездушные, ничего не стоящие, бездеятельные!.. А вдруг ты только утешал меня и вовсе не хочешь со мной никакой жизни в днях, в движеньях, в ее событиях!.. И хочешь иметь меня как «хорошую книгу» для библиотеки — иметь, поставить на полку, занести в каталог, знать, что она есть, и никогда или раз в год брать в руки? А живая жизнь тебе со мной *не нужна*. И если ты скажешь: «Хорошо, я беру все, что ты предлагаешь, будем опять вместе, пусть настанет наша “новая жизнь”», а на другой день ничего, *ничего* не изменится... Ты придешь с пакетиком в руках (почему-то так было каждый день), с мертвым лицом, мертвой для меня душой, придешь и уйдешь, не глядя в глаза, которые ждут *тебя*, тебя живого, близкого, который говорил бы о себе все и хотел бы знать обо мне все?!.. И уйдешь с особым пренебреженьем, как ты уходил, — неизвестно куда, к кому, не желая знать ничего обо мне... Милый, я бьюсь об тебя, как о камень. Если у тебя есть сейчас что-то очень яркое, новое, другая женщина, и любовь, и счастье — и тебе *ни до кого* нет дела, — скажи мне это. Разве я буду тогда удручать тебя собой, просить чего-то для себя? Иди тогда с Богом, будь счастлив, я, может быть, сумею радоваться на твое счастье. Ах, скажи, если это есть! Скажи! Признайся, разве это будет жесточе других признаний!? И если *нет*, тоже скажи мне.

Милый, милый, ты не отдаешь мне моих писем и, м<ожет> быть, когда-нибудь они будут жечь тебе руки, когда меня не будет вовсе и когда ты будешь читать, как звала я тебя, как тосковала, томилась, как любила тебя...

Валерий, дорогой, ты видишь, — я перешла уже через всё, через все униженья, через все горькое, ужасное; все это точно уже

позади, и я в другой стране. Оттуда откуда-то новым голосом, с новым лицом и душой я говорю тебе: милый, вот я! Видишь, *какая* я, видишь, что я вся жива тобой одним — дай мне жить или прикажи умереть. Скажи, что и это неправда, что никакой «новой жизни», «новой близости» не будет, не может быть, и чтобы я не ждала. Ты мне оставил последний соблазн: «Я хочу с тобой быть», — я взяла его, подобрала это крохотное зернышко, как драгоценность, и хочу посадить его в землю, чтобы выросло оно, как новое дерево, как живое растенье. Мне не стыдно после всего писать тебе это письмо, и опять звать тебя, и опять говорить все, предлагать, отдавать. Я не «капризничала», «не ломалась», я жила страшной жизнью эти дни, шла по каким-то ступеням, умирала и оживала от звука твоего голоса, от прикосновенья рук. Господи! ведь видишь же ты, милый, меня, мою любовь, мою душу, видишь, слышишь, *чего* я прошу теперь... И еще раз оттолкни или позови. Посмотри вглубь себя, спроси себя — можешь ли ты начать со мной «новое», как говорил сам. Или нет, уже не можешь ничего, — тогда прикажи мне умереть. Ты видишь, ты не можешь не видеть, что я все же живу одной надеждой *быть с тобой*. По-другому, по-новому, — но быть с тобой. Я скажу тебе «мои планы» будущего, и верь, милый, так не лгут, и я не лгу и на этот раз не раздумаю.

У меня есть срок, я обещалась, поклялась Сереже, который, ты знаешь, в сущности говорит теперь одно: «Умри, мой Нин», но просил очень «в силу разных соображений». Так вот, у меня есть срок, верный, точный, и дни на счету: до страстной субботы[1].. Я хочу этот день, эту ночь. Помнишь ее 6 лет назад? Я говорю это спокойно, как все проигравший, все потерявший человек. Зачем мне жить, если не будет тебя со мной? Для того, чтобы вспрыскивать морфий и утратить подобие свое, образ человечес<кий>? Или чтобы писать в «Утре России» рассказы и рецензии[2]? Или чтобы ходить в гости к Зайцевым и Ивановым[3]? Вот в эти недели до Пасхи (поверь, я не обману тебя! я сейчас хочу сказать тебе *все* о себе, все, все, что думаю), после моего рожденья, когда мне исполнится 32 года (от 17-и до 25 с Сережей[4] и от 25 — до 32 с тобой — только не ровно, а какие-то месяцы больше или меньше с тобой или с ним), оно будет в конце марта[5], — сознательно и просто я сделаю это, тихо и без эффектов. Я знаю, ты не придешь, ты скажешь: «Умри», — и это письмо я пишу, чтобы вырвать последний соблазн. Я знаю — ты или промолчишь, или ответишь так двусмыслен<но>, опять щадя меня от резких

слов, так в то же время безусловно, что я махну рукой. И об одном прошу тебя. Милый Валерий — *приди*, если можешь дать то, о чем я говорю, — *если можешь* прийти ласковый, близкий, с открытой навстречу мне душой, *с острым желаньем* остаться со мной, быть со мной, удержать меня *для себя*. Но если слова «я хочу быть с тобой» ничего не значат или значат, что должно настать прежнее мученье, холод, отдаленность, замкнутость и ничего не премениться, и ты не можешь, не в силах пробить эту ледяную кору, если ты сознаешь это и уже хочешь взять назад слова «хочу быть с тобой», потому что *я* понимаю их иначе, *чем ты*, — тогда скажи только: «*И этого с тобой я не могу*». Больше уже мне нечего будет попросить у тебя. Вот последний раз стою у твоих дверей и стучу в них. Осталось у тебя мало?.. Или *ничего* не осталось? Я больше не знаю... Я несу тебе все, что могу, я сломала себя для тебя еще раз и смиренно прошу: дай это другое, меньшее, иное, чем прежде, дай, если можешь сказать, что слова «хочу быть с тобой» не утратили значения. И верь еще в одно: если мы *согласимся* (если будет это чудо) — не бойся, что *я обману*, буду мучить, требовать невозможного, и верь, что я зову тебя *не в новый ад*. Если придешь, поверь мне с первого слова, с первой минуты, и будем *оба* иные, чем были.

Валерий, зверочек милый, неужели ничто не дрожит в твоем сердце от этого письма?!

Неужели ты способен принять его как «ловушку», западню, хитрость? Ты видел меня, я едва голову поднимаю с подушек, я падаю от горя, и *за все это*, за все, что сделалось со мной возле тебя, через тебя, — у меня нет к тебе злого, мстительного чувства. Какого-то ребенка — кроткого и нежного — нашла я сама в себе, и эти чувства — искренние, беззлобные, чистые, простые — отдаю тебе от всего сердца.

И теперь только прошу одного — или возьми их, или отвергни *всю*, *всю* меня, прогони жестоко, бездушно, прямо и не оставляй больше соблазна. В твои руки я отдаю всю себя — мою жизнь возьми и скажи — *быть ей или нет*. В твои руки отдаю мое «будущее», — пусть будет теперь Воля Твоя[6].

Не сердись, дорогой мой, любимый мой. Тебе грешно на меня сердиться, я страдаю очень.

Твоя.

Не бойся сказать правду, я приму твой приговор покорно. Еще раз ты не услышишь моего стука в твою дверь. Прогони *теперь*, когда я прошу другого. Прогони! Уйду!

Не сердись на «длину» писем. Прежде это были «разговоры» — теперь я лишена возможности говорить. Это письмо *последнее*, ты видишь. Я и говорю о *твоих последних словах*, и не бойся, — *не буду надоедать*, если ты скажешь *нет* на все, что здесь говорю. Будет *нечего* уже просить...

[1] *Страстная суббота* в 1911 г. — 9 апреля.

[2] *«Утро России»* — ежедневная московская газета, издававшаяся в 1907 и 1909—1917 гг. В 1911 г. Петровская печаталась в ней регулярно: рассказ «Последняя ночь карнавала» (№ 41, 20 февраля. С. 2), рецензии на книгу Н. Русова «Отчий дом» (№ 52, 5 марта. С. 7), на сборник «Фиорды» (№ 64, 19 марта. С. 7) и др.

[3] Б.К. и В.А. *Зайцевы*. О каких *Ивановых* идет здесь речь, неясно; возможно, о секретаре Московского Литературно-художественного кружка журналисте Петре Константиновиче Иванове (пришедшем на похороны Петровской) и его жене.

[4] На основании этих слов начало общения Петровской с С. Соколовым правомерно датировать 1896 годом.

[5] Таким образом, датировка рождения Петровской — конец марта ст. ст. 1879 г. (прежде в многочисленных изданиях указывался год рождения: 1884).

[6] Формула из молитвы «Отче наш».

305. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Апрель 1911 г. Москва

Среда. Ночь

Твое письмо — это пощечина мне, после которой ты уже никогда не увидишь меня близко. Я помню первую пощечину, — настоящую и единственную за всю мою жизнь, — удар по лицу от любимой руки... Ее я пережила и никогда не напоминала тебе этой минуты ни оскорбленно, ни враждебно, потому что это было безумием, порывом ослепшего в экстазе чувства. Письмо же твое было ударом рассчитанным, обдуманным, и каждое слово его направлено только к одной цели — унизить, оскорбить, как можно больнее изранить беззащитную сейчас душу. Ни одно из этих оскорблений не отвечало на написанное мною. Ты все время повторяешь о моем «настойчивом требовании», и на этом выражении строишь дальше твои недостойные обвинения и подозрения. Я же не только ничего не требовала, но наоборот: *все отвергала.* Все твои предложен<ия>, все сомнительные чувства «третьего сорта» и все унизительные условия так называемой «новой жизни» я *отвергала окончательно.* И если мой отказ был написан на 12 страницах,

а не в двух словах, то лишь потому, что мне хотелось сказать на прощание всю горькую правду и о прошлом, и о настоящем.

Было страшно читать эти строки, сквозящие самыми непристойными подозрениями, унижающими прежде всего самого же тебя. Так, Валерий!.. Моя любовь в течение семи лет была вовсе и не любовь, а упорное стремление ничтожной женщины удержать знаменитого любовника и иметь в глазах общества хотя и не законное, но определенное и завидное положение твоей «фаворитки». Любви не было!.. Была лишь жестокая семилетняя борьба за те преимущества, что давала связь с célébrité*, — смесь тщеславия и корысти... И теперь ты рассуждаешь так! она чувствует, что все сорвалось, и ставит на карту даже жизнь, чтобы «устроить 20 дней, как ей хочется, и провести их с *Валерием Брюсовым*»... А нужно мне это, вероятно, для того, чтобы еще сколько-то времени *поддержать* иллюзию нашей связи в глазах общества рассказами об этой интимной поездке. И с гадкой улыбкой, с дерзкой иронией ты задаешь мне еще вопрос, который жалит меня, как холодный и скользкий гад: «Неужели же ради человека, которого ты называешь ничтожным и полусумасшедшим, ты готова рушить твою жизнь, и м<ожет> б<ыть>, не одну твою?» Что я должна сделать? Оправдываться? Перед человеком, который за семь лет близости со мной не увидал ни преданности, ни жертвы, ни самой бескорыстной любви?... Оправдываться я не могу и не хочу... Я скажу тебе только, что ты *лжешь*, приписывая мне слова, которых я не говорила. *Так* я не называла тебя. Я говорила с болью о твоей перемене, искала всюду ее причин — во внешнем, в душе, везде, и с великой горечью делала разные предположения. Говорить же искренно и интимно, не скрывая ни одной мысли, ты сам мне позволил.... Бог видит мою душу!.. Я любила и люблю тебя, но никогда бы не ответила на вопрос «*за что*?», ибо любовь *не может* этого знать. Сумасшедшего, нищего, преступного, лишившегося таланта и морального чувства, — я любила бы тебя равно и желала бы *не только 20 дней, но всей жизни и навсегда.*

Если же ты не верил и не веришь в это и подозреваешь, что все мои страдания и моя гибель только *от звериного страха* потерять в жизни *«Валерия Брюсова»* вместе со всеми преимуществами связи с célébrité и *от обманутой корысти*, то я не могу уже разубеждать тебя, ибо мы говорим тогда на разных языках и органиче-

*Знаменитостью (*фр.*).

ски чужды друг другу, как жители разных планет. Я думала, что ты любил меня и *потому* в годы нашей близости *считался* с моими желаниями, и мне казалось, что мы *совпадали* в наших *вкусах*, желаниях и чувствах, как всегда бывает в любви... Но оказалось иначе!.. ты «подчинялся моим требованиям» сцепя зубы, был в долголетнем рабстве, пока не сказал себе наконец: «Я больше не в силах жить так». Этими словами ты отнял у меня даже воспоминания, и я вижу перед собой чужого человека с темной и лживой душой, который неизвестно зачем столько лет вводил меня в заблуждение и путем лжи овладел моей любовью и всей моей душой. Твоя пощечина горит у меня на лице, и осмеяна, поругана, закидана грязью моя любовь.

Думаю, что теперь тебе ясен мой отказ, и ты избавишь меня от новых оскорблений.

Только как насмешку и издевательство принимаю я после всего тобой мне сказанного, после всех недостойных обвинений и подозрений твой *зов* опять в конце твоего письма и обещание «соблюдать minimum»...

Ни от *единого* слова моего прошлого письма *не могу* я отказаться и удивляюсь, *для чего*, собственно, ты меня в этом «заклинаешь»? Довольно, Валерий!... Ты волен меня оскорблять, пользуясь моей беззащитностью, волен назвать еще позорным, уличным словом меня и мою любовь, — и до этого уже один шаг... Но Бог видит мою душу, и я сама знаю мое страданье и мою жизнь. И *эту* жизнь мою, приведенную *тобой* к гибели и всем мучениям, и все *возможности ее*, о которых я тебе писала, я предпочитаю «новой жизни» с тобой, — пощечинам, унижениям, издевательству над женщиной и человеком.

Прощай и будь счастлив ценой моей гибели!..

Н.П.

P.S. Письма пришли *все без исключения*, и письма первого года, и карточки[1].

С переводом могу запоздать до 3-го мая, не позже[2].

---

[1] Петровская имеет в виду свои письма к Брюсову; о возврате их она просила и ранее (см. п. 302).

[2] Речь идет об очередной порции перевода романа Л. Деларю-Мардрюс «Шеридан», печатавшегося в «Русской мысли» (публикация завершена в № 7 за 1911 г.).

306. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Вторая половина апреля 1911 г. Москва

Я посылаю, Валерий, главы перевода, но не приходи в ужас, что нет двух первых для этой части перевода: «Le portrait» и «Confession». Дело в том, что я *забыла* страницу, с которой должна была начать, а они куда-то завалились. Переводила с «La lutte», и только совсем на днях нашла две первые[1]. Была испугана этим, но ты не беспокойся. Я кончу их к 3-му мая. У меня голова пуста и расстроена, оттого это случилось. Чтобы не терялось время — ведь тебе нужно «поправлять» (работать за меня), —— я посыла<ю> сделанное. Прочти их, они отдельные, — это можно. Таким образом, переведено будет вообще больше, чем нужно к маю. У меня осталось пустяки — 23 (или 46 двойных) страничек. Прости эту оплошность и прости все недочеты перевода. Я знаю, что больше не имею права на твой труд *для меня*, но что я могла бы сделать? Как избежать этого? Переводила — пусть скверно, но, клянусь тебе, — все, до единого слова, — *сама*.

Валерий милый! Если ты не поймешь меня или истолкуешь дурно это письмо, — не отвечай тогда ничего. Пусть все сказанное мною умрет, точно не было произнесено. Если же поймешь и примешь просто, ясно, хорошо, — я буду рада и счастлива...

Не знаю, веришь ли ты в мою *неизменную*, верную любовь, которую не может убить уже *ничто* ни от тебя самого, ни от жизни... Твое оскорбление, страшное для меня подозрение я не забыла!..[2] Ты отрекаешься... Но кто знает твою душу!.. Если ты все же думаешь обо мне *так*, брось, разорви это письмо.

Я была так оскорблена, что могла бы броситься на тебя с ножом. Такой я была в детстве еще. Теперь это подавлено, но в ту минуту у меня было темно в глазах. Мне казалось, что *никогда* я не увижу тебя, никогда не смогу простить.

Но стихло, улеглось это чувство. У меня только щемящая грусть и изумление, изумление — как могло *все это* случиться? Как могли мы так *быть*? Говорить так, жить так... Точно черная туча, точно бред и кошмар эти месяцы и встречи...

Я знаю, что ты *ко мне* переменился, что ты не прежний и *не будешь* прежним. Это мое горе, боль, моя смерть... Но *я* — я не

менялась, и я люблю тебя, хотя и моя любовь уже *не та*, не прежняя, даже *не та*, как год назад. Последние месяцы, а больше всего *дни* изменили ее очень, очень... И многого уже я *не могу*, и многого уже не чувствую.... Но пережить ее совсем, эту любовь, я тоже не могу. И потому я готова тебе все простить, все забыть.... О, не подозревай меня в лукавстве, расчете, корысти, желании удержать «Валер<ия> Брюсова». Я *тебя* люблю, не знаю уже, кто ты *теперь*, но люблю и буду любить, если даже мы не увидим<ся> никогда. Только самое светлое, самое грустное чувство осталось у меня сейчас, и жалость — зачем? Зачем *так*! *Так* ужасно расстаться! Ты уже подписал под письмом «Валерий Брюсов». От этих слов мне стало страшно.

Валерий дорогой! в последний раз... хотя бы для того, чтобы расстаться хорошо и благородно... Я все о тебе знаю, все тебе простила — прости и ты, если *я* обижала тебя... Я ничего не *требую* и ничего не обещаю сама, кроме хорошей, верной и нежной дружбы. Переступим *оба* через весь кошмар этих недель. Если и *ты* еще немного жалеешь, что утратишь меня, — найди в себе эту силу, эту возможность! Зачем? Чтобы не было так горько, чтобы попытаться *сберечь* то, что осталось нужного и дорогого нам *обоим*. Не будем «выяснять», спорить и мучиться. Дадим *что можем*, и если уже ничего *не можем*, тогда разойдемся тихо и достойно нас, нашего прошлого. Ты не веришь? Ты удивляешься моей перемене? Я ее тебе рассказала, как могла. Я как «Лазарь», я уже была где-то, в «залетейской стране» видела то, что *после смерти* я вернулась *оттуда* с другой душой. В ней *тишина* и новое что-то — я не знаю, умерло что-то или воскресло, или родилось вновь — не знаю, — но в эти 3—4 дня я пережила так много, так много, что не все сумела бы рассказать. Посмотри мне в глаза, ты увидишь...

О, не думай, я не ищу тебя убить. Клянусь тебе! Клянусь, Валерий!.. Не бойся меня. Ничего тайного, темного, лукавого *нет* в моем сердце.

Еще раз я не позову тебя. Если ты не захочешь, я больше не смогу тебя позвать.

Та Нина, та лучшая, какую ты знал и любил, — она сейчас чувствует и говорит. Я не знаю, *что это*. Но неужели ты не знаешь, как богата и неистощима в возможностях сильная своей любовью человеческая душа? Я повторяю: *ничего* не прошу, ни-

чего не жду.... Прили *какой есть*. Если *не сможем*, пусть тогда и кончится все *иначе*. Смотри, — что было, что было, а тонкая нить все еще не рвется.

Без колебаний, без подозрений приди, позови меня. Я не заставлю тебя пожалеть.

Я пишу тебе эти слова, и я не чувствую себя униженной ими. *Ты* не можешь оскорбить меня *так*, чтобы я не нашла силы простить. Вот, Валерий.... Вот все, что у меня есть.... Возьми, если хочешь и можешь. Я отдаю искренно, просто, ласково.

Что *будет* — я не знаю. Привыкни ко мне снова. Ты *забыл* меня... Ты думаешь, что я злое чудовище.... Нет!...

Я не буду счастливой и веселой, потому что больна. Но я буду той, какой велит мне быть моя любовь — терпеливой, кроткой, покорной себе. Валерий милый! Больше мне нечего сказать. Не отвергай меня. О, нужно было пережить так много, так понять жизнь, и свою, и твою душу, чтобы *после всего* позвать тебя от всего сердца. Не презирай меня! Не думай, что ради «выгод», корысти и пр. ...

Я не могу не любить тебя — вот правда моей души — единая и навсегда.

Дай увидать тебя. Ответь, если не хочешь. Просить — бесполезно. Если ты хочешь еще — ты не отвергнешь мой ласковый и *новый* зов.

Твоя.

[1] Речь идет о главах («VI. Портрет», «VII. Исповедь», «VIII. Борьба») части 2-й романа Л. Деларю-Мардрюс «Шеридан». Они опубликованы в № 6 «Русской мысли» за 1911 г. (С. 92—110).

[2] Вероятно, речь идет о неизвестном нам письме Брюсова, ответом на которое является п. 305.

307. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Вторая половина апреля (?) 1911 г. Москва

Милый Валерий,
когда же пришлешь ты письма[1]? Прошла целая неделя с *твоего письма*, где ты обещал их *скоро* прислать. Банки открыты, и праздники кончились...[2] Не мучь меня этим! Я не могу, чтобы эти письма оставались у тебя! Пожалуйста, Валерий!

В твоем последнем письме ты говоришь: «Для нас остали<сь> пути близости»... Я не могу отвечать на это длинно и подробно. Я устала от слов и объяснений, я больна и едва могу сейчас сидеть за столом. Я знаю только одно, что, если бы оставалась хотя какая-нибудь близость или связь, ты не мог бы покинуть меня одну, больную, в отчаянии, полумертвую от тоски по тебе. И ты нашел бы «путь» ко мне, несмотря ни на что.

Ты можешь жить в одном городе со мной и не знать обо мне ничего, и не тревожиться за меня, и не бояться меня потерять... Ты *знаешь, как* я живу сейчас, — я не хочу повторять, не хочу рассказывать, — и если, *зная* все это, ты не находишь ко мне настоящего сердечного «пути», если можешь жить, устраивая в это время «тихость жизни» с другой, — значит, я не нужна тебе, и слова твои только ненужная условная ложь.

«Знакомства» с тобой я не хочу, ты видел, как всякое подобие таких условных отношений приводило меня в отчаяние и ужас.

Близости настоящей, которая найдет дорогу через все внешние и внутренние препятствия, той близости, которая связывала нас *годы* и *годы*, несмотря на самые жестокие ссоры и версты, разделяющие нас, — такой близости у тебя нет... *Иной* же, меньшей, поддельной, условной — не хочу я. Быть с тобой, как с Зайцевыми, Максом или Сашей[3] я считаю поруганием прошлого нашего и моей любви. Быть иначе — ты не можешь. И что вообще могло бы быть между нами после таких твоих признаний: «Любовь умерла, я не хочу тебя как женщину, я не хочу с тобой полной близости, не хочу заботиться и думать о твоей жизни»? Это *твои* слова, Валерий... И *ты* один мог бы вместо них сказать другие, не разрушающие, а созидающие вновь, и *только ты* сейчас, твоими усилиями и твоими поступками мог бы заставить меня забыть весь жестокий кошмар последних месяцев.

И если ты этого не делаешь, если нет у тебя сожаления и раскаяния, если нет желания во что бы то ни стало связать опять наши жизни, — все «слова о близости», все груды исписанной бумаги с целью «выяснения отнош<ений>» — одна ложь. Путь ко мне не закрыт и не запрещен тебе. Тебя *живого*, *близкого* я встречу всегда с неизменной радостью, с неизменной любовью. Но как с Максом, как с Сашей... Нет! тысячу раз нет, милый Валерий!.. Лучше я буду жить так, как сейчас, — одна, несчастная, без единой радости. Лучше умереть, замучившись в таких днях, чем ви-

деть тебя и знать, что ты *чужой*, что тебя для меня *нет*... Прощай <*3 строки зачеркнуто*>

Больше нечего мне сказать тебе, Валерий! Я звала и всегда буду звать тебя, — но *живого* и близкого, каким знала и любила тебя

Твоя.

[1] Петровская подразумевает свои письма к Брюсову. Ср. пп. 302, 305 (P.S.).

[2] Имеются в виду, видимо, пасхальные праздники (Пасха в 1911 г. — 10 апреля).

[3] Б.К. и В.А. *Зайцевы*; *Макс* и *Саша* — неустановленные лица (не исключено, что имеются в виду М.А. Волошин, в начале 1911 г. находившийся в Москве, и А.Я. Брюсов).

308. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

Весна (?) 1911 г. Москва

Воскресенье. Ночь

Чтобы писать тебе, Валерий милый, я встала сейчас с постели на рассвете и взяла подряд 7 шприцев, — иначе не могла бы ничего. Теперь же часа на 1 ½ буду чувствовать прилив обманчивых сил и успею сказать все, что хочу.

Только не гневайся на эти слова, дорогой, любимый Валерий! Я скажу их от всего сердца с любовью и бесконечной печалью. Не закрывай твою душу, позволь этим словам моим упасть в глубину ее и всей глубиной их прими.

Выслушай меня, милый!..

Вот настали дни, когда ты на страстную мою жажду последней правды отвечаешь всей искренностью чувств и слов. Ничего больше не таишь, не стараешься меня утешить, ничего не боишься и говоришь прямо, безжалостно, жестоко — *как я прошу*, чтобы ты отвечал. Да и пропала необходимость «смягчать» мое горе, потому что тебе не страшно, как было прежде и даже еще недавно, — *потерять меня*. Многое из того, в чем ты сознавался недавно так безжалостно, — было *правдой* целые годы, и я не знала. Это ты скрывал потому лишь, что не хотел меня терять и пытался примирить *две* правды. Быстро, чудовищно быстро исчезало в этот последний год твое чувство ко мне, и слова, которые были невозможны еще два месяца назад, — стали возможными..

Так, 11-го марта, на другой день твоих именин, ты сделал мне признание — первый раз в 7 лет — *в любви исключит<ельной>, непобедимой, слепой инстинктивной привязанности к твоей жене.* А перед этим говорил, что можешь мне дать лишь «немногое», и другие страшные, чудовищно страшные, невероятные для меня слова. Но, верно, еще все могла я пережить, кроме последнего признания!.. И я решила уйти, порвать с тобой все и расстаться навсегда. Я позвала тебя *только* «по делу» — в этом клянусь тебе. И ни одного мига не думала, что эта встреча поведет «к жизни»... Ты веришь, Валерий? Я клянусь тебе самым святым, — это не было хитростью, что я позвала тебя. И только *ты*, *ты* первый стал говорить опять о личном. Ты подошел, сел ко мне близко, поцеловал в губы... Я не могла противиться этой минуте, — ведь я всегда хочу твоей ласки и только в самом озлобленном состоян<ии> могла бы ее оттолкнуть. И я не видала тебя одиннадцать дней, тосковала, мучилась, мне снилось много раз, что ты подходишь и целуешь, — и эта минута была похожа на какой-то печальный мой сон. Ты говорил со мной ласково — может быть, тебе было меня жалко... В самом звуке твоего голоса была для меня горькая радость, которой так трудно было себя лишить, раз ты уже пришел. *Когда*? Это повторилось бы?!.. — Никогда больше... И я не говорила тебе «уйди», хотя в душе не было даже искры надежды и ни о каком будущем *с тобой* не думала я в те минуты. Вечером ты позвонил, днем сегодня еще пришел... Я очень больна... У меня ослабела и воля. Я не могла решить<ся> сказать по телефону: «Не приходи». И это было нужно, чтобы ты пришел. Опять разговор о *личном*. Ты или я его начали — не знаю и не помню. Я не буду спорить, если ты скажешь, что начала *я*. Но сегодня я поняла еще глубже, еще безнадежнее необходимость нашего разрыва и благодарна горькой благодарностью этому свиданью. Я *знала* все, Валерий, и до сегодняшнего дня, и ты не сказал мне ничего нового, кроме разве *точных* дат того времени, когда в душе твоей умерло то, что соединяет две жизни — мужскую и женскую, две души их, два тела — той особой, несказанной, единственной в мире близостью, без которой теряет смысл и становится внешним, ненужным, пустым и холодным их соединение, которому тщетно, тщетно подыскивают благородное, красивое и безобидное имя.

Ты сказал мне, ты признался в этом, я помню, еще в начале декабря этого года и сегодня *только повторил*, правда, в очень

безжалостных, жестоких и прямых словах, но *сущность* была мне известна и раньше.

И знаешь, как страшно иногда бывает: кажется, все понял, все ясно, все восприняли ум и сознанье, но все это точно формально, точно еще не ощутил самой интимной, самой сокровенной частью души, и не страдал еще вполне, каждой каплей крови, не трепетал каждым нервом еще от этой боли... Только сегодня, когда ты так «простодушно» сознавался мне и так «по-детски» отвечал на вопросы, от каждого ответа на которые точно били душу железными прутьями, — так только сегодня, Валерий, я почувствовала, *что это значит* для меня, и увидала уже вполне всю невозможность каких-либо отношений между нами.

У тебя в душе умерло ко мне то, что весь мир во все века называл и будет называть: «любовью». Мы, говоря сегодня, точно не находили слова. А оно просто, и нет другого — *любовь*. Она бывает великая и совсем маленькая, прекрасная, цветущая и уродливо больная, вся изломанная, она бывает *на всю жизнь* и *ненадолго* — на обычные людские сроки, — она бывает полумертвая и еле дышит в сердце, — но пока *она жива,* — ее проявления нельзя смешать *ни с чем другим*, такую радость разливают они в жизни и такая тьма наступает в ней, когда гаснет последний маленький луч. До этой осени *она была* еще в твоей душе — бледная, больная, еле живая, умирающая, дышащая «на ладан», — но она была, и она подсказывала тебе те движения, поступки, выражен<ия> голоса и глаз, которыми я дорожила с последним страхом, с безумным страхом потерять...

И когда угас этот последний луч, — ты взглянул на меня мертвыми страшными глазами и мало-помалу сказал все те слова, которые можно было сказать, не имея искры любви в сердце. Милый, милый Валерий! у меня нет к тебе ни злобы, ни вражды. Я говорю с тобой сейчас с тоской, с мукой в душе, я умираю от боли, но нет у меня зла. И вот так — нежно, любовно, ласково я скажу тебе, напомню тебе — вспомни все эти слова! Припомни их!.. *Что* переживала я, слушая их! Я умирала перед тобой много раз.. Каждое из них отрывало кусок живого тела, каждое наносило неизлечимую рану. Я стояла перед тобой, как перед единственным счастьем моей жизни, как перед человеком, которому Бог дал власть распоряжаться всей моей судьбой, всей мной до последнего дыханья, до последней капли крови. Я стояла перед тобой совсем беззащитная, я жила одной мыслью — быть желанной тебе, быть достойной тебя, быть такой, какой бы ты меня захотел взять, быть твоей собакой,

рабой, вещью — чем угодно — *только желанным* тебе, *чтобы* ты захотел *взять*, иметь, чтобы ты как-нибудь позволил быть около тебя, — хотя совсем отказавш<ись> от себя, — лишь бы ты чувствовал, ах, чтобы чувство<вал> то, что умерло теперь навсегда. Я переродилась, я переломала себя всю, я вся стала *твоей, для тебя, о тебе*, я не знаю, *чего* не сделала бы я еще и еще — внутри себя, вне себя, — лишь бы ты хотел меня, лишь бы удержать *то*, что умерло теперь. Все дни эти были горьким мученьем, беспрерывным страхом и тоской, тоской по тому, что уменьшалось, исчезало, словно таяло на глазах. Ах, Валерий! Дорогой, дорогой мой! а ты приходил распинать меня на кресте и каждый день вколачивал какой-нибудь новый гвоздь. Ты говоришь теперь: «Я был искренен, а разве искренно<сть> сама по себе не ценность, разве она тебя не радовала?» Радовала твоя искренность!!... «Я не люблю тебя больше, у меня к тебе осталось *немногое* только, мне для тебя все трудно, у меня умерло к тебе то, чего ты хотела и хочешь», — радоваться ли? *Мне* радоваться на такую искренность! Благодарю тебя! Пусть будет больней! Еще, еще больней!.. Я вспоминаю их все, сказанные тобою когда-то. Помнишь? — «шар мой, шар золотой!» — да, «твой шар золотой» наконец выкинули в помойную яму, как ненужную больше игрушку...

Прости меня! Прости, Валерий! я не сказала бы без морфия всех этих слов. Но они мои — это мои мысли в долгие, смертельно холодные пустые ночи, когда я зову тебя, кричу тебе в темноту. Валерий! Зверочек! Любимый! Приди! Вернись! Проснись! Скорее приди! Ты знаешь, ты слыши<шь>, ты знаешь, какое у меня горе! *Ты меня покинул! Так* любить и *так* быть покинутой! Милый мой, не гневайся на меня. Я никогда больше не посмею повторить ни одного из этих слов, никогда больше...

Я не гоню тебя... *Я* не *гоню*, но *ты* оставь меня, предоставь меня моей судьбе. Ты не можешь прийти, каким я тебя буду безнадежно ждать, до самой моей смерти. *Тот* умер для меня. Может быть, кто знает твою таинственную, скрытную душу, — м<ожет> быть, сейчас ты любишь кого-то. У меня не идут из ума твои новые нежные стихи.. *К кому* они обращены? Слишком живы они, чтобы быть бестелесной фантазией, и, м<ожет> б<ыть>, в эти дни, когда я тоскую и умираю, ты бываешь счастлив где-то, в каком-то раю ты проводишь странные вырванные часы, когда тебе кажется, что вы «чета теней»...[1] Может быть... Разве я узнаю, *что* сейчас радует, опьяняет и мучит тебя. И если так — будь счастлив, Валерий! Будь счастлив еще раз, если можешь...

Не думай обо мне. Предоставь меня моему горю. Не узнавай, не спрашивай, меня убивает это вынужденное, холодное, бездушное участие. Я знаю другое, я помню, как ты говорил: «Ниночка, девочка, моя больная!» — и мне страшно сейчас тебя видеть у моей постели. Прощай, дорогой, любимый, единстве<нный>. Прости, если это письмо похоже на бред. Я не знаю. Сейчас я устала, падаю. Не звони, милый, не спраши<вай>.

Когда умру — узнаешь из газет. Целую твои руки. И в жизни, и в смерти я Твоя.

---

[1] Вероятно, контаминируются образы из стихотворения Брюсова «Призраки» («Огни погашены и завеса задвинута...»): «Всё те же облики, знакомые, проклятые, / Кивают из углов и движутся в тени», «Ряды насмешливых и горестных теней» (*Брюсов Валерий.* Зеркало теней: Стихи 1909—1912 г. М., 1912. С. 21) и сонета Вяч. Иванова «Любовь» («Мы — два грозой зажженные ствола...»): «Мы — двух теней скорбящая чета» (*Иванов Вячеслав.* Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. I. С. 611).

309. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Весна (?) 1911 г. Москва[1]

Но по существу это было банальное «предложение дружбы» (не сердись). Из миллиона случаев, м<ожет> б<ыть>, *в одном* таким предложением пользуются, — в остальных — отвергают и уходят, и создается та «трагическая» любовь, которая служила *и тебе* не раз сюжетом стихов, рассказов, поэм, драм и пр. и пр. В таком положении, в таких чувствах есть благородство, красота горя, трагизм. Это сюжет мировой. Но что, если бы какое-ниб<удь> художественное произведение построить на другом, на том, что будет, если отвергнутый *возьмет* эту «дружбу»? Ведь кто же, Валерий, разве самый грубый, некультурный, простой до первобытности человек не согласится немножко, самую чуточку пожертв<овать> собой и дать несколько встреч в месяц и то «немногое», что ему вовсе не трудно дать? Но, верно, эта «дружба», эта «новая жизнь» страшнее одиночества, смерти и самого безутешного горя, если предпочитают *их*, а от этой «дружбы» бегут как от чумы? Верно, тогда наступило бы все то, что наступило у нас с тобой, все, все совершенно так, как у нас сейчас, когда быть с тобой так ужасно, что я готова смерть предпочесть этой приниженности,

этому невыносимому чувству — сознанию «своей нежеланности» ни в чем, этому сознанию, что ни к чему больше, ни к чему самому простому, пустому, невинному я не могу протянуть руки. Становится стыдно себя, своего тела, лица, голоса. Я знаю, что все это, — милое тебе прежде, все это, — чему была такая свобода, — должно сжаться в комок, замереть, не проявляться никак, чтобы не поставить себя же в ужасное положение. Какой-то стыд! стыд ужасный, телесный стыд и боль. Да! теперь я понимаю, *почему* люди не берут эту страшную «дружбу». И при всей этой приниженной сдержанности я, верно, не могла еще встать в те пределы, что назначены «человеком, который разлюбил», потому что ты прямо, в лицо мне говоришь ужасные слова, ужасные, убивающие душу. Ах, Валерий, ты говорил мне такие слова, каких во всю мою жизнь ни от кого не слыхала я!.. Нет, вероятно, у тебя было в душе желание унизить, сознание: «Да, она чувствует себя униженной», — и, вероятно, это сладко тебе. Вчера, например, когда говорили о твоем «отдыхе за границей», — ты написал, что *это я* подсказывала тебе, «вырывала» у тебя жестокие признанья и слова.. Но почему же, Валерий, *я* никогда не могла бы сказать подобного? Да просто!... У меня нет ничего для тебя унизительного даже в немой глубине моего сознанья, и я не скажу *таких* слов, если мне будут грозить, что вырвут язык. Ты сказал прямо, что я тебе помеха, бревно, которое загородило путь, и что из сostраданья, из долга, сознанья, что я «буду умирать», ты не делаешь ничего резкого и предпочитаешь, чтобы моя жизнь «влачилась как-нибудь, пока»... (Это твои буквальные слова.) Да, верно, люди отвергают «добрую дружбу» бывших возлюбленных, чтобы не слышать такого ужаса, чтобы страдать в гордом одиночестве, которое никогда не может покрыть сердце стыдом за самого себя, как такие отношения и речи. И я поняла теперь, почему в романах всегда отвергается эта «дружба», — чувство, которое противится ей, есть выражение какой-то безусловной человеческой правды. И, должно быть, все те, что любили, становятся такими чудовищно-безжалостными, и так же ужасно не щадят человека-женщину, как это делаешь ты. Да, милый Валерий, в последний раз с тобой хотела *пойти я на невозможное*, и мое письмо к тебе — зов, порыв каких-то просветленных, возвышенных чувств, — все это было непростительной для меня наивностью. Я не знала, что эта «дружба», которую ты предлагал, есть обычная фикция, обычное предложение разлюбившего человека, которое он делает, собственно,

для успокоения души и в надежде на отказ. Прости меня! Но ведь это правда.

Ты разлюбил, — в этом ты не виноват... Ты разлюбил *совсем*. Собственно, недавно, и когда я наблюдала, как по мере исчезновения любви исчезало все, и даже самая жизнь с тобой, — я должна была понять, что *все от тебя* было постольку, *поскольку ты любил*. Много любил — много давал, охладевал — давал меньше, разлюбил совсем — перестал давать что бы то ни было. *Все было только от любви*, а «дружба» между нами, — я думаю, ты и сам понял, — для нас одно пустое, мертвое слово. На мое письмо в Кружок[2] к тебе ты ответил общей фразой: «Кто я, что я, чем могу стать, — ты знаешь. Тебе выбирать и решать, мне осталось лишь повиноваться». Ты беспрерывно твердишь теперь: «Как ты решишь, так я и поступлю». И на мое письмо в Кружок, где я говорила вещи конкретные, определенные, твой ответ значил вот что: «Да, правда, я предпочитаю проводить мои вечера где угодно и с кем угодно, но не с тобой. Бывать с тобой *по-прежнему* — не хочу, ты это видишь, и не люблю тебя, — это ты знаешь; — можешь брать визиты на ½ ч. после "Р<усской> М<ысли>" мимоходом — бери, не можешь, — как знаешь. Другого у меня *для тебя нет*. И мне не трудно расстаться с тобой *совсем*, только реши это и скажи, — я повинуюсь, потому что *я*, сам, *для себя* быть с тобой не хочу»... Разве не так? «Не совсем так!..» И, в частности, я понимаю, почему ты перестал со мной бывать в общественных местах и вообще вечерами: тебе самому, пожалуй, это не было бы слишком трудно и иногда ты мог бы. Но это расстраивает *ее*, она узнает, она просит тебя не делать этого, и тебе *не трудно* уступать ей, потому что, собственно, твои и *ее* желания совпадают, — и вот ты говоришь ей: «Хорошо, поверь, я больше не бываю и не буду». Знает Бог, как больно, как ужасно говорить мне это, но что иное увидала я в твоем отношении ко мне за последние месяцы? Я почувствовала, что с жизнью моей ты разъединился, что я тебе не нужна, что ты меня не любишь, не хочешь, что тебе все равно, — больна я, здорова, страдаю, радуюсь, голодаю или веселюсь, или умираю. Я для тебя, если спросить тебя искренно, «больше не существую», и моя последняя просьба к тебе, последняя мольба — *«останься»* — не была услышана тобой.

После того письма ты пришел молча, я посмотрела тебе в глаза и не прочитала в них ничего, и подумала, что это согласие, в наивности безумной моей поверила в «нашу новую жизнь» и ждала

ее. О, Валерий, если бы ты только хотел ее, ты *начал* бы ее одним живым словом. Вся душа моя так устремлена к тебе навстречу и так была готова отдать всю себя, *как* ты хочешь ее взять, что я не могла бы не услыхать ответа. Но мертвый пришел ты, и мертвый приходил, и была я тебе не нужной, чужой, досадной, надоедливо скучной... Милый, милый Валерий! скажи сам, пойми сам, что *так нам* (после всей *нашей* прекрасной, и страшной, и всегда красивой жизни) нельзя уже быть. Посмотри на меня живыми глазами. Посмотри хотя так, как ты воспринимал бы чужую драму, и пойми, что мне действительно *нет* около тебя места, пока я тебя так люблю и когда ты охладел ко мне совершенно. Я погибну без тебя — это *ты* знаешь, и это для *меня* несомненно. Ты сказал: «Я не могу уехать, потому что ты "*примешься умирать*"» (так и сказал). Но все равно я «примусь умирать», лишь только увижу, что тебя со мной нет совсем. Может быть, я сама бы хотела иной судьбы, но разве могу я спорить с Роком? Но, несмотря на это сознание, несмотря на ощущение смерти, которое уже бродит вокруг меня, я не в силах искать спасения *у тебя же,* который меня отверг. И я все делаю, чтобы отдалить этот час, — все самое уже невозможное для себя.. И расстаться с тобой — это для меня, ты знаешь и видишь, — расстаться с жизнью. Я отдавала тебе такую любовь, какой ты не встретишь в мире, Валерий... Но ты не взял ее, и звать тебя лишь потому, что этого хочу *я*, я больше не в силах. Пусть свершится судьба.. Нельзя воскресить мертвого! Только Христос воскресил Лазаря, — у меня, верно, нет сил оживить, заставить вновь дышать твою любовь. Я теперь поняла, что 32 года судьба влекла меня к этому единственному огромному горю моей жизни, и все, все складывалось так, чтобы 1911 года свершилась моя гибель. Я не хотела ее, я полюбила жизнь иначе, чем любила ее прежде, и увидала пред собой новые пути, ощутила внутри новые возможности, — и все это только затем, чтобы яснее увидать и понять, как *все*, все мне не нужно, если *не будет твоей близости и любви.* Ах, Валерий! Я верила, что мы неразлучны!.. Это сознание давало мне силы все сносить, всему подчиняться, во всем покоряться твоей воле. Но вот в моей жизни нет уже и *твоей воли*, она вся не нужна тебе, с последним страстным поцелуем погибло все, и ты ушел, покинул меня... Милый, дорогой мой! у меня нет больше слов, чтобы позвать тебя... Я звала, верила, что будем вместе, думала, что нужна тебе моя любовь. Но, верно, ты очень богат сейчас, если отвергаешь что-то настоящее, подлинное, ис-

ключительное. И что остается мне?! Только в последний раз покориться воле твоей, чувствам твоим. Нет! мне нечего ждать от тебя.. Я припомнила, пережила во всех подробностях три—4 последние месяца. Вспомнила все, что ты делал и *говорил*, ах, говорил ты *что*!.. И думаю, что ты не только просто охладел ко мне, а я тебе противна, иногда ненавистна, и ты испытывал наслажденье, когда я на твоих глазах страдала. Как могу я думать иначе?! Ведь мне было нужно так мало, так мало, я соглашалась, я шла на унижения, прося только маленькой пощады. А ты удваивал, умножал эти унижения словами, такими ужасными словами, какие не говорят люди в таких условиях. Ты не пощадил меня ни на одну минуту. У меня грудь разрывалась от боли обиды, от слез, а ты *в это время* говорил такие беспощадные слова, что я не верила моментами, — *ты ли*, Валерий, говоришь это, у тебя ли в сознании возникают эти чудовищные слова... И в спокойные наши минуты ты, как ребенок, как хищный зверок, почти играя, рвал мою душу, не замечая, забыв, что я перед тобой *еще живая*, еще чувствую все.... И сейчас, когда все это сказано и мне нет спасенья, я не могу, не могу поверить, что ты, милый, ласковый, всегда нежный со мной, семь лет близкий самой исключительной близостью, ты — мой любимый Валерий, для которого я была *единственной* близкой в мире, — мог говорить эти чудовищно жестокие, беспощадные слова!? И только где-то, какая-то сумасшедшая надежда говорит: «Нет, нет, это неправда! *он тебе* не мог так сказать, не мог бы, никогда, никогда...» Это начало душевной болезни, когда все чувства странно*

...живого, интимного, ни одного движения чувства, ни одной ласки, ни одного искреннего порыва сердца, ни жалости, ни нежности, ни заботы, ни желания увидать *иначе*, так, как ты видишься с другими: вечером, не глядя на часы, проводя почти всю ночь. Ничего из того, что люди (и ты еще недавно) отдают тем, которые им милы и желанны. И я понимаю, почему так иссохла жизнь эта, почему ты не хочешь *дать* мне ничего: *я тебе больше не желанна, не мила и не дорога*. О, я люблю твои стихи, — ты знаешь... и искусство твое, и литература вообще, — это то «второе» *из двух*, что есть у меня в жизни: любовь и искусство. Но ведь ты говоришь о них со мной *единственно* чтобы занять время, чтобы отдалить что-

**Лист (или несколько листов) с продолжением текста отсутствует.*

то нарастающее острое. Ах, Валерий! не говори, что ты стал *иной*, и это все потому... Ведь этот *иной* умеешь и можешь ты давать *ей* то, о чем напрасно тоскую я?! Ведь другого, чем у *тебя* сейчас с *ней*, я не хотела бы. И моей зависти, ревности, тоске есть оправданье, потому что я вижу *живой образ* того, чего лишена я, — *в жизни вашей*.. И нет мне ни спасенья, ни утешения, и последняя моя смутная, обезумевшая от отчаяния надежда на «новую жизнь» с тобой разбилась и погибла. Боже мой! неужели я рассталась бы с тобой добровольно?!. Неужели не видал ты, с какими отчаянными усилиями цеплялась я за обломки, за осколки, как держала в руках самый последний и говорила себе: «В нем моя жизнь! я буду его беречь и буду жить!» Я вынесла бы многое еще, если бы было *за что* страдать. Но то, что осталось у тебя *для меня*, не дает мне силы жить, не дает самого маленького утешения, а только какой-то невыносимый стыд, мучительный, жалкий, больной стыд за всю себя. Когда я узнала окончательно, что ты не хочешь меня, как было прежде, что у тебя для меня только «немногое», что все области любви для меня навсегда уже запретны и я должна «сама понимать», *чего я могу желать* и к чему не смею протянуть больше руки, и когда ты сказал все это беспощадно, безжалостно, *как не говорит женщине мущина*, я вдруг почувствовала себя пристыженной до глубины души, до глубины тела. И когда приходил ты, я чувствовала себя тяжелой, некрасивой, противной. Ах, поверь, поверь мне в этом! Я не лгу, не лгу! Я говорю самыми точными словами о моих ощущениях и ничего не преувеличиваю. У меня чуткая душа, ты знаешь это. Я чувствую болезненно все; болезненно до страдания я иногда чувствую *за другого* даже. А уж за себя... Когда ты приходил после всех этих ужасных признаний, мне хотелось убежать, провалиться, завернуться с ног до головы во что-то темное и плотное. Ах, поймешь ли ты чувство отвергнутой женщины! Внеси когда-нибудь эти слова, как они есть, в какую-ниб<удь> из твоих вещей, и это место будет потрясать души женщин такой понятной, такой *их* правдой. И как же жить с этой болью, с таким ужасным стыдом? Как видеться, говорить об отвлеченном? Если бы ты мог понять меня, Валерий! Только понять.. Ведь перед тобой на анатомическом столе лежит живая душа, и ты видишь ее всю, всю до глубины, которую можно показать раз в жизни. И неужели все-таки ты скажешь: «А по-моему, взять от меня то, что у меня осталось для тебя, все-таки можно». Еще осенью, в сентябре, октябре, когда ты давал *мало*, но еще что-то живое, я минутами могла работать, жить, смеяться. Вспомни! Ты сам сказал, что «*это все*

22. Заказ № 795.

умерло», собственно, с середины зимы, и в декабре уже было невозможно, было одно беспросветное страданье. Я смотрю на себя, на свою жизнь — скромную, непритязательную, всю посвященную тебе, смотрю в свою душу, в которой нет ни одного злого, или жестокого, или мелкого желания, вижу свой ум, который был готов развиться, который стал шире и глубже, я смотрю на все возможности, которые засохнут и погибнут, как цветы, побитые морозом, и думаю: *за что*? *За что* так жестоко наказал меня Бог? У живой меня еще отнял жизнь... Самому дорогому я должна сказать «прощай». И единственный в мире, единственный близкий среди миллиардов людей отверг меня так жестоко, покинул меня так легко, как покидают случайных*

[1] Начало, середина и окончание текста отсутствуют.

[2] Московский Литературно-художественный кружок.

310. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Первая половина 1911 г. Москва

Валерий!

Благодарю за работу над той частью романа, что уже вышла[1], и очень, очень извиняюсь, если доставлю *еще* труд для меня, на который не имею права уже.

Н.П.

[1] Речь идет о выполненном Петровской и отредактированном Брюсовым переводе романа Л. Деларю-Мардрюс «Шеридан» (см. примеч. 1 к п. 297).

311. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

8/21 июня 1911 г. Берлин[1]

Берлин. Среда. 3 ч. дня

Ах! милый Валерий...

Посылаю это письмо заказным, потому что второй раз не смогу рассказать подробно мои грустные истории. И не хочу, что-

* *Окончание отсутствует.*

бы чужой глаз как-ниб<удь> проник в эти страницы. Ты удивлен, что я в Берлине? Я и сама удивлена, но иначе не могло быть. Слушай теперь! — Поехала я на Калиш по совету девиц из Метрополя[2] и в видах «экономии», чтобы билеты стоили дешевле, и они говорили: «Это самый короткий путь в Швейцарию». Увы! все оказалось наоборот... Начались беды после Варшавы. Сели мы в вагон, я спросила, когда будем в Калише, мне ответили: «*В 11 часов ровно*», — и мы, успокоившись, легли спать. Спали долго, «как звери», просыпались и опять засыпали. Наконец в 9 ч. вечера окончательно проснулись на какой-то большой, огромной станции. Названья не видно, я подумала «Лодзь», спросила в вагоне чаю. Сидим... Сидим очень долго, а поезд все стоит. Никто ничего нам не говорит, а из вагона все ушли. Я думала, ушли есть. И вдруг входит в вагон солдат-жандарм и спрашивает: «Вы получили паспорта?» — «Как паспорта? Кто же у нас их брал? Их никто не спрашивал». Жандарм подозрительно усмехается: «Я был в вагоне и у всех взял, стран<но:> где же вы были?» — «Здесь были, но никто не спрашивал паспортов, что же теперь делать?» — «Бегите скорее, отдайте их в канцелярию, а не то *останетесь*, времени *очень* мало». Я бегу, схватила паспорта и на платформу к двум жандармам: что мне нужно делать? Опять подозрительные рожи, опять говорят: «Мы обирали паспорта, но вас *не было* в вагоне». О, черти! «Бегите, — говорят, — скорее в вокзал». *Бегу*.. Сердце лопнуть хочет, устала, едва могу бежать. На станции мне говорят: «Но где же Ваша сестра, нужно ее *личное* присутствие». Боже мой! Бегу опять в вагон. А Нади там *нет*. Оказалось вот что: когда я побежала, в вагон вошел офицер-жандарм и обратился к Наде: «Где ваш паспорт?» Она говорит: «У сестры». — «Так *бегите же* к ней». И вот она *побежала*. С ее-то сердцем! Пробежала всю платформу, говорят — «не туда». Вторую платформу пробежала и вот почти упала на меня, вся зеленая, держится за сердце, не может говорить, ну *умирает* совсем. В это время нас загоняют за решетку как арестантов, с какими-то жидами, с оборванцами, и говорят: «*Ждите*». Надя совсем умирает, падает, лицо заострилось, сердце бьется ужасно. Я окаменела. Что я буду делать?? Все смотрят, жалеют, ругают жандармов. Но ведь мне не легче!... Кое-как она отдышалась, отдали нам за две минуты паспорта, и только тут я узнала, что это Калиш — русская граница. Было 10 ч<асов> только, когда мы тронулись. Это все возможно только в России. Моей вины не было. Они были *обязаны* сказать и взять паспорта, мы сидели в вагонс *все время*. Доехали до Скальмердице <?>. Это уже немец-

кая граница. Пожалуйте вон из вагонов со всеми вещами в таможню. Деньги у меня не разменяны, билетов нет, кругом немцы, ничего не понимаю. Обратилась я к какому-то русскому из Петербурга, он повел меня брать билеты и менять деньги. *Куда* брать билет — не знаю. До Люцерна прямо — боюсь. Не знаю пути. Хотела до первого большого города, спрашиваю его, какой город мне на пути, — говорит — Дрезден. Но вдруг у кассы меня обуял такой страх перед Дрезденом, что я точно по наитию свыше (о, как это было хорошо) говорю: два билета *до Берлина*. Оказалось, что решительно *все равно*, и ни капли не дальше ехать через Берлин. Ну, устроили все, последними идем к вагону. Где на Берлин? Отвечают: только два вагона ***прямо*** на Берлин, остальные с пересадкой. Я в отчаянии. Нас кто-то вталкивает в вагон. Говорят: садитесь, а то и вовсе не уедете. Да... но *куда же* садиться! Мест *нет*. Ад! Все полно! Сидят в коридоре на чемоданах и стоят. О *спальных* вагон<ах> никто и не мечтает, — они разобраны по телегр<афу> за две недели. Кондуктор на нас кричит: «Уходите с дороги». Но куда? — ни одного места. И так, усталые, полумертвые, мы ехали до 1 ч. ночи, стоя. В 1 ч. пересадка. Ткнули куда-то опять и до 6-и ч<асов> утра до Берлина мы сидели в купэ, где с нами было *9* человек. Вообрази себе только все это! Вообрази этот ад! Народу везде тьма-тьмущая. К счастью, сели с русскими. Добрый дух какой-то толкнул меня взять билеты до Берлина, потому что до Дрездена *3 пересадки*, три ада еще, и там выставка, гостиницы полны, мест нет. Как о счастьи, мечтали о нашем отеле в Берлине. Но увы!.. это счастье было еще далеко. Приезжаем. Прошу комнату. Все люди здесь знакомые, встретили ласково, но говорят: «Посмотрите доску, *ни одной свободной комнаты*, нужно ждать до 12 ч<асов> дня». Боже мой! Я чуть не заплакала. На ногах не держимся, грязные, почти безумные, и ждать до 12 ч<асов>. Я хотела бежать искать, Надя отговаривала. Все-таки я побежала. Была в *6-и* отелях около вокзала. *Ни одной комнаты* до полудня. В Russie предложи<ли> *сейчас*, но за *15 марок*. Вернулась горько... Провели нас в гостиную отеля, и мы томились *6 часов*!.. Пока не дали комнату рядом с *00* за *8 марок* в сутки.....

Это было вчера, во вторник. Но сегодня я без сил, ночью была жестокая лихорадка, и я не могу, и Надя не может ехать ни сегодня, ни завтра. Отдыхаем счастливые, что хотя крыша есть над головой. Поеду дальше только в пятницу в 8 ч. утра...

Вот, зверочек, как все сложилось.... «Экономия» моя вся сбита с позиций. Я в отчаянии от этого, но *не могу*, совершенно не могу

ехать ни сегодня, ни завтра. Умру, если поеду. Нет! я не прежняя Нина, которая переносила все это так легко! Сил нет совсем, и Надя еле жива. Сереже не буду об этом писать. Он ведь только ворчать будет, а зверок добрый, он меня пожалеет... он вообразит себе меня среди всего этого ужаса.

Никогда, говорят, не было так много народа. Меня испугали, что и в Швейцарии сейчас то же, что в Люцерне комнаты безумно дороги, а пансиона нечего и думать искать меньше *8 марок*. Ах, лучше бы мне и не ездить! Разве можно вычислить все в Москве, Сережа все учитывал, словно на аптекарских весах, а реальность смеется над этими расчетами. Вот, милый, ты говорил: «Пиши *всё*, все подробности и факты», но какое вышло из них скучное письмо. Читать его скучно, а как я это все переживала! Ведь я едва дышу, и «бороться» мне сейчас смертельно трудно. Боюсь и думать о Швейцарии. Что, если и там «сюрпризы»... Поеду, конечно, в III-м классе, и только если будет очень, очень нам плохо — выйдем ночевать. Бог даст, приедем в Люцерн в воскресенье... Нет, лучше было сидеть дома, чем навязать на себя еще тысячу мелких страданий и тревогу за каждый день, который вдвое дороже всех расчетов.

Но стыдно и нелепо сейчас возвращаться. Поеду! Будь что будет!

Ах, зверочек, тревожусь за тебя! Жив ли ты? Как ты тогда доехал? Не убил ли тебя кокаин? Господи! Страшно о тебе и думать... Буду ждать в Люцерне твоей телеграммы.

И как грустно без тебя за границей!.. Как грустно *жить* без тебя на свете вообще. *За что*? *мне* это? за что *ей* счастье видеть тебя каждый день, каждую ночь!..

Пиши мне! Пиши часто! Не умирай! Я люблю тебя, милый мой, милый Валерий. Прости, что письмо *все* о внешнем. У меня пока только все это и есть, только так борюсь и страдаю от жизни пока. В Берлине сейчас как в раю. Постели мягкие, люди приятные, хотя объясняю<сь> с ними знаками. Адрес пришлю телегр<аммой>.

Обнимаю тебя, дорогой. Не сердись за такое пустое письмо. Не забывай! *Не обижай*! Надечка тебе кланяется.

Твоя

---

[1] Написано карандашом на бланке: Hotel Westphälischer Hof. Neustädtische Kirchstrasse 13. Berlin. Сохранился также среди писем Петровской к Брюсову ко-

верт с реквизитами этого отеля (почтовый штемпель получения: Москва. 13.6.11), в котором было отправлено либо настоящее письмо, либо п. 312.

[3] Имеется в виду московская гостиница «Метрополь». Вероятно, там были железнодорожные кассы.

312. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

9/22 июня 1911 г. Берлин[1]

Четверг 9/22 июня

Милый мой зверочек!
вот видишь, я еще все в Берлине, и страшно подумать, что завтра опять в вагон и 22 часа ехать в III-м классе без сна, с такой смертельной усталостью. Помнишь, ты пробыл два дня, день в Москве и после был болен неделю?[2] Я совсем, совсем больна.. О, если бы я знала, как будет мне трудно *все*, *все* решительно, до малей<шего> движения, я не поехала бы *ни за что*. Я думала, я бессознательно была уверена, что я почти прежняя, разве *чуть-чуть* слабее. Но увы! У меня *вовсе* нет сил, и все эти дорожные хлопоты просто убивают нас обеих. Ведь, конечно, есть в лечебницах и клиниках люди, которым трудно дойти до соседней комнаты. Что же удивительн<ого>, если мне трудно делать эту дорогу, эту длинную, бессонную, томительную и для здоро<вого> дорогу. Боюсь думать, сколько энергии и сколько сил потребуется от меня, от нас впереди. Ах, зачем, зачем я поехала такая больная. Берлин точно еще утомил. У нас отвратитель<ная> безвоздушная комната, стучат весь день, с 7 утра. А во дворе — кухня. Нельзя открыть окна, температура 25 градусов, а на улицах сигары и бензин. Но если бы не прожили здесь этих трех дней (!!), я не в силах была бы ехать вовсе. Ну просто лечь, закрыть глаза — и оставьте меня все! А что дальше? Что в Люцерне? Опять нет комнат, опять без сна... Ах, зверочек, просто плакать хочется, как больному ребенку. Не могу я ничего, ничего. Мне только лежать у себя в норе на мягкой постели и... Ну, не надо тебя печалить!.. Ты сам сейчас почти такой, *ты* поймешь. Сереже этого говорить нельзя. Ни мыслей, ни чувств у меня — ничего, пустота, и такая, такая усталость...

Как ты, мой дорогой? Неделю уже не знаю о тебе ничего, и перед глазами только одно впечатленье — как расставались у вагона. И твой пульс, твое сердце — жив ли ты? Еще эта тревога!.. И все тревога, тревога... Не знаю, м<ожет> быть, я отдохну, при-

ду в себя, когда будет воздух, когда не нужно будет торопиться, бояться, страдать от каждой мелочи. Тогда я напишу тебе хорошее, хорошее письмо. А за эти все прости меня. Надя мрачна, устала, еле говорит, — тоска!.. В этих письмах я отдыхаю хотя на миг, точно ты близко, точно говорю с тобой, мой зверок. Сейчас и любовь моя лежит где-то на дне без сил, бледная, безжизненная. Спать! Спать дни и ночи, неделю, две, — тогда я приду в себя, и все найду, и всем овладею опять. Слов для тебя не нахожу. Люблю только, горестно, горько люблю!..

Не сердись за эти письма. Такова сейчас я, или просто меня нет, а только одно утомление говорит эти пустые, бледн<ые> слова. Прости, милый, и пойми, пойми, как понимаешь всё....

Пиши о себе всё. Боже мой! хотя одно письмо — *настоящее, твое*, — после долгого, долгого кошмара!. Неужели ты опять другой! И все это снилось, виделось мне в бреду моих лихорадок?

Обнимаю, целую тебя. Глазки твои нежные, черные, любимые целую, целую... Пиши, пиши, не оставляй меня одну, в тоске. Я уже *не могу* страдать. Я просто умру, если еще вернутся страшные дни. Живи, не хворай, береги себя — для себя, для меня, для жизни.

Твоя[3].

[1] Написано карандашом на том же гостиничном бланке, что и п. 311.

[2] Ср. свидетельство в письме Брюсова к Е.В. Аничкову от 21 марта 1911 г.: «Зима эта была решительно несчастливой для меня. Я опять, уже третий раз за сезон, захворал, больше недели лежал в постели и лишь теперь возвращаюсь к делам» (ИРЛИ. Р. I. Оп. 2. Ед. хр. 115).

[3] Последующие письма Петровской к Брюсову, отправленные из Швейцарии, вероятно, утрачены. Сохранились два конверта со штемпелями получения: Москва. 24.6.11 (на обороте — обратный адрес рукой Петровской: «Nina Sokoloff. Interlaken. Hôtel Deutscherhof»); Москва. 30.6.11.

313. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

19 июля / 1 августа (?) 1911 г. Гельсингфорс[1]

Гельсингфорс, вторник. Ночь

Дорогой, любимый, милый Валерий!

я пережила сегодня ужасные часы. Ведь я же была уверена найти от тебя телеграмму. *Уверена*... И вдруг *нет*... Швейцар, который

говорит по-русски, куда-то ушел, пришлось кое-как объясняться с двумя другими. Упорно отвечают: «Нет и не было». Так до вечера... Я думала все самое ужасное.. И *где* я узнаю, жив ли хотя ты! Осталось единственно — послать телеграмму к себе, в Москву и спросить, *был ли ты*? Но ждать *всю* ночь... Изнемогать, не спать... Сердце и так разрывалось совсем, а Надечка так вся побледнела.. Послала срочную... Финские глупые люди заставили зря бросить 20 марок. Только вечером, в 9 ч., когда я совсем в отчаянии вернулась с улицы в отель, я увидала того швейц<ара>. Бросилась к нему... И он отвечает: «Нет и не было». Тогда Надечка настойчиво потребовала: «Ищите! не может этого быть». — «Ах, да! вот две!» — отвечает он.. Ну не негодяи ли! Лень посмотреть! Лень запомнить! Ах, Боже мой, как я обрадовалась. Подумай! Ну, если бы они так и потеряли? Ведь из Москвы ответили: «Не был», — я бросилась бы туда завтра же. Сколько горя и счастья около тебя!.. Я сейчас совсем счастлива. Будь, чему должно, впереди, но сейчас передо мн<ой> твои нежные слова. Ужасные, ужасные часы были. Ведь я уже думала, тебя и на свете нет. Помнишь, как прощали<сь>. А у тебя плохое сердце.

Ну, зверочек, самая странная встреча была в Петербурге. Я все же поехала в Сев<ерную> гост<иницу>. Около этих вокзалов такие «номера», что войти страшно. Один петербуржец в вагоне — старик — ни за что не советовал тут останавливаться. «Сбежите через час», — говорил. Поехали в Северную; оделись, пошли в зал есть. Вдруг Надечка с круглыми глазами говорит: «Нина, да ведь это Сережа!» Да! Сережа... Он только что с поезда из Лондона, случайно по делу в Петербург. Сережа обмер. Ведь он *ничего* не знал. Последнее письмо он имел еще из Интерлакена[2]. Ну, конечно, все, что можно, рассказала. И когда миновала радость *моя* (я все же была ему очень рада), я вдруг почувствовала с ясностью, что эта встреча ему скорее неприятна, несмотря на милые слова, проступала такая кислая хмурость, что к концу дня я совсем расстроилась. До слез почти... Было много неуловимых и тонких штрихов, по которым я видела, что он, м<ожет> быть, предпочел бы этой встречи не иметь. Не буду тебе рассказывать... Может быть, когда увидим<ся>. Сейчас трудно и грустно мне слишком. Конечно, он был усталым от 3-х недель в Лондоне, конечно, я не могу рассчитывать на прежнее, но можно, можно было быть ему другим. Надечка *за меня* обиделась на него. Ну, да довольно об этом. Только странно все-таки так встретиться.

Зверушка, зверушка! хочется мне воскликнуть в пространство, *туда*, в то страшное мое *туда*, где теперь ты, и, сложив руки, только смотреть, смотреть на тебя без слов.... Запомни! Сбереги! не отдавай себя никому... *Не желай* этого! Ведь перед каждым *моим* желаньем я должна молить, только об одном, — чтобы *ты*, чтобы *и ты захотел* того, чего так страстно хочу я. Я узнала, поняла, что *все*, все — и счастье, и горе — только в *твоей* душе. Не во внешнем, не от событий, а в глубине *тебя*... Милый, милый! я вспоминаю недавние дни с тобой *здесь* как *лучшее*, как более прекрасное, чем прошлое в этих Святых местах. И потому меня не ранят воспоминания, что связаны здесь с каждым камнем и перекрестком. Они мягко и нежно встают в памяти, они *прекрасны*... Но *после* было лучше, глубже, и только *после*, пережив эти огненные годы, узнала свою любовь и... может быть, твою. Но как странно! Верно, душа стала *больше*, и от этого все кажется *меньше*, чем было в памяти. И улицы, и эспланада, и Фения, и всё... А Фения... Как изменилось в ней всё к худшему. Это уже «Grand Hôtel». Уже нет прежних патриархальных, наивных цен. Комната, едва сносная, на четвертом этаже, окнами прямо в стену и на какую-то новую стройку, где грохот весь день и вечер, — 6 м<арок> 50 p<enni>. И *не было* дешевле. Даже в эту цену дали после долгого разговора, а то 8—12. Все в ней сейчас ужасно бело — коридоры, лестницы. Толпа прислуги и горничных, масса туристов. А помнишь эту тишину старого дома? Было страшно даже минутами. Увы! целый день гудит лифт и порхают какие-то мальчишки с пуговицами. С наивностью повела Надечку на эспланаду обедать. (Сама не могла куска проглотить.) И раскаялась... Обед тоже дороже, — ни за что взяли 8 марок. Нет! это уже не повторится. Извощик за маленький конец (на телеграф) потребовал *марку*, а преж<де> это было ровно половина. На улицах женщины в огромных шляпах. Почти уже нет «финских женщин» в допотопных нарядах. Всё какие-то элегантные дамы.. Аптеки меня утешили. Дали мгновенно и взяли *90 пенни*! Еще не все развратили<сь>, видно. Нет, сейчас мне Гельсингфорс кажется одним из банальных небольших заграничных городов, и совсем не чувствуется та особая его уютность, что пленяла нас с тобой 7 лет (!) назад. И в окнах «моды» — огромн<ые> шляпы. Этого не было прежде. Зной... Зной ужасный... Совсем изнемогли в вагоне и сегодня в номере. 25^0 по Реомюру. И это на севере! Жара меня терзает ужас<но>. Таким мне кажется сейчас Гельсингфорс внешне. Хорошо на эспланаде. Точно

разлит там <*1 нрзб.*> флакон самых нежных духов, — цветут липы и розы около Рунеберга[3]. Он тоже меньше, ниже... но с ним увидалась, как с нежным другом.... Я еще сегодня очень мало видела всего. Устали и страдали целый день. Напишу тебе все, — где буду. А ты уже «дома»......

Ты ошибся во времени и попал прямо на дачу[4]? Боюсь думать, боюсь тебя представить, боюсь тебя вновь увидать... Валерий! Валерий мой!.. Сбереги все, сбереги меня!.. Сбереги душу твою такой, какой я ее люблю... Не отдавай ее враждебной *ей же* стихии, победи злые влиянья!.. Разве не хочешь ты больше меня? Разве не узнал ты наконец чего-то *верно*, прочно, навсегда!... Видит Бог мою душу! Я не хочу ничего разрушить, не хочу быть «злой силой», не хочу быть твоим «камнем на шее»... Я хочу только одного: чтобы *ты захотел* меня... навсегда... или *ее*... Разве нельзя жить, не ломая внешнего и в то же время сделав выбор *раз навсегда*? Нельзя, Валерий? Мне страшно очень, очень! У меня болит сердце при мысли о нашей встрече. Напиши мне, скажи *правду*, не жалей меня! Ведь ты *уже знаешь, какой* она будет. Гораздо хуже мне будет приехать, храня в душе твой недавний образ, и вдруг понять, увидать, без твоего признанья, что это был опять «сон», ложь, м<ожет> быть *невольный*, но обман чувств. Скажи! напиши! Тогда поеду навстречу горю... встречу его не прячась, если мне уже суждено погибнуть. Ты знаешь ведь... теперь и *еще раз* мне не вынести и не дождаться новой твоей перемены. И *не хочу* больше перемен!... Даже *сталь*, и та становится ломкой, хрупкой, негодной, если ее попеременно опускать то в жар, то в холод....

Боюсь писать тебе все те слова нежности моей, которые еще не отзвучали в сердце. *Кто* будет теперь слушать их? *Ты* ли? Ты ли *мой*, тот, кого я видела так недавно, или уже другой, чужой, *ее муж*?.. О, прости! прости меня, милый, и пойми этот безумный страх! Ведь так уже *было* однажды... И только *ты же* можешь заставить меня забыть ту встречу, осенью, после Парижа[5]. Я больше не могу *просить* тебя *ни о чем*. Я видела, *что* значит, когда ты *хочешь*, и могу хотеть только одного: чтобы ты *захотел меня*. Тогда будет *все*. Придет просто, ясно, естественно, как сама любовь. О, как пьяны мы были в час расставанья! Я скоро опомнилась, и было такое чувство, точно тебя вырвали у меня из рук. Оно есть и сейчас.. Вырвали, оторвали, взяли, отняли!... Прошло все опьянен<ие>, лишь только исчез поезд. Осталась одна тоска, она меня

совсем придавила. Я не спала всю ночь и так безумно тосковала в Петербурге, что едва не подда<лась> соблазну ехать в Москву. Наденька убедила меня, что так хуже.

Ужасно было плохо в Петербурге. Там все напомина<ло> тебя болезненно. В зале Сев<ерной> гост<иницы> я почти плакала, по коридору, по лестницам не могла пройти без боли. Едва пережила этот длинный день до 11 ч. — до поезда. И Сережа еще... его гораздо больше чувствуешь другом на далеком пространстве, а когда он рядом, — иногда он ужасно неловок и не умеет касаться чужой души, не причиняя какой-то ненужной боли...

Ну, зверочек, я кончаю письмо. У меня еще в голове все кружится от дороги. Надечка уже спит. А под окнами адский грохот. Здесь дома строят и *ночью*... Негодяи! Точно по голове стучат их топоры.

Прости за это письмо... Я боюсь, боюсь писать все, что хочу. Ведь я пишу его, только получив две телеграммы, в которых так мало тебя. Если я получу от тебя такое письмо, какого бы хотела, если мы встрети<мся> близкие еще более и нежнее, — о, я скажу тебе многое, многое, что думала после этих дней. Ведь для меня они были настоящим чудом, воскресеньем. Я нашла тебя в ту минуту, когда уже считала погибшим навсегда. Я еще не поняла, не успела почувствовать... У меня еще в сердце тревога и недоверие, и радость не может еще их победить. Зверочек мой! Милый мой! если бы ты захотел быть *со мной*!.. Мы могли бы так хорошо жить! Не забывай! Не забудь, что ты сам это сознавал и говорил. Не забудь. Не отдавай себя!.. не отдавай тому, кто этого даже не может и *взять*!

Обнимаю тебя! Тоскую по тебе! Вспоминаю, как вечер<ом>, ночью мы оставались вместе, одни, близко... и протягиваю руки.. в пустоту... К тебе они тянутся!. А может быть, опять в глухую и темную пустоту!...

Милый, любимый, близкий! если бы захотел ты остаться со мной!

Я уеду отсюда, если все будет благополучно, как говорила тебе, — во вторник на той неделе[6]. Напиши, скажи, — страшно ехать на неизвестность!.. Обнимаю, обнимаю тебя, люблю тебя, дышу здесь тобой, живу с тобой каждый миг.

Твоя

P.S. Эти слова, что оказались неизбежными, я пишу, смущаясь и стыдясь... Но что я могу, если вышло неожиданно так... Вот вместо всякого объяснения слова Сережи, — один из «штрихов» в день нашей странной встречи: «*Таким образом*, Нин, *значит*, у тебя теперь после *этих недель* должно остаться на дорогу! И пожалуйста, оставь в покое те деньги, что должна получить 1-го августа, как обычно». Почему это «*значит*» и «таким образом», — Сережа, видно, лучше знает... Я было заикнулась: «Нет, Сережа, мне бы собственно было нужно»... Но вышло так нехорошо, так нехорошо, такая мучительная пауза, такое неприятное выраже<ние> в глазах у Сережи (досада, раздражение — не знаю что), и я так внутренно обиделась, что было немыслимо настаивать. Пришлось «замять» скорее разговор, пришлось пробормот<ать:> «Ну, конечно, я могу обойтись», — лишь бы только не продолжать, не длить этой обиды... Пойми меня, Валерий. Мне очень, очень тяжело говорить это, но верь, что мне было плохо, если я предпо<чла> в *этом* письме сказать все тебе. — Мне *только* на билеты. Здесь, т.е. до Петербурга во II-м классе, *20* р. 2 билета и от Петербур<га> в самом дешевом поезде. *Прошу тебя, больше не надо*. Здесь я обойдусь вполне с осторожностью. И мне *ничего*, ничего не надо будет в Москве. 1-го[7] я получу мое обычное «содержан<ие>».

Не думай обо мне дурно... О, не думай, милый! Мне очень, очень тяжело, я знаю хорошо, что у тебя их мало, что даже со мной стоило слишком много, и только последняя необходимость сейчас двигает моей рукой. Прости.

---

[1] Датируется предположительно по связи с п. 314. Написано по приезде из Петербурга в Гельсингфорс после совместного пребывания с Брюсовым в Лифляндии в июле 1911 г. См. стихотворение Брюсова «На могиле Ивана Коневского» (13 июля 1911 г., Segewold; II, 63—64) и фрагмент «Воспоминаний» Петровской с описанием их посещения могилы Коневского (Минувшее: Ист. альманах. 8. Paris, 1989. С. 42—43).

[2] В Интерлакене (Швейцария) Петровская была в июне (ст. ст.) 1911 г.

[3] Имеется в виду памятник на Эспланаде (центральная улица Гельсингфорса) финско-шведскому поэту Йохану Людвигу *Рунебергу* (1804—1877), установленный в 1885 г. (автор — сын поэта Вальтер Рунеберг).

[4] Летом 1911 г. Брюсов жил на даче в Опалихе под Москвой (по Виндавской, ныне Рижской, железной дороге).

[5] Подразумевается встреча в Москве в ноябре 1909 г. по возвращении Петровской из Парижа.

[6] 26 июля / 8 августа.

[7] 1 августа ст. ст.

314. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

20 июля / 2 августа 1911 г. Гельсингфорс[1]

Гельсингфорс. Среда. Утро

Милый Валерий,
сейчас получила твое письмо и стихи[2]. Стихи прекрасны. Но решишься ли ты их напечатать? Слишком интимно это признанье... Но они хороши очень, очень... И меньше понравилось мне твое письмо... М<ожет> быть, я видела в нем то, чего нет... Тогда прости! Но каким-то холодом дышат эти короткие строки... О, если бы это была только *усталость* и хмурость безлюдной станции, которая заморозила «человека»... Но не думай, что я это говорю, потому что *я* переменилась! Одной твоей нежной улыбки довольно, чтобы это исчезло. Вчера я послала тебе телеграмму. Мне было бесконечно тяжело писать эту просьбу[3]. Но Сережа был такой, что я *не могла* просить его. Надя своей детской душой все поняла. Я еще расскажу тебе подробнее эту встречу. Устала, устала я до изнеможенья! Гельсингфорс мучит! Хочу домой, домой, все равно, *каким* бы ни был теперь дом и *ты*... Все равно! Но только не отели, чужие улицы, рестораны и пр<очее>... Прости, что хочу приехать на *два* дня раньше. Что два дня! Но здесь это трудно. Каждый час мучит. Целую тебя нежно. Не сердись! Ничего не могу просить... Все ты знаешь... Пусть будет то, чему суждено.

Твоя.

Люблю тебя еще по-прежнему...
Еще *верю* тебе.....

---

[1] Почтовые штемпели: H. Fors. 3.VIII.11; Москва. 23.VII.1911.

[2] Вероятно, одно (или несколько?) из стихотворений, составивших раздел «Страсти сны» в книге Брюсова «Зеркало теней» (1912). См. II, 35—40. В подготовленном Брюсовым собрании его «Избранных произведений» (Т. II. Стихотворения 1905—1912 гг. М.; Л., 1926) этот раздел (в составе четырех стихотворений) посвящен Петровской: «Посв. Н.П.».

[3] Просьба о деньгах (см. п. 313).

315. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Осень 1911 г. Москва

Прости, что пишу на таком листе, — ночью негде достать бумаги.

Трудно, ужасно трудно найти какие-то настоящие слова, чтобы заставить себя понять. Но я хочу твоего последнего понимания, — *только этого* и только потому пробую еще раз сказать все, все, что думаю, чувствую, что хочу делать, каким вижу будущее. И не говори: «Опять эти письма!» Оно не «просительное», — я ничего не хочу от тебя взять, получить, ничего не жду. Но ведь нужно, должно, пора распутать все, кончить, прекратить мученья этих сцен и встреч, которые кончаются только бóльшим непониманием.

И если не услышишь сейчас, не увидишь последней и неизменной правды моей души, которую изменить я не в силах, — ну, все равно тогда! не буду говорить, не буду писать, замолчу совсем.

Валерий! не проси меня об одном и том же, не мучь себя напрасно, не сердись, не называй меня безжалостной и не старайся больше *при данных условиях* сделать *что-то* из «нашей жизни». Поздно, невозможно, немыслимо! Не будет ничего! Мы говорим на разных языках, и осталась только первая, самая первая правда, — наши *души* враждебны, они от двух яростно враждующих стихий, и эта враждебность навсегда непримирима. Это ты чувствовал инстинктивно до знакомства со мной, это знала я, беспричинно ненавидя тебя, незнакомого еще. Мы близки — и очень, очень — в другом, — в тех областях, где господствует ум и молчит все, что от чувственной основы человека. Теперь, когда все прошлое можно видеть как одну законченную до малейших штрихов картину, — я понимаю, почему ты совсем бессознательно стремился *прочь* от меня. С ней[1], с кем угодно, — но только какое-то время быть не со мной. И будет верно, если я скажу, что за эти годы *я* поборола (м<ожет> быть, совсем бессознательно) очень многое враждебное в тебе, и если бы *ты* шел тем же путем, — мы, наверно, пришли бы к окончательному примиренью. Но ты как был мне тайным врагом, — так и остался. Не смейся! Это правда!.. Всеми отвлеченными сторонами твоего существа ты мне близок чрезвычайно, но там, где начинаются *чувства*, ты ближе кому угодно — ей, множеству женщин, которых ты знал и не знаешь, — только со мной не совпадешь никогда. Неужели ты сам никогда не думал, как странна была наша связь, такая полная в одном и такая нечеловеческая, уродливая во всем, что касается необходимых конкретных выражений любви, которые соединяют мужчину и женщину, — словом, как лишена она тех форм, тех пластических образов, что даются полным и беспредельным слиянием. В минуты ясности я хорошо понимаю, что ты вовсе *не из-за нее* не стремился и не

хотел быть со мной вдвоем, а что *она* существует в твоей жизни действительно случайно: потому что уже *была* и потому что ты не хотел, ни одной минуты не хотел слишком интимной и тесной жизни со мной. О, разве ты «человек долга» и разве можно, чтобы умудренные люди разбивали свою настоящую жизнь во имя кого бы то ни было!.. Никогда. Я понимаю в эти минуты даже больше: весь склад *вашей* и «нашей» жизни, необходимо вытекающий из первого, и понимаю искренность твоих слов, когда ты говоришь: «я вовсе не хочу оскорблять *тебя*, когда делаю то или иное, и наоборот, — я забочусь о том, чтобы ты испытывала возможно меньшую боль». Если бы знал ты, Валерий, как глубоко, глубоко понимаю я *все* и какая безнадежность для меня в этом!! Все, все — начиная от существования *ее* и до ничтожнейшего твоего движенья, ранящего меня насмерть, — все есть только ряд последователь<ных> и логически построенных выводов. Ты никогда не хотел и не хочешь, чтобы *мы* жили одной тесной и интимной жизнью. Ты сам доказал в прошлом с *ней*, и если пришлось бы, — точно так же сделал бы в будущем, — первыми словами твоей полной, беспредельной, настоящей твоей любви были бы слова *о единой жизни*, без подразделений ее на внешнюю конкретную и отвлеченную внутреннюю. *Иначе не бывает.* Обойди весь мир, загляни в глубину самых утонченных душ в час настоящей всеобъемлющей любви, — и ты услышишь одно и то же страстное, непобедимое желанье — *слить воедино две жизни*. На сколько? Надолго ли? На годы или месяцы, — это не важно. Но нет любви без этого желания, и только оно есть первое желание любви. И ты, Валерий, когда любил меня, в эти краткие часы нашей Финляндской жизни[2], выражал его, как все любящие в мире. Но не повторил в Москве, потому что понял, *как* любишь меня. Может быть, ты и сейчас не понимаешь этой органической враждебности ко мне, заложенной в самой глубине твоего сердца, которая не дала осуществиться моей пламенной единственной мечте. Но клянусь тебе — это так. Это я поняла умом, который работает во мне сейчас за все подавленное существо, с остротой, тягостной мне самой, доходящей почти до внутреннего ясновиденья. Я видела, однажды так сломались часы: все в них уже умерло, только яростно, безумно и безудержно вращалось одно колесо, — помню, все смотрели с изумленьем, — это было почти страшно.

Я понимаю сейчас всю нелепость некоторых моих укоров и твои ответы «да ничего подобного», которые казались мне ложью.

Ты не лгал, а только «умалчивал» и никогда не говорил мне того, что сейчас говорю я и *что есть единственная правда.* Может быть, ты действительно не любишь ее, но в некоторых областях она тебе ближе, приятнее, милее, органически ближе, и отсюда понятное твое желание все интимное, в широком смысле телесное отдавать ей, а не мне. Об этом я говорила иногда и подходила *довольно* близко к истине, но так, как понимаю сейчас, так четко, безусловно, неоспоримо, — понимаю в первый раз.

Я совершенно не отрицаю твоей привязанности ко мне, — годы и многое другое убедили меня в ней, но что это *не любовь* и что это привязанность странная, очень бесплотная, отвлеченная, не похожа вообще на то, что в мире *все* от поэта до трубочиста называют любовью, — я думаю, ты не будешь спорить. Собственно говоря, все обычные выражения любви так противоречат сущности твоего чувства, что нужно бы было всякий раз удивляться им и принимать как нечто чудесное...

Ты говоришь, Валерий: «а как хорошо могли бы мы жить!» Я иногда повторяла эти слова за тобой и думала, что действительно мы не живем хорошо только из-за тысячи безнадежно наслоившихся недоразумений. Но не правда! *Мы* не могли бы жить хорошо! Никогда! И мы уже вовсе не можем жить — никак. Подумай, как проста наша драма! Когда прошел первый исключительный год твоей влюбленности — очень сложный, полный страстных чувств, литературности, «декадентства» в поступках и словах (но все же *весь* отданный *мне* одной), и после него, когда должны были выясниться настоящие чувства, — *я* увидала, что люблю тебя. Все девять лет мучений, счастья, томлений, унижений, надежд[3], — все предчувствие будущего было в этих словах: со страхом, с радостью, с ощущением, что я падаю в пропасть, сказала я себе тогда: «я его люблю». А ты в это время, Валерий, вернулся к твоей жене...... Ты тоже выяснил себе твое отношение ко мне, и вспомни: ты вовсе не делал попыток расстаться, ничего не говорил прямо, а когда делал что-нибудь ужасно<е> для меня, — всегда потом каялся, просил простить тебя, всячески старался меня удержать. Но первая роковая минута нашей встречи после Финляндии, — когда ты, зная, что не любишь меня в настоящем значении этого слова, все-таки говорил *люблю* и, не имея внутреннего права, протянул руку к тому, чего не должен был касаться, — эта минута была естественным началом того, к чему мы пришли сейчас. Ты говоришь, что мы могли бы жить хорошо! А ты знаешь, что значат эти

слова? *Я* знаю.... Я — только *дополнение* твоей жизни, только *одно* из многого, чем бы ты хотел ее декорировать. Если бы я поняла это хотя в доме Толстого[4], — мы не прожили бы еще пяти тяжких лет. *Тогда* я еще могла уйти, увидав, что стучу в дверь, которая *никогда* не отопрется *для меня*. Но *только теперь* поняла я, как смешны, как жалки были мои претензии и как я не сознавала своего положенья. Я — не то, что принято понимать под словами «любимая женщина» во всем мире (до тебя включительно), т.е. какое-то единственное существо, такое близкое, такое нужное, так тесно скованное с человеком, что он без него не может представить себе жизни. Я — «приятное дополнение жизни», нечто, входящее в нее *достаточно прочно,* нечто такое, что очень жалко потерять, но для сохранения чего было бы странно идти на жертвы или, напр<имер>, переменить «стиль» своей жизни. Ты любишь меня *среди* очень возвышенных и, может быть, немногих любимых вещей, и это чувство могло бы быть совершенно бесконечным и неувядаемым *в своих пределах* и в пределах твоей души, *если бы я, поняв его сущность, еще сумела полюбить, оценить его и постараться сохранить*. И вот что значат твои слова: «от тебя зависит сделать нашу жизнь хорошей»!... Понять сущность твоего чувства, понять невозможность всего другого, протянуть руку за своей крохотной рюмочкой и маленькими глоточками пить из нее до смерти. Взять за единицу *самое малое* и, получая небольшие награды и неожиданные маленькие подарки, — радовать<ся> им искренно, как чудесным и незаслуженным ласкам жизни.....

Ах! отчего ты всегда недоговаривал! Ведь «жить хорошо» — это значит понять, что ты меня никогда не любил и не полюбишь, и не роптать на это, не страдать, *не желать* твоей *любви*, а смиренно взять твою «очень ценную» маленькую привязанность и сделать так, чтобы душа умела на нее радоваться. Разве не так, Валерий? Разве, если откинуть множество лишних слов, не получится еще более краткая и жестокая формула?...

Я поняла тебя!.. Поняла всю твою жизнь, весь склад твоих чувств, все твои желанья, все мученья даже, какие заставляю тебя переживать: — ты *хочешь*, чтобы я *была* в твоей жизни, я тебе действительно очень нужна в какой-то области, ты мне очень искренно и нежно и ласково несешь твой маленький дар, ты страстно хочешь, чтобы я его взяла, — а я оскорбительно отталкиваю протянутые руки, не хочу взять, нарушаю ту гармонию твоей жизни, которой тебе хочется, и вношу в нее тьму, хаос, исступленье.

Но пойми же и ты меня!.. С первой минуты, когда я шла тебе сказать, что я люблю тебя, шла с сердцем, полным преданности, покорности, желанья отдать тебе все, что у меня есть, служить тебе моей жизнью, жертвовать ей, если нужно, несла тебе такую беспредельную любовь, которая могла бы стать самой прекрасной, самой идеальной любовью, — такой, какая доступна не многим душам на земле... а ты... помнишь ты *себя* в эту встречу? помнишь, что ты делал, говорил, как поступал? Ты в это время любил твою жену и *не сказал* мне, не сказал!.. Зачем скрыл! Зачем!..

Ты говорил потом, что любишь *меня одну*, обещал оставить ее, говорил о *нашем* будущем, о, сколько преступных слов говорил ты! и *я не могла* думать, что я только *нечто* среди всего другого, я думала, что я и есть *эта единственная*, только изумлялась противоречиям, только не понимала *поступков* и не могла их помирить со словами. И *все* эти годы я ждала, надеялась, верила, что мы будем вдвоем, вела себя как *единственная*, как «любимая женщина», не понимая, что даю тебе же повод жестоко смеяться над жалкими претензиями. Помнишь, *когда* ты *окончательно* сказал мне всю настоящую правду? Нет, конечно, *не всю*, а только половину, да и то искаженную, смягченную? Два года назад. В лето, когда умерла мама[5]. Ты сказал, что действительно *больше* любишь *ее*. Но была ли в этом *вся* правда?.. Нет. И не те слова, и не те понятия — словом, все не то, что я знаю сейчас, что узнала за последние два года.

Но и то признанье совсем убило меня. Вот когда и почему начался морфий. И эти годы была уже не жизнь. Тоска, мученье, сознанье полного крушенья, равнодушие к будущему, к себе, ко всему. На что мне жизнь, если у меня было только *одно* желанье, в котором мне *отказано* навеки? Чего я могу сейчас хотеть? Что мне нужно? Пойми, — в этом желании было *все*, и когда отказали, — не осталось *ничего*. Разве я виновата? Каждый день, час, во<с>ход, закат, улица, комнаты, обществ<енные> места, малейшие жизненные факты, все, все напоминает мне то, чего я лишена. А ты? а твое лицо, весь ты?.. ты мое живое мученье, — ты призрак моего погибшего счастья. Могу ли я радоваться, когда ты *приходишь*, если я хочу *только жить* с тобой, знать, как она, всю твою жизнь от того мига, как ты открываешь глаза, и до ночи, когда ты рядом с ней засыпаешь. Пусть она не видит тебя целые дни, — разве это важно? *Жить* с тобой вдвоем, быть твоей единственно любимой, безгранично близкой — душой и телом, иметь

возможность быть для тебя чем-то неотъемлемым, важным, и тесно, тесно, интимно быть связанной с тобой. Разве мы можем — не только уж «хорошо», а просто «жить», если в самой *основе* этой жизни для меня смертельное жало, если все, все в ней говорит мне самые страшные слова: «ты в его жизни только дополнение, которое могло бы быть очень приятным, и вот по твоей вине этого не выходит. Ты для него — часть целого, подробность, одна из привязанностей, нечто второстепенн<ое> или третьестепенное, для чего он не пожертвует ни одним волосом на голове; и ты никогда, никогда, никогда не будешь той единственной, милой, неизменной, той, которой мужчина хочет отдать все, что может, и которой говорит единственные первые и священные слова любви: будь моей, будь моей женой, возьми мою жизнь и дай твою, чтобы они могли слиться воедино». Я говорю это все «бесстыдно», прямо, вот смотри в мою обнаженную душу, — ничего в ней нет больше! Ничего!.. *Как* же можем мы жить? Я не живу — я несчастна и страдаю так, как еще не страдала в моей жизни. Не смейся, не презирай, не говори, что так я говори<ла> всегда. Тогда у меня были возможности — силы души и тела, здоровье, бодрость, *тело, лицо*, способность страдать и непобедимое чувство жизни. Теперь — я тень... Всё — все мои способности, всё мое существо, — ты говорил, — такое не похожее на других, такое одаренное, уничтож<ено>, сгорело, «выболело» от вечной муки голодного желанья. Только страдать! только напрасно хотеть! только принимать в сердце рану за раной, укол за уколом...

Я страдала все годы с тобой, но была живой, пока надеялась. Посмотри, чем стала я за последние два года? Какое тупое равнодушие, какое отсутствие интереса <?> жизни и какая несмолкающая боль. Но не только от морфия, — наоборот: морфий притуплял, приходил на помощь, давал забвенье и дал пережить два года, бесцельные, ненужные два года.

Можно ли спорить хотя против одного слова этого письма, если ты не захочешь опять укрываться, таить правду и напрасно обольщать меня, как ребенка. Все эти страшные выводы я собирала, увы! слишком долго и медленно! И если говорить о жизни, о конкретном, о житейском, если не бояться слов, — разве можно только *приходить* и *уходить*, и говорить, что мы живем? Нет одного внешнего — как одного духовного. Гармония в единении того и другого. Мне отвратительна моя «холостая» жизнь[6], жизнь женщины-одиночки, «разводки» с любовником, имеющим закон-

ную жену. Есть в подробностях этой жизни, в ощущении ее, в отношении к ней окружающих что-то гадкое до тошноты, как в жизни «номеров». И так всегда! Навсегда!.. Я не могу не тосковать в эти ночи, когда я одна, а ты с ней. Я чувствую себя потерянной в пустоте, мне больно, страшно, холодно, я чувствую себя как иззябший щенок, которого выкинули ночью на мороз. Все это мне кажется безобразным, все это так не совпадает с моими желаньями, с моими мечтами о жизни, с ранней юности живущими в глубине сердца. Девочкой 14 лет, вечерами и ночами, когда кругом говорили о чем-то мне ненужном, о будущем, о планах жизни, — я зарыва<лась> головой в подушки и мечтала о том, только о том самом, о чем уже не должна, не смею больше думать: ах, любить и быть любимой![7] Жить одной жизнью, отдать всю себя этому любимому, быть в его руках послушной, покорной, нежной... Обманывала я всех потом... Зачем? Знаю ли я! Сделала себе лицо, голос, интонации его, жесты, даже на поверхности мысли обратные тому облику, что спрятался глубоко. Хотела иметь ребенка, а говорила, что ненавижу детей и хочу в любви одного «наслажденья», хотела любить одного, одного всегда, а брала каких попало любовников, была в душе робкой, нежной, покорной, а хотела казаться жестокой, своенравной, причудливой.... И вот как скорлупа слетело все это, осталось неизменное, сущее, то, чего я уже не в силах сломать, да ум, — печальный счетчик всех ошибок, нелепостей. И я — я настоящая оказалась не нужной никому.

Никогда я не говорила с тобой так, как сейчас, и прости, если тебе неприятно. Но ведь нужно, нужно понять когда-нибудь и нужно сказать *тебе* твое последнее слово: «Жить хорошо!...» Если бы *я* завтра почувствовала *тебя* дополнением и декорацией моей жизни!... Нет! не могу... Но ты, Валерий, понимаешь ли ты, что нет в моих чувствах ничего нелепого, «дурного», невозможного в самой сущности их? Ведь при *другом* твоем отношении ко мне, представь, разве трудно вообразить — эти же чувства, желанья, надежды могли бы *совпасть* с чувствами твоей души, могли бы быть твоим счастьем? Правда? Если бы я была той единственной, которая иногда приходит? Разве ты не писал о такой любви? Не видал ее разве? Не читал? И разве ново то, что с нами? Просто ты *не любишь* меня той роковой неодолимой любовью, какой любит иногда мужчина женщину... Так просто... Но ведь знаешь же ты, что такая любовь *бывает*, и можешь ли заречься, что еще она

не придет к тебе?.. А я хотела только *такой*... О, с ней пришло бы *все*, и тогда смешно бы было сказать: «внешнее» я отдам ей, а «отвлеченное» тебе... И многое, многое, если бы ты полюбил «вдруг», чудесно меня *такой* любовью, многое, что кажется *тебе* естественным сейчас, казалось бы «чудовищным», как мне.

Видишь, Валерий, я все *поняла*, но чувств все же переменить не могу.

Я знаю, что *сейчас* — такая убитая, несчастная, морфинистка, без тела, с жалким похудевшим лицом — я, может быть, смешна, когда говорю о *твоей* любви, и я не должна о ней говорить. Но, Валерий, я не была бы такой, и я *не была* такой. За эти девять лет при *другой* жизни я могла бы расцвести, — в мои годы женщин еще не зовут «старыми», и может быть, поэтому прихожу я в такой ужас, в отчаяние. Сказать себе, — еще живой, — что я *не смею* уже и думать о твоей любви!.. Не знаю, испытает ли большую муку заживо схороненн<ый> человек, который вдруг проснулся в гробу... Ты знаешь, мне теперь всегда мучительно стыдно... когда ты иногда хочешь быть со мной по-прежнему... Ах, это так страшно, так горько, что у меня не хватает сил говорить. Подумай сам, можно ли тут думать, смущаться, бояться, что кажешься отвратительной... Можно ли *жить* с такими чувствами, Валерий? Ведь уж это последнее право всякой души — любить! Пусть без ответа, все равно. Но когда не смеешь и этого, когда смотришь на себя в зеркало с ужасом и боишься выйти на улицу, чтобы не встретить знакомых, — о какой же *жизни* можно говор<ить?> Ты скажешь: «При чем все это? Причем тут любовь ко мне?» А морфий — мы подошли к нему, а он, ты знаешь, откуда...

Видишь, понял, — я рассказала тебе все о себе. С морфием я гибну, я почти уже погибла, и скоро я должна или застрелиться, если не переживу отвращенья к себе, или жить, дышать, но порвать все с миром. Ты не должен против этого спорить, — это так. Бросить его, как говоришь ты и просишь... Я уже не раз говорила тебе, в каком жалком состоянии я буду, — все равно что тяжело больной человек, который живет и дышит добротой, милосердием, любовью и желаньем его спасенья окружающих. Если бы я *вдруг* впала в это состояние, — что тогда говорить! Но мне нужно *решиться* на него, сознательно сказать: «да». Я предвижу все, что буду чувствовать, как будет мне плохо, больно, грустно, страшно. И нет у меня ни решимости, ни сил перенести это *одной*, с моими мыслями, которые меня загрызут, — не могу! не могу...

Ах, если бы ты любил меня! С какой бы верой в подлинность твоей доброты я взяла все, что ты бы мне дал. Если бы любил! Если бы хотел сберечь для себя, хотел *живую* и для себя, и для меня!.. Но долг, обязанность, принужденное милосердие, желанье в это время легкокрылых радостей с девочками, поцелуев, свиданий, отвращение к болезни, скука надоевшей компании, в которую давно уже ты приходишь на 1 ч<ас> — 2 и бежишь при первой возможности. Ах, как болит у меня сердце от этих свиданий с часами в руках! Напряженье! Знаешь, что вот, вот опять останусь<сь> одна!.. И если ты приходил так, когда я была *здорова*, то *как же ты* придешь ко мне больной, несчастной, которая тебя ждет, как последнюю радость? Что ты мне можешь дать мне <так!> *настоящего* и как ты можешь дать мне то, что присуще только большой нежной любви, когда *ее нет*? Подделку, — притворишься «любящим», будешь приходить, проклиная в душе и нежно улыбаясь? Я почувствую... Да ведь проще: мне нужна и здесь *любовь*, и то, что ты неосторожно обещаешь, — не может быть в душе без любви. И всё к одному — из каких дверей ни войти — подходим мы: нет *той* любви, какую мне нужно, а кроме ее, мне горько *все*.

Зачем лечиться? Чтобы встать перед той же стеной? Чтобы, отодвинув морфий, сказать: он меня не любит так же, как не любил два года назад?! И для забвенья взять новое: кокаин? Стоит ли? Да и прежде всего, — я не вынесу этого месяца, как не вынесешь ты. Это выносит терпеливо, безропотно и нежно только любовь. Не такая, какая у тебя, — дополнение жизни, черта стиля, — а та, какой *для меня* у тебя не будет никогда. И не будем больше говорить...

Теперь же, пока у тебя игра с девочкой[8], мне слишком тяжело быть с тобой. Я не могу тебе сказать: не приходи никогда, потому что не выдержу и когда-нибудь позову. Но теперь, пока — не мучь меня, не ходи ко мне и не лги, что *ничего нет*. Есть! Я видела. Чувствовала до твоего признанья. Это хуже, чем знать о твоей жене, — это уже слишком много. Судьба здесь! В тот вечер, когда я тебя безумно хотела видеть, — у тебя было свиданье. В те дни, когда мне был нужен ты, твоя поддержка, ласка, доброта, — ты увлекся девочкой 18 лет. Если бы меня спросил Генрих[9], *почему* я не могу, и выслушал мой ответ, я думаю, он понял бы, что не все может вынести больная, измученная, разорванная душа. Я рада, если ты можешь быть живым и влюбленным снова, и не хочу

быть тебе «помехой», но видеть тебя, вспоминающего свиданье и спешащего на другое, со стихами на губах, с желаньем новых губ, свежих ласк, полудетской любви, — нет, Валерий, этого я не могу. Так надо! Так надо! В дни трудные, в дни, когда действительно решался вопрос моей жизни, пришла девочка со стихами, с губами, сложенными для поцелуя, с руками, протянутыми, чтобы отнять. Пойди, дай и возьми, переживи все снова, научи, радуйся, целуйся, ласкайся... Всё! Всё, что хочешь... Но меня уж оставь..... Слишком много — *две*...

Генриху скажу завтра. Извинюсь. Не брани меня, не называй мой отказ «капризом». Я сама еще хотела бы даже при всех этих жестоких условиях вдруг стать живой, похожей снова на женщину, с возможностью *выбирать*, не стыдиться своего облика и тела, не сидеть, боясь людей в темной комнате, и хотя с великим горем в душе, но побыть живой, среди живых — сколько смогу, сколько захочу. Но и эти простые желанья *для меня* неосуществимы. Я не виновна, что моя душа и вся я в такой зависимости от тебя даже просто дышу и двигаюсь. Но *брать* у тебя не могу ничего *вынужденного. Другого* же у тебя для меня *нет*.

Прости, письмо плохое, мало литературное. Я не могу его прочесть все, когда кончу. Тогда наверно не пошлю. Не стыди, не смущай меня, не говори со мной даже по телефону о лечении, о нездоровьи моем, о всем этом жалком, некрасивом. Не такой ты, чтобы в эти периоды упадка мог *неизменно* относиться к человеку, даже *в пределах* этих отношений. По контрасту захочется здоровья, красоты, веселости, новизны, — как это и случилось.

Прости еще за неприличную длинноту письма. Его можно было сократить, верно, вдвое, но не могу перечесть, не только переписать. Постараюсь успокоить себя морфием, чтобы не печалить<ся> даже твоей новой любовью. Если не смогу.... ну, видно будет тогда.... А о моем «леченьи» — стыдно уже и говорить. Слишком много говорили. Правда, я вчера было совсем решилась, но не ждала я «новой любви» и всех этих мыслей, которые осветили мне правду.

Прощай. Не сердись. И не приходи показывать счастливое лицо.

За сегодняшнюю минуту полна стыда... «Утешил» и в половине одиннадцатого даже без малейшей паузы убежал, не оглядываясь... «Ну, не правда ли — *теперь* все другое?» — сказал ты, надевая калоши... Ах, Валерий, наивный и жестокий зверь!..

Не сердись, милый Валерий! Пожалуйста! Мне так больно, я так страдаю, что достойна только жалости. О, я *не хочу* и *не прошу* ее *в поступках*, но когда будешь *думать* обо мне, — тогда пожалей немножко. Не ходи ко мне, пока ты с девочкой, хотя бы это длилось год. Слишком страшно мне видеть тебя в это время. Слишком ужасен контраст — представлять тебя и видеть! вспоминать себя! Смотреть в глаза, которые *не сияют* для меня, а для другой, случайной, новой... И в такие трудные, трудные дни!....

---

[1] То есть с И.М. Брюсовой.

[2] Подразумевается июнь 1905 г., проведенный Брюсовым и Петровской в Финляндии.

[3] Поскольку письмо явно написано до окончательного отъезда Петровской за границу в ноябре 1911 г., формулировка *девять лет* либо ошибочна, либо подразумевает время, прошедшее с начала ее личного знакомства с Брюсовым.

[4] См. примеч. 8 к п. 296.

[5] Судя по свидетельствам в п. 296, мать Петровской умерла в начале лета 1909 г.

[6] Отметим, что позднее Петровская перевела на русский язык роман Виктора Маргерита «La garçonne» («Холостячка»; 1922); перевод Петровской был издан трижды в 1924—1925 гг. под названием «Моника Лербье»).

[7] Видимо, реминисценция из стихотворения М. Кузмина «Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было...»: «А я желала любить и быть любимой» (*Кузмин М.* Стихотворения. СПб., 2000. С. 115; впервые напечатано в книге Кузмина «Сети» [М.: Скорпион, 1908]).

[8] Подразумевается поэтесса Надежда Григорьевна Львова (1891—1913); начало ее общения с Брюсовым относится к осени 1911 г.

[9] *Генрих* Арнольдович Койранский (1883 — ?) — врач, литератор (псевдоним — Г. Тверской); брат Александра и Бориса Койранских.

316—325. «РАЗМЕТАННЫЕ ЛИСТЫ»

1909—1911, Москва*

316. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Среда

Валерий милый, дорогой,
как мне жалко нашу жизнь и дни, которые гибнут безвозвратно. Боже мой! ведь я люблю тебя, все для меня в одном тебе. Я тоскую смертельно, превращаюсь в камень и после каждой встречи впадаю в последнее отчаяние. Гибнет, гибнет жизнь! Лучшие годы гибнут, уходят возможности, скоро не останется ничего. Валерий, милый зверочек, я напрягаю все силы души, чтобы найти какой-нибудь выход. Я ищу в себе мягкость, доброту, способность примирения. Я готова сделать все, только бы не жить в этом ужасе. Если мы нужны друг другу, дать бы этому как-то расцвести. Ах, как, Валерий! Я вернулась вчера как мертвая, спать не могла, дышать не могла. Сегодня целый день томлюсь и страдаю ужасно. Разве хочется мне быть с тобой грубой, жестокой, в образе только мучительном, а не страстно-желанном? Эти бесконечные дни, на которые мы расстаемся у подъезда, ожесточенные и холодные, довели меня до столбняка. Иногда их преодолеваешь в деревянном бесчувствии, а иногда в агонии, в тоске смертельной. И так годы! Уже годы, Валерий, и кажется близким страшный, страшный конец. Милый, научи меня, помоги мне, скажи, — что нужно сделать? Ты говоришь: «Примириться с ее существованием в жизни»... Вот сейчас, когда я вижу наше ужасно безнадежное будущее, — я готова тебе обещать все, лишь бы не потерять тебя совсем. Но, Валерий, неужели, если я скажу эти слова, — первое, чем ты мне ответишь, будет какой-то новый искус? Неужели все начнется с суровой беспощадности ко мне, неужели жестокости этого нового — неизбежные жестокости — должны начаться с меня же? Я могу обещать тебе попробовать, постараться, — и это уже для меня много и страшно.

*Письма, помещенные в этой рубрике, написаны, по всей вероятности, не ранее ноября 1909 г. (время возвращения Петровской в Москву) и не позднее начала ноября 1911 г. (9 ноября 1911 г. — отъезд Петровской за границу). Последовательность их расположения условна. Завершающие подборку пп. 323—325 написаны не ранее 1911 г.

Чтобы написать тебе это письмо, я перешагнула почти через свою душу. Я могу опереться сейчас только на твою нежность и мягкость. Начать с того, чтобы опять и опять (который раз) проводить тебя мысленно с ней и остаться в жестокий июньский вечер, как прошлой весной? Я этого не смогу. Говорю тебе со всей искренностью. Этого удара по незаживающей ране и тем же оружием я не вынесу. Лучше умереть. Повторение этого ощуще<ния> мне представляется смертью. Ведь так было бы *третий раз*. Ах, будь же справедливым. Если *нужно* быть жестоким, то один раз, чтобы я могла поверить, чтобы дать мне возможность жить с тобой, — будь жестоким *не со мной*. Не делай этого, если сколько-нибудь тебе нужно сохранить меня. Я поверю, поверю! Я клянусь тебе, что *после* всеми усилиями воли и любви создам такую жизнь, какой ты хочешь. Мы могли бы еще жить, тысячи самых счастливых, прекрасных возможностей лежат сейчас как холодные камни — мы живем в узком, скудном пространстве, скованные, как рабы.

В первый раз поняла я сегодня со всей глубиной: — гибнет жизнь — и ужаснулась. Валерий, дорогой, через все оскорбленные чувства — через уязвленную гордость, через обманутые надежды, через мучительную ревность и зависть — через всё, всё, силой одной любви я зову тебя так, *как этого хочешь ты*. Валерий, Валерий! Я прошу у тебя только пощады, только прошу — протяни мне нежную руку, начни с уступки за прошлое, за то, что еще не забылось. Не повторяй прошлой весны, на это у меня не хватит сил. Ты говорил вчера об «обещании». Измени, — вспомни, сколько обещаний давал ты мне, чтобы исполнить их *ей*. Я знаю, знаю, на это письмо ты ответишь какой-нибудь неожиданной жестокостью. Такова судьба всех лучших намерений. Но после этих моих слов мне не в чем будет упрекнуть себя. Милый, милый Валерий, не огорчай меня! Я тебя люблю, люблю.

Твоя.

Приди ко мне завтра (четверг). Я хочу, мне нужно тебя видеть. Вечером, в 9.

317. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Милый, любимый!

Ни о чем не прошу, ничего не жду, только страшно, страшно так расставаться с тобой. Пойми мое горе, мое бескрайнее

отчаяние, — ведь я вижу, что теряю тебя с каждой минутой все окончательнее и безнадежнее. Ах, пусть любовь стоит на втором плане твоей жизни! Разве уж об этом говорю. Но *любовь* всегда любовь, и *на этом втором плане* недавно еще она была живой. Теперь я не могу не чувствовать твоей каменности, не могу не понимать, что значат твои приходы, не могу не видеть твоего мертвого лица. У меня было все — твоя нежность, твоя близость, *ты* был со мной, и как-то можно было жить, несмотря на печали, на трагизм положенья. И вот нет тебя!.. Может быть, я сама виновата, — не умела удержать, сберечь, мало была способна на жертвенность. Но как уже верну тебя? Это случилось, приняло окончательные формы в эту неделю. Еще не видя тебя, поняла по письмам. Пойми же, как мне больно видеть тебя теперь чужого, холодного, принужденного к состраданью и только состраданью. Ах, научи меня, как вернуть! Вся жизнь моя в тебе. Я уже не могу, не могу быть без твоей нежности, без твоего близкого участия во всем, что со мной, без твоих нежных глаз, без этого трепета радости, который прежде всегда говорил, что со мной *ты*, а не твоя тень, не камень, не труп. И если все это кончилось и ты *знаешь*, что кончилось навсегда, зачем же приходишь? Брось, закрой глаза, отойди, не бойся быть беспощадным, ведь уже большего горя, чем сейчас, когда я думаю так, — не может быть. Милый, милый, неужели совсем тебе не нужна я? Неужели только досаду и отвращение вызывает мой вид? Ведь если ты и видишь меня полумертвую, сожженную, то это был костер прекрасный. И никому, кроме тебя, не отдавала души. Не знаю почти, зачем говорю. Мне страшно и больно. Мы могли бы, могли бы быть вместе. Или нет уже? Неужели никогда не вернется ко мне мой любимый, мой прежний Валерий, ласковый, близкий зверочек? Неужели только одно — пустота, холод, отчаяние, смерть?

Валерий, радость моя, ужасно бледны слова. Посмотри в мою душу, вся она твоя. Больше не возьмешь, не хочешь взять, не нужно?! Прости меня, прости! я очень больна, причиняю тебе невольно боль, отрываю от работы, отравляю дни. Боже мой! что бы я не сделала, чтоб вернуть *тебя*, прежнего, моего, вот здесь, в земном, милого и близкого. Валерий, Валерий! бросаешь меня в пустоту! Не вернешься?

Письмо бессвязно, мне очень плохо, я едва его могла написать. Прости.

318. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

Милый Валерий,

прежде всего — не прочти в этом письме того, чего я не хочу и не могу сказать, чтобы после не было нового недоразумения. С тех пор, как иной раз *и я* давала невыполнимые преувеличенные обещания, я стараюсь быть осторожной и точной в каждом слове. Не думай также, что мной двигает сейчас малодушный страх одиночества или моя душа склонилась на какие-то уступки. Мягкость и нежность, какие были в моей любви всегда, есть и теперь, и не злое упрямство, а сознание утраты сделало меня негибкой, мертвой, холодной. В последние недели и особенно в последние 3—4 дня я пережила и услыхала от тебя так много самого для меня страшного, что смотрю на все глазами человека «с того света», глазами «Елеазара», узнавшего иную истину[1]. И потому мне нечего тебе обещать в будущем. Я рассчиталась с собой и своей жизнью окончательно. Так просто, — весь смысл ее был в любви, *в твоей любви*, — ее у меня больше нет, значит, нет ничего. В эти последние дни моего внутреннего прощания с тобой я пережила такую нечеловеческую боль, что, помнишь, в среду был момент, когда эта боль стала телесной мукой, исторгающей невольный стон. Следующий день и вчера и сегодня после твоего ухода я чувствую себя каким-то футляром человека, деревянной механической куклой. Нельзя сказать, чтобы я не думала, чтобы была в полусне и без сознания. Даже наоборот: — мысли мои до прозрачности ясны, и никогда еще у меня не было такого отчетливого отношения к себе и ко всему, что со мной случилось. Я знаю — тебя нет, я в пустыне, таким, каким я тебя ждала, ты не придешь, ждать нечего, надеяться напрасно и моя гибель неизбежна. Когда все эти чувства и мысли бушевали в душе темным хаосом, твой вид один причинял мне самую острую, нестерпимую боль. Минутами я не владела собой ни в какой мере и со стыдом вспоминаю, как, верно, была я смешна и жалка перед тобой... И мне больно быть такой, и слишком я это сознала, чтобы могла повторить.

Когда ушел ты сегодня, я долго думала о том, как наконец должна я решить во внешнем относительно встреч с тобой. Я говорила тебе — «не приходи», а ты все-таки приходишь, и это бывает мучительно. Не знаю, что ты думаешь, когда решаешься идти, но, вероятно, тебе страшно дотронуться до звонка, страшно встретиться со мной глазами. Когда ты *уже вошел*, — у меня нет сил тебя прогнать. Пойми это! Ведь все же я тебя люблю и в каждом таком

случае переживаю страшную борьбу. Но такие свидания самые обидные, самые мучительные из всех. Клянусь тебе, Валерий, — это не прежнее время, когда, расставаясь с тобой так, я всякий раз тайно и наивно верила, что разлука только заставит тебя сильнее влечься ко мне, — и если бы ты, вняв моим словам «не приходи», не пришел более, я не стала бы тебя искать, звать, возвращать «во что бы то ни стало». Но вот уже много раз и с полной серьезностью говорила я тебе «не приходи», а ты приходишь через день-два, и сначала начинается что-то ужасное, невыносимое.

Если ты думаешь, что за своими переживаниями я перестала видеть тебя и твою душу, — ты ошибаешься. Я вижу и знаю, как тебе плохо, как ты болен, расстроен, неспокоен. Я верю также, что *я* вношу своей жизнью какую-то боль в твои чувства, и верю еще, что какой-то ничтожной, но верной долей твоих чувств ты, даже не любя, связан со мной тесно. Может быть, в этом именно и заключалась вся моя боль, и мне легче было бы видеть тебя *совсем* охладевшим, *окончательно* безучастным, *совсем* чужим. Но, прости, об этом не надо говорить, это сказано до конца...

И, если тут я не ошибаюсь, ты не будешь в силах не приходить никогда, а будешь, как сегодня, время от времени заходить «узнавать» о моем здоровии и, как преступник, извращенно влечься к месту преступления. А я не буду в силах тебе, уже переступившему порог моей квартиры, сказать «уйди». И вот сейчас, поверь мне, Валерий, не из малодушия, не из страха, не волнуемая надеждой, а только потому, что я не вижу другого выхода, я говорю тебе: «*Приходи, когда захочешь*». Приходи не как сегодня, не с боязнью в глазах, не со страхом, что я брошусь на тебя в диком озлоблении и буду говорить обидные злые слова, а просто, *внешне по-прежнему*. И я обещаюсь тебе быть ласковой, простой, приветливой, насколько могу и как могу. Мое горе так безгранично и сознание гибели так безусловно, что это уже, может быть, притупит остроту боли. Ты жив и живешь, и у тебя перед внутренним взором есть какое-то будущее, и тебе трудно понять состояние души, пережившей свою жизнь. Я говорю это потому, что, м<ожет> быть, ты с трудом понимаешь и мои чувства, и мои слова. Мне будет очень больно, если ты не *не поймешь* только, а истолкуешь это письмо иначе, чем я бы хотела. Пойми! ничего не переменило<сь>, и я зову тебя, вовсе не надеясь на счастливые встречи, и я зову тебя не за тем, чтобы видеть «во что бы то ни стало», как прежде. Я только уже не верю, что возможно нам не видаться совсем, и не хочу доставлять тебе тех последних томительных

мучений, какие еще в моей власти заставить тебя переживать. Я так люблю тебя даже в эти страшные дни наших последних расчетов, что постараюсь возвыситься даже над своим горем, если могу освободить хотя от одной печали твою печальную жизнь. Если ты не понял меня или понял дурно, неверно, мелко, — Бог с тобой! Я не могу сейчас лгать, и между нами уже не должно быть никакой лжи. Мне кажется, точно уж не здесь, не на земле я протягиваю тебе уже неживую руку. Я буду опять с тобой ласковая и простая, не думай, что я позвала тебя в какую-то западню.

Твоя.

[1] Подразумевается герой рассказа Л.Н. Андреева «Елеазар» (впервые опубликованного в № 11/12 «Золотого руна» за 1906 г.), написанного в развитие евангельского сюжета о Лазаре (Елеазаре), воскрешенном после пребывания в течение трех дней во власти смерти.

319. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Валерий,

повинуясь внезапному соблазну, я сделала этой ночью то, чего не хотела уже, а может быть, и не должна была делать, — я вскрыла оба пакета *твоих* писем и *все* их перечла... Все, до одного. Письма эти принадлежат двум страшным эпохам — лету, когда ты бежал в Швецию, и месяцам жизни моей в Париже. В эту ночь я вновь пережила прошлое и еще раз со всей мертвой безнадежностью поняла то, что давно мне было нужно увидать и понять. Я прошла по всем ступеням *вниз*, проложенным одним *тобой* за годы нашей близости, вновь прошла с открытыми глазами, с беззащитной душой. Я не узнала *нового*, Валерий, и ни одного *нового* укора нет у меня к тебе, я только нечаянно обострила, усилила, оживила все мои чувства, которые ты так старательно усыпляешь нашими мертвыми манекенными встречами, и поняла еще, еще раз, что *наша* жизнь кончена безвозвратно. Письма Твои мы хотели посвятить Вечности... Но прежде, чем отдать их для такого назначенья, разве не мог у меня явиться соблазн — посмотреть, *что* же *и обо мне* будут знать люди. Валерий, я не хочу, чтобы они сохранились и жили после меня! То бесформенное, безо́бразное унижение моей жизни, что началось явно и так ярко последние годы нашей жизни и уже не было скрыто даже красивой ложью

прежних лет с лета твоего бегства в Париж, я хотела бы переживать *как тайну,* одна, с собой, только с собой наедине. Но скроешь ли от людей жизнь, которая так на виду! Ведь все же видят, что ты с ней, а я одна!.. Ах, эта *явность* удесятеряет мое унижение и заостряет мою боль, как ядовитую иглу. И еще продлить, продлить «посмертно» свое унижение! Чтобы знали и читали твои отдаленные читатели, как была моя жизнь побеждена и раздавлена «соперницей», женой, женщиной ничтожной, бездушной, с лицом прислуги и с душой чешской пивоварки!..[1] Это все повлечь на базар чужого любопытства? Мое горе! Открыть мои раны перед глазами даже тех, кого я не знаю, словно мало мне унижений доставляет жалость «друзей» и злорадство «врагов» вот сейчас, пока я жива! Нет, Валерий! *Они мои,* эти письма, и я истреблю их вместе с главами той безумной книги, которую я замыслила в миг, когда самоистязание казалось мне последней доступн<ой> радостью. Я нашла это знаменитое письмо с признанием любви к Коммиссаржевской, где ты, словно попутно и вскользь, говоришь: «Конечно, я очень люблю мою жену, но...»[2] Тебе казалось и кажется, что вся сила была в этом «но», а для меня было бы счастьем отдать тебя Коммиссаржевской и не слышать, не знать, что ты, «конечно», ее «очень любишь», и погибнуть, если это было суждено, от *стихии,* от благородной драмы страсти, а не от чего-то бесформенн<ого>, низменного, мягкого, рыхлого, словно какая-то слежавшаяся серая вата. Я перечла еще письмо, — в нем ты пишешь, что свидан<ие> наше не осуществится в Петербурге в назначенный срок (наше долгожданное свиданье!), так как она сломала руку и страдает[3]. Ты описывал мне со всей откровенностью, со всей безжалостностью, *как сильно* волнуют тебя эти страдания — «человек не спит все ночи, ему больно, он нервно расстроен»[4]. Ты говорил, что если приехал бы, то только формально, с мертвой, *раздвоенной* душой. Из этого письма я увидала, как бережешь ты *любимых,* как стараешься оградить от самой маленькой боли. А ведь была только немножко сломана рука, и болезнь эта никак не могла даже в шутку назвать<ся> смертельной... А свидание наше после 7 месяцев разлуки было так важно, что каждый день мог быть как-то роковым. Все так просто! я уже не путаюсь больше в утонченных запутанных вопросах. Просто, просто, — ты каждое лето давал ей отдых, ты за 6 лет не пожалел ни разу меня, задыхающуюся в пыли, в зное, в тоске, и без раздумия отдавал *все* эти месяцы ей. Ее болезнь — такая ничтожная — заставила тебя изменить все решения и быть при ней неотлучно и

без размышл<ения> рисковать мной и *нашей* жизнью. Наконец, этим последним летом, когда отдых был мне нужен как спасение от смерти, — ты это видел и знал, — ты отказал *мне* и *все, что мог*, отдал ей же. И теперь, сейчас, — ты видишь, что мое состояние серьезнее, о, гораздо серьез<нее> сломанной руки, ты видишь, что я умираю и что сейчас, может быть, уходят последние дни, в которые твоя доброта, нежность, данный тобой отдых могли бы удержать лишний год моей жизни, могли бы спасти, воскресить... И все, что ты находишь для меня, — это «визиты»... Ты приходишь смотреть на мое медленное умирание и смотришь, как чужой... Мне мои знакомые говорят, как ты: «Вам бы, право, поехать куда-нибудь. Вам необходимо заняться своим здоровьем...» Разве ты бережешь меня, как ее!? Ты, который выбрал жизнь с ней, сказал мне: «Моя жизнь есть моя жизнь, и она не должна меняться ни во имя чего-либо», — ты мертв для меня, Валерий. И что же мне осталось?! Смешно кричать: «Береги меня, люби меня, бросься меня спасать, потому что я умираю!»... Мне сказано все. Мне нечего ждать.... Мне хочется сказать с горькой улыбкой, как в той телеграмме: «Sois heureux sans moi»* — и отойти от тебя куда-то в темноту, в молчание. Один Бог знает, что переживаю я в те ночи, когда вы мирно спите в вашей супружеской спальне.... Может быть, еще большие страдания ждут меня в самом недалеком будущем, и их я буду переживать одиноко, покорно, с беззащитной душой, но одного в них я почти уже не могу выносить покорно, — это наших встреч, вот этих, как три недели здесь. Ты приходишь говорить со мной, как будто ничего не случилось, как будто это не трагедия, а мирные сцены из жизни «друзей». Да! Да! если бы ты любил меня, как ее, о, не той «возвышенной» любовью в безвоздушном пространстве, а как любят люди своих жен и любовниц, тех, кому говорят, как ты мне, «люблю», ты думал бы сейчас только обо мне, ты был бы полон страха *потерять* и нежно, сердечно, от души дал бы мне сам те жалкие недели, о которых я молила тебя шесть лет, дал бы то, что можешь, и то, *чего не можешь*.... И когда ты приходишь «поболтать», или даже лучше — *говорить*, и всеми силами стараешь<ся>, чтобы я не заговорила о себе, чтобы не касалось тебя печальное, я смотрю на тебя с ужасом, с тоской, я чувствую тебя мертвым, мне хочется сделать что-то совсем безумное, только бы нарушить, разбить эту

*«Будь счастлив без меня» (*фр.*).

манекенность. Зачем такие встречи? Сейчас мне нужно *не то*, мне нужен ты, живой, близкий, связанный со мной всей жизнью, — или не надо, не надо ничего!

Поймешь ли ты меня когда-нибудь, Валерий?!

Я много раз просила, умоляла тебя поступить решительно. Как мне просить тебя еще!..

Твоя.

---

[1] И.М. Брюсова была чешкой по происхождению.

[2] Это письмо Брюсова к Петровской, по всей вероятности, не сохранилось.

[3] Имеется в виду п. 229.

[4] См. п. 241.

320. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Милый Валерий,

прости, что врываюсь к тебе без права и, м<ожет> быть, навлекаю на тебя неприятность, — я не знаю больше, *как* ты принима<ешь> мои письма *там*[1]. Но суеверный, непреодолимый страх перед *твоим* письмом заставляет меня это сделать. М<ожет> быть, ты уже обещал показывать все мои письма и *вместе* с ней решаешь мою судьбу, м<ожет> быть, ты унизил меня *так*, как я не могу себе этого и представить... Но тогда уже все равно, и это письмо не прибавит ничего и не убавит.

Валерий, довольно тянуть эту пытку инквизиции над моей душой. Я думала и думаю, что на *все* мои письма, в которых я звала тебя последними силами души и чувств, мог быть только один ответ: прийти и сказать: «Вот я с тобой, я здесь, я хочу с тобой быть, я хочу твоей близости, общенья с твоей жизнью, хочу, чтобы ты вновь, мы <так!> чувствовали себя объединенными, хочу *прежней* жизни, которую отталкивал вместе с тобой по какому-то заблуждению»... Ты знаешь, *чего* я хотела и на что я была способна для тебя, ты знаешь все возможности моей души. Я ждала твоего живого слова, живой души, живого лица, живого чувства. И, конечно, я была смешна в моих надеждах... Если на все эти *мольбы* ты мог написать какое-то сложное письмо, где каждое слово *ответственно*, где ты боишься, чтобы я не приняла *одно* за *другое*. Если в этом письме есть какие-либо условия, оговорки, предосторожности против меня, то, конечно, — оно все есть *отрицательный ответ*. Ты помнишь, как я говорила: могу все простить, забыть все

жестокое, душа моя ясна и открыта, готова на самопожерт<вование>, я смиренно принимаю то, над чем прежде стояла, как над невозможным. Я сломана, побеждена — но жить *так*, как последнее время мы жили, — *я не могу*. Живой близости, живой искренности, живого чувства я не только хочу, — я без этого не могу жить. Прошлый очень плохой год, который мне сейчас кажется прекрасным, — вот тот последний облик жизни, на который я могу согласиться. Я не сделала тебе ничего дурного, я не воздвигала между нами *стен*, — это в тебе. И если эта стена, которую ты чувствуешь *сам*, — *чудом* рухнула в тебе, то, конечно, ты придешь, придешь просто, ласково, ясно, без условий, без предосторожностей, без страха, что я могу *запросить* больше. Или в твоем сердце есть что-то *непреодолимое*, и ты не *хочешь навсегда* нашей прежней близости, и она тебе совсем не нужна, — тогда что письма, условия, рассуждения, предосторожности, точность! тогда все не нужно, тогда мой зов звучал в пустоте. Или ты *понял* мое горе до глубины, сознал, что причинял мне его каждым шагом, и *рухнула стена*, и мы вновь близки, и ты придешь *просто*, как близкий, как друг, как мой единственный, любимый... Гневайся на меня, если можешь, за это письмо! Я не могу, не могу читать страшных строк твоих, которые будут распилив<ать> душу на части. Ты помнишь, *как* я звала тебя, ты знаешь, *что* может утешить меня в моем горе, ты знаешь, *чего* я хочу, — *какой* простоты, какой ясности, какой близости. Между нами сейчас залегло что-то холодное, страшное, исходящее из тебя, из *твоей* души. И если ты можешь победить это, если ты хочешь меня, если я нужна тебе, какая я есть, какой я стала, и если есть в тебе желание утешить, спасти, воскресить меня, дать мне жить воистину, и если ты почувствовал, что *можешь* дать это просто как дар, как радость, — *все то, что мне нужно, т.е. сознание, ощущение, что ты со мной в жизни, и поступки, которые бы это выражали хотя как в прошлом* году, если ты можешь сейчас мне сказать: «Успокойся, Нина, я с тобой, я хочу сберечь тебя и твою жизнь, и я не оставлю тебя больше в той мрачной черной пустоте, в которую тебя бросил уже так давно», и если ты можешь, хочешь подойти ко мне так ласково, нежно, просто, как настоящий друг, который хочет соединить жизнь, а не разъединить, — тогда, Валерий, без этого страшного рассудочного твоего письма приди ко мне. Ах, ты понимаешь, что я говорю о *другом* свиданьи, чем третьего дня. Ты сам сказал: «*Так* больше нельзя». Я зову тебя еще раз! Еще раз всей душой и всем сердцем зову тебя — милый,

милый Валерий, если ты хочешь меня в жизни, — не покидай меня. Я стою над смертью, над гибелью... Ты видишь!.. Спаси меня. Возьми меня, мою жизнь...

Только сердцем можно ответить на такой зов... Только порывом жалости, нежности, истинной любви.... Не длинным письмом! нет! Ты сам это понимаешь.. Я не могу уже повторить всего, что говорила. Ты помнишь — *живой* приди ко мне, *живой*, и пусть будет *живая* жизнь. Я *близка* тебе, я вся жива тобой, я люблю тебя, как дано любить человеку на земле. Эту любовь — безмерную — возьми просто, нежно, ласково, жалостно или оттолкни. И все, что я пишу, и все, чего я не могу уже повторить, потому что говорила тысячи раз, — еще, еще почувствуй, пойми, спроси себя, встань лицом к лицу с собой, победи эту ледяную маску, которую *кто-то* набросил на твои чувства *ко мне*. И — или приди просто, дружески — живой, искренний, прежний и протяни мне руку. Или — брось меня беспощадно, отдай меня ужасу, смерти, отчаянию, не оглядывайся назад, не думай о том, *что* будет со мной. Я больше не могу томиться от надежды к последнему мученью, от ожидания к сознанию, что все, все кончилось и нечего ждать. Ради Бога, не пиши мне длинного «мотивированного», точного письма. Или приди — и это будет ответом счастливым — жизнью, воскресеньем. Или не отвечай ничего на это письмо — и это будет вторым ответом — отрицаньем, отказом, *нет* на все. Тогда ты больше не услышишь моего голоса, и я ухожу. Прощай! Прощай навсегда! Третьего исхода я не вижу, не хочу, не признаю. Я прошу простого, единственно возможного человеческого *ответа*. Я замучена, во мне все дрожит, я не могу больше.. Я истерзана ожиданьем, тоской, мукой этих дней, когда ты не приходишь, когда я чувствую, что я *уже отвергнута*, но мне об этом не говорят. Ты говорил о близости, давней интимности, нежности, заботливости, — или это есть, — и ты придешь *взять* мою привязанность, любовь, дружбу, нежность и дашь мне жить, — или ты *молча* отойдешь. Молчанием скажешь: нет, не хочу тебя, не буду с тобой. Если твое письмо предлагало *жизнь* меньшую, чем даже в прошлом году, и всё этой жизни заключалось в 20 мину<тах> после «Р<усской> М<ысли>»[2] — значит, ты говорил *нет*, только желая это *нет* сделать подделкой под *жизнь*. Этого не могу, не могу, не могу. Прости, что вторгаюсь к тебе. *Это последний раз*. Мое решение определенно, и вывод один. Ты увидишь, что я не лгала. Валерий, именем Бога *твоего* умоляю тебя, дай ответ *так*, как прошу. Прощай.

Я «вторглась» к тебе, но ведь эти часы равны для меня *агонии.* Или приди скоро — *сегодня* (завтра — последний срок). Или *конец*, но определенный. Я не могу в письмах. Приди сказать просто, ласково, дружески, приди *спасти.* Или оттолкни. Я не могу больше. Не могу, не могу. Ты *увидишь.* Ты увидишь, что я *не лгу.*

Может быть, безумно посылать это письмо к тебе *туда*, но я не могу разбирать дней и мне кажется диким «предпраздничное» настроение, которое м<ожет> быть мною нарушено.

Я не могу больше! Я не могу быть больше нищей, попрошайкой, ждать с вытянутой рукой. Если хочешь, *придешь*, если *нет* — оставь меня, оставь, не смей жалеть, оглядываться. У меня есть последнее право — умереть, *когда я этого хочу.*

---

[1] Подразумевается новый домашний адрес Брюсова на 1-й Мещанской.

[2] Имеется в виду время, отведенное Брюсовым для встреч с Петровской после посещения московской конторы журнала «Русская мысль».

321. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Милый Валерий,
может быть, и сам ты поймешь когда-нибудь, что только очень большое и неизменное навсегда чувство могло устоять и не перейти в самую острую и злую вражду после слов, которые ты сказал на прощанье: «Быть с тобой только близким, знать твою жизнь, заботиться о ней, входить в твои интересы, жертвовать для тебя хотя чем-нибудь я не могу», — а потом через мгновенье: «Конечно, *не могу* значит и *не хочу*, потому что обыкновенно мы *не можем*, когда *не хотим*»... А после всего сказанного еще «предложение», звучащее как самая пренебрежительная насмешка: «Я предлагаю тебе *знакомство* и не понимаю, зачем тебе отказываться»...

Когда немного улеглось ощущение этого свидания и внутри у меня стало тихо и пусто, как в доме после покойника, я поняла истину всего, что было между нами этот последний год, — я поняла, что давно уже любила в тебе лишь *мою* мечту и *мое* воспоминание о тебе *прошлого*, о тебе таком, который умер не только для меня, но и для самого себя. Ты иногда говорил об этом, но и сам ты не знаешь, до какой степени дошла твоя перемена... *Ты весь* другой, ты — бледная шаткая тень того тебя, которого я любила и знала. Даже в изменившихся чертах твоих, в этой стран-

ной неподвижной маске твоего лица едва можно уловить черты живого, милого прежнего лица. Второй раз, хотя совершенно поиному и почти в другом мире, но второй раз так странно теряю я близкого человека. Не удивляйся и не сердись на сравнение.... но с таким же точно чувством за 1 ½ года до болезни и, значит, за 2 ½ года до смерти, — я подходила к маме, к человеку, мне когда-то исключительно близкому и дорогому, и спрашивала с тоской и болью: «Мама, мама, скажите, почему Вы так странно изменились ко мне — прежде самой любимой из всех, — и как можем *мы* перестать быть близкими?» А она смотрела на меня, *как ты*, неузнаваемым взглядом и с какой-то ледяной чудовищной жестокостью отвечала: «Разве я виновата, что у меня с тобой нет ничего общего, а всякие кровные связи, только потому что они кровные, для меня не существуют». И была вокруг ее такая стена, о которую напрасно изранив душу, я отошла и в один день схоронила ее для себя *еще живую*, и уже больше никогда, никогда не подходила с моей ненужной любовью. Я говорю об этом так подробно потому, что сейчас в моем сердце ощущение, которое пугает меня до ужаса своим сходством. Все, что было связано с моей духовной привязанностью к тебе — все радости любви, все счастье и горе нашей жизни, — все это покрылось каким-то туманом. Осталась только *эта привяза<нность>*, и все свелось лишь к одному горькому чувству, к одному сознанию: *я потеряла самую близкую душу*... И так странно, с одним почти ощущением я теряю уже *второй раз* в моей жизни.

Если ты вслушаешься в мой голос и если еще можешь чувствовать меня хотя глухо, ты поймешь, что на этот раз мы простились, чтобы больше не встречаться. Но даже сознавая, что я любила только *воспоминанье* о тебе, я все же не могу оторвать его от тебя *настоящего*, не могу *разделить* и сказать себе: «Так успокойся теперь, *его, того*, прежнего, дорогого *нет*»... Каким бы ни стал ты еще, — может быть, еще более чужим, и жестоким, и далеким мне, — все равно, *я* останусь неизменной и верной тебе одному (два дня, два года или двадцать лет я проживу на земле). И если когда-нибудь случится *чудо* твоего Воскресенья, и если ты вдруг почувствуешь, что я нужна тебе, как прежде или по-новому, *но близка, дорога и нужна*, и если я еще буду жить тогда, — приди ко мне, запомни, что *я* останусь для тебя *неизменной*, и приди ко мне с уверенностью, что я встречу тебя, как встречала в самые счастливые погибшие дни.

Н.

24. Заказ № 795.

322. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

P.S.[1] Но, несмотря на все «бесстыдство» твоей откровенности со мной, ты не решился сказать настоящей правды. Ты слишком сознателен, чтобы не знать и не понимать причины твоей внутренней и внешней перемены. У меня не хватило мужества даже теперь утвердить передо мной твою близость и твою окрепшую, возобновленную любовь к ней[2]. Твои поступки говорят одно, а на словах ты, по привычке *отрекаться*, отказыва<ешься> от этой любви и говоришь: «Да ведь у меня с ней и не было близости и нет теперь».

Но, несмотря на твое смущенное умалчивание, я поняла причину твоей перемены, — тебя укачала, оторвала от живых чувств сонная, теплая, сытая буржуазная «жизнь на Мещанской»[3] (прости за невольную игру слов) в прекрасной квартире с «люстрой», с обширной столовой «как у людей», где не стыдно принять «самих Гиршман»[4] и пр. и проч. Твою ослабевшую от морфия волю направила другая воля, которая была всего ближе к тебе *фактически*, по тем путям твоей души, что стыдили тебя прежде, даже когда были только в зачаточном состоянии. Ты стыдился и скрывал от меня твою вторую жизнь. Ты боролся, как мог, с этими стремлениями жить «как люди», потому что сам видел, какие опасности ждут тебя там, и боролся еще потому, что в глубине тебя жило непреодолимое желание *отдаться* этим стремленьям. И вот, когда ослабела твоя воля и погасли страсти, *она* — твой злой гений — с хитростью маленькой неумной женщины, с той инстинктивной и звериной хитростью, которой не могут никогда противиться мущины, постепенно овладевала тобой, опутывала тысячами нитей, играла на самых дурных и низменных струнах твоей души и, как в болото, медленно втягивала тебя в эту «*тихость жизни*», в это комфортабельное *небытие*, где *гибнет поэт* и уже *погиб* человек.

И когда в тебе замолчало и отмерло все то, что было враждебно ей и чем ты *был жив*, и когда *ты сам* оставил в живых сознательно и бессознатель<но> только то, *чем был подобен ей*, — тогда *вы стали близки*, как могут быть близки люди и супруги. Она не понимает, что все это — *твоя Смерть*, она радуется на «люстру», на 800 руб. в месяц[5], на «влиятельный круг знакомых», на пошлую популярность в кружке[6], на машинное производство твоей работы, на твое возвращение к «очагу», а ты, сознавая в иные минуты, *куда ты идешь*, стараешься не думать, не помнить, не

чувствовать и живешь уже как каторжник, прикова<нный> к тачке, только с той разницей, что тебе эта «тачка» кажется свободно выбранным уделом и прекрасной «тихостью» жизни. «Ты мне нравишься, болото!....» — говоришь ты каждый день, и уже, может быть, оно действительно тебе «нравится», и *сейчас* ближе *вас*, может быть, нет на свете людей.

Она обрела своего блудного мужа!.. Наконец вырвала из власти «ведьмы», «уби<й>цы и развратницы». И наконец он оценил тихие радости домаш<него> очага... Только душа твоя, душа живая и прекрасная, умерла *у меня* на руках. *И я последняя* видела тебя на свете живым!..

---

[1] К какому письму примыкает этот post-scriptum, неясно.

[2] Подразумевается И.М. Брюсова.

[3] Квартира Брюсова в доме на 1-й Мещанской улице.

[4] Фабрикант и коллекционер Владимир Осипович *Гиршман* (1867—1936) и его жена Генриетта Леопольдовна *Гиршман* (урожд. Лион; 1885—1970). Об их взаимоотношениях с Брюсовым см.: *Белый Андрей.* Между двух революций. М., 1990. С. 199—200.

[5] Видимо, общий доход Брюсова за какой-то месяц. Как следует из его «личного счета», он получал в 1910—1911 гг. ежемесячно 150 рублей с издательства «Скорпион» и 250 рублей за ведение литературно-критического отдела в «Русской мысли», что составляло постоянную сумму поступлений, к которой добавлялись гонорары (РГБ. Ф. 386. Карт. 143. Ед. хр. 1).

[6] Московский Литературно-художественный кружок.

323. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Понедельник. Ночь

Дорогой Валерий,

сегодня в первый раз после долгих и тщетных моих стараний добиться твоего *сознания*, твоего понимания меня и себя — ты понял и *свое* отношение ко мне, и *мое* горе. Я благодарю тебя, я чувствую горькое удовлетворенье. Я не могу говорить с тобой лично, а потому позволь *написать* мне по поводу нашего разговора сегодня.

Ты сегодня увидал сам, что *ты*, единственно *ты* свел к нулю всю нашу жизнь, все наши соприкосновения и что *ты* шел к этому день за днем. Сознался просто и искренно, что действительно, кроме твоих визитов днем на 20 м<инут>, ничего нет и ты ниче-

го другого не хочешь. Милый Валерий, нет у меня уже ни слов, ни голоса, чтобы звать тебя! Я звала тебя для жизни хорошей, прекрасной, для близости, о которой еще недавно говорил и ты. Я была готова сберечь тебя какой угодно ценой, и ты знаешь — без тебя мне только одно — погибнуть.. И говорить мне тебе: «Не приходи», — это все равно что сказать себе: «Умри». Ведь ты же видишь, что *без тебя* я не живу, а погибаю.. Но пойми и последнее, что должен понять, *как* могу я брать это единственное, что осталось от 7 лет нашей жизни и любви, — эти 20 м<инут> между обедом и Р<усской> М<ыслью>[1] — мертвое свиданье из жалости? Такой нищей, такой презренной я не была еще за годы мои возле тебя.. Ты знаешь и видишь все.. Ты знаешь, что одна твоя ласка делает меня счастливой на целый день, и ты видишь, как на твоих глазах я гибну. Прошли месяцы, и ты ни разу не остался у меня вечером, не позвал в театр, не прошел со мной по улице, не посидел в Кружке[2], не присел со мной к ресторанному столику, куда присаживается на час даже уличная, бездомная, минутная любовь. День за днем ты отнял у меня все, ты больше не хочешь знать ни жизни моей внутренней, ни внешней, ты обижаешь меня во все те чем-нибудь отмеченные минуты, когда прежде именно в них я чувствовала твое вниманье и нежность. Ты, зная, что я живу и дышу одним тобой, взял у меня все, чтобы отдать ей, ты разъединил, разрубил наши жизни, — ты наконец признал это и не смог мне ответить на вопрос: «Как же все это связать с той “близостью”, которую ты сам еще недавно предлагал?» М<ожет> б<ыть>, ты обещал *ей* в минуту нежности не бывать со мной нигде, чтобы не позорить перед людьми ее, — твою *жену* (так было уже целый год!). Разве я знаю что-нибудь! Разве я могу услышать, как ты отказываешься, предаешь меня и всю мою любовь за тепло спальни, за уют кабинета, за приятность столовой и за всю твою «тихость жизни»... Ты отрекся перед ней не только от меня, но и от всей той части души твоей, которая срослась воедино со мной за семь лет жизни *со мной*. Я не могу с этим спорить, не могу просить твоей любви, не могу говорить — оставь ее и будь со мной. Я знаю, что чувства наши непреложны и «насильно милым не будешь». Ты мне сказал в разные дни самые страшные слова. Ты разлюбил меня, отказался от меня и ушел из моей жизни — все это я вижу, знаю, принимаю как безутешное мое горе, погибель и смерть. Но если так, то, милый Валерий, — доведи до конца, вонзи *весь* нож, не щади, убей, не говори, как

недавно: «Все-таки как-то влачится твоя жизнь». Ты знаешь, *как* она влачится? В час, когда тебе тихо и хорошо у тебя дома, когда вы идете в спальню вашу — близкие родные — муж и жена, — посмотри тогда сквозь ночной мрак через пространства и улицы большого города, острым внутренним взором приникни к моему стеклу... Я одна, одна много ночей, так много, что я теряю им счет С заломленными руками, с лицом, искаженным ужасной болью, лежу, запрокинувшись в темноте на «двуспальной» постели, и вижу всегда неотступно — одно.. И там, около вас, над вашим покоем, стою отвергнутая, голодная, нищая — каждую ночь. Или тупо сплю отравленным сном, уронив голову на пустую бумагу, где больше уже ничего не напишу. Сплю до рассвета, до солнца, как больной отравленный зверь.. А дни? От дивана к столу за морфием, чтобы взять его и падать в изнеможеньи на подушки и снова идти к нему, когда тоска о тебе схватит за горло!.. Такой жизни желаешь ты мне, мне, той, которую любил? И приходишь еще ты — чужой весь, на 20 минут, точно вспрыснуть мускус в агонии человеку, все равно обреченному на смерть, чтобы из лживого милосердия длить эту муку? Я звала тебя всеми голосами души, унижалась, умоляла, становилась на колени. Я стала такой, какой ты меня хотел, — искренно стала такой, всем сердцем, я делала все, чтобы удержать тебя и спасти мою жизнь, но ты уходил и отнимал себя каждый день. И теперь ты говоришь мне: да, эти визиты — все, что у меня *для тебя* есть и осталось, — бери их! Валерий! Валерий дорогой, ты же видишь, что бывает, когда ты так приходишь! У меня голова горит от морфия, в глазах слезы и туман, голос рвется, я вся холодею и дрожу. От одного твоего живого, сердечного слова я могла бы ожить в один миг. Полумертвая — я сберегла всю нежность, всю преданность души, всю любовь. Протяни руку и возьми! Ах, возьми или оттолкни совсем, убей до смерти, но не «мускус» — милосердие инквизиции!.. Разве *меня* ты видишь в эти 20 минут? Разве *я* могу говорить, чувствовать, жить в узком пространстве, на колесе в миг пытки? Если бы услыхать *твой* голос! Боже мой! хотя как в прошлом году: «Девочка милая, я знаю, что *мы с тобой,* и больше мне ничего не нужно, и я радуюсь в самые тяжелые минуты». Милый, милый! я не могу жить без твоей ласки! я умираю без нее, и с тобой *новым* мне страшно, мне ужасно, как с мертвым. Ах, наконец что-то одно! Больше не могу! Верь, не могу.. Или возьми меня, возьми мою любовь, преданность, душу мою, живую тобой, возьми и дай мне

место в твоей жизни, и дай мне посмотреть на мир, вздохнуть, отдохнуть — ведь мне нужно так мало.. Или отойди, уйди совсем, дай замучиться, умереть, пожалей мужественной честной жалостью, скажи, что мне *твоей прежней* не должно ни низко пасть, ни умереть недостойно. Но не говори так формально: «Ты говоришь — *уйди* — я повинуюсь, твоя воля — я ей подчиняюсь, закрыв глаза». — Это *не моя* воля! Сказать тебе «уйди» — это значит расстаться со своей собственной душой. Но быть *так*?.. Возможно ли? Достойно ли? И может ли вынести это сердце, уже до краев полное скорби и отчаяния? Если я не нужна тебе вовсе (а это *так*, потому что ты отверг меня всю и отнял у меня все до последней жалкой радости побыть с тобой где-то в вечерние часы, а не в эти оскорбительно 4—5 после Р<усской> М<ысли>), — будь честен, будь мужественен, чтобы сознаться в этом и сказать так же просто, как 7 лет назад сказал: «Я тебя люблю». Пойми, дорогой!.. Я дрожу в 4 часа, я боюсь этих встреч, как казни. Пойми, милый, — всей душой, всем существом рваться к тебе и не сметь сказать слова, и не слышать от тебя живого слова. Зачем же это? Зачем? Зачем? Видит Бог, как люблю я тебя, и видит Он сердце мое, полное горькой обиды и боли, и мою безумную тоску по тебе, — но *что, что* я скажу, кроме слов — «не приходи»? Я звала и безумно, без малейшей надежды, в одном отчаянии зову тебя опять: — зверочек дорогой, родной, милый, не покидай меня, полюби меня немножко, открой твои милые глаза, посмотри на меня — я сберегла всю мою любовь, нежность, я все простила тебе, я не помню ничего злого, жестокого, — я буду тебе кем ты хочешь — другом, возлюбленной, сестрой, товарищем, я отдам тебе все лучшее, все самое прекрасное моей души, возьми ее, владей ей, сделай с ней что хочешь, только не отвергай так холодно, так безразлично, так пренебрежительно!.. Зверочек, зверочек, неизменно, вечно любимый, услышь! посмотри! полюби!.. Но ведь все напрасно! Все! все!. И не вернешься, и не полюбишь, и не возьмешь ничего!.. Тогда дай мне погибнуть. Я жила только верой в то, что ты *не можешь* ко мне не вернуться, я верила в душу бессмертную нашей любви, которой не дано убить ни тебе, ни мне. Но если все кончилось и ты выбрал другую, *чего* мне ждать? Я умру. Не смейся так жестоко: «*все равно* будешь жить». А что, если нет? Если я не могу уже? — Милый, ты понял сегодня много, пойми же еще больше, пойми, что *так* я не могу, и предоставь

меня Судьбе и гибели. Я хотела жить, я еще очень хочу, очень, очень, — но только *с тобой*. Разве я виновата, разве любовь грех, преступленье? Пойми же все, до конца.

Твоя.

Валерий, милый, милый, с каким страшным недоумен<ием> оглянулась я сейчас на все. Кроме боли и горя еще у меня недоумение! я не могу чего-то понять... Неужели же из страха ее огорчать, неужели из-за слез ее, из ее каприза *от избытка* радостей, что ты ей даешь, ты позволил ей уничтожить меня? Ведь у нее *всё*, всё! Она хотела ограбить нищего, и ты давал входить в твою душу ее обвинениям, ее требованиям меня отвергнуть? Неужели ты, мущина, мог так поддаться медленному злому влиянию женской хитрости? Неужели у тебя нет *твоей* воли, Валерий? Я мешала ей, и она меня сбросила со своего пути и торжествует, и ты не защитил меня, не пожалел, дал унизить, дал победить женщине, к которой пусть ты «привязан инстинктивно», но которая никогда не была и не будет тебе близкой, как я, никогда не поймет тебя всего и с которой ты останешься навсегда одиноким, когда не будет меня совсем. Неужели не было в тебе воли и силы защитить меня и твое собственное чувство? Неужели ты позволил ей потребовать моей гибели? Валерий! Валерий мой дорогой! ведь она от избытка... ведь у нее все есть, и ты будешь с ней всегда, и ты заботишься о ней, и она никогда не будет так горько одинока, живя под защитой твоей нежности и любви. Ах, посмотри же на меня! У тебя хватило духу выбросить меня, когда я стала больна, бессильна, когда я утратила все связи с жизнью? Ты не хотел ей делать больно, немножко больно? а знаешь ли ты, какая боль была тобой приготовлена для меня? Разве Бог тебе простит это? Не покарает?.. Ты ведь не возненавидел меня, ты только позволил другому распорядиться мной и твоим чувством. Неужели же можешь ты *так* быть счастливым и покойным в твоем «тихом гнезде», когда ты знаешь, что каждая минута этой жизни — для меня крестная мука? Разве не узнала я внутренно всю правду? После 10—15 дней с ней наедине — ты приходил весь чужой, холодный и враждебный.. О, как больно, как горько мне знать, что ты, ты, любимый, единственный, предаешь мою любовь! Ей, ей, которая утопает в счастьи. Подумай! я страдала годы, я голодала, я думала, как о рае — о двух, трех неделях жизни с тобой вдвоем... Я умру, и в последнем бреду мне будет видеться этот рай,

это счастье, которого больше не подарит мне судьба... А она! Каждый день ее — рай! С тобой жить! Видеть тебя целый день, слышать ночью твое дыханье, видеть утром, как открываешь ты ресницы!... Она хотела моей гибели и погубила меня, но кто-то не прощает счастья, основанного на горе и смерти! И, может быть, за меня ей отомстится жестоко еще здесь, на земле!.. Боже мой! *чего* же хотела я?! Разве я уже мечтала отнять тебя у нее? Я побоялась бы думать теперь об этом. Я никому, даже ей, даже заклятому врагу моему не пожелала бы тех страданий, что переживаю сейчас. Я хотела так мало, так мало! И этого, этого она не позволила дать тебе!.. А ты ради «тихости жизни» предал любовь мою, отверг душу, которую тебе доверили мистически, свыше, душу, отданную тебе во власть!! Валерий, Валерий! милый, неужели ты действите<льно> мог это? Или я просто противна тебе? Может быть, уже я сама не замечаю, как я противна вообще — худая, с голодными глазами, с бледными губами, с мучительной болью в каждом движении. Но кто! Кто же сделал меня такой? Да, верно, и *это*... Нет! Нет! я не буду жить, я не хочу, я умру! я не буду бродить жалким призраком лучшей жизни, я не хочу быть «бывшей Ниной»... Отчаяние разрывает мне грудь, хочется кричать, стонать, но я все застыло <так!> сейчас, только мозг горит весь отравленный...

Быть может, морфий дал мне смелость говорить так откровенно — прости!!..

---

[1] Подразумеваются посещения московской конторы петербургского журнала «Русская мысль», где Брюсов заведовал литературно-критическим отделом.

[2] Московский Литературно-художественный кружок.

324. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Прочти, пожалуйста

Милый Валерий,
прости, что я обременяю тебя моими письмами, но у меня нет другого способа говорить с тобой. Я не могу, не решаюсь говорить тебе ничего, когда ты приходишь с твоим угрюмым, холодным, замкнутым лицом. Прости же меня и выслушай еще раз! Который уже!?..

Не бойся, я ничего, ничего не прошу и ни на что не жалуюсь. Ведь я же знаю, что это бесполезно, и хочу говорить толь<ко> о том, что есть, что я вижу и чувствую...

Валерий милый! я прошу тебя, я умоляю тебя, ради Бога, *не принуждай* себя приходить ко мне. Да, конечно, мне без тебя ужасно, и я не могу без тебя жить, но разве это причина для того, чтобы ты вынуждал себя сцепя зубы приходить ко мне на эти 20 минут в день. Зачем ты *себя* мучишь ими? Ведь я же вижу, что *даже такие* встречи невыносимы и тяжелы для тебя. Я вижу теперь: в тебе произошло что-то неожиданное, новое, необычайное. Ты *не только* просто разлюбил меня, — тогда, сохранив все же некоторую привязанность от лет и близость, можно бы было встречаться не так ужасно. Нет, что-то другое случилось! я еще сама не знаю наверно, *что* именно... Но, верно, я тебе стала невыносима, чужда, неприятна, почти противна. Ведь ни одно чувство не застывает, а каждый день как-нибудь прогрессирует в ту или иную сторону. И я думаю, что быстро, быстро, с каждым часом даже, я делаюсь тебе все неприятнее. Когда ты приходишь, я вижу, я чувствую всем существом, что ты надрываешь, насилуешь душу, идешь как на пытки. Разве близкие *так* могут встречаться?!.. Приходишь весь мертвый *для меня*, мрачный, молчаливый, замкнутый, безучастный к моей жизни больше, чем чужие мне люди, самые чужие — просто знакомые. Потом — все меньше и меньше остаешься со мной. Пробудешь 20 минут, и я уже вижу, что ты едва можешь выносить, *какая бы я с тобой ни была*. Уходишь, и обрывается все, всякая связь, точно проваливаешься на глазах в какой-то люк, и я остаюсь в ужасе...

Милый, любимый мой, ведь только камень не отозвался бы на такой зов, как я тебя звала, и только нечеловеческая черствость не ответила бы хотя простой, ничего не значущей лаской на *такую* любовь, на такую тоску по тебе, на такое горе о тебе, из-за тебя, которое все у тебя на глазах!.. Но ты приходишь с каким-то обреченным лицом, точно я зову тебя, чтобы *пытать*, точно преступник на место убийства, и сидишь свои 20 минут страшный, чужой, мертвый. Ты ненавидишь меня? Я стала вдруг тебе противна? Да? Вдруг? Так душевнобольные в первых стадиях болезни начинают ненавидеть и чуждаться самых близких прежде. Ты говорил прежде: «Ушло прекрасное, но и осталось не менее прекрасное». Валерий!.. *Что* осталось!... Ведь даже простой ласки не осталось, доброго слова нет, и м<ожет> быть, ты из крайней де-

ликатн<ости> не называешь меня самыми грубыми, позорными словами в ответ на любовь и боль.

Ты отнял у меня все, все!.. Ты каждый день отнима<л> последнее, даже во внешнем — жалкие мои маленькие радости — побыть с тобой лишний час, проехаться по улице, посидеть в Кружке... Ты *ей* обещал меня бросить совсем? Ты ей сказал уже, поклялся, что меня больше нет совсем? Да? Валерий, я умоляю, открой мне правду!!.. Признайся! Милый, я хочу правды, последней, пусть самой страшной, но правды. Ты ей сказал, как однажды, что расстался со мной окончательно? Ах, не лги, зачем! Ответь мне на это! Ответь, ради Бога! Чего меня щадить! Ведь уже все равно! Но я не могу быть в этой тьме, не знать, не понимать, стралать от неизвестности. Скажи мне! Я *вдруг* стала тебе противна? Ты меня возненавидел? Тебе моя любовь отвратительна? Скажи. Ты *должен* сказать. Нехорошо тебе это от меня скрывать. Ты всегда обещал мне сказать, когда придет для меня страшное.

Милый Валерий, *что* иное могу я думать, видя тебя... Ведь самая любовь уже как-то смягчает другую душу. Ты знаешь, как я люблю тебя, как страдаю, и если ты ничего, ничего уже не хочешь мне дать, а только все отнимаешь, — *что* могу я думать.

Я звала тебя так, что у меня не осталось ни голоса, ни слов. Тосковала о тебе смертельно, была готова на все, чтобы сберечь тебя живого — и ничего, ничего, ничего!... И еще раз умоляю тебя, ради тебя, ради Бога, не мучь меня так больно, не принуждай себя к этим 20 минутам *для меня*. Я не могу их брать, я не могу, не могу! Пойми меня.. *Я не гоню тебя*. Видит Бог, как хочу я тебя, как хочу тебя в жизни. И не могу без тебя, умираю мучительной смертью. Но *так* — хуже смерти. Видеть, как ты, ты — моя любовь, моя жизнь, приходишь сцепя зубы, мертвый, чужой, и не хочешь взять у меня ничего, и не даешь мне ничего — это ужас, ужас... Помнишь, недавно, в письмах ты говорил о «большой близости, интимности, заботливости». Ах, горько повторять.. Где же это все? Где же?

Ты увидал, что *и это* невозможно? Да? Так *скажи*! Умоляю тебя, скажи!.. Ты же все знаешь, зачем же таишь? Ведь я не пойду тебя «убивать», ведь я же молча останусь в моей комнате, а ты уйдешь, сказав: *вот и все*. Но разве близкие *так* приходят!? Так *зачем* же тогда? Зачем?..

О, не отвечай формально, как говоришь все время: «Хорошо, ты не хочешь меня видеть, — изволь, я повинуюсь. Решай ты. Я

сделаю все, что скажешь»... Я ли решаю?! Ведь ты подумай — только потому я пишу, говорю, вижусь с тобой, что *ты сам все время* убеждал меня, что нам не надо расставаться, что между нами могут быть жизнь и близость. *Ты*, ты убеждал, приходил, писал. Но разве об таких встречах, как последние, ты говорил? Или ты смеялся надо мной? Дразнил душу? Валерий дорогой, что мне осталось сказать, кроме слов безумных... И вот — если вдруг я ошибаюсь, и я не противна тебе, и ты ей не обещал меня бросить и не сказал, что *уже* бросил, — приди тогда *иначе*!!... Помнишь, было в декабре.. после долгой твоей жестокости я подошла к тебе однажды, когда ты сидел на диване, а ты взял меня за руку, крепко обнял, и так мы молча сидели долго, и ты сказал, что точно что-то открылось пред тобой, и вдруг ты, не видя раньше, снова увидал меня и понял. Точно кора какая-то лопнула, завеса упала... И ты нашел в своей душе меня живую.. И потом говорил веселый, ласковый, живой: «Не пойму, *что это* делает<ся> со мной? Отчего я перестаю тебя видеть и знать?..» И настали счастливые дни, — ты приходил добрый, я могла работать, жить.. Неужели же *теперь* навсегда?!... И ты не увидишь больше моего лица, не услышишь голоса, не позовешь?? Валерий! Зверочек!.. Я зову тебя, стучусь, а ты точно заколдованный принц.. Милый, проснись для меня! Ах, не о любви я, не о страсти, не о прежнем! Нет, близость твоя, доверие, нежность, участие — неужели все это утрачено? Милый, я живу последние дни. Я еще бьюсь, стучусь к тебе, безумно надеюсь. Но когда пойму, что ты уже *никак* не придешь, никогда не придешь *живой* для меня, — буду ли жить я хотя минуту? Сейчас я только дышу надеждой. Ах, разбей ее совсем, сознайся, сделай последнее из последних признание, и мне не о чем будет просить тебя. А теперь ведь *ты сам* поманил меня близостью, сам говорил, что расставаться *не надо*. Ты понял все, о чем я прошу.. Не пиши мне страшного письма, не отвечай формально — этого не надо. Приди, милый, приди, дорогой, любимый... Если я не противна, не отвратительна, не чужда, — приди *живой*. Позволь любить тебя только, дай жить немножко, немножко. Ведь ты видишь, я уже сейчас почти не дышу. Или скажи последнюю, новую для тебя самого правду. Разве виноват ты будешь в ней? Валерий! Валерий! или приди близкий, живой, или оттолкни *совсем*. Умоляю тебя!!.

Твоя.

325. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

Презирай меня, если можешь, Валерий!..

Но ты должен, должен ответить на мою просьбу, на мой вопрос с прямотой последней, с твердостью и с полной беспощадностью. Ты, может быть, презрительно улыбаешься: «Какие же могут быть *еще* вопросы и ответы, когда я ответил, кажется, на все?» Да, я послала тебе длинное письмо, где говорила обо всем, где раскрывала перед тобой все мои чувства и говорила: «Приди, если ты можешь хотя немного дать *мне* из твоего "немногого", если это "немногое" не решил ты отдать целиком ей». Ты и не ответил, и не пришел.... Не пришел, *зная*, как я страдаю. Для тебя прошли два обычных вечера — «Эстетика»[1] с ней, реферат, ужин, спокойная ночь... Я не так провела их! Ты знаешь, знаешь все, и, конечно, я должна понять, *должна бы* была понять это молчанье как самый твердый отрицатель<ный> ответ: «Не приду, ничего не дам, не жди от меня ничего, мне нет дела до твоих страданий».

Я все это понимаю умом, но сердце не может расстаться с надеждой, что ты придешь, вернешься, захочешь меня, насколько можешь вообще хотеть. Ах, я не могу все забыть твоих слов: «Если я даже уйду от тебя — ты не верь, потому что мы не можем расстаться».

Я признаюсь перед тобой без стыда! Да, я так чувствую, я надеюсь, я жду тебя, я прислушиваю<сь> к шагам на лестнице, даже ночью жду невозможный звонок по телефону. Валерий, пусть ты разлюбил меня и не хочешь, и не придешь более, — это *твои* чувства, я не смею требовать другого. Но, несмотря даже на это, на твоей душе лежит какая-то обязанность по отношению ко мне. О, не бойся, я не о поступках, я ничего не прошу реального. Но такая любовь моя обязывает тебя и дает мне право спросить с тебя правдивого, точного, беспощадно благородного признанья. Семь лет жизни с тобой дали мне это право. Валерий, ты уже не чувствуешь меня больше, моя любовь и страданье для тебя — ничто. Но я и не обращаюсь больше к твоему чувству. Я обращаюсь только к твоей искренности и благородству. Пойми, я не могу больше так медленно умирать, все дни, все часы быть в агонии, переходить от веры к отчаянию, от рыданий к полному оледенению всего существа. Так нельзя жить еще даже неделю, даже три дня. Вырви эту надежду; ты ее дал, ты ее и отними. Видишь, я не могу отойти от

тебя, я все надеюсь, жду, верю в то, чего нет. Я ничего не могу сделать с собой сама. Напиши мне прямо, мужественно, беспощадн<о>, с полной правдивостью: «Да, я люблю одну ее, да, я связан с ней, тебя я не хочу, ты мне помеха, если бы я вернулся, то только по твоему желанию, и в твоей жизни ничто, никогда не изменилось бы к лучшему. Ничего из того, что ты хочешь, я тебе не дам, не жди. Иди куда знаешь, страдай, умирай, — мне нет дела, и знай, знай, что я ее люблю больше, и эта любовь к ней всегда будет обусловливать даже то "немногое", что мог бы я тебе иногда дать!» *Мне ли* учить тебя, *какие* ты должен сказать слова, чтобы у меня пропала, умерла эта безумная, мучительная надежда! Я прочту, я поверю, я клянусь тебе самым святым, что больше ты не увидишь ни меня, ни одного моего письма. Поверь! Я знаю, *теперь* ты все узнал о себе и не можешь ошибиться. Мне *нужно это*, я в тот же миг пойму, *что* я должна с собой сделать, я не буду так ужасно томиться. Ведь *без тебя* я совсем не могу жить, и если живу сейчас, то одной надеждой на новую встречу. Презирай меня, называй меня постыдными именами. Такова любовь, и иной нет! Но я не могу жить в агонии. Пожалей меня этой отвлеченной жалостью, как ты бы пожалел вообще человека. Я не могу так. Я могу жить, только когда я с тобой. Ты знаешь, знаешь. Зачем же тебе томить меня здесь так ужасно! Ведь я не прошу ни чувств, ни поступков, я умоляю только пощадить меня. Ты никогда не говорил правду прямо, безбоязненно. Ты всегда оставлял какой-то выход «на случаи». Теперь этого больше не нужно. Я умоляю *о чем*! Подумай! Неужели так трудно быть правдивым и благородным! *Оттолкни меня совсем*, отними последний луч веры в невозможное. Клянусь! Клянусь тебе! я больше не буду «цепляться» ни за тебя, ни за жизнь. *Все равно* ведь я без тебя *не буду*. Так зачем же длить агонию? Презирай меня, говори, что я нуль, ничтожество, — мне все равно! Я *так* тебя люблю! Я не могу, не могу без тебя и живу, страдаю, умираю в медленной муке. Ты не веришь! О, у меня, кроме глаз, скоро ничего уже не останется, я не полнею «от горя», как она!.. Ах, Валерий, дорогой Валерий! Не думай, что я в «исступлении», — нет, я только *вся* переполн<илась> боли и не могу так прожить еще нескольких дней. Или приди и будь со мной, если я нужна тебе хотя как-нибудь, и дай, позволь тебя любить. Или оттолкни, напиши прямо самые страшные слова, чтобы я могла это все прекратить. Ответь, умоляю, умоляю, *сегодня же*. Если ты не

ответишь, — пусть тогда твое молчание будет ответом. Потому что на такую просьбу нельзя не ответить *никак*. Тогда молчанье я приму за самый страшный ответ.

Если тебе трудно мне ответить, написать несколько слов, то положи это письмо в конверт и пошли мне обратно, подчеркнув в нем *мои же слова*, — я это приму *как ответ*.

[1] Заседание «Общества Свободной Эстетики».

326. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

13/26 ноября 1911 г. Нерви[1]

Nervi. Воскресенье

Дорогой и далекий Валерий!

Я еще не могу ни читать, ни писать, — потому прости и почерк и краткость. Ни о *себе*, ни о *тебе* я *ничего* еще не знаю, хотя скоро *узнаю* и тогда *скажу* все. Линия руки моей говорят <так!> о чем-то ином.... Не знаю.... В душе то бред и исступленье, то тьма. *Пойми это. Твоя* ласка мне сейчас нужна *очень*, очень, очень... Но если ее *нет* у тебя — *ничего* не давай, — я проживу и так. Исчез страх и *жизни* и *смерти*. Еще слаба я ужасно, но по Милану гуляла с «майстером Генрихом» как здоровая, а пью целые дни, и «душа» бывает «пьяным-пьяна»[2].. раз пять в день. Дорога была *сложна* крайне... Когда-нибудь *все* расскажу. Генрих «теург», Генрих — «Новый Христос».. — это правда навсегда. Не ненавидь его во Имя Мое. Ведь это он сказал: «Лазарь, гряди вон»....[3] Обнимаю тебя слабыми руками. Целую твои прекрасные *жестокие* глаза. И *не* говорю: «Люби»... Да будет *то*, чему должно быть по воле Бога и судьбы. Пиши *часто*. Прости за плохое письмо.

Рената (бывшая).

[1] Открытка. В санаторий доктора А. Залманова в Нерви (близ Генуи) Петровская выехала из Москвы 9 ноября 1911 г. в сопровождении врача, Генриха Койранского.

[2] Отсылка к заключительным строкам стихотворения Блока «Я пригвожден к трактирной стойке...» (1908, опубл. 1910): «А ты, душа... душа глухая... / Пьяным пьяна... пьяным пьяна...» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 3. С. 117).

[3] Ин. XI, 43.

327. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

14/27 ноября 1911 г. Нерви[1]

Nervi. Понедельник

Дорогой мой и вечно жестокий зверь!..

Я написала тебе несколько слов на открытке[2], но так была пьяна, что почти и не помню ничего! Рассказать о себе *много* я еще не могу, да и едва двигаю рукой, и так же плохо ложатся на бумагу слова, хотя мысли как огненные колеса.

Дорога была так сложна, так трудна *внутренно*, что нет сил еще рассказывать. Скажу одно: души у нас с тобой ***не чужие,*** и оба мы не можем не кусать рук «благодетельствующих».... Но об этом *не спрашивай* Генриха. Я *все* расскажу, когда сумею. Генрих *удивительный*, *особенный*, и власть его надо мной *безгранична*. Только это не «психо-терапия», а «теургическое действо». Кажется мне, что линии руки моей говорят правду, но еще не знаю, *как* именно изменится моя жизнь, если вообще может жить «Лазарь *воскрешенный*»[3]. В сознании у меня еще хаос, исступленье, тьма, и все время какое-то возбужденье, равное психозу.

Страшно тянет вино. Здесь его дадут мало, но я взяла с собой, увы! только «бутылочку». А твой коньяк[4] Генрих *приказал* мне отдать ему... Отдала.....

Как здесь? *Мне* плохо. Хотя могу сказать или так: «О да! застенок мой прекрасен»[5]. Или так: «На закате моя тюрьма прекрасна»[6]. Мраморная лестница, пальмы, розы, кактусы, апельсины, в окнах море, море... В нем слышу шум *московских* улиц. Помнишь:

> Здесь *безумец* живет..
> Между белых сиреней
> На террасу ведет ряд ступеней[7].

Ах, Валерий, вот когда меня сожигает каждая строка стихов, какие я только знаю!

Вернулась *вся* душа моя... Вся... Но.... Какая-то темная тень «залетейской страны» упала в нее навсегда. И, может быть, поэтому у меня нет больше ни страха жизни, ни страха смерти... А уже знаю, знаю, что жизнь моя сломана, как соломинка, и начинается новое, темное мне самой, неизвестное, хотя вовсе *уже* не страшное. *Желанья* мои *сейчас*, может быть, пройдут, но кое-что *новое* останется и будет творить *новую* же жизнь. Прости, что все говорю о себе. Но о *тебе что*? скажу, *что* знаю я....

Ты скажи о себе. Пиши часто, если можешь и хочешь. Я тоскую безумно. Живи *как хочешь*... Теперь *я* говорю: «Будем свободны, дадим друг другу свободу», — ты этого хотел.

Пришли «Рус<скую> Мысль» и что-ниб<удь> еще. Учусь читать, а писать еще не могу.

Обнимаю тебя, зверочек мой вечно и вечно жестокий!.. «Шар твой, шар золотой» — за облаками, и хочешь ли ты, чтобы он *вновь* упал тебе в руки?...

Пиши, пиши часто, много, но *если хочешь*.

Твоя.

Милый! сейчас получила твое первое письмо и, не уничтожая уже своего написанного, я вложу еще несколько строк.

Ах, пойми! как должна себя чувствовать очень сознательная душа в состоянии *такого* безумия. Я чувствую, вижу, *числю* свой бред, отмечаю мелькающие мании, навязчивые идеи, фобии, психастенические представления, а остановить этого *день и ночь* жужжащего колеса *не могу*...

Вся *дорога* была один сплошной бред и *почти* без контроля сознанья. В смерчах крутилось старое, недожитое, и новое, новые наважденья, новые безумия души, потерявшей свой ритм, *потерявшей себя*. Сейчас «это» бывает раз пять в день и всю ночь кошмары. Пойми меня! пойми это, зверочек. Я сейчас выпила большую рюмку мадеры (доктор *дает*) и чуть, чуть просветлела. Генрих не велел в Nervi вину опьянять меня, и я пока от него трезвею. Не сердись, если есть в моих письмах какие-нибудь «острия». Верь, они неумышленны сейчас. Генриха начинаю *не любить* за *все* и очень, очень, очень жалею — отчего в *ту* ночь я не умерла[8]. Счастье было так близко[9].

Я не умею сейчас ни жить, ни думать, ни чувствовать. Моя душа в какой-то лаборатории переделывается хирургами душ, а *что* из нее выйдет?.. Мне ли это знать. Дивац <?> говорит, что «чувствующая основа», т.е. душа, остается целой даже в самых тяжелых психических болезнях, что нет анатомо-патологическ<ого> изменения в клетках мозга. Хочу верить!.. Но все же то, что переживаю я сейчас, — ужасно. Это полное психическое *расстройство* (не болезнь), шатанье, колебанье, — порой мрак.

Это должно быть, если я смогу вынести, полным *надломом* жизни. Успокойся! Ем, хожу сидеть на крышу (в «стадо» не могу

и ем *7 раз!* тоже дома). *Мне* здесь позволяют всё, что допустимо, и я на *особом* положении. Пиши, пожалуйста, зверочек. Скучай! Люби меня. Я смутно чувствую, что это может быть мне нужно. Слово mir сделали из moi[10]. *Не адресуй санатории*, пиши только «villa d-eur Salmanoff». Санатории здесь иметь *нельзя*.

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 24.11.11. Написано карандашом.

[2] Имеется в виду п. 326.

[3] Ин. XI, 43—45.

[4] Упоминая в мемуарном очерке «Ушедшее» о проводах Петровской за границу на Брестском вокзале (9 ноября 1911 г.), Л.Д. Рындина отмечает: «Меня поразило, что Брюсов на дорогу подарил ей бутылку коньяку» (Мосты. 1961. № 8. С. 302).

[5] Строка из стихотворения Андрея Белого «В темнице» («Пришли и видят — я брожу...», 1904) (*Белый Андрей.* Пепел. СПб., 1909. С. 173).

[6] Подразумевается заключительная фраза повести Л.Н. Андреева «Мои записки» (1908): «При закате солнца наша тюрьма прекрасна» (*Андреев Леонид.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1994. Т. 3. С. 182).

[7] Цитата из 3-й части стихотворения Андрея Белого «Безумец» (1904). См.: *Белый Андрей.* Золото в лазури. М., 1904. С. 233.

[8] Имеется в виду приступ болезни, вызванной наркотиками. 23 октября 1911 г. И.М. Брюсова сообщала о Брюсове его сестре, Надежде Яковлевне: «В три часа вернулся Валя, собирался ложиться спать — телефон. Оказалось: Генрих Койранский зовет Валю veiller auprès de M-me Grif (?) <дежурить у постели мадам Гриф, — *фр.*>. Ей плохо. Валя уезжает»; 27 октября она писала ей же о Брюсове: «Говорил, что с Н<иной> Ив<ановной> сделался "калянс", кажется, так называется кризис, наступающий после долгого употребления "морфия"» (РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 35).

[9] Цитата из «Евгения Онегина»: «А счастье было так возможно, / Так близко!..» (Глава восьмая, строфа XLVII).

[10] Видимо, подразумевается путаница слов в тексте телеграммы.

328. ПЕТРОВСКАЯ — БЕЛОМУ

19 ноября / 2 декабря 1911 г. Нерви[1]

Слушай, как воет пурга,
Ешь в троекратности жир,
Жди, не идет ли цинга,
Вот завершенный твой мир[2].

Суббота 19 ноября

Что они сделали со мной, Валерий? Проклинать нужно мне Генриха или чувствовать к нему «вечную благодарн<ость>». Это

он, *он* в вагоне[3] усыпил меня полным гипнотическим сном. Сам говорил: «Возьму руку, согну в воздухе, и она стоит, *как я скажу»*. *Что* он велел мне чувствовать? Когда я была в Москве, совсем больная, — *все*, *все* мое было со мной. Теперь же бессмысленная, слепая и грубая тоска, смятенье в мыслях, хаос в чувствах и пустота вокруг. Первые дни или *все* дни дороги было буйное исступленье,

а теперь я пью лишь кровь
да густой, как деготь, жир[4] —

и если бы не кокаин (о, немножко, *чуть-чуть*, знаешь мое лекарство, там всего 0,6. *Не жалуйся* ни Генриху, ни Сереже — пожалуйста!.. Все равно, не могу не быть пьяной, хотя два раза в день), я оглохла бы и ослепла, я пропала бы совсем. «Держат» здесь на совершенно исключительном положении. Все узнали, *кто* я, откуда, — *всё* узнали. Заведующая «пансионом для больных» — приятельница Алекс<андры> Павл<овны> из «Рус<ской> Мысли»[5]. Вот и представь себе.... Доктор Залманов — друг Елены Цветковской, друг Бальмонта, и жена его в это воскр<есенье> едет в Париж прямо к Бальмонт. Художница тут есть — влюбленная в Бальмонта, — приносит мне орхидеи (!) и неумолчно говорит о Бальмонте, Катерине и Елене[6]. Томительно это. Смотрят на меня все особыми глазами, пытаются знакомиться. А доктор *ничего* от меня не требует, кроме «семикратной» (буквально) еды в день. И чтобы мне не быть с людьми (я *не могу*), отвел мне и Наде место для прогулок *на крыше*. Сегодня я сказала: «Хочу в Nervi», и был тотчас экипаж. Но мне *все равно* плохо. Я уже даже почти не больна, а «психически *расстроена*». Понимаешь: «расстроена», как когда-то хороший рояль, по которому колотили кулаками и ногами, и, думаю, сама, инстинктивно понимаю, точно больной зверь, *как* нужно бы и *где* лечиться. Если будет *долго* так плохо с душой и умом, я уже на этот случай придумала «план».... Я не тоскую ни по ком и ни о чем *определенно*. Между мной и прошлым *бездна*, а нового ***нет***. Бывают (без всяких внешних причин) припадки такого исступленного возбуждения, что я говорю по несколько часов беспреры<вно.>

Запою, заведу, загуторю,
Сам с собой без конца говорю...[7]

А потом молочно-белое слепое море, такое же небо и такая же душа — все сливается в одно, и, заломив руки, я смотрю перед собой — слепая и глухая.

Ах, зачем? зачем сказал он: «Лазарь! гряди вон!»[8] Трудно мне жить! Не хочу я! Не могу я!.. И смешно! Даже чтобы умереть, — я *должна* сейчас жить на этом «Чертовом острове» и «есть в семикратности жир». Противно мне все — люди, горы, море, небо, и как меня ни умолял Генрих, — хочется кощунствовать, хочется говорить самые богохульные слова в иные минуты.

Хотела бы написать тебе *все*, *все* другое, но:

Я лежу в покрове белом...[9]

Я — или *не я* в этом письме — суди сам.

Если *два* первых[10] чем-ниб<удь> огорчили тебя — прости, очень, очень прошу... Писала *совсем в бреду*, особенно первое. Да и второе достаточно.

Но *просить* тебя ни о чем я *не хочу сознательно*. Будь что будет. Как *ты хочешь*, как *захочу я*, если сумею в будущем хотеть. Одиннадцать дней с отъезда, — от тебя только *две* телеграммы. Не отдают, что ли? «Психо-терапия» Генриха? Или ты и не писал?..... *Я* хочу твоих писем *по памяти*, по «инстинктивной» сейчас любви к тебе.

Но если *ты* не хочешь писать — пусть будет так: «Снега, мерцанье, тишь»...[11]

Устала *смертельно*....

Пожалей меня, зверочек милый, любимый, дорогой!...

Н.

---

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 24.11.11.

[2] Цитата из лирической поэмы Бальмонта «В белой стране» (1908), входящей в его книгу «Хоровод времен». См.: *Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. <М.>, 1994. Т. 2. С. 654.

[3] Речь идет о железнодорожном путешествии из Москвы в Италию вместе с Генрихом Койранским.

[4] Цитата из поэмы «В белой стране» (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 661).

[5] *Александра Павловна* Татаринова — секретарь редакции журнала «Русская мысль».

[6] Е.А. Бальмонт и Е.К. Цветковская. Художница, о которой идет речь, — видимо, Елена Григорович, от которой в архиве Брюсова сохранились два письма. Первое написано 8/21 октября 1910 г. с виллы д-ра Залманова из Нерви, а во втором, относящемся к 1918 г., она пишет: «Вы мимолетно знакомы со мной, но едва ли помните — мы встретились у Бальмонта (в Машковом, в день смерти его belle-mère). Я знаю Вашу сестру, Н.Я., и многих из Ваших знакомых. Пишу это на случай, если пожелаете справиться обо мне. По профессии я художница, но последние годы занималась переводом (у Сабашникова и в изд. «Духовное Знание»), знаю языки

немецкий, французский, италианский, польский и отчасти испанский» (РГБ. Ф. 386. Карт. 84. Ед. хр. 4. Л. 2). Более подробных сведений о ней собрать не удалось.

[7] Цитата из поэмы «В белой стране» (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 662).

[8] Ин. XI, 43.

[9] Строка из стихотворения Брюсова «Призыв» («Приходи путем знакомым...», 1900), опубликованного в составе его цикла «Воскресшие песни» (Золотое руно. 1906. № 1. С. 42—46).

[10] Имеются в виду пп. 326 и 327.

[11] Строка из поэмы «В белой стране» (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 658).

329. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

21 ноября / 4 декабря 1911 г. Нерви

И в пространстве застывшем, как
мертвенный цвет туберозы,
Чуть скользят очертанья поблекших
разлюбленных лиц[1].

Понедельник 4/21

Я не могу и писать даже, Валерий...

Чем мне лучше телесно, тем темнее, спутаннее и страшнее в душе. «Ем в *семикратности* жир»[2] и за пять дней даже здесь «прибавился вес», — теперь «вешу» *3 пуда* ровно, и кости почти незаметны на своих недолжных местах... Но какой толк!.. У меня отняли моего «черного монаха»...[3] Генрих сделал со мной что-то, и этого «теургического фокуса» я ему не могу простить. Нет, я буду обегать его дом за 10 верст, если вернусь в Москву. Не хочу, чтобы хотя одна душа имела надо мною «неограниченную власть», какая далась *ему*. Неужели и ты, Валерий, переживал такое же или хотя подобное «психическое расстройство»[4]? У меня все в мозгу расстроено, и всякий прохожий сейчас может внушать мне что угодно. Я сплю хотя 5—6 ч<асов> в сутки, но лишь потому, что здешний доктор «возлагает» мне на голову руки и говорит: «Спите»... Это ужасно! Но какую страшную ошибку сделал Генрих!.. Меня нужно было поместить в «психиатрическую» лечебницу. По нескольку раз в день я с тоской мечтаю об «изоляторе», где можно стонать, падать на пол, заламывать руки, громко говорить какие я хочу стихи и *все*, что я хочу!.. Здесь этого ничего нельзя, и

потому в вечер мне хочется, чтобы лопнула голова наконец, что ли. Заботы и попеченья, как только они становятся «исключительными», надоедают мне — точно масло с сахаром, «липнет» от них в моей «буйной камере».

Но когда же это кончится, Валерий? *3 недели*, — это все, что я могу. Когда они пройдут, и если они пройдут, я бегу отсюда без оглядки куда попало. Еще через две недели я буду *слишком* здорова, чтобы жить среди этих «пингвинов, тюленей и глупышей»[5].

На воле, в городе мне будет лучше.

Ах, какие печальные сны вижу каждую ночь!..

Не хочу и рассказывать..

Прости, что все о себе, — развился эгоцентризм.

Сегодня 9-й день, как в Nervi, и 8-й — здесь[6].

От тебя ни слова, кроме телеграмм..... Как хочешь... О, если я выйду из этого ада, о, если буду *второй* раз «из ада изведенной»!....[7]

Обнимаю тебя, хотя

..в пространстве застывшем, как мертвенный цвет туберозы,
Чуть скользят очертанья поблекших разлюбленных лиц.

Не знаю, м<ожет> быть, это пройдет...

«Ах, любите меня, полюбите!...
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь, вернусь!...»[8]

P.S. *Пришли «Золото в лазури»*[9], *пожалуйста...*

Надя страдает каждый час, как в Порт-Артуре[10]. Кажется, скоро тоже сойдет ***от меня*** с ума.

---

[1] Цитата из стихотворения К.Д. Бальмонта «Отцвели» («Отцвели — о, давно! — отцвели орхидеи, мимозы...»), входящего в его книгу «Горящие здания» (1900). См.: *Бальмонт Константин*. Стихотворения. М.: Книга, 1989. С. 329.

[2] Обыгрывается строка «Ешь в троекратности жир» из поэмы Бальмонта «В белой стране» (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. <М.>, 1994. Т. 2. С. 654).

[3] Образ, вероятно, восходит к первым строкам стихотворения М.Ю. Лермонтова «Баллада (Из Байрона)» (1830): «Берегись! берегись! над бургосским путем / Сидит один черный монах», — либо к рассказу А.П. Чехова «Черный монах» (1894).

[4] Вероятно, подразумеваются попытки лечения Брюсова с целью преодоления зависимости от морфия. Н.С. Ашукин записал со слов его вдовы (23 мая 1925 г.): «И<оанна> М<атвеевна> случайно узнала от врача Генриха Койранского о статье какого-то английского морфиниста, который описывал, как он отвыкнул от морфия. Однажды Брюсов захворал, и И<оанна> М<атвеевна> позвала к нему Койранского <...>. Койранский очень искусно, ничего не говоря о морфии, сосредоточил внимание больного Брюсова на сердце; внушал ему, что у него больное сердце, и незаметно уменьшал дозы морфия и в конце концов заменил морфий физиоло-

гическим раствором. Результат такого лечения сказался довольно скоро. Брюсов, ничего не зная о том, как его лечили, перестал вспрыскивать морфий. Между тем Нина Петровская захворала, отравившись морфием. Брюсов позвал к ней Койранского, который стал применять к ней тот же метод лечения, какой применял к Брюсову. И Брюсов узнал, что был обманут. Вернувшись домой, он рассвирепел и очень долго ни слова не говорил с И<оаиной> М<атвеевной>. Морфий опять овладел им» (*Ашукин Николай.* Заметки о виденном и слышанном / Публ. и коммент. Е.А. Муравьевой // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. С. 247).

[5] Обыгрываются строки «Тюлень. Пингвин. Глупыш», «Глупыш. Пингвин. Тюлень», «Тюлень. Глупыш. Пингвин» из поэмы Бальмонта «В белой стране» (*Бальмонт К.Д.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 658).

[6] Подразумевается: на вилле (в санатории) доктора А. Залманова в Нерви.

[7] «Из ада изведенные» — заглавие раздела книги Брюсова «Στέφανος. Венок» (М., 1906); стихотворения; его составившие, вдохновлены в основном переживаниями взаимоотношений с Петровской.

[8] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения Андрея Белого «Друзьям» («Золотому блеску верил...», 1907), посвященного Петровской (*Белый Андрей.* Пепел. СПб., 1909. С. 184).

[9] Книга стихов и лирической прозы Андрея Белого (М., 1904).

[10] Сравнение с обороной российской военно-морской крепости Порт-Артур (Китай, полуостров Ляодун) в 1904 г. в ходе Русско-японской войны.

330. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

28 ноября / 11 декабря 1911 г. Нерви

29/12, понедельник[1]. Nervi

Милый Валерий,
чего ты не понимаешь во мне? Я тебе писала довольно подробно о моем «душевном расстройстве». Теперь лучше, теперь все яснее и светлее в голове, — но, конечно, еще есть множество противоречий, качаний, минутных колебаний. Ты это можешь видеть по письмам, как и сама я вижу сознательной, но в те минуты бездейственной частью моего мозга. Генрих говорит, что *все это* от прошлого, оттого, что меня «*только терзали*, а не любили»... И он прав, прав безусловно. Но не будем говорить о «слишком острых» предметах....

Ты спрашиваешь меня о «здоровьи». Д-р Залманов очень мной доволен, и я действительно поправляюсь «не по дням, а по часам». Конечно, только благодаря Генриху, и когда у меня появляется вдруг к нему отрицательное отношение, я потом себя долго бичую за каждое дурное или легкомысленное слово. Уверяю тебя,

что этот «майстер Генрих», которого Вы так невзлюбили с Иоанной Матв<еевной>, сделал для меня *гораздо больше*, чем ты думаешь. Воскрешать мертвые тела, м<ожет> быть, можно научиться.... Просто теургический фокус... Но если больше?.. Но если вскрыть душу, как Гоберман[2] вскрыл мне абсцесс хирургическим ножом?... А если нежными руками вынуть из нее самые мучительные занозы и *душе* этой сказать: «Лазарь! гряди вон!»...[3] Ты не знаешь, Валерий, *чем*, *кем* был для меня Генрих с 3-го августа, с начала болезни Нади и во все эти черные, черные дни, когда ты жил хотя и близко (будто бы) от меня, но *весь* точно за стеклянной стеной. Если бы его не было в эти месяцы, если бы он не подошел так страшно близко, — я, вероятно, была бы уже там, откуда не пишут писем с заграничными марками. И если ты после этого можешь ненавидеть Генриха вместе с И.М., — значит, ты просто *жалеешь, как и она* (конечно!), *зачем* он это все сделал... Я еще *мало* знаю пока о себе, но у меня уже есть *желанья*, которые не тонут даже в кошмарах и в бреду. Еще в полутьме, точно перед рассветом, я уже вижу кое-что, — и думаю, что *не пойду* ни к прежним пыткам, ни по прежним путям. «*Вы* должны издавать законы», — сказал мне Генрих еще в *то* страшное утро (ты уходил в аптеку). *Почему* он это сказал, на *какие* мои слова — не помню, но это *приказанье* звучит мне постоянно. И если *я* буду «издавать их» *ни для кого-нибудь*, то *для себя* — это наверно. *Как* получил Генрих *такую* власть над моей душой, — это слишком *сложно* объяснить. М<ожет> быть, душа была парализована морфием, м<ожет> б<ыть>, это потому, что я ему безусловно поверила, м<ожет> б<ыть>, еще почему-ниб<удь>, — не знаю... Но этой власти я *хочу* в *самые ясные моменты* очень *сознательно*. Подумай, — у скольких гипнотизеров я была, и *ни один* не мог дать мне полного гипнотическ<ого> сна. А Генриху стоило положить рядом голову на подушку, и я спала через 5 минут, и он мог внушать мне что угодно, потому что он говорил после, как стояла рука в воздухе в том положении, как он желал.

Если меня *заставили* уже жить и если я *захочу* жить, —

Куда мой потухший пламень,
Потухший пламень нести?[4]

Прежний пламень... *Кому* он *был* нужен?.. *Кому* он *был бы* нужен? Помнишь у Бальмонта: «И *новыми* огнями себя я ослепил...»[5] Если жить, то хочу *новых огней*.

Здесь прекрасное заведение для «ремонта испорчен<ных> людей». Доктор так себя и называет: «Я ремонтный рабочий», и я делаю *все* — послушно, точно, *покорно* (бросила и кокаин и вино), чтобы не «прийти» опять калекой, внушающей «вместо страсти только жалость»...

М<ожет> б<ыть>, тебе не нравится все, что я говорю, и ты думаешь, что это тоже «веселый маниакальный бред». Но слишком он тогда упорен... Слишком однообразен... Я ведь ***так*** думаю теперь все время. Ты хотел знать о всем «внешнем», как я живу, какая у меня комната.....

«На закате моя тюрьма прекрасна...»[6] Два окна на море (живу вдвоем с Надей, но этот тихий зверок *ничему* не мешает — наоборот...). Вижу закаты и рассветы, «золотое вино»[7] утреннее и вечернее. Вижу, как «над морем садится ослепительный огненный щит...»[8]. Вижу в 6 ч. утра, когда просыпаюсь, утреннюю бледную итальянскую луну. Но море мне скорее неприятно, это хорошо оценивает и понимает доктор: «В таких состояниях море не нужно», — говорит он. И когда я сижу на крыше, я смотрю на гору, заросшую кипарисами, розами и оливами, или вдали — за морем — на цепь розовых французских Альп[9]. Лекарства для меня все отменены. Иногда вечером, когда я прошу «хорошего сна», — он вынимает из кармана, улыбаясь, какую-то крохотную облатку. *Что* в ней — не хочу знать. Принимаю и засыпаю. Хотя сплю мало, беспокойно, терзаюсь в кошмарах. *Каждая* печальная или мучительная мысль принимает живой, живо-терзающий (по-ночному) облик.

Меня балуют, даже слишком, — ты знаешь, как иногда со мной несправедливо-добры люди... Люди здесь или примитивные, или жалкие, — кроме д-ра Залманова. Это — талантливый «психо-терапевт», хотя и не психиатр он, тонкая, чуткая, немножко безумная душа, хотя *это*, последнее, он таит (но я узнала о нем многое). С виду он лет 27—28, хотя ему 36. Совершенный итальянец лицом (хотя настоящий еврей), в обращении добрый, ласковый, почти нежный, но удивительно, удивительно чуткий ко всяким колебаниям в чужих и особенно больных душах. Я никак не думала, что курортный врач может быть таким. Впрочем, он и его жена очень близки с Бальмонтом и *ко всему* приучены. «Стихийность» душ им не удивительн<а>, значит. Была тут первую неделю одна русская художница, — теперь она в Париже, приятель-

ница Елены (у нее будет жить Мирра[10] — дочь Ел<ены> и Б<альмонта> — *весь этот год*, пока Б<альмонт> и Е<лена> будут путешествовать[11]). Нет, право, мир — это «большая деревня».... Эта художница обо мне много знала, была ужасно рада мне, приносила «орхидеи»...

Я не лежу, кроме 2—3 ч<асов> в день, когда д<окто>р говорит: «А Вы бы *все-таки* полежали». И не лежу «в стаде», где все, на террасе, а просто у себя под открытым окном. «Удовольствий» пока имею мало и самые примитивные: езжу в Нерви с доктором, когда он едет на прием в 10 ч. утра. Возвращаемся врозь. Хожу на почту, ходила смотреть кардинала, когда была какая-то торжественная месса, слушаю в саду, «прижавшись к железной решетке»[12], итальянскую шарманку. И иногда вдруг пьянею, пьянею, точно прежде от морфия, точно от вина..... Душа, так долго лежавшая в могиле, вдруг опьяняется *собой* самой, какими-то возможностями, каким-то блеском впереди. Пусть! Пусть! я *ничего* не получу, но быть живой до новой, *до последней* смерти, — *я хочу*!... Здесь есть одна барышня в последнем градусе чахотки, через комнату от меня. Хожу с ней говорить и опьяняюсь *смертью*, которая горит розовыми пятнами на ее щеках, блеском ее прекрасных, уже нездешних глаз. *Понял* ты теперь меня хотя немножко?

Я не злая, я не хочу тебе делать больно, я *мало* вообще сейчас хочу от людей. Я говорю с собой, смотрю в себя и за очень горькие, очень тяжкие минуты (они бывают в дне) вдруг иногда получаю заслуженную *мою* радость. Я сейчас бываю часто похожа и на ребенка, и на дьявола... Доктор говорит, что это «возвращение», а я думаю, что это *новая страна*.

Я благодарна бесконечно Генриху, что он сумел увезти меня, что он поехал сам со мной (без него я бы не поехала).

Я представляю себе «четыре зеленые стены» и *знаю*, что не сумела бы сейчас в них жить.... Я не умею ничего из прошлого сейчас. «И в пространствах застывших, как мертвенный цвет туберозы»......[13]

Может быть, это пройдет, м<ожет> быть, нет — *кто* это скажет?

Ты спрашиваешь, *сколько* времени я должна не приезжать в Москву? Генрих, конечно, преувеличивает в целях «психо-терапевтических» и *прочих*.... Но когда я *захочу* в Москву, — не знаю, не знаю, Валерий!... Где я буду после Залманова — тоже пока не знаю.

Но здесь буду не 3, а *4* недели. В левом легком у меня еще не кончился процесс. А *больной* приняться за *жизнь*, — не хорошо. *4* недели, т.е. от сегодн<яшнего> дня еще *ровно две* — это необходимо, это диктует мне все мое благоразумие, несмотря на то, что здесь очень дорого. Если буду здорова, нужно будет ехать отсюда на второй день итальянского Рождества[14]. Моя мечта, конечно, на последние недели заграничного пребывания поселиться в Париже. Эта мысль мирит меня со всей трудностью (конечно, *трудно* очень, *мне* трудно вести такую жизнь, как я веду здесь, — я только ей *покорилась*), но в Париже хочу быть *совсем* живой. Работать по-настоящему еще не могу. Написала *первую главу*, — длинную, от начала до конца, *писала* в самые безумные минуты, *читала* в самые сознательные, — и я ее *не уничтожу*, она останется, если даже не будет гармонировать с остальны<м>. Она и должна быть такой... страшной, кошмарной, отделенной пропастью от самого начала романа[15]. В смысле «художественн<ом>» я думаю, что это *лучше* моего прежнего. Мертвая душа могла говорить лишь мертвые же, сделанные слова... Послать *тебе* мне страшно.. Сереже — не хочу. Читаю сама с собой...

У меня нет книг, Валерий, а я уже хочу читать; и особенно стихи, стихи...

Всплыло в памяти множество любимых и забытых стихотворений. Читаю их сама себе. Только Белого — громко — Надечке. Просит «Боги для маленьких народов»[16]. Да? Пришли мне «Золото в лазури», пожалуйста[17]! Не смею просить Тютчева и Баратынск<ого>... А может быть, пришлешь?....

Поэзия дорога мне, как, кажется, никогда! Каждое слово звучит по-новому, особенно из прежних любимых стихов...

И все, *чем жил когда-то*,
Я снова полюбил,
Но больше нет возврата
К тому, чем прежде был...[18]

Только хочется сказать это без дальнейших страшных строф[19].

Милый Валерий, я написала тебе, кажется, больше, чем сейчас могу. Клянусь, что писала без вина и кокаина, не в исступленьи, не в припадке, не в безумии. *Ясность* у меня бывает иногда по целым дням, как и сегодня.

Прости, что все время говорила о себе. *Ты* этого просил, да *о тебе*, кажется, *лучше* не говорить. Заседанья, премьеры, редакция,

девочки (от скуки), — Валерий в футляре[20], бездушно шелестящие листочки почтовой бумаги с «нежными стертыми *клише*», как ты пишешь мне.... Да разве это *ты*? *Ты тот*, которого я полюбила в Финляндии (после любила *по памяти*, любила любовь и *надежду*, которой, теперь знаю, *не дано* воплотиться), ты, в которого я так *тогда* верила? Нет, Валерий...... Ты не можешь, м<ожет> быть, стать мне *далеким совсем никогда*, но не можешь быть и *таким* близким, какого я *хотела*... из-за которого шла даже на смерть....

Не думай, что *я не хочу* твоих писем. *Пиши*, конечно, пиши, что можешь, *как можешь*. Я буду отвечать, буду говорить о себе много, если захочешь, *как* бы ты ни писал....

На это письмо ты успеешь написать сюда. И напиши непременно. Пришли новые стихи *твои*. Конечно, пришли, Валерий, хотя мне и дороги «Боги для маленьких народов».... Не говори обо мне с Сережей *интимно*. *Ему* я *так* не пишу, он мало, очень мало сейчас обо мне знает — *он для другого*... Надя говорит, что я писала 2 часа. А она скромно лежала сзади на кушетке. Удобный зверок!... Она «выправляется» (на примитивном жаргоне), был только один припадок, да и то в первые дни. *Я* ее тогда с ума сводила.. Слушается доктора. Он удивительно умеет, почти молча, влиять на ее душу. Мне стали очень по сердцу врачи, Валерий. Они так непосредственно близко стоят *у боли*, у *подлинной* человеческой боли, что *невольно* начинают понимать *многое, самое нужное*... быть может... И может быть, пред лицом Кого-то по-настоящему Великого *равны* и поэты, и эти «ремонтные рабочие» по поправке душ и тел.

Пиши *о себе*, милый Валерий. Или ты *отвык давно* очень от меня даже прежней и *с этой* мной *не можешь*, не хочешь говорить?

Совсем в тумане для меня мой отъезд, не могу вспомнить твоего лица в вагоне. Я двигалась волей Генриха, как и «мистер Вольдемар»[21]. Если бы он не только прыгал на кровати, но еще ходил, ехал пять дней в Италию.

Шумит дождь, свистит море — вечерний час. Скоро «пингвинов» позовут ужинать, а с 10 ч. вся вилла будет скрипеть, кашлять негромким, но страшным туберкулезным кашлем, и будут летать «сны-мучители» до рассвета, до ржавой декабрьской зари. (Дожди уже несколько дней.) Обнимаю тебя нежно... как могу нежно..

Н.

Как жалко Серова!..[22]

P.S. Отдала ли я тебе корректуры Сфинкса? Эти позорные листки — Сашины грехи[23]? Беспокоюсь, не забыла ли. И спасибо, если сделал.

---

[1] Ошибка в датировке (понедельник был 28 ноября / 11 декабря 1911 г.).

[2] Врач Аарон Вульфович *Гоберман* (Арбат, д. 21).

[3] Ин. XI, 43.

[4] Неточная цитата из стихотворения Андрея Белого «Матери» («Я вышел из бедной могилы...», 1907). См.: *Белый Андрей.* Пепел. СПб., 1909. С. 159.

[5] Неточная цитата из стихотворения «Рассвет» («Я помню... Ночь кончалась...»), входящего в книгу Бальмонта «Горящие здания» (1900). См.: *Бальмонт Константин.* Стихотворения. М.: Книга, 1989. С. 340.

[6] См. п. 326, примеч. 6.

[7] Образ из стихотворения Андрея Белого «Все тот же раскинулся свод...» (1902): «Опять золотое вино / на склоне небес потухает» (*Белый Андрей.* Золото в лазури. М., 1904. С. 22).

[8] Неточная цитата из стихотворения Андрея Белого «Золотое руно» («I. «Золотея, эфир просветится...», 1903) (Там же. С. 7).

[9] Горы, наблюдаемые из Нерви на противоположном берегу Генуэзского залива, — Лигурийские Апеннины.

[10] *Мирра* Константиновна Бальмонт (1907—1970).

[11] 1 февраля (н. ст.) 1912 г. Бальмонт и Е. Цветковская отправились из Парижа в продолжительное морское путешествие (Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия, Полинезия, Зондские острова, Индия), из которого возвратились 30 декабря 1912 г. См. письмо Бальмонта к Брюсову от 18 января 1912 г. (*ЛН. Т. 98, кн. I.* С. 230—231 / Коммент. А.А. Нинова и Р.Л. Щербакова).

[12] Источник цитаты не установлен.

[13] См. п. 329, примеч. 1.

[14] То есть 26 декабря н. ст.

[15] Замысел большого повествовательного произведения — романа — Петровской не был осуществлен.

[16] Что означают слова в кавычках, неясно.

[17] Ср. п. 329, примеч. 9.

[18] Строфа из цитировавшегося выше стихотворения Бальмонта «Рассвет» (*Бальмонт Константин.* Стихотворения. С. 341).

[19] Имеется в виду строфа:

Зловещая старуха,
Судьба глядит в окно.
И кто-то шепчет глухо,
Что я погиб давно.

[20] Отсылка к рассказу А.П. Чехова «Человек в футляре».

[21] Персонаж рассказа «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» («The Facts in the Case of M. Valdemar», 1845) Эдгара А. По — умирающий человек, подвергаемый гипнотическим (месмерическим) опытам в состоянии агонии.

[22] Художник Валентин Александрович *Серов* скончался в Москве 21 ноября 1911 г. в возрасте 46 лет.

[21] *«Сфинкс»* — московское книгоиздательство, действовавшее в 1907—1914 гг. О каком переводе Петровской идет речь, нам неизвестно.

331. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

3/16 декабря 1911 г. Нерви[1]

Суббота 17/4, утро[2]

Дорогой Валерий,
вчера вечером получила от тебя «Золото в лазури» без письма....[3] Думаю, что ты умышленно послал только книгу и не пишешь почти вообще. От этого вижу тебя уходящим все дальше и дальше... Ну, что ж! Верно, так нужно!.. Может быть, ты не хочешь, чтобы *я* писала? Ты говоришь, Валерий, что *я* тебе сейчас мало понятна.. А ты? Ты не написал мне за эти три очень трудных для меня недели *ни одного живого* слова!... Мы так разучимся говорить друг с другом... Мне кажется, — *все, все близкие* мои (те, которых я в прошлом считала близкими), *все* без исключения начинают досадовать на Генриха за его «старания»... «Лазарей» не нужно изводить из гробов, — это может только *всячески* затруднить окружающих, поставить в тягостное положение...

Я была *удобнее* всем, когда душа моя «лежала в могиле морфия». Но что же *мне* делать!.. Я не виновата, Валерий..... Вернуться *туда* же уже не могу. Научись говорить со мной, Валерий! Я совершенно *ясна* сейчас, и доктор делает все, чтобы, как он говорит, я «вернулась». Я вспомнила многое забытое. Меня заставил забыть морфий всю мою душу, всю себя. И я точно учусь какой-то азбуке. Начинаю любить все любимое когда-то, все настоящее, все, что было для меня прежде истинным источником жизни, — и вижу, слышу, чувствую, понимаю *новое*, коварно скрытое морфием. Разве это плохо? Разве *тебе* это неприятно? Если неприятно, — значит, ты *никогда* не любил *меня*.

Мне минутами горько, что ты со мной стал таким — в «футляре», чужим, недостижимым... Но Бог с тобой! Будь *как можешь*!

О Москве, о покинутых «зеленых стенах» стараю<сь> сейчас не вспоминать, — это еще слишком ужасно. Там, верно, бродит, ломая руки, мой двойник и плачет *о тебе* и зовет тебя, как в те минуты, когда это было жизнью.

Очень спешу, уезжает доктор, он повезет на почту письма. Мне здесь жить неделю еще, до будущ<его> понедельника[4]. Ехать в жаркие страны, к морю или на Капри доктор *окончательно* не советует. Море мне не полезно, яркость также. Жить советует в Италии пока, но в городе — Флоренции или Риме. Я выбираю Рим. Когда поеду, пришлю телеграмму с адресом, конечно, пока на poste rest<ante>.

Я очень изменилась внешне, Валерий. Удивительно, чудесно возродилось тело, я давно, давно себя не видала *такой*.... Лицо, говорят *все*, очень молодое... Жаль, что ты не видишь меня. Обнимаю тебя нежно и крепко. Привыкни ко мне, злой, жестокий, злопамятный зверь! Получил ли ты «цветочки»[5]? Верно, их было приказано «выкинуть» как зараженные туберкулез<ом> и *мои*....[6] Обнимаю, не будь злым!...

Пришли *твои* стихи.

Нина.

---

[1] Почтовые штемпели: Nervi. 16.12.11; Москва. 7.12.11.

[2] Ошибка в датировке (суббота — 3/16 декабря 1911 г.).

[3] См. п. 329, примеч. 9.

[4] *Понедельник* — 12/25 декабря.

[5] Видимо, Петровская распорядилась о вручении Брюсову букета цветов в день его рождения — 1/13 декабря.

[6] Предполагаемая реакция со стороны И.М. Брюсовой.

1912—1913

332. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

4/17 января 1912 г. Рим[1]

Tu me moque ne suis Chesterkine habituée payer hôtels manque au moins 300 francs immédiatement Nina*[2]

[1] Телеграмма; Roma. 17.I.1912.

[2] Среди писем Петровской к Брюсову сохранились пять бланков Лионского кредита (Crédit Lyonnais) с указанием денежных сумм, перечисленных им по ее адресу: в Нерви 9/26 декабря 1911 г. – 500 лир; три перевода в Рим (Veneto 146, pension Francini): 19 января 1912 г. – 300 лир и 250 лир, 29 января 1912 г. – 250 лир; в Париж 14 июля 1912 г. – 300 франков.

333. ПЕТРОВСКАЯ – БРЮСОВУ

21 марта / 3 апреля 1912 г. Нерви[1]

Nervi 3/21 1912 г.

Милый Валерий,
я не хотела вовсе писать тебе, и в душе еще все была какая-то неопределенность. Жизнь моя менялась, чувства приходили и уходили, потом, после Рима, я была больна, потом было много тягостного в самом внешнем моего бытия, и я сама уклонялась от всяких решений, жила, закрыв глаза на все будущее. Твое после-

*Ты надо мной издеваешься <я> не Шестеркина <я> привыкла платить <за> отели не хватает по крайней мере 300 франков немедленно Нина (*фр.*).

днее письмо я получила, уже когда поправилась. Ярцева была все время тогда возле меня и, верно, хотела «пощадить» меня от всяких московских известий. Телеграммы о деньгах, — тебе, потом Генриху, *письмо* тебе[2], — все это было послано *ею же*, а я *ничего* не знала, да и думать тогда ни о чем не могла, — была, *действительно*, больна. Все это открылось для меня только после, и Ваши ужасные письма (твое и Сережино), Ваши телеграммы и проч. я получила, когда совсем выздоровела. За письмо Ярцевой к тебе я даже *не могу извиняться,* ибо *я* «третьих лиц» в наши отношения *никогда* не вмешивала[3]. О нем я узнала *только от тебя*, а ее не спрашивала и не буду спрашивать — стыдно и тяжело. Вероятно, возмутилась она чисто по-женски и написала что-нибудь недолжное. Я не виновата!... Ну, все это *в прошлом*, а я хочу говорить о настоящем, — просто, спокойно, если хочешь, «дружески», потому что злых и мстительных чувств у меня к тебе *нет* больше... Я живу в Италии почти пять месяцев, — и это уже выше того срока, что определил Генрих для моего выздоровле<ния>. Сережа требует от меня окончательного ответа о моем возвращении, о квартире и проч. Я должна решить, я решаю и я *решила* для себя *все*. Если говорить о моем «здоровьи», то, конечно, у меня туберкулез *в первой стадии*. Но здесь 90% таких, как я, и много хуже еще меня, которые совсем не теряют надежду на выздоровление. Вероятно, после этих пяти месяцев я могла бы существовать *физически* и в Москве *в лучшем* виде, чем была. Ты не узнал бы сейчас во мне той Нины, которую знал ½ года назад... Но это все уже не так важно и отходит на третий план, потому что в Россию, *в Москву* я *не могу* вернуться из-за причин *внутренних*. Что-то порвалось у меня с прошлым, и я знаю, я чувствую, понимаю, что это *непоправимо* и безвозвратно. Я *не сумела* бы больше жить в Москве, я все там разлюбила, я не хочу *ничего* из прошлого, я *не могу* увидать даже его внешнего облика, — о, эти улицы, бульвары, залы, рестораны, люди, которых я знала и которые знали меня!... В минуты, когда я бываю *счастлива*, — в моей *новой* душе просто ничего этого *нет*, точно не было никогда, точно все было сном. Но когда реальность Москвы во образе Сережиных писем требует от меня решения и ответа, когда я все пережитое вижу, как на экране синематографа — картину за картиной, — я тогда говорю: «Нет!», «довольно...», «кончено!». Как хочешь, Валерий, думай ты о Генрихе, как хочешь смейся над его «примитивностью», но он совершил чудо со мной, и в ту ночь мне дали *новую* душу, чужую и чуждую всему, что прежде называлось «моей жиз-

нью». Я точно вышла из подземной тюрьмы, где томилась годы и годы. Мне дорого и нужно сейчас именно то, чего я не знала, не видала, *чего не любила*, что было закрыто *жизнью с тобой.*

«Весны благоуханный запах»[4], ответный блеск чьих-то чужих и вечно близких глаз, деревья, небо, горы, мрак и свет, все звуки *живого* мира и *музыка*, музыка, — от Бетховена, Вагнера и Грига до шарманки, от народной песенки до арии из «Тристана и Изольды»....[5] *Жизнь* или *смерть*, но только не томлен<ье>, не пытки, в которых тупеет и глохнет душа! О, смерти я не боюсь совсем. Я видела ее недавно очень близко, — умерла жена д-ра Залманова, — и в *первый раз* она мне казалась прекрасной и простой. Я вернулась с этих похорон, точно со свадьбы.... Такова сейчас моя *новая* душа.... Представь теперь мою *жизнь* (рассказывать о ней я не буду) и пойми, что возвращение в Москву для меня было бы самым худшим родом самоубийства. Жить *во внешнем* мне будет, вероятно, пока очень трудно, но у меня есть одна надежда, и если она осуществится, — тогда устроится *и внешнее*: я терпеливо ждала и *жду*... Все дело теперь в настоящем, в нескольких (2—3-х) месяцах, в связанности моей с Надей, которая тоже надорвалась внутри окончательно. Ты пишешь мне о какой-то «связи прошлого», о том, что ты *все же, несмотря ни на что*, не можешь быть безразличным к моей судьбе. В это я, Валерий, *не верю* и этого я *не хочу.* Я просто *не знаю*, что значит «связь *прошлого*», и такие чувства не по мне. Я поняла, что между нами кончилось *все*, в день, когда прочла твои стихи *ко мне* и *не* ко мне... Тогда и перестала писать. Но не будем говорить об этом... Кончено! Сказано, понято!.. Я перестала тебе писать, но посылала телеграммы «с обозначением той или иной суммы франков». Да, я делала это... Мне было трудно; мое «воскрешение» во всех его деталях стоило дорого, и я посылала тебе такие телеграммы *просто*, не как требования *платы* за прошлое (о, нет тех сумм франков, которыми можно заплатить за убитые *годы жизни*!), а думала я, что *ты* в *те* дни *не можешь* отказать мне *ни в чем. Почему* я так думала, — не все ли равно *теперь*!.. И так наши «материальные» отношения на будущее ты можешь считать тоже конченными. В этой области у меня есть к тебе только *одна* и *последняя* просьба, которая касается меня как-то уже косвенно. Если можешь, исполни ее, если не можешь — скажи прямо, без подробных и тяжелых объяснительных слов, — скажи просто: «*Нет*»... Сейчас я коснусь самого мучительного в моей настоящей жизни, того, что отравляет ее каждый день... Со мной Надя... От тоски по Москве (она тоскует безмерно) ее психическая болезнь усилилась

и явно двинулась вперед. Я умею все это забывать, лишь только выхожу из комнаты и вижу чье-нибудь другое лицо, но знаю, что этот вопрос требует *мужественного и прямого решения*. Когда Сережа написал мне, что 4-го апреля сдаст квартиру и отправит Катерину[6] в богадельню и что это ужасное «гнездо бед» внешне разрушится, — Надя впала в последнее отчаяние. Она решила совсем к нашему 4-му июня (здесь кончится сезон) ехать в Москву, я тогда, вероятно, поеду во Францию или в Швейцарию (это зависит от некоторых обстоятельств). Но 4-е июня *крайний* срок для нее, ибо она *в таком состоянии*, что, м<ожет> б<ыть>, ее придется отправить и *после Пасхи*[7] (я свыклась с мыслью, что *так нужно*). *Мне* моя квартира только страшна, и я предложила бы Сереже сделать на бульваре костер из книг, бумаг и вещей, чтобы не осталось и следа моего прошлого, но ведь она *психически* больна, для нее Катерина и вещи, которые она хранит там после мамы, — *вся ее жизнь*. Для нее приехать в гостиницу — ужасно, — ей нужно совершить весь обряд раззорения, чтобы успокоить больную душу. Тогда для нее останется только две двери — в монастырь или в лечебницу под покровительство того же Генриха, и она покорно выберет *должное*. Сережа же *требует*, чтобы я «распорядилась» о каких-то «ящиках», о Катерине и проч. Если ты можешь, Валерий, избавь меня *в память* прошлого от этих ненужных мук, — *заплати* (о, ведь такие пустяки!) за месяц или два, — (*не больше*) — за эту квартиру[8]. Катерина пусть живет *до Нади*, вторую прислугу Сережа отпустит. Надя успокоится от этого настолько, что ее можно будет отправить с кем-нибудь из русских. И тогда все устроится без особых драм, без ненужных мучений; и я уеду на лето отсюда, и ты забудь тогда даже мое имя. Знай, и помни, и верь, что это моя *последняя* просьба к тебе, *последняя в жизни*. Твое предложение быть мне «полезным» своим «влиянием в литературе» просто рассмешило меня. Я, верно, как Гофман (он перестал писать стихи за 2 года перед смертью[9]), не напишу больше ни одной строчки, и *жить* мне с «*трубочистами*», а не с поэтами...

Об одном я прошу тебя *очень*, — о моем *решении* не возвращаться в Москву *пока* не говори Сереже *ни слова*. Он придет в ужас, он ждет *меня* в июне «домой»... и делает сейчас все самое для него в материальном невозмож<ное>, чтобы дать мне возможность прожить так, как я живу*, эти два месяца, необходимые для

**Далее первоначально шел какой-то текст, потом Петровская отрезала половину страницы с ним и продолжила писать на обороте.*

моего «здоровья». Если ты найдешь возможным исполнить мою просьбу, я думаю, ты найдешь и объяснение твоих действий, хотя бы даже и ложное. Я ничего не боюсь, и Сережа в свое время узнает обо мне все. Но *пока* это только повлекло бы ряд бестолковых и мучительных писем, на которые я просто не в силах отвечать до отъезда Нади совсем откровенно. *Прошу тебя очень, не говори ему*! А мне ответь даже не письмом, а только *да* или *нет* — телеграммой. Денег мне больше не присылай *никогда* и *пойми*, *как и о чем* прошу я тебя сейчас.

Говорить о «чувствах», как бывало, я больше не умею и не могу. Ни видеться в жизни, ни даже писать друг другу, ни даже *знать* что-либо о наших судьбах нам *не нужно и мы не должны*. Прошлое останется прошлым. Схороним его *вместе* глубоко и безвозвратно. Я тебя *любила*... Может быть, только тебя одного в мире... Ты этой любви не принял, не понял, не захотел взять, — и вот она умерла. Прощай! я ухожу от тебя навсегда, я мысленно склоняюсь над тобой, как над мертвым, и целую в лоб последним горьким поцелуем. Валерий! Милый когда-то!... прощай...

Нина

---

[1] Почтовые штемпели: Nervi. 4 apr. 12; Москва. 25.3.12.

[2] Это письмо Петровской, видимо, не сохранилось.

[3] Приводим письмо М. Ярцевой, сохранившееся в архиве Брюсова (на бумаге «Nervi. Le Grand Hôtel»):

27/14.II.1912 г.

М<илостивый> Г<осударь>.

Телеграммы Вам и Генриху Арнольдовичу Койранскому послала я.

«Удостоверить» меня могут Александр Арнольдович Койранский, Борис Константинович и Вера Алексеевна Зайцевы, которые были у меня здесь и через несколько дней вернутся в Москву.

Удостоверять Нину, как это требуется в телеграмме, не берусь, т<а>к к<а>к полицейскими делами брезгаю, а те, кому нужны удостоверения, могут обратиться непосредственно к доктору Валмонье <?> или куда захотят.

К счастию для Нины, она находилась в таком состоянии, что все телеграммы и письма миновали ее.

Сумма, определенная в телеграмме, совершенно соответствует обстоятельствам, т<а>к к<а>к уже тогда я дала для Нины 300 fr<ancs> для уплаты в Hôtel и всего прочего, что было нужно.

М. Ярцева.

(РГБ. Ф. 386. Карт. 110. Ед. хр. 32)

[4] Строка из стихотворения Андрея Белого «Паук» («Нет, буду жить — и буду пить...», 1905—1908). См.: *Белый Андрей.* Пепел. СПб., 1909. С. 103.

26. Заказ № 795.

[5] Опера Рихарда Вагнера (1865).

[6] Вероятно, старая прислуга.

[7] Православная *Пасха* в 1912 г. — 25 марта.

[8] Судя по всему, просьба Петровской была выполнена Брюсовым совместно с Соколовым. 24 ноября 1912 г. Соколов писал Брюсову: «Не могли бы Вы прислать мне деньги по квартире за июль и сентябрь, которые я уплатил своевременно по Вашей просьбе. За октябрь уплатил я самолично, ибо все еще не сумел сдать. С конца же октября квартира передана с обстановкой помесячно в знакомые все же руки (Б. Ивинский), без надбавки, за квартирную плату — с августа она = 45 руб.» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 16. Л. 31).

[9] Поэт Виктор *Гофман* покончил с собой в Париже 13 августа 1911 г.; после выхода в свет своей второй книги стихов «Искус» (СПб., 1910) отказался от писания стихов и перешел к опытам в художественной прозе.

334. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

19 апреля / 2 мая 1912 г. Нерви.

Nervi, 2/19 мая

Милый Валерий,
благодарю тебя за исполнение моей просьбы и также за новую книгу[1]. Не помню, когда я получила твое последнее письмо, — кажется, давно уже. Здесь я не знаю ни чисел, ни дней, мне все равно. Ты говоришь, что хочешь «иногда» иметь обо мне известия. Спрашивай у Сережи... Хотя он знает *о моей жизни* меньше, чем любой из моих соседей по столикам в нашем ресторане. Я едва ли скоро напишу тебе еще, но если ты спрашиваешь и желаешь что-либо знать обо мне, *тебе* я расскажу все же больше, чем Сереже... Я уже тебе писала, *какая* я сейчас, *какая* у меня душа и насколько я изменилась в сравнении с прежними[2]. Но, увы!.. жизнь мне не дает ни беспечных радостей, ни свободы. С Надей тянется вот уже несколько месяцев неразрешимая драма. *И это первое*.. Она здесь прямо погибает. Я уже совсем решила отправить ее в Москву, — я могу жить совсем одна и даже скажу больше: прежние, милые, когда-то любимые и близкие сейчас мне *не нужны*. И так было решено, что она поедет скоро, — для этого я просила тебя сберечь квартиру. Но все оказалось не так просто! Уже три недели, как она совершенно больна. Ежедневно аптека и доктор, сердечные припадки, бессонные ночи — словом, все то, что делает невозмож<ным> ее отъезд. Nervi совершенно опустело, сезон кончился, и даже наш отель закрыт к 15 мая (по здешнему стилю).

По набережной бродят унылые фигуры, мы обедаем почти в пустом зале. Оркестр играет для 8—10 человек. Все это напоминает Дымовские рассказы, где он описывает опустелые курорты. На берегу клочки разорван<ных> писем и апельсинные корки...[3] Все уезжают. Осенние впечатления весной, — так это странно и уныло, уныло. Нужно уезжать и мне. Теоретически я наметила себе весь путь. Конечно, не в Москву, конечно, не в Россию, об этом я не могу даже подумать без глубочайшего отвращения... Но ехать невозможно, ибо арифметика Сережи, — столь точного всегда, — не сошлась и не может сойтись с действительностью. Говорить об этом тягостно, но что же делать, когда «упорно в лицо неизвестность под дымной вуалью глядит»...[4] На 400 fr<ancs>, которые едва-едва у меня останутся к 15 мая, я должна и ехать и жить до русского 1-го июня. Притом *вдвоем*, т<ак> к<ак> в таком ужасном состоянии, как сейчас, Надю отправлять в Москву равнялось бы сознательному убийству. Мне приходит в голову множество планов, но они неосуществимы, потому что я не одна. О, такая жизнь!.. Право, настало время проклинать Генриха за его теургический фокус, за «Лазарево воскрешение», за все то, что он делал *во имя спасения собственной души*, не считаясь с последствиями, которые придется пережить *мне*. Я вовсе не хочу ни погибать, ни умирать, но есть такие невыносимые для меня нормы жизни, которым *даже я сейчас*, при всей жажде жизни, при всей *внутренней возможности жить*, предпочитаю смерть. Ах! С Сережей об этом говорить бесполезно, — он напишет мне письмо, которое будет начинаться так: «Мы с Лидией...», а дальше пойдут нравоучения, которые (признаюсь тебе дружески) я иногда рву, не читая.. Я вижу с ясностью, что пришло время, когда я должна расстаться с многими моими «предрассудками» прошлого. Вот ты пишешь, что я *должна* работать, что кто раз отравился ядом творчества, тому никогда не излечиться от этого. Ты прав, Валерий! Я *думала*, что я больше не буду писать, мне *хотелось* расстаться *и с этим* прошлым... Но, увы!.. К сожалению, *я хочу*, страстно хочу писать!.. Это пришло недавно, в одну из ночей. Я поняла, что *жизнь* моя в этом и только в этом... Но желание писать причиняет мне пока только самую горькую боль. *Я не могу еще*. У меня *еще* нет подлинных, настоящих слов, я *еще* не владею образами. *Они* владеют мной и убивают то необходимое ясное спокойствие, тот душевный порядок, то знакомое состояние, которое, бывало, неодолимо влекло меня к письменному столу. Верно, слишком сильно было потрясение во всем моем существе, а времени прошло еще немного — 5 ½ меся-

цев. Иногда после морфия люди сидят больше чем по году в соответственных заведениях. Я только теперь, недавно встретилась *с собой самой* и поняла многие свои чувства и поступки за эти месяцы, сделав им должную оценку. И теперь, о, более чем когда-либо, мне нужно внешнее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я была 5 ½ месяцев после болезни каким-то жадным изголодавшимся зверком, который бросался на все, — хищно, бессмысленно, безудержно. Телесно я давно уже стала «человеком». Как уехала из санатории, с Рима. О, ты не узнал бы меня, Валерий!.. Меня не узнала одна дама здесь, с которой я встретилась на похоронах жены д-ра Залманова и которая видела *нас* с тобой ежедневно в кружке[5]. У меня в памяти остался страшный мой образ ночи 26 октября[6]. Но с тех пор я изменилась бесконечно. Это я знаю сама и вижу в глазах мущин. Тех, которые подходили случайно *близко*, и в скользящих взглядах встречных, котор<ые> шепчут «bella»*, как это делается во всех странах мира, если женщина кажется желанной хотя бы на час, на одну ночь. О, не думай, что я говорю неправду!.. Я могла бы привести тебе несколько более реальных примеров, — но не надо... 22 фунта! Только 22 фунта сделали меня другой внешне. Но внутри, в душе еще долго, долго была темная ночь. Ум работал механически, верно, потому что был слишком побежден воскресшим, требующим *многого, многого* телом. Я знаю теперь, что иногда я поступала бессознательно, повинуясь преувеличенной потребности жить, жить, жить, как живут звери, как живут люди в мгновенья опьяненности. Теперь ко мне вернулось все сознание. И странно, — точно через какие-то другие, неизвестные мне еще двери души пришло оно... Я знаю, *чего* я хочу и чего я *не хочу*, знаю, что я могла бы и чего больше не могу. Знаю, *что* я люблю навсегда и что для меня мертво. Я могла бы все это сказать иными словами, *в образах*, искреннее и проще, не в отвлеченных формулах. Но я слишком отвыкла от тебя, я не умею говорить с тобой, как прежде. Сделай сам из этой схемы живой рисунок. Сделай его по воспоминаниям обо мне, и ты увидишь *меня*, — меня *новую, живую, настоящую*. Я *могла бы* сейчас жить хорошо... могла бы... Но у меня нет сил для той борьбы за дни, за недели, за платья, которые мне нужны, за каждую мелочь в житейском, что я должна вести. Все это не жизнь, а какая-то гнилая нитка, рвущаяся ежеминутно. И здесь я могла бы при-

* «Прекрасная» (*ит.*).

вести тебе множество самых горьких примеров, но зачем!?.. Только боль и боль. Итак, *сейчас* работать и «зарабатывать» я еще не могу. Того покоя, который мне нужен, чтобы в полной тишине и ясности овладеть просыпающимися силами, — мне *никто* не даст. Тревога же, — эта тревога за дни и недели, эта неизвестность, эта внешняя униженность, в которой я живу, *несмотря на сознание Сережи, что он делает для меня «невозможное»,* — все это висение в воздухе на волоске приводит меня к одному выводу, что *так* жить нельзя. Что мне нужно? В цифрах: — *верных* 450 руб. в месяц с Надей и несколько меньше, если я останусь одна. Но я знаю, что это смешная претензия, обращенная в пустоту, если я не «зарабатываю» сама. Жить без того minimum'a платьев и шляп, к которым я привыкла, как к моей внешней и необходимой раме, т.е. жить так, как я *сейчас живу,* — для меня *хуже смерти.* И я смотрю с полным сознанием прямо в лицо судьбе и жизни. *Что* нужно сделать? Числа и месяцы идут, не считаясь со мной, «сезоны» сменяются, времена года проходят. 15-го мая я *должна* уехать отсюда, а ехать с 400 fr<ancs> в другую страну, когда мне еще и телесно нужно обращаться с собой очень осторожно, — это печальная авантюра... О, сегодня я не могла спать всю ночь, и в эту ночь я вспомнила себя в Париже, когда под влиянием похожих обстоятельств написала тебе «ужасное» письмо. Как еще наивна была тогда моя душа!... Да, мне нужно *расстаться* с собой *совсем*... Это жалко, грустно и больно, больно без конца. Но есть только *два* выхода: или браунинг, который «я вожу с собой по Европе», — безобразное насилие над телом и душой, безобразная жалкая смерть таракана, задавлен<ного> в щели (ибо я ***не хочу*** умирать), или обычный, знакомый, старый путь одиноких женщин, не сумевших найти своего «счастья»... блуждающих в пустоте, с глазами, прикованными к пустоте же... Я не буду делать искусственного перехода к моей главн<ой> мысли. Ты поймешь логическую связь и без объяснений...

В первый раз это было 1 ½ месяца назад. Молодой немец, фабрикант, сосед по столику в ресторане... Мы были знакомы два дня. Ах, я знаю, есть тысячи женщин и красивее и моложе меня!.. Но ты знаешь встречи, когда человек вдруг испытывает непонятное потрясение, когда вот именно *к этой*, а не к другой влечет неодолимо, безумно, бессмысленно.... Мы познакомились за завтраком, Надя была больна и лежала наверху. Вечером поехали на Portofino в автомобиле. Ночью он должен был ехать, но не мог, не поехал. Теперь я почти забыла его лицо, помню только необычайное сходство с Б.Н. (не в выражении, а в чертах). Денег у меня не

было вовсе, я не знала, чем заплачу назавтра в отеле, а он звал меня, умолял немедленно ехать в Париж, потом в Англию (там у него фабрика железа) и с величайшей наивностью мущины, привыкшего к продажности женщин, предлагал мне 2000 fr<ancs> в месяц «кроме бриллиантов»... Темная ночь была у меня тогда в душе. Я еще плохо понимала «жизнь» и *отказала* с какой-то вызывающей дерзостью. В вечер его отъезда я пила плохое Asti в cafe Milano с неаполитанцем-музыкантом, что играл у нас сезон за 8 fr<ancs> «разовых» на марине. Так кончилась эта история, если не считать трех писем, на которые я не ответила. У меня не было после раскаяния. Сходство с Б.Н., это карикатурное сходство, может быть, оно и имело самое отрицательное значение. За 1 ½ месяца, что прошли с тех пор (кажется, больше даже, — не помню), я так устала от Сережиной «арифметики».... Разве можно представить себе чью-нибудь жизнь, когда люди отделены тысячами верст!.. И разве *ты* представляешь ее *всю*, час за часом!.. О, я стала думать о «случае», как говорят женщины. Я стала упорно ждать... Ты знаешь, что такое большой отель, где ежечасно пустеют и наполняются комнаты? Терраса под пальмами, как в синематографе, ресторан, оркестр, играющий непременно цыганские романсы. Свободные женщины и свободные мущины с «Matin»[7] в руках, лениво склонившиеся над своим остывшим кофэ, запах сигар и отрывки всевозможных языков, долетающих из аллей. Среди этой пестрой толпы появилась новая фигура — стройный пожилой француз — мопассановский облик, старый любовник из «Fort comme la mort»....[8] Он заметил меня в первый же день за обедом, и нас вечером познакомила хозяйка отеля. 14 дней он не отходил от меня, как влюбленный мальчик, и так как, верно, у меня вид кокотки «с запутанн<ой> карьерой» — то все, начиная от m-me de l'hôtel*, кончая арабом — Ибрагимом, что подает по вечерам вино и кофэ, буквально *«сводили»* меня с этим m-er Henri. Он приезжает в Nervi в Gr<and> Hôtel восьмой сезон. Он француз, инженер, совершенно одинокий. Ему под 50 лет. На голове у него «piazza di terrari» (т.е. почти ни одного волоса), по выражению мальчишки-неаполитанца, у него изящные манеры, он долго жил на свете и почему-то был вечно несчастен в любви. Меня он оценил так, как ценили меня, бывало... пока я не потеряла *все* возле тебя и от жизни с тобой.... Было приятно слушать его парижскую речь, было

*Хозяйки гостиницы (*фр.*).

приятно гулять с ним под пальмами и чувствовать, как с каждым днем эта чужая душа неизвестного человека все больше и больше наполнялась *мною*. Когда я оставалась одна с собою, я спрашивала себя прямо, грубо: «Можешь ты или нет?» — и отвечала: «Да, *теперь* так надо, *теперь* иного нет, — могу!...» И вот настал, настал тот миг, который я бессознательно отдаляла. Он стал говорить о том, как одинок он в мире, как грустно покупать женщин в его годы, как хочется ему «другого» и как «шикарна» была бы я в Париже, и как нужен мне тихий нежный покой после той пережитой печали, след которой еще он видит в моих глазах. Ах, не могу я повторить всего, что говорил он. Огни в салоне погасили, все разошлись, и тогда мы поехали в экипаже до Генуи. Была светлая, кажется, лунная ночь. О, как уныло сияла его лысина в этой нежной полумгле!.. Зачем он снял шляпу... Я вспоминала твои страшные последние стихи: «И ты старик! Ты бред!»[9] Мне хотелось опять побежать с неаполитанцем в кафэ Milano и слушать, как этот маленький трубочист говорит глупости, сверкая зубами и глазами. Мне было почти ужасно, но я преодолела себя и выслушала все до конца. Теперь он ждет меня в Париже, и каждый вечер аккуратно получаю от него письма, которые начинаются всегда одинаково: «Piccina mia! Quand?..» * И я думаю... думаю серьезно, мужественно, окончательно. Что мне осталось? *Куда* я иду? *Что* у меня позади и *что* впереди?.. 1-го (русского мая) Сережа пришлет *в последний* раз «невозможную для него сумму», думая, что я могла жить, сообразуясь с его «арифмети<кой>». По самым нищенским расчетам с житейским у меня останется 400 fr<ancs>. Нужно ехать, нужно жить. А 1-го июня он пришлет *вдвое меньше*. Работать я *еще* не могу, и мучительное существование убьет всякую возможность моей работы и «заработка» в будущем. Вернуться в Россию я *не могу*, а погибнуть, как задавленный таракан, *не хочу*. Мечты о «любви».... Они погибли для меня вместе с тобой..... Мне очень больно, мне несказанно грустно, и я минутами проклинаю Генриха, вернувшего меня в мир. Такой легкой и блаженной смерти, что была близка в ночь 26 октября, мне не дождаться. Я с тоскою уже думаю о тех днях в Италии, когда я ни о чем не думала, была как в бреду и только пила «Весны благоуханный запах»[10]. Но слишком жестоко скитаться по миру, возить растрепанные чемоданы по дешевым отелям и чувствовать себя бездомнее последнего нищего. Мне «осталось на размышленье» 10—11 дней. За этот срок я дол-

*«Моя малютка! Когда?» (*ит., фр.*).

жна или воспользоваться наконец подарком Полякова[11], или решиться на иное. Сегодня у меня есть потребность говорить *о себе*, говорить на *родном* языке (я уже забываю русскую речь. С Надей почти не говорю, а с русскими не знакомлюсь). А ты хотя и не любишь меня больше, но понимаешь всё, и *не так*, как Сережа. В это я еще верю. .

Вероятно, никогда больше я не напишу тебе такого длинного, грустного и дружеского письма. Может быть, потому мне так хочется говорить *с тобой* сейчас, что сегодня годовщина одного *нашего* дня. О, не скажу, не напомню, какого и в каком году!.. А ты забываешь числа, они тонут бесследно в твоей душе. Может быть, потому, что я чувствую себя проснувшейся наконец после долгого, долгого сна.... Может быть, сегодня вся печаль прошлого и настоящего больно давит грудь и мне хочется прижаться к кому-то, хотя знаю, что *не надо*... В эти дни *и только теперь* я прощаюсь с прошлым, прощаюсь *с собой*, прощаюсь *с тобой*, понимая *все* значенье слов «прощай навсегда». И мне хотелось написать *тебе* и по-*другому*, чем я писала, — нежно и горько протянуть к тебе в последний раз руки... Прости, если не удалось, если я не сумела! Но верь, Валерий, что нет у меня к тебе ни злобы, ни мстительных чувств. Правда, моя *жизнь* погибла возле тебя, но кто может спросить судьбу — «зачем?»... Так было нужно, верно! Не суди меня *по словам* этого письма, не думай, что я *хочу* от жизни чего-то низменного и мелкого. Я ужасно устала, я пережила столько, что этого хватило бы на много чьих-то существований. И если, наконец, мне суждено сломаться, если я *не могу* сопротивляться злым силам, — моя ли это вина? Когда мы ехали с тобой на автомобиле 9-го ноября, — разве знала я что-нибудь? разве знала я, *куда* и *зачем* я еду, разве я знала, что это в последний раз мы пьем с тобой коньяк на Брестском вокзале![12] Я тебя больше не увижу, Валерий. Все чувства, и все предчувств<ия>, и все сны говорят мне это. А мы прожили вместе долгую, страшную и прекрасную жизнь. Ее можно оторвать от сердца только с великой болью.

Но не думай, о, не думай! *Я ничего не хочу вернуть.* Я только *случайно* оглянулась назад. В эти дни мне *нужно* думать, а в настоящем нет ни одного мига, который не был бы результатом и итогом прошлого. Я должна, как говорится, «плохо кончить»... Такова моя душа. Трагическое и печальное идет за мной, тянется длинным шлейфом.. Только я больше не пла́чу... За 5 ½ месяцев ни разу.. Надя говорит, что я стала жестокая и никого и ничего не жалею...

Милый Валерий, не говори *ничего* Сереже об этом письме, точно ты его и не получал. Не надо!.. С ним я не могу говорить *так*. Ты знаешь Сережу... *Очень, очень прошу тебя.*

Один человек, который меня любил и которого я оттолкнула со всей жестокостью в дни моей жадности к жизни, тотчас после Рима, как-то сказал: «Вот Вы смеетесь, Вы кажетесь такой сильной, точно Вам никого не нужно, а я Вам не верю, не верю... Вы просто маленькая девочка, что заблудилась в страшном темном лесу... девочка... одна... протянула руки в пустоту.... и идет, сама не знает куда, к кому, зачем»...

Прощай, Валерий! Я, правда, не знаю больше, *зачем*, куда и к кому я иду!

Нина

Книг не присылай. Вот уже 5 ½ месяцев, как я читаю только французские газеты, а теперь и итальянские. К *твоей книге* я не смогла прикоснуться...

---

[1] Книга Брюсова «Зеркало теней. Стихи 1909—1912 г.» (М.: Скорпион, 1912), вышедшая в свет в конце марта 1912 г.

[2] Имеется в виду п. 333.

[3] См. рассказы «У моря. 1. Июнь», «У моря. 2. Август» (*Дымов Осип*. Солнцеворот. СПб., 1905. С. 62—74); во втором из них образ-рефрен — «клочки разорванного письма на берегу моря» (С. 69).

[4] Цитата из стихотворения Андрея Белого «В вагоне» («Жандарма потертая форма...», 1905). См.: *Белый Андрей*. Пепел. СПб., 1909. С. 27.

[5] Подразумевается Московский Литературно-художественный кружок.

[6] 26 октября 1911 г. (см. примеч. 7 к п. 327).

[7] «*Матэн*» — ежедневная газета, выходившая в Париже с 1884 г.

[8] Роман Ги де Мопассана «Сильна как смерть» (1889).

[9] Из стихотворения Брюсова «Призраки» (*Брюсов Валерий*. Зеркало теней: Стихи 1909—1912. С. 22):

И ты, старик? Ты — бред. Была душа изранена,
Ласкать иль умереть казалось все равно.
Ты был противней всех, сатир с лицом Сусанина,
И было хорошо с тобой упасть на дно!

[10] См. примеч. 4 к п. 333.

[11] Револьвер, подаренный С.А. Поляковым.

[12] Речь идет о дне отъезда Петровской за границу (9 ноября 1911 г.). Проводы ее на Брестском (ныне Белорусском) вокзале описаны в мемуарном очерке Ходасевича «Брюсов» (см.: *Ходасевич Владислав*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 28).

335. ПЕТРОВСКАЯ — БРЮСОВУ

30 апреля / 13 мая 1913 г. Мюнхен[1]

Мюнхен, 13 мая

Валерий,
мы не увидимся больше и не будем вместе никогда. Так решила судьба, и так сказали мы сами. Теперь, я думаю, и ты от чистого сердца повторишь мои слова: мы больше не существуем друг для друга... Ainsi soit-il!*

Не буду говорить тебе, *почему,* — это сложно и томительно, если рассказывать подробно, но я прошу: *верни мне мои письма.* Время, всевозможные события (роковые и счастливые, но пережитые без тебя) и, наконец, полная перемена моих чувств к тебе, — все это говорит за то, что моя просьба не мимолетный каприз, о котором забуду я завтра. *Я так хочу,* я чувствую за собой внутреннее право получить обратно *мои* письма, потому что в сущности они никогда не принадлежали тебе... Насколько я помню, *твои* письма хранятся у Сережи (!!) как литературное сокровище, завещанное будущему?[2] Если говорить откровенно, я хотела бы уничтожить *и их,* ибо изменилась моя душа, и то, в чем находила я великое и прекрасное прежде, кажется** мне пустым и лживым теперь. Но, зная тебя, об этом я могу только смиренно просить.

Мне хочется верить, что ты вернешь мне с легкостью сотни этих исписанных листов, ни на что не нужных тебе больше. Зачем ты причинишь мне последнюю неприятность? Но если ты не ответишь вовсе или ответишь «нет», — что останется мне тогда кроме «варварской мести», — попросить Сережу, который, конечно, сделает, как хочу *я.* Прислать твои письма и растопить ими печку в майский день на удивление немцам!.. Мой адрес: Schellingstrasse 14/I. Я жду ответа[3].

Н. Петровская.

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 3.5.13. Отправлено по адресу Московского Литературно-художественного кружка.

[2] См. об этом во вступительной статье (С. 5—6).

[3] Брюсов эту просьбу не исполнил.

* Да будет так! (*фр.*).

** *Слово «кажется» повторено дважды.*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

* Аннотируются только имена лиц, упоминаемых в основном корпусе переписки. Краткие биографические справки, содержащиеся в комментариях, не повторяются (номера страниц, на которых даются эти справки, выделены курсивом).

СОДЕРЖАНИЕ

1906

1911

1912—1913

Валерий Брюсов — Нина Петровская

**ПЕРЕПИСКА:
1904—1913**

Дизайнер
Е.А. Поликашин
Редактор
Е.П. Шумилова
Корректор
Л.Н. Морозова
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlo.magazine.ru

Формат 60x90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 48,5. Заказ № 795
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

Неприкосновенный запас
Дебаты о политике и культуре
Периодичность: 6 раз в год.

«НЗ» — журнал о культуре политики и политике культуры, своего рода интеллектуальный дайджест, форум разнообразных идей и мнений. Среди вопросов и тем, обсуждаемых на страницах журнала:
— идеология и власть;
— институции гуманитарной мысли;
— интеллигенция и другие сословия;
— культовые фигуры, властители дум;
— новые исторические мифологемы;
— метрополия и диаспора, парадоксы национального сознания за границей;
— циркуляция сходных идеологем в «правой» и «левой» прессе;
— религиозные и этнические проблемы;
— проблемы образования;
— столица — провинция и др.